

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИМЕНИ Е.М. ПРИМАКОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИМЕНИ Е.М. ПРИМАКОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИДЕНТИЧНОСТЬ: ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Москва
2017

УДК
ББК

ISBN 978-5-7777-0

© ИМЭМО, 2017
© Издательство «Весь Мир», 2017

Оглавление

Предисловие (И.С. Семеновко)	11
Раздел первый. ИДЕНТИЧНОСТЬ: КОНЦЕПТ, МЕТОДОЛОГИЯ И ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ	19
Глава 1. Категория идентичности в социальных науках: понятие, когнитивный потенциал, приоритеты исследований (И.С. Семеновко)	19
Глава 2. Идентичность и сопряженные понятия: контуры исследовательского поля (К.Г. Холодковский)	34
Глава 3. Теоретико-методологические подходы и модели концептуализации идентичности (О.В. Попова)	45
Глава 4. Методы и методики изучения идентичности (И.В. Самаркина)	51
Глава 5. Идентичность в дисциплинарных матрицах социальных и гуманитарных наук (Е.И. Филиппова)	62
Глава 6. Идентичность как «состязательный концепт» в проблемном поле политологии (Л.А. Фадеева)	71
Раздел второй. ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ	79
Глава 7. Идентичности в меняющемся мире: ориентиры, смыслы, траектории динамики (И.С. Семеновко, Е.В. Морозова)	79
Глава 8. Социально-политический контекст трансформаций идентичности в XXI веке (В.В. Лапкин)	91
Глава 9. Политика идентичности в условиях этнокультурного многообразия: новая повестка дня (И.С. Семеновко)	105
Глава 10. Социальная реальность и социальный идеал в контексте трансформаций идентичности (Е.С. Садовая, В.А. Сауткина)	117
Глава 11. «Человек политический»: личность перед вызовами XXI века (В.В. Лапкин, И.С. Семеновко)	129

Раздел третий. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ РАКУРСЫ ИДЕНТИЧНОСТИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ	147
Глава 12. <i>Цивилизационная идентичность в политическом измерении (В.И. Пантин)</i>	147
Глава 13. <i>Идентичность: новые повороты цивилизационной теории (М.М. Мчедлова)</i>	152
Глава 14. Российская идентичность: исторический путь (К.Г. Холодковский)	160
Глава 15. <i>Российская гражданская идентичность и политическая нация: проблемы формирования и консолидации (С.П. Перегудов)</i>	167
Глава 16. <i>Европейская идентичность в исторической ретроспективе (Ю.Г. Чернышов)</i>	175
Глава 17. <i>Европейская идентичность: вызовы современности (Маурицио Котта)</i>	188
Глава 18. <i>Североамериканская идентичность (Е.В. Морозова)</i>	197
Глава 19. <i>Ибероамериканская (латиноамериканская) идентичность (И.А. Прохоренко)</i>	206
Глава 20. <i>Китайская идентичность: человек и государство (А.В. Виноградов)</i>	214
Глава 21. <i>Индия: становление политической идентичности (А.Г. Володин)</i>	223
Глава 22. <i>Мусульманская политическая идентичность: единство и разнообразие (И.В. Кудряшова)</i>	234
Глава 23. <i>Афрохристианская и афроисламская идентичности в Тропической Африке (Л.А. Андреева)</i>	247
Глава 24. <i>Космополитическая идентичность (Л.А. Фадеева)</i>	255
Раздел четвертый. ИДЕНТИЧНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ	261
Глава 25. Базовые категории	261
Личность: перспектива идентичности (А.Н. Килберг)	261
Индивидуальная (Я) идентичность (Е.О. Труфанова)	269
Составляющие индивидуальной идентичности	
(В.В. Лапкин)	273
Коллективные (групповые) идентичности (В.И. Пантин)	277
Социальные идентичности (Л.А. Фадеева)	281
Сообщества (П.В. Панов)	284
Аскриптивные и приобретенные идентичности	
(О.В. Попова)	288
Глава 26. <i>Идентичность: процессы и контексты трансформации</i>	293

Динамика идентичности (Н.Н. Федотова)	293
Конфликт идентичностей (М.Е. Попов)	301
Кризис идентичности (В.В. Лапкин)	306
Современность (В.С. Мартьянов)	310
Глава 27. Идентичность в социокультурном измерении	318
Культурная (социокультурная) идентичность (И.С. Семененко)	318
Транскультурная идентичность (И.П. Цапенко)	324
Сложносоставная идентичность (Е.В. Морозова)	331
Религиозная идентичность (М.М. Мчедлова)	340
Онтологическая идентичность (Е.Б. Рашковский)	345
Межкультурные коммуникации (О.В. Попова)	349
Глава 28. Идентичность в политическом измерении	356
Политическая идентичность (И.С. Семененко)	356
Гражданская идентичность (И.С. Семененко)	361
Имперская, постимперская, неоимперская идентичность (О.Б. Подвинцев)	366
Политическая панидентичность (И.В. Кудряшова)	370
Гибридная политическая идентичность (И.В. Кудряшова)	373
Макрополитическая идентичность (О.Ю. Малинова)	376
Идейно-политическая идентификация (К.Г. Холодковский) ...	378
Партийно-политическая самоидентификация (К.Г. Холодковский)	382
Субъективное пространство политики (И.В. Самаркина)	388
Политический менталитет (Н.М. Ракитянский)	393
Политическая картина мира (И.В. Самаркина)	400
Глава 29. Идентичность в национальном и этнополитическом измерениях	408
Политическая нация (В.С. Мартьянов)	408
Национальная идентичность (И.С. Семененко)	414
Национализм (П.В. Панов)	423
Этническая идентичность (А.М. Дробижева)	427
Раса и идентичность (И.А. Прохоренко)	433
Диаспоры и диаспоральные «миры» (И.А. Прохоренко)	442
Мультикультурализм (И.С. Семененко)	450
Этнополитический конфликт (И.С. Семененко)	455
Глава 30. Идентичность в международно-политическом измерении	464
Национальное государство (И.А. Прохоренко)	464
Национально-цивилизационная идентичность (В.И. Пантин)	471
Внешнеполитическая идентичность (И.А. Прохоренко)	475
Геополитическое видение мира и идентичность (В.А. Колосов)	479

«Мягкая сила» и идентичность (Е.М. Харитонова)	486
Сепаратизм и ирредентизм (И.И. Баринов)	491
Трансграничная идентичность (И.И. Баринов)	496
Глава 31. Идентичность в пространственном и территориальном измерениях	500
Социальное пространство (Х.Г. Тхагансоев)	500
Политическое пространство (И.Л. Прохоренко)	505
Территориальная идентичность (И.Л. Прохоренко)	512
Региональная идентичность (М.В. Назукина)	518
Локальная идентичность (М.В. Назукина)	
Городская идентичность (Е.Г. Довбыш)	
Приграничная идентичность (М.П. Крылов, при участии М.В. Назукиной)	
Фронтирная идентичность (Е.В. Морозова)	
Сетевая идентичность (Л.А. Фадеева)	
Социокультурный и политический ландшафт (А.А. Гриценко)	
Глава 32. Идентичность в социально-стратификационных и социально-ролевых измерениях	
Социальная стратификация и идентичность (В.С. Мартыянов)	
Классовая идентичность (Л.А. Фадеева)	
Гендерная идентичность (Л.А. Фадеева)	
Поколенческая и возрастная идентичности (И.В. Самаркина)	
Семейная идентичность (А.А. Гнедаш)	
Профессиональная идентичность (Л.А. Фадеева)	
Корпоративная идентичность (И.С. Семенов)	
Экономика идентичности (И.С. Семенов)	
Идентичность потребителя (Н.В. Плотицкина)	
Глава 33. Дискурсы идентичности: идейно-политические ориентиры, ценности, смыслы	
Ценностно-политические проекты формирования идентичности (Д.Б. Казаринова)	
Патриотизм (А.Л. Бардин)	
Популизм (Г.И. Вайнштейн)	
Фундаментализм (И.В. Кудряшова)	
Энвайронментализм и экологическая идентичность (Е.В. Саворская)	
Коммунитаризм (К.А. Сулимов)	
Альтернативные политические дискурсы (Н.В. Работяжев, Т.Л. Ровинская)	
Глава 34. Конструирование идентичности: политические практики и технологии	

Политика идентичности (И.С. Семенов)
Символическая политика (О.Ю. Малинова)
Дискурсивное использование «Другого» (О.Ю. Малинова)	...
Политика памяти и исторический нарратив (И.В. Самаркина)
Политика исторической памяти: вызовы для России (В.И. Пантин)
Политика языка и языковая политика (Н.М. Мухарямов)
Сетевые механизмы формирования идентичности (И.В. Мирошниченко)
Идентичность и социальное действие (О.В. Попова)

Раздел пятый. ИДЕНТИЧНОСТЬ И ИДЕНТИЧНОСТИ:

КТО ЕСТЬ КТО В ФОРМИРОВАНИИ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОЛЯ

Глава 35. Краткий биобиблиографический словарь
Бенедикт Андерсон (П.А. Вовкодав)
Фредрик Барт (И.И. Баринев)
Зигмунт Бауман (А.А. Бардин)
Михаил Бахтин (Ю.Г. Чернышов)
Ульрих Бек (Н.В. Плотицкина)
Роджерс Брубейкер (О.В. Попова)
Пьер Бурдьё (И.П. Прохоренко)
Маргарет Везерелл (А.А. Гнедаш)
Лев Выготский (Е.О. Труфанова)
Эрнест Геллнер (П.А. Вовкодав)
Энтони Гидденс (О.В. Попова)
Ирвинг Гофман (О.В. Попова)
Фредрик Джеймисон (Е.А. Вахрушева)
Герман Дилигенский (К.Г. Холодковский)
Славой Жижек (О.В. Попова)
Мануэль Кастанельс (Е.Г. Довбыш)
Уилл Кимлика (А.В. Веретевская)
Игорь Кон (Е.О. Труфанова)
Михаил Крылов (М.В. Назукина)
Чарльз Кули (О.В. Попова)
Жак Лакан (О.В. Попова)
Жак Ле Гофф (И.И. Баринев)
Юрий Левада (К.Г. Холодковский)
Джон Локк (Е.О. Труфанова)
Джордж Герберт Мид (О.В. Попова)
Маргарет Мид (А.А. Гнедаш)
Ивер Нойманн (М.В. Назукина)
Бхикху Парекх (А.В. Веретевская)

Поль Рикёр (Е.Г. Довбыш)	
Чарльз Тейлор (А.В. Веретевская)	
Чарльз Тилли (И.И. Баринов)	
Генри Тэджфел (И.И. Баринов)	
Эрих Фромм (Л.А. Фадеева)	
Мишель Фуко (О.В. Попова)	
Юрген Хабермас (Е.Г. Довбыш)	
Сэмюэл Хантингтон (Е.М. Харитонова)	
Эрик Хобсбаум (Е.М. Харитонова)	
Стюарт Холл (И.С. Семенов)	
Петр Штомпка (А.Л. Бардин)	
Шмуэль Эйзенштадт (Н.Н. Федотова)	
Норберт Элиас (О.В. Попова)	
Эрик Эрикссон (О.В. Попова)	

**Раздел шестой. СООБЩЕСТВО ПОЛИТОЛОГОВ:
РАКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ**

Глава 36. Профессиональная идентичность политологов: коллективное измерение (О.В. Гаман-Голутвина)	
Глава 37. Идентичность профессионального сообщества политологов в фокусе сравнительных исследований (И.С. Семенов, И.В. Самаркина, Е.В. Морозова)	
Глава 38. Кто мы? Траектории профессиональной идентичности российских политологов (И.С. Семенов, И.В. Самаркина, Е.В. Морозова)	

**Раздел седьмой. ИДЕНТИЧНОСТЬ: КОГНИТИВНАЯ КАРТА
ДИСКУРСИВНОГО ПОЛЯ**

Библиография	
Предметный указатель	
Аннотация	
Об авторах	
Contents	
Summary	
About the authors	

Предисловие

Идентичность стала привычным понятием современного политического лексикона. Из области научных изысканий этот термин перешел в публичную сферу и, имплицитно, закрепился в общественном сознании. Подобно известному герою Мольера, не знавшему, что говорит прозой, современный человек не задумывается над тем, что осмысление своего места в социуме осуществляется им в контексте идентичности, путем фиксации в сознании значимых для себя ориентиров самоопределения в больших и малых сообществах. Национальная, гражданская, идейно-политическая, профессиональная, религиозная, семейная и другие формы самоидентификации занимают разное, но всегда значимое место в жизни людей. Они формируются в межличностных взаимодействиях, в пространстве социальных и политических коммуникаций и обозначают не только (и не всегда) принадлежность, но и указывают на соотносительность человека с реалиями общества и мира, в котором он живет.

Сложность и динамичность общественных процессов предполагает постоянное обновление и тонкую настройку инструментария, который используется для анализа и объяснения происходящих изменений. Описание включенности человека в социальные процессы в категориях идентичности позволяет осмыслить эту меняющуюся реальность и зафиксировать ее качественные характеристики. Между тем информационные потоки способствуют распространению широких, разнородных и порой несовместимых трактовок понятия идентичности в разных — политических, медийных, обыденных — контекстах. Современный научный дискурс рискует стать (и зачастую становится) невнятным отражением этой смысловой сумятицы. Поскольку основной задачей социальных наук является упорядочение существующих и производство новых идей и смыслов, отражающих наше понимание общественного развития, важнейшим приоритетом становится прояснение возможностей использования аналитических категорий, описывающих субъективную составляющую происходящих трансформаций. Фрагментарность и разнородность исследовательского поля идентичности свидетельствует о том, что здесь образовалась незаполненная пока понятийная лакуна.

В центре внимания авторов нашего энциклопедического издания — понятие идентичности, его генезис и дискурсивные практики использования этого понятия в социальных и гуманитарных науках. Именно под таким углом зрения — анализа дискурсов идентичности — выстраивались рамки фундаментального исследовательского проекта, к реализации которого мы шли постепенно, поставив задачу осмыслить потенциал идентичности как ресурса общественного развития. Вопрос о том, какие качества индивидуальной идентичности поддерживают такой потенциал, на каких основаниях и какими путями происходит самоидентификация индивида с большими сообществами и выбор тех или иных ориентиров общественного развития и как эта субъективная аналитическая категория соотносится с социальными практиками, поставил авторов перед необходимостью оценить состояние и характер научного дискурса, сложившегося вокруг понятия идентичности в общественных науках.

Структура исследования выстраивалась вокруг анализа состояния современного научного дискурса по проблемам идентичности и практик использования концепта идентичности как способа объяснения социальной реальности и производства новых смыслов, формирующих эту реальность. Его открывает теоретико-методологический раздел, посвященный рассмотрению самого концепта, оценке его когнитивного потенциала, методологических подходов и методов изучения идентичности. Категория идентичности встроена в широкое исследовательское поле, сформировавшееся в ходе изучения субъективной составляющей социально-политических изменений и существенных характеристик современного политического процесса, приоритетов и мотиваций его участников.

Сегодня этот концепт занимает заметное место в разных областях социогуманитарного знания, при этом налицо существенная разница как в применяемых подходах и методологии анализа, так и в характере решаемых задач. Работающим в «поле идентичности» исследователям важно иметь в виду и критику возможностей использования концепта идентичности: как известно, «проблемы с идентичностью» в работах ряда авторитетных авторов рассматриваются в критическом ключе, и на поставленные в таком контексте вопросы мы также стремились найти ответы.

Изучению происходящих социально-политических изменений и их влияния на динамику идентичности посвящен второй раздел книги. Представленный здесь анализ подводит к пониманию возможностей, ограничений, вызовов и рисков для личности, живущей в современной стремительно меняющейся социальной реальности открытых информационных потоков, сетевых взаимодействий и технологий манипулирования сознанием, последствия распространения которых с трудом поддаются долговременному прогнозированию. Проблема социального идеала и нравственного выбора личности рассматривается в контексте осмысления горизонтов идентичности «человека политического».

Выявленные в ходе этого исследования трансформации в массовом и индивидуальном сознании, фиксируемые в категориях идентичности, оказывают

непосредственное и все более заметное влияние на траектории развития «больших» сообществ. В третьем разделе книги разные ракурсы анализа — цивилизационного, политического, социокультурного — складываются в сложную картину современного миропорядка, вбирающую разные приоритеты и модели развития стран и регионов мира. Рассматриваются «родовые» культурно-цивилизационные характеристики российской, европейской, североамериканской, ибероамериканской, китайской, индийской идентичностей, очерчены траектории их трансформации в современном глобализирующемся мире. Показано, что учет присущих этим «большим» сообществам социокультурных и цивилизационных различий является ключевым условием повышения порога конфликтности и эффективного регулирования международных и внутривнутриполитических конфликтов. Особое внимание уделено проблемам идентификационного самоопределения в исламском мире, а также в странах Тропической Африки, где пересекаются разные религиозные идентичности. Процессы становления космополитической идентичности, ставшей неотъемлемой частью современного информационного общества, усиливают антинормии современного развития.

Центральная часть книги — четвертый (словарный) раздел. В десяти главах словаря собрано и проанализировано около восьмидесяти понятий, используемых в научном дискурсе, в концептуализации значимых для формирования идентичности социальных и политических практик. Авторы статей старались следовать общей логике анализа: представить обзор дискуссий вокруг рассматриваемого концепта и разные присутствующие в литературе точки зрения, сформулировать четкое определение соответствующего понятия и разъяснить его, проиллюстрировать его когнитивные возможности на конкретных примерах. При отборе самих понятий мы исходили не только из частоты их употребления в научном и политическом дискурсах и той или иной степени неясности, но и из назревшей потребности введения в научный оборот и операционализации ряда новых терминов, отражающих современное понимание возможностей применения этого концепта в политических и социокультурных исследованиях (таких, например, как «сложносоставная», «онтологическая» или «макрополитическая» идентичность). Или из необходимости закрепления места в понятийном поле социальных наук за, казалось бы, уже известными, но не укорененными в научном лексиконе понятиями (к ним относятся, например, «политика идентичности» и «экономика идентичности»). В фокусе внимания были политические ракурсы рассматриваемых составляющих идентичности, с одной стороны, и использование ключевых категорий политического анализа в идентитарных исследованиях — с другой. Это связано в том числе с назревшей, но пока не реализованной потребностью в концептуализации человеческого измерения сферы политики. Поэтому наиболее представительные по числу статей главы словарного раздела посвящены идентичности в политическом и территориально-пространственном измерениях, а также политическим практикам конструирования идентичности.

В следующем, пятом разделе издания мы представляем научные портреты исследователей, в разное время занимавшихся изучением идентичности, и тех, кто внес заметный вклад в становление контуров нынешнего исследовательского поля — всего более сорока человек. В их числе зарубежные ученые — от таких классиков социальных наук, как Джон Локк, до ныне активно работающих Энтони Гидденса и Мануэля Кастельса и многих других или недавно ушедших из жизни Зигмунта Баумана и Ульриха Бека. Среди отечественных авторов — это такие яркие мыслители, представители разных сфер и направлений социогуманитарных наук, как Михаил Бахтин, Лев Выготский, Герман Дилигенский, Игорь Кон, Юрий Левада и совсем недавно ушедший от нас наш соавтор Михаил Крылов. Конечно, список персоналий биобиблиографического словаря не является исчерпывающим, вклад этих и других ученых еще предстоит оценить, но мы стремились дать читателю представление о том, на каком богатом фундаменте строится нынешнее поле идентитарных исследований.

Шестой раздел книги задумывался как заключение не совсем традиционного формата. Мы хотели показать, как концепт идентичности «работает» в прикладном политическом анализе, и для этого решили провести эмпирическое исследование на близком нам материале — изучить траектории становления профессиональной идентичности представителей сообщества российских политических исследователей. Анализ строился на обобщении материалов 25 глубинных интервью, взятых в 2015-2016 годах у коллег из университетских центров и академических институтов разных регионов России, людей разного возраста и научных интересов, разными путями пришедших в профессию. При этом мы стремились выделить не только специфические для российского политологического сообщества характеристики, но и показать общие проблемы профессии. Поэтому исследование идентичности профессионального сообщества, институционально представленного в нашем проекте его авторитетной профессиональной организацией — Российской ассоциацией политической науки (РАПН), вписано в сравнительный контекст краткого анализа проблем и вызовов, с которыми встречаются исследователи современной политики в других странах, там, где профессия политолога зародилась (США) и где политическая наука динамично развивается сегодня (на примере Италии).

Нам хотелось бы подчеркнуть, что представляемое энциклопедическое издание — это междисциплинарное исследование. Оно интегрирует подходы разных сфер социогуманитарного знания, разных направлений и научных школ из российских столичных и региональных исследовательских центров. Важным для нашего замысла было и сочетание теоретических и методологических обобщений с эмпирическим анализом. Но при этом наш анализ строится в первую очередь вокруг проблем и вызовов, стоящих сегодня перед политической наукой, и это, как уже было отмечено, связано с объективной потребностью в развитии направления, в рамках которого изучается субъективное пространство политики. Этим во многом продиктовано то обстоятельство, что в составе

научного коллектива заметную часть авторов составляют политические исследователи, взявшие на себя ответственность за решение этой масштабной научной задачи. В этом ряду — специалисты в области сравнительного анализа современных политических институтов и процессов, политической психологии и лингвистики, политической регионалистики и мировой политики, политической социологии и социологии политики, политической философии и прогнозирования. В то же время в числе авторов — представители смежных областей социальных и гуманитарных наук — социологи, социальные психологи и философы, этнологи, географы, культурологи, религиоведы, историки, экономисты. Только в объединении подходов, на пересечении исследовательских полей и путем взаимного обогащения тезауруса можно, как показывает наше исследование, достичь принципиально важного «кумулятивного эффекта» в понимании сложных процессов в сознании и поведении личности, в динамике институтов, формирующих несущие конструкции современного общества.

Для того, чтобы наглядно представить это многообразие и очертить контуры исследовательского поля, в последнем, седьмом разделе издания представлена когнитивная карта понятий, используемых в современном научном дискурсе по проблемам идентичности. Это своего рода терминологический путеводитель «по лабиринтам идентичности». Мы постарались составить максимально полный список значимых концептов и терминов, которые могут пригодиться нынешним и будущим исследователям в их стремлении осмыслить процессы формирования современной социальной реальности, понять субъективные факторы социальных изменений. Центром карты является свод терминов, характеризующих составляющие и проекции идентичности, в том числе список примеров их метафорического, образного использования («идентичности с прилагательными»). Понятийный перечень дополняют ориентиры и основания и векторы трансформации идентичности, субъекты, контексты и факторы таких трансформаций, основные направления политики идентичности. Мы стремились также очертить контуры поля идентитарных исследований, указать на складывающиеся здесь смысловые взаимосвязи, выявить значимые дискурсы и адекватные методологические подходы и методы анализа. Большинство из внесенных в перечень понятий в той или иной степени нашли отражение в книге, но внимательный читатель, сравнивая их с предметным указателем, обнаружит такие, которые потребуют дополнительных научных изысканий. И, конечно, сама карта открыта для расширения, для дополнений и уточнений.

Понятно, что исследовательский проект такого масштаба не мог быть реализован с чистого листа. Первоначальные подходы к теме были обозначены его инициаторами около десяти лет назад, когда на научных семинарах и на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН был поставлен вопрос о гражданской идентичности как ресурсе общественного развития. За прошедшее десятилетие эти исследования выросли в самостоятельную научную школу Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук.

Тематика идентичности стала одной из ключевых в научных изысканиях Центра сравнительных социально-экономических и политических исследований (ЦСЭПИ) ИМЭМО. У ее истоков стояли исследования массового сознания, которые велись здесь с 1970-х годов под руководством Германа Германовича Дилигенского (1930–2002) — авторитетного российского ученого, основателя школы изучения социально-политической психологии. Сегодня научные сотрудники Центра работают над изучением состояния массового сознания и тенденций динамики идентичности в странах Запада, в России и на постсоветском пространстве, над разработкой теоретико-методологических подходов к их анализу и прогнозированию. Особое место в этих исследованиях занимает концептуализация личностного фактора политических изменений, соединение социально-психологического и политико-институционального срезов политического анализа. Ученых из ИМЭМО РАН, составляющих самую многочисленную, опорную «команду» в составе авторского коллектива, представляют не только политологи, но и экономисты и международники, это отражает широкий междисциплинарный характер проводимых в Институте исследований.

В нашем издании приняли участие ведущие ученые из академических институтов и университетских центров России. Они представляют Москву (ИМЭМО РАН, Институт социологии РАН, Институт философии РАН, Институт этнологии и антропологии РАН, Институт географии РАН, Институт научной информации по общественным наукам РАН, Институт Дальнего Востока РАН, Институт Африки РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова, МГИМО (У) МИД России, РУДН, НИУ ВШЭ), Санкт-Петербург (СПбГУ), Пермь (Пермский государственный национальный исследовательский университет и Пермский научный центр УрО РАН), Краснодар (Кубанский государственный университет), Екатеринбург (Институт философии и права УрО РАН), Барнаул (Алтайский государственный университет), Нальчик (Кабардино-Балкарский государственный университет), Казань (Казанский государственный энергетический университет), Ставрополь (Северо-Кавказский федеральный университет).

География исследований идентичности в нашей стране, действительно, обширная. Ученых, занимающихся тематикой идентичности, объединяет Сеть по исследованию идентичности — открытый информационно-аналитический ресурс, созданный по инициативе участников этого издания в 2010 г. (научный руководитель Сети — И.С. Семененко, координатор — М.В. Назукина, см. identityworld.ru), и исследовательский комитет Российской ассоциации политической науки по политической идентичности, который регулярно проводит секционные заседания по этой тематике на форумах РАПН. Благодаря обмену научными кадрами в рамках проекта академической мобильности Седьмой рамочной программы ЕС «Европейская идентичность, культурное разнообразие и политические изменения» (2014–2017), участниками которого являются ученые из ИМЭМО РАН, Пермского ГНИУ и Кубанского ГУ, были собраны дополнительные материалы для исследования и расширена «геогра-

фия» авторского коллектива: его участником стал также известный исследователь европейской идентичности, руководитель Центра изучения политических изменений университета г. Сиены (Италия) профессор М. Котта. Несколько тематических статей были подготовлены в рамках проектов российских научных фондов — РНФ и РГНФ (РФФИ), информация об этом размещена на страницах соответствующих глав настоящего издания.

Подготовку энциклопедического издания предваряла серия публикаций участников нынешнего научного коллектива в ведущих российских и зарубежных научных журналах и два коллективных труда — сборник статей по итогам первой собравшей заинтересованных исследователей конференции «Идентичность как предмет политического анализа» (М.: ИМЭМО РАН, 2011) и двухтомное издание «Политическая идентичность и политика идентичности» (М.: РОССПЭН, 2011–2012). Эти книги вызвали заинтересованный отклик в российском научном сообществе и уже стали библиографической редкостью. По итогам обмена мнениями с коллегами было решено существенно расширить словарный формат первого тома «Политической идентичности» и разработать концепцию нового издания, аналогов которому в поле современных социальных наук пока нет.

Автор идеи и инициатор издания — руководитель ЦСЭПИ ИМЭМО РАН И.С. Семененко. Новая концепция книги формировалась в ходе научных дискуссий коллег, вошедших в состав редколлегии, из ИМЭМО РАН (В.В. Лапкин, В.И. Пантин, И.Л. Прохоренко, И.С. Семененко), КубГУ (Е.В. Морозова) и ПГНИУ (Л.А. Фадеева), которые смогли заинтересовать и привлечь к работе широкий круг известных в своих областях научных изысканий специалистов.

Дверь в мир исследований идентичности широко открыта. Мы не предполагали сформулировать окончательные и неоспоримые дефиниции терминов и понятий и, тем более, расставить все акценты: это невозможно сделать в такой динамичной области социальных наук, которую мы стремились охватить в нашем издании. Очевидно, что список понятий будет пополняться и уточняться, будут расширяться и исследования субъективной составляющей политики. Авторский коллектив очень надеется на то, что наш труд окажет влияние на структурирование научного дискурса и на формирование повестки дня исследований идентичности в политической науке, на сближение разных отраслей научного знания и становление общего поля идентитарных исследований. Мы думаем, что книга будет полезна ученым, экспертам, преподавателям и студентам, тем, кто изучает индивидуальное и массовое сознание, роль личности в политике и общественных процессах современности, взаимовлияние субъективного и объективного пространств социально-политических изменений. А также всем, кто задумывается над образом «желаемого завтра», над тем, каким может быть будущий мир и человек в этом мире.

*И.С. Семененко, член-корр. РАН,
отв. редактор издания*

Раздел первый

Идентичность: концепт, методология и области исследований

Глава 1

КАТЕГОРИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ: ПОНЯТИЕ, КОГНИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ПРИОРИТЕТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

И.С. Семененко

Ключевые слова: категория, концепт, понятие, когнитивный потенциал, индивидуальная идентичность, коллективные идентичности, дискурс идентичности, идентификация (самоидентификация), динамика идентичности, кризисы идентичности, политика идентичности, научный дискурс, политический дискурс, идентитарные исследования.

Концепт идентичности занял сегодня прочное место в арсенале общественных наук. Такое масштабное «наступление идентичности» произошло в последние два десятилетия. Споры о том, адекватно ли само понятие, зачем изучать идентичность и как это делать, какова природа идентичности, как и почему она меняется и каковы последствия этих трансформаций для личности и для общества, немного поутихли, но отнюдь не улеглись. Камнем преткновения остается вопрос: можно ли рассматривать идентичность как *сущностную категорию*, адекватно описывающую представления человека о себе и других и их проявления в социальных практиках, или это сугубо *абстрактный аналитический концепт*, способ репрезентации субъективной реальности в научном

дискурсе. В контексте изучения социальных процессов ключевой методологической проблемой остается соотнесение в рамках общего понятия «идентичности» *Я-идентичности*, характеризующей личностную индивидуальность, и *мы-идентичности*, которая указывает на общие ориентиры и, формирующиеся в процессе социальных коммуникаций в рамках групп и сообществ.

Само слово «идентичность» пришло, как и многие другие прочно укоренившиеся в социальных исследованиях термины, из латыни. Прилагательное *identicus* (от лат. *idem* — то же, тот же) сохранило корень в современных европейских языках (ср. англ. *identical* и франц. *identique* — одинаковый, тождественный, равнозначный, сходный). В русском языке слово «идентичный» в значении «тождественный», «равнозначный», «совершенно одинаковый» и производное от него существительное «идентичность» были зафиксированы в начале прошлого века в целом ряде изданных тогда же словарей иностранных слов, вошедших в состав русского языка¹.

Пионерные исследования идентичности стали ответом психологической науки на потребность в объяснении мотивации поведения человека в социальной среде, возникшей в контексте развития психоанализа. После выхода в свет работы Эрика Эриксона о становлении идентичности и психологии взросления [Erikson 1968] сформулированное им понятие «кризиса идентичности» получило признание и стало широко применяться в тех областях исследований, которые занимались изучением содержательных характеристик человеческой индивидуальности, механизмов ее формирования и включения «я» в систему социальных связей общества. Это, в первую очередь, психология и социальная педагогика, психиатрия, социальная и культурная антропология. Осмысление структуры сознания и механизмов психологического конструирования социальной реальности, начало изучению которых положили написанные в 1920-е годы труды В.С. Выготского [см. Выготский 2005], стимулировали исследования культурно-исторической природы человеческой психики и также проложили «мостик» к изучению индивидуальной идентичности и ее социальных и культурных оснований. Концепт социальной идентичности был обоснован спустя полвека американскими учеными Г. Тэджфелом и Дж. Тёрнером для объяснения природы межличностных и групповых взаимодействий и их взаимовлияния [см. Tajfel 1982]. Он получил развитие в разработанном этими авторами понятии самокатегоризации как процесса определения себя через принадлежность к группе «себе подобных» [Turner 1987].

¹ См.: Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Составлен по Энциклопедическому словарю Ф. Павленкова, с соответствующими сокращениями в объяснении слов и добавлениями в их числе. 2-е издание Ф. Павленкова. 1907. СПб.: Типография Ю.Н. Эрлихъ. 368 с.; Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. Составил по лучшим источникам М. Попов. 3-е издание. С дополнением отдела политических, экономических и общественных терминов, вошедших в употребление в русском языке за последнее время. 1907. СПб.: Издание Т-ва И.Д. Сытина. 458 с.; Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Материалы для лексической разработки заимствованных слов в русской литературной речи. Составлен под ред. А.Н. Чудинова. Издание 3-е. 1910. СПб.: Издание В.И. Губинского. 240 с.

Острая потребность в аналитической категории, которая могла бы отразить психологические и социальные характеристики субъективной реальности в их взаимосвязи, была осознана в социогуманитарных исследованиях в последние десятилетия XX века. Нынешний взрыв интереса к идентичности стал ответом на усложнение институциональных основ и стремительный рост многообразия общественной среды, на появление новых угроз экзистенциальным основаниям жизни человека. Качественные изменения характера производства и сферы трудовых отношений потребовали не только объяснения, но и оценки возможностей и ограничений для нынешнего и будущих поколений политики перераспределения общественных ресурсов в рамках модели социального государства и наличных механизмов политико-правового регулирования. Социогуманитарное знание оказалось перед эпохальным когнитивным вызовом: общественные трансформации перестали укладываться в привычные рамки динамики институтов, идей и идеологий, интересов и потребностей социальных групп, анализ которых традиционно находился в центре внимания социальных наук. Выявление мотиваций социальной деятельности и, главное, оценка перспективных траекторий и альтернатив общественного развития стали самыми актуальными исследовательскими задачами.

Эти приоритеты четко обозначились в условиях, когда проявились когнитивные ограничения таких популярных объяснительных моделей, как глобализация, «конец истории», «волны демократизации», «демократический транзит», формировавшие научный дискурс о развитии на рубеже 2000-х годов. Сама принципиальная возможность выделения однонаправленного магистрального тренда общественных изменений и тем более разработки всеохватной объяснительной модели была поставлена под сомнение и переосмыслена. Понимание развития как совокупности нелинейных процессов, идущих в разном для разных обществ и сообществ социальном времени, стимулировало поиски «общих знаменателей» происходящих стремительных перемен в сознании, культурных нормах и институтах взаимозависимого мира.

Одним из таких «знаменателей» стала идентичность. Это редкий пример укоренения в обыденном сознании категории научного дискурса, которое, в свою очередь, стимулировало новый виток поисков возможностей адекватно отразить меняющиеся представления о субъективной реальности, формирующейся в социальных взаимодействиях. «Секрет» популярности этого многомерного концепта — в связанных с ним ожиданиях получить ответ на неразрешенный с помощью привычного инструментария социогуманитарного знания вопрос: как гармонично соотнести социальные потребности и приоритеты развития современного общества с ценностями и смыслами человеческого бытия. И, что не менее важно, в надеждах «открыть» с его помощью источники социального творчества. В конечном счете — прояснить глубинные механизмы социальных и культурных изменений, определяющие перспективы общественного развития. Дискурс идентичности стал рассматриваться как действенный механизм конструирования социальной реальности, а динамика идентичности — как один из значимых

маркеров социальных трансформаций, описывающих включенность человека в социальные процессы.

В общественных науках освоение методов изучения субъективного пространства социальной реальности происходило постепенно в контексте развития «понимающей социологии». Структурный подход открыл понимание социального времени, в котором человек изменяется сам, а его представления о мире и о себе меняют социальную среду. Исследования менталитета, инициированные французской Школой Анналов в контексте исторической антропологии [Блок 1986; Февр 1991] и «возвращения» политической истории [Ле Гофф 2001], ориентировали на поиски смыслов и мотиваций человеческого поведения путем интерпретации мировосприятия, представлений и стереотипов мышления в исторической ретроспективе. Изучение политической культуры [Almond, Verba 1963] наметило пути экстраполяции этих подходов на анализ политического поведения на уровне национальных сообществ и групп в их составе.

Решить задачу концептуального синтеза всего комплекса оснований социальной деятельности — ценностных, определяемых духовными ориентирами и нравственными установками человека, эмоциональных, заданных его психическим складом, и рационально мотивированных интересами и потребностями, соединить индивидуальный и коллективный срезы социального опыта, зафиксировать состояние и одновременно отразить динамику представлений человека о своем месте в мире и о своем «я» выпало на долю концепта идентичности.

Использование категории идентичности позволило поставить в центр внимания мотивацию индивидуального выбора жизненных траекторий человека в социально обусловленном контексте. При всем внимании к социальным проявлениям идентичности основной массив исследований по-прежнему сосредоточен на изучении психологических оснований ее индивидуальной динамики [Leary, Price Tangney 2012; McLean, Syed 2014], на психологической мотивации и поведенческих аспектах самоидентификации индивида с группой и сообществом [Benet-Martínez, Hong 2014]. Научный дискурс неизменно выстраивается вокруг традиционного психологического направления и питается от его истоков — работ Эрика Эриксона, Эрвинга Гоффмана и их предшественников — классиков психоанализа и пионеров символического интеракционизма.

Обширная и стремительно прирастающая литература посвящается полевым исследованиям мотиваций и моделей поведения носителей разнообразных идентичностей и механизмам проявления групповых идентификаций в социальных отношениях. Предметом пристального внимания стали национальная, гражданская, этническая, религиозная, профессиональная, гендерная и другие проекции идентичности, описывающие траектории трансформации базовых структур современных обществ. Исследовательская повестка дня продолжает прирастать и уточняться, о чем свидетельствует внушительный список анализирующих различные ракурсы социальной идентичности энциклопедических изданий, появившихся только в последние годы [см., напр.: Jackson, Hogg 2010; Schwartz, Luyckx, Vignoles 2011; Elliot 2011; см. также: Политическая идентичность... 2011; 2012].

Разные методологические подходы работающих в поле идентитарных исследований авторов создают богатую и пеструю мозаику представлений о субъективном измерении социальной реальности, в которой мы живем. В социально-философском дискурсе обращение к идентичности на рубеже нынешнего века плодотворно сказалось на осмыслении природы современности, обусловленной изменениями в характере социальных взаимодействий. Через изучение динамики идентичности удалось, как показали масштабные исследования взаимосвязи социального пространства и социального времени [Бек 2000; Бауман 2005; Bauman 2004; Castells 2010a (1997)], выявить перекрестное влияние объективных и субъективных составляющих общественной жизни, научного знания и обыденных представлений о мире [Billig 1995]. В этом последнем контексте стремительно растет популярность изучения разнообразных механизмов репрезентации идентичности в публичном пространстве, ее представленности в сфере искусства и в массовой культуре, в потребительских практиках, в быту [см., напр. Edensor 2002]. Повседневность сама становится источником формирования новых дискурсов идентичности.

Включение идентичности в социально-философский контекст анализа тенденций современного развития придало новый импульс современному социогуманитарному знанию. Категория идентичности укоренилась в правовом поле: граждан идентифицируют с помощью удостоверения личности (идентичности — identity card). Она широко используется в социологических, исторических и культуральных исследованиях, в религиоведении, этнологии и антропологии, лингвистике, культурной и социальной географии, искусствоведении. Речь идет о тех сферах научного знания, где четко обозначилась неудовлетворенная потребность в осмыслении механизмов отражения индивидуального сознания в коллективных представлениях и формах социального поведения, в объектах материального мира и мира идей. Сегодня можно говорить об определенном «междисциплинарном консенсусе», основанном на понимании идентичности как субъективно конструируемого феномена, соотносимого с конкретными реалиями «маркеров» идентичности; при этом анализ использования концепта свидетельствует о том, что «каждая дисциплина имеет определенные методологические и методические ограничения, не позволяющие понять изучаемый феномен во всем его многообразии» [Филиппова 2010: 42]. Потребность в междисциплинарном подходе остается во многом не реализованной. Думается, что шагом вперед на этом пути могут стать прояснение категорий и понятий, поиски определенного понятийного консенсуса и более строгое использование понятий в научном дискурсе. Для российского (и не только российского) научного дискурса актуальной применительно к концепту идентичности задачей остается поднятая М.В. Ильиным еще два десятилетия назад в контексте дискуссии о категориях политической науки необходимость «демифологизировать и рационализировать заимствуемые понятия, связать их как с политической прагматикой, так и с отечественными духовными традициями» [Ильин 1994: 131].

Что касается непосредственно политических исследований, то соотношение массового и индивидуального сознания, личностное измерение политического процесса в его взаимодействии с измерением групповым, общественным долгое время оставались на периферии исследовательского внимания. Но и здесь можно отметить вехи включения этой тематики в поле политических исследований, в том числе в отечественном научном наследии, в частности, в работах Г.Г. Дилигенского, основоположника российской научной школы социально-политической психологии [Дилигенский 1994; 2002]. Труды российского ученого дали импульс осмыслению идентичности как категории политического анализа [Идентичность как категория 2011; Политическая идентичность и политика идентичности 2011].

В политической науке концепт идентичности утверждался в процессе расширения предметного поля политических исследований и самого понятия «политического». Категория идентичности оказалась достаточно емкой для того, чтобы соединить (на уровне социальных групп и сообществ разной природы и конфигурации — от профессиональных до национально-государственных) индивидуальный и надывдивидуальный срезы сознания и поведения в политической сфере. В результате появилась возможность преодолеть системные ограничения политико-институционального анализа, расширить границы знаний о природе политических коммуникаций, стимулировать политическое воображение. Осмысление политического пространства, символической политики, политической картины мира, сетевых форм политических взаимодействий и реалий «сетевого общества» во многом опирается на идентитарные исследования [см.: Прохоренко 2015; Малинова 2015; Самаркина 2011; Морозова, Мирошниченко, Рябченко 2016]. *Категория идентичности позволила отразить одновременно состояние и динамику общественных настроений, сопряженную с ними рефлексию их носителей и отображение такой рефлексии в дискурсивных практиках и в политическом действии.*

Трактовку идентичности в ее индивидуальном измерении отличает внутренняя смысловая многомерность: она указывает не только на тождественность (соотнесенность с кем-то и чем-то, кто / что задает значимую для носителя идентичности референтную систему координат) и отличия от «других», но и на «самость» («кто я»). Этот «парадокс» идентичности задан раздвоением ее понимания как «тождественности» (*idem*) и как «самости» (*ipse*) [Ricoeur 1990: 140]. Французский философ Поль Рикёр, сформулировавший эту двойственную сущность идентичности в ясной и лаконичной форме, указывает на нарративную идентичность как проявление диалектического взаимодействия и связанности двух ее ракурсов [ibid.: 167]. Сходство, тождественность и самость, уникальность выступают как антиномии процесса самоидентификации: «онтологическому созиданию личности внутренне присуща диалектика одинаковости и самости» [Гуревич, Спирина 2015: 303].

Понимание неиерархического характера личностной идентичности, совместимости в ней разных составляющих и ситуативной значимости тех или иных из них стало нормой научного дискурса. Внимание к индивидуальному

«я» (self) в контексте текущего социального времени [см. Giddens 1991] формирует актуальные нарративы идентичности. Саморефлексия вокруг таких нарративов и ее отражение в изменениях культурной нормы и в динамике институтов стали неотъемлемой характеристикой «текущей современности» [Bauman 2000].

Идентичность подвижна, она конструируется в процессе социальных взаимодействий и отражает способность человека осмысливать себя и свое место в мире в процессе соотнесения с другими. Та или иная групповая идентичность утверждается в ходе социального конструирования реальности и социальна по своей сущности. С помощью этого социального конструкта осуществляется «многомерное картографирование мира, который находится в постоянном движении, [определение] нашего места в этом мире и места других» [Jenkins 2010: 769]. Можно вспомнить Уолдена, автобиографического героя романа американского мыслителя и писателя Генри Торо (1854), «временного жителя цивилизованного мира», доказывавшего возможность существования вне общества своим двухлетним опытом жизни в лесу: он строит свою идентичность на противостоянии ценностям материального благополучия и успеха, уже тогда овладевавшими его современниками. Для героя Торо жизнь вне принятой системы социальных связей становится той идентичностью, которая утверждается постольку, поскольку есть референтные нормы и институты социума, которые отторгаются в личном опыте.

Если понятие идентичности «может озадачивать», то тем более «глубоко противоречив» ее «живой опыт» [Elliot 2011: xii]. Одержимость людей XXI века целенаправленным конструированием и сменой идентичностей — имманентно присущая черта современного общества потребления. Идентичность рассматривается как «личный проект», а быстрая смена идентичностей — как императив включенности в новое социальное время, в Современность. Дилемма включенности / исключенности встает как проблема морально-этического выбора личности. «Текучим» идентичностям, олицетворяющим «текущую современность», противостоят архаизированные идентичности, которые могут быть и осознанным (или бессознательным) протестом против этой реальности.

Как формы отражения субъективных представлений о себе и о других, утверждающиеся в ходе соотнесения себя со значимыми «другими», идентичности существовали всегда, но люди не осмысливали свой жизненный опыт в таких многослойных смысловых категориях. И если указать на то, когда началось изучение идентичности, можно вполне определенно, то выявить потенциал использования этой категории для анализа реалий близкого и тем более далекого прошлого еще предстоит с помощью системных исторических изысканий. Традиционные общества с жестко предопределенными жизненными траекториями и устойчивыми идентичностями эволюционировали под влиянием социальной мобильности индустриальной эпохи. Радикальные изменения в характере труда в условиях постиндустриального общества сопровождались и продолжают сопровождаться размыванием привычной картины мира. Информационная среда «сетевого общества» стимулирует

фрагментацию идентичностей и умножает формы их представления в публичном пространстве. Сетевая идентичность стала особой формой саморепрезентации в виртуальном пространстве социальных коммуникаций.

Ускорение и усложнение социальных трансформаций, определяющие вектор развития современных обществ, превратили процессуальность и изменчивость в социальную норму. Но они не сняли потребности человека в ориентирах и референтных системах координат для выстраивания жизненных траекторий, для понимания собственного «я» и своего места в мире. Я-идентичность и стала своего рода зеркалом отражения субъективного восприятия себя относительно других и других в себе, формой осмысления собственного экзистенциального опыта в контексте социальных отношений.

В процессе самоидентификации с референтным сообществом происходит усвоение комплекса культурных норм, выполняющих функции социализации, социального контроля и регулирования. Такая самоидентификация может быть объектом несвободного выбора, заданного рамками аскриптивной идентичности. Но в современных условиях, когда нормой становится многоуровневый и многосоставный характер идентичности, определяющим условием выбора оказывается не только качество социальных институтов, их способность к трансформации в соответствии с потребностями развития личности и общества, но и нравственные позиции личности, готовность поддерживать других и реализовывать свой творческий потенциал во взаимодействии с другими, выходить за пределы собственного «я» и интересов «своего» сообщества. В конечном счете — и за пределы социального бытия в поисках глубинных смыслов существования и первооснов жизненного выбора, для многих — на путях веры.

Действительно, «экзистенциальный опыт “вершинных переживаний” дает человеку ощущение высших смыслов существования»; экзистенциальную (бытийную, онтологическую) идентичность определяют «мета-потребности», «осознание себя и своего существования в контексте Бытия, ощущение своей принадлежности к Бытию» [Гришина 2015]. Публичная сфера и сфера политического не являются в этом смысле исключением: мотивация социальной активности личности во многом определяется ее внутренними потребностями и вопрошаниями, которые каждый разрешает в рамках личного жизненного опыта, строя отношения с другими людьми. В центре такого опыта — разрешение бытийных проблем свободы и ответственности за свой свободный выбор. Включение этого сущностного для личностного самоопределения измерения идентичности в контекст анализа социальных изменений актуализирует уже упоминавшуюся задачу методологического синтеза разных сфер социогуманитарного знания, соединения разных уровней рефлексии и саморефлексии.

Критически важная для социальных наук методологическая задача заключается в разведении идентичности как аналитической категории и ее трактовки в качестве практики социальной коммуникации. Постоянно происходящее смешение смыслов, которые вкладываются в это понятие и в научном, и в политическом

дискурсах, мешает выстроить убедительную методологию изучения идентичности и «вооружает» некоторых авторитетных исследователей аргументами против самого концепта. Так, с позиций структурализма идентичность видится «чем-то вроде пустого очага» (*une sorte de foyer virtuel*); это точка отсчета для объяснения определенных вещей, но, как полагает Клод Леви-Стросс, «реального наполнения у нее нет» [Identité 1977: 332]. Американские исследователи Роджерс Брубейкер и Фредерик Купер в широко цитируемой в критическом контексте полемической статье предлагают отказаться от «перегруженного противоречивыми смыслами концепта» и призывают заменить «идентичность» на другие, более четкие понятия, отражающие принадлежность человека к сообществу. Они считают, что «сосредоточенность идентитарных исследований на связанных общей идентичностью группах ограничивает социологическое и политическое воображение, тогда как альтернативные аналитические категории могут помочь их преодолеть» [Brubaker, Cooper 2000: 20-21, 35]. Однако ни они, ни другие авторы не предлагают адекватных решению этой задачи емких категорий.

В рамках критической аргументации речь идет, однако, не столько о самом понятии, сколько о неудовлетворенности его размытым толкованием и неадекватным использованием. В частности, подменой понимания процессуальности утверждения идентичности ее трактовкой как «субстанции, не подверженной изменению сущности», как объекта «гипостазирования», опредмечивания абстрактной сущности, создающего, по выражению российского философа Владимира Малахова, серьезные «неудобства с идентичностью» [Малахов 1998: 53]. Между тем, как полагает американский социолог Чарльз Тилли, скорее «стоит разобраться с пониманием идентичности», прояснить содержательные характеристики этого многомерного концепта как *проявления взаимодействий, всегда ситуативных и всегда социально обусловленных* [Tilly 2003: 608]. Думается, что ключи к «лабиринтам идентичности» можно и нужно искать на этом пути.

В спорах вокруг идентичности на первый план выдвигается *вопрос о возможностях использования когнитивного потенциала этого концепта для того, чтобы компенсировать фрагментарность нашего понимания природы социальных взаимодействий* и тем самым способствовать преодолению разрывов в социальной ткани современных обществ. Привычные категории сознания, самосознания, менталитета, самоопределения перестали удовлетворять запрос на объяснение многомерности социальных изменений. Проблема здесь в назревшей потребности пересмотреть сложившуюся исследовательскую парадигму, найти механизмы поддержания соответствия между динамикой изменений и возможностями их осмысления. В социальных науках эту задачу решает научное предвидение; социальной дезинтеграции современных обществ соответствует кризис знания об общественном развитии [см. Политические изменения 2014]. И если эпистемологические ограничения трактовки базовых структур общества сегодня очевидны, то отнюдь не очевидны пути их преодоления. Немало критических соображений выдвигается, например, в отношении понимания нации как базовой структуры общественного устройства.

Если нация — это воображаемое сообщество, то его можно помыслить иначе, за рамками привычной дихотомии политико-гражданской / этнокультурной природы, на путях синтеза и появления новых качественных характеристик. И, соответственно, искать пути трансформации политических институтов и альтернативные модели политико-институционального устройства, чему есть примеры в опыте наднациональной экономической и политической интеграции или трансграничного взаимодействия регионов. Такой опыт опирается на конструирование новых идентичностей, но пределы и ограничения конструктивистского подхода тоже нельзя упускать из виду, и выявить их — одна из задач, стоящих перед исследователями дискурсов идентичности и практик их бытования.

Другой серьезный ограничитель теоретико-методологического характера в использовании когнитивного потенциала идентитарных исследований — *необходимость каждый раз определять уточняющие категорию идентичности координаты в соответствии с предметом анализа*. Сегодня в социальных науках эта система координат строится вокруг уточняющих понятие идентичности определений, которые дают исследователям возможности интерпретации их сущностных характеристик. Аналогичные трудности возникают, впрочем, и в отношении других категорий, которые рассматриваются как базовые для понимания современного общества: неслучайно умножение демократий, капитализмов или национализмов «с прилагательными». Общие понятия не отражают растущего многообразия их социальных проявлений. Прилагательные указывают на перевод аналитической категории «идентичности вообще» в разряд категории социокультурной, характеризующей определенную картину мира, мировоззрения и мировосприятия, статусы и модели поведения ее носителей.

Разведение в анализе категории и сущности, которую эта категория описывает, пусть и с уточняющими качественными определениями, оказывается тем вызовом, который социальные науки решают путем иллюстрации теоретических положений конкретными полевыми исследованиями. Использование категории идентичности для объяснения субъективной стороны политического нуждается не только в теоретической концептуализации, но и в эмпирической верификации. Для наполнения среднего уровня анализа — между дискурсом и «моментальными снимками» форм сознания и их отражениями в паттернах поведения в публичной сфере — необходимо раздвинуть привычные рамки социологического редукционизма. Иначе серьезным вызовом для осмысления природы коллективных идентичностей и механизмов их мобилизации оказывается неспособность современного научного знания разглядеть за динамичными трендами общественных настроений их эмоциональную наполненность, неумение измерить «градус» тех или иных групповых и индивидуальных предпочтений. Потенциал политического использования соответствующих дискурсов идентичности, например, потенциал политизации этничности, оказывается в результате плохо предсказуемым. Здесь на помощь исследователям может прийти изучение повседневного опыта представ-

ления и продвижения коллективных идентичностей. Хотя репрезентативность результатов такого рода «точечных» изысканий и их обобщений нуждается, как подчеркивают работающие в этом поле исследователи, в тщательной верификации, но они открывают новые возможности в понимании механизмов самоидентификации и формирования идентичности, выходящие за рамки традиционных подходов [Pawlusz & Seliverstova 2016: 82-83].

Включение индивидуального опыта в социальный опыт групп, социальных страт, классов и сообществ ставит ключевой вопрос о механизмах трансформации составляющих личностной идентичности в идентичности групповые («коллективные»), переплавляющие индивидуальные предпочтения в общие социальные, культурные и политические практики. Невнимание к таким механизмам чревато уже упомянутой реификацией (гипостазированием), приданием абстрактным теоретическим конструктам значения реальных социальных сущностей [Миненков 2011: 19]. Это открывает пути целенаправленного использования дискурсов идентичности для политического манипулирования и продвижения групповых интересов. Так, трактовка политики идентичности как «мягкой идеологии» ставит проблему «борьбы за идентичность» в политическую повестку дня. Ее цели могут быть очень разными: от права на признание и свободное выражение своих взглядов до утверждения исключительности своей группы, например, ее этнической «чистоты», или агрессивного отстаивания узкогрупповых интересов под флагом «права на идентичность». Перед государством как субъектом такой политики встает задача выстроить эффективную систему «обратной связи» с другими ее участниками, а в изучении соответствующих практик важно учитывать не только управленческие инициативы, идущие «сверху», но и их восприятие «снизу», соответствующий общественный запрос и формы самоорганизации для продвижения и репрезентации идентичностей. Ключевой вопрос о психологических механизмах, определяющих эффективность реализации политики идентичности на уровне групп и сообществ, принципиально важен для понимания природы политического экстремизма и конфликтности в современных обществах.

Сегодня в повестке дня социальных наук остро стоят задачи совмещения *анализа динамики идентичностей и динамики институтов*, а также разработки адекватных методологических инструментов для такого анализа. Продвижение исследований на этом направлении [см. Панов 2011; Политическая идентичность... 2012; Борьба за идентичность... 2012] открывает новые возможности для прогнозирования политических изменений и их вероятных институциональных форм на основе оценки мотиваций и потребностей вовлеченных в политические взаимодействия субъектов, их представлений о «должном» и возможном. Выявление ожидающих мир вызовов и возможностей развития определяет горизонты прогнозирования трансформаций современного миропорядка [Мир 2035. Глобальный прогноз. 2017: 11]. В контексте прогнозирования социальных и политических изменений важное место занимает оценка сдвигов, происходящих в структуре потребностей современного человека

и его идентичности [см. Глобальная перестройка 2014; Политические изменения... 2014].

Вопрос о совместимости разных значимых для человека самоидентификаций — предмет обширнейшей литературы, посвященной динамике национальной и гражданской идентичности и перспективам подвижения новых идентичностей. Так, перипетии развития интеграционных процессов в современной Европе указывают на серьезные вызовы, угрожающие основам той европейской солидарности, которая является образом «желаемого завтра», и формированию общих ориентиров европейской идентичности в условиях актуализации национальных, территориальных, этнических самоидентификаций. Значение европейской идентичности для реализации европейского интеграционного проекта, практики ее конструирования и формы проявления стало предметом пристального исследовательского внимания [см., напр.: Cerutti, Lucarelli 2008; Risse 2010].

«Динамические противоречия» политической трансформации России определяют рост социального неравенства и углубление социокультурных размежеваний в российском социуме [Лапкин 2012]. Поэтому ключевой для прогнозирования перспектив развития вопрос о природе и динамике российской гражданской идентичности принципиально важен для понимания модернизационного потенциала российского общества [Дилигенский 2002; Холодковский 2013].

Действительно, какие качественные характеристики социальной идентичности определяют, а какие могут тормозить развитие, повышение качества духовной и социальной среды обитания человека? Как формируется общественный запрос на инновации в сфере публичной политики, в государственном управлении, в образовании или организации здравоохранения? Как появляется питательная среда для развития социального творчества и социокультурной модернизации? Социология действия, на когнитивный потенциал которой еще недавно возлагались большие надежды [см. Touraine 1965], эти надежды оправдала только отчасти. Между тем появление протестных сообществ (*protest publics*) на волне сетевой самоорганизации свидетельствует о соединении когнитивных (интеллектуальных) и аффективных (чувственно-эмоциональных) компонентов сознания в действиях, нацеленных на политико-институциональные изменения. В результате сетевых коммуникаций новые формы социальных связей появляются вне привычных институтов и практик. Оценить ресурсы их солидарного взаимодействия и перспективы влияния на политический режим можно, опираясь на анализ ценностных предпочтений, мотиваций и эмоциональных состояний, отраженных в приоритетах и «температуре» (наполненности) политической самоидентификации.

Продвинуться по пути приращения когнитивного потенциала концепта идентичности возможно в рамках формирования в социальных науках дискурса по проблемам развития и роли личности в общественных изменениях. Такого общего дискурса пока нет, и его отсутствие можно объяснить двумя группами причин. С одной стороны, сложностью и быстрой изменчивостью

объекта познания — кризисом идентичностей, размыванием значимых для личности оснований бытия под напором культа потребительства, подменой его духовных оснований иными ценностями и смыслами. С другой стороны — дефицитом междисциплинарных исследований, способных продвигаться по пути преодоления того «первородного греха» социальных дисциплин, о котором писал Иммануил Валлерстайн: «Нам было завещано ужасное наследство: уверенность в том, что социальная реальность размещается в трех различных и не связанных между собой областях: политической, экономической и социокультурной» [Wallerstein 1991: 264].

Научное сообщество может сказать веское слово в осмыслении нынешней социальной реальности, в продвижении образа и реальности «хорошего общества» [Федотова 2005]. В первую очередь — путем формирования нарративов развития человека и общества, отвечающих новым политическим, культурным, духовным вызовам, задачам продвижения современных обществ по пути *ответственного развития*. Ключевая детерминанта такого развития — способность нравственного суждения человека о мире и о своей ответственности за происходящее в этом мире. Она определяет ценностные горизонты личностной идентичности в меняющемся мире.

Литература

- Бауман З. 2005. *Индивидуализированное общество*. М.: Логос. 390 с. [Bauman Z. 2001a. *The Individualized Society*. Cambridge: Polity Press. 272 p.]
- Бауман З. 2008. *Текущая современность*. СПб.: Питер. 240 с. [Bauman Z. 2000. *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press. 228 p.]
- Бек У. 2000. *Общество риска. На пути к другому модерну*. М.: Прогресс-Традиция. 383 с. [Beck U. 1986. *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 396 s.]
- Блок М. 1986. *Апология истории*. М.: Наука. 259 с. [Bloch M. 1949. *Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien*. Paris: Armand Colin. 110 p.]
- Борьба за идентичность и новые институты коммуникации (отв. ред. П.В. Панов, К.С. Сулимов, Л.А. Фадеева)*. 2012. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 263 с.
- Выготский Л.С. 2005. *Психология развития человека*. М.: Издательство Смысла; Эксмо. 1136 с.
- Глобальная перестройка (отв. ред. А.А. Дынкин, Н.И. Иванова)*. М.: Издательство «Весь Мир». 2014. 528 с.
- Гришина Н.В. 2015. Экзистенциальная психология в поисках своего вектора развития. — *Психологические исследования*. Т. 8. № 42. Доступ: [http://psystudy.ru/index.php/ num/2015v8n42/1167-grishina42.html](http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n42/1167-grishina42.html) (проверено: 06.03.2017).
- Гуревич П.С., Спирина Э.М. 2015. *Идентичность как социальный и антропологический феномен*. М.: Канон+; РООИ «Реабилитация». 368 с.
- Дилигенский Г.Г. 1994. *Социально-политическая психология*. М.: Наука. 304 с.
- Дилигенский Г.Г. 2002. *Люди среднего класса*. М.: Институт Фонда «Общественное мнение». 285 с.
- Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции. (Редколлегия сборника: И.С. Семенов (отв. ред.), Л.А. Фадеева (отв. ред.), В.В. Лапкин, П.В. Панов)*. 2011. М.: ИМЭМО РАН. 299 с.
- Ильин М.В. 1994. Политический дискурс: слова и смыслы. — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 127–140.

- Лапкин В.В. 2012. *Политическая модернизация России в контексте глобальных изменений*. М.: ИМЭМО РАН. 140 с.
- Ле Гофф Ж. 2001. *Средневековый мир воображаемого*. М.: Издательская группа «Прогресс». 440 с.
- [Le Goff J. 1985. *L'imaginaire medieval*. Paris: Editions Gallimard. 392 p.]
- Малахов В.С. 1998. Неудобства с идентичностью. — *Вопросы философии*. № 2. С. 43–53.
- Малинова О.Ю. 2015. *Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности*. М.: РОССПЭН. 207 с.
- Миненков Г.Я. 2011. Идентичность как предмет политического анализа. — *Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 1. Идентичность как категория политической науки. Словарь терминов и понятий (отв. ред. И.С. Семененко)*. М.: РОССПЭН. С. 18–25.
- Мир 2035. *Глобальный прогноз. 2017 (под ред. А.А. Дынкина; ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН)*. М.: Магистр. 352 с.
- Морозова Е.В., Мирошниченко И.В., Рябченко Н.А. 2016. Фронтис сетевого общества. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 60. № 2. С. 83–97.
- Панов П.В. 2011. *Институты, идентичности, практики: теоретическая модель политического порядка*. М.: РОССПЭН. 230 с.
- Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 1. Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий (отв. ред. И.С. Семененко)*. 2011. М.: РОССПЭН. 208 с.
- Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 2. Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке (отв. ред. И.С. Семененко)*. 2012. М.: РОССПЭН. 471 с.
- Политические изменения в глобальном мире: теоретико-методологические проблемы анализа и прогнозирования (редколлегия: И.С. Семененко (отв. ред.), В.В. Лапкин, В.И. Пантин)*. 2014. М.: ИМЭМО РАН. 218 с.
- Прохоренко И.А. 2015. *Пространственный подход в исследовании международных отношений*. М.: ИМЭМО РАН. 111 с.
- Самаркина И.В. 2011. *Политическая картина мира*. Краснодар: КубГУ. 250 с.
- Турен А. 1998. *Возвращение человека действующего. Очерк социологии*. М.: Научный мир. 204 с.
- [Touraine A. 1984. *Le retour de l'acteur. Essai de sociologie*. Paris: Fayard. 341 p.]
- Февр Л. 1991. *Борьба за историю*. М.: Наука. 629 с. [Fevre L. *Combats pour l'histoire*. Paris: Armand Colin, 1953. 456 p.]
- Федотова В.Г. 2005. *Хорошее общество*. М.: Прогресс-Традиция. 544 с.
- Филиппова Е.И. 2010. *Территории идентичности в современной Франции*. М.: ФГНУ «Росинформ-агротех». 300 с.
- Холодковский К.Г. 2013. *Самоопределение России*. М.: РОССПЭН. 326 с.
- Almond G., Verba S. 1963. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. London: Sage. 574 p.
- Bauman Z. 2004. *Identity. Conversation with Benedetto Vecchi*. Cambridge, Malden: Polity Press. 104 p.
- Benet-Martinez V., Hong Y. 2014. *Oxford Handbook of Multicultural Identity: Basic and Applied Psychological Perspectives*. Oxford, Oxford University Press. 560 p.
- Billig M. 1995. *Banal Nationalism*. London: Sage. 208 p.
- Brubaker R., Cooper F. 2000. Beyond “identity”. — *Theory and Society*. Vol. 29. No. 1. P. 1–47.
- Castells M. 2010. *The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture*. Vol. II, 2nd ed. with a New Preface. Malden (Ma), Oxford (UK), Chichester (UK): Wiley-Blackwell. 584 p.
- Edensor T. 2002. *National Identity, Popular Culture and Everyday Life*. Oxford, New York: Berg. 216 p.
- Encyclopedia of Identity (ed. by R.L. Jackson, M.A. Hogg)*. 2010. Thousand Oaks CA: Sage Publications. 953 p.
- Erikson E. 1968. *Identity: Youth and Crisis*. New York: W.W. Norton & Co. 336 p.
- Giddens A. 1991. *Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press. 264 p.
- Handbook of Identity Theory and Research (ed. by S. Schwartz, K. Luyckx, V. Vignoles)*. 2011. New York: Springer. 998 p.

- Handbook of Self and Identity* (ed. by M. Leary, T.J. Price). 2012. New York: The Guilford Press. 754 p.
- Identité. Séminaire interdisciplinaire dirigé par Claude Lévi-Strauss, Professeur au Collège de France, 1974-1975*. 1977. Paris: Grasset. 348 p.
- Jenkins R. 2010. Society and social identity. — *Encyclopedia of Identity* (ed. by R.L.II Jackson, M.A. Hogg). Thousand Oaks CA: Sage Publications. Vol. 2. P. 766–773.
- Oxford Handbook of Identity Development* (ed. by K. McLean, M. Syed). 2014. Oxford: Oxford University Press. 624 p.
- Pawlusz E. & Seliverstova O. 2016. Everyday Nation-Building in the Post-Soviet Space. Methodological Reflections. — *Studies of Transition States and Societies*. Vol. 8. No 1. P. 69–86.
- Ricœur P. 1990. *Soi-même comme un autre*. Paris: Éditions du Seuil. 425 p.
- Risse T. 2010. *A Community of Europeans? Transnational Identities and Public Spheres*. Ithaca: Cornell University Press. 304 p.
- Routledge Handbook of Identity Studies* (ed. by A. Elliot). 2011. Abingdon, Oxon, New York: Routledge. 407 p.
- Social Identity and Intergroup Relations* (ed. by H. Tajfel). 1982. Cambridge: Cambridge University Press. 532 p.
- The Search for a European Identity: Values, policies and legitimacy of the EU* (ed. by F. Cerutti, S. Lucarelli). 2008. London, New York: Routledge. 256 p.
- Tilly Ch. 2003. Political Identities in Changing Polities. — *Social Research*. Vol. 70. No. 2. P. 605–620.
- Turner J. 1987. *Rediscovering the Social Group: A Self-Categorization Theory*. Oxford: Basil Blackwell. 216 p.
- Wallerstein I. 1991. *Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth-Century Paradigms*. Cambridge MA: Basil Blackwell. 286 p.

Глава 2

ИДЕНТИЧНОСТЬ И СОПРЯЖЕННЫЕ ПОНЯТИЯ: КОНТУРЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОЛЯ

К.Г. Холодковский

Ключевые слова: (само)идентификация, общественное сознание, массовое сознание, классовое сознание, политическое сознание, политическая культура, субкультуры, менталитет, национальный характер, мировоззрение.

Увеличение динамизма и изменчивости в общественном развитии и вызванные этим качественные сдвиги в социально-политическом укладе большинства стран во второй половине XX — начале XXI века, связанные с переходом к информационному обществу и противоречивыми процессами — глобализацией и локализацией, массовизацией и атомизацией социума, резким умножением структур и институтов, уменьшением значения одних из них и выдвиганием на первый план других, не только повысили значение социокультурных факторов в жизни человечества, но объективно расширили и усложнили исследовательское поле общественных наук. Они потребовали выхода за узкодисциплинарные методологические пределы, породили необходимость совместных и скоординированных усилий разных отраслей обществоведения. Они поставили в повестку дня поиск научной категории, наилучшим образом подходящей не только для структурирования социокультурной сферы, но и для анализа социокультурных оснований общественных процессов — адекватно отражающей происходящие изменения, выявляющей сложный и многообразный, многоуровневый характер имеющих место взаимодействий, внутренний динамизм современной ситуации и притом органичной для всего комплекса социогуманитарных наук.

Таким научным понятием оказалась идентичность — категория, предложенная Э. Эриксоном в середине XX века [Erikson 1968] и нашедшая широкое применение в социологии, социально-политической психологии, а затем и в политологии уже к началу XXI века. Однако сам факт ее выдвигания на первый план требует, в числе прочего, соотнесения ее с понятиями, ранее в разных науках более или менее успешно выполнявшими функции аналитики и типологизации социокультурных феноменов (да и теперь не утратившими во мно-

гом своих функций), требует выявления тех преимуществ, которые придают ей столь важное значение для нескольких научных дисциплин. Последнее время исследования ведутся на стыке разных наук, но их специфика сохраняется не только в смысле различения исследовательских полей, но и в подходах и как следствие — в терминологии.

Среди понятий, относящихся к сфере духовного опыта человечества, важнейшее место занимает категория сознания со многими производными («общественное сознание», «массовое сознание», «классовое сознание», «политическое сознание» и т.д.) [Прист 1991; Спиркин 1972]. Возникнув как философский концепт (не обязательно под данным наименованием) еще в античную эпоху, обогатившись содержанием в трудах Ф. Гегеля, Р. Декарта, К. Поппера и других философов нового времени, понятие сознания, под которым понималось преимущественно сознание индивида, было воспринято и психологической наукой. В многочисленных определениях сознания подчеркивается специфически человеческий характер этого феномена, являющегося высшей формой психики, отражением бытия (мира, объективной действительности) в его различных проявлениях.

Сознание, несомненно, является наиболее широким, всеобъемлющим концептом, которое характеризует духовную сферу человека, и в качестве такового включает в себя, конечно, и различные варианты и уровни идентичности. Идентичность одновременно и часть, и продукт сознания, его работы. Однако исследовательские поля в том и другом случаях, несомненно, различны и несоизмеримы. Сама по себе категория сознания (без структурной расшифровки) осталась, в отличие от категории идентичности, преимущественно инструментом философской и психологической наук. В первой из них основной исследовательский интерес привязан к вопросу о различных трактовках соотношения сознания («духа») и бытия (объективной реальности), во второй — к изучению сознания (consciousness) как проявления индивидуального психического мира человека. Сам термин оставляет неясным влияние на когнитивный процесс фактора подсознания, роль и значение которого в происхождении тех или иных элементов картины мира после работ З. Фрейда невозможно недооценивать. Чаще всего этот фактор так или иначе принимается во внимание, и таким образом исследовательское поле по умолчанию подвергается еще большему расширению. Между тем понятие идентичности изначально предполагает психологический процесс самоидентификации, в котором неизбежно бывает задействовано и подсознание, и таким образом это понятие, в отличие от «сознания», лишено двусмысленности.

Более близкими к функциональной роли концепта идентичности как характеристики социокультурного аспекта общественной реальности в ее различных проявлениях и на разных ее уровнях являются частные аспекты сознания — «сознание с прилагательными».

Наиболее широким понятием, применявшимся при исследовании социокультурного фактора, является имеющий философское происхождение термин «общественное сознание» (social consciousness) — отражение общественной реальности в психологии социума. Данная категория общественного сознания

получила наибольшее распространение в трудах ученых-марксистов (употреблялась В.И. Лениным в его философских сочинениях), где она приобрела двойное значение — процесса и его результата. В соответствии с этим то поле, которое обозначается философским термином «общественное сознание» и покрывает фактически центральную часть духовной сферы человеческого общества, казалось бы, должно включать в себя все варианты и уровни социальной идентичности, которые выглядели бы в этом случае как разновидности общественного сознания. Однако это не так: концепт «общественное сознание» имеет в виду скорее общую характеристику состояния умов в данную эпоху. В этом отношении он близок термину «коллективное сознание» Э. Дюркгейма [Durkheim 1967], но имеет в виду не только когнитивные и эмоциональные, но и деятельностные составляющие.

В то же время понятие социальной идентичности и его составляющие по своему содержанию более конкретны: они не только имеют в виду, но и подчеркивают в качестве активного, определяющего фактора того или иного типа сознания отождествление субъекта с группой или сообществом, которая и является носителем данного типа сознания.

К тому же простое соотнесение социальных идентичностей с общественным сознанием осложнено не только различным пониманием последнего термина (в американской науке общественное сознание понимается скорее как осведомленность (awareness) о существующих в обществе нормах и «правилах игры»), но и выделением марксистами двух уровней общественного сознания: обыденного и теоретического (идеологического). Если первый из уровней скорее обедняет по своему содержанию феномен, отражаемый термином «идентичность», то второй, наоборот, явно выходит за его рамки. При этом термин «идентичность» по своему смыслу и значению не несет в себе той философской нагрузки, которая заключена в понятии «общественное сознание». С другой стороны, марксистский термин «общественное сознание» не помогает выявить роль индивида в социокультурном процессе.

Различны в научном мире и трактовки концепта «массовое сознание» — специфической ипостаси сознания общественного. В советской, а затем и в российской науке — в трудах Б.А. Грушина [Грушин 1987], Г.Г. Дилигенского [Дилигенский 1983; 1986; 2002], Д.В. Ольшанского [Ольшанский 2002] и других [Баграмов 1973, Беяев 2002, Бурлацкий, Галкин 1985, Гуревич 1989, Ионин 2000, Кон 1968, Леонтьев 1975, Малахов 1998, Спиркин 1972, Уледов 1968] — этот термин означал сознание, присущее неструктурированной общности людей. С этой точки зрения, учитывая различия в их представлениях, ценностях, установках, то есть в их идентичности, речь могла идти лишь о своеобразном сплаве отдельных фрагментов психологии этого множества, проявляющемся преимущественно в обыденном сознании, отличающемся разорванностью, противоречивостью, размытостью, либо об одномоментном совпадении взглядов на какой-либо объект, событие, явление, — совпадении, которое возникает из сочетания достаточно значимых компонентов сознания людей, дающего в результате новое качество.

Вместе с тем в западной науке еще с конца XIX века такого рода сознание приобретает в работах Г. Тарда [Тард 1999], Г. Ле Бона [Ле Бон 2011] значение специфической психологии, типичной для эпохи «омассовления» — взглядов и настроений толпы, характеризующейся конформизмом, господством стереотипов, противоречивостью, подвижностью, нередко — агрессией. Х. Ортега-и-Гассет своим трудом «Восстание масс» [Ортега-и-Гассет 2000] внес значительный вклад в разработку этого исследовательского направления. Формирование «массового общества», быстрое развитие разнообразных СМИ и качественное увеличение их роли в обществе усилили действие таких психологических механизмов, как внушение, заражение, подражание, что закрепило за рассматриваемым термином данное значение. Исследование психологии «массового человека» проявило многие скрытые механизмы современного общества. Однако, с другой стороны, подчеркнутое внимание к этой стороне его функционирования не пошло на пользу научной классификации социокультурных явлений, подменив ее структурную стройность качественными характеристиками, иногда даже приобретаемыми скорее публицистический характер.

Если рассмотренные выше научные категории имеют лишь отдаленное сопряжение с понятием идентичности, поскольку исследовательские поля в этих случаях находятся в разных плоскостях, этого нельзя сказать о классовом сознании, которое, как известно, занимает центральное место в марксистских концепциях. Здесь, по-видимому, налицо значительное совпадение с концептом классовой идентичности. Классовое сознание, несомненно, не только включает в себя те представления, предпочтения, ценности, установки, которые характерны для той или иной идентичности, но и предполагает отождествление субъекта или групп субъектов с определенным классом, что является предпосылкой классовой идентичности.

Правда, здесь нужны известные оговорки. Во-первых, в трудах марксистов, в первую очередь философов, классовое сознание (особенно если речь идет о рабочем классе) приобретает значение идеального типа, практически идеологического конструкта, в то время как реальная классовая идентичность несет на себе отпечаток страны и эпохи, не говоря уже о воздействии иных идентичностей. Во-вторых, значение отмеченного совпадения понятий умалывается существенным уменьшением значимости классового фактора в жизни современного общества, который превратился по сути в один из целого ряда структурных факторов социального размежевания.

Значительно более существенно и важно для социологов и политологов сопряжение с одноименной идентичностью другого понятия — политического сознания. Здесь так же, как в случае с политической идентичностью, речь идет о комплексе ценностей, ориентаций, стереотипов, установок, определяющих позиции по отношению к политической системе, существующей власти, тем или иным политическим институтам, о типе желаемого государственно-политического устройства и принципах общественных отношений [Политическая идентичность... 2011; Семенов, Лапкин, Пантин 2010].

Однако в структуре политического сознания обычно выделяют наряду с эмпирическим уровнем, складывающимся на почве практического опыта обычных людей, уровень теоретический, то есть раскрытие силами науки и публицистики законов, управляющих политической жизнью общества. Существенно и то обстоятельство (не всегда привлекающее должное внимание при исследовании политического сознания), что в случае, когда речь идет о политической идентичности, имеется в виду результат процесса как позитивной, так и негативной (само)идентификации — отождествления индивидов и групп с сообществом единомышленников и более или менее активного отторжения от Других, приобретающих значение негативного образа.

Велико совпадение смысловых контуров и между понятиями национальной идентичности и национального сознания — тем более что сердцевинной последнего признается национальное самосознание — концепт, так же фиксирующий отождествление с определенной нацией, как и «параллельный» термин национальная самоидентификация. Это применимо и к понятию религиозного сознания, во многом сближающемуся с одноименной идентичностью.

Но что обращает на себя внимание, так это бессистемность классификационной группировки видов или форм сознания. Одно из них берет в качестве основания общество в целом, второе — его неструктурированную часть (массу), другие — одну из структур (нация, класс) или одну из форм общественной жизнедеятельности (политика, религия, право). Наконец, целый ряд сообществ или явлений почти или совсем не удостоились «своей» формы сознания: не слишком часто применяется форма «профессиональное сознание», вообще неприменим соответствующий термин для многочисленных структур и групп, существующих в современном обществе.

Все это неудивительно: налицо результат изолированного друг от друга развития разных общественных наук. Отсюда — малозначимость термина «сознание» в применении к большинству феноменов, обозначаемых ныне термином «идентичность». Даже вполне допустимый термин «этническое сознание» или «самосознание» все чаще заменяется «этнической идентичностью» (в социологии и политологии), а психологическая наука трактует об «этнической психологии» или «психологии этноса».

Но существует и иной ряд терминов, сопрягаемых с понятием идентичности, в котором как будто больше единства. Их происхождением мы обязаны культурологии и культурной антропологии. В соответствии с этим основанием типологизации здесь служит многозначный концепт культуры, также со многими конкретизирующими производными. Для многочисленных структур, сообществ и группировок, существующих в современном обществе, введен даже специальный «подтермин» — субкультура. Однако и здесь нет единого понятийного ряда: наряду с национальной, этнической, региональной культурами выделены культуры политическая, правовая, музыкальная и другие, молодежная, профессиональная, спортивная и иные субкультуры. Это свидетельствует о том, что само по себе различие оснований для группи-

ровки не является недостатком. Недостаток группы терминов, производных от категории сознания, — не в этом, а в том, что эта группировка не стала последовательной, и терминологический ряд из-за отсутствия междисциплинарного взаимодействия не приведен в систему.

Вместе с тем сопряжение культурологических терминов с идентификационными также не может быть буквальным. Понятие «культура», в отличие от идентичности, подразумевает не только социально-психологическое, но и материальное воплощение (для обозначения которого существует даже термин «материальная культура»). Кроме того, оно может быть понято как характеристика достигнутого уровня развития (как известно, существует определение «культурный»).

Что касается субкультур, наибольшую значимость приобрел термин «этническая субкультура» в применении к тому сообществу, которое в советской науке обозначалось как «национальное меньшинство». Но в последнее время обнаружилась тенденция чрезмерного расширения круга феноменов, обозначаемых термином «субкультура», многие из которых имеют узкобытовой характер и слишком бедное содержание, ограничиваясь проявлением тех или иных специфических вкусов (различного рода арт-субкультуры, игровые сообщества и т.д.).

Другое дело — сопоставление соответствующей идентичности с политической культурой — понятием, которое стало популярным в политической науке в середине XX века благодаря работам Х. Файнера [Finer 1956], С.М. Липсета [Lipset, Rokkan 1967], Г. Алмонда и С. Вербы [Almond, Verba 1963; 1980]. Но данная «мода» оформила существовавшее и ранее представление о значении, которое имеют для политики интересы, ценности, умонастроения [Bauman 2011; Fromm 1994; Inglehart, Welzel 2005; Riesman, Lipset, Lowental, Mead 1961; Political Culture... 1993; Identity, Culture and Globalization... 2001].

Сравнивая эти два термина, можно найти много линий пересечения и даже совпадения. Но и здесь исследовательские поля совпадают далеко не во всем. Политическая идентичность прежде всего предполагает, в отличие от политической культуры, ту или иную степень отождествления субъекта с определенным актором на политическом поле. Политическая культура — лишь ту или иную степень предрасположенности к такому отождествлению [Политическая культура... 1994].

Правда, содержание понятия (совокупность представлений о политической системе и политической деятельности, ее целях и методах, характер политических предпочтений, особенности ценностного подхода, политических интересов, эмоциональных оценок и поведенческих установок относительно политического поля и его акторов) в основном созвучно тому, что подразумевается под политической идентичностью. И в том, и в другом случаях имеются в виду как когнитивный, так и аффективный (эмоциональный) и поведенческий (деятельностный) аспекты. И так же, как и там, речь как будто идет о разных уровнях — индивидуальном, групповом и национальном. На практике, однако, категория политической культуры чаще всего применяется

на национальном, иногда наднациональном (европейская, латиноамериканская) или даже цивилизационном (западная, арабская) уровнях.

Кроме того, некоторые исследователи расширяют понятие политической культуры, включая в него и политические институты (аналогично тому, как общее понятие культуры включает в себя материальные объекты). Против этого трудно что-либо возразить, так как характер институтов является как бы концентрацией особенностей национальной политической культуры. Но причисление институтов к исследовательским объектам, так же, как «предпочтение» крупных масштабов (нация-государство, цивилизация), выявляет ту особенность термина, которая отличает его от более гибкой категории политической идентичности: исследуются более устойчивые, менее подверженные изменениям характеристики политического поля (в частности, политические традиции). Исследуется не только историческая память, итог исторической эволюции политической культуры, но и передача опыта в политической сфере, новое творчество на политическом поле.

Таким образом, категория политической культуры одновременно и шире, и уже понятия политической идентичности. В то же время понятие политической культуры, при всей его важности, гораздо менее приспособлено для выявления характерного для новейшего времени феномена — «многоликости» одного и того же субъекта, при которой то одна, то другая из его «личин», в зависимости от конъюнктуры, выдвигается на передний план [Фадеева 2006]. К этому, конечно, нужно добавить, что концепт политической культуры, в отличие от политической идентичности, лишь имманентно предполагает оттачивание от негативных образцов.

Существует, однако, и другой концепт, который необходимо соотнести с понятием идентичности — менталитет. Возникнув в исторической науке, он затем, в значительной мере благодаря трудам французской Школы «Анналов» [см. Афанасьев 1981], получил достаточно широкое распространение, в том числе в психологии и в социологии. Так же, как идентичность, менталитет обозначает совокупность взглядов, ценностей, установок, норм и других психологических, эмоциональных, культурных особенностей, присущих тому или иному индивиду или сообществу. Он применим к общественным структурам самого разного уровня и поэтому вроде бы не страдает отсутствием системности. Однако понятие менталитета апеллирует не столько к наличествующим социальным, сколько к историческим (та или иная эпоха), природным и даже биологическим (в случае применения к этносу) корням, оно одновременно носит очень широкий (включая, например, религиозные взгляды) и в то же время глубинный характер, имея в виду некие очень устойчивые психологические черты. Он понимается как некая существующая в пределах определенной эпохи данность, не предполагающая непременно рассмотрения процесса или процессов, вызывающих его формирование или изменение. В этом отношении он в гораздо меньшей степени способен учитывать динамизм современного общества. Иногда он даже становится чем-то вроде несмываемой печати, не предпола-

гающей способность к изменению. В то же время широта этого термина создает возможность субъективных истолкований, выдвигающих на первый план те или иные стороны менталитета.

В какой-то степени этот недостаток присущ и еще одному понятию, как научный термин утвердившемуся прежде всего в этнопсихологии, но широко применяемому не только в истории и других гуманитарных науках, но и в обыденной жизни — понятию национального характера. Речь идет об устойчивых личностных чертах представителей какой-либо нации (экстравертность, трудолюбие, коллективизм и т.п.), а в научном контексте — о комплексе норм, ценностей, установок, стереотипов, мифологем, устойчиво присутствующем в жизни того или иного этноса и отличающего его от других этносов. По сути, имеется в виду один из уровней применения предыдущей научной категории.

Различия между этим термином и соответствующим (этническим, национальным) вариантом идентичности видны хотя бы на примере эволюции общественного сознания Германии. Совершенно очевидно отличие современной немецкой идентичности от довоенной, предфашистского и особенно фашистского периодов, однако вряд ли кому-нибудь в голову придет идея смены национального характера, по крайней мере в его основных чертах.

Если, как говорилось выше, понятие «сознание» лишь по умолчанию предполагает наличие и бессознательных процессов, существует другой термин — архетип, прямо указывающий на эти процессы, более того — даже преувеличивающий при злоупотреблении его применением роль этих процессов в самоопределении человека. Введением в научный оборот этого термина наука обязана крупнейшему психологу и философу прошлого века К.Г. Юнгу [Юнг 1994]. Юнг сконцентрировал свое внимание на наиболее глубинных, архаических слоях психологии людей, порожденных условиями жизни, существовавшими в древние времена. Однако значение этих архетипов, как показали многие исследования психологов, социологов, политологов, не утрачивается и в позднейшие эпохи. Потеряв однозначную связь с характеристиками общественного уклада, архетипы тем не менее могут сохраняться в подсознании и в той или иной мере оживать, если социальная действительность подает к этому какой-либо повод. Архетипы, сложившиеся в давние времена, лежат в основе многих мифов, стереотипов, традиций, существующих в массовом сознании. Они становятся немаловажным элементом формирования различных вариантов идентичности, нередко используются теми или иными акторами при осуществлении политики идентичности.

Наконец, существуют понятия мировоззрения и картины мира, предполагающие обобщенные, более или менее приведенные в систему представления о существующей реальности и месте человека в нем и этой своей относительной упорядоченностью отличающиеся от понятия идентичности, допускающего наличие определенных противоречий, рассогласований, неполноты мировидения [Брубейкер 2002]. К тому же в применении к индивиду и к обществу или его группам указанные термины имеют во многом различное содержание.

Особенно это относится к «картине мира» — понятию, которое существует в двойном значении. Как философский термин оно воплощает совокупность субъективных представлений об окружающей действительности, присущих каждому индивиду. Понятно, что здесь есть частичное совпадение с понятием идентичности. Но тем же термином — картина мира — обозначается и совокупность знаний, существующих в данный момент в той или иной отрасли науки. Неслучайно введение в оборот данного понятия связано с именем физика Г. Герца. Можно говорить о механической, физической, естественно-научной, философской, политической и т.д. картине мира.

Что касается мировоззрения (*Weltanschauung*) — концепта, имеющего хождение в немецкой [Jaspers 1919] и русской науке, то имеется в виду система взглядов на мир, на место человека в нем и вытекающие из этого жизненные позиции людей. Различаются мифологическое, религиозное, научное мировоззрение, а также его виды, связанные с социальным или идеологическим основанием, — буржуазное, либеральное, коммунистическое и т.п. В последнем случае это понятие тесно сближается с понятием идеологии. Разумеется, сопоставление с концептом идентичности возможно и здесь: есть категории религиозной и конфессиональной идентичности, те или иные идеологические постулаты присутствуют обычно в качестве элементов индивидуальной и групповой идентичности, наконец, есть люди, обладающие последовательным мировоззрением, и тогда налицо полное совпадение сопоставляемых понятий. Однако при всем этом общие характеристики исследуемых явлений, как и в случае с «картиной мира», различны: идентичности гораздо менее рационалистичны, более «конкретны» и наполнены злободневным жизненным содержанием, они чрезвычайно редко обретают такую полноту, системность и упорядоченность, как данные, сопоставляемые с ними феномены. Следует учитывать также и географически сравнительно ограниченную область распространения термина «мировоззрение».

Рассмотренные выше термины, с которыми сопоставлялось понятие идентичности, как правило, особенно хорошо работают в условиях сравнительно стабильной, устоявшейся в своих основных параметрах и институтах общественной системы, но в современной ситуации ускоренных общественных перемен, неизбежно расширивших предметное поле исследований, выявляют и свои слабые стороны, побуждающие прибегнуть к более основательному применению такой многомерной научной категории, как идентичность. Эта категория, помимо нарастающего в процессе ее применения и научного обоснования качества системности, обладает еще тем преимуществом, что она заострена на исследование мотивационной стороны идентификационного выбора. Выбор как процесс, в отличие от аскриптивной, по рождению или постоянно-му месту в системе, формы «присуждения» тех или иных социальных координат и предпочтений, подчеркивается парным существованием терминов «идентичность» и «(само)идентификация», при котором первая становится результатом (вполне поддающимся изменениям) процесса, обозначаемого последним термином. А процесс идентификации предстает как процесс небес-

конфликтного взаимодействия множественных идентичностей современного мира, в котором то одна, то другая из координат индивида или группы выдвигается на передний план, приобретая особое значение.

В итоге в поле исследования идентичности попадает целый ряд взаимодействий:

- между субъектом и объектом самоидентификации (группой, сообществом);
- между субъектом и Другим (объектом размежевания и противоположения);
- между множественными идентичностями субъекта;
- между вчерашней и сегодняшней идентичностью;
- между индивидуальной и коллективной идентичностью (что является далеко не последним основанием значимости термина).

Близкие по смыслу к идентичности концепты, рассмотренные нами, могут в процессе исследования обогащаться содержанием, но всей совокупностью изложенных ее преимуществ, на наш взгляд, не обладает ни один. Нельзя не принять также во внимание и изложенные выше различия в соответствующих исследовательских полях.

Чем четче обрисовываются контуры исследовательского поля идентичности в ее различных ипостасях, тем более отчетливо выступает ее незаменимость при скоординированных усилиях нескольких общественных наук в постижении сущности и перспектив нынешнего беспрецедентного сгущения общественных противоречий. Сопряжение используемых этими науками понятий может в той или иной степени облегчить задачу этой координации.

Литература

- Афанасьев Ю.А. 1981. Эволюция теоретических основ Школы «Анналов». — *Вопросы истории*. № 9. С. 77–92.
- Баграмов Э.А. 1973. *К вопросу о научном содержании понятия «национальный характер»*. М.: Мысль. 213 с.
- Беляев И.А. 2002. Культура, субкультура, контркультура. — *Духовность и государственность*. Вып. 3. Оренбург: УрАГС. С. 5–18.
- Брубейкер Р., Купер Ф. 2002. За пределами «идентичности». — *Ab Imperio*. № 3. С. 61–94. (Brubaker R., Cooper F. 2000. Beyond “identity”. — *Theory and Society*. Vol. 29. No. 1. P. 1–47).
- Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. 1985. *Современный Левиафан*. М.: Мысль. 384 с.
- Грушин Б.А. 1987. *Массовое сознание*. М.: Политиздат. 369 с.
- Гуревич А.Я. 1989. Проблема ментальности в современной историографии. — *Всеобщая история: Дискуссии, новые подходы*. Вып. 1. М.: Наука. С. 75–89.
- Дилигенский Г.Г. 1983. Марксизм и проблемы массового сознания. — *Вопросы философии*. № 11. С. 3–15.
- Дилигенский Г.Г. 1986. *В поисках смысла и цели. Проблемы массового сознания современного капиталистического общества*. М.: Политиздат. 256 с.
- Дилигенский Г.Г. 2002. *Люди среднего класса*. М.: Институт Фонда «Общественное мнение». 285 с.
- Ионин Л.Г. 2000. *Социология культуры: путь в новое тысячелетие*. М.: Логос. 431 с.

- Кон И.С. 1968. Национальный характер — миф или реальность? — *Иностранная литература*. № 9. С. 215–229.
- Ле Бон Г. 2011. *Психология народов и масс*. М.: Академический проект. 238 с. (Le Bon G. 1905. *La Psychologie des Foules* (ed. by F. Alcan). Paris. 192p.)
- Леонтьев А. 1975. *Деятельность. Сознание. Личность*. М.: Политиздат. 304 с.
- Малахов В.С. 1998. Неудобства с идентичностью. — *Вопросы философии*. № 2. С. 43–53.
- Ольшанский Д.В. 2002. *Психология масс*. Санкт-Петербург: Питер. 368 с.
- Ортега-и-Гассет Х. 2000. Восстание масс. — Ортега-и-Гассет Х. *Избранные труды*. М.: Издательство «Весь Мир». С. 43–232. (Ortega y Gasset H. 1998. *La rebelion de las masas*. Editorial Castalia. 375 p.)
- Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 1. Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий* (отв. ред. И.С. Семенов). 2011. М.: РОССПЭН. 208 с.
- Политическая культура: теория и национальные модели* (отв. ред. К.С. Гаджиев). 1994. М.: Интерпракс. 352 с.
- Прист С. 2000. *Теории сознания*. М.: Идея-Прогресс. 287 с. (Priest S. 1991. *Theories of the Mind*. Penguin Books. 256 p.)
- Семенов И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. 2010. Идентичность в системе координат мирового развития. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 40–59.
- Спиркин А.Г. 1972. *Сознание и самосознание*. М.: Политиздат. 303 с.
- Тард Г. 1999. *Общественное мнение и толпа*. М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова; Институт психологии РАН, Изд-во «КСП+». 414 с.
- Уледов А.К. 1968. *Структура общественного сознания*. М.: Политиздат. 330 с.
- Фадеева Л.А. 2006. *Сквозь призму политической культуры: нация, класс, регион*. Пермь. Издательство «Пушка». 304 с.
- Эрикссон Э. *Идентичность, юность и кризис*. М.: Прогресс. 1996. — 342 с. (Erikson E. *Identity, Youth and Crisis*. N.Y. Norton. 1968. — 336 pp.)
- Юнг К.Г. 1994. *Аналитическая психология. Тавистокские лекции*. СПб: МЦНК и Т «Кентавр». 137 с.
- Almond G.A., Verba S. 1963. *The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton, N.Y.: Princeton University Press. 562 p.
- Almond G.A., Verba S. 1980. *The Civic Culture Revisited*. Boston: Little Brown. 421 p.
- Bauman Z. 2011. *Culture in a Liquid Modern World*. London, Malden, Cambridge, UK: Polity Press in Association with the National Audiovisual Institute. 144 p.
- Durkheim E. 1967. *De la division du travail social*. Paris: Les Presses universitaires de France. 416 p.
- Erikson E. 1968. *Identity: Youth and Crisis*. New York: W.W. Norton & Co. 336 p.
- Finer H. 1956. *Governments of Greater European Powers*. New York, Harvard: H. Holl and Company. XII, 931 p.
- Fromm E. 1994. *Escape from Freedom*. New York: H. Holt and Company. 301 p.
- Identity, Culture and Globalization* (ed. by E. Ben-Rafael, Y. Stenberg). 2001. Leiden: Brill. 697 p.
- Inglehart R., Welzel C. 2005. *Culture Change and Democracy*. New York: Cambridge University Press. 323 p.
- Jaspers K. 1919. *Psychologie der Weltanschauung*. Berlin: J. Springer. 454 s.
- Lipset S.M., Rokkan S. 1967. Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments. — *Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives* (ed. by S.M. Lipset, S. Rokkan). New York: Free Press; London: Macmillan. P. 1-64.
- Political Culture and Democracy in Developing Countries*. (ed. by L. Diamond). 1993. Boulder Co: Lynne Reiner Pub. 263 p.
- Riesman D., Lipset S.M., Lowenthal L., Mead M. 1961. *Culture and Social Character*. New York: Free Press of Glencoe. 466 p.

Глава 3

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И МОДЕЛИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ИДЕНТИЧНОСТИ

О.В. Попова

Ключевые слова: методология, методы, фрейдизм, бихевиоризм, бихевиорализм, символический интеракционизм, функционализм, постструктурализм, марксизм, конструктивизм, постмодернизм, критический подход.

Многочисленные подходы к концептуализации идентичности, разработанные в XX — начале XXI века, опираются на различные методологические принципы. Получившие наибольшее признание в настоящее время концепции основаны на идеях символического бихевиоризма, интеракционизма, функционализма, постструктурализма, неомарксизма и конструктивизма. Встречаются, хотя и редко, варианты совмещения, подчас достаточно неожиданного, различных методологий, как, например, психоанализа и неомарксизма у С. Жижека [Жижек 1999; 2004; 2005; 2010; 2011; 2014].

Европейская традиция исследования идентичности в настоящее время более тесно связана с постструктурализмом, что во многом определяется популярностью теорий П. Бурдьё [Бурдьё 1993; 1994; 2013; 2014] и Э. Гидденса [Гидденс 2003]. Американская политологическая школа, в рамках которой долгие годы исследования идентичности опирались на бихевиоризм, символический интеракционизм и функционализм, в настоящее время активно продуцирует теории, основанные на постмодернистских конструктивистских идеях. Российские исследователи в большей степени тяготеют к американской традиции, хотя некоторые социологи, например, Ю.Л. Качанов [Качанов 1994; 2000], отдают предпочтение европейской традиции постструктурализма. Лишь очень немногие исследователи обращаются к символическому интеракционизму, хотя сами по себе разработки основоположника этого подхода Дж.Г. Мида, а также И. Гофмана вызывают у ученых нашей страны большой интерес.

В последние годы все чаще аргументируется точка зрения, что некритическое «заимствование методологии исследований, критериев и маркеров идентичности у зарубежных коллег может приводить к недостаточно аргументиро-

ванным выводам» [Идентичность как предмет... 2011: 217]. Исследователи осознают, что ни одна теория не может быть универсальной, пригодной для анализа любых сообществ в равной степени, особенно если речь идет о несовпадающих временных периодах. Периодически встречающиеся в научных текстах сентенции об «особых случаях» идентичности (чаще всего в этом качестве фигурируют незападные общества и государства) в реальности лишь демонстрируют неадекватность использованного для анализа инструментария.

Следует признать, что во многих научных публикациях вопросы методологии исследования идентичности замалчиваются или решаются абсолютно волюнтаристски. Причин этого явления несколько.

Во-первых, среди исследователей нет единой точки зрения о том, что, собственно говоря, следует считать методологией. Обычно ученые присоединяются к одной из трех точек зрения. Некоторые считают, что методология — это совокупность базовых, предельно общих принципов, используемых в рамках определенной науки или отрасли знания, которые применяют к различным исследовательским тематикам. Другие не видят различий в понятиях «общенаучный подход», «методология», «метод», «методика». Как следствие, в качестве методологии ими описывается совокупность конкретных средств получения информации по определенной исследовательской проблеме [Laing 2015: 85–115; Abdelal, Herrera, Johnston, McDermott 2006: 701–705]. В последние годы под видом выбора методологии все чаще обсуждается вопрос о сочетании различных методов анализа [Teddlie, Yu 2007: 77–100]. Наконец, есть авторы, которые полагают, что методология исследования — это непосредственно те теории наиболее авторитетных ученых, на которые принято ссылаться.

Во-вторых, существует значительный пул работ, посвященных трактовке категории «идентичность» в конкретных авторских концепциях «среднего уровня» [Акопов 2015: 15–16; Идентичность как предмет... 2011: 202], подчас в них даже обосновывается отнесение конкретных теорий к определенной методологии [Симонова 2008]. Проводятся исследования, которые можно отнести к области истории темы, но практически нет публикаций, анализирующих развитие методологий изучения идентичности с выделением этапов их развития. С момента введения в научный оборот в общественных дисциплинах категорий «идентичность» и «идентификация» прошло уже около ста лет, а потому совершенно очевидно, что потребность в этом назрела.

В-третьих, методологическое обоснование исследования любой научной проблемы представляется исключительно сложной задачей, которая просто не под силу большинству авторов, публикующих научные статьи. В итоге достаточно часто издаются не содержащие какого-либо значимого вклада в исследование темы тексты, в которых в очередной раз излагаются хорошо известные в научном сообществе взгляды именитых ученых на проблему идентичности.

Логика изучения методологий исследования идентичности имеет три вектора. Во-первых, это фиксация смены во времени доминирующей методологии исследования идентичности в отдельных областях общественных наук. Во-вторых, это отражение времени начала использования в теориях идентич-

ности методологий, появившихся в XX веке [Попова 2002]. В-третьих, это обсуждение вопросов о перспективности конкретных методологических направлений изучения идентичности, возможностей и правил их совмещения и постепенного перевода исследований идентичности в междисциплинарное методологическое поле.

В целом просматривается тренд применения различных методологий в теориях идентичности. Несмотря на популярность фрейдизма, благодаря которому в начале XX века в научный оборот была введена категория «идентичность», достаточно долго в социологических, психологических и политологических проектах изучения идентичности доминировала методология бихевиоризма. Фактически до начала 1980-х годов исследования идентичности в духе бихевиорализма, пришедшего на смену бихевиоризму (в основе бихевиоризма лежит понимание поведения человека как ответа на воздействия (стимулы) внешней среды; в бихевиорализме акцент сделан на влиянии поведения групп индивидов на системные характеристики общества и сферы политики), лидировали, хотя уже в 1930-х годах появились яркие теории идентичности, основанные на методологии символического интеракционизма, а в 1960-х годах — на методологии функционализма. Значимость методологии постструктурализма в исследованиях социальной идентичности обнаружилась примерно в начале 1980-х годов. В рамках классической марксистской методологии с ее теорией классового сознания концепция идентичности, на первый взгляд, возникнуть не могла. Однако с начала 1990-х годов сторонники неомарксизма достаточно активно работают в данной тематике. В это же время ученые столкнулись с методологическим кризисом и начали говорить об ограниченности применения существовавших в тот момент концептов. При этом парадоксальным образом сами принципы классических методологий в исследовании идентичности под сомнение не ставились.

Ставший популярным на рубеже XX–XXI веков конструктивизм [Коркюф 2002; Kratochwil 2008] не ориентируется на исследование категорий, отражающих собственно реальность. В методологическом плане ставка делается на эпистемологические конструкты, позволяющие удовлетворительным для исследователя образом объяснять психологические, социальные и политические явления. Кроме того, функциональные и символические единицы анализа описываются в конструктивизме как производные социальных взаимодействий и коммуникации. Вследствие этого идентификация рассматривается как продукт внутренней (самостоятельный, свободный выбор индивидом значимых объектов идентификации и их интериоризация — «Я-концепция») и внешней (отнесение индивида «другими» к определенным группам) типизации человека. Эти формы идентификации могут не совпадать вследствие значительной функциональной автономии личности, что, в свою очередь, позволяет индивиду избегать влияния нормативных предписаний и контроля со стороны других людей.

Существенным компонентом теории идентичности в рамках конструктивизма является интерпретация процессов социальной реальности самим(и)

индивидом(ами). Более того, конструктивисты настаивают не только на возможности выбора индивидом определенной модели идентичности, но и на том, что индивид якобы абсолютно независимо от общества может создать ее. Фактически речь идет об игнорировании влияния социума на человека. Но в рамках конструктивизма существует также подход, согласно которому социум слишком жестко навязывает стандарты идентичности, поэтому важнейшим компонентом ее формирования является освобождение от пут и контроля социальных предписанных норм. Кроме того, конструктивизм допускает свободный переход от одной публично демонстрируемой индивидом идентичности к другой, акцентирует значимость в формировании идентичности виртуальных компонент социокультурной реальности: «радикальное воображаемое означивание» (К. Касториadis); «работа воображения» (А. Аппадурай); результат социального взаимодействия (К. Джерджен) [Орлова 2010: 87–111].

В ряде публикаций последних пятнадцати лет предлагается методологическая дихотомия конструктивистского и натуралистически-эссенциалистских подходов к анализу идентичности [Федотова 2012: 12; Wagner 2001], принципиально различающихся, по мнению авторов, отношением к идее автономии человека; в первом случае личность рассматривается как «проект», во втором — как производная социальной реальности. Неконструктивистские методологии подвергаются жесткой критике из-за склонности «преувеличивать как онтологию социальных феноменов, так и их связность и целостность», которые определяются «требованием не только онтологической, но и эпистемологической определенности» [Федотова 2012: 12]. Некоторые авторы склоняются к оценке конструктивистского подхода как универсального для анализа различных видов идентичности [Большаков 2011: 116]. Тем не менее использование конструктивистской методологии в теории идентичности все чаще подвергается жесткой критике авторитетных зарубежных специалистов. Например, Р. Брубейкер отвергает ее из-за низкого эвристического потенциала, делающего невозможным качественный анализ реальных процессов, и излишне расширительной трактовки понятия «идентичность» [Брубейкер 2012: 61–167]. Встречаются и более осторожные оценки перспектив использования конструктивизма, отмечающие особую значимость других методологических подходов [Approaches and Methodologies... 2008: 80–99], в частности, дискурс-анализа [Gibbins 2012] и теории игр [Hernandez, Minor 2015].

Возможным выходом из сложившегося методологического тупика могли бы стать переосмысление теории идентичности в общественных науках в более широком контексте и попытка сочетания нескольких методологических подходов в парадигме «и то, и другое». Однако и в этом случае исследователи неизбежно сталкиваются с проблемой поиска наиболее универсального и непротиворечивого сочетания методологических принципов.

Методологические споры касаются также постмодернистского подхода. Попытка применения получившего популярность на рубеже XX–XXI веков так называемого постмодернизма с его «текучестью» критериев и отказом существующим традиционным институтам и системе социальных отношений

в праве считаться формообразующими компонентами идентичности с одобрением приветствуется рядом исследователей. Однако эта точка зрения сталкивается с жесткой критикой других авторов, по мнению которых «ангажированность постмодернистских версий» и вытекающий из нее «методологический релятивизм» способны породить лишь «ментальную мозаику в конкретный момент времени» [Замятин 2011: 198]. Исходящее от постмодернистов радикальное предложение совсем отказаться от использования классических методологий, попытка поставить под сомнение саму возможность формирования в современном обществе устойчивых моделей социальной идентичности обрекают идею применения постмодернистских идей на провал уже в среднесрочной перспективе.

Итак, в настоящее время практически все ученые признают, что применение отдельных методологий для исследования идентичностей имеет определенные ограничения. Попытки соединения в рамках теории и прикладных исследований различных методологических посылов оказываются чаще всего неудачными. Однако тот факт, что практически всеми методологическими направлениями понятие «идентичность» используется, а теоретики в области идентичности продолжают опираться на различные методологические направления (и их сочетания), свидетельствует о необходимости и неизбежности дальнейших поисков более унифицированных принципов для исследования различных видов и форм идентичности.

Литература

- Акопов С.В. 2015. *Человек многомерный: транснациональная модель идентификации с макрополитическими сообществами (метатеоретический анализ)*. СПб.: Алетейя. 296 с.
- Большаков А.Г. 2011. Формирование региональной идентичности Южного Кавказа в условиях диверсификации постсоветского пространства. — *Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции. (Редколлегия сборника: И.С. Семенов (отв. ред.), Л.А. Фадеева (отв. ред.), В.В. Лапкин, П.В. Панов)*. 2011. М.: ИМЭМО РАН. С. 115–118.
- Брубейкер Р. 2012. *Этничность без групп*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики. 408 с.
- Бурдые П. 1993. *Социология политики*. М.: Socio-Logos. 336 с.
- Бурдые П. 1994. *Начала*. М.: Socio-Logos. 288 с.
- Бурдые П. 2013. *Социология социального пространства*. СПб.: Алетейя. 288 с.
- Бурдые П. 2014. *Социальное пространство: поля и практики*. СПб.: Алетейя. 576 с.
- Гидденс Э. 2003. *Устроение общества: Очерк теории структуризации*. М.: Академический проект. 525 с.
- Жижек С. 1999. *Возвышенный объект идеологии*. М.: Художественный журнал. 235 с.
- Жижек С. 2004. *Ирак: История про чайник*. М.: Праксис. 224 с.
- Жижек С. 2005. *Интерпассивность. Желание: влечение. Мультикультурализм*. СПб.: Алетейя. 160 с.
- Жижек С. 2010. *О насилии*. М.: Издательство «Европа». 184 с.
- Жижек С. 2011. *Размышления в красном цвете*. М.: Европа. 476 с.
- Жижек С. 2014. *Шекотливый субъект: отсутствующий центр политической онтологии*. М.: Издательский Дом «Дело». 528 с.

Замятин Д.Н. 2011 Идентичность и территория: гуманитарно-географические подходы и дискурсы. — *Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции. (Редколлегия сборника: И.С. Семенов (отв. ред.), Л.А. Фадеева (отв. ред.), В.В. Лапкин, П.В. Панов).* 2011. М.: ИМЭМО РАН. С. 186-203.

Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции. (Редколлегия сборника: И.С. Семенов (отв. ред.), Л.А. Фадеева (отв. ред.), В.В. Лапкин, П.В. Панов). 2011. М.: ИМЭМО РАН. 299 с.

Качанов Ю.А. 1994. *Опыты о поле политики: Интерференция.* М.: Институт экспериментальной социологии. 159 с.

Качанов Ю.А. 2000. *Начало социологии.* М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя. 255 с.

Коркюф Ф. 2002. *Новые социологии.* М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя. 179 с.

Орлова Э.А. 2010. Концепции идентичности/идентификации в социально-научном знании. — *Вопросы социальной теории.* Т. IV. С. 87–111.

Попова О.В. 2002. *Политическая идентификация в условиях трансформации общества.* Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ. 258 с.

Симонова О.А. 2008. К формированию социологии идентичности. — *Социологический журнал.* № 3. С. 45–61.

Федотова Н.Н. 2012. Формируется ли глобальная идентичность: методологические размышления. — *Знание. Понимание. Умение.* № 4. С. 8–14.

Abdelal R., Herrera Y.M., Johnston A.I., McDermott R. 2006. Identity as a Variable. — *Perspectives on Politics.* Vol. 4. No. 4. P. 695–711.

Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist Perspective (ed. by D. della Porta, M. Keating). 2008. Cambridge, Cambridge University Press. 365 p.

Gibbins J. 2012. *British Discourses on Europe: Self/Other and National Identities.* A thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of doctor of philosophy. URL: <http://etheses.bham.ac.uk/3830/1/Gibbins12PhD.pdf> (accessed: 01.06.2016)

Hernandez P., Minor D. 2015. *Political Identity and Trust.* Working Paper 16-012. URL: http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/minor/Papers/Working%20Paper%2016-012_Political%20Identity%20and%20Trust.pdf (accessed: 01.06.2016)

Kratochwil F. 2008. Constructivism: what it is (not) and how it matters. — *Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist Perspective (ed. by D. della Porta, M. Keating).* 2008. Cambridge, Cambridge University Press. P. 80–88.

Laing A.F. 2015. *Territory, resistance and struggles for the plurinational state: the spatial politics of the TIPNIS Conflict.* PhD thesis. 344 p. URL: <http://theses.gla.ac.uk/5974/> (accessed: 01.06.2016)

Teddle C., Yu F. 2007. Mixed Methods Sampling: A Typology with Examples. — *Journal of Mixed Methods Research.* Vol. 1. No. 1. P. 77–100.

Wagner P. 2001. *Theorizing Modernity: Inescapability and Attainability in Social Theory.* London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage. 160 p.

Глава 4

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ

И.В. Самаркина

Ключевые слова: качественные методы, количественные методы, биографический метод, нарратив, рефлексивный диалог, качественное интервью, фокус-групповая дискуссия, дискурс-анализ, массовый опрос.

Перед исследователями идентичности сегодня стоит сложная задача поиска методов познания малоизученного, сложного, к тому же динамично изменяющегося феномена, поиска способов, которые смогут «ухватить» меняющуюся идентичность в меняющемся мире. Масштабы этой задачи обусловлены общим состоянием исследований идентичности, которые можно охарактеризовать как разведывательные и поисковые. Сегодня в исследовательской повестке дня стоят вопросы «Что такое идентичность?», «Какая она?», «Как меняется и почему?»

Принципиальным методологическим вопросом в исследовательском поле идентичности остается определение осязаемых способов связи теоретико-философского осмысления идентичности и микромира человека. Решение этой задачи тоже ведет нас к обсуждению методов конкретных эмпирических исследований идентичности. Сегодня в широком пространстве социогуманитарного знания выработаны разнообразные подходы к изучению идентичности, позволяющие говорить о своеобразной специализации исследовательских методов. Стратегия понимания или «понимающая» методология является основным инструментом этнографических исследований. Тогда как стратегия описания или «измеряющая» методология в основном является доминирующим подходом в большинстве социологических исследований. Однако такая дихотомия не работает в политологическом поле, поскольку для решения исследовательских задач в социокультурном пространстве политики требуется и то и другое — и понять суть, и измерить масштаб. Таким образом, ключ к исследованию политической идентичности и ее параметров в масштабах сообщества лежит в сложном сочетании двух исследовательских стратегий, направленных, с одной стороны, на понимание жизненного мира и смыслов

носителя идентичности, с другой стороны — на измерение потенциала влияния идентичности на общественное сознание в целом.

Исследователь идентичности (с любыми прилагательными) должен в какой-то степени сначала повторить путь индивида или группы в поиске ответа на вопросы: «Кто мы?», «Какие мы?», «Почему мы такие?», а затем описать носителя этих представлений и ответить на вопросы: «Как велика эта группа (группы)?», «Насколько распространены эти представления в обществе?», «Как они воспринимаются другими?» Иными словами, в исследованиях идентичности первый шаг всегда связан с необходимостью «взглянуть на мир глазами туземца» (Редфилд) (изучаемой группы, личности), понять ее, затем рассказать о результатах этого понимания в терминах своей концепции.

Способы решения задачи понимания Другого составляют континуум качественных методов исследования социальной реальности. Их фундаментальной философской основой выступает феноменологическая традиция, которая ориентирована на познание жизненного мира человека. Жизненный мир строится на представлениях и смыслах, которые формулирует субъект, на его интерпретации жизненных миров других участников социального взаимодействия. Поэтому основным инструментом исследователя, вступающего в поле изучения представлений, формируемых вопрошанием «Кто Я?» или «Кто Мы?», становятся качественные методы. Они также позволяют описать и интерпретировать механизмы взаимосвязи жизненного мира и его личностных смыслов с макрополитическими параметрами, причины и пути формирования, актуализации и трансформации идентичностей.

В обществе Модернити идентичность индивида существенно меняется, Я становится ломким, хрупким, расколотым и фрагментированным, человек вынужден постоянно находиться в поиске самоидентичности и ответа на вопрос «Что это означает для меня?» [Giddens 1991; Якушина 2014: 694]. Для познания рефлексивной идентичности современного человека требуются исследовательские методики, основанные на рефлексивном монологе и рефлексивном диалоге.

Рефлексивное описание и интерпретация событий, жизненных ситуаций, важнейших этапов, переломных моментов, всего жизненного пути непосредственным носителем смыслов составляет суть биографического метода [Голубович 2012; Рождественская 2012; Рогозин 2015 и др.], основой которого является нарратив, рефлексивный монолог. В современном социогуманитарном знании накоплен богатый опыт нарративного анализа [Козлова 1999; Цветаева 1999; Ярская-Смирнова 1997; Судьбы людей... 1996]. Блестящим примером реконструкции советской идентичности и восстановления смысла «советского вне СССР» является основанное на «человеческих документах» (дневниках, письмах) исследование Н.Н. Козловой [Козлова 2005]. Анализ советского нарратива позволил автору найти и показать точки и механизмы сопряжения индивидуальной (личностной) и коллективной идентичности.

Поскольку «чужие сознания нельзя созерцать, анализировать как вещи, как объекты — с ними нужно только диалогически общаться» [Бахтин 1986],

главным инструментом рефлексивного диалога является качественное интервью — техника совместного поиска ответов на вопросы исследователя. «Цель качественного интервью — описание и интерпретация элементов жизненного мира субъекта» [Квале 2003: 19] и «получение качественного описания жизненного мира субъекта для интерпретации их смысла» [там же: 124]. В рефлексивном диалоге информант играет несколько ролей: он служит источником информации о своей жизни; он может быть повседневным экспертом, сведущим в вопросах повседневных практик и жизненного мира окружающих его людей, а также выступает источником информации о социокультурных полях более высокого уровня, где взаимодействие не носит личностного характера.

«Мир повседневной жизни не есть частный мир, он общий для меня и моих спутников...» [Щютц 2003: 116], поэтому рефлексивное жизнеописание является важным источником исследования идентичности. В биографическом интервью происходит когнитивное картографирование социальных пространств, в котором информанты воспроизводят социальные отношения в соответствии со своим местом и положением в них¹.

Например, в исследовании советских провинциальных идентичностей [Романов, Ярская-Смирнова 2004: 16, 19] авторы показывают, как ранние институты советской эпохи обеспечивали провинциальные элиты репертуарами политических идентичностей (среди которых этническая идентичность была важнейшей), в то же время в неофициальных практиках существовало двусмысленное сочетание интернационализма и дискриминации по национальному признаку.

Кроме face-to-face интервью способом организации рефлексивного диалога выступает фокус-групповая дискуссия. Этот метод используется как основа методик изучения отдельных аспектов идентичности.

Примером модификации фокус-групповой дискуссии для изучения идентичности является использование в дискуссии метода гипотетического сценария. Он состоит в том, что участники дискуссии обсуждают проблемы, связанные с идентичностью, в контексте реалистических ситуаций. Например, исследование оппозиции Мы–Они с использованием этой методики дает богатый материал для понимания механизмов формирования ксенофобии [Нос 2003]. В дополнение к гипотетическому сценарию для фиксации результатов обсуждения и дальнейшего анализа может использоваться гипотетическая матрица, в которой фиксируются результаты последовательного погружения участников фокус-группы в моделируемые ситуации.

Для исследования сложных процессов формирования и трансформации идентичностей используются метод дискурс-анализа [Йоргенсен, Филлипс 2008] и соответствующие инструменты, связанные с процедурами выявления, фиксации, понимания и интерпретации смыслов. Так, глобализация как ра-

¹ Подробнее о применении этой методологии и ее результатах см. исследование профессиональной идентичности, представленное в заключительном разделе настоящего издания.

дикализация Модерна (Э. Гидденс) размывает ценностные основания и ставит под сомнение базовые идентичности, а многочисленные группы интересов, суб- и транснациональные акторы теснят монополию государства в этой области. Появляются новые субъекты [см., напр.: Клеман, Мирясова, Демидов 2010], которые формулируют собственный запрос на участие в процессах конструирования идентичностей. Анализ дискурса идентичности² направлен на выявление новых акторов — участников процессов формирования и конструирования идентичности, к которым относятся представители политического класса, интеллектуалы, в том числе исследователи идентичности, эксперты, журналисты и т.п. Еще одним важным направлением этих исследований является понимание и анализ содержания дискурса идентичности, который транслируется СМИ, формируется в ходе научных изысканий, проявляется через политику в сфере культуры, искусства, образования с помощью, например, культурных нарративов [Идейно-символическое пространство... 2011].

Дискурс-анализ являет пример комплексного подхода, связанного с необходимостью сочетания качественных и количественных инструментов в исследовании идентичности. Анализ дискурса идентичности, который транслируется различными социальными и политическими субъектами, позволяет выявить смыслы, механизмы и траектории конструирования идентичности, а также понять суммарный вектор трансформации идентичности и борьбы в пространстве смыслов и символов, которая разворачивается между участниками политических процессов. Объектами анализа выступают политические выступления [см. напр.: Панов 2008; Малинова 2016], сообщения средств массовой информации, научные тексты, художественные произведения, документы и архивные материалы, в широком смысле — все источники формирования публичного дискурса.

В современном обществе, где создание и конструирование идентичности — это процесс, в котором участвует множество разноуровневых субъектов [Фадеева 2009], познавательный потенциал дискурс-анализа чрезвычайно велик. Например, сегодня актуальной задачей является создание методик анализа дискурса идентичности в сетевом пространстве. Дискурс-анализ также дает возможность понять содержание, динамику и методы конструирования отдельных сюжетов в политике идентичности. Одним из ярких примеров этому является исследование политики конструирования прошлого и политики памяти, а также механизмов взаимосвязи между дискурсом идентичности и политическими практиками [Малинова 2011; 2013; 2016; Туркин 2006; Фадеева 2012; Маколи 2011].

Отдельно следует отметить важность исследования роли экспертно-аналитического знания в публичном дискурсе идентичности. Речь идет, прежде всего,

² Анализ дискурсов не сводится к исследовательской методике, в контексте современных теоретико-методологических изысканий он рассматривается именно как методологический подход, построенный на принципах социального конструктивизма [Wood & Kroeger 2000; Hardy, Harley & Phillips 2004: 20].

о политологическом сообществе и его рефлексии процессов формирования национально-государственной идентичности [История Российской... 2015; Гаман-Голутвина 2016]; а также о профессиональном историческом сообществе и его вкладе в дискуссию о прошлом России и концепции исторического образования [Национальные истории... 2003; Тишков 2014; Шнирельман и др. 2010].

Поиск точек соприкосновения макрополитики и жизненного мира личности является сегодня одним из приоритетных направлений исследования политической идентичности [Семененко 2013]. На вопрос о том, как проецируется, преломляется и отражается политическое в жизненном мире, помогают ответить инструменты исследования уникального в структуре личности [Франк 2000] — проективные техники. Это инструменты, изначально созданные как психологические техники, исходят из теоретического посыла о том, что свободные ассоциации являются не случайным набором образов и интерпретаций, а обусловлены прошлым опытом личности (Ф. Гальтон). Широкий спектр проективных техник (проективные вопросы, проективные ситуации, метод неоконченных предложений) все чаще используется сегодня в политических исследованиях [Психология политического восприятия... 2012; Образы российской власти... 2008].

Отдельного внимания заслуживают визуальные проективные методы. Их появление является ответом на тенденцию визуализации жизненного мира и идентичности в современном обществе [Капицын 2014; Щербинина 2012; Семененко 2008 и др.]. Опыт использования рисуночных методов в психологии [Малчиоди 1998 и др.] и социологии [Гуреев 2007; Мельникова 2005; Психология политического восприятия... 2012 и др.] не оставляют сомнений в том, что рисунок — важнейший источник знаний о психике человека, его жизненном мире, представлениях; этот же опыт показал ряд ограничений в использовании визуальных проективных методов, о которых не стоит забывать в политических исследованиях (учет возрастных особенностей информантов, их психологического состояния в момент исследования, необходимость использования визуальных проективных методик в комплексе с наблюдением и интервью).

Методика проективного рисунка о политике [Самаркина 2011a] позволяет выявить базовые образы политической картины мира детей [Самаркина 2011b] и служит основой для кросс-национальных и кросс-темпоральных [Samarkina 2013] исследований. Она используется также в изучении политических представлений, политических практик, процессов политической социализации и связанных с ним процессов трансформации национально-государственной идентичности взрослых (молодежи, студентов, представителей различных социальных, профессиональных групп и т.п.) в сочетании с другими инструментами рефлексивного диалога. Визуальные проективные техники используются в исследовании представлений о собственной стране (проективный рисунок «Моя страна»). Так, например, поступили авторы исследования образа России, существующего в городской молодежной среде, которое проводилось «Левада-центром» в 2005 году [Гуреев 2007].

Методика проективного рисунка показала свою эффективность и в изучении образа Другого и его роли в формировании национально-государственной идентичности. Маркирование Другого дает основания для саморефлексии наиболее значимых составляющих национальной идентичности [Самаркина 2015]. Проективные визуальные методики исследования идентичности имеют значительный потенциал для развития, этот потенциал сегодня значительно возрастает в силу процессов визуализации жизненного мира современного человека.

В исследовании политической идентичности применим широкий арсенал социально-психологических методик: модифицированная шкала Богардуса — для исследований социальной дистанции; методика Ю.А. Посселя — для изучения неосознаваемых аспектов социального дистанцирования; тест Куна — Маркпартленда — для исследования системы идентичностей, представлений человека о себе; семантический дифференциал и его модификации в форме методики парных сравнений, антонимический анализ, репертуарные решетки Келли, анималистические проекции — для изучения отдельных содержательных аспектов идентичности. Отдельного внимания исследователей политической идентичности заслуживают социолингвистические техники, психосемантический анализ и другие техники.

В целом, именно качественные техники дают возможность увидеть проекцию макрополитических процессов на уровень индивида, группы и сообщества / сообществ.

В исследовательские стратегии идентичности содержательно и методически встраиваются методики количественного анализа. Палитра количественных методов позволяет измерить наиболее важные параметры представлений, масштабы распространения идей и смыслов в общественном сознании, оценить потенциал влияния на представления других групп и сообществ.

С помощью количественных методов в больших социальных группах и сообществах можно измерить отдельные переменные, отражающие характеристики национально-государственной идентичности; социально-групповые дифференциации идентичности; описать поведенческие модели, а также контекст формирования идентичности и общую канву трансформации групповой идентичности; кроме того, количественные методы дают обширные основания для компаративного анализа.

Отечественная социологическая традиция исследования социальной идентичности связана с именами Т.И. Заславской [Заславская 1997; 2002; 2004; Социальная траектория... 1999 и др.], В.А. Ядова [Ядов 2008; 2014; Данилова, Ядов 2004; Россияне и поляки... 2006 и др.], М.К. Горшкова [Горшков 2008; 2013a; 2013b; 2013c] и коллектива ученых Института социологии РАН [Российская идентичность...2007] и др. Исследования массового сознания и процессов распада советской и проблем становления российской идентичности были актуализированы в 1990-х годах. Они опирались на методики анализа результатов массовых опросов населения и существенно помогали понять динамику отдельных аспектов массового сознания, так или иначе имевших отношение

к восприятию страны и идентичности, в частности вопросы политической активности, политического участия, социального самочувствия, созидательного и протестного потенциала общества.

В постсоветской России сформировались институты исследования общественного мнения: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), Левада-центр и другие. Проводимые ими замеры общественного мнения позволяют описать важные индикаторы национальной (национально-государственной) идентичности [Современная российская идентичность... 2013; Российская идентичность... 2014; В трудные времена... 2015].

В настоящее время сложились также несколько международных систем исследования ценностей населения, которые собирают и представляют данные, важные для понимания отдельных аспектов идентичности. К таким проектам относятся, в первую очередь, Европейское социальное исследование (ESS)³, Евробарометр⁴, Всемирное исследование ценностей (WVS)⁵. Количественные методики дают исследователю материал для компаративных исследований (кросс-региональных и кросс-темпоральных) отдельных переменных, характеризующих отдельные параметры идентичности.

Большинство авторитетных социологических проектов, которые основаны на количественных замерах, дают возможность исследователям получить доступ к собранным первичным данным (открытые базы данных) и проводить вторичный анализ данных на основе собственной теоретической модели, в частности, обобщать и анализировать некоторые аспекты идентичности.

Формализованные методики позволяют верифицировать измеряемые данные статистическими методами, этот подход представлен в большинстве упомянутых выше проектов и особенно оправдан в сравнительных исследованиях. Однако, несмотря на очевидный методический потенциал формализованных, количественных методик, они существенно ограничивают привлечение суждений и представлений об идентичности из собственного опыта людей и могут быть использованы в исследованиях идентичности в качестве методик, дополняющих дизайн качественного исследования.

Динамика идентичности в обществе постмодерна существенно влияет на палитру методов исследования. Сегодня методики исследования идентич-

³ *European Social Survey*. URL: <http://www.europeansocialsurvey.org> (accessed: 01.03.2016).

⁴ Евробарометр в России. URL: <http://www.ranepa.ru/uceniyy-issledov/strategii-i-doklady-2/evrobarometr> (accessed: 01.03.2016).

⁵ *World Values Survey*. URL: <http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp> (accessed: 01.03.2016). Проект World Value Survey - Всемирное исследование ценностей — следует упомянуть отдельно. По масштабам исследования WVS является единственным источником эмпирических данных, охватывающих большую часть населения мира (около 90 %). WVS измеряет отношение респондентов к широкому спектру проблем: отношение к демократии, толерантность к иностранцам и этническим меньшинствам, отношение к гендерному равноправию, к религии, влияние глобализации, отношение к окружающей среде, работе, семье, политике, национальной идентичности, отношение к безопасности и субъективному благополучию [Инглхарт 2011].

ности должны быть гибкими, дабы адекватно давать ответы на исследовательские вопросы и откликаться на изменение проблемного поля идентичности. Поэтому можно отметить сегодня несколько направлений исследовательского поиска.

Во-первых, поиск методик изучения новых форм идентичности, например, сетевой идентичности. Так, формат и новизна феномена сетевой идентичности, который сочетает уникальность содержания, требующего «понимающих» методик, и такие масштабы социальных взаимодействий, описание и измерение которых предполагают использование не просто количественных методов, но и построение математических (компьютерных) моделей, а также применение современных технологий для визуализации отдельных параметров идентичности, определяют широкий спектр возможностей, которые необходимо привлекать для исследования этого феномена.

Во-вторых, поиск способов понимания и измерения динамических сторон социально-политической идентичности, в частности, определение способов наблюдения и фиксации условий и факторов, способствующих актуализации различных форм политической идентичности, ее наполненности и интенсивности. Это направление поиска адекватных проективных методик и способов наблюдения и интерпретации полученных данных.

Наконец, в-третьих, разработка способов понимания феномена рефлексивной идентичности и его проявлений в различных культурных кодах. Поиски методов исследования в данном направлении связаны, прежде всего, с различными модификациями дискурс-анализа.

Характер трансформаций идентичности в сегодняшнем нестабильном и многоликом мире при нарастании потоков информации и многомерности сетевых взаимодействий требует системных усилий в разработке и продвижении методов изучения идентичности, в том числе путем сближения методик конкретных наук и общих теоретических концепций идентичности.

Литература

- Бахтин М.М. 1986. К философии поступка. — *Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984–1985*. М.: Наука. С. 80–138.
- В трудные времена россияне объединяются. 2015. — *Пресс-выпуск ВЦИОМ*. № 2966. 02.11. Доступ: <http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115448> (проверено 01.03.2016).
- Гаман-Голутвина О.В. 2016. Политическая наука перед вызовами современной политики. К 60-летию САПН / РАПН — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 8–29.
- Голубович И.В. 2012. Биография: методология анализа в гуманитарном знании. — *Эпистемология и философия науки*. Т. 33. № 3. С. 84–97.
- Горшков М.К. 2008. Российский менталитет в социологическом измерении. — *Социологические исследования*. № 6. С. 110–114.
- Горшков М.К. 2013а. Модернизационный потенциал идентичности (Вместо предисловия) — *Россия реформирующаяся (отв. ред. М.К. Горшков)*. Вып. 12. М.: Новый хронограф. С. 3–20.

- Горшков М.К. 2013б. Роль государства в сохранении и развитии национальной и гражданской идентичности и укреплении доверия в контексте глобальных процессов. — *Гуманитарий Юга России*. № 3. С. 11-25.
- Горшков М.К. 2013в. Российская идентичность в контексте западноевропейской культуры. — *Власть*. № 1. С. 9-14.
- Гуреев С.В. 2007. Анализ рисунков в социологических исследованиях. — *Социологические исследования*. № 10. С. 132-139.
- Данилова Е.Н., Ядов В.А. 2004. Нестабильная социальная идентичность как норма современных обществ. — *Социологические исследования*. № 10. С. 27-30.
- Заславская Т.И. 1997. *Российское общество на социальном изломе: взгляд изнутри*. М.: Дело. 299 с.
- Заславская Т.И. 2002. *Социетальная трансформация российского общества: Деятельностно-структурная концепция*. М.: Дело. 568 с.
- Заславская Т.И. 2004. *Современное российское общество. Социальный механизм трансформации*. М.: Дело. 400 с.
- Идейно-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы (под ред. О.Ю. Малиновой). 2011. М.: РОССПЭН. 285 с.
- Инглхарт Р., Вельцель К. 2011. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство. 464 с.
- История Российской ассоциации политической науки (под общ. ред. О.В. Гаман-Голутвиной)*. 2015. М.: Издательство «Аспект Пресс». 360 с.
- Йоргенсен М.В., Филипс Л.Дж. 2008. *Дискурс-анализ. Теория и метод*. Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр». 352 с.
- Капицын В.М. 2014. Идентичности: сущность, состав, динамика (дискурс и опыт визуализации). — *Politbook*. № 1. С. 8–32.
- Квале С. 2003. *Исследовательское интервью*. М.: Смысл. 301 с.
- Клеман К., Мирясова О., Демидов А. 2010. *От обывателей к активистам. Зарождающиеся социальные движения в современной России*. М.: Три квадрата. 688 с.
- Козлова Н.Н. 1999. Повесть о жизни с Алешей Паустовским. — *Социологические исследования*. № 5. С. 20–33.
- Козлова Н.Н. 2005. *Советские люди. Сцены из истории*. М.: Издательство «Европа». 544 с.
- Маколи М. 2011. Историческая память и сообщество граждан. — *Pro et Contra*. № 1–2. С. 134–149.
- Малинова О.Ю. 2011. Тема прошлого в риторике президентов России. — *Pro et Contra*. № 3–4. С. 106–122.
- Малинова О.Ю. 2013. *Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России*. М.: ИНИОН РАН. 421 с.
- Малинова О.Ю. 2016. Официальный исторический нарратив как элемент политики идентичности в России: от 1990-х к 2010-м годам. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 139–158.
- Малчиоди К. 1998. *Постижение детского рисунка*. Санкт-Петербург: Институт общегуманитарных исследований. 307 с.
- Мельникова О.Т. 2005. Методика психологического рисунка в качественном исследовании социальных установок. — *Социология: 4М*. № 1. С. 108–126.
- Национальные истории в советском и постсоветских государствах (под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова)*. 2003. М.: Фонд Фридриха Науманна, АИРО-XX. 432 с.
- Нос Н.М. 2004. Фиксация социальной идентичности в гипотетическом сценарии. — *Социальная идентичность: способы концептуализации и измерения. Материалы Всероссийского научно-методического семинара (под ред. О.А. Оберемко, Л.Н. Ожиговой)*. Краснодар: Кубанский госуниверситет. С. 95–103.
- Образы российской власти: от Ельцина до Путина (под ред. Е.Б. Шестопал)*. 2008. М.: РОССПЭН. 416 с.
- Панов П.В. 2008. Конструирование образа России в официальном политическом дискурсе 1990–2000-х гг. (по материалам ежегодных Посланий президента РФ). — *Образ России в мире: становление, восприятие, трансформация (отв. ред. И.С. Семенов)*. М.: ИМЭМО РАН. С. 107–118.

- Психология политического восприятия в современной России* (под ред. Е.Б. Шестопал). М.: РОСПЭН. 423 с.
- Рогозин Д.М. 2015. Биографический метод: обзор литературы. — *Социологические исследования*. № 10. С. 120–129.
- Рождественская Е.Ю. 2012. Биографический метод в социологии. М.: НИУ ВШЭ. 381 с.
- Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. 2004. В границах памяти: провинциальная идентичность в устных историях. — *Социальная идентичность: способы концептуализации и измерения. Материалы Всероссийского научно-методического семинара* (под ред. О.А. Оберемко, Л.Н. Ожиговой). Краснодар: Кубанский госуниверситет. С. 15–28.
- Российская идентичность в социологическом измерении. Аналитический доклад*. 2007. М.: ИС РАН. 140 с. Доступ: http://www.isras.ru/analytical_report_Ident.html
- Российская идентичность: мы вместе? 2014 — *Пресс-выпуск ВЦИОМ* № 2727. 02.12.2014. Доступ: <http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115072> (проверено 01.03.2016).
- Россияне и поляки на рубеже веков. Опыт сравнительного исследования социальных идентификаций (1998–2002 гг.)* (сост. Е.Н. Данилова, О.А. Оберемко, В.А. Ядов). 2006. СПб: Издательство РХГА. 352 с.
- Самаркина И.В. 2011а. Первое десятилетие XXI: константы и новации в политической картине мира российских детей. — *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. № 3. С. 5–21.
- Самаркина И.В. 2011б. *Политическая картина мира*. Краснодар: Кубанский государственный университет. 250 с.
- Самаркина И.В. 2015. Геополитические образы политической картины мира в формировании национально-государственной идентичности. — *IV Столыпинские чтения. Историческая память и геополитические вызовы современной эпохи: материалы научно-практической конференции с международным участием* (отв. ред. В.М. Юрченко). Краснодар: Кубанский государственный университет. С. 526–532.
- Семенов И.С. 2008. Образы и имиджи в дискурсе национальной идентичности. — *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 7–18.
- Семенов И.С. 2012. «Человек политический» перед альтернативами общественных трансформаций: опыт переосмысления индивидуального измерения политики. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 9–26.
- Современная российская идентичность: измерения, вызовы, ответы. Социологический опрос ВЦИОМ для Международного дискуссионного клуба «Валдай» в преддверии заседания клуба «Многообразие России для современного мира»*. 2013. Доступ: http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/Russian_Identity_2013_rus.pdf (проверено: 01.03.2016).
- Социальная траектория реформируемой России: Исследования Новосибирской экономико-социологической школы* (отв. ред. Т.И. Заславская, З.И. Калугина). 1999. Новосибирск: Наука. 736 с.
- Судьбы людей: Россия XX век. Биография семей как объект социологического анализа*. 1996. М.: Институт социологии РАН. 426 с.
- Тишков В. 2014. Историческая культура и идентичность. — *Гефтер. Интернет-журнал*. 08.10. Доступ: <http://gefeter.ru/archive/13251> (проверено: 01.03.2016).
- Туркин С. 2006. «Воспоминание истории» в период перестройки: как процесс и не только. — *Неприкосновенный запас*. № 3. С. 67–76.
- Фадеева Л.А. 2009. Противоречивое сообщество: интеллигенция, интеллектуалы, «образованный класс». — *Сообщества как политический феномен* (под ред. П. Панова, К. Сулимова, Л. Фадеевой). М.: РОССПЭН. 248 с.
- Фадеева Л.А. 2012а. Политика идентичности: акторы, стратегии, дискурсы. — *Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 2. Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке* (отв. ред. И.С. Семенов). 2012. М.: РОССПЭН. С. 72–98.
- Франк Л. 2000. Проективные методы изучения личности — *Проективная психология*. М.: Апрель Пресс. С. 68–83.
- Цветева Н.Н. 1999. Биографический дискурс советской эпохи. — *Социологический журнал*. № 1 / 2. С. 118–132.

Шнирельман В. А., Абылхожин Ж. Б., Абашинов С. Н., Золян М., Закарян Т., Чиковани Н., Какителашвили К. *Многоликая Кlio: бои за историю на постсоветском пространстве*. Брауншвейг: Ин-т им. Георга Эккерта, 2010. 142 с.

Шютт А. 2003. *Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии*. М.: Институт Фонда «Общественное мнение». 336 с.

Щербинина Н.Г. 2012. Визуальный феномен в политической репрезентации. — *Вестник Томского государственного университета*. № 2. С. 5–13.

Ядов В.А. 2008. Социальные трансформации в России в эпоху глобальных изменений. — *Социологический журнал*. № 4. С. 8–22.

Ядов В.А. 2014. Трансформация постсоветских обществ: что более значимо — исторически традиционное или недавнее прошлое. — *Социологические исследования*. № 7. С. 47–50.

Якушина О.И. 2014. Идентичность в социологической теории Э. Гидденса. — *Современные проблемы науки и образования*. № 2. С. 87–95.

Ярская-Смирнова Е.Р. 1997. Нарративный анализ в социологии. — *Социологический журнал*. № 3. С. 38–62.

Giddens A. 1991. *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press. 264 p.

Hardy C., Harley B., Phillips N. 2004. Discourse Analysis and Content Analysis: Two Solitudes? — *Qualitative Methods*. Spring. P. 19–22.

Samarkina I.V. 2013. Political world view in the context of political socialization theory: cross-temporal and cross-regional comparisons. — *Citizens and Leaders in a Comparative Perspective: What can political psychology tell us about recent trends and events?* (ed. by E. Shestopal). Moscow: Moscow University Press. P. 44–55.

Wood L.A. and Kroger R.O. 2000. *Doing discourse analysis: Methods for studying action in talk and text*. Thousand Oaks, CA: Sage. 240 p.

Глава 5

ИДЕНТИЧНОСТЬ В ДИСЦИПЛИНАРНЫХ МАТРИЦАХ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Е.И. Филиппова

Ключевые слова: философия, история, этнология, антропология, социология, психология, гуманитарная география.

Идентичность — концепт, получивший в последние десятилетия второе рождение и широко распространившийся поверх национальных и дисциплинарных границ. Превратившись из абстрактной философской категории, имевшей ограниченное применение в сфере психоанализа и отчасти в психологии личности, в одно из ключевых понятий общественных и гуманитарных наук, он уверенно оккупировал центр дискурсивного поля, постепенно оттесняя на его периферию прежние аналитические категории — нацию, расу, этничность и социальный класс. «Лишенные самостоятельной сущности — качества сущностного, все они становятся частными случаями — прилагательными вездесущей идентичности: национальной, расовой, этнической, религиозной, региональной, социальной. Идентичность стала тем универсальным концептом, с помощью которого принято описывать современное общество и его структуру, социальные отношения, коллективные и индивидуальные поиски смысла бытия» [Филиппова 2011: 5]. К нему прибегают психологи и социологи, историки и антропологи, философы и географы, перед которыми встала проблема осмысления быстро меняющегося мира и человека в этом мире. Каждая дисциплина оперирует при этом собственными методами и вписывает идентичность в контекст, образованный ключевыми для нее понятиями.

Философские концепции идентичности: тождество и самость, постоянство и изменчивость

Идентичность как онтологическая философская категория известна с глубокой древности: обычно ее возводят к Платону и Аристотелю, Пармениду

и Гераклиту, сформулировавшим это понятие в самом общем виде. Основным вопросом, вокруг которого строились рассуждения античных философов, был вопрос о соотношении постоянства и изменчивости. Если Парменид и его последователи сомневались: «если А, в результате изменений, уже не является тем же, что прежде, можно ли считать, что это по-прежнему А?», то Гераклит с его знаменитым «нельзя дважды войти в одну и ту же реку» считал изменчивость общим свойством всех объектов. Вопрос о сущности и ее изменчивости по-прежнему находится в центре научных дебатов между эссенциалистами и конструктивистами.

Ж. Делез и Ж. Деррида поставили под сомнение примат идентичности над различием, дифференцией. Апология различия, предпринятая постструктурализмом, «удивительным образом переключается и по направленности, и по содержанию с критикой “мышления тождества”, которую ведет в своей “Негативной диалектике” Адорно» [Малахов 2001: 81]. Ж.-П. Сартр, развивая мысль Гегеля о конституирующей роли Другого в формировании идентичности, подчеркивает важность оценивающего взгляда со стороны для самоидентификации. Другой является необходимым элементом и для формирования коллективной идентичности, ибо без него невозможно никакое «Мы», никакое чувство солидарности, сопричастности или, напротив, отличия. В то же время, Другой воспринимается как *угроза* для собственной идентичности: Я для Другого — лишь объект, о котором он может не только *судить*, но и *влиять* на него, т.е. изменять, деформировать личность: «в присутствии Другого я постоянно чувствую себя в опасности», — пишет Сартр [Sartre 1976: 333].

П. Рикёр, напротив, утверждает: «чтобы иметь перед собой “другого”, отличного от “я”, необходимо, чтобы существовало само “я”» [Рикёр 2002: 331]. Именно сохранение собственной специфики, позитивное отношение к себе, внимание и интерес к собственному прошлому обеспечивают, согласно Рикёру, защиту от той исходящей от Другого опасности, о которой говорил Сартр. Для того чтобы встреча с Другим не обернулась катастрофой, необходимо, с одной стороны, «возвести в ранг принципа сознательное утверждение человеческой идентичности» (в значении чувства принадлежности к единому человеческому роду), а с другой — не допустить «триумфа универсально идентичной и интегрально обезличенной культуры потребления» [там же: 324, 329].

Идентичность в психологии личности и социальной психологии: единство, постоянство, целостность

Проникновение философской категории «идентичность» в психоанализ и затем в социальную психологию, датируемое 1950–1960-ми годами, связано с именем Э. Эриксона, который первым ввел в употребление понятия «кризис идентичности» и «негативная идентичность». В дальнейшем основной сферой его исследовательских интересов стали проявления того, что он определял как «кризис культурной идентичности»: конфликты, вызванные раздвое-

нием системы культурных ориентиров индивида. Эриксон определял идентичность как «выраженное субъективное чувство единства личности и ее постоянства во времени» [Erikson 1972: 14]. Психоаналитик по образованию, Эриксон опирался на работы Фрейда по психоанализу, в которых использовалось понятие «идентификации». Однако идентификация, о которой идет речь у Фрейда, — это процесс, тогда как идентичность в понимании Эриксона — это продукт, результат серии последовательных идентификаций?, завершающихся конструированием «окончательной идентичности», закрепляющейся к концу подросткового возраста и признанной окружающими (Ibid: 168). В таком понимании идентичность подразумевает одновременно «осознанное ощущение индивидуальной специфики; неосознанное усилие, направленное на выстраивание непрерывной и последовательной жизненной истории; а также разделение индивидом «позитивных» идеалов и культурных моделей референтной группы» [Lipiansky, Taboada-Leonetti, Vasquez 1999: 11].

Идентичность связана с постоянством, сохранением незыблемых ориентиров, не подверженных изменениям с течением времени. Она способствует установлению границ, обеспечивая каждому отдельному субъекту единство и внутреннюю сплоченность, необходимые, чтобы отличить его от других; создает такое отношение между двумя элементами, которое устанавливает их абсолютную тождественность и позволяет признать их идентичными [Green 1977: 81–82]. В данном определении объединены два аспекта идентичности: идентичность между собой двух или нескольких тождественных элементов и идентичность одного и того же субъекта самому себе на протяжении времени.

Психологи в основном имеют дело со вторым аспектом идентичности, опираясь в его осмыслении на противопоставление человеческого существа и личности. Это позволяет им разрешить противоречие между постоянством и изменчивостью, постулируя, что человек остается одним и тем же существом на протяжении всей жизни (о чем свидетельствуют в том числе его генетический код или отпечатки пальцев), в то время как личность его претерпевает более или менее существенные изменения. В особых случаях (таких, как потеря памяти) речь вообще может идти о полном исчезновении прежней личности и появлении новой. Такая мысленная операция разделения субъекта на две части, одна из которых обеспечивает его постоянство, а другая «разрешает» изменчивость, позволяет снять с повестки дня вопрос об индивидуальной глубинной «субстанции» личности, которая должна оставаться неизменной на протяжении времени вопреки всем «поверхностным» изменениям. Роль субстанции закономерно отводится телесной оболочке, личность же приравнивается к самосознанию [Chauvier 2004: 25–32].

Оппозиция между единством личности и ее многообразием рассматривается под углом зрения ролевой теории или инструменталистского подхода (в роли инструментов выступают «элементы», «носители», или «маркеры» идентичности, которые владелец использует по мере необходимости и в зависимости от их эффективности и уместности в той? или иной ситуации взаимодействия). Концептуализация идентичности в рамках ролевой теории

связана с именем Э. Гофмана [Goffman 1963; 1967; 1969], чей символический интеракционизм, соединяющий в себе социальные и аффективные аспекты, оказал большое влияние на развитие психологических исследований идентичности. Гофман делает акцент на феноменах девиации, т.е. несоответствия поведения индивида, исполнения им своей роли социальным ожиданиям, а также стигматизации — механизма, с помощью которого общество «выдавливает» тех, кто отклоняется от заданных норм. Отталкиваясь от понятия стигматизированной идентичности, Гофман вводит понятия реальной и виртуальной идентичности: последняя в его понимании представляет собой определенную стратегию, направленную на выживание в условиях конкретного социального мироустройства при помощи приспособительных хитростей и уловок. Гофман устанавливает своего рода дистанцию между «Я» и идентичностью, которая оказывается в его логике рассуждений лишь ролью, которую играет «Я». Реальная — т.е. глубокая, экзистенциальная идентичность, внутреннее содержание личности (идентичность для себя), может при необходимости прятаться за различными виртуальными — «временными», «ситуативными» идентичностями (идентичность для других).

Идентичность в трактовке социологов: роли, референтные группы, категории

В классической социологии идентичность чаще всего трактуется как синоним принадлежности к определенной социальной категории, причем до недавнего времени основной считалась принадлежность к категории социо-профессиональной. Только с конца 1970-х — 1980-х годов исследователи стали уделять больше внимания другим характеристикам индивида: таким как пол, принадлежность к определенному поколению, среда обитания, религиозные и (или) культурные ориентиры. Постепенно пришло осознание того, что ни одна из этих и иных тому подобных характеристик не может рассматриваться по умолчанию ни как «объективная», ни как «основная». Наконец, в последние 20 лет социологи все чаще обращают внимание на субъективный аспект идентификации, адаптируя соответствующим образом свои методы исследования (прибегая, в частности, к глубинному интервью). Однако в силу традиционного разделения сфер интересов между психологией и социологией индивид не является общепризнанным объектом социологического исследования, равно как понятия «идентичности для себя» и «само-образа» не принадлежат словарю классической социологии.

Особенность социологического подхода состоит в типизации различных форм идентичности, позволяющей соотнести все многообразие индивидуальных идентичностей с несколькими идеал-типами и выявить преобладающий в том или ином обществе или в ту или иную историческую эпоху идеал-тип. Таким образом, идентичность предстает в виде отражения социальной структуры [Kaufmann 2004: 61]. Концептуальным обоснованием для такой типизации

пии служат общие социологические теории, описывающие исторический процесс как процесс цивилизации (Н. Элиас) или процесс рационализации (М. Вебер) и акцентирующие, соответственно, политическую либо символическую его составляющие.

Различают общинный и общественный типы идентификации. Первый, для которого характерно доминирование «мы-идентификации», может быть определен как холистский. Он характерен для социальных отношений, основанных на силе традиции и культурного наследия, на аффективном чувстве принадлежности к коллективу, в котором каждому члену отведено определенное место, воспроизводящееся из поколения в поколение. Второй тип, соответствующий социальным отношениям, основанным на согласованности рационально мотивированных интересов и добровольном объединении индивидов для защиты этих интересов, допускает «существование множества разнообразных, изменчивых, недолговечных коллективов, к которым индивиды присоединяются на время и с которыми они могут себя идентифицировать, произвольно и неокончательно» [Dubar 2003: 5]. Кроме того, выделяют различные формы идентичности, господствующие в различные эпохи. Наиболее архаичной считается культурная форма: идентификация индивида происходит в первую очередь на основании его места в череде поколений и структуре родства, т.е. идентичность есть данность, возникающая при рождении. Позже возникает статусная форма, связанная с иерархией, основанной на принципах заслуг и успеха: она находит свое выражение в системе чинов, званий, орденов, продвижения по карьерной лестнице и требует усвоения социальных кодов и общественно санкционированных норм поведения. Центральная роль в обеспечении перехода от культурной к статусной форме отводится государству и его институтам. Как культурная, так и статусная формы идентичности являются в первую очередь идентичностью для других.

Осознание индивидом самого себя как личности, существующей отдельно от социальных ролей и принадлежности к коллективу, лежит в основе принципиально иных форм идентичности: идентичностей для себя. Последовательное конструирование субъектом своей персональной идентичности состоит в переходе от предписанных культурных или статусных идентичностей сначала к рефлексивной, а затем, по мере овладения языком самовыражения, к нарративной идентичности. Этот переход делает важнейшим аспектом идентичности ее биографическую составляющую [Dubar 2003: 18–56, 222–228; Kaufmann 2004: 77–80, 151–158], а важнейшим механизмом ее изучения — анализ языка и дискурса, слов и классификационных категорий, с помощью которых осуществляется идентификация [Dubar 2003: 203]. Наряду с идентичностью-повествованием, рассказом в каждый данный момент существует идентичность-образ (или ситуативная идентичность) [Mucchielli 1986: 37–38]: она определяет практические выборы, наполняет смыслом индивидуальные действия, обеспечивает возможность принятия решений [Kaufmann 2004: 168–172].

Историки и идентичность: память, наследие, преемственность

Историки рассматривают проблему идентичности сквозь призму ее соотношения с индивидуальной и коллективной памятью. Нарративная идентичность стала центральным концептом в исторических исследованиях идентичности, где жанр микроистории, истории повседневности постепенно занимает все более заметное место.

Идея повествования, рассказа, является центральной в трактовке национальной идентичности. Содержание исторического рассказа, а вместе с ним и характер национальной идентичности меняются с течением времени. Неизменным остается одно: основной целью этого рассказа является сплочение и прославление нации. В понимании современных историков «национальная идентичность» представляет собой важнейшую для индивидуального самосознания эмоциональную и интеллектуальную связь с расширенным образом «мы», включающим как современников, с которыми индивид делит общее наименование, общий язык, общую территорию, историко-культурное наследие и символы, прошлое, настоящее и будущее, так и предыдущие и последующие поколения. Эта связь основана на общности ценностей и смыслов, на общеразделяемом наследии, которое порождает долг благодарности по отношению к предкам и обязанность сохранить его для потомков [Pomian 2010: 46]. Речь отныне не идет ни о «национальном духе», ни о «национальном характере» с их претензиями на униформизацию, централизацию и тотализацию. Культурное наследие по определению множественно, и каждый может выбрать в нем то, что наилучшим образом отвечает его склонностям и потребностям.

Идентичность в этнологии и социальной антропологии: корни, культура, традиция

В социальной антропологии понятие «идентичность» тесно переплетено с такими понятиями, как этничность, культура и традиция. Это концепт, отсылающий к истокам и основаниям, к почве и местному колориту. Идентичность рассматривается в терминах экзогенный — эндогенный, оригинальный — заимствованный. За этими терминами угадывается идея обществ как отдельных замкнутых систем. Классический для антропологии метод монографического описания вольно или невольно способствует такому пониманию, позволяя говорить об идентичности группы как о чем-то едином, раз и навсегда определенном и общем для всех ее членов.

Классическая антропология имеет дело в первую очередь с культурной формой идентичности (см. выше). Проблематика идентичности заключена между двумя полюсами: уникальности каждой культуры и каждого индиви-

да, с одной стороны, и общего для них всех горизонта принадлежности к роду человеческому — с другой.

Структуралисты предприняли попытку деконструкции и детotalизации концепта, преодоления этноцентристских установок. Они предостерегают против «частичных» идентификаций, основанных на вычлениении одной из характеристик объекта. Их подход заключается в выработке общих аналитических и классификационных схем, применимых в различных обществах и географических ареалах, а также учете культурных инвариант, не являющихся ни постоянными, ни неизменными. По их мнению, грубое, примитивное, поверхностное понимание идентичности должно уступить место поиску глубинных структур, которые ее формируют, и в особенности изучению факторов взаимодействия и взаимовлияния.

В рамках постструктуралистской и постмодернистской парадигм акцент смещается на процесс конструирования идентичности, которая мыслится как феномен в высшей степени субъективный, зыбкий и изменчивый, как результат личного выбора индивида или договоренностей между всеми действующими лицами, участвующими в процессе выстраивания системы социальных связей. Акцент, делаемый антропологами на конструировании идентичности в постоянном диалоге с Другим, представление о различии как внутренней составляющей идентичности, наконец, традиционное самоопределение антропологии как науки о Другом и о различиях между культурами предопределяют исследование этого процесса в терминах гибридизации, креолизации и метисации [Amselle 1990, Abélès 2008, Laplantine, Nouss 1997].

Идентичность в гуманитарной географии: жизненные пространства, пути и траектории

Географы активно используют понятие «идентичность», рассматривая два феномена: идентификацию индивида (а иногда и группы) с той или иной территорией и идентичность самой территории. Они мобилизуют такие концепты, как социальное пространство, образуемое на пересечении пространственных и социальных взаимодействий, и жизненное пространство, представляющее собой экзистенциальную и субъективную связь индивида с различными локусами, возникающую в результате персональной жизненной траектории [Di Méo 1998]. Территориальность, согласно М. Хальбваксу, является необходимым условием для зарождения и сохранения группового сознания, которому необходима опора на некие видимые формы пространства [Halbwachs 1938]. С другой стороны, для того, чтобы обрести собственную идентичность и стать фундаментом групповой идентичности, пространству требуются время, медленная и кропотливая работа коллективного воображения, определенная нормативность, превращающая его в территорию [Marié 1982]. Территория является результатом экономического, политического и идеологического освоения и присвоения пространства некоей группой, осознающей свою

отдельность и имеющей определенные представления о самой себе и своей истории. Преобразуемые сменяющимися друг друга человеческими коллективами, территории приобретают большую символическую ценность. Некоторые их элементы (природные и исторические достопримечательности, памятные места), возведенные в ранг наследия, способствуют пробуждению или укреплению чувства идентичности. Оно может проявляться на индивидуальном уровне в форме особой привязанности к тому или иному пространству. Если такую привязанность испытывают многие люди, она может принять форму коллективного чувства территориальной идентичности.

* * *

Таким образом, каждая из дисциплин, обращающихся к феномену идентичности, привносит в его изучение что-то свое. Психология уделяет основное внимание процессам идентификации, саморепрезентации и «Я»-концепциям, тогда как коллективные формы идентичности остаются на втором плане. На социологическом уровне, напротив, исчезает из поля зрения индивид. Если психологи изучают кризис идентичности, имея в виду состояние индивида, возникающее в ситуациях нарушения ощущения единства и постоянства личности (переходный возраст, вынужденная миграция, развод, резкое изменение социального статуса, тяжелая болезнь...), то социологов волнует кризис идентичностей, проявляющийся в том, что традиционные формы групповой идентификации — семья, община, нация, социальный класс — теряют смысл, а основанные на них социальные связи и чувство солидарности ослабевают. Антропологи совмещают оба подхода. В одном случае в центре анализа находится индивидуальная идентичность (как правило, ее культурная форма), изучение которой дополняет исследование социальной структуры группы, членом которой является индивид. В другом случае исследователей интересует коллективная идентичность в значении чувства принадлежности к группе. Наконец, разработка категории «этнологического наследия» и внимание к коллективным формам памяти сближают антропологический подход к изучению идентичности с географическим и историческим.

При всей специфике описанных «дисциплинарных матриц», частью которых является понятие «идентичность», существует определенный междисциплинарный консенсус, предопределенный трактовкой идентичности в парадигме сложности, сформулированной Э. Мореном [Morin 1991]. В этой парадигме идентичность:

- не может рассматриваться как сумма «характеристик» (будь то психологических или социальных);
- не может быть результатом действия лишь каких-то определенных причин или влияний;
- не может быть одинаковой у всех членов группы (какой бы ни была эта группа);
- не может конструироваться субъективно;

— при этом результат конструирования может быть как признан, так и подвергнут сомнению другими [Mucchielli 1986: 11; Kaufmann 2004: 42].

Таким образом, к настоящему времени утвердилось представление о том, что идентичность всегда множественна и является результатом конструирования, представляющего собой непрерывный динамический процесс.

Литература

- Малахов В.С. 2001. *Скромное обаяние расизма и другие статьи*. М.: Дом интеллектуальной книги и Модест Колеров. 171 с.
- Рикёр П. 2002. *История и истина*. Санкт-Петербург: «Алетейя». 397 с.
- Филиппова Е.И. 2010. *Территории идентичности в современной Франции*. М.: ФГНУ «Росинформагротех». 300 с.
- Abeles M. 2008. *Anthropologie de la globalisation*. Paris: Payot. 277 p.
- Amselle J.-L. 1990. *Logiques métisses. Anthropologie de l'identité en Afrique et ailleurs*. Paris: Payot. 257 p.
- Chauvier S. 2004. La question philosophique de l'identité personnelle. — Halpern C. et Ruano-Borbalan J.-C. (dir.). *Identité(s). L'individu, le groupe, la société*. Auxerre: Sciences Humaines Editions. P. 25–32.
- Di Meo G. 1998. *Géographie sociale et territoire*. Paris: Nathan. 320 p.
- Dubar C. 2003. *La crise des identités*. Paris: PUF. 239 p.
- Erikson E. 1972. *Adolescence en crise. La quête de l'identité*. Paris: Flammarion. 348 p.
- Goffman E. 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New York: Prentice-Hall. 147 p.
- Goffman E. 1967. *Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior*. New York: Garden City, Doubleday. 270 p.
- Goffman E. 1969. *Strategic Interaction*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 160 p.
- Green A. 1977. Atome de parenté et relations œdipiennes. — *Identité. Séminaire dirigé par Claude Lévi-Strauss*. Paris: PUF. P. 81–108.
- Halbwachs M. 1938. *La morphologie sociale*. Paris: A. Colin. 208 p.
- Kaufmann J.-C. 2004. *L'invention de soi. Une théorie de l'identité*. Paris: Armand Colin. 347 p.
- Laplantine F., Nouss A. 2008. *Le métissage*. Paris: Théaèdre. 116 p.
- Lipiansky E., Taboada-Leonetti I., Vasquez A. 1990. Introduction à la problématique de l'identité. — Camilleri C. et al. *Stratégies identitaires*. Paris: PUF. P. 7–26.
- Marie M. 1982. *Un territoire sans nom, pour une approche des sociétés locales*. Paris: Librairie des Méridiens. 176 p.
- Morin E. 1991. *Les idées (La Méthode, t. 4)*. Paris: Seuil. 261 p.
- Mucchielli A. 1986. *L'identité*. Paris: PUF. 127 p.
- Pomian K. 2010. Patrimoine et identité nationale. — *Le Débat*. No. 159. P. 45–46.
- Sartre J.-P. 1976 [1943]. *L'être et le néant*. Paris: Gallimard. 722 p.

Глава 6
ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК «СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ»
В ПРОБЛЕМНОМ ПОЛЕ ПОЛИТОЛОГИИ

Л.А. Фадеева

Ключевые слова: интерпретации идентичности, кризис идентичности, идентичностные исследования, политическая культура, политика идентичности.

Идентичность была и остается, по выражению З. Баумана, в высшей степени состязательным термином. Он уточняет: где бы ни употреблялось это слово, можно быть уверенным, что речь идет о борьбе: «Поле битвы — это родной дом идентичности. Идентичность приходит в жизнь в грохоте битвы, и она задремывает и становится безмолвной, когда битва стихает» [Bauman 2004: 77]. Это во многом объясняет высокий накал критики разных трактовок и интерпретаций идентичности.

Ученые, которые внесли свой вклад в проблематизацию идентичности в социальном и политико-культурном измерениях, работают на разных направлениях социальных исследований и руководствуются разными научными задачами. Для одних идентичность позволяет рассматривать многие важные черты современности, определяемой как текучая (З. Бауман) или как эпоха постмодернити (Э. Гидденс, С. Холл). Для других обращение к идентичности важно в плане определения соотношения универсального и партикулярного (Э. Лакло, Ш. Муфф). Третьи идут к концептуализации идентичности через анализ коллективных действий, новых форм политического протеста (А. Мелуччи, Ч. Тилли). Выбор смыслов, борьба за признание и адекватное принятие идентичности — главное, что делает «борьбу за идентичность» политической проблемой для Ч. Тэйлора и М. Кастельса [Миненков 2011: 21–24]. Таким образом, генезис концепта идентичности является одним из важных объяснительных моментов его сложности и многозначности. Каждый из вышеуказанных ученых «приписан» к своему предметному полю, и в то же время исследования таких авторов, как З. Бауман, П. Бергер, П. Бурдьё, Э. Гидденс, М. Кастельс, Э. Лакло, А. Мелуччи, Ч. Тилли, Ч. Тэйлор, А. Турен, С. Холл (список можно продолжить), затруднительно ограни-

чить рамками строго определенной области научных знаний и сугубо конкретными проблем.

Разработка теоретических понятий «кризис идентичности» (Э. Эриксон), «угрозы идентичности» (И. Гофман), идентичность «истинная и ложная» (Ю. Хабермас), Другой и другой (Ж. Лакан), «обобщенный другой» (Дж. Мид) и др. сопряжены в проблематизации идентичности с постановкой в качестве ключевых вопросов самоидентификации современного человека — Что делать? Как действовать? Кем быть? (Э. Гидденс). Подобная сопряженность изначально определяет составительность термина.

По мере того, как концепт идентичности приобретал популярность в научной среде и становился предметом общественного дискурса, разворачивалась широкая полемика по поводу кризиса самого этого концепта. В этом нет ничего удивительного. Широкая популярность понятия, прочно вошедшего в лексикон социально-гуманитарного знания, тоже имела оборотную сторону, приводя к чрезмерной многозначности его интерпретаций. «В отсутствие в политической науке общего дискурса идентичности (как способа ее репрезентации в публичном пространстве и «говорения» об идентичности) нынешние частные дискурсы зачастую представляют туманные смыслы либо создают — усилиями публичных интеллектуалов и политиков — благодатную почву для политического манипулирования. Причем это отнюдь не сугубо российская, а общая для современной политической науки и социогуманитарного знания проблема», — этим во многом объясняется критический настрой ряда исследователей к когнитивному потенциалу концепта идентичности [Семененко 2011а: 13].

Сохраняют актуальность многие критические замечания Роджерса Брубейкера и Фреда Купера, высказанные ими в начале 2000-х годов: «Идентичность может означать слишком много..., слишком мало... или вообще ничего», что подразумевает неоднородность и чрезмерную многозначность понятия идентичности, перед которым исследователи, на их взгляд, капитулировали как по интеллектуальным, так и по политическим соображениям [Brubaker, Cooper 2001: 1]. За прошедшие после этой публикации полтора десятилетия, пожалуй, редко кто из работающих в этом поле исследователей не попытался так или иначе отреагировать на эту критику и предложить свои варианты решения поставленных Брубейкером и Купером проблем. Сами авторы выделили ключевые сложности в изучении идентичности и предприняли попытки преодолеть методологические трудности анализа. Они предложили обойти ловушки терминологического характера и тем самым существенно продвинуть исследования за счет разработки таких понятий, как идентификация и категоризация, самосознание и место в обществе, общность, связанность и групповая принадлежность («группность»), на которые, как они полагали, можно ситуативно, в зависимости от контекста, заменить понятие «идентичности». Но, несмотря на усилия Брубейкера и Купера тщательно прописать предлагаемые категории, им не удалось преодолеть многозначность и даже двусмысленность данной цепочки понятий [Борьба за идентичность... 2012: 7].

Разработка этих и иных терминов и понятий, связанных с идентичностью, остается важной задачей исследователей как в плане методологических поисков, так и для развития аналитического инструментария, методов и методик изучения субъективной составляющей социально-политических трансформаций.

На наш взгляд, при анализе проблем становления идентитарных исследований наиболее важно то, что развитие концепта идентичности продвигалось, прежде всего, в направлении разработки категорий идентичности, характеризующих разные ее измерения — национальную, гражданскую, политическую, цивилизационную, варианты социально-ролевых идентичностей и др. Каждой посвящен значительный пласт эмпирических изысканий, и одновременно каждая из групповых идентичностей вызывает острые дискуссии академического характера, связанные с аналитической релевантностью разрабатываемых категорий. Если в зарубежной научной среде традиции критики концепта идентичности были заложены Брубейкером и Купером, то в отечественной науке наибольший резонанс в конце 1990-х годов вызвала статья «Неудобства с идентичностью»: ее автор В.С. Малахов отмечал, что «идентичность делается составной частью своего рода жаргона, бессознательное употребление которого превращается в норму и научной публицистики, и политической журналистики» [Малахов 1998: 46]. Таким образом, критики бурно развивавшихся исследований идентичности сошлись в позициях и выбрали хлесткие формулировки, — «по ту сторону идентичности», «неудобства с идентичностью». Тем самым создавалось впечатление, что идентичность — это неудобный и малосодержательный концепт, трудно поддающийся уточнению и верификации.

Именно такое распространенное бессознательное или плохо аргументированное употребление этого понятия сделало популярными шуточки, что данная проблематика более всего подходит для любителей «научного туризма». Или, если не знаешь, как объяснить какое-то явление или процесс, то надо использовать концепт идентичности. Такая постановка вопроса аналогична тому, как лет двадцать назад иронически подшучивали над категорией политической культуры. Далеко не случайно сопоставление этих категорий разными авторами и в различных исследовательских контекстах, поскольку оба понятия относятся к тому, что называют субъективным измерением политики, и в значительной мере концепт идентичности заменил собой в политической науке подвергшийся критике политико-культурный подход [Фадеева 2011]. Г. Вьярда, известный исследователь политической культуры, в монографии «Политическая культура, политическая наука и политика идентичности: нелегкий альянс» называет политику идентичности «поздней реинкарнацией политической культуры» [Wiarda 2014:147]. Он рассматривает взлет и падение популярности концепта политической культуры, как и ее последующий ренессанс, в контексте совокупности факторов научного и вненаучного характера. По его мнению, концепт политической культуры пережил влияние критики со стороны институционалистов и структуралистов, но разделил

судьбу телеологического оптимизма рубежа 1960–1970-х годов в отношении демократии и роли США. По мере того, как этот оптимизм уменьшался, а критика американской политической системы нарастала, снижалась и популярность концепта политической культуры. Американский ученый с пятидесятилетним стажем считает возможным говорить о влиянии моды не только в политике (на понятия и стили), но и в политической науке (на подходы и концепты). Так, по мере выхода из моды политической культуры ее место, по его мнению, заняла политика идентичности.

Обе категории, по точному замечанию И.С. Семененко, разрабатываются и внедряются в политической науке в качестве инструментария, который бы позволил «выявить механизмы влияния ценностных ориентаций на эволюцию социальных и, в частности, политических институтов» [Семененко 2011b: 8]. Представляется, что исследователи идентичности в значительной мере учли критику, которой были подвергнуты оба эти концепта — слабую верификацию, неразработанность методов и методик исследования, недостаточное внимание к эмпирике. (Такая критика во многом была некорректной. Вьярда справедливо замечает, что уже «Гражданская культура» Г. Алмонда и С. Вербы была основана на значительном эмпирическом материале и основательно фундирована). Так или иначе, применительно к идентичности обсуждаются и апробируются разные варианты операционализации теоретических конструктов, координации исследовательских усилий, использования разных методов исследований (контент-анализа, социологических опросов, дискурс-анализа, экспериментов и др.) [Measuring Identity... 2009].

Справедливо замечание О.В. Поповой, что на современные версии теории идентичности оказали влияние исследователи, стоящие на принципиально разных методологических позициях [Попова 2011: 24]. Можно к этому добавить и разницу в идеологических взглядах и оценках. Причем, по мере изменения политической ситуации расхождения в идейных ориентациях могут оказывать прямое и усиливающееся влияние на результаты исследовательской деятельности. Это относится как к внутри-, так и к внешнеполитическому контексту. Маркеры коллективной идентичности в сфере международных отношений претерпевают существенные изменения в зависимости от избранного политической элитой данной страны внешнеполитического курса. В свою очередь, определение и интерпретация Другого становится одним из способов организации политики [Нойманн 2004: 270].

При этом очевидно, что «поиск идентичности стал императивом. С окончанием холодной войны идентичность становится новым способом делать политику» [Evans 1998]. В современной ситуации, которую называют новой холодной войной, острота проблемы только усилилась. Использование идентичности в политических целях, выстраивание политического курса с опорой на конструируемую политическую или макрополитическую (термин, введенный О.Ю. Малиновой) идентичность требует от исследователей разработки новых подходов и отказа от жесткой привязки к устоявшимся стереотипам.

Сопоставительность термина усиливается по мере нарастания важности политики идентичности. Подходы к трактовке политики идентичности в отечественной науке существенно отличаются от западных. В западной науке сохраняется устойчивая традиция рассматривать политику идентичности в первую очередь применительно к меньшинствам, ущемленным в правах и претендующим на признание их специфики. Такая традиция сложилась в 1960-е годы на волне новых социальных движений и оказалась весьма живучей [D'Cruz 2008; Identity Politics... 2004].

Американский профессор и публицист Т. Джитлин, в 1960-е годы известный своими левыми взглядами и переживший значительную идеологическую трансформацию в 2000-е годы, в книге «Сумерки общей мечты» жестко критикует трактовку политики идентичности в интерпретации левых. На его взгляд, надуманная озабоченность идентичностью уводит политику от действительно важных проблем. Он описывает становление идентичности как «навязчивой идеи» с эпохи Просвещения, распространяет ее на историю американского общества, которое из нации, смотрящей вперед с целью достижения равенства, превратилось, по его выражению, в общество «культуральных страусов» (cultural ostrich) [Gitlin 1996]. Помимо критики идеологических оснований политики идентичности, Джитлин ставит вопрос о соответствии идентификации и реальных действий людей. Он считает, что то, каков у человека образ мысли, не обязательно проявляется в его поведении и конкретных действиях. Оживленные дебаты в академическом сообществе вызвал приведенный Джитлином пример из его собственной профессорской практики в Беркли, когда он посоветовал милому и стеснительному белому студенту «не заикливаться» на идентичности и избегать вступления в какое-либо сообщество, созданное по принципу этнической принадлежности. Немногие американские профессора решились бы последовать его примеру, опасаясь обвинений в расовой дискриминации. Джитлин оценивает политику идентичности в трактовке, традиционной для американской политической науки, как «гигантскую ошибку» в разных ее измерениях. После событий 11 сентября 2001 г. он внес немалый вклад в борьбу за идентичность в хантингтоновском духе, еще более резко упрекая либералов в их ошибках.

Либеральное измерение политики идентичности выражается и в том, что она оказывается связанной с гендерной проблематикой, которая все чаще выглядит не просто актуальной, но и в высшей степени общественно релевантной. Связь и взаимозависимость оценки гендера и оценки концепта идентичности и политики идентичности зависит не только от научных факторов. Одна из классиков гендерной теории Дж. Батлер 11 сентября 2011 г. во Франкфурте была награждена Премией им. Теодора Адорно, которая является наиболее престижной германской наградой за достижения в области философии, искусствоведения и других гуманитарных наук. Это вызвало волну возмущения в еврейском сообществе ФРГ и в Израиле в связи с тем, что Батлер неоднократно высказывалась против политики Израиля, призвала рассматривать движения «Хамас» и «Хезболла» и как элементы глобаль-

ного левого движения. Отношение к ее политическим взглядам, трактуемым оппонентами весьма ограниченно, было перенесено и на ее научную деятельность. Г. Кернс считает возможным рассматривать эту реакцию, дискуссию и общий дискурс в контексте динамики геополитической идентичности [Kearns 2013].

О борьбе за идентичность как борьбе за признание говорит Б. Парекх, призывая к формированию «новой политики идентичности», под которой он подразумевает выход на общечеловеческий уровень идентичности, на котором удалось бы преодолеть противоречия и столкновения расовых, религиозных и гендерных идентичностей [Parekh 2008]. Ему представляется чрезмерно идеологизированной и неправомерно апокалиптической хантингтоновская концепция столкновения цивилизаций. Новая политика идентичности сможет, на его взгляд, преодолеть это столкновение. Эта позиция близка идеям Хабермаса о формировании новой идентичности, правда, разрабатываемым преимущественно (хотя и не исключительно) применительно к европейской общественности.

В российской политической науке политика идентичности рассматривается фокусированно — как целенаправленная деятельность, акторами которой выступают государство, властная элита, а также другие субъекты — публичные интеллектуалы, гражданские активисты, политические партии и др. Политические процессы в современном мире побуждают ученых понимать политику идентичности в широком контексте деятельности по конструированию идентичности. Неудивительно, что такой сдвиг происходит, прежде всего, в отношении внешнеполитической идентичности или политики идентичности как внешнеполитического ресурса. Применительно к выстраиванию внешнеполитического курса разных стран понятие «политики идентичности» используется все более активно. И в то же время, состоятельность термина не просто возрастает, но буквально обостряется. Он становится своего рода политическим инструментом, орудием политической борьбы.

В политической науке разрабатывается исследовательский инструментарий и обосновывается значимость отхода от партикуляристского понимания политики идентичности, связанного с конкретными периодами и определенными акторами. Это еще одно свидетельство того, что идентитарный подход, пусть не быстро и не прямолинейно, но завоевывает прочные позиции. Об идентитарном подходе в политической науке можно говорить тогда, когда концепт идентичности используется для того, чтобы исследовать субъективную составляющую социально-политических трансформаций — институциональные изменения [Панов: 2011; Борьба за идентичность... 2012], социально-политические трансформации [Политическая идентичность... 2012; Политические изменения... 2014], политическое измерение социокультурных процессов [Фадеева: 2012] и др.

Проблематизация концепта идентичности наталкивается на разнообразные препятствия методологического, идеологического, идейного, политического характера; его утверждение происходит в процессе преодоления этих

ограничений. Нередко, а в последнее время все чаще и чаще разработка концепта идентичности осуществляется в поле состязательной политики. Она выходит за пределы академических изысканий в сферу публичной политики, которая тоже переживает серьезную трансформацию.

Литература

- Борьба за идентичность и новые институты коммуникации (отв. ред. П.В. Панов, К.С. Сулимов, Л.А. Фадеева). 2012. М.: РОССПЭН. 263 с.
- Малахов В.С. 1998. Неудобства с идентичностью. — *Вопросы философии*. № 2. С. 43–53.
- Миненков Г.Я. 2011. Идентичность как предмет политического анализа. — *Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 1. Идентичность как категория политической науки. Словарь терминов и понятий* (отв. ред. И.С. Семенов). М.: РОССПЭН. С. 18–25.
- Нойманн И. 2004. *Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей*. М.: Новое издательство. 336 с.
- Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 2. Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке* (отв. ред. И.С. Семенов). 2012. М.: РОССПЭН. 471 с.
- Политические изменения в глобальном мире: теоретико-методологические проблемы анализа и прогнозирования* (редколлегия: И.С. Семенов (отв. ред.), В.В. Лапкин, В.И. Пантин). 2014. М.: ИМЭМО РАН. 218 с.
- Попова О.В. 2011. Развитие теории политической идентичности в зарубежной и отечественной политической науке. — *Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции*. (Редколлегия сборника: И.С. Семенов (отв. ред.), Л.А. Фадеева (отв. ред.), В.В. Лапкин, П.В. Панов). 2011. М.: ИМЭМО РАН. С. 13–29.
- Семенов И.С. 2011а. Идентичность в предметном поле политической науки. — *Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции*. (Редколлегия сборника: И.С. Семенов (отв. ред.), Л.А. Фадеева (отв. ред.), В.В. Лапкин, П.В. Панов). 2011. М.: ИМЭМО РАН. С. 8–12.
- Семенов И.С. 2011б. Идентичность как категория политической науки: опыт концептуализации. — *Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 1. Идентичность как категория политической науки. Словарь терминов и понятий* (отв. ред. И.С. Семенов). М.: РОССПЭН. С. 7–17.
- Фадеева Л.А. 2011. Проблема идентичности в сравнительной политологии. — *Политические исследования*. № 1. С. 134–139.
- Фадеева Л.А. 2012б. *Кто мы? Интеллигенция в борьбе за идентичность*. М.: Новый хронограф. 320 с.
- Bauman Z. 2004. *Identity. Conversation with Benedetto Vecchi*. Cambridge, Malden: Polity Press. 104 p.
- Brubaker R., Cooper F. 2000. Beyond “identity”. — *Theory and Society*. Vol. 29. No. 1. P. 1–47.
- D’Cruz C. 2008. *Identity Politics in Deconstruction. Calculation with the Incalculable*. Farnham: Ashgate. 140 p.
- Evans N. 1988. Identity in Question. — *Quarterly Journal of Speech*. Vol. 84. No. 1. P. 94–109.
- Gitlin T. 1996. *The Twilight of Common Dreams: Why America Is Wracked by Culture Wars*. New York: Holt. 294 p.
- Identity Politics at Work: Resisting Gender, Gendering Resistance* (ed. by R. Thomas, A. Mills, J.H. Mills). 2004. Routledge. 179 p.
- Kearns G. 2013. The Butler affair and the geopolitics of identity. — *Environment and Planning D: Society and Space*. Vol. 31. P. 191–207.

Measuring Identity. Guide for Social Scientists (ed. by R. Ardelal, Y.M. Herrera, A.I. Johnston, R. McDermott). 2009. Cambridge: Cambridge University Press. 428 p.

Parekh B. 2008. *A New Politics of Identity: Political Principles for an Interdependent World*. New York; London: Palgrave MacMillan. 320 p.

Wiarda H.J. 2014. *Political Culture, Political Science and Identity Politics: an Uneasy Alliance*. Farnham: Ashgate. 147 p.

Раздел второй

Идентичность: в контексте анализа социально-политических изменений

Глава 7

ИДЕНТИЧНОСТИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: ОРИЕНТИРЫ, СМЫСЛЫ, ТРАЕКТОРИИ ДИНАМИКИ

И.С. Семененко, Е.В. Морозова

Ключевые слова: личность, общество, социальные роли, культурная норма, свобода, консюмеризм, глокализация, сетевое общество, современность, архаизация, гибридная идентичность, трансгрессия идентичности.

В условиях стремительных изменений, которые описывают широко известные метафоры «столкновения цивилизаций», «текучей современности», «общества риска», «постдемократии» и им подобные, особенно острой становится потребность в осмыслении природы и характера связей человека с институтами, отвечающими за организацию управления многомерными общественными процессами. Вектор трансформации политических институтов и возможности удовлетворения общественного запроса на социальную безопасность все более заметно расходятся. При этом социальные и культурные изменения нередко обгоняют способность видеть социальность за рамками ее привычных контуров и тем более возможности адаптировать институциональные формы к новым общественным потребностям. В результате проявляется «эффект запаздывания»: «Мы-образ» оказывается «далеко позади реальности глобальных взаимозависимостей», а «захваченные этими изменениями люди в своей личностной структуре, в своем социальном

габитусе еще продолжают оставаться на более ранней стадии» социальности [Элиас 2001: 294, 317].

В условиях стремительно меняющейся реальности четко обозначились риски и пределы управляемости развитием и на национальном уровне, и в глобальном контексте [см. Глобальная перестройка 2014]. Тем более остро ощущается потребность в «этическом повороте» в нашем понимании развития. Запрос на социальное творчество создает новое видение политики и новое понимание ответственности человека за происходящие в обществе изменения. Экзистенциальное самоопределение личности оказывается в этих условиях важным фактором, определяющим перспективы социально-политических трансформаций. Настоятельно встает вопрос о «человеческом факторе» развития и его динамичной и изменчивой природе.

На рубежах третьего тысячелетия неустрашимое сущностное противоречие между стремлением личности к свободе и несвободой социальности приобрело новое измерение, которое во многом задается расхождением векторов развития общества и индивидуальных жизненных практик. Мозаичность современной социальной реальности и молниеносность смены ее образов в калейдоскопе жизненных ситуаций подрывают целостность мировосприятия погруженного в реалии современности человека. На глазах и при деятельной вовлеченности нынешних социально активных поколений распадается достаточно устойчиво существовавший до недавних пор мир упорядоченных идентичностей. Поскольку «сегодня приходится иметь дело с утратой всеохватывающей перспективы мира», «сложные жизненные отношения в плюралистическом обществе нормативно можно соединить только со *строгим универсализмом равного внимания и уважения к каждому...*» [Гуревич, Спинова 2015: 285].

Пока же растут социальные размежевания, набирают обороты процессы фрагментации политического порядка в обществах, отличающихся в силу приверженности разным культурным матрицам как формами политико-институциональной организации, так и ценностными парадигмами. Арсенал современного социального знания уже не позволяет в полной мере осмыслить эту многослойную реальность: исследовательский тезаурус создавался почти исключительно в процессе осмысления историко-политического опыта современного Запада, и описываемые тренды выстраиваются на экстраполяции этого опыта и подсознательно трактуются как универсальные. Как полагает Юрген Хабермас, этот «дискурс, начатый в масштабах Европы, необходимо задает направление, стимулирующее процессы самопонимания» [Хабермас 2008: 43], в том числе за ее пределами. Действительно, он остается точкой отсчета, часто — самодовлеющей, в изучении альтернатив современного развития. В этом контексте тем более важно использовать когнитивные возможности идентитарного подхода, которые позволяют учитывать разновекторность динамики сознания и различия в картинах мира в разных национально-территориальных сообществах и включать в научный оборот работы, представляющие и западный, и незападный культурный и политический опыт.

Координаты системы самоопределения человека пересматриваются быстрее возможностей адаптации к ним социальных институтов. Такие системные временные разрывы порождают имитационный эффект: и социальные роли, и поддерживающие их институциональные основания все чаще копируют форму, оболочку, но не отражают (или лишь отчасти отражают) содержательные характеристики тех реалий, в которые они включены. В этом имитационном поле оказываются сегодня и институты представительства интересов, и культурные продукты информационных технологий. В его конструировании включены многие «публичные» интеллектуалы и деятели культуры. Видимости подменяют сущности, в результате трансформируются нормы социального общежития. Стремительно меняется само понимание культурной нормы, институциональные трансформации не поспевают за этими изменениями.

Рефлексия политического отражается в динамике политической идентичности: представления человека о политике аккумулируются в групповых идентификациях, ориентирами которых выступают социальные институты. Человек позиционирует себя в политических координатах, мысля в категориях гражданства, принадлежности к стране, нации, социальной страте, этнической или субкультурной группе, к тому или иному действующему в публичной сфере сообществу или группе интересов. Но эти ориентиры имеют для каждого разную значимость и неодинаковое, во многом — ситуативное эмоциональное наполнение. Устойчивые солидарности все чаще вытесняются непостоянными, мимолетными привязанностями. Ситуативность и изменчивость — характеристики, имманентно присущие и индивидуальной, и групповой идентичности человека XXI века.

Многообразие социальных ролей, которое стало императивом жизни современного человека, предполагает соприкосновение одновременно с разными срезами социальности. В публичную политику привносятся принадлежащие частной жизни практики, общественное становится сферой реализации частных интересов. Прямая взаимосвязь прослеживается между стилями жизни и электоральным поведением [см. напр. Cavazza, Corbetta 2015]. В результате растет непредсказуемость политической динамики: политические игроки апеллируют к сиюминутным потребностям, сами создают и поддерживают мнимые приоритеты. Меняется место политики в жизни человека. Зачастую повседневность оказывается трудно отделить от политики: потоки информации создают эффект ее повсеместного присутствия. Это стимулирует рост интереса к проявлениям солидарности со своим «большим сообществом» в повседневной жизни — так называемому банальному («обыденному»), национализму, т.е. проявляющимся в повседневности национальным чувствам [Billig 1995]. Это понятие неслучайно заняло сегодня заметное место не только в околонучном, но и в научном дискурсе: сам феномен существует издавна, но до недавних пор он не рассматривался в контексте формирования политического сознания и соответствующей картины мира. Растущий интерес к пониманию механизмов политической самоидентификации заставил

обратить внимание на повседневность как важный источник производства политических смыслов.

Механизмы взаимозависимости индивидуальных и групповых идентичностей претерпевают глубинные трансформации под влиянием нескольких ключевых тенденций общественных изменений, которые в полную силу проявляются в условиях нарастающего конфликтного противостояния культурно-цивилизационных укладов. В том, что касается влияния на динамику идентичности, просматривается определяющее воздействие таких трендов, как:

— консьюмеризация — расплощение общества потребления, проникновение потребительства и потребительской психологии во все сферы общественной (и, нередко, частной) жизни;

— глокализация — противоречивое единство глобального контекста и локальных ориентиров в окружающей индивида социальной реальности;

— информатизация — стремительный рост значения производства и обмена информацией в повседневной жизни человека, превращение информации в ключевой источник общественного развития;

— сетевизация — повседневная вовлеченность в сетевые социальные взаимодействия и постепенное приобретение социальными институтами сетевого характера.

Потребительское общество проросло сегодня во все сферы социальной жизни. Маркетинговые взаимодействия формируют сегодня ту среду, в которой рациональную рефлексию подменяют впечатления и эмоции. Человек участвует в потреблении и своим участием подтверждает свой социальный статус, свою принадлежность (*belonging*) к группе, свое «право» на идентичность и на место в современности. «Индустрия впечатлений» продвигает новый, нематериальный консьюмеризм: его олицетворение — многомиллионные толпы туристов, от которых трудно скрыться даже в самых отдаленных уголках мира. Рынок становится ареной политической борьбы и «борьбы за идентичность», равно как и политическая борьба с точки зрения «обычного» человека оказывается одной из форм потребительского поведения.

Однако появление и распространение цифровых сетевых технологий вносит коррективы и в традиционное понимание консьюмеризма. Границы между потребителем и производителем размываются, формируется гибридная идентичность просьюмера, производителя — потребителя, способного преодолеть создаваемые безудержным потребительством барьеры на путях формирования экологического сознания и экологической идентичности. Известное высказывание У. Бека «Бедность — иерархична, смог — демократичен» [Бек 2000] демонстрирует совершенно новый ракурс дискуссий о неравенстве и социальной справедливости. Но производителями и потребителями товаров и услуг «зеленой экономики» могут стать только личности и социальные группы с выраженной экологической идентичностью. В стихии политического консьюмеризма рождается и ответственный потребитель, он мотивирует свой выбор на рынке товаров и услуг этическими или идейно-политическими соображениями.

Экологическая идентичность может быть осмыслена в рамках теории экологического гражданства. Сама идея принадлежит американскому экологу А. Леопольду, который в конце 1940-х годов употребил термин «биотическое гражданство». Концепция «экологического гражданства» имеет много смысловых пересечений с концепцией делиберативной демократии, она формирует эколого-политические дискурсы [Ефременко 2006]. Такие дискурсы создают новые трансграничные политические пространства с подвижными границами.

Глобальное противоречие общества и природы не может быть решено в рамках нынешней парадигмы развития, но оно не будет решено и в будущем при существующем уровне экологического сознания. Мотивацией «экологической идентичности» является не страх санкций, а стремления альтруистического порядка. Она возможна лишь во взаимосвязи с формированием идентичности глобального гражданского общества. Утверждение проективных идентичностей (в логике М. Кастельса [см. Кастельс 2000]) позволяет надеяться на то, что сдвиг в сторону постматериальных ценностей, выявленных известным американским социологом Рональдом Инглхартом и его коллегами в ходе реализации проекта Всемирного исследования ценностей (World Values Survey)¹, способен вывести человека XXI века из ловушек индивидуализма и политической индифферентности. Эмпирические исследования ценностных сдвигов указывают на «усиление акцента на личной независимости, меняющего саму ткань современного общества... процесс человеческого развития переносит свободу и личную независимость во все сферы жизни» [Инглхарт, Вельцель 2012: 13–14]. В контексте этих изменений продолжают расти и культурное разнообразие и сложность современного мира [см.: Культурная сложность...2016], которые можно рассматривать одновременно и как ключевой ресурс развития, и как потенциальный «акселератор» рисков и фактор конфликтогенности.

Потоки людей, ресурсов и информации формируют трансграничные и транскультурные пространства современности. В эти потоки вливаются трудовые мигранты и беженцы. Растет число участников международных образовательных программ, «кочующих» по миру деятелей науки и культуры, волонтеров глобальных гражданских организаций и, с другой стороны — бюрократии международных и наднациональных организаций, управленческого персонала ТНК. Потоки «новых кочевников» (неономадов) переплетаются с потоками информации, технологий и виртуальных платежных средств, формируя несущие конструкции новой экономики, нового политического порядка и новых, космополитических идентичностей. «В своем наиболее принципиальном значении космополитизм как основа согласования индивидуальных и групповых идентичностей противостоит чрезмерному увеличению роли национального государства в жизни человека... его роль

¹ World Values Survey Database. URL: <http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp> (проверено: 14.02.2017).

как системы воззрений, диктующей новые формы отношения индивида к другому... обретает реально ориентационные формы даже для политических институтов» [Соловьев 2010: 76].

В условиях структурных изменений на рынке труда, трансформации режимов занятости и резкого ускорения информационных потоков к традиционным кливажам, определившим становление политического ландшафта современного Запада на волне развития институтов национального государства и индустриального общества [см. Lipset, Rokkan 1967], добавляются новые линии размежеваний. Они меняют ориентиры структурирования групповых идентичностей в сфере политики. Углубление внутренних разломов в социокультурных ландшафтах современности способствовало утверждению в научном дискурсе концепта «глубоко разделенных обществ» [Guelke 2012].

Размежевания между включенными в новую экономику и теми, кто отчужден от ее потребностей и вынужден использовать альтернативные модели выживания [Сассен 2015: 129], формируют новые социальные неравенства и потенциальные очаги конфликтности. «Разделенные» общества сталкиваются лицом к лицу с вызовами политико-институционального регулирования этнических, религиозных, этнолингвистических, расовых, культурных противостояний. Чтобы избежать радикализации таких противостояний, важно не уставать «показывать, что напряжение между безопасностью, стоящей за традицией, и свободой, предлагаемой модерностью, универсально» [Эриксен 2014: 216]. Но не универсальны пути преодоления этого напряжения. Политика идентичности, на которую они опираются, — это множество моделей, отражающих особенности политической культуры и жизненных проектов тех, к кому такая политика апеллирует, будь то население территории, возрастная группа или этнокультурное сообщество.

Новые вызовы современной эпохи, осмысливаемые на уровне обыденного сознания, становятся питательной средой алармизма и страхов, которые, в свою очередь, запускают маховик архаизации. «Важнейшее, если не главное, проявление архаизации, заключается в том, что культура, культурные программы архаичного типа, имманентные догосударственным локальным мирам, оказываются значимыми, даже господствующими в культуре государства, большого общества» [Ахиезер 2001: 93]. Архаизация общественных отношений становится реальной альтернативой потому, что этот процесс не обладает рациональной структурой и опирается на негативную идентичность, на противостояние «иным» под флагом воссоздания «своего» порядка. Опора на традицию, напротив, поддерживает самостояние человека, помогает преодолеть личностный кризис идентичности. Традиционализм «постоянно меняет свой облик в общем ходе социальной истории», в то время как архаическое «как глубинный пласт самобытности» гораздо дольше сохраняется в неизменном виде и становится ориентиром для человека во времена социальных катаклизмов [Ламажаа 2014: 70]. В этом смысле «процесс архаизации можно назвать механизмом социальной эволюции с двойственной природой: он защищает общество в период социальных трансформаций, и он же грозит

разрушить социум», апеллируя к субъектам архаизации — социальным аутсайдерам, которых объединяют не только общие культурные практики [там же: 54, 61], но и общие ориентиры идентичности, ретроспективной по своей направленности.

Нынешняя волна роста этнополитической конфликтности в современном мире, апелляция к этнической идентичности как к ресурсу политической мобилизации отражает такие противоречия. Многие из числа включенных в глобальные потоки информации, в сетевые социальные взаимодействия, в культурное пространство современного мира испытывают потребность в четких ориентирах самоидентификации. Такие ориентиры может дать привычная культура, язык, религия, короткие социальные связи. Отсюда такой неизбывный интерес к этнокультурным основаниям собственного Я в мире открытых пространств и потоков. У живущих в новой реальности он может сознательно сопрягаться с потребностью в общих, универсалистских ориентирах. У человека, не включенного в информационные потоки, эта потребность обычно не отрефлексирована. Рефлексия может способствовать формированию разных форм «протестных» идентичностей, и солидаристских, гражданских, и сугубо деструктивных.

На разных уровнях групповых взаимодействий многомерный конфликт идентичностей — между автохтонными и инокультурными группами, между национальными сообществами в составе современных политических наций, между Центром и регионами, между носителями разных групповых идентичностей и культурных норм, между приверженцами приоритетов социальной безопасности и свободы — становится препятствием для поддержания социальной солидарности внутри национально-государственных сообществ как субъектов развития. Между тем потребность в такой солидарности — сущностная черта современного (в смысле соответствия вызовам развития) общества.

Общество формируют личности, и принципиальные расхождения их ценностных установок и индивидуальных жизненных проектов размывают основы «общественного договора о развитии», который призваны поддерживать демократические политические институты, и рождают новые альтернативы развития. Каждая такая развилка дает возможность выбора, и поступательный вектор здесь отнюдь не предопределен. Его задает сочетание свободы и ответственности как равно значимых для человека ценностей, которые отражаются в культурной норме социума и развитии культуры диалога между носителями разных идентичностей. При этом очевидно, что «в современных условиях только государство (как гражданский антерпренер) может создать условия для налаживания духовных мостов между разными людьми, придерживающимися разных идеологических и культурных позиций, но являющимися гражданами одной страны», путем реализации «интегрирующих общество стратегий» поверх имеющихся различий [Соловьев 2016: 15].

Оборотной стороной процессов индивидуализации сознания оказываются «коррозия и постепенный распад гражданства» и основанной на гражданстве политики [Бауман 2008: 44] и, как результат — кризисные явления в сложившей-

ся на сегодняшний день системе институтов государственного управления. Так, подвижность политического ландшафта европейского Запада отражает новые мотивы политической мобилизации, за которыми стоят требования личного участия в политике, права на утверждение собственной политической идентичности в ситуативных формах, наиболее соответствующих текущей социальной повестке дня². И, что не менее важно, требования эффективной политики и возможностей контроля граждан за процессами политического управления.

Волатильность идейно-политической самоидентификации значительной части электората отражает динамический, изменчивый и гибридный характер политической идентичности рядового избирателя, гражданина, потребителя и налогоплательщика. Гибридные идентичности появляются не только в сфере потребления, но и в других областях социального опыта человека, в том числе в политической. Жизнь в стиле «фьюжн» (fusion — от англ. сплав, слияние), диктующая сочетание несочетаемого, превратилась в новую норму индивидуального повседневного опыта Запада. И дело здесь не только в расплывании стандартизированного ландшафта «глобальной деревни», которая формирует жизненное пространство современного человека. И не только в культурном многоголосии, которое выплескивают информационные потоки в повседневность многокультурного общества. Но и в распылении смысложизненных оснований бытия, абсолютизации самой возможности выбора как основания самоидентификации и условия причастности к Современности. Груз социальных обязательств и необходимость постоянно делать выбор в публичном пространстве — от супермаркета до избирательного участка — довлеет над личностью. В результате усиливается неопределенность жизненных «проектов», формирующих картину мира человека: кто-то склонен искать простые ответы на сложные вопросы, возникающие в отношениях человека и общества, свободы и ответственности, кто-то — избегать самой постановки таких вопросов.

Сетевое общество утвердило скорость как одну из ценностей, а «бытие» в сетевых контекстах позволило участникам произвольно изобретать все новые идентичности. Наиболее подходящий термин для обозначения этого процесса — трансгрессия идентичности. Трансгрессия — в значении «выхода за пределы» — термин, введенный в постмодернистский философский дискурс М. Фуко [Фуко 1994]. Речь идет о приписывании себе ранее не свойственных социальных ролей, о стремительном изобретении новых идентичностей. Пользователь Сети, представленный в десятках аватаров и многочисленных никнеймах, сам теряется в этом потоке, который не фиксирует устойчивые жизненные смыслы. «Жизни людей, как они представлены в виртуальном

² В политическом ландшафте появляется все больше гибридных политических институтов разных типов. Они могут сочетать признаки различных идеал-типических форм (гибридные режимы), существовать одновременно в разных пространственных средах (online и offline), объединять иерархию и сеть (политические гетерархии). Проблематика гибридных институтов актуализировалась после электоральных успехов таких разных политических игроков, как итальянское движение «Пять звезд», испанская партия «Подemos», британская UKIP (Партия независимости Соединенного королевства).

пространстве — это сетевые идентичности, которые легко подвергаются манипуляциям не только со стороны самого субъекта, но и извне», а «сама способность управлять сетевым контентом изменяет ракурс нашего видения себя и других» [Longley 2009: 76]. Такая сетевая маргинализация чревата серьезными угрозами безопасности, связанными, прежде всего, с деятельностью экстремистских сообществ, нарушением личного пространства пользователей (например, «клоны» страниц известных людей), финансовым мошенничеством, недобросовестной рекламой и «черным пиаром».

Что же касается коллективных идентичностей, то критерием утверждения субъектности сообществ и их признания другими становится их представленность в коммуникационной мультимедиа-системе. В социокультурной среде появляется система «реальной виртуальности», создаваемая современными СМИ и интернет-технологиями; в ней внешние отображения реальности человека (физической и символической) не просто передают («отображают») опыт, «но сами становятся опытом». В политической сфере формируются устойчивые механизмы производства политики нового типа — сетевой публичной политики. Они выстраиваются на основе использования сетевых ресурсов коммуникативной власти, сетевой мобилизации общественности и институционализации сетевых структур гражданского общества, на политическом трансфере инновационных гражданских практик; сетевой актуализации общественного дискурса в производстве публичных решений, сетевом управлении и электронном правительстве [Мирошниченко 2013].

Движущей силой динамики современных социальных идентичностей становится в этих условиях онтологическая дилемма свободы личностного выбора и несвободы социальности, определенная выдающимся российским ученым Г.Г. Дилигенским как «базовая напряженность» [Дилигенский 1994]. Общество потребления дает человеку возможности удовлетворения своих потребностей, но одновременно этот выбор сопровождается навязыванием искусственных запросов и мотиваций. В результате утверждаются новые императивы выбора и новые предписанные идентичности, такие, которые вменены человеку императивами «погони за современностью».

Такие идентичности не преодолевают существенных противоречий современной социальной реальности. Так, глобализация расширяет возможности тех, кто сумел приобщиться к информационным и другим ресурсным потокам, но чревата огромными эмоциональными издержками: это и жажда «постоянного и непрерывного самообновления (self-reinvention), и неутолимый голод перемен, и потребность в конечности и быстрой сменяемости (контекста деятельности), и одержимость скоростью и динамизмом», и даже исчезновение самого контекста [Elliot, Lemert 2009: xi, 13]. Свобода передвижения по миру во многом иллюзорна: разрушая старые социальные связи, она не готова компенсировать их новыми, по крайней мере, институциональные основания для этого сегодня недостаточны. Сетевое общество расширяет доступ к ресурсам развития личности, но одновременно создает беспрецедентные возможности контроля, без которого оно не может существовать.

В контексте таких противоречий актуализируется запрос на системные альтернативы развития, которые отвечали бы переломному характеру общественных трансформаций, изменениям в сознании человека и сдвигам в структуре пространственно-временных связей социальной реальности.

Новые фронтиры социальных и политических взаимодействий — «своеобразные “контактные зоны” различных этнических, религиозных, этносоциальных групп» — появляются «вне четко установленных и признанных государственных границ» [Фронтир... 2015]. Такая динамика будет и дальше усложнять идентификационную структуру, усугублять множественность и гибридность идентичностей. В пространстве потоков рождаются универалистские основания идентичности, а в пространстве мест утверждаются ее партикуляристские характеристики. На «диалектическую противоположность» «пространства мест» и «пространства потоков» как «материальной организации социальных практик в разделенном времени, работающем через потоки», обращает внимание М. Кастельс [Кастельс 2000: 386]. Он приходит к выводу о том, что современный человек не приобщается к глобальной культуре, а, скорее, осваивает культуру глобального разнообразия [Castells 2009: 36].

В современной социальной реальности человек оказывается в центре сплетения множества противоречий, обусловленных разнонаправленными тенденциями ее динамики. Мучительные поиски разрешения этих противоречий ставят его перед альтернативой: или предлагать технологические и технократические, проектные варианты решения проблем (как показывает социальный опыт последних лет, они малоэффективны в силу кардинального изменения самой реальности, а нередко и опасны ввиду неприсчитываемых последствий), или переводить осмысление и решение проблем в новую ценностную парадигму, в которой бытие человека не функционально, а субстанциально.

Отражение динамических характеристик индивидуальных идентичностей можно зафиксировать сегодня в трансформациях материальных и нематериальных потребностей, в динамике политического поведения, в структуре информационного поля и сетевых взаимодействий. Мерилом современности общества становится сложная, многосоставная идентичность, для которой характерно сосуществование разных значимых для человека социальных ориентиров и ролей, актуализирующихся в конкретных жизненных ситуациях. Динамичная матрица идентичности имплицитно предлагает разные ориентиры, которые человек может выбирать (или отказаться от поиска альтернатив, тоже сделав тем самым определенный выбор). Разрешение дилеммы свободы / несвободы — это вопрос личного выбора. Выбор в пользу свободы и одновременно ответственности за свои предпочтения дает человеку возможность преодолеть риски и опасности социального отчуждения в индивидуализированном обществе. Горизонты личностной идентичности определяет нравственный идеал, способность человека к нравственному суждению о своем месте в мире, о возможностях и перспективах социального творчества.

На этом пути открываются горизонты *ответственного развития*. В основе такой модели развития — наращивание возобновляемых, интеллектуальных источников и нематериальных стимулов жизнедеятельности, готовность нынешнего поколения отстаивать ценности общественного блага и принципы демократического политического общежития. В такой траектории развития человека и общества видится альтернатива «желаемого завтра» для будущих поколений.

Литература

- Ахиезер А.С. 2001. Архаизация в российском обществе как методологическая проблема. — *Общественные науки и современность*. № 2. С. 89–100.
- Бек У. 2000. *Общество риска. На пути к другому модерну*. М.: Прогресс-Традиция. 383 с.
- Гуревич П.С., Спирина Э.М. 2015. *Идентичность как социальный и антропологический феномен*. М.: Канон+; РООИ «Реабилитация». 368 с.
- Дилigenский Г.Г. 1994. *Социально-политическая психология*. М.: Наука. 304 с.
- Ефременко Д.В. 2006. *Эколого-политические дискурсы: Возникновение и эволюция*. М.: ИНИОН РАН. 284 с.
- Инглхарт Р., Вельцель К. 2011. *Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития*. М.: Новое издательство. 464 с.
- Кастельс М. 2000. *Информационная эпоха: экономика, общество и культура*. М.: Издательство ГУ ВШЭ. 608 с.
- Культурная сложность современных наций (отв. ред. В.А. Тишков, Е.И. Филиппова)*. 2016. Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. М.: Политическая энциклопедия. 384 с.
- Ламажаа Ч.К. 2014. *Архаизация общества. Тувинский феномен*. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 272 с.
- Мирошниченко И.В. 2013. *Сетевой ландшафт российской публичной политики*. Краснодар: Просвещение-Юг. 295 с.
- Сассен С. 2015. Две остановки в новой современной глобальной географии: формирование новой рабочей силы и режимов занятости. — *Постфордизм: концепции, институты, практики (под ред. М.С. Ильченко, В.С. Мартыянова)*. М.: Политическая энциклопедия. С. 79–136. [Sassen S. 2008. Two Stops in Today's New Global Geographies Shaping Novel Labor Supplies and Employment Regimes. — *American Behavioral Scientist*. Vol. 52. No. 3. P. 457–496].
- Соловьев А.И. 2010. Либерализм: логика истории и проблемы современного дискурса. — *Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование*. № 5. С. 66–83.
- Соловьев А.И. 2016. Идеологический универсализм в поле российской ментальности. — *Вестник Поволжского института управления*. № 6 (57). С. 6–15.
- Фронтир как эвристическая модель историко-культурного познания. Материалы круглого стола. 2014. — *Каспийский регион: политика, экономика, культура*. № 4. С. 304–314.
- Фуко М. 1994. *О трансгрессии. Танатография Эроса*. Санкт-Петербург: «Мифрил». С. 111–131.
- Хабермас Ю. 2008. *Расколотивший Запад*. М.: Весь Мир. 192 с.
- Элиас Н. 2001. *Общество индивидов*. М.: Праксис. 336 с.
- Эриксен Т.Х. 2014. *Что такое антропология?* М.: Издательский дом Высшей школы экономики. 238 с.
- Billig M. 1995. *Banal Nationalism*. London: Sage. 208 p.
- Castells M. 2009. *The Power of Identity*. London: Wiley-Blackwell. 584 p.

Cavazza N., Corbetta P. 2016. The political meaning of dining out: testing the link between lifestyle and political choice in Italy. — *Italian Political Science Review / Rivista Italiana di Scienza Politica*. Vol. 46. No 1. P. 23–45.

Elliot A., Lemert C. 2009. *The New Individualism: The Emotional Costs of Globalization*. New York: Routledge. 252 p.

Guelke A. 2012. *Politics in Deeply Divided Societies*. Cambridge: Polity Press. 178 p.

Lipset S.M., Rokkan S. 1967. Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments. — *Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives* (ed. by S.M. Lipset, S. Rokkan). 1967. New York: Free Press; London: Macmillan. P. 1–64.

Longley P.A. 2009. Digital biography: capturing lives online. — *a|b: Auto|Biography Studies*. Vol. 24. No. 1. P. 74–92.

Глава 8

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
ТРАНСФОРМАЦИИ ИДЕНТИЧНОСТИ В XXI ВЕКЕ

В.В. Лапкин

Ключевые слова: модернизация, глобализация, универсализация, диверсификация, трансформация идентичности, унификация развития, диверсификация развития, стратегия глобального развития, политика идентичности.

Иntenсификация современных политических процессов — как на внутри-страновом, так и на международном уровнях — порождает эмпирически фиксируемые эффекты диверсификации политических практик и политико-институциональных форм, выявляя фундаментальную неоднородность политической среды современного глобального мира. Особенно разительные перемены происходят буквально на наших глазах. Всего лишь менее десяти лет назад (формальной, конвенционально признанной датой вступления мира в период этой кризисной дестабилизации можно считать осень 2008 г.) ситуация была принципиально иной, нежели сегодня. Процессы модернизации и глобализации, повсеместного распространения практик коммерциализации и глобальной сетевой коммуникации представлялись общим, единообразным и универсальным императивом для любых стран и регионов, независимо от уровня их развития и культурно-цивилизационных особенностей формирующих их сообществ¹. Более того, сам формат вовлеченности в эти процессы трактовался как некий стандарт и общеобязательная норма, отклонение от которых рассматривалось лишь как симптом дисфункции соответствующих механизмов современной политики в «недостаточно унифицированной» социальной среде.

Практика унификации была ориентирована на разложение «старых» социокультурных и институциональных скреп общества, тогда как путем

¹ Сошлемся для примера на две работы, авторы которых, наиболее прозорливые и глубокие социальные и политические мыслители, критически анализируя тренды конца XX века, пытались представить отнюдь не линейный прогноз мирового развития XXI века [The Age of Transition... 1996; Fukuyama 1999].

диверсификации на «расчищенном поле» при активном использовании сетевого принципа организации предполагалось активное конструирование всепроникающих культурной и институциональной сред нового глобального сообщества.

Но сегодня единообразие той универсальной модели предстает явно утратившим актуальность. В мире, на фоне сохраняющегося модернизационного и универсалистского² целеполагания, нарастает многообразие различных ожесточенно конкурирующих версий реализации этого императива, различных стратегий модернизации³ и продвижения к глобальному мироустройству. Это противоречивое сопряжение тенденций унификации и диверсификации стратегий развития современного мира приобретает сегодня характер драматического оспаривания субъектами «альтернативной современности» претензий Запада на исключительность и глобальную политическую и культурную гегемонию. Этот конфликт точнее, чем что-либо иное, характеризует существо текущей кризисной трансформации глобального миропорядка⁴.

Именно резко возросший в последние годы градус межгосударственной и внутривнутриполитической конфликтности диагностирует критически усилившуюся диверсификацию стратегий активных политических игроков современного мира, причем не только национально-государственного уровня, традиционно приоритетного в политическом анализе, но и наднационального и субнационального уровней. Но в отличие от прежних кризисных эпох (что критически важно) речь идет не о борьбе «прогрессивных сил» во главе с мировым лидером, ведущим центром капиталистической мир-экономики, с «силами регресса», стремящимися повернуть мировое развитие в «исторический тупик» (олицетворяемый, например, национал-социализмом, коммунизмом или радикальным фундаментализмом). Модель единого, исторически локализованного на Западе центра мировой системы все более не соответствует происходящему. Практически на всех уровнях — и на локальном, и на региональном, и на глобальном — в эпицентре конфликта оказывается стремление не противопоставить универсализму автаркическую стратегию

² Представления об универсализме как определенном методологическом принципе концептуализации организационных форм современности, альтернативном разного рода партикуляризмам (национализму, локализму, культурализму и т.д.), разрабатывались, в частности, У. Беком, который продвигал концепцию космополитизации в качестве «синтеза... и преодоления дуализма между универсализмом и партикуляризмом, интернационализмом и национализмом, между глобализацией и локализацией...» [Бек 2012а: 56]. Налицо напряженное диалектическое единство универсалистско-партикуляристского континуума современности. Как таковое понятие универсализма тесно интегрировано с представлениями об уникальных культурно-цивилизационных основаниях современного коммерциализированного общества [см. Лапкин 2012: 34, 35, 39, 41–43, 47, 49].

³ Об этом см., напр. [Мартьянов 2010а].

⁴ Кризис, и нынешний кризис стратегии глобального развития, в частности, понимается здесь прежде всего как неустрашимое противоречие, конфликт, возникающий в процессе жизнедеятельности системы, императивно принуждающий к изменению прежней парадигмы, к переменам и адаптационному усложнению. Подробнее см. [Лапкин, Пантин 2016].

развития, но — диверсифицировать универсализм. Иными словами, продвигать «свою» версию (или, по крайней мере, свою «аранжировку») претендующего на всеобщность проекта универсалистского мироустройства, наиболее соответствующую стратегическим интересам того или иного политического сообщества, — не подвергая сомнению фундаментальный факт глобальной связности современного мира, а также императив его динамического преобразования.

Динамизм современной эпохи дал импульс перманентным радикальным преобразованиям всей совокупности идентификационных ориентиров, представленных в глобальном коммуникационном пространстве. Вся система позиционирования индивида, формирующая его социальный габитус [Бурдье 1993], утратила прежнюю определенность и стала объектом конструирования как со стороны самого индивида, так и со стороны разного рода субъектов социальной политики и политики идентичности. Эти многочисленные субъекты, в свою очередь, сами во все большей степени оказываются в неодолимой зависимости от игры стихийных сил рынка и, разумеется, утрачивают при этом качество субъектности. Трансформация идентичности становится в современную эпоху одним из ключевых факторов социальных перемен, динамично преобразующих соотношение статусных позиций индивидов и меняющих их социально-политические предпочтения и ценностные ориентации.

Структурные *трансформации идентичности* обусловлены стремительным возрастанием многообразия ролевых функций индивида в современном обществе, умножением смыслов, ценностей, целевых установок, предлагаемых ему в рамках системы социальных коммуникаций. При этом идентичность становится проблематичной, сопряженной с драматическим выбором из неопределенного набора возможностей своего собственного, индивидуального пути самореализации в сложном обществе, а ее изменения тем самым осуществляются как результат глубинного конфликтного взаимодействия ее различных составляющих. *Трансформацию (изменение) идентичности* следует рассматривать в качестве аналитической категории, которая характеризует структурно-динамические аспекты идентичности и выявляет динамическую взаимосвязь процессов самоопределения индивида в усложняющемся мире и процессов институциональных и социокультурных изменений в обществе. Использование представлений о *трансформации идентичности* открывает дополнительные возможности концептуализации динамики общественных изменений. Трансформирующаяся в ходе таких изменений идентичность сама выступает одновременно и в качестве источника экономической, политико-институциональной и социокультурной динамики современных обществ, и в качестве объекта осуществляемой соответствующими общественными институтами социальной инженерии. При этом изменения в структуре *социальной идентичности* и ее составляющих, происходящие вследствие экономических, политических и культурных перемен, со временем сами становятся мощным фактором общественной трансформации. В ходе этих быстро текущих перемен складывается и постоянно реконфигурируется *глобальное*

пространство социокультурной коммуникации, наполняясь новым содержанием, новыми элементами структурного усложнения. При этом администрирование и координация в рамках этого пространства во все возрастающей степени осуществляются сегодня сетевыми структурами мирового рынка.

Актуализация проблематики идентичности в условиях глобальных трансформаций

Возросшая значимость качеств непрерывности и самоценности процесса самопреобразования современного человека именно в связи с происходящей сегодня парадигмальной трансформацией глобализационного и модернизационного дискурсов обнаруживает себя со всей определенностью. С этим хорошо соотносится и повсеместно наблюдаемое необратимое разложение традиционных механизмов и способов поддержания идентичности, и интенсивность социокультурных изменений в мире, и ставшее нормой состояние всеобщего кризиса идентичности⁵.

Снижение интенсивности самоидентификации индивидов со своими традиционными *большими сообществами* (от государства до конфессии или структур родства) означает рост отчуждения от прежних «органичных» социальных ролей и формирование запроса на иные ролевые паттерны. Дифференциация *социальных идентификаций* выступает сегодня мощным инструментом отъединения одних групп от других. В результате конструируются новые сообщества, использующие теперь уже нетрадиционные механизмы интеграции, не требующие от индивида целостного, а лишь частичного участия. По мере распада синкретичных форм идентификации эти разъедающие общество процессы отъединения (атомизации) преобразуют саму природу современного индивида (рассматриваемого в качестве составляющего элемента целостного социального субъекта). В условиях «индивидуализированного общества» [Бауман 2002] форсируется процесс его самоотчуждения. Вместе с тем этой тенденции саморазрушения индивида противостоит личностное начало⁶ — основа универсальности человека. Именно в *личностной проекции* раскрываются присущие *идентичности* смыслы и ресурсы развития индивида, принципиально не обнаруживаемые в рамках парадигмы «экономического человека».

Как хорошо известно, тип «экономического человека» становится доминирующим именно в эпоху глобального рыночного универсализма. Имманентные ей социокультурные установки ориентируют индивида на радикальное преобразование не только сферы материального производства и обращения, но и самого принципа *накопления* ресурсов общественного развития, а также

⁵ Подробнее см. статью «Кризис идентичности» в гл. 26 настоящего издания.

⁶ Подробнее см. статью «Личность в политике ("человек политический")» в гл. 28 настоящего издания.

всей совокупности представлений о природе и назначении человека, существе, цели и критериях его самореализации. Революционной новацией, привносимой появлением «экономического человека», является присущая этому типу современного индивида ценностно мотивированная готовность к добровольному самоотчуждению своего субъектного потенциала и своей личностной свободы в распоряжение внешних, имперсональных сетевых структур в их рыночной и информационной версиях. Заметим, что различия между двумя этими версиями сетевой организации современного мира в последнее время стремительно стираются по мере экспансии глобальных финансово-информационных рынков. Фантастический финансовый успех глобальных Интернет-корпораций лучшее тому подтверждение. Практики тотального контроля со стороны ведущих держав за информационными сетями, включая Интернет и мобильную связь, ставшие в последнее время достоянием гласности, выявляют стремление сил, господствующих в сферах информационных технологий и глобальных финансов, тотально контролировать человеческое поведение. Стандартизация последнего (в «экономическом человеке» уже оптимально сформированы все ее предпосылки) предельно упрощает задачу и предполагает в перспективе превращение субъекта (человека и формируемое в процессе человеческого общения общество) в объект управления и всеобъемлющего подчиняющего контроля. В русле этого тренда в не столь уж отдаленной перспективе (не более четверти века!) вырисовывается фундаментальный кризис человеческой цивилизации и реальный «конец истории». Нет субъекта — нет истории.

Реконфигурация мирового политического пространства в контексте трансформации идентичности

Изначально формировавшиеся в философии, а также в социальных и психологических науках представления об *идентичности* предполагали, по меньшей мере, двоякую «оптику» рассмотрения этого феномена: с позиции отождествляющего себя с неким сообществом *индивида*, а вместе с тем и с позиции сообщества, формирующего специфические культурные паттерны, поведенческие установки и ценностные предпочтения, усвоение которых индивидом являлось обязательной «платой за вход» в качестве «своего» в коммуникационное пространство соответствующего *сообщества*. Тем самым, непременным условием формирования идентичности предполагалась социальная интеракция, или, иными словами, включенность индивида в активную среду социальных связей. Но по мере разработки представлений о ролевом характере участия индивида в социальных интеракциях обнаружилось, что ему имманентно присуща множественность идентичностей [Goffman 1959], равно как и многообразии референтных групп, с которыми он соотносит себя в ходе социальных интеракций. Исследуя проблему «индивидуальности» и присущей ей *идентичности*, Э. Эриксон [Эриксон 1996] вводит представление о «смешан-

ной» идентичности, маркирующей наличие серьезных проблем в формировании личности, опосредованном *кризисом идентичности*⁷.

Развитие этих представлений открывает дополнительные возможности осмысления динамики общественных изменений, способствует концептуализации процессов усложнения и «умножения» идентичности (сами эти процессы стимулируются, в частности, широким распространением практики двойного или даже тройного гражданства, формированием множественных сетевых и виртуальных сообществ и укоренением *двойной / множественной идентичности*). Тем самым дается импульс распространению новых моделей социальной и политической интеграции. В свою очередь, концентрация исследовательского внимания на процессах, факторах и движущих силах обновления идентификационных моделей в современном обществе, на новых перспективах развития, открывающихся с ростом многообразия коммуникативных возможностей современного человека, способствует выявлению новых граней феномена идентичности и новых возможностей анализа институциональных и социокультурных перемен.

При этом именно в парадигмальном русле многосоставности идентичности открывается перспектива исследования возможностей неконфликтного (или ограниченно конфликтного) соприсутствия этих составляющих в *социальной идентичности* современного индивида, что является одним из ключевых условий совмещения императивов модернизации и глобализации с сохранением основ *целостной социокультурной идентификации* конкретного сообщества.

В условиях современной глобализации, роста людской мобильности и бурного развития сетевых коммуникаций, кардинально преобразующих представления человека о своем месте в мире, именно доминирующая прежде национальная (или национально-государственная) составляющая в системе идентификационных ориентиров индивида оказывается подверженной наиболее серьезному разлагающему воздействию, ведущему к частичной утрате ею бывшего нормативного значения. Образ «классического» национально-территориального государства размывается, теряя свою привлекательность в качестве объекта идентификации. Национальные ценности девальвируются, что способствует резкому усилению значимости (а в определенном смысле — возрождению) этнической, религиозно-конфессиональной, цивилизационной и других, прежде «вторичных», дополнительных идеалтипических идентификационных моделей. В рамках целостной самоидентификации индивида усиливается роль как более *локальных*, так и, напротив, сетевых социальных идентификаций, делокализованных вплоть до глобальности, тогда как значение страны происхождения снижается. Понятие *национального* драматически расщепляется и в зависимости от контекста может прочитываться как атрибут государства-нации или же наполняться этническими и даже примордиальными коннотациями. В свою очередь, в рамках современной поли-

⁷ Подробнее см. статью «Кризис идентичности» в гл. 26 настоящего издания.

тической повестки дня все большее значение приобретают как *политика исторической памяти*, так и *политика борьбы за идентичность*.

Уже вполне очевидные сегодня симптомы кризиса модели национального государства — крушение Ялтинской системы и глубочайший кризис фундаментальных рамочных положений Вестфальской системы. Национальное государство оттесняется с позиции доминирующей (как это было в период с середины XVII по окончание XX века) модели организации социальной жизни и политического взаимодействия между различными социально-экономическими сообществами; повсеместно распространяется синдром *государственной несостоятельности* и пр. На смену политическим институтам национального государства и системы межгосударственных (международных) отношений приходят неинституциональные формы организации и координации глобального порядка, формирующие систему сетевых взаимодействий глобальной мир-экономики. Они отчасти замещают, отчасти вытесняют и упраздняют отдельные базовые элементы прежнего миропорядка, такие как суверенитет и монопольное право на применение насилия на подконтрольной государству территории, диктуя локальным сообществам — вплоть до государств — свои нормы и навязывая свой правопорядок. При этом сохраняющиеся институты государства и межгосударственных отношений используются ими как дополнительный инструмент дисциплинирования и подчинения интегрируемых сообществ новому мировому порядку. Эта новая поствестфальская сетевая система мировых связей если и может быть охарактеризована институционально, то ее институты принципиально латентны, скрыты от общества и ему неподконтрольны. По крайней мере до тех пор, пока речь не идет о так называемом *глобальном гражданском обществе*, пока его наличие и зримое присутствие в политической жизни не станет самоочевидным фактом. Или же пока ведущий тренд эволюции глобальной мир-экономики кардинально не поменяется и движение к единой и универсальной, контролируемой из одного центра *Империи*⁸ не сменится движением к конкурентной и полицентричной мировой системе, обеспечивающей сосуществование альтернативных стратегий общественного развития в рамках общепринятого модернизационно-глобалистского консенсуса.

⁸ Отметим, что модель мир-системы, обладающей *центром, периферией и полупериферией* (по Ф. Броделю — И. Валлерстайну), по сути соответствует структуре империи. Иными словами, капитализм, порождая систему национальных государств как политического проводника своей глобальной экспансии, латентно эволюционирует совершенно противоположным образом, используя узкий круг модернизационно зрелых демократий как основу имперского центра, а широкий круг модернизирующихся и «вечно догоняющих», а также континуум «вечно отстающих неудачников» (потенциальных *failed states*) как, соответственно, имперскую полупериферию и периферию. Так же, как и империя, капиталистическая мир-система находится в состоянии «постоянного беспокойства», стремления к перманентной и ничем не ограниченной экспансии («...пока существуют какие-либо рынки или ресурсы, которые еще не вовлечены в ее орбиту») [см. Сорос 1999: 114].

Альтернативные идентификационные ориентиры и стратегии глобального развития

Со вступлением мира в период глобальной рецессии и резкого усиления экономической и геостратегической конкуренции сконструированная абстракция противостояния «старой» (на основе объединенных суверенных наций) и «новой» (на основе приобщения к интегрированному сообществу универсальной цивилизации Запада) версий миропорядка стала обретать черты принципиально иного, реального конкурентного противоборства. Причем не бинарного, а множественного противоборства формирующихся стратегий продвижения мира в будущее⁹. И речь здесь идет не столько о противоборстве между конкретными государствами и межгосударственными объединениями современного мира, сколько о противоборстве альтернативных стратегий развития, формирующихся сегодня и консолидирующих своих сторонников зачастую поверх национальных барьеров. Приверженность альтернативным стратегиям нередко раскалывает «политический класс» тех или иных стран, а принципиальная универсальность предлагаемых альтернатив гарантирует их повсеместное распространение. Глобальные коммуникационные ресурсы обеспечивают каждому политически активному индивиду современного мира возможность выбора и практической поддержки той или иной предпочтительной для него стратегии развития, выбора предпочтительного паттерна индивидуальной самоидентификации.

Если говорить о стратегиях альтернативных универсалистской, то наиболее очевидными субъектами их формирования и продвижения в публичное пространство, теми, чья субъектность в современном глобальном пространстве сегодня уже практически не оспаривается, даже если и не приветствуется, являются наиболее крупные и в достаточной степени ресурсно оснащенные региональные державы или крупные региональные объединения, не вполне интегрированные в политическом и социокультурном отношении в сообщество Запада. Их объединяет то, что в своем движении по пути такой интеграции они столкнулись с принципиальными системными ограничениями, обрекающими их на перманентное отставание от Запада и догоняющее, зависимое развитие. Их элиты испытывают постоянный дискомфорт от того, что их возможности воздействия на формирование правил игры глобального финансового и экономического рынка существенно ограничены. А соответствующие сообщества сталкиваются с деструктивным натиском универсализма, разлагающим традиционные механизмы интеграции этих сообществ: систему ценностей и социальных ориентаций, идентификационные модели и паттерны, мотивации политического целеполагания. Под ударом оказываются даже базовые политические институты современного национального государства,

9

такие как институт выборов и политических партий, политического лидерства, партийно-политическая система в целом.

Рассматривая набор наиболее актуализированных сегодня альтернатив, начнем все же со *стратегии унифицированного универсализма*, формирующей основной *вызов*, обращенный ко всем сообществам сегодняшнего мира. Эта стратегия продвигается сегодня интенсивно интегрирующимся сообществом Запада в качестве уникального и не имеющего альтернатив проекта мирового развития и лежит в основе его гегемонистских вождельний. Она недвусмысленно ориентирована на «стирание» межнациональных и межгосударственных барьеров и выстраивание наднациональных и надгосударственных форматов торгово-финансового и информационного обмена, коммуникации и иных трансакций так называемого открытого доступа. Культурно-цивилизационной основой формируемого в ее рамках сообщества является подвергшаяся фундаментальной «мутации» западноевропейская цивилизация, а чаемый результат зафиксирован в представлениях о *современном обществе*. В его основе лежат универсалистские культурные принципы и институциональные механизмы, выработанные в процессе формирования тотально коммерциализированного общества и дополненные позднее социальной политикой, — в качестве условного компромисса с «социальным субстратом». Ресурсы цивилизационной (в традиционном понимании) природы используются им лишь в их символическом отображении, а социальные механизмы, соответствующие нюансам цивилизационного своеобразия отдельных стран Запада, последовательно демонтируются, равно как и разного рода партикулярные идентификационные паттерны.

Ядро сообщества Запада состоит из сформировавшихся *гражданских наций*, открытых к последовательной интеграции в единое и универсальное, но в то же время структурно и функционально дифференцированное сообщество глобализованного мира. А продвигаемая этим сообществом стратегия развития логически и исторически является следующим этапом эволюции Запада, этапом, на котором он обретает (в случае ее последовательной реализации) полное доминирование над иными существующими в мире сообществами, полный доступ к их ресурсам, полный контроль над их технологическим и даже социально-демографическим развитием, тем самым капитализируя свое положение глобального гегемона.

Но в последние годы последовательная реализация этой стратегии сталкивается с принципиальными трудностями. Неистребимое культурное и идентификационное своеобразие вновь и вновь воспроизводится как на уровне локальных и региональных сообществ стран Запада, так и в принципиально ином облики, в противостоянии «принимающих сообществ» и интенсивных потоков инोकультурной иммиграции. Конфликт культур и идентичностей существенно осложняет сегодня процессы унифицирующей интеграции. Налицо парадоксальное сосуществование — в единых институциональных рамках — цивилизационно разнородных сообществ, характеризующихся принципиально различными моделями самоидентификации, культурой

повседневности, полярными типами присущих им ценностно-нормативных систем, моделей целеполагания и стратегий развития¹⁰. Под вопросом оказывается способность сообщества Запада «переплавить» в единое целое конгломерат этих инокультурных сообществ. Более того, в рамках ЕС эти сообщества сами становятся олицетворением альтернативной стратегии развития — по сути имплантированной внутрь западного мира и эффективно разъедающей его культурно-цивилизационное ядро, то, что, собственно, и обеспечивало возможность его эффективной универсалистской интеграции.

Вызов унифицированного универсализма сообщества Запада, — форсирующего общественную трансформацию в незападных культурно-цивилизационных регионах мира таким образом, что соответствующие сообщества оказываются в положении «систематически проигрывающих» с перспективой стать «проигравшими окончательно», — порождает ответ двоякого рода. *Стратегию диверсифицированного (частичного и цивилизационно окрашенного) универсализма* формируют ряд крупных региональных держав, столкнувшихся в процессе догоняющей модернизации, а также в ходе формирования гражданской нации и коммерциализованного общества с серьезными проблемами. Проблемы эти во многом обусловлены природой их «цивилизационного ядра», глубоко инородного по отношению к Западу. Более того, компенсация «недоформированности» национального государства и последовательно рыночной социальной среды осуществлялась здесь, как правило, за счет ресурсов культурно-цивилизационной консолидации, обладание которыми является ключевым отличительным признаком таких держав и ключевым ресурсом их выживания в условиях внешнего унифицирующего универсалистского давления. На данный момент о целостности и универсальности этой стратегии следует говорить лишь условно, с прицелом на перспективу. Пока это скорее *пучок существенно скоррелированных локальных стратегий*, которые лишь при условии успешного осуществленного *синтеза* смогут обрести качество *полноценного универсализма* и стать стратегией *последовательно альтернативной унифицирующему универсализму Запада*. Но динамика соответствующих процессов стремительна, и сама способность к выработке такой *альтернативы* свидетельствует как о глубине раскола, назревшего в современном мире, так и о накопленном ресурсном потенциале — политическом, финансово-экономическом, социокультурном — тех мировых субъектов, которые такие пока что частичные альтернативы предлагают. Общая их особенность — это принципиальный отход от унификации предлагаемых путей развития, там, где такая возможность существует, т.е. прежде всего в политической и социокультурной сферах, акцент на культурно-цивилизационные идентификационные ориентиры, отказ от навязывания собственных ценно-

¹⁰ Феномен глобальных миграций имеет и целый ряд других чрезвычайно важных аспектов как в историческом, так и в геополитическом и геокультурном отношении. Именно глобальная миграция — не только людей, но и культурных, организационно-технологических и институциональных инноваций — и составляет, по большей части, содержание процессов глобализации [подробнее см. Рашковский 2011: 32].

стей и социальных норм в качестве универсальных. При этом в сфере финансов и экономики, не покушаясь на базовые институты рынка и денежного обращения, предлагается лишь более гибкий подход к их регулированию, блокирующий возможность получения одним из игроков рынка чрезвычайных монопольных преимуществ.

При согласованности ряда базовых принципов каждая особая версия данной стратегии изначально не претендует на глобальную гегемонию и предполагает принципиальную возможность последующего неконфликтного *сложения* в интегрированную стратегию развития так называемого многополярного мира. Каждая из версий этой стратегии — частична, и ее универсальность (повторим) до настоящего времени условна, поскольку подлинную универсальность данная стратегия может обрести лишь в случае, если такое *сложение* практически реализуется, и мировая история сделает выбор в ее пользу.

Конкурентная борьба стратегий будет только нарастать, и от ее исхода во многом будет зависеть то, какими будут принципы нового устойчивого миропорядка. Но проходить она будет в условиях неизбежного сосуществования их носителей в едином глобализирующемся пространстве. И существенную роль в этой борьбе может сыграть «третья сила», *стратегия негражданского универсализма*. Для значительного числа регионов незавершенной модернизации все более притягательными становятся, наряду с унифицирующими стратегиями (распространяющимися посредством глобальных СМИ и маркетинговых, рекрутинговых и иных технологий, практикуемых ТНК), своего рода «экстратерриториальная» *стратегия развития* и соответствующие идентификационные модели. Эта стратегия и характерные для ее агентов идентификационные паттерны формируются в ходе экспансии транснациональных и макрорегиональных рыночных сообществ, способствуя становлению глобальной и наднациональной капиталистической системы. Эта стратегия воплощает целеполагание рыночного, наднационального, надцивилизационного и надконфессионального универсализма, обретающего посредством финансовых рынков силу ключевого политического вектора развития современного мира, ведущего тренда *политики глобализма*. Ее условием является системная неэффективность национальных государств в большинстве регионов современного мира, тех, чью институциональную «рамку» которого так и не удалось наполнить современным содержанием, а имплантированные механизмы формирования нации так и не смогли справиться с преодолением межэтнического, межконфессионального, межплеменного, межкланового сепаратизма. Такие страны, как правило, возникшие в ходе деколонизации, а также в процессе распада крупных империй (Османской, Австро-Венгерской, России / СССР), формировались как исторически новые социально-политические проекты, население которых характеризует *конфликт идентичностей* и драматический поиск оптимальной модели интегрирующей национально-государственной идентификации. В этих странах прежде действенные механизмы цивилизационной интеграции были подорваны еще в колониальную или позднеимперскую эпоху и почти окончательно разрушены в процессе

деколонизации или постимперской реконструкции. Не обнаруживая в родной стране — в условиях сегодняшней глобализации и нарастающей государственной несостоятельности — эффективных механизмов гражданской консолидации и политического участия (за исключением механизмов политического бунта), значительная часть обитателей этих бывших колоний или бывшей «имперской периферии» пытается выстроить свою жизненную стратегию за ее пределами. Равно как и за пределами собственной политической субъектности, идентифицируя себя либо в качестве гастарбайтера, включенного разве что в земляческое сообщество и избегающего участия в политической жизни страны проживания, либо безответственного «беженца», лишенного возможности легальной трудовой деятельности.

Этим объясняется «негражданская» природа такого универсализма, нашедшая отражение в наименовании соответствующей стратегии. До настоящего времени политическое участие социализированного индивида было повсеместно обусловлено его пространственной (по сути, привязанной к конкретной территории) локализацией (именно ею, как правило, обусловлено его право принимать участие в голосовании, а также многие идентификационные ориентиры). Иные форматы политических пространств (прежде всего — виртуальные) пока еще выглядят исключением из общего правила и апробированы лишь рядом высокоразвитых демократий. Характерная для этой стратегии «экстратерриториальность» ведет к утрате оснований гражданского политического участия и полной деполитизации: политическая субъектность отчуждается индивидом и делегируется в рамках этой стратегии узкому слою игроков глобального рынка, обладающих достаточными ресурсами для того, чтобы навязывать свои решения прочим акторам тотально коммерциализированного общества.

Для самого же индивида в рамках этой стратегии все более привлекательной оказывается ориентация на *независимо от него* функционирующее общество и решительное дистанцирование от своего традиционного сообщества. Характеризующие этот тип развития модернизирующие стратегии, популярные во многих густонаселенных странах исламского мира, Африки и Латинской Америки, по-прежнему ориентированы на модернизирующую индустриализацию, но механизм такой индустриализации зачастую как бы «вынесен вовне». Его движущее начало составляют интенсивные потоки миграции из этих стран в располагающие «избыточной» индустриальной инфраструктурой страны Запада (отчасти в этой роли выступает сегодня и Россия — в отношении стран СНГ, обеспечивающих соответствующие миграционные потоки). Подобная «миграционная индустриализация» решает многие принципиальные задачи модернизации стран, формирующих эти потоки. Под ее воздействием эти страны вовлекаются в глобальные процессы, приобщаются к универсальным ценностям и практикам современного мира. Осуществляется преобразование их культуры, социальных, политических и экономических институтов. Однако при этом самым решительным образом разрушаются традиционные и локальные сообщества, а значительная часть их представите-

лей превращается не столько в «граждан мира», сколько в «глобальных мигрантов», олицетворяющих собою *номадизм*, максимально адаптированный к коммерциализированной среде мирового рынка. Миграционный кризис в ЕС сделал эту стихийно формирующуюся стратегией, в реализацию которой включились миллионы инокультурных беженцев, важным фактором дальнейшего европейского развития, влияющим в том числе и на течение и исход глобального конфликта стратегий развития, на формирования контуров нового, будущего миропорядка.

Начавшиеся в последние десятилетия процессы постиндустриальной глобализации, сопровождающиеся своего рода «эрозией» прежде универсальной модели национально-территориального государства, безусловно, получат свое дальнейшее развитие в новых институциональных формах организации мирового сообщества. В том числе — с самым широким участием субъектов мировой политики и мировой экономики, организованных по виртуально-сетевому, а не по территориальному принципу. Соответственно, самое широкое распространение получают новые идентификационные ориентиры (паттерны), формирующие разного рода над- и субнациональные сообщества. Очень важно, в каком направлении будет продвигаться незападный мир в самые ближайшие годы, какой из этих трендов будет в большей мере определять вектор мирового развития.

Но может быть в еще большей степени критически значимо то, в какой мере фактор идентичности будет определять *позиционирование индивида* в современном меняющемся мире, его способность к сохранению в этих бесчеловечных (*inhuman*) условиях своей человеческой субъектности. Многочисленные инициативы современного прогресса угрожают прямым распадом онтологических основ индивидуальной идентичности. В ряду этих потенциально разрушительных инициатив — и непосредственное вмешательство в геном человека, и разработка методов контроля человеческого поведения, а также контроля средств коммуникации, и прямое воздействие на фундаментальные механизмы глобального климата, и стремительное развитие биотехнологий с перспективой введения своего рода продовольственного апартеида. Наконец, следует принять во внимание растущие в глобальном масштабе и столь же разрушительные по своим последствиям социальное неравенство и «сверхконцентрацию» финансовых ресурсов (представляющих квинтэссенцию потенциала развития всего человечества, отданного в практически бесконтрольное распоряжение ничтожному меньшинству). Все эти тенденции бросают жесткий вызов личности и ее автономии. Активное и перманентное самоопределение становится императивом ее самосохранения в современном мире. А освоение скрытых ресурсов идентичности открывает для нее новые возможности, новые способы ответа на многочисленные вызовы, порождаемые отчужденными формами социальности, дает ей шанс на будущее.

Литература

- Бауман З. 2002. *Индивидуализированное общество*. М.: Логос. 390 с.
- Бек У. 2012а. Живя в мировом обществе риска и считаясь с ним. Космополитический поворот. — *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 44–58.
- Бурдьё П. 1993. *Социология политики (составление, общая редакция и предисловие Н.А. Шматко)*. М.: Socio-Logos. 336 с.
- Лапкин В.В. 2012. *Политическая модернизация России в контексте глобальных изменений*. М.: ИМЭМО РАН. 140 с.
- Лапкин В.В., Пантин В.И. 2016. Политическая динамика: методология прогнозирования в рамках парадигмы эволюционных циклов. — *Политическая наука перед вызовами глобального и регионального развития (под ред. О.В. Гаман-Голутвиной)*. М.: Издательство «Аспект Пресс». С. 126–147.
- Мартгьянов В.С. 2010а. Один Модерн или «множество»? — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 41–53.
- Рашковский Е.Б. 2011. Многозначный феномен идентичности: архаика, модерн, постмодерн. — *Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции (редколлегия сборника: И.С. Семенов (отв. ред.), Л.А. Фадеева (отв. ред.), В.В. Лапкин, П.В. Панов)*. М.: ИМЭМО РАН. С. 30–37.
- Сорос Дж. 1999. *Кризис мирового капитализма: Открытое общество в опасности*. М.: ИНФРА-М. 262 с.
- Эрикссон Э. 1996. *Идентичность: юность и кризис*. М.: Издательская группа «Прогресс». 344 с.
- Fukuyama F. 1999. *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*. New York: The Free Press. 354 p.
- Goffman E. 1959. *Presentation of Self in Everyday Life*. New York, Garden City: Doubleday. 255 p.
- The Age of Transition: Trajectory of the World System, 1945–2025 (ed. by T.K. Hopkins, I. Wallerstein)*. 1996. New York: Zed Books. 288 p.

Глава 9
ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ:
НОВАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ¹

Л.А. Фадеева

Ключевые слова: политика идентичности, культурное многообразие, этнокультурная разнородность, этническая идентичность, межэтническая напряженность, управление разнообразием, политическая нация, гражданское согласие.

Сегодня нет более динамичной, но и более потенциально взрывоопасной сферы общественных отношений, чем сфера этнонациональная. Эскалация конфликтности в современном мире напрямую связана с политизацией этничности. Этническая идентичность и ее проекции в разные сферы публичной политики — от образования, языковой политики и политики памяти до регулирования трудовых отношений и экологической безопасности — активно используются в политическом целедостижении, в борьбе за экономические и властные ресурсы. Апеллируя к эмоциям и чувствам «своих», этничность оказывается осязаемой формой утверждения культурной osobости в мире, где стандартизация мышления и потребления стала нормой.

Стремительный рост социокультурного многообразия — сущностная характеристика современных обществ. На использование разнообразия как ресурса развития направлены управленческие практики государства, органов местной власти, бизнеса, структур гражданского общества. Поддержание гражданского согласия во многом определяет успешность политической и экономической модернизации «территорий развития» — государств, городов, регионов. В то же время растущая культурная дифференциация современных обществ побуждает искать ответы на новые социальные вызовы, которые

¹ Глава подготовлена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-00021 «Регулирование межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов в современном мире: потенциал гражданской идентичности (сравнительный политический анализ)») в Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН).

несет перерастание разнообразия в социальные и культурные размежевания и разломы. В первую очередь это угрозы личной и общественной безопасности рядовых граждан со стороны тех немногих, кто не готов принимать правовой порядок и нормы социального общежития. Но их присутствие разрывает социальную ткань современных обществ и делает выплески криминального насилия и терроризма непредсказуемыми. Политическая нация в ее нынешней гражданской ипостаси оказывается недостаточно действенной моделью для ответа на такие вызовы: массовая культура размывает ее культурные скрепы, а бюрократизация управления подрывает доверие к политическим институтам.

Ключевой для современных демократий проблемой оказывается нахождение приемлемого баланса между личной свободой и безопасностью, между самоорганизацией и регулированием, между социальной инновацией и культурной традицией — состояния, поддержание которого требует постоянных, активных и целенаправленных усилий со стороны всех вовлеченных в политическое взаимодействие субъектов. В этом контексте именно этническая идентичность как конструируемая субъективная реальность, которая «функционирует благодаря существованию в обществе этнических категорий и классификаций», усваиваемых человеком в процессе социализации [Дробижева 2011: 130; см. также статью «Этническая идентичность» настоящего издания], оказывается зажатой в тисках этих альтернатив. Этнические разделения в рамках гражданской нации плохо совмещаются с инклюзивным институтом гражданства, но они живут под «покровом» мультикультурализма и других форм поддержания культурного многообразия. Принципиальная возможность интегрировать гражданский и этнический дискурсы — системный политический вызов для современного государства. Он радикально меняет известные со времен эпохи модерна траектории нациестроительства.

Дискурсы этничности и практики этнополитики

Споры вокруг природы процессов глобализации выделили этническую идентичность в разряд «партикулярных» характеристик традиционалистского сознания в противовес глобалистским «универсальным» ориентирам, распространившимся посредством открытых информационных потоков. Между тем «возрождение» этничности как значимого, ключевого ориентира соотношения человека с сообществом, которое еще недавно рассматривалось в политическом и научном дискурсах как проявление архаизации политики, сегодня становится реальностью «развитых» обществ. Этническая идентичность в ее повседневных проявлениях оказывается опорой самостояния человека в обезличенном мире, ответом ценностному релятивизму потребительского общества, воплощением живого культурного опыта. С позиций сегодняшнего дня глобалистские и этнические идентификации представляются динамической антиномией современного развития.

Значение этнического фактора в современной социальной реальности определяется степенью «включенности» личности в политические нарративы и в повседневные практики проявлений этничности. Как показывают социологические исследования, такая «включенность» намного выше у доминирующих народов и обычно сильнее в полиэтничной среде» [Дробижева 2011: 133]. Пристальное внимание к изучению механизмов самоидентификации детей, родители которых принадлежат к разным расам и разным этническим группам — самой быстро растущей группе населения Великобритании [Aspinall, Song 2013] и ряда других европейских стран, или потомков иммигрантов во втором и третьем поколении, для которых этническая самоидентификация имеет различную, порой — гипертрофированную, но зачастую — сугубо символическую значимость, объясняется в том числе стремлением понять механизмы формирования и политизации этнической идентичности. Социологический материал любого уровня репрезентативности не дает возможности сделать исчерпывающие обобщения, поскольку речь идет о психологических установках и индивидуальных жизненных траекториях.

Результаты многочисленных «прицельных» исследований жизненных историй и биографических нарративов лишней раз свидетельствуют о том, что вектор формирования идентичности определяют институциональная среда и ценности сообщества, в котором происходит социализация личности. В первую очередь, это институты образования и семьи. В этом видится и важность для современных политических исследований этнологических и этнографических изысканий. Они позволяют, в частности, выявить традиционные практики самоорганизации, оценить возможности их сочетания с институтами, ориентированными на социокультурную модернизацию, и выстроить на таких пересечениях политическое управление. Попытки продвижения такого рода гибридных институциональных практик предпринимаются сегодня в незападном мире от Марокко до Афганистана.

Бытование в дискурсах о современной политической конфликтности сложносоставных характеристик, представленных составными словами с этническими² коннотациями — «этнополитический», «этносоциальный», «этнонациональный», «этнокультурный», «этнорасовый», «этнорелигиозный», «этноконфессиональный», «этнолингвистический», «этнотерриториальный», «этносоциокультурный» и пр., — отражает попытки адекватно представить сложносоставную, гибридную природу новых социальных размежеваний и конфликтов, вспыхивающих в разных уголках мира, в обществах с разной политической культурой и уровнем благосостояния. Производные от них

² Понятия «этнический», «этно-» в отечественных толковых словарях трактуются в значении «относящийся к народу» (см. напр. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 1997. *Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений*. М.: Азбуковник. 944 с. С. 913). В обыденном сознании в отождествлении «этнического» с «народным» сущностного противоречия нет. При этом в русском языке понятие «этнического» обычно употребляется применительно к социальным и культурным практикам малых народов и народностей и к проявлениям традиционной культуры.

понятия — этнополитика, этнонационализм, этнолингвистика, этнопсихология, этноэкология, этностиль (этот ряд нетрудно продолжить) — фиксируют растущую значимость этнического фактора в современной социальной реальности. Утверждение в политическом лексиконе таких оксюморонов, как «этническая демократия», наглядно свидетельствует о существенных противоречиях такого рода смысловых соединений. Но и уйти от них не получается, если иметь в виду сложное переплетение в современной публичной политике мотиваций, убеждений, ценностей и интересов ее участников и характер восприятия и отражения этих мотиваций и интересов в политическом и научном дискурсах.

Проблема эта отнюдь не лингвистического характера; она не сводится и к упомянутому несоответствию между нынешними возможностями осмысления социально-политической реальности и самой реальностью. Возможные альтернативы не исчерпываются трактовкой современных этнополитических процессов сугубо сквозь призму опыта западных либеральных демократий. Существенное противоречие видится, в частности, в том, что в политическом дискурсе в качестве субъекта этнополитических взаимодействий неизменно рассматривается этническая группа. Такая группа по определению выступает как носитель общих представлений, образов жизни и моделей поведения, описываемых категорией этнической идентичности. Этнической группе противопоставлена политическая нация как сообщество (в ряду других воображаемых сообществ), объединенное институтом гражданства. Но представления существуют в сознании и воображении конкретного человека, они создают и питают «большие» нарративы о своем народе, о нации, историческом прошлом, культурном наследии. И этничность как ориентир групповой идентичности отличается от других таких ориентиров тем, что она ставит в центр самоопределение и самоидентификацию человека, а не его категоризацию «другими» [Meer 2014].

Очевидно, что национальные (межэтнические) отношения в их межличностном измерении требуют ситуативного анализа за рамками институционального подхода. В свое время Эрик Хобсбаум пронизательно отметил, что, хотя национализм и нация конструируются «сверху», понять их невозможно без анализа происходящего «снизу», в повседневных отношениях между людьми [Hobsbawm 1992]. Изучение повседневных проявлений этничности, предпринятое группой авторитетных исследователей в начале 2000-х годов (на материалах сообществ города Клуж в румынской области Трансильвания), выявило четыре такие формы: открытое несогласие или конфликт между представителями разных групп; осознанное избегание этнически чувствительных тем в общении; этнически окрашенные шутки, анекдоты и пр.; повседневный выбор человека между институционально определенными и этнически маркированными альтернативами [Brubaker, Feischmidt, Fox, Grancea 2008]. Тем самым политическая субъектность этнической группы была поставлена под вопрос (отсутствие такой субъектности, собственно, и является гипотезой исследования). Хотя согласия по этой проблеме в социальных

науках нет [см., напр. Тишков 2001], факт использования «антрепренерами от этнополитики» ресурсов политической мобилизации на основе апелляции к этнической идентичности сомнений не вызывает...

Межэтническая напряженность и этнополитическая конфликтность: проблемы регулирования

В современном мире немало дремлющих зон межэтнической «сейсмической напряженности». Нынешний статус Северной Ирландии, Южного Тироля, Трансильвании, Корсики, Северного Кипра — долговременный результат военных конфликтов и развала империй. Конфликты в Каталонии, Стране Басков, Квебеке, Шотландии, Бельгии развивались и проявлялись в условиях постепенной территориальной автономизации и федерализации государства. Феномены Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии, Нагорного Карабаха выявили фундаментальные, но до поры скрытые дефекты и болевые точки советской национальной политики. В постсоветский период это серьезно осложнило перспективы национально-государственной интеграции на постсоветском пространстве. Траектории конфликтности в Африке южнее Сахары и в Азиатско-Тихоокеанском регионе определены колониальным прошлым и неустойчивым балансом между потребностями политической модернизации и инерцией архаико-патримониального наследия клановых / кастовых отношений и триализма. Этот перечень «зон напряженности» далеко не полон.

Все перечисленные примеры объединяет фактор политической мобилизации этничности, который используется для защиты «культурной» (понимаемой в широком смысле) личности. Требования культурной автономии предполагают ту или иную степень изменения политико-правового статуса и получение экономических преференций стороной, выступающей в качестве противостоящего Центру субъекта в асимметричном конфликте. Столкновения позиций выражаются в разной трактовке исторической памяти, которая закрепляет противостояние территориальных идентичностей.

Один из путей предотвращения и регулирования межэтнических конфликтов, «инструмент поддержания баланса в межнациональных отношениях» — «представление этнической группе территориального управления» путем «создания этнических региональных автономий», хотя управлять этим «невероятно сложным в практическом обращении инструментом... удастся далеко не всегда» [Панов 2016: 69–70]. Сегодня таких разных по статусу автономий, субъектом которых, как аргументированно доказывают российские ученые, является «этническая группа», объединенная общей территорией проживания, насчитывается более ста [там же: 75–77; 83]³.

³ См. также базу данных «Этнические региональные автономии»: <http://identityworld.ru/index/database/0-21>.

Сравнительный анализ трех «казусов» внутриполитического регулирования конфликтности в разных регионах Европы, отобранных как показательные ввиду принципиальных значимых различий в политической культуре и государственном устройстве — Больцано (Южного Тироля) в Италии, Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Трансильвании (Румыния) — позволяет выявить ряд общих факторов, разные сочетания которых определяют степень эффективности практик регулирования [подробнее см. Семененко 2016]. Это параметры политико-институциональной организации в сочетании с культурной политикой, в первую очередь поддержка использования языка меньшинств и соответствующей системы образования (в том числе религиозного образования, как в случае Северной Ирландии). Это экономическая политика Центра, предполагающая ту или иную степень бюджетной автономии, стимулирование инновационных экономических практик и эффективную социальную политику, развитие институтов социального государства. Это символическая политика, интегрирующая в общенациональный контекст культурные символы этнотерриториального сообщества и способная (или не способная) сблизить расходящиеся интерпретации истории и исторической памяти. Очень чувствительным остается вопрос об использовании языка, его интеграции в культурную политику.

Заметное влияние оказывает восприятие конфликта за пределами конфликтного региона: так, южнотирольскую проблему большинство граждан Италии полагают решенной (хотя в повседневном взаимодействии разделение на «итальянское» и «немецкое» наследие ощущается как культурная реальность этой территории). Положение в Северной Ирландии, напротив, воспринимается как неустойчивое равновесие. Нельзя сбрасывать со счета и возможности использования в политической риторике угрозы ирредентизма, которая обретает плоть тогда, когда «родственный» народ имеет более высокий уровень социального и экономического благосостояния выше среднего по стране. Регулирующие практики Евросоюза в отношении «национальных меньшинств» оказываются заметным стабилизирующим фактором (в этом отношении показателен опыт Трансильвании), однако любые прецеденты выхода регионов из состава государств — членов ЕС могут нарушить это равновесие. Определенную стабилизирующую роль могут сыграть и трансграничные структуры еврорегионов, которые призваны стимулировать более тесное экономическое и культурное взаимодействие между территориями и проживающими здесь этнокультурными сообществами поверх границ стран-членов.

Фактор этнической идентичности может играть ключевую роль в дестабилизации сложившегося политического порядка в случае, если местные политические элиты делают ставку на пересмотр политико-правового статуса региона. Но его деструктивный потенциал может быть уравновешен, как показывает южнотирольский опыт, поступательной экономической динамикой, перспективами инновационного развития территории компактного проживания меньшинств. Во многом такая динамика зависит от эффективного вза-

имодействия экономической и политической элит, бизнеса и власти в Центре и на местах. В то же время нарастание разрывов и неравномерности в развитии этнотерриториальных автономий и других территорий государства подпитывает сепаратистские настроения (как в случае Каталонии или Фландрии). Более высокий уровень развития институтов социального государства и потенциал гражданской активности в социальной сфере могут, как показывает опыт подготовки и проведения референдума о независимости Шотландии, стать «разменной картой» в регулировании противостояния.

Разнообразие, разнородность, размежевания, разделенность...

Самая проблемная сфера регулирования — культурная политика. Консенсуса вокруг видения исторического прошлого и разделяемых ориентиров национальной идентичности в «глубоко разделенных» обществах [Guelke 2012] не сложилось. Негативные стереотипы восприятия «иных» — это живая и живучая реальность. Такие стереотипы формируются в эмоционально окрашенном культурном контексте. В результате воспроизводятся «этноизоляционистские убеждения», в преодоление которых упирается решение насущной для развития современных многокультурных обществ проблемы «позитивного совмещения гражданской и этнической идентичности» [Дробижева 2008: 225].

Неоднозначной оказывается и оценка возможностей политического регулирования сферы этнонациональных отношений. Комплекс соответствующих проблем порожден непростым взаимодействием представителей разных культур, конфессий, идентичностей как на политико-институциональном, так и на межличностном уровнях. Они объединены институтом гражданства, но вместе с тем выступают от имени сообществ, артикулирующих разные, порой противоречащие друг другу интересы и требования. Доминирование этнических паттернов самоидентификации снижает потенциал консолидации национально-государственного сообщества перед напором глобализма. Политическая мобилизация на основе этнической идентичности размывает объединенные общими культурными ориентирами сообщества. Проводимая от имени государства преференциальная политика и «позитивная дискриминация» (affirmative action) тех или иных групп противоречат самим принципам демократии: чем больше предпринимается усилий по поддержанию различий, тем больше такие действия, как считают многие известные публичные интеллектуалы и аналитики, стимулируют углубление различий [см., напр., Sartori 1997].

Чтобы поддержка одних не обернулась ущемлением прав и потребностей других, публичная сфера в идеале должна оставаться нейтральной по отношению к культурным различиям независимо от их природы. Однако на практике позитивная дискриминация в отношении представителей разных групп меньшинств остается инструментом управления разнообразием в контексте государственной политики мультикультурализма. При этом в публичной сфе-

ре провидимая от имени государства политика идентичности сталкивается с альтернативными подходами других субъектов такой политики. Предписанная культурной нормой групповая аффилиация по определению противоречит принципам прав и свобод человека, на которых зиждется либеральная демократия. Но и индивидуальные стратегии социализации носителей разных культур, которые предлагается брать на вооружение в контексте принятой сегодня на уровне официальных документов ЕС модели межкультурного диалога («интеркультурализма»), могут заметно расходиться друг с другом — вплоть до противоречий, чреватых открытым конфликтом.

Повестка дня политики формирования национальной идентичности определяется реалиями социального и культурного разнообразия современных обществ, их «культурной сложности» [Семененко 2015; Культурная сложность... 2016]. Усложнение идет, как аргументирует В.А. Тишков, сразу по нескольким линиям: внутренней мобильности населения, беспрецедентной трансграничной миграционной активности, роста партикулярных форм идентичностей (региональных, этнических и др.) и формирования трансграничных, космополитичных идентичностей [Культурная сложность...: 4–6]. При этом внутренняя культурная сложность накладывается на «многообразие культурных моделей государств, привычно называемых нациями» [Филиппова 2016: 19], актуализируя вопрос о переосмыслении самой «рамки» рассмотрения современных общественных процессов в лице «национального государства».

Как отмечал в свое время Стюарт Холл, один из отцов-основателей Бирмингемской школы культуральных исследований, разработавший системные подходы к анализу механизмов взаимодействия культур, вопрос в том, «скольким мы можем поступиться и сколько сохранить из нашей культурной идентичности, чтобы оставаться самими собой» [Cultural hallmark 2007]. Ширящиеся иммиграционные потоки в страны Запада актуализируют проблему возможностей и ограничений «вживления» практик иных традиционных культур в общества с устойчивыми правовыми институтами и сложившейся системой согласования интересов. Так, перспективы создания шариатских судов для разрешения семейных конфликтов широко обсуждались в Канаде, где мультикультурализм — принцип государственной политики, а разнообразие — основа «инклюзивного гражданства». Бурная дискуссия о возможности использования элементов шариата в разрешении внутриобщинных споров в Великобритании в начале 2010-х годов, поддержанная авторитетом тогдашнего епископа Кентерберийского Роуэна Уильямса, и кампания за четкое определение политико-правового статуса шариатских судов в целом способствовали пониманию ограничений таких институтов: они правомочны выносить решения сугубо по религиозным вопросам. Однако на практике их деятельность распространяется и на сферу семейных отношений, затрагивает систему образования, побуждает концентрировать фокус общественного внимания на вопросе о дискриминации женщин и об обеспечении равноправия полов.

Аскриптивные идентичности демонстрируют живучесть в любом институциональном окружении. Отношение к предписанным групповым лояльностям в обществе за рамками этих групп во многом определяет повестку дня политики идентичности, которая формулируется и продвигается от их имени в публичном пространстве. Если в поликультурной среде уровень этнической самоидентификации, как уже упоминалось, обычно выше, то императивом эффективного управления разнообразием становится развитие горизонтальных связей в публичной сфере, в повседневности. Причем не только с учетом этнической разнородности современных обществ и поверх границ между «своими» и «другими», но и при использовании этнокультурной самоидентификации как ценностного основания для развития культуры диалога. Британские авторы предлагают измерять температуру общественных отношений с помощью «индекса разнообразия» городских территориальных сообществ [Ethnic Identity... 2015]. В широком смысле «межэтнические отношения можно трактовать как успешные или неуспешные формы управления разнообразием», как взаимодействия, структурирующие процессы социальной включенности, интеграции, аккультурации и даже ассимиляции [Westin 2010: 9]. Перевести «конфликт идентичностей» в «диалог идентичностей» становится и ценностной, и политико-управленческой проблемой.

Повестка дня политики идентичности

Очевидно, что насущная для многокультурного общества задача «управления разнообразием» ставит вопрос о повестке дня, рисках и ограничениях политики идентичности, о возможностях ее переформатирования на решение этой задачи. При этом государство попадает в своего рода «ловушку»: эффективность такой политики определяется вовлеченностью и конкуренцией в «борьбе за идентичность» разных субъектов политического процесса, и государству, нередко в противостоянии групповым бюрократическим интересам, интегрированным в систему госуправления, приходится целенаправленно и последовательно «демонополизировать» это поле. Неэффективность существующих демократических институтов в решении этой задачи может стимулировать приход к власти радикальных политических сил и эволюцию политического режима в сторону усиления авторитарных тенденций. Но в рамках авторитарных режимов подобная задача становится неразрешимым системным противоречием политического управления.

В состоянии ли нынешняя «политика управления разнообразием» обновлять и поддерживать социальные скрепы «старых» национально-государственных сообществ, способствовать появлению «здоровых», инклюзивных проявлений национализма и гражданственности? Может ли она поддерживать более справедливое распределение ресурсов в рамках целенаправленной социальной политики и гражданскую солидарность постольку, поскольку

гражданское участие развивается в публичной сфере, существование которой обеспечено государством [Brubaker 2004: 123]? Как считает известный канадский теоретик мультикультурализма Уилл Кимлика, «либеральная теория пока не сумела прояснить природу того “особого чувства” (peculiar sentiment), которое способно быть источником общей идентичности в государствах, где два или несколько сообществ считают себя “самоуправляющимися нациями”» [Kymlicka 1995: 192].

Влиятельные публичные интеллектуалы видят в политике признания и поддержания различий весьма действенный механизм обеспечения равных возможностей и социальной справедливости [см. Taylor 1994]. При этом политика различий должна быть ориентирована на нужды конкретных групп, на вовлеченность носителей разных культур в общую культурную среду (societal culture) и не восприниматься как абстрактный принцип либеральной демократии [Kymlicka 1995]. На это делают упор, в частности, теоретики модели «активного гражданства». Элементы такой модели внедрены в систему образования в Великобритании, Канаде, Дании, Голландии, Финляндии и ряде других стран. «Активное гражданство» предполагает вовлеченность в практики гражданского взаимодействия на местном уровне — волонтерские социальные инициативы, благотворительную деятельность, культурные мероприятия и другие формы социализации в публичном пространстве. Механизмы такой социализации — это прицельные инициативы, требующие не только больших затрат (неслучайно профессия социального работника становится одной из самых востребованных), но, главное, мотивации участников. Так, в Голландии обучение иммигрантов практикам «диалога как формы утверждения голландской идентичности» (dialogical Dutchness) призвано показать на деле, что значит «быть компетентным гражданином». Однако такой подход во многом как раз и способствует воспроизводству границ и различий [Van Reekum, Van den Berg 2015: 757]: ценность диалоговых взаимодействий как модели, призванной поддерживать определенный уровень социальной включенности, очевидна далеко не всем новым гражданам... Если же блокируется развитие диалоговой культуры, то результатом неизбежно становится социальное отчуждение.

Возможности укоренения модели «активного гражданства» усматриваются в корректировке политико-культурных ориентиров общества, например, в русле «конституционного патриотизма» — широко известной концепции Юргена Хабермаса [Habermas 2001], которая предполагает трансформации и институтов, и политической идентичности. Между тем траектории такой трансформации отнюдь не предопределены: культура всегда «имеет значение» [Culture Matters... 2000], как и эмоциональное переживание своей сопричастности, для которой «конституционного патриотизма» явно недостаточно. Корректировка культурных разрывов средствами публичной политики (в частности, через институты социализации и практики «малых дел») дает хотя и осязаемые, но ограниченные результаты. Если же говорить о культурной природе конфликтов, то их причины «лежат не в самом факте существования в обществе качественных различий в векторах направленности, но прежде

всего в дефиците культуры всего общества, слабом развитии ценности диалога, недостаточной способности к поиску путей предотвращения опасностей дезорганизации, катастроф, путей использования специфических ценностей разных процессов для жизнеутверждающего синтеза» [Ахиезер 2001: 100]. В этом контексте насущным оказывается вопрос о сопряжении региональных, этнокультурных и общегражданских идентичностей путем «обновления образовательных и информационных политик, но больше всего — той сферы, которая (в России. — *Ред.*) до сих пор носит старое советское название — “национальная политика”» [Тишков 2016: 18].

По сути, речь идет о стратегиях формирования инклюзивных идентичностей, открытых диалогу и «иному» опыту, о максимально широком вовлечении граждан во взаимодействия в рамках разных социальных институтов. Но гражданственность не сводится к политическому или социальному активизму (и его вербально выражаемому потенциалу). Ее эмоциональное наполнение определяется культурным, в том числе этническим, контекстом. Формирование гражданской идентичности включает культурную самоидентификацию и интегрирует этнические компоненты, которые могут стать ресурсом ипозитивной, солидарной, и негативной, направленной против «других» мобилизации. Итоговый вектор такой интеграции определяется позицией граждан и гражданского общества. Источник «особого чувства», способного поддерживать гражданское согласие, — ориентация сообщества на социальное и культурное развитие как общезначимую, объединяющую ценность.

Литература

- Ахиезер А.С. 2001. Архаизация в российском обществе как методологическая проблема. — *Общественные науки и современность*. № 2. С. 89–100.
- Дробижева Л.М. 2008. Национально-гражданская и этническая идентичность: проблемы позитивной совместимости. — *Россия реформирующаяся. Ежегодник (отв. ред. М.К. Горшков)*. М.: Институт социологии РАН. С. 214–228.
- Дробижева Л.М. 2011. Этническая идентичность. — *Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 1. Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий (отв. ред. И.С. Семенов)*. М.: РОССПЭН. С. 130–136.
- Культурная сложность современных наций (отв. ред. В.А. Тишков, Е.И. Филиппова). 2016. М.: Политическая энциклопедия. 384 с.
- Панов П.В. 2016. Мир этнических региональных автономий: представление базы данных. — *Вестник Пермского университета. Серия «Политология»*. № 4. С. 69–97.
- Семенов И.С. 2015. Нация, национализм, национальная идентичность: новые ракурсы научного дискурса. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 11. С. 91–102.
- Семенов И.С. 2016. Политика идентичности и идентичность в политике: этнонациональные ракурсы, европейский контекст. — *Полит. Политические исследования*. № 4. С. 8–28.
- Тишков В.А. 2001а. *Этнология и политика. Научная публицистика*. М.: Наука. 240 с.
- Тишков В.А. 2016. Усложняющееся разнообразие: как его понимать и упорядочить. — *Культурная сложность современных наций (отв. ред. В.А. Тишков, Е.И. Филиппова)*. М.: Политическая энциклопедия. С. 7–18.

Филиппова Е.И. 2016. Нации, государства, культуры. — *Культурная сложность современных наций* (отв. ред. В.А. Тишков, Е.И. Филиппова). М.: Политическая энциклопедия. С. 19–35.

Aspinall P.J., Song M. 2013. *Mixed Race Identities. (Identity Studies in the Social Sciences Series)*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 218 p.

Brubaker R. 2004a. In the Name of the Nation: Reflections on Nationalism and Patriotism. — *Citizenship Studies*. Vol. 8. № 2. P. 115–127.

Brubaker R., Feischmidt M. and Fox J., Grancea L. 2008. *Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town*. Princeton: Princeton University Press. 504 p.

Cultural hallmark. Stuart Hall (Interviewed by Tim Adams). 2007. — *The Observer*. 23.09.

Culture Matters: How Values Shape Human Progress (ed. by L.E. Harrison, S.P. Huntington). 2000. New York: Basic Books. 348 p.

Ethnic Identity and Inequalities in Britain. The Dynamics of Diversity (ed. by S. Jivraj, L. Simpson). 2015. Bristol: Policy Press; University of Bristol. 238 p.

Guelke A. 2012. *Politics in Deeply Divided Societies*. Cambridge: Polity Press. 184 p.

Habermas J. 2001a. The Post-National Constellation and the Future of Democracy. — *Habermas J. The Post-National Constellation: Political Essays* (ed. by M. Pensky). Cambridge MA: MIT Press. P. 58–112.

Hobsbawm E. 1992. *Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality*. Cambridge: Cambridge University Press. 206 p.

Kymlicka W. 1995. *Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Clarendon Press. 296 p.

Meer N. 2014. *Key concepts on Race and Ethnicity*. London: Sage. 176 p.

Sartori G. 1997. *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives, and Outcomes*. Basingstoke: Macmillan. 217 p.

Taylor Ch. 1994. *Multiculturalism and the Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press. 192 p.

Van Reekum R., van den Berg M. 2015. Performing Dialogical Dutchness: Negotiating a National Imaginary in Parenting Guidance. — *Nations and Nationalism*. Vol. 21. No. 4. P. 741–760.

Westin C. 2010. Identity and Inter-ethnic Relations. — *Identity Processes and Dynamics in Multi-Ethnic Europe. IMISCOE Research* (ed. by C. Westin, J. Bastos, J. Dahinden, P. Gois). Amsterdam: Amsterdam University Press. P. 9–52.

Глава 10

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Е.С. Садовая, В.А. Сауткина

Ключевые слова: общественное развитие, социальные дисбалансы, социальная конфликтность, труд, трудовые отношения, справедливость, социальный идеал, экономика солидарности.

Актуализация проблематики идентичности характерна для периодов перехода от одного качественного состояния общества к другому, а современный мир действительно подошел к рубежам коренной трансформации принципов устройства миропорядка. Экономический кризис, стремительное изменение социальной структуры общества эпохи постмодерна, его растущая конфликтность есть отражение глубинных процессов, ведущих к фрагментации и разрушению сложившегося социального пространства, стремительной индивидуализации общественных отношений, сокращению поля взаимодействия вокруг перераспределения общественных благ. Антиномичные тенденции унификации и индивидуализации стимулируют поиски путей социально-экономической и психологической адаптации человека к нарастающему давлению информационных потоков, к постоянной необходимости делать важный для поддержания качества жизни выбор и реализовывать его в социальных взаимодействиях.

Исчерпанность прежней парадигмы общественного развития

В основе всестороннего ухудшения социальной ситуации лежат процессы, разворачивающиеся в социально-трудовой сфере. Серьезным вызовом становится стремительное сокращение спроса на рабочую силу со стороны мировой экономики как следствие роста производительности труда, с одной стороны, и сокращения потребительского спроса — с другой. Между тем достигнутый уровень разделения труда не оставляет жителям планеты практически

никакой иной возможности обеспечить себе приемлемое качество жизни, кроме работы по найму, являющейся для человека не только способом заработать средства для жизни себе и членам своей семьи, но и обеспечивающей будущее в самом прямом смысле этого слова.

Развитие экономики, совершенствование техники и технологий невиданными доселе темпами породило в конце прошлого века определенный всплеск социального оптимизма, нашедшего свое отражение в новых теориях общественного развития. Основоположники теории перехода к новому, постиндустриальному обществу О. Тоффлер и Д. Белл [Тоффлер 2010; Белл 2004] считали, что такое общество несет человечеству освобождение от тяжелой, физической, рутинной, неинтересной работы и открывает простор для творчества, постоянного развития, самореализации. Это позволило говорить о «конце истории» в самом оптимистичном понимании этого явления, как его описал Ф. Фукуяма Фукуяма 1992, отмечавший важность безоговорочной победы либерализма и демократии. Главным аргументом была уверенность в том, что общество, наконец, получило положительный нарратив развития на все времена.

Для развитых стран это был «золотой век» либерализма, провозгласившего безграничность индивидуальной свободы человека и все меньше требовавшего взамен личной ответственности за свое и общественное благополучие. Мировое сообщество, казалось бы, вплотную приблизилось к созданию «глобальной человеческой империи» [Печчеи 1980: 221], базирующейся на универсалистских принципах либерального мировоззрения. Его главным «завоеванием» стал отказ от каких бы то ни было устойчивых коллективных идентичностей как значимой общественной ценности. Индивидуальная идентичность превращалась в некий набор социальных (а позднее и биологических) характеристик, которые человек может выбирать, исходя из обстоятельств и желания.

Возможность реализации подобного сценария общественного развития в развитых странах и его перспективного распространения на все мировое сообщество обосновывалась всеобъемлющим освобождением человека эпохи позднего модерна и, прежде всего, социальным благополучием, гарантированным ему по праву рождения. Человек «золотого миллиарда», который стал ориентиром для остального мира, освобождался самой социальной реальностью от голода, многих болезней, гнета тяжелого, монотонного физического труда и потому все в меньшей степени нуждался в какой-бы то ни было, кроме универсалистской, правовой форме защиты своих интересов. Личные права и свободы гражданина провозглашались альфой и омегой социального прогресса. Достаточно щедрая помощь «отстающим, но стремящимся» подтверждала правильность выбранного пути.

Однако технологический прогресс, кардинально меняющий производство, сокращающий возможности совместной человеческой деятельности на общее благо, ведет к постепенному размыванию социальных основ прежнего мироустройства, коренным образом трансформирует не только прежнюю модель социальной защиты и поддержки, известную нам как «социальное государство», но и весь спектр идентичностей современного человека, вступающего

в эпоху «текущей» современности [Бауман 2008]. И это оказывается для личности серьезнейшим культурным и нравственным вызовом.

В условиях новой высокотехнологичной экономики остается относительно небольшая часть тех, кто будет развивать и контролировать технику и процессы производства товаров и услуг, обладая необходимыми для этого знаниями и навыками и получая высокое вознаграждение за свой труд. Не составят ли они некую закрытую «касту» «знающих как» со всеми вытекающими отсюда социальными последствиями, связанными, в том числе, с жесткой зависимостью от этой новой элиты всех остальных? И не окажутся ли остальные теми самыми «одномерными людьми» массовой культуры, о которых с горечью и пессимизмом в свое время говорил Г. Маркузе? [Маркузе 2003]. Людьми, не имеющими к тому же ни достаточного образования, ни постоянной, хорошо оплачиваемой работы, ни работы вообще.

Социальная структура: новые дисбалансы

Исследователи констатируют, что самой быстрорастущей стратой современного общества взамен исчезающего среднего класса — основы и опоры сложившегося в предшествующую эпоху социально-экономического и политического миропорядка, главного «потребителя» демократических институтов — оказывается прекариат [Стэндинг 2014], социальный слой людей, основными отличительными чертами которого становятся неопределенность положения, необходимость браться за любую работу, отсутствие прочных социальных связей и возникающие в этой связи неудовлетворенность и озлобление. Поиск сферы приложения своего труда превращается в бесконечный «бег по кругу». Сам работник в условиях постоянно углубляющегося уровня разделения труда и невозможности профессиональной социализации в привычном понимании этого слова становится все более «частичным», все в меньшей степени участвующим в процессе создания конечного продукта и даже услуги, следовательно, все менее компетентным, а значит, свободным и способным лично отвечать за свое благополучие.

Индивидуализация и даже атомизация общества при все большей его поляризации постепенно становятся реальностью. Попытки представить углубляющееся неравенство как «справедливое», связанное с личными усилиями, ответственностью представителей одной части общества и одной части цивилизации, определяемое ростом знаний и умений человека [Иноземцев 2011], выглядят достаточно странными в мире, достигшем нынешнего уровня разделения труда и взаимозависимости в рамках глобальной экономики. Все это делает современное общество не просто сегментированным и неоднородным, но и конфликтогенным.

Однако постиндустриальная экономика провоцирует и более глубокие, поистине экзистенциальные вызовы сложившейся системе идентичностей

современного человека. Новая социальная реальность заставляет по-новому задуматься не только о социальном благополучии, но и о содержательном наполнении жизни человека, которая до последнего времени была в значительной степени связана с его работой и возможностью самореализации в трудовой сфере, с построением профессиональной карьеры. Труд сам по себе является позитивной повесткой для человеческого общества: он делает жизнь осмысленной, солидарной, ответственной, обращенной в будущее. Именно поэтому мы можем говорить не просто о структурообразующей, но о смыслополагающей роли труда. Человеческое общество всегда было трудоориентированным и, даже более того, трудозависимым. Неслучайно многие мыслители прошлого в центр своих исследований ставили и ставят проблему труда, характеризуя современное общество как трудовое, и обзор научного дискурса вокруг трудовой проблематики со всей очевидностью это подтверждает [см. подр.: Садовая, Сауткина 2015: 60–74].

Уязвимость людей многократно возрастает именно тогда, когда они не участвуют в процессе труда и, соответственно, в создании общественных благ и продуктов. Каковы будут в этом случае критерии лояльности обществу и участия в распределении материальных и иных благ? Возникает угроза формирования глобальной подконтрольности граждан, подкрепляемая и технически обеспечиваемой «прозрачностью» приватной жизни человека, когда управляющие структуры получают возможность в буквальном смысле отключить человека от систем жизнеобеспечения в случае, если он отказывается выполнять жестко предписываемые ему действия.

Непропорционально увеличивается роль технократов в обществе, снижаются возможности общественного контроля над действиями элит. У последних же, напротив, возможности контроля над обществом многократно возрастают именно благодаря тому, что технические новшества позволяют сделать его поистине тотальным, а социальная реальность делает человека крайне зависимым. Парадоксальным образом те процессы, которые должны были вести и вели до определенного момента к утверждению человеческой индивидуальности, раскрепощению личности и раздвиганию границ личной свободы, привели, в конечном счете, к угрозе не только социальному благополучию человека, но и самому существованию человеческой личности, Я-идентичности.

«Идеальное» общество

Распад сложившихся систем социальной поддержки граждан становится общемировой тенденцией и приводит к тотальной приватизации считавшихся исключительно общественными благ. Это не только ведет к возрастанию стоимости всего спектра социальных услуг и сокращению доступа к ним для значительного числа граждан, но меняет принципы реализации социальной политики и воспринимается как тотальное нарушение общественного договора. В итоге сегодняшний мир — это мир растущей конфликтности, как следствие

разрушения существовавшего в предшествующий период механизма легитимации сложившегося мироустройства (сильная социальная политика, неуклонный прогресс в социальной сфере, с которыми многие мыслители — от М. Вебера до Э. Геллнера — связывали этот механизм), справедливости его в глазах граждан.

Это не может не актуализировать вопрос о возможности установления более справедливого миропорядка, который позволил бы миру развиваться гармонично и сбалансированно [Федотова 2005]. Потому что «справедливость — это и цель, и вечное движение к ней через противопоставление свободы и неравенства, морали и аморальности, богатства и бедности, человечности и античеловечности...» [Тимофеева 2015: 154]. Однако политическая реальность состоит в том, что сегодня отсутствуют политические силы или институты гражданского общества, способные предложить пути выхода из складывающейся ситуации, приемлемые для всего мирового сообщества. Протесты остаются в значительной мере атомизированными, отражая особенности социальной структуры современного общества и мешая гражданам, объединившись, выдвигать единые требования государству и бизнесу по улучшению ситуации в социальной сфере. Ощущение неполадок современного общества и необходимости обретения нового положительного нарратива ведет к мучительному поиску социального идеала, который мог бы стать ценностным базисом для консолидации мирового сообщества на основе новых идентичностей, способных сближать людей и укреплять основы общественной солидарности.

Вопрос о необходимости пересмотра основных принципов доминирующей в мире социально-экономической модели, ее трансформации и связанные с этим общественные ожидания системных перемен в управлении развитием обостряются и становятся эпицентром экспертных дискуссий, особенно в острый период кризиса. И даже будучи исключенной в какой-то период времени из политической повестки дня, проблема поиска оптимальной модели будущего развития на протяжении достаточно длительного времени остается одной из самых острых тем идеологических дискуссий, как в научных кругах [Семененко, Лапкин, Пантин 2013], так и среди активистов гражданских движений.

В силу необходимости обеспечения целенаправленного воздействия на общество, его развития в определенном направлении оказываются востребованными новые идеи, концепции и смыслы. Идет активный поиск возможности формирования новых представлений об идеальном обществе, которые, по мере отождествления все большего числа индивидов с социальной группой, активно заявляющей о своей позиции в современном социальном пространстве, могут распространяться все шире. Но в момент такого выбора появляется и опасность подмены истинных интересов ложными, как со стороны индивидов, принимающих эти новые идеи и смыслы, так и тех, кто их производит. В последнем случае это связано с возможностью подмены изначально заложенного в науке стремления к идеалу, достоверности, правде необходимостью

обслуживания интересов тех или иных общественных корпораций, политических партий, что неизбежно приводит к деформации полученных знаний.

Сегодня мы наблюдаем появление своеобразного «рынка» идеологий, способных обслуживать эти интересы посредством использования технологий воздействия на социальное сознание массовых слоев населения. Учитывая, что к настоящему времени социальными теоретиками и философами было предложено множество моделей «идеальных» обществ, их идеологическая палитра представляет собой достаточно широкий спектр — от очевидных утопий до их сокрушительной критики.

Против самой идеи «совершенства» в качестве цели социального развития выступил, в частности, Г. Поппер, предлагавший путь переустройства посредством конкретных технологий, способных модернизировать общество [Поппер 1992: 199–200]. Стремление к совершенному обществу подменялось, таким образом, стремлением к обществу современному, что характерно для западной модели развития: в конце XX века современными стали считаться общества, порывающие со своей традиционной идентичностью. Однако в настоящее время многие исследователи считают дихотомию «традиционного» и «современного» неоправданной [см.: Федотова 2016: 41]. Мир стремительно меняется в связи с появлением новых центров развития в так называемом незападном мире. Сначала в Японии, затем в странах БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Россия, ЮАР) формируются силы, для которых фактор культурно-исторического своеобразия становится неотъемлемой составляющей модели их будущего развития. Для этих стран характерна логика построения общества «идейного», имеющего конкретные цели развития, для достижения которых необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы, для чего допускается использование не вполне демократических, с точки зрения западного общества, способов управления.

Таким образом, в настоящее время представления о целях дальнейшего мирового развития и особенно о способах их достижения становятся все более разнообразными и разнонаправленными. Кроме того, эти расхождения усиливаются в связи со стремительным ростом разрыва между запросами элит и обслуживающей их части общества, которые в значительной мере заинтересованы в сохранении вектора развития в рамках современного капитализма, и остальных слоев, составляющих ту социальную среду, в которой формируется запрос на более радикальные изменения.

Дилеммы социальной справедливости

Для большинства развитых стран такие блага, как внешняя и внутренняя безопасность, бесплатная система здравоохранения, образования, социальное обеспечение и страхование, стали настолько привычными и обыденными, что уже давно не воспринимаются в качестве результата усилий и завоеваний граждан. Однако представления о необходимой степени вовлеченности госу-

дарства в сферу распределения общественных благ, понимание прав индивида на свободу выбора и ответственности за судьбу наиболее уязвимых членов и общественных слоев ни на уровне общества в целом, ни у его отдельных представителей никогда не были однозначными. Наиболее востребованным и отвечающим современным представлениям о справедливом способе перераспределения общественных доходов оказался эгалитаристский подход. Его сторонники придерживаются принципов солидарности и коллективизма и настаивают на необходимости активной роли государства в деле выравнивания доходов.

А. Сен, мыслитель и один из главных идеологов вырабатываемых ООН подходов к пониманию справедливого развития, подчеркивает, что принцип «всеобщей гарантированности» социальных услуг не означает только лишь равенство возможностей. Более обездоленным нужно больше участия и средств для обретения действительного, справедливого равенства возможностей [Sen 1992]. Исследования, проводившиеся Всемирным банком в десятках беднейших стран, подтверждают, что бедные в гораздо большей степени нуждаются в социальных услугах, чем богатые, причем эта нужда носит комплексный и всеобъемлющий характер и не зависит исключительно от личных усилий человека [Язбек 2010].

На огромном эмпирическом материале экспертами ООН доказано, что, чем раньше делаются инвестиции в человеческий капитал, тем лучше перспективы индивида, и что именно общества с относительно более высоким уровнем социальной справедливости (прежде всего, равенством возможностей и эффективной социальной интеграцией) достигают лучших результатов в человеческом развитии, понимаемом как единство экономической и социальной составляющих человеческого бытия, как равенство граждан в доступе к общественным благам и качественной, высокооплачиваемой работе [Доклад о человеческом развитии... 2013: 3]. Именно поэтому процесс, ведущий к все более интенсивной приватизации социальных функций государства, является серьезным вызовом для современного общества.

Либерально-индивидуалистические ценности в этих реалиях не в состоянии претендовать на то, чтобы составить глобальный этический базис, на котором будет развиваться человечество, а объяснение углубляющегося неравенства логикой развития свободного рынка оставляет непроясненным вопрос об уровнях социальной приемлемости такого неравенства. Очевидно, что без эффективных систем перераспределения проблему неравенства решить невозможно. Могут ли быть найдены альтернативные модели общественного развития или хотя бы альтернативные практики, позволяющие в сегодняшних непростых условиях решать социальные задачи, обеспечивая коллективную защиту социальных прав граждан? Сегодня это наиболее актуальные, но и наиболее сложные вопросы, стоящие перед современным государством.

Социальные альтернативы

Исчерпание прежних механизмов экономического роста и легитимации власти разом обнажило все проблемы и дисбалансы сложившейся системы, оставив человека один на один с новой социальной реальностью. Эта ситуация по-разному проявляется в разных странах и регионах мира, но везде она несет сильный деструктивный потенциал. В условиях, когда ресурсы сокращаются, а инфраструктурных ограничений становится все больше, особое значение приобретает эффективность распределения имеющихся в наличии средств, обеспечивающая максимальную справедливость такого распределения. И это в сегодняшних условиях представляется трудно разрешимой задачей.

Весьма показательными в этом контексте выглядят радикальные трансформации сложившегося в предыдущие десятилетия политического ландшафта в большинстве развитых стран, когда традиционные партии не могут предложить эффективных средств борьбы с ухудшающейся социальной ситуацией. На политическую сцену все чаще выходят так называемые «технические правительства», призванные уже без мандата избирателей осуществлять крайне непопулярные структурные реформы. В то же время растет влияние популистских политических сил, аккумулирующих поддержку на волне протестов против неэффективного управления, бюрократизации, политического застоя. Именно ухудшение социально-экономической ситуации провоцирует рост конфликтности, заставляет человека искать новые основания коллективных идентичностей, к которым можно прибегнуть для защиты и отстаивания своих интересов. К сожалению, эти новые коллективные идентичности принимают сегодня местами архаичный, а зачастую и просто жизненно опасный для общественного развития характер, угрожая существованию национальных государств, что сегодня наиболее отчетливо проявляется на Ближнем Востоке.

Исходя из опасности нарастания социальных дисбалансов, в современном мире все острее ощущается необходимость найти пути расширения доступности глобальных ресурсов для тех субъектов мирового сообщества, которые оказались на его периферии, возникает импульс к коллективным и солидарным действиям, которые позволили бы более справедливо решать возникающие социальные проблемы и формулировать конструктивную повестку дня. Пока еще этот процесс находится в самом начале, и трудно сказать, насколько эффективной окажется такая «низовая» активность в рамках мирового сообщества и насколько широко можно будет использовать уже достаточно обширный опыт локальных социальных практик, направленных на решение тех или иных животрепещущих проблем. Тенденции распространения и развития положительных с точки зрения достижения социальных эффектов практик, активизировавшиеся в последние годы, являются частью более широких процессов перераспределения функций между различными субъектами социальной политики, на что исследователи обращали пристальное внимание еще в предыдущие десятилетия [Esping-Andersen 1990].

Ситуация, сложившаяся в социальной сфере, отличается еще и тем, что в условиях трансформирующегося мира реализовывать различные варианты политики приходится практически «с колес», не имея теоретического обоснования и возможности осуществления пилотных проектов и опираясь в большей степени на национальные и региональные особенности. Эксперты Всемирного Банка, рассматривая проблемы бедности и несправедливости современного мира, отрицательно отвечают на вопрос о возможности применения одинаковых для всех подходов к развитию социальной сферы. Они приходят к выводу о том, что «контекстный характер бедности и несправедливости... похоже, обрекает на неудачу попытку применения универсальных политических решений проблемы неравенства, в случае если они не адаптированы к местным ограничениям и институциональным особенностям» [Язбек 2010]. Это вынуждает государства, регионы, общественные организации и, в первую очередь, самих граждан искать и находить уникальные рецепты и пути решения возникающих социальных проблем. В сложных современных условиях далеко не все из них можно назвать удачными, но тем не менее есть очень интересные «истории успеха».

Разработка возможных альтернативных сценариев дальнейшего общественного развития, основанных на ценностях национального многообразия, солидарной экономики, сотрудничества и взаимной помощи, в первую очередь, предполагает наличие общественного запроса на солидарные действия. В условиях размывания ранее признанных авторитетов (в науке и в политике) и кризиса традиционных ценностей резко осложняется процесс самоопределения (идентификации) как личности, так и отдельных групп и всего общества: они теряются в непредсказуемых изменениях, происходящих как в самом человеке, так и во всем окружающем мире. Без четкого осознания своей принадлежности к определенной группе у индивида, затерянного в сложной структуре социальных взаимосвязей, не возникает потребности в солидарных действиях. Таким образом, вне коллективных идентичностей затрудняется процесс возникновения солидарности. Вместе с тем очевидно, что наличие общих установок и идентификационных признаков в какой-либо группе не является гарантией возникновения солидарных действий. Укрепление гражданской идентичности является ключевым ресурсом формирования запроса на такие действия.

Только когда реальное ухудшение группового положения (политического, экономического, социального) осознано и артикулировано, создается возможность солидарного поведения. Для того, чтобы сформировалось единое сообщество единомышленников, необходим «корпус активистов» [Бауман 1996], способных его организовать и возглавить. Возможно, что именно в условиях обострения социальных конфликтов под давлением самых разнообразных вызовов все больше людей осознают необходимость поступиться своими личными предпочтениями и примкнуть к той группе людей, которая именно в действиях, основанных на принципах солидарности, видит единственный способ решения проблем.

Ценностные структуры, а также представления о традиционных основах нравственности подвергаются глубокой трансформации под мощным воздействием социальных перемен. Мировое сообщество выработало вполне конкретные стандарты социальной политики, которые к настоящему времени закрепились в международных документах в форме общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров, касающихся социальной сферы. Эти нормы определяют приоритеты и основные направления построения национальных систем социальной защиты населения в тех странах, которые становятся участниками международных договоров в данной сфере. Однако в условиях разобщенности гражданам становится все труднее противостоять очередным вызовам стремительно меняющегося мира. Поэтому в поисках новых ростков развития важно обращаться к самым различным формам солидарности, в том числе к поиску новых ниш совместного хозяйствования.

Поиски в этих направлениях подвели ученых-экономистов и практиков к пониманию необходимости возрождения солидарной экономики. В условиях очередного разрушительного для общества кризиса 1980-х годов в Чили появилась альтернативная концепция экономики, основывающейся на внедрении принципов солидарности в деятельность как организаций и учреждений, так и отдельных граждан, как бизнеса, так и политических структур [Миглиаро 2014].

Семена этих идей, которые последовательно разрабатывались как теоретиками, так и практиками солидарной экономики, со временем нашли множество последователей во всем мире. В результате, начиная с 1980-х годов, принципы, на которых она базируется, стали основополагающими для целого движения, распространившегося на все континенты. В настоящее время уже множество кредитных союзов, кооперативов и других организаций, действующих на основе самых разных способов управления общими ресурсами, на практике показали свою жизнеспособность. Причем инновационный стержень проекта солидарной экономики заключается в том, чтобы вновь создаваемые объединения оставались уникальными на своей земле, а не тиражировались, превращаясь в нечто стандартное, унифицированное.

Впервые на академическом уровне доказать, что самоуправляемые сообщества могут на протяжении длительного времени эффективно развиваться, удалось Э. Остром. Одну из глав своего монографического исследования «Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности» она назвала «Вызов ученому сообществу в области социальных наук» [Остром 2011]. В то время, когда она поставила задачу обобщить уже имеющийся во всем мире положительный опыт эффективного управления общими ресурсами, большинство экономистов писали об обратном — о «трагедии» общин.

Реальные факты долголетнего существования иной успешно действующей модели, позволяющей создавать нормальные режимы функционирования общественных ресурсов, представленные и теоретически обобщенные Э. Остром,

стали примером существования стабильных саморегулирующихся институтов. В результате ей удалось разработать основы методологии, позволяющей подойти к научному наблюдению совершенно новых объектов и социальных феноменов. Постановка вопросов о том, как современные институты воздействуют на функционирование политических и экономических систем, с одной стороны, и, наоборот, каким образом меняются институты под воздействием индивидуальных стратегий и выборов, приобретает все большую актуальность.

Запрос на смену прежней пирамиды ценностей и падение ранее признанных концепций и авторитетов — это все лишь внешние симптомы современной трансформации. Отсутствие внятного, стратегического проекта, показывающего возможные источники поступательного развития, порождает кризис старых, устойчивых форм и механизмов обеспечения лояльности различных слоев общества. Речь идет об испытании на прочность принципов выборной демократии как гаранта легитимации политической элиты. В каких формах проявит себя эта новая социальная реальность? Будет ли устойчивым современный запрос на социальную солидарность и в какой мере ее практическое воплощение задействует идеи солидаризма, разрабатываемые прежними мыслителями на протяжении уже двух столетий [Портрет солидаризма... 2007]? «Солидаристский взгляд на общество с его вниманием к проблемам коммуникации и образования малых сообществ представляет собой преодоление социальной атомизации и вполне согласуется с современной плюралистической социологией, рассматривающей общество как систему открытых органических структур. Солидаристы ясно видят, что элементы первоначальной солидарности пронизывают все социальное бытие и присутствуют в любом общественном союзе» [Редлих 2007].

Современный вызов, связанный с острым кризисом, охватившим все сферы человеческого бытия, порождает как философскую рефлексию, так и широкую общественную дискуссию относительно путей самосохранения и возможных новых векторов развития наций и государств. Тем, кому удастся первыми осознать черты новой парадигмы развития и принять участие в ее формировании, суждено стать лидерами мирового развития. Однако именно в силу того, что происходящие в мире перемены приобрели черты глобального перехода, все более очевидным становится необходимость согласования и солидаризации интересов, ценностей и потенциала его участников и формирования на этой основе новых идентичностей. При этом приходится признать, что новые принципы мироустройства, как и новые идентичности, будут формироваться в условиях серьезных ресурсных ограничений, растущей фрагментации мирового социального пространства и необходимой высокой индивидуальной ответственности значительной части населения за происходящее.

Литература

- Бауман З. 1996. *Мыслить социологически*. М.: Аспект-Пресс. 255 с.
- Бауман З. 2008. *Текущая современность*. Санкт-Петербург: Питер. 240 с.
- Белл Д. 2004. *Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования*. М.: Academia. 788 с.
- Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире*. 2013. М.: Издательство «Весь Мир». 204 с.
- Иноземцев В.А. 2003. *Глобализация и неравенство: что — причина, что — следствие*. — *Россия в глобальной политике*. 19.02. Эл. ресурс. Доступ: http://www.globalaffairs.ru/number/n_448 (проверено 09.03.2017).
- Маркузе Г. 2003. *Одномерный человек*. М.: АСТ. 333 с.
- Миглиаро Л.Р. 2014. *Что такое экономика солидарности*. — *Политком*. 16.07.2014. Эл. ресурс. Доступ: <http://politcom.org.ua/?p=7417> (проверено 03.03.2017).
- Остром Э. 2011. *Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности*. М.: ИРИСЭН, Мысль. 393 с.
- Печей А. 1980. *Человеческие качества*. М.: Издательство «Прогресс». 302 с.
- Поппер К. 1992. *Открытое общество и его враги (в 2-х томах)*. М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива». Т. 2. 487 с.
- Портрет солидаризма. Идеи и люди*. 2007. М.: Посев. 320 с.
- Редлих Р.Н. 2007. *Национализм и солидаризм*. — *Портрет солидаризма. Идеи и люди*. М.: Посев. 320 с.
- Садовая Е.С., Сауткина В.А. 2015. *Трансформация принципов современного мироустройства: социальный аспект*. М.: ИМЭМО РАН. 206 с.
- Семененко И., Лапкин В., Пантин В. 2013. Тренды и альтернативы развития современного мира. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 10. С. 19–32.
- Стэндинг Г. 2014. *Прекариат — новый опасный класс*. М.: Ad Marginem. 328 с.
- Тимофеева Л.Н. 2015. Конфликтный потенциал справедливости. — *Конфликтология*. № 2. С. 144–154.
- Тоффлер Э. 2010. *Третья волна*. М.: АСТ. 784 с.
- Федотова В.Г. 2005. *Хорошее общество*. М.: Прогресс-Традиция. 544 с.
- Федотова В.Г. 2016. *Модернизация и культура*. М.: Прогресс-Традиция. 336 с.
- Фукуяма Ф. 2007. *Конец истории и последний человек*. М.: АСТ. 588 с.
- Эрикссон Э. 1996. *Идентичность: юность и кризис*. М.: Флинта. 344 с.
- Язбек А. 2010. *Борьба с неравенством в здравоохранении. Синтез опыта и инструментов*. М.: Весь Мир. 340 с.
- Esping-Andersen G. 1990. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton, NJ: Princeton University Press. 264 p.
- Sen A. 1992. *Inequality Reexamined*. Cambridge, Ma.: Harvard University Press. 207 p.

Глава 11

«ЧЕЛОВЕК ПОЛИТИЧЕСКИЙ»:
ЛИЧНОСТЬ ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ XXI ВЕКА

В.В. Лапкин, И.С. Семененко

Ключевые слова: индивид, личность, социальное отчуждение, «человек политический», политическая субъектность, индивидуализация политики, сетевое общение, развитие, глобализация.

Ключевым измерением современного развития становится измерение личностное, индивидуальное. В сознании и социальном поведении человека, в структуре его идентичности происходят глубинные изменения, естественные прежде социальные связи распадаются и зачастую уже не воспроизводятся. Цели и ориентиры индивидуального существования множатся, современный человек не приемлет «одномерную перспективу» развития, претендуя на принципиальное разнообразие своего жизненного пути. Такой выбор, в свою очередь, порождает системную неопределенность и парадоксальную множественность его самоидентификаций, конфликтное противостояние групповых идентичностей, размывание идентичности больших сообществ. Все отчетливее осязаемый распад общественной ткани как ничто иное характеризует современный кризис самоидентификации. Во многом на его основе формируются устойчивые институциональные и социальные дисбалансы сегодняшнего этапа общественного развития, нарастают внутренние напряжения политико-институциональной конструкции современных обществ. «...С приходом глобализации ни спутниковое телевидение, ни Интернет, ни “новые социальные медиа”... — не приблизили нас к “новому глобальному порядку” мира и справедливости. На деле в последние десятилетия расколы в обществе еще более углубились, а межцивилизационные предрассудки... в начале XXI века стали еще сильнее...» [Кёхлер 2013: 76].

Своего рода ответом на сложные вопросы, возникавшие при описании адаптации современного общества к системной многовекторности развития, стал концепт глобализации. Именно с его помощью были заданы рамочные условия формирующимся представлениям о новом глобальном и универсалистском социальном порядке, предназначенном «скомпенсировать»

эффекты множественной неопределенности текущей «постсовременности». Этот порядок должен был интегрировать разнонаправленные тренды и вместе с тем — повсеместно преобразовать и унифицировать многообразие институциональной и нормативной сферы человеческого общежития и социальной коммуникации. Более того, продвигающие его процессы глобализации призваны были задать принципиально новые основания общественной интеграции и политического действия.

Обратим внимание на некоторые принципиально важные характеристики этих преобразований. «...Основные последствия глобализации на данный момент — ...это, прежде всего, отделение власти от политики, сдвиг функций, ранее принадлежавших исключительно политическим институтам, как по горизонтали (например, передача их рынкам), так и по вертикали (от уровня общественной на уровень индивидуальной жизненной политики)» [Бауман 2011: 254]. Деинституционализация и децентрализация властных функций, о которых пишет З. Бауман, их смещение как на уровень безличного автоматизма «рыночного регулирования», так и на уровень индивида и его «жизненной политики» обещают революционные перемены в жизни общества. В последнем случае индивид как социальная проекция человеческой личности выдвигается в ряд ключевых субъектов современной политики, а изучение политических аспектов его социального бытия — аспектов целеполагания и целедостижения — привлекает все большее внимание исследователей современных общественных процессов.

Анализ происходящих повсеместно изменений побуждает критически отнестись к устоявшимся в политической науке исследовательским и методологическим подходам. Необходима существенная коррекция исследовательской оптики, ее разворот к *человеку*, все более активно проявляющему заинтересованность в управлении условиями и перспективами собственного существования. Традиционные подходы «по умолчанию» исходят из несопоставимости, с одной стороны, «макрополитических субъектов» (правительств и органов исполнительной власти, представительных и лоббистских структур, групп интересов и пр.), а с другой — отдельных граждан, «человеческих единиц», которые нуждаются в «организации», «дисциплинировании» и политическом управлении. В то время как сегодня, напротив, необходим своего рода «методологический поворот», переориентация исследовательского взгляда на происходящее в сфере политики. Именно «человек политический» является изначальным носителем политической субъектности, своей деятельностью он формирует политический мир как таковой, включая все его институты и поведенческие акторные модели (практики). Потребность в понимании существа социально-политических изменений побуждает исследователя включить в свой кругозор взгляд на происходящее с позиции «человека политического», с которой макрополитика и действующие на ее поле «субъекты» (олицетворяющие *отчужденную от человека власть*) предстают сегодня объектами индивидуального политического действия. Их институциональное переустройство с целью возвращения человеку контроля над его

политическим бытием и представляет одну из важнейших задач, стоящих перед современным обществом.

В рамках формирующегося на наших глазах нового пространства социального взаимодействия интеграция индивидов достигается на основе качественно измененных и усложненных требований к характеру их участия в социальной коммуникации. Утверждение этой новой социальной реальности сопряжено с процессами глобализации, особенно — в информационной сфере, с распространением интерактивных сетевых форм общения. Условием становления такого пространства оказывается персональная и потенциально интерактивная подключенность к глобальной «информационной среде», посредством которой социальный индивид приобщается к новым универсальным нормам и стандартам поведения, обретает новые идентификации, приспособляется к новым условиям жизни и новым ограничениям доступа к ресурсам. В этой среде индивид обретает и свой «политический интерфейс», получает возможность инициативного и автономного участия в политических акциях, в публичных дискуссиях и в выработке решений, которые затем превращаются в различного рода и качества политические действия.

Продвижение этих новых, ориентированных на индивидуальность форматов политической интеграции обозначает не только известную преемственность с эпохой классического модерна, но и качественное преобразование самой современности. Оно являет собою критически значимый вызов человеческой личности, поскольку посягает на изменение всей ее «несущей структуры», включая духовую сферу, сферу интимности, этических и нравственных основ самостояния.

Общество и личность: конфликтная взаимообусловленность сосуществования

Социолог и философ науки Бруно Латур указывает, что на смену прежде доминировавшему «большому нарративу об освобождении и модернизации» приходит новый «большой нарратив о связности и вовлеченности». Иными словами, прежние представления о том, что «природа и ее всеобщие законы постепенно вытеснят многообразие субъективных воззрений», сменяются принципиально новым описанием происходящего, в соответствии с которым «различие между миром субъектов и миром объектов будет все больше стираться, а управление людьми — сливаться с управлением вещами» [Латур 2011: 63].

Абстрактность данной формулировки не мешает усмотреть в ней не только разрыв связи между Человеком и Природой, разрушение представлений о мире, сформированных в эпоху Нового времени, но и прямую констатацию растущего и качественно углубляющегося в условиях новой модерности отчуждения. Прежде оно рассматривалось как временное и ситуативное, его оправданием служил миф о последовательной рационализации общественного

устроения, а гуманизм оставался знаковой ценностью современного общества. Теперь же речь идет о неприкрытой и иррациональной дегуманизации, о легитимации соответствующего, повсеместно происходящего превращения человека (социализированного индивида) в объект управления. Императивное самоотчуждение становится условием доступа к благам и возможностям новой социальности, проникает до самых глубин «сферы интимности», настойчиво пытается преодолеть суверенные границы личностного пространства человека.

В этой новой пространственно-временной реальности формируются принципиально иные, незнакомые предшествующим эпохам механизмы социализации, иные, обезличенные методы социального контроля. Лишаясь «защитной оболочки» межличностного взаимодействия, человек остается один на один с безликой виртуальностью: все более распространенными становятся дистанционные способы общения, воспитания и обучения. Такие изменения пространства социальной коммуникации сопряжены с фундаментальными общественными трансформациями и лишь усиливают отчуждение индивида от институционализированных практик представительной демократии и социальной самоорганизации Нового времени.

Манипуляции индивидуальным и коллективным бессознательным давно и активно включены в инструментарий демократического политического порядка. Доступ к ресурсам, необходимым для поддержания жизни и саморазвития, опосредуется иррациональными (при всей их внешней рациональности) институтами и практиками рынка [см. напр., Поланьи 2002: 82–87]. Этика и прагматика отчуждения становятся несущей конструкцией современной социальности. Построенное на этом фундаменте общество способно использовать материализованные плоды творческой активности личности, но без ее участия оно не в состоянии генерировать креативный потенциал, отвечающий потребностям современного развития.

Поиски путей преодоления этих кризисных явлений с неизбежностью ставят в повестку дня вопрос о перспективах изменения сложившегося политико-институционального порядка, о появлении новых субъектов развития вне и помимо привычных национально-территориальных пространств. Насущной потребностью политической науки становится сегодня выход из той устоявшейся системы координат, которую Ульрих Бек емко обозначил как «методологический национализм» [Бек 2012: 45–46]. И не только потому, что в политическом процессе наряду с государством-нацией и функционирующими в поле публичной политики институтами уже прочно утвердились и продолжают утверждаться акторы разного уровня и степени субъектности (*agency*) — от региона и города до корпоративного бизнеса, гражданских объединений, экспертных центров, рейтинговых агентств или социальных сетей. Но и потому, что в информационном пространстве глобализирующегося мира такая разноуровневая и разноплановая субъектность претендует на самостоятельность и политическую значимость вне зависимости от конкретной повестки дня, трансформируя «неполитическое» в политическое.

Возможность системного осмысления всего многообразия новых политических акторов обусловлена связующей всякую субъектность общей, человеческой природой, влиянием ценностей и убеждений человека, его мотиваций и интересов на процессы принятия и реализации политических решений. В условиях, когда традиционные «политические машины» и механизмы массовой мобилизации дают сбой, весьма актуальным становится анализ причин и последствий исключенности активной и личностно мотивированной категории граждан из процессов разработки и принятия политических решений. Посредством такого анализа возможно осмысление перспектив преодоления такой исключенности, что, в конечном счете, может помочь более эффективно задействовать личностный потенциал в разрешении противоречий современного развития. Тем более такой анализ способен прояснить и контуры тех новых форм (общественной) самоорганизации гражданского общества, которые рождаются на наших глазах, но не вписываются в устоявшееся понимание гражданской активности и гражданской идентичности. В конечном счете — осмыслить и парадоксы политической самоидентификации, и изменение самой парадигмы гражданского общества и гражданственности.

Иными словами, политические институты и процессы, бывшие до сих пор сферой первоочередного внимания политической мысли, представляют собой отчужденные от человека формы его социального творчества. В таком самодовлеющем качестве они и рассматриваются в рамках текущего политического анализа, оперирующего понятиями «государства» и «общества» как однозначно определенными категориями. В то время как речь идет о задаче концептуализации человеческого измерения политики, выявления механизмов формирования и реализации политических потребностей человека.

Безусловно, в решении этой задачи уже имеется серьезный задел. Так, индивид, рассматриваемый как представитель социальной группы, активный участник изменений, выступает «базовой единицей» анализа в отечественных политико-психологических исследованиях природы политического восприятия и особенностей формирования представлений о политических лидерах, о власти и о стране исследований [Образы... 2008; Психология политического... 2012]. Актуальность исследовательского интереса к «человеку действующему» (в терминологии Алена Турена), проявившемуся в известных событиях 1968 г. во Франции, как нельзя лучше подтверждают и нынешние события на арабском Востоке, и происходящие в США и в Европейском союзе политические сдвиги и размежевания.

Человек, индивид, личность: к вопросу о политической субъектности

Возвращение целостной человеческой личности в исследовательское поле политологии и смежных областей общественных наук и формирование адекватного научного дискурса оказывается своего рода «методологическим вызовом»

для тех, кто занимается изучением сферы политического. А дихотомия представлений о сферах интересов и потребностей личности и социального индивида представляет вызов и для самого человека как субъекта изменений, и для социогуманитарного знания, в котором он воплощает понимание своей социальной вовлеченности. Именно поэтому столь важной задачей становится сегодня «разворот» теоретических конструкций, описывающих современное общество, и всего методологического инструментария социальных наук в направлении человека и его потребностей в творческой самореализации и социальном участии.

Поиск источника креативности, время от времени демонстрируемой человеком способности к порождению нового — будь то знания, смыслы, навыки, технические усовершенствования, произведения материальной и нематериальной культуры — приводит к пониманию того, что человек как существо, наделенное индивидуальностью, отнюдь не может быть сведен к типологизированному социальному индивиду. Сам термин *индивидуальность* приобрел в обыденной речи смыслы, принципиально отличные от смыслового наполнения латинского понятия *individuum* (лат. *individuum* — неделимое; ср. греч. *ατομος* — неделимый). На уровне индивида решающую роль играют процессы самоидентификации, обеспечивающие его причастность к социальной и политической жизни соответствующего сообщества. *Individuum* предстает именно как элементарная частица сообщества, без особых претензий на уникальность.

Напротив, индивидуальность является олицетворением личности, отвечает стремлению индивидов, объективно ограниченных в выборе социальных ролей, скомпенсировать это самоограничение представлением о собственной уникальности, об открывающихся для них в современном мире «безграничных» возможностях самореализации. Она стремится утвердить себя в качестве уникальной и ориентированной на свободное развитие, инновационной личности¹. Именно такая личность, по мысли Петра Штомпки, «помогает рождению самоподдерживаемых изменений, которые постоянно революционизируют жизнь — ее стандарты, ценности» [Штомпка 1996: 301]. Но проявиться такая личность с присущей ей креативной силой может только в современном обществе — там, где «возникает социальный запрос на индивидуальность...», «запрос на субъекта творческой деятельности, способного производить новое» [Федотова 2005: 167]. Мерилом современности общества становится сложная многоуровневая идентичность, для которой характерно сосуществование разных значимых для человека социальных ориентиров и ролей, актуализирующихся в конкретных жизненных ситуациях, и четких критериев нравственного выбора. Бурный рост интереса к концептуализации

¹ Понятие «инновационная личность» как противоположенное «авторитарной личности» сформулировано американским ученым, теоретиком социальных изменений Эвереттом Хагеном в 1962 г. в работе, посвященной анализу стимулов экономического роста. Хаген выделил влияние личностных качеств человека как на утверждение его собственного социального статуса в обществе, так и на экономический рост [см. Hagen 1962; см. также Морозова 2011].

самого феномена идентичности в ее политическом измерении свидетельствует о потребности в адекватном инструментарии для понимания механизмов освоения политической реальности на личностном, индивидуальном уровне в сочетании с уровнем групповым, социальным. А также — о стремлении к осмыслению на этой основе человеческой природы социальных инноваций как движущей силы развития. Подчеркнем, что именно на этом поле методологические и концептуально-теоретические разработки формируют общий для политической науки дискурс идентичности.

Отличительные качества инновационной личности как социального типа — это «способность к творчеству, наличие определенного интеллектуального ресурса, социальная зрелость как готовность к инновационной деятельности» [Шевченко 2010: 40]. Напротив, неререфлексирующее принятие социальных норм и установлений, включенность в отчуждающие практики обезличивают человека, превращают его в пресловутый «социальный автомат» (по известному выражению Х. Ортеги-и-Гассета). Освоение личностью мировоззренческих позиций, на которых она может противостоять этой тенденции обезличивания, обретение ею способности к проведению соответствующей «жизненной политики» в современном сложном обществе оказывается едва ли не ключевым условием ее становления и самосохранения.

Социально-психологический анализ обнаруживает, что первоисточник креативности, присущей человеку, формируется вне поля социальности, диктующей индивиду нормы и правила адекватного сложившимся общественным отношениям поведения и воображения, — равно как и вне «генетически запрограммированного». Таким источником идей, ценностей, смыслов, социально или биологически незапрограммированных поступков представляется личностный потенциал человека. Идеи, смыслы и поступки способны стать движущей силой социальных изменений в той мере, в которой они включаются в политический, культурный и другие социальные процессы благодаря личностно-социальной природе человека. Решающей оказывается его способность быть одновременно духовным и материальным существом, жить в собственном идеальном мире и вступать в практические отношения с окружающими его социальным и материальным мирами, разрешая ценностные конфликты в рамках своего духовного опыта, в поисках высших смыслов бытия.

Изначально распространяющиеся посредством межличностного общения, эти идеи и смыслы несут неповторимую печать породившей или транслирующей их личности. Но по мере того, как в их восприятии при продвижении по коммуникационным сетям фактор межличностной эмпатии² отступает в тень, замещаясь формальными практиками усвоения «известных истин», на первый план выходит фактор общественных авторитетов, нормативно устанавливающих смысловые значения тех или иных новаций. Таким путем создаются предпосылки для включения этих новых формализованных смыс-

² От греч. *ἐν πάθος* — страсть, страдание; умение сопереживать, прочувствовать человека, внутренняя настройка на одну с ним волну смысловой коммуникации.

ловых значений в систему социального дисциплинирования (так называемого социального знания) и организации кооперативной деятельности сообщества, подчиненной диктату этих смыслов и «знаний» (научений, заученности, внешнего смыслонаполнения). Так смыслы, интегрированные в структуры социальности и отчужденные от их естественного порождающего начала — личности, становятся основой власти и властного принуждения, низводящего личность до роли индивида, автономия которого ограничена его социальным статусом.

Тем не менее под социальной личиной «индивидуальности» сохраняется личность — всегда в той или иной мере проявляющаяся. Именно онтологическая потребность в самореализации и в идеальном конструировании окружающего мира, в распредмечивании содержащихся в нем смыслов и опредмечивании собственных идеальных конструктов ответственна за формирование каждым человеком уникальных, только ему присущих принципов мировосприятия и моделей поведения и в то же время — за качество межличностного взаимодействия. И именно на эту основу затем накладываются структуры социализации, преобразующие личностную уникальность мировосприятия и формирующие те самые социальные типы — носителей групповых идентичностей. «Социализация — ...это сложный и подвижный механизм взаимодействия между стремлением индивида к свободе самоопределения и не менее сильной тягой к безопасному существованию, которое ты сможешь обрести, только если твой выбор одобрен обществом...» [Бауман 2011: 258]. Но это также и средство включения интересов индивида в пространство надиндивидуальных интересов и мотиваций, оформленное как соответствующее микроили макросообщество. Так происходит интериоризация макрополитических идентичностей, ценностных предпочтений и политических установок, через которые выстраивается обратная связь социального индивида (гражданина современного общества) и политических институтов, призванных представлять общественный интерес. При этом «не все общественные ценности, даже если они осознаются и признаются человеком в качестве таковых, действительно становятся личностными. В целом можно говорить, что структура политических ценностей отдельной личности лишь в некоторой мере отражает структуру ценностей общества в целом, при этом точность этого отражения зависит от множества как социальных, так и индивидуально-психологических факторов» [Психология политического... 2012: 38].

Микрополитическое и макрополитическое: диалектика взаимовлияния

Наличие условий, благоприятствующих становлению инновационных личностей, способных генерировать и продвигать соответствующие проблемам общественного развития идеи и изменения, определяет качество общества, его современность. Но вовлеченность таких личностей в политическое взаимо-

действие определяется индивидуальным сочетанием интересов, потребностей, убеждений и мотиваций. В ряду мотивов личной вовлеченности в политическое действие выделяется «выраженная потребность во власти, которая, как известно, относится к квазипотребностям и может “наполняться” разными потребностями (в идеальном устройстве общества, в самореализации и др.)». В том числе — и потребностью «в преодолении сопротивления политическим изменениям» [Морозова 2011: 214], столь актуальной для российского и других постсоветских обществ³. И здесь проблема индивидуальной этической мотивации снова встает во весь рост.

Рядовой человек, гражданин и избиратель вовлекается в пространство политических взаимодействий через механизмы публичной политики. Однако реализация таких возможностей оказывается в прямой зависимости от синергии общественного запроса на развитие, адекватного ему целеполагания на уровне представителей политической элиты и эффективных (соответствующих задачам развития) управленческих практик. Неслучайно глубинную причину социального неблагополучия, в том числе и во внешне благополучных обществах, Г.Г. Дилигенский, ученый, стоявший у истоков российских исследований в области социально-политической психологии, видел в «несогласованности индивидуального потенциала человека, т.е. его потенций деятельности, с доступными ему формами социальных связей и социально значимой деятельности» [подробнее см. Дилигенский 1994: 87–110]. Это наблюдение тем более справедливо сегодня, когда институциональные изменения все заметнее отстают от изменений, происходящих в структурах сознания и социального поведения современного человека.

На пути осмысления присущих индивиду механизмов интериоризации политических взаимодействий исследователя подстерегают известные опасности социального, психологического или даже биологического детерминизма. Одна из главных проблем, встающих при разработке темы «человек и политика», обусловлена тем нетривиальным, с позиции политической науки, обстоятельством, что попытка исключить «личностное измерение» человека, ограничиться рассмотрением его как социального индивида по сути означает сведение общественного развития к социальному конструированию в рамках элитистской парадигмы конструирования социальной реальности.

Альтернативой элитизму является утверждение в современном политическом пространстве «человека политического», носителя ценностей социальной солидарности и социальной справедливости. Сегодня такая система ценностей не только вступает в конфликт с традиционными политическими институтами, но нередко отторгает их как «неэффективные». Эпоха глобализации открывает невиданные ранее возможности для мобилизации анти-

³ Впрочем, по мнению Карла Полаanyi, сопротивление изменениям, замедление темпа социальных преобразований, особенно — связанных с распространением практик тотальной коммерциализации, может иметь решающее значение для более основательной адаптации общества к переменам, для сохранения его жизнеспособности и субъектного потенциала составляющих его индивидов [Полаanyi 2002: 45–54].

элитистского протеста и нового «восстания масс», а вместе с тем размывает когнитивные и прогностические возможности традиционных исследовательских подходов. Пространство активности человека политического формируют сегодня блоги, социальные сети, политические флэшмобы, краудсорсинг и другие рождающиеся на наших глазах формы политического участия.

Расширение границ и появление новых «форматов» политического взаимодействия делают проблематичным функционирование традиционных механизмов интеграции социальных субъектов. Такая интеграция понимается, как правило, как «результат совокупности социальных действий», т.е. в парадигмальных рамках «методологического холизма». Но по мере того, как прогрессирует дифференциация и формируются сложные, многосоставные общества, в которых проявляется многообразие и растет потенциал конфликтности партикулярных интересов составляющих их малых сообществ, усложняется задача адекватного осмысления этой реальности и прогнозирования изменений известными сегодня социальным наукам методами.

В рамках идеализированных теоретических моделей интегральная совокупность детализируется «как бы» вплоть до отдельного «индивида», однако всегда предполагается его принадлежность к какому-либо «социальному типу», причем число таких типов принципиально ограничено и на порядки меньше, чем число членов данного сообщества. Иными словами, до каждого «гражданина» как уникального члена сообщества такой подход в принципе дойти не может, поскольку он позволяет интегрировать индивидов в общую совокупность макросообщества только в том случае, если каждый из них предварительно соотнесен с типологически дифференцированной группой. Ярким примером приложений такого подхода являются массовые социологические опросы, выявляющие типологизированные настроения населения в целом и его основных возрастных, гендерных, поселенческих, профессиональных, имущественных и т.п. сегментов.

Существенно продвинуться в разрешении проблемы интеграции индивидуальной субъектности в социальное и политическое целое позволила концепция политической культуры. Политическая культура как методологическое основание анализа механизмов соотнесения индивидуальной и социальной (групповой, коллективной) составляющих политического сознания и поведения была «открыта» миру Габриэлем Алмондом и Сиднеем Вербой в известном классическом труде 1963 г. Концептуализируя это понятие, прежде бытовавшее в социальных науках скорее как метафора, американские социологи справедливо указали на то, что занимающиеся микрополитикой исследователи обычно удовлетворяются общими констатациями о наличии взаимосвязи между двумя уровнями политической реальности, поскольку неперенным участником политических взаимодействий является индивид. «Политическая культура», согласно их аргументации, выступает в качестве «связующего звена между “микрополитикой” (аттitudes и мотивациями индивидов — участников политической системы) и “макрополитикой” (ее институтами и процессами)» [Almond, Verba 1963: 30–33].

По контрасту с рассмотренными выше подход, реализуемый в парадигме «методологического индивидуализма», ориентирован на исследование процессов формирования новых социальных практик (рутин) и новых институтов, которые предстают в его рамках как процессы адаптации общественным организмом индивидуальных инноваций, инициированных зачастую в межличностном общении. Его исходным пунктом является признание невозможности локализовать источник социальных изменений исключительно в рамках самой нормативно-институциональной системы общества. С таких позиций именно индивид в силу органически присущей ему субъектной активности (в ней проступает «внутренний мир» целостного человеческого существа) оказывается постоянно действующим, активным началом общественных изменений. При этом внутренней мотивацией, побуждающей человека принимать правила, предлагаемые ему обществом как носителем коллективного выбора, и одновременно стремиться к их активному изменению в собственных интересах, оказывается потребность в общении, коммуникации с окружающими его «другими», — жизненно важное условие его самореализации как личности. В этом истоки феноменов власти и влияния, информационного обмена и ограничений доступа.

Тем не менее ни один из упомянутых нами подходов не вносит необходимой ясности в понимание природы взаимозависимости личностной, микро- и макросоциальной составляющих политического взаимодействия, особенно — ввиду того *влияния*, которое оказывает углубляющаяся и неизбежная для современного социального индивида включенность в публичное пространство на его идентичность и личностное самостояние.

Индивидуализация политики и потенциал личностной суверенности

Ярким результатом зарубежных исследований макро- и микрополитики стало обоснование ухода «общественного человека» (public man) из политической сферы в сферу частной жизни [Sennet 2003]. Широко известна концепция «индивидуализированного общества» З. Баумана. Задаваясь вопросом о том, есть ли в таком обществе место политике, он пишет об «эрозии и постепенной деградации идей гражданства», о «колонизации “общественного” “частным”», о выхолащивании «публичного интереса» [Бауман 2002: 61–62].

Но сама модель «индивидуализированного общества» возводит непреодолимые препятствия на путях освобождения личности от диктата надындивидуальных интересов, сталкивает человека лицом к лицу с неподконтрольными ему обезличенными государственными и выступающими от имени государственных интересов структурами. В условиях стремительного роста числа акторов на современной сцене политического целедостижения, многообразия сопряжений и пересечений индивидуальных жизненных интересов, активно отстаивающих свое право на реализацию вопреки устоявшимся институциональным

и нормативным границам, набирает силу своего рода реактивная тенденция к индивидуализации политики. В результате «наряду с распадом и уничтожением традиционных надличностных, жестко структурированных и жестко руководящих центров власти мы, похоже, наблюдаем и параллельный процесс: осиротевший индивид сам постепенно становится таким центром. Привычные политические авторитеты исчезают или отходят на второй план, и возникающую пустоту начинает заполнять индивидуальное “я”» [Бауман 2011: 256]. Политическая рефлексия, целеполагание и участие становятся важными компонентами жизненных стратегий «человека политического», а идейный выбор оказывается зачастую моральным выбором. Актуализируется потребность в «приватизации политики», эффективное использование которой как инструмента целедостижения в обстановке жесткой конкуренции становится, уже на индивидуальном уровне, условием выживания в современном обществе.

Диверсификация жизненных стратегий современного человека, когда отторжение политического в пользу частного сопрягается с «присвоением» политики и включением ее в сферу частного интереса, обусловлена имманентными противоречиями общества потребления и происходящим на наших глазах изменением качества политической коммуникации. Нельзя не упомянуть в этом контексте два бестселлера американской социологической мысли предыдущего поколения — книгу Дэвида Ризмана, раскрывающую механизмы утверждения социальной конформности в «обществе среднего класса» [Riesman 2001 (1950)], и исследование Сеймура Мартина Липсета о формировании политического выбора рядового избирателя [Lipset 1960]. Политическая конформность способствует, в соответствии с общим выводом этих авторов, стабильности демократической системы. Но о конформности (или о росте конформизма) речь идет не столько как о психологической характеристике массового сознания, сколько как о принципиальной для современного человека потребности в соотнесении себя с другими, о потребности в самоидентификации с утвердившимися образцами мышления и поведения.

Общество потребления возводит конформность в абсолют. Рефлексия и идейные убеждения замещаются рутинными процедурами выбора из «меню» готовых форм политического поведения. Но очевидно, что рост политического конформизма вступает в острое противоречие с потребностью в индивидуальной свободе и социальной креативности, условием которых является непосредственная включенность человека в процессы политического целеполагания. В современном обществе такая включенность открывает пути реализации его интересов и как социального индивида, и как инновационной личности. Современный «человек политический» мотивирован к деятельности, которая выходит за рамки его частных интересов, при этом далеко не всегда такая деятельность связана с политическим активизмом.

Исследуя социальные детерминанты человеческого сознания, британский социолог Николас Роуз предлагает критически оценить и последствия известных «проектов формирования идентичности». Он обращает особое внимание на то обстоятельство, что «мотивированные идеалами утверждения коллек-

тивных идентичностей политические стратегии вдохновлялись не только благородными стремлениями гуманизма и приверженности индивидуальной свободе, но и стремлением к господству или к очищению», к единообразию во имя общей идентичности [Rose 1998: 39–40]. Политика идентичности выступает, тем самым, эффективным инструментом интеграции макросообществ, позволяющим им до известной степени противостоять вызовам индивидуализации и сетевой интеграции⁴ виртуальных сообществ.

Информация зачастую трактуется, в том числе и многими весьма авторитетными исследователями, как самостоятельная и самодовлеющая сила социальных изменений, способствующая индивидуализации политических взаимодействий, что в совокупности с растущей бюрократизацией управления сложным обществом ведет к выхолащиванию традиционных политических институтов [Семенов, Лапкин, Пантин 2013]. Вместе с тем, Ганс Кёхлер, признанный эксперт в этом вопросе, обращает наше внимание на необходимость критического подхода к проблеме. Сам термин *информация*, напоминает он, может толковаться двояко: как с акцентом на индивида, воспринимающего ее и наделяющего ее смысловым и ценностным содержанием, так и с акцентом на средства ее распространения (включая и самые современные), «передельвающие» человека под свои нужды. «Электронные СМИ, позволяющие пользователям выступать в роли как потребителей, так и поставщиков информации, многим видятся волшебным средством, способным изменить саму природу человеческого общества. Похоже, как и Маршалл Маклюэн в 1960-е годы, современные кибер-утописты путают метод с содержанием — т.е. технические средства коммуникации (сами по себе не имеющие ценности) с сообщением, которое доставляется посредством их. ...Маклюэн, похоже, упустил (или намеренно проигнорировал) осознанный контроль, осуществляемый индивидом, а также его моральную ответственность за то, как используется это средство. Пророческое высказывание Маклюэна “Средство есть сообщение” сегодня созвучно распространенному мнению о приходе новой парадигмы, связанной с конструированием жизни общества, “изобретением заново” человека как “политического животного” (*zōon politikón*) в эпоху глобальных взаимосвязей» [Кёхлер 2013: 75]. Давление сформировавшейся в последние десятилетия высокотехнологичной информационной среды качественно меняет структуру личности, деформирует ее онтологические, бытийные основания. Между «включенными» в нее и «исключенными» (по своему ли выбору, выражающему протест против насильственного поглощения индивидуального пространства, или ввиду отсутствия возможностей доступа, как на обширных

⁴ Сетевые практики и их влияние на индивидуальную психологию [см., напр., Christakis, Fowler 2011] и на динамику общественных институтов [см. Сергеев, Сергеев 2003] подробно описаны в литературе, в том числе применительно к российским реалиям [Морозова, Мирошниченко 2009]. Осмысление такого воздействия на сферу межличностных отношений и его интериоризации в индивидуальной и надиндивидуальных идентичностях позволяет говорить о формировании *сетевой идентичности*, в которой сосуществуют сознательные и бессознательные, не отрефлексированные мотивации и установки человеческого поведения.

пространствах незападного мира) пролегла цивилизационная пропасть нового типа, формирующая режим своего рода «глобального апартеида».

Новые, все более изощренные коммуникационные возможности, обещающие немислимое прежде освобождение индивида от ограничений пространства и времени, от одиночества и невостребованности, по мере их освоения человеком создают для него новые угрозы, ввергают его в состояние «новой несвободы». Обостряющейся проблемой современной политики становится появление анонимных или квазианонимных авторитетов эпохи информационного общества, определяющих и формирующих дискурс сетевых интернет-сообществ. При этом смысловые и идейные новации, распространяющиеся под эгидой этих нового типа авторитетов, в своем становлении в качестве социально значимого феномена, как правило, минуют стадию апробации в полноценном межличностном общении. Зачастую они рождаются как своего рода полуфабрикаты, изначально лишённые тех многомерных духовных смыслов, поиски которых присущи человеческой личности; в них уже предусмотрена «предпродажная подготовка», ориентированная на массового потребителя, и они максимально готовы к продвижению на информационный рынок.

Человеческое общение в формате социальных интернет-сетей становится неподконтрольным самому человеку⁵, а сам он, погруженный в вездесущие информационные потоки, сталкивается с еще более острым и неутолимимым дефицитом общения. Окружающее его тотальное и «мультимедийное» информационное поле все отчетливее демонстрирует свой главный изъян — отсутствие смысла в той обезличенной информации, которая со всех сторон обволакивает вовлеченного.

Проблема в том, что неперенным условием информационного обмена является наличие «соотнесенности» (коррелированности) между его участниками, взаимопонимания, достаточного для адекватного распознавания смыслов символических трансакций и последующего кооперативного, согласованного на этой основе поведения. Такая «соотнесенность» соответствует тонкому состоянию между внешним пониманием, ответственным за способность к взаимодействию с другими, к социально приемлемому поведению — и внутренним миром человека, его суверенным миром идей, ценностей и смыслов, закрытым для окружающих.

По большей части (и по видимости) «соотнесенность» есть продукт социализации, приобщения к строю цивилизации и к культуре соответствующего сообщества, к специфическим ролевым функциям индивида в этом сообществе. Но вместе с тем она есть (по сути) результат внутренней духовной работы

⁵ Социальные сети можно рассматривать, по мнению американских исследователей этого феномена, как «человеческий суперорганизм с собственной структурой и функциями», действия которого выходят из-под индивидуального контроля и «могут вызвать моральные или социальные последствия вне или помимо нашей воли» [Christakis, Fowler 2011: xii–xiii]. Последствия — как положительного для развития человеческой личности свойства, так и отрицательного, посягающего на ее автономию.

человеческой личности, ее усилий по формированию коммуникационной среды, необходимой ей для самореализации в общении с другими. Это совершеннейший продукт найденного личностью решения базового онтологического противоречия человеческого существования, обусловленного воплощаемым в человеке соединением духовного и материального начал. Информационный обмен при отсутствии «соотнесенности», опосредованной межличностной эмпатией, ведет к потере смыслов и деградации человеческого общения. Именно вожделение «свободы от» социальных норм и социального контроля делает столь привлекательными для индивида виртуальные формы общения, но оно оборачивается эфемерным характером его социальных связей и, в конечном счете, деградацией навыков и способности к человеческому общению, распадом личности.

Другой гранью несвободы человека в эпоху Интернета оказывается парадокс «возвращения на круги своя»: попытка «убежать» от диктата любых институций и социальных норм оборачивается возвращением «под спасительную сень» виртуального сообщества. Интернет-толпа стала порождением новейших, сетевых форм социальной интеграции. Резюмируя результаты анализа, проведенного Уильямом Даттоном, директором Оксфордского института Интернета (Великобритания), Ганс Кёхлер пишет: «Интернет-толпа стала особым рода властью, независимой от *“mainstream media”*» [Köchler 2011]. Сам Интернет, по словам Даттона, представляет собой «пятую власть», способную бросить вызов существующей (традиционной) власти⁶. Вместе с тем появление феномена «интернет-толпы», обладающей «особого рода властью», знаменует, по-видимому, новый раунд трансформации демократии в охлократию. Всякой толпой легко и очень соблазнительно манипулировать, особенно с помощью современных технических усовершенствований, недоступных «массовому» индивиду, подобных тем, что в свете постоянных скандальных разоблачений позволяют осуществлять повсеместный контроль содержания интернет-сообщений и мобильной связи и незримо вмешиваться в частную жизнь граждан.

Сетевые коммуникации как никакие другие способствуют концентрации информации и власти (управления) в ключевых узлах сети, обеспечивающих ее функционирование. В них же концентрируются ключевые ресурсы, на обмене которыми специализируется сеть. В процессе такого обмена она получает стимулы для развития — как качественного, так и количественного — своей инфраструктуры. Так, информация концентрируется на крупнейших хостингах и в ключевых IT-центрах. Финансовые ресурсы — у ведущих глобальных финансовых корпораций и валютных эмитентов. Трудовые ресурсы — в рекрутинговых агентствах и на массовых производствах, включая и постиндустриальный сектор. Сырьевые ресурсы — у энергетических компаний и корпораций сектора первичной переработки. Характерно, что уровень монополизации

⁶ Macht der tausend Augen. 2011. — *Der Spiegel, Spiegel-Gespräch*. No. 31. 01.08. P. 101. Доступ: <http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-79723336.html> (accessed 15.02.2017).

в сферах, продвигающих средства управления информационным обменом, — в производстве компьютерного программного обеспечения и обслуживании сетевых интернет-коммуникаций, — экстремально высок даже на фоне современных транснациональных монополий. Это неизбежно предопределяет сверхконцентрацию контроля за информационным обменом и делает такой контроль «вопросом техники», а погруженного в эту «новую информационную реальность» человека — заложником новых центров власти, не контролируемых обществом ни институционально, ни нормативно.

В этих условиях индивид остается один на один с такими центрами власти, а развитие глобальных институтов политического представительства не только фатально отстает от потребностей меняющегося общества, но, более того, блокируется новыми виртуально-сетевыми формами коммуникации, вносящими хаос и разлад в человеческое общение, снижающими договороспособность индивидов, их способность к политическому взаимодействию. Обеспечиваемая ими связанность, уже вполне сформировавшаяся и альтернативная привычным нам формам социально-политической интеграции Нового времени, сама являет собою вызов прежней мозаичной картине мира, согласно которой Земля последовательно покрывается сеткой национально-территориальных политий. Связанность, осуществленная Интернетом, практически всеохватна в прошедших индустриализацию странах, а в остальных — стремительно растет и в ближайшем будущем также, без сомнения, станет всеобщей. Речь, фактически, идет о перспективе замещения прежних форм консолидации индивидов посредством национального гражданства и структур интегрированных локальных общин (*community*), новыми, в привычном нам смысле и не-политическими, и не-коммунитарными. Вряд ли сегодня можно ясно обрисовать контуры этого нового «человеческого общежития», однако темпы социальных изменений нарастают, и, думается, еще при жизни нынешнего поколения исследователей эти контуры проявятся и будут прочерчены их теоретическими усилиями.

Развитие человеческих сообществ, прежде организованное институциональными порядками мировой системы национальных государств в устойчивые ламинарные потоки, в современную эпоху, по мере роста ресурсной оснащенности индивида и его погружения в информационную среду сетевого интерактивного общения, приобретает черты турбулентного движения. Переход к турбулентному режиму сопровождается диссипацией значительной части ресурсов социально-политического развития в конфликтном противоборстве раздираемых разнонаправленными частными интересами атомизированных индивидов. Интеграцию таких индивидов, лишенных социоинституциональной «защитной оболочки», берут на себя (занимая освобождающиеся позиции) институты рынка. Результатом такого «замещения» оказывается принципиально новый статус индивида, статус объекта управления, «вещи» в ряду других «вещей», вовлеченных в рыночный оборот.

В этой критической точке пути индивида и личности расходятся. Мир духа, духовного идеала, поиски высших смыслов бытия остаются главными

оплотами свободы личности и определяют горизонты ее самоидентификации. Экзистенциальное самоопределение становится не только личным жизненным выбором, но и источником социальных изменений. Личность ищет и находит те смыслы, которые адекватны ее пониманию современности. Они отражают ее онтологические и социальные потребности и определяют отношения человека с Богом, с миром и с другим человеком. Личная ответственность за происходящие социальные изменения оказывается в этих условиях жизненной потребностью «человека политического».

Литература

- Бауман З. 2002. *Индивидуализированное общество*. М.: Логос. 390 с.
- Бауман З. 2011. Прощание с миром своих и чужих. — *Вокруг света*. № 12. С. 248–252, 254–260. Доступ: <http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7575/> (проверено 15.02.2017).
- Бек У. 2012а. Живя в мировом обществе риска и считаясь с ним. Космополитический поворот. — *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 44–58.
- Дилигенский Г.Г. 1994. *Социально-политическая психология. Учебное пособие для вузов*. М.: Институт «Открытое общество» — Наука. 304 с.
- Кёхлер Г. 2013. Новые социальные медиа: шанс или препятствие для диалога? — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 75–87.
- Латур Б. 2011. Можем ли мы вернуться на землю? — *Вокруг света*. № 12. Доступ: <http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7547/> (проверено 15.02.2017).
- Морозова Е.В. 2011. Инновационная личность как субъект политических изменений. — *Модернизация и политика: традиции и перспективы России. Политическая наука: Ежегодник 2011*. М.: РОССПЭН.
- Морозова Е.В., Мирошниченко И.В. 2009. «Инвесторы политического капитала»: социальные сети в политическом пространстве региона. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 60–76.
- Образы российской власти: от Ельцина до Путина (под ред. Е.Б. Шестопал). 2008. М.: РОССПЭН. 416 с.
- Полањи К. 2002. *Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени*. Санкт-Петербург: Алетейя. 320 с.
- Психология политического восприятия в современной России* (под ред. Е.Б. Шестопал). М.: РОССПЭН. 423 с.
- Семенов И., Лапкин В., Пантин В. 2013. Тренды и альтернативы развития современного мира. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 10. С. 19–32.
- Сергеев В.М., Сергеев К.В. 2003. Механизмы эволюции политической структуры общества: социальные иерархии и социальные сети. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 6–13.
- Федотова В.Г. 2005. *Хорошее общество*. М.: Прогресс-Традиция. 544 с.
- Шевченко В.Н. 2010. Инновационная личность как социальный тип. — *Научные ведомости. Серия Философия. Социология. Право*. № 2. Том 11. С. 37–50.
- Штомпка П. 1996. *Социология социальных изменений*. М.: Аспект Пресс. 416 с.
- Almond G.A., Verba S. 1963. *The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton, NJ: Princeton University Press. 574 p.
- Christakis N., Fowler J. Connected. *The Amazing Power of Social Networks and How They Shape Our Lives*. London: Harper Press. 2011. 352 p.
- Hagen E.E. 1962. *On the Theory of Social Change. How Economic Growth Begins*. Homewood, Ill.: The Dorsey Press, Inc. 557 p.

Kochler H. 2011. *The New Social Media and the Reshaping of Communication in the 21st Century (Lecture)*. 9 th Doha Conference on Interfaith Dialogue: "Social Media and Inter-religious Dialogue: A New Relationship" URL: http://i-p-o.org/Koechler-New_Social_Media-Doha_Dialogue-Oct2011-V4.pdf (accessed 15.02.2017).

Lipset S.M. 1960. *Political Man: The Social Basis of Politics*. Garden City, N.Y.: Doubleday & Company. 442 p.

Riesman D. (with N.Glazer and R.Denney). 1950. *The Lonely Crowd: A Study of the Changing American Character*. New Haven: Yale University Press. 386 p.

Rose N. 1998. *Inventing Our Selves. Psychology, Power, and Personhood*. Cambridge: Cambridge University Press. 222 p.

Sennett R. 2003 (1977). *The Fall of Public Man*. London, New York: Penguin Books. 390 p.

Раздел третий

Цивилизационные, политические и социокультурные ракурсы идентичности: история и современность

Глава 12

ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

В.И. Пантин

Ключевые слова: локальная цивилизация, культурные нормы, ценности, междцивилизационные конфликты, этносоциальные и этнополитические конфликты, регулирование конфликтов, принятие политических решений, международный региональный союз.

В исторических и историко-политических исследованиях цивилизационная идентичность используется как концепт, указывающий на принадлежность индивида, этноса, нации к определенной локальной цивилизации (включая цивилизации древности, античности и средневековья) [см., напр.: Данилевский 1871; Тоунбее 1934; Тоунбее 1948; Ионов, Хачатурян 2002; Ионов 2007; Кондаков, Соколов, Хренов 2011]. В современной философии, социологии и политической науке под *цивилизационной идентичностью* понимается отождествление или соотнесение индивида, социальной группы, этноса или государства с той или иной локальной цивилизацией — общностью, по преимуществу привязанной к определенному географическому ареалу и выступающей носителем таких религий, идеологий, ценностей, культурных норм и социальных практик, которые

имеют свою ярко выраженную специфику, но при этом претендуют на универсальную, всемирную значимость.

Цивилизационная идентичность существовала на протяжении многих тысячелетий — с тех пор, как возникли древнейшие цивилизации, такие, как древнеегипетская, древнеиндийская или китайская (конфуцианская). Исследованию огромных жизненных циклов культур и цивилизаций посвящены классические труды О. Шпенглера [Шпенглер 1993; Шпенглер 1998] и А.Дж. Тойнби [Toynbee 1934; Toynbee 1948; Toynbee 1987; Тойнби 1991]. Локальные цивилизации и соответствующая цивилизационная идентичность существуют и в современном мире: достаточно упомянуть выделенные видным американским политологом С. Хантингтоном западную, православную, исламскую, конфуцианскую, индуистскую, латиноамериканскую и другие цивилизации [Huntington 1993; Huntington 1996]. Цивилизационная идентичность представляет собой одну из наиболее общих и фундаментальных составляющих идентичности (более общим является только осознание индивидом своей принадлежности к человеческому роду) и одну из наиболее постоянных, «константных», существующих на протяжении огромного периода времени способов отнесения себя к какой-либо человеческой общности. Поскольку каждая локальная цивилизация тесно связана с определенной религией, цивилизационная идентичность взаимодействует и переплетается с религиозной идентичностью. Вместе с тем, в отличие от религиозной идентичности, цивилизационная идентичность включает не только традиции и обычаи, но также светские культурные нормы построения сложным образом интегрированного сообщества; благодаря этому определенная цивилизационная идентификация присуща также и неверующим людям. Цивилизационная идентичность проявляется у человека или у социальной группы по большей части тогда, когда происходит взаимодействие с человеком или с социальной группой, принадлежащими к иной локальной цивилизации, когда возникает необходимость понять свое место, место своей страны и культуры в мире, соотнести их с другими культурами, увидеть различия или сходные черты между цивилизациями, которые приводят к конфликтам или, наоборот, к мирному существованию [Анисимов 2012; Де Фреде 2012; Ерасов 2002; Искусство... 2007; Civilizational Identity 2007].

В современную эпоху цивилизационная идентичность представляет собой гораздо более динамичное и многогранное явление, чем в античную и средневековую эпохи, что связано с процессами глобализации, резким усилением социальной мобильности, изменением географических границ локальных цивилизаций. Она связана с процессами самоопределения индивидов, социальных групп, регионов, народностей, наций на основе переоценки собственного культурного, цивилизационного и исторического опыта и опыта других цивилизаций с целью поиска путей цивилизационного развития, отвечающего современным вызовам и угрозам. Цивилизационная идентичность, в частности, указывает на то важное обстоятельство, что культурные процессы в современную эпоху глобализации и регионализации не только играют важную роль в жизни отдельного человека, социальной группы, нации и человечества

в целом, но и существенно влияют на внутреннюю и международную политику, экономику, социальную сферу всех без исключения обществ, оказывают значительное воздействие на природу и функционирование социальных институтов. Именно с этим обстоятельством связаны драматические, а нередко и трагические последствия попыток насильственно перенести социальные институты (например, демократические и рыночные институты), эффективно функционирующие в рамках западной цивилизации, на страны исламской и некоторых других цивилизаций. Нежелание учитывать обычаи, традиции, культурные и социальные нормы, складывавшиеся веками и характерные для данной цивилизации, как и не слишком обоснованные представления о существовании единой глобальной цивилизации, могут привести (и уже приводят) к тяжелейшим межцивилизационным и этносоциальным конфликтам.

В современной политике концепт цивилизационной идентичности имеет существенное значение для понимания природы многих внутренних и международных политических конфликтов. Согласно С. Хантингтону, наиболее значимые конфликты глобальной политики после распада СССР и исчезновения биполярной системы международных отношений разворачиваются между нациями и социальными группами, принадлежащими к разным локальным цивилизациям. «Столкновение цивилизаций станет доминирующим фактором мировой политики. Линии разлома между цивилизациями — это и есть линии будущих фронтов» [Хантингтон 1994: 33]. Важно отметить, что, во-первых, Хантингтон имел в виду именно социальные и политические конфликты, а не войны между цивилизациями, и, во-вторых, тот факт, что «линии разлома» между цивилизациями проходят не только между отдельными государствами или наднациональными образованиями, но и внутри отдельных государств, внутри многих современных обществ. Многие (хотя и не все) положения концепции «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона и вытекающие из нее прогнозы в целом подтвердились (вспомним, что, согласно Хантингтону, в XXI веке наиболее серьезные и глобальные конфликты будут разворачиваться между западной и исламской и между западной и конфуцианской цивилизациями).

Цивилизационная идентичность играет принципиально важную роль в современной внутренней и внешней политике, в возникновении и регулировании многих этносоциальных, социокультурных и политических конфликтов, причем эта роль может быть как конструктивной (способствующей смягчению конфликтов и снижающей их напряженность), так и деструктивной (способствующей эскалации конфликтов). В первом случае речь, как правило, идет об этносоциальных и этнополитических конфликтах и противоречиях, в которых конфликтующие стороны принадлежат к одной цивилизации и проживают в обществах, осуществивших более или менее успешную модернизацию (например, страны современной Европы или различные этнические группы в США, Канаде, Австралии). Во втором случае конфликтующие стороны либо принадлежат к разным цивилизациям, между которыми существуют значительные расхождения и противоречия (например, страны Запада и исламские общества), либо к одной и той же цивилизации, не сумевшей

осуществить эффективную социальную, политическую и культурную модернизацию (в современном мире — ряд исламских стран или немалое число государств, относящихся к африканской цивилизации). Особенно сложная ситуация складывается в странах Ближнего Востока и Северной Африки, где разгораются конфликты между суннитами и шиитами, распространяются радикальный исламизм и международный терроризм. В то же время в европейских государствах в результате массового притока инокультурных иммигрантов, в основном принадлежащих к исламской и африканской цивилизациям, также возникают этносоциальные и этнополитические конфликты. В последнем случае этносоциальная и этнополитическая конфликтность дополнительно усиливается за счет столкновения совершенно различных ценностей, представлений о мире, обычаев, традиций и правовых норм, характерных, с одной стороны, для западноевропейской цивилизации, а с другой стороны — для исламского мира или выходцев из стран Африки.

Для более эффективного регулирования межцивилизационных и этносоциальных конфликтов необходимо учитывать цивилизационную идентичность сторон конфликта, их традиции, культурные и правовые нормы и выработать взаимоприемлемые компромиссы. Учет специфики и сложности проблем цивилизационной идентичности принципиально важен при принятии политических решений политической элитой, политическими партиями, государственными и общественными деятелями. Невнимание к культурно-цивилизационной специфике и цивилизационной идентичности своего населения и населения других стран чревато крупными политическими просчетами и тяжелыми последствиями для государства или союза государств.

Цивилизационная идентичность имеет также важное значение для понимания факторов формирования и развития международных региональных экономических и политических союзов. В современном мире наиболее прочные и динамично развивающиеся международные региональные союзы (Европейский союз, НАФТА, МЕРКОСУР, Евразийский союз, АСЕАН и др.) создаются главным образом на общей цивилизационной основе. Это объясняется тем, что прочность региональных экономических и политических союзов во многом определяется общими ценностями, культурными и социальными нормами, характерными для данной цивилизации, а наличие разных, иногда противоречащих друг другу ценностей и норм резко усложняет взаимопонимание и взаимодействие между членами таких союзов.

Литература

Анисимов О.С. 2012. Идентичность: типы и условия их осуществления на базе цивилизационной идентичности. — *Мир психологии*. № 1. С. 12–18.

Данилевский Н.Я. 1871. *Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому*. Санкт-Петербург: Издание Товарищества «Общественная польза». 576 с.

- Де Фреде Э. 2012. Культура, цивилизация и идентичность. — *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 17–23.
- Ерасов Б.С. 2002. *Цивилизации: Универсалии и самобытность*. М.: Наука. 524 с.
- Ионов И.Н. 2007. *Цивилизационное сознание и историческое знание*. М.: Наука. 499 с.
- Ионов И.Н., Хачатурян В.М. 2002. *Теория цивилизаций от античности до конца XIX века*. Санкт-Петербург: Алетейя. 384 с.
- Искусство и цивилизационная идентичность (отв. ред. Н.А. Хренов)*. 2007. М.: Наука. 603 с.
- Кондаков И.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А. 2011. *Цивилизационная идентичность в переходную эпоху: культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты*. М.: Прогресс-Традиция. 1024 с.
- Тойнби А.Дж. 1991. *Постижение истории*. М.: Прогресс. 736 с.
- Хантингтон С. 1994. Столкновение цивилизаций? — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 33–49.
- Шпенглер О. 1993. *Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории*. Т. 1. М.: Мысль. 667 с.
- Шпенглер О. 1998. *Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории*. Т. 2. М.: Мысль. 606 с.
- Civilizational Identity: The Production and Reproduction of "Civilizations" in International Relations (ed. by M. Hall, P. Jackson)*. 2007. London: Palgrave Macmillan. 243 p.
- Huntington S.P. 1993. The Clash of Civilizations? — *Foreign Affairs*. Vol. 72. No. 3. P. 22–49.
- Huntington S.P. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster. 368 p.
- Toynbee A.J. 1934. *A Study of History*. Vol. I. Oxford: Oxford University Press. 484 p.
- Toynbee A.J. 1948. *Civilization on Trial*. New York: Oxford University Press. 263 p.
- Toynbee A.J. 1987. *A Study of History*. Abridgement of vols. I–VI by D.C. Somervell. Oxford: Oxford University Press. 640 p.
- Toynbee A.J. 1987. *A Study of History*. Abridgement of vols. VII–X by D.C. Somervell. Oxford: Oxford University Press. 432 p.

Глава 13

ИДЕНТИЧНОСТЬ: НОВЫЕ ПОВОРОТЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ТЕОРИИ

М.М. Мчедлова

Ключевые слова: цивилизация, глобализация, модернизация, метанарратив, мультикультурализм, традиционализм, архаизация, диалог цивилизаций.

Утверждение социокультурной доминанты в качестве фактора, побуждающего к переосмыслению социально-политической субстанции современности, закрепляет ряд качественно новых сюжетов в поле цивилизационной теории: кризис национального государства, вытеснение на периферию политического процесса рациональных форм политической регуляции и ослабление гражданских и политических солидарностей, архаизация политики, включение традиционных групповых форм идентичности (этнической, религиозной) и традиционных социальных практик в политическую ткань современных обществ. Дискурс идентичности отражает видоизменения ценностных ориентаций и смыслов социальности.

Плюрализация действительности подвергает деконструкции линейные метанарративы и ставит вопрос о поиске адекватных методологических подходов к осмыслению этих реалий и адекватных политических и управленческих стратегий. Отсюда вытекает необходимость видоизменения концептуально-понятийного поля и научного аппарата современной рефлексии, острая потребность включения в политический анализ культурных, религиозных, этнических и цивилизационных характеристик общества.

В отличие от политической практики Модерна, в которую вплеталось нормативное понимание многих политических универсалий, познавательные координаты современного мира определяются ценностно-смысловыми различиями: акцент на различиях привел к видоизменению референции понятия «цивилизация», перекрыванию предметных полей данного понятия и понятия «идентичность». В недрах Великой Французской революции понятие «цивилизация» обрело множественное число (ранее оно существовало только в единственном числе и писалось с большой буквы, и в него вкладывались исключительно положительные смыслы, связанные с прогрессом, совершен-

ствованием, идеальной политической организацией), тем самым предопределив признание за различными обществами цивилизационного статуса и сыграв роль эпистемологического предвестника признания культурного плюрализма. Ныне качественные трансформации социального бытия, «текучесть» современности ведут к повышению значимости цивилизационной устойчивости и критериев идентичности.

Ключевой вопрос политических и управленческих практик — насколько и в каких формах наиболее фундаментальные константы идентичности определяют социально-политические параметры развития. Неслучайно концептуальные модели «столкновения цивилизаций» и «диалога цивилизаций» становятся дискурсивными основаниями объяснения и интерпретации политических событий и процессов, а «межкультурный диалог», «политика межнационального согласия» — институционализированными управленческими стратегиями в поле публичной политики [Мчедлова 2011]. Для подобных теоретических и идеологических построений объяснительным фундаментом выступают интерпретативные схемы, строящиеся вокруг понятия идентичности.

Концептуальные рамки цивилизационного подхода и онтологические границы значения рассматриваемого понятия достаточно размыты: от «коммерциализированного» символического употребления в современном дискурсе, для которого характерна «операциональная белизна понятий» [Бодрийяр, 2000: 56], до нормативного понимания цивилизации как определенных параметров общественного «добродетельного» устройства, широко используемого в западных прозелитских политических теориях: «эти понятия... утратили стабильные референции, но функционировали как двигатели социального изменения, обозначая изменение в его чистой, наиболее неизбежной и необратимой форме: изменение как условие возможных объектов и возможных идентичностей в возможном будущем» [Bartelson, 2000:182].

Содержательная эволюция понятия «цивилизация» и основанного на нем цивилизационного подхода позволяет понять смыслы и референции, образующие концептуальные и идеологические паттерны данной объяснительной модели исторического и политического процесса. Само понятие в силу своей популярности и универсальной применимости стало «жертвой своего успеха»¹, а смежные понятия — цивилизационная идентичность, устойчивость, культурная самобытность, менталитет, традиция, входящие в пул цивилизационного

¹ Как известно, развитие общественной, в том числе философской и политической, мысли — процесс, связанный со столкновением различных взглядов, идей, концепций, предпочтений, приоритетов. Так, возникли концепции «индустриальной цивилизации», «технологической цивилизации», «городской цивилизации», «цивилизации досуга», «цивилизации счастья» и др., получила распространение теория «духовного кризиса цивилизации». В результате подобного бума и значение понятия, и области его применения стали настолько многозначными, что вплотную приблизили его к неопределенности. Можно сказать, что понятие «цивилизация», употребляемое представителями всех гуманитарных наук, идеологами, политиками, журналистами, а также далекими от науки и политики людьми, поплатилось ясностью за свой успех. Особенно очевидно подобная многозначность проявляется в современной политической сфере, где рассматриваемое понятие употребляется с самыми разными оттенками.

подхода, во многом формируют систему координат для изучения современной социально-политической и исторической реальности. Возникновение новых политических смыслов предопределяет смену акцентов — от концептуальных рамок нормативности, телеологии, непрерывности исторического процесса, поступательного прогресса, универсальности к актуализации самобытности, фрагментарности и плюрализации социально-политического процесса, традиционности, вплоть до архаизации [Мчедлова 2011].

Многослойность и многозначность цивилизационной парадигмы порождает и различные философские эпистемы, лежащие в основании объяснения логики, направленности и целей общественных изменений, фокусом которых является поиск синтеза линейных интенций в условиях несводимости современности к единому основанию (см., напр., концепцию множественности модернов [Eisenstadt 2000; 2001]).

Поливариативность цивилизационного ракурса современного понимания политического развития, модернизации и прогресса во многом обуславливается определением «цивилизации» через «культуру» и ее проекции. С одной стороны, данный ракурс также несет на себе отпечаток просвещенческой парадигмы, особенно в нормативной проекции линейного понимания модернизационных стратегий в соответствии с канонами классического либерального подхода. С другой стороны — все громче раздаются голоса тех, кто настаивает, что «культура имеет значение» [Культура имеет значение... 2002], а цивилизационная специфика различных типов обществ накладывает отпечаток на алгоритмы изменений в обществе. Здесь следует оговориться, что понятия «цивилизация» и «культура» сегодня начинают расплываться между различными дискурсами, хотя и обозначают однонаправленные феномены и процессы. Для массового сознания цивилизация зачастую представляет собой нормативное понятие, отождествляемое с Западом, тогда как «культура» выступает показателем самобытности, нередко отождествляемой в первую очередь с традициями и обычаями, как правило, конфессионально и религиозно окрашенными. В научно-политических дискурсах можно зафиксировать возникновение новых подходов, пытающихся примирить данную дихотомию.

Актуализация кризиса традиционных представлений о будущем человеческой цивилизации, переоценка внутренней аксиологической нагруженности трактовки различных цивилизаций и видения их перспектив связано с повышением значимости традиционных социальных механизмов и аскриптивных форм идентичности, с поддержанием самобытности и устойчивости общностей. По словам С. Хантингтона, цивилизация — это самое широкое Мы, где человек чувствует себя в культурном отношении «дома», оно отличает человека от «других» и является для него родным [Хантингтон 2003]. Неслучайной представляется в связи с этим актуализация цивилизационного подхода, позволяющего теоретикам современности говорить о цивилизациях как субъектах исторического и политического процесса, а также поиски особенностей манифестаций «больших» традиций в современных социально-политических трендах.

Цивилизационные структуры обладают гораздо большей прочностью, чем политические, идеологические и иные общественные системы. «Цивилизации проходят сквозь политические, социальные, экономические и даже идеологические потрясения, которые они подчас деятельно навлекают на самих себя. Французская революция не была тотальным крушением в судьбах французской цивилизации, а революция 1917 года не являлась таким крушением в судьбах русской цивилизации...» [Бродель 1998: 229]. При исторических испытаниях цивилизация может менять «присущий ей цвет», но сохранять «почти все особенности по отношению к другим цивилизациям... Итак, утверждаемое нами существенное положение заключается в признании постоянства мировых цивилизаций, длительности их существования. Это положение настоятельно требует изучения сложившихся типов мышления, устойчивых отношений, привычных норм поведения, устоявшихся вкусов — всего того, что дает нам замедленный, уходящий в незапамятное, мало осознаваемый ход истории» [там же: 229]. Во многом подобное понимание послужило методологическим фундаментом признания культурного многообразия как основы политических стратегий и плюрализма как онтологического основания современной политической реальности, отражающегося во множественных идентичностях.

В данном ракурсе актуализируется проблема устойчивости как критерия поддержания самобытности определенных социокультурных оснований, которые в политической проекции порождают новые формы взаимодействия: от возвращения традиций в качестве легитимации политических стратегий до переосмысления глобального пространства современности в гражданских координатах, что определяет коннотации идентичности как устойчивого *modus vivendi* в индивидуальной и коллективной проекциях.

Однако «чем объяснить эту происходящую под знаменами цивилизаций антимодернистскую архаизацию дискурсов и практик, столь разительно контрастирующую с тем, что наблюдалось весь XX век» [Капустин, 2010: 111–112]? Корреляция традиции и традиционализма с понятиями устойчивости и идентичности, цивилизационные параметры которых переживают менее долговечные политические и экономические образования, обозначает потребность поддержания сущностных характеристик общественной интеграции в условиях видоизменения внешних параметров бытия. Цивилизационная устойчивость проявляется и передается не только посредством объективных форм, но и с помощью глубинных психологических механизмов, бессознательных и отрефлектированных, связанных с определенными поведенческими и психическими стереотипами, с духовной самоидентификацией и коллективными представлениями общества. Неслучайно проблема религиозного самоопределения приобретает особую актуальность именно как основание цивилизационной устойчивости.

Манифестация возврата к традиционализму в политических практиках пересекается с поставленным вопросом о корреляции плюрализма и происходящих качественных изменений. Существующий разброс мнений по поводу

положительного или отрицательного воздействия традиций на современный мир опосредован не только гносеологическими, но и идеологическими предпочтениями авторов, однако общим знаменателем является признание необходимости общих культурных норм и ценностей, обеспечивающих существование общества. В онтологической проекции данный вопрос можно рассмотреть через призму соотношения универсализма и партикуляризма, диктующих содержание политических нарративов и стратегий модернизации, глобализации, мультикультурализма, диалога цивилизаций, а также моделей миропорядка с определением центров социальной и политической силы. Традиции как воплощенные в социальном поведении архетипические черты национального самосознания (речь идет о самых первичных, наследуемых из поколения в поколения образах и понятиях, структурирующих картину мира, характерную для данного устойчивого сообщества) становятся важным источником утверждения культурных основ коллективной идентичности в мультикультурном мире, а апелляция к традиционализму — инструментом политической мобилизации массовых групп его граждан вне традиционного партийного спектра [Мчедлова 2014]. Если философский нарратив современности основан на ее понимании как «встречи цивилизаций», многозначного диалога идентичностей и символических форм, то в политико-идеологическом дискурсе существуют различные подходы. Крайними полюсами являются либо экстремистские или агрессивно-насильственные стратегии, либо признание и продвижение в политических практиках конструктивного и необходимого потенциала диалога как основной технологии межкультурного политического взаимодействия.

В логике содержательной эволюции цивилизационного подхода можно констатировать аккумуляцию и «снятие» различных смысловых оттенков, основным вектором изменения которых является шкала от модернизации к архаике, от развития — к замыканию на самобытности, от противоречий становления — к неизменности. При этом многие идеи сосуществуют, порождая неопределенность, но и диверсифицируя возможности политических и идеологических практик. В отличие от нормативного понимания цивилизации и прогрессивного видения цивилизационного процесса, определявшего развитие социальной теории и политической прагматики, в условиях современности именно социокультурные и религиозные различия определяют познавательные координаты мира.

Специфика политического процесса описывается посредством предметных полей данных понятий, смыслы и референты которых также подвергаются деконструкции и видоизменениям. «Способы поведения, способы мысли, способы производства» перед лицом современных социальных и политических процессов либо претерпевают изменения, либо стараются найти действенные механизмы самозащиты, обеспечивая устойчивость общества. Одной из главных интенций современности становится стремление социокультурных образований сохранить свою идентичность различными способами, крайние из которых являются сугубо монологичными. Политическая

субъектность начинает структурироваться цивилизационными различиями, а конфигурация мировых конфликтов все больше приобретает социокультурные черты цивилизационных различий.

Выход на авансцену мирового процесса социокультурных идентичностей как приоритетных в силу их четко определенной устойчивости представляется закономерным ответом на постоянно видоизменяющуюся и структурно перестраивающуюся современную реальность. Зачастую в политической плоскости данный процесс приобретает неконструктивную форму требования политических прав и свобод вплоть до создания государствовподобных образований теми социокультурными сообществами и идентичностями, которые стали обретать статус политического актора. Традиционализм становится также лозунгом переустройства мирового порядка и контуров конструируемого будущего.

Социокультурные идентичности связаны с формированием качественно новых политических субъектов, определяющих саму сущность современной политики. Национальные, культурные и религиозные идентичности внутри одной цивилизации также обретают политическую субъектность, все более и более локализуясь. Речь идет об интенсивном процессе поиска возможностей сохранения своей социокультурной идентичности как на национальном, так и на локальном уровнях, когда последний (региональный и территориальный) становится определяющим, а частные и локальные акторы публичной политики — движущими силами ее обеспечения [Eisenstadt 2000].

Дискуссии об узловых точках пересечения цивилизационного подхода и идентичности как ресурса развития предлагают конкурирующие подходы к разработке соответствующих политико-управленческих стратегий. По мнению Б.Г. Капустина, «“цивилизационные проекты” можно представить как разновидности политики идентичности и борьбы за признание, хорошо известные из мультикультурального опыта Запада». Такая политика «...направлена на защиту и экспансию существующей идентичности, а не на ее отрицание в пользу новой нравственно более богатой. ...Поскольку “цивилизационные проекты” не имеют перспективы снятия нынешней идентичности в пользу завтрашней, постольку в них нет тенденции к универсализации, предполагающей “включение Другого” в те новые формы “взаимного признания”, которые становятся возможными благодаря обретению новых идентичностей обеими конфликтующими сторонами. Поэтому в таких проектах нет потенциала создания будущего» [Капустин 2010: 111].

Рассматривая эти процессы в контексте глобализации, Мануэль Кастельс приходит к выводу, что глобализация порождает два типа идентичности: идентичность сопротивления и проективную идентичность, ориентированную на адаптацию к новым реалиям. В настоящее время стратегии развития большинства политических и общественных организаций строятся на протестной идентичности. Между тем активизация национального и религиозного сознания, представляющая собой вполне естественную реакцию на разрушение связей с традиционной общностью, ослабление национального государства,

проникновение «чуждых» идей, ценностей и моделей поведения, отнюдь не свидетельствует о формировании протестной идентичности как единственно возможной. Преодолеть ее можно путем проведения политики культурного синтеза (диалога): традиционные ценности помогут в определении своего «я», а новые — ориентироваться в новом глобальном социуме, сохранив свою идентичность. Таким образом, глобализация, культурный плюрализм и дифференциация могут рассматриваться не как противоречащие, но взаимодополняющие и взаимообуславливающие явления современного социально-политического и культурного пространства [Кастельс 2000].

В современном мире такие категории, как «культурные различия», «столкновение цивилизаций», «идентичность», оказываются практическими категориями взаимодействия, обуславливающими вектор социально-политического развития, а механизмы идентификации, ранее трактуемые как традиционные, такие, как, например, религия, переплетаются на цивилизационно-культурном, личностно-индивидуальном, глобальном и политическом уровнях. Когда же идентичности вооружаются идеологическими или религиозными абсолютами, их противостояния обостряются и на поверхность, особенно по линиям конфликтов, межкультурных и цивилизационных разломов поднимаются наиболее архаичные формы поведения: джихад, терроризм, замыкание на авторитарную политическую систему и т.п. Насущной необходимостью становится как научная рефлексия о природе современной политической конфликтности, так и поиски новых возможностей и новых механизмов предупреждения и регулирования конфликтов и их прогнозирования с учетом ключевого значения фактора идентичности [Семененко, Лапкин, Пантин 2016].

Пройденный за три века путь развития понятия «цивилизация» от его употребления в единственном числе и с большой буквы до его современных значений показывает, что это понятие далеко не исчерпало свои эвристические возможности, его эволюция и способность предлагать новые концептуальные построения для объяснения новых реалий раскрывают глубокий познавательный и интерпретативный потенциал. Более того, практически все оттенки данного понятия присутствуют сегодня в общественном сознании, и можно наблюдать, как они по-разному используются в пропаганде, политической риторике, в современных идеологических конструкциях, в обыденной лексике, в научных концепциях и дискуссиях. Если в первых наиболее употребляемым является нормативное понимание цивилизации, то в различных областях гуманитарного знания наиболее востребованными являются современные оттенки и грани цивилизационного подхода. В ряду последних концептуальные схемы «диалога цивилизаций», «столкновения цивилизаций», «дебатов об идентичности» занимают прочное место в политико-идеологических дискурсах. Во многом именно цивилизационный подход предопределяет вариативность самого понимания политики путем включения в него социокультурных факторов, а также формирует векторы познания политического процесса и выстраивания идейно-концептуальных и политико-прикладных схем и подходов.

Можно констатировать корреляцию эволюции философской парадигмы, смены познавательных ориентиров, динамики развития политического процесса, когда видоизменение познавательных нюансов цивилизационной теории и самой идеи цивилизации отражают и опосредуются трансформациями параметров социально-политических изменений. Взаимное наложение данных контекстов стало отправной точкой для того, чтобы новые политические смыслы цивилизационной теории определили смену познавательных акцентов: от линейной универсальности, прогресса, непрерывности к плюралистической актуализации самобытности, прерывистости, традиционности, архаизации. В результате исследовательская оптика идентичности стала доминирующей в современном политическом знании, а понятия «идентичность», «устойчивость», «традиция», «модернизация» заняли прочное место в политической теории. Параметры включения соответствующих референтов в политическую ткань фиксируют изменение политических стратегий и институтов, фундаментом легитимации которых выступает неуниверсальность путей развития современного мира.

Литература

- Бодрийяр Ж. 2000. *В тени молчаливого большинства, или Конец социального*. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета. 96 с.
- Бродель Ф. Цивилизация как временная протяженность. — *Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия* (под ред. Б.С. Ерасова). М.: Аспект Пресс. 1999. С. 228–229.
- Капустин Б.Г. 2010. Политические смыслы «цивилизации». — *Критика политической философии: Избранные эссе*. М.: Издательский дом «Территория будущего». С. 23–48.
- Кастельс М. 2000. *Информационная эпоха: экономика, общество и культура*. М.: Издательство ГУ ВШЭ. 608 с.
- Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу* (под ред. Л. Харрисона, С. Хантингтона). 2002. М.: Московская школа политических исследований. 320 с.
- Мчедлова М.М. 2011. *Религия и политические императивы: социокультурные реалии современности*. М.: РУДН. 230 с.
- Мчедлова М.М. 2014. Традиция и современность: религиозные координаты. — *Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина*. Т. 2. № 3. С. 133–143.
- Семенов И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. 2016. Типология этнополитической конфликтности: методологические вызовы «большой теории». — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 69–94.
- Хантингтон С. 2003. *Столкновение цивилизаций*. М.: АСТ. 603 с.
- Bartelson J. 2000. Three Concepts of Globalization. — *International Sociology*. Vol. 15. No. 2. P. 180–196.
- Eisenstadt S.N. 2000. Multiple Modernities. — *Daedalus*. Vol. 129. No. 3. P. 1–29.
- Eisenstadt S.N. 2001. The Civilizational Dimension of Modernity. Modernity as a Distinct Civilization. — *International Sociology*. Vol. 16. No. 3. P. 320–340.

Глава 14

РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ

К.Г. Холодковский

Ключевые слова: Россия, идентичность, гражданская нация, социокультурный раскол, «западничество», «особый путь», этническая самоидентификация, имперское сознание, негативная идентичность.

Под **российской идентичностью** в современном политико-государственном значении этого понятия *следует подразумевать, аналогично тому, как это понимается применительно к другим гражданским нациям, комплекс представлений, ценностей, установок, предпочтений, порождаемых самоотождествлением индивидов или их сообществ с Россией (Российской Федерацией) и ее гражданами.*

В настоящее время подавляющее большинство жителей России идентифицирует себя в качестве россиян. Однако формирование гражданской нации в России не завершено, более того, ему серьезно препятствует глубокий социокультурный раскол российского общества, обусловленный историческими, географическими, культурно-цивилизационными, политическими и иными факторами. В этом отношении российская идентичность весьма специфична [Российская цивилизация... 2001]. На процесс ее формирования оказали влияние географический фактор (историко-культурное и историко-политическое тяготение России одновременно и к Европе, и к Азии, усложняющее самоидентификацию населения, размеры страны, усиливавшие в глазах жителей значение сильной власти) и особенности ее государственного строительства в прежние века, неблагоприятно влияющие и поныне на социокультурную ситуацию, создающие проблемы и противоречия и консервирующие архаичные черты идентичности и / или способствующие лишь ее поверхностному обновлению.

Принятие христианства из Византии в виде православия и впоследствии претензии России на византийское наследие содействовали определенному обособлению страны в пределах Европы, а татаро-монгольское завоевание, отделив Северо-Восточную Русь от Запада почти на три столетия, усугубило это положение. В результате в российской истории отсутствовали такие

эпохальные явления, заложившие основы современной европейской идентичности, как Возрождение и Реформация, произошло отставание от Запада по ряду параметров.

Возникшая как следствие этого отставания необходимость догонять Запад не только осложняла развитие, но и порождала комплекс «младшего брата» и в качестве компенсации — комплекс превосходства, опиравшийся не только на своеобразие институтов, культуры и нравов, но и на факт становления империи за счет соседних земель. Войны и военные походы также оказывали заметное влияние на формирующуюся российскую идентичность.

В то же время следует отметить, что все эти факторы действовали в основном в пределах высшего сословия. Подавляющее преобладание крестьянства в населении консервировало архаичные черты идентичности. Крестьянство долгое время жило «вне истории», обладая примордиальной (первичной) — семейной, родоплеменной, локальной идентичностью. Свою принадлежность к этносу оно ощущало через «негативную идентичность» — противопоставление себя чужакам и иноверцам, а принадлежность к государству — через церковную проповедь (верность государю, величие Руси) и мифологизированный образ батюшки-царя, стоящего над местными властями.

В складывании русской идентичности большую роль сыграла летописная традиция и вообще среда «грамотеев», долгое время чрезвычайно узкая, даже в верхах. По мере объединения русских княжеств существование русской идентичности поддерживалось прежде всего самосознанием знати и медленно растущего городского населения. Долгий упадок городов после монгольского разорения, решительное преобладание деревенского населения, громадные расстояния, отделявшие одно поселение от другого, незавершенная христианизация «низов», — все это затрудняло формирование общей идентичности. Ускорению этого процесса весьма способствовала битва на Куликовом поле, а позже — борьба с вторжением поляков (начало XVII века) и Отечественная война 1812 года.

Церковь также явилась важным цивилизующим институтом, способствовавшим формированию русской и российской идентичности, носителем высших ценностей и проповедником государственнического сознания, противостоящим замкнутому миру общин и местностей. Вплоть до конца XVII века церковному миру и религиозному сознанию принадлежала доминирующая роль в создании высоких образцов русской культуры. Однако, чем дальше, тем больше стала обнаруживаться известная узость культурного поля, создаваемого церковной традицией. Жизнь потребовала выхода за его пределы.

Традиционалистская идентичность с такими стойкими чертами, как подозрительное отношение к чужакам и мифологизированное представление о внешнем мире, оставалась характерной для большинства населения в Новое время. Инфантильность сознания проявлялась также в патерналистских установках — надежде в случае затруднительного положения не на собственные силы, а на благодетеля (главу большой семьи, старейшину рода или общины, помещика, государство и его верховного правителя). Произвол власти

закрепил в психологии населения предпочтение личного покровительства перед ненадежной апелляцией к закону, воспринимавшемуся как чуждая и малопонятная казуистика.

Под влиянием сложных природных и общественных условий утвердились такие черты русской идентичности, как стойкость, терпение, выносливость, помогавшие выжить в критические периоды, но оборачивавшиеся и пассивностью перед лицом внутренних и внешних враждебных вызовов. Вместе с тем накопление такого рода пассивных, сдерживаемых реакций нередко приводило к эмоциональному взрыву, выражавшемуся порой в ожесточенном бунте, разбойной «вольнице». Вынуждавшийся суровым и изменчивым климатом неравномерный, иногда лихорадочный темп производственной деятельности крестьян не выработал установку на равномерное распределение трудовых усилий. Вместе с тем общинный строй деревни создал своеобразную традицию соседской взаимопомощи, решений и действий «всем миром», культивировавшуюся затем как «соборность».

В середине и в конце XVII века социокультурную ситуацию осложнил новый фактор, возникший в результате церковного раскола и реформ Петра I. Необходимые для преодоления отсталости реформы привели к расколу общества на верхний европеизированный слой и традиционалистское большинство. Появились, утвердились, резко разошлись два идентификационных образца: западнический и традиционный, что препятствовало формированию единой, консолидированной национальной идентичности. Хроническая идентификационная двойственность, присущая российскому обществу, проявилась, в частности, в отчуждении между дворянством и народом, впоследствии (в первой половине XIX века) в разделении культурной элиты на «западников» и славянофилов, в радикализме интеллигентских модернизаторов в противовес архаичному самосознанию основной части населения.

Если для представителей просвещенной части всех населяющих страну народов общим объединяющим моментом было обращение наряду с сословными к надэтническим имперским ценностям и установкам, то самосознание основной массы подданных было отягощено зависимостью от примордиальных, локальных, региональных, этнических идентичностей, причудливо сочетавшихся с элементами державнического сознания. Социокультурный раскол воспроизводился в формах, своеобразных для каждой исторической эпохи [Ахиезер 1998]. При этом верховная власть в своей консервативной политике нередко использовала архаичные черты народного самосознания.

Возникновение и постепенное расширение вестернизированной в культурном отношении части общества, осознание его лучшими представителями трагических масштабов социальных и культурных разрывов между «верхами» и «низами» послужило основой для развития великой русской культуры XIX — начала XX веков. Эта культура с ее высокими гуманистическими идеалами стала мощным интегрирующим фактором в противоречивой судьбе российской идентичности. Многие деятели культуры — писатели, художники, композиторы — приложили немало усилий, чтобы не только понять психо-

логию «простого», «маленького человека», но и проложить «мостик» между двумя сложившимися в России смысловыми и ценностными мирами. Однако усилий деятелей культуры было недостаточно, чтобы подвинуть неграмотных крестьян или заскорузлых мещан к восприятию комплекса представлений, ценностей, предпочтений, характерного для более культурных слоев, и тем самым сформировать единую российскую идентичность.

Наложившись на классовое противостояние, социокультурный раскол способствовал радикализации конфликта во время революции и Гражданской войны. Чрезвычайно интенсивная политика идентичности, осуществляемая советской властью, не привела общество, вопреки официальной версии, к «морально-политическому единству». В советский период конфликт между двумя типами идентичности не только сохранился, но и обострился. Обострение происходило сперва в форме борьбы революционаристского сознания с традиционалистским. Но по мере того, как эволюция официального комплекса смыслов стала приводить к воскрешению архаичных черт российской идентичности, которые маскировались выдвиганием на первый план обретших советское инобытие державнических ценностей, возник конфликт официальных символов веры с групповой интеллигентской идентичностью, во все большей мере тяготеющей к стандартам западного образа жизни.

Советская эпоха породила также новое явление. Процесс разложения крестьянства в России затянулся до первой половины XX века. Его апогеем стали сталинские пятилетки с коллективизацией и раскулачиванием. Массовое «раскрестьянивание» и раскулачивание, вызвавшее вместе с индустриализацией быстрый переток населения в города и рабочие поселки, в основном привело не к усвоению психологии культурного слоя горожан, но к эклектичному смешению представлений и смыслов, характерных для двух разных типов идентичности. Во многом на этой основе утвердилось то состояние разорванного, фрагментированного, неупорядоченного сознания, анализу которого уделено особое внимание в трудах Г.Г. Дилигенского [Дилигенский 1997: 276].

Вместе с тем не до конца определилось и различие русской и советской, затем — российской идентичности. Сам вопрос о различии русского и российского встал с официальным провозглашением Российской империи при Петре I, но в повседневном употреблении эти понятия еще долго смешивались. Позднее, в современную эпоху, такое наложение смыслов создало лазейки для истолкования русской идентичности в этнонационалистическом духе. В то же время в национальных республиках, входивших в состав СССР, постепенно вызревало противопоставление своей этнической идентичности советской, которая все более воспринималась как имперская.

К концу советского периода произошла полная дискредитация официальной советской идентичности. Это создало условия для проникновения в массы населения некоторых представлений и установок интеллигентской оппозиции с характерной для ее большинства европейской самоидентификацией [Фадеева 2012]. В конце 1980-х — начале 1990-х годов в России существовало

наиболее благоприятное соотношение между модернизаторской и традиционалистской идентичностями. Практика модернизаторов ельцинского периода, пренебрегших интересами большинства общества, вновь отбросила это большинство в традиционалистский лагерь [Холодковский 2013].

Постсоветский период воскресил жесткое противостояние западничества и «самобытной», «почвеннической» самоидентификации. Последняя в той или иной мере характерна для большинства российского населения, разделяющего традиционалистские (или, точнее, квазитрадиционалистские) ценности патернализма, государственничества, социального равенства даже ценой индивидуальной несвободы, сохранения равнодушия к политике и представлений о «враждебном окружении» и «особом пути» России.

Квазитрадиционалистской (то есть не полностью совпадающей с прежними образцами) эту идентичность делает утрата общинной «соборности» и усвоение многими ее носителями некоторых современных ценностей (демократии, свободы, равенства возможностей, индивидуализма), хотя им и придается во многом иной, чем в западном мире, смысл. Так, свобода часто воспринимается как ничем не ограниченная «воля», демократия — прежде всего как забота государства о социальных интересах граждан. В этом плане интенсификация «государственнического» сознания может рассматриваться как одно из наследий советского периода [Российская идентичность 2008].

С другой стороны, модернистски настроенное меньшинство, придерживаясь ценностей индивидуальной свободы, хотя и склонно к проявлению личной инициативы, предприимчивости, поиску нового, но, как правило, не разделяет установок на взаимное доверие, солидарность, участие в политике. По ряду вопросов (отношение к рынку, представление о демократических нормах, обязанностях государства) разница между группами большинства и меньшинства проявляется не столько в качественных, сколько в количественных показателях. Сознание многих индивидов фрагментировано и противоречиво, их идентичность не является ни полностью модернистской, ни сугубо традиционалистской. Большая промежуточная группа наряду с противоречиями в ценностях и установках обнаруживает признаки деградации сознания (всепоглощающий культ денег, отсутствие твердых моральных устоев) [Юревич 2009].

Особую опасность представляют атомизация общества, серьезная утрата навыков общественной активности, солидарности, самоорганизации, характерная для носителей обеих идентичностей и препятствующая превращению разделяемых ими позитивных ценностей в реальный фактор общественно-политической жизни. В результате политическое пространство в духе патерналистских ожиданий отдается под контроль пассивно поддерживаемых большинством властных структур.

Нынешняя российская идентичность соединяет в себе черты инерционности и подвижности, лабильности. В качестве фактора, компенсирующего трудности и недостатки, характерные для современного российского общества, в последние годы усилились великодержавные настроения. Их росту спо-

собствовала осуществляемая на официальном уровне политика идентичности. Властями и обслуживающей их интересы интеллектуальной элитой предпринимались целенаправленные усилия, чтобы воскресить в массах охранительные по отношению к государству настроения. Присоединение Крыма к России и украинский кризис вывели на поверхность наиболее традиционалистские пласты представлений и установок. Великодержавный синдром проявился даже у части вестернизированного меньшинства.

Компенсаторная роль негативной идентичности [Гудков 2004], преобразующей комплекс неполноценности в комплекс превосходства («самобытность» как высшая ценность), в нынешних условиях скорее всего недолговечна. Неудовлетворенность, вызванная ущемленностью материальных потребностей, неизбежно начнет выходить на передний план. Однако воздействие такого рода недовольства, в отличие от процессов, происходивших в конце 1980-х — начале 1990-х годов, скорее всего, не будет иметь ничего общего с вестернизацией российской идентичности.

Формированию целостной российской самоидентификации препятствует также низкий уровень доверия в обществе и воскрешение под влиянием затянувшейся кризисной, переходной ситуации негражданских солидарностей. Так, скрытое в советское время предпочтение этнической самоидентификации, формально перекрываемое определением «советский человек», в постсоветское время часто выходит на первый план [Пантин 2008]. Преобладающее русское население отвечает на акцентированную этническую самоидентификацию многих представителей других этносов распространением державнического истолкования патриотизма.

Все это говорит о значительных трудностях в формировании современной российской идентичности. Эти трудности не новы. Обращение к истории показывает, что в повторявшиеся не раз в России предреформенные эпохи на авансцену выдвигалась группа (слой) носителей модернизаторского сознания, которая благодаря своей активной позиции вносила новые элементы в российскую идентичность. Во всех этих ситуациях идентичность активного меньшинства серьезно отличалась от идентичности остального населения. Сподвижники Петра I, просвещенные круги общества, поддержавшие реформы Александра II, и наконец, более дальновидная часть позднесоветской номенклатуры в союзе с демократической интеллигенцией, — все они играли чрезвычайно важную роль в трансформации российской идентичности [подробнее см. Гаман-Голутвина 2006]. Однако в дальнейшем под влиянием неизбежных или субъективно обусловленных негативных последствий преобразований происходили пробуждение и активизация архаичных пластов сознания, выдвижение на первый план их носителей, приступающих к контрреформам.

В то же время импульс, порожденный носителями новой идентичности, обычно не пропадает полностью. Под влиянием изменений в обществе формируются новые интересы, модернизаторские смыслы и ценности в большей мере проникают в толщу общества [Российская идентичность 2008]. Но серьезные

отличия идентичности передового меньшинства от идентичности остального населения все же сохраняются. В связи с этим России предстоит еще пройти немалый путь утверждения единой и полноценной идентификационной основы, способной поддержать ее государственное существование и обеспечить успешную модернизацию [Холодковский 2013].

Предотвращение деградации массового сознания, вытеснение или хотя бы оттеснение его наиболее архаичных элементов, продвижение модернизаторских ценностей, доверия и гражданской солидарности, упорядочение взаимоотношений между гражданской, политической и этническими идентичностями — все это совершенно необходимые условия не только для преуспевания, но и для выживания страны в современном мире. Лабильность российской идентичности в ходе преобразований конца XX века дает некоторую надежду на возможность ее благоприятных изменений в обозримом будущем.

Литература

- Ахиезер А.С. 2008. *Критика исторического опыта*. Новосибирск: Сибирский хронограф. 804 с.
- Гаман-Голутвина О.Г. 2006. *Политические элиты России: веки исторической эволюции*. М.: РОССПЭН. 446 с.
- Гудков Л.Д. 2004. *Негативная идентичность. Статьи 1997–2002*. М.: Новое литературное обозрение — «ВЦИОМ-А». 816 с.
- Дилигенский Г.Г. 1997. Российские архетипы и современность. — *Куда идет Россия? Общее и особенное в современном развитии (под общ. ред. Т.И. Заславской)*. М.: МВШСЭН, Интерцентр, С. 273–279.
- Пантин В.И. 2008. Политическая и цивилизационная самоидентификация современного российского общества в условиях глобализации. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 29–39.
- Российская идентичность в социологическом измерении. Аналитический доклад*. 2008. М.: ИС РАН. 140 с. Доступ: http://www.isras.ru/analytical_report_Ident.html (проверено: 12.01.2017).
- Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты. Энциклопедический словарь (ред. М.П. Мchedлов, М.К. Горшков, В.В. Горбунов)*. 2001. М.: Республика. 544 с.
- Фадеева Л.А. 2012b. *Кто мы? Интеллигенция в борьбе за идентичность*. М.: Новый хронограф. 320 с.
- Холодковский К.Г. 2013. *Самоопределение России*. М.: РОССПЭН. 326 с.
- Юревич А.В. 2009. Нравственное состояние современного российского общества. — *Социологические исследования*. № 10. С. 70–79.

Глава 15

РОССИЙСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАЦИЯ:
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И КОНСОЛИДАЦИИ

С.П. Перегудов

Ключевые слова: политическая нация, гражданская нация, нациестроительство, гражданская идентичность, национализм, федерализация, «новый федерализм», средний класс.

В многосоставном и многокультурном государственном сообществе политическая нация — это своего рода «нация наций», которая объединяет этнонациональные, социально-экономические, социокультурные и иные общности, существующие и взаимодействующие в его границах. При этом в отличие от всех упомянутых общностей, присутствующих в этих границах изначально, политическая нация существует лишь там и тогда, где и когда эти общности скреплены выходящей за их рамки идентичностью. Такого рода коллективная идентичность, олицетворяя принадлежность граждан к единому целому, какой и является политическая нация (американская, британская, германская и др.), включает в себя ряд более конкретных идентичностей, сплачивающих политическую нацию и придающих ей характер прочного, дееспособного образования. Великое многообразие таких новых и обновленных идентичностей уже сделало наш мир совсем непохожим на тот, которые мы знали два-три десятилетия назад. Этот новый мир с полным на то основанием можно назвать и «миром народов», и «миром идентичностей», и как таковой он «требует» поставить взаимодействие этих двух миров во главу угла и науки, и политической практики.

В числе наиболее значимых для демократической политики проявлений такого взаимодействия — приверженность граждан принципам и нормам правового государства и демократического политического представительства, осознание ими своих гражданских прав и обязанностей, важности гражданской ответственности и свободы личности, признание приоритета общественных интересов перед интересами узкогрупповыми, включая и этнонациональные.

Значимость этих составляющих гражданской идентичности в системе самоопределения индивида определяет состояние политической нации, ее качество, от которых в решающей степени зависит жизнеспособность общества и состоятельность государства.

Это положение относится ко всем без исключения странам, и в том числе, конечно же, к России. Но, как и в ряде других стран, где переход к зрелым формам демократии и полноценному гражданскому обществу далеко не завершен, становление политической нации в России — это процесс, интенсивность и результативность которого зависит от ряда объективных и субъективных факторов [Тишков 2013]. И то обстоятельство, что факторы эти далеко не всегда заранее известны и предсказуемы, означает не просто сложность и противоречивость указанного процесса, но и то, что его конечный результат нелегко предвидеть.

Неудивительно, что такого рода неопределенность побуждает ряд аналитиков и в России, и на Западе предвещать российскому государству ту же участь, которая постигла Советский Союз, распавшийся в 1991 году на ряд самостоятельных государств. При этом, однако, игнорируется принципиальная разница между бывшими советскими и нынешними российскими республиками — отсутствие в большинстве последних (за исключением северокавказских) преобладания, а в целом ряде случаев и простого большинства представителей «титовых» наций, иное географическое положение, теснейшая взаимозависимость их экономик как с соседними регионами, так и с федерацией в целом, практически повсеместное доминирование в повседневных взаимодействиях основного государственного языка. Именно эти и некоторые другие различия не позволяют, исходя из поверхностных аналогий, делать далеко идущие выводы о будущем и российской нации, и России как единого государства. Трудности усугубляют, как считают авторитетные аналитики, отсутствие «целостной концепции нациестроительства» у политиков разных идейно-политических убеждений, сложность самой «материи» и «дискуссионность многих теоретических проблем, которые нельзя обойти при разработке концепции национальной политики» [Паин 2003: 6–7].

Означает ли все сказанное, что российская политическая нация — это если и не до конца сформировавшаяся общность, то прочно укоренный в социально-экономическую, политическую и этнокультурную среду конгломерат и что его будущее безусловно определяет тенденция к дальнейшей консолидации? Приходится констатировать, что это далеко не так, и наряду со стимулирующими ее центростремительными трендами и факторами существуют и другие, не менее существенные тренды и факторы, ей противодействующие. От их соотношения зависит отнюдь не только степень целостности российского государства, но и качество российской политической нации, ее соответствие тем целям и задачам, которые стоят перед страной как в области внутренних, так и внешних отношений.

Как и практически повсеместно, в России существуют две основные формы национального бытия — гражданская и политическая. Однако это не столько

отдельные, обособленные друг от друга субстанции, сколько различные ипостаси общей сущности. Не может быть полноценной политической нации без нации гражданской и наоборот. В чисто практическом плане это означает, что становление и консолидация устойчивой политической нации, охватывающей все население той или иной страны, — это процесс, гражданская и политическая составляющие которого неразрывно между собой связаны. Отсюда — все значение формирования в России полноценного гражданского общества как основы гражданской нации и как органической части нациестроительства. Соответственно, создание гражданской нации — это не самоцель, а важнейшая составляющая куда более широкого, поистине судьбоносного национального проекта. Ибо только полноценная гражданская и зрелая политическая нация способны образовать тот сплав, который в состоянии генерировать необходимую для развития современного государства и общества энергию и целеустремленность. Предложение принять закон о российской нации и управлении межэтническими отношениями [см. Заседание Совета по межнациональным отношениям... 2016] и обсуждение по существу перспективы законодательного регулирования этой сферы, развернувшееся в конце 2016 года, свидетельствует о сверхактуальности проблем национального строительства в современной России.

Как уже было отмечено выше, ни основной вектор, ни тем более конечный результат нациестроительства в России не предрежены, и среди ряда существенных факторов неопределенности особо выделяется специфически российский феномен «титულიной» нации. Хотя понятие «титульная» нация после распада Советского Союза не принято употреблять, особенно в официальных документах, оно тем не менее отражает вполне определенную реальность и весьма широко используется как отдельными исследователями, так и авторитетными научными и аналитическими центрами, правда, иногда — в кавычках.

Разнокалиберность национально-этнического состава России обусловила использование термина «нация» применительно к сообществам трех уровней политико-административного устройства — федерального (русские), республиканского и «областного» (этнонациональные общности в автономных областях и округах). Особую проблему создает дисперсность многих национальных сообществ, значительная или даже большая часть представителей которых живет за пределами «своих» территорий (как, например, татары, не говоря уже о русских). Формы и характер отношений между локальными сообществами представителей русской и иных (особенно, «титульных» для автономных республик и округов) национальностей видятся целому ряду экспертов и политических деятелей главным препятствием на пути становления устойчивой общероссийской гражданской и политической нации. Именно эти озабоченности, а также стремление предложить простое и ранее (в имперский период) уже опробованное решение побуждали и побуждают некоторых политиков периодически (начиная с Ю. Андропова и кончая В. Жириновским) выступать с инициативами и требованиями «губернизации» федеративного устройства СССР и России. Необходимость столь радикальных изменений, как правило,

мотивируется тем, что именно титульность союзных республик, не только олицетворявшая их особый статус, но и дававшая им определенную политическую самостоятельность, явилась первопричиной распада СССР, а, стало быть, соответствующая титульность автономных республик РФ угрожает тем же самым постсоветской России.

На деле «ранг», «титульность» наций (национальностей) — не первопричина и не основа, а прямое следствие их «самостийности». Как известно, губернский статус «национальных окраин» дореволюционной России не уберечь империю от фактического распада в 1917–1918 годах, и только с помощью вооруженной силы большевистской власти удалось «собрать» эти сообщества в единое, формально союзное, а фактически унитарное централизованное государство. И отнюдь не статус союзных республик, а постепенно вызревавший национализм (включая и национализм русский) размывал в массовом сознании чувство причастности к «единой общности — советскому народу», что при первом же ослаблении железной хватки «союзной» власти дало возможность республиканским элитам реализовать их до поры до времени неявные сепаратистские устремления [см. об этом, напр.: Чешко 2000].

Статусный дисбаланс (с вытекающими из него последствиями для бюджетной политики) в этнонациональных отношениях — одна из наиболее острых и взрывоопасных проблем российского общества и государства. Попытка выправить этот дисбаланс путем административно-правовых мер лишь усилит центробежные тенденции в Российской Федерации и осложнит процесс формирования российской политической нации. А это значит, что превратить национальные отношения в фактор ее консолидации можно лишь на путях позитивного социокультурного и экономического развития всех наций и народностей РФ [Дробижева 2003b]. Только так может быть развит и укреплен творческий потенциал гражданской нации и, соответственно, поднята ее роль в решении стоящих перед страной политических, экономических и социокультурных задач.

Впрочем, определенные сдвиги в данном направлении происходят. Их главный азимут — «новый федерализм», в рамках которого национальные и региональные сообщества могут на началах автономии и партнерства взаимодействовать с федеральным центром и между собой. Это и есть тот оптимальный вариант национального строительства, который способен постепенно выровнять статусные отклонения и придать российской политической нации необходимые ей прочность и динамизм [Перегудов 2013].

Происходящие в разных странах мира, в первую очередь на европейском континенте, процессы децентрализации и деволюции — передачи полномочий от Центра на уровень регионов и территорий — свидетельствуют о постепенной утрате государственным устройством прежней ригидности, о поисках новых форм адаптации к меняющейся социокультурной реальности. При этом «общественный запрос на более эффективное управление в условиях нарастания кризисных явлений в функционировании традиционных представительных институтов реализуется не только через “вертикальную” деволюцию

самих институтов, но и путем “горизонтальной” деволюции, передачи полномочий социального регулирования гражданским организациям, местным сообществам. За этими процессами стоят проблемы личной ответственности гражданина, преодоления отчуждения между гражданами и выступающими от их имени институтами» [Перегудов, Семененко 2015: 73]. Ключевым условием продвижения по пути «нового федерализма» является формирование общественного запроса на развитие территорий и самоорганизации вокруг приоритетов такого развития в рамках общегосударственной социально-экономической стратегии.

Воспрепятствовать поступательному развитию процессов федерализации может, однако, вырвавшийся на свободу агрессивный национализм, причем как русский, так и нерусский и антирусский. Самые различные проявления этого последнего дают о себе знать во многих национальных республиках и автономиях, а его прививка к радикальному исламскому фундаментализму чревата быстрой и неконтролируемой экспансией.

Казалось бы, оптимальным вариантом решения проблемы могло бы стать дальнейшее продвижение и развитие в качестве основополагающего принципа национальных и национально-региональных отношений принципа национальной и региональной автономии, и именно на этих принципах выстраивание сегодня и «нового федерализма», и нового регионализма. Однако автономия — это, как говорится, «палка о двух концах». С одной стороны, она ставит данные отношения на прочную политическую и социокультурную основу. Однако, с другой стороны, добившиеся ее элиты и их электорат, т.е. массы «простых» граждан, могут поддаваться и поддаются искушению превратить автономный статус в полновесный национально-государственный суверенитет. Появившиеся в послеперестроечные годы идеи создания «Уральской», «Приамурской», «Поволжской», «Карельской», «Сибирской», а также ряда новых северокавказских республик — наглядное тому подтверждение. Те, кто пугает перспективой распада Российской Федерации, не такие уж «фантазеры».

Хотя русский и нерусский национализм являются наиболее очевидным, непосредственным фактором риска в процессе формирования и консолидации российской политической нации, фактор этот далеко не единственный. Правда, другие факторы прямого отношения к «национальному вопросу» не имеют, однако их роль и влияние можно с полным основанием поставить в один ряд с теми, о которых только что шла речь.

Один из важнейших факторов такого рода — существующие в России аномалии в распределении жизненных благ как между отдельными группами граждан, так и между территориями. Различия эти столь велики, что некоторые аналитики считают вполне возможным и допустимым говорить о «двух нациях» — «бедных и неблагополучных» и «богатых и благополучных». При всей метафоричности такого рода формулы фактом остается то, что неблагополучная часть населения в России непомерно велика и, соответственно, непомерно велика доля тех, кого на Западе принято называть социально исключенными. И хотя они при опросах и обследованиях чаще всего соглашаются

называть себя россиянами, их гражданское и политическое самосознание крайне оскуднено. Причастность к российской нации предполагает наличие гражданской идентичности и определенный минимум сознательной гражданской и политической активности. Они же в силу своего положения и ментальности способны зачастую лишь на активность взрывную и стихийную, которая, как мы хорошо знаем из нашей истории, как правило носит деструктивный, чреватый самыми разрушительными последствиями характер. При наличии проблем в национальных и федеративных отношениях социальные стрессы легко и почти естественно «накладываются» на них, а это неизбежно усиливает риски, которыми чреваты как те, так и другие.

Как известно, федеральные, региональные и местные власти, сознавая эти риски, предпринимают определенные усилия для того, чтобы избежать дальнейшего усугубления существующих неравенств и по возможности снижать их. Однако главный упор при этом переносится на сугубо распределительные или перераспределительные меры, между тем как для кардинального решения проблемы решающее значение имеет выверенная и эффективная экономическая политика и ее промышленная составляющая. Некоторые подвиги в сторону стратегии «новой индустриализации» серьезно ослабевают продолжающимся «неолиберальным склонением», сторонники которого решительно противятся якобы устаревшей модели развития.

К числу обстоятельств, препятствующих канализации волеизъявления россиян в позитивное русло, следует отнести и фактор чисто политический, а именно хорошо всем известный дефицит политического участия граждан. Так, фактором, снижающим мотивацию участия в формировании представительных учреждений самого разного уровня, является то обстоятельство, что при доминировании исполнительной власти над законодательной такое участие нередко превращается в формальность. А участие в различного рода общественных организациях, консультативных советах и им подобных структурах сдерживается тем, что подавляющее большинство таких структур построено под властную вертикаль.

Негативным последствием такого рода псевдоучастия является не только забюрократизированность и неэффективность системы государственного управления, но и принижение роли гражданского общества и гражданственности как таковой. Вместо того, чтобы стимулировать политическую активность, предприимчивость и инициативу, без которых нет ни дееспособной политической системы, ни полноценной гражданской нации, такого рода вовлеченность консервирует патернализм и другие, наименее привлекательные черты «человека старороссийского» и «человека советского».

Ситуация, здесь, однако, отнюдь не безнадежна: в последние годы в российском обществе появляются новые формы гражданской активности. Наиболее очевидные изменения здесь связаны с той ролью, которую с некоторых пор стали играть электронные СМИ. Особенно бросается в глаза использование растущим числом граждан активных форм интернет-мониторинга: блогинга, социальных сетей, сетевых сообществ самого различного уровня и калибра.

В ответ на «мониторинг снизу» на диалог с экспертным сообществом и организациями гражданского общества начали ориентироваться некоторые институты власти, в том числе и на местах. Есть интересные примеры развития краудсорсинговой активности на локальном уровне, хотя пока далеко не во всех субъектах Федерации налажены формы интерактивной обратной связи с населением [см. Мирошниченко, Рябченко 2015: 45]. Целый ряд экспертов и оппозиционных политиков весьма скептически относятся к подобным инициативам, но совершенно очевидно, что для конструктивного взаимодействия общества и власти открываются новые возможности. Очевидно и то, что интенсивность и эффективность данного диалога напрямую зависит от самого общества и его демократически ориентированных организаций и групп.

В основе отмеченных сдвигов не только и не столько новая роль информационных технологий, но прежде всего — рост и развитие среднего класса, а также изменения в ментальности значительной части других общественных групп, вплотную к нему примыкающих, активизация некоторых категорий некоммерческих организаций, демократически ориентированного бизнеса. В своей совокупности все эти изменения способствуют «возвращению политики» и повышению роли гражданского общества.

Однако утверждать, что отмеченные изменения сами по себе гарантируют успешное развитие российской демократии, означало бы, с нашей точки зрения, серьезно упрощать существующую реальность. Широко распространенное, и в том числе среди влиятельной части экспертного и политического сообщества, мнение, будто быстро растущий российский средний класс буквально в считанные годы превратится в основную страту общества и что это создает надежную основу для формирования полноценной гражданской и политической нации — не более чем миф, вводящий в заблуждение. Основанный на завышенных ожиданиях количественного роста среднего класса и на игнорировании его качественных особенностей, этот миф маскирует тот факт, что российский средний класс далеко не однороден и что он не в меньшей мере расколот, чем российская политическая элита. Его наиболее влиятельная часть — это коррумпированная бюрократия и находящийся в говоре с ней менеджмент, которые и в прямом, и в переносном смысле отгородились от основной части средних слоев и от общества в целом (чего стоят одни лишь «крепостные стены», опоясывающие застроенные ими наиболее привлекательные участки Подмосковья и пригородов других городов). Их общественная роль, если о ней можно говорить, явно негативная, и дело здесь не только в коррупционности чиновничества и спекулятивного бизнеса, но и в той атмосфере отчужденности, которую они культивируют и распространяют на общество в целом.

Российский средний класс действительно способен существенно изменить ситуацию в обществе к лучшему и способствовать его сплочению. Однако речь идет о среднем классе без кавычек, ядро которого вызревает в интеллектуальной и профессиональной среде. К этому ядру вплотную примыкают те достаточно широкие слои общества, которые по объективным меркам к среднему

классу не принадлежат, но субъективно причисляют себя к таковому. Чтобы, однако, эти потенции проявлялись в полной мере, необходимо, чтобы именно средний класс сосредоточил в себе тот политический и властный ресурс, который по праву принадлежит ему, но который узурпирован псевдоклассом бюрократии.

Усложняет сплочение россиян на основе общегражданской и политической идентичности и провал попыток найти основу для того, чтобы преодолеть возникший в конце 1980-х годов и продолжающийся до сих пор идейно-ценностный раскол и российского общества, и российской элиты на два противоположных «лагеря», которые условно можно обозначить как либерально-прозападный и консервативно-державный. Раскол этот не позволяет обеспечить минимальное идейно-политическое единство нации и обрести позитивный вектор развития, без чего невозможен «драйв», способный придать нации силу и энергию для успешного решения назревших задач, для того, чтобы занять прочное положение в мировом сообществе.

Российская нация — это формирующаяся реальность, но ее гражданское и политическое измерения, и особенно первое, нуждаются в целенаправленной поддержке и укреплении. А это свидетельствует о назревшей потребности в превращении нациестроительства в ключевой приоритет государственной политики и общественной активности, с которым должны быть тесно соотнесены все другие приоритеты, сколь бы сами по себе важными и значимыми они ни были.

Литература

- Дробижина Л.М. 2003b. *Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России*. М.: Центр общечеловеческих ценностей. 376 с.
- Заседание Совета по межнациональным отношениям. Стенограмма*. 2016, 31.10. Астрахань. Доступ: <http://kremlin.ru/events/president/news/53173> (дата обращения: 15.11.2016).
- Мирошниченко И.В., Рябченко Н.А. 2015. Сетевые ресурсы развития локальной политики. — *Среднерусский вестник общественных наук*. Т. 10. № 5. С. 38–49.
- Паин Э. 2003. *Между империей и нацией. Модернистский проект и его традиционалистская альтернатива в национальной политике России*. М.: Фонд «Либеральная миссия». 164 с.
- Перегудов С.П. 2013. «Русский вопрос» в контексте этнонациональных отношений в РФ. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 74–86.
- Перегудов С.П., Семенов И.С. 2015. Референдум о независимости Шотландии и проблемы британской государственности. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 3. С. 64–75.
- Тишков В.А. 2013. Стройка наций. Российская политэтничность в мировом контексте. — *Россия в глобальной политике*. № 5. С. 160–174.
- Чешко С.В. 2000. *Распад Советского Союза: этнополитический анализ*. М.: ИЭА РАН. 395 с.

Глава 16

ЕВРОПЕЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

Ю.Г. Чернышов

Ключевые слова: Европа, Азия, европейская цивилизация, «Другой», стереотипы, античность, «варвары», греческий полис, гражданство, имперская идентичность, греко-римская культура, христианство, католики, протестанты, православный мир, Россия, Новое время, светские культурные течения, множественные идентичности.

Идентичности имеют многовековую историю формирования, эволюции и трансформации приоритетов и смыслов. И в каждую историческую эпоху они приобретали специфические черты, связанные с «духом времени», с особенностями экономического, политического и культурного укладов. Особенно важно учитывать это, когда речь идет об эпохах, в которые еще не сложились важнейшие черты современного мира, т.е. о периодах до начала Нового времени, или о докапиталистических эпохах. Попытки безоглядно применять к этим ранним эпохам современные политологические, социологические и иные подходы зачастую приводят к «модернизации» истории. Однако вместе с тем в развитии человеческой цивилизации всегда обнаруживались универсальные тенденции, «закономерные регулярности», которые встречаются в самых разных сферах жизни, в том числе и в политике. «Общее» в докапиталистические эпохи часто проявлялось в уникальных сочетаниях с «особенным». Задача данной главы — сделать обзорный экскурс в историю европейской цивилизации до начала эпохи Нового времени и попытаться описать главные тенденции в эволюции политических (в основном), но также и других тесно связанных с ними идентичностей, обращая внимание и на то, как осмысливались проблемы «самосознания» современниками. Такой экскурс, на наш взгляд, необходим для выявления тех духовных традиций и «краеугольных камней», которые уже много веков назад были заложены в «ценностный фундамент единой Европы» [Семененко 2008: 88–90].

Хронологически сюда входит огромный период с III тысячелетия до н.э. вплоть до XVI века, когда под влиянием Великих географических открытий,

Реформации, развития рыночных отношений и многих сопутствующих и появившихся позднее факторов мир начинает принципиально меняться в сторону «модерна». Учитывая широту и насыщенность событиями этого отрезка времени, мы будем вынуждены говорить о многих явлениях предельно лаконично, стараясь отмечать лишь наиболее важные тенденции.

Начать рассмотрение этой темы, очевидно, следует с вопроса о том, когда и как зарождается «самосознание» в европейской цивилизации и когда появляется ее противопоставление внешним «Другим».

Европа и Азия: первое осознание разности

До возникновения государств человечество жило в условиях родоплеменного строя, где доминировала именно «родовая» идентичность. «Другими» считались все находящиеся за пределами племени. Серьезное влияние на самосознание и восприятие чужих оказывали и различия в укладах жизни — например, в обществах кочевников или оседлых земледельцев. Первое, первоначально локализованное разделение на два мира — «цивилизации» и «варварства» — возникло примерно в III тысячелетии до н.э. В условиях теплого климата в бассейнах «великих рек» (Нила, Тигра, Евфрата, Инда, Ганга, Янцзы, Хуанхэ) формируются первые территориальные политии. Верховная власть, как правило, опиралась на «сословную пирамиду» из жрецов, чиновников и армии, с помощью которой организовывался коллективный труд общинников. Монарх («деспот») зачастую обожествлялся, и перед его лицом были одинаково бесправны и крестьяне, и высокопоставленные вельможи. Тем не менее в этом «раннецивилизированном» мире уже распространяется пренебрежительный взгляд на окружающие народы как на «дикарей», не знающих закона, культуры и других благ цивилизации и потому предназначенных либо для истребления, либо для использования их в качестве пленных-рабов. Идентификация себя как «центра мира» и пренебрежительно-прагматичное отношение к другим народам встречается практически во всех ранних государствах, особенно в империях, от Египта и до Китая [Pu Muzhou 2005]. «Подданническая» и «имперская» идентичности появляются уже в этот период.

Те раннегосударственные образования, от которых идут истоки европейской цивилизации, во многих своих чертах были близки древневосточным традициям — египетским, финикийским, хеттским и т.д. «Европа» сравнительно поздно отделилась от «Азии». Сам миф о «похищении Европы» аллегорически подсказывает: Европа была перенесена на Крит с Востока (из Финикии). И именно на Крите сформировалась открытая Артуром Эвансом уникальная минойская цивилизация, которую многие исследователи считают «протоевропейской». Фрески Кносского дворца представляют мир жизнерадостных, наделенных индивидуальными чертами людей. Мореплавание, торговля, ремесла, архитектура, письменность, — все это получило активное раз-

витие. Однако в середине II тысячелетия до н.э. серьезный удар по этой культуре нанесло извержение мощного вулкана в районе острова Санторин. Пришедшие с севера первые греческие племена (ахейцы), находившиеся еще на стадии «военной демократии», во многом восприняли достижения этой цивилизации, и специфика их дальнейшего развития в значительной степени была определена этим синтезом.

Царская власть у греков не превратилась в «восточную деспотию» — напротив, свободным общинникам («демосу») удалось сплотиться в борьбе за свои права, за самоуправление и личную свободу. Постепенно в рамках ранних полисов происходит переход от родоплеменного деления к территориальному; формируются осознание единства греков (панэллинизм) и «гражданская идентичность», вырастает роль народного собрания и выборных должностных лиц. Идея необходимости защиты свободы приводит к борьбе против родовой аристократии и «тиранов». В итоге к моменту начала Грекоперсидских войн (499–449 гг. до н.э.) в греческом мире уже встречается убеждение, что Эллада идет другим путем, принципиально отличным по сравнению с восточными деспотиями, где все жители — «рабы царя». Именно это противопоставление своих свободных полисов огромной Персидской империи как «тюрьме народов» во многом сплотило греков и помогло им одержать победу. Позднее Исократ, призывая к походу на Персию, говорил: «Не могут люди, выросшие в рабстве и никогда не знавшие свободы, доблестно сражаться и побеждать. (...) Даже знатнейшие их вельможи не имеют понятия о достоинстве и чести; унижая одних и пресмыкаясь перед другими, они губят природные свои задатки; (...) каждый день во дворце они соревнуются в раболепии, валяются у смертного человека в ногах, называют его не иначе как богом и отбивают ему земные поклоны, оскорбляя тем самым бессмертных богов» [Исократ 1985: 58–59]. Как минимум, уже с этих времен «европейская свобода» и «азиатское рабство» входят в устойчивый набор маркеров цивилизационной идентичности.

Внешними «Другими» для греков становятся и «дикие варвары» — народы, еще не имевшие своей государственности. Вполне вероятно звукоподражательное происхождение слова βάρβαρος от βάρ-βαρ (т.е. это «бормотуны», не говорящие по-гречески), однако к этому добавляются и такие смысловые мотивы, как «дикость», «жестокость», «рабство» и т.д. Пренебрежительно-прагматичное отношение к «дикарям» встречается все чаще по мере распространения классического рабства. Поэтическое обоснование превосходства эллинов можно встретить, например, у Еврипида: «Неприлично гнущся грекам перед варваром на троне» [Еврипид 1980: 501]. А «теоретическая база» подводится в «Политике» Аристотеля: «Варвар и раб по природе своей понятия тождественные» [Аристотель 1983: 377]. Из этого делался вывод о том, что грекам самой природой предназначено господствовать и над азиатскими, и над северными варварами. «Идеализация варваров» (представление о них как о не испорченных пороками людях, живущих в единстве с природой) получает заметное развитие в античной литературе в основном как реакция

на кризис полиса (с середины IV века до н.э.). Греческие мыслители пытались таким образом противопоставить утопический «примитивистский» идеал порокам современного им общества и напомнить об утраченных «установлениях предков» [Lovejoy, Voas 1935: 287 sqq.; Широкова 1979].

Греческий полис: новые идентичности

«Родоплеменная» идентичность (отнесение себя к ахейцам, дорийцам, ионийцам, эолийцам и др.) с возникновением полисов не исчезает, но зачастую отступает на второй план. Полисы возникают в основном в отделенных друг от друга горными хребтами долинах, где город с сельской округой становится «мини-государством», в котором жители называют себя «афинянами», «коринфянами», «спартанцами», «фиванцами» и т.д. Однако государственная принадлежность не была тождественна гражданской. Население полиса разделялось на три основные сословные группы: 1) граждане (как правило, «гражданская» частная собственность сочеталась с полисно-общинной), 2) свободные неграждане (в Афинах — метеки, в Спарте — периэки и т.д.) и 3) несвободные неграждане, или рабы (в Афинах — «классические» рабы, происходившие в основном из иноземцев, в Спарте — потомки покоренного местного населения — илоты и т.д.). При этом в самом сословии граждан полнотой политических прав обладали только взрослые мужчины, участвовавшие в ополчении, народном собрании и исполнении должностей.

Вплоть до македонского завоевания Греция оставалась раздробленной и раздираемой конфликтами между отдельными полисами и союзами городов (Афинская архэ, Ахейский союз, Беотийский союз, Пелопоннесский союз и т.д.). Их объединяла не только общность интересов, но и определенная «идейно-политическая» идентичность. Так, идеологи Афинской архэ (объединения, в которое входили в основном торгово-ремесленные полисы) выдвигали в качестве главных ценностей «свободу и демократию», а в Пелопоннесском союзе (включавшем в основном аграрные полисы) делали акцент на «порядке и традициях». О необходимости объединиться ради «панэллинских» интересов в конце V — сер. IV века до н.э. говорили многие (Аристофан, Горгий, Демосфен, Исократ, Лисий и др.), однако реальное объединение произошло только под эгидой внешних завоевателей (сначала македонских, а затем римских) [Dobesch 1968; Lynette 2007; Фролов 1983]. Эта разобщенность проявлялась и в сфере языка (долгое сохранение местных диалектов), и в сфере религии (локальные культы, отсутствие единого жреческого центра при наличии лишь «общегреческих» святилищ (в Дельфах, Олимпии, Элевсине) и празднеств — Олимпийских, Истмийских, Немейских, Пифийских и т.д.

Кризис полиса породил утопические поиски идеалов лучшей жизни, которые были связаны с дополисными, надполисными или неполисными общественными порядками. Идущая от Гесиода версия мифа о «жизни при Кроносе»

(ἐπὶ Κρόνου βίος) ассоциировала первоначальную счастливую жизнь с ушедшим «золотым родом» людей (χρῖσεον γένος), а современный «порочный» род считался «железным». Следы этой прежней счастливой жизни искали у варваров, на далеких «островах блаженных» или в экзотических восточных странах (Эфор, Феопомп, Эвгемер, Ямбул и др.). Развиваются и проекты идеального государственного устройства, где все чаще появляются попытки не только «усовершенствовать» полис, но и перейти к образу «идеального правителя» (Платон, Исократ, Ксенофонт, Аристотель и др.). Наконец, в эпоху эллинизма становится популярной идея космополитизма. Так, стоики развивают идею всемирного государства богов и людей, перед которым «земные» государства выглядят как суетные и преходящие. Эти течения [Ferguson 1975; Гуторов 1989] получили развитие параллельно с глобальными изменениями на политической карте: полисы вошли теперь в состав территориальных монархий, а сам греческий мир распространился далеко за пределы Эллады и прежних колоний (державы Птолемеев и Селевкидов, Пергамское царство и др.). В эллинистических государствах, где произошел синтез греческой, македонской и восточных культур, зачастую преобладала «гибридная» идентичность, сочетавшая элементы самых разных политических и религиозных традиций.

Римская держава как космополис

В Риме «имперская идентичность» в европейском варианте достигает своей классической завершенности. В царский период и эпоху Республики шло постепенное собиранье земель и народов под эгидой «Вечного города». В этом — серьезное отличие римской государственности от греческой, хотя для римской гражданской общины (civitas) тоже были характерны такие понятия, как «республиканизм», «гражданство», «выборность должностных лиц» и т.д. Однако «римский народ» (populus Romanus) с самого начала формируется на основе смешения и слияния разных этнических групп (латины, сабиняне, этруски и т.д.), и эта особая «открытость», готовность к расширению круга граждан и привлечению «союзников» проходит через всю римскую историю. Внутри гражданского коллектива шла борьба плебеев против привилегий патрициев, а к концу Республики обозначились и политические группировки («оптиматы» и «популярные»), что позволяет говорить о появлении «протопартийной» идентичности. Однако в итоге огромная держава переходит к военно-бюрократическому стилю управления, при котором сохраняются лишь отдельные элементы «полисных» укладов. Сама идентификация «гражданин» теряет прежний политический смысл и распространяется все шире на жителей провинций; с 212 г., после эдикта Каракаллы, «римскими гражданами» могли называть себя уже все лично свободные жители Империи.

Понятие «римлянин», соответственно, меняло свое содержание в течение веков. Внешние «Другие», которым противопоставляли себя римляне, — это,

как правило, наиболее опасные враги Рима — галлы, карфагеняне, германцы, парфяне, гунны... Идея особого «цивилизаторского» предназначения римлян четко формируется именно при установлении Империи. В «Энеиде» Вергилия, например, говорится, что другие народы могут лучше делать статуи или гадать по звездам (подразумеваются, видимо, греки и азиаты), а миссия римлян иная — державно править народами, давать им законы, «оберегать покорившихся и усмирять заносчивых» (*parcere subiectis et debellare superbos*) [Вергилий 1971: 240]. При этом можно отметить системность идеологической политики в духе «осуществленной утопии»: помимо культа императоров и идеи «вечного Рима», серьезную роль играет лозунг наступившего «золотого века» для всех народов Империи (сам термин «золотой век» приходит на смену «золотому роду» и приобретает уже не «генеалогический», а политико-исторический смысл) [Чернышов 2013а: 119–157; Gatz 1967: 65, 135]. Соответственно, отношение к «варварам» во многом зависело теперь от того, насколько они освоили основы греко-римской культуры: освоившие лучше считались «почти римлянами», а не сумевшие и не желающие воспринять их описывались как «звероподобные и опасные дикари» [Буданова 2000: 3–9]. При этом вопреки утверждениям некоторых ученых об отсутствии у римлян утопии в «неофициальной» литературе продолжали развиваться различные утопические течения, «идеализация варваров» и уход от действительности в сферу религиозно-этических исканий [Чернышов 1992]. Эскапизм находит проявление и в таких радикальных сектах, как Кумранская община: уединившиеся в районе Мертвого моря аскеты считали себя избранными «сынами света» и дуалистически противопоставляли себя всем остальным «сынам тьмы» [Тексты Кумрана 1996: 279–331; Тантлевский 1994: 281–314].

Движение к «Царству Божьему»

Христианство как мировая религия принципиально изменило взгляд на прежние этнические, социальные и политические идентичности. Если раньше религиозные культы были тесно связаны, как правило, с определенными этносами и государствами (по формуле «египтяне — египетское государство — египетская религия»), то теперь провозглашается равенство всех людей перед единым Богом, независимо от этнического происхождения, от государственных границ, от социального и политического статуса любого человека. Наиболее четко в Новом Завете этот принцип был сформулирован в Послании апостола Павла к Колоссянам (Кол. 3, 11): «...нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Христианство разрывает «пуповину», связывавшую его с иудаизмом, и обращается ко всем, в том числе и к «язычникам». Оно производит настоящую революцию в сознании, подчеркивая условность «земных» статусов и меняя приоритеты ценностей с материальных на духовные. «Земные» государства, как учил Августин (продолжавший во многом концепцию стоиков), прехо-

дяди и тленны, и язычники сами виноваты в том, что прежнему порочному Риму предстоит погибнуть от варваров, но это будет путь к очищению и обновлению, к тысячелетнему «Царству Божию» для праведников, ибо «град нечестивых чужд истинной справедливости» [Августин... 1994: 156]. Западная Римская империя вскоре пала, и со временем в условиях феодальной раздробленности римское папство как «наместничество Бога на земле» на долгое время стало авторитетнейшим центром власти и «центром идентичности» во всем западном христианском мире. Духовенство становится, наряду с рыцарством, весьма влиятельным сословием.

Средневековый мир был основан на иерархической системе феодального вассалитета и при этом был весь пронизан религиозностью. «Другими» внутри него считались те немногие, кто не приняли христианство (приверженцы язычества, иудаизма), а также те, кто объявлялись «колдунами и ведьмами» или «еретиками». После начала экспансии исламского мира самыми значимыми внешними «Другими» на долгое время становятся мусульмане. В 1095 году на Клермонском соборе папа Урбан II, по описанию Роберта Реймского, призывал к освобождению «Гроба Господня» от турок-сельджуков как жестоких «варваров»: это «народ персидского царства, иноземное племя, чуждое Богу...» [цит. по Заборов 1977: 51]. Весьма характерно, что здесь сказалось влияние еще античных стереотипов об «азиатских варварах». Идея общности и единства Европы, зародившаяся еще в античности, укрепилась в Средние века за счет идеи «единства веры», причем существенно изменились и географические рамки мира «европейскости».

Нашествие монголо-татар, а позднее и падение Византии ослабили православный «Восток Европы», где сильны были греческие традиции, а «Запад Европы» продолжал развиваться на основе «латинских» традиций, включая муниципальную культуру, римское право и т.д. «Католическая» идентичность для этого времени была близка по содержанию к «европейской». Как иллюстрацию можно привести энциклику императора Священной Римской империи Фридриха II Гогенштауфена от 20 июня 1241 г. Когда над Центральной Европой нависла реальная угроза завоевания монголо-татарами, он обратился к христианским правителям Европы и к своим подданным: «Время пробудиться от сна, открыть глаза духовные и телесные. Уже секира лежит при дереве, и по всему свету разносится весть о враге, который грозит гибелью целому христианству. Уже давно мы слышали о нем, но считали опасность отдаленной, когда между ним и нами находилось столько храбрых народов и князей. Но теперь, когда одни из этих князей погибли, а другие обращены в рабство, теперь пришла наша очередь стать оплотом христианству против свирепого неприятеля» [Энциклика 2012: 160–163]. Интересно отметить, что при этом сам император, призывавший спасти весь христианский мир, находился в конфликте с папством. А имперские идентификационные проекты (такие, как консолидирующая идея «Священной Римской империи германской нации») носили в этот период во многом умозрительный, «виртуальный» характер [Rapp 2007: 11], и возрождение

«имперской идентичности» происходит лишь в Новое время, с появлением колониальных империй.

«Варвары» в средневековом мире отождествлялись с «язычниками» и «басурманами», и их идеализация теперь встречалась гораздо реже, чем в античности. В целом под влиянием «теократизации» сознания социальный идеал связывается чаще с библейскими образами: это образ рая, образ «апостольской жизни» (которую пытались воплотить в монастырском укладе), а также образ грядущего «тысячелетнего Царства Божия», о котором особенно горячо мечтали разного рода милленаристы-еретики [Тоерфер 1963]. Что же касается крестьянской «народной утопии», то ее следы прослеживаются в основном в легендах о сказочной стране изобилия (Кокань, Кокейн, Кукканья, Шлараффия и т.д.), образ которой, однако, не имел конкретной географической привязки и часто носил пародийный характер [Чиколини 1980: 263–266]. Мечты об экзотических «далеких странах» заметно оживляются только в эпоху Великих географических открытий, когда легенды о «добрых (благородных) дикарях» (фр. *bon / noble sauvage*) снова начинают противопоставляться порокам европейской цивилизации [Ellingson 2001].

Островками относительной свободы в средневековом мире были городские коммуны, в разной степени опиравшиеся на античные традиции самоуправления. В ходе коммунального движения горожане отвоевывали у сеньоров свои права, добываясь иногда почти полной автономии (Венеция, Генуя, Милан, Флоренция, «имперские» города Бремен, Гамбург, Любек и др.). Именно в процветающих городах Италии раньше всего получают распространение идеи гуманизма и культура Возрождения. Средневековые горожане чувствовали себя гораздо более свободными и более образованными, чем крестьяне. В городах развивается правовая система, формируются основы парламентаризма. Уже в XI–XV веках Европа покрывается и сетью университетов как особых, относительно независимых, корпораций ученых. Корпоративная идентичность прослеживалась и среди купцов, объединенных в гильдии, и среди ремесленников, объединенных в цехи. Каждый цех был социальным организмом, жестко регламентирующим многие внутренние вопросы, но при этом эффективно защищавшим общие интересы его членов. Относительная просвещенность и корпоративная солидарность горожан в отстаивании своих интересов сыграли немалую роль и в успехе Реформации, которая вывела в итоге целые регионы и страны из-под диктата папского Рима.

Мартин Лютер и другие реформаторы распространяют идеи о том, что погрязшая в роскоши католическая церковь привела к извращению настоящего учения Христа и апостолов, поэтому «истинные христиане» не нуждаются в индульгенциях папы [Лютер 1996; Kolb 1991]. Успех протестантских движений во многом был связан и с тем, что в экономике параллельно происходило «вызревание» капиталистических отношений, а в политике — усиление светской власти и централизация в «национальных» государствах. Прежде единая в конфессиональном отношении Западная Европа раскололась на «католиков» и «протестантов» разных направлений, причем со временем получа-

ет все большее распространение и атеизм как особая система мировоззрения, вообще не совместимая с религиозной идентичностью. «Град земной» постепенно отвоевывал позиции у «Града Божьего».

Возвращение к «Граду земному»

В этот период в Европе формируется новая система международных отношений, а сама европейская цивилизация широко распространяет свое влияние на другие континенты. Появляются и новые «значимые Другие»: на американском континенте это добившиеся независимости и динамично развивающиеся США, на евразийском — быстро расширяющаяся Российская империя. «Запад» (под которым теперь принято понимать и Европу, и Северную Америку) в это время делает особенно заметный рывок в своем развитии, намного опережая и азиатские страны, и те народы Восточной Европы, которые исторически были связаны с православной ветвью христианства.

Рассмотрение эволюции идентичностей в «православном мире», конечно, заслуживает отдельного подробного освещения, причем здесь вряд ли следует идти за теми сторонниками «цивилизационных» теорий (А. Тойнби, С. Хантингтон и др.), которые используют определения «православный» и «русский» (или «славянский») почти как синонимы [Тойнби 2001: 82–85; Huntington 1993: 22–49]. Реальная картина была намного сложнее, чем такие упрощенные схемы. Хотелось бы лишь отметить, что российская культура по своим первостепенно важным «корням», несомненно, тоже является европейской. Античное, византийское и раннесредневековое европейское наследие стали теми источниками, из которого вышли последующие православные (восточнохристианские) традиции, дополненные «евразийским синтезом». Христианство в византийском варианте в ряде черт отличалось от западного (подчинение церкви императорской власти, более мистический характер вероучения и т.д.), но все эти черты тоже были присущи европейской культуре. В Киевской Руси проявлялись и политические тенденции, весьма близкие к западноевропейским: например, роль городов, в которых развивались традиции вечевого самоуправления (Новгород, Псков и т.д.). Монголо-татарское нашествие стало тяжелейшим ударом для Руси, не только обескровленной и отброшенной назад в своем развитии, но и еще больше отдалившейся от своих первоначальных культурных основ. Московское царство выстраивалось уже через «принятие наследия» развалившейся «Золотой Орды», и это новое стремительно растущее и пытающееся «догнать Европу» евразийское государство вызывало, наряду с «исламской угрозой», все большую настороженность на Западе.

Начиная с позднего средневековья многие европейские путешественники описывают Россию как огромную «дикую» страну, в которой суровый климат дополняется ничем не ограниченным «азиатским» деспотизмом верховной власти [Проезжая по Московии... 1991]. Именно с этого времени во все последующие века Россия (и «царская», и «советская», и современная) была постоянным

«значимым Другим» для Западной Европы, через сравнение с которым зачастую пытались выстроить «подлинно европейскую» идентичность — даже в тех случаях, когда противопоставление Европе носило не негативный, а позитивный характер. Если Европа в негативных стереотипах многих россиян часто представлялась как «разлагающаяся», «загнивающая», «бездуховная», «плоскорациональная», «экспансионистская», «сверхлиберальная», то, в свою очередь, в Европе формировались и активно тиражировались стереотипы о России — «патриархальная», «застойная», «мистическая», «по-медвежьки грубая, дикая, агрессивная», «консервативно-реакционная» и «деспотичная». И, наоборот, в наборах положительных взаимных стереотипов преобладали такие черты: о Европе — «культурная», «образованная», «более свободная и демократичная», «обеспеченная», «технологически и социально продвинутая»; о России — «нравственно более чистая», «духовная», «сохранившая традиции общинности», «альтернативная американской экспансии» и т.д. [Чернышов 2013b]. Как это зачастую бывает, гетеростереотипы нередко перекликались с автостереотипами, отражая многие сущностные элементы идентичности.

В наши задачи не входит рассмотрение эволюции европейской идентичности в новое и новейшее время. Простое перечисление новых факторов, действовавших в разных сферах, вряд ли способно отразить всю сложность происходивших процессов. В океане европейской истории постоянно происходили «приливы» и «отливы», резкие смены течений (например, в сторону создания империй и их распада, в сторону тоталитаризма и от него) и т.д. Поэтому сложно говорить о каких-то «однонаправленных» тенденциях в эволюции идентичностей. Отметим лишь некоторые факторы, которые не получали заметного развития в рассмотренные нами докапиталистические эпохи.

В социально-экономической сфере, на наш взгляд, следует отметить активное развитие денежного хозяйства и торговли, складывание мирового рынка и интеграцию в него все новых и новых сообществ, распространение частной собственности, индустриализацию, появление транснациональных корпораций, информатизацию, глобализацию, постиндустриальное общество. Прежние сословные, гендерные и расовые перегородки размываются и рушатся, повышается уровень социальной мобильности, меняется сама социальная структура общества, которое становится более урбанизированным и эмансипированным. Возрастают возможности так называемой «социальной инженерии», позволяющей, в частности, целенаправленно изменять структуру населения. Все большие масштабы приобретают миграционные процессы, поскольку государственные границы уже не являются препятствием для перемещения по планете масс людей.

В политической сфере происходит секуляризация, развитие «национальных» государств и одновременное возрастание роли над- и межгосударственных объединений и международных организаций. Все большую роль во внутривнутриполитической жизни начинают играть демократические процедуры (реализация принципов парламентаризма, федерализма, разделения властей и т.д.), а также институты гражданского общества — некоммерческие организации,

профсоюзы, политические партии и движения, СМИ и т.д. Идентичность «подданных» все более уступает позиции гражданской идентичности. Государство становится более «социальным». С другой стороны, государство получает массу новых рычагов для манипулирования обществом: газеты, радио, телевидение, Интернет в случае установления монопольного контроля над ними становятся мощным орудием пропагандистского «зомбирования» населения. Идентичности могут навязываться пропагандой, которая в ходе информационных войн объявляет «врагами» то одни, то другие страны. Этот феномен был отмечен еще Дж. Оруэллом: в его антиутопическом романе «1984» Океания попеременно воюет то с Евразией, то с Остазией, а реальная цель войны при этом одна — поддержание жесткого контроля над обществом и оправдание всех бедствий происками врагов: «Если, например, сегодня враг — Евразия (или Остазия, неважно, кто), значит, она всегда была врагом. А если факты говорят обратное, тогда факты надо изменить. Так непрерывно переписывается история» [Оруэлл 1989: 147]. Блоки государств зачастую теперь складываются под лозунгами тех или иных идеологий (коммунизм, либерализм, национал-социализм и т.д.).

В идейно-культурной сфере, соответственно, резко вырастает роль «светских» культурных течений и новых политических идеологий, потеснивших традиционные религиозные учения. Возвращение к «Граду земному» и переключение внимания с «Божьего» на «человеческое», начавшееся еще с эпохи Возрождения, продолжалось и в эпоху Просвещения, и в последующие века, вплоть до современной Европы, которую нередко представляют как индивидуалистичное и гедонистичное общество «потребления и массовой культуры». Распространение интернет-технологий влечет популярность «виртуальных» идентичностей. Расцвет национальных культур сопровождается их взаимным переплетением и выработкой более толерантного отношения к «Другим», хотя и в этих процессах бывают резкие повороты в иные стороны. Постепенно выкристаллизовываются идеи цивилизаторской миссии Европы, «общеевропейских ценностей» и «европейского единства», нашедшие отражение и в проекте «Европейского Союза». Однако эти идеи дополняются и иными — как региональными и национальными, так и наднациональными или космополитичными концепциями: «Картина размывания национальной идентичности, со всей очевидностью наблюдаемая с “классических” для Нового времени позиций нации-государства, под иным углом зрения все отчетливее представляется как процесс формирования новых идентификационных ориентиров» [Семененко, Лапкин, Пантин 2010].

В целом, суммируя влияние всех этих новых факторов, можно сделать следующий вывод: начиная с эпохи Нового времени, в Европе появляется гораздо больше, чем прежде, объективных предпосылок для развития множественных и гибридных идентичностей. Жизнь европейцев становится намного динамичнее, сложнее и разнообразнее. Однако именно на фоне этой сверхсложности европейцы все чаще обращаются к собственной истории в поисках простых ответов на вопросы «кто мы?» и «что у нас общего?». И здесь огромную роль

приобретают исторические мифы — «разделяемые членами политического сообщества, упрощенные и эмоционально окрашенные нарративы, сводящие сложные и противоречивые исторические процессы к редуцированным и удобным для восприятия схемам» [Малинова 2015: 10; см. также Topolski: 1999]. Можно привести пример подвига «трехсот спартанцев», который подтверждает убежденность в том, что «мы — свободные люди, никогда не желавшие подчиняться деспотам». В современных реалиях давно утвердившиеся формулы идентичности придают этому выбору высокий смысл верности своим традициям.

Литература

- Августин Блаженный. 1994. *О граде Божиим. Т. 4*. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. 406 с.
- Аристотель. 1983. *Сочинения: В 4 т. Т. 4*. М.: Мысль. 830 с.
- Буданова В.П. 2000. *Варварский мир эпохи Великого переселения народов*. М.: Наука. 544 с.
- Вергилий. 1971. *Буколики. Георгики. Энеида*. М.: Художественная литература. 418 с.
- Герберштейн С. 1988. *Записки о Московии (под ред. В.Л. Янина)*. М.: Издательство МГУ. 430 с.
- Гуторов В.А. 1989. *Античная социальная утопия: Вопросы истории и теории*. Ленинград: Издательство Ленинградского университета. 288 с.
- Еврипид. 1980. *Трагедии. Т. 2*. М.: Искусство. 654 с.
- Заборов М.А. 1977. *История крестовых походов в документах и материалах*. М.: Высшая школа. 272 с.
- Исократ. 1985. *Панегирик. — Ораторы Греции*. М.: Художественная литература. С. 39-64.
- Лютер М. 1996. *95 тезисов. Диспут о прояснении действительности индульгенций*. Санкт-Петербург: Издательство Герменевт. 64 с.
- Малинова О.Ю. 2015а. *Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности*. М.: Политическая энциклопедия. 207 с.
- Оруэлл Дж. 1989. «1984» и эссе разных лет. М.: Прогресс. 384 с.
- Проезжая по Московии (Россия XVI-XVII веков глазами дипломатов) (сост. Н. Рогожин)*. М.: Международные отношения. 368 с.
- Семенов И.С. 2008а. *Метаморфозы европейской идентичности. — Полис. Политические исследования*. № 3. С. 80–96.
- Семенов И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. 2010. *Идентичность в системе координат мирового развития. — Полис. Политические исследования*. № 3. С. 40–59.
- Тантлевский И.Р. 1994. *История и идеология Кумранской общины*. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение». 384 с.
- Тексты Кумрана. Выпуск второй*. 1996. Санкт-Петербург: Центр «Петербургское Востоковедение». 440 с.
- Тойнби А.Дж. 1991. *Постижение истории*. М.: Прогресс. 736 с.
- Фролов Э.Д. 1983. *Панэллинизм в политике IV в. до н.э. — Античная Греция. Т. 2*. М.: Наука. С. 157–207.
- Чернышов Ю.Г. 1992. *Была ли у римлян утопия? — Вестник древней истории*. № 1. С. 53–72.
- Чернышов Ю. 2013а. *Древний Рим: мечта о золотом веке*. М.: Ломоносовъ. 240 с.
- Чернышов Ю.Г. 2013б. *Эволюция стереотипов восприятия «модернизированной» Европы в России. — Власть, бизнес, гражданское общество в условиях модернизации России: институты, стратегии и практики политического сотрудничества*. М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова. С. 257–258.
- Чиколини Л.С. 1980. *Социальная утопия в Италии, XVI — начало XVII вв.* М.: Наука. 392 с.

Широкова Н.С. 1979. *Идеализация варваров в античной литературной традиции. Античный полис*. Ленинград: Издательство ЛГУ. С. 124–138.

Энциклика против татар императора Фридриха II Гогенштауфена от 20 июня 1241 г. (159). 2012. — *Магистр Рогерий. Горестная песнь о разорении Венгерского королевства татарами*. Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин». 304 с.

Dobesch G. 1968. *Der panhellenische Gedanke im 4. Jahrhundert v. Chr. und der «Philippos» des Isokrates*. Wien. 260 s.

Ellingson T.J. 2001. *The Myth of the Noble Savage*. Oakland CA: University of California Press. 504 p.

Ferguson J. 1975. *Utopias of the Classical World*. London: Thames and Hudson. 228 p.

Gatz B. 1967. *Weltalter, goldene Zeit und sinnverwandte Vorstellungen (Spudasmata, 16)*. Hildesheim: G. Olms. 238 s.

Huntington S.P. 1993. The Clash of Civilizations? — *Foreign Affairs*. Vol. 72. No. 3. P. 22–49.

Kolb R. 1991. *Confessing the Faith: Reformers Define the Church, 1530–1580*. St. Louis: Concordia Publishing. 182 p.

Lovejoy A.O., Boas G. 1935. *Primitivism and Related Ideas in Antiquity*. Baltimore: John Hopkins Press. 482 p.

Lynette G.M. 2007. *Panhellenism and the Barbarian in Archaic and Classical Greece*. Swansea: The Classical Press of Wales. 262 p.

Pu Muzhou. 2005. *Enemies of Civilization: Attitudes toward Foreigners in Ancient Mesopotamia, Egypt, and China*. Albany: SUNY Press. 211 p.

Rapp F. 2007. *Svatá říše římská národa německého*. Praha-Litomyšl: Paseka. 316 s.

Toepfer B. 1963. Die Entwicklung chiliastischer Zukunftserwartungen im Mittelalter. — *Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt — Universitaet zu Berlin*. Jg. 12. H. 3. S. 253–262.

Topolski J. 1999. The Role of Logic and Aesthetic in Constructing Narrative Wholes in Historiography. — *History and Theory*. Vol. 38. No. 2. P. 198–210.

Глава 17

ЕВРОПЕЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Маурицио Котта

Ключевые слова: Европа, Европейский союз, европейская интеграция, нация, национальное государство, национальная идентичность, личность.

Существует ли европейская идентичность? Каковы характеристики этого феномена? Как она формируется, и какое влияние она имеет? Вопросы, связанные с идентичностью, как известно, играли важную роль в формировании современного национального государства. По мере того, как современные политики все в большей мере стали ассоциироваться с понятиями «нация» и «национальное государство», широко распространилась идея о том, что нация, в свою очередь, связана с наличием общей идентичности. Каждая нация имеет свою собственную, особую идентичность [Gellner 1983], то есть каждой нации присущ набор элементов (материальных и нематериальных), которые позволяют определить содержание понятия нации и того, «кто мы». Эти элементы позволяют также отделить данную нацию («мы») от других наций («они»). Иногда сложно определить соотношение позитивных и негативных коннотаций в определении идентичности. Это может зависеть от событий прошлого, происходивших в период национального строительства. Хорошо известно, до какой степени важную роль катализатора играет «Другой» в преодолении внутренних конфликтов идентичностей и в формировании общей национальной идентичности (как, например, великие европейские державы — для Швейцарии, Германия — для Франции, Австрия — для Италии в XIX веке). В процессе нациестроительства на формирование этого важнейшего компонента национальной государственности было мобилизовано, как известно, огромное количество политической и культурной энергии. В ходе формирования национальной идентичности разного рода символам — от флагов и государственных гимнов до литературных произведений, от географических территорий, обладающих историческим значением, до памятников, национальных героев, религиозных идей, ритуалов и пр. — придается особое значение, так как с их помощью можно активировать переживание

идентичности. В результате у больших групп населения появляется (разной степени интенсивности) чувство общности.

Помимо национального уровня, переживание идентичности часто связывается с другими субнациональными уровнями, такими, как регион и город, или с нетерриториальными сообществами — религиозными, лингвистическими, этническими группами, спортивными клубами и пр. В большинстве случаев эти идентичности без особого труда могут сосуществовать с национальной идентичностью, поскольку они касаются разных сторон социальной жизни. Однако в некоторых случаях они могут политизироваться и вступать в соревнование (делая это более или менее успешно) с национальными идентичностями. Кроме того, могут существовать идентичности более широкого охвата, чем национальные. В эпоху колониального империализма идентичность «белого человека», например, играла определенную роль в формировании солидарности между колониальными империями. Во время холодной войны противостояние советской империи подпитывало объединяющую «атлантический лагерь» «западную» идентичность [Bonnet 2004]. (При этом идея «Запада» существовала и ранее и играла важную роль, например, в культурном процессе в России на протяжении большей части XIX века).

Идея европейской идентичности не нова: она время от времени появлялась в интеллектуальном дискурсе при сравнении Европы с другими регионами, в частности, с Азией. Начиная с древнегреческих философов и заканчивая такими более поздними авторами, как Энеа Сильвио Пикколомини (Папа Пий II, 1405–1464 гг.), Никколо Макиавелли и Шарль Луи Монтескье вплоть до Карла Августа Виттфогеля (1957 г.), идея о том, что Европа (европейские государства и европейцы) отличается от Азии, аргументировалась верховенством в Европе права и личной свободы, в то время как Азия ассоциировалась с деспотизмом. Идея о существовании общеевропейской идентичности стала основанием для политических проектов интеграции европейских государств, которые высказывались в разное время разными учеными: от аббата де Сен-Пьер (1658–1743 гг.) до Джузеппе Мадзини (1805–1872 гг.) и Рихарда Куденхове-Калерги (1894–1972 гг.) с его панъевропейским движением.

Тема европейской идентичности приобрела более конкретные очертания после Второй мировой войны, когда появились (сначала в академической, а потом и в политической среде) проекты наднациональной организации, объединяющей европейские страны, и были созданы новые межнациональные / наднациональные структуры. Совет Европы (1949 г.), Европейское сообщество угля и стали (1951 г.) и Европейское экономическое сообщество (1956 г.) были первыми значимыми международными организациями, появившимися в результате реализации этих проектов. Одновременно с этим разделение Европы на два противостоящих военно-политических блока закрепило размежевание между двумя Европами: Западной и Восточной.

Хотя все эти организации в той или иной степени использовали тему европейской идентичности в качестве средства собственной легитимации, фактически они создавали различные (и в основном ограниченные по масштабу)

конфигурации Европы и способствовали появлению конкуренции между разными группами европейских стран. Как следствие, процесс европейской интеграции постоянно сопровождался вопросом о том, существует ли одна Европа, или же «Европ» несколько. В течение определенного времени существовала конкуренция между Европейским экономическим сообществом и Европейской ассоциацией свободной торговли, а также между Советом Европы и появившимися позднее структурами. Помимо того, что существовал феномен членства страны в одной, но не в другой, европейской организации, появлению разнообразной «европейской геометрии» способствовал тот факт, что степень интенсивности взаимодействий в рамках европейских организаций существенно различалась. Рост и трансформация Европейского экономического сообщества в Европейское сообщество и, наконец, в Европейский союз, при котором происходило значительное территориальное расширение и углубление функций и полномочий, сделало ЕС самой влиятельной европейской организацией, но при этом и относительно более эксклюзивной по сравнению с Советом Европы. Сегодня на Европейском континенте сосуществуют «малая» (но не такая уж малая, учитывая число стран-членов) Европа в рамках ЕС и «большая Европа», представленная Советом Европы.

Совет Европы, состоящий из 47 стран, сегодня воплощает самую широкую версию европейской идентичности. В эту организацию входят две большие страны — Россия и Турция, которые, отчасти ввиду общих и отчасти — разных причин, являются проблематичными с точки зрения их европейской идентичности. Значительные территории как России, так и Турции расположены в Азии, помимо этого Россия обладает статусом великой державы, а исламская идентичность и культура Турции отличают ее от остальной части Европы с преимущественно христианской культурой. Именно поэтому эти две страны с трудом подпадают под более узкую трактовку европейской идентичности.

Совет Европы полагает основанием общей европейской идентичности соблюдение прав человека, такой широкий универсалистский подход способствует включению более широкого круга стран. Европейский союз, напротив, со своей развитой системой институтов управления, большим объемом правил и норм (так называемых *acquis communautaire*) и строгими условиями для приобретения полноправного членства является более ограничительной версией Европы. Для того, чтобы стать членом ЕС, страна должна пройти обременительный и сложный процесс адаптации и гармонизации [Schimmelfennig, Sedelmeier 2004]. В то же время, ЕС способствует более интенсивному включению стран-членов в свою структуру. Это хорошо видно на примере развития идеи европейского гражданства, которая в конечном счете была реализована на практике в виде конкретных норм, что повлекло за собой расширение прав граждан [Cotta, Isernia 2009], открытие внутренних границ между европейскими странами и укрепление общих внешних рубежей. Увеличение степени интенсивности взаимодействий между странами — членами ЕС видно также на примере все еще ограниченных, но набирающих обороты общих механиз-

мов солидарности. Благодаря ЕС идея европейской идентичности обрела связь со структурированным политическим образованием [Laffan 2004]. Из опыта национального государства известно, что идентичность становится важным политическим фактором в том случае, если сильный государственный или негосударственный институт и / или актор могут и желают ее продвигать и развивать.

Без ответа остается «внешний» вопрос о соотношении между более узкой и более широкой и инклюзивной концепциями Европы. В этом контексте вопросы, связанные с отношениями между Россией и Европой, интересами России в Европе, и вопросы о положении Украины между ЕС и Россией сегодня особенно актуальны.

Помимо обозначенных выше существуют важные внутриевропейские проблемы, связанные с идентичностью. Первая важная проблема касается отношений между существующими хорошо укорененными национальными идентичностями и европейской идентичностью: совместима ли европейская идентичность с национальными, или же они находятся в конфликте? И, далее, обладает ли европейская идентичность такой же природой, что и национальные, и каково ее реальное содержание? Другие вопросы затрагивают ее вертикальную и горизонтальную проекции: европейские чувства идентичности одинаково свойственны всем 28 странам — членам ЕС, или же существуют значительные различия? Присуща ли европейская идентичность элитам и рядовым гражданам в равной степени? Все эти вопросы имеют как теоретическое, так и эмпирическое измерение.

Природа европейской идентичности активно обсуждается в научной литературе [Transnational Identities... 2004; Checkel, Katzenstein 2009; European Identity... 2009; Lucarelli, Cerutti, Schmidt 2010], в том числе в контексте выявления общего и особенного в европейской и национальной идентичностях [Delanty 1995; 2002; Castiglione 2009]. Здесь совмещается аналитический (анализ природы и оснований идентичностей) и нормативный подход (чем европейская идентичность должна или не должна являться), оценка ожиданий и опасений относительно возможного развития этого феномена. Во всех этих дискуссиях важное место занимает вопрос о том, обладает ли европейская идентичность теми же свойствами, что и национальная идентичность в прошлом (а также в менее выраженном виде — в настоящем), или же, напротив, у нее существенно иная природа [Eder 2009]. Первая точка зрения, которая предполагает всё нарастающее смешение этих двух идентичностей или же прямое столкновение между ними, часто разделяется (хотя и с прямо противоположными значениями) теми, кто выступает за развитие ЕС по федеративному пути, и теми, кто опасается появления европейского супер-государства. Придерживающиеся противоположной точки зрения утверждают, напротив, что европейская идентичность значительно отличается по своей природе от национальной идентичности, которая формировалась в качестве единой (и эксклюзивной) благодаря жесткой связи с феноменом суверенного государства в процессе его демократизации. Поэтому, принимая во внимание разную

природу процесса европейской интеграции, основанного на консенсусе стран-членов и на ограниченной передаче власти и полномочий центральным институтам, европейская идентичность обязательно должна иметь более «космополитический», открытый характер и менее ограничительную природу. В таком случае европейская идентичность была бы более совместима с национальными идентичностями, которые также становились бы в ходе развития интеграционных процессов более открытыми и гибкими. Этот новый тип идентичности не приводит к появлению таких форм сильной «привязанности» к наднациональному сообществу, как патриотизм, в той степени, в какой это было характерно прежде для национальных государств. Продуктом этой идентичности может быть гражданская форма конституционного патриотизма [Habermas 2003]. В этой связи встает важный эмпирический и теоретический вопрос о том, до какой степени комбинация ослабленных национальных идентичностей с «мягкой» европейской идентичностью может способствовать выработке эффективных скреп, которые могли бы поддержать работу интеграционного механизма, особенно в трудные времена?

Вопросы о европейской идентичности часто рассматриваются в тесной связи с проблемой демократического дефицита в ЕС, в частности, с так называемой проблемой европейского демоса. Каким образом ЕС может достичь удовлетворительного уровня демократичности, если не существует настоящего европейского демоса (как это и предполагается в контексте утверждения слабой европейской идентичности)? Эти сомнения, высказываемые многими критиками нынешнего состояния европроекта, действительно имеют весомые основания. Но кажущаяся неразрешимость этой проблемы должна быть переосмыслена с учетом того факта, что и в национальных государствах полноценный демос не существовал изначально, а сформировался в процессе демократизации [Weber 1976]. Интересным также является предложение о возможности появления в ЕС *демой-кратии* (от др.гр. δῆμοι — народы), то есть политического режима, основанного на признании множества демосов и идентичностей, которые входили бы в общее политическое образование, но при этом не становились бы одним демосом с общей идентичностью [Nikolaidis 2003; Cheneval, Lavenex, Schimmelfennig 2015].

Наряду с теоретическими дискуссиями существует значительный массив эмпирических исследований, посвященных разным аспектам европейской идентичности и использующих чрезвычайно богатый набор эмпирического материала Евробарометра¹ и других источников [The Europe... 2012; The Europeanization... 2012; European Identity... 2016]. Важнейший вопрос состоит в том, до какой степени институциональная «структура» ЕС и его регулирующие политики способствовали появлению у населения транснациональной политики общего чувства идентичности. Систематические исследования, проводимые в ЕС, показывают, что чувство идентификации с Европой разделяются большой долей европейского общества, хотя и с существенными вариациями

¹ Eurobarometer. URL: <http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/>.

в зависимости от стран-членов. В то же время очевидно, что эти чувства не вытесняют национальные идентичности, и нет признаков того, что это произойдет в обозримом будущем. Данные Евробарометра показывают, что идентификация исключительно с Европой свойственна только незначительному меньшинству граждан ЕС. Для большинства же европейская идентичность и национальная идентичность идут рука об руку. Более того, значительная часть населения (за последние двадцать лет эта цифра менялась в пределах от 33% до 46%)² привержена лишь национальной идентичности. Данные исследований также показывают, что чувства привязанности к Европе довольно разнообразны и в значительной степени менее теплые, чем чувства, которые человек испытывает к своей стране [Sanders, Bellucci, Toka, Torcal 2012; Cotta, Russo 2012]. Согласно имеющимся в распоряжении исследователей данным опросов, европейские политические и экономические элиты чувствуют себя гораздо большими европейцами, чем рядовые граждане ЕС [Fligstein 2008; Cotta, Russo 2012; The Europe... 2012; Sanders, Toka 2013]. Этот вывод не является неожиданностью: хорошо известно, что элиты в целом намного более готовы ассоциировать себя с большими сообществами [Gellner 1983]. То обстоятельство, что в продвижении процессов европейской интеграции основную роль играли представители элит [Haller 2008], а для широких слоев населения они до недавнего времени не были объектом пристального внимания, — еще один фактор, поддерживающий такое положение дел.

Вторая важная тема эмпирических исследований касается выявления факторов, объясняющих различия в идентификации с Европой, присущие населению разных стран — членов ЕС. Результаты недавних эмпирических исследований, использующих разные теоретические подходы, указывают на то, что ни личностные характеристики респондентов (пол или возраст), ни социально-структурные факторы (тип занятости или принадлежность к той или иной религии), ни макросоциальные показатели (например, вовлеченность в торговые связи или качество институтов управления в стране) не оказывают заметного влияния на европейскую идентичность. В свою очередь, ожидание выгод личного или общенационального характера, получаемых от членства в ЕС, доверие европейским институтам и другим европейцам, а также (в меньшей степени) факторы когнитивной мобилизации (уровень образования, политическая искушенность) являются самыми важными положительными детерминантами высокого уровня идентификации с Европой [Bellucci, Sanders, Serricchio 2012]. Из всех макроструктурных характеристик страны важным оказывается только коммунистическое (советское) прошлое данного общества — здесь замечена отрицательная корреляция с европейской идентичностью. Национальная идентификация, если она не принимает форму исключающей «других» и этнической идентичности, оказывает положительное воздействие на европейскую идентичность. Эти выводы, похоже, подтверждают, что процесс институционального строительства в ЕС оказал заметное воздействие на развитие

² Eurobarometer 40 years. URL: <http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/>.

общей европейской идентичности. Общеввропейские политики и программы, такие, как сельскохозяйственные субсидии, проекты европейских структурных фондов, программа Erasmus (хотя насчет последней высказываются сомнения [см. Wilson 2011]), воспринимаются большинством европейцев как несомненная выгода от членства в ЕС; вероятно, эти политики и программы сыграли положительную роль в формировании европейской идентичности. Наконец, выводы, которые можно сделать из эмпирических исследований, указывают на то, что (по крайней мере, в данный момент) европейская идентичность не противостоит национальной, но, скорее, является ее дополнением. Возможно, это связано с тем, что сегодня европейская идентичность не связывается с идеей единого европейского народа, а скорее предполагает наличие сообщества разных народов, вовлеченных в реализацию общего проекта [Westle, Segatti 2016].

Что же касается влияния европейской идентичности, эмпирические исследования показывают, что она в значительной степени способствует росту поддержки европейской интеграции, в то время как исключая национальная идентичность оказывает обратное воздействие на ее динамику [Bellucci, Serricchio 2016]. В то же время инструментальные факторы, такие, как восприятие выгод, следующих из членства страны в ЕС, играют еще большую роль. Кризис последних лет, а также обесценивание выгод от членства в ЕС привели к появлению серьезной озабоченности относительно будущего этого наднационального образования.

На основе все увеличивающегося числа эмпирических исследований, посвященных европейской идентичности, можно сделать следующие выводы. Сегодня европейская идентичность перестала быть только элитистским проектом, который существовал на протяжении последних веков в культурной и научной сфере. Строительство институтов ЕС (и, в меньшей степени, других интеграционных организаций) способствовало распространению европейской идентичности не только на уровне элит, но и на уровне обычных граждан. Расширение ЕС на значительную часть Европы и значительное углубление его функций привело к отождествлению европейской идентичности и идентификации с ЕС (по крайней мере в рамках границ этой организации). То обстоятельство, что ЕС не включает в себя (и, вероятно, не будет включать в обозримом будущем) ряд влиятельных государств, которые традиционно считаются европейскими, порождает некоторую двойственность и противоречия в концепте европейской идентичности. Эти проблемы не сильно беспокоят небольшие страны, расположенные в центре Европы, такие, как Швейцария или Норвегия, которые, хотя и решили остаться вне рамок ЕС, но приняли значительное число элементов экономической и правовой интеграции с Евросоюзом (более того, общественное мнение в значительной мере воспринимает эти страны в качестве членов ЕС)³. Проблемы существуют с большими странами на восточном рубеже ЕС — Турцией, Украиной

³ Eurobarometer 83. URL: <http://ec.europa.eu/COMFrontOffice/PublicOpinion/>.

и Россией. На кону не только вопросы идентичности, но и стратегического баланса сил. Для двух из этих стран — Турции и Украины — вопрос о присоединении к ЕС в той или иной степени обсуждается, хотя здесь существуют немалые проблемы. В случае России любая перспектива интеграции с ЕС отвергается как с той, так и с другой стороны, а взаимные отношения в настоящий момент не самые теплые. Вместе с тем вопрос о взаимодействии между ЕС и Россией имеет принципиально важное значение. Можно ожидать, что в ближайшем будущем будут сосуществовать две потенциально конкурирующие европейские идентичности: первая — жестко связанная с хорошо развитой политической системой ЕС, которая включает общие институты, общий процесс принятия решений, общие политики в разных сферах и т.д., и вторая — опирающаяся на культурную общность, некоторые общие ценности, традиции, но с менее определенной политической проекцией.

В отношении взаимодействия национальной и европейской идентичности можно заключить, что в рамках ЕС до сих пор они сосуществовали довольно мирно [Transnational Identities... 2004; Westle, Segatti 2016]. Европейская идентичность довольно распространена, но менее очевидна и внятна по сравнению с национальной и рассматривается, скорее, как ее дополнение, а не альтернатива [Westle, Segatti 2016]. Лишь небольшое меньшинство видит в европейской идентичности отторжение идентичности национальной. Однако критические ситуации, например, те, что возникли вследствие недавнего экономического и финансового кризиса, могут генерировать трения и противоречия между этими двумя идентичностями: националистические партии пытаются заработать на этом потенциальном антагонизме политический капитал. Будущее покажет, какие тренды возобладают.

Литература

- Bellucci P., Sanders D., Serricchio F. 2012. Explaining European Identity. — *The Europeanization of national Politics? Citizenship and Support in a Post-Enlargement Union* (ed. by D. Sanders, P. Bellucci, G. Toka, M. Torcal). Oxford: Oxford University Press. P. 61–90.
- Bonnet A. 2004. *The Idea of the West: Politics, Culture and History*. London: Palgrave Macmillan. 224 p.
- Castiglione D. 2009. Political Identity in a Community of Strangers. — *European Identity* (ed. by J.T. Checkel, P.J. Katzenstein). Cambridge: Cambridge University Press. P. 29–51.
- Chabod F. 1967. *Storia dell'idea di Europa*. Bari: Laterza. 204 p.
- Checkel J.T., Katzenstein P.J. 2009. The politicization of European identities. — *European Identity* (ed. by J.T. Checkel, P.J. Katzenstein). 2009. Cambridge: Cambridge University Press. P. 1–25.
- Cheneval F., Lavenex S., Schimmelfennig F. 2015. Demoi-cracy in the European Union: principles, institutions, policies. — *Journal of European Public Policy*. Vol. 22. № 1. P. 1–18.
- Cotta M., Isernia P. 2009. Citizenship in the European polity: questions and explorations. — *Institutional Challenges in Post-Constitutional Europe. Governing Change* (ed. by C. Moury, L. de Sousa). London: Routledge. P. 71–94.
- Cotta M., Russo F. 2012. Europe a la carte. European citizenship and its dimensions from the perspective point of national elites. — *The Europe of Elites. A Study into the Europeaness of Europe's Political and Economic Elites* (ed. by H. Best, G. Lengyel, L. Verzhicelli). Oxford: Oxford University Press. P. 14–42.

- Delanty G. 1995. *Inventing Europe: Idea, Identity, Reality*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire. London: Macmillan Press. 187 p.
- Delanty G. 2002. Models of European identity: Reconciling universalism and particularism. — *Perspectives on European Politics and Society*. Vol. 3. No. 3. P. 345–359.
- Eder K. 2009. A theory of collective identity: Making sense of the debate on a “European identity” — *European Journal of Social Theory*. Vol. 12. No. 4. P. 427–447.
- European Identity* (ed. by J.T. Checkel, P.J. Katzenstein). 2009. Cambridge: Cambridge University Press. 208 p.
- European Identity in the Context of National Identity. Questions of Identity in Sixteen European Countries in the Wake of the Financial Crisis of 2007 and 2009* (ed. by B. Westle, P. Segatti). 2016. Oxford: Oxford University Press. 384 p.
- Fligstein N. 2008. *Euro-clash. The EU, European Identity and the Future of Europe*. Oxford: Oxford University Press. 279 p.
- Gellner E. 1983. *Nations and Nationalism*. Ithaca: Cornell University Press. 150 p.
- Habermas J. 2003. Towards a cosmopolitan Europe. — *Journal of Democracy*. Vol. 14. No. 4. P. 86–100.
- Haller M. 2008. *European Integration as an Elite Process: The Failure of a Dream?* London: Routledge. 431 p.
- Laffan B. 2004. The European Union and its Institutions as “Identity Builders”. — *Transnational Identities: Becoming European in the EU* (ed. by R.K. Hermann, T. Risse, M.B. Brewer). Lanham, MD: Rowman & Littlefield. P. 75–96.
- Lucarelli S., Cerutti F., Schmidt V.A. 2010. *Debating Political Identity and Legitimacy in the European Union*. London: Routledge. 214 p.
- Nicolaidis K. 2003. Our European Demoi-crazy: Is this Constitution a Third Way for Europe? — *Whose Europe? National Models and the Constitution of the European Union. European Studies at Oxford Series* (ed. by K. Nikolaidis, S. Weatherill). Oxford: Oxford University Press. 154 p.
- Sanders D., Bellucci P., Toka G., Torcal M. 2012. Conceptualizing and Measuring European Citizenship and Engagement. — *The Europeanization of National Politics? Citizenship and Support in a Post-Enlargement Union* (ed. by D. Sanders, P. Bellucci, G. Toka, M. Torcal). Oxford: Oxford University Press. P. 17–38.
- Sanders D., Toka G. 2013. Is anyone listening? Mass and elite opinion cueing in the EU. — *Electoral Studies*. Vol. 32. No. 1. P. 13–25.
- Schimmelfennig F., Sedelmeier U. 2004. Governance by Conditionality: EU Rule Transfer to the Candidate Countries of Central and Eastern Europe. — *Journal of European Public Policy*. Vol. 11. No. 4. P. 669–687.
- The Europe of Elites. A Study into the Europeaness of Europe's Political and Economic Elites* (ed. by H. Best, G. Lengyel, L. Verzichelli). 2012. Oxford: Oxford University Press. 314 p.
- The Europeanization of National Politics? Citizenship and Support in a Post-Enlargement Union* (ed. by D. Sanders, P. Bellucci, G. Toka, M. Torcal). 2012. Oxford: Oxford University Press. Oxford: Oxford University Press. 308 p.
- Transnational Identities: Becoming European in the EU* (ed. by R.K. Hermann, T. Risse, M.B. Brewer). 2004. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. 320 p.
- Weber E. 1976. *Peasants into Frenchmen*. Stanford: Stanford University Press. 615 p.
- Westle B., Segatti P. 2016. Conclusions. — *European Identity in the Context of National Identity. Questions of Identity in Sixteen European Countries in the Wake of the Financial Crisis of 2007 and 2009* (ed. by B. Westle, P. Segatti). Oxford: Oxford University Press. P. 291–298.
- Wilson I. 2011. What Should We Expect of “Erasmus Generations”? — *Journal of Common Market Studies*. Vol. 49. No. 5. P. 1113–1140.
- Wittfogel K.A. 1957. *Oriental Despotism; a Comparative Study of Total Power*. New Haven: Yale University Press. 571 p.

Глава 18

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Е.В. Морозова

Ключевые слова: идентификационные признаки, иммиграция, фронтир, регионализм, «американское кредо», мультикультурализм, значимый Другой, североамериканская интеграция.

В научной литературе термин «североамериканская идентичность» чаще всего употребляется как синоним «американской идентичности», то есть речь идет исключительно о США¹. Вместе с тем на территории североамериканского континента вместе с прилежащими островами располагаются 23 независимых государства, отличающихся друг от друга историческим опытом, социокультурным ландшафтом, этническим и конфессиональным составом населения. В социальных науках выделилось такое междисциплинарное направление, как «североамериканские исследования» (North American studies), интегрирующие социально-экономические, политико-правовые, культурные, исторические и географические ракурсы развития континента.

Правомерно ли поднимать вопрос о существовании особой североамериканской цивилизационной идентичности? Как нам представляется, говорить об этом преждевременно, но анализировать видимые и латентные пока тенденции можно и нужно. Одно из трех крупнейших государств континента, Мексика, является ярким примером актуализации ибероамериканской идентичности — и в то же время ее участие в интеграционных североамериканских проектах и колоссальные миграционные потоки мексиканцев стали важным фактором динамики национальной идентичности США и Канады. Последние обладают не только рядом общих системообразующих факторов идентичности, но и значимыми особенностями, которые неоднократно становились предметом компаративных исследований политологов [Липсет 1994; Lipset 1990; см. также Токвиль 1992]. Концепт американской цивилизации разработан достаточно всесторонне [Бурстин 1993, Лернер 1992], в то время как

¹ Вспомним, что ранее (до середины XX века) в русском языке была принята аббревиатура САСШ — Северо-Американские Соединенные Штаты.

применительно к Канаде пишут о специфике, особом пути и т.д., но термин «цивилизация» практически не используется.

Сэмюэль Хантингтон считал, что Америка отличается от других народов и стран особой верой — «американским кредо»², которое порождено англо-протестантской культурой отцов-основателей. К ключевым элементам этого «кредо» он относил английский язык, десять евангелистских заповедей, англосаксонские представления о главенстве закона, правах личности и ответственности правителей, а также ценности протестантизма (индивидуализм, рабочая этика и убежденность в том, что люди могут и должны построить рай на земле). Из Лондона население Северной Америки стало видеться единым целым задолго до того, как сами колонисты осознали необходимость объединения. «Британцев тревожило целое, — цитирует Хантингтон Джона М. Муррина, — поскольку они не понимали деталей; они материализовали свои тревоги в совокупность, названную ими “Америкой”» [Huntington 2004: 179].

Иммиграция, фронтир, регионализм и феномен «островитянства» — эти четыре фактора оказали колоссальное влияние на формирование национальной идентичности в США и Канаде, обусловили известное типологическое сходство идентификационных признаков, связанное с процессами освоения континента.

Обе нации — американская и канадская — формировались как нации иммигрантов. Анализируя американскую иммиграцию, необходимо учитывать по крайней мере четыре основных миграционных потока — азиатский, африканский, англосаксонский и континентально европейский [Лернер 1992]. На протяжении почти всего периода существования США ассимиляция означала американизацию. Эти иммигранты жаждали стать американцами. Их целью было бегство во спасение, освобождение, ассимиляция. Нынешние иммигранты сильно отличаются от своих предшественников, они могут либо сохранить свою «исконную» культуру, либо приобщиться к какой-либо из множества существующих здесь субкультур, то есть ассимилироваться без усвоения стержневой культуры.

Говорят, что канадцы — единственный народ, который регулярно «вытягивает себя с корнями», чтобы убедиться в том, что они еще растут. Поколения канадцев объединяет чувство национальной неполноценности и связанный с ним поиск национальной идентичности [Зазнаев 2012: 227]. Этнические и территориальные идентичности в Канаде конкурируют с национальной, за-

² Термин «американское кредо» ввел в обиход будущий Нобелевский лауреат по экономике Гуннар Мюрдаль в своей книге 1944 года «Американская дилемма» [Myrdal 1944]. Указывая на расовую, этническую, географическую и экономическую гетерогенность Соединенных Штатов, Мюрдаль утверждал, что «американцы все же имеют нечто общее — социальный этос, политическое кредо», которое он и назвал «американским кредо». Этот термин со временем стал общепринятым для обозначения феномена, отмечавшегося и другими исследователями и выделявшегося как зарубежными, так и американскими учеными в качестве ключевого элемента национальной идентичности Америки, зачастую — единственного значимого детерминанта этой идентичности.

частую ослабляя ее. В стране проживают англофоны (примерно две трети населения), франкофоны (около 23%), а также 43 этнических группы с населением более 10 тыс. чел. [там же: 228]. Сильные этнотерриториальные (Квебек) и региональные (Альберта, Западная Колумбия, Ньюфаундленд) идентичности доминируют над национальной. Содержательное определение национальной идентичности канадцев дает Акт о политике мультикультурализма (Canadian Multiculturalism Act), в котором постановляется «считать мультикультурализм фундаментальной чертой канадского наследия и национальной идентичности, бесценным ресурсом формирования будущего Канады» [Головкина 2004: 44].

По мнению Чарльза Форана, главы Института канадского гражданства (Institute for Canadian Citizenship, ICC — организация, которая занимается вопросами ассимиляции новых граждан), Канада, возможно, сумела стать первой «постнациональной» страной в мире. Сегодня две трети ежегодного увеличения численности населения приходится на мигрантов, а к 2030 году, согласно оценке ICC, иммиграция будет обеспечивать прирост уже на 100%. Автор цитирует слова премьер-министра страны Джастина Трюдо: «В Канаде нет ключевой идентичности, нет мейнстрима. Есть общие ценности, такие, как открытость, уважение, сострадание, желание упорно работать, поддерживать друг друга, искать равенства и справедливости. Эти качества делают нас первым постнациональным государством» [Foran 2017]³. Тем самым признается приоритет гражданской идентичности над национальной, процесс формирования которой так и не был завершен.

Территория обоих государств осваивалась постепенно, фронтир означал границу освоения континента, которая непрерывно перемещалась в ходе территориальной экспансии. Американский историк Фредерик Дж. Тёрнер, предложивший концепцию фронта в научном контексте еще в середине XIX века, описывал состояние западного человека, который, оказавшись один на один с дикой природой, внезапно осознает себя в новой жизненной ситуации. Одежда индейца оказывается для него более комфортной и уместной, чем европейский костюм: «Дикая местность выводит колониста из железнодорожного вагона и сажает его в каноэ из березовой коры» [Тёрнер 2009: 117]. Если первые американские поселенцы действовали и мыслили как европейцы, то в результате приспособления к условиям пограничной жизни формировалось их национальное своеобразие. «В центре континента, — пишет Д. Бурстин, — сложился новый тип человека — *Homo Americanus* — определяемый, скорее, не столько средой обитания, сколько своей мобильностью... Новая порода людей, свободно ориентировавшихся в пространстве» [Бурстин 1993: 68]. Важным фактором креативности фронта было то, что потоки иммигрантов шли со всех концов света, и каждый приносил с собой нечто новое,

³ Foran Ch. *The Canada experiment: is this the world's first "postnational" country?* — URL: <https://www.theguardian.com/world/2017/jan/04/the-canada-experiment-is-this-the-worlds-first-postnational-country> (accessed 07.03.2016).

еще неизвестное другим. Происходил синтез социально-хозяйственного опыта, который становился основой дальнейших новаций. Ценности, события и герои фронта нашли отражение в американской топонимике [Павлюк 2007].

И США, и Канада отличаются ярко выраженной региональной гетерогенностью и на редкость ярким региональным самосознанием, которое проявляется во всем — от бытовых привычек до систем ценностей [Смирнягин 1989; Данилов, Черкасов 1987]. *Региональная идентичность* в США проявляется не только на уровне штатов, но и на более высоком субнациональном уровне макрорегионов: Северо-Восток, Средний Запад, Юг и Запад. Регионы, по мнению Лернера, выступают в качестве противовесов как стандарту, так и атомарным силам американской жизни, а региональные культуры являются носителями американского многообразия [Лернер 1992: 226–228]. Регионализм в Канаде выражен настолько, что некоторые современные географы даже ввели в употребление термин «канадское географическое противоречие». Канадская федерация является одной из самых децентрализованных в мире, в ее рамках развивается сразу несколько размежеваний: между Квебеком и остальными провинциями, между провинциями и центром, между западными и восточными провинциями [Морозова 1998: 151].

Когда мы говорим о феномене «островитянства», то имеем в виду существовавшую до эры глобализации отдаленность материка от других центров цивилизации, что порождало не только сложности с мобильностью и коммуникацией, но и определенное восприятие своей страны как безопасной территории, находящейся вдалеке от театров военных действий мировых войн, даже если страна является воюющей стороной. Эрозия этого феномена началась с Пёрл-Харбор и окончательно была подорвана событиями 11 сентября 2001 г., которые вынудили американцев осознать тот факт, что удаленность от «горячих точек» больше не является синонимом безопасности.

Вместе с тем схожесть идентификационных признаков отнюдь не означает общей, разделяемой народами обеих стран идентичности. Американская и канадская идентичности имеют отличающиеся алгоритмы формирования, неповторимые особенности и своеобразные векторы развития. Сеймур Липсет отмечает, что, в отличие от США, которые гордятся своими «революционными» истоками, канадские исторические основы — «антиреволюционные» [Lipset 1990: 204]. Канадское общество никогда не знало ассимиляции на основе четко определенного этнокультурного типа, в то время как в США на протяжении почти всей истории это был тип WASP (аббревиатура составлена из первых букв английских слов «белый, англосакс, протестант»). США и Канада демонстрируют различные подходы к восприятию автохтонных сообществ. «Большую часть своей истории американцы поработали и угнетали чернокожих, уничтожали и третировали индейцев, тиранили иммигрантов из Азии, враждовали с католиками, препятствовали иммиграции из стран за пределами северо-западной Европы», — пишет Хантингтон [Хантингтон 2004: 90]. К пониманию необходимости самоопределения коренного населе-

ния (индейцев, метисов и эскимосов) путем признания его прав и включения в процесс принятия государственных решений на различных уровнях, к процессу возврата земель аборигенным народам — и поныне являющейся важной проблемой политического регулирования — в Канаде пришли далеко не сразу, хотя договорные отношения с коренными народами здесь стали строиться еще до образования конфедерации в 1867 г. Для урегулирования вопросов отношений с коренными народами в 1880 г. в Канаде было создано Министерство по делам индейцев, существующее и поныне. В настоящее время, при сохранении договорного механизма как основного, созданы и некоторые механизмы самоуправления коренного населения страны. Венцом такого государственного подхода можно считать создание в 1999 г. территории Нунавут в рамках фактического самоопределения эскимосского (инуитского) населения Канады [Соколов 2002].

В Канаде более развиты ценности коллективизма и эгалитаризма, более выражена роль государства в общественных делах, что находит институализированное отражение, в частности, в структуре партийной системы (социалистическая по сути Новая демократическая партия Канады представлена в парламенте страны). Здесь более выражены горизонтальные связи социальной солидарности. В США индивидуализм пришел из пуританской традиции, определяющей значимыми ценностями предприимчивость и собственность. Дух индивидуализма пронизывает все американское общество. Страх перед тем, чтобы оказаться или прослыть «лузером», аутсайдером, несмотря на провозглашаемую толерантность, формируется у американцев еще в детском возрасте. Как считал американский философ Дж. Сантаяна, деньги в системе ценностей американцев — «это символ и критерий, которыми американец располагает для измерения успеха, интеллектуальной силы и власти» [цит. по: Фадеева 2000: 44]. При этом в обоих государствах происходит диффузия ценностей консьюмеризма в политическую сферу. Здесь, у первоисточков общества потребления, оно как нигде «возводит конформность в абсолют. Рефлексия и идейные убеждения замещаются рутинными процедурами выбора из “меню” готовых форм политического поведения» [Лапкин, Семененко 2013]. Политическое действие приобретает черты карнавализации, политические бренды вытесняют идеи, а технологии шоу-бизнеса превращаются в скрепы политической коммуникации. Съезд республиканцев или демократов в США, выстроенный по всем канонам шоу-бизнеса, — отменный образчик такой карнавализации. Партийно-политическая идентичность участников утверждается путем использования масок слонов или ослов, запускания воздушных шаров и других ритуальных действий из карнавального репертуара. Разрыв между реальной политикой и ее «гламурной» картинкой давно стал темой творчества американских кинематографистов (можно вспомнить такие известные фильмы, как «Хвост виляет собакой» Б. Левинсона или «Карточный домик» Дж. Фоули и др.).

Системообразующим компонентом идентичности США является мессианство, практически отсутствующее в структуре массовых политических ориен-

таций канадцев. В американских школах изучают и критически анализируют историческое понятие, введенное в XIX веке, — «предопределенная судьба» (*manifest destiny*). Оно послужило идеологической базой для войны с Мексикой в 1840-х годах, но и сейчас продолжает влиять на государственную идеологию США. «Предопределенная судьба» Америки подразумевала полный захват континента Соединенными Штатами. Предполагалось, что молодая американская нация: а) добродетельна в самом своем устройстве и идеалах; б) наделена миссией распространять это устройство и идеалы; в) самим Богом предназначена выполнять свою миссию [Санданов 2012]. Маркеры мессианства в различных формах — обязательный элемент публичного политического дискурса, без них не обходится ни одно выступление представителей политической элиты США. Американская идентичность имеет и ярко выраженный, в отличие от Канады, религиозный компонент. 85% населения считают себя религиозными, при этом 76% американцев являются христианами, 50% верят в Библию как источник истины [Castells 2009: XXI].

Символическая политика, как один из основных компонентов политики идентичности, через актуализацию символов разного рода формирует как общенациональную, так и региональные идентичности. Звездно-полосатый государственный флаг США, государственный гимн, здания Капитолия и Белого Дома, статуя Свободы, Лысый Орел (белоголовый орлан, *Haliaeetus leucoserphalus*), дядя Сэм — эти и другие символы поддерживают общее пространство символической политики. Но наряду с ними существуют и комплексы символов штатов, которые выступают узнаваемыми идентификаторами каждого из них как для местных жителей, так и для населения других штатов и страны в целом (например, арка в Сент-Луисе, Миссури или цветок персика в Джорджии, не говоря уже о «большом яблоке» (*The Big Apple*), с образом которого ассоциируется Нью-Йорк — «Город большого яблока»).

В обеих странах особое место в *политике идентичности* занимает *языковая политика*, но приоритеты в ней совершенно разные. Становление того варианта английского, который сейчас известен всем как *American English*, было важным шагом в утверждении национальной идентичности. Современная «битва за английский» есть фактически один из фронтов войны за американскую идентичность, на этом фронте решается, останутся ли США страной англоговорящего большинства. В Канаде же официально провозглашен принцип билингвизма. Парадоксально, но Канада от дуальной модели и двуязычия пришла к мультикультурализму, в то время как США движется от мультикультурализма к англо-латинской дуальности. Мексиканская иммиграция ведет к «демографической реконкисте» областей, захваченных Соединенными Штатами в 1830–1840-х годах, к распространению в США испанского языка и к утверждению социальных, культурных и лингвистических практик, характерных для испаноговорящих обществ. По оценкам социологов, к 2040 году численность латиносов возрастет до 25% всего населения США.

Мексика — единственная страна, у которой США, вторгнувшись в ее пределы, овладев ее столицей и разместив морских пехотинцев в «чертогах Мон-

тесумы», аннексировали половину территории. «Мексиканцы этого не забыли; вполне естественно, что они до сих пор считают земли перечисленных выше штатов своими. Поэтому американцам мексиканского происхождения присуще чувство нового освоения родной земли, отсутствующее у прочих иммигрантов» [Huntington 2004: 361]. В современный обиход вошли такие понятия, как «Мексамерика», «Амексика» и «Мексифорния». Журнал «Экономист» в 2000 году подсчитал, что население шести из двенадцати крупнейших городов Калифорнии на 90% состояло из Hispanics, в трех других Hispanics было 80%, в одном эта цифра варьировалась от 70 до 79% и лишь в двух (Сан-Диего и Юма) к Hispanics принадлежало менее половины населения. Очевидно, что «раздвоенная» Америка с двумя языками и двумя культурами будет коренным образом отличаться от Америки с единым языком и стержневой англо-протестантской культурой — Америки, просуществовавшей на Земле более трех столетий [ibidem].

Нельзя не упомянуть и еще об одном важном для характеристики североамериканской идентичности феномене: США, безусловно, являются «*значимым Другим*» как для Мексики, так и для Канады. Находясь по соседству, Канада постоянно испытывает влияние южного соседа. После окончания Гражданской войны газета «Чикаго трибьюн» писала: «Канадцы... пересидят в своих холодах несколько лет... но потом будут вынуждены постучаться, чтобы их приняли в состав великой республики» [Тишков 1977: 149]. Существует масса высказываний, в которых подчеркивается отсутствие уникальности как самой Канады («чердак США»), так и канадцев («бледная тень американцев») [Зазнаев 2012: 227]. Содержание мексиканской национальной идентичности вообще во многом определяется противопоставлением США, что вполне объяснимо ввиду того унижения и притеснения, которые Мексика испытывала неоднократно со стороны своего «северного соседа», а также ввиду господствующих в США взглядов на мексиканцев (как на незападный народ) и на принятую в их среде систему ценностей, прямо противоположную той, что свойственна американцам [Morris 1999]. При этом и для канадцев, и для мексиканцев США являются привлекательной страной для самореализации. О мексиканской иммиграции уже говорилось выше. Для Канады весьма актуальной в последние годы стала проблема «утечки мозгов»: выпускники канадских университетов предпочитают искать работу в США, где на первом рабочем месте им могут предложить зарплату на 25–30% выше, чем в собственной стране.

Безусловно, важную роль в развитии сотрудничества стран континента играют институты североамериканской интеграции. Ее олицетворением является Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), вступившее в силу в 1994 г. Совокупные параметры этого гигантского блока таковы: территория — 21,3 тыс. кв. км, численность населения — 444 млн человек, объем годового ВВП — свыше 17 трлн долл. США. Несмотря на название соглашения — «о свободной торговле», НАФТА представляет собой более широкую договоренность, поскольку включает некоторые положения, соответствующие

более высоким стадиям экономической интеграции. Эта модель отличается от европейской: ее главными особенностями являются высокий уровень достигнутой интеграции на основе крупномасштабного перелива капитала по каналам ТНК, сильно асимметричный характер отношений между США, Канадой и Мексикой и отсутствие развитой политической надстройки. Но есть и издержки как общего характера, так и особые для отдельных стран-членов. Общие издержки — это, прежде всего, асимметричный уровень экономической взаимозависимости, когда взаимные экономические связи наиболее развиты между США и Канадой, между США и Мексикой и наименее развиты между Мексикой и Канадой в силу исторически сложившихся условий [Костюнина 2015: 152]. При складывающемся едином экономическом пространстве контуры общего политического пространства (которое имеется в ЕС и поддерживается общими политическими институтами) даже не просматриваются.

Позволим себе достаточно смелое предположение, что североамериканцы находятся в начале пути от номинальной к реальной социальной общности. Каким будет самосознание такой общности, пока можно только предполагать. Наиболее вероятный сценарий развития данного процесса заключается в формировании гибридной североамериканской идентичности, сочетающей как общие черты, усиленные укреплением общего экономического пространства и трудовой миграцией, так и выраженные отличия, которые будут сохранять идентичности населения США, Канады и Мексики при возрастающей социокультурной фрагментации внутри каждой из стран. Общая идентичность может быть только сконструирована, а для этого необходимо наличие внятной политики идентичности и заинтересованных субъектов такой политики.

Литература

- Бурстин Д. 1993. *Американцы: национальный опыт*. М.: Прогресс. 619 с.
- Головкина О.В. 2004. Канадский мультикультурализм как основа национальной идентичности Канады. — *Вестник ВолГУ*. Сер. 4. Вып. 9. С. 44–53.
- Данилов С.Ю., Черкасов А.И. 1987. *12 лиц Канады*. М.: Мысль. 304 с.
- Зазнаев О.И. 2012. Канадская национальная идентичность: проблемы формирования. — *Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки*. Т. 154, кн. 1. С. 226–233.
- Костюнина Г.М. 2015. Североамериканская интеграция: 20 лет спустя. — *Вестник МГИМО-университета*. № 2. С. 152–162.
- Лапкин В.В., Семенов И.С. 2013. «Человек политический» перед вызовами «infomodernity». — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 64–81.
- Лернер М. 1992. *Развитие цивилизации в Америке. Образ жизни и мыслей в Соединенных Штатах сегодня*. В 2 т. Т. 1. М.: Радуга. 671 с.
- Липсет С. 1994. Роль политической культуры. — *Пределы власти*. № 2–3. С. 35–40.
- Морозова Е.В. 1998. *Региональная политическая культура*. Краснодар: Издательство КубГУ. 378 с.
- Павлюк С.Г. 2007. Топонимика графств США: Геокриптография идентичности. — *Известия РАН. Серия географическая*. № 1. С. 53–65.

- Санданов А. 2012. Нужная вещь. Что взял у вестерна постапокалипсис — и зачем? — *Искусство кино*. № 2. С. 142–151.
- Смирнягин Л.В. 1989. *Районы США: Портрет современной Америки*. М.: Мысль. 384 с.
- Соколов В.И. 2002. Коренное население Канады: этносоциальный профиль — *США–Канада: экономика, политика, культура*. № 5. С. 47–59.
- Тёрнер Ф.Дж. 2009. *Фронтир в американской истории*. М.: Весь Мир. 304 с.
- Тишков В.А. 1977. *Страна кленового листа: начало истории*. М.: Наука. 136 с.
- Токвиль А. 1992. *Демократия в Америке*. М.: Прогресс. 296 с.
- Фадеева Л.А. 2000. *Политическая культура*. Пермь: Пермский университет. 160 с.
- Хантингтон С. 2004. *Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности*. М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Транзиткнига». 635 с.
- Castells M. 2009. *The Power of Identity*. Malden (Ma), Oxford (UK), Chichester (UK): Wiley-Blackwell. 584 p.
- Huntington S.P. 2004. *Who Are We: The Challenges to America's National Identity*. New York, London, Toronto, Sydney: Simon & Schuster. 428 p.
- Lipset S.M. 1990. *Continental Divide: The Values and Institutions of the United States and Canada*. New York: Routledge. 352 p.
- Morris S.D. 1999. Reforming the nation: Mexican nationalism in the context. — *Latin American studies*. Cambridge. Vol. 31. P. 363–397.
- Myrdal G. 1944. *An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy*. New York: Harper & Bros. 1483 p.

Глава 19

ИБЕРОАМЕРИКАНСКАЯ
(ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ) ИДЕНТИЧНОСТЬ

И.Л. Прохоренко

Ключевые слова: постимперская идентичность, цивилизационная идентичность, раса, гибридная идентичность, североамериканская идентичность, политическое пространство, внешнеполитическая идентичность, образ страны, «мягкая сила» государства.

Ибероамерикой (ибероамериканскими странами) традиционно называют бывшие колонии в Латинской Америке, где государственными языками являются испанский и португальский. Часто к этому территориальному сообществу двадцати государств добавляют еще и иберийские страны — бывшие метрополии Испанию и Португалию. Иногда к ним причисляют также и Андорру, карликовое государство на границе Испании и Франции в Восточных Пиренеях, ассоциированное с этими двумя странами, официальный язык которого — каталанский из подгруппы иберо-романских языков (группы романских языков).

Понятие ибероамериканской идентичности, как следует из самого названия, делает акцент на двух компонентах идентичности — иберийском и автохтонном американском (индейском). Естественным образом возникает вопрос, являются ли эти компоненты единственными для характеристики латиноамериканской цивилизации или они главные, помимо прочих. Вероятно, именно акцент на иберийскую составляющую зародившейся на новых землях идентичности объясняет тот факт, что данное понятие используется в основном в работах испанских и латиноамериканских авторов [см., напр.: Elementos de análisis... 2007; The Europeanization... 2013]. Остальные предпочитают говорить об идентичности латиноамериканской или панамериканской (это касается североамериканских исследователей и публицистов), не просто отодвигая ибероамериканскую идентичность на второй план, а зачастую отрицая само ее существование [см., напр.: Latin American Identity... 1994]. Отчасти этому способствовало распространение в общественно-политической мысли Европы и Америки — с начала XVI века, со времени эпохи жесткой конкуренции ве-

ликих колониальных держав в соперничестве за территориальный раздел мира — «черной легенды», мифов об Испании как о стране реакционно-католической, оплоте инквизиции и об испанцах как безжалостных алчных конкистадорах, истребляющих завоеванные народы (см., напр.: [Troncoso García 2001; Vaca de Osma 2004; Vélez 2014]).

Изначально *ибероамериканская политическая идентичность* представляла собой комплекс индивидуальных и коллективных идейно-политических представлений, предпочтений и ориентаций жителей иберийских колоний в Новом Свете. Она зародилась в ходе иберийской конкисты и дальнейшей колонизации Латинской Америки и стала достаточно прочной в процессе политической коммуникации в рамках новых заимствованных (на иберийский лад) общественных отношений, которых не знали первобытные общества и раннеклассовые рабовладельческие деспотии доколумбовой Америки. Это происходило в ходе разрушения местных индейских культур и формирования новой — ибероамериканской в различных, но весьма схожих вариациях, в процессе взаимодействия индивидов и коллективных акторов с политическими и религиозными институтами колониального управления. Политическое взаимодействие колониальной бюрократии с индейским населением было организовано через авторитетных старейшин индейских общин (касигов). Историки расходятся во взглядах на то, существовал ли в Испанской Америке запрет на межрасовые контакты и межрасовые браки [см. напр.: Wade 2004: 355]. Вероятнее всего, подобные браки были отнюдь не редкостью в различных социальных группах колониального общества.

Считается, что коренное население в колониальный период сократилось на две трети или даже на три четверти: индейцев просто убивали колонизаторы, они гибли вследствие завезенных европейцами новых болезней и подневольного труда на плантациях и рудниках. По оценкам, с 1520-х по 1860-е годы в регион завезли около 10-12 млн чернокожих рабов, из которых примерно 40% были отправлены в Бразилию. После Войны за независимость начинается новая мощная волна европейского заселения континента (около 6 млн. с 1820 по 1930 годы), в основном из стран Южной Европы — Испании, Португалии, Италии [Шоню 2008: 47–52, 132–137; Посконина 2005]. Иммиграционные потоки переселенцев из Европы, а затем и из Восточной Азии, масштабный ввоз чернокожих рабов позволяют многим исследователям говорить скорее не о формировании ибероамериканской общности и идентичности, а о создании новой *латиноамериканской цивилизации* в различных ее страновых вариантах как продукте синтеза различных народов и культур Земли, который по сути не закончен и развивается по сию пору [см. напр.: Шемякин 1987; Зыкова и Бургете 1988]. Роль и значение привнесенного извне иберийского и традиционного индейского компонентов в этой уникальной цивилизации естественным образом менялись в различные исторические периоды для конкретных стран Ибероамерики и региона в целом.

Европейское, индейское, афро-американское и азиатское население Латинской Америки очень разнородно по своему составу и происхождению, к тому же

его расово-этническая структура имеет также внутрирегиональную и национальную (страновую) специфику, обусловленную историческими причинами. На сегодняшний день в регионе проживают примерно 826 индейских народов, говорящих на более чем 500 различных языках и диалектах [CEPAL 2013: 103], можно говорить о том, что региону и до появления европейцев были свойственны культурные гетерогенность и гибридность. Креольская элита также оказалась гибридной по своей сути. Феномен «креолизации» (складывающейся начиная с XVI века в процессе впитывания других ценностей и культурных норм в лингвистике, музыке, религии, гастрономии) нашел отражение в соответствующей концепции, а также в новых идентичностях, возникающих во взаимодействии разнородных культур в процессе колонизации. Автор концепции креолизации мартиникский литератор Эдуард Глиссан (1928–2011) следующим образом различал метизацию и креолизацию: результат креолизации непредсказуем, тогда как исход метизации легко определить [Glissant 1990: 30].

С начала становления независимых государств латиноамериканские политические элиты, которые представляли креольскую аристократию — потомков европейских переселенцев, похожих на европейцев физически и культурно, но фактически таковыми уже не являющихся, активно способствовали расовому смешению. В известном смысле потомки европейских колонизаторов считали политику метизации (букв. смешанные гены) предметом своей национальной гордости, отрицая рабство и прежнюю фактически кастовую, а не просто сословную, систему расовой иерархии в колониях. Тем самым они мифологизировали идею национального (гражданского) единства, предпочитая не упоминать о расовых и этнических различиях в официальных документах и политическом дискурсе.

Влияние подобного политического мифа оказалось наиболее серьезным там, где коренные жители составляли существенную долю населения — в Бразилии, Венесуэле, Мексике, Перу, Эквадоре, и было менее значительным в Аргентине, Коста-Рике, Уругвае, Чили. Безусловно, свою роль в приобщении индейцев к «цивилизации» играли мотивы экономического свойства — интересы капиталистического развития латиноамериканских стран и потребность в квалифицированной рабочей силе.

Впрочем, исход биологического смешения рас новые элиты Ибероамерики видели иначе, чем политические лидеры и идеологи на севере американского континента — в завоевавших независимость от Великобритании соседних Соединенных Штатах Америки, которые конституционно закрепили рабство, а значит, и принцип расового неравенства. Вплоть до конца 1960-х годов там существовал запрет на межрасовые браки (США продолжили в этом плане традиции Британской империи), а родившиеся в таких семьях дети считались черными [Racial and Ethnic Relations... 1998]. До недавнего времени такие браки не были культурной нормой, и относились к ним американцы в большинстве своем неодобрительно.

Метизация в Латинской Америке должна была происходить, напротив, в сторону «побеления» индейского и негритянского населения, а значит, «улуч-

шения расы» и создания, таким образом, новых латиноамериканских наций на принципах относительной расовой и этнической гомогенности подобно добавлению молока в кофе. Именно в таком духе, весьма своеобразно интерпретируя всю ту же европейскую идею господства высшей расы, рассуждал мексиканский мыслитель и общественный деятель Хосе Васконселос (1881–1959), оказавший огромное влияние на развитие латиноамериканской общественно-политической мысли. Доказывая возможность создания особой пятой интегральной *ибероамериканской расы* и латиноамериканца как носителя определенной идентичности, объединяющей в себе достоинства всех рас, Васконселос предлагал добиваться этой цели путем позитивистски ориентированного воспитания добродетельных граждан, ощущающих свои самобытность и неповторимость [см., напр.: Bernal González 2010]. Таким образом, противостояние и конфликт в рамках дихотомии Я — Другой в мультирасовых, многоэтнических и поликультурных обществах Латинской Америки предлагалось разрешить в основном путем ассимиляции Другого.

Формированию общей латиноамериканской идентичности способствовало стремление объединить независимые республики испанской Америки в макрорегиональном масштабе, которое наметилось в испанских колониях уже в ходе освободительной борьбы. Лидеры и идеологи движения за независимость — Симон Боливар, Франсиско де Миранда, Бернардо О’Хиггинс, Антонио Хосе де Сукре, Мигель Идальго-и-Костилья, Хосе де Сан Мартин — все они выступали сторонниками такого объединения. Достаточно вспомнить грандиозный проект одного из лидеров освободительного движения Франсиско де Миранды, предложившего в 1790 году создать единое государство на территории всего латиноамериканского региона — от реки Миссисипи на севере до мыса Горн на юге. Руководители войны за независимость не без основания опасались вмешательства в дела региона влиятельных иностранных держав. В этой связи, безусловно, показательным для них явился опыт соседних Соединенных Штатов Америки, сумевших создать единое государство и тем самым упрочить обретенную независимость.

Политическому объединению должны были содействовать территориальное соседство, общий для большинства стран язык (испанский и родственные ему — португальский), общая история (иберийская конкиста, колониальная эпоха, борьба за независимость), общая католическая религия. По сути дела, сам термин «Латинская» Америка как противовес Америке Северной, «англосаксонской», был предложен латиноамериканскими интеллектуалами и общественными деятелями (чилийским философом Франсиско Бильбао и колумбийским писателем Хосе Мариа Торрес Кайседо в середине XIX века). Император Франции Наполеон III лишь удачно использовал этот неологизм, пытаясь оправдать военную интервенцию в Мексику.

Идеи и настроения латиноамериканизма легли в основу политических проектов объединения бывших владений Испании в единое политическое пространство по типу унитарного или федеративного государства. Однако даже реализованные на практике некоторые из этих проектов не имели долговре-

менного успеха, уступив негативному влиянию как внутренних, так и внешних факторов. Так, по инициативе Симона Боливара, исповедовавшего идеи «освободительного испаноамериканизма», в 1826 году был созван Панамский конгресс, в котором приняли участие представители Великой Колумбии, Перу, Мексики, Федеральной республики Центральной Америки. Панамериканский конгресс можно рассматривать как первую попытку институционализации регионального взаимодействия перед лицом внешней угрозы — военной интервенции европейских держав. Но договориться о создании конфедеративного политического образования так и не удалось. Впрочем, и ратифицировала подписанные соглашения только Великая Колумбия, пост президента которой занимал сам Боливар.

Политическому объединению мешал рост центробежных настроений не только в регионе в целом, но и внутри молодых республик, а также в их отдельных провинциях. Этому способствовали длительные военные действия, серьезный экономический кризис, в котором оказались новые государства в период своего становления. Неустойчивость политического правления, нестабильная социально-экономическая ситуация в молодых латиноамериканских республиках являлись причиной частых государственных переворотов. Территориальные разногласия порой выливались в открытые вооруженные конфликты.

Значительное влияние имело и такое специфическое явление общественно-политической жизни в Латинской Америке, как каудильизм (от исп. *caudillo* — вождь, предводитель, глава). Исследователи склонны считать каудильизм образом жизни, который сформировался в колониальный период в Латинской Америке в силу распространения латифундий, имеющих неофеодалный характер, и сложившейся социальной структурой ибероамериканского общества.

В условиях полунатурального хозяйства естественное стремление латифундиста в колониальный период к обособлению своего пространства и максимальной независимости от центральных властей дополнилось в годы военных действий и послевоенной разрухи еще большей тягой к замкнутости, а также необходимостью для помещика создавать собственные вооруженные силы и зачастую самому становиться военачальником. Каудильо мог стать не просто крупный помещик, но и имеющий сторонников из числа родственников и земляков местный лидер, распространив свою личную власть за пределы «своей» территории поместья. Влиятельные провинциальные каудильо претендовали на лидерство в общенациональном масштабе, соперничая между собой, теряя и обретая сторонников в борьбе за обладание центральной властью, выстраивая иерархическую систему клиентелы. В итоге государственный каудильизм становится моделью социально-политической организации общества в молодых республиках, прежде всего бывшей Испанской Америки. Именно в этом видятся причины неудачи на пути объединительных тенденций в регионе.

Новая ибероамериканская идентичность сформировалась в колониальный период не только в землях Нового Света, но и в самих иберийских странах.

Можно с уверенностью сказать, что одним из решающих моментов в формировании испанского государства и испанской нации явился этап территориального расширения испанских владений в период империи (XVI–XVIII вв.), когда Испания, по словам испанского философа, историка и писателя Хулиана Мариаса, пыталась обрести себя как «сверхнацию» [Marías 1985: 58–60]. Именно контакт с внешним «неиберийским» миром (причем не просто контакт, а господство в этом мире) позволил жителям Полуострова ощутить себя единым целым и осознать свою неповторимость. «Выйдя за пределы Полуострова, иберийцы — кастильцы, каталонцы, галисийцы, эстремадурцы, анадальцы и другие, при контакте с иными народами ощутили себя как нечто единое, в то время как в период Реконкисты разделение шло по религиозному принципу — христиане и мавры, а в процессе конфронтации с центром акцент делался на принадлежность к историческим провинциям» [Пожарская 1984: 10].

Менялись представления иберийцев о себе и своем месте в мире, о статусе своей страны в мировом балансе сил, трансформировалась их внешнеполитическая идентичность. Соответственно претерпевали изменения образ и имидж Испании и Португалии в мире: из периферийных стран Европы, долгое время находившихся под властью мавров, они превращаются в могущественные мировые империи и переживают свой «золотой век» имперского величия.

Понятие ибероамериканской расы становится элементом национального сознания иберийцев. К примеру, в Испании День Расы 12 октября (сейчас государственный праздник носит название — День открытия Америки) и историческая фигура Христофора Колумба остаются национальными символами. Тему ибероамериканской идентичности активно использовали диктаторские и военно-монархические режимы в Испании (доктрина испанидад) и Португалии, праворадикальные и реакционно-католические круги, развивая идеи исключительности и мессианства иберийских стран.

В постфранкистский период понятие ибероамериканской идентичности приобретает новый смысл, что связано, с одной стороны, с попытками Испании и Португалии установить особые связи с бывшими колониями в Латинской Америке в условиях глобализации, транснационализации и развития интеграционных процессов в Европе, Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии, а с другой, — с заинтересованностью самих латиноамериканских стран в использовании во внешнеполитических целях в том числе и собственного ресурса постимперской идентичности.

Со времени вступления иберийских государств в Европейский союз (тогдашнее Европейское экономическое сообщество) в 1986 году Португалия и особенно быстро набирающая политический и экономический вес и авторитет Испания стремились играть роль «моста» между латиноамериканскими странами и европейским интеграционным объединением с опорой на постимперскую идентичность своих политических элит и рядовых граждан. Бывшие метрополии добились определенных успехов в развитии политического, внешнеторгового и инвестиционного сотрудничества с государствами

региона, в продвижении здесь своей модели мирного перехода от авторитарной диктатуры к демократии.

Можно с уверенностью считать успешным развиваемый Испанией и Португалией проект ибероамериканского политического пространства (ибероамериканского сообщества) [см., напр.: *Elementos de análisis...* 2007; Прохоренко 2012; Яковлев 2009]). Тем не менее попытки иберийских государств реконфигурировать пространство бывших колоний в новых исторических условиях, используя постимперскую идентичность как инструмент «мягкой силы» и конкурентной борьбы на международной арене, встречают недовольство и сопротивление как их коллег по Европейскому союзу, так и других ведущих мировых держав (США, Китая, Индии, Ирана), в свою очередь активно продвигающих идеи двусторонних и многосторонних соглашений и партнерств, прежде всего, в экономической сфере.

Идеи и концепции ибероамериканской (латиноамериканской) идентичности активно присутствуют в сегодняшнем политическом дискурсе в странах Латинской Америки, в центре которого проблема пересмотра модели зависимости и догоняющего развития региона, отказа от прежней схемы консервативной модернизации по западному образцу, поиска альтернативных путей социально-экономического и инновационного развития.

Литература

- Зыкова А.Б., Бургете Р. 1988. *Из истории философии Латинской Америки XX века*. М.: Наука. 287 с.
- Пожарская С.П. 1984. Особенности формирования национально-государственного комплекса на Пиренейском полуострове (на примере Испании). — *Проблемы испанской истории*. М.: Наука. С. 5–18.
- Посковина О.И. *История Латинской Америки (до XX века)*. М.: Весь Мир, 2005. 248 с.
- Прохоренко И.Л. 2012. Латинская Америка: опыт структурирования транснациональных политических пространств. — *Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика*. № 1. С. 124–154.
- Шемякин Я.Г. 1987. *Латинская Америка: традиции и современность*. М.: Наука. 192 с.
- Шоню П. *История Латинской Америки*. М.: Астрель: АСТ. 2008. 160 с.
- Яковлев П.П. 2009. Ибероамериканское сообщество наций: генезис, эволюция, перспективы. — *Латинская Америка в мировой политике (отв. ред. В.М. Давыдов)*. М.: Наука. С. 297–322.
- Bernal González M. del C. 2010. *La teoría pedagógica de José Vasconcelos*. México: Trillas. 99 p.
- CEPAL. 2013. *Naciones Unidas. Los Pueblos Indígenas en América Latina. Avances en el Último Decenio y Retos Pendientes para la Garantía de sus derechos. Síntesis*. P. 103. URL: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37050/S1420783_es.pdf?sequence=4 (accessed 10.05.2016).
- Elementos de análisis para la integración de un espacio iberoamericano: economía, política y derecho (by coord. D.C. Barrado, R.M.G. Morett)*. 2007. Universidad Juan Carlos I, Centro de Estudios de Iberoamerica; Universidad de Guadalajara (Mexico). Madrid, Mexico: Plaza y Valdés. 316 p.
- Glissant E. 1990. *Poétique de la Relation*. Paris: Gallimard. 248 p.
- Latin American Identity and Construction of Difference (ed. by A. Chanady)*. 1994. London, Minneapolis: University of Minnesota Press. 304 p.
- Marías J. 1985. *España ininteligible: Razón histórica de las Españas*. Madrid. P. 58–60.

Racial and Ethnic Relations in America (ed. by S.D. McLemore, H.D. Romo). 1998. Boston: Allyn & Bacon. 511 p.

The Europeanization of national foreign policies towards Latin America (ed. by L. Ruano). 2013. London, Abingdon (UK), New York: Routledge. 264 p.

Troncoso García J. *Enfatemática del antiespañolismo en los textos de historia en países europeos y americanos Ámbitos* [en línea] 2001, (enero-junio) : [Fecha de consulta: 18 de julio de 2016] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16800610>.

Vaca de Osma J.A. 2004. *El Imperio y la Leyenda Negra*. Madrid: Rialp. 248 p.

Vélez I. 2014. *Sobre la Leyenda Negra*. Madrid: Ediciones Encuentro. 328 p.

Wade P. 2004. Images of Latin America mestizaje and the politics of comparison. — *Bulletin of Latin American Research*. Vol. 23, No 3. P. 355–366.

Глава 20

КИТАЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО

А.В. Виноградов

Ключевые слова: китайская цивилизация, китайское государство, китайская идентичность, государственная бюрократия, институционализованный авторитаризм, модернизация.

С древности Китай воплощал высшие проявления самобытности, и в современном мире его отличия от других стран настолько велики и очевидны, что он по-прежнему служит непререкаемым эталоном своеобразия. Это восприятие связано не только с духовной культурой, уникальным языком, письменностью, философией и искусством, но и с непрерывной историей и принципами общественного и государственного устройства. Все это позволяет в отличие от большинства других стран мира сразу и безоговорочно воспринимать Китай как особую социально-историческую общность — цивилизацию. В то время как, говоря о других странах, в первую очередь, европейских, мы делаем акцент, как правило, на идентичностях другого порядка — национальных или государственных. По количеству и содержанию своих характеристик Китай, безусловно, претендует на нормативное представление о *цивилизационной идентичности*.

Согласно наиболее распространенным представлениям, человеческую цивилизацию создал труд — преобразование окружающей среды для создания «второй», искусственной природы. В основу этой классификации, таким образом, была положена материальная культура, уровень которой определяет степень развития общества в целом. В соответствии с другой точкой зрения главным отличием человека от животного мира стали нормы поведения, связанные с жизнью в коллективе, и особое мировосприятие, выросшее из осознания принадлежности к социальному миру. В фундаменте цивилизации, таким образом, лежат не материальное производство и экспансия, а культурные ограничения и нравственное совершенствование. На протяжении большей части известной истории ведущая роль в развитии сохранялась за духовной культурой, отличия в которой и служили главным критерием идентифи-

кации, проявлявшимся, прежде всего, в религии. Начиная с Нового времени быстрое развитие науки и техники изменило приоритеты. Следует, однако, подчеркнуть, что и европейский Модерн вырос из сформировавшегося в Средневековье религиозного стремления индивида уподобиться Богу и стать личностью, что стало фундаментом европейской рациональности. Политической и экономической формой бытия западного мира стала конкуренция индивидов, а его главными чертами — дискретность, агрессивность и рациональность.

Европейская цивилизация получила право на нормативность в силу решающих заслуг в переходе человечества к Современности. Следствием ее экономического и материально-технического превосходства, которое возникло в результате промышленной революции начала XX века (до этого лидером по уровню жизни и экономическому развитию был Китай [Кульпин 1990; Frank 1998]), стала универсализация других черт европейской культуры, в том числе политических институтов.

Появившись из хаоса, мир, чтобы не впасть в хаос снова, должен был искать стабильные формы существования, избирая для этого различные стратегии. *В отличие от европейской китайская цивилизация с самого начала ориентировалась на поиск свободных ниш, на построение гармоничных отношений с окружающей средой, постоянно приспосабливаясь к ней и избегая противоречий.* В традиционных китайских философских учениях человек был неотделим от природы, не покорял ее, а встраивался. Императивом бытия было совершенствование окружающего мира, а не его преобразование. Китайские религиозно-философские учения провозглашали целью не построение нового общества, наоборот, их идеалом было поклонение традиции и старине. «Я передаю, но не творю» (Конфуций) [Лунь Юй 2007: 32].

Главной сферой жизнедеятельности считалось сельское хозяйство, эффективность которого в китайских условиях зависела исключительно от количества вложенного живого труда, а не от совершенствования техники и технологий. Достигнутый при определенном сочетании факторов производства предел производительности труда положил конец эволюции аграрного производства, сохранившегося практически в неизменном виде до середины XX века.

Конфуцианство, ставшее официальной государственной идеологией, главной задачей считало сохранение традиционных, общинных отношений. Семья и община, а не индивиды и классы оставались важнейшими общественными институтами, отношения внутри и между которыми регулировались принципом сыновней почтительности (сяо). Положение человека по-прежнему определялось принадлежностью к родственным коллективам и долгом перед ними. Поэтому «долг» и «справедливость» в Китае тождественны и обозначаются одним иероглифом, в то время как в европейском обществе справедливость неотделима от равенства, воплощающего божественную природу каждого человека. Незрелость других политических субъектов укрепляла монополию государства на власть, а отсутствие политической конкуренции не требовало демократических форм организации политического процесса и разделения властей.

Осуществление государственных функций было возложено на чиновников, которые в своей деятельности руководствовались, в первую очередь, нравственными принципами, свойственными общинным отношениям, а не унифицирующими нормами закона. Неотчужденность общественных отношений привела к тому, что и в императорском Китае по-прежнему правил человек, а не закон. Бюрократический класс слился с государством, образовав феномен класс-государство [История Китая... 2015: 388]. Одним из наиболее важных инструментов формирования такого механизма стала экзаменационная система, воспроизводившая принципы политического управления на самом фундаментальном уровне — уровне каждого государственного чиновника.

Возникавшие в обществе потенциальные угрозы, способные разрушить сложившуюся культурную матрицу, отторгались внутренне сбалансированной традицией государственного управления, сопровождавшейся ростом населения и демографической инерции. Все это предопределило отсутствие в Китае видимых (с точки зрения европейцев) социально-политических изменений. По словам Г.В.Ф. Гегеля, в Китае «нет истории» [Гегель 1993: 159]. Высокий уровень развития, достигнутый Китаем уже на относительно ранних стадиях, был связан с его способностью поддерживать стабильность, противостоять давлению внешней среды и переменам; чем длительней был период позитивного развития, тем больших высот в материальной и духовной культуре он достигал. Важным следствием непрерывности и преемственности стало превосходство китайской культуры, позволившее ассимилировать даже завоевателей. Однако ценой такого типа развития стало не просто снижение темпов, но и иное качество развития, которое направляло китайскую историю в русло не глубокого и всестороннего преобразования, а бесконечного совершенствования. *Цивилизация в итоге набрала огромную инерцию и уже не могла самостоятельно перейти на новый технологический уровень и к новой социальной организации.*

Европа научилась придавать разрушительным импульсам позитивное содержание и превращать кризисы в фактор развития, использовать их для сброса негативной инерции и первая институализировала эту способность в политических и экономических механизмах — демократии и рынке. Открыв новый способ исторического движения — делая выбор в пользу перспективы и отбрасывая устаревшее, — Европа ускорила свое развитие. Но, освобождаясь от инерции, она одновременно все больше удалялась от первоначальной, естественной гармонии. На несколько столетий скорость стала важнейшим показателем успеха, превратив Западную Европу в мирового лидера.

В Китае государство строго контролировало все сферы общественной жизни, ремесло и торговлю, у индивида не было возможности выйти из существующей системы общественно-экономических отношений. Результатом этого стало позднее появление в Китае индивидуального хозяйства, а частной собственности на землю в Китае так никогда и не сложилось (см.: [Меликсетов 1977: 9; Мугрузин 1994]).

Строгая регламентация хозяйственной жизни, создание удобных транспортных артерий и формирование внутреннего рынка способствовали высо-

кому уровню развития ремесел и росту городов, которые в отличие от Европы являлись прежде всего административными центрами, не получили экономических и политических свобод и не стали самостоятельными точками роста. В частности, поэтому до начала XXI века Китай оставался преимущественно аграрным обществом, так и не став урбанистическим. Центральной ролью государства было обусловлено раннее появление в Китае книгопечатания, бумажных денег, крупнотоннажного морского флота и т.д. Однако государство, способствуя бесконечному совершенствованию ремесленной продукции, не позволяло производителям выйти за строго очерченные рамки, ограничив пространство инноваций узким и консервативным социальным заказом. Важную роль в этом играли чиновники, лично определявшие полезность того или иного изобретения. Поэтому авторство большинства китайских изобретений связано с именами высокопоставленных чиновников, первыми увидевших и оценивших новшество (бумага, порох и т.д.). Сформировавшийся в Китае общественный строй был основан на всеобъемлющей ответственности государства за все аспекты развития, поэтому и наибольшую угрозу для него представляло нравственное разложение бюрократического аппарата. Социально-экономический эквивалент такого государства получил название азиатского способа производства [Виноградов 2009].

Постоянство определило неприспособленность китайской цивилизации к взрывным изменениям. *Ею не были сформированы механизмы адаптации к кардинальным переменам, которые воспринимались как разрушение; наоборот, развитие получили инструменты реконструкции и восстановления. Китай стремился к гармонии и на пути к ней не делал выбор, отбрасывая устаревшее, но взамен получал возможность достраивать.*

Китайская цивилизация выработала свой тип развития, свойственный традиционному аграрному обществу — принципиальную, философско-этически обоснованную эволюционность, позволявшую избегать революций и поэтому неизбежно циклическую. Основными чертами китайской цивилизации стали преемственность, коллективизм, гармония, достоинства которых, однако, померкли в динамичном мире. Китай оказался бессильным перед теми, кто научился использовать перемены и достиг технического превосходства.

Такое несовпадение мировосприятий и мироустроительных функций Запада и Китая давало основание каждой из сторон квалифицировать другую как варварскую. «Известно, что по нраву своему варвары ненасытны. В своем продвижении вперед они никогда не удовлетворяются достигнутым и всегда стремятся продвинуться еще дальше» [Избранные произведения... 1961: 63].

В результате сформировались две целостных стратегии развития: одна — динамичная, преобразующая природу и создавшая индустриальную цивилизацию, другая — инертная, встраивающаяся в природу и сохранившая аграрный характер. В основе китайской стратегии лежало государство как единое консолидирующее начало, выработавшее особую культуру управления, нашедшую продолжение в обществе, а не общество, постоянно пребывавшее в хаотическом, неупорядоченном движении и неизбежно вырывавшееся

за существующие рамки. Дискретность Запада превратилась в мощный фактор роста и развития. Конкуренция привела к появлению мира, ориентированного на эффективное использование ресурсов, массовость и внешнюю экспансию. Сформировавшаяся в Европе общественная система нашла средства поддержания стабильности в динамизме, находя асимметричные ответы на вызовы, не отвергая, а интегрируя изменения. Авторитарная, бюрократическая система в Китае всеми силами строго противостояла вызовам, сдерживая рост их числа и укрепляя государственные институты. Выбору этой стратегии способствовало то, что в отличие от европейской китайская цивилизация на протяжении длительного времени не испытывала серьезной конкуренции со стороны своих соседей и, однажды конституировавшись, выступала бессменным лидером региона. В основе внешней политики цивилизации лежала не экспансия во внешний мир, а ограничения и всесторонний контроль за их соблюдением. На разных этапах проявлением этой политики стало строительство Великой китайской стены, а почти через 2 тыс. лет уничтожение морского флота Чжэн Хэ, за много лет до Колумба совершившего первое трансокеанское плавание к берегам Восточной Африки.

Свобода как признание субъектности каждого индивида стала высшей ценностью западного мира, в то время как в Китае такой ценностью оставалось строгое следование предписанному порядку — ритуалу.

С первой половины XIX века все развитие китайской цивилизации стало протекать под влиянием материально-технического превосходства Запада, которое в корне нарушило привычный порядок вещей. При соприкосновении с ним Китай не смог найти силы для противодействия экспансии принципиально иной культурной среды. Только после крушения Цинской империи появилось политическое пространство, способное генерировать необходимый преобразовательный импульс. Но и после 1911 г. все утверждавшиеся во власти политические силы отчасти воспроизводили архетип императорской модели управления, оказавшись не в состоянии вырваться за пределы тысячелетиями отлаженного механизма. Не стали исключением даже первые успехи социалистических преобразований после 1949 года, которые способствовали усилению бюрократизма и возрождению прежнего механизма государственного управления. Надо сказать, что этому способствовала и сама высокоцентрализованная, плановая модель социализма, близкая китайской традиции государства и в немалой степени поэтому заимствованная китайскими коммунистами.

Последней попыткой преодолеть цивилизационную инерцию стала «культурная революция», поколебавшая нравственные устои китайского общества и подготовившая почву для начала рыночных реформ, в ходе которых впервые в китайской истории приоритет был отдан материальным ориентирам, а для их достижения были заимствованы рыночные методы ведения хозяйства и западные технологии. Реформы Дэн Сяопина, в самом начале провозгласившего «пусть часть людей и регионов обогащается первыми», вышли за рамки цивилизационной традиции и допустили личную инициативу в кон-

текст традиционной культуры. Механизмы конкуренции дали простор для инициативы внизу при сохранении жесткой централизованной власти в экономике и политике наверху.

Этот очевидный отход от конфуцианской традиции, измерявшей общественное развитие нравственными категориями, может считаться завершением кризиса китайской цивилизации, положившим начало переходу от противостояния традиций и современности к их синтезу. В ходе его конфликт иностранного и китайского был нейтрализован в концепции «социализма с китайской спецификой», преодолевшей идеологическую и экономическую несовместимость капитализма и социализма. Решение отказаться от конфронтационности с внешним миром заставило Китай принять основные принципы его организации. Внешний мир увлек массы китайского населения в свой динамичный поток, превратив их в экономическое преимущество, обеспечившее высокие темпы роста. Динамизм в экономике постепенно стал проникать во все сферы жизни общества, дав основание полагать, что процесс цивилизационных изменений может на этом не завершиться.

В этих условиях Китай мог противопоставить либерально-рыночной модели глобализации только укрепление своей цивилизационной основы, государства. Этот процесс начался с подготовки и повышения профессионального уровня высшего руководства и государственных чиновников. Для успеха модернизации необходимо было обеспечить устойчивость поступательному движению, т.е. создать такой механизм власти, который способствовал бы сохранению динамизма и минимизировал просчеты. За 30 лет китайская авторитарная система была институционализована и за счет этого избавлена от большинства недостатков автократического правления. Ее основными элементами стали подготовка и периодическая смена нового поколения руководителей, распределение власти между поколениями и внутри действующего руководства, преемственность идеологических символов. Во всех этих механизмах прослеживается несомненное влияние конфуцианских традиций. Таким образом, был найден способ воспроизводства эффективного, реагирующего на возникающие внешние и внутренние вызовы государства, сохранившего свою центральную роль. Ядром этой системы государственного управления вновь стали чиновники, модернизированный бюрократический класс, поделенный на поколения и поэтому более чуткий и восприимчивый к изменениям [Виноградов 2012].

Институционализация авторитаризма предполагала увеличение роли закона, и в 1999 году в Конституцию КНР было внесено положение об управлении на основе закона и о правовом государстве. Но продекларированные законодательные ограничения не изменили положения, в Китае по-прежнему правит человек, а не закон. Предопределено это как центральной ролью КПК в политической системе, при которой партийные решения всегда выше закона, так и функциями закона в государственном управлении, нормы которого часто сформулированы нечетко, допускают и предполагают широкое толкование, узаконены значительные территориальные отличия в правоприменении.

Китай подтвердил, что целью модернизации является не приближение к современному западному обществу, а сохранение своей идентичности и интеграция ее в современность [Китайская цивилизация... 2014]. В процессе реализации этой цели произошел отказ от революционного радикализма, связанного с обратимостью, в пользу постепенного, эволюционного развития, связанного с сохранением и достраиванием. Приведя общество в движение, китайское руководство смогло найти политические механизмы, обеспечивавшие стабильность и плановость преобразований. Этот механизм получил на Западе наименование «пекинского консенсуса» или «авторитарного капитализма», который стал рассматриваться как серьезный вызов западной модели развития [Виноградов 2008].

На рубеже XX–XXI веков Китай выполнил важнейшее условие своего возрождения — прорвал историческую и пространственную изолированность и встроился в современный мир, став его частью. Подтвердив свои адаптационные свойства, он дал мощный, но все же симметричный ответ на вызовы внешнего мира. До самого последнего времени пространство китайской экспансии было ограничено направлением и глубиной западного проникновения, т.е. имело преимущественно глобальный экономический характер. И только недавно оно получило измерение «мягкой силы», символизировавшее возвращение Китая к своему цивилизационному архетипу. Успехи модернизации, подтвердившие жизнеспособность китайской цивилизации, одновременно породили несколько серьезных вызовов, которые могут распространить процесс цивилизационной трансформации на самый фундаментальный уровень, превратившись в новые шансы для развития, а могут до неузнаваемости деформировать ее основы и положить начало новому направлению ее развития.

Речь, в первую очередь, идет о китайском обществе. Современность внесла в сельское хозяйство новые технологии, высвободив значительные массы живого труда. Доступ к интеллектуальным и природным ресурсам внешнего мира позволил Китаю соединить рабочую силу с высоко технологичными отраслями современного производства, превратив его в ведущую экономическую державу. Однако с быстрым экономическим ростом неразрывно связаны все центральные проблемы его развития. Решая задачи по повышению уровня жизни, Китай в начале реформ пошел на ограничение численности населения. Политика «одна семья — один ребенок» изменила пропорции старших и младших, лежавшие в основе традиционного конфуцианского общества. Реформы привели к изменению социальной структуры и на протяжении жизни одного поколения превратили китайское общество из сельского в городское, урбанистическое. Возросшая региональная мобильность — численность крестьян, переехавших на заработки в города, составляет более 200 млн человек, разрыв земляческих и родственных связей на фоне распространения рыночных отношений разрушают социальную базу традиционной конфуцианской идеологии.

Китайская цивилизация восприняла универсальные экономические ценности, но пока гораздо более инертна к воздействию духовной и политической культуры Запада. Однако даже то, что уже произошло, изменило про-

порции и формы взаимодействия материальной и духовной культуры, сочетание которых на протяжении всей истории определяло своеобразие китайской цивилизации.

Однако окончательно оценивать результаты китайских реформ преждевременно, сегодня можно говорить только о трансформирующейся *китайской идентичности*, но говорить об устойчивом результате этой трансформации пока не приходится. Для цивилизационного синтеза нужно множество элементов, каждый из которых является и инструментом развития, и инструментом поддержания стабильности. Принято считать, что Европа является синтезом трех начал — греческого логоса, римского права и иудео-христианской религиозности. Китай, по аналогии, можно описать как синтез универсальной научной методологии и принципов конфуцианской культуры государственного управления. На сегодняшний день можно утверждать, что из трех начал Китай не изменил традиции государственного управления и пытается сохранить верность идеалам гармонии. Более того, после фазы активных рыночных преобразований вновь наблюдается повышение регулирующей и контролирующей роли государства, в том числе усиление борьбы с коррупцией. Оказалось, что созданная КПК система государственного управления в основных чертах повторяет конфуцианскую модель, компартия осуществляет руководящую роль через кадровую политику, назначая на все ключевые посты своих членов. Административно-бюрократическая система, созданная в традиционном Китае, таким образом, подтверждает свою эффективность и для реализации новой государственной идеологии, ориентированной уже на изменения.

Китайская культура и цивилизация оказали определяющее влияние на страны конфуцианского культурного ареала. Пережив так же, как Китай, с середины XIX века мощное воздействие Запада, почти все они сохранили характерные черты и особенности своей духовной культуры и политического устройства, в которых также легко проследить влияние китайских традиций. Все это, безусловно, может свидетельствовать о том, что восточноазиатская идентичность сохраняется и неизбежно сохранится в длительной исторической перспективе.

Литература

- Виноградов А.В. 2008. *Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности*. М.: НОФМО. 363 с.
- Виноградов А.В. 2009. Преемственность и инновации. (О роли китайской цивилизации). — *Альманах. «Форум-2009». Цивилизационные и национальные проблемы*. М.: ИЕ РАН; ИНИОН РАН. С. 36–63.
- Виноградов А.В. 2012. Политическая модернизация: проблемы институализации в Китае и России. — *Вестник Санкт-Петербургского Государственного Университета. Серия 6. Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения*. № 2. С. 66–77.
- Гегель Г.В.Ф. 1993. *Лекции по философии истории*. СПб.: Наука. 479 с.
- Избранные произведения прогрессивных китайских мыслителей нового времени (1840–1898)*. 1961. М.: Изд-во АН СССР. 299 с.

История Китая с древнейших времен до начала XXI века. В 10 томах. Т. 6. Династия Цин (1644–1911) (отв. ред. О.Е. Непомнин). 2015. М.: Восточная литература. 887 с.

Китайская цивилизация в глобализирующемся мире. В 2-х томах. Т. 1 (отв. ред. В.Г. Хорос). 2014. М.: ИМЭМО. 203 с.

Кульпин Э.С. 1990. *Человек и природа в Китае*. М.: Наука. 248 с.

Лунь Юй. XI, 3. 2007. Цит. по Переломов Л.С. *Конфуцианство и современный стратегический курс КНР*. М.: Издательство ЛКИ. 256 с.

Меликсетов А.В. 1977. *Социально-экономическая политика Гоминьдана. 1927–1949*. М.: Наука. 316 с.

Мугрузин А.С. 1994. *Аграрно-крестьянская проблема в Китае в первой половине XX в.* М.: Наука. 283 с.

Frank A.G. 1998. *ReOrient: Global Economy in the Asian Age*. Berkeley: University of California Press. 352 p.

Глава 21
ИНДИЯ:
СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

А.Г. Володин

Ключевые слова: Индия, федерализм, демократия, регион, каста, индуизм, политические партии, партийно-политическая система, политическая идентичность, национальная идентичность, кастовая идентичность.

Политическая идентичность Индии — явление многомерное и многоаспектное. Формируется она под определяющим влиянием факторов, которые в недалеком прошлом принято было именовать надстроечными. В этой стране более 60 лет устойчиво функционируют институты политического представительства. Еще в недрах Британского Раджа начала развиваться партийно-политическая система. Выборы проходят регулярно, и их результат адекватно отражает сдвиги в расстановке социально-политических сил в обществе. Можно утверждать, что *формирование общеиндийской идентичности проходило и проходит под определяющим влиянием двух макропроцессов: движения за суверенитет и институционализации федерализма.*

Нередко приходится сталкиваться с предположением: Индия — это не совсем «традиционное» восточное общество (в его исконном понимании), и в основе его внутренней организации кроется некая «загадка». И разгадать ее можно, только если спуститься на нижний «этаж» индийской истории, в ее классический, или доколониальный период.

Генетические характеристики индийской / южноазиатской цивилизации отличались от аналогичных черт других доиндустриальных древневосточных обществ (например, китайского). Строго говоря, древнеиндийское государство и его восприемники в Средние века имели слабо централизованный характер. Обратив внимание на эту особенность развития индийской государственности, российский историк Д.Н. Лелюхин сформулировал тезис о межгосударственном союзе (т.е. конфедерации, пользуясь современной терминологией) как основе социально-политического бытия Индостана в классический период [Государство... 2001; Лелюхин 2009].

Полицентричность социальной структуры общества, плюралистический характер религиозно-культурных систем на территории полуострова — эти обстоятельства стимулировали определенный динамизм общественных отношений, которому, разумеется, противостояла инерция традиционных институциональных «матриц» классического индийского общества. Помимо этого, стимуляторами социально-экономической жизни выступали различные виды коммерческой деятельности, способствовавшие появлению «новых людей» — торговцев и предпринимателей. Наконец, наличие развитой духовно-интеллектуальной (брахманической) традиции «подталкивало» к формированию среды, благоприятной для восходящего развития общества.

Колониальный период в жизни Индии был отмечен постепенным превращением субконтинента в территориальную целостность, хотя более 20% индоостанского пространства по-прежнему находилось под политико-экономическим контролем сил традиционного типа — князей и ассоциированных с ними элементов доиндустриальной социальной структуры. В колониальное индийское общество начали проникать идеи Ренессанса и Просвещения, хотя их основными потребителями, конечно же, выступала интеллектуальная элита и культурно тяготевшие к ней группы. Во второй половине XIX века под влиянием потребностей колониально-капиталистического развития начались институционально-правовые преобразования, преследовавшие цель рационализировать управление Индией, сделать имперскую политику Великобритании в Южной Азии предсказуемой и «легитимной» в глазах населения субконтинента. Логика индустриально-капиталистического развития (хотя и имевшего анклавный характер) стимулировала становление современных слоев общества, прежде всего, среднего класса. Эта общность, социально расширяясь и интеллектуально взрослея, постепенно превращалась в массовую основу национального движения и политики. Можно без преувеличения сказать: ко второй половине 1930-х годов, когда был введен в действие Закон об управлении Индией, на индоостанском субконтиненте было создано современное государство со всеми подобающими такому образованию политическими и правовыми атрибутами. Хотя это государство было вынуждено функционировать преимущественно в традиционной социально-культурной среде, однако именно оно составило институциональный каркас и превратилось в движущую силу современного политического процесса. Более того, буржуазно-колониальное государство объективно приняло на себя функции стимулятора, постоянно «подтягивавшего» социальную структуру к уровню, необходимому для жизнедеятельности «нормального» правового режима. По определению этот процесс не мог не быть долгим и противоречивым, а его смыслом и содержанием стало преодоление проблем и противоречий, оставшихся в наследство от предшествующих исторических эпох.

Можно утверждать, что основным элементом колониального наследия было общество поляризованного типа, сосуществование двух стадийно различных систем производительных сил (натурально-традиционной и индустриальной), двух культурно-мировоззренческих комплексов, двух принципиально

несходных поведенческих моделей. Эти системы задавали качественно особые параметры функционированию политической системы, определяли «коридор возможностей» для всех участников политического процесса.

Незавершенность перехода индийского общества к индустриальным типам хозяйственной деятельности четко просматривалась в сфере политических отношений, испытывавшей на себе сильное влияние традиционализма, и, в частности, кастовой системы. Как известно, в Индии каста¹ приобрела социально-экономическое (формы разделения труда внутри социума), культурно-психологическое (духовные опоры массовых слоев населения в переживающем «стрессы модернизации» обществе) и политическое (включение не подготовленных логикой предшествовавшего развития граждан в современные процессы) измерения, синхронно взаимодействующие и образующие сложную (порой эклектичную) и динамичную жизнь «страны-цивилизации». Кастовая идентичность и сегодня остается значимым регулирующим механизмом общественной жизни. Жизнеспособность данного конструкта напрямую зависит от сохраняющегося влияния кастовой системы на материальные и духовные основы жизни индийского общественного макроорганизма. Кастовая система с самого своего зарождения была декретирована религией индуизма; кастовые предписания одновременно выступали и в качестве религиозных законов.

Каста (как и кастовая идентичность) — категория историческая, и ее функции изменялись и продолжают изменяться в контексте эволюции индийского общества [Купенков 1983]. Процессы индустриализации и урбанизации начинают подтачивать основы кастовой системы, усиливают элемент социальности в поведении массовых слоев населения. В современных обстоятельствах кастовая идентичность не исчезает, но перемещается в сферу частной жизни, где продолжает выступать регулятором социально-бытовых отношений как в семье, так и в относительно гомогенных в кастовом отношении группах городского населения, коллективно мигрировавших в густо населенные городские агломерации. Здесь сам характер производства и общения не позволяет соблюдать многочисленные освященные кастовой традицией предписания. Аналогичным образом совместное пребывание представителей различных каст на территории и в помещениях крупного современного предприятия делает невыполнимыми законы поведения, «записанные» в кастовой «табели о рангах». Более того, солидарные действия средних групп каст (связанных, как правило, с торгово-промышленной деятельностью) вынуждают представителей высших каст покидать пределы «родного» штата и перебираться либо в более «толерантные» регионы Индии, либо вообще уезжать за границу.

¹ Сама дефиниция происходит от проникшего в европейские языки в XVI века португальского термина «каста», буквально означавшего: «вид, качество, порода»; распространенное в индийских языках обозначение — «джати» — этимологически связано с понятиями *родства* и *происхождения*. Признанный знаток кастовой проблематики Г.Г. Котовский определял касту как «эндогамную наследственную группу, локализуемую внутри национального района, связанную с традиционным занятием и составляющую подвижный элемент сословно-кастовой иерархической структуры. ...Каста не может существовать вне кастовой организации» [Котовский 1965: 36].

Вместе с тем в «бурном море» непредсказуемой жизни городов-гигантов кастовая идентичность (наряду со сплоченностью по этнолингвистическому признаку) продолжает выступать надежной лодией. Она остается понятной и доступной массовому сознанию формой включения в многообразные взаимодействия в обществе. Апелляция к кастовым традициям нередко преследует цель лишить ясных контуров процессы дифференциации внутри общности и поддерживать иллюзию общности интересов всех ее членов, обслуживаемой механизмами внутрикастовой солидарности. Кастовые стереотипы сознания используются в политических интересах имущих слоев деревни, стремящихся предотвратить развитие классового сознания среди сельских низов и их последующую политическую самоорганизацию [Bremar 1985: 432]. В свою очередь, став инструментом открытого политического процесса, кастовая идентичность сама претерпевает значительные трансформации, и этот процесс, идущий почти 70 лет, т.е. с момента завоевания независимости, влияет на кастовую систему и образующие ее элементы.

Хотя каста остается важной частью неполитических отношений в индийском обществе, однако процесс политической социализации современного типа, охватывающий и сельские группы населения, ведет к постепенной утрате ее былого значения. Несмотря на сохранение кастового неравенства, давление кастовой системы на формирование общеиндийской идентичности постепенно снижается. С ростом политического участия и благодаря политике позитивной дискриминации происходит дифференциация традиционных иерархий, а экономическое развитие приводит к дисперсии кастовых групп в результате трудовой миграции.

Последние 15–20 лет демонстрируют растущее понимание индийским обществом значения современных институтов (партий, социально-профессиональной стратификации и т.п.) как опоры общественных преобразований, и это осознание становится основным мотивирующим фактором активности населения на выборах. В целом же партийная система в Индии выполняет две важные общесоциальные функции. Во-первых, она действительно обеспечивает интеграцию различных уровней гражданского общества (более корректным понятием в данном случае является политическое общество, выражением которого стала та часть индийского населения, которая регулярно участвует в выборах, т.е. около 60% списочного состава избирательного корпуса). Интеграционная функция реализуется в двух измерениях — по вертикали (связь общеиндийских процессов с соответствующими тенденциями в штатах и дистриктах) и по горизонтали (сопряжение регионов, а также многочисленных этнических, социальных, конфессиональных, локальных групп, сведение их в общность, наделенную общезначимыми нормами, принципами, ценностями, регулирующими межличностные отношения) [Индия... 2000]. Во-вторых, партийная система своей деятельностью обеспечивает непрерывное пополнение и обновление политической элиты: выборы, избирательные кампании, общенациональные дискуссии естественно выдвигают на руководящие позиции наиболее деятельных, способных и профессионально подготовленных политиков.

Сами же политические партии решают более конкретные, но от того не менее важные задачи: они обеспечивают обратные / восходящие связи между обществом и государством, в частности, как показывают результаты минимум трех последних всеобщих выборов, небезуспешно преодолевают отчуждение между периферийными группами населения (включая племена и неприкасаемых) и политическим классом. В то же время политические партии Индии выступают как сознательная сила социализации, позволяющая массовым слоям населения (включая городскую и деревенскую бедноту) осознать свои реальные возможности влияния на политическую систему (что становится все более заметным в последние годы).

Формирование в Индии современного общества предполагает упорядочение самого этого процесса. Его основным структурообразующим фактором выступает государство. Роль государства реализуется в комплексе мер, преследующих политические цели: расширение социального пространства представительной демократии (в том числе за счет рассредоточения экономической власти), исполнение роли объективного арбитра в отношениях между различными силами общества, амортизации социальных напряжений за счет активной и умелой экономической политики. Основу ведущей роли государства в развитии данного процесса составляет его относительная самостоятельность по отношению к социально-политическим силам индийского общества.

Поступательное развитие институциональных матриц современного общества в Индии стимулируется несколькими факторами. Можно выделить три наиболее значимых обстоятельства.

1. Продвинутость развития индустриально-капиталистических отношений и их социально-политических коррелятов, т.е. общностей (прежде всего среднего класса числом около 300 млн человек), категорически предпочитающих систему представительства интересов режимам авторитарно-олигархического типа, потенциально угрожающим стабильности общества.

2. Сложный / полицентрический конфессиональный и кастовый состав общества, неизбежно осложняющий управление этими социумами силой волевых методов.

3. Наличие довольно продолжительной традиции демократической политики, доказавшей свою безальтернативность в управлении сложносоставной общественной системой.

Политическая система современного общества в Индии опирается на правовое государство. Оно вынужденно функционирует в дуалистическом / «поляризованном» обществе, которое расширенно воспроизводит натурально-традиционные хозяйственные уклады и их социальных носителей; они, собственно, и составляют основную часть индийских избирателей. Период независимости подтвердил невозможность форсированной модернизации социально-институциональных «матриц» традиционного типа, причем реализацию этой задачи объективно осложняют глобализация и ее производные (экономия на живом труде, утечка из страны «интеллектуального капитала» и т.д.). В то же время развитие системы массового образования не привело к качественному

изменению духовно-интеллектуальной основы системы производительных сил: по приблизительным оценкам, за годы суверенитета число лиц без базовой образовательной подготовки увеличилось на 130 млн человек. В настоящее время лишь 31% жителей Индии в той или иной степени владеют английским языком, инструментом овладения достижениями научно-технической революции.

Траектория развития современного общества в Индии такова, что сохраняется рассогласованность его социально-экономической и политической составляющих. Укрепление горизонтальных связей в экономике и политике поможет, как свидетельствует мировой опыт, обеспечить необратимость демократизации отношений в индийском обществе и расширенного воспроизводства политической системы на целенаправленной основе [Володин 2008].

Политическое участие стало органическим элементом общенациональной стратегии развития. Власти — и в этом был стратегический замысел национального руководства — сознательно вовлекали неправительственные организации (профсоюзы, женские и молодежные ассоциации) в процесс постановки целей и задач, формулирования «частных» политических стратегий и активного участия в реализации конкретных направлений общей долгосрочной траектории развития.

Первый премьер-министр Индии Дж. Неру неоднократно повторял: участие в политике способствует социальному самоутверждению человека, оно учит самостоятельно принимать решения и позиционировать себя в отношении основных социально-политических сил / партий. Восприятие же основных принципов политической организации общества и формирование политической идентичности логичнее связать с последующими этапами духовно-интеллектуального развития человека. Политическое участие опирается на необходимость реального доступа массовых слоев народа к ресурсам общества, что невозможно без деконцентрации как экономической, так и политической власти.

Политическое участие в конечном счете привело к тому, что за почти семидесятилетний период независимости качественно изменилось сельское общество, оно стало активно высвобождаться из-под власти всепроникающих пассивности и инерции. Массовые слои стали лучше понимать смысл избирательного процесса и назначение разнообразных политических технологий. Новое качество политической идентичности проявляется и в обостренном восприятии массовыми слоями населения социально-экономических дисбалансов в развитии страны.

Институционализация политической идентичности в период суверенитета по-своему отражала диверсификацию политической системы Индии: здесь долгое время функционировала система однопартийного преобладания, сердцевиной которой был Индийский национальный конгресс (ИНК). Основными характеристиками данной системы были: явное доминирование одной из партий; фрагментация политической оппозиции, как левой, так и правой; способность партии большинства при необходимости оперативно видоизменять курс государства за счет внутренних перегруппировочных процессов

и выдвижения на руководящие позиции носителей новых идей и концепций управления [Юрлов, Юрлова 2010].

В свою очередь, естественные процессы социальной диверсификации в конечном счете привели к децентрализации партийной системы Индии. Они же — хотя и дискретно — стимулировали тенденции к федерализации индийского социума. Видимо, начало становления системы полицентрического типа можно отнести к концу 1960-х годов. В настоящее время партийно-политическая система Индии уже обладает рядом устойчивых признаков многополярности. Это и довольно успешное функционирование неконгрессистских правительств в Дели, и важная роль региональных партий в формировании политических коалиций в центре, и утверждение культуры компромисса в деятельности основных акторов индийской общественной жизни. Воспроизводство политической системы Индии в конечном счете определяется успешной реализацией трех основных социальных функций: самоподдерживающегося экономического роста, эффективной системы политического представительства и разумного сочетания принципов горизонтальной и вертикальной интеграции общества. При этом политическим коррелятом гражданского общества в Индии является средний класс [Володин 2015].

В то же время в центре политики идентичности в Индии были и остаются языковые, религиозные, кастовые и племенные солидарности [см. напр., Pingle, Varshney 2006]. Устойчивость и предсказуемость политического процесса напрямую зависят от учета в государственной политике этнолингвистических особенностей индийского общества, роль которых возросла в последние 15–20 лет.

Индия — секуляристское и правовое государство. Индуизм как элемент цивилизационно-культурной системы страны играл и играет определенную роль в ее функционировании, вовлекая в современные общественные процессы группы населения, ранее находившиеся на периферии политики, и оставаясь инструментом первичного приобщения определенных групп населения Индии к «большой политике». Однако, если рассматривать ныне правящую Бхаратия Джаната Парти как воплощение идейно-культурных установок индуизма (что является явным преувеличением), то эта партия располагает поддержкой 31% избирателей, принявших участие в парламентских выборах 2014 года. Это — лучшее достижение БДП за всю историю партии (с учетом избирательной активности на этих выборах — около 70%, — поддержка идей «политического индуизма» выглядит еще скромнее.) Остальные партии неизменно подчеркивают свою лояльность идеям секуляризма, что отражает прагматизм их идейных ориентаций и практической деятельности: значительная мусульманская община и соседство не совсем дружественного Пакистана делают «политический индуизм» непозволительной роскошью.

Вторая половина 1980-х годов прошла в Индии под знаком приобщения страны к процессам глобализации. Линия на ускорение развития за счет создания сегмента высокотехнологичных укладов логично связывается с именем Раджива Ганди, который провозгласил курс на форсированную модернизацию

вскоре после победы на всеобщих выборах 1984 года. Однако в индийском политическом классе линия «на вхождение в XXI век» вызвала противоречивую реакцию. Критики исходили из того, что «изолированная» / анклавная модернизация, развивая высокотехнологичные уклады экономики, экономящие на живом труде, оставляет за пределами экономического роста подавляющее большинство населения и тем самым заставляет политическую систему воспроизводиться на исключительно высоком уровне социальной напряженности.

Проблему, видимо, стоило бы поставить шире: произошло столкновение двух императивов — быстрой модернизации (т.е. экономического роста), с одной стороны, и сохранение эгалитарного начала (т.е. социального развития) в политике государства — с другой. Форсированный экономический рост, особенно в высокотехнологичных секторах хозяйства, явно предполагал усиление координирующих функций федерального центра. Помимо этого, затяжные социальные конфликты в Пенджабе и в штатах Северо-Востока (географически отъединенных от остальной территории Индии) объективно усложняли траекторию становления общеиндийской политической идентичности, и здесь претензии к правящей партии ИНК не выглядели убедительно.

Стоит напомнить: за годы правления ИНК в стране сформировалась своеобразная политическая культура «верхов», в пространстве которой федерализм и соответствующие данной парадигме установки, ценности и ориентации занимали, мягко говоря, подчиненное положение. Требовалась определенная зрелость и власти, и народа, чтобы вывести политический диалог за рамки противостояния «сторонников целостности государства» и «защитников сепаратистских и сепаратистских сил». Серьезными ограничителями институционализации федералистского проекта были конфликты в штатах.

Развитие фундаменталистских, или ревайвалистских (от англ. revival — возрождение), как иногда говорят в Индии, тенденций, особенно в чрезвычайно чувствительном для Индии регионе Центральной Азии, блокировалось в период существования Советского Союза. После 1991 года и ухода России с Востока возник вакуум, который постарались заполнить различные силы, включая сторонников политического ислама. Политическая элита Индии отчетливо понимала: необходимы оперативные меры по укреплению основ индийской государственности.

При этом дальнейшая централизация власти даже не рассматривалась в качестве выхода из создавшегося положения. Нужна была некая «сверх-идея», способная сцементировать сами основы существования индийского общества. Подобная идея была вскоре четко сформулирована, и нашлись деятели, готовые превратить концепцию в конкретные политические действия. Эта идея была настолько простой и логичной, что трудно избавиться от ощущения: как все было ясно и непротиворечиво! Однако обществу предстояло пройти непростой и болезненный путь самопознания и самореализации, прежде чем стали ощутимы результаты «проделанной работы».

Смысл преобразовательного замысла, говоря упрощенно, состоял в повышении жизнеспособности хозяйственного организма, в укреплении горизон-

тальных связей в индийской экономике, в превращении страны в подлинный союз штатов, способный и к саморазвитию, и к противостоянию внутренним и внешним вызовам. Можно сказать, что решение проблем страны связывалось с реализацией политэкономической стратегии, сама логика которой неизбежно вела к воссозданию общества, государства, общеиндийской идентичности на подлинно равноправных, федеративных началах.

В основу новой концепции развития была положена доступная каждому политически активному гражданину идея о необходимости активного развития горизонтальных связей в экономике (т.е. усиление взаимозависимости между субъектами федерации, штатами), что мыслилось как еще одна (наряду с интервенционистским государством) несущая конструкция становившегося все более диверсифицированным индийского общества. Иначе говоря, федеральный центр готов был осуществлять своего рода деволюцию, т.е. разделить со штатами ответственность за судьбу страны.

Расчет оказался точным как с экономической, так и с политической точек зрения. Федерализация индийского социума стала важным побочным результатом экономической реформы, децентрализации и совершенствования хозяйственного механизма, перераспределения сфер компетенции между Дели и штатами. Успешная экономическая реформа, которая справедливо ассоциируется с именем тогдашнего министра финансов (в 2004–2014 годах — премьер-министра) д-ра Манмохана Сингха, сделала индийское общество более жизнеспособным.

Реформа действительно изменила дух Индии: страна быстро училась ценить и рационально расходовать время, лояльно относиться к понятиям «дисциплина» и «самодисциплина», приспосабливаться к постоянно меняющейся экономической реальности. В то время многие политические наблюдатели отмечали: меняется сама идейная стилистика общественного дискурса в стране. Иногда даже складывается впечатление о «реактивном» превращении Индии в полноценную федерацию, причем этот процесс носил естественный, ненасильственный характер. Федерализм как функциональная основа «модернизированной» идентичности в Индии стал свершившимся фактом, и отныне все основные социально-политические силы были вынуждены сопрягать свои программы и практические действия с этой объективной реальностью. Федерализм предполагал и более сложный (коалиционный) характер формирования центрального правительства, и консенсусный характер политических решений, в том числе и тех, которые затрагивали основы национальной безопасности индийского государства.

Возвращение в середине 2000-х годов к концепции «рост плюс развитие» («growth with equity»), характерной для более раннего периода политической истории Индии, предполагало стимулирование занятости, более активную роль субъектов федерации / штатов в развитии перспективных производств, постоянное согласование «общей» и «частных» (штатовских) стратегий развития страны на обозримое будущее. «Модернизация» политической идентичности, таким образом, получила сильный политэкономический импульс.

Федералистская форма организации политической и экономической жизни не существует сама по себе, как некая институциональная оболочка более гибкой и адаптивной (по сравнению с унитаризмом) организации политической и экономической власти. Она опирается на децентрализацию и деволуцию власти, на включение в процесс политического развития многомиллионных масс индийского народа, на четкое разделение ответственности между федеральными и региональными центрами власти, на взаимное доверие и культуру компромисса, без которых столь сложное в организационном отношении общество не сможет поступательно развиваться, генерировать новые политические идеи и выдвигать новых лидеров [Индия... 2000; Володин 2008]. Понимание этого обстоятельства стало для современной Индии аксиомой. Видимо, поэтому в стране основные политические силы выступают за последовательное развитие подлинного федерализма.

Подобно другим незападным обществам, Индия развивается энергично. Не остается в стороне от этого процесса и сфера надстроечных отношений, включая преобразование политической идентичности. Впрочем, бурная и противоречивая жизнь индийского общества не приемлет окончательных оценок, а скорее располагает к подведению промежуточных итогов реализации политики по созданию основ современной общеиндийской идентичности.

Во-первых, очевидными стимуляторами модернизации политической идентичности, по логике вещей, могут стать форсированный (7%-ный и более) экономический рост, сопряженный с устойчивым развитием (включающим в себя максимально возможную занятость и относительно равномерное распределение национального дохода). Данные факторы способны обеспечить поступательное совершенствование экономических и политических институтов; однако, как показал авторитетный экономист и социолог П.Ш. Джха, их все еще недостаточная пластичность может вызывать дисфункции социального развития [Jha 2010].

Во-вторых, в формирующейся общеиндийской идентичности остается подвижным соотношение элементов общеиндийской секулярной ориентации и региональных / этнолингвистических ценностей. Косвенными указаниями на незавершенность процесса ее становления могут быть данные всеобщих выборов 2014 года: правящая партия БДП получила поддержку 31% голосовавших избирателей, тогда как за региональные партии было подано более 36% голосов. Правда, при анализе избирательной статистики важно помнить: поддержка региональных партий не в последнюю очередь связана с сохраняющимися (и даже нарастающими) диспропорциями в развитии штатов [Дмитриев 2014].

В-третьих, в настоящее время трудно прогнозировать траектории динамики политической идентичности в среде индийских мусульман, число которых стремительно возрастает. Вопреки официальной статистике [там же: 67], некоторые эксперты полагают, что доля исповедующих ислам варьирует в диапазоне от 20% до 25% населения Индии. Мусульмане остаются одной из наиболее социально ущемленных групп населения страны; они отчаянно стремятся

включиться в процессы развития [Social... 2006]. Неспособность социума экономически и культурно абсорбировать индийских мусульман может иметь следствием появление новых разделительных линий в обществе «крупнейшей демократии мира».

Литература

- Володин А.Г. 2008. *Политическая экономия демократии*. М.: Гуманитарий. 288 с.
- Володин А.Г. 2015. Место и роль среднего класса в незападных обществах. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 2. С. 95–105.
- Государство в истории общества (к проблеме критериев государственности) (отв. ред. Д.Н. Лелюхин, Ю.В. Любимов). 2001. М.: Институт востоковедения. 343 с.
- Дмитриев Р.В. 2014. *Опорный каркас расселения и хозяйства современной Индии*. М.: МАКС Пресс. 156 с.
- Индия: страна и ее регионы (под ред. Е.Ю. Ваниной). 2000. М.: Эдиториал УРСС. 360 с.
- Котовский Г.Г. 1965. Введение. Некоторые аспекты проблем каст. — *Касты в Индии* (отв. ред. Г.Г. Котовский). М.: Наука. С. 3–40.
- Куценков А.А. 1983. *Эволюция индийской касты*. М.: Наука. 326 с.
- Лелюхин Д.Н. 2009. Коллективные органы управления и их роль в структуре индийского государства. — *История и современность*. № 1. С. 56–72.
- Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. 2010. *История Индии. XX век*. М.: Институт востоковедения РАН. 920 с.
- Breman J. 1985. *Of Peasants, Migrants and Paupers: Rural Labour Circulation and Capitalist production in West India*. Oxford: Oxford University Press. 472 p.
- Jha P.S. 2010. *India and China. The Battle between Soft and Hard Power*. New Delhi: Penguin-Viking. 398 p.
- Pingle V., Varshney A. 2006. India's Identity Politics: Then and Now. — *Managing Globalization: Lessons from China and India* (eds. by D.A. Kelly, R.S. Rajan, G.H.L. Goh). Singapore: World Scientific Book Corporation on behalf of the Lee Kuan Yew School of Public Policy. P. 353–385.
- Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India. A Report*. 2006. New Dehli: Prime Minister's High Level Committee. 424 p.

Глава 22

МУСУЛЬМАНСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: ЕДИНСТВО И РАЗНООБРАЗИЕ

И.В. Кудряшова

Ключевые слова: ислам, национализм, государство, мусульманский мир, политическая идентичность, политическое развитие, демократия.

На середину 2010-х годов численность мусульманского населения оценивалась приблизительно в 1,6 млрд человек. Уровень религиозности в зоне исламской традиции остается высоким: согласно данным *Pew Research Center*, верят в Бога и пророка Мухаммада на Ближнем Востоке и в Северной Африке 100% охваченных опросом мусульман, в Юго-Восточной Азии — 98%, в Южной Азии — 97%, в Африке южнее Сахары — 96% и в Юго-Восточной Европе — 85% [The World's Muslims... 2012]. Вера предлагает человеку понимание мира и себя в нем, определяет диапазон возможностей для формулирования и реализации жизненных планов и установок, в том числе в политике. Означает ли это, что ключом к пониманию и объяснению мусульманской политической идентичности является ислам?

Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. С одной стороны, мусульманин по определению является последователем ислама, его идентичность формируется под воздействием основных принципов и ценностей исламской религии. Большинство мусульман идентифицируют себя как членов универсального мусульманского сообщества — *уммы* и определяют чужого как *кафира*, неверного. С другой — мусульманский мир состоит из множества общин и демонстрирует культурно-историческое, этническое и географическое разнообразие. Сам ислам представляет собой совокупность направлений, течений и сект, отражающих богатство религиозного опыта. В исламской традиции есть те, кто не принимают разнообразия в интерпретации доктрины, и те, кто в определенной степени допускают его. В странах своего проживания мусульмане взаимодействуют с различными типами общественно-политической реальности и разделяют широкий спектр ориентаций — от неопатримониальных до демократических. Наконец, они могут быть в обществе и большинством, и меньшинством и в последнем случае испытывать трудности с позитивным формированием идентичности.

Таким образом, мусульманская идентичность не тождественна исламской. Вера в Бога занимает в ней очень важное место, но в абсолютном большинстве случаев не исчерпывает ее. Как продукт разнообразных исторических, политических и социальных процессов мусульманская идентичность является дифференцированной и имеет в настоящее время сложную структуру и на индивидуальном, и на коллективном уровне. Ее политическое преломление, однако, во многом обусловлено спецификой ислама как религии.

Ислам и мусульманская политическая идентичность

Ислам является, по сути, не только религиозной, но и мирской социальной системой. Его синтетическое начало нагляднее всего воплощается в шариате, определяющем как конкретные правила поведения субъекта, так и его общие цели и ценности [подробнее см. Сюкияйнен 1997: 3–23]. По мнению мусульманского философа С.Х. Насра, мировоззрение последователей ислама базируется на понимании Бога как высшей реальности и на преданности шариату как божественному закону, единственно позволяющему обрести счастье [Наср 2001: 482].

Согласно результатам опросов *Pew Research Center*, доля мусульман, которые хотели бы видеть нормы шариата в качестве официального законодательства в своей стране или в регионе проживания, остается очень высокой в Юго-Восточной и Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также во многих странах Африки южнее Сахары (например, в Афганистане — 99%, Ираке — 91%, Палестине — 89%, Нигере — 86%, Пакистане — 84%, Бангладеш — 82%, Марокко — 83%, Джибути — 82%, Таиланде — 77%, Египте и Демократической Республике Конго — 74%, Иордании — 71%). Относительно низка она на постсоциалистическом пространстве и в Турции (в Косове — 20%, Боснии и Герцеговине — 15%, Албании — 12%, Кыргызстане — 35%, Таджикистане — 27%, Казахстане — 10%, Азербайджане — 8%, Турции — 12%), где государство в течение многих десятилетий планомерно осуществляло политику секуляризации и формирования светских культурно-политических ориентаций. Этот показатель зависит также от уровня открытости конкретного общества иным цивилизационным влияниям (так, в арабском Ливане, культурном перекрестке Запада и Востока, он составляет 29%) [The World's Muslims... 2013].

В современном мире традиционные положения и ценности могут по-прежнему наполняться политическим значением. Взаимодействию религиозного и политического в исламе продолжают способствовать такие его качества, как:

- универсализм в определении мусульманского сообщества, вызывающий неприятие иных подходов и принципов;
- идеал уммы как религиозно-политической общности верующих, который известен каждому мусульманину и может задавать критерии оценки современных политических практик;

— отсутствие церкви как особой организации, которая отделена от государства и через которую можно обрести спасение (условен и термин «мусульманское духовенство» — под ним понимаются профессионалы, выполняющие определенные религиозные функции в обществе). Этим обусловлена исключительная значимость правильной ориентации мирской деятельности верующих;

— образ пророка Мухаммада как оплота идеалов ислама и гаранта благополучия общины, как справедливого и демократичного правителя. Согласно шариату, мусульманский лидер олицетворяет собой и священную волю, и социальный порядок;

— автономный доступ к Богу всех членов общины: текст священного Корана открыт каждому верующему, и каждый может по-своему интерпретировать его.

Неоднозначно решается в исламе проблема повиновения политической власти. Из иудео-христианской традиции он воспринял тезис о пророке, являющемся для того, чтобы укорить несправедливого правителя, и веру в мессию, который установит божественный порядок на земле. С неверными владыками следовало вести войну или строить отношения на основе договора при условии отсутствия притеснений мусульман. С несправедливой мусульманской властью дело обстояло сложнее. Здесь сложились две позиции: пассивная (смирение) и активистская (противодействие), причем обе зафиксированы в Коране и отражены в хадисах¹, подкреплены обычаями и принципами более древних религий и цивилизаций Ближнего Востока.

Особая трактовка власти сложилась в философии шиизма, где наиболее отчетливо выражено понимание ее высшей легитимности как идущей от Бога, а не от установленного земного авторитета². Когда преемственность шиитских имамов из рода Алидов пресеклась, легитимность государства приняла в глазах их последователей темпоральный характер — до восстановления прав потомков пророка через возвращение носителя божественной субстанции, последнего двенадцатого «сокрытого имама»³.

Наряду с важнейшим значением имамата и догматом о «сокрытом имаме» влиянию шиизма на формирование политической идентичности его последователей способствуют:

¹ *Хадисы* — предания о поступках и высказываниях пророка Мухаммада; совокупность хадисов, признанных достоверными, составляет Сунну.

² Вопрос о передаче власти в мусульманской общине стал причиной первого раскола в исламе на суннитов, сторонников традиции пророка (Сунны), и шиитов, членов «партии» (араб. *шиа*) Али, двоюродного брата и зятя пророка, четвертого праведного халифа. Шиитская традиционалистская элита никогда не признавала точку зрения суннитов на халифат как на избрание халифа на основе согласованного мнения общины, считая, что умму должны возглавлять прямые потомки пророка. В настоящее время шииты составляют 10–13% всех мусульман.

³ Согласно представлениям шиитов-дванадесятников, составляющих около 85% всех шиитов, их последний признанный двенадцатый имам не пропал в малолетнем возрасте, а был «сокрыт» и продолжил руководить общиной через своих уполномоченных — религиозных авторитетов.

— особая организация и статус шиитских улемов. Как показывают Ш. Мисшал и О. Голдберг, «сокрытие» двенадцатого имама, обострив экзистенциальное противостояние между идеальным и земным, усилило авторитет шиитских лидеров, которым было необходимо распознавать и интерпретировать различие между доктриной и реальностью без тривиализации одного из элементов [Mishal, Goldberg 2014: 12];

— важнейшая роль духовного руководителя общины, считающегося рупором «сокрытого имама» и имеющего ореол «святости»;

— историко-культурный контекст развития шиизма: в исламской истории он был религией меньшинства, религией угнетенных и преследуемых.

Следует также отметить, что язык ислама может придавать особую значительность взглядам и оценкам, которые, будучи вполне обычными, приобретают в этом случае трансцендентную значимость и практически исключают альтернативные подходы.

Ислам и национальная идентичность

До прямого соприкосновения с европейской современностью в колониальный период мусульманские ученые и правители использовали для концептуализации политического термины *умма*, *халиф* (при акценте на религиозное начало власти) или *султан* (при акценте на ее политическое начало). По мнению В. Кузнецова, реальная политическая власть в халифате примерно в X веке существенно эмансипировалась от ее религиозных истоков, но концепция исламской государственности продолжала развиваться в трудах правоведов [Кузнецов 2015].

Слово *дауля*, используемое сегодня в мусульманских странах в различных фонетических вариациях в значении западного нации-государства, первоначально означало чередование хороших и плохих дней, превратности судьбы. В политическом смысле — как смену власти — его стали употреблять в середине VIII века после свержения династии Омейядов Аббасидами. Поскольку правление Аббасидов было длительным, оно постепенно стало означать династию, затем — господство. В современном смысле этот термин впервые был использован в османском меморандуме только где-то в 1837 году, причем применительно к «правительствам государств Европы» [Lewis 1988: 35–37].

Форма нации-государства пришла в мусульманский мир в результате не только прямого колониального давления, но и культурной диффузии и добровольной имитации. Западное общество поражало людей Востока тем, что обеспечивало экономическое развитие и улучшение положения человека, позволяло ему распоряжаться собой, своим временем и работой. Однако исламские мыслители, как и первые мусульманские теоретики национализма, недооценивали значение разработки вопроса о государстве и преимущественно трактовали вопросы территориальных границ, общественной этики, прав и свобод народа, рынка и др. как искусственные или второстепенные.

Понимая необходимость преодоления политического упадка и пытаясь найти аналоги европейским институтам в исламском политическом наследии, основное внимание они уделяли концептам единства и интеграции, соответственно религиозно-морального или этнокультурного характера [см., например, Левин 1988; Косач 2007; Кудряшова 2008; Ayubi 1996].

После распада Османской империи (повлекшего за собой упразднение халифата), а затем и западной колониальной системы формирование макрополитической идентичности, способной соответствовать этапу суверенного развития мусульманских государств⁴, стало остроактуальной и одновременно очень сложной задачей. В первую очередь эта сложность была обусловлена отсутствием на Востоке социальной рамки современного государства и необходимостью поиска и закрепления новых оснований для идентификации и самоидентификации населения как политического сообщества. В Османской империи, например, формально существовала одна идентичность — религиозная. Для немусульман она определялась принадлежностью к не имевшим административных или территориальных границ религиозно-культурным сообществам — миллетам⁵ (православному, армянскому, иудейскому и др.).

Множество факторов, в том числе расположение в ядре или на периферии мусульманского мира, наличие / отсутствие исторической государственности, интенсивность межцивилизационных контактов, этнокультурная гомогенность / гетерогенность общества, различные контексты и формы участия в международных обменах, модифицировали саму исламскую традицию и обусловили разнообразие паттернов конструирования национальной идентичности. В силу исторического культа государства и роли государственных институтов (бюрократии, армии) как главных агентов модернизации при отсутствии автохтонной производственной буржуазии ее концептуализация и формирование шли преимущественно «сверху» (более широкие общественные слои стали вовлекаться в этот процесс только в последние полтора-два десятилетия).

Следуя логике Э. Кедури и Э. Смита в анализе взаимоотношений религии и национализма [Kedourie 1974; Smith 2000], можно выделить три типа формирования национальной идентичности в мусульманском мире:

— секулярное вытеснение, в ходе которого исламская традиция целенаправленно разрушается и замещается национализмом как современной светской идеологией;

— адаптация национализма к исламской культуре, верованиям и практикам населения, сочетание его светского посыла с неотрадиционализмом, включая этническую составляющую;

⁴ В настоящее время в мире насчитывается 57 мусульманских государств, которые являются членами Организации Исламского сотрудничества (до 2011 года — Организация Исламская конференция), единственной в мире межправительственной организации на религиозной основе.

⁵ *Миллет* — религиозная община, признанная османской администрацией и получившая право на внутреннее самоуправление.

— конструирование исламского национализма как своеобразной политической религии.

Рассматривая реализацию этих стратегий в ходе государственного и национального строительства в зоне исламской традиции, следует отметить, что из-за неорганической и в абсолютном большинстве случаев форсированной модернизации она не могла быть последовательной в длительной перспективе. В качестве иллюстрации секулярного, но временами не вполне последовательного вытеснения можно назвать Турцию (кемализм) и Малайзию (государственная идеология «Рукунегара»), а также — с определенной натяжкой из-за амбивалентности советской национальной политики и республиканской государственности — социалистический период мусульманских республик СССР. Однако и в Турции, и в Малайзии культурное реструктурирование идентичности, запущенное без одобрения «снизу», стало одной из главных причин неудачи выбранных стратегий развития. В 1980-х годах это поставило под вопрос авторитет нации-государства и светской идентичности и привело к проникновению ислама в публичную политику.

Адаптационный паттерн имеет наибольшее число страновых вариаций — в качестве примера здесь можно назвать и Египет, и Ливию, и Саудовскую Аравию. В конституциях подавляющего большинства мусульманских государств ислам официально определен в качестве государственной религии, а шариат — как основа законодательства или основной его источник.

Даже националистические элиты революционного типа, провозглашая свои манифесты, должны были корректировать их в соответствии с кругозором и религиозными чувствами тех, кого они хотели освободить и мобилизовать на борьбу за достойное будущее: политические и экономические преобразования санкционировались отчетливо выраженными в исламе принципами эгалитаризма и справедливости (наиболее парадоксальным образом социализм соединился с исламом в «третьей мировой теории» М. Каддафи). Это было вызвано не только политической целесообразностью — новые лидеры сами были продуктом мусульманской культурной среды. В то же время приоритет обращенного к земному миру «национального» лишил ислам универсальности, замыкая его в духовной и бытовой сферах.

В странах консервативно-охранительной модернизации национальный компонент идентичности формировался значительно медленнее. Однако, как отмечает Г. Косач, уже одно обретение Саудовской Аравией флага, герба и гимна «проводило грань между этим политическим образованием и расплывчатым “миром ислама”» [Косач 2016: 65]. В 1990-2000-х годах саудовская элита продемонстрировала стремление к установлению «национального единства» (т.е. преодолению клановых, племенных и конфессиональных лояльностей) с помощью создания новых государственных институтов и введения в публичный дискурс таких терминов, как «родина» (*ватан*) и «гражданин» (*муватынун*) [там же: 74–75].

Третий паттерн подразумевает придание национальной идентичности трансформированного религиозного измерения, позволяющего публично

формулировать религиозно-политические цели и проповедовать религиозную этику. Самым ярким примером такого подхода является Иран после народной революции 1978–1979 годов Аятолла Хомейни воплотил в жизнь концепцию «исламской системы», обеспечивающей, по его мнению, духовность и мораль и поддерживающей баланс между интересами индивида и общества через служение Богу. Обоснование необходимости двух структур политической власти — религиозной и гражданской — покоилось на тезисе о том, что именно улемы как знатоки мусульманского права способны верно направлять развитие сообщества до прихода мессии.

Другая разновидность этой стратегии представлена в деятельности оппозиционных исламистских⁶ организаций. В 1928 году в Египте была создана первая такая организация — Ассоциация «братьев-мусульман», филиалы которой вскоре появились и в других арабских странах. Ее основатель Х. аль-Банна и его последователи видели в исламе ключ к общественно-политической трансформации, моральную основу для борьбы против колониализма, за национальное возрождение. В 1970–1980-х годах неудачи модернизации как социальной стратегии, давление иных культурных образцов и другие факторы вызвали подъем политического ислама и в ряде случаев его радикализацию [см. Кудряшова 2003: 97–99].

До активного вовлечения мусульманских стран в процессы глобализации в постбиполярный период формирующаяся в них национальная идентичность фактически совпадала с государственной, поскольку в условиях авторитарной модернизации и слабости автономных гражданских объединений (самым значимым из них были мусульманские общины) объективно принимала форму лояльности государственной власти. Тем не менее значение националистического дискурса для рационализации мусульманского сознания трудно переоценить. Как указывает Ф Казула, в рамках дискурса производятся в той или иной степени сами акторы — поскольку их идентичности формируются через дискурсивную борьбу за означивание [Казула 2009: 60].

На микроуровне наряду с исламом и национализмом на идентичность продолжали оказывать существенное влияние клановые, племенные и другие партикулярные лояльности. Однако культурно-политические и социально-экономические изменения, появление и закрепление новых политических институтов и практик постепенно влекли за собой формирование новых составляющих в мусульманской политической жизни [см. Кудряшова 2012: 164–176; Mehmet 1990].

⁶ *Исламизм* (политический ислам) — термин европейского происхождения, не имеющий единой трактовки и подразумевающий как неукоснительное следование исламским нормам и практикам, так и стремление к преобразованию мусульманских политий через синтез западных и традиционных общественных институтов («исламская демократия», «исламский социализм»). Подходы к типологизации идейных направлений в исламе см. [Полонская 1985; Esposito 1998: 228–231; Саватеев 2015].

Дифференциация мусульманской идентичности на современном этапе

С дискредитацией социалистической модели развития и ускорением глобализационных процессов давление на мусульманское государство с целью проведения политических реформ усиливается как извне — со стороны глобальных лидеров, так и изнутри — со стороны граждан, культурно-образовательный уровень которых, как и ожидания, заметно вырос. Статистические данные фиксируют повышение в мусульманских странах доли молодежи, а также городского населения. Ответом государства на новую ситуацию в 2000-х годах в подавляющем большинстве случаев стали умеренно-альтернативные выборы, расширение парламентского представительства и создание неправительственных организаций. В условиях истощения прежних идеологических ресурсов и новой мировой конъюнктуры оно стремилось удержать управляемость политической системы путем неформальных сделок с представителями традиционных элит на местах и контролируемого доступа оппозиции в законодательные учреждения, сдерживая формирование гражданской идентичности.

Исламский публичный дискурс поддерживали и власть, и оппозиция: первая использовала его для укрепления легитимности и поддержки стабильности, вторая — для выражения протестных настроений и продвижения своих программ. Там, где кризисы модернизации, в том числе кризис идентичности, не смягчались нефтяной рентой и / или традиционной легитимностью власти, исламистские организации укрепляли свои позиции. Характерным для них стал поворот в сторону признания нации-государства. Во многих государствах (Марокко, Алжире, Иордании, Ливане, Йемене, Ираке после свержения баасистского режима и др.) умеренные исламские политические партии были легализованы. В Турции, Пакистане, Малайзии, Индонезии они стали принимать активное участие в формировании и осуществлении власти.

По существу, современные легальные исламские политические организации выражают интересы, взгляды и ценности людей, для которых религиозная составляющая идентичности имеет первостепенное значение, но не исключает других (национальной, гражданской, этнической, культурной и пр.). О значительном усложнении идентичности мусульман говорят данные социологического исследования электората двух ведущих партий Турции — Партии справедливости и развития, которая имеет исламистские корни, и светской Народно-республиканской партии, основанной Ататюрком (табл. 22.1).

Политическим индикатором активного формирования гражданской идентичности стали в мусульманских странах такие события, как выступления против режима Сухарто в Индонезии (1998 г.) и «арабская весна» (2010–2011 гг.). В ходе массовых и идущих «снизу» протестов выдвигались лозунги борьбы с авторитаризмом, за демократию, достоинство и права человека. Анализируя изменения в поведении арабских демонстрантов, О. Руа обращает внимание на индивидуализацию гражданской активности [Roy 2012].

Таблица 22.1

Идентичность и электоральный выбор в Турции

Идентичность / голосующие за	ПСР (%)	НПП (%)
Я — турок	80,1	60,7
Я — мусульманин	88,3	38,0
Я — современный	18,1	42,2
Я — последователь Ататюрка	17,7	67,0
Я — гражданин	30,0	25,7
Я — демократ	13,5	28,7

Примечание: возможен выбор нескольких вариантов ответов.
 Источник: [Akgün 2007: 205; цит. по Шлыков 2009].

Сдвиги, происходящие в структуре идентичности, отразили социологические опросы (табл. 22.2). По данным *Pew Research Center* за апрель-май 2010 года, оценки демократии среди граждан семи мусульманских стран имели преимущественно положительный характер; даже в Пакистане, где демократию одобрило менее половины опрошенных, сторонниками авторитаризма выступили только 15%.

Таблица 22.2

Мнения граждан мусульманских стран о демократии

Страна	Демократия предпочтительней любой другой формы правления (%)	В определенных обстоятельствах недемократическое правление может быть предпочтительней (%)	Для таких, как я, неважно, какую форму правления мы имеем (%)	Не знаю (%)
Ливан	81	12	5	2
Турция	76	6	5	13
Иордания	69	17	10	4
Нигерия	66	18	16	1
Индонезия	65	12	19	4
Египет	59	22	16	2
Пакистан	42	15	21	22

Источник: [Auxier 2011].

На излете «арабской весны» в 2012 году опросы *Pew Research Center* зафиксировали незначительное снижение сторонников демократии в Египте и Иордании и вновь подтвердили приверженность общества исламским ценностям. Такое сочетание, как и разброс оценок по поводу приоритета «сильной экономики» / «хорошей демократии», показывает, что представления о демократии у большинства граждан имеют нелиберальную природу, но предполагают защищенность прав человека, политическую конкурентность и ответственность власти перед народом [Most Muslims... 2012].

Существование в мусульманском публичном пространстве исламских и демократических ориентиров, а также процессы демократизации в ряде мусульманских стран (Турции, Малайзии, Индонезии, Туниса) подтверждают, что спор, который ведется учеными и политиками по поводу совместимости ислама и демократии, имеет во многом искусственный характер. Ислам, как и любая другая великая традиция, представляет собой сложную систему идей, верований и доктрин. Он полон амбивалентных смыслов, которые могут приобретать различное социальное звучание в зависимости от трактовки и исторического контекста. Представляется, что изменения мусульманской среды, вызываемые общемировыми политическими, экономическими, культурно-информационными сдвигами, делают неактуальным вопрос о необходимости реформы ислама ради демократизации. Политическое и социально-экономическое развитие само по себе не только сужает базу воспроизводства традиционалистского сознания, но и меняет структуру идентичности мусульманина, делая ее более сложной и гибкой. При этом не обязательно подрываются позиции религии — скорее, видоизменяется публичное проявление религиозности. По данным социологов — участников проекта Всемирного обзора ценностей (*World Value Survey*), в настоящее время существенной разницы между социальными установками населения на Западе и в мусульманских странах и регионах нет — за исключением вопросов гендерного равноправия и сексуальной свободы.

Касательно политической идентичности мусульман как меньшинства важно отметить, что культурное (не говоря уже о политическом) давление большинства способно усиливать ее религиозную составляющую. Обращение к исламу как стержню идентичности диктуется нуждой в формировании защитного механизма, необходимого для самоопределения сообщества и отпора недружественным действиям [Ali 2014: 338–339]. В частности, если в начальный период миграции мусульмане в Европе рассматривались как этническое меньшинство / меньшинства, то начавшаяся в 1990-е годы борьба с «исламской угрозой» и «исламским терроризмом» привела к усилению идентификации и самоидентификации мусульман на религиозной основе, что особенно ярко проявляется в случае их компактного проживания. В условиях отрыва граждан-мусульман от традиции и зачастую отсутствия исламских знаний это провоцирует и распространение религиозного экстремизма.

* * *

В XX веке, когда мусульманские страны вступили на путь независимого развития, современность перестала быть для них некоей внешней силой, трансформировавшись в систему собственных политических институтов и идейно-политические платформы лидеров. В силу специфики ислама как религиозной и одновременно социальной системы, а также уровня общественного развития молодых суверенных государств формирование политической идентичности и на макро-, и на микроуровне проходило под влиянием исламских норм и ценностей даже там, где были предприняты попытки их культурного замещения. Производящий идентичности политический дискурс в силу авторитарного характера модернизации был монополизирован государством и обрел рамку государственного национализма. Его единственным влиятельным и преследуемым оппонентом стал политический ислам. Слабый уровень развития гражданских структур и представительства консервировал патронажно-клиентелистские связи и партикулярные лояльности.

Распад биполярной системы, эффекты глобализации и политическое давление западных стран индуцировали серьезные изменения мусульманской макрополитической идентичности. Ослабление государственного патернализма и распространение новых ориентиров и ценностей привели к активизации политического участия, включая сторонников умеренного политического ислама, и способствовали структурированию ее гражданского компонента. В ряде мусульманских стран сформировались режимы, классифицируемые как «неполные демократии». Даже в Саудовской Аравии, неизменно следующей курсом «единства власти и подданных», в 2011 году возникла Партия исламской уммы, которая обратилась к монарху с просьбой предоставить гарантируемые шариатом права и свободы, в том числе выборы.

Современная мусульманская политическая идентичность разнообразна. Она может иметь более однородную структуру у глубоких традиционалистов (*салафитов*)⁷, которые в последнее время также стали принимать участие в публичной политике, но в подавляющем большинстве случаев носит сложный, дифференцированный характер. Анализ ее эволюции в странах мусульманского Востока показывает, что установки и ориентации, рожденные и поддерживаемые исламской традицией, реконструируются и переоформляются, создавая различные комбинации исламского и политико-гражданских компонентов. В результате модернизации появился и тип светской мусульманской идентичности, носители которой считают религию частным делом человека.

⁷ Термин происходит от арабского слова *ас-салаф* («праведные предки») и обозначает тех, кто ратует за возвращение к их образу жизни и институтам.

Литература

- Казула Ф.П. 2009. Теория дискурса и дискурс-анализ: Как идеи и символы формируют политику. — *Политическая наука*. М.: РАН. ИНИОН. № 4. С. 59–78.
- Косач Г.Г. 2007. Арабский национализм или арабские национализмы: доктрина, этноним, варианты дискурса. — *Национализм в мировой истории (под ред. В.А. Тишкова, В.А. Шницрельмана)*. М.: Наука. С. 259–332.
- Косач Г.Г. 2016. Саудовская Аравия: Национальное единство без плюрализации. — *Политическая наука*. № 1. С. 60–79.
- Кудряшова И.В. 2003. Исламская цивилизационная доминанта и современное развитие мусульманских политий. — *Политическая наука*. М.: РАН. ИНИОН. № 2. С. 87–117.
- Кудряшова И.В. 2008. Суверенитет: Европейский конструкт в контексте ближневосточных реалий. — *Суверенитет. Трансформация понятий и практик (под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой)*. М.: МГИМО-Университет. С. 194–226.
- Кудряшова И.В. 2012. Политические изменения и трансформация идентичности в странах мусульманского Востока. — *Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 2. Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке (отв. ред. И.С. Семенов)*. 2012. М.: РОССПЭН. С. 155–184.
- Кузнецов В. 2015. ИГ — альтернативная государственность? — *Россия в глобальной политике*. № 5. С. 8–17.
- Левин З.И. 1988. *Ислам и национализм в странах зарубежного Востока. Идеальный аспект*. М.: Наука; Главная редакция восточной литературы. 221 с.
- Наसर С.Х.Лахан. 1998. О столкновении принципов западной и исламской цивилизаций. — *Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия*. М.: Аспект Пресс. С. 481–483.
- Полонская А.Р. 1985. Современные мусульманские идейные течения. — *Ислам: Проблемы идеологии, права, политики и экономики. Сб. статей (отв. ред. А.И. Ионова)*. М.: Наука; Главная редакция восточной литературы. С. 6–26.
- Саватеев А.Д. 2015. Политический ислам в концепциях российских исследователей. — *Ислам в современном мире: внутригосударственный и международно-политический аспекты*. Т. 11. № 2. С. 109–118.
- Сюкьяйнен А.Р. 1997. *Шариат и мусульманско-правовая культура*. М.: Институт государства и права РАН. 48 с.
- Шлыков В.И. 2009. *Поиск политического равновесия. Эволюция партийной системы Турции в период Третьей Республики (1983–2009)*. Перспективы. Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы. Эл. ресурс. Доступ: http://www.perspektivy.info/oikumena/vostok/poisk_politicheskogo_ravnovesija_evolyucija_partijnoj_sistemy_turcii_v_period_tretjej_respubliki_1983-2009_2009-07-03.htm (проверено: 15.02.2017).
- Akgün B. 2007. *Türkiye’de Seçmen Davranışı, Partiler Sistemi Ve Siyasal Güven*. Ankara: Nobel. 154 p.
- Ali S. 2014. The Politics of Islamic Identities. — *Routledge Handbook of Identity Studies (ed. by A. Elliot)*. London, New York: Routledge. P. 325–336.
- Auxier R.C. 2011. Egypt, Democracy and Islam. — *Pew Research Center. Global Attitudes & Trends*. 31.01. URL: <http://pewresearch.org/pubs/1874/egypt-protests-democracy-islam-influence-politics-islamic-extremism> (accessed 15.02.2017).
- Ayubi N.N. 2008. *Over-stating the Arab state: Politics and Society in the Middle East*. London, New York: I.B. Tauris. 514 p.
- Esposito J.L. 1998. *Islam: The Straight Path. Third edition*. New York, Oxford: Oxford University Press. 286 p.
- Kedourie E. 1974. Introduction. — *Nationalism in Asia and Africa (ed. by E. Kedourie)*. London: Frank Cass. P. 1–152.
- Lewis B. 1988. *The Political Language of Islam*. Chicago, London: The University of Chicago Press. 168 p.

Mehmet O. 1990. *Islamic Identity and Development: Studies of the Islamic Periphery*. New York: Routledge. 272 p.

Mishal S., Goldberg O. 2014. *Understanding Shiite Leadership: The Art of the Middle Ground in Iran and Lebanon*. New York: Cambridge University Press. 155 p.

Most Muslims Want Democracy, Personal Freedoms, and Islam in Political Life. 2012. — Pew Research Center. 10.07. URL: <http://www.pewglobal.org/2012/07/10/most-muslims-want-democracy-personal-freedoms-and-islam-in-political-life/> (accessed 15.02.2017).

Roy O. 2012. The Transformation of the Arab World. — *Journal of Democracy*. Vol. 23. No. 3. P. 5–18.

Smith A.D. 2000. The “Sacred” Dimension of Nationalism. — *Millenium: Journal of International Studies*. Vol. 29. No. 3. P. 791–814.

The World’s Muslims: Unity and Diversity. 2012. — *Pew Research Center. Religion & Public Life*. 09.08. URL: <http://www.pewforum.org/2012/08/09/the-worlds-muslims-unity-and-diversity-executive-summary/> (accessed 15.02.2017).

The World’s Muslims: Religion, Politics and Society. 2013. — *Pew Research Center. Religion & Public Life*. 30.04. URL: <http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/> (accessed 15.02.2017).

Глава 23

АФРОХРИСТИАНСКАЯ И АФРОИСЛАМСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТИ В ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКЕ

Л.А. Андреева

Ключевые слова: Тропическая Африка, цивилизационная идентичность, религиозность, религиозное сознание, религиозная картина мира, христиане, мусульмане, (афро)христианство, (афро)ислам.

В XXI веке мы наблюдаем процесс смены критерия, объединяющего государства в рамках тех или иных политических пространств. На смену колониальным империям XIX в., контролировавшим и моделировавшим мировой порядок, в XX веке пришел идеологический фактор — противоборство социалистической и капиталистической парадигм развития. С крушением социалистического проекта на первое место вышел критерий цивилизационный: объединяющую роль играет система цивилизационных ценностей, которая детерминирует развитие как направленный процесс общественных изменений, совершаемых во имя неких высших принципов и идей. В современной Африке два основных цивилизационных вектора — афрохристианский и афроисламский — имеют религиозную базу. Именно эти векторы формируют и две различные африканские цивилизационные идентичности — афрохристианскую и афроисламскую [Андреева 2013].

Конституирование этих идентичностей в странах современной Тропической Африки имеет четко выраженный надрасовый, наднациональный характер, что соответствует характеру и сущности двух мировых религий — христианства и ислама. Анализ формирования такого типа идентичности важен для прогнозирования развития Африки, где первостепенное значение придается сфере духовного воспроизводства, а именно — сфере религии. Поскольку именно цивилизационные отношения являются основой геополитических, геокультурных, геоэкономических отношений в Тропической Африке в XXI веке, центральным признаком классификации африканских государств становится цивилизационный признак, где главную роль играет преобладающая система ценностей, в данном случае — система ценностей, базирующаяся на религиозном миропонимании приверженцев христианства и ислама.

Таким образом, цивилизационная идентичность в Тропической Африке тождественна религиозной идентичности как форме коллективного и индивидуального самосознания, построенного на осознании своей принадлежности к определенной религии, которое формирует представления о себе и мире посредством соответствующих религиозных догматов.

Африканский континент в начале XXI века является одним из наиболее религиозных регионов в мире. За XX век кардинально изменился его религиозный ландшафт. Если в 1900 году 76% населения Африки были приверженцами традиционных культов, 14% составляли мусульмане и 9% — христиане, то в 2000 году христиане составляли уже 57%, мусульмане 29%, приверженцы местных культов — всего лишь около 13%¹. Точкой разворота ситуации стал 1950 год. Если до этого число приверженцев ислама и христианства росло медленно и было приблизительно одинаковым, то с этого момента начался взрывной рост численности последователей обеих этих религий, при этом христианство демонстрировало двойные темпы увеличения своих последователей по сравнению с исламом.

Контуры современного территориально-конфессионального разграничения континента начали оформляться с середины XIX века, когда западные страны стали захватывать в Африке обширные территории и проводить политику массовой христианизации местного населения. При этом вероисповедная принадлежность страны-колонизатора автоматически переносилась и на подконтрольную территорию. Таким образом, контуры протестантских и католических регионов современной Африки были предопределены странами-колонизаторами. После крушения колониализма в середине XX века начался новый этап христианизации, характеризующийся политикой приспособления к местным особенностям, провозглашением равенства всех христиан вне зависимости от расы. Для этого этапа характерен, прежде всего, синкретизм — слияние некоторых элементов местных религий и культов с христианством, а в социально-политической сфере — призыв к социальной гармонии, политической и социальной ответственности местных элит. Последствия этой политики привели к взрывному росту численности христиан в регионе, в результате Африка стала третьим континентом в мире по числу верующих-христиан.

На данный момент возможности для прозелитизма практически исчерпаны, рост приверженцев христианства и ислама жестко коррелирует с ростом численности населения, уже исповедующего ту или иную религию. Практически Африка как континент поделена между последователями ислама и христианства. Линия условного размежевания проходит от Сомали на востоке до Сенегала на Западе. Именно в странах этого пограничья впервые предприняла атаку террористическая организация «Аль-Каида», взорвав посольства США в Кении и Танзании в 1998 году. Здесь происходила кровопролитная мно-

¹ World Religion Database. См: *Pew Forum on Religion & Public Life*. April 2010. URL: <http://www.pewforum.org.aspx> (accessed: 22.10.2015).

голетняя гражданская война между мусульманским Севером и христианским Югом в Кот-д'Ивуаре, в Нигерии продолжается кровопролитие, сопровождающееся многочисленными террористическими актами мусульманской организации «Боко Харам».

На основании данных «The Pew Research Center» [Global Christianity... 2011] в 51 стране региона насчитывалось на конец 2010 года более 500 млн христиан, что составляло около 24% от мировой численности, соответственно, мусульман насчитывалось более 250 млн человек, или 15% от мировой численности.

Среди стран региона южнее Сахары можно выделить 10 государств с наибольшим числом христиан (табл. 23.1). В оставшейся 41 стране региона проживает 139,11 млн христиан — 26,9% от числа христиан региона и 6,4% от общемировой численности христиан.

Таблица 23.1

**Численность христиан в странах Тропической Африки
(в десяти ведущих по численности христианских верующих странах,
по состоянию на 2010 г.)**

Страна	Общая численность христиан, млн чел.	В % от численности населения	В % от общемировой численности
Всего по 10 странам	377,36		17,3
Нигерия	85,51	50,8	3,7
Демократическая Республика Конго	63,15	95,7	2,9
Эфиопия	52,58	63,4	2,4
ЮАР	40,56	80,9	1,9
Кения	34,34	84,8	1,6
Уганда	28,97	86,7	1,3
Танзания	26,74	59,6	1,2
Гана	18,26	74,9	0,8
Ангола	16,82	88,2	0,8
Мадагаскар	15,43	74,5	0,7

Составлено по: [Regional Distribution of Christians... 2011].

Анализ количественного состава приверженцев различных христианских конфессий и деноминаций показывает, что лидирующее положение по состоянию на конец 2010 года уверенно занимают протестантские деноминации — 295,51 млн, что составляет 57,2% от общего числа христиан региона. Количественно половина всех африканских протестантов приходится на две страны — ЮАР (36,55 млн и 72,9% от численности населения страны) и Нигерию (59,68 млн и 37,7%).

Мусульмане по состоянию на 2010 год составляют большинство в Сомали — 99,8% от общей численности населения страны; Мавритании — 99,1%; Нигере — 98,4%; Джибути — 96,9%; Сенегале — 96,4%; Мали — 94,4%; Гвинее — 84,4%; Сьерра-Леоне — 78%; Буркина-Фасо — 61,6%; Чаде — 55,3%. При этом количественно наибольшее число мусульман проживает в Нигерии — 77,3 млн человек (48,3% от общей численности населения страны), Эфиопии — 28,68 млн человек (36,4%), Танзании — 15,5 млн человек (35,2%), Нигере — 15,2 млн человек, Мали — 14,5 млн человек, Сенегале — 11,9 млн человек, Гвинее — 8,6 млн человек, Кот-д'Ивуаре — 7,3 млн человек. Количественное соотношение шиитов и суннитов отражает общемировое соотношение этих ветвей в мировом исламе — мусульмане-сунниты значительно превосходят численностью мусульман-шиитов. Чад (21%) и Танзания (20%) — единственные страны, где мусульмане-шииты составляют значительную часть; в Джибути (77%), Сенегале (55%), Чаде (48%), Гвинее-Биссау (40%), Нигерии (38%), Танзании (41%) — большинство мусульман самоидентифицируют себя как сунниты. Обращает на себя внимание и значительное число респондентов, называющих себя «просто мусульманами» — медианно 23%, что можно рассматривать как отсутствие у африканцев-мусульман такого резкого осознания различий между двумя основными ветвями ислама, какое есть у мусульман на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Если говорить об особенностях христианской и мусульманской религиозности населения в странах южнее Сахары, то, по данным исследования, проведенного «Pew Research Center. The Per Forum on Religion & Public Life» в 19 странах Тропической Африки с разным конфессиональным составом и уровнем жизни, население которых составляет 75% от общей численности населения региона, примерно 90% заявили, что религия играет исключительно важную роль в их жизни. Наименьшие показатели зафиксированы в Южной Африке — 74% населения, среди них 79% христиан (данных по мусульманам нет) и в Ботсване — 69% населения, среди них 75% христиан (данных по мусульманам нет)². Важно отметить, что между христианами и мусульманами нет существенного разрыва в показателях поддержки важности религии

² Данные по состоянию на конец 2008 — начало 2009 года, опрошено 25 тыс. респондентов, представляющих 60 языков (данные по Мали, Сенегалу, Гвинее-Биссау, Гане, Нигерии, Чаду, Камеруну, Демократической Республике Конго, Уганде, Кении, Руанде, Танзании, Мозамбику, Эфиопии, Джибути, Замбии, Ботсване, ЮАР, Либерии). См.: [Resources on Islam and Christianity... 2011; Tolerance and Tension... 2010].

в жизни. Таким образом, можно сделать вывод о том, что и мусульмане, и христиане ставят во главе жизненных ценностей религию.

Но действительно ли сторонники традиционных религий отказались от своих верований под воздействием учения христианства и ислама, или мы имеем, в той или иной мере, феномен двоеверия? Согласно данным опроса, 27% африканцев верят в защитную силу жертвоприношений духам и предкам. Среди христиан в силу языческих обрядов верит 25%, среди мусульман 30%. То есть каждый четвертый христианин и мусульманин в регионе является двоеверцем.

При характеристике христианской и мусульманской религиозности африканцев следует исходить из того, что под религиозностью понимается социальное качество индивида и группы, выражающееся в совокупности их религиозных свойств (признаков). Религиозность фиксируется с помощью таких критериев (индикаторов), как соответствующие признаки сознания, поведения, включенности в религиозные отношения. Общим признаком религиозного сознания является религиозная вера. Она включает знание и принятие в качестве истинных определенных религиозных идей, понятий, представлений, догматов. Степень собственно религиозности можно определить, прежде всего, верой в религиозные догматы, которые являются фундаментом религиозного мировоззрения и воплощают трансцендентные ценности бытия.

Один из таких догматов для христиан — ожидание второго пришествия Христа, которое является основным фокусом христианской эсхатологии как религиозного учения о конечных судьбах мира и человека. Сегодня, по данным опроса, 61% христиан региона верят в пришествие Христа еще при их жизни.

Для мусульман фундаментальным религиозным догматом, воплощающим трансцендентные ценности бытия, является вера в восстановление халифата. 52% мусульман Тропической Африки верят в восстановление халифата как золотого века исламского правления при их земной жизни. Концепция мусульманской теократии в наиболее завершенном виде нашла отражение в творчестве суннитского законоведа Абу л'-Хасан ал-Маварди (974–1058 гг.). К моменту написания своей работы «Законы правления» Арабский халифат как единое теократическое государство распался, поэтому перед мыслителем стояла задача теоретического осмысления основ мусульманской государственности с целью последующего восстановления халифата. Он полагал, что халифат является божественным творением, призванным охранять исламскую веру и осуществлять справедливое правление над всем миром. Цель всемирного халифата — покорение и обращение в мусульманство всех «неверных» и установление над ними единой и неделимой власти халифа. В мировом мусульманском государстве халиф должен соединять в своем лице власть духовную (великий имам) и политическую (эмир) [См: Петрушевский 1966]. Можно согласиться с мнением исследователя средневекового ислама Е. Розенталя, согласно которому «ислам в идеале является теократией, а халифат его земной политической формой» [Rosenthal 1962: 117].

Таким образом, можно говорить о напряженном эсхатолого-теократическом ожидании как одной из доминирующих особенностей христианской и мусульманской религиозности в регионе.

Для религиозного сознания характерна вера в чудеса, божественное исцеление. Так, 56% африканцев заявили, что были свидетелями или испытали на себе божественное исцеление. О религиозном характере сознания христиан-африканцев свидетельствует и то, что в среднем 56% опрошенных верят, что Бог предоставит богатство и хорошее здоровье тем, у кого есть крепкая вера. Среди мусульман ситуация практически зеркальная.

Религиозное сознание определяет религиозное поведение как совокупность взаимосвязанных действий индивида или группы, реализующих религиозные предписания. Ведущими критериями культовой стороны религиозного поведения являются частота посещения богослужений, молитва, соблюдение религиозных предписаний, празднование религиозных праздников. Согласно опросу, в среднем 81% христианского населения посещают религиозные службы не реже одного раза в неделю. Самые высокие показатели в Нигерии (88%), Замбии (85%), Чаде (83%), Танзании (83%). Среди мусульман показатели посещения мечети раз в неделю несущественно превышают христианские — около 87%. Самые высокие показатели в Гане (99%), Уганде (93%), Либерии (93%), Нигерии (87%).

В среднем 72% христиан молятся не реже одного раза в день. Высок процент христиан, соблюдающих предписания в Великий Пост — 69%. Около 85% мусульман совершают молитву не реже одного раза в день. Около 91% мусульман в странах Тропической Африки соблюдают Рамадан.

Можно констатировать, что христиане и мусульмане в Африке регулярно и часто совершают акты культового действия, главный мотив которых — религиозный.

Религиозное сознание воздействует на мотивацию социальной деятельности, на отношение к социальной действительности. С этой точки зрения весьма важным вопросом, показывающим роль религии в повседневной жизни, был вопрос о поддержке Священного Писания или законов шариата в качестве правовой основы жизни государства. В среднем 60% опрошенных христиан назвали Библию источником права в стране. В Замбии этот показатель является самым высоким — 77%, далее следуют Нигерия (70%), Гана (70%), Ботсвана (69%), ЮАР (66%), Уганда (64%), Либерия (63%), Мозамбик (63%), Кения (57%), Гвинея-Биссау (57%), Эфиопия (55%), Демократическая Республика Конго (52%), Камерун (52%), Чад (45%), Руанда (42%), Танзания (39%). Среди мусульман 63% поддерживают шариат как основу гражданского законодательства. В Джибути этот показатель является самым высоким — 82%, далее следуют Демократическая Республика Конго (74%), Нигерия (71%), Уганда (66%), Камерун (53%), Чад (47%), Танзания (37%).

Религиозные тексты как источник права — это свидетельство цельного религиозного (теократического) сознания, которое стремится и в мирских отношениях руководствоваться священными текстами своей религии. Однако

в этом кроется и потенциальный источник напряженности в странах, имеющих значительное количество приверженцев как ислама, так и христианства. Яркий пример — Нигерия, где бушует межконфессиональный конфликт и льется кровь. В этой стране 71% мусульман высказались за шариат как основу правовой жизни в стране и 60% христиан видят Библию источником права.

Итак, африканца можно охарактеризовать как прочно верящего в основные положения религиозного вероучения, зачастую соединяющего с христианством или исламом элементы традиционных верований, живущего напряженными эсхатологическими ожиданиями, осознающего себя членом определенной религиозной общности, регулярно и часто совершающего акты культового действия, главный мотив которых — религиозный, руководствующегося в социальной деятельности своим религиозным сознанием, стремящегося к теократическим формам реализации. Можно согласиться с мыслью И.А. Исаева, что теократия как идея характеризуется не столько взглядами о взаимоотношении государства и церкви, политики и религии, сколько особенностями логики теократического мышления: «В теократическом стереотипе государственно-правового мышления характерным является не только и не столько степень соотнесения и разделения духовной и светской властей. Напротив, для него свойственно стремление к тотализации, причем идеологический характер мышления стимулирует в первую очередь тотализацию духовных и невидимых аспектов власти... Тотальность подобного политического мышления стимулировалась, прежде всего, глубинной идеей всеединства, которая, на наш взгляд, может быть определена как своего рода архетип» [Исаев 1988: 111].

Монолитность религиозного сознания приверженцев афрохристианства и афроислама является потенциальной основой возникновения религиозных конфликтов. Такое сознание исходит из посыла, что только догматы своей религии являются истинными; при этом отсутствует стремление ознакомиться и, тем более, поразмыслить о догматах других религий. Согласно опросу, менее половины христиан и мусульман стран Тропической Африки знают что-либо о вере друг друга. Фактом из этого же ряда является и то, что большинство опрошенных мусульман и христиан отрицательно относятся к межконфессиональным бракам, не желают женить или выдавать замуж за иноверцев своих детей. Между приверженцами афрохристианства и афроислама наблюдаются явные признаки напряженности и размежевания. Так, в Нигерии 58% населения считают политический конфликт, в основе которого лежат религиозные противоречия, очень большой проблемой для страны.

Африка — континент с высочайшим уровнем религиозности как христианского, так и исламского населения. Более того, христианская и мусульманская религиозность в Тропической Африке имеет ярко выраженную теократическую направленность, находящую свое выражение в одобрении государственного правового регулирования общественной жизни на основе священных текстов и в эсхатологических ожиданиях. При этом многие государства Тропи-

ческой Африки, где наблюдается высокий уровень религиозности населения, являются конституционно светскими. В большей части это обусловлено тем, что африканские страны были до середины XX века колониями, и местная политическая элита сформировалась под влиянием европейских правовых и идейно-политических доктрин. Конфронтация двух религиозных картин мира ставит под вопрос возможность укоренения религиозной толерантности, которая является неотъемлемой частью секулярной государственности. Поэтому в Тропической Африке велика вероятность обострения конфликтов и угрозы столкновений носителей афрохристианской и афроисламской цивилизационных идентичностей.

Литература

Андреева Л.А. 2013. Христианство в начале XXI века в Африке южнее Сахары: количественные и качественные характеристики. — *Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность*. № 3. С. 35–43.

Исаев И. 1988. Рецидив теократической утопии: церковь и феодальная государственность в расколе. — *Историко-правовые вопросы взаимоотношений государства и церкви в истории России*. М.: Издательство ВЮЗИ. 344 с.

Петрушевский И. 1966. *Ислам в Иране в VII–XV веках. Курс лекций*. Л.: Издательство Ленинградского университета. 400 с.

Global Christianity. A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population. 2011. — *Pew Research Center. The Pew Forum on Religion & Public Life*. 130 p. URL: http://livebetter-magazine.com/eng/reports_studies/pdf/Christianity-fullreport-web.pdf (accessed: 15.02.2017).

Regional Distribution of Christians. A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population. 2011. — *Pew Research Center. Religion & Public Life*. 19.11. URL: <http://www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-regions/#africa> (accessed 15.02.2017).

Resources on Islam and Christianity in Sub-Saharan Africa. 2011. — *Pew Research Center. Religion & Public Life*. 17.02. URL: <http://www.pewforum.org/Resources-on-Islam-and-Christianity-in-Sub-Saharan-Africa.aspx> (accessed 15.02.2017).

Rosenthal E. 1962. *Political Thought in Medieval Islam*. Cambridge: Cambridge University Press. 222 p.

Tolerance and Tension: Islam and Christianity in Sub-Saharan Africa. 2010. — *Pew Research Center. Religion & Public Life*. 15.04. URL: <http://www.pewforum.org/Resources-on-Islam-and-Christianity-in-Sub-Saharan-Africa.aspx> (accessed 15.02.2017).

Глава 24

КОСМОПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Л.А. Фадеева

Ключевые слова: космополитизм, глобализация, культурная идентичность, цивилизационная идентичность, патриотизм, национально-государственная идентичность.

Космополитическая идентичность трактуется в обыденном сознании как представление человека о себе как о гражданине мира. Отождествление себя со всем родом человеческим вроде бы должно примирять, уравнивать разные идентичности. Стремление расставить приоритеты, ввести иерархию идентичностей обостряет состязательность и приводит к борьбе интерпретаций и позиций, как научных, так и идейно-политических. Как правило, космополитическая идентичность сопровождается принятием тезиса о наличии общечеловеческих интересов и ценностей, которые обладают приоритетом перед всеми партикулярными. Но вот в этом тезисе и кроется камень преткновения интерпретаций космополитической идентичности. Стремление расставить приоритеты, ввести иерархию идентичностей обостряет состязательность и приводит к борьбе интерпретаций и позиций, как научных, так и идейно-политических.

Одним из наиболее известных исследователей космополитической идентичности является философ Кваме Энтони Аппиа. Родившийся в Лондоне, выросший в Гане и ставший профессором Принстонского университета Аппиа представляет собой яркий пример гражданина мира, и его интерпретация космополитической идентичности выходит за рамки собственно научного определения, она призвана легитимировать и возвысить понимание этого понятия. «По сути, я утверждаю, что можно быть космополитом — приветствуя многообразие человеческих культур; укорененным — преданным одному (или нескольким) локальному обществу, которое индивид считает своим домом; либералом — убежденным в ценности индивида; патриотом — приветствуя институты государства (или государств), в рамках которого индивид проживает», — декларирует Аппиа. Такая декларация должна примирить

разные системы ценностей, особенно, в современной ситуации, когда почти повсеместно либерализм и патриотизм разводятся как принципиально разные и даже противоположные системы ценностей, взглядов и паттернов поведения.

Аппиа стремится доказать, что «космополитизм проистекает из тех же источников, которые питают либерализм, поскольку именно многообразие форм жизни людей обеспечивает “словарем” язык индивидуального выбора. А патриотизм проистекает из либерализма, поскольку государство упорным трудом создает пространство, в рамках которого мы выявляем возможности свободы. Для укорененного космополита все это есть одно целое» [Appiah 1998: 94].

Более того, Аппиа использует понятие «космополитический патриот», вкладывая в него примиряющее разные ценности значение: он «может принимать возможность мира, в котором каждый является укорененным космополитом, связанным со своим домом, со своими культурными особенностями, но испытывать удовольствие от существования других, отличающихся, мест, являющихся домом других, отличающихся, людей» [Миненков 2007]. Таким образом, дискурс космополитической идентичности включает понятия «многообразие», «ценность индивида», «принятие различий», «индивидуальный выбор», «пространство свободы». Однако эти понятия, входящие в лексикон представителей космополитической идентичности, имеют вполне определенное ценностное содержание. Это объясняет наличие различных и даже антагонистических определений, трактовок и оценок космополитизма и космополитов как в исторической ретроспективе, так и в современном мире.

Попытку дать объективную историческую интерпретацию феномена космополитизма предпринял Виллем Фрейхоф. Он проследил, как известный со времен античности (Диогена, Сократа, Цицерона) феномен, повлиявший на гуманистов эпохи Возрождения (Эразма Роттердамского, Томаса Мора, Мишеля Монтеня), в XVIII веке стал «философией, состоянием души, образом мысли, стилем жизни, габитусом и, что особенно важно, формой самоидентификации культурных элит Просвещения, [как он] воспринимался в первую очередь как печать новой свободы и эмансипации личности, которая исследует мир вокруг себя, открывает в нем пространство без границ и сама становится объектом внимания других культур» [Фрейхоф 2003: 33]. Дух Просвещения, европейские культурные элиты, гуманизм — все эти категории имеют вполне определенную привязку к ценностям либерализма, европеизма и даже европоцентризма.

Не удивительно широкое проникновение идеи космополитизма в сознание интеллектуальной элиты Франции, а с распространением культурных контактов — и других европейских элит в XVIII веке. Однако попытка распространить универсальные идеи и ценности в ходе Великой французской революции и последовавших наполеоновских войн подорвала эту тенденцию. Космополитизм, ассоциировавшийся с просвещенческими идеями и революционными лозунгами, в какой-то мере разделил их судьбу, став предметом ожесточенной борьбы.

Правда, нельзя ставить знак равенства между космополитизмом и претендовавшими на универсализм формулами революции «Свобода, равенство и братство». Так, Фрейхоф указывает, что в качестве наиболее упорных последователей космополитических идей выступали масоны и Орден иезуитов, руководствовавшиеся совершенно иными ценностями и мотивами.

Таким образом, как и другие категории идентичности, космополитическая идентичность не является ни универсальной, ни вневременной. Для ее анализа высока значимость исторического контекста. Ульрих Бек в лекции, обращенной к российским слушателям в Горбачев-фонде, напомнил о сталинской трактовке космополитизма как отрицания патриотизма и о знаменитой кампании против космополитов 1947–1953 годов, к которым тяжелой рукой А. Жданова был приклеен ярлык «безродных». По прошествии многих десятилетий негативные коннотации и интерпретации космополитической идентичности сохраняются в российской традиции, что отражено как в словарях и учебниках, так и в дискурсе в социальных медиа.

С идеологической точки зрения космополитическая идентичность негативно оценивается и в контексте консервативной идеологии. Так, известный неоконсервативный идеолог Роберт Скрутон в своем «Словаре политической мысли» сравнивал космополита с паразитом, который зависит от повседневных жизней других людей и их усилий создать разные местные вкусы и идентичности, для него являющиеся просто баловством» [Scruton 2007: 146].

В современном мире проблематика космополитизма, космополитизации, космополитической идентичности тесно вписана в контекст глобализации. Оценочные суждения, как правило, связаны с тем, как воспринимается сама глобализация — в качестве объективного процесса либо в качестве целенаправленной стратегии элит. Ульрих Бек стоит на первой позиции: «Глобализация — это не чей-то выбор; это анонимная сила. Ее никто не “инициировал”, никто не может ее остановить, и никто не несет за нее ответственности» [Бек 2012b]. Отсюда вытекает его характеристика изменившихся условий конструирования социальной идентичности, которая, на его взгляд, перестала основываться на противопоставлении «нас» и «их» и приобрела бытовой характер, на уровне повседневной жизни. Иная позиция в отношении глобализации приводит и к противоположным выводам о процессах космополитической идентификации, которая оттесняет «на второй план цивилизационную и национально-государственную идентификацию, выдвигая вперед индивидуалистическую гражданскую и групповую политическую идентификацию» [Капицын 2010: 28]. В таком контексте космополитическая идентификация рассматривается как вариант использования «мягкой силы», который приводит к разобщенности и национально-государственной деидентификации, а также смене культурно-национальных кодов.

Беспокойство по поводу влияния глобализационных процессов на идентичности и на соотношение космополитической и национальной идентичностей высказывают представители разных сфер: интеллектуалы, ученые, гражданские активисты. Так, Монтсеррат Гиберно считает необходимым рассмотреть

правовые, политические, экономические, культурные и моральные измерения космополитизма, резко возражая против того, чтобы ставить знак равенства между глобальной культурой и культурным космополитизмом [Guibernau 2007]. Предпринимаются попытки разработки модели гражданского космополитизма, космополитической публичной сферы, гражданской космополитической общественности, глобального гражданского общества.

Космополитическая идентичность нередко сопряжена в анализе с понятиями толерантности или мультикультурности, что в очередной раз усиливает составительность термина. Поскольку толерантность и мультикультурность, не говоря уже о мультикультурализме, имеют прочные и устойчивые коннотации с идеологией и политикой западного либерализма, нет ничего удивительного, что критики этой идеологии и политики переносят негативное отношение и на космополитическую идентичность. Активизируются действия тех, кого Аппиа охарактеризовал как контр-космополитов (counter-cosmopolitans). Таковыми являются, по его мнению, мусульманские фундаменталисты [Appiah 2006].

Дискурс космополитической идентичности тесно связан как с системой ценностей, так и с конкретной деятельностью. Так, существенный вклад в разработку понимания космополитической идентичности внес профессор кафедры социальной антропологии Стокгольмского университета Ульф Ханнерц. Будучи специалистом в области урбанистики, изучая и анализируя разнообразие городской жизни в современном мире, Ханнерц считает, что космополитизм отличает «интеллектуальная и эстетическая открытость новому (отличительному от привычного) культурному опыту, поиск скорее оттенков, чем единообразие», и убежден в значимости проблематизации космополитизма в рамках городского пространства. Ханнерц предложил две концепции «космополитизма»: «космополитика», которая имеет дело с антинационалистической гражданской и политической позицией, и «космополитичность». Последняя ориентирована на культурную или эстетическую практику, когда разнообразие признается фактом жизни, инструментом для повседневных действий, а сама культура понимается как феномен, находящийся в постоянном движении. Вопрос о культуре обладает особой важностью. С одной стороны, именно в культуре отражены действительно универсальные проблемы и феномены: хрупкость человеческой жизни, сила человеческого духа, красота, любовь и пр. Объекты культуры более, чем что-либо другое, побуждают чувствовать то, что отличает род человеческий. Представители разных культур и цивилизаций замирают в восторге перед творениями Микеланджело и Хokusая, Тадж-Махалом и Голубой мечетью. В то же время культура может и разъединять, быть использована как орудие раскола и противостояния; в этом контексте возникает концепт транскультурности (М. Эпштейн) для того, чтобы «перехватить инициативу у государственных строителей культуры и тоже строить культуру, но по ее собственным законам, а не по законам политики» [Акопов 2012: 342].

Исследователи солидарны в том, что концепт космополитизма и космополитической идентичности нуждается в разработке, которая является особен-

но сложной в условиях современных социальных и идейно-политических расколов. Можно утверждать, что сам этот концепт может рассматриваться как один из объектов и одновременно средств такого противостояния.

Литература

Акопов С.В. 2012. Конструирование российской идентичности: принципы транскультурности и критической универсальности. — *Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук*. Вып. 12. С. 341–355.

Бек У. 2012b. Поворот к космополитизму. Жизнь и выживание в обществе всемирного риска. — *Россия в глобальной политике*. Т. 10. № 4. С. 8–19.

Капицын В.М. Космополитизм и цивилизационная идентичность России. — *Информационные войны*. 2010. № 3. С. 24–31.

Миненков Г.И. 2007. Космополитизм и космополитическая идентичность. Тезисы доклада «Космополитизм и космополитическая идентичность: практики интерпретации», Минск, 11 марта 2007. — *Новая Эўропа*. 13.04. Эл. ресурс. Доступ: <http://n-europe.eu/content/?p=1439> (проверено: 15.02.2017).

Фрейхоф В. 2003. Космополитизм. — *Мир Просвещения. Исторический словарь*. М.: Памятники исторической мысли. С. 31–41.

Appiah K.A. 1998. “Cosmopolitan Patriots”. — *Cosmopolitics: Thinking and Feeling Beyond the Nation* (eds. by Cheah P., Robbins B.). Minneapolis: University of Minnesota Press. P. 91–116.

Appiah K.A. 2006. *Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers*. New York: W.W. Norton & Company. 196 p.

Guibernau M. 2007. *The Identity of Nations*. Cambridge: Polity Press. 248 p.

Scruton R. 2007. *A Dictionary of Political Thought*. London: Macmillan. 744 p.

Раздел четвертый

Идентичность в социальных науках.

Словарь терминов и понятий

Глава 25

БАЗОВЫЕ КАТЕГОРИИ

Личность: перспектива идентичности

А.Н. Кимберг

Ключевые слова: личность, отношение, позиция «1-го лица», коммитмент, области идентичности, статусы идентичности, открытие идентичности, конструирование идентичности.

Идентичность — теоретический конструкт и жизненный феномен, принципиально основанный на взаимных проекциях различных пространств бытия человека. Обращение к нему не только расширяет наши возможности объяснять мир, но и ставит задачу вписать его в уже существующие модели реальности, в частности, в реальность, в которой главным индивидуальным актором традиционно является личность. Методологически «личность»¹, «субъект»,

¹ Определений личности так много, что в одной из последних энциклопедических статей ее исходной характеристикой было предложено в духе постмодерна назвать многомерность [Асмолов, Леонтьев 2010]. Но если обратиться к предыдущим устоявшимся определениям, то найдем следующее: «целостный человек в единстве его индивидуальных способностей и выполняемых им социальных функций и ролей» [Кон 1964], «человеческий индивид как субъект отношений и сознательной деятельности» [Кон 1983]. «Почти общепринятый перевод слова личность как personality (наоборот) не вполне адекватен. ...Личность — это selfhood, selfness или self, что близко к рус. слову “самость”». Более точного эквивалента слову “личность” в англ. яз. не существует» [Зинченко 2003; подробно о теориях личности см. Холл, Линдсей 1997].

«идентичность», «селф», «самость» — конструкты, которые описывают различные аспекты отношения деятельностного человеческого сознания к миру. Они решают разные виды теоретических и прикладных задач и уместны в конкретных контекстах, но при этом остаются тем, что они есть — способами описания, понимания, проектирования и контроля активности человека. Феноменологические поля названных понятий существенно перекрываются, в связи с чем их различие оказывается трудной задачей [Leary 2002; 2004]. Это означает, что есть возможность приблизительного соотнесения этих конструктов, чаще всего допускающая не их соподчинение, а констатацию общности описываемых ими явлений. Каждый из названных конструктов выступает как интегральный регулятор активности человека и претендует на всю его целостность.

Стремление реифицировать эти понятия и обращаться с ними аналогично физическим вещам, способным находиться рядом друг с другом или одна внутри другой, иметь составные части и структуру, чрезвычайно распространено, в связи с чем предостережение об этой ошибке актуально [Миненков 2011]. Но стоит ли за теоретическим конструктом «идентичности» реальная сущность? Здесь ситуация особая. Мы имеем дело с человеком: системой, познающей себя и создающей себя. Понятие идентичности появилось как средство описать актуальную включенность человека в социальный мир. Идентичность стала еще одним конструктом, описывающим то же множество феноменов, что и личность, и субъект, но она не тождественна им и не является их частью или уровнем. Она становится особым взглядом или сечением феноменологического пространства личности и субъекта — перспективой идентичности.

Укажем на необходимость различать в работе с идентичностью и близкими к ней конструктами методологию исследователя «от 1-го лица» и объективистскую методологию «от 3-го лица». Методология «от 1-го лица» отсылает нас к уровню агента — носителя интенции и его способа понимания мира [Улановский 2012], что полностью соответствует одному из основных определений идентичности. При описании включенности респондента в отношения с институтами, организациями и другими людьми наблюдатель, находящийся в позиции «3-го лица», использует понятия «личность» и «субъект»; если же он пытается указать, что предмет его внимания обладает собственным представлением о ситуации и о себе, то оперирует понятиями «идентичность» и «селф». Сам же человек думает о себе еще в одном наборе образов / понятий / представлений: нам недоступно непосредственное проникновение в то, каковы они у других людей, но в их наличии мы убеждены на основе собственного субъективного опыта. Необходимо учитывать наличие этих трех подходов к исследовательской проблеме — с помощью понятий «идентичности», «селф» («самости») и «личности», — чтобы иметь возможность их корректного соотнесения между собой.

Работая с конструктом идентичности, мы встречаем линии взаимодействия пространств культуры, социальных отношений и процессов, телесности

и организменности с субъективным пространством нашего Я и видим их в измерениях прошлого и будущего [Уилбер 2002]. Учет разных пространств развертывания аспектов идентичности резко расширяет наши возможности в понимании феномена, но проблема сопоставления языков описания этих пространств представляет собой самостоятельную задачу.

Понятие идентичности появилось как средство показать и описать встроенность человека в социальный мир. Поэтому в первом своем прочтении оно отсылает нас к совокупности отношений конкретного человека с сущностями мира, предстоящего объективному наблюдателю. Во втором прочтении оно адресует нас к представлению индивида о себе и своих отношениях с миром — из позиции «1-го лица» («Я»). Смещение внимания либо к субъективному, либо к онтологическому аспекту при слабой рефлексии собственной исследовательской позиции порождает наибольшее количество противоречий и напряжений в исследовательских программах в этой области.

Тем не менее сложилось согласованное понимание ряда констатаций о феномене идентичности как интегральном личностном регуляторе активности человека. *Личностную (Я) идентичность рассматривают чаще всего как представление о себе и понимание себя в отношениях человека с социальным миром.* Поскольку понимать себя можно только в отношении к чему-то или в сравнении с чем-то, то идентичность есть репрезентация человеку «образа» его самого в связи с некоторыми «опорными точками». В истории вопроса существовало множество названий и описаний таких репрезентаций: Я-концепция, образ Я, самоотношение, схема Я и прочее.

Однако идентичность не следует считать преимущественно когнитивным феноменом. Исследователи определяют идентичность через практически установленное человеком устойчивое отношение к социально значимому предмету. Сам факт такого установленного отношения операционализируется через выбор значимого предмета и характера отношения к нему. Поэтому *личностная идентичность трактуется как совокупность сделанных и поддерживаемых человеком значимых для его жизненного пути актов выбора (принятия ответственного решения), результирующихся в его текущее состояние в пространстве отношений с окружающей социальной средой.* Поскольку человек постоянно делает выбор на протяжении своей жизни, то говорят о *процессе самоидентификации*, моментные срезы которого считаются актуальной идентичностью респондента.

Выбор становится технической точкой коммитмента — взятия на себя долгосрочных обязательств и ответственности в установленном отношении с предметом выбора. Эриксон совершенно определенно дополнял описание коммитмента термином «верность» (fidelity) сделанному выбору [Эриксон 1996]. Таким образом, зрелая (достигнутая) идентичность описывает человека, поддерживающего устойчивые, осознанные и наделенные позитивным смыслом отношения с миром.

Личностная идентичность как феномен самосознания, самоопределения и практик реализации совершенных выборов существует как процесс. Точно

так же, как в нашей активности постоянно уточняется, проверяется и подтверждается наш «рабочий» образ мира, работает и процесс уточнения образа нас как потенциальных акторов. Развитие идентичности описано Джеймсом Марсиа как баланс процессов исследования отношений личности с миром и принятия ею обязательств [Marcia 1966; Kroger, Marcia 2011]. Различное их сочетание дает разные состояния (статусы) идентичности. В классической модели это диффузная идентичность, предрешенная (foreclosed) идентичность, мораторий (кризис самоопределения с отложенным выбором) и достигнутая идентичность. Статусы идентичности достаточно хорошо описаны в отечественной литературе [см., напр.: Антонова, Белоусова 2011].

Диффузная идентичность (нет исследования, нет коммитмента) описывает индивидов, не сделавших ожидаемый от них выбор в некотором значимом отношении и не собирающихся его делать. Последнее очевидно по отсутствию попыток исследовать ситуацию и увидеть альтернативы происходящему. Обладатели диффузной идентичности описываются через такие характеристики, как невысокая самооценка и переживаемое субъективное благополучие, тенденция зависеть от других, трудности в установлении близких отношений, риск ухода в замещающее аддиктивное поведение.

Предрешенная идентичность (не было исследования, есть коммитмент) описывает лиц, принявших достаточно жесткие обязательства по отношению к каким-то аспектам мира без самостоятельного исследования ситуации. Они склонны поддерживать авторитарные ценности, сопротивляются изменениям, имеют тесные отношения с родителями или символически заменяющими их фигурами, но испытывают трудности в установлении близких дружеских отношений с равными по статусу, переживают сильную потребность в социальном одобрении, часто связанную с завышенными требованиями к себе.

Мораторий — (есть исследование, коммитмент отложен) характеризует лиц, находящихся в состоянии поиска и взвешивания возможных решений и поэтому воздерживающихся от принятия каких-либо обязательств. Этот статус — переходный перед достигнутой идентичностью. Его носители демонстрируют устойчивую самооценку, но также повышенный уровень тревоги и стресса и низкую вовлеченность в сообщества и личные отношения.

Достигнутая идентичность (исследование прекращено, реализуется коммитмент) присуща субъекту, принявшему обязательства (коммитмент) после активного изучения ситуации. Этот статус идентичности соответствует наибольшей личностной зрелости, поскольку основывается на достаточно дифференцированном образе себя, высокой самооценке, рефлексивности, готовности принимать решения, наличию моральных ценностей. Носители этой идентичности способны входить в сообщества, устанавливать новые отношения и при необходимости пересматривать уже существующие.

Первоначально Марсиа отрицал, что эта последовательность описывает линейное развитие идентичности, но через два десятка лет полевых исследований была принята модель движения с низших ступеней (диффузная и предрешенная идентичности) через мораторий к достигнутой идентичности.

Так сложилась нормативная последовательность становления идентичности: случайные или сделанные под влиянием авторитетов выборы направления развития, кризис осмысления и исследования собственной жизненной ситуации, осознанный выбор одной из альтернатив и принятие обязательств по следованию ему [Berzonsky, Adams 1999].

В последующих исследованиях идентичности модель структурно усложнилась: выделились фаза ориентации и поиска и фаза углубленного исследования (*in-depth exploration*), в коммитменте помимо акта принятия решения были намечены фазы идентификации с предметом отношения (*identification with commitment*) и переоценки отношений (*reconsideration of commitment*) [Crocetti, Rubini, Meeus 2008; Luycx, Goossens, Soenens, Beyers 2006; Antis 2014]. Есть основания выделять как особое состояние готовность к выбору (пред-коммитмент) [Кимберг, Демонова 2014]. Принятие решения о выборе, верности и заботе о предмете отношения (коммитмент) сопровождается более глубоким его изучением и не исключает периодические возвращения к вопросу об удовлетворительности отношений для субъекта. В некоторых случаях идентичность может регрессировать к более низким уровням. Можно определенно утверждать, что когда от человека требуется определиться во вновь появившихся или существенно изменившихся жизненных обстоятельствах, у него возникает кризис идентичности.

Вопрос о том, в каких отношениях с миром человеку надо определиться, возвращает нас к так называемым областям (*domains*) идентичности. Сегодня исследователями выделено множество видов идентичностей (этническая, политическая, профессиональная и др.). Эта продолжающая расширяться классификация разработана из позиции «3-го лица» («объективистской»), в то время как из позиции «1-го лица» наличествуют только Я и различные сущности мира, с которыми ему приходится взаимодействовать. Эти сущности находятся в особых пространствах со своими связями и логикой отношения. Полагая, что индивид с какой-то степенью отчетливости способен их выделить, исследователи идентичности создали понятие «область / домен идентичности».

В истории исследований идентичности перечень этих областей сложился в следующем виде: так называемая «идеология» (профессиональная занятость, религия, политика), стиль или философия жизни и межличностные отношения (дружба, знакомства, сексуальные роли, способы отдыха). Предполагается, что человек в норме определяет свои позиции в каждой из областей, после чего он становится максимально понятным и для себя, и для окружающих и достигает наиболее определенных и сбалансированных форм социальных взаимодействий.

В целом понятно, что идентичность и ожидаемые формы ее реализации производны от представления о нормативных жизненных траекториях, существующих в данное время в конкретном обществе. Моменты необходимого самоопределения расписаны по срокам и по областям, отведено место для кризиса самоопределения, равно как и промежуток времени для его переживания. Но в ситуации трансформации общества характер запроса на идентичность

меняется: стратегии идентичностей стабильного периода не вполне годятся для трансформационного периода. Самоидентификация как процесс культурно обусловлена: критически важные области идентичности одной культуры могут не соответствовать нормативным представлениям о жизни другой культуры.

Из сказанного выше не следует, что идентичность как регулятор активности бóльшую часть времени актуализирована в сознании личности. Постоянная «тихая работа» становления идентичности [Эриксон 1996] не обязательно означает ее присутствие в сфере сознания. На уровне высокой вовлеченности в деятельность человек следует за процессом, адаптивно уподобляясь его требованиям. Он не рефлексивен себя как субъекта актуального отношения, но его действия точно учитывают его возможности.

Бурдьё концептуализировал этот уровень регуляции активности как *габитус* — порождающий принцип организации поведения в конкретной ситуации, оптимизирующий соответствие требований развивающейся ситуации и потенциала индивида. Используя концепцию габитуса, Бурдьё говорил о «субъекте без субъекта», то есть об адаптивном и генеративном поведении человека, не предполагающем включения его Я, активации представления о себе и его осознанного и рефлексивного выбора: «...понятие габитуса сохраняет за агентом порождающую, объединяющую, конструирующую и классифицирующую силу, отмечая в то же время, что эти способности конструировать реальность сами социально сконструированы; это не трансцендентальный субъект, а социализированное тело инвестирует в свою практику социально сконструированные организационные принципы, которые приобретены в ходе конкретного социального опыта» [Bourdieu 2000: 136–137].

Концепция габитуса вполне отвечает на вопрос о том, что собой представляет неосознаваемое, но включенное в регуляцию активности знание о себе. Существование неосознаваемой части идентичности позволяет исследователям выдвигать две теории ее становления: открытия идентичности и конструирования идентичности. Теория «открытия идентичности» подразумевает, что человек ощущает себя и формирует представление о себе (собственно идентичность), прислушиваясь к своим чувствам и объясняя себе свои поступки и сделанные выборы. Это означает, что он располагает системами принятия решения в актуальных ситуациях, даже если и не осознает и не может вербализовать их [Waterman 2011]. Теория «конструирования идентичности» полагает, напротив, что, поскольку идентичность реализуется в сделанных человеком выборах и каждый выбор добавляет материал в ее конструкцию, люди сами формируют свою идентичность и могут выстраивать ее вполне осознанно [Berzonsky 2011].

Расхождения между «открытием идентичности» и «конструированием идентичности» локализованы в точке реального принятия решения и касаются сравнительной значимости неосознаваемых процессов и рефлексивного анализа информации. Работают и те, и другие. М. Берзонски предложил признать наличие у человека двух параллельно обрабатывающих информацию систем.

Одна — быстрая, основанная на опыте когнитивная система обрабатывает эмоционально-заряженную информацию автономно, автоматизированно и неререфлективно. Эта интуитивно-опытная система экономна и достаточно эффективна, но подвержена разного рода когнитивным упрощениям. Она представляет информацию в формах конкретных образов, эпизодов, сценариев и нарративов, проецированных на опыт субъективного мира человека, и «решает до решения».

Другая — основанная на рассуждениях рациональная система — аналитически обрабатывает символическую информацию длительным усилием концентрации внимания и мышления. Свободный от текущего контекста способ мышления позволяет строить и проверять гипотезы и рефлексировать по поводу собственного хода мысли. Она менее склонна к искажениям и может уточнять и настраивать автоматическую систему обработки эмоциональной информации (если, конечно, сможет ее выявить).

Обе системы играют свою роль в конструировании идентичности и регуляции ею активности человека, но люди обнаруживают индивидуальные различия в их использовании и / или предпочтении, а также могут с разной эффективностью и в разных ситуациях переключаться между ними [Berzonsky 2008].

Я-идентичность, таким образом, предстает перед нами как инструмент и механизм регуляции активности личности во всех областях ее бытия. Процесс самоидентификации протекает на различных уровнях осознания и в моменты осуществления значимых жизненных выборов оказывается репрезентирован личности как актуальное представление о себе, своих отношениях с миром, интересах и ценностях, определяющее или обосновывающее выбор значимой альтернативы. При этом сформированность идентичности как регулятивного механизма всегда остается индивидуальным продуктом жизненного пути человека, результирующим его собственные усилия самоопределения в данном ему пространстве социальных возможностей и требований. Это обстоятельство определяет высокую вероятность встретить в современном обществе людей, существенно различающихся по уровню развитости психологической системы идентичности и характера ее влияния на жизненную траекторию.

Литература

Антонова Н.В., Белоусова В.В. 2011. Самоопределение как механизм развития идентичности. — *Педагогика и психология образования*. № 2. С. 79–92.

Асмолов А.Г., Леонтьев Д.А. Личность. — *Новая философская энциклопедия: в 4-х т.* (Институт философии РАН; Национальный общественно-научный фонд; 2-е изд., испр. и допол.). М.: Мысль, 2010. Доступ: <http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about> (проверено 15.02.2017).

Зинченко В.П. 2003. Личность. — *Большой психологический словарь (под ред. В.Г.Меццеракова, В.П.Зинченко)*. М.; Санкт-Петербург: АСТ; АСТ-Москва; Прайм-Еврознак.

Кимберг А.Н., Демонина Я.О. 2015. Коммитмент и пред-коммитмент как составляющие процесса самоопределения. — Категория «социального» в современной педагогике и психологии: материалы 3-й научно-практической конференции (заочной) с международным участием: 19–20 марта 2015 г. (отв. ред. А.Ю. Нагорнова). Ульяновск: SIMJET. 2013. С. 186–190.

Кон И.С. 1964. Личность. — *Философская энциклопедия*. В 5 т. Т. 3. Колмунизм. Наука / Ред. колл.: Ф.В. Константинов (гл. ред.) [и др.]. М.: Советская энциклопедия. 584 с.

Кон И.С. 1983. Личность. — *Философский энциклопедический словарь*. М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. 840 с.

Миненков Г.Я. 2011. Идентичность как предмет политического анализа. — *Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 1. Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий* (отв. ред. И.С. Семенов). М.: РОССПЭН. С. 18–25.

Уилбер К. 2002. *Око духа: Интегральное видение для слегка свихнувшегося мира*. М: ООО «Издательство АСТ». 585 с.

Улановский А.М. 2012. *Феноменологическая психология: качественные исследования и работа с переживанием*. М.: Смысл. 255 с.

Холл К.С., Линдсей Г. 1997. *Теории личности*. М.: «КСП+». 720 с.

Эрикссон Э. 1996. *Идентичность: юность и кризис*. М.: Издательская группа «Прогресс». 344 с.

Antis K. 2014. Hope, Will, Purpose, Competence, and Fidelity: Ego Strengths as Predictors of Career Identity. — *Identity: An International Journal of Theory and Research*. Vol. 14. P. 153–162.

Berzonsky M.D. 2008. Identity formation: The role of identity processing style and cognitive processes. — *Personality and Individual Differences*. Vol. 44. No. 3. P. 645–653.

Berzonsky M.D. 2011. A Social-Cognitive Perspective on Identity Construction. — *Handbook of Identity. Theory and Research* (ed. by S.J. Schwartz, K. Luyckx, V.L. Vignoles). Springer Science+Business Media, LLC. P. 55–76.

Berzonsky M.D., Adams G.R. 1999. Re-evaluating the identity status paradigm: Still useful after 35 years. Commentary. — *Developmental Review*. Vol. 19. P. 557–590.

Bourdieu P. 2000. *Pascalian Meditations*. Stanford: Stanford University Press. 264 p.

Crocetti E., Rubini M., Meeus W. 2008. Capturing the dynamics of identity formation in various ethnic groups: Development and validation of a three-dimensional model. — *Journal of Adolescence*. Vol. 31. No. 2. P. 207–222.

Kroger J., Marcia J.E. 2011. The Identity Statuses: Origins, Meanings, and Interpretations. — *Handbook of Identity. Theory and Research* (ed. by S.J. Schwartz, K. Luyckx, V.L. Vignoles). Springer Science+Business Media, LLC. P. 31–54.

Leary M. 2002. The Self as a Source of Relational Difficulties. — *Self and Identity*. Vol. 1. No. 2. P. 137–142.

Leary M. 2004. What Is the Self? A Plea for Clarity Editorial. — *Self and Identity*. Vol. 3. No. 1–3. P. 1.

Luyckx K., Goossens L., Soenens B., Beyers W. 2006. Unpacking commitment and exploration: Preliminary investigation of an integrative model of late adolescent identity formation. — *Journal of Adolescence*. Vol. 29. No. 3. P. 361–378.

Marcia J.E. 1966. Development and validation of ego identity status. — *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 3. P. 551–558.

Waterman A.S. 2011. Eudaimonic Identity Theory: Identity as Self-Discovery. — *Handbook of Identity. Theory and Research* (ed. by S.J. Schwartz, K. Luyckx, V.L. Vignoles). Springer Science+Business Media, LLC. P. 357–380.

Индивидуальная (Я) идентичность

Е.О. Труфанова

Ключевые слова: личность, самосознание, индивидуальность, саморепрезентация, социальные роли, Я.

Понятие индивидуальной (личностной, персональной, Я) идентичности используется в философии, психологии, политологии и других общественных и гуманитарных науках.

В аналитической философии понятие индивидуальной (персональной, личностной) идентичности (*personal identity*) рассматривается в качестве проблемы тождества личности. Основной вопрос: каковы критерии, по которым мы считаем определенного индивида в разные моменты его жизни и в разных обстоятельствах одной и той же личностью? Проблема впервые ставится Дж. Локком в «Опыте о человеческом разумении» (1689 г.) [Локк 1985], основным критерием тождества личности у Локка является память о прошлых мыслях и действиях. Вокруг этого положения в 1940–1970 годы в американской аналитической философии разворачиваются основные дискуссии. К сторонникам локковского критерия памяти относятся Э. Куинтон [Quinton 1962], П. Грайс, [Grice 1941] С. Шумейкер [Shoemaker 1963], Д. Перри [Perry 1978] и др. Противники критерия памяти Б. Уильямс [Williams 1957], Д. Парфит [Parfit 1984] и др. выдвигают телесный критерий, утверждая, что тождество личности связано с постоянством нашего тела, а не с совокупностью воспоминаний.

Индивидуальная идентичность — это система отношений индивида с различными аспектами его внутреннего мира и значимыми для него аспектами окружающего мира. Существенной характеристикой индивидуальной идентичности является чувство «самотождественности», т.е. чувство принадлежности данных качеств к единой системе, центром которой является Я индивида.

Говоря о личности, удобней использовать термин «идентичность», а не «тождество». Тождество предполагает полное совпадение свойств предметов, являющихся тождественными друг другу. Однако личность никогда не является абсолютно совпадающей с самой собой, она находится в постоянном диалектическом развитии, утверждая и отрицая себя и снова утверждая уже на новом уровне. Часто ставится вопрос, не является ли понятие индивидуальной идентичности избыточным, не исчерпывается ли оно терминами «самосознание», «личность», «самость»? Несмотря на наблюдаемые пересечения

областей применения этих понятий, ни одно из них не включает основного содержания понятия идентичности. Наличие ее у индивида подразумевает, что во всем меняющемся многообразии аспектов его жизни, любое сочетание этих аспектов будет означать все того же, а никакого иного индивида. Говорить об индивидуальной идентичности возможно только в рамках того, что индивид знает о себе, поскольку речь идет прежде всего о том, насколько мое знание о себе «здесь и сейчас» тождественно моему знанию о себе в целом [Трубина 1995; Труфанова 2010а; 2014]. В ряде современных теорий в рамках гуманитарных наук, объединенных в качестве направления «социальный конструкционизм», предлагается в принципе заменить понятие Я понятием индивидуальной идентичности. Это основывается на утверждении социального конструкционизма о том, что Я в том виде, в каком его представляли классическая философия и психология, не существует, и мы можем говорить только о системе социальных связей, в которые включен индивид, которые и являются составляющими индивидуальной идентичности. С точки зрения социального конструкционизма мы говорим о множестве идентичностей (см. ниже — *идентификации*) одного индивида, возникающих в различных социальных обстоятельствах, при этом «набор» возможных идентичностей предопределяется доминирующими в данном социуме готовыми «образцами» [Джерджен 2003; Gergen 2000].

Индивидуальная идентичность конструируется на основе категорий, с помощью которых индивид познает мир, организует свое знание о мире и описывает себя [Эриксон 2006; Lifton 1993]. Таким образом, можно утверждать, что индивидуальная идентичность состоит из множества *идентификаций*. Каждая идентификация отражает связь индивида с определенным аспектом внешнего мира и то, как этот аспект отражается и преломляется в единой системе его личностной идентичности. Среди основополагающих идентификаций можно выделить примордиальные идентификации, такие как эго-идентификация («Я это Я»), биологическая идентификация («Я — человек»), телесная идентификация («Я — обладатель этого тела»), половая идентификация («Я — существо женского пола»); и различные идентификации, составляющие социальную идентичность, социокультурно конструируемые в ходе индивидуального развития: семейная идентификация («Я — дочь таких-то»), *гендерная идентификация* («Я — женщина и, следовательно, должна отвечать определенным ожиданиям, касательно моей роли в социуме»), *национальная или этническая идентификация* («Я — русская»), *политическая идентификация* («Я — социалист»), *профессиональная идентификация* («Я — преподаватель») и т.п. Идентификации, составляющие социальную идентичность [Mead 1934; Giddens 1991], как правило, проявляются также при формировании *коллективной идентичности*.

Иерархия этих идентификаций различна для разных людей в разные моменты времени, однако все они с разной интенсивностью присутствуют в каждом индивиде. В критических ситуациях одна идентификация может затмить остальные (например, в случае опасности телесного повреждения именно

телесная идентификация становится для нас главной, доминирующей), и тем не менее индивидуальная идентичность человека не может никогда сводиться лишь к одной идентификации.

Индивидуальная идентичность конструируется в процессе индивидуального развития и в процессе жизни индивида постоянно подвергается реконструированию. Упомянутые выше базовые идентификации образуют «фундамент» идентичности, более или менее незыблемый. Однако, если эго-идентификация исчезает только в клинических случаях, то практически все остальные идентификации могут изменяться. На основе базовых идентификаций либо дополнительно к ним формируются частные, но при этом в определенном смысле более сложные идентификации, зависящие от индивидуальных вкусов, пристрастий, иерархии ценностей каждого отдельного человека. Это идентификации со значимыми другими, с определенными продуктами культуры, с фантазиями, вымышленными образами, зачастую известными только самому индивиду. Именно идентификации второго порядка и составляют по большей части уникальность человеческой личности. Если не они сами, то их сочетания в одной личности абсолютно индивидуальны и неповторимы.

Таким образом, индивидуальная идентичность представляет собой утверждение тождественности индивида в одних его проявлениях и репрезентациях (или идентификациях) ему же в других его проявлениях. То есть каждая отдельно взятая идентификация является встроенной, согласованной с другими, непротиворечивой частью единой системы, которую представляет собой индивидуальная идентичность. В случаях, когда между разными идентификациями возникают неразрешимые противоречия (например, женщина пытается одновременно выступать как феминистка и как консервативная христианка, что затруднительно в связи с принципиально разными подходами к роли женщины, характерными этим позициям), то наступает ситуация «кризиса идентичности» [Хесле 1994]. Для его разрешения необходим пересмотр одной или нескольких идентификаций, в результате которого индивид отказывается от каких-то из них, либо существенным образом реформирует их и всю индивидуальную идентичность в целом, выстраивая новую иерархию отношений внутри нее [Труфанова 2010b]. Также кризисной индивидуальная идентичность становится при потере одной из идентификаций (например, утрата близкого человека или разочарование в некоем идеале), и в таком случае вновь необходимо реконструирование индивидуальной идентичности таким образом, чтобы заполнить пустоту.

Говорить об индивидуальной идентичности возможно только в западной культуре и рациональности, поскольку на Востоке, например, в японской культуре, представляет интерес не целостная личность (японская традиция считает, что о личности человека в целом трудно сказать что-то определенное), а именно отдельные проявления индивида в разных социальных интеракциях, т.е. разные идентификации. Вероятно, индивидуальная идентичность не представляет собой ценности в восточной культуре, сравнимой с западным отношением к целостности личности. Тем не менее глобализационные процессы

приводят к размыванию границ этих подходов, так что жесткое противопоставление индивидуальной идентичности на Востоке и на Западе становится невозможным, все чаще речь идет о формировании *гибридной идентичности*.

Важную роль для индивидуальной идентичности играет память, причем избирательная. Главное значение приобретает эпизодическая память — память о конкретных событиях нашей жизни. Человек постоянно формулирует свою жизненную историю, прежде всего рассказывая ее окружающим, но также и себе. Это еще одна важнейшая идентификация — биографическая. Человек определяет себя как личность, совершившую определенные поступки, и выстраивает иерархию этих событий в зависимости от собственной оценки их значимости для своей биографии. Даже вымышленные эпизоды и факты могут занять в ней важное место, если индивид приложит усилия, чтобы убедить себя и окружающих в том, что они являются частью его жизни. Утрата памяти в тяжелых случаях амнезии может привести к полному разрушению индивидуальной идентичности.

В процессе конструирования и реконструирования и.и. важную роль играет язык. Именно с его помощью во многом конструируется биографическая идентификация, поскольку индивидуальная идентичность в наиболее сжатой форме может быть выражена в виде рассказа о себе (нарратива). Как сознанию свойственно сглаживать противоречия (об этом говорит явление когнитивного диссонанса), так и индивид пытается создать последовательную, непротиворечивую модель идентичности. Наглядным примером попытки вербализовать индивидуальную идентичность является то, как современный индивид репрезентирует себя в Интернете (см.: *Сетевая идентичность*). Хотя нарративный подход к индивидуальной идентичности очень важен, она не сводится только к вербализованной автобиографии, поскольку ни одна, даже самая подробная автобиография не способна выразить абсолютно все идентификации индивида и, следовательно, не будет являться полной.

Поддержание стабильности индивидуальной идентичности в современном мире становится более проблематичным, поскольку именно сейчас возрастает возможность индивидуализации, усложнения её структуры. Благодаря росту числа коммуникаций и размыванию границ социальных норм, повышению социальной мобильности человек получает больше возможностей для самовыражения, а также больше «входящей» информации, и, следовательно — его индивидуальная идентичность становится более сложной, многосоставной и изменчивой, «протеевской» [Lifton 1993] и «перенасыщенной» [Gergen 2002]. Благодаря этому в исследованиях идентичности наблюдается большое разнообразие, так как каждая идентификация приобретает отдельное четко выраженное звучание. Однако при узкоспециализированных исследованиях различных идентификаций необходимо уделять внимание рассмотрению их места в структуре личностной идентичности в целом.

Литература

- Джерджен К.Дж. 2003. *Социальный конструкционизм: знание и практика: Сборник статей*. Минск: БГУ, 232 с.
- Локк Д. 1985. Опыт о человеческом разумении. — Локк Д. *Сочинения в 3-х т.* Т. 1. М.: Мысль. С. 78–582.
- Трубина Е.Г. 1995. *Рассказанное Я: проблема персональной идентичности в философии современности*. Екатеринбург: Уро РАН. 150 с.
- Труфанова Е.О. 2010а. Человек в лабиринте идентичностей. — *Вопросы философии*. № 2. С. 13–22.
- Труфанова Е.О. 2010б. *Единство и множественность Я*. М.: Канон-Плюс. 256 с.
- Труфанова Е.О. 2014. Личностная идентичность в междисциплинарной перспективе. — *Проблема сознания в междисциплинарной перспективе*. М.: Канон-Плюс, С. 174–182.
- Хёсле В. 1994. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности. — *Вопросы философии*. № 10. С. 112–123.
- Эрикссон Э. 2006. *Идентичность: юность и кризис*. М.: Флинта. 342 с.
- Gergen K.G. 2000. *The Saturated Self: Dilemmas of Identity In Contemporary Life*. New York: Basic Books. 320 p.
- Giddens A. 1991. *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press. 264 p.
- Grice H.P. 1941. Personal Identity. — *Mind*. № 50. P. 330–350.
- Lifton R.J. 1993. *The Protean Self. Human Resilience in an Age of Fragmentation*. New York: Basic Books. 272 p.
- Mead G.H. 1934. *Mind, Self and Society*. Chicago: University of Chicago Press. 439 p.
- Parfit D. 1984. *Reasons and Persons*. Oxford: Clarendon Press. 543 p.
- Perry J. 1978. *A Dialogue on Personal Identity and Immortality*. Indianapolis: Hackett Publishing. 56 p.
- Quinton A. 1962. The Soul. — *The Journal of Philosophy*. Vol. 59, No. 15. P. 393–409.
- Shoemaker S. 1963. *Self-Knowledge and Self-Identity*. London: Oxford University Press. 276 p.
- Williams B. 1957. Personal Identity and Individuation. — *Proceedings of the Aristotelian Society*. No. 67. P. 229–252.

Составляющие индивидуальной идентичности

В.В. Лапкин

Ключевые слова: индивидуальная идентичность, социальная идентичность, самоидентификация, составляющие идентичности, референтные группы, социальные коммуникации, модернизация, глобализация, многосоставная идентичность.

Изначально формировавшиеся в философии, а также социальных и психологических науках представления об идентичности предполагали, по меньшей

мере, двоякую «оптику» рассмотрения этого феномена. В них отражалась позиция сопоставляющего себя (отождествляющего, противопоставляющего) с неким *сообществом* индивида, утверждающего в этом сопоставлении собственную самость (self), а вместе с тем и позиция сообщества, формирующего специфические культурные паттерны, поведенческие установки и ценностные предпочтения, усвоение которых индивидом являлось обязательной «платой за вход» в качестве «своего» в коммуникационное пространство *сообщества*. Тем самым непереносимым условием формирования идентичности предполагалась социальная интеракция, или, иными словами, включенность индивида в активную среду социальных связей. Но вслед за этим преимущественно спекулятивно-философским этапом рассмотрения проблемы идентичности по мере разработки представлений о ролевом характере участия индивида в социальной жизни обнаружилось, что ему имманентно присуща множественность идентичностей [Goffman 1959], равно как и многообразие референтных групп, с которыми он соотносит себя в общении. Сама же идентичность выявляла свою сложную внутреннюю структуру, составляющие которой проявлялись в зависимости от «угла зрения» и субдисциплинарной диспозиции исследователя. Исследуя проблему «индивидуальности» и присущей ей идентичности, Э. Эриксон вводит представление о «смешанной» идентичности, маркирующей наличие серьезных проблем в формировании личности, опосредованном *кризисом идентичности* [Erikson 1968; 1980; Эриксон 1996; см. также Хёсле 1994], конкуренцией различных и многообразных идентификаций за возможность отождествление их с подлинным Я.

Индивидуальная (еще ее иногда называют, привнося дополнительную неоднозначность, *личностной*¹) идентичность характеризует прежде всего позиционирование социализированным индивидом самого себя в системе его отношений с окружающим его социальным миром как в аспекте сопоставления со значимыми *другими*, представителями референтных сообществ, так и соотнося предпочтительные для себя социальные практики, нормы, ценности с теми, что предлагаются ему этими *другими* в санкционированных сообществами форматах общения. *Индивидуальная* идентичность базируется на чувстве *самотождественности*, позволяющем индивиду сохранять ощущение собственной субъектности в изменчивом и многообразном социальном окружении, критически важное для выработки активной социальной и политической позиции.

В представлениях о *составляющих индивидуальной идентичности* находит разрешение проблема целостности самовосприятия индивида в условиях сегодняшней беспрецедентной множественности идентификационных паттер-

¹ Различия между этими терминами определяющим образом зависят от их понимания тем или иным автором. В настоящей статье будет использоваться термин *индивидуальная идентичность* с акцентом на включенность социализированного индивида в пространство социальных взаимодействий и соответствующее освоение им норм и правил, интегрирующих соответствующее сообщество. Напротив, использование представлений о личностной идентичности позволяет проакцентировать известную автономию личности, онтологическую природу ее самостояния и самоидентификации.

нов и мотивационных вызовов. Речь идет не только о множественности ключевых референтных групп, вовлеченных (посредством глобализации) в процесс социальной самоидентификации индивида (таких, как структуры родства, языковые, религиозные, земляческие и профессиональные *сообщества*, этнос, нация, цивилизация, государство). Речь идет также и о множественности социальных ролей индивида в современном мире, варьируемых им в соответствии с контекстом его социальной активности, множественности его «социальных личин» (внешнего проявления глубинного *отчуждения*, лежащего в основании его социального бытия), его мотиваций и побуждений, мультиплицируемых консьюмной средой глобального универсализма.

Концепт *составляющих индивидуальной идентичности* следует рассматривать как аналитическую категорию, позволяющую совмещать представление о целостной самоидентификации индивида (самости, self), о его суверенности с представлениями об относительной самостоятельности формирующих его индивидуальность ориентаций на те или иные сообщества, референтные группы и определяющие их специфику социокультурные паттерны. В свою очередь, каждый из этих относительно самостоятельных компонентов идентичности по отдельности описывается понятиями, производными от понятия идентичности (например, гендерная идентичность, гражданская идентичность и т.п.). На уровне аналитического инструментария эти составляющие индивидуальной идентичности могут быть представлены в виде идентификационной матрицы.

Активная разработка такого концепта способствует осмыслению процесса интеграции разнородных идентификаций, накапливающихся в ходе самосотнесения и взаимодействия индивида с этими референтными группами, в целостную *индивидуальную идентичность*, венчающую процесс *социализации индивида* [Berger, Luckmann 1966]. Следует отметить важное качество амбивалентности представлений о составляющих идентичности, что обусловлено, в одном случае, взглядом внешнего исследователя на природу самоидентификации, в другом — взглядом самого идентифицирующего себя субъекта (индивида), когда решающую роль играет актуальный контекст процесса самоидентификации.

Представление о *составляющих идентичности* дает возможность операционализации процедуры анализа *социальной идентичности*, дифференцируя ее составляющие, и, в дальнейшем, относительно автономного продвижения в изучении *цивилизационной, этнической, религиозной и конфессиональной, классовой, корпоративной, профессиональной, поколенческой, гендерной, расовой* и иных типов *социальной идентичности*, раскрывающих преломление индивидуальных идентификаций в различных аналитических измерениях (социокультурном, политическом и международно-политическом, пространственно-территориальном и др.). Подобным же образом, анализ *политической идентичности* позволяет выделить в качестве ее составляющих факторы политико-институциональной, политико-культурной, этнополитической, социокультурной и иной природы.

В современных условиях интенсивных социальных перемен, динамично преобразующих соотношение статусных позиций индивидов и трансформирующих их социально-политические предпочтения и ценностные ориентации, идентичность индивида также подвержена изменениям. В качестве одного из возможных способов описания этой изменчивости можно рассматривать актуализацию тех или иных составляющих индивидуальной идентичности. Так, в условиях современной глобализации, роста людской мобильности и бурного развития сетевых коммуникационных взаимосвязей, кардинально преобразующих представления человека о своем месте в мире, «национальная» составляющая, ориентированная на страну происхождения, теряет былое нормативное значение в системе идентификационных ориентиров индивида. При этом в рамках целостной самоидентификации индивида усиливается значение как *локальных*, так и, напротив, *сетевых*, децентрализованных социальных идентификаций. Вместе с тем современный кризис *национальной идентичности* актуализирует задачу упрочения ее *гражданской* составляющей [Семененко, Лапкин, Пантин 2010].

Процессы модернизации, ставшие в ходе глобализации универсальным императивом, обращенным ко всякому индивиду, равно как и ко всякому *сообществу* нашего сегодняшнего мира, предполагают одновременную универсализацию идентификационных ориентиров и индивидуальных поведенческих моделей [Giddens 1991], а вместе с тем и интенсивное расширение спектра *составляющих идентичности*. В этих условиях именно логика, предполагающая многосоставность индивидуальной идентичности, позволяет исследовать возможности их неконфликтного (или ограниченно конфликтного) соприсутствия в *идентичности* современного индивида. Это — одно из ключевых условий совмещения императивов модернизации и глобализации с сохранением основ социокультурной идентичности конкретного *сообщества*.

Именно в текущий период глубокого кризиса модернизационного проекта (при понимании модернизации скорее в значении *процесса*, заданного вектором изменений, нежели в значении *нормы* или *образца*²) актуализируется проблема сохранения целостности разнородного конгломерата составляющих индивидуальной идентичности; такая задача становится вызовом, обращенным к каждому, кто готов совместить в своем самоощущении требования одновременной *универсализации* идентификационных моделей и интенсивного расширения спектра *составляющих индивидуальной идентичности*.

Это на первый взгляд противоречивое сопряжение практик *унификации* и *диверсификации* в единой модели развития современного индивида отражает сущностную амбивалентность трендов текущей эпохи, подвигающей глобальное общество к радикальному преобразованию всех без исключения институциональных и поведенческих структур традиционного мироустройства.

² «...Процесс модернизации можно рассматривать как процесс создания новых институтов и отношений, ценностей и норм, который требует определенного изменения идентичности людей модернизирующегося общества и завершается сменой их идентичности» [Федотова 2001: 91].

Литература

- Семенов И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. 2010. Идентичность в системе координат мирового развития. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 40–59.
- Труфанова Е.О. 2008. Идентичность и Я. — *Вопросы философии*. № 6. С. 95–105.
- Федотова В.Г. 2001. Модернизация и глобализация. — *Мегатренды мирового развития*. М.: ЗАО «Издательство «Экономика». С. 83–93.
- Хёсле В. 1994. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности. — *Вопросы философии*. № 10. С. 112–123.
- Эрикссон Э. 1996. *Идентичность: юность и кризис*. М.: Издательская группа «Прогресс». 344 с.
- Berger P.L., Luckmann Th. 1966. *The Social Construction of Reality: A treatise in the sociology of knowledge*. New York: Anchor Books. 240 p.
- Erikson E.H. 1968. *Identity: Youth and Crisis*. New York: W.W. Norton & Co. 336 p.
- Erikson E.H. 1980. *Identity and the Life Cycle*. New York, London: W.W. Norton & Co. 192 p.
- Giddens A. 1991. *Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press. 264 p.
- Goffman E. 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York, Garden City: Doubleday. 255 p.
- Parsons T. 1965. *Social Structure and Personality*. New York: The Free Press. 380 p.

Коллективные (групповые) идентичности

В.И. Пантин

Ключевые слова: личность, коллектив, социальная группа, массовое сознание, массовые движения, конструирование идентичности.

Понятие коллективной (групповой) идентичности используется для характеристики социокультурной составляющей природы человека и подразумевает соотношение им себя с определенным коллективом, сообществом или социальной группой, например, с профессиональным коллективом, корпорацией, этносом, нацией, кланом, семьей. **Под коллективными (групповыми) идентичностями понимаются комплексы сознательных и бессознательных представлений, установок и практических действий, которые, являясь значимыми личностными характеристиками, определяют отнесение человеком себя к какому-либо сообществу, социальной группе.** При этом **коллективные идентичности** базируются на единстве интересов, убеждений, символов, стереотипов, поведенческих норм и на общих представлениях о данной общности. Коллективная идентичность — аналитическая категория, позволяющая

анализировать природу социальных движений, институтов и других форм коллективных действий, выявлять вызовы существующему социальному порядку и политические риски развития общества.

Близким к понятию коллективной идентичности является введенное Э. Гидденсом понятие «общей идентичности», которое он характеризовал как часто неосознаваемую уверенность в принадлежности к какому-либо коллективу, общие чувства и представления, разделяемые членами коллектива, выраженные как в «дискурсивном», так и в «практическом сознании» [Giddens 1985]. Важно отметить, что коллективная идентичность формирует и регулирует связанные с данным коллективом или группой отношения «свой — чужой», которые играют весьма важную роль на всех уровнях социальной организации, начиная с семьи и заканчивая цивилизацией. Групповую идентичность можно рассматривать как подвид коллективной, имея в виду самоотнесенность человека с конкретной группой интересов и возможную вовлеченность в ее деятельность.

Коллективная идентичность является родовым, обобщающим понятием, включающим в себя, в частности, видовые понятия политической, национальной и цивилизационной идентичности. Таким образом, один и тот же индивид может соотносить себя с разными коллективами и обладать одновременно разными коллективными (групповыми) идентичностями. В то же время в сознании каждого человека коллективная идентичность взаимодействует с индивидуальной (личностной) идентичностью, в связи с чем следует говорить о диалектической взаимосвязи индивидуальной и коллективной идентичности. Эта диалектика проявляется в том, что самосознание личности и само ее тождество невозможно без взгляда на себя со стороны, без соотношения себя с другими, с той или иной общностью. Как указывал Э. Эриксон, коллективная идентичность может быть сверх-идентичностью (идеалом, к которому по-своему стремится каждый) и паразитической церемониальной идентичностью, когда индивид пассивно заимствует принятые в коллективе обычаи и нормы, не вдумываясь в их смысл и содержание. Коллективная идентичность может стимулировать развитие личности и индивидуальной идентичности, а может и подавлять их в зависимости от формы организации коллектива и способа взаимоотношений между индивидами в данном коллективе [Хёсле 1994]. В западной психологии и антропологии существуют концепции, анализирующие феномен более или менее выраженного подавления или подчинения индивидуальной идентичности коллективной. В эволюции человека такое доминирование коллективной идентичности имело важное значение для выживания человеческих сообществ, которые первоначально были мало приспособлены к существованию в условиях дикой природы. Именно подчинение индивидуальной идентичности коллективной, включающее использование мифологии, различных ритуалов и табу, способствовало сплочению первобытного коллектива людей. На более поздних стадиях развития человеческого общества ситуация изменилась, и взаимодействие между индивидуальной и коллективной идентичностями приобрело новые формы.

В формировании коллективных идентичностей ключевую роль играют культура и история. Согласно Э. Эриксону, основными компонентами в этом процессе могут выступать представления, установки и ориентации, относящиеся к разным уровням осмысления: общее историческое прошлое, историческая память, пространственно-временные концепты, географическое местоположение, национальное ощущение пространства (*Lebensraum*, «жизненное пространство» народа или государства), коллективная совесть, мифология, религиозные доктрины, общепринятые в данной культуре ритуалы, биосоциальный опыт, системы общезначимых моделей-образов, преобладающие экономические модели, коллективные мнения, ощущения, предрассудки, семейные образцы, отношение к чужим ценностям [Erikson 1963; 1968]. Таким образом, коллективные идентичности являются весьма сложным, многосоставным понятием, включающим в себя природные, психологические, социальные и культурные составляющие.

Коллективная идентичность предполагает наличие связей между ее носителями, которые они сами признают и считают значимыми. Такие связи являются «коммуникационными конструктами» [Straub 2002]. Как «способ интерпретации социальных отношений» коллективная идентичность «представляет собой концепт, в основе которого лежат классические социологические конструкты, в частности, такие, как “коллективное сознание” Э. Дюркгейма, “классовое сознание” К. Маркса, *Verstehen* М. Вебера и *Gemeinschaft* Ф. Тённиса. Очевидно, что данным концептом охватывается некое “Мы” (“we-ness”) группы, сходства или общие признаки, присущие ее членам... В культурной перспективе коллективная идентичность представляет собой наиболее существенную связь между людьми» [Миненков 2005а].

В современном обществе коллективные идентичности, в том числе национальные, не столько формируются стихийно, сколько целенаправленно конструируются различными группами интеллектуальной и политической элиты с помощью соответствующих институтов, современных информационных технологий и средств коммуникации, включая Интернет [Cerulo 1997; Melucci 1995; 1996]. А. Мелуччи, уделивший большое внимание разработке этого концепта применительно к социальным наукам, подчеркивал необходимость «процессуального подхода» к пониманию коллективной идентичности и определял ее как «процесс “конструирования” системы действий» путем «поддержания в активном состоянии отношений, которые связывают индивидов или группы», при определенном эмоциональном вкладе каждого из участников такого взаимодействия [Melucci 1995: 44–45].

Под влиянием процессов глобализации и регионализации изменение содержания коллективных идентичностей происходит весьма динамично, исчезают прежние и возникают новые формы проявления таких идентичностей. В итоге в современном обществе сосуществуют многочисленные и разнообразные виды и способы их воплощения. Так, весьма динамичные коллективные идентичности присущи сторонникам новых социальных движений (альтерглобалистов, экологистов и др.), блогеров, групп в социальных сетях: такие

опирающиеся на культурные или информационные основания идентичности формируются в результате коллективных действий их носителей под влиянием саморефлексии и на основе эмоциональной вовлеченности. В то же время под влиянием процессов архаизации и деградации целого ряда государств возникают псевдорелигиозные и этнические экстремистские образования, являющиеся носителями коллективных идентичностей (ячейки Аль-Каиды, так называемое «Исламское государство» — *организации, запрещенные в РФ*, и др.). Ведущую роль в формировании и конструировании коллективных идентичностей играют группы интеллектуалов, религиозных деятелей, политические элиты, государственные институты, неправительственные организации, корпорации, средства массовой информации, социальные сети.

Наиболее действенным и практически востребованным в современном обществе инструментом формирования коллективных идентичностей становится *политика идентичности*, проводимая как на уровне государств, так и отдельными корпорациями и бизнес-сообществами, группами элит или контрэлит, привносящая элемент борьбы различных стратегий развития в поток стихийных изменений в массовом сознании, реагирующем на социально-экономические и культурные сдвиги. Более того, стремительные социокультурные изменения в качестве ответной реакции такие сдвиги активизируют «традиционные» формы коллективной самоидентификации: *религиозной, национальной и цивилизационной*. Поэтому, согласно А. Тлеужу, конструирование коллективных идентичностей следует рассматривать и как результат смыслотворческой, идеологической и пропагандистской деятельности элит, и как стихийный процесс изменения стереотипов массового сознания под влиянием политико-институциональных сдвигов, социально-экономической и культурной динамики современного мира [Тлеуж 2010]. В этом отношении *коллективные идентичности* тесно связаны с *политической идентичностью* и формируются в непосредственном взаимодействии с ней.

Литература

Миненков Г.Я. 2005а. Концепт идентичности: перспективы определения (Часть II). — *Belintellectuals. Интеллектуальное сообщество Беларуси*. Доступ: <http://www.belintellectuals.eu/publications/169/> (проверено 15.02.2017).

Тлеуж А.Х. 2010. *Конструирование российской коллективной идентичности*. М.: Социально-гуманитарные знания; Майкоп: ООО «Качество».

Хёсле Э. 1994. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности. — *Вопросы философии*. № 10. С. 112–123.

Cerulo K.A. 1997. Identity Construction: New Issues, New Directions. — *Annual Review of Sociology*. Vol. 23. P. 385–409.

Erikson E. 1963. *Childhood and Society*. New York: W.W. Norton & Co. 448 p.

Erikson E. 1968. *Identity: Youth and Crisis*. New York: W.W. Norton & Co. 336 p.

Giddens A. 1985. *The Nation-State and Violence*. Cambridge: Polity Press. 399 p.

Melucci A. 1995. The Process of Collective Identity. — *Social Movements and Culture* (ed. by H. Johnston, B. Klandermans). Minneapolis: University of Minnesota Press. P. 41–63.

Melucci A. 1996. *Challenging Codes: Collective Action in the Information Age*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 441 p.

Straub J. 2002. Personal and Collective Identity: A Conceptual Analysis. — *Identities: Time, Difference and Boundary* (ed. by H. Friese). New York: Berghahn Books. P. 56–76.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ

Л.А. Фадеева

Ключевые слова: групповая идентичность, Я-концепция, социальная норма, социальное сравнение, самокатегоризация.

Социальная идентичность представляет собой систему координат самокатегоризации индивида. Постольку, поскольку самоидентификация человека происходит в социальном пространстве, в процессе взаимодействий и самоотношения с другими социальными субъектами, идентичность социальна по своей природе. В то же время **социальная идентичность** является результатом идентификации человека или группы людей с конкретной социальной общностью и в контексте политического анализа трактуется как переживание и осознание человеком своей принадлежности к тем или иным социальным группам и сообществам.

Разные аспекты социальной идентичности анализируют психологи (Э. Эрикссон, Дж. Марсиа и др.) [Майерс 1997], социологи (В. Ядов, Э. Гидденс и др.) [Социальная идентификация... 1993; Гидденс 1999], социальные психологи (С. Московичи, М. Заваллони и др.) [Социальная психология 2007]. Основателем теории социальной идентичности считается английский психолог Г. Тэджфел, его подходы получили развитие в работах Дж. Тернера [Social identity... 1982; Turner 1987; Тэджфел 1982; Tajfel 1982].

Некоторые исследователи ставят знак равенства между социальной, коллективной, групповой идентичностями, считая необходимым использовать эти понятия как синонимы [Миненков 2005b], либо вовсе отказаться от категории социальной идентичности как «всеобъемлющей». Другие авторы считают социальную идентичность разновидностью коллективной (Г. Тэджфел), которая может быть результатом соотношения индивидом себя с любым сообществом, как широким, так и предельно узким (фанатов футбольного клуба или музыкальной группы). В отличие от групповой, социальная идентичность

предполагает удовлетворение потребности индивида «в принадлежности к определенной социальной среде». В свою очередь, «идентификация индивида с большой социальной группой является в любом обществе мощным фактором политического выбора» [Дилигенский 1994: 282].

Согласно Тэджфелу, Я-концепция личности включает в себя две основные подсистемы: личностную идентичность (физическую, интеллектуальную, нравственную) и групповую идентичность (социальную, этническую, профессиональную). Тэджфел дал анализ четырех взаимосвязанных когнитивных процессов — социальной категоризации, социальной идентификации, социального сравнения и межгрупповой дискриминации, лежащих в основе формирования как личностной, так и социальной идентичностей. Таким образом, категорию социальной идентичности оказалось возможным использовать для исследования крупномасштабных социальных процессов. Широко известны попытки Тэджфела применить эту категорию для объяснения межгрупповых конфликтов.

Процесс социальной категоризации необходим человеку для ориентации в своем социальном окружении. Человек самоопределяется через принадлежность к определенной социальной категории; он усваивает нормы и стереотипы поведения данной группы; индивид приписывает себе усвоенные нормы и стереотипы своих социальных групп; осваивает культурные практики и паттерны. Эти нормы становятся внутренними регуляторами его социального поведения. Идентификация с определенными социальными общностями в процессе социализации превращает человека в социального индивида, способствует становлению личности, позволяет человеку оценивать свои социальные связи и принадлежности в терминах «Мы» и «Они».

Основной процесс, «запускающий» актуализацию и развитие социальной идентичности, — процесс социального сравнения. Дж. Тэрнер отмечает, что сравнение идет с релевантными группами, в нем задействованы ценностно значимые качества и характеристики. Дж. Мид выделяет две проекции социальной идентичности: «I» («Я-идентичность») и «Me» («Я» относительно «Других»). Если первая описывает человека как существо, способное реагировать на социальную ситуацию своим индивидуальным, неповторимым образом, то вторая предполагает детерминированную социально заданными нормами и правилами личность. Развивая идеи Дж. Мида, Э. Гоффман определил социальную идентичность как типизацию личности другими людьми на основе атрибутов социальной группы, к которой индивид принадлежит [Goffman 1959].

Базовыми функциями социальной идентичности, как правило, называют: принадлежность к группе и формирование чувства защищенности (основанного на ожиданиях взаимной поддержки), самореализацию и влияние на группу, формирование устойчивых и относительно предсказуемых социальных взаимосвязей. Социальная идентичность может рассматриваться как основные правила ориентации и поведения людей, управляющие взаимоотношениями и общением членов группы. Социальная идентичность обнаруживается

в ретроспективе исторического и социокультурного опыта сообщества, того, что группа претерпела и что ею было совершено.

Социальная идентичность может представлять собой коллективную репрезентацию и систему представлений (Э. Дюркгейм, С. Московичи), включая представления людей об основных особенностях группы, к которым они принадлежат. Многообразие групп, с которыми взаимодействует и соотносит себя индивид, определяет характер составляющих индивидуальной идентичности — гендерной, поколенческой, этнической, религиозной и конфессиональной, классовой, корпоративной, профессиональной и др. В зависимости от обстоятельств — личностных или социальных, та или иная составляющая социальной идентичности становится доминирующей в идентификационной матрице, определяя характер социальной активности индивида, его политических предпочтений, участия в коллективных действиях. Соответственно, каждая из таких составляющих может обретать политическое измерение.

Невиданный динамизм современного мира проявляется в темпах формирования и распада сообществ [Мартьянов 2015]; как отмечает З. Бауман, «главной и наиболее нервирующей проблемой является не то, как найти свое место в жестких рамках класса или страты и, найдя его, сохранить и избежать изгнания; человека раздражает подозрение, что пределы, в которые он с таким трудом проник, скоро разрушатся или исчезнут» [Бауман 2005: 185–186]. Это относится ко всем измерениям, аспектам, манифестациям социальной идентичности — от профессиональной до семейной.

Литература

- Бауман З. 2002. *Индивидуализированное общество*. М.: Логос. 390 с.
- Гидденс Э. 1999. Культурная идентичность и этноцентризм. — *Гидденс Э. Социология*. М., Эдиториал УРСС. С. 49–50.
- Дилигенский Г.Г. 1994. *Социально-политическая психология*. М.: Наука. 304 с.
- Майерс Д. 1997. *Социальная психология*. СПб.: Питер, 688 с.
- Мартьянов Д.С. 2015. Сложная идентичность в глобальном обществе. — *Научный альманах*. № 8. С. 1440–1443.
- Миненков Г.Я. 2005а. Концепт идентичности: перспективы определения (Часть II). — *Belintellectuals. Интеллектуальное сообщество Беларуси*. Доступ: <http://www.belintellectuals.eu/publications/169/> (проверено 15.02.2017).
- Социальная идентификация личности (под ред. В. Ядова)*. 1993. М.: ИС РАН. 168 с.
- Социальная психология (под редакцией С. Московичи)*. 7-е изд. 2007. СПб.: Питер. 592 с.
- Тэджфел Г. 2002. *Социальная идентичность и межгрупповые отношения*. М.: Символ-Плюс. 224 с.
- Goffman E. 1959. *Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Garden City. 255 p.
- Social Identity and Intergroup Relations (ed. by H. Tajfel)*. 1982. Cambridge: Cambridge University Press. 532 p.
- Tajfel H. 1982. *Social identity & intergroup relations*. Cambridge, Paris: Cambridge University Press. 532 p.
- Turner J. 1987. *Rediscovering the Social Group: A Self-Categorization Theory*. Oxford: Basil Blackwell. 216 p.

Сообщества

П.В. Панов

Ключевые слова: социальные идентичности, социальные группы, конструирование идентичности, политическая идентичность, символические границы.

Концепт «*сообщество*» имеет достаточно сложную историю и используется представителями различных дисциплин в разных смыслах [Blackshaw 2010]. Д. Деланти, специально исследовав историю использования концепта «сообщества» (community) в научном дискурсе, пришел к выводу, что изначально он имел вполне определенные политические коннотации и отождествлялся с «полисом», «гражданским обществом» (societas civitas) [Delanty 2003]. В таком понимании, которое проходит красной нитью от античной политической мысли до современного коммунитаризма, сообщество как аналитическая категория имеет преимущественно нормативный акцент и фиксирует такие желательные черты, как «гражданский дух», солидарность, активное участие граждан в решении «общих дел» и т.д.

В эмпирических социологических теориях с конца XIX века получило развитие иное значение категории «*сообщество*» — как особого типа социальных групп и социальных отношений. В значительной мере оно связано со знаменитой дихотомией Gemeinschaft и Gesellschaft (общности и общества). Ф. Тённис ввел эти концепты, чтобы объяснить, что именно «связывает» индивидов в одну группу. В основе Gemeinschaft лежит «сущностная воля», то есть принадлежность человека к определенному коллективу — «социальной сущности» (коллективной личности). Gesellschaft, напротив, основана на «избирательной», то есть рациональной воле индивида [Тённис 2002]. Терминологию, напоминающую различие, введенное Тённисом, разрабатывал и М. Вебер. Он предлагал называть социальное отношение «*общностью*» (Vergemeinschaftung), если и поскольку настроенность социального действия — в отдельном случае, в среднем или как чистый тип — основывается на субъективно чувствуемой (аффективной или традиционной) сплоченности участников», и «*обобществлением*» (Vergesellschaftung), если и поскольку настроенность социального действия основывается на рационально (ценностно-рационально или целерационально) мотивированном уравнивании интересов или на подобным же образом мотивированном соединении интересов» [Вебер 2002: 120–121]

Если концептуально выводить *сообщество* из Gemeinschaft, «рамки применимости» этого концепта существенно сужаются. В результате в большинстве

социологических и социально-антропологических исследований XX века концепт «сообщество» использовался в основном по отношению к социальным группам микроуровня (этнические группы — *ethnic communities*; религиозные группы — *religious communities*, профессиональные группы — например, академическое сообщество ученых как носителей профессиональной идентичности — *academic communities*). Исследователи исходили из того, что *в качестве сообщества можно рассматривать лишь те группы, в которых взаимодействие протекает «лицом к лицу», поскольку именно такой формат создает некую «интимность», эмоциональную связанность во взаимоотношениях между людьми. По сути, речь шла об источнике коллективной (групповой) идентичности.*

Наряду с этим, однако, получила развитие и иная интерпретация классического наследия, в которой вместо дихотомии *Gemeinschaft / Gesellschaft* акцент делается на противопоставление по линии «сообщества и ассоциации». Сообщественный тип социальных отношений здесь не сводится к аффективной связи, а понимается несколько шире: ключевым в характеристике сообщества является принятие его членами норм, правил, коллективных представлений, свойственных социальной группе независимо от того, основана она на эмоциональной преданности, традиционном следовании привычке или на ценностно-рациональных убеждениях. Если «ассоциация состоит из людей, которые взаимодействуют между собой, прежде всего, на контрактной основе, преследуя собственные интересы», то сообщество «конституируется группой людей, которые разделяют определенные ценности, стили жизни (*ways of life*), групповую идентичность, а также признают друг друга как членов группы» [Mason 2000: 20-21]. В рамках противопоставления по линии «сообщество — ассоциация» *сообщества можно определить как социальные группы, взаимодействия в которых основываются на интернализации членами группы правил, норм и ценностей, коллективно осмысленных в рамках данной группы. Ассоциации, напротив — это социальные группы, взаимодействия в которых основываются на совпадении инструментальных, конкретных интересов* [Сообщества... 2009; см. также Вахштайн 2013].

Соответственно, на первый план в характеристике такой разновидности социальных групп, как сообщества, выходят социальная идентичность и вытекающая из нее солидарность с социальной группой. Феномены социальной идентичности и общности оказываются неразрывно связаны. С одной стороны, «членство» в некоем сообществе или «принадлежность» к некому сообществу конституируется идентификацией индивида с данной социальной группой вследствие того, что имеет место интернализация индивидом свойственных этой группе представлений о социальной реальности. С другой стороны, идентичность как «понимание себя» (своего места в мире) имеет социальную природу, такое «понимание» становится возможным лишь в рамках определенного сообщества (сообществ). Как подчеркивает Р. Дженкинс, «сообщество — это такой способ восприятия повседневности, в котором мир понимается как социальность, а не просто сумма индивидов. В этом смысле

сообщество... является одним из важных источников коллективной идентичности» [Jenkins 2008: 133].

В таком понимании концепт «сообщества» оказывается вполне релевантным и за рамками малых групп. Более того, общественный элемент обнаруживается и в социальных группах макроуровня, в том числе на уровне политических взаимодействий [Taylor 2011; Somerville 2014]. Т. Парсонс обозначал общество как систему термином «социетальное сообщество» (*societal community*), подчеркивая при этом, что «для выживания и развития социетальное сообщество должно придерживаться общей культурной ориентации, разделяемой в целом (хотя и не обязательно единообразно и единодушно) его членами в качестве основы их социальной идентичности» [Парсонс 1993: 102; см. также Парсонс 2002; Parsons 1970]. Такая трактовка — понимание сообщества под углом зрения политико-культурной общности и как проявления политической *идентичности* — свидетельство преодоления разрыва между нормативными и эмпирическими концепциями, возникшего в эпоху доминирования позитивистской социологии. Политическое сообщество в указанной интерпретации — концепт, которым активно пользуются как политические философы, так и политические социологи. В политической философии концепция сообщества получила развитие, прежде всего, в рамках дискуссии между либералами и коммунитаристами (Ч. Тейлор, Д. Роулз, Ю. Хабермас), особенно в контексте споров по поводу мультикультурализма (Д. Миллер, У. Кимлика, Ч. Кукутас).

В методологическом плане большая часть исследований сообществ базируется на социально-конструктивистской парадигме социального знания. Ключевое значение для данной традиции в исследовании сообществ имеют работы Б. Андерсона и А. Коэна. Б. Андерсон [Андерсон 2001] обосновал идею «воображаемого сообщества»: все сообщества, за исключением некоторых сугубо локальных, являются воображаемыми, так как их члены никогда не будут знать большинства своих «собратьев», никогда не будут слышать о них. Тем не менее в их головах живет образ данного сообщества, оно воспринимается как значимое и оказывает влияние на поведение людей. Следовательно, сообщества — продукт социального конструирования, воображения, то есть представления об особой значимости тех или иных признаков, различий между людьми. Британский социальный антрополог А. Коэн сформулировал концепцию «символические сообщества» [Cohen 1985], согласно которой конституирование сообщества предполагает социальное конструирование символических границ, которые разделяют «мы» и «они». Символические маркеры могут быть осязаемыми (язык, одежда и т.д.), но главное в них — значение, смысл, который члены определенного сообщества придают тем или иным вещам или поступкам.

В политико-социологических исследованиях макроуровня концепция сообщества оказывается востребованной при изучении политико-культурных оснований современных политий. В этом контексте в 1990-е годы в политической науке произошло «новое открытие сообществ» («*rediscovery of commu-*

nity») [Taylor 2004]. Коллективное восприятие наций как *политических сообществ эпохи Модерна* предполагает некое содержательное наполнение («Кто мы?»), и по этому поводу происходит достаточно острая борьба, которая концептуализируется понятием «политики идентичности».

Наряду с этим концепция сообщества достаточно активно используется в политических исследованиях мезо- и микроуровня, связанных с изучением политического участия и вовлеченности, социального капитала и доверия [Putnam 2000; DeFilippis, Saegert 2013; Dervin, Korpela 2013], сетевых взаимодействий в политике [Gilchrist 2009]. Так, А. Этzioni определяет сообщества как «социальные сети, которые несут моральные и социальные ценности». Их существование обусловлено «глубинным стремлением людей поддерживать социальные связи (или привязанности) и их потребностью в нормативных (или моральных) ориентирах» [Etzioni 1995: 16–17, 33]. В рамках теории принятия политических решений *политические сообщества* рассматриваются как *особая категория акторов, которые вступают в политические коалиции на основе не столько инструментальных интересов, сколько на базе общих ценностей* [Marsh, Smith 2000].

Особую актуальность концепция сообщества имеет для изучения новых и весьма противоречивых тенденций, связанных с современным состоянием национальных государств как политий эпохи Модерна. В частности, процессы глобализации, нарастание миграционных потоков и т.д. — все это ведет к возрастанию степени гетерогенности политий, к политизации тех «традиционных» сообществ (религиозных, этнических, языковых и т.д.), которые прежде не имели политического значения [Bauman 2001b]. С другой стороны, на новом этапе информационно-коммуникативных технологий все более активную роль в политике играют новые виды акторов, для характеристики которых категория сообщества также оказывается вполне релевантной: интернет- или сетевые сообщества, интеллектуальные сообщества, экспертные сообщества и т.д.

Литература

- Андерсон Б. 2001. *Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма*. М.: Канон-пресс – Ц; Кучково поле. 288 с.
- Вахштайн В. 2013. К концептуализации сообщества: еще раз о резидентности или работа над ошибками. — *Социология власти*. № 3. С. 8–26.
- Вебер М. 2002. Основные социологические понятия. — *Теоретическая социология: Антология: В 2 ч. (сост. и общ. ред. С.П. Баньковской)*. М.: Книжный дом «Университет». 2002. Ч. 1. С. 70–146.
- Парсонс Т. 1993. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения. — *THESIS. Теория и история экономических и социальных институтов и систем*. М: Начала-Пресс. Т. 1. № 2. С. 94–122.
- Парсонс Т. 2002. *О социальных системах*. М: Академический проект. 832 с.
- Сообщества как политический феномен (под ред. П.В. Панова, К.А. Сулимова, Л.А. Фадеевой)*. 2009. М.: РОССПЭН. 247 с.
- Теннис Ф. 2002. *Общность и общество*. СПб.: Фонд «Университет»; Владимир Даль. 456 с.

- Anderson B. 1991. *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*. London, New York: Verso. 224 p.
- Bauman Z. 2001b. *Community. Seeking Safety in an Insecure World*. Cambridge: Polity Press. 159 p.
- Blackshaw T. 2010. *Key Concepts in Community Studies*. London: Sage. 220 p.
- Cohen A. 1985. *The Symbolic Construction of Community*. London: Tavistock. 128 p.
- DeFilippis J., Saegert S. 2013. *The community development reader*. Routledge. 416 p.
- Delanty G. 2003. *Community*. London, New York: Routledge. 176 p.
- Dervin F., Korpela M. 2013. *Cocoon Communities: Togetherness in the 21st Century*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 160 p.
- Etzioni A. 1997. *The New Golden Rule. Community and morality in a democratic society*. London: Profile Books. 314 p.
- Gilchrist A. 2009. *The well-connected community: a networking approach to community development*. Bristol: Policy Press. 234 p.
- Jenkins R. 2008. *Social Identity*. London, New York: Routledge. 256 p.
- Marsh D., Smith M.J. 2000. Understanding Policy Networks: towards a Dialectical Approach. — *Political Studies*. Vol. 48. No. 1. P. 4–21.
- Mason A. 2000. *Community, Solidarity, and Belonging: Levels of Community and their Normative Significance*. Cambridge: Cambridge University Press. 246 p.
- Parsons T. 2005. *The Social System*. London: Routledge. 404 с.
- Putnam R. 2000. *Bowling Alone. The collapse and revival of American community*. New York: Simon and Schuster. 541 p.
- Somerville P. 2014. *Understanding community: politics, policy and practice*. Bristol: Policy Press. 304 p.
- Taylor C. 2004. *Modern Social Imaginaries*. Durham: Duke University Press. 232 p.
- Taylor M. 2011. *Public policy in the community*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 320 p.

Аскриптивные и приобретенные идентичности

О.В. Попова

Ключевые слова: социальный статус, социализация, возрастная идентичность, половая идентичность, культурная идентичность, этническая идентичность, религиозная идентичность, профессиональная идентичность, политическая идентичность, локальная идентичность, статусная идентичность, конструктивистская методология.

Понятия «аскриптивная» и «приобретенная» идентичности ввел в возрастную психологию в 1970-х годах последователь Э. Эриксона М. де Левита, рассматривая их наряду с «заимствованной» идентичностью в качестве базовых разновидностей социальной идентичности. *Аскриптивная идентичность* — предписанное, predetermined с момента рождения индивида отнесение его к определенной социальной группе. Она начинает формироваться в раннем детстве

и завершается в отроческом возрасте. К основным разновидностям индивидуальной аскриптивной идентичности традиционно относят половую, национальную (этническую)¹, расовую, возрастную идентичности, которые задаются, как правило, помимо воли и сознания индивида. По мере взросления человек последовательно переходит в различные возрастные группы, которым социум предписывает четко определенные стандарты поведения [Alcoff 2006]. В сословном или кастовом обществе статусная идентичность (принадлежность к роду баронов, графов, сословию мещан, касте брахманов и т.д.) по факту рождения в определенной семье также может быть отнесена к аскриптивной идентичности. Аналогичным образом в клерикальном государстве религиозная идентичность задавалась в момент рождения ребенка; ее изменение во взрослом состоянии было связано для индивида с целым комплексом серьезных социальных изменений и психологических потрясений. **Приобретенная идентичность** (гражданская, профессиональная, политическая, культурная и т.д.) основана на самостоятельном сознательном выборе индивида и в подростковом возрасте только начинает формироваться. Система родственных отношений частично фиксирует определяемые при рождении социальные роли и аскриптивные идентичности (например, сын, дочь, сестра, племянник и т.д.), частично формирует приобретенные идентичности (например, муж, жена, свекр, свекровь, теща, тесть, золовка, пасынок, падчерица, крестный отец и т.д.).

После 1980-х годов исследователи стали трактовать аскриптивную идентичность более широко, обратив внимание на то, что определенные модели идентичности могут быть заданы, навязаны социумом или государством индивиду не только в момент рождения, но и в ходе всей его жизни. В настоящее время под аскриптивной идентичностью чаще всего понимают модели отнесения индивидом себя к определенной социальной группе, когда образ «своей» группы навязывается извне вне зависимости от его воли, желания, усилий, а человек не имеет контроля над этим процессом [Straub 2002].

С. Хантингтон выделяет множество моделей идентичности, разделяя их по источникам. К источникам аскриптивной идентичности (и, соответственно, к ее разновидностям) он относит: пол, возраст, кровное родство, клановое родство, племенную принадлежность, расу. Список приобретенных идентичностей он детализирует следующим образом; в культурную идентичность включает этническую, национальную, языковую, религиозную, цивилизационную принадлежность индивида; в политическую — фракционную или партийную принадлежность, преданность политическому лидеру, отношение к политическим группам и интересам государства, принятие определенной идеологии; в экономическую — профессию, сферу профессиональной деятельности

¹ В психологической литературе 1970-х годов термин «национальная идентичность» использовался как синоним этнической идентичности; эти понятия не разводились. Только десятилетие спустя термин «национальная идентичность» начинает использоваться в социологических и политологических работах для обозначения феномена соотношения индивидом себя как гражданином со «своим государством».

и конкретно выполняемую работу, рабочее окружение, включенность в определенный социально-экономический сектор, членство в профсоюзе, самооценку принадлежности к определенной страте или классу; в коллективистско-групповую — социальный статус, социальные роли, дружеские отношения, клубы, команды, компании, ближайшее окружение, семью; в территориальную — тип населенного пункта, регион, статус провинции или центра [Хантингтон 2004: 58–59].

В любом социуме существует зависимость приобретенных идентичностей от аскриптивных. Например, при всей демократичности системы высшего образования в современном западном мире сохраняется зависимость его получения от семейного происхождения индивида. Вместе с тем некоторые приобретенные идентичности выполняют функцию компенсаторных по отношению к аскриптивным. Например, существовавший в советской России институт прописки приводил к тому, что приобретенная идентичность «столичного жителя» подчас заставляла людей скрывать их «провинциальное» происхождение, т.е. аскриптивную локальную идентичность. Даже в современных внесловных государствах идентичность с высшим слоем вследствие выгодной женитьбы или замужества компенсирует рождение в семье, которая относилась к низкостатусной группе. Считается, что соотношение аскриптивных и приобретенных идентичностей в процессе развития общества меняется в сторону увеличения числа последних. Этому в настоящее время в немалой степени способствуют процессы глобализации, демократизации политического режима государства, а также интенсивность вертикальной и горизонтальной социальной мобильности в социуме. Вместе с тем наблюдаются и обратные процессы, когда приобретенные идентичности деактуализируются в сознании индивида в сравнении с аскриптивными [Идентичность и толерантность... 2002; Идентичность как предмет... 2011]. Так, например, неэффективность проводимой государством национальной политики, будь то политика мультикультурализма или политика этнической ассимиляции, порождает неоправданную актуализацию в сознании индивидов аскриптивной этнической идентичности в ущерб формированию приобретенной гражданской идентичности.

В процессе самоидентификации индивида в современном мире в основном сохраняется приоритет аскриптивных идентичностей перед приобретенными. В случае использования исследовательской методики неоконченных предложений большая часть респондентов фиксирует прежде всего свою половую, возрастную и этническую принадлежность; вторую позицию по частоте декларации занимают символические образы, фиксирующие попытку индивида «раствориться в массе» («такой, как все», «обычный», «нормальный человек»), и только после этого декларируются приобретенные профессиональные, статусные, гражданские и т.д. идентичности.

В последние 15–20 лет ведутся острые научные дискуссии по вопросу о разграничении аскриптивных и приобретенных идентичностей. Дискуссии относительно приобретенной идентичности касаются прежде всего обсуждения

аспектов степени свободы, независимости и абсолютности воли индивида при выборе «своей» группы. Сомнения ученых в целесообразности выделения категории «аскриптивная идентичность» связаны с практиками использования биотехнологий по «исправлению» пола, расы и национальности (внешних признаков определенного пола, расы или этнической группы). Попадая в детском или юношеском возрасте в инокультурную среду (например, став эмигрантами), при наличии сильной позитивной мотивации стать «своим» в новом окружении индивид интериоризирует изначально чужие для него язык, традиции, модели поведения. Принадлежность близких родственников, прежде всего родителей, к различным этническим группам также может поставить под сомнение индивидом его изначально заданную этническую идентичность. Сомнения в отнесении возрастной идентичности к аскриптивной связано с тем, что в современном обществе постепенно смещаются границы отнесения индивида к категории «молодой», «зрелый», «пожилой» человек, изменяются и требования к ним со стороны общества [Questions... 1996].

Особой критике подвергается отнесение идентичности к аскриптивному виду по признаку пола [Carter 2014]. Половая социализация индивида опирается на систему положительных и отрицательных подкреплений в сфере формирования поведения в соответствии с нормами, определяемыми маскулинными / феминными признакам тела индивида. Проблемы половой идентификации возникают достаточно редко и являются следствием гормональных нарушений в пренатальном периоде развития; они могут проявляться в случаях несоответствия телосложения, внешности или поведения детей принятым в конкретном обществе стереотипам маскулинности / феминности. Свою лепту в дискуссию по этой проблеме вносят радикальные сторонники конструктивистской методологии, смешивающие понятия «половая идентичность» и «гендерная идентичность».

На рубеже XX–XXI веков начались дискуссии и о природе этнической идентичности. Некоторые ученые считают, что символическая природа этнической идентичности позволяет оценивать ее как атрибутивную характеристику, неотъемлемое свойство индивида и его свободного выбора, в то время как она, скорее, является аскриптивной категорией, поскольку именно социум диктует индивиду представления о характеристиках той или иной этнической группы и критерии этнического самоопределения в процессе усвоения языка, норм и ценностей культуры в конкретной культурно-этнической среде. В ситуации резких экономических и политических изменений актуализируется именно этническая идентичность индивида, позволяя ему пережить кризис. В некоторых случаях это способствует формированию этнической гиперидентичности с доминированием этнической идентичности в системе социальных идентичностей и негативным отношением к другим этническим группам.

Другие исследователи полагают, что этническая идентичность формируется на основании предписываемой социумом этничности, но она всегда является результатом самоидентификации, процесса открытого и длительного, а потому должна быть отнесена к группе приобретенных идентичностей. В полиэтнич-

ском государстве возможно конструирование моноэтнической идентичности на основе аскриптивной этничности, моноэтнической идентичности с другой группой, биэтнической идентичности, маргинальной этнической идентичности. В крайних случаях формируются представления индивида о своей этнической дисфории (проблема «вечного чужака»). Обязательным условием эффективной интеграции индивида в этническую группу является совпадение его субъективной этнической идентичности и аскриптивной этничности группы вследствие обоюдного акта признания.

По мнению ряда зарубежных исследователей, например, М.Л. Алкофф [Alcoff 2006], базовые «видимые» аскриптивные идентичности — расовая, этническая и гендерная — в наибольшей степени, чем другие, способствуют разобщенности социума. Это обстоятельство следует учитывать, распространяя режим позитивной дискриминации на участие носителей этих идентичностей в политической жизни государства [Gutmann 2003]: она становится источником новых размежеваний и требует внесения серьезных корректив в проводимую государством политику идентичности.

Литература

Идентичность и толерантность (под ред. Н.М. Лебедевой). 2002. М.: Институт этнологии и антропологии РАН. 416 с.

Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции. (Редколлегия сборника: И.С. Семенов (отв. ред.), Л.А. Фадеева (отв. ред.), В.В. Лапкин, П.В. Планов). 2011. М.: ИМЭМО РАН. 299 с.

Хантингтон С. 2004. *Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности*. М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Транзиткнига». 635 с.

Alcoff M.L. 2006. *Visible Identities: Race, Gender, and the Self*. New York: Oxford UP. 326 p.

Carter M.J. 2014. Gender Socialization and Identity Theory. — *Social sciences*. No. 3. P. 242–263.

Gutmann A. 2003. *Identity in Democracy*. Princeton: Princeton University Press. 256 p.

Questions of Cultural Identity (ed. by S. Hall, P. Du Gay). 1996. London: Sage Publications. 208 p.

Straub J. 2002. Personal and Collective Identity: A Conceptual Analysis. — *Identities: Time, Difference, and Boundaries* (ed. by H. Friese). New York: Berghahn Books. P. 56–76.

Глава 26
ИДЕНТИЧНОСТЬ:
ПРОЦЕССЫ И КОНТЕКСТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

Динамика идентичности

Н.Н. Федотова

Ключевые слова: динамика идентичности, кластеры, процессуальность идентичности, идентификация, социально-культурные изменения, модернизация, глобализация, политика идентичности, континуум идентичности.

В быстро трансформирующемся, неравномерно развивающемся, полном рисках и кризисов сегодняшнем обществе возникает необходимость изучения динамики идентичности. *Идентичность оказалась включенной в динамику современного нелинейного развития и сама подвержена действию фактора нелинейности.* Как показал З. Бауман в работе «Индивидуализированное общество», попытки гарантировать устойчивость идентичности сегодня являются утопическими [Бауман 2002: 113–120]. Исследования динамики идентичности можно разделить на ряд кластеров, соответствующих избранной методологии и проблематике.

Первый кластер составляют работы, содержащие анализ методологии исследования идентичности. Прежде всего, в него входит научная литература, в которой отображена полемика между натуралистически-эссенциалистским и конструктивистским толкованием идентичности. Нелинейность изменения идентичности дает возможность и перспективу взаимодействия и совместного применения натуралистически-эссенциалистского и конструктивистского подходов к анализу идентичности. Возрастает значение конструктивистских концепций идентичности и выяснения их отношений с ее примордиальными домодерными состояниями [см. напр. Cerulo 1997: 385–409].

Во второй кластер можно выделить работы, в которых характеризуются контексты формирования идентичности и ее изменений. Прежде всего, это большой пласт литературы по модернизации и модерну, постмодернизму, теории глобализации, рассматривающие идентичность в динамике. Немецким

социологом П. Вагнером подчеркивается, что модернизация выступает важным фактором становления новой идентичности индустриального модерна (первой современности), второго организованного модерна (второй современности) [см. Wagner 2001: 1–31; 2012; 1994; Lash, Urry 1987] и что ее социокультурные факторы играют при этом ведущую роль. К этому кластеру относятся труды Э. Гидденса и З. Баумана, в которых отображены изменения идентичности как следствия социокультурной динамики. Центральными становятся условия и возможности формирования «Я» и персональной идентичности, поскольку сущностью возникновения современности являются не только инновации, но и производство автономного и ответственного индивида, который целерационален и сам принимает решения, не полагаясь на других [см. Giddens 1991; Bauman 2004; 2010; 2011]. Глобализация перевела модернизацию на локальный уровень и включила в себя многообразие обществ, взаимодействие которых меняет идентичность [Федотова, Колпаков, Федотова 2008]. Кризис идентичности усугубляется глобализацией и сопровождающими ее радикальными переменами, где многообразные связи разрывают национальный и культурный контексты, невосполнимые в большинстве случаев посредством самоопределения в глобальном мире.

К третьему кластеру концепций динамики идентичности относятся те исследования, в которых не просто зафиксированы изменения идентичности в условиях нелинейной социокультурной динамики сегодняшнего дня, но и рассмотрена специфика этой динамики. Российские социологи Е.Н. Данилова и В.А. Ядов пришли к выводу, что «в нестабильном мире принципиально невозможна стабильная социальная идентичность. И тогда то, что мы называем “кризисом идентичности”, вовсе не кризис, но нормальное состояние...» [Данилова, Ядов 2004: 14]. Эти авторы показали появление вариации идентичности в качестве ее новой базовой характеристики: «...наступает эпоха нормализации неустойчивых социально-идентификационных состояний... И процесс этот следует не драматизировать, а принимать как социальный факт» [там же: 13].

Четвертый кластер включает анализ политики идентичности, осуществляемой государством, социальными группами и социальными движениями [см. напр. Routledge Handbook... 2011; Миненков 2005; Политическая идентичность... 2011; 2012]. Турбулентная нелинейная социокультурная динамика, по мнению З. Баумана, порождает «текущую идентичность». Р. Брубейкер показывает, что идентичность, скорее, является категорией практики, чем категорией анализа. Он выявляет ряд смыслов понятия «идентичность», предполагая конкуренции дискурсов идентичности, подчеркивает «нестабильную, множественную, колеблющуюся и фрагментарную природу современного “я”» [Брубейкер 2012: 66]. Прежде это видение присутствовало преимущественно в работах постмодернистов, сегодня — в работах, посвященных текущему этапу современности, подвергнутому нелинейным, турбулентным изменениям.

Важным направлением исследований становится реализация политики идентичности, ориентированной на укрепление и продвижение паттернов

идентичности, считающихся желательными. По мнению социологов Р. Брубейкера и Ф. Купера, «слабость классовой политики в Соединенных Штатах (в сравнении с Западной Европой) способствовала небывалому распространению “языка идентичности” в социально-политической практике и анализе... В 1980-х годах с подъемом триады расы, класса и пола в теории литературы и культурологии... гуманитарные науки присоединились к данной тенденции» [Брубейкер, Купер 2002: 66].

Этим не исчерпывается переход к анализу динамики идентичности. Обратим внимание на ряд новых идей. Признавая концепцию Е.Н. Даниловой и В.А. Ядова о меняющейся, но вместе с тем сохраняющейся идентичности, нельзя не заметить открывшегося поля для ее деструкций. О них пишет Э. Эллиотт, исходящий из способности индивида «изобретать», придумывать свою идентичность: «Сегодня есть две впечатляющих тенденции, управляющие производством идентичности в дорогих городах Запада. С одной стороны, люди сегодня придают невероятное значение презентациям своих идентичностей. Кто-то сходит с ума от идентичности звезды, отмеченной фитнесом, стройностью, молодостью и сексуальностью. Кто-то погружен в руководство по улучшению и изменению идентичности. Кто-то занят с головой своей эмоциональной жизнью и тратит деньги на психотерапию разного сорта. Некоторые захвачены косметической хирургией и проходят множество косметических процедур для новой версии своей идентичности. И многие фанатично устремляются в шоппинг, в консьюмеризм за никогда не прекращающимся изменением идентичности. С другой стороны, ...с идентичностью сегодня все больше связывается прохождение через индивидуальные патологии, распространение дисфункциональных идентичностей — от анорексии и булимии до интернет-зависимости и избыточного непреодолимого шоппинга. Кажется, дело обстоит так, как будто свобода открывать и экспериментировать с идентичностями, вызванная... интенсивной глобализацией, приводит к противоположному — так сказать к сдвигу в пользу неидентичности или попыток закрыть (и даже уничтожить?) любую существующую идентичность» [Elliott 2011: XII].

В противовес этому критики концепта «изобретаемой идентичности» подчеркивают ее важную функцию в выделении процессуального, интерактивного развития коллективного самопонимания, солидарности и групповой сплоченности, которые делают возможным коллективное действие. Это превращает идентичность, с одной стороны, в продукт социальной и политической активности и, с другой стороны, в основание последующих действий. Вместе с тем, будучи результатом многих соревнующихся дискурсов, идентичность выражает нестабильность и изменчивость нашего времени [Брубейкер, Купер 2002: 75].

Исторически разные контексты играли определенную роль в обеспечении соотношения стабильности и динамики идентичности.

Идентичность традиционных обществ отличалась устойчивостью, связанной с доминированием традиции, проявлялась преимущественно в примордиальных свойствах и не была предметом анализа, т.к. не воспринималась как

проблема. В традиционном обществе жизнь людей социально детерминирована «сообществами “жизни и судьбы”» [Bauman 2004: 11], которые не предполагают проблемы идентичности и задачи ее формирования или изменения. В качестве меняющейся и проблематизируемой величины она возникла в эпоху важных социальных трансформаций — модерна и особенно в эпоху глобализации в конце XX — начале XXI века. Социальные и культурные сдвиги меняли содержание идентичности и ее смысл, формируя тем самым проблему идентичности. Контекст современности содержит понимание модернизации как процесса перехода от традиционных обществ к современным и рассмотрение современности как нового состояния общества, при котором идентичность теряет стабильность и становится проблемой. Изменениям типов современности соответствовало историческое ослабление оснований натуралистического понимания социальной идентичности: от предписанных и природных свойств — к социально достижимым и квазиприродным и далее — к выбираемым.

Глобализация привела к формированию надтерриториального и транснационального аспекта социальных отношений. Это оказывает серьезное влияние на национальное государство и национальную идентичность, сформированные эпохой модерна. Границы национальных государств в условиях глобализации пронизываются потоками, т.е. «движением людей, вещей, информации, пространств, которые возникают из-за возрастающей пористости глобальных барьеров» [Ritzer 2010: 7]. Информационные технологии глобализовали мир, создали новые лояльности и новые идентичности, в том числе и в виртуальном пространстве, отличные от создававшихся в эпоху модерна коллективных идентичностей, связанных с национальным государством.

Как считает З. Бауман, «идентичности существуют сегодня исключительно в процессе постоянного пересмотра. Формация идентичности или ее реформация разворачиваются в качестве пожизненной задачи, никогда не завершенной», однажды достигнутая идентичность претерпевает изменения [Bauman 2004: 18], поскольку «наши взаимосвязи и взаимозависимости уже глобальны» [ibid.: 26]. Кризис идентичности может быть обозначен как центральный конфликт глобализации. По мнению З. Баумана, «... проблема, мучающая людей на исходе века, состоит не столько в том, как обрести избранную идентичность и заставить окружающих признать ее, сколько в том, какую идентичность выбрать и как суметь вовремя сделать другой выбор, если ранее избранная идентичность потеряет ценность» [Бауман 2002: 185–186]. Перед человеком в условиях глобализации встает постоянная задача воспроизводства сакрального уровня идентичности и восстановление этого уровня при всех разрушениях, которые его идентичность может претерпеть. Дискурс глобализации усиливает значимость религиозных, локальных, исторических оснований самоидентификации при формировании глубинной идентичности людей. Подобно тому, как современный человек находится в ситуации непрерывного образования, ему требуется непрерывная реидентификация, но без сакрального уровня идентичности он теряет все жизненные смыслы, а значит, он должен будет находить их вновь и вновь.

Концепциями, важными для понимания динамики идентичности, политики и практики в сфере формирования идентичности являются теории кодов идентичности Ш. Эйзенштадта, включающие примордиальный, гражданский и сакральный коды; видов идентичности М. Кастельса; ее направленности А. Турена; процессуальной теории идентичности (см. З. Бауман, Е.Н. Данилова, В.А. Ядов, Н.Н. Федотова).

Так, Ш. Эйзенштадт вводит три кода коллективной идентичности, задающие разные уровни ее формирования и динамику¹ [Eisenstadt, Giesen 1995: 72–102]. М. Кастельс раскрывает значение понятия идентичности, выделяя три ее типа, которые могут выступать как ее функциональные свойства. Они составляют определяющие инструменты политики идентичности. Первый — легитимизирующий — играет роль рациональной поддержки социальными акторами доминирующих идентичностей, их обоснования. Оппозиционный (идентичность сопротивления) присущ акторам, противостоящим доминирующим идентичностям. Наконец, проективная идентичность возникает при попытке социальных акторов продвигать новую идентичность, заново характеризующую их положение в обществе и включающую их в новые взаимоотношения [Castells 2006: 56–65]. А. Турен выделяет оборонительную и наступательную функции идентичности и утверждает наличие трех типов «призыва к оборонительной идентичности», т.е. к защите ее имеющихся форм. В доиндустриальной экономике была важна защита («оборона») идентичности способа производства и образа жизни. Этот призыв к идентичности был связан с защитой традиционных элит. Второй тип призыва к оборонительной идентичности состоит в том, что серьезный кризис коллективности приводит к вытеснению своих внутренних конфликтов в противостояние внутреннего и внешнего, внутренней интеграции и внешней угрозы, чтобы сохранить свою идентичность. Третий тип оборонительной идентичности представляет собой особую форму омассовления и деструктуризации общества в попытке избавиться от абсолютной власти государства. «Идентичность оказывается тогда прерывистой серией идентификаций с моделями, произведенными массовой культурой» [Турен 1998: 103]. Наступательная идентичность А. Турена может быть отождествлена с легитимизирующей, но, скорее, является, конструктивным методологическим принципом работы с идентичностями. Взаимодействие указанных кодов, видов и направленностей идентичностей, их «удельный вес» в политике идентичности приводит к различным конфигурациям динамики идентичности.

Политика идентичности не способна сама по себе стабилизировать имеющиеся идентичности или сформировать новые. Она сталкивается с наличными состояниями идентичностей и не может быть сведена ни к бесконечному поддерживанию идентичности, ни к ее бесконечному изменению. «В обществе, которое сделало социальные, культурные и сексуальные идентичности неопределенными и переходными, любая попытка сделать посредством политики

¹ Об этом см. статью «Шмуэль Эйзенштадт» раздела V настоящего издания.

идентичности более устойчивым то, что стало “текучим”, с неизбежностью приведет критическую мысль в тупик», — предупреждает З. Бауман [Bauman 2004: 7]. Поэтому «более уместным и соответствующим реальностям глобализирующегося мира выглядело бы исследование идентификации, никогда не заканчивающейся, всегда незавершенной, неоконченной, открытой в будущее деятельности, в которую все мы по необходимости либо сознательно вовлечены» [Бауман 2002: 192].

В настоящее время активно разрабатывается понимание идентичности как складывающейся в ходе непрерывного процесса идентификации, поставлена задача разработки *процессуальной теории идентичности* [Федотова 2012; 2013; 2014]. В качестве одного из элементов этой теории используется концепт нелинейной динамики идентичности, который отображает весь континуум ее изменений. Он включает, с одной стороны, устойчивую идентичность, а с другой, — идентичность меняющуюся, неустойчивую, иногда даже близкую к разрушенной, но меняющуюся в направлении обретения своей новой сущности. Таким образом поддерживается процесс непрерывной идентификации, смысловая и контекстуальная связь многочисленных состояний идентичности, расположенных в этом континууме. Человек, сообщество, группа, страна находятся в процессе своего рода жизненного путешествия по континууму идентичностей, на одном конце которого находятся стабильные идентичности, а на другом — меняющиеся, крайне неустойчивые. Выбор осуществляется не одномоментно, а в течение всей жизни человека, сообщества, группы, страны. Согласно этой концепции существующий континуум создает диапазон изменений идентичности, характеризующий значимость исторической памяти, актуальность настоящего, возможность обращения в будущее. В этом континууме и происходит пожизненное непрерывное формирование как индивидуальной, так и коллективных идентичностей как смысла себя, своих смысложизненных ориентаций.

Утопичность абсолютной устойчивости идентичности в сегодняшнем неустойчивом, нелинейно меняющемся социуме не означает того, что понятие идентичности утрачивает свою значимость. Напротив, все субъекты идентичности находятся в непрерывном процессе ее изменения, разрушения, приобретения и становления и в каждой точке своего существования нуждаются в понимании состояния своей идентичности. В противном случае в плане индивидуальной идентичности их ждут потеря самоидентичности, ценностный самораспад и исчезновение непрерывности биографии. По мнению Е.Н. Даниловой и В.А. Ядова, «...собственно кризисной идентичностью разумно считать состояние людей, не способных в силу разных причин ... адаптироваться к меняющимся условиям жизни» [Данилова, Ядов 2004: 13].

Это относится не только к индивидуальной идентичности — отдельному индивиду, о котором они пишут, но и всем носителям идентичности — сообществу, обществу, этносу, народу, стране, т.е. разным формам коллективной идентичности. Методологически важным является признание разного наполнения процессуального континуума для индивидуальных и коллективных

идентичностей. Говоря о такой форме коллективной идентичности, как национальная, С. Хантингтон отмечает: «Японцы испытывали подлинную агонию, решая вопрос, делает ли их место, история и культура Азией или их богатство, демократия и современность Западом. Иран был описан как “нация в поисках идентичности”, Южная Африка характерна “поиском идентичности”, Китай — вопросом “о национальной идентичности”, в то время, как Тайвань был вовлечен в “распад и пересмотр национальной идентичности”. Сирия и Бразилия, со своей стороны, находятся перед лицом “кризиса идентичности”, Канада — в “продолжающемся кризисе идентичности”, Дания — в “остром кризисе идентичности”, Алжир — в “деструктивном кризисе идентичности”, Турция — в “уникальном кризисе идентичности”, ведущим к жарким дебатам “о национальной идентичности”, и Россия — в “глубоком кризисе идентичности”, заново открывающем классические дебаты девятнадцатого века между славянофилами и западниками относительно того, является ли Россия “нормальной” европейской страной или отчетливо отличной от них “евразийской державой”. Не сформировалась единая идентичность немцев, сомневаются в своей общей идентичности британцы. Кризис национальной идентичности стал глобальным феноменом» [Huntington 2004: 12–13]. В соответствии с процессуальной теорией идентичности концепция Хантингтона может быть переопределена следующим образом: кризис коллективных идентичностей есть часть процессуальных изменений, которые с ними происходят, и именно это является более адекватной характеристикой изменений идентичности, особенно в период ускоряющихся и умножающихся социальных изменений.

Процессуальный характер и динамика идентичности сохраняют разный, но всегда присутствующий «смысл себя». Человек и группа, сообщество, страна, с которыми он себя соотносит, обретают сегодня идентичность в течение всего времени своего существования, сохраняя или не сохраняя преемственность с прошлым, когда ситуация социальных изменений ставит их в состояние кризиса. «Раньше идентичность считалась достижимой, проходящей через ряд кризисов, но в итоге обретавшей определенную устойчивость до следующего кризиса. Сегодня она является процессом ее непрерывного обретения в континууме между полюсами стабильности и нестабильности и имеет процессуальный характер» [Федотова 2014: 79]. Это не значит, что всем существующим идентичностям гарантирована сохранность. В процессе перемен может произойти утрата некоторых из них, в то время как другие смогут, меняясь, сохранить себя.

Таким образом, речь идет о *динамике идентичности* как о способности ее сохранения в определенном диапазоне изменений. Этот вариант динамики идентичности мало исследован, в отличие от феноменов кризиса и смены идентичности, которые более основательно описаны в научной литературе.

Литература

- Бауман З. 2002. *Индивидуализированное общество*. М.: Логос. 390 с. [Bauman Z. 2001a. *The Individualized Society*. Cambridge: Polity Press. 272 p.]
- Брубейкер Р. 2012. *Этничность без групп*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики. 408 с. [Brubaker R. 2004b. *Ethnicity without Groups*. Cambridge: Harvard University Press. 284 p.]
- Брубейкер, Р., Купер Ф. 2002. За пределами «идентичности». — *Ab Imperio*. № 3. С. 61–115. [Brubaker R., Cooper F. 2000. Beyond "Identity". — *Theory and Society*. Vol. 29. No. 1. P. 1–47.]
- Данилова Е.Н., Ядов В.А. 2004. Нестабильная социальная идентичность как норма современных обществ — *Социологические исследования*. № 10. С. 27–30.
- Миненков Г.Я. 2005. Политика идентичности: взгляд современной социальной теории. — *Политическая наука*. № 6. С. 21–38.
- Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 1. Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий (отв. ред. И.С. Семенов)*. 2011. М.: РОССПЭН. 208 с.
- Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 2. Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке (отв. ред. И.С. Семенов)*. 2012. М.: РОССПЭН. 471 с.
- Турен А. 1998. *Возвращение человека действующего. Очерк социологии*. М.: Научный мир. 204 с. [Touraine A. 1984. *Le Retour de l'acteur. Essai de sociologie*. Paris: Librairie Arthème Fayard. 350 p.]
- Федотова В.Г., Колпаков В.А., Федотова Н.Н. 2008. *Глобальный капитализм: Три великие трансформации. Социально-философский анализ взаимоотношений экономики и общества*. М.: Культурная революция. 608 с.
- Федотова Н.Н. 2012а. *Изучение идентичности и контексты ее формирования*. М.: Культурная революция. 200 с.
- Федотова Н.Н. 2013. Концепции идентичности в условиях нелинейной социокультурной динамики. — *Знание. Понимание. Умение*. № 2. С. 52–62.
- Федотова Н.Н. 2014. На пути к процессуальной теории идентичности. — *Философские науки*. № 11. С. 70–81.
- Bauman Z. 2004. *Identity. Conversation with Benedetto Vecchi*. Cambridge, Malden: Polity Press. 104 p.
- Bauman Z. 2010. *44 Letters from the Liquid Modern World*. Cambridge, UK: Polity Press. 208 p.
- Bauman Z. 2011. *Culture in a Liquid Modern World*. London, Malden, Cambridge, UK: Polity Press in Association with the National Audiovisual Institute. 144 p.
- Castells M. 2006. Globalisation and Identity. A Comparative Perspective. — *Transfer*. No. 1. P. 56–65.
- Cerulo K.A. 1997. Identity Construction: New Issues, New Directions. — *Annual Review of Sociology*. Vol. 23. P. 385–409.
- Eisenstadt S.N., Giesen B. 1995. The construction of collective identity. — *European Journal of Sociology*. Vol. 36. No. 1. P. 72–102.
- Elliott A. 2011. Introduction. — *Routledge Handbook of Identity Studies (ed. by A. Elliott)*. 2011. Abingdon, Oxon, New York: Routledge. P. XXII–XXIV.
- Giddens A. 1991. *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press. 264 p.
- Huntington S.P. 2004. *Who Are We: The Challenges to America's National Identity*. New York, London, Toronto, Sydney: Simon & Schuster. 428 p.
- Lash S., Urry J. 1987. *The End of Organized Capitalism*. Madison, Oxford, Cambridge: The University of Wisconsin Press; Polity Press. 383 p.
- Ritzer G. 2010. *Globalization. The Essentials. The Atrium Southern Gate*. Chichester, West Sussex, Wiley-Blackwell. 356 p.
- Routledge Handbook of Identity Studies (ed. by A. Elliott)*. 2011. Abingdon, Oxon, New York: Routledge. 408 p.
- Wagner P. 1994. *A Sociology of Modernity. Liberty and Discipline*. London, New York: Routledge. 267 p.
- Wagner P. 2001. Modernity, Capitalism and Critique. — *Thesis Eleven*. Vol. 66. No. 1. P. 1–31.
- Wagner P. 2012. *Modernity. Understanding the Present*. Cambridge, UK: Polity Press. 160 p.

Конфликт идентичностей

М.Е. Попов

Ключевые слова: социокультурная идентификация, идентичность, коллективная идентичность, этническая идентичность, кризисы идентичностей, трансформации идентичностей, групповая идентичность, множественная идентичность, модернизация, различие, «другой».

На протяжении нескольких последних десятилетий в политической теории значительное внимание уделяется изучению *конфликта идентичностей* в различной терминологической постановке. В концептуальных моделях, лежащих в основе конфликтологических исследований, авторы исходят из того, что источником конфликта идентичностей (*identity-based conflict*) выступают ценностные противоречия и различия. Понятие ценностного противоречия уточняет концепт конфликта идентичностей, подчеркивая системно-генетический характер данной объяснительной модели. Как отмечают Дж. Эстебан, Л. Мейорал, Д. Рей, в современном мире ценностные конфликты приобретают выраженный идентификационный характер: более половины гражданских столкновений после Второй мировой войны могут быть классифицированы как этнические и религиозные. Одним из оснований классификации конфликта идентичностей является его идентификация в качестве антигосударственного мятежа от имени этнической и религиозной группы [Esteban, Mayoral, Ray 2012]. Р. Брубейкер и Д. Лейтин, рассматривая историю внутригосударственных конфликтов второй половины XX века, пришли к выводу об исчезновении биполярной «идеологической оси» на фоне масштабной «этнизации насильственных столкновений» [Brubaker, Laitin 1998].

Конфликт идентичностей — это социокультурный конфликт, фундаментом которого являются ценностные противоречия и различия, обусловленные кризисами и трансформациями идентичностей. Понятие конфликта идентичностей отражает системный характер модернизационных рисков в условиях размывания этнических и национальных границ. Кросс-культурные взаимодействия в современном мире являются неисчерпаемыми источниками как социальной интеграции, так и ценностного конфликта. На структурном уровне ценностно-идентификационные противоречия обусловлены процессами модернизации традиционных сообществ, что создает условия для, с одной стороны, их демократизации, с другой — радикализации и эскалации насилия.

Впервые термин «конфликт идентичностей» появляется в работах Дж. Бертона и Дж. Ротмана в 1990-е годы. В работах Дж. Бертона самоидентификация рассматривается как одна из базовых потребностей, при этом угроза коллективной идентичности группы воспринимается ее членами как угроза безопасности; в этом аспекте в качестве фундаментальных Бертоном выделяются две потребности — потребность в идентичности и потребность в безопасности. Дж. Ротман важнейшим элементом конфликта идентичностей называет деструктивную иррациональность [Burton 1996, Rothman 1997].

В основе анализа конфликта идентичностей лежит различие между конфликтами «реалистическими» и «нереалистическими» (Л. Козер), «рациональными» и «нерациональными» (Т. Шеллинг), между «деструктивным поведением» и «конфликтным поведением» (Й. Галтунг, Т. Гарр) [Авксентьев 2001]. Анализируя специфику и типы конфликтов идентичностей, Д. Горовиц отмечает, что в современном мире ценностные конфликты являются не биполярными, как между конфликтующими сторонами «А» и «Б», а мультиполярными [Horowitz 2008]. На семантическом и символическом уровнях конфликты идентичностей приобретают характеристики «конфликтов интерпретаций», которые возникают между «конкурирующими герменевтиками» [Рикер 2008]. В исследованиях У. Бека современные ценностные конфликты определяются как «цивилизационная борьба за правильный путь в будущее» [Бек 2007].

Конфликт идентичностей необходимо рассматривать в контексте инструменталистской парадигмы как следствие актуализации и радикализации политизированных идентичностей, изменяющих динамику и содержание групповых конфликтов. По словам Д. Смита, «причиной вооруженных конфликтов служат не этнические различия как таковые, а этническая политика. Опасность возникает тогда, когда этнические различия начинают определять политические пристрастия и когда происходит политизация этнической идентичности. Трагедия заключается в том, что как только этническая маска надедена, ее очень трудно сбросить. Пробужденное чувство групповой идентичности накапливает и мобилизует потенциал негодования и обиды, чтобы сплотить людей, особенно в периоды кризиса или войны, и при этом порождает, казалось бы, непримиримую ненависть, которая становится источником затяжных, часто циклических конфликтов» [Смит 2007: 127].

Конфликт идентичностей опасен тем, что в его генезисе и динамике интолерантные культурные стереотипы и социальная неудовлетворенность будут с высокой степенью вероятности политизированы; призыв к открытому насилию направлен на то, чтобы сконцентрировать агрессивный потенциал в точке культурной непримиримости. Величина насилия в конфликте идентичностей детерминирована остротой восприятия угроз безопасности, интенсивностью неудовлетворенности, масштабами институциональной поддержки, эскалацией неравенства, в совокупности являющимися условиями открытого противостояния.

Конфликт идентичностей, отмечает Б. Благович, имеет свои уникальные характеристики, и в разных контекстах некоторые из этих элементов будут

более заметны, чем другие, но все они являются общими знаменателями генезиса такого конфликта. Примордиалистский подход помогает объяснить роль конфликтного потенциала этнической идентичности. Концепции политических антрепренеров и подходы ресурсной конкуренции объясняют, как взаимодействуют институционально-политические факторы и этнические эмоции. Многообразные полиэтнические сообщества имеют различные степени конфликтного потенциала. Этнические эмоции, коренящиеся в воспоминаниях исторических обид, лежат в основе потенциального конфликта идентичностей [Blagojevic 2009: 15]. «Этничность воплощает в себе элемент мощной эмоциональной напряженности, — пишет Д. Горовиц, — Она может быть реактивирована, если группами осознается угроза собственным интересам, что приводит к этнификации, этнической интолерантности, конкуренции и в конечном итоге — насильственному этническому конфликту» [Horowitz 1985: 127].

Конфликтogenicность групповых идентичностей обусловлена негативной стереотипизацией «других» в процессе конструирования границ. Культурные различия не приводят к неизбежным конфликтам, формируя предпосылки к интеграции и диалогу; однако, когда универсализация (ассимиляция) интерпретируется группой как угроза безопасности, возникает трудноразрешимый конфликт идентичностей. Мотивы участия групп в конфликте идентичностей будут влиять на перспективы его исхода; участие сторон здесь имеет выраженный характер жертвенности, готовность нести коллективные жертвы ради различающихся идеологий, идентичностей и ценностей эмоционально переживается участниками конфликта. Только в период 1980–1995 годов мир пережил 72 гражданские войны (на этнической, национальной, религиозной, расовой почве); после 1995 года гражданские войны имели место в Югославии, Анголе, Либерии, Судане, в поясе центральноафриканских государств, на Филиппинах, в Израиле, Цейлоне, Руанде, Афганистане, Ираке [Видоевич 2005: 29].

Как отмечают американские исследователи Дж. Ротман и М. Альберштейн, в практике разрешения конфликтов синтез концептов индивидуальной свободы и групповой идентичности как контр-нарративов насильственной ассимиляции можно рассматривать в качестве технологии конфликтного урегулирования. Анализируя статус идентичности в динамике конфликтов, авторы указывают на связь групповых идентичностей с «примордиальной и домодерной идеей общества, что возвращает нас к исследованию закрытых коллективов, в которых индивидуализм не играет заметной идеологической роли. Сегодня эти общества могут функционировать в глобализованном мире посредством сохранения собственной культуры на основе коллективных ценностей; в пределах этих коллективов групповая идентификация может соотноситься с их ценностями, традициями или религиозными текстами. Когда в процессе медиации мы имеем дело с групповым столкновением, обращение к индивидуальным интересам не в состоянии загладить трещину, возникшую в результате конфликта. Попытки манипулировать группами могут привести к интенсификации конфликтов идентичностей» [Rothman, Alberstein 2013: 638].

Когда конфликт касается ресурсов или рационализированных целей, которые четко определены, традиционный подход, рекомендуемый отделять проблемы идентичности от скрытого противоречия и конфликтной ситуации, может быть полезным ориентиром в процессе конфликтного разрешения. Однако, когда в социокультурные конфликты втягиваются глубинные субъективно-эмоциональные проблемы, такие, как поддержание групповой солидарности и безопасность, отделять идентичность от конфликтной проблемы не представляется возможным, потому что коллективные идентичности участников конфликта находятся под угрозой; во всяком случае, стороны конфликта идентичностей так интерпретируют их генезис. В разрешении конфликтов идентичностей нецелесообразно использовать методы управления с помощью структурного разделения различных компонентов конфликта: попытка отделить эмоции и идентичности от сущности противоречия может только усугубить идентификационный конфликт, придать формам его манифестации деструктивный характер. В теории международных конфликтов Дж. Бертона предлагается учитывать базовые человеческие потребности, которые отличаются от интересов и включают в себя необходимость в групповой безопасности и признании уникальной идентичности, и использовать их в управлении конфликтом. Основной целью разрешения конфликта идентичностей должно быть устранение морально-психологической напряженности и фрустраций, а не только удовлетворение материальных интересов [ibid.: 647].

Дж. Ротман рассматривает коллективные идентичности как самовосприятия, наполненные «культурной формулой». Культурная формула основывается на внутренних потребностях и предпочтениях, групповых характеристиках и коллективных ценностях. В конфликтах идентичностей она может быть персональной, групповой или межгрупповой, но идентичность всегда является источником противоречия и катализатором конфликта. Стороны могут воспринимать себя в качестве «персональных максимайзеров», защищая индивидуальные ценности, преследуя собственные интересы и выражая индивидуалистические потребности; они могут быть группами и ощущать себя частью коллективного целого; они могут ощущать себя носителями множественных идентичностей и вступать в конфликт на межгрупповом уровне. Все эти восприятия генерируются культурной формулой — идентичностью. Идентичность становится идеологической базой участников конфликта, наполненной персональными, групповыми и межгрупповыми эмоциями, ценностями и смыслами [ibid.: 651].

Теоретики разрешения конфликтов (Дж. Бертон, Дж. Ротман) утверждают, что манифестация конфликта идентичностей не обязательно указывает на его истинную сущность. Подход к разрешению конфликтов идентичностей требует избегать поверхностного анализа антагонистических притязаний, которые являются «вершиной айсберга», и сосредоточиться на скрытом, глубинном слое. Анализ конфликтующих идентичностей как «скрытых смыслов» занимает центральное место в разработке конструктивных методов транс-

формации и урегулирования групповых конфликтов. Работа с глубинным уровнем конфликта идентичностей становится более плодотворной и конструктивной при разрешении основного противоречия, его породившего. Теоретический анализ конфликта идентичностей подводит к необходимости дополнения и уточнения методологии разрешения ценностных противоречий, обусловленных факторами интолерантности, структурной дезинтеграции и неудовлетворенности в базовых потребностях равенства, справедливости, безопасности.

Литература

- Авксентьев В.А. 2001. *Этническая конфликтология: в поисках научной парадигмы*. Ставрополь: Издательство СГУ. 269 с.
- Бек У. 2007. *Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия*. М.: Прогресс-Традиция, Издательский дом «Территория будущего». 464 с.
- Видоевич З. 2005. Глобализация, хаотизация и конфликты в современном мире. — *Социологические исследования*. 2005. № 4. С. 25–32.
- Рикёр П. 2008. *Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике*. М.: Академический Проект. 695 с.
- Смит Д. 2007. *Причины и тенденции вооруженных конфликтов. Этнополитический конфликт: пути трансформации: настольная книга Бергхофского центра (под ред. В. Тишкова)*. М. Устиновой. М.: Наука, 487 с.
- Blagojevic B. 2009. Causes of Ethnic Conflict: a conceptual framework. — *Journal of Global Change and Governance*. Vol. 3. P. 3–18.
- Brubaker R., Laitin D. 1998. Ethnic and Nationalist Violence. — *Annual Review of Sociology*. Vol. 24. P. 423–452.
- Burton J. 1990. *Conflict: Resolution and Provention*. London: Macmillan and New York: St. Martin's Press. 249 p.
- Esteban J., Mayoral L., Ray D. 2012. Ethnicity and Conflict: Theory and Facts. — *Science*. Vol. 336. No. 6083. P. 858–865.
- Horowitz D. 1985. *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley, Los Angeles, Cal.; London, UK: University of California Press. 697 p.
- Horowitz D. 2008. Conciliatory Institutions and Constitutional Process in Post-Conflict States. — *William and Mary Law Review*. Vol. 49. P. 1215–1216.
- Rothman J. 1997. *Resolving Identity-Based Conflict: In Nations, Organizations, and Communities*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 316 p.
- Rothman J., Alberstein M. 2013. Individuals, Groups and Intergroups: Theorizing About the Role of Identity in Conflict and its Creative Engagement. — *Ohio State Journal on Dispute Resolution*. Vol. 28. No. 3. P. 631–657.

Кризис идентичности

В.В. Лапкин

Ключевые слова: самовосприятие, самоотождествление, социальная норма, социальная роль, отчуждение, личность, конструирование идентичности, паттерны идентичности, модернизация, глобализация, национальное государство, национальная идентичность, миграция, атомизация.

Кризис имманентен природе феномена *идентичности*. По сути, он является конституирующим и формирующим, непрерывно трансформирующим *идентичность* фактором социализации и социальной коммуникации индивида в современном сложном обществе [Erikson 1968; Эриксон 1996]. Как известно, само появление соответствующего дискурса и сама проблематика идентичности были инициированы в свое время *кризисом* традиционных представлений о «неизменности» социально обусловленной природы человека, системы традиционно разделяемых им ценностей и социальных ориентаций. Внимание исследователей было привлечено кризисной трансформацией самовосприятия человека в процессе взросления и первичной социализации, а также все более явным несоответствием реальности наивных представлений об индивиде как «раз и навсегда» принадлежащем данному ему сообществу (роду, племени, семье, общине, сословию, социальному классу), своей социальной роли (возрастной, гендерной, профессиональной). Осознание неудовлетворительности традиционных форм и способов самоотождествления индивида со строго определенной, данной ему «по факту рождения» референтной социальной группой стало тем вызовом социально-психологической теории, ответом на который, собственно, и явилось введение в научный оборот *понятия идентичности*. Иными словами, именно *кризис* (от древнегреч. κρίσις — разделение, суд, поворотный пункт, исход) привычных представлений о себе самом, о своей сути (как невозможность отождествления себя с тем, кем ты себя полагал прежде, идентификации себя со своей самостью [Хёсле 1994: 117]) стал отправной точкой исследования феномена идентичности. Идентичность как особая, отличительная характеристика индивида появляется и проявляется всякий раз в процессе кризисной трансформации «Я», сопровождающей конфликт существенно значимых идентификаций индивида и распад прежней традиционной целостности самовосприятия и самопозиционирования индивида в окружающем социальном мире.

В частности, проблематизируя *кризис идентичности* (самоидентификации и позиционирования в структуре социальных интеракций) и предпринимая

усилия по его преодолению, индивид, либо сообщество получают возможности и ресурсы эффективной адаптации к меняющейся реальности, совмещения задачи соотношения с ней с сохранением целостности самовосприятия. Напротив, неспособность индивидов или сообществ адаптироваться к меняющимся условиям жизни, находить выход из кризиса формирует устойчивое состояние *кризисной идентичности*.

Исследование проблематики *социальной и политической идентичности* выявило дополнительные объективные факторы, способствующие формированию «новых измерений» *кризиса идентичности* путем привнесения в пространство самоидентификации индивида разнородных институциональных и социокультурных паттернов, императивно навязываемых ему процессами социализации, социальной и политической консолидации. Новые коммуникационные возможности и новые форматы общения открывают перед индивидом неведомые ему прежде грани его собственного «Я», проблематизируют его самовосприятие, побуждают к кризисной трансформации его индивидуальной идентичности. Похожее происходит и с сообществом, которое в случае быстрых перемен в характере отношений с другими сообществами (в ситуациях войны, социальных катаклизмов, затяжных экономических кризисов и т.п.) вынуждено, проходя через кризис самовосприятия и ревизии прежде сформированного континуума идентификаций, корректировать представления о собственной социальной идентичности.

Тем самым *кризис идентичности* следует рассматривать в качестве аналитической категории, открывающей возможности изучения механизмов содержательного усложнения и развития представлений об идентичности, выявления новых граней феномена самовосприятия, новых подходов к исследованию влияния институциональных и социокультурных перемен на способности индивида реконструировать индивидуальную идентичность и тем самым повышать свои адаптационные возможности в условиях стремительных социальных перемен. Понятие кризиса идентичности позволяет выявить комплексную природу трансформации самосознания индивида и самовосприятия малых и больших сообществ, сконцентрировать исследовательское внимание на процессах, факторах и движущих силах обновления и усложнения, диверсификации идентификационных моделей в современном обществе, на новых перспективах развития и новых гранях человеческого бытия, открывающихся с ростом многообразия коммуникативных возможностей современного человека.

Социокультурные изменения, происходящие в современную эпоху повсеместно, притом с невиданным ранее динамизмом и лабильностью, а вместе с тем — необратимое разложение многих прежде традиционных фундаментальных механизмов и способов поддержания идентичности в совокупности формируют текущее состояние всеобщего *кризиса идентичности*. Такое состояние во все большей степени воспринимается в качестве *устойчивой и проецируемой на неопределенное будущее нормы* [Данилова, Ядов 2004; Лапкин 2011].

Наиболее характерным проявлением политически значимого *кризиса идентичности* предстают процессы, связанные с разложением *национальной*

идентичности, а также некоторых иных идентификаций прежде устойчивых макрополитических и макросоциальных сообществ. *Национальная идентичность* долгое время считалась неотъемлемым атрибутом современного национального государства, активно культивировалась и рассматривалась как модельная и доминирующая в *матрице идентичности* современного человека. Так, до недавнего времени, и особенно в западноевропейской традиции, *этническая, религиозная и конфессиональная идентичности* представлялись в целом второстепенными и значимыми преимущественно для не вполне модернизированных сообществ, более того, маркирующими их несовременность. Очевидно, что сегодня правомерность такой однозначной оценки поставлена под сомнение, а сами эти идентификации начинают играть все более значимую роль в процессах реконфигурации идентичности многих важнейших макрополитических сообществ современного мира, в том числе и таких, как Европейский союз [Семененко 2008а].

Современные государства в стремлении отстоять свое право на сохранение и воспроизводство единого национального культурного, политико-правового и экономического пространства наталкиваются на сопротивление двух основных разнонаправленных процессов. С одной стороны — это тренды глобализации в сферах культуры и информации, сопровождающиеся унификацией идентификационных образцов, подменой укорененной и устойчивой основы национально-государственного уровня идентификации повсеместно узнаваемыми символами, порождаемыми в глобальном информационном пространстве. С другой — процессы разложения гражданской (национальной) солидарности целенаправленными сепаратистскими усилиями этнических, конфессиональных, языковых, субкультурных *сообществ*. Кризис модели национального государства остро, хотя и весьма по-разному, ощущается как в странах «мировой периферии», многие из которых длительное время и с разным успехом пытались адаптировать модель нации-государства к собственной социокультурной природе, так и на «благополучном» Западе.

Кризис национальной (макрополитической) идентичности выдвигает на первый план проблему качества ее гражданской составляющей [Пантин, Семененко 2004]. В отсутствие иных достойных альтернатив именно в *гражданской идентичности* современное общество пытается найти опору в противостоянии натиску как глобализма, так и его антипода — ксенофобии.

Другим важным компонентом политически значимого *кризиса идентичности* становятся социокультурные и политические последствия стремительно нарастающей инокультурной иммиграции в страны Запада. Этот процесс предстает сегодня угрозой не только нынешнему и будущему экономическому и социальному благополучию, но и уникальному культурному потенциалу развития принимающих *сообществ*, как фактор, реально меняющий культурную физиономию этих *сообществ* и их социальный климат. Даже широта мультикультуралистских схем оказывается уже недостаточной, не способной «вместить» весь комплекс проблем, создаваемых для принимающих стран этими потоками. Вместе с тем массовая миграция порождает сегодня пара-

доксальное сосуществование — в рамках единой политической системы — цивилизационно разнородных *сообществ*, характеризующихся принципиально различной культурой повседневности и полярными типами присущих им ценностно-нормативных систем и моделей самоидентификации. Самое широкое распространение получают новые идентификационные ориентиры (паттерны), формирующие различного рода над- и субнациональные *политические пространства*. Под вопрос ставится сама способность национального государства обеспечивать в этих условиях политическую интеграцию, противостоять давлению конкурирующих моделей социальной и политической самоидентификации.

При этом картина сегодняшнего последовательного и стремительного размывания *национальной идентичности*, со всей очевидностью наблюдаемая с «классических» для Нового времени позиций государства-нации, с иных позиций выглядит скорее как формирование альтернативных идентификационных ориентиров преимущественно цивилизационной природы. Симптомы этой начавшейся во всем мире трансформации и побудили в свое время С. Хантингтона выступить со своей знаменитой концепцией «столкновения цивилизаций», составляющего, по его мнению, основное содержание мировой политики новой эпохи, а в дальнейшем включить проблематику *кризиса национальной идентичности* в число важнейших исследовательских приоритетов [Huntington 2004].

Кризис современного государства и современной нации как еще совсем недавно важнейших, базовых интеграционных паттернов, обеспечивающих консолидацию современного общества и привлекательность для индивида самоидентификации с ним, неизбежно будут иметь далеко идущие последствия для глобального развития. Одно из наиболее очевидных и уже вполне проявившихся — это актуализация иных, не связанных с государством и гражданской нацией форм социальной консолидации и самоидентификации, в том числе на основе этнической, конфессиональной и даже почти забытой в посткоммунистическом мире социально-классовой самоидентификации.

Снижение интенсивности самоидентификации индивидов со своими традиционными *сообществами* означает рост отчуждения от прежних «органичных» социальных ролей и формирование запроса на иные ролевые паттерны. *Социальная идентичность* выступает сегодня мощным инструментом отъединения одних групп от других, а вместе с тем и конструирования новых сообществ с использованием нетрадиционных интеграционных механизмов, требующих от индивида не целостного, а лишь частичного участия. По мере распада синкретичных форм идентификации эти разъедающие общество процессы отъединения (атомизации) преобразуют саму природу современного индивида (рассматриваемого в качестве составляющего элемента целостного социального субъекта), форсируя в условиях «индивидуализированного общества» [Бауман 2005] процесс его самоотчуждения. Вместе с тем этой тенденции саморазрушения индивида через такое отчуждение противостоит личностное

начало — основа универсальности человека. Именно личностная проекция *кризиса идентичности* обнаруживает раскрывающиеся в процессе самоидентификации смыслы и ресурсы развития личности, принципиально не обнаруживаемые в рамках парадигмы «экономического человека».

Литература

- Бауман З. 2005. *Индивидуализированное общество*. М.: Логос. 390 с.
- Лапкин В.В. 2011. Метаморфозы идентичности в условиях глобализации. — *Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС*. Т. 7. № 2. С. 25–41.
- Пантин В.И., Семенов И.С. 2004. Проблемы идентичности и российская модернизация. — *Поиск национально-цивилизационной идентичности и концепт «особого пути» в российском массовом сознании в контексте модернизации (отв. ред. В.В. Лапкин, В.И. Пантин)*. М.: ИМЭМО РАН. С. 6–14.
- Семенов И.С. 2008а. Метаморфозы европейской идентичности. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 80–96.
- Хёсле В. 1994. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности. — *Вопросы философии*. № 10. С. 112–123.
- Эриксон Э. 1996. *Идентичность: юность и кризис*. М.: Прогресс. 342 с.
- Erikson E. 1968. *Identity. Youth and Crisis*. New York: W.W. Norton & Co. 336 p.
- Huntington S.P. 2004. *Who Are We: The Challenges to America's National Identity*. New York, London, Toronto, Sydney: Simon & Schuster. 428 p.

Современность

В.С. Мартьянов

Ключевые слова: политическая (гражданская) нация, национальное государство, мультикультурализм, политика идентичности, символическая политика, конструирование идентичности, космополитическая идентичность, идентичность глобального универсализма, российская идентичность, классовая идентичность.

Современность представляет посттрадиционное, функционально дифференцированное на автономные подсистемы общество, преимущественно представленное в политической форме территориальных государств, в которых доминируют рыночные обмены, рациональная бюрократия и инклюзивные институты, обеспечивающие широкое участие граждан в управлении социальными и политическими аспектами собственной судьбы.

Способом существования и одновременно легитимации социального порядка современности является базовая идея прогресса как непрерывной модернизации — потока постоянных улучшающих изменений. Стремление к инновациям становится ключевым свойством современности. Обратной стороной этого свойства является фундаментальная неустойчивость социального порядка современности, рост на всех уровнях социальной системы потенциала разнообразных угроз, вызовов, конфликтов и рисков [Бек 2000; Beck 1992]. Фактически социальные науки и их научная программа в привычном виде возникли и исторически развертывались, прежде всего, как рефлексия социальных проблем / легитимация политического порядка становящейся современности. Базовая парадигма современности испытывает постоянные интеллектуальные вызовы со стороны концепций постиндустриального, сетевого, информационного общества, общества знания, неопатримониального общества и т.п. Однако более универсальный этический и институциональный вызов в альтернативных теориях так и не был предложен, поэтому все концепции, которые претендовали на альтернативу современности — будь то состояние постмодерна [Лиотар 1998; Lyotard 1979]; постиндустриализм [Иноземцев 1998]; коммунизм; альтерглобализм; мировая децентрированная империя [Хардт, Негри 2004; Hardt, Negri 2000]; цивилизационные теории [Хантингтон 2003; Huntington 1996]; разнообразные автаркические и традиционалистские проекты, связанные с отрицанием капитализма, либерального консенсуса и мировой политической системы, — не смогли вытеснить концепт современности с доминирующих позиций [подр. см. Мартьянов, Фишман 2010: 121–172].

Современность является длящимся, *незавершенным проектом* [Хабермас 1992: 40–51] для большинства населения планеты и *неразрешимой в позитивном ключе проблемой* общественной мысли [Капустин, 1998: 13–33]. Политическая парадигма современности, несмотря на всестороннюю критику, остается доминирующей для легитимации и описания глобального политического, экономического, культурного порядка. Поэтому ведущие мыслители, несмотря на значительные институциональные изменения, перманентно наблюдаемые вокруг, подчеркивают, что мы все еще имеем дело преимущественно с современностью, будь то *капиталистическая мировая экономика* [Валлерстайн 2006; Wallerstein 2004], *радикальная современность* [Giddens 1990], *сингулярная современность* [Jameson 2002], *текущая современность* [Бауман 2008; Bauman 2000], *гипермодерн* [Lipovetsky, Charles 2005] или *космополитический Модерн* [Бек 2007]. Все большее исследовательское внимание уделяется не столько поискам альтернатив современности, сколько ее глобальной трансформации в виде *второй, рефлексивной или поздней современности* [Мартьянов 2010б].

Центральная ценностная система современности представляет исторически подвижную констелляцию взаимосвязанных нарративов, организующих институциональное пространство общества. Базовыми современными политическими нарративами являются капитализм, либерализм и национализм, образующие ценностное и функциональное единство современности, основу ее самоописания,

воспроизводства и легитимации социального порядка. Это а) капитализм, б) стратегия его морально-политической компенсации в виде либерализма и в) национальное государство как политическая форма организации и защиты капиталистического производства на определенной территории, позволяющая совместить принципы эксплуатации, конкуренции и бесконечного накопления капитала с институциональным закреплением широкого перечня неотчуждаемых прав и свобод граждан.

Каждый из этих культурных нарративов в условиях эволюции от национального к глобальному измерению современности претерпевает существенные изменения. Нарратив либерализма демонстрирует отказ от либерального консенсуса коллективных политических интересов в виде современных идеологий в территориальных пределах отдельных наций — в пользу формирования контуров радикальной либеральной глобальной этики, основанной на согласии относительно прав и свобод человека и выработке моральных конвенций легитимности постнациональных политических институтов. Если ранняя современность предстает как институционализация либерализма, то движение к глобальной современности парадоксальным образом обернулось не отрицанием, а радикализацией ее ценностных, этических оснований. Этот процесс связан с последовательным усилением принципа индивидуальной рациональной и этической автономии людей, которые действуют в своих интересах как самостоятельные политические субъекты, в том числе вопреки сложившимся коллективным идентичностям, институциональным традициям и их ценностным обоснованиям. В то же время либеральный консенсус в ряде регионов мира проверяется на прочность и моральной игрой на понижение, когда, теряя идеологическое содержание, он заменяется риторикой здравого смысла, популизма и прагматизма, разными версиями локальных моралей. Критика универсальности принципов национализма связана с движением от сакрализации территориального суверенитета к экстратерриториальному космополитизму. Наконец, нарратив демократии претерпевает эволюцию от принципов диктатуры большинства, классовой мобилизации масс и расширения круга граждан, наделенных политическими правами, к проблемам сосуществования многосоставного общества, множественной идентичности, коммуникативного диалога, согласования доступа к гражданским правам и равенству возможностей граждан и иммигрантов (не имеющих такого политико-правового статуса). Завершение глобализации капитала, рынков и труда, пределы роста, автоматизация производства заставляют переосмыслить привычные цели капитализма, связанные с его постоянной географической экспансией, и пределы его регулятивного потенциала в обществе.

Институционально современность выражается в усложнении и дифференциации автореферентных подсистем общества, каждая из которых получает автономные ценности и язык самоописания — экономика, политика, наука, искусство и т.д. [Луман 2007: 595; Luhmann 1984]. Имманентная современности теория прогресса представляет собой надстройку новых автоном-

ных пространств все более сложно организованного общества, делегацию им функций социального регулирования и полномочий по производству норм. Неодновременность появления современности в разных частях мира обусловила тот факт, что все более поздние версии институционализации ценностной парадигмы современности, последовавшие за европейской, уже имели перед собой готовые образцы модерности, с которыми они вступали в разнообразные культурные конфликты и взаимовлияния [Мартьянов 2010a].

Первоначально современность была выражена преимущественно индустриальным, урбанистическим обществом, репрезентирующим себя посредством социальных классов, современных идеологий и массовых программных партий. При этом современность не вытесняет полностью предшествующие общественные отношения, институты, коллективные практики и идентичности. В современных обществах можно наблюдать факты одновременности сосуществования и взаимодействия реципрокных (дарообменных, семейных, клановых), дистрибутивных и рыночных отношений, а также постепенное изменение их соотношения в долгом историческом времени в пользу последних. Этот процесс был назван К. Поланьи великой трансформацией [Поланьи 2002; Polanyi 1944]. Часто подобное вытеснение принимает форму *трансплантата*, когда ценности современности на институциональном уровне частично смешиваются с отживающей культурной традицией. Домодерные элементы организации коллективной социальности сосуществуют параллельно с современными, поэтому прогресс, модернизация и развитие обычно понимаются как усиление регулятивного потенциала последних в общем объеме социальных коммуникаций.

Идентичность как фундаментальная проблема возникает в виде неотъемлемой части интеллектуальной программы современности. Идентичность превращается в проблему именно тогда, когда становится возможным ее выбирать. В сословном, феодальном, кастовом обществе идентичность передавалась из поколения в поколение в условиях статичного социального порядка. Современность, описываемая концептами гибридной, множественной, смешанной, плавающей идентичности, вытеснила жестко стратифицированные традиционные общества, сохранявшие устойчивость образа жизни, неизменность социальной структуры, функциональных ролей и общественных ценностей на протяжении долгого исторического времени.

Современный человек изначально субъектен и мультиидентичен. Сложно-составное урбанизированное общество требует от него дифференцированных идентичностей, функций и ролей в умножающихся социальных контекстах. Он все более произвольно меняет идентичности в зависимости от возраста, ситуации, настроения, культурного контекста, гражданства. В подобных условиях государство может лишь поддерживать желательную иерархию идентичностей с тем, чтобы минимизировать конфликтность и напряженность социально-политического порядка. Индивидуализация, фрагментация, высокая скорость изменений городского общества приводит к кризису классических современных форм институализации коллективных интересов граждан. Если

ранее их общие интересы консолидировались и преобразовывались в эффективное коллективное действие и влияние посредством таких форм общей деятельности, как фабрики, партии, профсоюзы, классы и т.д., то в настоящее время само пространство конфликтующих политических интересов все более отдаляется от производственной сферы как доминирующей в индустриальной современности: «в результате консолидация классового и профессионального характера уступает место солидаризации, например, клиентарных групп, массово производимых социальным государством. Не менее очевидна консолидация массовых субъектов на основе этнонациональной, расовой, языковой и религиозной идентификации. Подобные субъекты также активно заявляют о себе как о преемнике классовых общностей на политической арене» [Панкевич 2012: 116].

Современность, связанная с идеями беспрепятственной общественной мобильности, социальных лифтов, расширением доступных возможностей для каждого, декларировала, что любой человек имеет потенциальные шансы изменить свое место в обществе, и, собственно, породила самоидентификацию как перманентную проблему. Динамичное общество современности обнаружило факт растущего разрыва между привычными социокультурными ролями людей, представлявшимися в традиционном обществе неизменными и вечными, и социальными идентичностями. Современное общество впервые позволяет увидеть значительные социальные изменения на протяжении жизни одного поколения, во многом пошатнувшие привычные механизмы легитимации социального порядка, отсылающие к неизменной истории, традиции и сакральному. В результате обнаруживается сконструированный характер общества, требующий от социальных агентов иных способов легитимации социального порядка и согласования интересов, нежели предшествующие.

Политика идентичности становится системообразующим механизмом упорядочения многообразия и многослойности социальной реальности современности. Такая политика запускает системные социальные коды и фильтры все более сложных и дифференцированных социальных различий, отождествлений и верификаций, способствующих установлению эффективной рыночной коммуникации с чужаками. Процесс (само-) идентификации индивидов и социальных групп одновременно выполняет и функцию самоописания. Если ранее феномены множественной и фрагментированной идентичности соотносились с социальной периферией, маргиналами, с группами и индивидами, исключенными из общества, то в условиях поздней современности субъективно-ролевые аспекты механизмов идентичности начинают играть все более важную роль в процессах самостоятельного встраивания индивидов в коммуникативные пространства общества.

В пространственно-географической перспективе современность предложила для домодерных обществ стратегию ослабления коллективной культурно-исторической идентичности в обмен на более высокий уровень индивидуальных возможностей, разнообразие персональных стратегий идентификации и преимущества прогресса. Соответственно, собой или отказ от центральной

ценностной системы современности современных обществ ведет в мягком варианте к апологии множественной современности [Eisenstadt 2000], а в более радикальном случае — к архаизации политики идентичности, к укреплению легитимирующей риторики цивилиционизма, религиозного фундаментализма, расизма, сексизма, что в настоящее время можно наблюдать на примере отката модернизации в странах Ближнего Востока, Северной Африки, на постсоветском пространстве [Балибар, Валлерстайн 2003: 39–48; Balibar, Wallerstein 1991]. Универсализм современных идеологий вытесняется локальными моделями идентичности, базирующимися на общности верований, цвета кожи, этнических и языковых факторов. Большие социальные группы размываются взрывом новых партикулярных идентичностей догосударственного, культурно-антропологического порядка. Постсоветское пространство также дает примеры последовательных трансформаций политических режимов, в ходе которых доминирующие модели идентичности социальных групп и индивидов начинают выстраиваться в дистрибутивной, неопатримониальной, рентной, сословной перспективе, связанной с механизмами патрон-клиентских отношений. В результате современная идентичность и современные публично-рациональные институты согласования общественных интересов превращаются в фиктивную оболочку над домодерными механизмами распределения ресурсов и общественных благ.

Однако новые вызовы современной политике идентичности генерируются не только процессами откатов модернизации, неудачных и незавершенных транзитов, но и вырастают из ее собственных противоречий в глобальном мире, связанных с индивидуализацией и фрагментацией социально-политических конструкций классического современного общества — социальных классов, идеологий и утопий, суверенных территориальных государств. Глобальная мобильность запускает процесс естественного ослабления национальной и гражданской идентичности, отказ от идеологических самоопределений в пользу формирования разного рода меньшинств и локальных групп, более эффективно отстаивающих свои интересы как внутри, так и за пределами наций. Происходит массовое признание прав и привилегий различного рода меньшинств (иммигранты, языковые, конфессиональные, сексуальные, этнические меньшинства), для которых дискуссии о праве на признание идентичности являются пробным камнем для последующего выдвижения политических прав и претензий. Иерархии идентичностей, выстраиваемые ранее в нациях-государствах, оказываются все менее способны подчинить идентичности частного порядка, разрушающие их изнутри. Универсализующие и тотализирующие смыслы, институты, структуры и практики, составляющие социокультурное ядро современного общества, все чаще уступают место партикулярным интересам. Открытые границы, феномены корпоративного гражданства и корпоративной идентичности, новой сословности размывают монополию наций-государств в области формирования коллективной идентичности. Принципиальные споры ассимиляционистов и мультикультуралистов все чаще решаются в пользу последних.

В условиях поздней современности наблюдается общий тренд к индивидуальному конструированию собственной идентичности, сопровождаемому укреплением приоритета принципа индивидуальной политической автономии над коллективными самоопределениями. Подвижность и изменчивость социального кода идентичности в условиях современности облегчает ее целенаправленное конструирование, создание широкого спектра новых идентичностей, которые в условиях последовательной деиерархизации пирамиды идентичностей наций-государств образуют резервуар новых социокультурных конфликтов.

Значимыми элементами новейшей политики идентичности становятся постматериальные ценности. Гарантированное удовлетворение базовых материальных потребностей индивидов смещает приоритеты позднемодерных обществ с коллективного выживания в пользу ценностей индивидуального творчества и самовыражения [Инглхарт, Вельцель 2011; Inglehart, Welzel 2005]. Значимой силой социальных перемен становится инициативная самореализация граждан, предполагающая индивидуализацию выработки социально-экономических и политических оснований своего существования, постоянное и критическое освоение нового знания, способность поддерживать множественную и динамическую идентичность в постоянно корректируемых разными факторами основаниях социального порядка.

Литература

- Балибар Э., Валлерстайн И. 2003. *Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности*. М.: Логос-Альтера, Ессе Номо. 272 с.
- Бауман З. 2008. *Текущая современность*. Санкт-Петербург: Питер. 240 с.
- Бек У. 2000. *Общество риска. На пути к другому модерну*. М.: Прогресс-Традиция. 384 с.
- Бек У. 2007. *Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия*. М.: Прогресс-Традиция, Издательский дом «Территория будущего». 464 с.
- Валлерстайн И. 2006. *Миротемный анализ: Введение*. М.: Территория будущего. 248 с.
- Инглхарт Р., Вельцель К. 2011. *Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития*. М.: Новое издательство. 464 с.
- Иноземцев В. 1998. *За пределами экономического общества: постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире*. М.: Academia — Наука. 1998. 376 с.
- Капустин Б.Г. 1998. *Современность как предмет политической теории*. М.: РОССПЭН. 308 с.
- Лиотар Ж.-Ф. 1998. *Состояние постмодерна*. М.: Институт экспериментальной социологии. Санкт-Петербург: Алетейя. 160 с.
- Луман Н. 2007. *Социальные системы. Очерк общей теории*. Санкт-Петербург: Наука. 641 с.
- Мартгьянов В.С. 2010а. Один Модерн или «множество»? — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 41–53.
- Мартгьянов В.С. 2010б. *Политический проект Модерна. От мирэкономике к мирополитике*. М.: РОССПЭН. 360 с.
- Мартгьянов В.С., Фишман Л.Г. 2010. *Россия в поисках утопий. От морального коллапса к моральной революции*. М.: Весь Мир. 256 с.
- Панкевич Н.В. 2012. Логика коллективных политических действий в условиях глобализации. — *Вестник НГУ. Серия: Философия*. № 3. С. 114–119.

- Полаanyi К. 2002. *Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени*. Санкт-Петербург: Алетейя. 320 с.
- Хабермас Ю. 1992. Модерн — незавершенный проект. — *Вопросы философии*. № 4. С. 40–51.
- Хантингтон С. 2003. *Столкновение цивилизаций*. М.: АСТ. 603 с.
- Хардт М., Негри А. 2004. *Империя*. М.: Праксис. 440 с.
- Balibar E., Wallerstein I. 1991. *Race, Nation, Class: Ambiguous Identities*. London, New York: Verso. 1991. 232 p.
- Bauman Z. 2000. *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press. 240 p.
- Beck U. 1992. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London, Newbury Park, New Delhi: SAGE Publications Ltd. 272 p.
- Eisenstadt S.N. 2000. Multiple Modernities. — *Daedalus*. Vol. 129. No. 1. P. 1–29.
- Giddens A. 1990. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press. 188 p.
- Hardt M., Negri A. 2000. *Empire*. Cambridge, Mass.; London, UK: Harvard University Press. 496 p.
- Huntington S.P. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster. 368 p.
- Inglehart R., Welzel C. 2005. *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*. New York: Cambridge University Press. 344 p.
- Jameson F.A. 2002. *Singular Modernity: Essay on the Ontology of the Present*. London, New York.: Verso. 250 p.
- Lipovetsky G., Charles S. 2005. *Hypermodern times. Themes for the 21st century*. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity. 150 p.
- Luhmann N. 1984. *Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 674 p.
- Lyotard J.-F. 1979. *La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir*. Paris: Éditions de Minuit. 128 p.
- Polanyi K. 1944. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press. 317 p.
- Wallerstein I. 2004. *World-Systems Analysis: An Introduction*. Durham: Duke University Press. 128 p.

Глава 27

ИДЕНТИЧНОСТЬ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ИЗМЕРЕНИИ

Культурная (социокультурная) идентичность

И.С. Семененко

Ключевые слова: культура, культурная норма, культурный опыт, культурные предпочтения, социальные и культурные практики, культурные паттерны, социально-политические трансформации, традиция, историческая память, цивилизация, цивилизационная идентичность.

Культурный опыт и предпочтения, которые человек полагает важными и актуальными для своего самоопределения, закладывают основания его культурной идентичности. Как и *социальная идентичность*, *культурная идентичность* — базовая проекция индивидуальной идентичности. В этом качестве она описывает значимые для конкретного индивида ценности и смыслы, которые в его сознании связываются с культурой (лат. *cultura* от *colere* — обрабатывать, возделывать) как человеческим социальным опытом в различных, материальных и нематериальных его воплощениях.

Культурная идентичность маркирует принадлежность индивида к объединенной общими ценностями и культурными установками группе и, одновременно, является организующим коллективную идентичность группы или сообщества смыслообразующим стержнем. Формирование культурной идентичности происходит в пространстве социальных (межкультурных) коммуникаций, в соответствии с нормами и ценностными установками «своей» и «чужой» групп. Соответственно, групповая культурная идентичность ориентирована на значимые для «своей» группы культурные предпочтения и паттерны, в которых они воплощаются.

Культурная идентичность осмысливается в повседневном взаимодействии людей. Она утверждается через участие в общих культурных практиках, которые являются для данного сообщества социально значимыми. В научном дискурсе понятие культурной идентичности употребляется в самых разных

контекстах постольку, поскольку любая коллективная идентичность имеет как социальную, так и культурную природу: так, в основании религиозной, языковой, поколенческой, классовой, национальной или территориальной идентичности лежат отличающие ее носителей ценности и смыслы, которые эти установки поддерживают. В этом качестве, культурная (как и социальная) идентичность — это «зонтичное» понятие, собирательная характеристика ценностей и смыслов, объединяющих сообщество, и их воплощений в межкультурных коммуникациях.

Основное внимание работающих в поле культуральных исследований (cultural studies) ученых сосредоточено на объяснении устойчивости и изменчивости культурной идентичности, осмыслении последствий растущей фрагментированности индивидуального социального и культурного опыта для социально-политической динамики современного мира [Questions... 1996]. С начала 1990-х годов в контексте дискурса глобализации большое место занимает изучение культурного контекста и антиномий современного миропорядка [Culture, Globalization... 1997], феномена «глобальной культуры» и локального культурного опыта для самоопределения человека [Global Culture... 1990; Tomlinson 1992; Appadurai 1996]. В частности, широко обсуждается вопрос о том, формирует ли «глобальная культура» особую, коррелирующую с ее практиками космополитическую культурную идентичность [Smith 1990].

Чаще, однако, в социальных науках понятие культурной идентичности используется в узком смысле для обозначения отличительных черт приверженцев конкретных культурных паттернов и моделей поведения. Четко выраженной культурной идентичностью обладают, например, члены молодежных субкультурных групп — хиппи, панки, рэперы, готы и пр. При всех существенных различиях в основе идентификации с сообществом их членов — поиски возможностей самовыражения через узнаваемые формы символической репрезентации «своей» группы. Общие занятия и интересы могут выражаться в формах символической реконструкции культурных идентичностей (толкиенисты, «джеддаи», исторические «реконструкторы»). За выбором сторонников альтернативных моделей потребления (например, строгих вегетарианцев — веганов) чаще стоит этическая мотивация. В этом контексте культурная идентичность приравнивается к культурному выбору, влияющему на жизненные установки человека. На основе такого выбора выстраиваются узнаваемые и разделяемые носителями общей культурной идентичности модели поведения в публичной сфере, которые находятся в фокусе внимания социологов, психологов, культурологов, этнологов [см., напр., Омельченко 2000].

В поддержании общей культурной идентичности ключевая, часто — самодовлеющая роль принадлежит традиции и ее символической репрезентации. В этом смысле широко используется понятие этнокультурной идентичности. Этот сложносоставный концепт подчеркивает значение преемственности и наследственности культурного выбора в рамках сообществ, объединенных осознанием общего происхождения, общей памяти, верований, наличием общей

духовной и материальной культуры, т.е. этничности в ее культурных проявлениях. Этническую общность определяет не «сумма содержащегося в пределах (группы) культурного материала», а именно «то значимое, что для себя считают сами члены группы ...и что лежит в основе их самосознания»; как «общность на основе самоидентификации по отношению к другим общностям» [Тишков 2001: 230] этническая группа наделяет себя культурной идентичностью, которая извне группы обозначается как этнокультурная идентичность. В традиционных культурах — объекте исследований этнологии и антропологии — в качестве основания культурной идентичности рассматриваются устойчивые культурные паттерны, которые определяются возрастом, полом, родственной принадлежностью, т.е. аскриптивными идентичностями.

Поскольку концепт культурной идентичности строится на понимании тесного переплетения, взаимодействия, взаимовлияния составляющих социальной и культурной природы [Сорокин 2006], в качестве аналитического инструмента для изучения динамики больших сообществ правомернее использовать понятие социокультурной идентичности. Оно позволяет сопрягать тенденции общественных трансформаций с изменениями в сознании и поведении людей. **Социокультурная идентичность** — аналитическая категория, описывающая принадлежность индивида к сообществу, которое выстраивается на общих культурных основаниях, общих социальных институтах и практиках. В первую очередь речь идет о таких сообществах, члены которых формируют, культивируют и транслируют значимые для коллективной самоидентификации смыслы и ценности. Социокультурная идентичность представляет собой социальный конструкт: как таковая она не осознается индивидом непосредственно (как социальная реальность), но выступает в качестве референтной системы координат для культуры, с которой человек себя отождествляет. Это может быть «культура мира», или национальная культура, или местные традиции и культурные практики «своего» сообщества (например, обычаи аборигенного населения). В содержательном плане этот концепт делает упор на пересечение разных составляющих идентичности, имеющих общую природу.

Понимание того, что «культура имеет значение» [Culture Matters... 2001] для объяснения социальной и политической эволюции современных обществ и трансформаций их институтов, побуждает к наделению больших сообществ (класса, нации, цивилизации) как объекта социально-политического анализа критериями культурной природы. При этом неоднозначность трактовки культуры в социальных науках — со времени появления известной книги американских исследователей А. Крёбера и К. Клакхона, насчитавших 164 определения культуры [Kroeber, Kluckhohn 1952], это число увеличилось, по разным оценкам, более чем в два раза и продолжает прирастать — затрудняет выстраивание четких критериев такой идентификации. В этом поле находятся язык, религия, историческая память, культурные обычаи и традиции повседневности и, с другой стороны, идеи и идеологии, культурные образцы и нормы, утвердившиеся в том или ином сообществе. Социальная история «в ее новейшем модусе, ориентированном на комплексный анализ субъектив-

ного и объективного, микро- и макроструктур в человеческой истории, превратилась в своей основе в историю социокультурную» [Репина 2011: 118]. Социокультурная идентичность определяет содержательное наполнение правовых и политических институтов сообществ, объединенных общим гражданством; в то же время она сама испытывает влияние политико-институциональных перемен.

Появление самого комплексного понятия «социокультурного» в научной литературе связано с выстраиванием дискурса глобализации и поисков подходов к объяснению тех неоднозначных явлений современности (антиномий глобального и локального, сжатия пространства и ускорения времени, индивидуализации сознания и кризиса идентичности), которые характеризуют развитие человека и общества. Для политического анализа методологическим вызовом является соединение макрополитического (динамики больших сообществ и структур, на которые они опираются) и микрополитического измерения, роли человека в политике, социальных потребностей и мотиваций «целостной человеческой личности» [Лапкин, Семенов 2013: 68-69]. Понимание общественного блага, справедливости, социальной солидарности и ответственности определяют установки политической культуры общества, в котором происходит социализация индивида, формирующая его гражданскую (политическую) идентичность.

На теоретическое обобщение более высокого порядка, чем процесс социокультурной идентификации конкретного институционализованного сообщества (государства, региона, города), претендует понятие цивилизационной идентичности. Оно используется для анализа динамики идентичности больших сообществ в контексте глобализации, а в политическом дискурсе — для объяснения особенностей тех или национальных моделей развития, их зависимости от цивилизационных особенностей, имеющих культурную природу. Зарубежные исследователи обращаются к цивилизационной идентичности в изучении международных отношений и мировой политики [Civilizational Identity... 2007]. Споры о том, насколько политические проекты наднациональной и трансграничной интеграции, набирающие силу в современном мире, зависят от формирования общего пространства идентичности, в основании которой заложены общие цивилизационные ориентиры, породили вал литературы, оценивающей перспективы и ограничения таких проектов (см. об этом статьи «Цивилизационная идентичность в политическом измерении», «Политическое пространство», «Европейская идентичность»).

Употребление понятия цивилизационная идентичность зависит от контекста: поскольку в научном дискурсе нет устоявшейся трактовки цивилизации, палитра смыслов существенно различается — от понимания цивилизации как универсальной категории до противостоящих такому пониманию представлений о локальных культурах и цивилизациях. Ограниченные когнитивные возможности линейной модели анализа и формационного подхода для концептуализации современных социально-политических изменений накладываются на размытость критериев цивилизационного подхода. Синтез разных

подходов остается пожеланием, которое пока не опирается на фундированную аналитическую модель. В текущих исследованиях общественных изменений приоритеты анализа (субъектно ориентированного, ценностного или институционального) имплицитно определяют и трактовку цивилизации, и характеристики ее культурной (социокультурной) идентичности.

О многозначности и многомерности цивилизационного подхода и трудностях выделения «единицы цивилизации» (т.е. критериев типологии цивилизаций) пишут многие авторы, работающие в рамках цивилизационной парадигмы [см.: Кондаков, Соколов, Хренов 2011: 14–34]. *Социокультурная идентичность как система оснований идентификации большой общности, объединенной общими культурными нормами, институтами и социальными практиками*, может рассматриваться в этом контексте как синоним цивилизационной идентичности. Она «материализуется» в общих институтах, общих культурных символах и практиках, имеющих разное по времени историческое происхождение. Так, в историческом основании европейской цивилизационной идентичности — христианство и заложенные христианской верой этические принципы и нравственные устои, а также регулирующие общественные отношения принципы римского права и институты представительной демократии. При этом очевидно, что значимость этих ориентиров в индивидуальном опыте различна. В западноевропейских постсекулярных (по выражению Ю. Хабермаса) обществах происходит индивидуализация религиозного опыта, и сегодня такой опыт не рассматривается как общее основание европейской цивилизационной идентичности (в то время как мусульманское население по умолчанию идентифицируется через религию).

Процесс цивилизационной самоидентификации происходит через «присвоение» культурного наследия и его символических форм, для европейской цивилизации — через вершины искусства. «Своими» становятся памятники античной Греции, эпохи Возрождения, европейского модернизма. Пластические искусства, музыкальная культура и литература эпохи модерна формируют пространство живой культурной традиции, поддерживающей общие и узнаваемые ориентиры идентичности. Наследие визуальных искусств XX века (в первую очередь кино) воспринимается уже более избирательно. Однако для поколения, выросшего в сетевом обществе, такие «идентификаторы» не являются универсальными. Социокультурная идентичность все дальше отходит от общих цивилизационных оснований.

В российской научной литературе и в общественной дискуссии не теряет актуальности проблема цивилизационного выбора России и его аналитического осмысления [см. Ахиезер 1998]. Точкой отсчета в этой дискуссии стала знаменитая работа Н.Я. Данилевского (1869), предложившего обоснование культурно-исторических типов (локальных цивилизаций) [Данилевский 1991]. В постсоветский период российской истории проблема формирования соответствующего политического дискурса наложилась на поиски новой исследовательской парадигмы, в которой особенностям цивилизационной (национально-цивилизационной) идентичности российского общества отво-

дится заметное место. В работах зарубежного политологического мейнстрима упор перенесен на широко известную дискуссию вокруг «конфликта цивилизаций». Между тем рефлексия вокруг моделей универсальной и локальных цивилизаций и природы их социокультурной идентичности может расширить инструментарий политического прогнозирования и дать приращение научного знания об альтернативах трансформаций современного мирового порядка.

Литература

- Ахиезер А.С. 1998. *Россия: критика исторического опыта: в 2 т.* Т. 2. Теория и методология. Словоарь. Новосибирск: Сибирский хронограф. 596 с.
- Данилевский Н.Я. 1991. *Россия и Европа*. М.: Книга. 574 с.
- Кондаков И.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А. 2011. *Цивилизационная идентичность в переходную эпоху: культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты*. М.: Прогресс-Традиция. 1024 с.
- Лапкин В.В., Семенов И.С. 2013. «Человек политический» перед вызовами «infomodernity». — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 64–81.
- Омельченко Е. 2000. *Молодежные субкультуры*. М.: ИС РАН. 264 с.
- Репина Л.П. 2011. *Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика*. М.: Кругъ. 560 с.
- Сорокин П.А. 2006 (1957). *Социальная и культурная динамика*. М.: Астрель. 1176 с.
- Тишков В.А. 2001b. Этнос или этничность? — В.А. Тишков. *Этнология и политика. Научная публицистика*. М.: Наука. С. 229–233.
- Appadurai A. 1996. *Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press. 248 p.
- Civilizational Identity: *The Production and Reproduction of “Civilizations” in International Relations* (ed. by M. Hall, P. Jackson). 2007. Palgrave Macmillan US. 243 p.
- Culture, Globalization and the World-System: Contemporary Conditions for the Representation of Identity* (ed. by A.D. King). 1997. Minneapolis: University of Minnesota Press. 200 p.
- Culture Matters: How Values Shape Human Progress* (ed. by L.E. Harrison, S.P. Huntington). 2000. New York: Basic Books. 348 p.
- Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity* (ed. by M. Featherstone). 1990. London: Sage. 411 p.
- Kroeber A.L., Kluckhohn C. 1952. *Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions*. New York: Vintage Books. 448 p.
- Questions of Cultural Identity* (ed. by S. Hall, P. Du Gay). 1996. London: Sage Publications. 208 p.
- Smith A.D. 1990. Towards a global culture. — *Theory, Culture and Society*. Vol. 7. P. 171–191.
- Tomlinson J. 1999. *Globalization and Culture*. Cambridge: Polity Press. 248 p.

Транскультурная идентичность

И.П. Цапенко

Ключевые слова: транснациональная миграция, аккультурация, интеграция, ассимиляция, мультикультурализм, интеркультурализм, этнокультурные меньшинства, этнокультурный конфликт.

Понятие транскультурной идентичности используется для характеристики индивидов и социальных групп, самоопределение которых формируется в ходе продолжительных межкультурных коммуникаций. Происходящие в условиях глобализации пространственное и временное сближение, взаимоналожение и взаимопроникновение разных культур влекут за собой возникновение детерриторизованных (т.е. не привязанных к конкретной территории) транскультурных пространств, в которых люди живут одновременно в разных культурных измерениях и приобретают множественные культурные референции. Расширение транснациональной миграции в сочетании с распространением информационно-компьютерных технологий способствует стремительному росту числа таких транскультурных индивидов и сообществ.

Термин «*транскультурная идентичность*» тесно связан с понятиями транскультурации и транскультуры. В отличие от концепции аккультурации как одностороннего процесса, транскультурация не предполагает утраты мигрантом своих исторических корней, прежней культуры, связей с родиной и его полной ассимиляции в новый социум, она вызывает смешение и объединение элементов взаимодействующих культур и возникновение новых культурных феноменов, которые отсутствовали во взаимодействующих культурах и выходят за их рамки [Ortiz 1995: 102-103]. Эта особая символическая среда обитания на границах и перекрестках разных культур, называемая транскультурой, вызывает диффузию исходных культурных идентичностей, конструирует их новые типы в зоне интерференции [Эпштейн 2007: 90; Berry, Epstein 2005: 25].

Транскультурная идентичность как продукт множественной, креативной, добровольной или вынужденной адаптации к разным культурам, их воздействия, усвоения и интернализации может быть определена как сплетение или спайка смыслов, представлений, норм, ценностей, практик и образцов поведения, относящихся к разным культурам, принадлежность к которым или связи с которыми ощущает индивид или сообщество. Транскультурная идентичность отражает

самоотнесение индивида или группы к более чем одной культуре или же идентификацию с особой множественной, обычно двойственной культурой (субкультурой). Она проявляется в отождествлении индивида с представителями разных взаимодействующих культур либо с общностью носителей множественных, таких же, как у данного индивида, культурных ориентаций. Конструкт транскультурной идентичности позволяет исследовать социально-политические процессы, разворачивающиеся в многокультурных обществах, проблемы, связанные с интеграцией в эти социумы представителей иных культур, и возможные пути урегулирования и предупреждения конфликтов, возникающих в ходе межкультурного взаимодействия.

Транскультурная идентичность — это видовое понятие, определяющее особый тип культурной идентичности и отражающее самовосприятие людей как субъектов культуры, имеющих множественный культурный опыт. В психологической литературе подобный тип идентичности нередко называют также мультикультурным, кросс-культурным, межкультурным и т.п.

Главными носителями транскультурной идентичности в узком смысле слова являются трансмигранты и их потомки, в том числе «дети третьей культуры», большая часть детства которых прошла в культуре, отличающейся от культуры национальной принадлежности их родителей, и которые идентифицируют себя с «третьей культурой», формируемой в кругу других таких же детей [Pollock, Van Reken 2009]. В широком понимании элементы транскультурности характерны для идентичности американской, канадской, австралийской, новозеландской, а также российской наций, формировавшихся в ходе интеграции и постепенной спайки разных этносов и культур. По словам В.С. Малахова, «российская культура сверхэтнична: она не является ни продуктом ассимиляции культур этнических меньшинств в культуре большинства, ни результатом механического сложения отдельных этнических культур» [Малахов 2014: 68] и «представляет собой результат взаимодействия и трансформации различных этнических элементов» [там же: 62], входящих в российский культурный универсум. В транскультурном контексте конструируется и современная панъевропейская идентичность.

Транскультурная идентичность — это множественная культурная идентичность, характеризующаяся мозаичностью составляющих ее элементов культуры. Ввиду индивидуальных различий в опыте межкультурных контактов, в уроках, извлекаемых из таких контактов, и в интегрируемых элементах культуры индивидуальные транскультурные идентичности существенно варьируются по своему содержанию. При этом транскультурная идентификация не предполагает одинаковости меры идентификации со всеми интернализированными культурами. Так, иммигрант может делать ставку на включение не в доминирующую культуру, например, культуру белого большинства в Америке, а в культуру более близкого ему коренного этнического, в частности афроамериканского меньшинства. Различна и степень укоренности унаследованной культуры, как правило, привязанной к определенному этносу или конфессии. У иммигрантов и их потомков, которые инкапсулировали

нормы и ценности, характерные для стран их происхождения в предшествующие исторические периоды, укорененность оригинальной культуры порой даже сильнее, чем у нынешних жителей этих стран [Kim-Jo T. et al. 2010]. Кроме того, поскольку аккультурационные трансформации в одних областях не имеют четкой связи с изменениями в других, интегрируемые слагаемые идентичности могут в разной мере проявляться в языковых предпочтениях, стиле коммуникаций, представлениях, ценностях, знании культуры и т.п. Так, американцы японского происхождения представляют себя как американцы в языковом и поведенческом плане, но остаются японцами по своим ценностям и установкам [Benet-Martínez 2012: 624].

В то же время наличие более или менее сходного множественного культурного опыта способствует самоотождествлению индивидов с определенными группами и выстраиванию социальных транскультурных идентичностей диаспор. Панъиспанская групповая идентификация характерна для существенной части проживающих в США выходцев из разных стран Латинской Америки, называющих себя «латинос» (*latinos*) или «хиспэникс» (*hispanics*) и объединяемых ощущением отличности от доминирующей культуры белых американцев и одинаковости отношения к ним со стороны большинства.

Транскультурная идентичность — это динамичная, пластичная и гибридная идентичность, меняющаяся и переопределяющаяся в процессе взаимодействия с носителями других культур. Это «бытие в становлении» (*being in becoming*) [Parry 2003: 102] — в трансформации интегрируемых в самокатегоризацию элементов культуры, происходящей в ходе приобретения нового культурного опыта и наложения новых форм самоотождествления на прежние слои культурной идентичности. «Место твердой культурной идентичности занимают не просто гибридные образования (“афро-американец” или “турецкий эмигрант в Германии”), но набор потенциальных культурных признаков, универсальная символическая палитра, из которой любой индивид может свободно выбирать и смешивать краски, превращая их в автопортрет» [Эпштейн 2001а: 242–243]. Подобная нечеткость, размытость этикеток транскультурной идентичности проявляется, в частности, в групповом самоопределении русских в Америке — так называемой Амероссии: «Мы ниоттуда и ниотсюда, мы совсем другие русские и совсем другие американцы, не похожие ни на тех, ни на других», способные «сочетать в себе аналитическую тонкость и практичность американского ума и синтетические наклонности, мистическую одаренность русской души» [Эпштейн 2001б].

И. Хонг и соавторы выделяют три типа моделей переговоров по идентичности транскультурных индивидов [Hong, Wan, No, Chiu 2007]. Первый тип — интеграция, при которой элементы разных культур суммируются в единую множественную идентичность (я воспринимаю себя как корейца и одновременно как американца). Развитие такой идентичности происходит путем добавления новых культурных идентичностей к уже существующим, их слияния и смешивания. Второй тип — переплавка интегрируемых элементов культуры и формирование совершенно новых идентичностей с принадлежностью

к особой культуре (я — кореец американского происхождения), возникающей в результате культурной гибридизации и характеризуемой особыми традициями познания, новыми языковыми конструкциями и т.п. Третий тип — чередование культурных идентичностей в зависимости от культурного контекста.

Однако В. Бенет-Марртинес, рассматривая бикультурную идентичность, полагает, что чередование культурных референций в ответ на сигналы и стимулы культурной среды не означает фундаментальных изменений в оценке и смысле идентичности, не вызывает большей идентификации с доминирующей культурой и гордости за нее или меньшей идентификации с примордиальной культурой и гордости за нее. Поведение транскультурного индивида и представление им «этикеток» своей идентичности в мультикультурной среде, скорее, характеризует переключение между «культурными кадрами» [Benet-Martínez 2012].

Вариативность поведения носителей транскультурных идентичностей в разной среде зависит не только от мнения окружающих, но и от степени согласованности интегрируемых разнокультурных компонентов идентичности. Индивиды, у которых такие слагаемые идентичности достаточно согласованы и которые считают взаимодействующие культуры совместимыми и легко интегрируемыми, имеют целостное самовосприятие и демонстрируют конгруэнтные образцы поведения, соответствующие сигналам среды. Например, американцы китайского происхождения в ситуации, когда им нужно проявить американскую сущность, говорят по-английски, а когда важны китайские черты — по-китайски.

Напротив, индивиды с рассогласованными культурными идентичностями, которые воспринимают себя живущими между культурами, «культурно бездомными» и ощущают разрозненность и конфликтность этих культур, предъявляют инконгруэнтные паттерны поведения: акцентирование китайской сущности в американской среде и, напротив, представление американских черт — в китайской среде. Подобный внутренний конфликт — кризис идентичности — обычно возникает у лиц, недостаточно знающих язык страны проживания, сталкивающихся с безработицей, переживающих трудности самореализации и социальную маргинализацию, испытывающих дискриминацию, враждебное отношение местного населения и т.п.

Среди основных стратегий аккультурации, которым следуют мигранты в зависимости от мотивации и возможностей идентификации с унаследованной и приобретаемыми культурами и вовлеченностью в них — ассимиляции, сепарации (то есть сегрегации) и мультикультурной интеграции, иммигранты предпочитают последнюю [Berry 2003]. Однако запрос большинства иммигрантов на мультикультурную интеграцию фактически игнорируется в практике управления культурным многообразием принимающих обществ, что во многом и объясняет его неудачи. Политика мультикультурализма, поощряя сохранение унаследованных элементов культурной идентичности, не благоприятствует при этом развитию чувства принадлежности новой культуре, лояльности стране проживания и оборачивается разрастанием замкнутых

этнических анклавов. Более того, местное население зачастую отказывает мигрантам в признании их новой культурной идентичности. В приезжих видят «вечных чужаков», угрожающих не только переформатированием национальной идентичности в результате включения в нее иных культурных идентичностей, но и ее полным разрушением, предвещааемым в апокалиптических прогнозах превращения Европы в «Еврабию», а США — в «Мексифорнию». Подобные представления усугубляются опасениями рисков для безопасности принимающих стран, исходящих от множественной лояльности и, соответственно, политической ненадежности мигрантов, в частности, возвращаемого в домашних условиях исламистского фундаментализма. На такого рода страхах делают политический капитал правопопулистские политические силы.

Меры принудительной ассимиляции иммигрантских меньшинств, подавляющие примордиальные слагаемые идентичности последних и проявляющиеся в европейской политике в отношении мусульман, провоцируют сопротивление «реактивной этничности», способствуя акцентированию инокультурного маркера идентичности таких сообществ. Эта тенденция подпитывается процессами размежевания внутри диаспор. Ассимилирующиеся соотечественники зачастую подвергаются групповому осуждению и отвержению в мигрантских сообществах как нарушители групповых норм, отличности и целостности групповой идентичности последних [Schwartz, Vignoles, Brown, Zagefka 2014: 78].

В результате существующие политические практики нередко способствуют ослаблению имеющейся идентификации мигрантов с новой культурой и даже отказу от нее, угрожают усилением межгруппового противостояния «своих — других», его перерастанием в конфликт идентичностей, в борьбу сообществ, представляющих иные этнические и конфессиональные культуры, за признание их особых прав как выражение политики идентичности.

Культурное разнообразие получило широкое признание как культурная норма современных обществ [Цапенко 2009; Семенов, Цапенко 2014], и управление разнообразием становится ключевым направлением политики идентичности. В условиях кризиса европейской интеграционной политики, отсутствия эффективных механизмов улаживания конфликтов идентичностей предлагаются новые модели организации межкультурных отношений, основанные на признании многокультурности принимающих обществ и ориентированные на поиск основ сближения представителей разных культур.

«Конечной целью омникультурализма является построение общества, в котором люди осознают общность человеческой природы и отдают ей [общности] приоритет, оставляя также место для признания и дальнейшего развития групповых отличий» [Moghaddam 2012: 306]. Фактически омникультуралистская модель предполагает конструирование своеобразной двойственной идентификации: с некой транскультурной общностью как категорией высшего (superordinate) порядка и с локальной культурной группой. Однако люди, конструируя универсалистский концепт человеческой природы как катего-

рию высшего порядка, нередко склонны воспринимать именно свою группу как более прототипичную, что ведет к инфрагуманизации, то есть дискриминации других групп. Например, коренные жители Германии, идентифицируя себя одновременно как немцев и европейцев, стремятся исключать аутгруппы, в частности, иммигрантов, из своего определения высшей — европейской — категории [Bilewicz, Bilewicz 2012: 335].

Концепция поликультурализма представляет культуры и народы как продукты пересекающихся историй и взаимосвязей разных этнических и расовых групп [Kelley 1999; Prashad 2003]. По замыслу ее авторов, осознание людьми такой общности: «Все мы — наследники прошлого европейцев, африканцев, американских индейцев и ...азиатов» [Kelley 1999] (а по большому счету, — транскультурных оснований их современной идентичности) — позволит улучшить их отношения с отличными другими. Однако представители некоторых групп, особенно маргинальных, могут фокусироваться и на негативных аспектах таких связей, например, рабстве и колонизации, навязывании культуры господствующей группы и т.п., что ограничивает потенциальные имплементационные возможности данной модели, как и предыдущей.

Интеркультурализм делает ставку на развитие культурного плюрализма, развертывание межкультурного диалога между людьми на основе поиска у них общих интересов и трактует культурное многообразие как ресурс креативного и инновационного развития общества. В рамках данного подхода предусматривается содействие гражданской и социально-экономической интеграции представителей этнокультурных меньшинств, формирование их приверженности ценностям, истории и традициям принимающей нации при обеспечении возможностей сохранения этничности и религиозной принадлежности [Zapata-Barrero 2015]. Пока это не стройная теория и даже не политическая программа, а, скорее, институционально не оформленная система принципов интеграционной политики на уровне городов и кварталов. Хотя локальные практики, воплощающие эти принципы в сфере городского управления, школьного обучения, трудоустройства молодежи, организации досуга и т.п., пока немногочисленны, их распространение может заметно поспособствовать утверждению транскультурных идентичностей, конструируемых в ходе вовлечения людей в позитивное межкультурное взаимодействие, равно как и самостоятельно выстраивающихся.

Именно в развитии снизу межкультурных коммуникаций, а не в навязывании их сверху видятся перспективы формирования общности людей на транскультурной основе [Cuccioletta 2001/2002: 9]. С.В. Акопов, представляя кросскультурное взаимообогащение как предпосылку формирования и признак транснациональной идентификации (что позволяет рассматривать транскультурную идентификацию как одно из важнейших слагаемых последней, хотя национальные и культурные контуры границ таких идентификаций могут не совпадать), подчеркивает наличие потенциала позитивной развертки идентификаций, имеющих в названии приставку «транс». Такой потенциал может быть реализован в преодолении на микроуровне антагонизмов «мы-чужие»

и осознании общности с позитивно значимыми другими, формировании с ними чувства «мы» [Акопов 2015: 160, 212, 236].

Носители органичных транскультурных идентичностей, более разносторонних и многослойных, чем монокультурные, в силу интернализации разных культур, имеют более креативное и толерантное мышление, способны видеть мир глазами других, «видеть себя в других» [Cuccioletta 2001/2002: 1], сквозь транскультурные линзы, фокусироваться на общее, сближающее, а не на различия, уважая при этом последние, адекватно переключать поведенческий репертуар. Эти атрибуты, являющиеся неотъемлемыми слагаемыми современных — транснациональных — компетенций, в сочетании со знанием разных языков делают транскультурных индивидов «идеальными медиаторами межкультурных конфликтов и разобщенности в сообществах, нациях и в мире в целом» [Benet-Martínez 2012: 639] и поиска консенсуса внутри их. Подобный объединяющий потенциал транскультурных идентичностей открывает перед ними широкие перспективы как «будущих самостей в глобализирующемся мире» [Vauclair, Klecha, Milagre, Duque 2014].

Литература

- Акопов С.В. 2015. *Человек многомерный: транснациональная модель идентификации с макрополитическими сообществами (метатеоретический анализ)*. Санкт-Петербург: Алетейя. 296 с.
- Малахов В. 2014. *Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций*. М.: Новое литературное обозрение; Институт философии РАН. 232 с.
- Семененко И.С. Цапенко И.П. 2014. Транскультурная миграция и будущее мультикультурализма. — *Глобальная перестройка (отв. ред. А.А. Дынкин, Н.И. Иванова)*. М.: Институт мировой экономики и международных отношений РАН; Издательство «Весь Мир». С. 227–250.
- Цапенко И.П. 2009. *Управление миграцией: опыт развитых стран*. М.: Academia. 384 с.
- Эпштейн М.Н. 2001а. *Философия возможного. Модальности в мышлении и культуре*. Санкт-Петербург: Алетейя. 334 с.
- Эпштейн М.Н. 2001б. Амероссия. Двукulturные и свобода. — *Звезда*. № 7. URL: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/7/epsh.html> (проверено: 15.02.2017)
- Эпштейн М.Н. 2007. Транскultura и трансценденция. — *Только уникальное глобально: Личность и Управление. Культура и Образование*. Санкт-Петербург: СПбГУКИ, С. 90–102.
- Benet-Martínez V. 2012. Multiculturalism: Cultural, Social, and Personality Processes. — *Oxford handbook of personality and social psychology (eds. by K. Deaux, M. Snyder)*. Oxford: Oxford University Press. P. 623–648.
- Berry E., Epstein M. 2005. *Transcultural Experiments: Russian and American Models of Creative Communication*. New York: St. Martin's Press. 352 p.
- Berry J. 2003. Conceptual approaches to acculturation. — *Acculturation: Advances in theory, measurement, and applied research (eds. by K.M. Chun, P.B. Organista, G. Marin)*. Washington, DC: American Psychological Association. P. 17–37.
- Bilewicz M., Bilewicz A. 2012. Who defines humanity? Psychological and cultural obstacles to omniculturalism. — *Culture Psychology*. Vol. 18. No. 3. P. 331–344.
- Cuccioletta D. 2001 / 2002. Multiculturalism or Transculturalism: Towards a Cosmopolitan Citizenship. — *London Journal of Canadian Studies*. Vol. 17. P. 1–11.

- Hong Y., Wan C., No S., Chiu C. 2007. Multicultural identities. — *Handbook of cultural psychology* (eds. by S. Kitayama, D. Cohen). New York: Guilford. P. 323–345.
- Kelley R. 1999. Polycultural Me. — *Utne Reader*. URL: <http://www.utne.com/politics/the-people-in-me.aspx?PageId=2> (accessed: 19.11.2015)
- Kim-Jo T., Benet-Martínez V., Ozer D. 2010. Culture and conflict resolution styles: The role of acculturation. — *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 41. No. 2. P. 264–269.
- Moghaddam F.M. 2012. The Omnicultural Imperative. — *Culture & Psychology*. Vol. 18. No. 3. P. 304–330.
- Ortiz F. 1995. *Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar*. Durham, London: Duke University Press, Trans. Harriet de Onís. 312 p.
- Parry M. 2003. Transcultured Selves under Scrutiny: W(h)ither languages? — *Language and Intercultural Communication*. Vol 3. No. 2. P. 101–107.
- Pollock D., Van Reken R. 2009. *Third culture kids: The experience of growing up among worlds*. Boston: Nicholas Brealey. 306 p.
- Prashad V. 2003. Bruce Lee and the anti-imperialism of Kung Fu: A polycultural adventure. — *Positions: East Asia Cultures Critique*. Vol. 11. No. 1. P. 51–89.
- Schwartz S., Vignoles V., Brown R., Zagefka H. 2014. The Identity Dynamics of Acculturation and Multiculturalism: Situating Acculturation in Context. — *Handbook of multi-cultural identity: Basic and applied psychological perspectives* (eds. by V. Benet-Martínez, Y-Y. Hong). Oxford: Oxford University Press. P. 57–96.
- Vauclair C.-M., Klecha J., Milagre C., Duque B. 2014. Transcultural identity. The future self in a globalized world. — *Revista Transcultural*. Vol. VI. No. 1. P. 11–24.
- Zapata-Barrero R. 2015. Interculturalism: main hypothesis, theories and strands. — *Interculturalism in Cities. Concept, Policy and Implementation* (ed. by R. Zapata-Barrero). Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Publishing. P. 3–19.

Сложносоставная идентичность

Е.В. Морозова

Ключевые слова: референтные группы, идентификационные признаки, казачество, каджуны, «осси» и «весси», политика идентичности, теория кливажей, историческая травма.

Множественность идентичностей индивида обусловлена многообразием референтных групп, с которыми он соотносит себя. Составляющие идентичности относительно самостоятельны, их интеграция обеспечивает целостность самовосприятия индивида [Андерсон 2001]. В условиях глобализации спектр таких составляющих стремительно расширяется, и многосоставность идентичности становится скорее нормой, чем девиацией.

Вводя в научный дискурс такую аналитическую категорию, как **сложносоставная идентичность**, мы имеем в виду *соотнесение индивида с такой референтной*

группой, в социокультурных паттернах которой неразрывно слиты две или более разнорядковые идентификационные характеристики. Наличие такой слитности позволяет дифференцировать ее от гибридной и множественной идентичности. В отличие от последней, сложносоставная идентичность способна создавать устойчивые сообщества, которые могут выступать активными акторами политического процесса. Возникновение подобных референтных групп происходило на разных этапах цивилизационного развития, и чаще всего можно выявить исторические корни их формирования.

Двусоставная идентичность является вариацией сложносоставной и отличается от двойной идентичности, предполагающей одновременное сочетание двух разных национально-политических идентичностей («русские американцы»).

Субъектами политики идентичности в отношении сообществ со сложносоставной идентичностью могут быть как сами эти сообщества, так и органы публичной власти, а также другие социальные институты (например, церковь). К субъектам конструирования сложносоставной идентичности относятся в ряде случаев и бизнес.

Сложносоставная идентичность выстраивается на взаимодействии двух и более значимых для сообщества его носителей составляющих, но этнический компонент присутствует во всех случаях. Идентификационные признаки (этнический, конфессиональный, сословный, профессиональный, территориальный, историко-культурный, политико-культурный) могут составлять самые разнообразные сочетания. Появление сообществ с многосоставной идентичностью связано с масштабными историческими событиями (территориальные захваты, войны, религиозные реформы, массовая миграция населения и др.), которые чаще всего приводили к коллективным травмам и стигматизации общей исторической памяти. Объяснительной моделью их возникновения и политической активности может служить теория кливажей (социокультурных размежеваний) — постоянного влияния национальных, этнических, языковых, конфессиональных расхождений на политические ориентации и политический процесс в целом [Rokkan, Urwin 1983]. Можно предположить, что многосоставная идентичность связана с кумулятивными кливажами, когда линии нескольких разломов совпадают, а отдельные социальные отличия усиливают друг друга. Мы рассмотрим ряд примеров актуализации сложносоставных идентичностей различных типов.

Состав идентификационных признаков: этнический, конфессиональный, сословный. После заключения Брестской унии появились одновременно две конфессиональные группы общества, отстаивающие свою русскость и претендующие на приоритетность: униаты и православные. Для жителей Речи Посполитой того времени, называвших себя русскими, понятие «русская вера» объединяла этническую и конфессиональную самоидентификацию в единый узел. «В убежденности, что вне Восточной церкви — нет русскости, кроется главная ментальная причина нежелания православных признать униатов такими же русскими, как и они» [Неменский 2008: 194–195]. Исторический пример этносословной идентичности дает так называемый «шляхетский народ». Это слой полонизиро-

вавшейся шляхты XVI века, которая пыталась осмыслить себя в категориях польской культуры: как часть шляхетской политической нации, но особого — русского — происхождения. Этой идентичности соответствовала формула «gente Ruthenus natione Polonus». Формула интересна тем, что сохраняет русское самосознание шляхты, вписывая его в этносословную и внеконфессиональную идентичность «шляхетского народа» [там же].

Состав идентификационных признаков: этнический, сословный, профессиональный, территориальный, профессиональный, историко-культурный. Казачество являет собой яркий пример сложносоставной идентичности. Феноменологическая природа казачества — одна из самых острых проблем в его историографии. Большинство исследователей склонны отмечать двойственность социокультурной природы казачества, наличие у него и этнических, и сословных черт, расходясь в оценке их соотношения. Идентичность российских казаков формировалась по особенному пути, вбирая социальные (сословные), профессиональные (военная служба), региональные (территориальные), религиозные и этнические характеристики [Куква 2010: 28–33]. Казачество складывалось в зоне фронта, т.е. в контактной зоне различных социокультурных практик, и это сыграло огромную роль в формировании его идентичности, привело к тому, что «на протяжении веков сохранялась альтернативность этносоциального развития казаков» [Сериков, Барков, Волков, Черноус, Водолацкий 2013: 113–119]. В характере казачества проявлялись черты «фронтального типа личности»: синкретическое видение реальности, нетерпимость к жесткой регламентации и организации жизни, открытость инновациям» [Морозова, Мирошниченко, Рябченко 2016].

Итоги проведенного учеными Ростовского филиала Института социологии РАН исследования показывают, что при ответе респондентов на вопрос «Кого можно считать настоящим казаком?» доминируют два ответа, отражающие существующее в казачестве синкретическое единство примордиального (67,7% выделяют потомственных казаков) и инструменталистского подходов (57,6% полагают достаточным самоощущение), что, как считают авторы, характерно для ситуации археомодерна (существование прошлого в настоящем как органическая черта этносоциальной общности). Этот феномен можно трактовать и в терминах «ретроспективной» идентичности.

Активное движение по возрождению казачества, начавшееся в нашей стране в 1980-е годы, больше схоже с конструированием новой общности — неказачества [Маркедонов 2008], так как простое воспроизводство исторических образцов казачьего бытия мало соответствует современным реалиям. Основными факторами, стимулировавшими рост самосознания казаков и их объединение в постсоветский период, можно считать распад советского государства, усиление центробежных тенденций в России в 1990-е годы, обострение межнациональных и межгосударственных отношений у ее рубежей, стремление людей включиться в какую-либо устойчивую общность, чтобы противостоять нарастающей атомизации общества и защищать свои интересы [Андреев, Морозова 1993: 57–61]. Примечательно, что меры по возрождению

казачества (современная политика идентичности в отношении казачества) ориентированы ретроспективно и направлены на поддержку как культурных (создание казачьих учебных заведений, издание соответствующей литературы, развитие форм традиционной культуры и др.), так и социально-профессиональных (создание реестра казачьих сообществ, государственная служба, создание казачьей полиции, налоговые льготы) составляющих идентичности. Ключевыми признаками внешней идентификации казачества в современном российском массовом сознании выступают православная религиозность, служение Российскому государству, воинская профессиональная служба, патриотизм.

Число казаков в стране со 142 тыс. согласно переписи 2002 года сократилось до 67 тыс. За год до обнародования официальных результатов переписи Минрегионразвития опубликовало карту народов России, на которой впервые после многих десятков лет указаны казаки как субэтнос русских. Председатель Совета при Президенте РФ по делам казачества Александр Беглов в одном из интервью указывал цифру, согласно которой в стране насчитывается более 7,5 миллионов казаков, из которых 750 тысяч изъявили желание взять на себя государственную службу [Васильев 2015]. В самом начале возрождения казачества в начале 1990-х годов общая численность казаков и их потомков, по данным Института этнологии и антропологии РАН, составляла примерно 5 миллионов человек¹.

«Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года», утвержденная 15 сентября 2012 г., определяет казачество как форму самоорганизации граждан РФ, «объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения российского казачества, сохранения его традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры» [Стратегия развития... 2012]. В период проведения кампании по выборам Президента РФ президентский Совет по делам казачества получил заверения от вице-преьера Д. Рогозина в том, что интересы этого сословия уже учтены в правительственной программе «Стратегия-2020». Казакам обещаны техника из госрезерва, земля и другие бонусы. Важная часть будущего бонуса казакам — земельные владения. «Имея свой земельный фонд, например, в Оренбуржье в Сибири — огромный, в тысячу гектар кусок неиспользованной земли, мы хотим, чтобы казаки создавали агроказачьи комплексы», — говорит донской атаман Виктор Водолацкий. Военная служба для казаков тоже будет «своя»: уже созданы казачьи бригады в Волгограде, Новороссийске, Буденновске, укомплектованные донскими, кубанскими и терскими войсками [Самарина 2012]. Логика подключения казаков к электоральным кампаниям понятна, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Власть видит в казаках

¹ Бурда Э. 2013. Кремлевские игры или реальный шанс? Терское казачество на современном этапе — *Агентство политических новостей (АПН)*. 18.03. Доступ: <http://www.apn.ru/publications/article28693.htm>. (проверено 14.01.2016).

достаточно массовую, организованную и лояльную политическую группу, которая может быть использована в самых разных ситуациях. В том числе и для защиты существующего порядка». Эксперт полагает, что если государство будет обеспечивать казаков такими преференциями, то их ряды начнут быстро расти [там же].

Казачество является системообразующим конструктом символической политики на Кубани. Здесь реализуется многоуровневая программа формирования региональной идентичности, включающая соответствующие образовательные компоненты (уроки кубановедения в школах и курсы истории Кубани в вузах, возвращение в регион казачьих святынь из-за границы, воссоздание памятников казачьей славы, парады и марши казачьих войск и т.д.).

Важным субъектом политики идентичности казачества является Русская Православная Церковь. Пятый Всемирный конгресс казаков, прошедший в октябре 2015 года в Новочеркасске, был посвящен теме «Казачество: единство, Церковь, Родина». Если в начальные века формирования казачества оно было поликонфессиональным, то постепенно абсолютное большинство стало православными (РПЦ и старообрядцы). Как показали исследования ростовских ученых [Сериков, Барков, Волков, Черноус, Водолацкий 2013: 113–119], современное казачество Дона является верующим. На вопрос «Верите ли Вы в Бога?» 66,3% уверенно, а еще 17,4% с некоторыми сомнениями отнесли себя к верующим. 78% верующих являются прихожанами РПЦ, при этом на селе 75,6%, а женщин 67,3%. Доля старообрядцев незначительна — 3,3%, как и сторонников неоязычества, активно конструируемого в постсоветские годы. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил, что казачество принимается под его духовное окормление, в 2010 году был создан Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством. На Первом съезде казачьих духовников Русской Православной Церкви особое внимание было привлечено к вопросу идентичности казачества в современном мире².

Политические партии в постсоветский период пытались разыграть «казачью карту», но попытки эти успеха не имели. Созданную в 2012 году Казачью партию РФ пока можно отнести к политическим конструктам, созданным «про запас». Возглавляет ее ныне Н.Н. Константинов, в послужном списке которого работа руководителем канцелярии Президента РФ, заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

Состав идентификационных признаков: этнический, территориальный, профессиональный, историко-культурный. Сложносоставная идентичность находит выражение в идентификации каджунов. «Культура сильнее природы», — пишет об этой общности Л.В. Смирнягин [Смирнягин 2007]. Каджуны (Cajuns, от франц. Acadiens — выходцы из Акадии) — потомки французов из Бретани,

² В Храме Христа Спасителя прошел Первый съезд казачьих духовников. 2013. — *Патриотический портал города Усть-Илимска*. 10.12. Доступ: <http://kazak-ilim.ru/2013/12/06/v-hrame-hrista-spasitely/> (проверено 14.01.2016).

католики по вероисповеданию, которые заселили в начале XVII века Новую Шотландию (район Акадия). В 1755–1763 годах за отказ принести присягу британской короне и принять англиканство по приказу британского губернатора Ч. Лоренса было депортировано свыше 10 тыс. жителей бывших французских территорий Акадия и Новая Шотландия. По пути в тюрьмы британских колоний на территории нынешних США и даже на Фолклендские острова более половины из них погибло. Часть (свыше 3 тыс.) перебралась в Луизиану, где обитало многочисленное фрабоговорящее население, под покровительство испанской администрации. Покупка Луизианы, отошедшей к США после 1803 года, привела к постепенному нарастанию напряженности между новыми англоязычными поселенцами и романоязычными каджунами. Образование на французском языке было запрещено, насильственно насаждался английский. Каджунское население в основном жило бедно, уровень образования был низким. Только в 1960-е годы был проведен ряд реформ, фактически уравнивших в правах фрабоговорящее и англоязычное население штата [см. Башкиров 2013]. В 1968 году для поддержки франкофонного сообщества и «развития культурного, экономического и туристического потенциала штата» был создан Совет по развитию французского языка в Луизиане (Council for the Development of French in Louisiana), имеющий статус государственного органа. Согласно переписи 2000 года, в Луизиане около 200 тыс. человек говорили дома на французском языке, из них около 5 тыс. — на креольском наречии³. При этом язык не является самодовлеющим маркером каджунской идентичности: для многих родным давно стал английский, но это не мешает сохранять и ценить историческую память об общем происхождении и о своей культурной самобытности.

Каджуны обладают яркими чертами единства, их эффективно цементирует католицизм, противостоящий протестантским церквям, а еще более — специфический культурный настрой, резко контрастирующий со многими чертами культуры американского Юга. Оптимистический взгляд на жизнь, относительная слабость стимулов к приобретательству и накопительству, сочетание общинной сплоченности с известным равнодушием к межрасовому смешению — все это отличает каджунов от американского окружения. В 1984 году Э. Эдвардс, вступая на пост губернатора Луизианы, прочел текст присяги по-французски, подчеркивая перед избирателями свое каджунское происхождение⁴.

Определенную роль в формировании идентичности каджунов играют идея акадийской общности и Всемирные Акадийские конгрессы (Congrès Mondial Acadien, CMA — KMA). КМА стали своего рода форумом, объединившим акадийцев из Атлантических провинций Канады и потомков выходцев из

³ Cajun — Кейджн или Каджун. 2010. — *Multilingua blog*. Доступ: <http://multilinguablog.com/2010/04/17/cajun/> (проверено 14.01.2017); CODOFIL — *Agence des Affaires Francophones*. Эл. ресурс. Доступ: www.crt.state.la.us/cultural-development/codofil/about/french-in-louisiana/index (проверено: 09.03.2017).

⁴ Каджунский Галф. 1999. — *The Americanist*. Доступ: http://americanist.narod.ru/205_06.htm (проверено 14.01.2016).

Академии из Канады, США (Луизианы, Мэна, Массачусетса) и Франции. Конгрессы проводятся раз в несколько лет, начиная с 1994 года [там же]. Благополучие каджунов во многом зависит от туристического бизнеса, который использует такие «маркеры» идентичности, как музыка и кухня каджунов.

Состав идентификационных признаков: территориальный, историко-культурный, политико-культурный, экономический. На этих основаниях произошла идентификация в структуре современной немецкой нации двух групп с выраженной идентичностью — «осси» и «весси». Развитие расколотой нации (а процесс нациогенеза не был завершен, Германия как единое государство появилась в XIX веке) на протяжении 45 лет происходило в границах двух немецких государств с различными идеологическими и ценностными приоритетами. Политика идентичности в ГДР базировалась на концепции двух немецких наций. И сегодня, спустя 25 лет после падения Берлинской стены, восточные и западные немцы значительно расходятся в оценках социально-экономических результатов объединения Германии⁵ и остро чувствуют взаимные различия в менталитете.

В сознании «весси» и «осси» формируются устойчивые стереотипы в отношении друг друга с отчетливо выраженными негативными признаками. Недавно столько лет в ходу грустный анекдот, как «весси» на вопрос «осси» — «Ну почему вы на нас смотрите свысока? Ведь мы же один народ!» — отвечает: «Да, мы тоже один народ»... Как отмечает Л.А. Фадеева, одним из ярких проявлений этого феномена на уровне повседневного поведения можно считать то обстоятельство, что лишь 25% браков в современной ФРГ заключаются между «осси» и «весси» [Фадеева 2000: 82].

Важна и экономическая составляющая данной сложносоставной идентичности. По данным О.О. Фёдоровой [Фёдорова 2009: 27–31], ежегодные расходы на финансирование ГДР составляли примерно стоимость 5% внутреннего валового продукта «старых земель». За десятилетие в качестве «взноса солидарности» пять новых земель поглотили астрономическую сумму в два триллиона немецких марок. Экономический эффект оказался незначительным в первую очередь потому, что не были созданы условия для инновационного развития новых земель [Тоганова 2013]. «Западные немцы, уже не скрывая страха, стали смотреть на Восточную Германию как на бездонную яму, способную поглотить не только благосостояние рядовых граждан Западной Германии, но и всю Федеративную Республику, подорвав ее экономику» [Федорова 2009: 29]. За последние годы в поисках работы и лучшей жизни на запад перебралось 2,8 млн восточных немцев, в основном молодежь [Зорин 2003].

Еще одним «водоразделом» между «осси» и «весси» становится миграционный кризис 2015 года. Население Восточной Германии с недоверием встречает прибывающих. Имеются многочисленные случаи нападений и поджогов общежитий для беженцев. Особенно активно выступают против «гостей»

⁵ «Осси» и «весси» разошлись в оценках объединения Германии. 2010. — NEWS.RIN.ru Эл. ресурс. Доступ: <http://news.rin.ru/news/259966/> (проверено 14.01.2016).

праворадикальные движения, такие, как дрезденская «Пегида», ставшая организатором массовой манифестации в Кёльне в январе 2016 г. «Пегида» выкладывает в Интернете шокирующие факты о беженцах, публикация которых немислима в политкорректной официальной прессе ФРГ⁶.

В случае с «осси» и «весси» в качестве ключевого субъекта политики идентичности «осси» выступает политическая партия — Левая (Линке, нем. Die Linke; иногда Левая партия, нем. Linkspartei) партия Германии. Партия демократического социализма, которая изначально позиционировала себя как защитница интересов жителей восточных земель, объединилась в 2007 году с вышедшими из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) представителями ее левого крыла. На выборах в бундестаг 2013 году партия набрала 8,6% голосов, получив 64 депутатских мандата. Заместитель председателя Левых Сара Вагенкнехт — яркий политик нового поколения, известна жесткой оппозицией федеральному канцлеру Ангеле Меркель.

Интересен пример использования бизнесом так называемой «остальгии» среди «осси». В моду в начале 2000-х годов вошли «остальги-вечеринки», на которых участники демонстративно надевали форму Союза свободной немецкой молодежи. Стали пользоваться спросом продукты, с детства знакомые восточным немцам. Даже западные фирмы стали выпускать товары для продажи на востоке со старыми названиями в старых упаковках — майки, сумки, фильмы, музыка, пионерские и комсомольские рубашки и т.д. На телевидении стали появляться «ГДР-шоу», в которых в перерывах между песнями эпохи социализма известные люди делились воспоминаниями [Садовская 2013].

Рассмотренные кейсы не исчерпывают всего многообразия сообществ со сложносоставной идентичностью. Неразрывное сочетание различных идентификационных критериев мы наблюдаем у таких групп, как горские евреи, липоване и др. Случай сложносоставной идентичности курдов Адыгеи описала З.А. Жаде. Сложносоставная идентичность курдов формируется по особому пути и включает этнические, региональные (территориальные), религиозные и иные характеристики [Жаде 2014].

Научный дискурс вокруг самого термина и его использования только формируется, но, начиная с издания «Политическая идентичность и политика идентичности. Словарь терминов и понятий» в 2011 году, он постепенно входит в научный оборот политологов [Семененко 2011с: 162–168].

Как уже упоминалось, в структуру идентификационных признаков сложносоставной идентичности нередко входит коллективная память о травмирующем историческом событии, что может восприниматься другими сообществами как признак некоторой архаизации идентичности. На наш взгляд, сложносоставная идентичность может быть определена как «дремлющая» идентичность, которая актуализируется в определенных социально-политических

⁶ Добров Д. 2015. Германия: что делать с беженцами? — ИНОСМИ.РУ. 23.08. Доступ: http://inosmi.ru/op_ed/20150823/229806347.html (проверено 14.01.2016).

ситуациях. Политика идентичности применительно к сообществам со сложносоставной идентичностью может приобретать манипулятивный характер, обусловленный как «выпячиванием» одной из составляющих идентичности, так и изменением статуса общности под влиянием политической конъюнктуры («оказачивание» и «расказачивание»). В таком случае она служит, как правило, сиюминутным выгодам власти, но в перспективе ведет к повышению уровня конфликтности в социуме.

Конструктивный потенциал политики идентичности в отношении сообществ со сложносоставными характеристиками заключается в поддержании гармоничного баланса идентификационных признаков. Социально-политическая субъектность таких сообществ может развиваться с опорой на лучшие традиции, выработанные в их среде, что позволяет избежать консервации архаики и придать новый стимул их развитию в качестве элементов гражданского общества.

Литература

- Андерсон Б. 2001. *Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма*. М.: Канон-пресс — Ц; Кучково поле. 288 с.
- Андреев А.П., Панасюк Е.В. 1993. Казачье движение. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 57–61.
- Башкиров М.Б. 2013. Значение луизианских каджунов во всемирных академических конгрессах в начале XXI века. — *Россия и Америка в XXI веке*. Электронный научный журнал. № 3. Доступ: <http://www.rusus.ru/?act=read&id=386> (проверено 14.01.2016).
- Васильев И. 2015. Казачья этничность: происхождение и перспективы. — *Народ на земле*. 31.05. Доступ: <http://narodnazemle.info/node/50> (проверено 14.01.2016).
- Жаде З.А. 2014. Этническая идентичность курдов Адыгеи. — *Научно-издательский центр «Социосфера»*. Доступ: http://sociosphere.com/publication/conference/2014/266/etnicheskaya_identichnost_kurdov_adygei/ (проверено 14.01.2016).
- Зорин А. 2003. Миграция из бывшей ГДР пугает германские власти. — *Заграница*. № 51 (208). Доступ: <http://www.zagranitsa.info/article.php?new=208&idart=2082> (проверено 14.01.2016).
- Куква Е.С. 2010. Этнокультурная идентичность казачества России. — *Вопросы казачьей истории и культуры*. № 5. С. 28–33.
- Маркедонов С. 2008. Неказачество на марше. — *Политком.ру*. 11.01. Доступ: www.politcom.ru/5577.html (проверено 14.01.2016).
- Миненков Г.Я. 2005b. Политика идентичности: взгляд современной социальной теории. — *Политическая наука*. № 6. С. 21–38.
- Морозова Е.В., Мирошниченко И.В., Рябченко Н.А. 2016. Фронтير сетевого общества. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 60. № 2. С. 83–97.
- Неменский О.Б. 2008. Русская идентичность в Речи Посполитой в конце XVI — первой половине XVII в. (по материалам полемической литературы). — *Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. Средние века — Новое время*. М.: Индрик. С. 194–195.
- Садовская В.Ю. 2013. Повседневная жизнь восточных немцев (1991–2010). — *Вестник Ивановского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки»*. № 4 (13). С. 90–93.
- Самарина А. 2012. Казачий призыв-2012. — *Независимая газета*. 17.02. Доступ: http://www.ng.ru/politics/2012-02-17/1_kazaki.html (проверено 14.01.2016).

Семенов И.С. 2011с. Политика идентичности. — *Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 1. Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий* (отв. ред. И.С. Семенов). М.: РОССПЭН. С. 162–168.

Сериков А.В., Барков Ф.А., Волков Ю.Г., Черноус В.В., Водолацкий В.П. 2013. Особенности идентичности и культуры донского казачества современной России. — *Исследования Южноросийского филиала Института социологии Российской академии наук*. № 3. С. 113–119.

Смирнягин Л.В. 2007. Районы США. — *Журнал ЖЖ*. 04.05. Доступ: <http://amergeo.livejournal.com/18655.html> (проверено 14.01.2016).

Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении русского казачества до 2020 года. Утверждена Указом Президента РФ 15 сентября 2012 года. 2012. — *Официальный сайт Президента России*. Доступ: <http://state.kremlin.ru/council/16/news/16682> (проверено 14.01.2016).

Тоганова Н.В. 2013. *Адаптация Восточной Германии к рынку (1990–2010)*. М.: Крафт+. 192 с.

Фадеева Л.А. 2000. *Политическая культура: Курс лекций*. Пермь: Пермский университет. 160 с.

Фёдорова О.А. 2009. Германия в 90-е годы XX столетия: трудности постобъединительных процессов. — *Ученые записки Орловского государственного университета. Серия Гуманитарные и социальные науки*. № 1. С. 27–31.

Rokkan S., Urwin D.W. 1983. *Economy, Territory, Identity: Politics of West European Peripheries*. London: Sage Publications. 217 p.

Религиозная идентичность

М.М. Мчедлова

Ключевые слова: религия, вера, религиозность, конфессия, конфессиональная идентичность, культурная традиция, ментальные архетипы.

В центр дискуссий об идентичности в политике все настойчивее помещается религия как основа самобытности, прежде всего в своей конфессиональной проекции. В условиях повышенных рисков современности религиозная тематика, религиозные идеологии, религиозные институты как аттракторы политической риторики и социальных практик, становятся актуальными и «ощущаемыми» в повседневной жизни, в социальных срезях, в межличностных отношениях, они становятся общественными доминантами и объектами пристального политического внимания. Влияние религиозно-мировоззренческого фактора на восприятие действительности, социальное самочувствие и поиск путей адаптации в обществе, теряющем привычные ориентиры, политические смыслы, представляется востребованным контекстом политической теории как в свете новых угроз, так и в свете повышения социальной зна-

чимости религии в публичном пространстве и в экзистенциальной проекции. Риски международного исламистского религиозного терроризма, миграционная катастрофа, имплицитная ценностные и культурные конфликты между большими группами людей, принадлежащими к различным религиозным традициям, в западном политическом пространстве, драматические столкновения между светскими и религиозными сегментами общества трансформируют привычные политические и ценностно-нормативные параметры социального устройства, а также актуализируют новые дискуссии относительно религиозных интенций в современном мире, религиозного потенциала международных отношений и политических стратегий. Это связано с выжившей в процессе понижения порогов рисков развития современных обществ одномерностью утвердившейся секуляристской картины мира, настаивающей на том, что религиозное мышление, практика и церковные институты утрачивают свое значение. Религиозная идентичность становится опорой во взаимодействиях групп и сообществ, придерживающихся разных этноконфессиональных ориентаций.

Религиозная идентичность человека формируется в результате соотношения себя с определенной религией и определяется значением веры и ролью религиозных институтов в его сознании и поведении. Религиозную идентичность можно рассматривать как результат самоотождествления личности или референтного сообщества с определенным религиозным учением или его частью [Религия... 2008; Вера... 2009; Мчедлова 2016]. Конфессиональная идентичность представляет собой составляющую религиозной идентичности, результатом соотношения, самоотождествления себя с определенным религиозным течением или конфессией. В современном социогуманитарном и политическом дискурсах понятие конфессии получило расширительное толкование (в отличие от традиционного, обозначающего институционализированные направления в христианстве), наделив его новыми коннотациями. К числу наиболее употребляемых следует отнести значение любого религиозного течения или направления, дискурсивные акценты которого центрируются на проблематике религиозного разнообразия в качестве системообразующего параметра культурного и политического плюрализма современных обществ.

Для политического анализа востребованность познавательной нагруженности понятия конфессиональной идентичности определяется в возможностях описания специфики современного политического процесса сквозь призму социокультурной компоненты. Среди всего спектра познавательных оттенков, следует выделить следующие: 1) оформление религиозного чувства; 2) самоотождествление себя с постулатами и особенностями вероучения определенного религиозного течения; 3) восприятие принадлежности к конфессии как важнейшей опоры культурно-цивилизационной идентичности. Последнее значение фиксирует принадлежность к определенной культурной традиции, сформировавшейся под воздействием данного религиозного течения и формирующей чувство общности, вне зависимости от отношения к вере как таковой. На этом поле конфессиональная идентичность пересекается

с этнической самоидентификацией и может становиться маркером этнической (этнонациональной) идентичности. В основе данного феномена лежит консолидация общностей и составляющих ее индивидов вокруг культурно-ценностной матрицы, которая на протяжении жизни многих поколений обеспечивала устойчивость и выживаемость данной общности. Она формирует национальную идентичность (в случае наличия национально-государственной общности), либо может подпитывать и поддерживать политические притязания на создание такой общности.

Во многом понятие конфессиональной идентичности операционализируется в политическом анализе при описании взаимодействия между различными цивилизациями, культурами, при объяснении политических проблем миграционных трендов, современных мультикультурных обществ. Включение традиционных групповых форм идентичности, прежде всего конфессиональной, а также традиционных социальных практик в политическую ткань коррелирует с ослаблением традиционных политических и гражданских форм солидарностей, кризисом национального государства, вытеснением на периферию рациональных форм политической регуляции вплоть до архаизации политики. Тенденции секуляризации сознания в постиндустриальных обществах сочетаются с ростом религиозности и в самих этих обществах, и за пределами западного мира [Norris, Inglehart 2004]. Актуализировавшиеся противоречия между светскими политическими практиками и конфессиональными основаниями как идентификационными параметрами, приобретающими политическое измерение, демонстрируют несовместимость либералистских политических практик и культурного и религиозного разнообразия, которое такие практики призваны поддерживать. В политической плоскости это актуализирует дискуссии о сущности и границах политико-правового принципа светскости — является ли данный политико-правовой принцип предельным или сегодня возникают какие-то точки пересечения религиозного и светского, что предполагает поиск новых политических и юридических форм их взаимоотношений. Одновременно, казусы и прецеденты противостояния светских и религиозных идентичностей в различных сферах приобретают все более отчетливый абрис внешнеполитической и внутриполитической конфликтности.

Собственно в политическом пространстве значение религиозной идентификации проявляется в возможностях политической мобилизации и политического участия, основанных на религиозных референтах. Конфессиональная идентичность может выступать как консолидирующее основание для активных субъектов политики, как действующих и в правовом поле, так и экстремистского толка (примером является деятельность и идеология ИГ — *организации, запрещенной в РФ*), одновременно обеспечивая политическую мобилизацию, социокультурный контекст политики и высокий уровень доверия и поддержки институтам и акторам.

Религиозная идентичность, предметное поле которой описывает более широкие контексты, проявляется во внутренней и внешней религиозности. Внутренняя религиозность представляет собой личностный, определяемый во мно-

гом структурой религиозного сознания религиозный опыт, Веру как таковую. Внешняя религиозность это соблюдение правил вероучения, совершения молитвы, посещения богослужения, соблюдение церковного календаря. О характере, глубине и степени религиозности, а, следовательно, и о значении религиозной самоидентификации можно судить не только по субъективным оценкам, но и по уровню вовлеченности в религиозную жизнь. Отмеченные показатели, характеризующие степень этой вовлеченности и ее значение для личного жизненного опыта, позволяют судить не только о глубине религиозной веры и мировоззренческой убежденности, но и о том, какое место религия и ее институционализированные формы играют в жизни людей, принадлежащих к тем или иным религиозным институтам. Идентификация людей с определенной религией в любом обществе подвижна, она может меняться под влиянием экономических, политических, идеологических, субъективных факторов.

Религиозная идентичность включает весь диапазон отношения людей к религии: от религиозности (разных форм и интенсивности) — через колебания в вере (неопределенность отношения к религии, индифферентность) — до агностицизма, неверия и атеизма. Религиозная идентичность вбирает духовную, социокультурную и политико-институциональные составляющие. Методологической проблемой является разведение данных проекций и переосмысление проявлений религиозного фактора в политике и общественных сферах вследствие изменения значимости тех или иных ориентиров религиозной самоидентификации.

К механизмам формирования религиозной идентичности следует отнести культурную традицию и ментальные архетипы, поэтому во многом религия выступает в качестве основания для культурно-цивилизационной идентификации сообщества. Если для одних групп ключевым основанием их религиозной самоидентификации является вера, вовлеченность в религиозную жизнь и религиозные практики, то для других религиозная самоидентификация в первую очередь маркирует именно общую культурно-цивилизационную принадлежность членов группы, пересекаясь с конфессиональной идентичностью. Таким путем поддерживаются основания, скрепляющие общность в условиях расшатывания (вплоть до исчезновения) традиционных политических и гражданских основ солидарностей и мобилизаций, что и обуславливает повышение значимости религии и влияния религиозного фактора в современном социально-политическом процессе. Так, высокая легитимность и авторитет Русской Православной Церкви имплицитно являются ее важнейшей исторической ролью, несравнимым вкладом в формирование культуры и государственности, а также институциональной устойчивостью [Российское общество... 2015a].

Религиозная идентичность связана с традиционной функцией религии как морального регулятора: она оказывается зачастую единственным хранителем общечеловеческих моральных ценностей, теряющих свою онтологичность и императивность в социально-политической и повседневной жизни совре-

менного общества. В политическом пространстве налицо актуализация звучания нравственных императивов, основанных на традиционных ценностных системах, как критерия направленности развития общества, во многом артикулируемых религиозными организациями и лидерами. Не случайно среди широкого спектра воздействий религиозной веры на жизнь российского общества приоритет отдается утешению в беде и удержанию от дурных поступков, помощи в становлении высоконравственным человеком [Российское общество... 2015b].

Пересечение религиозной и конфессиональных идентичностей предопределяет многозначный российский контекст религиозности, который включает соотнесение себя с определенной устойчивой культурной традицией, веру как составляющую онтологической идентичности, самого бытия, когда во главу угла жизненного опыта ставятся отношения человека с Богом, повышение привлекательности религии, увеличение числа причисляющих себя к православной, исламской или иной религиозной традиции и присутствия традиционных конфессий в публичной сфере, утверждение в качестве приоритетных регуляторов социального поведения нерелигиозных ориентиров и ценностей, недоминирующую важность веры в массовом общественном сознании. Признание за религиозными институтами одной из ключевых ролей в социально-политической жизни как верующими, так и неверующими, авторитет церкви как социального института позволяют предполагать наличие у религиозных организаций значительного потенциала влияния, в том числе на путях развития социально значимой, культуuroохранительной и просветительской работы. С другой стороны, определенная часть общества не приемлет религиозную идентичность как важную составляющую социальной идентичности и саму значимость диалога светского и религиозного опыта для современной России. В то же время на социальной периферии происходит обособление религиозных групп фундаменталистского толка, абсолютизирующих свою групповую идентичность; такие сообщества могут стать потенциальным источником политического радикализма.

В российском контексте институциональное преломление религиозной и конфессиональной идентичностей в политических и ценностных параметрах представляется многоаспектным. С одной стороны, ключевыми для социальной консолидации и деятельности религиозных организаций являются доверие населения к религиозным институтам и авторитет религиозных лидеров, чьи заявления во многом формируют политическую и социальную повестку дня. С другой стороны, влияние конфессионального фактора на политические и ценностные предпочтения ставит вопрос о способах и формах воздействия религиозного фактора на общественное настроение и поведение, актуализируя управленческие вопросы государственно-конфессиональной политики и возможностей социальной консолидации.

Констатация включения религиозного параметра в политический процесс как идентичностного основания, накладывающего отпечаток на алгоритмы политических стратегий, ставит методологическую проблему введения в по-

литический анализ внеинституциональных параметров, поскольку «религия включается в “глобальный порядок” не столько как некий институт, сколько как “форма коллективной или индивидуальной идентичности”» [Robertson, Chirico 1985].

Литература

- Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания (отв. ред. М.П. Мчедлов). 2009. М.: Культурная революция. 368 с.
- Мчедлова М.М. 2016. Социокультурные смыслы политики: новая логика интерпретации и религиозные референции. — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 157–174.
- Религия в самосознании народа (религиозный фактор в идентификационных процессах) (отв. ред. М.П. Мчедлов). 2008. М.: Институт социологии РАН. 415 с.
- Российское общество и вызовы времени. Книга первая (под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова). 2015а. М.: Институт социологии РАН; Издательство «Весь Мир». 336 с.
- Российское общество и вызовы времени. Книга вторая (под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова). 2015б. М.: Институт социологии РАН; Издательство «Весь Мир». 432 с.
- Norris P., Inglehart R. 2004. *Sacred and Secular. Religion and Politics worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press. 304 p.
- Robertson R., Chirico J. Humanity, 1985. Globalization, and Worldwide Religious Resurgence: a Theoretical Exploration. — *Sociological Analysis*. Vol. 46. No. 3. P. 219–242.

Онтологическая идентичность

Е.Б. Рашковский

Ключевые слова: альтруизм, амбивалентность, антиномии, ближний, интуиция, история, личность, мышление, религиозный опыт, Святыня, сознание, соотнесение, сострадание, «тонкая настройка», человеческое в человеке, этика.

Само понятие онтологической идентичности было введено российским психологом — профессором Е.К. Веселовой. По ее определению, *онтологическая идентичность* представляет собой «самый глубокий слой личностной идентичности», предполагающий «отождествление себя... с существованием (бытием) в определенной реальности» [Веселова 2011а; 2011б].

Действительно, интуиция (и даже — в какой-то мере — осмысление) своего внутреннего единства с бытием, с миром, со святыней, с другими людьми есть несомненная родовая черта человека, хотя в разных социоисторических ситуациях и в разных индивидах она проявляется по-разному: от почти спящей,

латентной (а нередко и размытой и даже деградировавшей) до открыто выраженной, жертвенной и альтруистической.

Но, так или иначе, онтологическая идентичность — в прямом или даже в превращенном виде — присуща каждому человеку, составляя сердцевину человеческого в человеке. В том или ином облике эта базовая интуиция человеческого сознания присутствует в любой из развитых культур (от глубокой древности до нынешнего дня), но в разных культурах, в разных обществах и в разные эпохи она может приобретать самые разнообразные исторические и духовные артикуляции. Это многообразие исторических артикуляций онтологической идентичности коренится в амбивалентности человеческой психики и в глубокой антиномичности самого мышления и культурного опыта человека, где в любых обстоятельствах действуют антиномии Божеского и человеческого, жизни и смерти, вечности и времени, любви и отторжения, слова и безмолвия, всеобщего и партикулярного, индивидуального и общественного, ородненного и чуждого и т.д. На стремлении зафиксировать, прочувствовать или даже осмыслить некий общий контекст этих антиномий нашего сознания, по существу, и строится в истории человеческий религиозный, нравственный, художественный и философский опыт [Рашковский 2005; 2008]. И шире — весь опыт интуитивного, теоретического или религиозного соотнесения разрозненных, недосказанных и противоречивых данных нашего сознания в этом священном контексте, который воспринимается человеком как нечто несравненно более значительное и высокое, нежели его собственное (ограниченное рамками времени, пространства, языка и социальности) эмпирическое «я» [см. Шмеман 2005].

Онтологическая идентичность есть глубоко личная, или, если прибегнуть к выражению российского философа, «экзистенциально-креативная»¹ основа человека [Ревич 2002]. Она является доминантой не только натур особо одаренных и творческих, но по существу универсальна, хотя у большинства людей она может быть полускрыта или даже извращена. Но у множества людей этот скрытый, истинно-человеческий слой личности проявляется как солидарность и сострадание другим людям, природе, исчезающим памятникам культуры и в условиях повседневности, не говоря уже о ситуациях критических (стихийные бедствия, преследования, произвол, репрессии, войны, болезни, смерть).

Попытки осознания, осмысления человеком своей *онтологической идентичности* издревле приводили людей к мысли, что работа над собой, над своими чувствами и познанием оказывается необходимым ресурсом внутреннего человеческого противостояния «жизни ненасытной и невоздержанной»²,

¹ В психологическом и философском дискурсах в качестве синонима рассматривается *экзистенциальная идентичность*, которую можно определить как бытийные основания личностного самоопределения, «осознание себя и своего существования в контексте Бытия, ощущение собственной причастности к Бытию» [Гришина 2015].

² Платон. Горгий. *Перевод С.П. Маркиша*. — Платон. Сочинения, в 3-х тт. Т. 1. М.: Мысль, 1968. 493 с.

источником конфликтов и примирения личности с миром. И, стало быть, источником динамики самой истории [Айзенштадт 2004; Ясперс 1978].

Сам возникший и разработанный прежде всего в христианском ареале принцип сострадания «труждающимся и обремененным» (Мф 11:28) как принцип внутренней организации личности оказался в ряду важнейших действующих факторов универсальной истории.

Одна из действенных, хотя подчас и незрелых, социоисторических тенденций проявления *онтологической идентичности* — самоотождествление «критически мыслящей личности» (П.Л. Лавров) с отверженными и страдающими в этом мире, с «униженными и оскорбленными» (Ф.М. Достоевский), самоотождествление вплоть до буквального «переодевания», «переоблачения» [Caffi 1966]. Эта тенденция особенно ярко проявилась в истории русских интеллигентов XIX — начала XX века — от славянофилов до толстовцев [см. Толстой 1956]. Но аналогичные явления (в той или иной духовной артикуляции) имели место и за пределами России — на Востоке и на Западе (аскетическое мироотречение в Индии, миноритские монашеские движения в средневековой Европе, народничество Махатмы Ганди, движение «священников-рабочих» в Католической церкви Европы середины XX века и т.д.).

Многозначность отношений онтологической идентификации человека с окружающим миром и его особой уязвимости в условиях непрерывно меняющегося социокультурного «космоса» — одна из ключевых и драматических проблем истории. Альтруистические порывы могут амбивалентно сопрягаться с низменной жадностью самоутверждения и власти; естественное для человека стремление вырваться из скорлупы собственной отъединенности, собственного «я» может легко узурпироваться и эксплуатироваться в политических целях, вдохновляемое тем, что Вл. Соловьев называл «идеями низшего порядка» [Соловьев 1996] — т.е. идеями, в основе которых лежит сведение импульсов солидарности и взаимопомощи к инстинктам стадного порядка («наши» versus «не наши» — этническая, конфессиональная или классовая ненависть, эстетская групповщина и т.д.). Противоядием от такого рода узурпаций может быть лишь культура, построенная на «золотом правиле» этики (поступай с другим человеком, как хотел бы, чтобы поступали с тобой) и — более того — на способности разглядеть в любом человеке твоего ближнего, т.е. сопричастника твоим собственным проблемам, твоему собственному опыту, твоей собственной боли. То есть культура, построенная не на принципе радикальной конфронтации, но на принципе соотнесения [Scheler 1960].

Вопрос об отчуждении и выветривании *онтологической идентичности* в человеке — вопрос особый и не вполне понятый современной мыслью. В традиционных — как позднее и в тоталитарных — обществах во главу угла ставилось «присвоение человека» [Киселев 1989] властными инстанциями и структурами (монархами, жреческими коллегиями, местными нобилитетами и т.д.), позднее — безраздельным поклонением «партии» или «вождю», когда само внутреннее существо и внутренний стержень человека вольно или невольно

как бы передоверялись «начальству» (или «коллективу» как псевдониму того же самого «начальства»).

«Интернет-революция» последних десятилетий внесла целый ряд новых черт в общий социокультурный контекст *онтологической идентичности*: мгновенность и оперативность связей между людьми, большую осведомленность о проблематике как «ближних», так и «дальних». Но она же явилась и осложняющим фактором этого контекста: заочные, виртуальные связи между людьми могут становиться и более поверхностными; личные контакты или выходы на широкую аудиторию — более бестактными и бесцеремонными (неслучайно Интернет стал безнаказанным заповедником ненормативной лексики, необдуманных и оскорбительных высказываний и т.д.) [Шу 2011]. Во всяком случае, интернет-контакты оказались важным фактором в сегодняшнем становлении *онтологической идентичности*, а уж молодых поколений — в особенности.

Само присущее электронной эпохе «клиповое» и потому легко манипулируемое мышление ведет к вымыванию *онтологического стержня* в человеке и, следовательно, самих духовных оснований общества, требующего от людей некоторого опыта понимания, сострадания и солидарности. Человек-«зритель», опьяненный поверхностными теле- и интернет-внушениями, становится легкой добычей криминальных или террористических клик, умело манипулирующих органической потребностью человека в доверии к другим, потребностью в социально значимых решениях и поступках.

Тем не менее при всех ее культурно-исторических издержках и срывах *онтологическая идентичность* составляет объективно необходимый момент «тонкой настройки» всей совокупности социокультурных отношений и, следовательно, является предпосылкой жизнестойкости любых человеческих общностей (народов, государств, цивилизаций, системы глобального общежития). По всей видимости, проблематика *онтологической идентичности* именно как «тонкой настройки» культуры и общества приобретает особую актуальность в условиях нынешнего социально-нравственного кризиса современной России с ее ослабленными общекультурными и ценностными ориентирами.

Литература

Айзенштадт Ш.Н. 1992. «Осевая эпоха»: возникновение трансцендентных видений и подъем духовных сословий. — *Ориентация — поиск. Восток в теориях и гипотезах*. М.: Наука-ВЛ. С. 42–62.

Веселова Е.К. 2011а. Гуманистическая концепция человека с православной точки зрения. — *Христианская психология и антропология*. Доступ: <http://www.xpa-spb.ru/libr/Veselova/gumanisticheskaya-konceptsiya.html> (проверено 15.02.2017).

Веселова Е.К. 2011б. Гуманистическая концепция человека с православной точки зрения. — *Христианская психология и антропология*. Доступ: <http://www.xpa-spb.ru/libr/Veselova/ontologicheskaya.html> (проверено 15.02.2017).

- Гришина Н.В. 2015. Экзистенциальная психология в поисках своего вектора развития. — *Психологические исследования*. Т. 8. № 42. Эл. ресурс. Доступ: <http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n42/1167-grishina42.html> (дата обращения: 02.02.2017).
- Киселев Г.С. 1989. Присвоение человека: о специфике социальной связи на традиционном Востоке. — *Народы Азии и Африки*. М. 1989. № 6. С. 66–74.
- Рашковский Е.Б. 2005. *Осознанная свобода: Материалы к истории мысли и культуры XVIII—XX столетий*. М.: Новый хронограф. 253 с.
- Рашковский Е.Б. 2008. *Смыслы в истории: Исследования по истории веры, познания, культуры*. М.: Прогресс-Традиция. 376 с.
- Ревич И.М. 2002. *Экзистенциально-креативное содержание феномена человечности*. Дисс. ...докт. филос. наук. Хабаровск: Хабаровский ГПУ. 309 с.
- Соловьев В.С. 1996. *Оправдание добра*. М.: Республика, 1996. 479 с.
- Толстой Л.Н. 1956. *Религия и нравственность*. Полн. собр. соч. Т. 39. М.: ГИХЛ. С. 3–26.
- Шмеман А., протоиерей. 2005. *Дневник 1973–1983*. М.: Русский путь. 270 с.
- Шу Т.А. 2011. *Стратегия личностной идентификации в сетевом пространстве компьютерной симуляции: культурологический аспект*. Автореф. дисс. ...кандидата культурологии. М.: РГГУ. 24 с.
- Ясперс К. 1978. *Истоки истории и ее цель*. М.: ИНИОН АН СССР. Вып. 1. 210 с.; вып. 2. 211 с.
- Caffi A. 1966. *Individuo e societa*. — Caffi A. *Critica della violenza (Con pref. di N. Chiromonte)*. Milano: Bompiani. P. 27–60.
- Scheler M. 1960. *Wissensformen und die Gesellschaft*. 2 Aufl. Bern-München: Francke. 536 S.

Межкультурные коммуникации

О.В. Попова

Ключевые слова: культурные различия, Другой, символы, нормы, традиции, социальные группы, этнические группы, глобализация.

Межкультурные коммуникации — это процессы взаимодействия с использованием вербальных и невербальных символов людей, обладающих различными социальными нормами, традициями, чаще всего принадлежащих к разным этническим, социальным, статусным группам, государствам или цивилизациям. В обществоведческой литературе также можно встретить определение межкультурных коммуникаций как взаимоотношения индивидов с отличающимися культурными идентичностями.

Категория «межкультурные коммуникации» тесно связана с понятиями «символы» и «идентичность». Считается, что социолог Н. Элиас был одним из первых исследователей, кто определил символы как осязаемые звуковые средства человеческой коммуникации, а в работе «Теория символа» [Elias 1991] обратил внимание на то, что без общих символов коммуникация между

людьми невозможна в принципе. Стандартизированной символической репрезентации требуют даже самые обычные объекты повседневной жизни людей. Используемые для коммуникации символы отличаются в разных обществах, формируются в течение нескольких поколений и создают основу личного опыта людей. Понимание определенных символов приобретает индивидом в результате персонального процесса научения и может меняться в рамках одного общества в течение времени. При этом одни и те же события, одни и те же практики могут обозначаться в разных культурах различными символами. И, наоборот, могут совпадать символы, обозначающие совершенно разные явления. Эта ситуация получила название когнитивной, поведенческой и эмоциональной неопределенности и является основной причиной сложностей межкультурной коммуникации представителей разных культур и поколений в рамках даже одного общества.

Исследователи, акцентирующие внимание на связи межкультурной коммуникации и идентичности, считают, что в процессе социальных контактов индивид обогащается в социальном отношении и дополнительно формирует свою идентичность. Если в ходе коммуникации осуществляется взаимопроникновение идентичностей, то этот процесс проходит бесконфликтно и результативно. Например, Р. Борн еще в начале XX века в работе «Транснациональная Америка» [Bourne 1916] обратил внимание на значимость для многих мигрантов ценностей, норм и традиций не места их проживания в настоящем времени (принимающее государство может оказаться для них всего лишь «донором», предоставляющим материальные и социальные блага), а «духовной родины» (spiritual country). Однако приятие информации, культуры как своей в новом круге общения значительно обогащает и развивает личность. Предельным проявлением сбоев в межкультурной коммуникации считается культурный шок — состояние физического и эмоционального дискомфорта, испытываемого человеком, оказавшимся в радикально инокультурной среде. Культурный шок проявляется в психологическом напряжении, чувстве одиночества, ощущении невосполнимости утраты друзей, статуса, собственности или профессии, в неприятии норм новой культуры и нарушении ролевых ожиданий, в потере привычных моделей самоидентификации и ощущении собственной неполноценности из-за неспособности адаптироваться к новым условиям.

В исследованиях норвежского антрополога Т. Эриксона анализируется «креолизация» — феномен культуры, связанный с перемещением и последующим социальным соприкосновением и взаимовлиянием между двумя (или более) группами, в результате чего возникает постоянный динамический взаимообмен символами и практиками, создающий новые социальные формы с варьирующимися степенями стабильности» [Eriksen 2007: 172–173]. Особенности креолизации считаются подвижность и открытость самоидентификаций, толерантное отношение к межкультурным бракам, культурным смешениям и индивидуализму. Фактически речь идет о кросс-культурном взаимообогащении (intergroup cross-fertilization) [ibid.: 161, 175], или об ак-

культурации — процессе и результате взаимовлияния различных культур, в ходе которого группы представителей одной культуры усваивают нормы, обычаи, ценности, традиции другой; смешение культур при этом обеспечивает состояние культурной и этнической гомогенности социума.

В теории выделяют четыре варианта аккультурации: ассимиляцию (полную «интериоризацию» норм и ценности другой культуры с отказом индивида от своей начальной идентичности); сепарацию (отрицание чужой культуры с сохранением своей идентичности); маргинализацию (одновременную потерю идентичности с собственной культурой и невозможность формирования идентичности с другой группой); интеграцию (двойную идентификацию со старыми и новыми нормами).

На практике индивид, используя определенный «материнский» язык, т.е. язык «своего» этноса и «своей» культуры, оказывается а priori вписанным в четко заданную, определенную культурную, языковую, историческую и политическую среду. Функционально процесс формирования идентификации с «мы-сообществом» связан с культивированием общей исторической или политической памяти; он опосредуется социальной коммуникацией и предполагает формирование образов «Другого». Так, если индивид пользуется «материнским» языком в «чужом» моноязычном сообществе, то он, скорее всего, будет ощущать свою этническую, культурную, социальную неполноценность.

Считается, что термин «межкультурная коммуникация» был устойчиво введен в научный оборот в 1954 году Э. Холлом и Д. Трагером в книге «Культура как коммуникация» [Hall, Trager 1954]. Однако еще в 1935 году Р. Редфилдом, Р. Линтоном и М. Херсковицем была предложена классификация результатов межкультурной коммуникации, включающая ассимиляцию (полное замещение старой культуры и моделей идентичности новыми), адаптацию (частичную корректировку норм старой культуры и образа «я»), реакцию (тотальное неприятие новой культуры и возможных иных вариантов своей идентичности). Во второй половине XX века эта схема была дополнена вариантами односторонней ассимиляции, когда идентичность и культура групп меньшинств полностью вытесняются нормами доминирующей группы, и культурным смешением, при котором происходит формирование новых устойчивых элементов идентичности и норм культуры, сочетающих установки доминирующей и доминируемой социальных групп.

Язык — основной структурообразующий компонент идентичности субъектов межкультурной коммуникации, причем значимым для идентичности каждой из сторон является не только язык сам по себе, но его специфические особенности и традиции использования. Попытки некоторых ученых доказать, что распространение билингвизма или мультилингвизма является средством бесконфликтной межкультурной коммуникации, не увенчались успехом, поскольку знание нескольких языков отнюдь не делает человека менее укорененным в родном языке. Аналогичным образом и блестящее знание истории и культуры других стран еще не гарантирует принятия их в качестве

«наших». При этом ученые справедливо признают, что знание только «своих» языка, истории, норм культуры создает прочную иллюзию универсальности собственного видения мира (например, Э. Холл определял этот феномен как «культурные очки» [Hall 1976]) и делает человека интолерантным к «другим». Вместе с тем только тот, кто знает и считает значимыми «свои» язык, культуру, традиции, ценности, историю, в состоянии признать значимыми и принять «других».

У исследователей сформировалось неоднозначное отношение к бикультурной компетентности или бикультурной ориентации. Некоторые из них считают бинарный тип идентичности амбивалентным или вынужденным, другие убеждены в органичности существования индивида при определенных обстоятельствах в состоянии двойной и даже множественной идентичности [Акопов 2015: 244]. Двойная идентичность создает подчас серьезные психологические и политические проблемы для людей, особенно в странах с агрессивным проведением политики моноэтнической идентичности. Один из возможных выходов для индивида в этом случае — культивирование позитивной транснациональной идентификации (термин, используемый С.В. Акоповым [там же]).

Современные процессы интернетизации не просто предлагают индивидам новые модели мгновенной коммуникации online, но и формируют у пользователей «всемирной паутины» так называемую «сетевую философию», включающую разделяемые многими молодыми обеспеченными людьми из западных государств концепции сетевого либертарианства и «копилефта» (свободного, не ограниченного законодательством или авторскими правами распространения любых текстов), практики хакерства и киберанархизма. Считается, что транснациональная коммуникация обеспечивает эффективное межкультурное общение, снижает межличностное и межгрупповое недоверие. Процессы глобализации, появление быстрых и относительно недорогих современных транспортных средств, не связанных прочно с определенным географическим местом новых профессий (например, программистов и различного рода фрилансеров), способствуют увеличению числа так называемых «глобальных кочевников» (англ. «global nomads»), о которых Э. Тоффлер еще в 1970 году писал в работе «Футурошок», а спустя 10 лет — в «Обществе третьей волны» [Toffler 1970; Toffler 1980]. Именно для этой категории населения современного, преимущественно западного, мира проблемы и сложности межкультурной коммуникации минимизируются.

При внешней независимости процесса и результатов межкультурной коммуникации от элитных групп именно они (политический класс, профессиональная элита, различного рода политические акторы), используя культурную политику, формируют запрос социума на модифицированную по сравнению с реальной картину мира, историческую память, нормы, ценности и традиции, гибридную или множественную пограничную идентичность. Закрепление в законодательстве современных стран принципов культурного разнообразия и самобытности этнических культур, составляющих националь-

но-государственную культуру, представляется важным шагом в обеспечении адекватной государственной политики межкультурной коммуникации.

Но декларация принципов уважения к разным культурам, даже юридически закрепленная, сама по себе не может предотвратить конфликтные эффекты межкультурной коммуникации. В межкультурной коммуникации особенно значимым становится образ «другого». Если он воспринимается индивидом в рамках толерантной модели («я–другой–иной»), то обнаруживаемые им различия культурных норм и традиций другого участника коммуникации не воспринимаются как угрожающие его собственной идентичности. Иная ситуация возникает, если начинает доминировать интолерантная модель («я–другой–чужой–враг»). Общая схема формирования концепции и образа «Другого» как врага основывается на определенных социокультурных мифах и включает ряд элементов. Информация о другой группе / представителе другой культуры, этноса, государства, цивилизации воспринимается через определенный фильтр, акцентирующий внимание на различиях и приуменьшающий элементы сходства культурных норм и традиций, что усиливает деформацию образа «другого» в сторону негативных оценок.

Важную роль при формировании образа «Другого» в концепции врага может играть его национальная или конфессиональная принадлежность. В этом случае всем представителям иной национальности или представителям другой конфессии приписываются безнравственное поведение, ужасные черты характера и привычки, отсутствие культуры и стремление ее уничтожить. Типичны прием клеймения как «внутреннего врага» или использование так называемого принципа «недостаточности» с указанием на высокий уровень материального благосостояния и условий жизни «Другого».

Американский философ Б. Фэй предложил принципы, касающиеся позитивного научного мышления, которые могут быть положены в основание конструктивной межкультурной коммуникации с «другими». Он считает, что необходимо делать ставку на диалектическое мышление, отказываясь от чрезмерных обобщений и избегая упрощенной оценки событий и людей по типу «либо то, либо другое» / «хорошее или плохое». Необходимо понимать, что интерпретация событий прошлого, истории, культуры постоянно конструируется в настоящее время с учетом представлений в возможном/желательном будущем. Нельзя относиться к другим людям как к врагам или как к объектам, которые остаются навсегда неизменными. Следует понять, что достоинства и недостатки людей формируются под воздействием социального окружения, доминирующих в социуме норм культуры и особенностей политико-властных отношений. Следует принять как данность, что мотивы и смысл поступков людей с другой культурой не всегда очевидны, а сформировавшиеся в процессе межкультурной коммуникации нормы не универсальны и не являются единственно возможными; сами по себе согласие или консенсус в процессе межкультурной коммуникации не могут быть целями взаимодействия [Fay 1996: 241–245]. Этим принципам вполне соответствует требование Ю. Хабермаса отказаться от ложной коммуникации и прийти к идее «общественно-

го “консенсуса” на основе “естественного” речевого общения людей, не искаженного вторжением антагонистических и основанных на насилии общественных систем. Подобная “истинная” коммуникация возвращает человеку его “жизненный мир”, а с ним и его подлинную живую человеческую идентичность и идентификацию» [Очерки по истории... 1994: 357].

В исследованиях идентичности ученые в последние десятилетия акцентируют проблему межкультурных коммуникаций в связи с интенсификацией процессов межгосударственной и межконтинентальной миграции. В условиях активизации миграционных процессов неизбежно возникают вопросы сохранения национальной, этнической, культурной и конфессиональной форм идентичности как граждан принимающего государства, так и групп прибывающих иммигрантов. Некоторые исследователи полагают, что в ряде случаев идентичность может сохраниться в неизменном виде даже при вхождении в социум значительного числа представителей других культур [Ersson, Lane 2002: 76]. Другие авторы, например, М. Беннет, предложивший модель межкультурной чувствительности [Bennett 1986], делают акцент на рассмотрении этапов развертывания межкультурной коммуникации — этноцентрического с последовательно проявляющимися реакциями отрицания разницы, защиты от различий, минимизации отличий и этнорелятивистского с признанием и принятием культурных различий, адаптацией и итоговой интеграцией новых норм обеими взаимодействующими сторонами.

Эффекты межкультурной коммуникации различны. В ходе стирания границ между «мы» и «они» возможны и культурное сближение с сохранением идентичностей социальных групп, и утрата значимых группообразующих традиционных ценностей с потерей в итоге культурной уникальности. Практически ежедневное исчезновение очередного из множества языков этнических меньшинств — еще одна жесткая плата человечества за межкультурную коммуникацию в условиях глобализации. Вместе с тем процессы глобализации усиливают тенденцию потери самобытных идентичностей и отдельными индивидами, и сообществами, усиливая локальную идентичность отдельных слоев и параллельно многократно увеличивая риски конфликтного противостояния не желающих терять свои традиционные модели идентичности социальных групп. Данные обстоятельства должны учитываться в равной степени и политическими экспертами при оценке различного рода государственных и межгосударственных программ, и политическими лидерами в повседневных политических практиках.

Литература

- Акопов С.В. 2015. *Человек многомерный: транснациональная модель идентификации с макрополитическими сообществами (метатеоретический анализ)*. Санкт-Петербург: Алетейя. 296 с.
- Очерки по истории теоретической социологии XX столетия: от М. Вебера к Ю. Хабермасу, от Зиммеля к постмодернизму (отв. ред. Ю.Н. Давыдов). 1994. М.: Наука. 379 с.

- Bennett M.J. 1986. A developmental approach to training intercultural sensitivity. — *Special Issue on Intercultural Training. International Journal of Intercultural Relations*. Vol. 10. No. 2. P. 179–186.
- Bourne R. 1916. Trans-National America. — *Atlantic Monthly*. July. No. 118. P. 86–97.
- Elias N. 1991. *The symbol theory*. London: Sage Publications. 47 p.
- Eriksen T.H. 2007. Creolization in Anthropological Theory and in Mauritius. — *Creolization: history, ethnography, theory*. Walnut Creek. P. 153–177.
- Ersson S., Lane J.-E. 2002. *Culture and Politics: A comparative Approach*. Aldershot: Ashgate Publishing. 353 p.
- Fay B. 1996. *Contemporary philosophy of social science: A multicultural approach*. Oxford; Cambridge, MA: Blackwell Publishers. 266 p.
- Hall E.T. 1976. *Beyond Culture*. New York: Anchor Books, Doubleday. 320 p.
- Hall E.T., Trager D. 1954. *Culture as Communication*. Greenwich. CT: Fawcett, 206 p.
- Toffler A. 1970. *Future shock*. New York: Random House. 286 p.
- Toffler A. 1980. *The Third Wave*. New York: Morrow. 544 p.

Глава 28

ИДЕНТИЧНОСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

Политическая идентичность

И.С. Семененко

Ключевые слова: политический процесс, государство, нация, политические партии, политическая культура, политические коммуникации, политическое сознание, политическое поведение, идейно-политические предпочтения.

Категория идентичности прочно утвердилась в словаре политических исследований [см., напр.: Bauman 2004; Beck, Giddens, and Lash 1994; Castells 1997; Calhoun 1994; Melucci 1996; Mouffe 2005a; Tilly 2002, 2006]. Неслучайно внимание в этом контексте к изучению психологических оснований мотивации социального участия и политического выбора рядового избирателя [Riesman 1950; Lipset 1960]. Однако понятие политической идентичности, впервые появившееся в работах американских авторов еще в 1960-е годы [Pye 1962; см. также Mackenzie 1978; Norton 1988], до сих пор используется очень ограниченно. Это связано с многозначностью самого термина, неопределенно широким его применением в социальных науках и недостаточной проясненностью когнитивных характеристик. Наиболее распространенное в общественной дискуссии и публичной политике толкование приравнивает политическую идентичность к идентичности национальной, предваряя само понятие относительными прилагательными (например, французская политическая идентичность, баскская политическая идентичность). Это понимание распространяется и на характеристику макрополитической идентичности сообществ, которые в политическом дискурсе выделяются по стержневому признаку, имеющему политическую проекцию, например, религиозному (исламская политическая идентичность) или институциональному (европейская политическая идентичность, имея в виду идентичность граждан стран ЕС). Идейно-политические позиции и партийная принадлежность вовлеченного в политический процесс индивида могут описываться в категориях политической, идейно-политической, партийно-политической (само)идентификации [Попова 2002].

Политическая идентичность представляет собой комплекс идейно-политических ориентаций и предпочтений, которыми субъекты политического процесса наделяют себя и друг друга в процессе коммуникации, и предполагает отождествление носителя политической идентичности с тем или иным политическим сообществом. Она утверждается во взаимодействии с политическими институтами и проявляется в публичной сфере. Коллективные субъекты политики разного уровня формируют свою *политическую идентичность* на основании самоотнесения с иными субъектами политики — носителями «иной» идентичности, и размежевания с ними. В этом контексте *политическая идентичность* как совокупность представлений об идейных ориентациях, политических притязаниях и интересах политических акторов служит маркером политической субъектности, легитимирует ее.

Политическая идентичность конституируется на коллективном уровне и задает ориентиры индивидуального и группового политического поведения. Политическая идентичность индивида формируется в процессе освоения сферы политических идей и интересов и утверждается путем соотнесения себя с референтным коллективным участником политического процесса и самоопределения относительно идейных позиций и интересов других носителей политической идентичности.

Как категорию политического анализа политическую идентичность можно рассматривать в узком и в широком измерениях. Первое предполагает соотнесенность граждан с политическими институтами и их вовлеченность в политико-институциональное взаимодействие в рамках политической общности, т.е. характеризует политическое, в том числе электоральное, поведение и объясняет его мотивации. В этом случае выделение политической идентичности дает основания рассматривать ее носителей как участников политического процесса и, соответственно, говорить о наличии разных политических (идейно-политических и партийно-политических) идентичностей (во множественном числе). Понятие политической идентичности вбирает характеристики ценностей и мотиваций участников и предполагает ту или иную степень вовлеченности индивида в политический процесс, как путем активных действий, так и посредством рефлексии о политике и политическом.

Широкое измерение политической идентичности включает проекции национально-цивилизационных, этнонациональных, расовых, религиозных и конфессиональных, территориальных, поколенческих, гендерных, социокультурных и иных составляющих социальной идентичности в политическую сферу. Политическая идентичность формируется в процессе политизации этих идентичностей, вовлечения их носителей в отношения, связанные с реализацией политических интересов, и становится, таким образом, одной из важнейших категорий, позволяющих концептуализировать динамику общественных изменений. Она сама трансформируется в ходе таких изменений, выступая одновременно и в качестве субъекта, и в качестве объекта экономической, политико-институциональной и социокультурной динамики современных обществ, и динамична по своей природе. По сути, любая коллективная

идентичность, будучи социальной по природе, может быть наделена политическим качеством. В этом смысле «политической оказывается та идентичность, которая актуализируется в политических взаимодействиях... Вместе с тем политический потенциал у разных идентичностей, очевидно, далеко не одинаков». Следуя мысли классика современной политической социологии Шмуэля Эйзенштадта [Eisenstadt 1999], чтобы идентичность приобрела политическое значение, она должна базироваться на особых «темах», в ряду которых центральное место занимает тема гражданственности [Панов 2011: 94–97].

Концепт политической идентичности выводит политический анализ за рамки рассмотрения политических институтов, структур или организованных форм политического поведения, дает возможность объяснить выбор партийной самоидентификации и идейных ориентаций и форм участия, оценить эффективность механизмов политической мобилизации [Попова 2002]. Концептуализация макрополитической идентичности в контексте политической идентичности позволяет выявить перспективы и риски трансформаций больших политических сообществ (наций, государств, наднациональных и транснациональных образований) в соотнесении с динамикой политического сознания индивидов — членов таких сообществ.

Как категория политической практики политическая идентичность утверждается в процессе соотнесения представлений индивида о приоритетах общественного развития и своих интересах в публичной сфере с идейными ориентациями и целями акторов — носителей коллективных (групповых) идентичностей (партий и политических элит, социальных движений и гражданских организаций, групп интересов). Эти акторы наделяют политической идентичностью воображаемые сообщества (нации, классы, этнические группы), продвигая от их имени политические интересы. Для продвижения таких интересов используются средства символической политики, которая вырабатывает разделяемые членами группы символы, мифы и ритуалы и выстраивает пространство политической коммуникации. Характер вовлеченности государства в такое взаимодействие составляет одну из базовых характеристик политического режима.

В ряду ориентиров политической самоидентификации можно выделить идейно-политические, политико-институциональные и политико-культурные, социально-классовые и социокультурные (образовательные, профессиональные, статусные). В процессе коммуникации вокруг таких ориентиров формируется понимание индивидом публичного интереса и общественного блага и складываются политические предпочтения, которые призваны обеспечить их реализацию. На основании самосоотнесения с политически значимым актором (и в противостоянии значимым «Другим») происходит трансформация индивидуальных идейно-политических предпочтений в политическую идентичность, которую олицетворяет референтная группа и ее лидер (лидеры). Одна из ее опор — членство в политической партии, но партийная самоидентификация не является основным конституирующим и, тем более, обязательным ее признаком.

Таким образом, политическая идентичность индивида опирается на:

- ценностный выбор в поддержку общественно значимых целей и потребность его реализации в политическом участии;
- самоидентификацию с конкретными субъектами политического процесса и их идейными позициями и размежевание («различение») с носителями иных политических идентичностей;
- эмоциональную вовлеченность в сферу политики;
- соотнесенность с политическими институтами, выражаемую в категориях доверия / недоверия;
- самоопределение в идейно-политических категориях.

В рамках современной политики политическая идентичность структурируется демократическими политическими институтами и обретает качества гражданской идентичности — основания политического самоопределения индивида. В этом смысле политическая идентичность формирует общий знаменатель политических ценностей в современном обществе — стержень политической (гражданской) нации — и закладывает ее институциональные основания. В традиционных обществах политические идентичности могут замещаться клановыми, кастовыми, племенными и подобными примордиальными формами групповой квазиполитической самоидентификации. В процессе модернизации происходит политизация таких групповых идентичностей, их трансформация в политические идентичности.

Отмечая разнообразие проявлений политических идентичностей в повседневной жизни и в сфере властных отношений и различия между публичными и частными их манифестациями, теоретик социальных движений Чарлз Тилли подчеркивает, что все они утверждаются в процессе взаимовлияния и «перекрестного» соотнесения их носителей друг с другом и с политическими институтами. Такие идентичности меняются в ходе пересмотра политических стратегий и реконфигурации политических сетей и политических сообществ, но неизменно включают общие ориентации, маркирующие границы Мы-сообщества. Политические идентичности коллективны по своей природе и представляют собой «опыт социальных отношений, в которых как минимум одна из сторон — индивид, либо организация, сосредотачивающая в своих руках средства принуждения», т.е. власть [Tilly 2002: 61].

Автор концепции «радикальной (агонистической) демократии» Шанталь Муфф отмечает, что, хотя «политические идентичности как коллективные предполагают утверждение “Нас” постольку, поскольку существуют “Они”, но граница (между “Нами” и “Другими”). — И.С.) проводится сегодня на основании моральных, а не политических оценок... Условие, определяющее возможности формирования политических идентичностей, одновременно есть условие невозможности существования общества, которое лишено антагонистических противоречий. Это измерение и есть сфера политического... В демократическом обществе несогласия, которые позволяют людям утверждать свою гражданскую идентичность разными путями, не только легитимны, но и необходимы: они составляют суть демократической политики» и дают выход

политическим эмоциям [Mouffe 2000: 1–15] в рамках «конфликтной политики» (contentious politics) [см. Tilly and Tarrow 2006].

Рост социального неравенства в условиях кризиса и сокращения сферы опеки «государства благосостояния» в развитых странах стимулирует выбросы стихийной агрессии против «благополучного» потребительского общества и его институтов, способствует радикальной политизации коллективных идентичностей. Появление новых социальных движений сопровождается выбросом политического радикализма, в том числе правого толка. В отсутствие альтернатив демократического политического выбора политическая мобилизация тем более успешно апеллирует к примордиальным (основанным на структурах родства и институтах традиционного общества) идентичностям, давая мощные взрывы националистических настроений.

В этих условиях ключевым вызовом социально-политического развития современного мира становится качество универсалистских гражданских оснований политической идентичности, обусловленное возможностями саморазвития личности и укрепления социальной солидарности. Приоритетной проблемой общественного развития оказывается нахождение соответствующего каждому конкретно-историческому периоду баланса между самоорганизацией и регулированием, между инновацией и традицией, между социальной и индивидуальностью — состояния, поддержание которого требует постоянных, активных и целенаправленных усилий со стороны всех вовлеченных в политическое взаимодействие субъектов. Идентичность современного «человека политического», вовлеченного в такие взаимодействия, отличает стремление к освоению нового социального опыта, к утверждению гражданской идентичности в солидарном обществе [Семенов 2012: 24].

Литература

- Панов П.В. 2011. *Институты, идентичности, практики: теоретическая модель политического порядка*. М.: РОССПЭН. 230 с.
- Попова О.В. 2002. *Политическая идентификация в условиях трансформации общества*. Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ. 258 с.
- Семенов И.С. 2012. «Человек политический» перед альтернативами общественных трансформаций: опыт переосмысления индивидуального измерения политики. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 9–26.
- Bauman Z. 2004. *Identity. Conversation with Benedetto Vecchi*. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press. 104 p.
- Beck U., Giddens A. and Lash S. 1994. *Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*. Stanford CA, Stanford University Press. 228 p.
- Castells M. 1996. *The Rise of Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture*. Vol. I. Oxford, UK; Malden, MA.: Blackwell Publishers, Inc. 556 p.
- Castells M. 1997. *The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture*. Vol. II. Oxford, UK; Malden, MA.: Blackwell Publishers, Inc. 461 p.
- Eisenstadt S.N. 1999. *Paradoxes of Democracy. Fragility, Continuity and Change*. Washington DC: Woodrow Wilson Centre Press. 120 p.

- Lipset S.M. 1960. *Political Man: The Social Basis of Politics*. New York: Doubleday & Company. 477 p.
- Mackenzie W.J.M. 1978. *Political Identity*. Manchester: Manchester University Press. 185 p.
- Melucci A. 1996. *Challenging Codes: Collective Action in the Information Age*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 441 p.
- Mouffe Ch. 2000. Politics and Passions: the Stakes of Democracy (Centre for the Study of Democracy, University of Westminster, London). — *Ethical Perspectives*. Vol. 7. No. 2–3. P. 146–150. URL: <http://www.ethical-perspectives.be/viewpic.php?TABLE=EP&ID=139> (accessed: 15.02.2017)
- Mouffe Ch. 2005a. *On the Political. Thinking in Action*. London: Routledge. 144 p.
- Norton A. 1988. *Reflections on Political Identity*. Baltimore: John Hopkins University 209 p.
- Pye L. 1962. *Politics, Personality, and Nation Building. Burma's search for identity*. New Haven, Conn.: Yale University Press. 307 p.
- Riesman D. (with N. Glazer and R. Denney). 1950. *The Lonely Crowd: A Study of the Changing American Character*. New Haven: Yale University Press. 386 p.
- Social Theory and the Politics of Identity* (ed. by C. Calhoun). 1994. Cambridge MA: Wiley-Blackwell. 364 p.
- Tilly Ch. 2002. *Stories, Identities, and Political Change*. Lanhan: Rowman & Littlefield publishers. 257 p.
- Tilly Ch. 2006. *Identities, Boundaries and Social Ties*. Boulder, CO: Paradigm Publishers. 284 p.
- Tilly Ch., Tarrow S. 2006. *Contentious Politics*. Boulder, CO: Paradigm Publishers. 224 p.

Гражданская идентичность

И.С. Семененко

Ключевые слова: гражданство, гражданское общество, гражданская культура, гражданское образование, социальный капитал, политическая культура, неполитическое участие, публичная политика.

Гражданская идентичность является конституирующим основанием современной политической нации и опорой демократической государственности. **Гражданская идентичность** маркирует членство в макрополитическом сообществе и предполагает самоидентификацию индивида с его политической культурой и институтами, в том числе с определяющим индивидуальный политико-правовой статус институтом гражданства. В основании **гражданской идентичности** лежит усвоение человеком ценностей конструктивного участия в социальных взаимодействиях, демократических свобод и политической гражданской солидарности.

Гражданская самоидентификация — неотъемлемая часть демократического политического процесса. В странах демократической политической традиции потенциальная возможность и уверенность граждан в способности оказывать влияние на принятие политических решений рассматривается как самодостаточное основание гражданской идентичности. Так, авторы классического

труда о политической культуре Габриэль Алмонд и Сидней Верба доказывают, что гражданская культура опирается на демократические политические институты. Они полагают, что в рамках сложившейся в развитых демократиях гражданской культуры «роль гражданина ...поддерживается благодаря его глубокой приверженности нормам активного гражданства, равно как и его убежденности в том, что он *может быть* (курсив мой. — И.С.) влиятельным гражданином» [Алмонд, Верба 2014; Almond, Verba 1963].

В современном политическом процессе гражданская самоидентификация индивида может выражаться через различные формы политического и неполитического участия (активизма), однако она не сводится к прямому участию. Гражданская идентичность опирается на институты гражданского общества, которые пользуются широкой общественной поддержкой. Вовлеченность в формы гражданской самоорганизации (деятельность НКО, волонтерскую работу, инициативы на уровне местных сообществ) формирует социальный капитал, на котором строится межличностное доверие и доверие к социальным институтам. Общественное доверие, складывающееся в процессе деятельности структур гражданского общества и в результате их взаимодействия, становится источником ответственности человека и гражданина, формирующим гражданскую идентичность.

В рамках современной демократической политики гражданская идентичность закладывает основания политического самоопределения индивида и структурирует политическую идентичность. Она вбирает и политическую, и этическую, и субъективно-эмоциональную составляющие [Hart, Richardson, Wilkenfeld 2011: 771]. Гражданская идентичность формируется поверх групповых идентичностей и социокультурных размежеваний современного общества. Поэтому в таких обществах, по мнению известного немецкого философа Юргена Хабермаса, «демократическое гражданство не нуждается в укоренении в национальной идентичности какого-либо народа; однако, будучи индифферентным к многообразию различных культурных форм жизни, оно требует социализации всех граждан в рамках общей политической культуры» [Хабермас 1995].

Гражданская идентичность связывает индивида и государство путем закрепления правового статуса гражданина — члена национально-государственной общности и вытекающих из такого статуса свобод, прав и обязанностей. На ключевое значение государства в системе самоидентификации указывает понятие государственно-гражданской (национально-гражданской) идентичности, которое характеризует состояние массового сознания в современной России [Гражданская, этническая и региональная идентичность... 2013; Дробижева 2008].

Соотнесенность гражданина с государством, которое обеспечивает поддержание общего пространства социальных взаимодействий, не равнозначна поддержке сложившегося политико-институционального порядка: гражданская самоидентификация может принимать по отношению к государству как лояльные (легитимирующие), так и критические либо протестные формы,

направленные на совершенствование или изменение/перестройку сложившихся политических институтов. Так, например, отсутствие общественного консенсуса вокруг трактовки исторического прошлого свидетельствует о преобладании критических или / и протестных оснований гражданской самоидентификации и может предвещать системные трансформации политического режима.

Преимуществом в формировании гражданской идентичности обеспечивают институты социализации, в первую очередь, система образования. Ее ядром является система гражданского образования молодежи в рамках школьного образования. В развитых демократиях именно гражданское образование рассматривается как основной инструмент развития гражданственности, но при этом сама гражданская идентичность имплицитно считается неотъемлемой частью политической культуры. Эффективность такого образования определяет более широкий социальный контекст межличностного доверия и неполитических взаимодействий в повседневной жизни, поддерживающие неконфронтационный, позитивный социальный климат в обществе.

В трансформирующихся политических системах формирование такой идентичности связано с процессами социально-экономической модернизации: под влиянием модернизационных сдвигов растет спрос на образование и на развитие новых форм политического и неполитического участия. В этом контексте гражданская идентичность выступает как ресурс демократизации всех сфер общественной жизни, а политика идентичности, направленная на формирование гражданского самосознания — как ключевое направление публичной политики. Однако в политических системах, претерпевающих глубинные институциональные трансформации, для поддержания гражданской культуры оказывается недостаточно институтов социализации и социального активизма, поскольку здесь «способность вырабатывать социальное доверие и эмоциональную привязанность к системе более проблематична... В развивающихся регионах мира... требуется одновременное развитие чувства национальной идентичности, компетентности как в качестве подданного, так и в качестве участника, а также социального доверия и гражданского сотрудничества». При этом «запас средств, находящихся в распоряжении элит новых стран, весьма незначителен», а «способность таких обществ быстро и эффективно использовать эти средства имеет свои пределы» [Алмонд, Верба 2014: 490]. Выявить эти пределы можно с помощью ситуативного факторного анализа, оценки приоритетов, рисков и ограничений политики идентичности. Конфликт такой политики с господствующими в политической культуре установками может привести к росту социального отчуждения и архаизации массового сознания.

Формирование гражданской идентичности предполагает поиски адекватных ответов на риски доминирования этнического самосознания и групповых идентичностей с этническими корнями (этнонациональными, этносоциальными, этноконфессиональными). В условиях новых социальных вызовов они выстраиваются по принципу исключения и противостояния «иным», перечерки-

вая ее интегративные универсалистские основания. Главным вызовом оказывается позитивное совмещение гражданской и этнической идентичности [Дробужева 2008].

В условиях глобализации в публичном дискурсе появилась концепция многоуровневого гражданства (*multilevel citizenship*): она исходит из пересмотра притязаний национального государства на монополию в обеспечении опор института гражданства и статуса гражданина [Multilevel citizenship 2013]. В этот круг входят сегодня наднациональные и местные сообщества, регионы, диаспоры и другие субъекты — носители политической идентичности (корпоративный бизнес и структуры глобального гражданского общества, политические, интеллектуальные и экспертные сообщества). Теоретик «общества риска» Ульрих Бек [Бек 2000] отмечает размывание границ культурного и повседневного жизненного опыта людей и «несовпадение пространства опыта индивида с национальным пространством», когда место перестает «полностью или даже в значительной мере определять жизнь сообщества, и... коллективная память теряет свое единство и целостность». С другой стороны, транснациональные тренды в динамике идентичности до сих пор наталкиваются на политико-правовые ограничения национального пространства [Бек 2003: 37–43].

В рамках этой антиномии формируется многоуровневая космополитическая гражданская идентичность [Beck 2000; 2006], за которой просматриваются перспективы «всемирного гражданства» [Habermas 2001]. Отсюда потребность в международных институтах и политико-правовых режимах регулирования, отражающих диалектику уровней самоидентификации гражданина — национального и транснационального (наднационального), глобального, регионального и локального. Однако, как показывает опыт европейского строительства и, в частности, ожесточенные дебаты вокруг проекта Конституции Евросоюза, введение института гражданства ЕС оказало пока ограниченное и весьма неоднозначное влияние на формирование общих ценностных оснований европейской идентичности. Системные препятствия в разработке общей политики приема беженцев и кризис проекта евроинтеграции свидетельствуют о глубоких разрывах между европейскими гражданскими ценностями и политическими интересами, между институтами и идентичностями. Формирование гражданской идентичности оказывается, таким образом, и условием, и приоритетом, и драматическим вызовом реализации европейского политического проекта.

По сути, речь идет о формировании открытой иному опыту инклюзивной идентичности, о максимально широком вовлечении граждан во взаимодействия в рамках разных социальных институтов. Это касается не только европейского проекта, но и повестки дня развития современной государственности. Так, этничность может стать ресурсом и позитивной, созидательной, и негативной, направленной против «других» мобилизации. Итоговый вектор такой интеграции определяется позицией граждан и гражданского общества и вектором развития социальных отношений. Источник «особого чувства»,

способного поддерживать гражданское согласие, — ориентация сообщества на социальное и культурное развитие как общезначимую, объединяющую ценность [Семененко 2016: 26].

В политическом дискурсе понятия гражданской, государственно-гражданской и национальной идентичности зачастую употребляются как синонимы. Однако в их содержательной трактовке есть существенные различия: гражданская идентичность опирается на вовлеченность граждан и ее эмоциональное переживание, т.е. на чувство гражданственности (для государственно-гражданской, как уже отмечалось выше, государство является центральной референтной точкой самоидентификации), в то время как в основании национальной идентичности — чувство принадлежности человека к национально-государственному сообществу, усвоение значимых для страны культурных установок и ориентаций, символов, традиций, преемственности исторической памяти.

Литература

- Алмонд Г., Верба С. 2014. *Гражданская культура. Политические установки и демократия в пяти странах*. М.: Мысль. 500 с.
- Бек У. 2000. *Общество риска. На пути к другому модерну*. М.: Прогресс-Традиция. 384 с.
- Бек У. 2003. Космополитическое общество и его враги. — *Журнал антропологии*. Т. VI. № 1. С. 24–50.
- Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра (руководитель проекта и отв. ред. А. М. Дробижева)*. 2013. М.: РОССПЭН. 485 с.
- Дробижева Л.М. 2008. Национально-гражданская и этническая идентичность: проблемы позитивной совместимости. — *Россия реформирующаяся. Ежегодник (отв. ред. М.К. Горшков)*. М.: Институт социологии РАН. С. 214–228.
- Семененко И.С. 2016. Политика идентичности и идентичность в политике: этнонациональные ракурсы, европейский контекст. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 8–28.
- Хабермас Ю. 1995. Гражданство и национальная идентичность. — Хабермас Ю. *Демократия. Разум. Нравственность*. М.: Academia. С. 208–245.
- Almond G.A., Verba S. 1963. *The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton, NJ: Princeton University Press. 574 p.
- Beck U. 2000. The Cosmopolitan Perspective: Sociology of the Second Age of Modernity. — *British Journal of Sociology*. Vol. 51. No. 1. P. 79–105.
- Beck U. 2006. *The Cosmopolitan Vision*. Cambridge, UK; Malden, Ma: Polity Press. 216 p.
- Habermas J. 2001a. The Post-National Constellation and the Future of Democracy. — Habermas J. *The Post-National Constellation: Political Essays (ed. by M. Pensky)*. Cambridge MA: MIT Press. P. 58–112.
- Hart D., Richardson C., Wilkenfeld B. 2011. Civic Identity. — *Handbook of Identity Theory and Research (ed. by S. Schwartz, K. Luyckx, V. Vignoles)*. New York: Springer. P. 771–787.
- Multilevel Citizenship (ed. by M. Willem)*. 2013. Philadelphia PA, University of Pennsylvania Press. 288 p.

Имперская, постимперская, неоимперская идентичность

О.Б. Подвинцев

Ключевые слова: империя, империализм, метрополия, колонии, постимперское пространство, национальность, культурная традиция.

Имперская идентичность — составляющая макрополитической идентификации, складывающаяся на основе общей принадлежности к империи как государственному образованию. По мнению Святослава Каспэ, империю как политическую форму отличают отсутствие фиксированных границ, высокая степень допускаемой политической и культурной неоднородности, разделение труда между центральной и периферийными элитами и вселенский характер легитимации [Каспэ 2001]. Актуализируясь как коллективная идентичность, имперская идентичность осмысливается на индивидуальном уровне и вписывается в идейно-политическую самоидентификацию.

Понятие «империя» в русском языке фактически совпадает по содержанию (но не по эмоциональной оценочной окраске) с понятием «держава» (о различении этих понятий см. [Ильин 1997]). Шмуэль Эйзенштадт относит империи к традиционным формам государственности (патримониальные империи, кочевые империи, централизованные исторические бюрократические империи) [Eisenstadt 1963: 10]. В Новое время возвышение суверенного государства (нации-государства) заставило многие традиционные империи применять политические нововведения (конституции, парламенты и пр.), чтобы повысить институциональную эффективность и противостоять политическим конкурентам.

В XX столетии, однако, империи разрушаются или вынуждены искать новые идейно-политические основания имперскости (СССР). Однако, именно распад Советского Союза на рубеже 1980–1990-х годов в наибольшей степени привлек внимание к неоднозначности последствий крушения подобных государственных образований и способствовал тому, что феномен массового имперского сознания, до того долгое время считавшийся достойным лишь внимания публицистов, в полной мере стал предметом научных исследований [Imperiology 2007; Наследие империй 2008]. Утрата имперской идентичности оказывается в центре общественно-политического дискурса и стимулирует пересмотр оснований политической идентичности во всех бывших метрополиях.

Реалии постсоветского пространства заставили говорить, в частности, о «кризисе» и «вакууме» идентичности, что способствовало изменению отношения и к феномену «советского народа». Прежде существование данной общности либо окрашивалось в преувеличенные оценочные тона (позитивные — как «принципиально новая социальная и интернациональная общность» или негативные — как «собрание Иванов, не помнящих своих корней и родства»), либо отрицалось вовсе, объявляясь не более чем идеологическим конструктом. Уже в конце 1980-х годов Ю.В. Бромлей, один из творцов концепции «советского народа», признал, что данная историческая общность вовсе не является уникальной, охарактеризовав ее как «метаэтническую» и «этатистскую» [Бромлей 1989]. Постсоветский опыт показал, что число тех, кто так или иначе обозначает свою принадлежность к бывшему «советскому народу», остается достаточно большим, несмотря на то, что собственно СССР прекратил свое существование. Сопоставления, проведенные Д. Ливеном [Lieven 2000], Д. Фурманом [Фурман 1996], А. Мотылем [Мотыль 2004] и рядом других авторов, позволили выявить аналогичные явления, имевшие место и при распаде других имперских образований. В то же время дискуссии вокруг проблемы «советской» / «постсоветской» (или «неосоветской») идентичности зачастую носят политизированный и идеологизированный характер и связаны с различными установками в отношении возможностей и перспектив державного (неоимперского) возрождения России [см. об этом Постсоветская идентичность 2014].

Попытки ряда субъектов мировой политики выйти за рамки «национального» государства, переформатировав привычные исторические реалии под новый миропорядок, способствовали появлению в XXI веке нарративов о новых «империях» как формах организации современного политического пространства [Наследие империй... 2008]. Формирование *неоимперской идентичности* является следствием трансформационных процессов, которые протекают как в центре, так и на периферии бывших империй. Она, как правило, порождает и собственную культурную традицию, сплавленную не только из наследия бывшей метрополии и элементов культур населявших ее владения народов, но и феноменов духовной жизни, связанных с формированием и развитием постимперской общности. «Цивилизаторская миссия» Центра может пониматься как приобщение тех или иных народов к такому организму, их включение в данную общность. Такие тенденции прослеживаются, например, в процессах европейского строительства.

Имперская идентичность, как правило, в той или иной мере сочетается в сознании ее носителей с этнической идентичностью. При этом она наиболее свойственна представителям господствующего (государствообразующего) этноса, а также представителям так называемых «малых народов» империи (для которых принадлежность к ней является определенной гарантией от поглощения и ассимиляции более крупными соседями, возможно, тоже относящимися к данной империи) и народов, дисперсно рассеянных по имперскому пространству.

Даже во времена расцвета империй имперская идентичность свойственна отнюдь не всем ее подданным. Для некоторых из них она выполняет роль «Другого», отталкиваясь от образа которого, они актуализируют другие идентичности, как правило, этническую, но также региональную, конфессиональную или идейно-политическую. В условиях кризиса и распада империй число таких людей множится. Имперская идентичность вытесняется также формами национальной идентичности, связанными с образованием новых независимых государств. Интересно, что наличие единого имперского языка (или языков) как средства межнационального общения, как правило, не только поддерживает существование имперской идентичности, но и облегчает возможности взаимодействия между различными антиимперскими национальными движениями, работая, таким образом, на разложение имперской политической системы.

Разрушение империи как политического организма не означает немедленного и полного распада сложившейся внутри нее общности, которая может оставаться значимым ориентиром идентификации на протяжении жизни еще нескольких поколений. Наиболее яркие примеры сохранения данной идентичности в условиях постимперского пространства связаны с распадом континентальных империй, имевших длительную историю (империя Габсбургов / Австро-Венгрии, Российская империя / Советский Союз), и Британской империи. Однако наличие элементов такой же идентичности фиксируется и на пространстве распавшихся колониальных владений. Например, Индия гордится своей (вестминстерской) демократией, образцом которой являются политические институты бывшей метрополии.

Важнейшими скрепляющими основаниями постимперского мира являются единый язык межнационального общения и общие основы системы образования. На таких социокультурных основаниях складываются испанский, французский, британский и другие «миры». Их подпитывают миграционные потоки между бывшими колониями и бывшей метрополией. Достаточно долго в культурной жизни и в повседневности на постимперском пространстве могут сохраняться общие узнаваемые культурные символы и обычаи (коррида в Латинской Америке, крикет и ранний утренний чай в бывших британских владениях, «яйцо в бокале» в бывших владениях Габсбургов и т.п.). Определенную организующую роль для постимперского пространства могут играть международные институты, замышляемые как продолжение империй, но реально меняющие свои функции. Однако из них только Британское Содружество стало настолько значимым объединением, что членства в нем добивались некоторые страны, никогда британскими владениями не являвшиеся.

Наиболее рьяными приверженцами имперской идентичности в постимперских условиях становятся потомки переселенцев из разных частей империи, компактно проживающие в тех или иных бывших владениях и сталкивающиеся ныне с вызовами со стороны местного национализма (протестанты в Северной Ирландии, русскоязычное население в странах Балтии и Приднестровье и т.д.). По прошествии некоторого времени, когда не только при-

обретения, но и потери от распада империи становятся очевидны, или когда империя становится предметом ностальгии по «добрым старым временам», имперская идентичность, которую следует считать уже постимперской, или отдельные ее элементы (например, почитание соответствующих политических символов или подчеркнутая приверженность культурному наследию) могут переживать ренессанс.

В связи с данным обстоятельством, а также прочностью культурных и идеологических оснований постимперская идентичность может не только продолжать существовать в течение длительного времени после распада империи как таковой, но даже и развиваться, особенно при политическом и экономическом укреплении бывших имперских центров. Однако в процессе национального строительства на постимперском пространстве эта идентичность неизбежно приобретает черты гибридной политической идентичности.

Литература

Бромлей Ю.В. 1989. «Этнический парадокс» современности в историческом контексте. — *Новая и новейшая история*. № 5. С. 62–69.

Ильин М.В. 1997. *Слова и смыслы: Опыт описания ключевых политических понятий*. М.: РОССПЭН. 432 с.

Каспэ С.И. 2001. *Империя и модернизация: Общая модель и российская специфика*. М.: РОССПЭН. 256 с.

Мотыль А. 2004. *Пути империй: Упадок, крах и возрождение имперских государств*. М.: Московская школа политических исследований. 248 с.

Наследие империй и будущее России (под ред. А.И.Миллера). 2008. М.: Новое литературное обозрение. 528 с.

Постсоветская идентичность в политическом измерении: реалии, проблемы, перспективы. Материалы Всероссийской научно-практической Интернет-конференции (под ред. М.В. Назукиной, О.Б. Подвинцева, Н.А. Коровниковой). 2014. Пермь: ООО «Печатный салон «Гармония». 128 с.

Фурман Д.Е. 1996. О будущем «постсоветского пространства». — *Свободная мысль*. № 6. С. 36–50.

Eisenstadt S.N. 1963. *The political systems of empires*. Glencoe: Free Press. 524 p.

Imperiology. From Empirical Knowledge to Discussing the Russian Empire (ed. by Kimitaka Matsuzato). 2007. Slavic research center Hokkaido University. Sapporo. 276 p.

Lieven D. 2000. *Empire. The Russian Empire and Its Rivals*. New York, London: Yale University Press. 486 p.

Политическая панидентичность

И.В. Кудряшова

Ключевые слова: нация-государство, империя, суверенитет, национализм, (пост)колониализм, дискурс идентичности, европейский политический проект.

Политическая панидентичность — вид гибридной политической идентичности, генезис которой восходит к имперскому дискурсу, отразившему противоречие между универсалистскими идеями «всемирной принадлежности» и формирующимся национализмом. Водоразделом между космополитической феодальной системой, состоявшей из взаимно накладывавшихся лояльностей и союзов, и децентрализованной системой условно равных суверенных государств можно считать Вестфальский мир 1648 года. С этим историческим периодом перехода к новой форме политической организации связано и образование *панидентичности* как «третьего пространства» между универсальной и формирующейся гражданской национальной принадлежностями. Во многих случаях политическая панидентичность конструировалась «в поддержку» слабеющим имперским идентичностям или формировалась в рамках постимперского дискурса для решения задач развития и / или интеграции. Зачастую она отражает общественную ностальгию по «славному имперскому прошлому» как в центре, так и на периферии.

Развитие политической панидентичности можно исследовать через различные фазы колониального, национального и постнационального строительства, изобилующие примерами переплетений трансисторических и локальных сообществ и соотносимых с ними идейных позиций и интересов. Так, формирование политической панидентичности в государствах Западной Европы связано с колониальными приобретениями. Новая имперская панидентичность утверждалась как сверху, через идею цивилизаторской миссии и всемирной ответственности, так и снизу, выражая коммерческо-меркантилистские интересы вовлеченных в колониальные проекты буржуазных слоев. Особое положение великих держав в международных системах Нового времени было закреплено юридически и институционально.

В евразийских бюрократических империях (Российской и Османской) конструирование политической панидентичности (панславянской, евразийской, новой османской, панисламской, пантюрокской) объяснялось, с одной стороны, необходимостью политической модернизации и переосмысления идейных оснований легитимации власти, а с другой, — пробуждением националь-

ных чувств населявших их народов и подключением новых культурных и политических групп к дискурсу идентичности. Так, А.И. Миллер отмечает: «Польское восстание 1830–1831 годов весьма убедительно показало, что загнать джинна национализма обратно в бутылку с помощью принципа легитимизма не удастся. Именно как реакция на это восстание... формулируется... концепция триединой русской нации, объединяющей великорусов, малорусов и белорусов» [Миллер 2008: 85]. В Османской империи угроза распада, ограниченный эффект реформ 1839–1876 годов, недовольство реформами консервативных улемов и некоторые другие причины привели в 1878 году к роспуску парламента, приостановке действия конституции и корректировке идейно-политического курса в сторону укрепления политического и духовного единства мусульман на основе панисламской идеи. Официальное признание приоритета мусульманского сообщества (уммы) над государством ускорило политизацию сознания всех населявших империю народов [Кудряшова 2010: 36].

В XX веке распад европейских империй, освобождение колоний и зависимых территорий привели к распространению рамки нации-государства как путем внешнего давления, так и добровольной имитации и / или культурной диффузии. Формирование политической панидентичности на этом этапе обусловлено внутренне противоречивым, но исторически оправданным соединением гражданской идеи со сложившимися конфессиональными, расовыми, этнокультурными и пространственными лояльностями. Так, панафриканизм, зародившись в борьбе против британского и французского колониального владычества, отстаивал единство и права негроидных народов во всемирном масштабе и одновременно призывал к борьбе за самоопределение и национальную независимость.

Историк Г. Уайлдер точно передал гибридную природу идентичности лидеров черного культурного движения (негритюда), бурно развивавшегося во Франции в 1930–1940-х годах: «Они отрицали ассимиляцию, приветствуя смешение культур; выступали за политическое равенство, требуя культурного признания; искали место в республиканской нации как “негро-африканцы”, идентифицируя себя с транснациональным панафриканским сообществом; сотрудничали с колониальными реформаторами, воображая альтернативную “Великую Францию” как нерасистскую наднациональную федерацию; участвовали в рационально-критических дискуссиях, разрабатывая критику самой колониальной рациональности» [Wilder 2005: 5].

Распространенность политической панидентичности в постколониальный период ярко иллюстрируют идеология и движение панарабизма. В 1950–1970-х годах были предприняты многочисленные попытки создания на этой основе межгосударственных союзов. Самой известной из них стало подписание Акта об объединении Египта и Сирии (1958 г.), с ликованием встреченного арабскими народами и открытого для присоединения других стран. Современным выражением панисламской идеи явилось создание в 1969 году Организации Исламская Конференция (с 2011 года — Организация Исламского Сотрудниче-

ства) — единственной в мире межправительственной организации на религиозной основе. Она определила себя как «коллективный голос мусульманского мира», а в качестве ее стратегических целей были декларированы содействие укреплению и консолидации уз братства и солидарности у государств-членов, поддержка борьбы всех мусульман за обеспечение достоинства, независимости и национальных прав и др. Носителем панисламской идеи в ее анахронической и деструктивной форме выступает в настоящее время запрещенная в России экстремистская организация «Исламское государство».

В постнациональную фазу конструирования и осмысления новых политических панидентичностей связано с образованием инокультурных диаспоральных сообществ и «миров» и с новыми социальными движениями. Новый этап институционализации политической панидентичности открыл европейский политический проект. Ф. Фукуяма, в частности, констатирует «антисуверенность» этого проекта, где «суверенитеты преднамеренно встраивали в пласты правил, норм, инструкций, чтобы они больше никогда не вырвались из-под контроля». [Фукуяма 2007: 187]. В культурном отношении панъевропейская идентичность основывается на переосмыслении общего цивилизационного и исторического наследия. Например, утверждение флага ЕС (круг из двенадцати желтых звезд на синем фоне) в 1985 году Совет Европы аргументировал тем, что «число двенадцать было символом совершенства и полноты, в равной степени ассоциировавшимся с апостолами, сыновьями Иакова, подвигами Геракла, римскими Законами XII таблиц, часами дня, месяцами года, знаками Зодиака...» [Cultural identity... 1996: 101–102]. И.С. Семененко полагает конструирование общей идентичности фундаментом европейского проекта [Семененко 2008: 80–81].

«Обратный» пример трансформации политической панидентичности в национальную можно проследить на примере распада СССР, где реализовывалась практика наложения общей правовой, режимной, частично культурной рамки на советские территории и предпринимались, хотя и непоследовательно, попытки формирования единой нации («новой общности советский народ»).

Реструктуризацию функций современного государства, сокращение его самостоятельности в принятии решений, фрагментацию публичной власти, развитие и сращивание сетевых структур отмечают многие исследователи (Д. Арчибуги, Ч. Бикертон, М. Вейнерт, Т. Илген, М. Китинг, Дж. Най, Дж. Негри, Й. Фергюсон, М. Хардт, Д. Хелд и др.; см. напр. [Хардт, Негри 2004; Held 2003]). С одной стороны, вне, внутри и над суверенными государствами формируются новые нормативные порядки, с другой — разрывается привычная связка между государством и нацией, суверенитетом и гражданством. Рассматривая организацию и реорганизацию суверенитета как историческую и непрерывную, формирование политических панидентичностей логично связать со структурированием новых политических пространств (макрорегионы, региональные партнерства и пр.).

Литература

Кудряшова И.В. 2010. Пан-нации и нации-государства в мусульманском мире: Конкуренция воображаемых сообществ. — *МЕТОД: Московский ежегодник трудов из общественных дисциплин: Сб. науч. тр. (гл. ред. М.В. Ильин)*. М.: РАН. ИНИОН. Вып.1: Альтернативные модели формирования наций. С. 30–53.

Миллер А.И. 2008. Прошлое и историческая память как факторы формирования дуализма идентичностей в современной Украине. — *Политическая наука*. № 1. С. 83–100.

Семенов И.С. 2008. Метаморфозы европейской идентичности. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 80–96.

Фукуяма Ф. 2007б. *Сильное государство: управление и мировой порядок в XXI веке*. М.: АСТ: АСТ Москва: Хранитель. С. 187.

Хардт М., Негри А. 2004. *Империя*. М.: Праксис. 440 с.

Cultural identity and archaeology: The construction of European communities (ed. by P. Graves-Brown, S. Jones, C. Gamble). 1996. London, New York: Routledge. P. 101-102.

Held D. 2003. Violence, law and justice in a global age. — *Debating cosmopolitics (ed. by D.L. Archibugi)*. London: Verso. 310 p.

Wilder G. 2005. *The French imperial nation-state: Negritude and colonial humanism between the two world wars*. Chicago, London: University of Chicago press. 404 p.

Гибридная политическая идентичность

И.В. Кудряшова

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, постколониальный дискурс, модернизация, глобализация, национализм, политические партии, политические сообщества.

Для объяснения гибридной политической идентичности ключевое значение имеет концепт гибридности, который в теоретическом дискурсе преимущественно связан со сферами культурологии и социальной психологии, конкретно — с межкультурным взаимодействием, в т.ч. диаспоризацией, креолизацией, синкретизацией и метисизацией. Политическое измерение этот концепт стал приобретать в постколониальных исследованиях (Ф. Фанон, Э.В. Саид, С. Холл, Г.Ч. Спивак, Х.К. Бхабха, Б. Пэрри, П. Джилрой, С. Слемон и др.). В отличие от приверженцев теории зависимости и линейных моделей модернизации, делавших упор на традиционную субъект-объектную парадигму (развитый Запад / отсталый Восток) и бинарную культурную динамику

(поглощение / сопротивление), разработчики постколониального дискурса придают большое значение межкультурному диалогическому обмену, формирующему зону контакта и смешения культур. По их мнению, **гибридность** — это сфера трансформации и изменений, где оспариваются фиксированные идентичности, построенные на эссенциалистских установках; она подразумевает мышление поверх исключающих бинарных понятий, основанных на идеях о «коренной сущности», культурной, расовой или национальной чистоте. Известный исследователь феномена гибридности Х.К. Бхабха образно описал эту сферу как лестничный пролет, лиминальное пространство между маркированными идентичностями, который превращается в соединительную ткань, образующую отличное от верхнего и нижнего, черного и белого. Движение по лестнице не позволяет идентичностям, расположенным на ее концах, превратиться в примордиальные полярности [Bhabha 1994: 4].

Формирование *гибридной идентичности* — процесс, который не имеет предсказуемого результата и не может быть завершен. В матрице такой идентичности (например, гражданина Великобритании, пакистанца по происхождению, мусульманина по вероисповеданию) новые социальные формы (комбинации ценностей, установок, предпочтений, факторов) не замещают старые, но соединяются с ними и переосмысливаются. Возникающие этикетки идентичности не являются «чистыми» или отчетливыми и продолжают переопределяться в зависимости от результатов новых практик.

В политической науке вопрос о гибридной политической идентичности рассматривается через призму модернизации, развития, глобализации и сопряженных с ними процессов и явлений, например, национализма. В широком измерении это связано с перенесением на Восток / Юг рамки суверенной нации-государства с целью организации «нового» *политического пространства*. Вызванная взаимодействием или имитацией современных политических институтов и идей эволюционная чересполосица обуславливает наличие гибридной хронополитической (исторически разновременной) идентичности самой декларируемой нации (например, Конституция Исламской Республики Иран закрепляет принцип народного суверенитета, но подчеркивает, что абсолютная власть над миром и человеком принадлежит Богу, который дал человеку власть над своей общественной жизнью» (ст. 56).

Большинству развивающихся стран свойственна гибридная государственность, которая сочетает современные по форме институты с традиционными структурами и примордиальными лояльностями. Такой тип государственности предопределяет значительную роль неформальных механизмов управления и принятия политических решений.

Широкое распространение имеет термин «гибридный режим», используемый для характеристики режимов, обладающих и демократическими, и авторитарными чертами. Неспособность большинства правящих элит концептуализировать и легитимировать происходящие изменения, вписать их в цивилизационный, религиозный, культурно-политический и социально-исторический ландшафт, авторитарное навязывание «прогрессивно-либерального», «тради-

пионно-консервативного» или «уникального» нарратива об идентичности приводят к исключению из легального политического процесса представителей широких сегментов общества, росту этнонационализма, религиозного и культурного фундаментализма и насилия.

Гибридные политические формы существуют и в консолидированных демократиях Запада. В частности, это относится к партиям нового типа, обязанным своим появлением развитию информационных технологий. Такие партии совмещают функции и традиционных партий, и сетевых движений и получили название «антиистеблшментских» или даже «неоантиистеблшментских» — в зависимости от уровня политической институционализации сетей [см. Морозова 2014].

В узком измерении, на уровне индивида, *гибридные политические идентичности* выражают перманентно переопределяемые комбинации смыслов и основанные на них установки и действия. Ее субъекты могут одновременно выступать и членами, и не-членами политического *сообщества* при общем ощущении тесной связи с ним. Так, по данным социологических опросов, 75% мусульман Великобритании заявляют о лояльности государству, 66% поддерживают власти в борьбе против «Аль-Каиды», но 32% считают законы страны противоречащими шариату (25% не могут ответить на этот вопрос), 28% находят «антимусульманской» английскую полицию, 24% — действия правительства [Хенкин, Кудряшова 2015: 144]¹.

Смешение в гибридной политической идентичности различных категорий (в приведенных примерах — гражданского *национализма*, религиозности и традиционных культурных установок) чревато конфликтом идентичностей и радикализацией позиций индивидов и образуемых ими групп.

Глобализация и сопряженные с ней коммуникационные и миграционные потоки объективно способствуют распространению гибридной политической идентичности. Сама по себе гибридность рассматривается многими исследователями (Х.К. Бхабха, М.М. Крэйди, И.Н. Питерсе) как логическая закономерность глобализации. Бхабха полагает, что гибридный характер принимают и устойчивые *национальные идентичности* в странах Запада, поскольку огромный поток мигрантов, жителей бывшей колониальной периферии,

¹ По результатам собственного исследования установок и ориентиров британских мусульман относительно таких вопросов, как гендерное равенство, гомосексуализм, свобода самовыражения, насилие и терроризм, Канал 4 телевидения Соединенного Королевства в апреле 2016 года представил документальный фильм «Что реально думают мусульмане Британии». В частности, журналисты выясняли, что подавляющее большинство британских мусульман испытывают сильное чувство принадлежности к Великобритании (86%), а также уверены, что могут свободно практиковать свою религию (94%). При этом только 34% готовы проинформировать полицию при возникшем подозрении относительно связи какого-либо лица с теми, кто поддерживает терроризм в Сирии, 52% выступают против легализации гомосексуализма, 23% поддерживают введение шариата, 32% отказываются осуждать тех, кто использует силу против лиц, насмехающихся над пророком, и 31% полагают допустимым многоженство. [C4 survey reveals what British Muslims really think. April 11, 2016. (Эл. ресурс). URL: <http://www.channel4.com/info/press/news/c4-survey-and-documentary-reveals-what-british-muslims-really-think> (accessed 15.02.2017).

подрывает тотализирующий проект Просвещения. Вызываемая ими культурная фрагментацию не может быть устранена в силу невозможности их поглощения и ассимиляции [Bhabha 1990]. Питерсе выделяет три парадигмы взаимовлияния глобализации и культуры: дифференциализм, основанный на расовом и этническом размежевании, конвергенция (распространение рационального универсализма), гибридизация. Гибридизация, или образование «глобального меланжа», противостоит гомогенизации и является «антидотом» культурного дифференциализма расистской и националистической доктрин. Одновременно, сохраняя «изгнанный, маргинализованный и табуированный опыт», она смягчает конфликт идентичностей и способствует сохранению идентичности, хотя и в измененном виде [Pieterse 2009: 43–57]. В современных условиях успешное конституирование гибридных политических идентичностей облегчает развивающимся странам и их гражданам участие в мировых политических и экономических процессах.

Литература

- Морозова Е.В. 2014. Гибридные субъекты публичной политики: Антиистеблишментские партии. — *Вестник ВГУ. Серия: История. Политология. Социология*. № 4. С. 90–93.
- Хенкин С.М., Кудряшова И.В. 2015. Интеграция мусульман в Европе: политический аспект. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С.137–155.
- Bhabha H.K. 1990. *DissemiNation: Time, narrative, and the margins of the modern nation*. — *Nation and narration* (ed. by H.K. Bhabha). Abingdon, New York: Routledge. P. 291–322.
- Bhabha H.K. 1994. *The location of culture*. Abingdon. New York: Routledge. 285 p.
- Pieterse J.N. 2009. *Globalization and culture: Global mélange*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 183 p.

Макрополитическая идентичность

О.Ю. Малинова

Ключевые слова: государство, гражданство, политическое сообщество, нация, империя, конструирование идентичности.

Понятие *макрополитической идентичности* предложено в качестве инструмента анализа процессов идентификации и самоидентификации в современ-

ных обществах, где сосуществуют, конкурируя и сопрягаясь, разные типы сообществ, имеющих устойчивую политическую значимость.

Макрополитическая идентичность — это аналитическая категория, указывающая на всю совокупность различных способов идентификации с сообществом, которое ассоциируется с современным государством. Соответственно, «идентификацией с макрополитическим сообществом можно считать интернализацию правил, норм и ценностей, коллективно осмысленных в рамках групп через солидарность *поверх* политических и идеологических границ на уровне государств» [Акопов 2015: 32; ср. Сообщества... 2009: 17; Малинова 2010].

В эпоху модерна утверждение демократической концепции власти, выражающей волю политического сообщества — народа, происходило параллельно с продвижением националистической идеи, предписывающей рассматривать нации в качестве легитимных единиц политической организации. Хотя действительность никогда в полной мере не соответствовала этим представлениям, они оказали определяющее влияние на формирование способов социального воображения, присущих современным обществам. Благодаря этому в рамках сложившейся политической картины мира интерпретация «конституирующих» государства сообществ в качестве наций является доминирующей. Несмотря на то, что идея нации в силу ее гибкости применяется к очень разным политическим сообществам, в некоторых случаях ее сложно вписать в сложившиеся социокультурные и политические реалии — особенно если притязания разных групп, претендующих на этот статус, сталкиваются. Нередко так происходит в постимперском контексте, который предполагает, с одной стороны, конкуренцию разных проектов «нациестроительства», а с другой — наличие политических и культурных ресурсов для конструирования искомой идентичности в наднациональной / цивилизационной системе координат. Стремясь к политической интеграции обширных пространств, империи с большим или меньшим успехом осуществляют универалистские идеологические (религиозные и светские) проекты, закладывающие основу для культурной общности *поверх* этнических, конфессиональных и языковых границ. Это наследие активно используется для конструирования макрополитической идентичности в постимперском контексте, позволяя рассматривать последнюю сквозь призму не «национальных», но «цивилизационных» различий [Малинова 2012].

В подобных случаях понятие *макрополитическая идентичность* может служить полезным инструментом научного анализа, поскольку оно, не являясь категорией политической практики, *охватывает все присутствующие в публичном дискурсе способы определения сообщества, которое конституируется через принадлежность к конкретному государству, и позволяет выявлять и исследовать возникающие между ними смысловые конфликты.*

В отличие от понятия «политическая идентичность» термин «макрополитическая идентичность» указывает на идентификацию с более широким сообществом, которая предполагает наличие солидарности *поверх* границ, связанных с политическими и идеологическими предпочтениям.

Литература

Акопов С.В. 2015. *Человек многомерный: транснациональная модель идентификации с макрополитическими сообществами (метатеоретический анализ)*. Санкт-Петербург: Алетейя. 296 с.

Малинова О.Ю. 2010. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 90–105.

Малинова О.Ю. 2012. Между идеями нации и цивилизации: дилеммы макрополитической идентичности в XXI веке. — *Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 2. Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке (отв. ред. И.С. Семенов)*. 2012. М.: РОССПЭН. С. 332–354.

Сообщества как политический феномен (под ред. П.В. Панова, К.А. Сулимова, Л.А. Фадеевой). 2009. М.: РОССПЭН. 247 с.

Идейно-политическая идентификация

К.Г. Холодковский

Ключевые слова: политические идеологии, электоральный выбор, консерватизм, либерализм, социализм, радикальные идеологии, влияние среды, жизненная ориентация, негативная самоидентификация,

Идейно-политическая самоидентификация является понятием, означающим самоотнесение индивида и / или группы к тому или иному референтному сообществу на политическом поле, для которого характерно избирательное отношение к определенным политическим идеям. *Идейно-политическую самоидентификацию можно определить как принятие индивидом или группой комплекса представлений, ценностей, установок, предпочтений, более или менее адекватно соотносимых с одной из политических идеологий новейшего времени (национализм, консерватизм, либерализм, социализм, коммунизм, фашизм).*

С известными оговорками можно говорить об *идейно-политической самоидентификации* и в том случае, когда политический выбор определяется религиозной или конфессиональной идентичностью индивида или группы (например, для части сторонников христианско-демократических партий). Религиозная идентичность чаще предопределяет консервативный политический выбор, но есть и заметные исключения (левые католики, французские протестанты). Идеология может быть обращена как в прошлое (консерватизм), так и в идеальное будущее (коммунизм) [Leiserson 1958; Political Parties 1978].

Идейно-политическая самоидентификация выстраивает определенную иерархию социальных ценностей. Политические идеологии, претендующие на создание универсальной картины мира, так или иначе оформляют собственный общественный и политический опыт индивидов и групп, стереотипизируют их политическое сознание. Идейно-политическая самоидентификация, как и партийно-политическая самоидентификация, в значительной, хотя и не в исключительной мере, определяет политическое поведение и прежде всего электоральный выбор [Almond, Verba 1980; Inglehart 2015].

Сыгранная политическими партиями в истории роль в процессе трансляции политических идеологий чрезвычайно велика. Но при этом могут возникать и такие ситуации, когда идейно-политическая самоидентификация не влечет за собой партийно-политического выбора — если в данной стране не существует партии, вдохновляемой избранной индивидом идеологией, или, по его мнению, существующая партия не воплощает достаточно адекватно принципы, провозглашаемые этой идеологией. Наконец, идейно-политической самоидентификации может соответствовать колеблющийся политический выбор, если в стране существует не одна партия, вдохновляемая данной идеологией.

Э. Кемпбеллом и другими исследователями мичиганской школы показано, что партийно-политическая самоидентификация по сравнению с идейно-политической — гораздо более легкий способ освоения реальности, переходный этап от аполитичности к непротиворечивым идеологическим ориентациям. Идеологический выбор сравнительно легче в таком обществе, как США, где фактически существуют лишь две основные идеологии (консервативная и либеральная), и сложнее в европейских обществах, где налично богатый идеологический «рынок». Вполне возможно заимствование человеком ценностей и установок, характерных для той или иной идеологии, без явной самоидентификации с ней.

Идейно-политическая самоидентификация в сравнении с партийно-политической предполагает значительно более серьезную, хотя бы и ментальную, включенность в политический процесс. Поэтому обычно среди придерживающихся идеологической ориентации доля имеющих постоянную (в терминах постструктурализма, базисную) политическую идентичность, определяемую всем политическим опытом человека, процент членов партии и особенно активистов выше, чем среди простых сочувствующих. Идеологические ценности играют роль фильтра, процеживающего и корректирующего общественный и политический опыт индивида или группы.

Разумеется, среди рядовых членов партии и даже активистов не так много людей с непротиворечивой идейной ориентацией, истинных знатоков партийной идеологии, которая в их понимании обычно сводится к ограниченному комплексу представлений, ценностей и смыслов, отличающих партию от ее партнеров и конкурентов. В ряде случаев подразумевается ориентация на определенные символы и словосочетания, характерные для тех или иных идеологий. Возможно и чисто вербальное принятие идеологических ценностей

как бы в оправдание партийного выбора. Поэтому нередко грань между идейной и чисто политической партийной самоидентификацией достаточно тонка и может размываться. Чем дальше от центра ареала влияния партии, тем меньше распространение идейно-политической самоидентификации, тем противоречивее ее реальное воплощение.

Как распространенное в обществе явление идейно-политическая самоидентификация возникает одновременно с процессом постепенного формирования современной партийно-политической системы. В конце XVIII–XIX века политическая конфигурация оформляется как деление на «правых» и «левых», в идеологическом плане — на консерваторов и либералов, а затем также социалистов и националистов. В XX веке к этому спектру добавились радикальные политические идеологии — коммунизм и фашизм. Тоталитарные идеологии привлекают адептов, давая всему упрощенное объяснение. С другой стороны, идеология социалистов эволюционировала в более умеренную социал-демократическую, получили развитие различного рода гибридные идейно-политические течения (христианско-демократические, национал-консервативные, социал-либеральные и т.д.). Возникли также идеологии (экологизм, феминизм, альтерглобализм), при известной оппозиционности которых не подразумевается определенный партийно-политический выбор. Наконец, появились установки, определяемые некоторыми исследователями как «стыдливые» идеологии (технократизм, прагматизм), оправдывающие деидеологизацию политики и общественной жизни во имя достижения непосредственных целей.

Весь этот процесс имел прямую связь с вовлечением в XX веке в политику массовых слоев населения по мере расширения избирательных прав вплоть до введения всеобщего избирательного права. Тем самым идейно-политическая самоидентификация приобрела массовый характер и начала в большинстве случаев утрачивать былую интенсивность и аутентичность (которая и прежде не была идеальной), зачастую ограничиваясь набором мало связанных между собой стереотипов.

Тип индивидуальной идейно-политической самоидентификации во многом зависел как от социальной среды, так и от жизненной ориентации, характерной для данного индивида. Так, многими исследователями отмечалось, что ориентация на жизненное преуспевание, на защиту и расширение собственности способствовала самоидентификации с либералами, консерваторами и другими правыми или правоцентристскими партиями и их идеологическим кредо. Ориентация на альтруизм содействовала выбору левых или конфессиональных партий с их идеологическими позициями. Однако практика политического развития многих стран показала, что такого рода зависимость отнюдь не следует абсолютизировать.

В конце XX — начале XXI века с закатом «великих идеологий», появлением «партий для всех» и расширением индивидуального выбора в ущерб групповому значение идейно-политической самоидентификации значительно уменьшилось. В современном обществе идейно-политическая ориентация

обычно свойственна лишь сравнительно небольшому меньшинству населения. Электоральное поведение и политическое участие в целом чаще, чем раньше, стали определяться прагматическими соображениями, соотносящимися с политической конъюнктурой, преломляющейся через жизненные ориентации индивида и реакции среды.

В то же время для обоснования индивидом своей политической позиции зачастую по-прежнему могут использоваться стереотипы, заимствованные из той или иной идеологизированной субкультуры. В отдельные периоды (например, в годы доминирования неоллиберальных идей в США и Великобритании) происходят оживление и активизация роли идеологий в партийном противостоянии. Во время социальных и политических кризисов может наблюдаться и иной феномен: несоответствие политического выбора части населения ее идейной ориентации.

Большим своеобразием отличается идейно-политическая самоидентификация в постсоветской России [Попова 2002; Коргунюк 2007]. В ее формировании большую роль играла негативная самоидентификация. Первоначально речь шла преимущественно об отталкивании от дискредитировавшей себя коммунистической идеологии. Но с середины 1990-х годов под влиянием неудачного реформаторского курса Ельцина–Гайдара, страдавшего значительным уклоном в сторону неоллиберализма, все большую интенсивность приобретает отвержение широкими слоями населения комплекса идей и смыслов, связанных с либерально-демократической политикой.

В настоящее время как приверженцы коммунистических и радикально националистических ценностей, так и особенно сторонники либеральных взглядов составляют в России сравнительно немногочисленное меньшинство. Что касается большинства, позитивная идейно-политическая идентичность оформляется в этой среде значительно медленнее и, как правило, остается достаточно неопределенной и противоречивой. Идейно-политическая идентичность в значительной мере персонифицирована (Путин, Зюганов, Жириновский).

В 1990-е годы отсутствие официальной государственной идеологии делало массовую партийно-политическую самоидентификацию в России неопределенной, ситуативной [Дилигенский 1999]. Постепенное выявление официальной значимости консервативной идеологии, защищающей традиционные ценности, содействовало вместе с иными, зачастую более действенными факторами, оформлению электоральной базы партии «Единая Россия». Если идеологическим знаменем «правой» оппозиции является либеральный индивидуализм, то для «Единой России» такую роль играет трактуемое в патерналистском и популистском ключе государственничество. В то же время идейно-политическая и партийная самоидентификации нередко рассогласованы: в электорате проправительственной партии могут присутствовать группы и индивиды с весьма различной идейной и политической идентичностью, а также и лица, не имеющие сколько-нибудь ясной социальной и тем более идеологической ориентации [Холодковский 2013].

Литература

- Дилигенский Г.Г. 1999. Дифференциация или фрагментация? (О политическом сознании и в России). — *Мировая экономика и международные отношения*. № 10. С. 65–70.
- Коргунок Ю.Г. 2007. *Становление партийной системы современной России*. Москва: Фонд ИНДЕМ. 543 с.
- Попова О.В. 2002. *Политическая идентификация в условиях трансформации общества*. Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ. 258 с.
- Холодковский К.Г. 2013. Существует ли в российском обществе идейно-политическая дифференциация? — Холодковский К.Г. *Самоопределение России*. М.: РОССПЭН. С. 244–268.
- Almond G.A., Verba S. 1980. *The Civic Culture Revisited*. Boston: Little Brown. 421 p.
- Inglehart R. 2015. *Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics*. Princeton, NJ: Princeton University Press. 496 p.
- Leiserson A. 1958. *Parties and Politics. An Institutional and Behavioral Approach*. New York: A. Knopf. 379 p.
- Political Parties: Development and Decay* (ed. by L. Maisel, J. Cooper). 1978. London: SAGE Publications. 344 p.

Партийно-политическая самоидентификация

К.Г. Холодковский

Ключевые слова: политическая социализация, электорат, политический выбор, негативная самоидентификация, кливажи, «партии для всех», политическая коммуникация, политические лидеры, политика идентичности.

Партийно-политическая самоидентификация есть понятие, определяющее самоотнесение индивида и / или группы к тому или иному референтному сообществу на политическом поле и таким образом формирующее их политическую идентичность. Под партийно-политической самоидентификацией понимается самоотнесение индивида или группы к числу приверженцев существующих в данном обществе партий или других значимых политических групп. В этом случае в сознании индивида или группы положительно запечатлевается образ той или иной партии, воспринимаемый не только через ее практическую деятельность, но и через ценности, символы, слоганы, программы, проекты, утопии, вырабатываемые ее руководящими органами. Характер партийно-политической самоидентификации, типичный для данного общества, — существенный показатель его политической жизни, выявля-

ющий особенности его политической культуры, степень его демократичности и стабильность.

Партийно-политическая самоидентификация в значительной, хотя и не в исключительной мере определяет политическое поведение и прежде всего электоральный выбор. Определенность и интенсивность партийно-политической самоидентификации может проявляться в различных формах политического поведения: направленности и постоянстве (пассивных) политических симпатий / антипатий, электоральном выборе, членстве в партии, политическом активизме. Интенсивность и выбор форм политического участия обычно, хотя и не всегда, зависят от интенсивности принятой политической идентичности [Party System... 1967].

Зарождение явления партийно-политической самоидентификации естественным образом связано с развитием политических институтов, создающим возможность политической конкуренции, возникновением современного политического поля, его эволюцией и структурированием. Протопартии, существовавшие в виде кланов и клик в античном греко-римском обществе и в средневековых монархиях, в силу узости состава и сравнительно примитивных, неполитических методов борьбы и присвоения власти не порождали разработанной системы ценностных ориентиров, могущих служить основой политической идентичности в ее современном смысле.

С началом эпохи современных партий, возникших в конце XVIII — начале XIX века сперва как аристократические группировки, затем как политические клубы (М. Вебер), самоидентификация их членов приобретает действительно партийный характер. В Великобритании, во Франции, в США, а затем и в ряде других стран Запада с распространением и совершенствованием парламентского строя партийно-политическая самоидентификация становится все более существенным элементом формирования и выявления социальной идентичности.

Впоследствии, с конца XIX века, возникновение феномена массовых партий и особенно введение всеобщего избирательного права знаменуют распространение процесса индивидуальной и групповой партийно-политической самоидентификации на основную часть общества. Такого рода самоидентификация приобретает значение важнейшего фактора в расстановке политических сил и определении перспектив социально-политического развития.

В сознании индивидов и групп, принявших определенную партийную ориентацию, приобретают интенсивную позитивную окраску не только самоназвание партии, но и другие связанные с ней символы и понятия. С другой стороны, в процессе партийно-политической самоидентификации значительную роль может играть фактор «негативной политической идентичности» — противоположение «мы-они», отталкивание от образа «Другого», то есть политического актора, воспринимаемого в качестве чуждой, враждебной силы.

Согласно Х.Д. Клингеманну и М.П. Уоттенбергу [Klingemann, Wattenberg 1992], в двухпартийной системе электорат делится на три группы. Первая из них имеет четкое представление о партиях — положительное об одной

и негативное о другой, вторая — колеблющиеся избиратели, балансирующие от одной партии к другой, сознавая плюсы и минусы обеих, третья — апатичные, не способные к определенному суждению. Более сложный характер имеет конфигурация (и партийный выбор) в многопартийных системах.

Широкое распространение получает с конца XIX века марксистская трактовка процесса партийно-политической самоидентификации (формирования политической ориентации), непосредственно выводящая ее из социально-классового статуса политического субъекта. Значение социально-классовой принадлежности индивида или группы для их политического выбора в эпоху Модерна, несомненно, велико. Так, электоральная база левых, социал-демократических партий во многом формировалась за счет пролетарских слоев, в значительной мере объединенных в профессиональные союзы, электоральной опорой либеральных партий служили прежде всего буржуазия и интеллигенция, консервативные и конфессиональные партии привлекали на свою сторону крестьянскую и городскую мелкобуржуазную массу.

Однако при всей важности социального статуса его влияние уже тогда далеко не всегда становилось определяющим. Реальные связи в этом аспекте могли быть и часто были намного более сложными, что, в частности, доказывалось лишь частичным успехом партий, ориентировавшихся на рабочий класс. Для достижения успеха партия должна была учитывать и согласовывать интересы целого блока социальных сил. Особенно явно межклассовость проявлялась в конфессиональных и националистических партиях.

Сложность, многослойность, многоуровневость процессов социализации, в ходе которых вырабатывается индивидуальная и групповая партийно-политическая самоидентификация, была показана учеными США — страны, в которой не было столь острого классового противостояния, как в Европе. В 1960 году социологи мичиганской школы Э. Кемпбелл, Ф. Конверс, У. Миллер и Д. Стоукс опубликовали исследование «Американский избиратель» [Campbell, Converse, Miller, Stokes 1967], показавшее влияние социальной среды, непосредственного окружения, семейных традиций, индивидуального опыта и других факторов на процесс выработки и закрепления партийной идентификации. Первоначальный выбор индивида или группы в процессе социализации может быть связан с неполитическими предпочтениями, но, закрепившись, может сохраняться даже при отпадении этих неполитических факторов.

Исследователи показали также, что партийно-политическая самоидентификация далеко не обязательно означает принятия индивидом или группой всего комплекса идей, написанных на знамени поддерживаемой ими партии. По данным Кемпбелла и его соавторов, 70% опрошенных ими избирателей обладали определенной партийной идентификацией, но лишь 15% смогли непротиворечиво воспроизвести идеологические конструкции, поднимаемые на щит «их» партией [ibid.: 69]. Таким образом, партийно-политическая самоидентификация далеко не совпадает или не полностью совпадает с самоидентификацией идейно-политической.

Исследованием группы Кемпбелла было положено начало сочетанию социологического и психологического подходов к изучению проблемы. В то же время не все выводы этих исследователей в дальнейшем получили признание. Под влиянием американских реалий, сложившихся к середине XX века, эти авторы переоценили роль семейных традиций в стабилизации партийно-политической самоидентификации и электорального поведения, сделав спорное заключение о сохранении, как правило, однажды выработанной партийной приверженности. Подвергся в дальнейшем сомнению и их тезис о том, что скорее партийная самоидентификация влияет на политические установки, чем наоборот. По их мнению, только если противоречащая партийной ориентации информация все же просачивается сквозь плотный фильтр, создаваемый партийной идентичностью, это может привести к ее постепенному размыванию.

Важность для первоначальной политической мобилизации и партийного выбора социальных кливажей (cleavages–размежеваний) по линиям центр–периферия, государство–церковь, собственники–работники, город–деревня, показали С. Роккан и С. Липсет [Party System... 1967]. Ими, а также Р. Далтоном [Dalton 1984] было подчеркнuto не только многообразие неополитических факторов, влияющих на партийный выбор, но и особое значение идейно-политической самоидентификации для определения и сохранения самоидентификации партийной. Р. Далтон указал на возрастающую в эпоху позднего Модерна роль политической коммуникации и усиливающееся в развитых демократиях значение когнитивного выбора в политическом самоопределении. Далтон дал также анализ политических ориентаций в развивающихся странах.

Новый этап в исследовании партийной самоидентификации наступил в конце XX — начале XXI века, когда процессы индивидуализации, закат «великих идеологий» и распространение неидеологических «партий для всех» или «картельных» партий поставили под вопрос постоянство пристрастий электората, сделали партийно-политическую самоидентификацию зачастую поверхностной и колеблющейся. Р. Катц и П. Мэйр [Katz, Mair 1995], а также А. Мелуччи [Melucci 1989] и другие исследователи показали, что для партийной ориентации значительно уменьшилось значение идейно-политической самоидентификации, зато увеличилась роль прагматического партийного выбора, определяемого зачастую преходящими причинами, — не только заинтересованностью в конкретных мерах, осуществляемых или предлагаемых политическими акторами, но и воздействием интенсивной политики идентичности, проводимой стоящими у власти или оппозиционными политическими силами, то есть направленной политической коммуникацией и информацией, и не в последнюю очередь — личностью возглавляющего партию харизматического лидера.

В условиях интенсификации миграционных процессов и конфликтов, возникающих на этнической почве, нередким явлением стало влияние этносоциального и этнокультурного факторов на складывание партийно-политической

самоидентификации. Характерный пример — голосование афроамериканцев и испаноязычных мигрантов в США за кандидата в президенты от Демократической партии Барака Обаму.

Партийно-политическая самоидентификация может приобретать не только базисный (постоянный), сформированный всем политическим опытом человека, но и ситуативный характер, определяемый конкретной политической ситуацией либо с помощью различных манипулятивных методов. В этом случае самоидентификация может и вступать в противоречие с принятыми индивидом ценностями [Greene 2004].

Высокий уровень партийно-политической самоидентификации в обществе затрудняет образование и успех новых партий. Напротив, снижение этого уровня, тем более частое в последние десятилетия в развитых странах возникновение настоящих кризисов партийно-политической самоидентификации, облегчает переток голосов от одной партии к другой и создает благоприятные условия для расширения состава политических акторов. В условиях такого расширения или резкого изменения партийной системы (как в Италии) у многих избирателей не возникает постоянной партийно-политической самоидентификации [см. напр. Левин 2009]. Менее всего постоянная партийная идентичность характерна для среднего класса, удельный вес которого в обществе значительно увеличился. Во многих случаях электоральная позиция индивидов или групп определяется привходящими обстоятельствами (оценка текущих событий, протест против тех или иных мер правительства и т.п.).

Исследования показали, что многие истинные причины той или иной политической ориентации могут оставаться скрытыми, поскольку конкретные прагматические ожидания даже в самом сознании индивидов могут по традиции выступать под прикрытием привычных партийных образов и идеологических стереотипов. При явном уменьшении роли идеологий совсем сбрасывать их со счета в любом случае не приходится.

В конце XX — начале XXI века уменьшилось значение групповой партийно-политической ориентации, возросло значение индивидуального выбора. В то же время возросшие, хотя и своеобразно, когнитивные возможности индивидов привели и к распространению критического взгляда на партии как устаревшие, закостеневшие в своем традиционном модусе, значительно дистанцированные от рядового гражданина институты. В этом случае политическая самоидентификация может идти помимо партий, используя другие возникающие формы — слабо структурированные движения, одномоментные кампании и т.д.

Значительную специфичность имеют процессы формирования партийно-политической самоидентификации в новейшей истории России. Начинаясь в России первых лет XX века партийное размежевание было прервано приходом к власти большевиков, которые заменили естественное складывание партийных ориентаций интенсивнейшей политикой идентичности в условиях жестких ограничений политической свободы. Крушение тоталитарного советского режима и возникновение многопартийности поставили вопрос

о формировании партийно-политической идентичности в условиях общества, лишенного длительного опыта сопоставления политических позиций [Холодковский 2013; Попова 2002; Коргунюк 2007].

В сфере партийно-политической самоидентификации сказываются все заложенные российской историей проблемы: слабость гражданских основ идентичности, связанной с запаздыванием развития, глубоко укорененный культурный раскол, наконец — «неуверенность в себе и недоверие ко всем другим» (по выражению российского ученого Г.М. Мирского). Не в последнюю очередь сказались и нарастающие ограничения политической деятельности оппозиции, и новая интенсификация политики идентичности, направленной на формирование выгодной властным кругам ориентации основных масс населения.

Многие исследователи (В. Гельман, Г. Голосов, Г. Дилигенский) отмечали отсутствие у большинства российских избирателей ясной и последовательной идейной и партийно-политической самоидентификации [см. напр. Дилигенский 1999]. В сознании многих избирателей уживаются противоречащие друг другу ценности и установки. При серьезном падении значения выборов и формировании у избирателей соответствующего к ним отношения голосование приобретает во многих случаях механический характер, не будучи подкреплено глубинной позитивной партийно-политической самоидентификацией. В 1990-е годы политическая ориентация многих избирателей претерпевала многократные изменения. В то же время значительную роль в современной России играет негативная политико-партийная самоидентификация — сначала (конец 1980-х — начало 1990-х годов) носившая антикоммунистический, а затем, после реформ Ельцина–Гайдара, антилиберальный характер, в настоящее время, в условиях массовой архаизации сознания — активное неприятие оппозиционных партий и других политических сил, олицетворяющих «ненавистный Запад» и его «пособников» внутри страны. Серьезное значение для электорального поведения россиян имеют и лидерский фактор, и господствующий тип политической коммуникации.

Значение негативной партийно-политической самоидентификации велико также в бывших социалистических восточноевропейских странах. Однако там направленность негативной ориентации связана в основном с отрицанием прошлых связей с Россией и «социалистической системой», а в последние годы — и с усилением критики европейского интеграционного проекта.

Литература

- Дилигенский Г.Г. 1999. Дифференциация или фрагментация? (О политическом сознании и в России). — *Мировая экономика и международные отношения*. № 10. С. 65–70.
- Коргунюк Ю.Г. 2007. *Становление партийной системы современной России*. Москва: Фонд ИНДЕМ. 543 с.
- Левин И.Б. 2009. В урнах — пепел демократии? — *Полития*. № 2. С. 102–140.

Попова О.В. 2002. *Политическая идентификация в условиях трансформации общества*. Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ. 258 с.

Холодковский К.Г. 2013. Проблемы и противоречия российской идентичности. — Холодковский К.Г. *Самоопределение России*. М.: РОССПЭН. С. 268–298.

Campbell A., Converse Ph., Miller W., Stokes D. 1967. *The American Voter*. Ann Arbor: University of Michigan Press. 578 p.

Dalton R. 1984. Cognitive Mobilization and Partisan Dealignment in Advanced Industrial Democracies. — *Journal of Politics*. No. 46. P. 264–284.

Greene S. 2004. Understanding Party Identification: A Social Identity Approach. — *Political Psychology*. Vol. 20. No. 2. P. 393–403.

Katz R., Mair P. 1995. Changing Models of Party Organization and Party Democracy. The Emergence of the Cartel Party. — *Party Politics*. No. 1. P. 5–28.

Klingemann H., Wattenberg M. 1992. Decaying versus Developing Party Systems. — *British Journal of Political Science*. No. 2. P. 131–149.

Melucci A. 1989. *Nomads of the Present: Social Movement and Individual Needs in Contemporary Society*. Philadelphia: Temple University Press. 288 p.

Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives (ed. by S.M. Lipset, S. Rokkan). 1967. New York: Free Press; London: Macmillan. 554 p.

Субъективное пространство политики

И.В. Самаркина

Ключевые слова: индивид, политический мир, политическое сознание, политические ценности, политические установки, политическая культура, политический менталитет, политическая идеология, политическая картина мира, политическая идентичность.

Субъективное пространство политики — неотъемлемая часть политической сферы общества, результат репрезентации политики всеми ее участниками. Субъективное пространство политики включает когнитивные, символические, идеологические и культурные образования, обуславливающие содержание ориентационно-поведенческих комплексов разнообразных политических акторов и участников политики, оказывающих влияние на организационные формы политических институтов и властных отношений.

Традиционно в исследованиях политической сферы выделялся (и продолжает выделяться) основной — институциональный аспект или, так называемый, объективный срез политики. Однако даже самые убежденные институционалисты признают факт существования в сфере политики целого ком-

плекса феноменов, не относящихся напрямую к функционированию политических институтов, но, несомненно, оказывающих важное влияние на их форму, дизайн и динамику развития в разных политических системах. К субъективному пространству политики относят все многообразие ее неинституциональных аспектов. Интерес к исследованиям человеческого измерения политики, изучению различных форм репрезентации мира политики в индивидуальном и групповом сознании в последние годы привел к необходимости более четкой и последовательной дифференциации и номинации субъективного пространства политики, к определению его основных компонентов, их роли и функций.

Основная проблема исследования субъективного пространства политики — терминологическая неопределенность этого феномена. Понятия «неинституциональные основы политики», «политическое сознание», «политический менталитет» или «культурно-идеологический компонент политической системы», используемые как синонимы, зачастую не позволяют продвинуться далее в операционализации и эмпирическом изучении всего многообразия мира политики, который находится за пределами функционирования политических институтов.

В исследованиях неинституциональных аспектов политики к настоящему времени в современной отечественной политической науке сложилось несколько направлений: психологическое (Г.Г. Дилигенский, А.И. Юрьев, Д.В. Ольшанский, Е.Б. Шестопап, Н.М. Ракитянский и др.), социокультурное (Э.Я. Баталов, Н.И. Лапин, И.С. Семенов, А.И. Соловьев и др.) и идейно-символическое (М.В. Ильин, О.Ю. Малинова, С.П. Поцелуев и др.). Вряд ли можно говорить о принципиальных разногласиях между этими направлениями, скорее о разных феноменах субъективного пространства политики, которые выделяются в качестве приоритетного предмета исследования.

Субъективное пространство политики включает все многообразие репрезентаций политического мира, опосредованных участниками политической жизни (субъектами, обладающими сознанием и способностью создавать смыслы, воспринимать и интерпретировать): индивидами (рядовыми участниками политики, экспертами, исследователями политики), группами, политическими и научными сообществами, индивидуальными (профессиональными политиками, политическими лидерами) и групповыми (политическими партиями, государством) акторами политики. Поэтому, отвечая на вопрос о том, кто является субъектом отражения политической реальности (в чьем сознании присутствуют эти репрезентации и интерпретации), можно рассматривать индивидуальное и коллективное сознание как источник и поле формирования соответствующих (индивидуальных или коллективных) представлений о политике.

Феномены, составляющие субъективное пространство политики, чрезвычайно разнообразны и многолики, поскольку возникают в сознании в результате целенаправленного или стихийного влияния различных факторов и институтов. Эти феномены различаются по содержанию, степени адекватности

отражения политической реальности, устойчивости, функциям, причинам возникновения (являются результатом сознательной деятельности или стихийно возникшим феноменом) и другим признакам.

Субъективное пространство политики — динамичная, многомерная, многоуровневая, открытая система, к основным компонентам которой относятся политическое сознание, содержащиеся в нем ценности и установки; политическая культура; политический менталитет; идейно-символическое пространство политики и политическая идеология как его часть; научные представления о политической реальности, политическая картина мира и политическая идентичность.

Традиционно для рефлексии политики индивидуальным и коллективным субъектом используется понятие «политическое сознание», понимаемое очень широко как результат восприятия субъектом той части реальности, которая связана с политикой, вопросами власти и подчинения, государством и его институтам [Шестопап 2000: 157]. Среди всех компонентов субъективного пространства политики политическое сознание выступает наиболее общей категорией, отражающей всю совокупность чувственных и теоретических, ценностных и нормативных, рациональных и подсознательных представлений человека, которые опосредуют его отношения с политическими структурами [Соловьев 2002: 330]. Важной частью политического сознания являются политические ценности, фундаментальные ментальные образования, абстрактные идеалы, не связанные с конкретным объектом или ситуацией, своего рода представления человека об идеальных моделях поведения и идеальных конечных целях в политике. Политические ценности — феномены индивидуального сознания, отражающие усвоенные индивидом социально-групповые представления [Мелешкина 2001: 130-134]. Политические установки, в отличие от ценностей, характеризуют отношение человека преимущественно к конкретным объектам (политическим партиям, выборам и т.п.). Политические установки «предшествуют действию, являясь его начальным этапом, настроен на действие» [Шестопап 2000: 160].

Политический менталитет — часть субъективного пространства политики, совокупность полученных в процессе политической социализации знаний, ориентаций, ценностей и установок [Шестопап 2010: 275]. Он представляет собой «психологическую оснастку» социальных и политических субъектов и проявляется в особенностях мышления, верования, чувствования, волеизъявления, которые эксплицируются в понятиях, установках, представлениях, стереотипах, ценностях, идентичностях и особенностях политического поведения [Ракитянский 2011: 95–96]. Упомянутые особенности мышления тесно связаны со структурой языка, поскольку менталитет (национальный, политический) — конструкт коллективного сознания, в разных формах отражающийся в сознании индивидуальном (в зависимости от принадлежности носителя к той или иной социальной или идейно-политической общности).

Одним из компонентов субъективного пространства политики является политическая культура, то есть «специфические политические установки

в отношении политической системы и различных ее частей и установки по отношению к собственной политической роли в системе» [Алмонд, Верба 2010: 131], включающая когнитивные ориентации (знания и убеждения), аффективные ориентации (чувства) и оценочные ориентации (убеждения и мнения) по отношению к политической системе. Политическая культура отражает относительно устойчивые, типичные для политического сообщества (региона, страны, политической системы) формы и образцы поведения в публичной сфере, на которые влияют ценностные представления о мире политики и сложившиеся в социуме нормы и традиции взаимоотношений государства и общества [Соловьев 2002: 375]. Политическая культура выполняет функцию «самовоспроизводства политической жизни общества» [Баталов 1990: 22]. Таким образом, в субъективном пространстве политики политическая культура является наиболее устойчивой частью, представленной, в первую очередь, в коллективном поведении, а через него — в индивидуальном сознании.

Важным компонентом субъективного пространства политики выступает идейно-символическое пространство — совокупность идей, образов, символов, нарративов, мифов и прочих способов репрезентации смыслов, способных образовывать более или менее устойчивые комбинации и служить ориентирами для политических акторов [Идейно-символическое... 2011: 14].

Политическая идеология в рамках коммуникативной парадигмы также рассматривается как часть субъективного пространства политики. Действительно, все элементы субъективного пространства политики, по сути, обеспечивают сложный механизм политической коммуникации, передачи и интерпретации смыслов участниками этого процесса. Политическая идеология как часть субъективного пространства политики трактуется довольно широко как «набор символических форм (не только идей, но и образов, действий и даже вещей), обращаясь в социуме» [Соловьев 2004: 32]. Политическая идеология в узком смысле как доктрина, оправдывающая притязания той или иной группы лиц на власть (или ее использование), добивающаяся в соответствии с этими целями подчинения общественного сознания своим целям [Соловьев 2002: 335], выступает важным инструментом конструирования индивидуальных представлений о политике.

Важной частью субъективного пространства политики является система научных представлений о политической реальности, которая посредством работы институтов политической социализации становится частью индивидуальных и коллективных представлений и систем репрезентации и интерпретации политики и с разной степенью интенсивности взаимодействует с другими компонентами субъективного пространства политики. Для понимания того, как идеи и смыслы, наполняющие идейно-символическое пространство политики, рефлексированы индивидуальным сознанием, используется категория «политическая картина мира».

Политическая картина мира представляет собой личностно-субъективный срез политики, место пересечения, соприкосновения основных компонентов субъективного пространства политики с жизненным миром отдельного челове-

ка или группы. Политическая картина мира — это подвижная система образов и представлений о власти и политике, ее структуре, механизмах и конфигурации в окружающей действительности, отражающая политический мир. Она является результатом интериоризации политического мира как части жизненного мира в индивидуальном и коллективном сознании и выступает механизмом перевода представлений и ориентаций относительно политики в различные формы коллективного или индивидуального политического действия.

Таким образом, субъективное пространство политики, являясь неотъемлемой частью политической сферы общества, включает многообразие эмоционально-когнитивных, ценностно-установочных и поведенческих феноменов, различных по содержанию (знания, эмоционально окрашенные образы и представления, ценностные и нормы); механизмам функционирования (сознательные и бессознательные); форме репрезентации (в индивидуальном и коллективном сознании), выполняющих функцию репрезентации и интерпретации мира политики и определяющих институциональный дизайн политической системы. В этом пространстве политическая идентичность занимает особое место, являясь результатом сложного взаимодействия всех компонентов этого пространства в индивидуальном и коллективном сознании, поэтому ее следует рассматривать как часть субъективного пространства политики, играющую роль ориентационного поведенческого комплекса, актуализированного под влиянием системы внутренних и внешних факторов.

В настоящее время можно выделить, по меньшей мере, три перспективных направления исследований субъективного пространства политики. Во-первых, следует отметить необходимость расширения пространственных характеристик политики и детальное изучение, наряду с его физическими, географическими, информационными и прочими параметрами, субъективное пространство политики, обосновывая и очерчивая его границы, включая в него разнообразные аспекты, связанные с восприятием, пониманием, репрезентацией, интерпретацией и объяснением политической сферы всеми участниками политической жизни. Во-вторых, важным направлением исследований субъективного пространства политики выступает описание его структуры и уровней, а также функций входящих в него феноменов. В-третьих, необходима систематизация внешних факторов и описание внутренней логики функционирования субъективного пространства политики.

Литература

- Алмонд Г.А., Верба С. 2010. Гражданская культура. — *Полития*. № 2. С. 122–144.
- Баталов Э.Я. 1990. *Политическая культура современного американского общества*. М.: Наука. 254 с.
- Идейно-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы* (под. ред. О.Ю. Малиновой). 2011. М.: РОССПЭН. 285 с.
- Мелешкина Е.Ю. 2001. *Политический процесс: основные аспекты и способы анализа*. М.: Весь Мир. 304 с.

- Ракитянский Н.М. 2011. Понятия сознания и менталитета в контексте политической психологии. — *Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки*. № 6. С. 89–103.
- Соловьев А.И. 2002. *Политология. Политическая теория. Политические технологии*. М.: Аспект Пресс. 559 с.
- Соловьев А.И. 2004. Выступление в дискуссии «Современные тенденции развития символического пространства политики и концепт идеологии». — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 28–36.
- Шестопап Е.Б. 2000. *Психологический профиль российской политики*. М.: РОССПЭН. 430 с.
- Шестопап Е.Б. 2010. *Политическая психология*. М.: РОССПЭН, 2010. 415 с.

Политический менталитет

Н.М. Ракитянский

Ключевые сопряженные понятия: политическая идентичность, политический субъект, фрустрированная идентичность, ментальные основания, ментализация, политическая культура, политическое сознание, ментальность, политическая полиментальность, ментально-догматическая экспансия.

В начале XX века в науках о человеке и обществе зарождается и со второй половины столетия усиливается интерес к познанию особенностей проявления сознания различных социальных, а затем и политических субъектов посредством понятия «менталитет», которое было введено в научный оборот в 1910 году французским этнологом и антропологом Л. Леви-Брюлем (1857–1939). Первыми в изучении менталитета людей различных исторических периодов были создатели французской школы «Анналов», среди которых наиболее известны: М. Блок (1886–1944), Л. Февр (1878–1956), Ж. Дюби (1919–1996), Р. Мандру (1924–1984), Ж. Ле Гофф (1924–2014).

Многочисленные на сегодняшний день теории менталитета и результаты ментальных исследований указывают на то, что само понятие менталитета является еще более многомерным, полисемантическим и аксиоматичным, нежели понятие сознания, первенство в разработке которого принадлежит Р. Декарту (1596–1650). В настоящее же время продолжают множиться концепции и дефиниции менталитета и ментальности, одно перечисление которых уходит в бесконечность. Причем каждый изыскатель употребляет эти понятия в том виде и в том смысле, который кажется ему наиболее приемлемым и удобным.

Менталитет как понятие стал не только незаметно прижившейся новацией гуманитарного знания, но и альтернативой понятиям позитивистской рациональности. Сам же термин получил в мире общепризнанный междисциплинарный статус.

лиарный статус, а в нашей стране стал и в обыденной жизни таким же привычным, как и другие иностранные слова — «суверенитет», «нейтралитет», «паритет», «университет» и проч.

При относительно непродолжительной истории ментальных исследований выявился ряд закономерностей: во-первых, ментально структурированные политические ориентации оказывают влияние на политическое поведение их носителей на индивидуальном, групповом и массовом уровнях. Во-вторых, объединение людей в политические партии, союзы и сообщества происходит на основе идентичности, которая является одной из базовых ментальных конструкций. В-третьих, ментальными причинами определяются типы преобладающей политической экспансии, виды, способы и принципы отстаивания интересов в политике. В-четвертых, ментальная экспансия англо-саксонского мира, утверждающего в сфере идеологии догмат о закономерности и необходимости установления в качестве общемирового порядка либеральных ценностей, является ментальной утопией конца XX — начала XXI века. В-пятых, разрушение религиозно-ментальных устоев государственности приводит к тому, что политическая система может сохраняться по инерции не более срока жизни одного физического поколения [Можаровский 2002]. В-шестых, образование государств, интеграция их в политические блоки, экономические сообщества и военные союзы осуществляется на устойчивых ментальных основаниях, модификация или разрушение которых ведет к фрустрированной идентичности субъектов политики и последующей потере ими политической субъектности [Ракитянский 2015]. Этими и другими гипотезами, находками и открытиями эвристические возможности и преимущества нового понятия не исчерпываются. Оно стало важным методологическим инструментом для перспективных разработок не только в политических науках, но и в разных областях гуманитарного знания.

Широкое использование понятия менталитета обусловлено возрождением неклассических парадигм социального познания, которые побуждали исследователей к переносу акцента с естественно-научной установки на гуманитарную направленность, к переходу от позитивизма к экзистенциализму, от количественного подхода к качественному.

Глобальные политические проблемы и кризисы послевоенного мира вызвали необходимость перехода от научного поиска, характерного для естественно-научных дисциплин, к более гибкому, глубокому и многостороннему учету сущности человека политического во всей его сложности и противоречивости. Специалистов уже не могло удовлетворить, что за достоверный результат исследований необходимо принимать только то, что измерено, количественно выражено, эмпирически доказано и однозначно сформулировано [Ракитянский 2012]. Так, в 1960-е годы в отечественную антропологию пришло понимание того, что, как ни велика роль науки, она не раскрывает всего разнообразия и богатства социального опыта [Кон 1971].

Возникла потребность в развитии объяснительного потенциала науки путем использования методологий, опирающихся на неизмеряемые, но понимаемые и интерпретируемые содержания. В свою очередь, это привело к расширению

концептуально-понятийного инструментария политических теорий, включению в их аналитический аппарат антропологических, этнографических, философских, политико-психологических, религиозно-догматических и других измерений национальных, региональных и глобальных политических миров.

Требовалась категория, отражающая специфику культуры и сознания группового и индивидуального субъекта, интегрирующая природные, психологические, социальные, политические и духовно-религиозные качества народа и конкретного человека и одновременно фокусирующая исследовательское внимание на уникальности, неповторимости, самобытности и устойчивости этих феноменов. С этого, собственно говоря, и начинали классики школы «Анналов». Они считали, что менталитет отражает наличие у национально-этнических и социокультурных общностей свойственного им «умственного инструментария», «психологической оснастки», которая позволяет им по-своему воспринимать и осознать окружающий мир и самих себя.

Обсуждение в научной литературе ментализации как процесса формирования менталитета той или иной общности сводится, как правило, к подчеркиванию сложного сочетания природно-генетических и социально-культурных компонентов [Бутенко, Колесниченко 1996; Косов 2007; Губанов 2014]. Между тем в ментальных исследованиях европейских специалистов внимание акцентируется также и на духовно-религиозных основаниях менталитета. Зарубежные ученые так или иначе подчеркивают значение религиозной идентичности в менталитете. Так, еще М. Блок связывал менталитет с вопросами религии и народных верований. П. Динцельбахер — видный немецкий медиевист и эксперт в области истории религии, оценивая источники изучения менталитета, полагает, что ими может быть все, созданное человеком и сохранившее дух и духовную сущность своего творца. Автор понимает историю менталитета как центральный аспект всемирной истории, изучающий все проявления человеческого духа [Dinzelbacher 2008].

Дискуссии об интерпретации политического менталитета в контексте религиозной традиции свидетельствуют как о насущности данной проблемы, так и о кризисе секулярно-позитивистской парадигмы. К тому же мало кто учитывает тот факт, что современные научные направления и школы намного моложе и проще, чем мировые религиозные феномены и их теологические учения. Большинство теоретиков от науки относятся к религии как самоуверенные и дерзкие подростки к старцам, носителям мудрости тысячелетий. Видимо, по этой причине господствует подход, при котором инвариантные религиозные и ментально-догматические установки масс людей в пространстве политологического знания не изучаются и, как следствие, игнорируются, при том, что религия является одной из фундаментальных констант в иерархии идентичностей и ключевым вопросом политических практик [Мчедлова 2011].

Редко принимается во внимание тот факт, что любая политическая доктрина опирается на неизменяемые и непререкаемые в своих проявлениях постулаты веры, т.е. а priori или догматически утверждаемые истины при том, что они могут иметь не только собственно религиозный, но и сугубо атеисти-

ческий характер. Несмотря на секуляризацию цивилизованного мира, монотеизм остается средоточием жизни и ценностей масс людей, количество которых измеряется миллиардами [Ракитянский 2013].

В нашей стране термин «политический менталитет» как в быденном, так и в научном толковании используется сравнительно недавно — примерно с 1990-х годов. Политический менталитет как проявление преобладающих субъектно-субъективных особенностей человека и общностей в сфере власти и политических отношений начинает изучаться в качестве инвариантной интегративной структуры, которая определяет специфику политического мышления и поведения. Но вопрос о природе этой структуры остается спорным и зависящим от мировоззренческой позиции, теоретической ориентации, а также от собственно политической идентичности авторов [Юрьев 2013]. Большинство экспертов, занимающихся проблемой политического менталитета, в принципе соглашаются с тем, что объединяющим моментом или своего рода «общим знаменателем» в определении сути этого феномена при всей его многозначности являются преобладающие особенности политической культуры и политического сознания той или иной общности людей, обусловленные ее историческим развитием [Ракитянский 2011].

Вместе с тем менталитет включает в свой состав множество широких и узких тем и понятий, которые в совокупности дают многоохватную картину, характерную для той или иной общности. Так, отечественные и зарубежные исследователи акцентируют внимание на том, что феномен менталитета выражается в национальном языке, проявляется в идентичности, соединенности устойчивых когнитивных особенностей и веры, образе мышления, своеобразной системе образов, представлений и умонастроений, установках сознания, специфике восприятия, стереотипах, особом способе мироощущения и мировосприятия. Это еще и самобытный психический склад, и темперамент, идеалы, мифы, традиции и обычаи, ментальные репрезентации культуры, национальные особенности народа, матрица его духовно-религиозной жизни, своеобразие мотивационной сферы, устойчивых поведенческих моделей и т.д. Посредством операционализации этих и других конструкторов изучается феномен менталитета, а также проводятся сравнительные ментальные исследования.

В качестве структурных элементов менталитета рассматриваются преобладающие установки мышления, веры, воли, подсознательного и сверхсознательного [Ракитянский 2013], которые определяют характерные типы социального, правового, экономического, политического и повседневного поведения, свойственные религиозным и секулярным группам. При этом указанные группы определяются доминирующим в них исторически утвердившимся вероисповеданием.

Дискутируя о феномене менталитета, исследователи так или иначе говорят о специфике этносов, наций, рас, социальных слоев, политических и религиозных систем и т.д. При этом разговор идет также и о региональных, профессиональных, возрастных, гендерных и прочих *различиях* групповых и индивидуальных субъектов деятельности, т.е. об аспектах менталитета. Классик отечест-

венных ментальных исследований А.Я. Гуревич считал, что понятие человека в контексте социальных отношений можно путем постижения особенности, инаковости его мировидения [Гуревич 1993].

В результате обобщения многочисленных точек зрения представляется возможным сделать вывод о том, что *менталитет* как «психологическая оснастка» социальных и политических субъектов проявляется в особенностях мышления, верования, чувствования, волеизъявления, подсознательного и сверхсознательного. Эти и другие особенности манифестируются в языке, проявляются в установках, представлениях, стереотипах, верованиях, ценностях. Они отражаются в идентичности и определяют особенности политического поведения.

В свое время К. Юнг, размышляя о проблеме самосознания личности, высказал мысль о том, что «сознание есть условие возможности бытия» [Юнг 1996: 229]. Продолжая замечательную метафору основателя глубинной психологии, мы можем определить *менталитет* как условие возможности бытия в его своеобразии и уникальности.

Принципиально важным в политологии и политической психологии является вопрос поиска и определения нематериальных оснований содержания менталитета. Так, в соответствии с догматическим принципом, центром содержания, ядром менталитета любого этноса, народа и нации является принятый ими догмат как некая истина *a priori*. Эта истина, принимаемая на веру в первую очередь политической и духовной элитой, со временем формирует смыслообразующие устремления, вектор мышления, воли и верований больших групп людей, программирует особенности их жизни и деятельности, воззрения, намерения, чувствования, поступки и типы деятельности.

Десятки поколений людей различного социального и политического статуса — правители, элитные группы, обыватели — опирались на догматический стержень жизни, на догмат как «утвержденность вечных истин, противостоящих всякому вещественному, временному и историческому протеканию явлений» [Лосев 2008: 149–150, 152, 190].

В соответствии с догматическим принципом догмат как первичная структура априорного знания о началах мироздания и смысле человеческого существования становится основой менталитета, наполняет его содержание. Более того, догматическая система обуславливает и характер политической власти целой страны, особенности этики и права, ее экономический уклад, мораль, духовность, нравственность, саму жизнь и судьбу народов и их политических элит, государств и каждого отдельного человека.

Само догматическое мышление как матрица или инвариантная структура объединяло религиозные, а впоследствии и секулярные массы людей, которые жили в пространстве главенствующего в течение длительного времени вероисповедания как в некой гравитационной сфере. Аргументы о том, что в современном обществе большинство людей далеки от религиозности, ни о чем не говорит, ибо ментальная установка, которая зиждется на инвариантных догматических точках опоры, незримо действует сквозь века и тысячелетия независимо от того, считает себя человек религиозным или нет.

Догматичность менталитета как имманентное его качество для большинства современных людей является практически невидимой и неразличимой, как, например, давление атмосферного столба, ибо она столетиями привычно воспринимается как истина *a priori* и не составляет для его носителей никакого вопроса. Именно поэтому для мышления каждого человека, находящегося внутри любого менталитета, чрезвычайно сложно определить, в чем же именно состоит его догматическая обусловленность.

Здесь представляется необходимым сделать акцент на таком свойстве менталитета как его инвариантность — вариативность [Барулин 2000]. Менталитет представляет собой трудноизменяемую и устойчивую в идеологическом плане обособленную метасистему. Это своего рода духовно-стационарный базис существования, который позволяет человеку и общности разнообразить свое поведение, не изменяя свою онтологическую суть как ядро самоидентификации субъекта. При этом альфой и омегой этой духовно-стационарной системы является не что иное, как вечная истина бытия. В монотеистических менталитетах она представлена в догматах. В *политеистических* менталитетах цивилизаций Дальнего Востока, Южной Азии и части Африканского континента она выражается в многообразных и самобытных *традициях*, которые утвердились в историческом времени без какого-либо обоснования своей необходимости и целесообразности, и эти традиции как корневые устои повседневной жизни народов также догматичны [Кутырев 2001].

Существует неразрывная диалектическая взаимосвязь между понятиями «менталитет» и «ментальность». Менталитет соотносится с ментальностью так же, как и способ выражения соотносится с его содержательно-смысловым наполнением. *Ментальность* как *содержание* менталитета всегда проявляется вовне, она выражается в единстве когнитивной, эмоциональной, волевой и духовной деятельности. Таким образом, представляется возможным определить *ментальность* как *направленность или вектор осуществления менталитета в различных сферах жизни*.

Перспективным направлением ментальных исследований является концепция политической *полиментальности* как отражение феномена множественности различных типов менталитетов в их сложном взаимодействии от совместности и индифферентности до острого противостояния [Семенов 2009: 96–113]. Идея полиментальности имеет эвристическое и методологическое значение в изучении сложносоставных обществ и групп. Она дает возможность научного познания ментально-идентичностных координат российской реальности. Политическая полиментальность проявляется на индивидуальном, групповом, национальном и глобально-политическом уровнях.

Обращение к истории генезиса и развития понятия «менталитет», позволяет выделить в нем три основных этапа.

Первый этап — имплицитный. Он характеризуется тем, что термин «менталитет» еще не встречается в научных трудах. Исследователи пользуются такими понятиями, как «этническое сознание», «национальный характер», «душа народа», «духовный склад», «дух народа» и др.

Второй этап уже связан с введением понятия в научный оборот в начале XX века и последующим его широким распространением в научном сообществе, художественной литературе, публицистике и в живом разговорном языке. В этот период понятие менталитета начинает приобретать в системе гуманитарного знания интегративную функцию, играя роль своего рода собирательной силы по отношению к понятиям, отражающим самобытность и уникальность культуры различных субъектов.

Начало третьего, нынешнего, этапа исследований феномена менталитета приходится на 1980–1990-е годы и связано с переходом от противоборства двух идеологических систем в холодной войне к фундаментальному цивилизационному противостоянию глобальных политических миров, конфликтное взаимодействие которых проявляется в первую очередь в антагонизме их политической идентичности.

Принципиальное значение третьего этапа состоит в том, что операторы глобальной политики самонадеянно рассматривают менталитеты всех существующих в мире политических образований, включая и Россию, не только как *объект* изучения, но и как пластичный *предмет* политической модификации средствами ментально-догматической экспансии.

Литература

- Барулин В.С. 2000. *Российский человек в XX веке: Потери и обретения себя*. Санкт-Петербург: Алетей. 431 с.
- Бутенко А.П., Колесниченко Ю.В. 1996. Менталитет россиян и евразийство. Их сущность и общественно-политический смысл. — *Социологические исследования*. № 5. С. 92–102.
- Губанов Н.Н. 2014. *Менталитет: сущность, закономерности формирования, развития и функционирования в обществе*. Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 372 с.
- Гуревич А.Я. 1993. *Исторический синтез и Школа «Анналов»*. М.: Индрик. 328 с.
- Кон И.С. 1971. К проблеме национального характера. — *История и психология* (под ред. Б.Ф. Поршнев, Л.И. Анцыферовой). М.: Наука. С. 122–158.
- Косов А.В. 2007. Ментальность как мировоззренческая система и компонента мифосознания. — *Методология и история психологии*. Т. 2. Вып. 3. С. 75–90.
- Кутырев В.А. 2001. *Культура и технология: борьба миров*. М.: Прогресс-Традиция. С. 98.
- Лосев А.Ф. 2008. *Диалектика мифа*. М.: Академический проект. 2008. 304 с.
- Можаровский В.В. 2002. *Критика догматического мышления и анализ религиозно-ментальных оснований политики*. Санкт-Петербург: ОВИЗО. 271 с.
- Мчедлова М.М. 2011. *Религия и политические императивы: социокультурные реалии современности*. М.: РУДН. 230 с.
- Ракитянский Н.М. 2011. Понятия сознания и менталитета в контексте политической психологии. — *Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки*. № 6. С. 89–103.
- Ракитянский Н.М. 2012. Категории сознания и менталитета в контексте феномена политической полиментальности. — *Информационные войны*. № 3. С. 29–40.
- Ракитянский Н.М. 2013. Сверхсознание как фактор формирования политического менталитета. — *Круглый стол. «Политическое поведение: бессознательные механизмы и их рационализация»*. Полис. *Политические исследования*. № 6. С. 49–50.

Ракитянский Н.М. 2015. Русские исламисты как политико-психологическая реальность. — *Вестник Санкт-Петербургского университета*. Сер. 16. № 3. С. 70–82.

Семенов В.Е. 1997. Типология российских менталитетов и имманентная идеология России. — *Вестник Санкт-Петербургского университета*. Сер. 6. № 4. С. 59–67.

Юнг К.Г. 1996. Современность и будущее. — Одайник В. *Психология политики. Политические и социальные идеи Карла Густава Юнга*. Санкт-Петербург: Ювента. С. 205–265.

Юрьев А.И. 2013. О книге профессора М.М. Решетникова «Психологические факторы развития и стагнации демократических реформ». — *Информационные войны*. № 3. С. 92–101.

Dinzelbacher P. 2008. *Europäische Mentalitätsgeschichte*. Leinen, Kröner. 814 S.

Политическая картина мира

И.В. Самаркина

Ключевые слова: субъективное пространство политики, национальная (национально-государственная) идентичность, политическое знание, политическая социализация, политика идентичности.

Политическая картина мира — один из компонентов субъективного пространства политики, являющийся результатом интериоризации политического мира как части жизненного опыта в индивидуальном и коллективном сознании. Политическая картина мира представляет собой подвижную систему представлений о власти и политике, ее структуре, механизмах, репрезентующую политический мир в индивидуальном и коллективном сознании.

Структуру политической картины мира составляют визуально-когнитивные образы, организованные в многоуровневую систему: ядро политической картины мира содержит символические образы власти и государства (Родины); базовый уровень — образы элементов политического мира и представления о способах коммуникации между ними; инструментальный уровень включает представления о возможных для субъекта моделях политического поведения. Образ-Я, отражающий представления носителя политической картины о своей роли и возможностях в политике, находится внутри или за пределами политической картины мира (если носитель представлений не видит возможностей для участия в политике).

Политическая картина мира как часть субъективного пространства политики тесно связана с другими его компонентами и феноменами. Во-первых, политическая картина мира, а в частности, образы, составляющие ее ядро, являются ментальным основанием для формирования и конструирования

национальной (национально-государственной) идентичности. Конфигурация базовых образов политической картины мира, например, образа власти, Родины, политического лидера обусловлена архетипами национальной политической культуры. И, наконец, политическую картину мира можно определить как здесь-и-сейчас результат политической социализации, в ней одновременно присутствуют представления, заложенные / сконструированные на предшествующих этапах социализации, и образы, отражающие текущий, актуальный социально-политический дискурс. В этом отношении политическая картина мира личности или группы испытывает на себе влияние политического знания (системных, научных представлений о политическом мире); политической идеологии, влияние которой обуславливает целостность и системность отдельных представлений о политическом мире; а также обыденных политических представлений, основой которых выступает жизненный опыт.

Как система политического знания политическая картина мира имеет следующие характеристики. Она коммуникативна, то есть является результатом взаимодействия субъекта познания с политической реальностью, включающей в себя других субъектов; она динамична, ее образы обладают разной степенью подвижности (образы власти и государства, формирующиеся на ранних этапах социализации, более устойчивы по сравнению с образами, отражающими реальный политический мир и возможные модели участия в нем); наконец, она открыта, то есть имеет свойство пересекаться и соотноситься с другими картинами мира личности (например, является частью социальной картины мира).

Как феномен субъективного пространства политики политическая картина мира полифункциональна. Ее гносеологическая функция состоит в отражении политической реальности и рефлексии по ее поводу. Политическая картина мира позволяет человеку координировать свои действия в политическом пространстве и встраивать оптимальную для этого систему ценностей, в том числе в русле формирования государственно-гражданской идентичности (ценностно-ориентационная функция). Политическая картина мира служит предпосылкой политического действия (или бездействия) (организационно-мобилизационная функция). Наконец, политическая картина мира является основанием оценки перспектив и динамики политической системы, а также собственной жизненной траектории (прогностическая функция).

Носителем политической картины мира является личность. В то же время политические картины мира представителей одной социальной группы имеют ряд общих черт, поэтому можно говорить об индивидуальной и коллективной политических картинах мира.

Политическая картина мира уникальна, поскольку здесь-и-сейчас представления о политике есть результат сложного процесса седиментации политического мира в индивидуальном и коллективном сознании. Эта уникальность определяется целой системой внутренних и внешних факторов, влияющих на носителя политической картины мира (личность или группу) в каждый

конкретный момент. К внутренним факторам относятся: социальный, профессиональный статус, политическая субъектность, особенности репрезентативной системы; к внешним — деятельность институтов политической социализации, социально-политический контекст, особенности политической системы и политического режима. В результате влияния этих факторов политические картины мира дифференцируются по масштабности; четкости образов; эмоциональной окрашенности; пространственно-временным перспективам; согласованности образов; абстрактности; месте Образа-Я в политической картине мира; символичности; рефлексии политического мира; отражении системы политических коммуникаций и другим признакам.

Политическая картина мира складывается в процессе общей и политической социализации. В этих сложных, зачастую нелинейных процессах принимают участие традиционные институты социализации: семья, система образования, средства массовой информации, церковь, группа сверстников и другие; а также политические институты и акторы: государство, политические партии, общественные и общественно-политические организации и движения, политические лидеры, лидеры мнения и др. В зависимости от цели, интенсивности и динамики социализационного воздействия можно говорить о процессах формирования и конструирования политической картины мира. Формирование политической картины мира происходит в результате широкого — целенаправленного и стихийного — воздействия социально-политических институтов и факторов политической социализации.

Вместе с тем, пространство политики является полем политической борьбы за ресурсы конструирования политической картины мира. Конструирование политической картины мира — это деятельность политических акторов, у которых имеются достаточные организационные, идеологические и технологические ресурсы для изменения политической картины мира в направлении, отвечающем политическим целям данного актора. Основным актором, конструирующим политическую картину мира, является государство. Оно решает эту задачу, используя различные направления внутренней политики, важнейшим из которых является политика в области образования. Для формирования политической картины мира важны все аспекты образования, однако особо следует выделить обучение грамоте и историческое образование. В процессе обучения грамоте закладывается эмоционально-когнитивная структура политической картины мира. Историческое образование [Ферро 1992] формирует образ прошлого своей страны, то есть влияет на формирование основ политической картины мира и национальной (национально-государственной) идентичности. Государство воздействует на формирование у граждан политической картины мира и через *политику идентичности*, которая направлена на конструирование (у детей и молодежи), актуализацию (у взрослых) или трансформацию (у всего населения в целом при определенных социально-политических условиях) базовых образов политической картины мира — образа Родины, своей страны. Важная содержательная часть этой политики сопрягается с системой исторического образования, однако боль-

шая ее часть находится за пределами этой системы и проявляется в политике государства в отношении национальных символов, праздников, музеев, исторических памятников и мемориалов, в языковой политике, вплетении в политический дискурс элементов национальных, исторических традиций, ритуалов и т.п. Для формирования непротиворечивой политической картины мира, которая служит основой для национальной (национально-государственной) идентичности, важны конгруэнтность, содержательная согласованность и в то же время разнообразие технологий и методов реализации политики идентичности.

Огромное влияние на процессы формирования и конструирования политической картины мира, ее содержание и динамику оказывают современные информационно-коммуникационные технологии и те социальные процессы, которые они «запустили» в современном обществе. Наблюдается переход от традиционной модели социализации, в своем роде общей, универсальной по воздействию на представителей одного поколения, к модели киберсоциализации, в рамках которой удастся описать как благодаря включенности личности в разнообразное, но уникальное для каждого многообразие социальных контактов происходит индивидуализация процессов и результатов социализации, то есть создается уникальное для каждого человека сочетание содержания, интенсивности, направленности и прочих социализационных воздействий, которые личность может выбирать и регулировать. Трансформация модели социализации влечет за собой изменение политической картины мира личности.

Представления о политической картине мира в современном научном дискурсе сложилось на основе нескольких политико-философских концепций: коммуникативно-деятельностной трактовки политического [Арендт 1992], в рамках которой политика мыслится как сфера публичности и пространство коммуникации; концепции А. Шютца, выделившего в мире повседневной жизни идеальные конструкции обыденного сознания и научные конструкции [Шютц 2003]; концепции жизненного мира Э. Гуссерля [Гуссерль 2005]; философских идей М. Мерло-Понти о «чувственно-смысловом ядре» онтологического уровня бытия, которое не связано с рациональным способом познания, но обладает способностью чувственного, непосредственного, спонтанного восприятия [Мерло-Понти 1999]; конструктивистской традиции П. Бергера и Т. Лукмана [Бергер Лукман 1995].

Теоретические интерпретации картины мира заложены в работах Э. Гуссерля, М. Вебера [Вебер 1990], К. Юнга, М. Хайдеггера [Хайдеггер 1993], Э. Фромма [Фромм 1990], К. Поппера. В отечественной философско-культурологической традиции особого внимания заслуживают труды Г. Гачева [Гачев 2003]. Субъективные аспекты «измерения» окружающего мира и психологические механизмы выстраивания его образа являются предметом психологических исследований С.Л. Рубинштейна [Рубинштейн 1973], А.Б. Брушлинского [Брушлинский 2003], А.Н. Леонтьева [Леонтьев 1983], С.К. Нартовой-Бочавер [Нартова-Бочавер 2008] и др. Антропологическое направление трактовки картины мира

отражено в работах представителей исторической школы ментальностей — М. Блока [Блок 1986], Л. Февра, Р. Шартье и других, а также в работах представителей российской школы А.Я. Гуревича [Гуревич 1989], А.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана [Типология культуры... 1982], Л.М. Баткина. Механизм интериоризации культурных норм во внутренние структуры личности описан в феноменологической социологии Т. Бергером и П. Лукманом. Картина мира как главный дифференцирующий фактор субкультурных различий обоснована в теории социокультурных стратификаций и исследована в работах В.С. Жидкова [Жидков 2001], К.Б. Соколова [Цветущая сложность... 2004] и др.

Концепт политической картины мира в научном политологическом дискурсе актуализировался относительно недавно. Он содержательно связан с исследованиями политической социализации [Политическая социализация... 2008] и механизмов восприятия политической власти [Психология политического восприятия... 2012], исследованиями символической политики [Малинова 2013] и политической идентичности [Политическая идентичность... 2011; 2012], осмыслением места и роли политического образования в обществе [Щербинин 2005]. Концептуализация понятия политической картины мира отражена в исследованиях И.В. Самаркиной [Самаркина 2013].

В эмпирических исследованиях политической картины мира и ее отдельных компонентов используется качественная стратегия, на основе которой разработан ряд прикладных методик: проективный рисунок о политике, позволяющий выявить ключевые образы, отражающие мир политики в индивидуальном сознании; фокус-групповое интервью, детализирующее образы и позволяющее диагностировать их эмоциональную окраску; глубинное интервью, при помощи которого определяются траектории изменения политической картины мира.

Эмпирические исследования политической картины мира на разных этапах политической социализации позволяют сформулировать ряд выводов о ее структуре и содержании. Структура политической картины мира детей одного возраста, социализированных в разных социокультурных средах имеет схожий набор образов и сюжетных линий [Самаркина 2011а]. В политической картине мира детей присутствуют символы государства, партийная символика, персонифицированные образы власти в лице «головы» и «хвоста» политической системы; начинающиеся формироваться политические аттитюды по поводу упомянутых базовых концептов. В политической картине мира детей отражается также актуальный общественно-политический контекст и связанные с ним геополитические образы.

Полученный общественно-политический опыт, политическая субъектность и профессиональная социализация в молодежном возрасте являются главными факторами дифференциации политических картин мира молодежи.

Политическая картина мира взрослых подвержена изменениям. Однако, динамика, направление и глубина этих изменений бывает разной. Описаны две основные траектории изменения политической картины мира взрослых: постепенные, эволюционные изменения по мере накопления жизненного опыта

(вторичная социализация) и кардинальные, динамичные, «революционные» изменения политической картины мира (политическая ресоциализация).

В настоящее время политическая картина мира как репрезентация сложного мира политики в индивидуальном сознании многих россиян формируется под влиянием процессов социализации и киберсоциализации. Поэтому изменяются критерии дифференциации индивидуальных политических картин мира. Наиболее значимые различия проявляются в зависимости от степени включенности информационно-коммуникационные взаимодействия, использования традиционных СМИ в качестве источников общественно-политической информации или преимущественно самостоятельное формирование информационного контекста / дискурса и использование возможностей Интернета для проявления различных форм гражданской активности. Если говорить об изменениях в индивидуальной политической картине мира, то следует констатировать завершение периода ее массовых и драматических трансформаций у значительной части населения, которые наблюдались в конце 1990-х годов. Более того, следует отметить значительную синхронизацию базовых образов политической картины мира (образа страны, Родины) у различных поколений россиян, которая сопровождается расширением их содержательного наполнения (за счет исторических, национальных и геополитических акцентов), изменением эмоциональной окраски этих образов. Сегодня наблюдается актуализация ключевых для формирования национальной (национально-государственной) идентичности образов в политической картине мира большинства населения, которая является результатом рефлексии образа собственной страны в зеркале геополитических образов Других / Чужих (Европы, США, Украины и т.п.). Эта тенденция сопровождается сужением палитры репрезентаций реального поля внутренней публичной политики и изменением представлений о моделях участия в ней.

Концепт политической картины мира позволяет создавать инструментарий для исследования компонентов субъективного пространства политики; оценить технологии деятельности государства и других политических акторов, направленных на конструирование политической картины мира; понять необходимость публичного обсуждения и создания механизмов и технологий конструирования политической картины мира всеми участниками этого процесса с целью формирования сложносоставного механизма индивидуального восприятия политики.

Объяснительный потенциал концепта политической картины мира состоит в возможности посмотреть на жизненный мир и его политическую составляющую глазами очевидца, увидеть проекцию политического в жизненном мире субъекта как носителя палитры идентичностей, понять механизм формирования и интерпретации смыслов политического мира его участниками. Политическая картина мира, будучи частью субъективного пространства политики, связывает другие компоненты этого пространства и политическую идентичность. Выполняя эту функцию, она: включает в свой состав образы-объекты идентификации; является отражением доступного носителю полити-

ческого контекста, актуализирующего значимые для него социально-политические проблемы; открыта воздействию / взаимодействию с другими компонентами субъективного пространства политики; выступает частью механизма интерпретации личностью политического мира, определения собственного места в этом мире и выбора адекватной модели политического поведения. Таким образом, политическая картина мира является эмоционально окрашенным когнитивным основанием формирования политической идентичности, играющим роль своеобразной «линзы», фокусирующей актуальный политический дискурс и в определенный момент времени актуализирующей ту или иную модель политического поведения.

Литература

- Арендт Х. 1992. Традиции и современная эпоха. — *Вестник МГУ. Серия 7 (Философия)*. № 1. С. 80–95.
- Бергер П., Лукман Т. 1995. *Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания*. М.: Медиум. 323 с.
- Блок М. 1986. *Апология истории, или Ремесло историка*. М.: Наука. 254 с.
- Брушлинский А.В. 2003. *Психология субъекта*. Санкт-Петербург: Алетейя. 272 с.
- Вебер М. 1990. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания. — Вебер М. *Избранные произведения*. М.: Прогресс. С. 345–415.
- Гачев Г. 2003. *Ментальности народов мира*. М.: Алгоритм, Эксмо. 544 с.
- Гуревич А.Я. 1989. Проблема ментальности в современной историографии. — *Всеобщая история: Дискуссии, новые подходы*. Вып. 1. М.: Наука. С. 75–89.
- Гуссерль Э. 2005. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. — Гуссерль Э. *Избранные труды*. М.: Издательский дом «Территория будущего». С. 443–459.
- Жидков В.С., Соколов К.Б. 2001. *Десять веков российской ментальности: картина мира и власть*. Санкт-Петербург: Алетейя. 640 с.
- Леонтьев А.Н. 1983. Образ мира. — Леонтьев А.Н. *Избранные психологические произведения: В 2 т.* Т. II. М.: Педагогика. С. 250–261.
- Малинова О.Ю. 2013. *Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России*. М.: ИНИОН РАН. 421 с.
- Мерло-Понти М. 1999. *Феноменология восприятия*. Санкт-Петербург: Ювента; Наука. 605 с.
- Наргова-Бочавер С.К. 2008. *Человек суверенный. Психологическое исследование субъекта в его бытии*. Санкт-Петербург: Питер. 400 с.
- Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т.* Т. 1. *Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий (отв. ред. И.С. Семенов)*. 2011. М.: РОССПЭН. 208 с.
- Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т.* Т. 2. *Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке (отв. ред. И.С. Семенов)*. 2012. М.: РОССПЭН. 471 с.
- Политическая социализация российских граждан в период трансформации (под ред. Е.Б. Шестопал)*. 2008. М.: Новый хронограф. 551 с.
- Психология политического восприятия в современной России (под ред. Е.Б. Шестопал)*. 2012. М.: РОССПЭН. 423 с.
- Рубинштейн С.Л. 1973. *Проблемы общей психологии*. М.: Педагогика. 424 с.
- Самаркина И.В. 2011а. Первое десятилетие XXI: константы и новации в политической картине мира российских детей. — *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. № 3. С. 5–21.

Самаркина И.В. 2013. *Политическая картина мира как компонент субъективного пространства политики: теоретико-методологические аспекты*. Краснодар: Кубанский государственный университет. 278 с.

Типология культуры. Взаимное воздействие культур (отв. ред. Ю.М. Лотман). 1982. — *Ученые записки Тартусского государственного университета. Труды по знаковым системам*. Вып. 576. Труды по знаковым системам. Семиотика культуры. 15. Тарту: ТГУ. 160 с.

Ферро М. 1992. *Как рассказывают историю детям в разных странах мира*. М.: Высшая школа. 351 с.

Фромм Э. 1990. *Иметь или быть?* М.: Прогресс. 238 с.

Хайдеггер М. 1993. *Время картины мира*. — Хайдеггер М. *Время и бытие: Статьи и выступления*. М.: Республика. С. 41–62.

Цветущая сложность: разнообразие картин мира и художественных предпочтений субкультур и этносов (под ред. К.Б. Соколова). 2004. Санкт-Петербург: Алетейя. 544 с.

Шютц А. 2003. *Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии*. М.: Институт Фонда «Общественное мнение». 336 с.

Шербинин А.И. 2005. *Политическое образование. Учебное пособие*. М.: Издательство «Весь Мир». 288 с.

Глава 29

ИДЕНТИЧНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОМ И ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИЯХ

Политическая нация

В.С. Мартьянов

Ключевые слова: нация-государство, национализм, гражданская идентичность, социально-классовая идентичность, этническая идентичность, мультикультурализм, территориальная идентичность, суверенитет, примордиализм, конструктивизм, патриотизм, гражданская нация.

***Политическая нация** — результат гражданско-политического самоопределения в территориальных границах общности людей, обладающей политической субъектностью. Это политическая форма поддержания солидарной коллективной идентичности, распространяющая равные политические свободы и права на всех дееспособных граждан взамен обязательства мобилизации в случае возникновения угроз для ее политического суверенитета.*

В числе опор политической нации можно отметить сакрализацию территориальности, политический суверенитет, равенство политических прав и главенство гражданской идентичности как основополагающей составляющей политической идентичности представителей такой нации. Другие социальные идентичности, призванные поддерживать существование политической нации, являются факультативными, будь то конфессиональная, языковая, историческая, культурная идентичность.

Исторически политическая нация формируется в процессе политической самоидентификации граждан с национальным политическим сообществом и принимает политическую форму национального государства. **Одновременно политическая нация в качестве значимых альтернатив на институциональном уровне сталкивается с имперскими, этническими, классовыми, экстратерриториальными и корпоративными принципами организации современной политической общности [Балибар, Валлерстайн 2004].**

Существует два конкурирующих подхода к объяснению происхождения и развития политической нации. Примордиалистская парадигма представляет ее как результат объективно-исторического развития этноса, объединяемого общей языковой, культурной, **конфессиональной идентичностью членов, данной им от природы**, то есть самим фактом существования в составе национально-государственной общности. **Политическая нация предстает здесь как огосударственный этнос или идеологический суперэтнос — образование политического порядка, надстраиваемое над догосударственным архаичным этносом.** Уязвимость примордиалистской парадигмы состоит в том, что все современные политические нации полиэтничны, а их территория является местом совместного проживания разных исторических этносов. По разным оценкам, в современном мире насчитывается от 4 до 10 тыс. этносов и этнических групп, в то время как количество наций составляет около 200. Поэтому, если исходить из понимания политической нации как формы политико-территориального самоопределения какого-то одного государствообразующего этноса (суперэтноса), то подобная позиция отменяет политические права всех других этносов, проживающих на данной территории и теоретически сохраняющих право на политическое самоопределение.

Конструктивистская парадигма представляет политическую нацию как вообразимое сообщество, создаваемое относительно произвольно предшествующего исторического развития в ходе целенаправленного конструирования новой синтетической идентичности [Андерсон 2001; Anderson 1991; Тишков 2003; Малахов 2005]. Формирование политической нации предполагает в рамках такого подхода ассимиляцию как культурное, историческое и политическое растворение входящих в нее этносов. Здесь политическая нация предстает как результат субъективного взаимного признания людей в качестве ее участников, вне зависимости от всех иных приписываемых им идентичностей. В последнее время предпринимаются методологические попытки примирить оппозицию примордиализма и конструктивизма на основе умеренного конструктивистского подхода, объединяющего объективные и субъективные признаки принадлежности индивида к этническим, культурным и политическим общностям; предполагающего мягкие, дифференцированные критерии идентичности, а также более свободные признаки входа и выхода индивидов в коллективные сообщества; учитывающего умножающиеся феномены смешанной и гибридной идентичности в современных обществах [Низамова 2009].

На нормативном уровне концепция политической нации или нации-государства доминирует в современной иерархии политических сообществ. Однако реальные политические практики, наблюдаемые внутри этих сообществ, показывают, что гражданская идентичность всегда сосуществует с домодерными идентичностями, образуемыми вокруг общностей партикулярного и локального порядка, базирующимися на реципрокных и дистрибутивных типах коммуникаций. Политическая структура нации при ближайшем рассмотрении оказывается неизменно более сложной, на ее цели и динамику развития влияют политические субъекты, опирающиеся на ресурсы этничности,

языка, территории, культуры, религии и иных форм поддержания идентичности в практиках коммуникации конфликтующих интересов и согласования коллективных политических действий.

В институциональном измерении политическая нация предполагает институциональную сборку трех важнейших элементов: суверенной территории, государства как властного аппарата управления и поддержания порядка и гражданства, связанного с наделением определенным объемом индивидуальных и коллективных прав. Сборка указанных элементов в условиях Модерна может осуществляться в разных институциональных вариациях, как правило, при сохранении неизменного ценностного ядра, связанного с базовым либеральным консенсусом, обеспечивающим функционирование инклюзивных общественных институтов демократии и рынка [Валлерстайн 2003]. Общие идейные универсалии реализуются на практике в виде разных историко-культурных конфигураций соотношения институтов политической нации внутри общего инварианта современности: «из ценностных ориентаций политической модерности не следует однозначно какая-то определенная институциональная форма политики. Такая ценностная ориентация не только открыта для интерпретаций, но и сущностно неопределенна и содержит глубокие противоречия. Соответственно, и существующие государства, ориентирующиеся на эти ценности, на самом деле основаны на различных подобных интерпретациях» [Вагнер 2009: 23–24].

Итогом политической сборки Модерна становится политическая нация и легитимирующая ее национальная идентичность — национализм, апеллирующий к общей истории и территории [Геллнер 1991; Хобсбаум 1998]. Исторически национализм поддерживался введением трех интегрирующих нацию практик: всеобщего голосования на выборах; социального государства, снижающего остроту классовых конфликтов внутри нации; системы формирования и поддержания национальной идентичности посредством всеобщего образования и всеобщей воинской повинности. По мере осуществления перечисленных практик, формирующих современные нации, каждая из них столкнулась со своего рода проклятой стороной вещи (Ж. Бодрийяр). Против всеобщего голосования, призванного выражать интегральную волю всех значимых социальных групп, нашлось противоядие в виде совершенствования манипулятивных технологий, способов откладывания решения проблем большинства населения на будущее и контроля элитами информационной повестки дня. Социальное государство, выравнивающее экономические противоречия политических наций, оказалось недостижимой целью для большинства стран капиталистической миросистемы. Наконец, движение к единым культурным стандартам было проблематизировано мультикультуралистами, а всеобщая воинская повинность постепенно стала заменяться принципами формирования профессиональных армий. Тем не менее, несмотря на все эти негативные для современных политических наций процессы, доминирующие линии внутренней и внешней политики продолжают регулироваться правительствами государств-наций и их союзов, а не альтернативными политиче-

скими акторами в лице транснациональных корпораций, сетей городов или международных организаций.

Политическая нация возникает и существует на основании индивидуально-членства равноправных граждан, что предполагает выведение за пределы политического процесса привилегий и исключений, связанных с любыми альтернативными идентичностями — экономическими, языковыми, этническими, религиозными, региональными. Процессы консолидации современной политической нации задают такую иерархию идентичностей гражданина, где политическое оказывается тождественным национальному и гражданскому. Унификация национального политического пространства предполагает выстраивание общих ценностных и институциональных иерархий и ассимиляцию альтернативных центров и идентичностей, претендующих на статус политических. Политическая нация в отличие от предшествующих исторических форм государственности опирается на более жесткую ценностную и институциональную гомогенизацию политического центра и разного рода периферий, и соответственно общества в целом. Например, в современных конфедерациях и федерациях элементы коллективной культурной или политической автономии по своему объему значительно уступают степени внутренней дифференциации исторических империй, объединявших противоречивое разнообразие всевозможных локальных идентичностей на уровне лояльности периферийных элит и опосредованного управления без тотальной ассимиляции всего имперского населения.

Важным фоновым условием становления политической нации является индивидуализация общества, расширение сложных органических типов солидарности и социальных связей взамен механических (Э. Дюркгейм). Предпосылкой консолидации политической нации и формирования на ее основе гражданской нации является отказ от неизменных социальных структур и сущностей традиционного общества в пользу более мобильных и рефлексивных социальных ролей современного общества. Это группы интересов, ценности и идентичности, которые люди, обладая растущей моральной и интеллектуальной автономией, могут выбирать самостоятельно. При этом усложнение, разнообразие и динамичность социальных связей вызывают рост всевозможных социальных ролей и идентичностей каждого человека, компенсируемых их большей слабостью и необязательностью. Растет эффективность широких слабых социальных связей индивидов, включенных в разнообразные сообщества, начинающих в общественно-политической сфере жизни превалировать над традиционными сильными связями с ближайшими родственниками и друзьями [Granovetter 1973]. Одновременно с возможностями граждан растут индивидуальные риски и неравенство, генерируемое слабыми связями.

В условиях позднего Модерна привычные основания политической нации вновь проблематизируются [Малахов 2014; Семенов 2009]. Радикализируется приоритет ценностей индивидуальной автономии граждан (свобода, либерализм) над автономией коллективной (демократия, государство). Усиливаются принципы автономного выбора и рефлексии идентичности, которую

становится все трудней массово вменить гражданам с помощью внешних социальных регуляторов — морали, права, государства. Мораль сменяется субъективной нравственностью, в праве укрепляются принципы состязательности и диспозитивности, государство из социального метарегулятора превращается в изменчивую констелляцию субъектов, ресурсов и интересов. Граждане все в большей степени способны в инициативном порядке выбирать, конструировать и менять собственную и коллективную идентичности. Если нормативная модель нации-государства ставит во главу угла гражданскую идентичность, то мультикультурализм переопределяет сложившуюся иерархию идентичностей, уделяя особое внимание соблюдению прав меньшинств, чья идентичность выстраивается на альтернативных культурных основаниях. Часто эти идентичности связаны с архаизацией как возвратом к общностям, которые формируются по признакам, считавшимся неполитическими в условиях современных обществ, однако в реальной политической практике демонстрирующих возрастающую эффективность. Важной проблемой вновь становится свободная конвертация культурных идентичностей и прав в политические требования, конечной целью которых часто становится создание новой нации [Ленин 1969]. Однако если права членства в политической нации являются скорее инклюзивными, потенциально приобретаемыми практически любыми людьми согласно территориальной дислокации, то права примордиальных общностей интерпретируются как данные от рождения, а потому обладающие закрытой, эксклюзивной природой.

Глобализация также провоцирует будущее вероятное ослабление территориальных политических наций перед вызовами суб- и транснациональных политических акторов. Это приводит к размыванию идентичности политической нации и значимости национальной идентичности в системе самоидентификации человека. Политическая универсальность гражданской идентичности критикуется в рамках теории мультикультурализма, легализующей коллективные политические права и привилегии для разного рода культурных меньшинств. В то же время существующие альтернативы политических наций не настолько сильны, чтобы стать фундаментом для сборки новых политических сообществ и переформатирования политической карты мира. Это амбициозные утопические проекты классовых революций, историческая реанимация цивилизаций, развитие сетевых и постиндустриальных сообществ, наблюдаемые тенденции к возвышению транснациональных сетей глобальных городов или появление экстерриториальных корпораций-государств, в которых слишком поспешно видятся жизнеспособные альтернативы политической нации.

Тем не менее актуальное состояние позднего или космополитического Модерна (У. Бек) характеризуется делегитимацией *свойственного политической нации нормативного национализма как единства индивидуальных прав, коллективной автономии граждан и территориально ограниченного суверенного пространства государства*. Требования поддержания духа национализма, понимания пространства государства как политически сакральной территории,

необходимость постоянной мобилизации населения для его защиты перестают быть значимыми, так как территорией открытой для всех современности становится если не весь мир, то его большая часть. Соответственно, все политические нации как территориальные политические сообщества в той или иной степени начинают испытывать дефицит легитимности, под вопрос ставится значимость их системообразующих оснований: гражданский национализм, концепция суверенитета, критерии исторической, этнической, языковой близости членов территориального сообщества.

В условиях нормативного и онтологического кризиса классово-индустриальной модели обществ первого Модерна вместо доминировавших экономических оснований репрезентации и консолидации коллективных интересов и социальных групп все более проступают внеэкономические, культурные идентичности, замещающие экономические критерии в качестве оснований для социальной дифференциации и стратификации обществ второго, позднего или глобального Модерна. Указанные обстоятельства ведут к умножению и усложнению коллективных идентичностей, расширению онтологической базы этих идентичностей в виде разнообразной номенклатуры меньшинств, попадающих в публичное политическое поле наций-государств, в том числе а) не обладающих правами гражданства и б) транснациональных. Их культурные различия и особенности, права и привилегии все сильнее политизируются в позднемодерных обществах [Хантингтон 2004]. Формирование культурной идентичности закономерно ведет в качестве следующего шага к обоснованию коллективных политических прав, которые все чаще входят в противоречие с базовой либеральной идеей гражданской нации, основанной на равенстве и автономии индивидуальных прав граждан. В результате наблюдается дрейф от индивидуалистического понимания политической нации как суммы граждан к ее переинтерпретации в качестве совокупности социальных групп, выделенных по совершенно разнородным основаниям. Для естественных государств (Д. Норт) вновь актуализируются механизмы и процессы генерации сословных, рентных и патримониальных идентичностей. При этом самоидентификация новых социальных групп все чаще расходится с их внешним признанием, провоцируя социальную аномию и увеличивая поле конфликтных интересов. Усиливаются экстратерриториальные и виртуальные коллективные идентичности, укрепляются разнообразные социальные сети; сети городов и транснациональные корпорации размывают суверенитет и юрисдикцию наций-государств. Возникает всеобщая проблема переустановления и поддержания перспективы более универсальной идентичности, а также системы ценностей, норм и институциональных оснований для обеспечения дальнейшего существования наций в их базовой для Модерна территориальной политической форме.

Литература

- Андерсон Б. 2001. *Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма*. М.: Канон-пресс — Ц; Кучково поле. 288 с.
- Балибар Э., Валлерстайн И. 2003. *Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности*. М.: Логос-Альтера, Ессе Номо. 272 с.
- Вагнер П. 2009. Политическая форма новой Европы, Европа как политическая форма. — *Журнал социологии и социальной антропологии*. № 2. С. 21–57.
- Валлерстайн И. 2003. *После либерализма*. М.: Едиториал УРСС. 256 с.
- Геллер Э. 1991. *Нации и национализм*. М.: Прогресс. 320 с.
- Ленин В.И. 1969. О праве наций на самоопределение — Ленин В.И. *Полн. собр. соч. Изд. 5. Т. 25*. М.: Издательство политической литературы. С. 255–320.
- Малахов В.С. 2005. *Национализм как политическая идеология*. М.: КДУ. 320 с.
- Малахов В.С. 2014. *Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций*. М.: Новое литературное обозрение; Институт философии РАН. 232 с.
- Низамова А.Р. 2009. Сложносоставная концепция современной этничности: пределы и возможности теоретического синтеза. — *Журнал социологии и социальной антропологии*. Т. XII. № 1. С. 141–159.
- Семенов И.С. 2009. Дилеммы национальной идентичности: политические риски и социальные приобретения. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 8–23.
- Тишков В.А. 2003. *Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии*. М.: Наука. 544 с.
- Хантингтон С. 2004. *Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности*. М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Транзиткнига». 635 с.
- Хобсбаум Э. 1998. *Нации и национализм после 1780 г.: Программа, миф, реальность*. СПб.: Алетейя. 307 с.
- Anderson B. 1991. *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*. London, New York: Verso. 224 p.
- Granovetter M. 1973. The strength of weak ties. — *American Journal of Psychology*. Vol. 78, No. 6. P. 1360–1380.
- Huntington S.P. 2004. *Who Are We: The Challenges to America's National Identity*. New York, London, Toronto, Sydney: Simon & Schuster. 428 p.

Национальная идентичность

И.С. Семенов

Ключевые слова: нация, национализм, национальное самосознание, гражданство, политическая нация, гражданская нация, политическая культура, ценности, дискурс идентичности, политика памяти, позитивная / негативная идентичность, политика идентичности, повседневность.

Национальная идентичность — многомерное понятие, вбирающее политическое и социокультурное (этнокультурное) измерения, которые могут ситуативно сочетаться или взаимоисключаться. Понятия *национальной* (национально-государственной) *идентичности* используются в публичном и научном дискурсах для обозначения *коллективной идентичности государственного сообщества* и характеризуют самосознание его граждан как членов такого сообщества. Национальная идентичность опирается на эмоциональное переживание человеком своей сопричастности нации как значимому для самоидентификации сообществу и воплощение такого переживания в повседневных социальных практиках. В обыденном сознании объектом самоидентификации может быть страна или иная очерченная реальной или воображаемой границей территория, с которой связывается судьба *нации* как политической и культурной общности, члены которой имеют общие ориентиры идентичности.

Национальная идентичность имеет, таким образом, коллективную, проекцию, характеризующую разделяемые членами сообщества представления о себе как о нации и их воплощение в политическом и культурном дискурсе, и индивидуальную проекцию (Я-идентичность, определяющая принадлежность человека к сообществу). Это многозначный концепт, в котором пересекаются политическая, гражданская, территориальная, этническая, языковая составляющие идентичности.

Ситуативность трактовки национальной идентичности определяется как качеством политических институтов и характером политической культуры сообщества, так и сложившимся в нем пониманием нации и «национального». Формирование национальной идентичности — исторический феномен, связанный со становлением национальной государственности и национального самосознания как консолидирующего национальное сообщество основания в поствестфальскую эпоху. Ее несущая конструкция — идея нации, которая может принимать разные воплощения в индивидуальном сознании, но всегда обозначает значимый для человека Мы-образ. «Национальная идентичность исторична, нация, по сути, тождественна истории нации, т.е. нарративам национальной истории»; в прошлом народа или нации «прежде всего раскрывается смысл исторического существования, воплощается система ценностей» [Репина 2016: 12]. Сама нация представляет собою «национальное сообщество», которое имеет общие отличительные черты, стремится к «идеалам автономии и единства» и рассматривается как «общественное благо», как «состояние, которое нужно поддерживать, сохранять и передавать» [Smith 2011: 231]. Национальная идентичность маркирует принадлежность человека к нации как воображаемому политическому сообществу: «Члены даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих собратьев по нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах каждого из них живет образ их общности» [Андерсон 2001: 31]. Но такое сообщество осознается и воспринимается как реально существующее: в современной политике оно по умолчанию опирается на территорию в определенных

границах, на разделяемые культурные нормы, политико-правовую общность и общие политические институты, на равенство граждан перед законом и гражданскую культуру.

В системе самоидентификации гражданина нация, страна, государство и гражданство выстраиваются как рядоположенные, но не тождественные категории. Соответственно, национальная идентичность (*national identity*) и национальность (*nationality*) как принадлежность к нации (в том числе не имеющей собственной государственности) могут не совпадать с государственно-гражданским правовым статусом (гражданством — англ. *citizenship*). «Нации без государств» демонстрируют высокий уровень самоидентификации, основанной на противостоянии государству, в границах которого они существуют, как носителю чуждой, инонациональной идентичности. Стремление к созданию собственной государственности, закрепляющей статус суверенной нации, стимулирует рост политического сепаратизма. В государствах, имеющих в своем составе этнотерриториальные автономии, все более широкое распространение получает двойная национальная идентичность, что не исключает сугубой приверженности части граждан «своей» этнонации. Борьба за право на политическую субъектность принимает форму «борьбы за идентичность» (движение за автономный статус канадского Квебека, за воссоединение Северной Ирландии с Ирландской республикой, за каталонскую государственность и др.) вплоть до этнополитического конфликта. В качестве ресурса политической мобилизации под флагом большей экономической и культурной автономии от Центра или / и требований собственной государственности используются этническая идентичность и ее лингвистическая и конфессиональная коннотации.

Как доказывает Э. Хобсбаум, множественная идентичность исторически лежит «даже в основе национальной однородности», поскольку она вырастает из разной племенной принадлежности и лингвистической культуры [Хобсбаум 2005: 51]. В современном мире нарастающие миграционные потоки сделали множественную (двойную, тройную) национальную идентичность по факту культурной, а в ряде стран — и политико-правовой нормой. При этом «национальная принадлежность у лиц иностранного происхождения более осознанна, поскольку она предполагает выбор, часто нелегкий, между бывшей и новой родиной» [Филиппова 2010: 172]. Характер выбора во многом задан политическими и культурными нормами принимающей страны: так, канадское гражданство с его установкой на поддержку культурного многообразия отличается в своих ориентациях от американского.

В современном российском научном дискурсе утвердились понятия государственно-гражданской или национально-гражданской идентичности. Эти понятия включают «не только лояльность государству, но и отождествление себя с гражданами страны, представления об этом сообществе, ответственность за судьбу страны и переживаемые людьми в связи с этим чувства (гордость, обида, разочарование, пессимизм или энтузиазм)» [Дробужева 2008: 218; Российская идентичность... 2009]. В странах разных историко-политических

традиций «удельный вес» самосоотнесенности с государством в трактовке национальной идентичности в публичном дискурсе и ее усвоении индивидом (интериоризации) заметно различается. Смысловое наполнение понятия тесно связано с особенностями политической культуры страны, определяющими роль государства и образ власти в массовом сознании, характер политического режима и паттерны политического поведения граждан. Так, в ретроспективе политического развития России нация понималась и трактовалась как этнокультурная общность, а национальность и в правовых практиках, и в обыденном сознании обозначала этническое происхождение. При этом государство выступало референтной системой координат формирования коллективных идентичностей (независимо от характера отношения к государственным институтам и уровня доверия к ним). «Постижение смысла» национальной идентичности в историческом контексте развития российской государственности определяет перспективы национального самоопределения России [Кортунов 2009: 8].

Ряд исследователей (в частности, автор широко известных трудов о нациях и национализме Энтони Смит) считают необходимым рассматривать национальную идентичность вне соотнесения с государством постольку, поскольку «государство представляет только государственные институты вне связи с другими социальными институтами». В число «фундаментальных характеристик» национальной идентичности предлагается включить «историческую территорию, или родину; общие мифы и историческую память; общую культуру, общие юридические права и обязанности и общую экономику с возможностью территориальной мобильности для всех членов» [Smith 1991: 14]. Нетрудно, однако, увидеть, что сегодня поддержание последних двух функций — приоритет государства, осуществляющего политико-правовое и экономическое регулирование и контроль в рамках территории, очерченной его границами. Развитие политической интеграции подрывает монополию государства в этих сферах, но не отменяет его сущностных функций.

В западной политической науке категория национального государства или нации-государства (nation-state), определяющая пути становления европейской государственности, синтезирует в концепте политической нации (носителя национальной идентичности), с одной стороны, политико-институциональные и территориальные (государство), а с другой — политико-культурные и этнокультурные (нация) основания этого макрополитического сообщества. Сама нация исторически рассматривается в двух проекциях — политической (объединяющей по факту гражданства) и этнокультурной. Становление гражданской нации связано с развитием солидарных взаимодействий в объединенном институте гражданства политическом сообществе, с укреплением основ гражданской идентичности и соответствующих ценностных ориентиров.

Становление гражданской нации, ее поступательная динамика, которая отражается в развитии институтов гражданского общества, — ключевой признак современной демократической политики. При этом, как отмечает Л.М. Дробижева в контексте анализа проблемы «позитивной совместимости» национально-

гражданской и этнической идентичности, гражданский национализм «вполне совмещается с имеющимся качеством этнической самоидентификации, как в деятельностно-мобилизующей ее части, так и в ксенофобной»; на это обратил внимание еще Эрнест Геллнер в получившем широкую известность исследовании наций и национализма [Дробижева 2008: 227; см. также Геллнер 1991].

В условиях несформированности гражданской нации национальная идентичность может обретать устойчивые этнические коннотации, что порождает разные формы дискриминации в отношении «иных». Исторические разновидности политико-правовой и социальной дискриминации на основе «иной» идентичности — апартеид (ЮАР до 1989 г.), расовая сегрегация (США до 1964 г.), ущемление прав коренных (в современной политкорректной терминологии — «первых») народов в странах Нового Света, различные формы дискриминации на основе религиозно-конфессиональных или этнолингвистических различий. Такие практики, закрепляющие социальное отчуждение больших групп и препятствующие консолидации гражданской нации, могут преодолеваться путем развития институтов правового государства, защиты индивидуальных прав и свобод, социальных гарантий и политики равных возможностей, т.е. путем реформирования проводимой государством политики идентичности. С другой стороны, государство становится объектом политики идентичности самих ущемленных в правах групп. Преференциальная политика идентичности, проводимая в интересах таких меньшинств, может оборачиваться против большинства или против тех, кто ранее был в привилегированном положении как своего рода «плата» за бывшую несправедливость (так, кастовая идентичность брахманов в Индии нередко становится сегодня негласным основанием для ограничения профессиональных возможностей ее носителей). Такое положение дел порождает новые социальные расколы в современных обществах. Позитивное совмещение этнической и национальной идентичности возможно на путях поддержки общего культурного пространства и взаимодействия культур, развития институтов гражданского общества, социальных инициатив и самоорганизации граждан.

Национальная идентичность «в своей основе имеет духовные, культурные основания», формирующие национальный характер (как «составную часть психического склада нации») и национальную картину мира — «упорядоченную систему представлений, соотнесенных с определенными национальными ценностями» [Кондаков, Соколов, Хренов 2011: 80–81]. На ее основе утверждаются ключевые для национального самосознания образы мира как «единства местной природы, национального характера и стиля мышления» [Гачев 2003; 2007]. Энтони Смит подчеркивает роль «интеллектуалов — поэтов, музыкантов, художников, скульпторов, писателей, историков и археологов, драматургов, филологов, антропологов и фольклористов, которые выдвигают и разрабатывают концепты и язык наций и национализма через рефлекссию и научные изыскания и выражают широкие общественные ожидания в форме подходящих образов, мифов и символов» — в создании дискурса национальной идентичности [Smith 1991: 93]. Рамки такой «изобретенной традиции» (выражение

Э. Хобсбаума) заданы «культурой — или культурами — данного народа: языком, законом, символами, воспоминаниями, мифами, традициями» [Смит 2004: 242]. Воображаемые реконструкции (recreations) общего исторического и культурного опыта [Smith 2011: 248] направлены на поддержание эмоционального наполнения чувства политической общности, ощущения сопричастности «большой политической семье» [Smith 1991: 160–162]. В формировании повестки дня символической политики и превращении идей в политический проект ключевая роль принадлежит не только культурной элите, но и «политическому классу».

В массовом сознании национальная идентичность не только и не столько рефлексивируется, сколько представляется в доступных и способных вызывать общие переживания формах праздников и памятных дат, в памятниках, в визуальной культуре и других возможностях символической репрезентации идентичности в публичном пространстве [Commemorations... 1996; Performing the Past 2010; Ефремова 2013]. Повседневные практики такой репрезентации своего национального «Я» описываются в современном научном дискурсе в терминах «банального» (обыденного) национализма [Billig 1995]. Разные механизмы представления и бытования национальной идентичности в публичном пространстве — от бытовых проявлений в костюме, кухне, предметах обихода и организации жилья до сферы искусства и экономических проектов — стали предметом пристального внимания исследователей [Edensor 2002; см. также Isaacs and Polese 2015]. Действительно, «национальная идентичность не только декларируется, но и представляется и практикуется» в самых разных формах, и их изучение позволяет уловить эмоциональную составляющую самоидентификации; как доказывают авторы интересных эмпирических исследований, национальная идентичность конструируется дискурсивным путем и проявляется в повседневных взаимодействиях, в разного рода демонстрациях своей принадлежности к большому сообществу [Pawlusz, Seliverstova 2016: 81].

Национальная идентичность формируется в культурном поле в форме дискурсов и нарративов об истории национального сообщества и объединяющих его членов ценностей и представлений о самих себе, определяя общее видение прошлого и будущего. Исследования опыта ее конструирования на примере разных стран (например, постимперской Австрии) доказывают особую роль в этом процессе практик формирования общего исторического дискурса о нации [Wodak, De Cillia, Reisigl, Liebhart 2009]. В рамках конструктивистского подхода утвердилась роль политики памяти [Франция — Память... 1999] как важнейшей составляющей политики идентичности, формирующей национальную идентичность. Ключевую роль играют здесь общие культурные практики, в первую очередь — язык — видимый признак со-общественности, поддерживающий общее культурное и политическое пространство и «четко определяющий отличия от ближайших соседей» [Джозеф 2005: 22].

В условиях открытого информационного общества, при доминировании визуальной культуры, высказывания которой могут обходиться без нацио-

нального языка, и продвижении стандартизированных моделей потребления национальная идентичность зачастую воспринимается как менее значимый ориентир самоидентификации. Известный французский историк Пьер Нора, автор концепта «мест памяти», считает, что речь идет не об ослаблении, а о смещении национального чувства в иную сферу: «оно стало в меньшей степени утвердительным, чем вопросительным. Агрессивно-воинственное сменилось соревновательным... коллективное — индивидуальным и даже индивидуализированным», помогающим проявить свою особость [Les Lieux de Memoire 1997; цит. по Филиппова 2010: 172]. В стихии «цифрового капитализма» рождаются новые, экстретерриториальные воображаемые сообщества, не связанные с образом нации в ее устоявшемся понимании [Shani 2014: 395].

Как эмоциональное переживание своей принадлежности к национальному политическому сообществу национальная идентичность опирается на положительное восприятие исторического опыта и перспектив развития страны. В этом контексте можно говорить об утверждении позитивной идентичности: критический настрой не переходит грани, за которой самоидентификация с национальным сообществом оборачивается безоговорочным отрицанием его опыта и стремлением перечеркнуть такой опыт путем разрушения политических институтов. Напротив, в обществах, переживающих культурную травму [Штомпка 2001a; 2001b] и ломку институтов на этапе, когда «расшатаны критерии своего опыта» [Цымбурский 2002], основой социальной солидарности может стать негативная идентичность, которая оказывается «рутинным механизмом массовой адаптации» к новым реалиям [Гудков 2004]. Такая идентичность предполагает конструирование с помощью политики идентичности образа «Другого» (вплоть до «образа врага»), поддержание «комплекса жертвы», культивирование национальных обид. Формирование негативной идентичности связано с размыванием национального самосознания и кризисом идентичности членов сообщества, который переносится на макрополитический уровень.

В русле прикладных исследований, ориентированных на разработку маркетинговых стратегий и оценку политических рисков для бизнеса, идут поиски путей измерения состояния (уровня) национальной идентичности путем кросс-культурных межстрановых сравнений. Такие исследования основываются на оценках представлений граждан об общих ценностях, верованиях, культурном наследии и эмоциональном переживании сопричастности развитию национального сообщества и выявляют национальные идентичности «сильные», «слабые» и «промежуточного» уровня [Keillor, Hult 1999]. Полученные в ходе опросов социологические данные интерпретируются в соотношении с показателями развития государства (экономики, безопасности) и уровня эффективности его институтов; разрабатываются технологии национального брендинга.

В современном политическом дискурсе национальной идентичностью наделяются государственные образования вне зависимости от характера развития государственности: она выступает как ключевое смыслообразующее

основание государственного суверенитета. Радикальные изменения национально-государственных границ в XX веке требуют конструирования новых идентичностей для легитимизации новых границ в массовом сознании. В политическом дискурсе появилось понятие геополитической идентичности, связанное с реализацией национальных интересов государства в контексте мировой политики. Геополитическая идентичность «тесно соединена с государственностью, ее характером, с позицией государства в международной системе и самоощущением нации» [Жаде 2006: 152].

Формирование транснациональных политических пространств и трансграничные потоки людей, товаров, капиталов способствуют размыванию территориальных опор национальной идентичности. Европейский политический проект рассматривается рядом известных исследователей [Inglehart 1990; Delanty 1995] как шаг к утверждению постнациональной идентичности или «универсального гражданства», опирающегося на «инклюзивное гражданское общество» [Habermas 1992a]. Однако в условиях стремительного роста культурной разнородности в странах с развитыми гражданскими институтами и относительно высоким уровнем благосостояния наблюдается и обратная тенденция — подъем волны «нового» национализма. В то же время инициированные в конце 2000-х годов руководителями ряда европейских стран (Великобритании, Франции) дискуссии о национальной идентичности выявили отсутствие у значительной части граждан общих идентификационных ориентиров, значимых для национального самосознания, и размытость ее понимания. Эмоциональное переживание принадлежности к национальному сообществу деполитизируется и связывается с успехами в спорте, с героями массовой культуры, с кухней и другими практиками повседневности, в которые погружен современный человек.

Литература

- Андерсон Б. 2001. *Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма*. М.: Канон-пресс — Ц; Кучково поле. 288 с.
- Гачев Г. 2003. *Ментальности народов мира*. М.: Алгоритм, Эксмо. 544 с.
- Гачев Г. 2007. *Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос*. М.: Академический проект. 512 с.
- Геллнер Э. 1991. *Нации и национализм*. М.: Прогресс. 320 с.
- Гудков Л.Д. 2004. *Негативная идентичность. Статьи 1997–2002*. М.: Новое литературное обозрение — «ВЦИОМ-А». 816 с.
- Джозеф Дж. 2005. Язык и национальная идентичность. — *Логос*. № 4. С. 4–32.
- Дробужева Л.М. 2008. Национально-гражданская и этническая идентичность: проблемы позитивной совместимости. — *Россия реформирующаяся. Ежегодник (отв. ред. М.К. Горшков)*. М.: Институт социологии РАН. С. 214–228.
- Ефремова В.Н. 2013. Государственные праздники как идеологическая конструкция. — *Политическая наука*. № 4. С. 227–236.
- Жаде З.А. 2006. Геополитическая идентичность. — *Многоуровневая идентичность (науч. ред. А.Ю. Шадже)*. М.: Российское философское общество — Майкоп: ООО «Качество». 245 с.

- Кондаков И.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А. 2011. *Цивилизационная идентичность в переходную эпоху: культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты*. М.: Прогресс-Традиция. 1024 с.
- Кортунов С.В. 2009а. *Национальная идентичность. Постигание смысла*. М.: Аспект Пресс. 589 с.
- Репина Л.П. 2016. Историческая память и национальная идентичность. Подходы и методы исследования. — *Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории*. Вып. 54. «Национальная идентичность и феномен исторической памяти». С. 9–16.
- Российская идентичность в Москве и регионах (отв. ред. Л.М. Дробижева)*. 2009. М.: ИС РАН; МАКС Пресс. 268 с.
- Смит Э. 2004. *Национализм и модернизм. Критический обзор современных теорий наций и национализма*. М.: Праксис. 466 с.
- Филиппова Е.И. 2010. *Территории идентичности в современной Франции*. М.: ФГНУ «Росинформмагротех». 300 с.
- Франция — *Память (под ред. П. Нора)*. 1999. Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета. 328 с.
- Хобсбаум Э. 2005. Все ли языки равны? Язык, культура и национальная идентичность. — *Логос*. № 4. С. 49–59.
- Цымбурский В.А. 2002. Национальная идентичность — это принятие исторического опыта нации. Интервью «Русскому архипелагу». — *Русский архипелаг. Сетевой проект «Русского мира»*. Доступ: <http://www.archipelag.ru/geoculture/langsnpeoples/Vavilon/experience/> (проверено: 20.04.2016).
- Штомпка П. 2001а. Социальное изменение как травма. — *Социологические исследования*. № 1. С. 6–16.
- Штомпка П. 2001б. Культурная травма в посткоммунистическом обществе. — *Социологические исследования*. № 2. С. 3–12.
- Billig M. 1995. *Banal Nationalism*. London: Sage. 208 p.
- Delanty G. 1995. *Inventing Europe: Idea, Identity, Reality*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London: Macmillan Press. 187 p.
- Commemorations. *The Politics of National Identity (ed. by J.R. Gillis)*. 1996. Princeton: Princeton University Press. 304 p.
- Edensor T. 2002. *National Identity, Popular Culture and Everyday Life*. Oxford, New York: Berg. 216 p.
- Habermas J. 1992a. Citizenship and National Identity: Some Reflections on the Future of Europe. — *Praxis International*. No. 12. P. 1–19.
- Inglehart R. 1990. *Culture Shift in Advanced Industrial Society*. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 484 p.
- Isaacs R. and Polese A. 2015. Between “imagined” and “real” nation-building: identities and nationhood in post-Soviet Central Asia. — *Nationalities Papers*. Vol. 43. No 3. P. 371–382.
- Keillor B.D., Hult G.T.N. 1999. A five-country study of national identity. Implications for international marketing research and practice. — *International Marketing Review*. Vol. 16. No. 1. P. 65–82.
- Les Lieux de memoire (Sous la direction de P. Nora)*. Tome 3. *De l'Archive à l'Emblème. Iconographie importante*. 1997. Paris: Gallimard. 1736 p.
- Pawlusz E. & Seliverstova O. 2016. Everyday Nation-Building in the Post-Soviet Space. Methodological Reflections. — *Studies of Transition States and Societies*. Vol. 8. No 1. P. 69–86.
- Performing the Past. Memory, History and Identity in Modern Europe (ed. by K. Tilmans, F. Van Vree, and J.M. Miller)*. 2010. Amsterdam: Amsterdam University Press. 368 p.
- Shani G. 2014. Identity politics in the Global Age. — *Routledge Handbook of Identity Studies (ed. by A. Elliott)*. 2011. Abingdon, Oxon, New York: Routledge. P. 380–395.
- Smith A.D. 1991. *National identity. Ethnonationalism in comparative perspective*. Reno: University of Nevada Press. 226 p.
- Smith A.D. 2011. National identity and vernacular mobilization in Europe. — *Nations and Nationalism*. Vol. 17. No. 2. P. 223–256.
- Wodak R., De Cillia R., Reisigl M., Liebhart K. 2009. *The Discursive Construction of National Identity (Critical Discourse Analysis)*. Edinburgh: Edinburgh University Press. 288 p.

Национализм

П.В. Панов

Ключевые слова: нация, национальное государство, нацистроительство, национальная идентичность, политическая идентичность, гражданская идентичность, этническая идентичность, национальная картина мира.

В российском обыденном и общественно-политическом дискурсе значение слова «национализм» имеет ярко выраженную негативную коннотацию и по смыслу приближается к шовинизму и ксенофобии. В значительной мере это связано с тем, что в российской политической традиции понятие «нация» зачастую сводится к этничности. Соответственно, под *национализмом* понимается идеология или социальное движение, делающее акцент на превосходстве одной нации (как этноса) над другой.

В этом смысле обнаруживается достаточно сильный когнитивный разрыв между общественно-политическим и научным дискурсом, где постепенно утверждается понимание нации и национализма, характерное для западных социальных наук. Здесь концепт нации имеет, в первую очередь, политическую, а не этническую коннотацию. Соответственно, *национализм* означает идеологию, движение, направленное на обретение социальной общностью политической целостности, государственности. В таком духе понятия «нация» и «национализм» тесно связаны с эпохой Модерна, основополагающей характеристикой которой является разделение мира на «ячейки» системы территориальных государств. *Нация* в таком понимании оказывается тем сообществом, которое «обладает» собственным государством либо, по меньшей мере, стремится к этому. Политии в этих условиях по определению являются «национальными государствами» («нациями-государствами» — nation-states).

Несмотря на это общее понимание, в объяснении причин возникновения, да и самой природы наций и национализма наблюдаются существенные различия. В литературе обычно выделяют примордиалистское, инструменталистское и социально-конструктивистское направления. Приверженцы примордиализма (Э. Смит [Smith 1986; Смит 2004]) ищут корни национализма в этнических общностях, на основе которых в процессе модернизации и становления современных государств возникают нации. В таком понимании своего рода «прототипы» наций и национализма существовали всегда. Сторонники инструментализма (Э. Хобсбаум [см. The Invention of Tradition... 1983]; Э. Геллнер [Геллнер 1991]; К. Вердери [Verdery 1996]), напротив, доказывают, что представления

о «культурной, исторической общности» нации — не актуализация уже существующих «прототипов», а результат целенаправленной деятельности элитных групп (политиков, идеологов, интеллектуалов), которые «изобретают традицию». Например, К. Вердери в своей знаменитой дефиниции национализма определила его как «политическое использование символа нации через дискурс и политическую активность» [ibid.: 226]. Социальный конструктивизм (Б. Андерсон [Anderson 1991]), соглашаясь с инструменталистами в том, что национализм «возникает», а не «коренится в этнических общностях», тем не менее акцентирует внимание на коллективную природу социального конструирования реальности, а не на инструментальную деятельность элитных групп.

С точки зрения социально-конструктивистского подхода национализм понимается как коллективные представления о социальной реальности, свойственные эпохе Модерна, которая «представляет человеческий мир как мир, разделенный на конкретные сосуществующие сообщества, причем каждое из них составляет «народ», а каждый народ воображает себя как неразделенный» [Greenfeld, Eastwood 2007: 258]. Каждая нация воспринимается как относительно самодостаточная социальная группа, в рамках которой индивиды воспроизводят множество коллективных и групповых идентичностей, но именно национальная идентичность наделяется политическими смыслами и той самой «системой координат», которая «упорядочивает» самоопределение индивида в этом мире. Указанные коллективные представления (своего рода «картина мира») легитимируются, объективируются, и в результате для индивидов они приобретают значение «объективной данности», «несомненности».

Деятельность, связанная с конструированием национальной картины мира, обозначается термином «нациестроительство» (*nation-building*). Вовлеченные в этот процесс представители элиты — «строители государства (*state-builders*) должны... легитимировать политический порядок, который они стремятся установить и консолидировать. Это включает в себя две задачи: конструирование унифицированного политического сообщества внутри границ управляемой территории — сообщества с единой, дающей связанность, идентичностью — и идентификацию монарха или национального правительства как политического олицетворения или представителя такого унифицированного сообщества» [Rae 2002: 2]. Нациестроительство призвано сформировать коллективное представление о нации как о единственном для индивида политическом коллективе, который существует «поверх» всех остальных социальных групп, связывая их в некую целостность. В этом смысле нации, как блестяще показал в своей работе Б. Андерсон, являются «воображаемыми сообществами» в еще большей мере, чем какие-либо другие, «потому что члены даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих собратьев по нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах каждого из них живет образ их общности» [Андерсон 2001: 31].

В каждом отдельном случае нациестроительство предполагает содержательное определение категории «нация» («кто мы»), и оно может иметь разное «наполнение». В контексте таких «классических» национализмов, как

британский, французский, североамериканский, представление о нации было прочно связано с идеей демократии. Нации представлялись не только как политические общности, соответствующие делению мира на территориальные государства, но и как «народы» — источники власти. Такое понимание нации предполагает, что ключевым ее признаком является гражданство, а все члены нации воспринимаются как равные и свободные граждане, участвующие в демократическом политическом процессе. «Более поздние национализмы» конца XIX — начала XX века, напротив, достаточно активно использовали в определении «мы» этнокультурные характеристики. В связи с этим уже в середине XX века в литературе утвердилось предложенное Г. Кюном противопоставление «гражданского» и «этнического» национализмов. Социально-конструктивистский подход отнюдь не отвергает значимость этнической идентичности для нациестроительства, но, в отличие от примордиалистского подхода, он не считает, что все нации коренятся в этнических общностях. Соответственно, национализм может быть разным — как гражданским, так и этническим — в зависимости от того, каким образом члены нации «коллективно воображают» ее, как «нация понимает себя».

Современные исследования, однако, показали, что разделение национализмов на «гражданские» и «этнические» слишком поверхностно. С одной стороны, стало очевидно, что каждая национальная картина мира в той или иной мере содержит аскриптивные (а не только «чисто гражданские») компоненты. Они были обнаружены даже в американском национализме, который, казалось бы, должен быть «самым гражданским» вследствие истории становления американской нации. С. Хантингтон, например, пришел к выводу, что у американской национальной идентичности было несколько «источников», которые находились в сложном и динамическом соотношении [см. Huntington 2004]. Белый англо-саксонский протестант (WASP — White Anglo-Saxon Protestant) представляет собой сложный сплав схожих расовых, этнических и религиозных черт, которые на протяжении многих десятилетий воспринимались как «значимые признаки» и создавали ту основу, на которой произрастало чувство гражданской общности. Б. Андерсон говорил о «креольском» национализме — продукте имперской экспансии национальных государств, об «официальном» национализме, о лингвистическом национализме и о новом, четвертом типе — дистанционном национализме, в частности, о диаспоральном национализме, формирующемся поверх границ современного государства.

С другой стороны, поскольку национализм легитимирует современный политический порядок, т.е. именно принадлежность к национальному государству лежит в основе категории «нация», каждая национальная картина мира в той или иной мере содержит гражданский компонент. Утверждающаяся в результате такого динамического взаимодействия гражданская (национально-гражданская) идентичность становится несущей конструкцией и смысловой опорой современной политической нации. В современном научном дискурсе в развитие идей гражданского национализма утверждается понятие «либераль-

ного» национализма (совместимого с ценностями свободы, индивидуальных прав и и толерантности в рамках западной традиции), которое отнюдь не рассматривается как оксюморон [Tamir 1995].

По мнению Р. Брубейкера [Brubaker 2004], более значимым, нежели разделение национализмов на гражданский и этнический, является различие между государственно-фреймированными и контргосударственным национализмами. В государственно-фреймированном национализме нация мыслится конгруэнтной государству, независимо от того, каково соотношение «гражданского» и «этнического» компонентов в определении нации. Контргосударственный национализм обосновывает существование некоего политического сообщества, которое рассматривается как автономная в рамках «большой политики» политическая единица. Такая единица может быть территориальной общностью либо экстерриториальной (чаще всего этнической) общностью.

Предложенное Р. Брубейкером различие схватывает и позволяет анализировать те случаи, когда национализм не претендует на создание собственного государства. Это представляется весьма важным для все более усложняющейся картины национализмов в современном мире. В частности, в общественно-политическом и академическом дискурсах утвердилось понятие «multinational state», под которым понимается не полиэтничность состава населения, а те ситуации, когда сразу несколько сообществ мыслят себя как политические сообщества — нации «внутри» одного государства (Канада, Бельгия и т.д.). Вместе с тем необходимо иметь в виду, что грань между контргосударственным и государственно-фреймированным национализмами достаточно тонкая. Например, не так давно шотландский, каталонский национализмы можно было интерпретировать как контргосударственные, но в последние годы возникла мощная сепаратистская тенденция, а это значит, что нация воспринимается в рамках государственного фрейма. По большому счету, это подтверждает тезис, что содержательное определение категории «нация» не просто может иметь разное «наполнение», а всегда является предметом политической борьбы.

В контексте изучения глобализации в научном дискурсе на рубеже XXI века утвердилась теория постнационализма. Ее сторонники (Ю. Хабермас, Я. Сойсал) указывают на размывание основ национального государства как модели организации политического пространства современного мира под воздействием комплекса внешних (рассредоточения власти на разных уровнях — от транснационального и наднационального до регионального) и внутренних (притока мигрантов и актуализации этнических и других групповых идентичностей) факторов. Этот подход не получил широкого признания, но вопрос о природе национализма, об изменении содержания «национального» в приложении к государству и о трансформации понимания нации и национальной идентичности в современном мире остается одним из самых дискуссионных в современной политической науке.

Литература

- Андерсон Б. 2001. *Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма*. М.: Канон-пресс — Ц; Кучково поле. 288 с.
- Геллнер Э. 1991. *Нации и национализм*. М.: Прогресс. 320 с.
- Калхун К. 2006. *Национализм*. М.: Территория будущего. 288 с.
- Смит Э. 2004. *Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма*. М.: Праксис. 466 с.
- Anderson B. 1991. *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*. London, New York: Verso. 224 p.
- Brubaker R. 2004b. *Ethnicity without Groups*. Cambridge: Harvard University Press. 284 p.
- Gellner E. 1983. *Nations and Nationalism*. Ithaca: Cornell University Press. 150 p.
- Greenfeld L., Eastwood J. 2007. National Identity. — *The Oxford Handbook of Comparative Politics* (eds. by C. Boix, S. Stokes). Oxford; New York: Oxford University Press. P. 256–274.
- Huntington S. 2004. Who are We?: The Challenges to America's National Identity. Simon and Schuster. 428 p.
- Rae H. 2002. *State Identities and the Homogenization of People*. Cambridge: Cambridge University Press. 351 p.
- Smith A. 1986. *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford, UK: Basil Blackwell. 312 p.
- Smith A. 1998. *Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nations and Nationalism*. London, New York: Routledge. 270 p.
- Tamir Y. 1995. *Liberal Nationalism*. Princeton NJ: Princeton University Press. 206 p.
- The Invention of Tradition* (eds. by E. Hobsbawm, T. Ranger). 1983. Cambridge: Cambridge University Press. 320 p.
- Verdery K. 1996. Whither «Nation» and «Nationalism»? — *Mapping the Nation* (ed. by G. Balakrishnan). London: Verso. P. 226–234.

Этническая идентичность

Л.М. Дробижева

Ключевые слова: этническое самосознание, этнические стереотипы, коллективные представления, образ «мы», межэтнические отношения, этническая мобилизация, этнонационализм.

Этническая идентичность — одна из социальных идентичностей человека и группы. Согласно устоявшемуся в отечественных исследованиях подходу, *этническая идентичность* — одна из важнейших характеристик этнической общности, ключевой элемент субъективной реальности, который поддерживается

благодаря механизмам социального конструирования [Бергер, Лукман: 1995; Этнические группы... 2006; Barth 1969]. Этническая идентичность функционирует благодаря существованию в обществе этнических категорий и классификаций, которые усваиваются человеком в процессе социализации.

Представления о структуре этнического самосознания различаются в разных научных дисциплинах. Так, социальные психологи обычно рассматривают этническое самосознание как представление о характерных чертах своей группы, т.е. как автостереотипы и «осознание» собственной принадлежности к определенной этнической группе. Для этнодемографов этническая идентичность — это принадлежность к этносу, соотнесение себя с этнической общностью.

Ю.В. Бромлей ввел в научный оборот узкое и широкое понимание этнического самосознания: в узком понимании этническое самосознание интерпретируется как осознание принадлежности к этнической общности, в широком — означает еще и представления людей о культуре, языке, историческом прошлом своего народа, в том числе о государственности, территории [Бромлей 1983].

Сегодня на новом этапе исследований само понимание этнического самосознания может быть уточнено. Если говорить в обобщенном виде, то *этническая идентичность* — это не только осознание принадлежности к этнической группе, но и эмоционально окрашенный «образ мы», и этнические интересы, в соответствии с которыми осуществляется деятельность.

Под «образом мы» имеются в виду не только автостереотипы, т.е. представления о характерных чертах группы, но и другие представления о своем народе, его языке, культуре, территории и т.д. Мы не случайно в определении не дали расшифровку образа «мы», подчеркивая тем самым, что этот «образ» очень изменчив и не всегда включает какой-то обязательный набор представлений. Чаще широкий набор представлений существует на групповом уровне [Кон 1968]. Эти представления находят отражение в литературе, мифах, легендах, произведениях художественного творчества, в прессе, текстах других средств информации.

Согласно концепции, разработанной французским социологом конца XIX — начала XX века Э. Дюркгеймом, «коллективные представления» — это надиндивидуальные феномены сознания, имеющие собственное содержание и не сводящиеся к сумме индивидуальных сознаний. Вот почему в изучении этнической идентичности группы и личности существуют определенные различия. Групповую идентичность изучают не только по результатам массовых опросов, но и по другим источникам — литературе, прессе, мифам, поговоркам и т.д. Самосознание личности изучают с помощью тестов, интервью и других социально-психологических приемов.

Индивидуальные представления личности зависят от ее «включенности» в этничность, от образования, эрудиции человека. Особое значение для утверждения этнической идентичности имеет именно «включенность» в этничность, она намного выше у недоминирующих народов и обычно сильнее в полиэтнической среде [Дробижева 2003b].

Представления — это как бы когнитивное поле этнической идентичности. Но в идентичность входят не только когнитивные компоненты. Наши представления мы переживаем, т.е. здесь включена и чувственная, эмоциональная сфера. Образ «мы» всегда эмоционально окрашен. Г.М. Андреева считает, что «присущая всякой группе психическая общность выражается... в формировании определенного “мы-чувства”» [Андреева 1994].

Среди чувственных эмоциональных образований особо выделяется стремление к психологической общности с группой — социальный мотив аффилиации. Эту потребность в общности с группой, в данном случае этнической, люди испытывают в разной мере. Много зависит от культурных традиций, воспринятых человеком в процессе социализации, и от особенностей личности. Г. Триандис выделяет аллоцентрический тип личности как более нуждающийся в групповой поддержке и идеоцентрический как менее нуждающийся в такой поддержке [Triandis 1995].

Идентичность существует не просто сама по себе как набор эмоционально окрашенных представлений, в ней присутствует и очень важный регулятивный, поведенческий компонент. Он-то и объясняет, почему этническая идентичность «руководит» поведением людей. Этот компонент наиболее очевидно выражен при реализации интересов, потому мы и называем интересы «мотором этнической идентичности».

Таким образом, в этническую идентичность входят когнитивные представления, составляющие «образ я», а также эмоциональные и поведенческие компоненты.

Очень важные моменты, которые необходимо учитывать при понимании этнической идентичности, отмечены в концепции С. Московичи и его последователей. Так, С. Московичи относит к социальным представлениям не любые идеи, теории и взгляды, а лишь те, которые входят в сферу обыденного сознания, становятся продуктом «здорового смысла», формируют «практическое сознание», регулируют повседневную жизнь людей. Следовательно, далеко не все идеи, идеологемы, конструируемые элитой, становятся представлениями людей. Обыденное сознание может вырабатывать и собственные стереотипы поведения.

С. Московичи подчеркивает также отличия групповых представлений от индивидуальных. Групповые представления более устойчивы. Будучи транслируемыми из поколения в поколение, они обладают свойством нормативного воздействия на людей. Чаще всего это представления о языке, культуре, историческом прошлом народа, этнической группы [Московичи 1992].

Элементом когнитивно-эмоциональных компонентов в этнической идентичности является и система этнических стереотипов [Рыжова 2011]. Система эта означает, что в связке и взаимообусловленности в самосознании представлены автостереотипы — «этноинтегрирующие атрибуции-представления о действительных или воображаемых чертах группы», и гетеростереотипы — «этнодифференцирующие атрибуции-представления о других группах».

Этнические стереотипы — это приписывание народу определенных черт, которые могут отражать те или иные реальности, но в целом неправомерно

искажают общую характеристику этого народа. Изучение этнических стереотипов помогает более глубокому пониманию межэтнических отношений и эмоциональных аспектов этнической идентичности.

Этническая идентичность, как и идентичность в целом, формируется в процессе социализации. Роль семьи, ближайшего окружения, школы отмечается в любой — исторической, этнологической, политологической, социологической — литературе. В социальной психологии решающее значение в формировании когнитивных этнических представлений придается процессам взаимодействия. Среди отечественных историков и социологов широко известны идеи Б.Ф. Поршнева о формировании представления о себе в оппозиции «мы — они» [Поршнев 1996]. В психологии идею о формировании идентичности как результате межэтнических взаимодействий чаще связывают с именами Дж.Г. Мида и Г. Тэджфела. Последнему принадлежат выводы о стремлении к позитивной оценке своей группы даже при вполне благоприятных межэтнических отношениях и невыраженной идентичности (достаточно одного отнесения себя к данной «своей» группе) [Differentiation... 1978]. Сравнение в пользу «своей» группы происходит по принципу «ингруппового фаворитизма». Образ других групп, как правило, упрощается и зависит от характера межэтнических отношений. Естественно, негативные отношения формируют неблагоприятный образ другой группы. Бывают ситуации, когда на стереотип влияет ограниченность межэтнического общения в монокультурной среде.

В этносоциологии и политологии значение придается и другим факторам, прежде всего системе идеологической направленности. В зарубежной социальной психологии мысль о влиянии на идентичность идеологии связывают с именем Э. Эриксона [Erikson 1995; Эриксон 1996]. На отечественном опыте мы знаем, какое громадное значение придавалось идеологии и какой мощный аппарат был задействован для того, чтобы какие-то страницы истории и явления культуры (традиции) стереть из памяти людей и, наоборот, сформировать новые представления и стереотипы [Гражданская... 2013].

Наиболее востребованными «опорами» для формирования этнической идентичности, как показывают исследования, являются элементы культуры [Дробужева 2003b]. Отвечая на вопрос «Что больше всего объединяет Вас с людьми Вашей национальности?», 3/4 граждан России называют язык, 2/3 культуру, чуть более половины территорию, родную землю, природу, около 1/3 религию, более 1/3 историческое прошлое¹. Естественно, значимость интеграторов у людей разных национальностей в чем-то может различаться по набору признаков. Например, для трети русских имеет значение общая государственность. Россияне других национальностей часто упомина-

¹ Здесь и далее приводятся данные Общероссийского исследования ИС РАН «Динамика социальной трансформации современной России в социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах», руководитель проекта М.К. Горшков.

ют обычаи, обряды (52% против 46% среди русских), кто-то упоминает внешний облик. Но в целом по результатам опросов этническая идентичность прежде всего опирается на культуру.

Есть один сложный вопрос: насколько имеет значение происхождение человека? Отвечая на вопрос «Что больше всего Вас объединяет с людьми Вашей национальности?», респонденты практически не называют этот признак. Но в одном из опросов респондентов спросили: «Кого россияне считают русским?», среди подсказок была позиция «Кто русский по происхождению, по крови». Более 30% выбрали ее. В общественном сознании она не доминирует, но, как известно, в политическом дискурсе националистов примордиальный критерий является аргументом в пользу защиты коллективных интересов большинства. Отметим, что восприятие этничности по происхождению отражает национальность родителей и родственные связи, но не может быть основой для таких аргументов. Обыденные представления об этничности формируются на основе категоризации социального пространства.

Этническая идентичность в условиях глобализации в связи с расширением разнообразных контактов между людьми актуализируется во всех странах. В России этот процесс стимулировался также национальными движениями в период распада Союза и ростом миграций. По данным исследований ИС РАН 2015 года, практически 80% россиян «никогда не забывают о своей национальности» (45% полностью согласны с этим утверждением) и практически столько же проявляют этническую солидарность, соглашаясь с суждением: «Современному человеку необходимо ощущать себя частью своей национальности».

Этносоциологи выделяют различные типы этнической идентичности — норму, когда у человека существуют позитивные представления о своей группе и других этнических группах; гиперидентичность — представление об этническом доминировании, этнофанатизм и т.п.; негативную идентичность — этнонигилизм; амбивалентную, дрейфующую идентичность [Дробичева, Аклаев, Коротева, Солдатова 1996; Солдатова 1997].

В связи с тем, что в отечественной науке и отчасти в европейской (например, в Германии) понятие нации использовалось в этнокультурном значении, а теперь утверждается понимание нации как политической общности, для использования термина в этнокультурном значении введен термин «этнонация». Гипертрофированная идентификация с этнонацией, при которой этнические, этнонациональные интересы рассматриваются выше интересов личности и выдвигаются требования расширения политических прав народа или даже получения полной независимости (сепессия), интерпретируются как этнонационализм [см. Альтерматт 2000]. Этнонационализм — это идеология, политика и политическая практика во имя интересов доминирующей этнической общности. В Эстонии и Латвии, где считается, что после получения независимости сформировалось демократическое общество, этой демократией в полной мере пользуется лишь имеющие статус граждан, а не все

жители страны. Для определения такой политической системы вполне уместно использовать термин «этническая демократия».

В этнологии, социологии и политологии изучают роль элит и лидеров в этнической мобилизации. Поэтому с теоретической точки зрения важно выделять два уровня этнического самосознания — идеологический и социально-психологический.

Литература

- Альтерматт У. 2000. *Этнонационализм в Европе*. М.: РГГУ. 367 с.
- Андреева Г.М. 1994. *Социальная психология*. М.: Наука. 325 с.
- Бергер П., Лукман Т. 1995. *Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания*. М.: Медиум. 323 с.
- Бромлей Ю.В. 1983. *Очерки теории этноса*. М.: Наука. 412 с.
- Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра (руководитель проекта и отв. ред. Л. М. Дробижева)*. 2013. М.: РОССПЭН. 485 с.
- Дробижева Л.М. 2003b. *Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России*. М.: Центр общечеловеческих ценностей. 376 с.
- Дробижева Л.М., Аклаев А.Р., Коротева В.В., Солдатова Г.У. 1996. *Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов*. М.: Мысль. 382 с.
- Кон И.С. 1968. Национальный характер — миф или реальность? — *Иностранная литература*. № 9. С. 215–229.
- Московичи С. 1992. От коллективных представлений к социальным. — *Вопросы социологии*. Т. 1. № 2. С. 83–95.
- Поршнева Б.Ф. 1966. *Социальная психология и история*. М.: Наука. 160 с.
- Рыжова С.В. 2011. *Этническая идентичность в контексте толерантности*. М.: Альфа-М. 280 с.
- Солдатова Г.У. 1997. *Психология межэтнической напряженности*. М.: Смысл. 398 с.
- Эрикссон Э. 1996. *Идентичность: юность и кризис*. М.: Флинта. 342 с.
- Этнические группы и социальные границы: Социальная организация культурных различий (под ред. Ф. Барта)*. 2006. М.: Новое издательство. 198 с.
- Barth F. 1969. Introduction. — *Ethnic Groups and Boundaries: the Social Organizations of Culture Difference* (ed. by F. Barth). Oslo: Universitetsforlaget, Reprint. 1982.
- Differentiation Between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations* (ed. by H. Tajfel). 1978. London: Academic Press. 474 p.
- Erikson E. H. 1995. Psychosocial Identity. — *A Way of Looking at Things. Selected Papers from 1930 to 1980* (ed. by S. Schlein). New York: Norton & Co. 782 p.
- Triandis H.C. 1995. *Individualism and Collectivism*. Westview Press. 280 p.

Раса и идентичность¹

И.А. Прохоренко

Ключевые слова: раса, политическая идентичность, расизм, расовые теории, негритюд, колониальные империи, колониализм, деколонизация, массовая инокультурная миграция, глобализация.

В настоящее время антропологи сходятся во мнении, что человечество представляет собой единый биологический вид, однако продолжают спорить о том, сколько именно рас и расовых подтипов может быть выделено внутри *Homo sapiens*. Большинство разделяют популяционную концепцию расы, согласно которой раса — это группа популяций, между которыми есть плавные переходы, и сходятся в том, что в самом общем виде можно говорить об европеоидной, монголоидной и экваториальной, или негро-австралоидной, расах.

Расы и расовые подтипы российский этнолог В.А. Тишков определяет как группы людей, которые выделяются на основе как исторически возникших и наследственно обусловленных биологических особенностей, так и социально конструируемого восприятия в ходе европейской колонизации мира и в результате распространения европоцентристских научных концепций. Считается, что многие расовые характеристики представляют собой адаптацию к особому типу природных условий, т.е. раса представляет собой своего рода отражение климата. Как полагает В.А. Тишков, необоснованно относить к расовым типам определенные этнические общности, а также индивидов однородных групп к разным расовым типам [Тишков 2010]. Тем более что расы никогда в истории человечества не были изолированными видами, а в современном мире в результате массовой масштабной миграции практически все общества не являются гомогенными в расовом и этническом отношении.

«Раса» представляет собой достаточно условное понятие, которое, к тому же, имеет сложный и многозначный характер и чрезвычайно политизировано. Столь же многозначно и политизировано и смежное понятие «расизм». Это представления, мировоззрение, идеология, дискурс и политико-идеологичес-

¹ Статья подготовлена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-00021 «Регулирование межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов в современном мире: потенциал гражданской идентичности (сравнительный политический анализ)») в Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН).

кая практика, которые исходят из идеи о том, что человеческий род не един и гомогенен, а состоит из отличных друг от друга рас как отдельных самостоятельных видов человека, которые при этом естественным образом иерархически соподчиняются между собой. Феномен расизма проявляет себя как «отрицание Другого», проводит моральное и политическое разграничение между «Я» и «Чужой», исходя из выделения «признаков Чужого» и «страха различий». В основе его лежат предрассудки, стереотипы и мифы о «чистоте крови» и «чистоте расы», о «бремени белого человека» и его «цивилизаторской миссии».

Исторически корни подобного традиционного расизма уходят в прошлое колониальной экспансии европейских держав, рабства, эксплуатации и геноцида туземного населения захваченных территорий. Именно тогда, с начала XVI века, «раса» стала первым фундаментальным критерием иерархического распределения населения мира по рангам, местам и ролям в структуре власти молодого капиталистического общества Нового времени, иными словами — универсальной классификации человечества согласно новым историко-социальным идентичностям [Quijano, 2003]. Именно этот критерий использовал шведский естествоиспытатель Карл Линней в своем знаменитом труде 1735 года «Система природы», разделив род *Homo sapiens* по психосоматическим и физиологическим признакам на четыре вида (европейцы, американцы, азиаты, африканцы) и поставив на первое место по своим видовым характеристикам *Homo sapiens europeus*. Учитывая также кранеологические характеристики (измеряемые особенности строения черепа), немецкий ученый Иоганн-Фридрих Блюменбах в 1776 году выделил пять рас: кавказскую, монгольскую, африканскую, американскую и малайскую [Jackson and Weidman 2005: 16, 19–20].

Полигенетическую концепцию расы, согласно которой расы имеют различное самостоятельное происхождение, отстаивал идеолог арийской расовой теорий Жозеф-Артюр де Гобино (1816–1882), считая расовое неравенство наиболее фундаментальным, исходным и первичным [Гофман 1977; Лепетухин 2013]. Смешение рас Гобино трактовал как фундаментальный процесс, определяющий исторический процесс и судьбы цивилизаций: вырождение цивилизаций в результате смешения рас является трагической диалектикой истории. Критикуя Гобино за фатализм и пессимизм, другой теоретик расизма Хьюстон Стюарт Чемберлен (1855–1927) полагал, что европейская культура явилась результатом слияния искусства, литературы и философии Древней Греции, юридической системы и модели государственного управления Древнего Рима, христианства в его протестантском варианте, возрождающегося созидательного тевтонского духа и разрушительного влияния иудаизма [Лепетухин 2013; Чемберлен 2012].

Во второй половине XX века биологический научный расизм сменяет политический неорасизм эпохи деколонизации и массовой инокультурной миграции и одновременно — эпохи обязательной политической толерантности. Новый дифференциалистский сублимированный расизм, продолжая оставаться одной из стратегий исключения, устанавливает отношение детерминации между «расой» как биологической принадлежностью и «цивилизацией» как

принадлежностью культурной, заменяя логику «инфериоризации» (от англ. *inferior* — неполноценный) традиционного расизма логикой дифференциации [Малахов 2000].

В период освободительной борьбы и эпохи деколонизации в Африке формируется идеология негритюда (африканского духа), в основу которой легли представления о самобытности, самоценности и самодостаточности негроидной расы [Ерасов 1972]. Идеологами негритюда считаются сенегальский поэт, философ и политик, первый президент независимого Сенегала Леопольд Седар Сенгор (1906–2001), мартиникский писатель, поэт и общественный деятель Эме Сезер (1913–2008) (он, кстати, и придумал сам неологизм — негритюд — в 30-е гг. XX века), а также французский поэт и писатель, депутат Национального собрания Франции от Гвианы Леон-Гонтран Дамас (1912–1978).

Так, Леопольд Сенгор отвергал универсализм западной культуры и проводил различие между личностью негроафриканского и эллинско-европейского типов как различных рас, их природой, эмоциями и разумом, психологическими и физиологическими особенностями [Сенгор 2000; Ерасов 1972]. По мнению Сенгора, негр, в отличие от европейца, — это дитя природы, он познает другого и мир вокруг себя на субъективном уровне, его разум интуитивен, а математическая аксиома для него не самоочевидна, как для европейца, разум которого аналитичен. Из этого расового разделения следовал бесспорный вывод о превосходстве «черной» расы, ее устремлении в будущее, в то время как раса «белых» с ее рационализмом, индивидуализмом, техницизмом оказывается не в состоянии предотвратить неизбежный упадок западной цивилизации. Идеи особости африканской расы и африканской цивилизации, идеализация традиционного общинного уклада и общинно-племенной солидарности, древних культурных и религиозных верований африканских племен и народов нашли воплощение в концепциях «африканского социализма» и африканской идентичности.

Проблематика расы и идентичности стала одной из составляющих формирования и развития гражданских наций по всему миру, и прежде всего, в Соединенных Штатах Америки, латиноамериканских и африканских государствах (причем не только в стране расовой демократии Бразилии с ее многочисленными расовыми категориями цвета кожи или ЮАР, где после крушения системы апартеида также выстроена специфическая модель расовой демократии на принципах восстановления исторической справедливости и расовой трансформации и в соответствии с расовыми квотами по секторам экономики и управления).

Показательно, что феномен расовых отношений стал изучаться социологами на примере Соединенных Штатов Америки. Американский эссеист, социолог и общественный деятель негритянского происхождения, противник расизма и один из идеологов панафриканизма² Уильям Дюбуа в своих работах

² На рубеже XIX–XX веков, панафриканизм стал философией и идейно-политическим движением афроамериканских интеллектуалов за предоставление неграм равных прав в США,

«Негр Филадельфии» (*The Philadelphia Negro*, 1899), «Черная реконструкция в Америке» (*Black Reconstruction in America*, 1935), «Сумерки зари. Эссе по поводу истории расовой проблемы» (*Dusk of Dawn. An Essay toward an Autobiography of Race Concept*, 1940) обосновывает тезис о двойном сознании, двойной идентичности афроамериканцев: с одной стороны, они американцы, с другой, — черные, представители дискриминируемой и униженной расы в условиях расовой сегрегации. И в этом смысле черные американцы, более чем американцы белые, являются продуктом истории Соединенных Штатов. Идеалом для Дюбуа является интегрированное американское общество, в котором черные имеют равные права с белыми и обладают полным гражданством [Du Bois 2001].

Впоследствии эти идеи развивал в своих работах британский интеллектуал и политический активист, лидер британской школы культуральных исследований Стюарт Холл. В поисках ответа на вопрос о влиянии расы и цвета кожи на индивидуальность он размышлял (в том числе сквозь призму личного опыта) об историческом конструировании черной идентичности [Hall 1996], о формировании новых гибридных идентичностей в постимперской Великобритании и креолизации карибской культуры как примере такой динамики [Холл 2010].

Шведский ученый Гуннар Мюрдаль, лауреат Нобелевской премии по экономике 1974 года «за основополагающие работы по теории денег и глубокий анализ взаимозависимости экономических, социальных и институциональных явлений» был приглашен в 1938 году в США, чтобы возглавить там Центр по изучению проблем американских негров при Институте Карнеги. Результатом многолетних научных изысканий Мюрдаля стало фундаментальное социологическое исследование «Американская дилемма. Негритянские вопросы и современная демократия» [Myrdal 1944]. Мюрдаль справедливо утверждал, что для каждого американца существует дилемма: он разрывается между верой в американскую мечту, идеалы демократии и равных возможностей и реальностью расовой дискриминации и сегрегации. Расовая проблема, по его мнению, является составной частью комплекса проблем американской цивилизации в широком смысле, влияет на международные авторитет и престиж США, а ее решение объединит страну и сделает ее по-настоящему великой.

в основу которого легли также представления об общей истории, общей судьбе и коллективной самостоятельности жителей Африки и африканской диаспоры в США. Организационной формой panaфриканизма стали Первая panaмериканская конференция в 1900 году и panaфриканские конгрессы (участником конференции и первых таких конгрессов в 1920-е годы был Уильям Дюбуа). Позже был связан с идеями афроамериканской идентичности и борьбой за гражданские права в 1960–1970 годы. Приобрел в первой половине XX века по-настоящему всемирный характер, был солидарен с борьбой за независимость африканских колоний, а позже разделял идеи афроцентризма и создания единого независимого государства на африканском континенте. На основе идеологии афроцентричного panaфриканизма в 1963 году была создана международная континентальная межправительственная Организация африканского единства (в настоящее время историческим правопреемником Организации является Африканский союз, законодательным органом которого выступает Panaфриканский парламент).

Расовая политика в латиноамериканских республиках имеет свои особенности. Европейское, индейское, афро-американское и азиатское население Латинской Америки очень разнородно по своему составу и происхождению, к тому же его расово-этническая структура имеет национальную специфику, обусловленную историческими причинами. Считается, что коренное население в колониальный период сократилось на две трети или даже на три четверти: индейцев просто убивали колонизаторы, они гибли вследствие завезенных европейцами новых болезней и подневольного труда на плантациях и рудниках. С 1520-х по 1860-е годы в регион завезли около 10–12 млн чернокожих рабов, примерно 40% которых были отправлены в Бразилию. После Войны за независимость начинается новая мощная волна европейского заселения континента (около 6 млн с 1820 по 1930 годы), в основном из стран Южной Европы — Испании, Португалии, Италии [Посконина 2005; Шоню 2008: 47–52, 132–137].

С начала становления независимых государств латиноамериканские политические элиты, которые представляли креольскую аристократию — потомков европейских переселенцев, похожих на европейцев физически и культурно, но фактически таковыми уже не являющихся, активно способствовали расовому смешению. В известном смысле потомки европейских колонизаторов считали политику метисации (букв. смешанные гены) предметом своей национальной гордости, отрицая рабство и прежнюю кастовую систему расовой иерархии в колониях. Тем самым они мифологизировали идею национального (гражданского) единства, предпочитая не упоминать о расовых и этнических различиях в официальных документах и политическом дискурсе.

Степень влияния подобного политического мифа оказалась наиболее серьезной там, где коренные жители составляли существенную долю населения — в Бразилии, Венесуэле, Мексике, Перу, Эквадоре, и была менее значительной в Аргентине, Коста-Рике, Уругвае, Чили. Безусловно, свою роль в этом приобщении индейцев к «цивилизации» играли мотивы экономического свойства — интересы капиталистического развития латиноамериканских стран и потребность в квалифицированной рабочей силе. Духовно-идеологической основой такого мифа выступила сложившаяся особая латиноамериканская разновидность католицизма: иберийский вариант католической веры вобрал в себя элементы местных индейских верований и обычаев. Достаточно здесь вспомнить распространенный в Ибероамерике культ Девы Марии Гваделупской с чертами индейской женщины, который приобрел общественное и поистине политическое значение. В Мексике этот образ приобрел черты национального символа (с 1859 года День Пречистой Девы 12 декабря стал национальным праздником). В 1910 году римский папа Пий X провозгласил Деву Марию Гваделупскую покровительницей всей Латинской Америки, а в 1945 году Пий XII объявил ее «королевой Мексики и повелительницей обеих Америк».

Исход биологического смешения рас новые элиты Ибероамерики видели иначе, чем политические лидеры и идеологи в завоевавших независимость от Англии Соединенных Штатах Америки, которые закрепили рабство, а значит,

и принцип расового неравенства конституционно. Вплоть до конца 1960-х годов там существовал запрет на межрасовые браки (США продолжили в этом плане традиции Британской империи), а родившиеся в таких семьях дети считались черными [Racial and Ethnic Relations in America 1998]. До недавнего времени такие браки не были обычным явлением, и относились к ним американцы в большинстве своем неодобрительно.

Метисация в Латинской Америке должна была протекать, напротив, в сторону «побеления» индейского и негритянского населения, а значит, «улучшения расы» и создания, таким образом, новых латиноамериканских наций на принципах относительной расовой и этнической гомогенности подобно добавлению молока в кофе. Именно в таком духе, весьма своеобразно интерпретируя всю ту же европейскую идею господства высшей расы, рассуждал мексиканский мыслитель и общественный деятель Хосе Васконселос (1881–1959), оказавший огромное влияние на развитие латиноамериканской мысли. Доказывая возможность создания особой пятой интегральной ибероамериканской расы и латиноамериканца как определенного типа человека, объединяющего в себе достоинства всех рас, Васконселос предлагал добиваться этой цели путем позитивистски ориентированного воспитания добродетельных граждан, ощущающих свою самобытность и неповторимость [см. напр. Vasconcelos 1958a, 1958b; Bernal González 2010]. Таким образом, противостояние и конфликт в рамках дихотомии «Я — Другой» предлагалось разрешить путем ассимиляции Другого.

Тем самым предполагалось — фактически в противовес примордиализму в строительстве гражданских наций, признающему идентичность как изначальную, прочную по крови и по времени данность, — что метисы (потомки индейцев и европейцев), мулаты (появившиеся на свет в результате браков европейцев и африканцев), самбо (потомки от смешения индейской и негроидной рас) и многие другие гибридные антропологические типы приобретут гибридную идентичность. В итоге расовые и этнические («варварские») идентичности не будут казаться столь прочными и неизбежно подвергнутся эрозии и переменам в процессе метисации, с одной стороны, и образования, гражданского в том числе, с другой. Произойдут сближение и слияние различных культур и цивилизаций, своеобразный взаимообогащающий синтез в новом качестве.

Понятие расы тем самым лишалось традиционного биологического (физиологического) значения и наполнялось новым политическим смыслом — оно скорее говорило об индивидуальной, национальной и макрорегиональной принадлежности латиноамериканцев, их особой коллективной «расовой» идентичности, сложившейся в результате культурной гибридизации. Подобное, в духе социал-дарвинизма и романтического идеализма, понимание путей воспитания новых латиноамериканцев, граждан отдельных государств и всего региона в целом, для которых он предстает некой Большой Родиной, подпитывалось в том числе идеями имперской, а потом и постимперской идентичности иберийцев.

Идея и политика поддержки метисации в Латинской Америке автоматически не означали формального равенства граждан. И в XX веке индейское население и потомки чернокожих рабов оказывались политически маргинализованными (степень их политического участия оставалась крайне низкой) и ущемленными в социально-экономическом отношении по многим показателям — уровню образования, бедности, детской смертности. Даже в настоящее время, спустя два столетия после завоевания независимости и предоставления широких прав индейскому населению в различных областях общественно-политической жизни (в том числе признания индейских языков в качестве местных, региональных и вторых официальных), колониальное сознание дает о себе знать. Некоторые индейские общины живут изолированно, немалая часть новорожденных в индейских семьях попросту не регистрируется, индейское население не получает медицинской помощи в должном объеме, а уровень образования определяется во многом цветом кожи. Можно утверждать, что социальное неравенство в регионе, в том числе горизонтальное — внутри одной социальной группы, имеет этно-расовое измерение.

Во многом схожая ситуация наблюдается сегодня и в Соединенных Штатах, хотя в 2009 году впервые в национальной истории на пост главы государства был избран темнокожий кандидат — Барак Хусейн Обама. Впрочем, победа на президентских выборах 2016 года белого республиканца Дональда Трампа является показателем того, что многие американцы разочарованы результатами политики Обамы, который в начале своего президентства воспринимался как носитель надежды на перемены, на появление чего-то качественно иного, в том числе в сфере расовых отношений.

Как показывают опросы общественного мнения, расизм по-прежнему остается большой проблемой для почти половины американцев, фокусом политической борьбы и дебатов в ходе избирательных кампаний³, а феномен дискриминации и расового неравенства в эпоху «после расизма» или «расизма без расистов» [Bonilla-Silva 2009] угрожает единству и стабильному развитию американской гражданской нации. И это понятно: любые разновидности статусных различий расовых групп очень инертны во времени и сохраняются спустя десятилетия после того, как приняты решения на государственном уровне о запрете и недопустимости впредь подобных различий. По-прежнему на психологическом и бытовом уровне существуют различия между «нами» и «ими» по расовым признакам. Независимо от того, основаны или нет подобные представления на биологии, понятие расы продолжает быть политически значимым, а расовые (этнорасовые) идентичности все еще определяют психологию, поведение и политические предпочтения многих людей.

То, что сложившаяся в американском обществе ситуация таит в себе значительный конфликтный потенциал, подтверждают и беспорядки на расовой

³ См., напр.: CNN / Kaiser Family Foundation Survey of Americans on Race. November 2015. URL: <https://www.documentcloud.org/documents/2600623-kff-cnn-race-topline-final.html>.

почве в городке Фергюсон (штат Миссури) в 2014–2016 годах, когда белые полицейские применяли избыточную силу в отношении безоружных чернокожих нарушителей порядка или даже стреляли в них на поражение во время задержания, а также случай издевательства черных подростков над белым мужчиной-инвалидом в Чикаго в январе 2017 года и трансляция происходящего в Интернете как проявление расизма.

И сегодня в Соединенных Штатах, как показывают опросы общественного мнения, можно наблюдать разделительные линии по расовым признакам в общественном дискурсе по различным политическим вопросам. Объяснить это можно как историческими, так и социально-экономическими причинами. Расовая дискриминация как социальная норма ушла в прошлое, для подавляющего большинства американцев межрасовый брак и интеграция в школе стали общепринятыми стандартами, действуют свод законов и защитных механизмов для нейтрализации преднамеренной дискриминации. Однако в условиях постиндустриальной экономики с ее ограниченными перспективами рабочих вакансий афроамериканцы и другие расовые меньшинства в США не в состоянии преодолеть свое неравенство с белыми по таким параметрам, как уровень образования и дохода, занятость, доступ к системе здравоохранения, обеспеченность жильем, уголовное делопроизводство. Сохранению неравенства мешают и стереотипы, и предубеждения в отношении представителей расовых меньшинств.

В свою очередь, немалые риски несут в себе явление так называемого черного расизма, деятельность экстремистских группировок, проповедующих идею превосходства негритянской расы над европеоидной, а также противостояние различных афроамериканских сообществ уже между собой. Проблемы расовой дискриминации и неравенства оказываются в центре политики идентичности в европейских государствах в условиях массовой инокультурной миграции, независимо от того, какие принципы лежат в основании этой политики — мультикультурализм или ассимиляция.

Тем не менее проблема расовых отношений, противоречий и конфликтов не замалчивается, она присутствует как в общественном, так и в научном дискурсе. Речь идет, в первую очередь, об анализе «цветов» социальных и культурных практик в американском обществе. Например, в Медицинской школе Бостонского университета провели репрезентативное исследование личного опыта пациентов по поводу получения важной медицинской информации от врача иной этнической принадлежности. Оказалось, что пациенты из групп национального и этнического меньшинства получали меньшее количество информации при обосновании назначений лекарств и процедур, а стоимость и эффективность лечения в конечном итоге достоверно доказуемой разницы не имели [Kressin and Lin 2015.].

Можно утверждать, что понятие «раса» тесно переплетается с понятиями «этнос», а иногда даже — и «класс», в процессе нациестроительства и дальнейшего развития гражданской нации. Вероятно, именно поэтому не всегда можно выделить расовую идентичность, отделить ее от других. Ведь не обязательно

национальные, этнические, религиозные, лингвистические и культурные группы совпадают с расовыми популяциями, а морфологические и генетические отличия являются доминирующими факторами в дифференциации различных людей или групп. Понятие «расовая идентичность» сегодня употребляется в отношении идентичности афроамериканцев в различных социологических исследованиях преимущественно в США [см., напр Thompson and Carter (eds.) 1997; Stone Hanley and Noblit 2009]. Чаще говорят о расе и идентичности, расовой и этнической идентичности, расовых и этнических исследованиях.

Литература

- Гофман А.Б. 1977. Элитизм и расизм (критика философско-исторических воззрений А. де Гобино). — *Расы и народы*. Вып. 7. М.: Наука. С. 128–142.
- Ерасов Б.С. 1972. *Тропическая Африка: идеология и проблемы культуры*. М.: Наука. 270 с.
- Лепетухин Н.В. 2013. *Теории расизма в общественно-политической жизни Западной Европы во второй половине XIX — начале XX веков*: Ж.-А. Гобино, Г. Лебон, Х.-С. Чемберлен. Иваново: ПресСто. 14 с.
- Малахов В.С. 2000. Скромное обаяние расизма. — *Знамя*. № 6. С. 175–189.
- Посконина О.И. 2005. *История Латинской Америки (до XX века)*. М.: Весь Мир. 248 с.
- Сенгор Л. 2000. Негритюд: психология африканского негра. — *Культурология: хрестоматия / Сост. П.С. Гуревич*. М.: Гардарики. С. 528–539.
- Тишков В.А. 2010. Раса. — *Новая философская энциклопедия: в 4 т. 2-е изд., испр. и допол.* Интернет-версия / Институт философии РАН; Национальный общественно-научный фонд. М.: Мысль. URL: <http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH0108944d2c9fc345ed553108>.
- Холл С. 2010. Вопрос культурной идентичности. — *Художественный журнал*. № 77/78. URL: <http://xz.gif.ru/numbers/77-78/hall/>.
- Чемберлен Х.С. 2012. *Основания девятнадцатого столетия / Пер. Е.Б. Колесниковой*. В 2 т. СПб.: Русский мир. Т. I. 688 с. Т. II. 479 с. (Первое издание — 1899 г.).
- Шоню П. 2008. *История Латинской Америки*. М.: Астрель. 160 с.
- Bernal González M. del C. 2010. *La teoría pedagógica de José Vasconcelos*. México: Trillas. 99 p.
- Bonilla-Silva E. 2009. *Racism without Racists: Color-Blind Racism and the Persistence of Racial Inequality in America*. 3rd ed. Lanham (ML, USA): Rowman & Littlefield Publishers. 318 p.
- Du Bois W.E.D. 2001. *An encyclopedia / ed. by G. Horne and M. Young; foreword by D.L. Lewis*. Westport (CT, USA): Greenwood Press. 280 p.
- Hall S. 1996 (1987). Minimal selves. — *Black British Cultural Studies: A Reader*. H.A. Barker, M. Diawara & R.H. Lindborg (eds.). Chicago, IL, USA: University of Chicago Press. P. 63–69.
- Jackson J.P. and Weidman N.M. 2005. *Race, racism and science*. New Brunswick: Rutgers University press. 424 p.
- Kressin N.R., Lin M.Y. 2015. Race/ethnicity, and Americans' perceptions and experiences of over- and under-use of care: a cross-sectional study. — *BMC Health Services Research*. Oct 1;15: 443. doi: 10.1186/s12913-015-1106-7.
- McLemore S.D., Romo H.D. (eds.). 1998. *Racial and Ethnic Relations in America*. 5th ed. Boston: Allyn & Bacon. 511 p.
- Myrdal G. 1944. *An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy*. N.Y.: Harper & Bros. 1483 p.
- Quijano A. 2003. Colonialidad del poder eurocentrismo y America Latina. — Lander E. (comp.) *La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLASO. P. 201–242.

Racial and Ethnic Relations in America. 1998. Eds. by McLemore S.D. and Romo H.D. 5th ed. Boston: Allyn & Bacon. 511 p.

Racial identity theory: applications to individual, group, and organizational interventions. 1997. Thompson Ch.E. and Carter R.T. (eds.). Mahwah (NJ, USA): Lawrence Erlbaum Associates. 280 p.

Stone Hanley M. and Noblit G.W. 2009. *Cultural responsiveness, racial identity and academic success: a review of literature. A paper prepared for The Heinz Endowments*. URL: http://www.heinz.org/userfiles/library/culture-report_final.pdf.

Vasconcelos J. 1958a. La raza cósmica: misión de la raza iberoamericana. Notas de viaje a la América del sur. — *Obras completas*. Tomo II. México: Libreros Mexicanos Unidos. P. 903–1067.

Vasconcelos J. 1958b. Indología: una interpretación de la cultura iberoamericana. — *Obras completas*. Tomo II. México: Libreros Mexicanos Unidos. P. 1069–1303.

Дiasпоры и диаспоральные «миры»¹

И.Л. Прохоренко

Ключевые слова: этническое сообщество, политическая идентичность, диаспора, диаспоральные «миры», диаспоры в мировой политике, родина, историческая память, этнополитические мифы.

Понятие «диаспора» (греч. *διασπορά* — рассеяние, имеется в виду рассеяние народов за пределы своего государства) не имеет устоявшихся определений. Несмотря на широкое применение в публицистике и научной литературе, его значение в социальных науках во многом не определено и подвижно [Тишков 2000; Braziel and Mannur (eds.) 2008].

Диаспорой в антропологии, социологии и политической науке принято называть не просто определенную, достаточно устойчивую группу людей с общими этническими и / или религиозными корнями, которая в силу разных причин добровольно или вынужденно обитает вне своей страны и территории традиционного проживания (основного ареала расселения). Важным при этом является то, что члены этой группы сохраняют привязанность к бывшей родине и верность ее традициям, хотя могут и не поддерживать связь с нею. Они не желают ассимилироваться полностью или даже частично в месте нового проживания и стремятся возродить на новом месте свой прежний

¹ Статья подготовлена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-00021 «Регулирование межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов в современном мире: потенциал гражданской идентичности (сравнительный политический анализ)») в Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН).

привычный им культурный мир (в самом широком смысле). Они сохраняют свои историческую память, язык, религию, обряды и праздники, бытовые традиции, кулинарные привычки, передавая потомкам традиционные (этнические) имена и фамилии, заключают браки с представителями своей диаспоры и т.д. Значимым признаком диаспоры в ее классическом виде нередко является разделяемый членами диаспоры «миф возвращения» на родину.

Одним из первых народов, создавших диаспоры, стали греки, организовавшие торговые поселения за пределами родины в эпоху древнегреческой колонизации Средиземноморья и Причерноморья, а также евреи, которые вынужденно покинули историческую родину и, фактически, утратили связь с нею, расселившись в VIII в. до н.э. после падения Израильского царства по тогдашнему миру. Наиболее многочисленными и влиятельными диаспорами в современном мире являются китайская, индийская, русская, украинская, армянская, еврейская, итальянская, греческая, ирландская, иранская. Трудно сказать, можно ли говорить о цыганской диаспоре, учитывая продолжающиеся научные споры о происхождении и исторической родине цыган, о культуре цыган, которая детерриториализована и не имеет пространственно-географических границ [Черенков 2009; Belton 2005; Okely 2003].

Американский политолог Уильям Сафран, главный редактор известного журнала «Национализм и этническая политика» (*Nationalism and Ethnic Politics*) с момента его основания в 1995 году и вплоть до 2010 года, внесший весомый вклад в изучение феномена диаспоры, выделил следующие типичные ее характеристики: 1) рассеивание за пределы родины; 2) коллективная память о родине; 3) недостаточная степень или отсутствие интеграции в принимающее общество; 4) «миф» возвращения и устойчивые связи с родиной [см. Safran 1991: 83–84].

В свою очередь, Робин Коэн, авторитетный исследователь проблем глобализации, транснациональной миграции и диаспор, существенным образом расширил определение диаспоры, включив в него такие ключевые признаки, как: 1) рассеивание за пределы родины, чаще всего имеющее характер травмы, в два или большее число регионов; 2) отъезд с родины в поисках работы, с целью торговли или в связи с амбициями захвата и освоения колоний; 3) коллективная память и миф о родине, включая ее географию и историю, ее страдания и достижения; 4) идеализация реально существующего или воображаемого родового дома, а также коллективная приверженность сохранению, возрождению, безопасности и процветанию покинутой родины и даже ее созданию; 5) развертывание движения по возвращению на родину, которое получает коллективное одобрение; 6) сильное самосознание этнической группы, устойчивое в течение продолжительного времени и основанное на чувстве своего отличия от других, общей истории и вере в общую судьбу; 7) потенциально конфликтные взаимоотношения с принимающими обществами; 8) чувство сопереживания и солидарности с членами той же этнической группы в других странах расселения; 9) возможность жить созидательной полной, но обособленной жизнью в принимающих обществах, проявляющих терпимость в отношении культурного плюрализма [см. Cohen 2008: 1–19].

На основе такого своего понимания диаспоры Коэн выделил несколько ее «идеальных типов»: диаспоры — жертвы (евреи, африканцы, армяне, в меньшей степени — ирландцы и палестинцы); диаспоры — трудовые мигранты (индийцы, китайцы, японцы, итальянцы, выходцы из Северной Африки); диаспоры — выходцы из метрополий (британцы); диаспоры — торговцы (ливанцы, китайцы, индийцы, японцы); детерриториализованные гибридные диаспоры (народы Карибского бассейна, сикхи², парсы³, цыгане, представители различных религиозных течений) [см. Cohen 2008: 18].

Понимание диаспоры в рамках подобной «классической» парадигмы поставило вопрос о потенциале столкновения коллективной идентичности, которую разделяют члены диаспоры, и гражданской (национальной) идентичности принимающего общества. Исследователи феномена диаспоры сделали упор на два принципа в рамках этой парадигмы: особая связь этнической группы и конкретной территории, с одной стороны, и доверие членов этой группы коллективной идентичности граждан принимающего национально-территориального государства. В итоге некоторым из них [см. напр., Hall 1990, Gilroy 1993, Avtar 1996] не удалось избежать при интерпретации диаспоры в духе Постмодерна «сползания в примордиализм» [Anthias 1998: 568], рассматривающего этнос как изначальное и неизменное объединение людей по крови.

В то же время многие специалисты рассматривали концепт диаспоральной идентичности, основанной на идее общих корней, и проводили в связи с этим различие между этнической и новой гражданской (национальной) принадлежностью членов диаспоры, изучая их отношение к сложившимся регулярным пространственно-территориальным связям принимающего общества (на примере западных стран) [см. Sibley 1982 and 1995; Okely 1983; McVeigh 1999; Levinson and Sparkes 2004]. При этом они указывали на угрозу, которую в эпоху Постмодерна диаспоры как номадические и полунномадические⁴ меньшинства представляют для «стабильной, относительно гомогенной в культурном плане и исторически неизменной национальной территории» [Sibley 1995: 108].

Тем не менее можно говорить об особой диаспоральной идентичности, которая носит двойственный гибридный характер, поскольку представитель диаспоры одновременно отождествляет себя и с новой, и с прежней родиной

² *Сикхи* — народ, проживающий в Индии. Его представители говорят на языке пенджаби индоарийской группы индоевропейской семьи. Религия сикхов (сикхизм) — самостоятельная религия, возникшая в среде индуизма и ислама, непохожая на другие религии и не признающая преемственности.

³ *Парсы* — этноконфессиональная группа последователей зороастризма в Южной Азии (Индии и Пакистане), имеющая иранское происхождение.

⁴ Явление номадизма в эпоху Постмодерна выходит за рамки традиционного его понимания как кочевого образа жизни в противовес оседлости. Новый взгляд на границы в современном глобализирующемся мире как на подвижные и прозрачные затрудняет определение идентичности современного «номада», которому чужда национально-территориальная ограниченность и привычно пребывание среди посторонних; традиционные ориентиры самоидентификации для него теряют смысл или трансформируются.

(«мы — иностранцы и не иностранцы одновременно» — вот смысл такого дуализма). Соподчинение этих двух конкурирующих между собой идентичностей очень изменчиво, соответственно, исход гибридизации диаспоральной идентичности сложно предсказуем.

Свой вклад в концептуализацию этой двойственной природы диаспоральной идентичности внес британский политолог и социолог Бенедикт Андерсон, предложивший концепт «национализма на дальнем расстоянии» (*long-distance nationalism*), анализируя опыт англичанки XVIII века, похищенной в британских колониях потомками переселенцев с ее родины [см. Anderson 1998; о концепте «национализма на дальнем расстоянии» см. также Skrbis 1999]. Похитители перевозили ее с места на место, и она узнавала увиденные ею освоенные и обустроенные земли британских переселенцев как часть своей родной Англии. Идея Андерсона состояла в том, что два значимых феномена в развитых капиталистических обществах современного мира — массовая миграция и массовые коммуникации — сделали возможным существование такого варианта этнического национализма, когда представители этнической группы после переезда в другие страны и даже на другие континенты легко сохраняют идентичность своего прежнего мира. Хотя воспроизводство этой разновидности этнической (этнотерриториальной) идентичности имеет виртуальную форму, часто такая идентичность играет весьма важную роль, в том числе в политическом процессе на прежней и на новой родине.

Нередко наиболее активные члены диаспоры становятся инициаторами создания различных институтов (землячеств и благотворительных организаций, культурных и иных ассоциаций) для укрепления и поддержания прочных связей между членами диаспоры, в конечном счете — для формирования особой идентичности как ощущения коллективной общности диаспоры. Это случается в том числе под влиянием и при политической и финансовой поддержке различных групп интересов на прежней родине или аналогичных диаспор в других странах. По сути дела, без подобных институтов диаспоре трудно существовать.

Такие институты возникают вначале для решения неких общих социальных вопросов и сложностей, возникающих в процессе размещения, трудоустройства, получения гражданства, адаптации и интеграции в принимающее общество, а также в культурно-образовательных целях. Культурные институты формируют диаспору как культурное сообщество и ориентированы, прежде всего, на подрастающее поколение — на тех, кто взрослеют или родились уже на новой родине, на сохранение традиций прежней родины и задачу всячески способствовать преемственности поколений.

В этом плане особую роль играют конфессиональные организации, тесно связанные с диаспорой и фактически обладающие выраженными этническими признаками. Именно такой является Армянская апостольская церковь во Франции, где многочисленная армянская диаспора, образованная беженцами из Турции в 1920-х годов после массового уничтожения армянского населения

в Османской империи в августе 1915 году, хорошо организована и является влиятельным актором политического процесса. Армянская апостольская церковь имеет во Франции епархию с центром в Париже⁵, в ее составе три прихода в регионах, где проживают наиболее крупные общины: Иль-де-Франс (в Париже), Рона-Альпы (в Лионе) и Прованс-Лазурный берег (в Марселе). Церковь ведет активную благотворительную, культурную и образовательную деятельность, содействуя укреплению культурной и конфессиональной идентичности армянской диаспоры во Франции.

Несколько иной оказалась роль Русской православной церкви за рубежом, возникшая в конце 1910-х — начале 1920-х годов как русская православная эмигрантская организация, которая объединила часть духовенства православной российской церкви, оказавшегося в результате Октябрьской революции 1917 года и Гражданской войны в эмиграции или изгнании. Для сплочения «русского рассеяния», бывших подданных Российской империи и их потомков, использовалась метафора возвращения, в том числе и в политизированной форме «борьбы с большевистским безбожием». Задачами приходо- и организационной церкви в различных странах и на разных континентах стали социальная поддержка соотечественников и благотворительная деятельность, информационная, культурная и образовательная политика в среде русскоязычных эмигрантов и их потомков, а в конечном итоге — формирование особого «русского мира» транснациональной и поликультурной православной русскоязычной диаспоры. Налаживание контактов с Русской православной церковью (РПЦ) новой России и признание последней в 2007 году Русской православной церкви за рубежом самоуправляемой частью РПЦ открыло новые возможности для объединения оказавшихся за рубежом соотечественников.

Понятно, что в рамках проводимой культурными институтами диаспор политики идентичности происходит выбор тех или иных традиций в качестве отличительных «традиций диаспоры», чаще всего это ведет к их мифологизации, а также изобретению новых традиций. Мифологизируется и сам образ прежней родины, на которую надо или вернуться когда-то, или которую надо спасти, оказать помощь. Показателен в этом отношении пример той же армянской диаспоры по всему миру, различные общественные организации и известные во Франции и мире представители которой (например, французский шансонье, композитор и поэт Шарль Азнавур и созданная им вскоре после землетрясения организация «Азнавур для Армении») собрали значительную финансовую и гуманитарную помощь Армении после разрушительного землетрясения в 1988 году.

В дальнейшем чаще всего происходит политизация этих социальных и культурных институтов. Они занимаются лоббистской деятельностью в рамках

⁵ Для сравнения: в России Армянская апостольская церковь насчитывает две епархии (в Москве и Краснодаре), в США, где проживает самая большая по численности армянская диаспора, также существуют две епархии (в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе).

существующего законодательства в интересах и / или от имени диаспоры как некой более или менее, пусть и неформально организованной группы граждан — избирателей и потребителей.

Появляются общественно-политические движения и политические партии, представляющие интересы этнических диаспор на различных уровнях политического процесса. Достаточно привести здесь пример этнических армянских партий во Франции: социал-демократическая «Гнчак», либерально-демократическая «Рамгавар» и лево-националистическая «Дашнакцутюн» (социалистического толка). Это отделения организованных по федеративному принципу старейших армянских политических партий: «Дашнакцутюн» была создана в 1890 году в Тифлисе (Российская империя), «Рамгавар» — 1885 году в Османской империи (до 1921 года носила название Арменаканской партии), «Гнчак» была организована в 1887 году и действовала на территории Османской империи и Персии. В свою очередь, одной из политических партий, представляющих интересы русскоязычных жителей Латвии, является левоцентристская партия «Русский союз Латвии», основанная в 1998 году (сопредседатель партии — депутат Европейского парламента Татьяна Жданок).

Иногда в силу разных причин может происходить криминализация части представителей диаспор и даже превращение этой ее части в организованное этническое преступное сообщество (здесь можно вспомнить как наиболее яркий и получивший отражение в художественной литературе и кинематографе пример итальянской мафии в США).

Не всегда, однако, между членами диаспоры прослеживаются прочные связи. Это во многом зависит от конкретно-исторических обстоятельств на бывшей или прежней родине. При этом линией разногласий чаще всего становятся политические предпочтения и привязанности, партийно-идеологическая принадлежность, политические оценки происходящего на исторической родине, поколенческие и страновые различия.

Многочисленность, активность и влияние тех или иных этнических диаспор, а также фактор возможной их быстрой политической мобилизации вынуждены учитывать власти новой родины переселенцев в своей внешнеполитической деятельности, в экономической политике, политике в сфере образования, социального обеспечения, культуры, особенно в периоды избирательных кампаний. Принято считать, что современные диаспоральные сообщества усиливают внутривнутриполитическую конфликтность в принимающем обществе и что они способны оказывать прямое влияние на мировую политику, создавая новые культурные и политические границы (разграничения) и инициируя новые формы этнополитических конфликтов. Так, проблема геноцида армян (его признания или отрицания) имеет не только межгосударственное, но также региональное и глобальное измерение. В политическую борьбу вокруг признания геноцида армян вовлечены не только Армения и Турция, но и многие другие государства, а также негосударственные субъекты международных отношений. Так, регионы некоторых государств, выступающие с требованиями сецессии, на уровне своих региональных парламентов

и правительств признали геноцид армян, используя данный факт в своем вертикальном конфликте с центральной властью — конфликте, который имеет в том числе и идентитарное измерение. Это сделали автономные сообщества Каталония и Страна Басков в Испании — стране, которая на государственном уровне не признала геноцид армян (Европейский парламент признал геноцид армян в 1987 году).

Показателен в этом отношении канадский случай, который проливает свет на жесткую позицию правительства Канады в вопросе антироссийских санкций в условиях кризиса на Украине. Украинские крестьяне массово эмигрировали в эту страну из Австро-Венгерской и Российской империй, а затем и Советского Союза (до 1945 года) начиная с рубежа XIX–XX столетий. В результате украинская диаспора (те, кто, согласно национальным переписям, считали себя украинцами или имели украинские корни) стала значительным по размеру этническим сообществом в стране⁶, и это предопределило специфику политики идентичности и формирования гражданской нации, регулирования межэтнических отношений и миграции в Канаде, а также в символической политике [см. напр. Luciuk and Hryniuk 1991; Rudling 2011].

В свою очередь, некоторые государства используют связи с диаспорами в своей политике «мягкой силы», стремясь сформировать и формально институализировать особые диаспоральные «миры» в своих экономических и политических интересах. Бывшие метрополии (Великобритания, Испания, Португалия, Франция, Россия) используют при этом ресурсы цивилизационной и постимперской идентичности — потенциал общего языка, общей религии, общего культурно-исторического прошлого. Так конструируются транснациональные политические пространства Британского содружества наций, ибероамериканского сообщества, франкофонного и лузофонного (португалоговорящего) сообществ, а также проекта «русского мира». Конкурентами национального государства в этом плане выступают субнациональные власти, также желающие говорить от имени этнических диаспор в международных делах. Роль китайской и индийской диаспор для современных Китая и Индии, соответственно, очень показательна. Они являются не только влиятельными лоббистами интересов своих стран в принимающей стране, но и сами становятся крупнейшими инвесторами в экономику родины. Диаспоральные «миры» могут выступать как опоры новых политических пространств, используя организационные возможности и сложившиеся организационные структуры диаспор.

Процессы интернационализации и транснационализации влиятельных этнических диаспор в современном глобализирующемся мире дают основания говорить о феномене не просто «новых», а «глобальных» диаспор. Влиятельным этническим диаспорам, которые расселены по многим странам и об-

⁶ См. материалы последней переписи населения Канады 2011 г.: The 2011 Census of Population Program. Immigration and Ethnocultural Diversity URL: <http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/rt-td/Index-eng.cfm?TABID=7>.

разовали там достаточно устойчивые этнические сообщества, уже тесны рамки национальных государств, они становятся все более активными и влиятельными акторами мировой политики, учитывая те возможности общения, которые создают новые информационно-коммуникационные технологии.

Литература

- Тишков В.А. 2000. Исторический феномен диаспоры. — *Этнографическое обозрение*. № 2. С. 43–63.
- Черенков Л.Н. 2009. Цыгане — диаспора? — *Диаспоры*. № 1. С. 239–256.
- Anderson B. 1998. *The Spectre of Comparison: Nationalism, Southeast Asia, and the World*. London and New York: Verso. 386 p.
- Anthias F. 1998. Evaluating “Diaspora”: Beyond Ethnicity. — *Sociology*. Vol. 32. No 3. P. 557–580.
- Avtar B. 1996. *Cartographies of Diaspora: Contesting Identities (Gender, Race, Ethnicity)*. London: Routledge. 292 p.
- Belton B.A. 2005. *Questioning Gypsy Identity: Ethnic Narratives in Britain and America*. Oxford (UK): The Rowman & Littlefield Publishers. 212 p.
- Cohen R. 2008. *Global Diasporas: An Introduction*. 2nd ed. (1st ed. 1997). New York: Palgrave. 219 p.
- Hall S. 1990. Cultural Diversity and Diaspora. — Rutherford J. (ed.). *Identity: Community, Culture, Difference*. London: Lawrence and Wishart. P. 222–237.
- Gilroy P. 1993. *The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness*. Cambridge: Harvard University Press; London and New York: Verso. 280 p.
- Levinson M.P. and Sparkes A.C. 2004. Gypsy Identity and Orientations to Space. — *Journal of Contemporary Ethnography*. Vol. 33. No 6. P. 704–734.
- Luciuk L., Hryniuk S. (eds.). 1991. *Canada's Ukrainians: Negotiating an Identity*. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies. 510 p.
- McVeigh R. 1999. Theorizing sedentarism: the roots of anti-nomadism. — Acton T. and Mundy G. (eds.). *Romani Culture and Gypsy Identity*. Hatfield: University of Hertfordshire Press. P. 7–25.
- Okely J. 1983. *The Traveller-Gypsies*. Cambridge: Cambridge University Press. 260 p.
- Okely J. 2003. Deterritorialized and Spatially Unbounded Cultures within Other Regimes. — *Anthropological Quarterly*. Vol. 76. No 1. P. 151–164.
- Rudling P.A. 2011. Multiculturalism, memory, and ritualization: Ukrainian nationalist monuments in Edmonton, Alberta. — *Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity*. Vol. 39. No 5. P. 733–768.
- Safran W. 1991. Diaspora in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. — *Diaspora*. Vol. 1. No 1. P. 83–99.
- Sibley D. 1982. *Outsiders in Urban Societies*. Oxford: Blackwell. 224 p.
- Sibley D. 1995. *Geographies of Exclusion*. London: Routledge. 224 p.
- Skrbis Z. 1999. *Long-distance Nationalism: Diasporas, Homelands and Identities*. Brookfield (VT, USA): Ashgate Publishing Company. 201 p.
- Theorizing Diaspora: A Reader*. (J.E. Braziel., A. Mannur eds.). 2008. Malden (MA, USA): Wiley-Blackwell. 360 p.

Мультикультурализм

И.С. Семененко

Ключевые слова: культурное многообразие, инокультурные сообщества, политкорректность, интеграция, гражданство, нация, межкультурный диалог.

Мультикультурализм — один из самых дискуссионных концептов современного политического дискурса и публичной политики в странах Запада. В центре споров вокруг концепции и практик мультикультурализма — перспективы снижения рисков дезинтеграции и пути поддержания общего социокультурного пространства в национально-государственных сообществах, которые в результате массированного притока иммигрантов стали полиэтническими и культурно разнородными. В теле политической нации, сформировавшейся в русле западноевропейской традиции на основе института гражданства, появились инокультурные группы — носители социальных идентичностей и культурных практик, непривычных и порой несовместимых с нормами большинства. Как модель политического управления мультикультурализм стал попыткой ответа на вызовы, с которыми столкнулось в эпоху глобализации национальное государство.

В теоретической литературе по мультикультурализму авторский подход в основном диктуется идейным выбором, в частности, отношением к постулатам либерализма и к проблеме обеспечения прав и свобод человека и гражданина в рамках дихотомии приоритета индивидуальных/групповых прав, к оценке роли национального государства в таком регулировании. Публичные интеллектуалы, активно развивающие дискурс мультикультурализма (У. Кимлика, Б. Парекх, Ч. Тэйлор, Т. Модуд и др.), видят в ней эффективный способ поддержания культурного разнообразия как ресурса развития современных демократических обществ. По мнению одного из самых известных его теоретиков британца индийского происхождения Б. Парекха, «как и любое другое общество, общество мультикультурное нуждается в разделяемых большинством ценностях для своего поддержания. Такая культура, включающая в свой контекст множество культур, может появиться только в результате их взаимодействия и должна поддерживать и подпитывать культурные различия. Для тех, кто привык рассматривать культуру как более или менее однородное целое, идея культуры, состоящей из множества культур, может представляться непоследовательной, странной. Но в действительности такая культура и характерна для обществ, где существует культурное разнообра-

зие» [Parekh 2000: 7, 219]. Как считают теоретики мультикультурализма, такой подход служит укреплению института гражданской нации при сохранении этнического и культурного многообразия внутри самой нации.

Доктрина мультикультурализма возникла как ответ на поиски механизмов преодоления социальной дискриминации и снижения уровня неравенства в государствах, в составе которых присутствуют автохтонные этнонациональные *сообщества*, в первую очередь там, где есть коренные народы. *Политика идентичности* была направлена на защиту прав и интересов таких сообществ («первых народов» Канады, общины маори в Новой Зеландии, аборигенов Австралии, индейских племен в США), этнические меньшинства стали объектом государственной защиты и практик «позитивной дискриминации». Само понятие прочно вошло в лексикон публичной политики на рубеже 1960-х — 1970-х годов, когда Канада искала пути организации мирного «общегития» двух общин — франкофонной и англоязычной. Канадский этнофедерализм закреплял такое сосуществование на уровне политических институтов. В начале 1970-х годов мультикультурализм был провозглашен принципом государственной политики Канады и Австралии, позднее (в 1975 г.) — Швеции.

Катализатором утверждения мультикультурализма в политической практике и в социальной политике развитых стран стали проблемы, вызванные давлением миграционных потоков из бывших колоний и других бедных стран Юга. Хотя в большинстве стран Запада политика мультикультурализма не имеет аналогичного правового статуса, как политика управления культурным разнообразием в мультикультурном (полиэтническом) обществе она утвердилась в США и Западной Европе. В отличие от образа «плавильного котла», с помощью которого было принято описывать процесс вживания мигрантов в американское общество вплоть до последних десятилетий XX века, мультикультурные практики сравнивались в популярной на Западе стилистике научной метафоры с «миской салата» — идентичностей, которые сближаются и перемешиваются, но не растворяются в плавильном тигле.

Между тем *мультикультурализм* не сводится к разным формам государственного регулирования процессов социальной и культурной адаптации и интеграции меньшинств. Его можно рассматривать в **трех проекциях: как идейно-политический дискурс либеральной демократии, как модель государственной политики поддержки культурного разнообразия и как комплекс разнообразных практик социального взаимодействия, направленных на выстраивание и поддержание общего пространства политической и социальной коммуникации в этнически неоднородном (мультикультурном) национальном сообществе.** В обыденном сознании трактовка политики *мультикультурализма* часто (и ошибочно) подменяется фиксацией состояния многокультурного, полиэтнического общества — мультикультурностью; но таковы в разной степени практически все современные общества (даже в гомогенную по этническому составу до недавнего времени островную Исландию наблюдается приток иммигрантов).

Как **идейно-политический дискурс мультикультурализм** вписан в либеральную парадигму [Kymlicka 1995, 2001]. Он ориентирует на признание права групп, которые структурируются на основе *социокультурной идентичности* — *конфессиональной, этнической* (этноконфессиональной), языковой, — на поддержание своей особенности в обществе, где большинство составляют носители иной культурной идентичности, и на поддержку граждан — членов таких групп, со стороны государства. Культурное разнообразие рассматривается в рамках такого подхода как неисчерпаемый источник и ресурс общественного развития, а толерантность большинства к носителям «иных» идентичностей — как базовый принцип социальной коммуникации. Препятствием в реализации таких принципов является узкая трактовка либерализма как «радикального секуляризма», в то время как институциональный секуляризм рассматривается как ресурс интеграции носителей иных верований и идентичностей [Modood 2007].

В качестве модели государственной политики **мультикультурализм** призван закрепить в политических и повседневных социальных практиках законодательный запрет на дискриминацию граждан по расовым и этническим признакам, обеспечивать равенство возможностей и поддерживать механизмы организации социального и политического взаимодействия в социально и культурно разнородном социуме. Государство выступает в качестве регулятора такого взаимодействия: развивая культуру большинства, оно должно гарантировать поддержку сообществам, претендовавшим на культурную особость, защищать права и благосостояние тех своих граждан, которые не вписываются в эту культуру [Taylor 1992]. В этом смысле государственный мультикультурализм стал одним из направлений политики идентичности в принимающих иммигрантов обществах и ключевым принципом символической политики.

Глубокие корни пустили социальные практики, нацеленные на реализацию этих принципов на уровне институтов социализации, в том числе в тех странах, где за мультикультурализмом не закреплен особый политико-правовой статус. Здесь толерантность в повседневной жизни получает продолжение в публичной сфере в форме политкорректности в отношении «иных», в первую очередь в отношении мусульман как носителей иной культурной идентичности. Основным полем организации социального общежития в развитых странах стала система образования. Образовательные программы включают изучение и практическое освоение (через организацию общих праздников, ознакомление с религиозными традициями, обычаями, кухней и другими атрибутами повседневности) культуры населяющих страну этнических групп. Мультикультурализм стал неотъемлемой частью культурной жизни, принципом организации культурного пространства (музей Бранли в Париже) и темой художественных высказываний (яркий пример — британский фильм «Восток есть Восток», 1999). Прицельное внимание уделяется поискам эффективных форм взаимодействия между общинами на уровне местных *сообществ* (квартала, района), в том числе межконфессиональному

диалогу (в первую очередь между мусульманскими религиозными организациями и представителями христианских конфессий). Как показывают сравнительные страновые исследования, практики «малых дел» в наибольшей степени эффективны для решения этих политико-управленческих задач [Семененко 2006].

Критики государственного мультикультурализма как ущемляющего права личности в пользу поддержки групповых идентичностей указывают на трактовку таких идентичностей как статичных и аскриптивных («предписанных» членам группы): такой подход противоречит принципам либеральной демократии [Barry 2001]. Размышляя о «притязаниях культуры» на изменение принципов демократического общежития в эпоху глобализации, британский политический философ С. Бенхабиб указывает на «ошибку в теории» мультикультурализма, которая «проистекает из допущения соответствия между индивидуальными и коллективными запросами»; путать «индивидуальное стремление к выражению своей уникальной идентичности с политикой формирования идентичности / различия теоретически неверно и политически опасно» [Бенхабиб 2003: 63]. Построенные на таком допущении преференциальная политика и «позитивная дискриминация» (affirmative action) противоречат самим принципам демократии: чем больше предпринимается усилий по поддержанию различий, тем больше такие действия стимулируют углубление различий [Sartori 1997]. Политика идентичности, трактуемая в привычном для американской социологии смысле сугубо как политика признания групповых различий на основе легитимации права на особую, отличную от других, идентичность [Heyes 2014], использует мультикультурализм как инструмент продвижения групповых интересов. В качестве негативных последствий такой политики указывается на появление закрытых инокультурных «параллельных» (существующих в иной по сравнению с большинством социальной реальности) сообществ, распространение противоречащих демократическим нормам моделей поведения, консервацию социальной архаики, на социальную исключенность и маргинализацию тех, кто видит в социальных дотациях естественный способ организации жизни. В публичной дискуссии взвешиваются приобретения и издержки мультикультурализма для социального государства.

Государственная политика мультикультурализма несет серьезные репутационные издержки в условиях понижения порога личной и общественной безопасности и нарастания террористических угроз в странах «старой» Европы. Ожесточенные споры вызывает ее эффективность для обеспечения интеграции иммигрантов и, особенно, их потомков второго и третьего поколений. Для публичной политики в развитых странах поддержка мультикультурализма была до недавнего времени нормой политкорректности. Нынешнее его «отступление» связано и с размыванием его общественной поддержки, и с системными противоречиями самой политики [Joppke 2004]. В утверждении инокультурных идентичностей стали усматриваться угроза собственной национальной идентичности и источник роста политического радикализма как

реакции на притязания инокультурных групп. Волна запретов на присутствие атрибутов исламской идентичности в публичном пространстве (Франция, Бельгия), карикатурный скандал в Дании, голосование против минаретов в Швейцарии, рост антиисламских настроений в европейских странах — свидетельства системных сбоев в политике интеграции и адаптации иммигрантов в рамках мультикультуралистской модели. О провалах политики государственного мультикультурализма заявили на волне экономического кризиса конца «нулевых» годов руководители Германии, Франции, Великобритании. В то же время мультикультурализм остается в арсенале государственной политики таких стран исторической иммиграции, как Канада и Австралия. Упор делается на упрочении социальной сплоченности путем уважения разнообразия и стимулирования сопричастности *национальной идентичности*, ценностям и гражданству.

В центре дискуссии вокруг повестки дня политики идентичности в современных культурно неоднородных обществах — принципы управления разнообразием на основе активного взаимодействия культур («интеркультурализма»). При этом очевидные в условиях демографического перехода перспективы развития современных обществ как мультикультурных требуют соответствующих этой реальности практик поддержки культурного разнообразия и остаются в арсенале социальной политики стран Запада. Разрабатывается инструментарий управления растущим культурным разнообразием Европы в рамках модели «активного гражданства». Поскольку «культурное различие есть конститутивный момент демократического общества, вопрос не в том, поощрять или не поощрять культурное разнообразие, а в формах этого поощрения» [Малахов 2002: 59]. В России этот вопрос стоит в контексте реализации государственной программы в сфере национальной политики, но также на уровне повседневных культурных практик, поддержания взаимодействия культур и идентичностей в публичном пространстве.

Практики «малых дел» лишний раз напоминают о том, что поддержание гражданского согласия в многокультурном обществе и формирование политической нации — это развивающийся процесс, а не достигнутый результат. В публичной политике обсуждаются риски кризиса идентичности и угрозы демократии в условиях понижения порога безопасности и социальной защищенности. Это касается не только национального, но и наднационального уровней — проблемы формирования европейской идентичности, ядро которой составляют базовые цивилизационные ценности. В условиях миграционного кризиса в Европе центр внимания в общественной дискуссии сместился в сторону провалов миграционного регулирования и поиска более эффективных стратегий адаптации мигрантов. Очевидно, что как универсальный политический проект мультикультурализм потерял привлекательность. Современный политический порядок Запада столкнулся с системными вызовами социальной безопасности, которые высветил кризис доктрины мультикультурализма.

Литература

- Бенхабиб С. 2003. *Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру*. М.: Логос. 289 с. (пер. с англ.: Benhabib S. 2002. *The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era*. Princeton (NJ): Princeton University Press. 280 p.)
- Малахов В.С. 2002. Зачем России мультикультурализм? Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. Под ред. В. С. Малахова и В. А. Тишкова. М.: Институт этнологии и антропологии РАН. С. 48-60.
- Семенов И. С. 2006. Интеграция инокультурных сообществ в развитых странах. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 10. С. 58–68; № 11. С. 57–71.
- Barry B. 2001. *Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 399 p.
- Heyes C. 2014. Identity Politics. — E.N. Zalta (ed.) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. (Winter 2014 edition). Доступ: <http://plato.stanford.edu/entries/identity-politics/> (проверено: 18.03.2016).
- Joppke C. 2004. The retreat of multiculturalism in the liberal state: theory and policy. — *The British Journal of Sociology*. Vol. 55. № 2. P. 237–257.
- Kymlicka W. 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Clarendon Press. 280 p.
- Kymlicka W. 2001. *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship*. Oxford: Oxford University Press. 383 p.
- Modood T. 2007. *Multiculturalism: A Civic Idea*. Cambridge: Polity Press. 193 p.
- Parekh B. 2000. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Houndmills, London: Macmillan Press. 379 p.
- Sartori G. 2000. *Pluralismo, multiculturalismo e estranei. Saggio sulla società multi-etnica*. Milano: Rizzoli. 126 p.
- Taylor Ch. 1992. *Multiculturalism and the Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press. 112 p.

Этнополитический конфликт¹

И.С. Семенов

Ключевые слова: этнический (межэтнический) конфликт, типология конфликтов, этническая идентичность, политизация этничности, межэтническая напряженность, этнонациональные (межэтнические) отношения, регулирование конфликтов.

¹ Статья подготовлена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-00021 «Регулирование межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов в современном мире: потенциал гражданской идентичности (сравнительный политический анализ)») в Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН).

Этнополитический конфликт — противостояние, в котором ресурсом политической мобилизации выступают *этническая идентичность* и ее значимые для консолидации участников конфликта проекции (этноконфессиональная, этнолингвистическая, этнотерриториальная), маркирующие границы этнической общности. Дискурс этничности и символические формы ее репрезентации используются сторонами или одной из сторон конфликта в политических целях, в борьбе за политический статус и другие материальные и нематериальные ресурсы. Политическое использование этнической идентичности является ключевой сущностной характеристикой такого конфликта, а возобновляемый характер этого ресурса и высокая степень эмоциональной наполненности затрудняют его *систематическое* и эффективное регулирование и локализацию противостояния в рамках конституционно-правового поля.

Как справедливо отмечал известный немецкий ученый и политик Ральф Дарендорф, «тот, кто умеет справиться с конфликтами путем их признания и регулирования, тот берет под свой контроль ритм истории» [Dahrendorf 1969: 139–140]. Конфликтологические исследования призваны вносить вклад в «рациональное обуздание» социальных конфликтов, т.е. решать «одну из важнейших задач политики» [Дарендорф 1994: 147].

В рамках конфликтологического подхода, который рассматривает конфликт не как «отклоняющееся поведение» и социальную аномалию в логике Толкотта Парсонса [Парсонс 2000], а как источник социальных изменений и неотъемлемую функциональную характеристику общественных отношений [Козер 2000; Дарендорф 2002], основное внимание уделяется анализу природы конфликтности и выявлению оптимальных возможностей урегулирования противостояний, «расширение конфликтологического дискурса в направлении формирования ...конфликтологической парадигмы мировосприятия и воспитания культуры мира» [Глухова, Тимофеева 2016: 33]. Сущностные характеристики конфликтов — предмет особого внимания западноевропейской конфликтологии, в то время как англо-американская школа изучения мира и конфликтов (peace and conflict studies) в рамках международных исследований уделяет особое внимание инструментам и механизмам их регулирования, например, гуманитарным интервенциям и миротворческим операциям [см., напр.: The Oxford Handbook of the Responsibility to Protect 2016].

Этническая конфликтология оформилась в самостоятельное научное направление в условиях острой потребности в понимании природы и движущих сил этнического (межэтнического) конфликта [Horowitz 1985; Brass 1985; Van der Berghe 1981; Gurr 1993; Авксентьев 2001; Тишков, Шабаев 2011]. Как отмечает Дональд Горовиц, автор получивших признание в научном сообществе теоретических трудов по этнической конфликтологии, «этнические аффилиации отличает сила, накал, страстность, они носят всепроникающий характер... центральным для таких исследований является изучение оснований верности этносу, взаимоотношений эмоций и расчета, а также важности институционального контекста». При том, что предшествовавшие попытки

создания общей концепции этнического конфликта оказались неудачными, «очевидна необходимость теории, в рамках которой станет возможным гармоничное объяснение различных проявлений этноконфликтного поведения» [Горовиц 2007: 12; 36–37].

«Общим знаменателем» для оценки такого поведения, как межличностного, так и межгруппового, является концепт идентичности. Он позволяет отразить мотивацию противостоящих сторон за рамками рационально понимаемых интересов, которое и ведет к перерастанию напряженности в отношениях сторон, использующих этническую лояльность для отделения «своих» от «других», в противостояние. В конфликтах надывдивидуального уровня, разновидностью которого является *этнополитический конфликт*, сторонами выступают субъекты политического процесса — носители *коллективных идентичностей*, которые преследуют противостоящие групповые интересы.

Практически любой межэтнический конфликт такого уровня становится политическим, поскольку для его регулирования нужны политические решения и участие государства как субъекта политико-правовых отношений (часто — в качестве активной стороны конфликта). «В разделенных обществах (*divided societies*) этнический конфликт находится в центре политического процесса. Этнические разделения бросают вызов целостности государств и иногда — мирным отношениям между государствами» [Horowitz 1985: 12].

Этнизация политики происходит сегодня и в странах западного ареала, и в недавно еще «спокойной» Европе, в том числе под давлением волны миграции. «Денационализация Европы» предлагается в этих условиях в качестве эффективного решения проблемы: культурные скрепы, к которым обращается этническое самосознание, должны уступить место скрепам сугубо политическим [Альтерматт 2000]. На такую перспективу работает, например, модель «конституционного патриотизма», предложенная Юргеном Хабермасом [Хабермас 2005: 31]. Однако она «не решает проблемы идентификационной и мотивационной силы чисто универсалистских притязаний на значимость» [там же] и не обладает той силой эмоционального воздействия, которая отличает лежащие в основе этнической лояльности представления об общей культуре и общем происхождении.

Межэтнические отношения долгое время находились на периферии внимания социальных наук, особенно на Западе, где вопрос об этнической принадлежности не принимался в расчет «по идеологическим соображениям» [Horowitz 1985: 13]. В 1990-е годы вопрос о принадлежности к этнической группе появился в политкорректном дискурсе *мультикультурализма*: так, он был впервые задан в Великобритании в ходе переписи населения 1991 года, а двадцать лет спустя дополнен вопросом о *национальной идентичности*. Второй вопрос предусматривал возможность множественных ответов, а первый — только один. Введение этих понятий в официальную статистику вызвало полемику о приемлемости идентификации людей в рамках «предписанных» им групповых идентичностей. Во Франции и ряде других европейских стран статистический учет с использованием этнических показателей до сих пор официально

не ведется. Аргумент о консервации предписанных (*аскриптивных*) идентичностей — один из основных доводов в арсенале критиков *мультикультурализма* как модели государственной политики регулирования этнонациональных отношений в современных обществах.

В последние десятилетия (начиная в 1980-х годов) стремительно растет вал литературы о проявлениях этнического фактора в политике и его политическом использовании. Оформилась самостоятельная отрасль политического знания — этнополитология, предметом которой является «этничность в политике и политическое использование этничности» [Тишков, Шабаетов 2011: 13–14]. Она тесно связана с другими направлениями в общественных науках, изучающими природу этничности, — этносоциологией, этнопсихологией, социальной (культурной) антропологией и др. Неоднозначным остается понимание механизмов превращения этнической идентичности в эффективный, по сути — неисчерпаемый ресурс мобилизации и источник эскалации конфликтов. Споры между сторонниками конструктивизма (где основным маркером этнической группы выступают разделяемые ее членами представления о культуре, истории, общем происхождении), инструментализма (трактующего наличие общих интересов как основной отличительный признак этнической идентичности), и примордиализма (делающего упор на «природном» наличии общих признаков группы) продолжаются. Хотя сегодня маятник явно на стороне приверженцев понимания этничности как социально конструируемого и инструментально используемого в политических целях феномена, как формы «социальной организации культурных различий» [Этнические группы... 2006], в ней стали выделять динамические и ситуативные характеристики, позволяющие совмещать идентификационные ориентиры разной природы. Соответственно, плодотворно искать возможности синтеза разных исследовательских ракурсов, в политическом анализе — с упором на механизмы мобилизации и мотивации использования этнической идентичности в дискурсе о власти.

Этнический конфликт трактуется в этнополитологии как разновидность социального конфликта, как такая «форма гражданского противостояния на внутригосударственном или трансгосударственном уровне, при которой хотя бы одна из сторон организуется и действует по этническому признаку или от имени этнической общности» [Тишков, Шабаетов 2011: 193]. В русле такого подхода этнополитический конфликт представляет собой «особую разновидность этнического конфликта» и «особый вид политического конфликта», в котором «этнические различия становятся принципом политической мобилизации и по крайней мере одним из субъектов являются этническая группа»; его предметом является распределение властных полномочий, политический статус, повестка дня политического управления [Аклаев 2008: 25]. Такие конфликты могут быть типологизированы по принципу субъектности участвующих сторон: так, выделяются конфликты между этнической группой (меньшинством) и государством («вертикальные») и конфликты между этническими группами («горизонтальные»). Они могут носить как симметричный (при равном политико-правовом статусе участников), так и асиммет-

ричный характер (примером последних являются постсоветские «вертикальные» конфликты «суверенизации» [Паин 2012]). По содержанию основных требований (применительно, в частности, к постсоветскому периоду) можно выделить статусные, этнотерриториальные и межгрупповые (межобщинные) конфликты [Дробижева 1993]. В то же время, как справедливо отмечает Л.М. Дробижева, «любая типологизация условна»: за этническим конфликтом стоит комплекс разных мотиваций и интересов и их ситуативные сочетания, поэтому понять и объяснить основания конфликтов «нельзя, исходя из одной теории» [Дробижева 2003: 50–51].

С другой стороны, характеристика такого конфликта через факторы использования этнических различий как средства политической мобилизации и субъектности этнической группы как его стороны оставляет за скобками вопрос о смыслополагающей природе этничности. Имплицитно предполагается наличие здесь общего научного дискурса, в то время как такой дискурс в социальных науках не сложился. Более того, в этой эмоционально напряженной и трудной для согласования позиций сторон сфере всегда доминировали идеологические позиции политических игроков, задававшие тональность дискуссии. Поскольку разработке основанных на междисциплинарном синтезе аналитических моделей особого внимания до сих пор не уделялось, многое до сих пор зависело и сегодня зависит от инструментария конкретной области исследований. Но, главное, ни один нарратив не исчерпывает разнообразия характеристик этничности, которые ей приписываются участниками межэтнических взаимодействий. Эти характеристики ситуативны и изменчивы [Pieterse 1997: 391], как многомерны и изменчивы причины этнических конфликтов. Различия в ценностях и мотивациях участников конфликтов отражаются в динамике социальных идентичностей.

Эскалация этнополитической конфликтности связана с политическим использованием этнической идентичности, т.е. с эксплуатацией значимости принадлежности к этнической группе в системе социальных взаимосвязей человека как мотивации его вовлеченности в противостояние «иным». Конфликт отражается в требованиях институциональных изменений, но очевидно, что влияние этнического фактора на политический процесс не сводится к политико-институциональному измерению.

Имея в виду условность типологизации постольку, поскольку любой этнополитический конфликт имеет многомерный, сложносоставный характер [Этносоциокультурный конфликт 2014] и подвижные очертания, можно выделить осевое требование, вокруг которого разгорается противостояние, как основание отнесения его к тому или иному типу. Политико-территориальный конфликт направлен на достижение территориальных изменений, с требованием которых чаще выступает одна из сторон конфликта (Нагорный Карабах, Северный Кипр, Кашмир). В контексте политико-институционального конфликта речь идет об изменении конституционного строя, федерализации и пересмотре статуса регионов компактного проживания меньшинств (примером является Квебек — франкофонный регион Канады, или противоречия

между Фландрией и Валлонией в составе Бельгии). Внутригосударственный характер такого противостояния может перерасти в требования государственности для «наций без государства», статус которых не урегулируется в рамках существующего политико-институционального порядка. В трансграничных этнополитических конфликтах разделенная границей общая этническая идентичность используется как основание притязаний на объединение территории компактного проживания этнической группы путем присоединения меньшинства к родственному большинству (Трансильвания). Такое проявление этнополитической конфликтности описывается в терминах ирредентизма (от лат. *irredento* — неисккупленный). Сепаратизм как движение за государственное самоопределение меньшинств либо широкую автономию может переводить конфликт институционального типа в политико-территориальный (как, например, в конфликте между Косово и Сербией или между Южной Осетией и Абхазией и Грузией), порождая феномен непризнанных государств. В *политико-управленческих* конфликтах в центре противостояния сторон находятся социальная политика государства, требования преференций в перераспределении ресурсов, изменений в государственной инвестиционной и налоговой политике, политике в сфере культуры и языка (примером являются противостояния индейских сообществ центральной власти в странах Южной и Центральной Америки). За этими требованиями стоит борьба за статус сообществ, объединенных территорией и общим механизмом организации экономической жизни, общей исторической памятью. Такие противостояния характерны в первую очередь для стран с высоким уровнем социально-экономического развития при серьезных диспропорциях: он развивается по пути федерализации или деволюции полномочий от Центра к территориальным субъектам (как в Каталонии или Шотландии)².

Во всех трех типах конфликтов присутствует перераспределительная *составляющая*: во главу угла одна из сторон ставит требования перераспределения ресурсов, получение дополнительных экономических возможностей, бюджетной автономии. При этом к использованию неполиткорректного этнического дискурса стороны зачатую и не прибегают, и далеко не всегда напряженность принимает форму открытого конфликта.

Право на «особость» поддерживается средствами *символической политики* и *политики памяти* [Малинова 2012; 2015]. Происходит, таким образом, «культурализация» этничности, «кодирование социальных проблем, связанных с этничностью, в терминах культуры» [Осипов 2012: 139]. Продвижение в интеллектуальном дискурсе и в публичной политической риторике негативных стереотипов о «других», оказавших влияние на ход «своей» истории, формирует негативную идентичность. Им противопоставляются героические обра-

² На основе выявления типов и типологизации факторов этнополитической конфликтности разработаны подходы к картографированию конфликтов. Карту этнополитической конфликтности см: ИМЭМО РАН, страница проектов научных фондов, грант РНФ 15-19-00021 (http://www.imemo.ru/index.php?page_id=967); Сеть по исследованию идентичности (<http://identity-world.ru/>).

зы прошлого своего народа. Такое жесткое противопоставление способствует росту межэтнической напряженности (о чем ярко свидетельствует нынешний ход событий на Украине). «Архетипические образы становятся осознанной и активной частью содержания этнической идентичности и в этом качестве превращаются в реальную психологическую силу» [Солдатова 1997: 53]. Культурно-лингвистический фактор определяет значение *политики языка* как инструмента разрешения / эскалации конфликта (конфликтное противостояние в странах Балтии, в первую очередь — в Латвии, вокруг статуса русского языка, межобщинное противостояние в Бельгии). Религиозные (межконфессиональные) противоречия могут стимулировать рост религиозного фундаментализма как определяющего фактора эскалации межобщинной конфликтности (например, в Афганистане). В традиционных обществах все эти составляющие усиливаются наличием межклановых (этноплеменных) противоречий (Марокко, Индонезия, Мьянма, Афганистан и др.). В подавляющем большинстве современных конфликтов заметную, порой ключевую, роль играет фактор внешнего влияния (Косово). Подоснову большинства этнополитических конфликтов составляют экономические факторы: диспропорции в экономическом развитии (Каталония — Испания) или борьба за стратегические невозобновляемые ресурсы (военный конфликт в Ливии или Нигерии) [подробнее о типологии и факторах этнополитической конфликтности см. Семененко, Лапкин, Пантин 2016].

Основным вектором регулирования, реализуемом в конкретных политических решениях, является перевод конфликта из плоскости столкновения идентичностей в плоскость противостояния интересов. Такой переход может способствовать рационализации подходов сторон и открывать пути к достижению политического компромисса. Тем самым повестка дня политики идентичности переориентируется на поиски конкретных управленческих решений. В политико-институциональном плане речь может идти о законодательном закреплении представительства групп в политических и административных структурах государства. По такому пути пошло, в частности, правовое урегулирование конфликта в Северной Ирландии на основе соглашений Страстной пятницы 1998 года. Более распространенными решениями является продвижение по пути децентрализации (деволюции или федерализации, в зависимости от характера политико-правового регулирования) с расширением круга полномочий территориальных образований, где компактно проживают претендующие на автономизацию сообщества (решение о дальнейшей деволюции было принято, например, по итогам референдума 2014 года в Шотландии). Статус территориально-культурной автономии делает упор на государственной поддержке языка, в том числе возможности получения образования на языке меньшинства (как, например, это было сделано в Уэльсе, где среднее образование на валлийском языке получает сегодня 20% учеников). Об этом могут свидетельствовать снижение градуса противостояния и постепенное вытеснение проблемы из общественного дискурса (как это происходило, например, после пересмотра политики «итальянизации» в Больцано / Южном Тироле).

Мерилом эффективности регулирования этнополитического конфликта является, таким образом, деполитизация этничности. Такой вектор может быть обеспечен социальной политикой государства и включением в повестку дня гражданского общества интересов, продвигаемых от имени объединенных под флагом этничности сообществ. Однако в контексте долгосрочного регулирования не менее важно искать адекватные пути учета ценностных запросов и нематериальных, в том числе — символических требований, артикулируемых противостоящими сторонами под флагом «борьбы за идентичность». Важную роль могут сыграть культурные и образовательные практики, эффективность которых можно оценить только по прошествии времени. Возможности позитивного совмещения гражданской и этнической идентичности просматриваются на основе «согласия на развитие» как ключевого ориентира политики идентичности вовлеченных в межэтнические взаимодействия субъектов.

Литература

- Авксентьев В.А. 2001. *Этническая конфликтология: в поисках научной парадигмы*. Ставрополь: изд-во СГУ. 267 с.
- Аклаев А.Р. 2008. *Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент. Учеб. пособие*. М.: Издательство «Дело» АНХ. 480 с.
- Альбермагт У. 2000. *Этнонационализм в Европе*. М.: РГГУ. 367 с.
- Глухова А.В., Тимофеева Л.Н. 2016. Российская политическая конфликтология: состояние проблемы. — *Политическая наука*. № 2. С. 13–38.
- Горовиц Д. 2007. Структура и стратегия этнического конфликта. — *Власть*. № 2. С. 30–37; № 4. С. 49–54; № 6. С. 35–41.
- Дарендорф Р. 1994. Элементы теории социального конфликта. — *Социологические исследования*. № 5. С. 142–147.
- Дарендорф Р. 2002. *Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы*. М.: РОССПЭН. 289 с.
- Дробижина Л.М. 1993. Этнополитические конфликты: Причины и типология (конец 80-х — начало 90-х годов). — *Россия сегодня: трудные поиски свободы. Отв. ред. Л.Ф. Шевцова*. М.: ИЭРАН.
- Дробижина Л.М. 2003b. Проблемы межэтнических отношений. — *Психология межэтнической толерантности (отв. ред. Л.М. Дробижина)*. М.: Изд-во Института социологии РАН. 2003. С. 31–52.
- Козер Л.А. 2000. *Функции социального конфликта*. М.: Дом интеллектуальной книги-Идея-Пресс. 295 с. (Coser L. 1956. *The Functions of Social Conflict*. Glencoe Ill.: The Free Press. 188 p.).
- Малинова О.Ю. 2012. Символическая политика: контуры проблемного поля. — *Символическая политика. Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс*. М.: ИНИОН РАН. С. 5–16.
- Малинова О.Ю. 2015. *Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности*. М.: РОССПЭН. 207 с.
- Осипов А. 2012. *Этничность и равенство в России: особенности восприятия*. М.: Центр «Сова». 200 с.
- Паин Э.А. 2012. Этнические конфликты в постсоветской России. — *Вестник Института Кеннана в России*. No 22. С. 35–47.
- Парсонс Т. 2000. *О структуре социального действия*. М.: Академический проект. 880 с.

- Семенов И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. 2016. Типология этнополитической конфликтности: методологические вызовы «большой» теории. — *Полис*. № 6.
- Солдатова Г.У. 1998. *Психология межэтнической напряженности*. М.: Смысл. 389 с.
- Тишков В.А. 1997. *Очерки теории и политики этничности в России*. М.: Русский мир. 532 с.
- Тишков В.А., Шабает Ю.П. 2011. *Этнополитология: политические функции этничности: Учебник для вузов*. М.: Издательство Московского университета. 376 с.
- Хабермас Ю. 2005. Границы неохисторизма. Беседа с Жаном-Марком Ферри. Ю. Хабермас. *Политические работы*. М.: Праксис. С. 30–32.
- Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных различий. 2006 (1969). Сборник статей. Под ред. Ф. Барта*. М.: Новое издательство. 200 с.
- Этносоциокультурный конфликт: новая реальность современного мира. 2014. Под ред. Е.Ш. Гонтмахера. Н.В. Загладина. И.С. Семенов*. М.: ООО «Русское слово — учебник». 280 с.
- Brass R. 1985. *Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison*. Newbury Park CA: Sage Publications. 360 p.
- Dahrendorf R. 1967. *Society and Democracy in Germany*. Garden City, New York: Doubleday. 482 p.
- Gurr T.R. 1993. *Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts*. Washington: USIP Press. 448 p.
- Horowitz D. 1985. *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press. 707 p.
- The Oxford Handbook of the Responsibility to Protect*. 2016. Ed. by T. Bellamy and T. Dunne. Oxford: Oxford University Press. 1168 p.
- Pieterse J.N. 1997. Deconstructing/reconstructing ethnicity. — *Nations and Nationalism*. Vol 3. No 3. P. 365–395.
- Van der Berghe P.L. 1981. *The Ethnic Phenomenon*. New York: Elsevier North-Holland. 301 p.

Глава 30
ИДЕНТИЧНОСТЬ
В МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

Национальное государство¹

И.Л. Прохоренко

Ключевые слова: национальное государство, трансформации национального государства, нация, национализм, национальная идентичность, национальный суверенитет, глобализация, регионализация.

Проблематика национального (национально-территориального) государства (от англ. *nation-state* и франц. *état-nation*) вот уже более века остается одной из наиболее сложных и спорных в социальных науках. Дискуссии о природе, страновых и макрорегиональных моделях национального государства, исторических трансформациях феномена национального государства в различных странах и регионах мира напрямую связаны с не менее запутанными в теоретико-методологическом плане вопросами образования и развития наций, генезиса и структуры национального самосознания и национальной (гражданской) идентичности, формирования и развития политических доктрин и концепций национализма.

В эпоху перехода от феодализма с его моделями юридической и территориальной сеньории к новой капиталистической формации образование единых государств нового типа означало соединение политической и территориальной природы государства с культурной, прежде всего, сущностью нации, иными словами, объединение народа, проживающего на определенной территории, в новую политическую общность. Национальное государство как некий идеальный тип в этом смысле принципиально отличалось от античных

¹ Статья подготовлена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-00021 «Регулирование межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов в современном мире: потенциал гражданской идентичности (сравнительный политический анализ)») в Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН).

государств-полисов, феодальных княжеств и королевств, империй и других государственных образований Запада и Востока, давая жителям страны статус гражданина.

Можно утверждать, что в Западной Европе, особенно на ранних этапах генезиса национального государства в эпоху Модерна, образование наций являлось именно следствием политического объединения и при всех лингвистических, конфессиональных, культурных и иных различиях между образующих нацию этносами нация выступила прежде всего как совокупность, а точнее политическое сообщество граждан одного государства, связанных единой историко-культурной традицией прошлого, общими ценностями и интересами настоящего и стремящихся к достижению единых целей в будущем. Своя национальная идентичность, в том числе и внешнеполитическая, поиск собственного «Я» в мире в сравнении с другими, стремление найти свой особый путь развития, защита национальных интересов становились отнюдь не пустой фразой для каждого отдельного индивидуума, который чувствует, пусть и не вполне осознанно, свою принадлежность к достаточно устойчивому в пространстве и во времени социуму — нации, политической организацией которого выступает государство.

Именно таким образом, к примеру, русский историк В.О. Ключевский (1841–1911) и представлял себе отличие народа от нации, считая, что только в государстве народ становится нацией: «Из племени или племен посредством разделения, соединения и ассимиляции составлялся народ, когда к связям этнографическим присоединялась нравственная, сознание духовного единства, воспитанное общей жизнью и совокупной деятельностью, общностью исторических судеб и интересов. Наконец, народ становится государством, когда чувство национального единства получает выражение в связях политических, в единстве верховной власти и закона. В государстве народ становится не только политической, но и исторической личностью с более или менее ясно выраженным национальным характером и сознанием своего мирового значения» [Ключевский 1987: 42].

Примерно в том же духе высказывался профессор географии из Лейпцига Оскар Пешель (1826–1875) в редактируемой им газете «Заграница» после успеха Пруссии в битве при Садовой в 1866 году о том, что именно народное образование является решающим в формировании национального духа и обеспечивает победу в войне: пруссаки победили австрийцев, и это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем (эта фраза в различных вариациях порой ошибочно приписывается Отто фон Бисмарку, сыгравшему активную роль в собирании германских земель вокруг Пруссии и объединении Германии). Также вошла в историю фраза итальянского государственного деятеля, художника и писателя, участника борьбы за объединение Италии Массимо д'Адзельо (1798–1866): «Италию мы создали, теперь надо создавать итальянцев» [см. напр.: Killinger 2002: 1].

Споры ученых-обществоведов, главным образом представителей европейской науки, относительно национального государства ведутся большей частью

в рамках методологического национализма, который исходит из того, что национальное государство является естественной идеальной формой современного мира, противопоставляя национальное и интернациональное [см. о критике методологического национализма: Бек 2012b]. Фактически дискуссия выстроена вокруг вопроса о том, что же появилось раньше — государство или нация. Государство ли институционально оформило и закрепило сложившуюся нацию, или, наоборот, государство, очертив свои территориальные границы и используя в их рамках различные рычаги власти, создало (сконструировало) нацию.

Так, примордиалисты и сторонники перенниализма видят истоки нации в существовании извечных национальных (этнических) чувств, передающихся из поколения в поколение по крови, или, соответственно, этнических сообществах, пустивших глубокие корни в истории человечества [см., напр.: Smith 1986]. Модернисты настаивают на том, что категории «нация», «национализм» и «национальное государство» являются продуктом эпохи Модерна и могут быть поняты только в рамках осмысления самого феномена Модерна [см.: Anderson 2006, Gellner 2009]. Инструменталисты подчеркивают первостепенную роль элит в нациестроительстве [см.: Ethnic Groups and Boundaries 1998]. Представители обозначенных выше теоретических подходов в научных дискуссиях ведут себя как непримиримые противники, тем не менее на деле предложенные ими подходы к анализу национального государства и процессов нациестроительства по сути дела схожи. Часто на первенстве нации настаивают историки, в то время как «государственнического» подхода придерживаются правоведы и те, в фокусе исследования которых находятся политические институты.

Некоторые российские историки и политологи в подтверждение того или иного своего тезиса в этом научном споре «о курице и яйце» используют даже грамматические правила тех или иных языков, из которых заимствован в русском термин «национальное государство». В романских языках, действительно, прилагательное и любое другое приложение идут после существительных (*état-nation*, а не никак не *nation-état*), что, однако, не несет в себе политического смысла и лишено политической подоплеки, закрепленной будто бы в национальной психологии.

В свою очередь, представителей американской школы отличает более строгая приверженность идее национального государства как в аналитическом, так и в нормативном отношении, хотя и здесь присутствуют теоретические разногласия. Так, Джон Стюарт Милль (1803–1873), известный теоретик американского либерализма, полагал, что только гомогенная в этническом отношении нация способна поддерживать идею демократии. Впоследствии подобное восприятие национального государства именно в категориях демократии нашло свое отражение в работах британского теоретика либерализма Дэвида Миллера [см.: Miller 1995, 2000], который рассуждал о социальной солидарности в национальном государстве всеобщего благоденствия как неком сообществе. Модернисты [см. напр.: Dahrendorf 1995, Hobsbawm 1991], со своей

стороны, также настаивали на том, что принципы демократии и либерализма являются необходимыми для больших по размеру национально-территориальных государств, где велики риски активной деятельности региональных националистов, защищающих политические права этнических меньшинств.

Понимание того, что национальные государства, особенно большие по размеру, в принципе не могут быть моноэтническими, легло в основу новых по времени подходов к оценке феномена национального государства вообще и страновых казусов в частности. К примеру, история испанского национального государства наглядно показывает, что тот «ежедневный плебисцит», о котором говорил Эрнст Ренан (1823–1892), характеризуя природу нации вообще [см.: Renan 1991], оказывается для испанской нации отнюдь не пустой фразой. Будучи «единой и разной», она была изначально поставлена перед жизненно важной задачей поиска наиболее адекватной формулы сохранения единства. Отсюда становится понятной особая роль государства — интегрирующего стержня нации и гаранта ее единства перед лицом центристических настроений регионов. «Испания — это государство для всех испанцев, национальное государство для значительной части населения и только государство, но не нация — для влиятельных меньшинств», — так в одной из своих работ 1973 года утверждал американский политолог испанского происхождения Хуан Хосе Линс [Linz 1973: 99]. И эта его оценка до сих пор не потеряла своей актуальности.

Испания, одно из старейших государств Европы, представляет собой пример незавершенного нациестроительства в силу территориального разнообразия и значительного влияния регионального национализма [см.: Прохоренко 1994]. В ходе Реконкисты с особой силой проявилась интегрирующая роль католицизма — арабы-мусульмане были религиозными антагонистами для жителей христианского Пиренейского полуострова, хотя христианские королевства поначалу воевали не только с арабами, но и между собой. С завершением Реконкисты противостояние по религиозному принципу сменяется другим: именно контакт с внешним, «неиберийским» миром и господство в этом мире позволили жителям Полуострова осознать свою неповторимость и ощутить себя единым целым.

Решающим моментом в формировании государства и нации стал этап территориального расширения в период империи (XVI–XVIII века), когда Испания пыталась обрести себя как мировую империю, «сверхнацию». Однако регионализм, основанный на средневековом форальном праве (фуэро называли вольности областей и провинций со времен Реконкисты), не удалось победить ни испанским Габсбургам, ни новой династии испанских Бурбонов. Централизаторская политика во многом сводилась к ограничению, запретам и насилию, а задачи сбалансированного развития территории страны оказывались на втором плане. Первостепенным для Короны долгое время был грандиозный по своим замыслам и масштабам имперский проект. Его реализация требовала значительных людских и финансовых усилий и в конечном итоге отвлекала от собственно «национальных» дел. Когда же, потеряв остатки

заокеанских владений, Испания возвращается к осознанию своего собственного национального «Я», то завершить строительство нации мешают возникшие как раз к этому времени с началом промышленной революции (конец XIX века) мощные регионалистские (автономистские) движения в периферийных исторических областях — Стране Басков, Каталонии, Галисии, которые своей политической целью избрали автономию.

Более поздние по времени аналитические подходы к анализу природы нации и национального государства развивались в целом в духе конструктивизма, рассматривая процесс нациестроительства как постоянно развивающийся, нелинейный, часто оспариваемый со стороны субнациональных акторов и поэтому требующий эффективного территориального управления со стороны государства. Достаточно здесь вспомнить работы Стейна Роккана и Дерек Урвина [см.: Rokkan and Derek 1983], в которых изучены различные модели европейского национально-территориального государства. Другие, например, Майкл Китинг, пошли еще дальше, считая, что территориальные различия являются не просто признаком незавершенного нациестроительства (в Европе, в первую очередь), но способны воспроизводиться по мере исторического развития национального государства [см.: Keating 1988, 1998]. Наконец, в анализ национального государства было добавлено экономическое измерение [см., напр.: Tilly 1975, 1990; Spruyt 1994].

В итоге национальное государство стало все больше трактоваться не как исключительно объективная или субъективная, а скорее как интерсубъективная конструкция. Эффективность, успех или, напротив, неудача этой «конструкции», этого «воображаемого сообщества» [см.: Anderson 2006: 6–7] напрямую зависит от того, в какой степени граждане страны привержены идее национальной (гражданской) идентичности. Иными словами, насколько глубоко они верят в национальное государство и доверяют ему, выстраивая вокруг этих личных и глубоко эмоциональных по сути убеждений свою коллективную общественно-политическую жизнь, насколько тесно связаны индивидуальные и коллективные права и обязанности в национальном институте гражданства.

Фактически политологи пришли к выводу о том, что национальное государство является историческим явлением и всего лишь одной из политико-институциональных форм, которые могут принимать национальные чувства и убеждения. Соответственно, и национализм как идеология и политическая доктрина может иметь различные исторические разновидности: быть «старым» и относиться к эпохе образования больших территориальных государств и в противоположность этому — «новым», выражая автономистские и партикуляристские устремления субнациональных регионов и территорий внутри государств, что необязательно будет иметь итогом сецессию и создание независимого государства.

Сегодняшние вызовы глобальной взаимозависимости и универсализма, глобального нормативного регулирования, транснационализации и региональной интеграции меняют природу и роль национального (национально-

территориального) государства в мировой политике, обуславливают политико-институциональные трансформации современных обществ, видоизменяют представления индивидов о себе и своем месте в стране и мире и устоявшуюся систему координат мышления.

Уже в конце XIX — начале XX века был сделан вывод о несоответствии национальных границ экономическим интересам [помимо известных трудов основоположников и последователей марксизма см., напр.: Angell 2012 (1912)]. Процессы глобализации и транснационализации поставили под вопрос способность национального государства автономно управлять внутривнутриполитическими процессами в стране, направлять и контролировать развитие государства как политического сообщества в качестве уникального и по сути единственного политического субъекта. Было положено начало спорам о том, что же происходит с традиционным суверенитетом национальных государств в глобализирующемся мире: подвергается ли он эрозии, сокращается, разделяется или попросту становится иным. Разногласия относительно того, является ли вообще понятие суверенитета ключевым в анализе деятельности государства, прежде всего во внешнеполитическом измерении, и не потеряла ли идея суверенитета своего регулятивного значения в мировой политике и глобальной экономике, привели к появлению нового концепта «условного суверенитета» государств, пришедшего на смену суверенитету традиционному.

Периоды 1960–1970-х годов [см. напр.: Cooper 1968], а потом середины 1990-х годов [см., напр.: Scharpf 1991] стали этапами новых научных дискуссий о природе и будущем национального государства и были обусловлены изменениями международной среды и волнами демократизации. Процессы деколонизации, падение авторитарных режимов в Южной Европе, Азии Латинской Америке, развал Советского Союза и Восточного блока — все это потребовало переосмысления категории национального государства, изучения направлений трансформации данного феномена в новых исторических условиях.

Проявлением переформатирования модели национального государства в ряде стран Западной Европы, там, где эта модель исторически сложилась, становится, с одной стороны, сокращение присутствия государства в частной жизни граждан, а с другой, — передача, распределение традиционно государственных функций и полномочий наднациональным структурам управления. В специфической политической системе Европейского союза последние созданы коллективной волей самих же национальных государств и фактически становятся достаточно автономными акторами, равноположенными национальным государствам и имеющими аналогичные полномочия. Все это происходит одновременно с усилением субнациональных негосударственных политических и экономических акторов и партикуляристских устремлений региональных политико-территориальных образований, различных субкультурных (этнических, языковых, конфессиональных) и локальных сообществ, что в некоторых случаях создает риски политической стабильности и даже территориальной целостности национальных государств единой Европы.

К примеру, так и происходит в современной полиэтничной Испании, где границы национальной (гражданской) идентичности фактически не совпадают с границами национально-территориального государства. Наблюдаются существование территорий как мультикультурных политических сообществ. Более того, происходит формирование новых территорий идентичности гражданских наций — в Каталонии, в первую очередь, в меньшей степени — в Стране Басков («наций без государства», англ. *stateless nations*).

Трансформации национальных государств в современном мире обусловлены не только внутренними и внешними факторами. Свое значение имеет макрорегиональная принадлежность государства: направление изменений будет различным в разных регионах мира (Северной, Центральной, Южной и Восточной Европе, Соединенных Штатах, Африке и Азии). К тому же уникальное своеобразие страновой модели национального государства также является одной из детерминант данных трансформаций. Определяющими параметрам и конкурентоспособности государства являются качество государственного управления и эффективность институциональной (в первую очередь, конституционной) структуры государства.

Литература

- Бек У. 2012b. Поворот к космополитизму. Жизнь и выживание в обществе всемирного риска. — *Россия в глобальной политике*. Т. 10. № 4. С. 8–19.
- Ключевский В.О. 1987. Соч. в 9 т. Т. 1. Курс русской истории. Ч. 1. М.: Мысль. 430 с.
- Прохоренко И.Л. 1994. Испанское национальное государство и феномен национализма. — *Национализм: теория и практика (под ред. Э.А. Позднякова)*. М.: ИМЭМО РАН. С. 86–133.
- Anderson B. 2006. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Revised edition (1st — 1983). L.: Verso. 240 p.
- Angell N. 2012. *The Great Illusion: A Study of the Relation of Military Power in Nations to their Economic and Social Advantage*. New York: Cosimo (reprint; 1st publ. London, UK: Heinemann 1912). 224 p.
- Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Ed. by . F. Barth. 1998. Reissued 2nd ed. (1st — 1969). Chicago, IL, USA: Waveland Press. 153 p.
- Cooper R.N. 1968. *The Economics of Interdependence: Economic Policy in the Atlantic Community*. New York: McGraw Hill. 302 p.
- Dahrendorf R. 1995. Preserving Prosperity. — *New Statesmen and Society*. No. 13/29 (December). P. 36–40.
- Gellner E.A. 2009. *Nations and Nationalism*. 2nd ed. (1st — 1983). Oxford, UK: Blackwell. 152 p.
- Hobsbawm E. 1991. *Nations and Nationalism: Programme, Myth, Reality*. 2nd ed. (1st — 1990). Cambridge, USA: Cambridge University Press. 211 p.
- Keating M. 1988. *State and Regional Nationalism: Territorial Politics and the European State*. Brighton, UK: Wheatsheaf. 236 p.
- Keating M. 1998. *The New Regionalism in Western Europe: Territorial Restructuring and Political Change*. Cheltenham, UK: Edward Elgar. 256 p.
- Killinger Ch.L. 2002. *The History of Italy*. L.: Greenwood. 192 p.
- Linz J.J. 1973. Early state building and late peripheral nationalism against the state: the case of Spain. — Eisenstadt S.N. and Rokkan S. (eds.). *Building states and nations / ed. by Beverly Hills*. L.: Sage. P. 32–116.

- Mill J.S. 1972. *On Liberty, Utilitarianism, and Considerations on Representative Government*. L.: J.M. Dent & Sons. 113 p.
- Miller D. 1995. *On Nationality*. Oxford, UK: Oxford University Press. 224 p.
- Miller D. 2000. *Citizenship and National Identity*. Cambridge, UK: Polity Press. 224 p.
- Renan E. 1991. Qu'est qu'une nation? (Conférence prononcée le 11 mars 1882 à la Sorbonne). — *Qu'est-ce qu'une nation? Texte intégral de Ernest Renan / sous la direction de Ph. Forest*. Paris: Pierre Bordas et fils. P. 44–52.
- Rokkan S., Urwin D. 1983. *The Politics of Territorial Identity: studies in European regionalism*. L.: Sage. 438 p.
- Smith A.D. 1986. *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford, UK: Wiley-Blackwell. 312 p.
- Tilly Ch. 1975. *The Formation of National States in Western Europe*. Princeton, NJ: Princeton University Press. 711 p.
- Tilly Ch. 1990. *Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992*. Oxford, UK: Blackwell. 288 p.
- Scharpf F.W. 1991. *Crisis and Choice in European Social Democracy*. Ithaca, NY: Cornell University Press. 320 p.
- Spruyt H. 1994. *The Sovereign State and Its Competitors: An Analysis of Systems Change*. Princeton, NJ: Princeton University Press. 304 p.

Национально-цивилизационная идентичность

В.И. Пантин

Ключевые слова: политическая идентичность, национальная идентичность, цивилизационная идентичность, национально-цивилизационная идентичность, макрополитическая идентичность, макрорегиональная идентичность, этнос, нация, национальное государство, цивилизация, модернизация, глобализация, регионализация, инокультурная миграция.

Принципиально важная роль национально-цивилизационной идентичности в современном мире связана с тем, что в условиях глобализации и регионализации для ряда обществ она является одним из ключевых факторов их интеграции и самоопределения. В отличие от цивилизационной идентичности — понятия, указывающего в данном контексте на принадлежность индивида, этноса государства к определенной локальной цивилизации (включая цивилизации древности, античности и Средневековья), национально-цивилизационная идентичность появляется в эпоху Модерна, характерна прежде всего для модернизирующихся западных обществ и развивается в условиях современных процессов нациестроительства.

Национально-цивилизационная идентичность отличается как от цивилизационной, так и от национальной идентичностей, не являясь их механической

суммой, а образуя принципиально новый феномен и соответствующее этому феномену понятие. Концепт национально-цивилизационной идентичности, с одной стороны, отражает социальную и цивилизационную специфику западных обществ, а с другой, — учитывает то принципиально важное обстоятельство, что эти общества необратимо втянуты в мировой рынок, в процессы модернизации, глобализации, регионализации и имеют некоторые (хотя далеко не все) черты наций. Кроме того, понятие национально-цивилизационной идентичности, отражая специфику субъектности ряда государств на международной арене, значимо для понимания особенностей современных международных отношений и мировой политики, противоречивого взаимодействия между Западом и не-Западом.

Под *национально-цивилизационной идентичностью* понимается отождествление или соотнесение себя индивидами с определенной национально-цивилизационной общностью, т.е. такой общностью, которая одновременно имеет черты как нации, так и цивилизации, или же является промежуточным образованием между нацией и цивилизацией. В современном мире национально-цивилизационная идентичность присуща таким крупным и динамично развивающимся государственным образованиям, как Китай, Индия и Россия, которые одновременно имеют черты и нации, и цивилизации (конфуцианская цивилизация в Китае, индуистская в Индии, православная в России).

При этом и в Китае, и в Индии, и в России проживает множество народностей и этносов с разными обычаями, традициями, языками, но все они объединены в одно государство, имеют общую историю, судьбу, культуру и общие ориентиры развития. В то же время в международно-политической сфере все народности и этносы, проживающие в каждой из перечисленных стран, выступают как единая нация или единый суперэтнос, формирующий локальную цивилизацию и имеющий общую государственность. Так, маньчжуры или уйгуры, проживающие в Китае, за рубежом рассматриваются как китайцы; бенгалцы, сикхи или тамилы, проживающие на индийской территории, за пределами Индии воспринимаются как индийцы; чуваша, башкиры и татары за пределами России идентифицируются как русские (точнее, как россияне).

Ввиду несформированности нации в современном ее понимании и недостаточного развития цивилизационного сознания в этих странах сугубо национальная или же сугубо цивилизационная идентичность (или даже их прямое сочленение) не описывают адекватно особенности социокультурной и макрополитической самоидентификации в китайском, индийском или российском обществе, а также во многих странах исламского мира. Вместе с тем, в отличие от Китая и Индии, формирование современной российской национально-цивилизационной идентичности происходит сложнее и сталкивается с рядом проблем. К числу последних, в частности, относится соотношение российской и европейской, а также русской и российской идентичностей. В публичном дискурсе трактовка этих идентичностей зачастую носит сугубо идеологизированный характер, оставляя за скобками вопрос об их диалектике, содержательном наполнении и роли в формировании гражданской нации.

Национально-цивилизационная идентичность характеризуется определенной системой социокультурных ценностей и норм поведения, которая отличает самовосприятие индивидов, принадлежащих к данной национально-цивилизационной общности, от самовосприятия индивидов, принадлежащих к другим большим культурно-цивилизационным сообществам. При этом значительную роль в формировании национально-цивилизационной идентичности играют история и культура данного государства, а также традиции и религия. Так, для Китая важное значение имеет обладающее значительной идейной гибкостью конфуцианство, а для Индии — индуизм, вобравший в себя религиозные образы и представления, свойственные другим религиям.

Система ценностей и норм поведения, лежащая в основе национально-цивилизационной самоидентификации человека, во многом определяет политическое сознание, политическое поведение и политическую идентичность. В этом отношении национально-цивилизационная идентичность и элементы «просвещенного авторитаризма», являющиеся своеобразным компромиссом между традиционным обществом и современностью, выполняют важную роль «скрепы», не дающей распасться сложному полиэтничному обществу, представители разных слоев которого живут в разном историческом времени и обладают разной идентичностью. При этом национально-цивилизационная идентичность тесно переплетается с национально-культурной идентичностью, которая, однако, является более широким и менее определенным понятием [Покасова 2014].

Политическая роль национально-цивилизационной идентичности состоит в том, что скрепляющей полиэтничное общество основой для Китая и Индии выступают отнюдь не либерализм и демократия, а конфуцианская философия и трансформированная коммунистическая идеология в Китае или же религия индуизма (наряду с другими религиями) в Индии. Присутствие внешне стабильной демократической политической системы в Индии не должно обманывать, оно носит сравнительно поверхностный характер: «самая большая демократия» в мире, как иногда именуют Индию в западных СМИ, на деле является весьма сложным обществом, включающим и кланово-авторитарные структуры, и элементы кастовой организации, и некоторые черты «низовой демократии» [Кудрявцев 1992].

Более сложными случаями являются европейская и латиноамериканская идентичности, которые опираются на складывающиеся транснациональные политические пространства. Поскольку в государствах-членах Европейского союза и в странах Латинской Америки до сих пор доминирует национальная составляющая идентичности, можно говорить лишь о процессе формирования национально-цивилизационной европейской и латиноамериканской идентичности с выраженным транснациональным компонентом. Несмотря на культурную и цивилизационную общность, социокультурные различия как между отдельными европейскими, так и между отдельными латиноамериканскими странами остаются весьма значительными.

В то же время в рамках Европейского союза активно идут процессы конструирования европейских наднациональных институтов и элементов европейской

национально-цивилизационной идентичности, основанных на общей европейской культуре и ценностях. С точки зрения политической регионалистики можно говорить также о формировании европейской макрорегиональной идентичности, поэтому для понимания политических последствий развития Европейского союза следует учитывать диалектику процессов развития европейской национально-цивилизационной и макрорегиональной идентичности. Однако эти процессы и в Европе, и в Латинской Америке сталкиваются с рядом центробежных тенденций и межгосударственных противоречий (в Европейском союзе также с таким явлением, как евроскептицизм), а социокультурные основания европейской и латиноамериканской идентичностей находятся в центре ожесточенных дискуссий.

Понятие национально-цивилизационной идентичности значимо также для анализа самоидентификации мигрантов, например, иммигрантов из стран Ближнего Востока в европейских государствах или иммигрантов из стран Латинской Америки в Европе и США. В ряде случаев (хотя и не всегда) идентичность таких иммигрантов включает как национальные, так и цивилизационные компоненты. Причем по своему происхождению национальная и цивилизационная составляющие в данном случае не совпадают, а существенно различаются, формируя двойную национально-политическую идентичность. Подобные различия, нередко превращающиеся в противоречия и вызывающие этносоциальные конфликты, объясняют социальное и политическое поведение иммигрантов и их детей, которое может существенно отклоняться от принятых в странах проживания культурных стандартов и норм.

Литература

- Корсун В.А. 2008. Идентичность с китайской спецификой. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 68–79.
- Кудрявцев М.К. 1992. *Кастовая система в Индии*. М.: Наука. 264 с.
- Кульпин Э.С. 1995. *Путь России*. М.: Московский лицей. 200 с.
- Пантин В.И. 2008. Политическая и цивилизационная самоидентификация современного российского общества в условиях глобализации. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 29–39.
- Пантин В.И. 2011. Национально-цивилизационная идентичность: специфика России. — *Политическая экспертиза: ПОЛИТЭК*. Т. 7. № 2. С. 42–51.
- Поиск национально-цивилизационной идентичности и концепт «особого пути» в российском массовом сознании в контексте модернизации. 2004 (отв. ред. В.В. Лапкин, В.И. Пантин)*. М.: ИМЭМО РАН. 171 с.
- Покасова Е.В. 2014. Современная специфика национально-культурной идентичности. — *Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия*. Т. 12. Вып. 3. С. 92–97.
- Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России*. 1992. М.: Русская книга. 432 с.
- Семененко И.С. 2008. Метаморфозы европейской идентичности. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 80–96.
- Современная мысль Латинской Америки: идентичность и глобализация*. 2006. Екатеринбург: Издательский Дом «Дискурс-Пи». 120 с.

China's Quest for National Identity. 1993. Ed. by L. Dittmer and S. Kim. Ithaca & London: Cornell University Press. 305 p.

Huntington S. 2004. *Who Are We? The Challenges to America's National Identity*. N.Y.: Simon & Schuster. 428 p.

Внешнеполитическая идентичность

И.Л. Прохоренко

Ключевые слова: национальное государство, внешнеполитические традиции, политические элиты, национальный интерес, внешнеполитический консенсус, формирование внешней политики, национальный стиль внешней политики.

До недавнего времени понятие внешнеполитической идентичности употреблялось в социальных науках сравнительно редко и почти всегда без попытки его концептуализации. Чаще речь шла об изучении властного политического дискурса по вопросам внешней политики, о национальных интересах и традициях во внешней политике, об образе (имидже) государства в стране и за рубежом, о внешнеполитическом сознании (мышлении, менталитете) [см. напр. Поздняков 1986; Прохоренко 1995; Образ... 2008; Малашенко 1988; Чугров 2007].

В последние годы идентитарный подход, пусть и не так легко и быстро, но пробивает себе дорогу в науке о международных отношениях. Появляются статьи, диссертационные исследования, часто — междисциплинарного характера, с использованием методов социологии и политической психологии, прежде всего, в рамках конструктивистской парадигмы. Предпринимаются попытки использовать категорию идентичности в изучении поведения государств и транснациональных образований в мировой политике, а также процесса принятия внешнеполитических решений [см. напр.: Altoraiifi 2012; Hebel and Lenz 2016; Киселев и Смирнова 2006]. Однако по-прежнему можно утверждать, что понятие внешнеполитической идентичности остается неясным, размытым и нуждается в концептуализации.

Ключевой вопрос заключается в том, кто же является носителем этой идентичности. Можем ли мы говорить, пусть и условно, о некоей коллективной внешнеполитической идентичности государства, общества, нации, этнического или территориального сообщества, транснационального объединения (региональной интеграционной группировки, например) как коллективных субъектов и акторов мировой политики? Допустимы ли вообще такие обобщения и схематизация? Или речь идет о внешнеполитической идентичности

правительственных или транснациональных политических элит, выступающих от имени государства или интеграционного объединения тех, кто принимает внешнеполитические решения, учитывая во многом закрытый и непрозрачный процесс формирования внешней политики государств?

Поскольку исследователи международных отношений по-прежнему считают национальные государства главными субъектами мировой политики, по всей вероятности, в самом общем виде можно признать, что *идеи и представления, порой мифологизированные, о сложившемся и / или желаемом миропорядке, о месте, роли и статусе государства в мире, о его реальных и потенциальных союзниках, соперниках и врагах, о его ресурсах внешней политики формируют внешнеполитическую идентичность национального государства.*

Такая идентичность носит коллективный характер и достаточно стабильна во времени, учитывая общие историческую память и культурно-исторические основания государства-нации. При этом под государством в данном случае подразумевается не столько система властных и управленческих структур, сколько исторически сложившийся способ существования нации, нашедший свое отражение в соответствующих политических институтах. Поиск собственного «Я» в мире, стремление найти свой особый путь развития, защита национальных интересов становятся отнюдь не пустой фразой для каждого отдельного индивида, чувствующего, пусть порой и не вполне осознанно, свою принадлежность к достаточно устойчивому в пространстве и во времени социуму — нации, политической организацией которого выступает государство. Именно государство инициирует властный и научный политический дискурс по ключевым проблемам внешней политики, формирует общественное мнение в данной сфере, используя различные инструменты и технологии правительственной политики в области культуры, образования, науки, средств массовой информации.

Это конструирование государством собственной внешнеполитической идентичности не происходит в некоем вакууме: самоидентификация в системе миропорядка, представление о себе выстраиваются в процессе анализа (и также конструирования) конкретно-исторической международной среды, сравнения себя с другими государствами или транснациональными объединениями государств по принципу Я — Другой, Я — Иной. Выбор субъектов мировой политики для такого сопоставления напрямую зависит от того, каким образом, в каком ключе политические элиты оценивают прошлое страны, переживают настоящее, видят ее будущее. Геополитическое положение государства выступает в этом случае лишь одним из факторов и не всегда доминирующим. Иногда значение внешнеполитических традиций или обстоятельство схожести идеологий правящих режимов оказываются более существенными.

При этом, безусловно, учитываются и внутренние факторы, в частности, фактор государственно-территориального устройства страны — динамика федерализации, регионализации или децентрализации государства, внешнеполитические амбиции региональных элит, выступающих с проектами политической автономии или сепарации.

Очевиден образный и метафоричный характер подобного сравнения: в политическом дискурсе (властном, научном и общественном) активно используются такие понятия, в том числе дихотомические, как Центр и Периферия, Запад и Незапад, Запад и Восток, Север и Юг, союзник и соперник / враг, великая держава, супердержава, несостоятельное (несостоявшееся) государство, государство-изгой, империя, ближнее / дальнее зарубежье, граница, вызов, угроза, риск и так далее, а также образы других государств.

Эти интерсубъективные по сути своей образы часто несут на себе отпечаток и даже груз прошлого, имеют инерционный характер и не всегда, к сожалению, соответствуют действительности. Столь модные сегодня количественные показатели и результаты международных рейтинговых сравнений государств с точки зрения их международно-политической конкурентоспособности, потенциала «мягкой силы», привлекательности и международного влияния имеют свое значение, но, по всей вероятности, во многом второстепенны. На первое место в данном случае выходят нарратив и построение аналитических моделей как способы познания и инструменты конструирования внешне-политической идентичности.

Понимание природы вызовов, угроз и рисков имеет специфическую национальную окраску [подр. см. Прохоренко 1993: 77–79]. Понятие «вызов (англ. *challenge*), которое к нам и в другие страны пришло из внешнеполитической мысли США и иногда неверно переводится на русский язык как «угроза», трактуется как совокупность обстоятельств, далеко не всегда, кстати, носящих конкретно-угрожающий характер, но обязательно вынуждающих с ними считаться и принимать те или иные решения.

Далее, в рамках вызова могут действительно рождаться различные угрозы, детерминированные уже более конкретно и в различных областях (в сфере национальной безопасности и обороны в первую очередь). Здесь можно сравнить и соотнести представления о «вызове Японии» и «японской угрозе» для США в различные периоды американской истории.

Наконец, наиболее конкретной и непосредственной формой угрозы является опасность, хотя нередко этот термин использовался и продолжает использоваться в чисто пропагандистских целях. Достаточно вспомнить здесь такие сочетания из прошлого, как «красная опасность», «коммунистическая опасность».

Особенности исторического генезиса национального государства и присущих ему и только ему особых форм реагирования на угрозы своему развитию формируют совершенно неповторимый «национальный стиль» во внешней политике, о котором очень точно и в то же время достаточно просто сказал видный американский теоретик международных отношений Колин Грей: «Национальный стиль... — это стиль, который достаточно хорошо “работает” для данного конкретного государства. Национальный стиль — это не случайный плод воображения творцов политики; скорее, это модель национального ответа на различные вызовы, успешно апробированная прошлым историческим опытом» [Gray 1986: 37].

Для Соединенных Штатов Америки, например, национальным стилем во внешней политике выступает постоянное стремление к расширению своего влияния и нейтрализации возникающих в ходе этого угроз путем утверждения преимуществ высокоорганизованной системы социально-политических и экономических институтов американского общества. Для России — это необходимость поддержания территориально-политической целостности государства и защиты (причем чаще всего вооруженной, как показывает история страны) от «внешнего и внутреннего врага». Испанский «национальный стиль» характеризуется, прежде всего, сбалансированностью внешней политики, стремлением избежать возврата к отстраненности и «периферийности» в европейских и мировых делах, сохранить свой статус европейской (и западной) державы и вместе с тем не потерять историческую самобытность и специфику.

Идентичность, которая формируется у нации как политико-территориального сообщества при взгляде одновременно на себя и вовне в процессе сравнения себя с другими в международной среде и выявлении собственной похожести или, напротив, своего отличия от других, в том числе в исторической ретроспективе, как раз и лежит в основе этого национального стиля во внешней политике. Более того, в общем и целом разделяемая элитами и массами внешнеполитическая идентичность является основанием консенсуса в элитах и обществе по приоритетным вопросам внешней политики. Это обеспечивает преемственность внешнеполитического курса государства, а в сложные переходные периоды политических и социально-экономических трансформаций позволяет плавно осуществить перемены во внешней политике или сделать их менее болезненными для массового (общественного) сознания (как это произошло, к примеру, в Испании после слома авторитарной диктатуры Франко). В свою очередь, можно говорить о серьезном кризисе и даже смене внешнеполитической идентичности в периоды распада империй, войн и революций.

Явления глобализации и транснационализации, динамика интеграционных процессов в современном мире позволяют говорить, с одной стороны, о формировании внешнеполитической идентичности транснациональных объединений государств (например, активно конструируется европейская идентичность граждан государств-членов Европейского союза, который проводит общую внешнюю политику и политику безопасности). С другой стороны, внешнеполитическая идентичность отдельных государств претерпевает естественную трансформацию в транснациональных политических пространствах.

Литература

- Киселев И.Ю., Смирнова А.Г. 1986. *Динамика образа государства в международных отношениях*. Изд. 2-е, переработ. и доп. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета. 375 с.
- Малашенко И.Е. 1988. *США: в поисках «консенсуса». Внешнеполитические ориентации в американском массовом сознании*. М.: Наука. 240 с.

Образ России в мире: становление, восприятие, трансформация. 2008. Отв. ред. И.С. Семенов. М.: ИМЭМО РАН. 152 с.

Поздняков Э. А. 1986. *Внешнеполитическая деятельность и межгосударственные отношения.* М.: Наука. 188 с.

Прохоренко И.Л. 1993. Национальная безопасность и баланс сил. — *Баланс сил в мировой политике: теория и практика* (под ред. Э.А. Позднякова). М.: ИМЭМО РАН. С. 66–90.

Прохоренко И.Л. 1995. *Национальный интерес во внешней политике государства: опыт современной Испании.* М.: Паспорт-Графика. 128 с.

Чугров С.В. 2007. Понятие внешнеполитического менталитета и методология его изучения. — *Полис. Политические исследования.* № 4. С. 46–65.

Altaiafi A. 2012. *Understanding the Role of State Identity in Foreign Policy Decision-Making: The Rise and Demise of Saudi-Iranian Rapprochement (1997–2009).* A thesis submitted to the Department of International Relations of the London School of Economics and Political Science for the degree of Doctor of Philosophy. London, October 2012. 349 p.

Gray C. 1986. *Nuclear Strategy and National Style.* Lanham (MD, USA): University Press of America. 364 p.

Hebel K., Lenz T. 2016. The identity / policy nexus in European foreign policy. — *Journal of European Public Policy.* Vol. 23. No. 4. P. 473–491.

Геополитическое видение мира и идентичность

В.А. Колосов

Ключевые слова: геополитика, политическая география, геополитическое положение, геополитическое видение мира, образ страны.

Позиционирование в мире, по отношению к ближним и дальним соседям, самоотождествление с регионом мира, страной, регионом, городом — важнейшая часть идентичности. Отвечая на вопрос «Где, в какой стране, в каком регионе мира я живу?», человек неизбежно отвечает и на вопрос «Кто я, каковы мои ценности и идеалы?». Естественно, самоопределение людей со временем меняется вслед за сдвигами в геополитическом положении страны под воздействием внешних (глобальных) и внутренних процессов, связанных со взглядами на историческое прошлое, культуру и политику. К тому же подвержено изменениям соотношение между различными ипостасями личности: человек отождествляет себя не только со своим государством, но и регионом, городом, людьми своей национальности и культуры, своей профессией и социального круга.

Французские философы-постструктуралисты Ж. Деррида и М. Фуко и английский географ Д. Харви показали, что роль, восприятие и использование

пространства отдельными людьми и социальными группами постоянно меняются в зависимости от социальной практики. В нее входит, в частности, политический дискурс, включающий общественно принятые способы видения и интерпретации окружающего мира, а также действия людей и институциональные формы организации общества, вытекающие из такого видения.

Под геополитическим видением мира понимается набор представлений о соотношении между различными элементами политического пространства, национальной безопасности и угрозах ей, выгодах и недостатках определенной внешнеполитической стратегии и так далее. Геополитическое видение мира включает также представления о территории этнической группы или политической нации, ее границах, предпочтительных моделях государственного устройства, исторической миссии и силах, препятствующих ее осуществлению [Berg 2000; Dijkink 1996; Eskelinen, Liikanen, Oksa 1999; Eskelinen 2000; Harle 2000; Moisio 2002].

Неотъемлемый элемент геополитического видения мира — образ собственной страны в представлении ее граждан, в том числе их взгляды на ее территорию, «естественные» или «исторические» границы, сферу жизненных интересов, предпочтительную модель развития, историческую миссию, внешние или внутренние силы, благоприятствующие или препятствующие ее осуществлению (*geopolitical imagination*) [Dijkink, 1996, 1998]. Доказано, что социальные и региональные группы, как правило, имеют свое видение мира, которое совсем не обязательно совпадает с доминирующим [Dalby and Ó Tuathail, 1998].

Логично предположить, что в крупных странах, таких как Индия, США или Россия, геополитическое видение мира может существенно отличаться от района к району: например, в Калининграде взгляды граждан на зарубежный мир могут быть не такими, как в Москве или на Дальнем Востоке. Имеющиеся на этот счет данные свидетельствуют о том, что в России такие различия действительно существуют, но пока они не очень значительные и, во всяком случае, слабее различий между крупными городами и остальной территорией [O'Loughlin, Ó Tuathail, Kolossov 2004]. Большинство стран и тем более крупные страны принадлежат одновременно к различным территориальным и культурным общностям. Так, Россия может рассматриваться как северная, тихоокеанская, балтийская и черноморская страна. Ее жители могут ассоциировать себя с восточными славянами, угро-финскими, тюркскими народами и так далее. Не утихает традиционная российская дискуссия между западниками, славянофилами и евразийцами. Поэтому самоотождествление с определенным регионом мира — вопрос не столько географических знаний, сколько культурных и политических ценностей. Хорошо известна дискуссия о подразделении Европы на макрорегионы, разгоревшаяся вскоре после падения Берлинской стены: воскресло, казалось бы, забытое понятие Центральной Европы с весьма неопределенными границами, которое противопоставлялось почти исчезнувшей или, во всяком случае, резко сжавшейся Восточной Европе, ассоциировавшейся с зоной влияния бывшего СССР/России [O'Loughlin 1998].

Геополитическое видение мира — продукт национальной истории и культуры, результат синтеза взглядов, исповедуемых различными слоями политической элиты, академическими экспертами, творческой интеллигенцией и общественным мнением в целом [Колосов, 1996]. Оно формируется под воздействием многочисленных факторов — семейных традиций, образования, личного опыта человека, в частности, размеров и конфигурации освоенного им пространства (*espace vécu*), рекламы, литературы и искусства, кино, СМИ, создающих и распространяющих набор мифов и стереотипных представлений о национальной истории и территории.

Геополитическое видение мира имеет основания в *геополитических традициях* — исторически возникших национальных политико-философских школах, развивающих определенный нормативный и относительно формализованный набор взглядов на национальную идентичность, интересы и политические приоритеты [O'Tuathail 2002]. В России различаются две главные геополитические культуры — западническая и государственническая в сочетании с неоевразийством. В свою очередь, они подразделяются на несколько постсоветских геополитических традиций [O'Loughlin 2001: 17-48; Tsygankov 2002: 153-173; 2003: 101-127].

Геополитические представления распространяются в ходе геополитического дискурса, синтезирующего определенную информацию о международных делах в привязке к территории. Геополитический дискурс чаще всего инициируют и поддерживают СМИ, обычно обслуживающие интересы определенных групп элиты. Он складывается из определенных сюжетов — геополитических историй (*geopolitical storylines*), формируемых элитами для обоснования своей политики. В плюралистическом обществе обычно складывается несколько «скриптов» каждой истории — способов ее представления и медиатизации. Результатом геополитического дискурса становится создание или модификация геополитического видения мира, а затем геостратегии — понимания национальных интересов и путей их обеспечения и защиты [O'Tuathail, 2002].

Анализ геополитического дискурса помогает определить границы так называемых неформальных регионов в представлении политических лидеров и общественном мнении (например, Северной или Центральной Европы, мусульманского мира и т.д.). Так, лидерам государств Центральной и Восточной Европы в 1990-х годах было важно представить границы своих стран в глобальном масштабе как границы Европы, рубеж между Западом и Востоком, на макрорегиональном — как «исторические, исконные» границы своих народов, а на локальном уровне — наоборот, как результат мудрых, хотя и болезненных уступок во имя международной стабильности [Berg 2003].

Естественно, культурные границы, в пределах которых распространена определенная идентичность, далеко не всегда совпадают с формальными (де-юре) рубежами. Культурные границы, или границы де-факто, выполняют прежде всего внешние функции контакта между культурами, тогда как границы *де-юре* — главным образом внутренние, обеспечивая суверенитет и территориальную целостность государства, социальную и этнокультурную

интеграцию его населения. Бывшие государственные границы становятся административными или культурными рубежами, и наоборот. Новые политические границы почти никогда не возникают на «чистом месте» и крайне редко «секут» старые. Чаще всего культурные границы преобразуются в границы *de-jure*. В свою очередь, «разжалованные» формальные границы при определенных обстоятельствах могут вернуть свой официальный статус полностью или частично, вновь стать государственными рубежами. Потерявшие или изменившие часть своих функций политические или административные границы, в различных формах проявляющиеся и поныне в социальной практике — например, голосовании на выборах или демографическом поведении, называют фантомными. Их сохранение отражает существенные черты региональной или локальной идентичности [Колосов, Мироненко 2001].

Поскольку самоидентификация людей с определенной территорией наделяет ее разные части высоким символическим значением, отторгнутые ее регионы нередко становятся мобилизующими символами национальной или этнической идентичности. Такими территориями-символами являлись до 2014 года Севастополь в России, Косово в Сербии [Мир глазами россиян... 2003].

Геополитическое видение мира в целом и образы отдельных стран и территорий особенно важны в государственном строительстве в переходные исторические периоды. Развитие национальной (политической) идентичности в значительной степени происходит в результате противопоставления «своих» «чужим», жителям соседних и других зарубежных стран. На геополитическое видение мира опираются внешнеполитические стратегии. Для создания таких образов мобилизуются историко-культурные ресурсы регионов и географических мест, «макрогеополитические» представления выводятся, казалось бы, из чисто локальных. После распада Советского Союза груз прошлого, реальные и вымышленные исторические раны и особенно последствия сталинских депортаций, постсоветские конфликты, территориальные споры и этнические чистки породили новые «места памяти» (в терминах известного французского историка Пьера Нора), которые увековечивают имидж враждебного Чужого и нетерпимое отношение даже к самой возможности примирения с соседней страной. Более того, как показала постсоветская история Украины, разные территориальные группы, полагающие себя частью одного народа, могут иметь резко различающуюся геополитическую картину мира.

Геополитические представления неразрывно связаны с понятием национальной безопасности и использованием для ее обеспечения государственного аппарата насилия. Безопасность — многоаспектное понятие: различают безопасность военную, экономическую, экологическую и т.д. В самом общем виде безопасность понимается как надежность системы жизнеобеспечения и отсутствие угроз для жизни людей и их деятельности.

Восприятие безопасности зависит от исторических традиций, имиджа соседней страны, современного дискурса. Например, в Финляндии, несмотря на прошлые конфликты, глубоко различны социальные представления о считающейся безопасной границе с Швецией и о границе с Россией — источнике

незаконных мигрантов, преступности, загрязнителей среды и прочих угроз [Laitinen, 2001]. Другой пример — общественные представления о безопасности. В Казахстане существуют опасения поддержки со стороны России возможного ирредентизма в приграничных регионах севера страны с высокой долей русских [Прозрачные границы 2002].

Сравнительное исследование геополитического видения мира молодежью 18 стран мира, включавшее «старые» и «новые» страны Европейского союза, Бразилию, Индию, Китай и Россию, Турцию и ряд стран Африки, основывавшееся на опросе 9300 студентов (2009–2010), показало, что статистически значимы упоминания лишь немногим более 50 стран — основных мировых «нюсмейкеров». В их числе — главные мировые державы, соседи, популярные туристические страны и «нюсмейкеры» — арены крупных международных конфликтов, такие как Израиль, Афганистан или Ирак. Даже такие густонаселенные страны, как Бангладеш, Индонезия или Южная Корея, в их число не входят.

Исследование показало, что геополитические представления зависят от пола, дохода, места жительства, личного опыта знакомства с зарубежным миром и числа языков, на которых говорит респондент. Чем больше языков знает респондент, тем сложнее его представления. Однако в главных чертах геополитическая картина мира в представлении студентов из всех 18 стран весьма похожа, в чем можно усматривать одно из последствий глобализации и определенной унификации тематики сообщений средств массовой информации и системы школьного образования. Для ментальной карты молодых людей характерен непоколебимый евроцентризм. По их мнению, наиболее привлекательны крупные страны Западной Европы — Франция, Италия, Германия, Великобритания, к которым близки Испания, а также Нидерланды, Австрия, Швейцария и другие небольшие государства, впрочем, пользующиеся меньшей известностью. Европейские страны обычно ассоциируются с высоким уровнем жизни, туризмом, развлечениями, отдыхом и всемирно известными достопримечательностями, покупками, престижными товарами и услугами. С туризмом и потреблением связаны восемь из 20 наиболее частых ассоциаций с Европой и европейскими странами.

Отношение к США в большинстве стран, вошедших в выборку, противоречивое. С одной стороны, многие респонденты высоко ценят американские достижения в науке и технике и считают США образцовой демократической страной, но другие воспринимают эту страну как сверхдержаву, играющую заглавную роль в НАТО, претендующую на мировую гегемонию, глубоко вовлеченную в международные конфликты и навязывающую свои интересы другим странам. Особенно заметно раскол в представлениях о США проявился в таких странах, как Турция, Бразилия, Китай.

Список наименее привлекательных стран возглавляют страны, ассоциируемые с исламским фундаментализмом и терроризмом, гражданской войной, сложной политической обстановкой, угрожающей политической стабильности не только в своем регионе, но и в более широких масштабах — Афганистан,

Ирак, Иран, к которым иногда примыкают Саудовская Аравия и некоторые другие арабские страны. На ментальной карте студентов из большинства стран мира негативно окрашены также Россия и большинство других постсоветских стран, многие страны Юго-Восточной Европы — Румыния, Болгария, страны бывшей Югославии (кроме Словении). Негативный образ в сознании молодых людей имеют также Израиль, Китай, Индия, Монголия, Северная Корея и почти все развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. Причины различны — культурная дистанция, укоренившиеся представления о бедности и низком уровне жизни в этих странах, авторитарные режимы, находящиеся у власти в некоторых из них.

Одна из общих закономерностей состоит также в том, что соседние страны редко кажутся привлекательными в крупных странах. Как правило, их соседи беднее, сравнительно хорошо известны и не имеют романтического ореола, которым нередко обладают более отдаленные государства. Это характерно, в частности, для российских студентов.

Сравнительный анализ публикаций нескольких ведущих мировых газет о зарубежном мире позволил сделать вывод, во-первых, что интенсивность и характер информационного потока, влияющего на формирование образа страны, коррелирует с ее экономической мощностью, поскольку в глобализирующемся мире все большее значение приобретают экономические новости, в целом не имеющие значимой эмоциональной окраски. Во-вторых, и это еще более важно, образ страны за ее пределами зависит не столько от внутренней ситуации, сколько от того, что она может «экспортировать» вовне — от товаров и услуг до рисков, угроз и нестабильности. Так, преобладающая негативная информация о России касается больше ее внешней и внутренней политики, а не экономики, сравнительно мало значимой на мировом фоне.

В зарубежных СМИ Россия неизменно ассоциируется с авторитарным режимом, экономической нестабильностью, терроризмом. Ее, как правило, представляют как северную, бедную, нестабильную, недемократическую и мало гостеприимную страну, хотя и располагающую крупными запасами нефти и газа. Общую картину лишь отчасти компенсировали статьи об искусстве, достижениях в космосе и спорте [Колосов и др. 2003]. Финский ученый Юсси Лайне на примере содержания публикаций о России за двадцатилетний период в ведущей ежедневной газете Финляндии «Хельсингин Саномат» показал, что во многих случаях возникает порочный круг: редакция отбирает материалы, которые привыкла видеть о южном соседе ее аудитория, и, наоборот, их тональность закрепляет определенные геополитические представления [Laine 2014].

Они обладают большой инерцией, их трудно изменить, тем более в короткие сроки. Так, проведенное в 2012 году сравнительное исследование геополитических представлений студентов трех университетов — Балтийского федерального им. И. Канта, Гданьского (Польша) и Клайпедского выявило резкую асимметрию их интереса к соседней стране. В Польше побывали 73% калининградских студентов, многие — по много раз, в Литве — 63%. В то же время

88% гданьских и 68% клайпедских респондентов ни разу в жизни не пересекали российскую границу, и часть из них заявили, что Калининград для них не представляет интереса. У 61% литовских студентов слово «Калининград» вызывало негативные ассоциации (политическая нестабильность, отсутствие свобод, коррупция, опасное место, дешевые наркотики, теневая экономика, контрабанда, неразвитая инфраструктура, бедность, низкий уровень жизни, неприветливые люди, непривлекательный для туризма город, закрытый город, атомная станция, военная база, эксклав, периферия и т.п.) Сходны были и коннотации их польских ровесников. Среди них распространены негативные клише, связанные не столько с Калининградом, сколько имиджем России в целом (их высказало 11% студентов¹). При этом социально-экономические показатели Калининградской области и сопредельных регионов Польши и Литвы в начале текущего десятилетия стали вполне сопоставимы, а по некоторым параметрам Калининград опережал Литву. Однако большинство польских и литовских студентов думали, что экономическая ситуация там хуже или значительно хуже, чем в их городах (соответственно 50% и 36%) [Колосов, Вендина 2015].

Таким образом, стереотипная геополитическая картина мира, основанная на негативном коллективном опыте старших поколений, воспроизводится молодежью, сильно деформируя восприятие ею действительности. Сложившиеся представления оказывают весьма заметное влияние и на внутреннюю, и на международную политику, и на внешнеэкономические связи, особенно инвестиции и туристические потоки.

Литература

Колосов В.А., Бородулина Н.А., Галкина Т.А., Вендина О.И., Заяц Д.В., Юр Е.С. 2003. Геополитическая картина мира в средствах массовой информации. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 33–49.

Колосов В. А., Вендина О. И. 2014. Геополитическое видение мира, идентичность и образы друг друга в представлениях молодых жителей Калининграда, Гданьска и Клайпеды. — *Балтийский регион*. № 4. С. 7–30.

Колосов В.А., Мироненко Н.С. 2001. *Политическая география и геополитика*. М.: Аспект-пресс. 479 с.

Мир глазами россиян: общественное мнение и внешняя политика (под ред. В.А. Колосова). М.: ФОМ, 2003. — 304 с.

Berg E. and Oras S. 2000. Writing post-Soviet Estonia on to the world map. — *Political Geography*. Vol. 19 (5). P. 601–625.

Dijkink G.-J. *National Identity and Geopolitical Visions: Maps of Pride and Pain*. London: Routledge, 1996.

Flint C., Mamadouh V. 2015. The Multi-Disciplinary Reclamation of Geopolitics: New Opportunities and Challenges. — *Geopolitics*. Vol.20 (1). P. 1–3.

¹ Сумма не составляет 100%, поскольку респонденты давали несколько ответов.

- O'Loughlin J., O Tuathail G., and Kolossov V. 2006. The Geopolitical Orientations of Ordinary Russians: A Public Opinion Analysis. — *Eurasian Geography and Economics*. Vol.47 (2). P. 129–152.
- Jones L. and Sage D. 2009. New directions in critical geopolitics: an introduction. — *Geojournal*. Vol. 75 (4). P. 315–325.
- Laine J. 2013. *New Civic Neighborhood: Cross-border Cooperation and Civil Society Engagement at the Finnish-Russian Border*. Joensuu: University of Eastern Finland. 462 p.
- O'Loughlin J. 2001. Geopolitical visions of Central Europe. — *Europe between Political Geography and Geopolitics* (M.-P. Pagnini, V. Kolossov and M. Antonsich eds.). Roma: Societa Geografica Italiana. P. 607–625.
- O Tuathail G. 2002. Theorizing practical geopolitical reasoning: the case of U.S. Bosnia policy in 1992. — *Political Geography*. Vol. 21 (5). P. 601–628.
- The Geopolitics Reader*. 2006. (G. O Tuathail, S. Dalby, and P. Routledge eds.). London: Routledge. 342 p.
- Tsygankov A.P. 2002. Rediscovering National Interests after the "End of History": Fukuyama, Russian Intellectuals, and a Post-Cold War Order. — *International Politics*. Vol. 39 (4). P.153–173.
- Tsygankov A.P. 2003. Mastering Space in Eurasia. Russia's Geopolitical Thinking after the Soviet Break-Up. — *Communist and Post-Communist Studies*. Vol. 35 (1). P. 101–127.

«Мягкая сила» и идентичность¹

Е.М. Харитонова

Ключевые слова: «мягкая сила», образ страны, брендинг, постимперская идентичность, политическое пространство, внешнеполитическая идентичность, постколониальные исследования.

Мягкая сила — это сила государства, основанная на привлекательности национальной культуры, ценностей и внешней политики. Автор термина, американский политолог Дж. Най писал о возрастающей роли «мягкой силы» в международных отношениях и противопоставлял ее силе «жесткой», базирующейся на принуждении или подкупе [Nye 1990]. Данная концепция не перестает привлекать внимание исследователей и политиков. Представители многих национальных правительств и парламентов признают, что необходимо использовать «мягкую силу» для усиления влияния соответствующей страны, создания позитивного образа государства и формирования более благоприятной среды международных отношений. Популярность завоевала также предложенная

¹ Статья подготовлена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-00021 «Регулирование межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов в современном мире: потенциал гражданской идентичности (сравнительный политический анализ)») в Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН).

Дж. Наем концепция «умной силы», сочетающей в себе «мягкую» и «жесткую» (то есть экономическую и военную) силу [Nye 2009].

«Мягкая сила» может рассматриваться двояко. Во-первых, как инструмент внешней политики государства и как государственная политика с вовлечением в нее различных негосударственных акторов, позволяющая достичь измеряемых результатов, экономических и внешнеполитических целей. Для реализации такой политики национальное правительство финансирует многочисленные программы и проекты государственных и негосударственных организаций, создает коммуникационные кампании, привлекает к различным видам деятельности известных людей, поддерживает инициативы в области образования, туризма, спорта, общественной дипломатии, культуры, информационной и коммуникационной деятельности и т.п. С другой стороны, «мягкая сила» предстает как долгосрочная стратегическая «рамка», охватывающая широкий спектр вопросов, которые включают в том числе представления о роли, а иногда и миссии, государства в мире и тех ценностях, которые оно продвигает. С этой точки зрения «мягкая сила» включает весь спектр символов, идей и смыслов, связанных с представлениями о месте и роли государства в мире, его внешнеполитической идентичности, об образе государства как в самой стране, так и за рубежом, о том, что отличает конкретно его как субъекта международных отношений от других государств, и что далеко не всегда может быть четко описано, оценено и измерено, но что является определяющей средой для формирования соответствующей государственной политики.

В своих книгах и статьях Дж. Най не только предлагает новый взгляд на глобальные процессы, но и дает рекомендации для практического применения концепции во внешней политике государства. Он утверждает, что сочетание «жесткой» и «мягкой силы» позволило Западу победить СССР в холодной войне, и предлагает использовать этот опыт для решения новых задач [Nye 2006]. Однако многие эксперты критикуют концепцию американского политолога. В первую очередь, исследователи подвергают сомнению утверждение о том, что привлекательность национальной культуры, внешней политики, идей и ценностей действительно имеет значение с точки зрения достижения внешнеполитических целей. Так, некоторые авторы считают, что привлекательность американского образа жизни или любовь к американской культуре совсем не обязательно влекут за собой принятие американских идей и ценностей [см. напр.: Ferguson 2003, Hodgson 2004].

«Мягкую силу» можно представить как один из способов построения и расширения политических пространств [подробнее о политических пространствах см. напр: Транснациональные... 2011]. Если в прошлом государства увеличивали свою физическую территорию военным путем, завоевывая и подчиняя другие страны, то в современном мире такой подход считается неприемлемым.

Например, можно говорить о том, что политическое пространство Британской империи, основанное на «жестких» связях: экономическом и военном доминировании, иерархических отношениях метрополия/колонии, претерпело

значительные изменения. Тем не менее это пространство во многом сохранило свои очертания, но теперь уже оно связано «мягкими» формами взаимодействия: общностью языка, формами общественного устройства, институтом монархии и государственными символами (некоторые страны Британского Содружества наций по-прежнему считают британского монарха формальным главой своего государства и сохраняют флаг Великобритании на своем государственном флаге), культурными и образовательными программами, проектами по содействию международному развитию и так далее. Иными словами, Соединенное Королевство сегодня использует «мягкую силу» там, где ранее обходилось силой «жесткой».

Увеличение влияния и достижение лидерства несиловыми способами, включение в общее пространство новых коллективных субъектов различного уровня, «участники которых в целом разделяют общие базовые ориентиры и установки, имеют сходные интересы, придерживаются сложившихся или установленных правил и норм» [Прохоренко 2016: 5], в большей мере соответствуют характеру современных международных отношений и позволяют опираться не на военные, а на информационные, культурные и образовательные возможности. Ведущие государства, а также такие наднациональные образования, как Европейский союз, стремятся расширить свою зону влияния с помощью «мягкой силы», в том числе государственной поддержки образовательных, научных и культурных обменов, программ содействия международному развитию и информационной политики, распространения норм и правил, моделей общественного устройства и управления, идей и ценностей.

Кроме того, в международных отношениях и мировой экономике в условиях транснационализации существенным образом увеличилось значение негосударственных акторов. И в этом смысле работа за рубежом национального бизнеса, деятельность общественных объединений, некоммерческих организаций, учреждений образования, культуры и искусства зачастую позволяют добиться более масштабных результатов для повышения привлекательности страны, чем государственные программы и стратегии. Классический пример такого влияния — американская киноиндустрия, которая в значительной степени формирует представление о США в мире. При этом еще в 1932 году выдающийся британский общественный деятель сэр Стивен Тэллент в брошюре, посвященной восприятию Британии за рубежом, отмечал, что «каждый сотрудник таможни или портъе, оказавший услуги высокого качества посетителям из-за рубежа», участвует в проецировании позитивного образа страны и добывает для нее свою небольшую долю хорошего отношения в мире [цит. по: Moloney 2006: 61].

Сегодня процессы международной интеграции приводят к более тесному взаимодействию между разными народами и обществами, а современные средства коммуникации позволяют гражданам передавать и получать информацию из любой точки мира. Самовосприятие граждан, транслируемые ими ценности и идеи, общественно-значимые инициативы, культурные, научные

и образовательные проекты, модели общественного устройства оказывают влияние на то, как воспринимается та или иная страна или общество за рубежом. А значит, основой для позиционирования страны в мире и распространения «мягкой силы» становится идентичность (например, национально-государственная, организационная или постимперская идентичность).

В 1990-х и 2000-х годах внимание экспертов и политиков также привлекли публикации, посвященные маркетингу мест (или территориальному маркетингу) [см. напр.: Kotler, Haider and Rein 1993] и национальному брендингу [см., напр.: Anholt 2007]. Авторы работ в этом направлении также ориентированы на практическое применение своих концепций: прежде всего, они говорят о коммерческой составляющей образа страны, в частности, добавленной стоимости, возникающей у товаров и услуг, производимых в государстве, сумевшем создать сильный страновой бренд. При этом, с одной стороны, подчеркиваются конструктивистская природа образа страны и возможность создания, изменения и улучшения странового бренда. Многочисленные консалтинговые агентства и сами авторы таких концепций предлагают правительствам и государственным структурам по всему миру услуги по управлению национальными брендами. С другой стороны, авторы признают, что при работе по повышению привлекательности странового бренда следует опираться на уже существующие в мире представления о государстве, а также отмечают взаимосвязь между национальным брендом и национально-государственной идентичностью граждан страны и их взаимовлияние [Dinnie 2015].

Перечисленные концепции остаются востребованными и сегодня, кроме того, можно говорить об определенном сближении между ними. Так, ежегодно публикуются международные рейтинги, характеризующие «мягкую силу» государств и привлекательность их брендов, при этом многие используемые для составления такого ранжирования показатели пересекаются [см. подробнее: Харитоновна 2015]. Государственные структуры стран мира прилагают усилия, направленные на улучшение образа страны за рубежом, повышение «мягкой силы» и привлекательности государства и усиление странового бренда, рассматривая в комплексе весь спектр вопросов, связанных с образом государства в экономическом и политическом измерениях.

Возможности конструирования образа государства и его позиционирования на международном уровне напрямую связаны с реальным положением дел в стране и самовосприятием ее граждан. Если при построении торговых марок и коммерческих брендов бизнес может контролировать характеристики товара или услуги и менять их в зависимости от спроса и требований рынка, то на страновой бренд или использование «мягкой силы» влияет множество независимых факторов.

Существует и обратная зависимость, когда усилия, направленные на граждан зарубежных стран, вызывают определенную реакцию и внутри страны. Масштабные события и программы, направленные на зарубежные аудитории, могут способствовать повышению гражданского самосознания и гордости

за свою страну. Объединение вокруг символов государства происходит не только в ситуации военного конфликта, когда в качестве «Другого» воспринимается непосредственный противник, но и в мирное время. Так, крупные спортивные мероприятия используются для позиционирования страны на международном уровне и одновременно могут стать фактором, объединяющим ее граждан. Различные выставки, фестивали и культурные мероприятия, программы в области содействия международному развитию, деятельность национального бизнеса за рубежом и другие формы взаимодействия становятся инструментами продвижения образа страны и одновременно формой идентификации. Выступая за национальную спортивную команду, представляя страну на музыкальном конкурсе или выставке товаров, отдельные граждане и организации становятся своего рода послами или представителями своих соотечественников.

Усиливающаяся глобализация, растущая взаимозависимость и размывание национальных границ одновременно подталкивают к необходимости позиционирования страны и присущих ей уникальных ценностей, культуры и отличительных черт. Поэтому внимание к концепциям «мягкой силы», национального брендинга и другим близким темам по-прежнему актуально. Вопросы, связанные с ролью идентичности в формировании образа страны, поиском невоенных путей увеличения влияния и расширения транснациональных политических пространств, будут и в дальнейшем привлекать внимание исследователей и политиков.

Литература

- Прохоренко И.А. 2016. *Испания в Европейском союзе: взаимовлияние национального и транснационального политических пространств. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук.* М.: ИМЭМО РАН. 50 с.
- Транснациональные политические пространства: явление и практика. 2011. Отв. ред. М.В. Стрженева. М.: Весь Мир. 376 с.
- Харитонова Е.М. 2015. Эффективность «мягкой силы»: проблема оценки. — *Мировая экономика и международные отношения.* № 6. С. 48–58.
- Anholt S. 2007. *Competitive Identity, the New Brand Management for Nations, Cities, and Regions.* New York: Palgrave Macmillan. 134 p.
- Dinnie K. 2015. *Nation Branding: Concepts, Issues, Practice.* NY: Routledge. 306 p.
- Ferguson N. 2003. Power. — *Foreign Policy.* No 134. P. 18–22.
- Hodgson G. 2004. Politics, democracy and social affairs. Review. — *International Affairs.* Vol. 80. No 5. P. 999–1000.
- Kotler P., Haider D.H., and Rein I. 1993. *Marketing Places.* New York: Free Press. 400 p.
- Moloney K. 2006. *Rethinking Public Relations: PR Propaganda and Democracy.* Routledge. 248 p.
- Nye J. 1990. Soft Power. — *Foreign Policy.* No 80. P. 153–171.
- Nye J. 2006. Think again: soft power. — *Foreign policy.* Available at: <http://foreignpolicy.com/2006/02/23/think-again-soft-power>.
- Nye J. 2009. Get Smart. — *Foreign Affairs.* July/August. P. 160–163.

Сепаратизм и ирредентизм¹

И.И. Баринов

Ключевые слова: меньшинство, автономия, национализм, сепаратизм, ирредентизм, сецессия.

Термин ирредентизм изначально происходит от названия политического движения в Италии конца XIX века, имевшего своей целью присоединение к стране некоторых регионов Австро-Венгрии с преобладающим итальянским населением. Впоследствии данное явление быстро вышло далеко за пределы Италии и вообще Европы. В наши дни, по оценкам специалистов, существует всего 12 этнически гомогенных государств, а в 30% стран этнически однородна лишь половина населения (Пузырев 2014: 18), поэтому ирредентистские политические проекты могут актуализироваться в контексте этнополитических политико-территориальных конфликтов.

Традиционно исследователи разграничивают понятия *сепаратизм* и *ирредентизм*, несмотря на их близость. Если *сепаратизм* предполагает «отделение территории и образование нового государства», то в случае ирредентизма речь идет об «особом виде национализма», который подразумевает либо отделение территории одного государства и присоединение к другому, либо отделение территорий нескольких государств для образования нового [Бараш 2012: 153; Горовиц 1993: 145].

Специалисты по-разному определяют природу происхождения сепаратизма. По мнению одних (Л. Бараш, К. Уильямс), в его основе лежит социальный или политический конфликт, при котором меньшинство получает диспропорциональную долю благ и власти, находится в перманентном состоянии экономического неравенства. Там, где эти факторы соотносятся с территориальными границами, у меньшинства может возникнуть некая форма националистического движения в условиях боязни значительного ослабления групповой идентичности из-за действий большинства [Бараш 2012: 156; National Separatism 1982: 1]. Ярким примером, когда большинство использует территорию мень-

¹ Статья подготовлена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-00021 «Регулирование межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов в современном мире: потенциал гражданской идентичности (сравнительный политический анализ)») в Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН).

шинства для экспорта собственных социально-экономических противоречий, может служить Косово, куда власти бывшей Югославии стремились канализировать поток безработных сербов, обещая им значительные бенефиции. Ситуация работает и в обратную сторону. По мнению специалистов, сепаратизм может основываться на ложно трактуемом принципе права на самоопределение, предполагающее закрепление за этнической общностью «государственно оформленной территории» [Вольтер 2016: 36], «абсолютизацию принципа самоопределения народов как ценностной и правовой нормы» [Курныкин 2016: 54].

Существует мнение (Д. Горовиц, К. Пузырев), согласно которому социально-политические факторы не могут быть определяющими в развитии сепаратистских движений, к ним неизменно добавляются этнические, ментальные и иные характеристики. По мнению некоторых специалистов, сепаратистские тенденции усиливаются не только в условиях кризиса распределения ресурсов или политического участия, но и в рамках доминирования над меньшинством носителей другого языка, культуры и символических ценностей [Горовиц 1993: 148; Пузырев 2014: 25]. В подобной ситуации отношение меньшинства к титульной нации демонстрирует значительную амплитуду колебаний — от вербального неприятия государственного законодательства и соответствующего политического поведения до этницизма, сопряженного с попытками реализовать сепаратистский сценарий.

Насчет ирредентизма у экспертов по проблеме (Р. Брубейкер, М. Корнпробст) существует представление, что в его основе лежат, скорее, вопросы политических и культурных предпочтений меньшинства и большинства. Данная тема нередко находится в плоскости взаимоотношений, порой проблемных, соседних государств. Как считает Р. Брубейкер, ключевыми паттернами для понимания ирредентизма являются феномены «национализирующего национализма» и «национализма родины» [Брубейкер 2000: 10]. В первом случае большинство стремится к подавлению меньшинства внутри страны и вовлечению его в собственное социокультурное поле, во втором — меньшинство стремится избежать этой ситуации, тяготея вовне, к «родственному государству». По мнению М. Корнпробста, при рассмотрении сюжетов, связанных с ирредентизмом, следует обращать первостепенное внимание на вопрос соотношения воображаемых и реальных границ нации. Это касается как меньшинства в «национализирующем» государстве, так и того «родственного» государства, к которому оно тяготеет [Kornprobst 2008: 9].

Как отмечает британский автор А. Орридж, в свете проблемы ирредентизма для современных государств «вопрос региональной и этнической лояльности» вообще является одним из наиболее насущных [National Separatism 1982: 43]. В рамках попыток институционального регулирования этой проблемы в Европе была разработана модель «еврорегионов», которая, впрочем, оказалась более или менее эффективной только там, где интегрируемые друг с другом территории изначально были близки по уровню экономического развития, а показатели социального благополучия — относительно высокими

(примером является еврорегион Тироль-Южный Тироль-Трентино, сформированный практически в границах исторического Тироля).

Специалисты называют ряд условий, которые могут служить питательной средой для развития сепаратистских и ирредентистских движений. В первую очередь, это специфические региональные ценности, неизменно «служащие выражением интересов этноса/общности». Они могут, помимо прочего, включать в себя идею национальной исключительности, а именно наличие уникальной культуры или языка, «исконных прав» на определенную территорию. Нередко подобное представление может являться следствием мифологизации национальной истории меньшинства вкупе с дискурсом о его ущемленном положении и самовиктимизацией. В результате местная идентичность меньшинств, изначально нейтральная или невыраженная критическим образом по отношению к большинству, может перерасти в «крайнюю форму этнорегионального самоопределения» [Пузырев 2014: 25–29]. В этой связи исследователи указывают на опасность формирования «серых зон» — территорий постоянной нестабильности [Харин 2016: 69–70].

Эти особенности нередко могут вылиться в своеобразную «цепную реакцию». Процессы глобализации, которые способствуют тому, что проблема взаимозависимости государств нарастает, а их жизнеспособность как самостоятельных акторов ставится под вопрос, могут спровоцировать взрыв национализма титульной группы (нередко на этнической основе). Для меньшинств данный процесс актуализирует значимого «чужого» в образе доминирующего большинства. Это, в свою очередь, порождает кризис легитимности национального государства и может подтолкнуть меньшинство к одному из трех сценариев. Первый, наиболее мягкий, означает стремление к созданию национально-государственной автономии; второй в рамках классического сепаратизма направлен на создание самостоятельного государства. Наконец, третий, ирредентистский сценарий подразумевает отделение части территории, населенной представителями меньшинств, и присоединение к другому государству, родственному с этнической / этнокультурной точки зрения.

Существует также еще один, наиболее радикальный вариант развития событий, когда в результате острой этнической конфронтации области, населенные меньшинствами, отделяются сразу от нескольких государств с целью образования нового. Для определения этого процесса применяется термин «сепессия». Эта деноминация тесно связана с понятием ирредентизма, и в каком-то смысле ее можно обозначить как радикальный ирредентистский исход.

Для некоторых регионов (в частности, для Центральной, Восточной и Южной Европы) такое положение создает серьезные вызовы. Во-первых, представители большинства в одной стране могут быть меньшинством в соседней, и им угрожает аналогичный «национализирующий национализм», только со стороны того государства, в котором они находятся. Подобное положение провоцирует возникновение своего рода «взаимного» ирредентизма, движимого новыми политическими лидерами — выходцами из меньшинств, и, как следствие, столкновение государств, как в случае с Сербией и Хорватией.

Во-вторых, весьма проблематичной становится традиционная для Центрально-Восточной Европы этническая чересполосица, поскольку всегда найдется та группа меньшинства, которая живет вне основной группы ирредентистов, нередко в качестве анклава среди большинства. Этот сюжет напрямую связан с темой трансграничной идентичности.

Наконец, неустойчивое положение того или иного меньшинства нередко используется его «родственным государством» в конъюнктурных политических целях. Это проявляется в «декларируемой заинтересованности» данного государства в благополучии этнически или культурно близкой группы, проживающей за его границей, как это делают, в частности, Венгрия или Сербия. При этом неизвестно, насколько предпринимаемые большинством меры способны улучшить ситуацию. Так, Словакия и Хорватия перекроили административные границы таким образом, что национальные меньшинства (соответственно венгры и сербы) теперь не имеют большинства ни в одном районе страны. Тем не менее это не только не отвратило меньшинства от ирредентистских устремлений, но и в перспективе осложнит как ситуацию с потенциальным предоставлением этим меньшинствам автономии, так и вообще отношения между соседними государствами.

Таким образом, если *сепаратизм* можно понимать как специфическую форму регионального самоопределения с потенциальным стремлением к отделению от «чуждого» большинства и созданию нового государства, то ирредентизм — это, прежде всего, острый конфликт между меньшинством и большинством в рамках одного государства, в основе которого лежит стремление меньшинства, в первую очередь, сохранить свою групповую идентичность и, в ряде случаев, поднять уровень собственного политического участия или социально-экономической защищенности.

В данной связи существуют три базовых пути дальнейшего развития ситуации. В первых двух случаях (сепаратистских) меньшинство может остаться в составе «национализирующего» государства на определенных условиях в рамках широкой автономии или же отделиться и создать новое государственное образование. Третий, ирредентистский сценарий в перспективе означает или присоединение к «родственному государству», или объединение с аналогичными, выделившимися из других государств территориями в новое государственное образование. Сущностное отличие ирредентистского варианта от первых двух заключается в том, что мобилизация меньшинства происходит по этнотерриториальному признаку, тогда как первые два пути в большинстве своём подразумевают этническую/этнокультурную мобилизацию, опционально в рамках этнополитического конфликта.

Важно отметить, что, поскольку ирредентизм является наиболее радикальным способом разрешения описанной конфликтной ситуации, он несёт немало рисков как для «новой старой родины», так и для стремящегося туда меньшинства. Во-первых, как отмечает М. Корнпробст, для «принимающей стороны» всегда существует вопрос, инкорпорирует ли она «население с территорией» или «территорию с населением» [Kornprobst 2008: 8]. Являясь продуктом ме-

жэтнического конфликта, ирредентизм неизменно создаёт предпосылки для его воспроизводства в новых условиях. По словам Д. Горовица, для «родственного» государства всегда существует опасность внутреннего этнического дисбаланса в случае воссоединения с «родственным меньшинством». Для меньшинства же не менее остро стоит проблема его восприятия, связанная с вопросом «чужого влияния» во время нахождения в «национализирующем государстве» [Горовиц 1993: 146–147].

Литература

- Бараш Р.Э. 2012. Ирредентизм как категория дискурса и политической практики. — *Вестник российской нации*. № 2–3. С. 151–171.
- Брубейкер Р. 2000. Диаспоры катаклизма в Центральной и Восточной Европе и их отношения с родинами (на примере Веймарской Германии и постсоветской России). — *Диаспоры*. № 3–4. С. 6–32.
- Вольтер О.В. 2016. Сепаратизм в контексте национально-территориального передела мира. — *Современная Россия и мир: альтернативы развития (сепаратизм и его роль в мировом политическом процессе)*. Дневник Алтайской школы политических исследований № 32. Под. ред. Ю.Г. Чернышова. Барнаул: Издательство Алтайского ГУ. С. 34–38.
- Горовиц Д. 1993. Ирредентизм, сепаратизм и самоопределение. — *Национальная политика в Российской Федерации*. М.: Наука. С. 145–165.
- Кимлика У. 2000. Федерализм и сепессия: Восток и Запад. — *Ab imperio*. № 3–4. С. 245–317.
- Курныкин О.Ю. 2016. Эволюция понятия «сепаратизм». — *Современная Россия и мир: альтернативы развития (сепаратизм и его роль в мировом политическом процессе)*. Дневник Алтайской школы политических исследований № 32. Под. ред. Ю.Г. Чернышова. Барнаул: Издательство Алтайского ГУ. С. 52–58.
- Пузырев К. 2014. *Региональный сепаратизм в странах Западной Европы: понятие, истоки и предпосылки*. М.: ТЕИС. 94 с.
- Харин А.Н. «Государства архаики» и проблемы сепаратизма в современном мире. — *Современная Россия и мир: альтернативы развития (сепаратизм и его роль в мировом политическом процессе)*. Дневник Алтайской школы политических исследований № 32. Под. ред. Ю.Г. Чернышова. Барнаул: Издательство Алтайского ГУ. С. 68–72.
- Borgen Ch.J. 2010. From Kosovo to Catalonia: Separatism and Integration in Europe. — *Goettingen Journal of International Law*. Vol. 2, № 3. P. 997–1033.
- Kornprobst M. 2008. *Irredentism in European politics*. Cambridge: Cambridge University Press. 301 p.
- Norman W. 2006. *Negotiating nationalism: nation-building, federalism, and secession in the multinational state*. Oxford: Oxford University Press. 250 p.
- Orrige A.W. 1982. Separatist and Autonomist Nationalisms: The Structure of Regional Loyalties in the Modern State. — *National Separatism*. Ed. by C. Williams. Cardiff: University of Wales Press. P. 43–74.
- Secession as an International Phenomenon*. 2010. Ed. by Don H. Doyle. Athens: University of Georgia Press. 392 p.

Трансграничная идентичность¹

И.И. Баринов

Ключевые слова: трансграничная идентичность, меньшинство, сепаратизм, изменяющаяся идентичность, множественная принадлежность.

В современных условиях глобализации и регионализации в самых разных частях света заметно растет число трансграничных регионов. На этом фоне усиливаются проблемы, связанные с трансграничными контактами, особенно если это связано с теми сообществами, которые оказались разделены государственными границами. В этой связи остро актуализируются проблемы, так или иначе связанные с трансграничной идентичностью.

Сложность в понимании и трактовке концепта трансграничной идентичности заключается в том, что исследователи этого феномена рассматривают его с различных точек зрения, соответственно применяя для анализа различную методологию. Постановка вопроса о выработке универсального определения трансграничной идентичности является тем более актуальной в связи с тем, что она имеет применение в политическом дискурсе при оценке интеграционного потенциала в тех регионах, где она присутствует.

Существует две основных трактовки трансграничной идентичности. Первая отталкивается от политологических категорий. По мнению американского социолога Джулии Мостов, само явление трансграничной идентичности коренится в наличии «мягкой» (*soft border*) или «твердой» (*hard border*) границы государства. Наиболее актуальным местом приложения этой теории, по мнению автора, является Юго-Восточная Европа. Как считает Мостов, здесь происходит наложение реальных и воображаемых факторов. Так, на Балканах наличие ряда проблемных районов сочетается с традиционно сильным влиянием исторических нарративов и коллективных мифов. Из этого произрастает стремление к естественным границам — дискурсу, популярному в Европе в начале XX века. Определенную роль играет и этнократическое наследие начала 1990-х годов, когда то или государство стремилось за счет действительного или мнимого неравенства различных групп соотнести «внешний»

¹ Статья подготовлена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-00021 «Регулирование межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов в современном мире: потенциал гражданской идентичности (сравнительный политический анализ)») в Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН).

(государственный) суверенитет с «внутренним» — этническим [Mostov 2007: 142–150].

По словам Мостов, подобная ситуация порождает такие явления, как «текущая идентичность» (*fluid identity*) и «множественная лояльность» (*multiple allegiance*). В этом смысле у граждан какого-либо государства может произойти отход от политической или, что бывает важнее, региональной идентичности к стремлению к неким «этнографическим» границам [Mostov 2007: 136–141]. Из данного процесса может логически проистекать взаимное тяготение этнических групп, находящихся в разных государствах, причем государства, становятся как бы вторичным явлением, что мешает централизованной политике национальных правительств, становясь своего рода «дублирующим» гражданством [Border Identities. Nation and State at International Frontiers 1998: 191, 208].

В литературе также встречается представление о том, что *трансграничная идентичность* является скорее выражением «трансграничной культуры» — комплекса представлений, связанных, прежде всего, с «ментальным картографированием» (*mental mapping*) определенного пространства. Носители подобной идентичности сами конструируют для себя ментальные рубежи (*borderlines*), отвергая политические или географические границы как на символическом уровне, так и в реальности [Wolff 1994: 14, 119]. В данном случае в рамках выбора ценностных предпочтений, политических символов и идеологий трансграничная идентичность напрямую соотносится с понятием политического пространства. Среди макрорегионов с наиболее выраженной трансграничной культурой в Евразии можно выделить следующие: Балканы (Албания–Македония–Косово), где трансграничная культура представлена, в первую очередь, албанцами; Ближний Восток (Турция–Сирия–Ирак–Иран) — здесь трансграничную культуру представлена наиболее ярко курдами, Центральная Азия (Узбекистан–Киргизия–Таджикистан–Афганистан), где данный тип культуры олицетворяют главным образом узбеки.

Стоит также отметить вариативность трансграничной культуры. К примеру, для бразильско-аргентинского пограничья характерна ситуация, при которой наличие общей культуры и этнографического сходства не отменяет ярко маркированных отличий в этнической, языковой и иных сферах [Wilson and Donnan 2012: 206–209]. Такое положение характеризуется для участников трансграничного взаимодействия понятием «множественная принадлежность» (*multiple belonging*). Порой в трансграничном взаимодействии первенствуют субъекты экономических отношений, а не агенты общих по обе стороны символической или реальной границы культурных практик. В таком случае трансграничная культура произрастает из способа мышления торговцев или сезонных мигрантов.

С другой стороны, образование некой формы трансграничного взаимодействия в условиях наличия общей культурно-исторической памяти, этнической и языковой близости может получить иную траекторию развития. Как считает австрийский исследователь М. Корнпробст, в таком случае аккумуля-

мулируются трансграничный нарратив, имеющий два уровня — «глубинный» и «регулирующий». Первый реанимирует осознание общности групп людей по обе стороны границы и способствует выработке базовых параметров воображаемых границ сообщества; второй отвечает за соотнесение этих виртуальных границ с реальными, артикулируя общую идентичность по обе стороны границы [Kornprobst 2008: 228–229]. В этом отношении в каком-то из регионов с трансграничной идентичностью со стороны либо главенствующей, либо подчиненной общности может произойти инструментализация противоречий и вероятного неравенства с целью достижения неких политических дивидендов.

Характерным примером в данной связи можно назвать случай Косово. На фоне то затухавшего, то вновь разгоравшегося этнополитического конфликта косовских албанцев с местными сербами первые, ссылаясь на ущемление своих прав меньшинства, сумели добиться независимости края. При этом они не стремились проводить ревизию границ за счет соседних Албании и Македонии, соотнося ментальное и реальное политическое пространство. В данном случае можно говорить о том, что трансграничная идентичность стала основой для проявления ирредентизма. Балканский кейс здесь не является чем-то уникальным, и подобные явления можно обнаружить в самых разных уголках мира. Это, в частности, проблема некоторых регионов Западной Европы, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока.

Российскими авторами также предлагаются различные трактовки трансграничной идентичности. В одних случаях она может быть прочно связана региональным сотрудничеством и шире — с региональной идентичностью. В этом контексте трансграничная идентичность становится выражением нескольких уровней взаимодействия, отталкивающихся от культурных, экономических, политических и иных особенностей приграничного социума. К ним в качестве немаловажной компоненты добавляются физико-географические характеристики региона и демографический фактор. Трансграничная идентичность, таким образом, связывается с понятием «трансграничного региона», который понимается как территориальное образование, отличающееся «совокупностью взаимодействующих между собой природных, социальных и экономических подсистем» [Волынчук 2009: 50–52, 55].

Данная теория получает в отечественной литературе дальнейшее развитие и определенные корректировки. Так, теоретические основы трансграничности рассматриваются в контексте процессов ретерриториализации / детерриториализации в условиях регионализации и глобализации [Леконцева 2013: 61]. Названные российские авторы при этом сходятся во мнении, что важную роль в формировании трансграничной территории, а, следовательно, и трансграничной идентичности играет именно политическая (государственная) граница [Волынчук 2009: 50; Леконцева 2013: 62]. В этом ключе *трансграничную идентичность* можно обозначить как *идентичность частей определенной социокультурной, этнической или цивилизационной общности, по каким-то причинам отделенных друг от друга реальной или символической границей*.

Несколько отличную концепцию трансграничной идентичности предлагает российский исследователь Татьяна Герасименко. По ее мнению, данное понятие возникает на стыке естественных и гуманитарных наук и не имеет строгой политологической привязки. Автор полагает, что основой трансграничной идентичности является сложно иерархизованная в границах определенного пространства система этнических, культурных, политических, религиозных, коммуникативных, поведенческих и других элементов. Данный комплекс может вступать в противоречие с существующей территориальной организацией в силу своих отличий в сфере этнической/политической культуры, собственных представлений о среде обитания, исторической территории и т.д. [Герасименко 2005: 23–33]. Иногда это положение развивается в литературе до цивилизационного уровня — в таком случае можно говорить об особой форме цивилизационной идентичности.

Литература

Волынчук А.Б. 2009. Трансграничный регион: теоретические основы геополитического исследования. — *Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке*. № 4. С. 49–55.

Герасименко Т.И. 2005. *Проблемы этнокультурного развития трансграничных регионов*. СПб.: РТТ ЛГУ. 235 с.

Леконцева К.В. 2013. Интерпретация понятия «трансграничный регион» через призму современной социологической методологии. — *Вестник Забайкальского государственного университета*. № 8. С. 60–70.

Wilson Th. and Donnan H.A. 2012. *Companion to Border Studies*. Oxford: Wiley-Blackwell. 636 p.

Border Identities. 1998. *Nation and State at International Frontiers*. Ed. by Th. Wilson, H. Donnan. Cambridge: Cambridge University Press. 316 p.

Kornprobst M. 2008. *Irredentism in European politics*. Cambridge: Cambridge University Press. 301 p.

Mostov J. 2007. Soft borders and transnational citizens. — *Identities, Affiliations and Allegiances* (ed. by S. Benhabib, I. Shapiro, D. Petranovich). Cambridge: Cambridge University Press. P. 136–158.

Wolff L. 1994. *Inventing Eastern Europe*. Stanford: Stanford University Press. 419 p.

Глава 31

ИДЕНТИЧНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕННОМ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИЯХ

Социальное пространство

Х.Г. Тхагансоев

Ключевые слова: социальное пространство, историческая эволюция социального пространства, социальная реальность, социальное бытие, социальные связи, социальное время, политическое пространство.

Социальное пространство — предельно широкое понятие, выражающее (в паре с категорией «социальное время») все многообразие форм, способов и механизмов социального бытия (социальных связей и отношений, структур, институтов и процессов) в их целостной совокупности и исторической динамике.

Поскольку базовым условием существования человека является природа, социальное бытие объективно носит социоприродный характер, придавая измерениям (мерам) социального пространства разнотелый и множественный характер. В числе таких измерений могут быть физико-геометрические, природно-географические, ландшафтно-экологические, технико-технологические, экономические, политические, культурно-цивилизационные, ментально-психологические, информационные. Социальное пространство исторично, постоянно претерпевает сложные и, как правило, нелинейные изменения, что порождает трудности в интерпретации и экспликации этой научной категории, в том числе в плане соотношения социального пространства и пространства политического.

В эпоху античности в рамках ее созерцательной философии пространство (как и время) понималось излишне натуралистично — как протяженность, «вместилище бытия», что лишало эту категорию операциональности, объяснительного потенциала.

Мистицизм, ставший доминантой познания в Средние века, трактовал пространство иначе — как творение Бога (часть его творений). В этом контексте пространство обретало двойной смысл и двойное измерение: земное (бренное,

с тяготами и лишениями) и небесное (устроенное по божественным меркам справедливости и гармонии) в соответствии с дуалистической картиной мира христианства. Но главное заключается в том, что как в античных, так и в средневековых трактовках не было различия механизмов причинности в природе и обществе, соответственно, не было и различия модусов пространства на «физическое» и «социальное».

Дифференцированное понимание пространства заявляет о себе лишь в эпоху промышленной революции в контексте процессов усложнения структуры общества и в мейнстриме социально-философских идей Нового времени. Достаточно, упомянуть, к примеру, воззрения итальянского философа, основоположника философии истории и этнической психологии Джамбатисты Вико (1668–1744), который настаивал на том, что формы и механизмы детерминации социальных процессов отличаются от таковых в природном мире [Киссель 1990].

В последующем в контексте противоречивых процессов становления капитализма проблематика социального пространства выходит в центр внимания становящейся в ту пору социологической науки. Так, немецкий философ и социолог Георг Зиммель выдвигает учение о сущности и формах социального пространства [Зиммель 1996]. Эти его идеи получают развитие в трудах Генриха Риккерта [Риккерт 1998], Карла Маркса и Толкота Парсонса [Парсонс 2000]. При этом если у Зиммеля социальное пространство предстает как некая методологическая категория (наподобие априорной формы Иммануила Канта), на основе которой строятся осмысление и описание реальной действительности, то у Риккерта речь идет о конкретном пространстве культуры и динамике культурных феноменов. Парсонс, в свою очередь, интерпретирует социальное пространство как систему социальных стратификаций и их динамики, в то время как Маркс усматривает в социальном пространстве выражение классовой структуры и суммы общественных отношений, обретающих целостность и механизмы развития (самодвижения) в сменяющихся друг друга общественно-экономических формациях.

Все эти концепции схожи, несмотря на различия формулировок, тем, что интерпретируют социальное пространство в качестве онтологической константы социума, который якобы может быть описан как набор структур, институтов и процессов, а также их линейного развития «по пути прогресса». В итоге социальное пространство предстает как нечто внешнее по отношению к человеку, а по сути кладущее пределы формам и границам его деятельности и свободы.

Новый этап в интерпретации социального пространства задают идеи Пьера Бурдьё [Бурдьё 2007] и Петра Штомпки [Штомпка 2005], трактующих социальное пространство как «поле напряжений, создаваемых габитусом», то есть нормативной системой социальных действий, детерминированных культурой и транслируемых от поколения к поколению. Таким образом, в этих концепциях человек в социальном пространстве фактически представлен опосредованно (через нормы, правила, институты), а социальное пространство так и, остается внеположными по отношению к нему и, более того, довлеющим над ним.

В современных условиях глобализации мира и становления информационного общества [Кастельс 2005], турбулентной трансформации всех аспектов социального бытия анализ социального пространства утрачивает свою исследовательскую эффективность на основе структурно-онтологических категорий «внеположности»: географического пространства, цивилизации или культуры, габитуса, политического строя, социально-классовой структуры, институтов права и власти. Теперь социальное пространство выражает не только и не столько наборы объективно сущих структур, сколько многообразный и изменчивый мир смыслов бытия человека и их информационной подачи, форм коммуникации и поведенческих стратегий, требующих идентификации и учета в политической практике. В этом контексте актуализируется задействование в процессы анализа социального пространства когнитивного потенциала — категории «идентичность» («социальная идентичность»), ее маркерно дифференцирующего и верифицирующего арсенала.

Если рассматривать политику предельно широко, в ее потенциальной масштабности, то есть как совокупность отношений и действий людей по творению, воспроизводству и трансформации социального бытия, то *политическое пространство* является собой один из аспектов *социального пространства*. Однако иногда в научном дискурсе категория политического пространства часто интерпретируется как некая самостоятельная онтологическая сущность, в частности, как территория распространения исторически обусловленной (наличной) политической системы и ее влияния [Семигин 2001]. Подобное понимание явно не соответствует сущности политического пространства, поскольку редуцирует его к пространству физическому — к территории, географическим контурам некоей геополитической единицы. При этом игнорируется роль идеального — политико-идеологических нарративов, культуры, религии, морали — в механизмах бытия политики и структуре политического пространства.

Политическое пространство, как и любой другой составной элемент пространства социального, обладает относительной самостоятельностью. Однако, будучи одним из аспектов социального бытия, оно детерминировано особенностями последнего — его структурой, доминантными процессами, трендами исторического развития социума и социального познания.

При этом следует учитывать неуклонное возрастание роли виртуальной сферы в структуре социального пространства и его элементов в отдельных его полях — экономике, политике, коммуникации. Поскольку виртуальная сфера лишена субстанциональных оснований и форм, она может быть осмыслена лишь на основе категории «идентичность», а точнее — социальной идентичности акторов виртуального пространства (блогер, пранкер, модератор, медиум, провайдер и др.) или же идентичности практикуемых в виртуальном пространстве технологий (чат, форум, флэш-моб, электронный платеж, фондовая биржа, электронная библиотека). Тенденции развития социального и политического бытия ныне таковы, что ориентиром самоорганизации людей и их действий, то есть фактором структурирования социального и политического пространств все чаще становятся идеи, проекты и стратегии,

выдвигаемые в социальных сетях — в виртуальном пространстве. Речь идет о проектах идентичностей стиля жизни, коммуникации, политического выбора и поведенческих стратегий и форм.

Категория «идентичность», как показывает анализ, операциональна в данном случае не только в плане репрезентации и анализа наличного «здесь и сейчас» социального пространства, но и в процессах реконструкции социальной истории, социально-политического бытия [Давыдов 2010].

Дело в том что особенности социального бытия каждой исторической эпохи так или иначе находят преломление в типе личности, персональной идентичности социальных акторов (прежде всего, индивидов), поскольку идентичность человека есть ни что иное, как агрегация и констелляция индивидом (и в индивиде) смыслов бытия, форм культуры и социальности, мотиваций к действиям, ценностных позиций, коммуникативно-поведенческих и деятельностных стратегий человека в конкретный период времени. Но поскольку персоналистические формы культуры и культурного бытия стали возможны лишь с выходом на историческую арену ранних форм европейского капитализма, на предшествующих этапах истории человеку надлежало оставаться в рамках социально-культурной идентичности, данной ему от рождения с учетом его сословно-классовой принадлежности, исповедуемой религии, этнического происхождения. Соответственно, поддержание и воспроизводство этой предзаданной, «сакральной» идентичности составляло смысл социального бытия и ориентир политики (политической практики) в доиндустриальных обществах. В этом контексте социально-пространственная специфика обществ доиндустриальной эпохи определялось главным образом природно-географическим фактором и маркерами локальных культур, то есть ценностями и регулятивными механизмами той локальной культуры или цивилизации, к которой данное доиндустриальное сообщество принадлежало.

Однако по мере развития капитализма и все большей дифференциации социума, форм деятельности и культуры в рамках индустриального общества складывается новый «трансформативный» тип социальной идентичности, отражающий возрастание социальной мобильности человека — появление «социальных лифтов», вариантов культурного выбора и личностного самоопределения. В этом контексте развитие социального бытия и структурирование социального пространства обеспечиваются за счет технологий и материальных артефактов, пролиферации форм социальной идентичности и роста ее многообразия.

В ходе исторического процесса социальное пространство претерпевает парадигмальные трансформации не только в структурном плане, но и в механизмах развития [Тхагапсоев 2015]. В традиционных обществах в роли «структуратора» социального пространства выступали квазиприродные факторы (географическое пространство и детерминированный им культурно-хозяйственный уклад). В эпоху Модерна таковыми являлись артефакты индустрии и растущее многообразие социальных идентичностей. В современных условиях информационного общества наиболее активным фактором структурирования

социального пространства становятся проектирование и тиражирование в виртуальном пространстве идентичностей социального бытия во всех его измерениях. Именно продуцируемые креативными людьми (и социальными группами) типы идентичности людей, вещей, отношений, процессов, форм потребления, стилей жизни и образов «горизонта будущего», презентуемые в виртуальном пространстве, определяют практически все происходящее в современном мире — культурные тренды, экономические инновации, политические процессы и технологические уклады, а значит, структуру социального пространства и способы его бытия.

Особенности эволюции социального пространства находят отражение и фиксируются в спектрах социально-политических хронотопов исторических эпох. В доиндустриальных обществах социально-политические хронотопы и их статусно-геополитическая иерархия задаются главным образом «географической мощью» государства (размером территории, численностью населения, наличными природными ресурсами), а в индустриальном обществе — технологическим потенциалом материального производства. К примеру, геополитический облик мира в доиндустриальную эпоху определяют ближневосточные страны «серпа плодородия» (Вавилон, Египет) и государства «великих степей» колосовых культур (Китай, Персия). В пору индустриализации геополитическое доминирование переходит к странам, не изобилующим ресурсами, но лидирующим в технологиях первой промышленной революции (Голландия, Англия). В сложном социальном пространстве современного мира за социально-политическими хронотопами и их ранжированием стоят не только и не столько природный и индустриально-производственный факторы, сколько:

- многообразие, динамизм и общий дизайн креативных идентичностей бытия;
- спектр форм потребления и горизонтов социального будущего в рамках того или иного социально-политического хронотопа;
- интеллектуальный уровень политической практики и мощь ее информационного обеспечения.

В этом контексте в измерениях социально-политического хронотопа квази-природные факторы (территория, обилие природных ресурсов, масштабы индустриального производства) отходят на второй план, переводя на вторые позиции рейтинги стран «больших ресурсов» (Индии, Бразилии), в то время как на первые позиции лидерства все чаще выходят «безресурсные» Япония, Гонконг, Южная Корея, Сингапур.

Отношение социального пространства и пространства политического имеет еще один аспект. В каждом локусе современного социального пространства «здесь и сейчас» (стране, регионе) сосуществуют в неких соотношениях, наслоениях и переплетениях все исторические парадигмы социального пространства (доиндустриальной, индустриальной, постиндустриальной). При этом трансформации социального пространства и сопряженных с ним политических пространств, как правило, носят «асинхронный», различающий-

ся по темпам и масштабам характер, порождая сложную и изменчивую архитектонику социального пространства.

Литература

- Бурдые П. 2007. *Социология социального пространства*. М.: Алетейя. 288 с.
- Давыдов А.П. 2010. Инверсия как культурное основание цикличности в развитии. — *Философские науки*. № 1. С. 25–29.
- Зиммель Г. 1996. *Философия культуры*. М.: Юрист. 671 с.
- Кастельс М. 2000. *Информационная эпоха. Экономика, общество, культура*. М., ГУ ВШЭ. 608 с.
- Киссель М.А. 1990. Вико Джамбаттиста. — *Современная западная социология (словарь)*. М.: Издательство политической литературы. С. 54–55.
- Парсонс Т. 2000. *Система современных обществ*. М.: Академический проект. 462 с.
- Риккерт Г. 1998. *Науки о природе и науки о культуре*. М.: Республика. 442 с.
- Семигин Г. Ю. 2001. Пространство политическое. — *Новая философская энциклопедия*. М.: Мысль. Т. 3. С. 374.
- Тхагапсоев Х.Г. 2015. Социальное пространство-время: проблема трансформации. — *Вопросы философии*. № 10. С. 202–211.
- Штомпка П. 2005. *Социология: анализ современного общества*. М.: Логос. 416 с.

Политическое пространство

И.А. Прохоренко

Ключевые слова: политическое пространство, социальное пространство, политическая реальность, поле политики, субъекты и акторы политического пространства, типы и уровни политического пространства, политическое сообщество, политическая идентичность, транснациональное политическое пространство, международно-политический регион, диаспоральные «миры», территория, геополитика.

Политическое пространство представляет собой интерсубъективную политическую реальность, а также мыслительную и аналитическую научную категорию, использование которой в политических исследованиях позволяет рассматривать политический процесс как разноуровневое многомерное явление, соответствующее сложности современного мироустройства, и выявить особенности, форму и структуру политических взаимосвязей, которые складываются, становятся прочными и в большинстве своем приобретают институциональную

форму в процессе политической коммуникации между различными субъектами и акторами по поводу власти. Представление о политической реальности как интерсубъективной не означает утрату ею объективности, а лишь указывает на ее особое качество, отличное от объективности физических объектов. Интерсубъективная политическая реальность формируется, функционирует и воссоздается при помощи когнитивных процессов, влияющих на мотивацию и поведение людей, «как комплекс совместно разделяемых представлений о правилах политических взаимодействий и смысловых значениях политических действий, о сложившемся институциональном порядке и желаемых состояниях властных отношений» [Пушкарева 2015: 58].

В концепции политического пространства нашли свое отражение, с одной стороны, философско-социологические идеи *социального пространства* [Бурдьё 1993, 2005, 2007; Зиммель 1996; Риккерт 1998; Гидденс 1999; Штомпка 1996; Парсонс 2001; Бек 2001; Кагельс 2000; Тхагапсоев 2015].

С другой стороны, пространственный подход активно используют и развивают сторонники транснационализма, нового направления в общественных науках, которое появилось в конце 1960 — начале 1970-х годов. Транснационализм исследует многочисленные и разнообразные социальные феномены, различные направления деятельности, транснациональные связи и взаимодействия различного свойства, акторами которых выступают не только и не столько государства, а негосударственные участники политики — транснациональные корпорации, международные организации, неправительственные национальные организации, средства массовой информации, транснациональные сообщества и так далее [см. напр.: Mahler 1998; Clavin 2005; Акопов 2013; Keohane and Nye 1971].

Иную последовательность рассуждений выстраивают сторонники геополитического подхода в исследовании мировой политики, говоря о международной среде, международном контексте и полях взаимодействия. Они используют термин «геополитическое пространство», а геополитику определяют как проблемную научную область, основной задачей которой выступают фиксация и прогноз пространственных границ силовых полей разного характера (военных, экономических, политических, цивилизационных, экологических) преимущественно на глобальном уровне [Колосов, Мироненко 2001: 18]. Отсюда становится понятной выдвинутая ими концепция территориально-политических систем (В.А. Колосов), а также геополитических пространств как силовых полей [Плешаков 1994].

Хотя новая категория появилась первоначально в западной, в первую очередь, европейской, научной мысли, именно российским политологам удалось добиться значительного продвижения в ее концептуализации. Среди них хотелось бы выделить Э.Я. Баталова, Н.А. Косолапова, Г.В. Пушкареву, И.В. Самаркину, М.В. Стрежневу. Особого внимания заслуживают коллективные монографии, подготовленные в ИМЭМО РАН, — «Транснациональное политическое пространство: новые реальности международного развития» 2010 г. [Транснациональное... 2010] и «Транснациональные политические простран-

ства: явление и практика» 2011 г. [Транснациональные... 2011], которые стали своего рода прорывом в методологии политического анализа и вызвали интерес в научном сообществе в стране и за рубежом.

По мнению российского политолога, специалиста по европейской интеграции М.В. Стрежневой, понятие политического пространства подразумевает рефлексивное, синтетическое описание политической организации и помогает выявить важнейшие связи между людьми и политическими институтами, установить сферу деятельности политического субъекта: «...В каждом реально существующем политическом пространстве где-то непременно содержится власть, которую оно ограничивает, формирует и локализует, — полагает М.В. Стрежнева. — Там же должны проходить публичное рассмотрение вопросы особой общественной значимости. Наконец, политическое пространство — это пространство политических смыслов, значений и пониманий, которые обычно представляют, отражают, но также и выстраивают общие цели протекающей в его рамках человеческой деятельности» [Стрежнева 2009: 38].

Политическое пространство является многомерной организующей конфигурацией политической жизни, формой политического взаимодействия, которая выражает определенные устойчивые отношения между людьми и политическими институтами, индивидуальными и коллективными субъектами и акторами в процессе приобретения, организации и осуществления власти и управления в ходе политической коммуникации. Институциональная опора политического пространства дополняется опорой символической — это может быть пространство бытования и конкуренции политических символов, идеологий, политических и /или ценностных предпочтений, а также идентичности [Прохоренко 2016: 4–5].

Исходя из антропоцентричной парадигмы общественных наук, пространство создается вокруг человека, и именно индивид организует это пространство, выбирая в качестве точки отсчета себя, выстраивая пространство как многомерную систему координат. Коллективным субъектом политического пространства становится формируемая стихийно или в результате целенаправленной деятельности социальная группа (структура, организация), обладающая коллективной идентичностью и выступающая как некое политическое сообщество, осознающее свои организационное единство и общность, а также собственную самобытность и отличие от других.

Конфигурация современных политических пространств как сферы коммуникации разнообразных акторов в политическом процессе подвижна и изменчива. Принципом возможной типологизации политических пространств, которые взаимодействуют, пересекаются между собой, вбирают одно в другое, накладываются друг на друга, является политическая субъектность действующих в них акторов. Среди этих акторов — индивиды, различные политические сообщества, власти различных уровней, государственные и негосударственные акторы. Однако в конкретном политическом пространстве и в конкретном временном измерении они могут являться, а могут и не быть именно субъектами того или иного политического пространства. Именно поэтому исследователю политического пространства важно не просто увидеть, распознать его

индивидуальных и коллективных акторов, а проанализировать, как эти акторы взаимодействуют между собой, понять, кто из них является субъектом пространства, выстроить иерархию этих субъектов. Оценка степени субъектности действующих в политическом пространстве акторов позволяет классифицировать эти политические пространства, обнаружить и осмыслить их динамику и происходящие в них изменения, представить и обосновать возможные сценарии их будущего развития.

В ходе формирования политических пространств складываются политические сообщества. В том числе такими наиболее стабильными во времени политическими сообществами могут быть коллективные субъекты различного территориального уровня (в первую очередь, локального, регионального и национального). Эти сообщества имеют базовые ориентиры и установки, сходные интересы, придерживаются сложившихся или установленных правил и норм и формируют коллективную (общую) политическую идентичность, соотнося себя с другими субъектами политики и противопоставляя себя им.

Идентичность, множественная и разноуровневая по своей природе, выступает, с одной стороны, ключевым параметром, а с другой, — фактором, а порой и инструментом и даже стратегией формирования разноуровневых политических пространств (локальных, региональных, национальных, макрорегиональных и глобального). В процессе конфигурации политических пространств утверждаются общие ценности, или, напротив, под влиянием расхождения ценностей эти политические пространства могут подвергаться эрозии и распадаться. Вопрос заключается в том, являются ли базовые ценности основой и обязательным условием формирования политического пространства, или формирование ценностей предстает, скорее, как некий ориентир, о стремлении к которому заявляют в декларативной форме, и в этом смысле ценностный компонент является важным элементом динамики политического пространства. Ответ на этот вопрос обусловлен той или иной конкретной конфигурацией политического пространства, приоритетами и интересами взаимодействующих в нем политических акторов и определяет прочность его политико-институциональных оснований.

Возникая в поле политики как особой сфере коммуникации индивидов и коллективных участников политического процесса, политическое пространство не тождественно ему. Выделяет политическое пространство его относительная устойчивость во времени, основанная на довольно прочных взаимодействиях различных политических акторов. Этот признак отличает, помимо прочего, пространство политическое от пространства социального, которое, будучи родовой категорией, более изменчиво и нестабильно. Напротив, сами специфические политические отношения подразумевают регулярные и относительно постоянные взаимосвязи и не могут быть единичными случайными контактами. Именно поэтому взаимодействующие стороны такого рода отношений никак нельзя называть участниками или простыми действующими лицами.

Существующий плюрализм интерпретаций политического пространства объясняется как различиями в теоретико-методологических подходах исследователей (системный, или системно-исторический, подход, транснационализм, (нео)институционализм, конструктивизм, коммуникативный подход, организационная теория и т.д.), так и многообразием объектов исследования, фокусом, узким предметным полем исследовательского внимания, характером и задачами исследования. Главной линией разграничения здесь выступают различия в оценке природы пространства в общефилософском плане, с точки зрения онтологии и гносеологии: одни считают его объективным [Косолапов 2011а], другие — субъективным [Ашкеров 2001; Самаркина 2013], наконец, для третьих политическое пространство носит интерсубъективный характер [Прохоренко 2012; Пушкарева 2012], а также мнение о наличии (полном или частичном) связи пространства с территорией или об отсутствии таковой. Именно этот выбор требует своего разъяснения в случае использования политического пространства как аналитической категории.

Топология политического пространства не имеет географической основы, хотя способ представления политики через привязку ее элементов к территории может являться одним из значимых его параметров. В каждом конкретном случае политическое пространство может быть и одномерным, но чаще — многомерным с любым числом измерений, поскольку используется для описания дистанций, различений и взаимосвязей при исследовании многообразных явлений политической жизни и разноуровневого политического процесса.

Несомненна роль идентичности как ключевого параметра и фактора формирования политического пространства. Исходя из признания множественной и разноуровневой природы идентичности, в самом общем виде можно выделить несколько уровней пространства — субнациональный (локальный и региональный), национальный, транснациональный, наднациональный, глобальный. Идентичность с прилагательными — национальная, гражданская, политическая — воспринимается как осевая скрепа жизнеспособного политического сообщества.

С другой стороны, нельзя не признать и наличие обратной связи — политическое пространство оказывается одним из факторов, которые видоизменяют существующие идентичности и способствуют формированию новых. Ключевым остается вопрос о том, что первично — идентичность, которая является предпосылкой и основанием возникновения политического пространства, или политическое пространство, формирование и институализация которого создает условия для зарождения новой коллективной идентичности.

Критерий пространственной насыщенности отношений внутри территории и в ее внешних связях, а также институционализация этих отношений подводят к определению транснационального политического пространства как сложившейся формы (модели) устойчивых транснациональных связей, в рамках которой негосударственные акторы взаимодействуют поверх национальных границ; на основе общих интересов и ценностей упорядочивается совокупность принципов, норм и правил, направляющих поведение участников

политического процесса. Последнее открывает перспективы создания общих политических институтов и формирования системы многоуровневого управления, предполагающей в том или ином виде наднациональное регулирование.

Структурирование транснационального политического пространства по горизонтали подразумевает не только его территориальное расширение, но и регулярный повседневный характер горизонтальных транснациональных связей, а также управление по типу горизонтальных (или иной геометрии) неиерархичных политических сетей. Качественными характеристиками транснационального политического пространства, таким образом, являются регулярность, плотность и степень однородности взаимосвязей между действующими в нем акторами. Одной из форм такого пространства является международный регион [Косолапов 2011]. Общий язык может являться фактором, который содействует складыванию прочных транснациональных пространственных связей, хотя более важным представляется вопрос о необходимости выбора языка межнационального общения.

Формами транснационального пространства выступают, к примеру, европейское, трансатлантическое и постсоветское пространства, а также ибероамериканское сообщество наций, глобальное сообщество франкоговорящих государств и народов, сообщество португалоязычных стран, в которых особую роль играют транснациональные диаспоры — диаспоральные «миры», опирающиеся на общую культурную память их «граждан». Роль скрепы таких «миров» играет воспроизводство элементов имперской и постимперской идентичности.

Будучи частью глобального мира, транснациональные политические пространства в то же время отличаются известной самодостаточностью, независимостью в своем функционировании, в некоторых случаях — стремлением к расширению и так называемой экстернализации, а иногда и тенденцией к определенной закрытости (в большей степени это относится к международному региону, достаточно вспомнить здесь пример Европейского союза с его контролем над своими внешними границами).

Такие пространства обозначают не только явление, но и процесс, в том числе регионализации и транснациональной социализации — становления новых форм трансграничного и транснационального сотрудничества (наиболее показателен здесь пример еврорегионов в Евросоюзе), формирования нового типа политического сообщества, а значит, и новой макрорегиональной политической идентичности (европейской, ибероамериканской, панамериканской, панарабской и т.д.), новых форм гибридных идентичностей в условиях глобализации, транснационализации и модернизации незападных стран.

В современной международной системе появляются и новые политические пространства, связанные с «общими пространствами» человечества. К ним относятся океаническое, воздушное, космическое, приполярное, а также информационное пространства, и понимание этих пространств наполнено современным смыслом и фактически вышло за пределы территориальной геополитики

прошлого. Эти пространства считаются «неразделенными», однако стремление к межправительственному сотрудничеству в рамках того или иного пространства не исключает соперничества и растущей конкуренции между государствами, в ходе которых возникают новые формы межгосударственных и транснациональных конфликтов.

Потенциал использования категории политического пространства еще предстоит раскрыть путем системных исследований происходящих общественных трансформаций. В становлении пространственно-организационного подхода сделаны первые шаги, которые позволяют надеяться на то, что аналитический инструментарий политической науки будет соответствовать потребности в осмыслении динамики стремительных и глубинных изменений современного миропорядка и помогут ответить на те вызовы, с которыми человек оказался сегодня лицом к лицу.

Литература

- Акопов С.В. 2013. *Развитие идеи транснационализма в российской политической философии XX века*. СПб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС. 262 с.
- Ашкерев А.Ю. 2001. Политическое пространство и политическое время Античности. — *Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки*. № 2. С. 27–42.
- Бек У. 2001. *Что такое глобализация?* М.: Прогресс-Традиция. 304 с.
- Бурдые П. 1993. *Социология политики*. М.: Socio-Logos. 336 с.
- Бурдые П. 2005. *Социальное пространство: поля и практики*. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетей. 576 с.
- Бурдые П. 2007. *Социология социального пространства*. М.: Институт экспериментальной социологии; Санкт-Петербург: Алетей. 288 с.
- Гидденс Э. 1999. *Социология*. М.: Эдиториал УРСС. 703 с.
- Зиммель Г. 1996. *Философия культуры*. М.: Юрист. 671 с.
- Кастельс М. 2000. *Информационная эпоха: экономика, политика, культура*. М.: ГУ ВШЭ. 608 с.
- Колосов В.А., Мироненко Н.С. 2001. *Геополитика и политическая география: учебник для вузов*. М.: Аспект Пресс. 479 с.
- Косолапов Н.А. 2011. Международный регион и его политическое наполнение. — *Транснациональные политические пространства: явление и практика (отв. ред. М.В. Стрежнева)*. М.: Весь Мир. С. 34–50.
- Косолапов Н.А. 2011. От территории к пространствам: политико-исторический экскурс. — *Транснациональные политические пространства: явление и практика (отв. ред. М.В. Стрежнева)*. М.: Весь Мир. С. 15–33.
- Парсонс Т. 1998. *Система современных обществ*. М.: Аспект Пресс. 270 с.
- Плешаков К.В. 1994. Геоидеологическая парадигма. Взаимодействие геополитики и идеологии на примере отношений между СССР, США и КНР в континентальной Восточной Азии. 1949–1991 гг. — *Научные доклады*. № 21. М.: Российский научный фонд. 108 с.
- Прохоренко И.Л. 2012. О методологических проблемах современных политических пространств. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 68–80.
- Прохоренко И.Л. 2016. *Испания в Европейском союзе: взаимовлияние национального и транснационального политических пространств. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук*. М.: ИМЭМО РАН. 50 с.

- Пушкарева Г.В. 2015. Когнитивные механизмы конструирования политической реальности. — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 55–70.
- Пушкарева Г.В. 2012. Политическое пространство: проблемы концептуализации. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 166–176.
- Риккерт Г. 1998. *Науки о природе и науки о культуре*. М.: Республика. 213 с.
- Самаркина И.В. 2013. *Политическая картина мира как компонент субъективного пространства политики: теоретико-методологические аспекты*. Краснодар: Кубанский государственный университет. 320 с.
- Стрежнева М.В. 2009. Структурирование политического пространства в Европейском союзе. (Многоуровневое управление). — *Мировая экономика и международные отношения*. № 12. С. 38–49.
- Транснациональное политическое пространство: новые реальности международного развития (отв. ред. М.В. Стрежнева). 2010. М.: ИМЭМО РАН. 266 с.
- Транснациональные политические пространства: явление и практика (отв. ред. М.В. Стрежнева). 2011. М.: Весь Мир. 376 с.
- Тхагапсоев Х.Г. 2015. Интерпретация социального пространства и времени в контексте цивилизационных процессов. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 173–180.
- Штомпка П. 1996. *Социология социальных изменений*. М.: Аспект Пресс. 416 с.
- Mahler S.J. 1998. Theoretical and empirical contribution toward a research agenda for transnationalism. — *Transnationalism from below*. Eds. L.E. Guarnizo and M.P. Smith. New Brunswick, NJ (USA): Transaction Publishers. P. 64–100.
- Clavin P. Defining Transnationalism. — *Contemporary European History*. 2005. Vol. 14. No 4. P. 421–439.
- Transnational Relations and World Politics* (ed. by R.O. Keohane and J.S. Nye., Jr.). 1971. Cambridge, MA (USA): Harvard University Press. 428 p.

Территориальная идентичность

И.Л. Прохоренко

Ключевые слова: территориальная идентичность, территория, политическое пространство, территориально-пространственная идентичность, этнотерриториальная идентичность, национальное государство, территориальное политическое сообщество, локальная идентичность, региональная идентичность, политика идентичности, образ территории, вернакулярный район.

Т*ерриториальная идентичность* — комплекс представлений о принадлежности и привязанности к конкретному территориальному сообществу, об общих интересах, возникающих в связи с местом проживания, особой связи с территорией, которая имеет (а может и не имеет) административных границы, и с функционирующими в пределах данной территории политическими институтами. Территориальная идентичность опирается на культурную память и повседневные связи

в прошлом, настоящем и будущем именно между людьми, проживающими на этой территории и воспринимающими образ территории как референтную систему ориентиров для выстраивания своих жизненных стратегий.

Вне зависимости от того, говорим ли мы о политической или в более широком смысле — о социальной территориальной идентичности, справедливо трактовать территориальную идентичность как территориально-пространственную, делая акцент именно на местоположении, дистанциях и связях индивидов и коллективных акторов социального пространства и поля политики, возникающих в связи с территорией (местом) проживания. Ведь, как отмечала российский этнолог Е.И. Филишова, «на коллективном уровне возникает понятие *территориальность*, определяемое как система отношений, которое выстраивает социум с территорией: сложное переплетение индивидуальных жизненных пространств, территорий жизнедеятельности — и политико-административных территорий, границы которых всегда условны и часто изменчивы» [Филишова 2010: 61].

Территориальная идентичность структурируется на индивидуальном уровне, но утверждается через социальную, в том числе политическую, деятельность как коллективная идентичность: индивид и/или группы людей, стремящихся сформировать или сохранить (укрепить) свою идентичность применительно к территории, на которой они проживают, образуют территориальное (местное) политическое сообщество с особой моделью политических связей и взаимодействий.

Будучи «зонтичной» аналитической категорией, территориальная идентичность вбирает локальный и региональный уровни идентичности. На локальном уровне это понятие может применяться в отношении как хорошо знающих друг друга соседей по дому, жителей одной улицы, квартала или района города, так и населения мегаполиса с пригородами или даже провинции (как в случае с Испанией). Региональная идентичность соотносится с субъектами федерации (конфедерации) или территориальными единицами в децентрализованном унитарном государстве, которые обладают не только административными, но и некоторыми законодательными полномочиями.

Процессы создания, централизации и унификации национального государства оказались не в силах нивелировать территориальные идентичности. Эти идентичности не были утрачены в процессе нациестроительства, они пережили определенный кризис, но сумели трансформироваться в пространстве и времени и продолжают поддерживать разнообразие в единстве в рамках национального государства. Порой для жителей современных национальных государств подвижная иерархия конкурирующих между собой идентичностей складывается в пользу именно территориальной, иногда с тем или иным нюансом (например, этнотерриториальной идентичности, которая предполагает в том числе наличие влиятельного этнического компонента). Одновременно представления о территориальной идентичности участвуют в сложном, нелинейном и фактически каждодневном непрерывном процессе формировании

связи гражданина со своей нацией (государством) и конструирования идентичности национальной.

Один из крупнейших историков XX столетия Фернан Бродель (1902–1985) справедливо и образно утверждал, что имя его родной Франции — разнообразие, как, впрочем, по его признанию, также Англии и Германии, Италии и Испании: «Франция — это и множественное число, и единственное; ей присуща и тяга к разнообразию, живучая, как репейник, и тяга к единству, являющаяся разом и стихийным порывом, и результатом сознательного напряжения воли; так было испокон веков, так, вероятно, будет вечно. Больше, чем любая другая страна, Франция разрывается между этими двумя полюсами, и большинство ее пружин натянуты до отказа именно из-за этого внутреннего противоречия» [Бродель 1994: 102].

С. Роккан и Д. Урвин проводят различие в историческом плане между двумя главными источниками территориальных напряжений в государстве: культурной (лингвистической, конфессиональной, «этнической») дистанцией между центром и «менее привилегированными» перифериями и экономическими конфликтами между региональными центрами, соревнующимися за контроль над торговыми и промышленными ресурсами [Rokkan and Urwin 1982: 1–17].

В свою очередь, формирующаяся в рамках региональных интеграционных объединений макрорегиональная политическая идентичность является идентичностью не территориальной, а исключительно пространственной, поскольку она выражает не столько территориальное расширение, сколько появление устойчивых связей различного характера поверх национальных границ, которые требуют регулирования на транс- и наднациональном уровнях. При этом подразумевается существование как институциональной, так и символической (общие ценностные ориентации и предпочтения, смыслы, понимания и символы, общие историческая память и культурный ландшафт) опоры таких связей.

Термин «территориально-пространственная идентичность» дает возможность трактовать территориальную идентичность более широко. Предполагается, что человек живет одновременно на территории и в пространстве. Для последнего способ представления политики через привязку ее элементов к территории может являться одним из значимых, но не доминирующих, а тем более обязательных его параметров.

Трактовку региона в категориях пространства использует в своих работах и Майкл Китинг, для которого понятие региона представляет собой соединение различных концепций пространства. По мнению ученого, рассуждая о регионе в новых условиях европейской интеграции и считая регион продуктом изменений в структурах общественной жизни, в природе государства, перемен в рыночной конъюнктуре и международном контексте, мы можем подразумевать под этим понятием территориальное, функциональное и политическое пространство [Keating 1998: 12, 18–24].

Эволюция понятия «территория» и дальнейшее развитие категориального аппарата политической науки заставили многих исследователей territori-

альной идентичности использовать уточняющие определения этого термина. Так, *этнотерриториальная идентичность* позволяет более точно описать одну из форм самоидентификации с территорией, когда важно подчеркнуть присутствие этнического компонента в территориальном сообществе. Данный термин оказывается полезным *при описании идентичности территориальных сообществ, веками проживающих на территории, которая не очерчена административными границами или разделена границами нескольких государств* (например, применительно к идентичности курдов или саамов).

Восприятие человеком и / или социальной группой своей территориальной идентичности менялось в различные исторические эпохи. В ранние периоды истории человечества такая идентичность основывалась на вере в то, что людей, проживающих на одной территории, соединяют естественные природные связи. Вплоть до конца Средневековья ощущение многоуровневой связи с территорией практически отсутствовало у большинства населения. Главным и зачастую единственным социумом для жителя средневековой Европы, например, являлось место его рождения и жизни, а также приход: территориальное сообщество освящалось покровительством особо почитаемого местного святого. Это было для него важнее границ провинций или королевств. Территориальная идентичность определялась местом рождения, фактически оставалась неизменной на протяжении всей жизни человека и практически не допускала включения «чужих» в территориальное сообщество. В индустриальную эпоху жесткие связи с территорией начинают размываться, но место происхождения может активно использоваться как ресурс выстраивания жизненных стратегий в новом окружении, куда человек перемещается в поисках работы (диаспоры, землячества). Беспрецедентный рост мобильности человека постиндустриальной эпохи сопровождается упрочением внутритерриториальных связей в сетевом пространстве. В результате значимость территории в системе самоидентификации индивида падает: крайним выражением этой тенденции потери связей с территорией («детерриториализации») стал феномен номадизма.

Становление глобальной экономики предоставило внутригосударственным территориальным сообществам, в первую очередь, регионам и мегаполисам, концентрирующим на своей территории экономические ресурсы (трудовые, ресурсы знаний, предпринимательские, ресурсы капитала, природные), возможность активного участия в процессах международной торговли, движения капитала, трудовой миграции, мобильности научных кадров, создании инновационной среды, деятельности транснациональных корпораций (ТНК), организации взаимодействия ТНК с малым и средним бизнесом. Внутренняя трудовая миграция позволяет жителю современного государства вынужденно или осознанно менять свою территориальную идентичность, оставляя привычное место жительства и интегрируясь в принимающее территориальное сообщество. В новых условиях территориальная идентичность окончательно теряет свой прежний эксклюзивный характер, становясь все более инклюзивной, в том числе и за счет внешних миграционных потоков.

Работающие в поле экономической, социальной и культурной географии и смежных областях исследователи отмечают наличие особых вернакулярных районов (или регионов) [Павлюк 2009; Трофимов и др. 2008], имеющих ключевое значение для формирования общих ориентиров территориальной идентичности. Вернакулярный район — это «тип географического района, бытующий в обыденном сознании общества или его части в виде образа определенной территории, обладающей названием и специфическими качествами» [Смирнягин 2013: 35]. Территориальные границы такого района в большинстве случаев не совпадают с административными: вернакулярные районы, в отличие от формальных (административных) или функциональных (социально-экономических) районов или регионов, складываются стихийно на разных уровнях пространственной самоорганизации социума под влиянием глубинных социокультурных процессов. Они существуют как малые «воображаемые сообщества» внутри страны, в городах или городских кварталах (как северорусское Поморье, белорусское Полесье или московское Замоскворечье, нью-йоркский Гарлем). Признание социальной и культурной значимости такой территории «своими» (жителями района) и «другими» задает устойчивые ориентиры территориальной идентичности.

Формировать, укреплять или видоизменять *территориальную идентичность* может политика, которую проводят государство и внутригосударственные (субнациональные) территориальные сообщества. Государство под территориальной политикой понимает налаживание взаимодействия с местными и региональными властями по вопросам управления, бюджетного финансирования, организации хозяйственной деятельности, образовательного процесса, социальной политики и т.д. Целью государства при этом является устранение региональных структурных диспропорций, выравнивание уровня жизни населения на всей территории страны, недопущение усиления партикуляристских тенденций, в конечном счете — укрепление чувства национальной политической идентичности, культурная стандартизация.

Одновременно на динамику идентичности в ее связи с территорией оказывают влияние идея и практика децентрализации, передачи управленческих функций с государственного на региональный и местные уровни. Имеют место негативная реакция на нивелирующие тенденции, боязнь на эмоциональном уровне потерять свою самобытность. В итоге территориальное сообщество превращается в политический субъект, а общие ценностные ориентации, символы и смыслы все более приобретают политический характер. Создаются условия для «политизации периферии» (неологизм С. Роккана и Д. Урвина) формирования региональных партийно-политических систем, в рамках которых происходят артикуляция и агрегирование региональных интересов. Наблюдаются конкуренция и даже конфликт не только между идентичностями различного уровня, но и между различными территориальными идентичностями в государстве.

Со своей стороны, территориальные сообщества в целом заинтересованы в своей автономии от центра — административной, финансовой, культурной.

Местные и региональные власти, политические партии и общественно-политические движения, другие политические акторы на местах играют главную роль в становлении и развитии территориальной идентичности. Добиваясь решения поставленных задач в отношениях с центром, региональные (в меньшей степени местные) власти и политические объединения зачастую облачают свои требования в этнические термины, считая подобный выбор политической стратегии наиболее успешным в современных условиях и наполняя территориальные идентичности новым содержанием, видоизменяя ее.

Территория становится, таким образом, субъектом политики идентичности. Здесь «открываются новые пространства сопротивления, в которых наше “место” (во всех его смыслах) обретает ключевое значение для нашего будущего, нашего положения в мире, и для реализации нашего права и наших возможностей бросить вызов господствующим дискурсам власти» [Place and the Politics of Identity... 1993: 6].

К примеру, после краха франкизма Испания отказалась от централизованного унитарного государства в пользу децентрализованного государства автономий. Было образовано 17 автономных сообществ в соответствии с прежним делением на провинции и исторические области, а не по этническому принципу. В то же время созданные на региональном уровне новые политические институты, региональные политические элиты и бюрократия превращаются в своеобразный стимул формирования региональной идентичности с определенным этническим подтекстом, чему способствовала и формула Конституции 1978 года «национальности и регионы». Усилия элит по конструированию коллективной идентичности в установленных границах регионов проявляются в поддержке региональных политических партий, процессов культурной дивергенции региона в общем политическом пространстве государства, фактически ставящих своей конечной целью политическую дифференциацию. Передовым в социально-экономическом отношении регионам не чужды и идеи фискального национализма. Децентрализация государства сопровождалась чрезвычайным интересом к проблематике региональной идентичности. При этом подавляющее большинство многочисленных работ представляли собой не научные исследования в строгом смысле, а были написаны в жанре публицистики или эссе, зачастую опережая научные фундаментальные изыскания по истории и экономике того или иного автономного сообщества.

Следует отметить, что наличие административно-территориальных границ не предполагает обязательного существования особой идентичности в связи с территорией. При этом особенностью конструирования территориальной идентичности является то, что она соприкасается с другими идентичностями, накладывается на них, нередко вбирая их в себя.

Литература

- Бродель Ф. 1994. *Что такое Франция?* Книга 1. Пространство и история. М.: Издательство имени Сабашниковых. 405 с.
- Замятин Д.Н., Замятина Н.Ю., Митин И.И. 2008. *Моделирование образов историко-культурной территории: Методологические и теоретические подходы*. М.: Институт наследия. 760 с.
- Павлюк С.Г. Ключевые вопросы изучения вернакулярных районов. — *Вопросы экономической и социальной географии зарубежных стран*. Вып. 18. М.–Смоленск: Ойкумена. С. 46–56.
- Прохоренко И.А. 2010. *Территориальные сообщества в политическом пространстве современной Испании*. М.: ИМЭМО РАН. 100 с.
- Смирнягин Л.В. 2013. Вернакулярный район. — *Социально-экономическая география. Понятия и термины*. Словарь-справочник. Отв. ред. А.П. Горкин. Смоленск: Ойкумена. С. 35–36.
- Трофимов А.М., Шарьгин М.Д., Измагилов Н.Н. 2008. Территориальная идентификация в географии и вернакулярные районы. — *Географический вестник*. № 1. С. 5–12.
- Филиппова Е.И. 2010. *Территории идентичности в современной Франции*. М.: ФГНУ «Росинформатех». 300 с.
- Bartolini S. 2005. *Restructuring Europe: centre formation, system building and political structuring between the nation-state and the European Union*. Oxford, UK: Oxford University Press. 415 p.
- Hale R.N. 1971. *Map of Vernacular regions in America*. Minneapolis, MN, USA: University of Minnesota Press. 60 p.
- Keating M. 1998. Is there a regional level of government in Europe? — Le Galés P. and Lequesne C. (eds.). 1998. *Regions in Europe*. L., N.Y.: Routledge. P. 11–29.
- Keating M. 2001. *Plurinational democracy. Stateless nations in a post-sovereignty era*. Oxford, UK: Oxford University Press. 197 p.
- Marks G. 1999. Territorial Identities in the European Union. — Anderson J. (ed.). *Regional Integration and Democracy*. N.Y.: Rowman & Littlefield. P. 69–91.
- Place and the Politics of Identity* (ed. by M. Keith and S. Pile). 1993. N.Y.: Routledge Press. 235 p.
- Rokkan S., Urwin D. 1982. *The Politics of Territorial Identity: studies in European regionalism*. L.: Sage. 438 p.
- The Geography of Identity* (ed. by P. Yaeger). 1996. Ann Arbor, MI, USA: University of Michigan Press. 481 p.

Региональная идентичность

М.В. Назукина

Ключевые слова: региональная идентичность, территориальная идентичность, регион, регионализация, федерализм, ментальность, картина мира, конструктивизм, имидж региона, территориальный маркетинг, брендинг, политика идентичности.

Утверждение региональной идентичности как категории политической науки связано с процессами регионализации политического пространства. Будучи одним из уровней территориально-пространственной идентификации, *региональная идентичность фиксирует принадлежность сообщества к конкретному географическому пространству и оформляет его границы*. Региональная идентичность обычно определяется как укорененность в системе самоидентификации человека особенностей и смыслов, на которых строится осознание своей принадлежности к территории. С одной стороны, речь идет о принадлежности к группе (региональному сообществу), которое выстраивается на общих социокультурных основаниях, с другой — региональная идентичность фиксирует соотнесенность с пространством («землей») как значимой при определении «кто есть мы». В политической науке региональная идентичность изучается в пределах институционально оформленных границ — в масштабе административного субъекта государства или наднационального объединения (Европейский союз). В этом смысле политический регион рассматривается как «социально-территориальная и / или культурно-историческая общность, обладающая политической субъектностью» [Полосин 2010: 173]. Федерализм как форма государственного устройства закрепляет формирование региональных идентичностей.

На определении региональной идентичности сказываются различные подходы к пониманию региона. Наиболее распространена его интерпретация региона как единицы (субъекта) территориальной структуры национального государства, часть сетки административно-территориального деления, находящегося между собственно государством и местным уровнем. С другой стороны, возникающие наднациональные образования (в частности, Евросоюз) и межрегиональные территориальные сообщества внутри государства называют макрорегионами (уральский, дальневосточный в России и пр.). Регион в данном смысле понимается как территориальное пространство, отделяемое от прочих сложившимися границами, системами коммуникаций между людьми и общей для них культурной памятью и «картиной мира». История освоения территории, общая модель хозяйственной деятельности и уклад повседневной жизни поддерживают представления об общем пространстве поверх административных границ и на этой основе — устойчивую региональную идентичность (Русского Севера, горнозаводского Урала, Центральной России и др.).

Утверждение в политическом анализе категории пространства расширяет ракурс исследований: он распространяется на регионы как «воображаемые сообщества», опирающиеся на общие цивилизационные основания (Европа, Латинская Америка и др.).

Феномен территориальной идентичности и ее уровней (разновидностей) — от глобального до локального — позволяет осмыслить динамику *национальной идентичности*, что связано с проблемами изучения наций и процессов формирования национальных государств в условиях глобализации и оформления

транснациональных политических пространств. Исследование собственно *региональной идентичности* как разновидности территориальной идентичности осуществляется в различных дисциплинарных областях: в теоретической (Б.Б. Родоман, В.Л. Каганский), политической и гуманитарной географии (Л.В. Смирнягин, М.П. Крылов, Д.Н. Замятин, Н.Ю. Замятина, С.Г. Павлюк, А.А. Гриценко), в социологии (П. Бурдые) и политической науке, в первую очередь, в политической регионалистике (С. Роккан, М. Китинг, А. Пааси, И.М. Бусыгина, Р.Ф. Туровский, Н.В. Петров, А.С. Макарычев, О.Б. Подвинцев, М.В. Назукина и др.) и на разных методологических основаниях. Такая разноплановость обусловлена многозначностью базовых понятий, на основе которых концептуализируется *региональная идентичность*, таких, как *политическое пространство, идентичность, сообщество, регион*.

Региональная идентичность — комплекс символических и идейных установок и смыслов, связанный с процессом интерпретации регионального своеобразия, через который уникальность региона приобретает осязаемые черты в образах, символах и мифах, разделяемых членами регионального сообщества. Этот процесс поддерживается нарративами, значимыми в рамках данной территории и маркирующими ее границы.

Одни исследователи исходят из значимости ценностно-эмоциональной компоненты, оформляющей особенности регионального *сообщества*. Региональная идентичность с этих позиций — это не просто отождествление себя с населением региона и его территорией, но определенный культурно-исторический феномен, самоидентификация с общностью, которая в период своего формирования приобрела ряд особенностей. За основу идентификации здесь берется территориально-географический, или земляческий, фактор, т.е. «чувство» общности, которое порождено совместным проживанием людей на территории, размеченной административными или / и объединенной социокультурными (конфессиональными, лингвистическими) границами. С точки зрения такого подхода в основании идентификации лежат объективные предпосылки. Речь идет, прежде всего, о факторах, связанных со спецификой географического и социально-культурного пространства, в рамках которого протекает жизнь сообщества. В число таких факторов обычно попадают историко-культурные, естественно-географические (ландшафтные, природно-климатические, экономические и пр.), геополитические и др. История пространства становится главным аргументом в объяснении особенности коллективных ценностей и типов поведения. Исторический контекст позволяет авторам также выделять и классифицировать общности в регионы, объединяя их по схожести объективных обстоятельств (Сибирь и т.д.), а складывающиеся с течением времени особенности представляются в виде архетипов, которые регулируют поведение индивида и помогают ему совершать коллективные действия. Идентичность здесь описывается через набор наиболее важных исторических, языковых, территориальных, этнических и других особенностей общности, что приводит к постановке в центр проблемы таких понятий, как «культурная самобытность», «менталитет», «региональный характер»,

«групповая душа», «традиция» и «миф». В результате появляется некий собирательный образ регионального сообщества, представляющий собой сумму совокупностей нравственных, культурных, политических и иных представлений и качеств, свойственных определенному обществу и закрепленных в его традициях, нормах, стереотипах.

На уровне индивида региональная идентичность связана с «местным патриотизмом» и локальной идентичностью. Так, известный российский географ М.П. Крылов раскрывает понятие региональной идентичности через категорию местного самосознания и определяет его как «системную совокупность культурных отношений, связанных с понятием «малая родина», как «волю к жизни и развитию на данной территории» («а не стратегии Обломова»), как «способность к социокультурной, гражданской и экономической активности». Иными словами, региональная идентичность не просто территориальное отождествление себя с населением региона, это культурно-исторический феномен, объективно существующая глубинная черта «ментальности, мировосприятия и мировоззрения» [Крылов 2010: 13, 20, 18]. Эти выводы опираются на данные масштабных полевых исследований: так, на основе массового опроса 3050 респондентов в 23 городах четырех областей Европейской России ученый выявил существование здесь развитых региональных идентичностей, которые, «по сути, являются одной из форм патриотизма» и свидетельствуют о «существенной значимости малой родины для характеристики культурного ядра российского социума», «о способности российских социальных структур к саморегуляции и воспроизводству в рамках гражданского общества» [Крылов 2009: 275].

Другое направление исследования феномена связано с анализом практик по изобретению, конструированию и продвижению значимых для самоидентификации смыслов в пространстве региона. Процесс возникновения и развития региональной идентичности рассматривается в нем как результат деятельности политических акторов, которые пытаются использовать эти явления в своих интересах. Эти интересы могут быть обращены как вовнутрь региона (например, по отношению к избирателям), так и вовне его (федеральному Центру, экономическим акторам, зарубежным и международным организациям) с целью привлечения в регион ресурсов извне (от привлечения инвестиций до получения налоговых льгот или поддержки на выборах со стороны влиятельных общероссийских акторов). [Гельман и Попова 2003: 187–188].

Исследования в рамках данного направления носят преимущественно прикладной характер и представляют собой рекомендации по проведению политики идентичности, конструированию имиджа региона и созданию регионального бренда. Региональная идентичность здесь определяется как процесс интерпретации регионального своеобразия, через который региональная уникальность приобретает институционализированные черты в определенных символах и мифах сообщества. Этот процесс обусловлен и поддерживается дискурсивными практиками и ритуалами и состоит из производства территориальных границ, системы символов и институтов [Paasi 2003: 478].

При таком подходе идентичность рассматривается как конструкт, и основной акцент делается на рассмотрение дискурсивных и социальных практик, которые определяют и конструируют территориальные различия.

Пьер Бурдьё, к примеру, определяет региональную идентичность как свойство группы, связанное с ее происхождением, определяемым через географическую привязку к местности, а также с помощью такого маркера, как язык. По его мнению, борьба за региональную идентичность являются частным случаем различных конфликтов по поводу классификаций или различий, борьбы за монополию на власть, с помощью которых «можно заставлять людей видеть и верить, узнавать, с помощью которого можно навязать легитимное определение деления социального мира, и, таким образом, создавать и ликвидировать группы» [Бурдьё 2005: 49].

В самом общем виде региональную идентичность можно концептуализировать и как объективированные выражения региональной уникальности, такие, например, как историко-культурный контекст, на основе которого «вырастает» самосознание жителей, и (в рамках конструктивистской парадигмы) как механизмы использования этих особенностей через политику по их конструированию. Первый — культурный уровень, или те характеристики региональной уникальности, которые можно описать формулой: «о чем жители региона думают как о чем-то общем» (ментальность и картина мира, сложившиеся в рамках региона нарративы, мифологемы, обычаи, диалекты, общие повседневные практики). Второй уровень — стратегический — связан с сознательным изобретением и использованием региональной уникальности в целях реализации политических интересов (символическая политика, «изобретение традиций», политика идентичности региональных элит, позиционирование территории во внешнем пространстве и т.д.). Основу конструирования региональной идентичности составляют не только представления ее носителей об уникальности территории, но также образы и стереотипы, определяющие отношение к региону и восприятие его извне: внешний уровень или представления о регионе, сформированные «внешними наблюдателями», и результаты рефлексии регионального сообщества по отношению к этим образам.

Исследователи по-разному определяют структурные компоненты региональной идентичности. Так, в зависимости от степени осознанного восприятия региональных особенностей как значимых характеристик самоидентификации известный исследователь проблемы европейского регионализма М. Китинг считает, что в ней содержатся три пласта. Первый — когнитивный — связан с процессом осознания существования региона, его географических пределов, сравнения своего региона с другими регионами, нахождения ключевых характеристик региональной особенности (например, через язык, кухню, историю и др.). Второй — эмоциональный — включает способ восприятия людьми своего региона и его значимость по сравнению с другими основаниями для идентификации, например, с классовой и национальной идентичностью. Наконец, последний пласт — инструментальный, на уровне

которого образ региона может использоваться как основа для политической мобилизации и коллективных действий [Китинг 2003: 93]. Разделение на данные уровни является аналитическим, на практике же они связаны между собой.

Литература

- Бурдые П. 2005. Идентичность и репрезентация: элементы критической рефлексии идеи «региона». — *Ab imperio*. № 3. С. 45–60.
- Бусыгина И.М. 2006. *Политическая регионалистика*. М: РОССПЭН. 280 с.
- Гельман В.Я., Попова Е.В. 2003. Региональные политические элиты и стратегии региональной идентичности в современной России. — *Центр и региональные идентичности в России (под ред. В.Я. Гельмана и Т.А. Хопфа)*. СПб. Изд-во Европейского ун-та; М.: Летний сад. С. 187–254.
- Замятина Н.Ю., Пилясов А.Н. 2013. *Россия, которую мы обрели: исследуя пространство на микроуровне*. М.: Новый хронограф. 548 с.
- Идентичность как предмет политического анализа*. 2011. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции. (Редколлегия сборника: И.С. Семенов (отв. ред.), Л.А.Фадеева (отв. ред.), В.В. Лапкин, П.В. Панов). М.: ИМЭМО РАН. С. 177–286.
- Китинг М. 2003. Новый регионализм в Западной Европе. — *Логос*. № 6. С. 67–116.
- Крылов М.П. 2009. Региональная идентичность населения Европейской России. — *Вестник Российской академии наук*. Т. 79. № 3. С. 266–277.
- Крылов М.П. 2010. *Региональная идентичность в Европейской России*. М.: Новый хронограф. 240 с.
- Назукина М.В., Подвинцев О.Б. 2012. Региональная идентичность в Российской Федерации: преодолевая имперское наследие. — *Политическая идентичность и политика идентичности. Т. 2. Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке (отв. ред. И.С. Семенов)*. С. 258–282.
- Назукина М.В. 2007. Региональная идентичность в условиях рецентрализации политического пространства России. — *Федерализм и централизация (отв. ред. К.В. Киселев)*. Екатеринбург: УрО РАН. С. 275–298.
- Полосин А.В. 2010. *Политический регион. Опыт операционализации и концептуализации понятия*. М.: Изд-во МГУ. 200 с.
- Феномен культуры в российской общественной географии: экспертные мнения, аналитика, концепты (под ред. А.Г. Дружинина и В.Н. Стрелецкого)*. 2014. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ. 536 с.
- Marks G. 1999. Territorial Identities in the European Union. — Anderson J. 1999. *Regional Integration and Democracy*. N. Y.: Rowman & Littlefield. P. 69–91.
- Paasi A. 2003. Region and place: regional identity in question. — *Progress in Human Geography*. Vol. 27. No. 4. P. 475–485.
- Raagmaa G. 2002. Regional Identity in Regional Development and Planning. — *European Planning Studies*. Vol. 10, No. 1. P. 55–76.

Локальная идентичность

М.В. Назукина

Ключевые слова: территория, местное сообщество, коллективная идентичность, глобализация, локализация, историческая память, культурный ландшафт, бренд территории, имиджевая политика, городской политический режим.

Наиболее приближенный уровень пространственной организации жизни сообщества, относящийся к городам, поселениям и микрорайонам, принято называть локальным, или местным. *Локальные идентичности* являются низовым уровнем территориально-пространственной идентификации и связаны с чувством сопричастности человека с местом его проживания или / и происхождения: районом, городом, населенным пунктом, конкретной местностью. Локальная идентичность основана на понятии «малая родина» и может быть определена как совокупность смыслов, эмоциональных и ценностных значений, которыми наделяется важное для самоопределения человека место. Повышенное значение локальной идентичности и чувства места — следствие процессов глобализации в современном мире (термин вошел в оборот после публикаций Р. Робертсона), благодаря которым усиливается значение регионального и локального измерения при определении человеком своего местоположения в рамках территориальной системы.

Локальная идентичность как общее чувство сопричастности может реализовываться через идентификацию с отдельными элементами, олицетворяющими локальную общность: с «малой родиной» — местом рождения или местом жительства; с особенностями ландшафта и климата; со значимыми историко-культурными событиями; со значимыми людьми — известными историческими и современными личностями; с близкими людьми, друзьями; с экономической специализацией территорий и уровнем социально-экономического развития; с особыми реальными или приписываемыми чертами коллективного поведения [Морозова, Улько 2008: 140]. В системе ориентиров самоидентификации особое значение имеют историко-культурное наследие места (исторические здания, памятники, местные традиции и пр.) и события, происходящие на территории непосредственного проживания (города, района, поселка, села, микрорайона), позволяющие на материальном уровне ощутить сопричастность к пространству. В локальной идентичности увязываются топонимика места (названия улиц, микрорайонов, символических мест и пр.). На психологическом уровне локальная идентичность может также проявляться в нежела-

нии менять место жительства, любви к «малой родине», распространенности выражений «это моя родина — плохая или хорошая, но моя», «здесь живут мои родственники и жили мои предки» и др.

Опорой локальной идентичности является культурный ландшафт, представляющий культурные, социально-экономические, ментальные, топографические особенности территории в узнаваемых образах места. Восприятие человеком места связано с выделением природного и культурного ландшафтов как совокупности связанных и взаимозависимых предметов и явлений природы, в терминологии ЮНЕСКО — как «результата совместного творчества человека и природы»¹. Ландшафты проявляются в географических и природных образах, которые, в свою очередь, находят выражение в городской культуре в произведениях искусства и литературы, градостроительстве. Современной практикой оформления городского пространства стало распространение в городской среде искусства, ориентированного на неподготовленного зрителя и коммуникацию с городским пространством (паблик-арт /стрит-арт/ или искусство в общественном пространстве /уличное искусство/ — англ. *public art /street art/*, например, граффити).

В идентификационной матрице локальная идентичность следует за уровнем региональной идентичности в ряду возможных пространственно-территориальных идентификаций. Однако нередко она рассматривается как синоним региональной идентичности. Так, М.П. Крылов определяет региональную идентичность как системную совокупность культурных отношений, связанных с понятием «малая родина» [Крылов 2010: 13]. Под региональной идентичностью автор понимает идентичность локальную (местную). Одним из наиболее распространенных типов локальной идентичности является городская идентичность.

Локальная идентичность связана с ареальной парадигмой осмысления пространства. При таком подходе она предстает во множестве территориальных сообществ, структурированных по своим социоментальным характеристикам. Локальная идентичность передает отношение группы к культурно или ценностно маркированному пространству — культурному ландшафту. Предполагается, что между ареалом и определенной группой и личностью есть разные отношения, одним из этих отношений и является идентичность. Идентичность понимается как ощущение, проживание и рефлексия (чаще нерациональная) специфики «своей» территории на уровне группового и личного сознания [Каганский 2014: 11].

С точки зрения социального конструктивизма локальная идентичность понимается как социальный конструкт, складывающийся в результате социальных практик в процессе взаимодействия, когда чувство места и ощущение локальной принадлежности становятся важными основаниями при определении

¹ См.: Европейская ландшафтная конвенция и пояснительный доклад. Страсбург, 2000 г. Доступ: <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f3fb9>.

«кто есть мы». Актуализация таких идентификаций в жизни людей становится основанием для формирования локальной социокультурной общности — местного сообщества. Консолидация местного сообщества может приводить к проецированию локальной идентичности за его пределы. Такие сообщества создаются выходцами из одной местности (города, региона) с целью поддержания своей идентичности и объединения на этой основе ресурсов в лоббировании интересов за пределами территории своего присутствия. Так самоорганизуются, например, землячества — неформальные объединения (в том числе и действующие вне правового поля, как итальянские мафиозные кланы в США) и оформленные структуры гражданского общества (некоммерческие и неправительственные организации).

Локальная идентичность в современных условиях рассматривается как ресурс развития места — города или сельского поселения. Переживание местной специфики, ее культивирование связано с развитием краеведения. На сегодняшний день развитие локальной идентичности и локальной культуры — важная часть политики местных властей, которые заинтересованы в удержании жителей, повышении качества жизни и росте местного самосознания. Политика идентичности, направленная на создание или поддержание локальной уникальности, способствует усилению чувства сопричастности местному сообществу, складыванию общих ориентиров и смыслов, формирующих его социальный капитал. Наличие общих смыслов, разделяемых сообществом, является важным условием эффективного развития территории.

Для решения проблемы узнаваемости местные власти прибегают к символическому позиционированию, брендингу территорий, что рассматривается ими как предпосылка для решения прагматичных задач, стоящих перед сообществами, — улучшения социального климата, формирования инвестиционной и туристической привлекательности регионов и создания благоприятной для развития человеческого потенциала и креативной экономики социальной среды.

Создание бренда часто рассматривается как сугубо маркетинговый шаг. Исследования в рамках данного направления преимущественно практикоориентированы, имеют прикладной характер и представляют собой рекомендации по конструированию бренда территории. Однако, как показывает опыт успешных региональных брендов в мире, залогом институционализации продукта брендинга является опора на историко-культурный фундамент места или региональную идентичность, в которой конструируется бренд. Бренд по сути является выразителем идентичности. Как указывает Д. Визгалов, анализируя бренд города, бренд — это «идентичность города, отраженная в его имидже», а брендинг — это «процессы, которые ведут к совершенствованию, развитию идентичности и имиджа и позволяют добиваться частичного или полного (в идеале) отражения одного в другом» [Визгалов 2011: 42].

Распространенным маркером для личности города или поселения во многих случаях становится туризм, благоприятной основой для развития которого служат как объективные географические, исторические особенности, так

и их мифологическое наполнение (Великий Устюг — родина Деда Мороза, Кострома и Берендеево царство — родина Снегурочки и пр.). Брендинг места жительства связан с созданием привлекательного климата для проживания в регионе, снижением миграции из региона, привлечением в регион высококвалифицированных специалистов. Повышение качества жизни населения и создание условий для развития креативного класса во многом обеспечивают устойчивый рост человеческого капитала в территории. Примерами удачных бренд-проектов в России являются «Добрянка — столица доброты», «Стерлитамак — жизнь в объеме», «Урюпинск — “столица российской провинции”». Данные проекты разрабатывались на основе анализа идентичности города и с учетом мнения жителей города.

Актуализация локальной идентичности может быть определена через соответствующие эмпирические индикаторы: четкое определение специфики города в контексте иных городов, осмысление особенности статуса территории в региональном пространстве; выраженный локальный патриотизм (чувство гордости за место); наличие локального бренда или выраженного вектора позиционирования, низкое миграционное сальдо, высокий уровень удовлетворения местными властями и уровнем жизни др.

Наличие коллективной идентичности — необходимая основа для объединения усилий политических акторов. Сильную локальную идентичность рассматривают как фактор, способствующий формированию городского политического режима. Это толкает местную элиту к проведению политики исключительности, формирующей «чувство отличия от других центров» [См. Ледаев 2006]. Речь идет о конструировании символов и смыслов, которые утверждают местную специфику и уникальность (локальная символика, в том числе геральдика, архитектура, мифология). Эти представления о специфичности привносятся в массовое сознание и формируют местный патриотизм, который в контексте политики идентичности может стать фактором политической мобилизации.

Литература

- Вайль П. 2006. *Гений места*. М.: Колибри. 488 с.
- Визгалов Д.В. 2011. *Брендинг города*. М.: Фонд «Институт экономики города». 160 с.
- Дзякович Е.В. 2010. *Трансформации локальных идентичностей в социокультурном пространстве современных российских регионов*. М.: Лабиринт. 204 с.
- Замятин Д.Н. 2003. *Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов*. СПб.: Алетей. 331 с.
- Каганский В.Л. Ареальная парадигма пространственной идентичности: основания, пределы, выход за пределы. — *Вестник Пермского научного центра*. 2014. № 5. С. 10–19.
- Крылов М.П. 2010. *Региональная идентичность в Европейской России*. М.: Новый хронограф. 240 с.
- Культурный ландшафт как объект наследия*. 2004. Под ред. Ю. А. Веденина, М. Е. Кулешовой. М.: Институт Наследия; СПб.: Дмитрий Буланин, 620 с.
- Ледаев В. 2006. Теория городских политических режимов. — *Социологический журнал*. № 3–4. С. 46–68.

- Лэндри Ч. 2005. *Креативный город*. М.: Издательский дом «Классика-XXI». 399 с.
- Морозова Е.В., Улько Е.В. 2008. Локальная идентичность: формы актуализации и типы. — *Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС*. № 4. С. 139–151.
- Назукина М.В., Панов П.В., Сулимов К.А. 2009. Феномен политического сообщества на локальном (местном) уровне: возможность и действительность. — *Сообщества как политический феномен (под ред. П.В. Панова, К.А. Сулимова, Л.А.Фадеевой)*. М.: РОССПЭН. С. 153–171.
- Панов П.В. 2008. Локальная политика в разных измерениях. — *Политическая наука*. № 3. С. 9–31.
- Родман Б.Б. 1999. *Территориальные ареалы и сети. Очерки теоретической географии*. Смоленск: Ойкумена. 256 с.
- Стась А.К. 2009. *Новая геральдика. Как страны, регионы и города создают и развивают свои бренды*. М.: ООО «Группа ИДТ». 208 с.
- Шматко Н.А. 1998. Территориальная идентичность как предмет социологического исследования. — *Социологические исследования*. № 4. С.94–98.
- Anholt S. 2010. *Places. Identity, Images and Reputation*. L.: Palgrave Macmillan. 162 p.
- Robertson R. 1995. Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity. — *Global Modernities*. Ed. by M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson. London: Sage. P. 25–44.

Городская идентичность

Е.Г. Довбыш

Ключевые слова: городская идентичность, город, территориальная идентичность, политика идентичности, идентичность города, горожанин, городское сообщество, образ города, структура городской идентичности, функции городской идентичности, формирование городской идентичности.

В современном мире, ставшем впервые в истории урбанизированным в глобальном масштабе, наблюдается рост значения городов как акторов социально-политических процессов. Это приводит к тому, что повышается значение городов в развитии отдельных стран, регионов и макрорегионов. Соответственно, становятся ещё более актуальными вопросы, связанные с феноменом городской идентичности.

Изучение городской идентичности находится на стыке социальной психологии, психологии среды, архитектуры и градостроительства, социологии города, а также культурологии и политологии. В научной литературе этот феномен концептуализируется в категориях городской идентичности (*urban identity, city identity*). Вместе с тем существует несколько категорий, семантически близких городской идентичности: «идентичность со средой» (*environmental identity*); «идентичность с местом» (*place identity*); «идентичность с ме-

стом проживания» (settlement identity); «локальная идентичность»; «территориальная идентичность», «региональная идентичность».

Городская идентичность в современных социальных науках трактуется неоднозначно. В научной литературе закрепилось две основных версии интерпретации феномена городской идентичности: социологическая (городская идентичность как разновидность групповой идентичности) и психологическая (городская идентичность как часть «Я-концепции» индивида).

В рамках социологического направления исследования концентрируются на изучении «социальной городской идентичности», понимаемой как разновидность групповой идентичности, в основе формирования которой лежит осознание городским сообществом (коллективом) своей соотнесенности с территорией города [см.: Микляева, Румянцева 2011]. Городское сообщество играет важную роль в формировании, поддержании и трансформации городской идентичности индивидов. Городская идентичность представляет собой самоидентификацию индивидов с городским сообществом как с социальной группой.

Городскую идентичность можно определить как «компонент социальной идентичности личности, социокультурный конструкт, формируемый в результате идентификации человека с конкретной городской общностью и определяемый усвоением и воспроизводством символического капитала города, социальных норм и стиля жизни, объединяющих жителей данного города» [Дягилева 2013].

Пространство большого или малого города, а также городского района не просто выступает в качестве физической территории, но наполняется смыслами и приобретает персональную значимость для его жителей. В свою очередь, осознание индивидами своей причастности к этому пространству способствует формированию социального сообщества, в основе единства которого лежит соотнесение его членов с общими пространственными категориями — городом, районом, улицей. Пространственные категории, таким образом, становятся социально-пространственными и начинают оказывать обратное воздействие на дальнейшее развитие сообщества индивидов.

В процессе жизнедеятельности сообщества, освоения городского пространства у его членов складываются персональные представления о городе. Формирование этого образа города происходит за счет взаимодействий с городской средой. По мнению Л.Б. Когана, можно выявить следующие факторы, формирующие образ города: ландшафт и климат, которые создают естественное природное поле, на фоне которого и разворачивается социальная деятельность человека; социальный статус города (столица или провинция) и специфика социальной деятельности горожан, которая определяет особенности жизни каждого города; архитектурный образ города, который формирует определенное психоэмоциональное настроение как обитателей, так и гостей города; художественные образы литературы, искусства, кино, которые создают и хранят «городские символы», формируют колорит города [Коган 1990]. Ландшафт города выступает в качестве территориальной проекции локального мифа [Замятина 2009]. При наложении образа города на его

физическую территорию происходит складывание уникального для каждого города социокультурного ландшафта, который, в свою очередь, является основой для формирования городской идентичности у жителей.

У представителей того или иного города возникают социально-типичные черты в поведении, формируются общие представления о себе и жителях других городов. В этом случае городскую идентичность можно определить как представления жителей города о себе как жителях именно этого (своего) города. Происходит формирование и закрепление моделей: «Мы, жители этого города» (например, петербуржцы, нижегородцы) и «Они, жители других городов». Это находит свое выражение в формировании и поддержании представлений о типичных для жителей данного города характеристиках, чертах характера. При этом образ «мы» в основном эмоционально окрашенный и имеет положительные свойства (например, могут быть отмечены гостеприимство, доброжелательность, прогрессивность жителей), а образ других — нейтральный или негативный.

Структура городской идентичности включает в себя когнитивный компонент (образ города и себя как его жителя), аффективный компонент (эмоции и переживания, связанные с городом) и ценностный компонент (оценка города, его значение и ценность для жителей). Когнитивный компонент, в свою очередь, включает в себя образ города, формирующийся в сознании индивидов, состоящий из «локусов» (городских ориентиров), территорий (городских районов) и «маршрутов» (путей). Когнитивный компонент городской идентичности формируется через освоение городского пространства, в ходе которого у индивида складывается «когнитивная (ментальная) карта» города. Однако ключевым компонентом в структуре территориальной идентичности является эмоциональный [Самошкина 2008]. Он находит свое выражение в специфических представлениях: чувство места, привязанность к месту, забота о состоянии места, оценка разных мест. Эти явления обусловлены совместным проживанием людей на одной территории, осознанием принадлежности к определенной общности.

Городская идентичность формируется через процессы социальной категоризации — идентификации и дифференциации путем включения в социальное взаимодействие, происходящее на данной городской территории. Место проживания является не просто местом жизнедеятельности, но и местом социализации, то есть участия в локальных социальных процессах. При этом происходит трансформация поведения индивидов в соответствии с доминирующими в сообществе нормами. Например, в эмпирических исследованиях [Lalli 1988; 1992] были показаны взаимосвязи между городской идентичностью и восприятием, познанием и опытом взаимодействия с городской средой. Из чего следует, что утверждение городской идентичности индивида предполагает некое поведение, в котором она в полной мере находит свое выражение. Так, при активной вовлеченности индивидов в решение городских проблем происходит усиление их чувства сопричастности и принадлежности городу и городскому (соседскому) сообществу. При этом справедливо и об-

ратное утверждение: чем сильнее городская идентичность, тем охотнее индивиды будут участвовать в городской жизни.

Городская идентичность выполняет схожие с другими социальными идентичностями функции: способствует упорядочиванию личного опыта индивидов и создаёт рамки для социокультурного пространства взаимодействий, конструирует социальную реальность, выполняет функцию упрощения взаимодействий с другими людьми (за счет создания антиномии «Мы–Они»), оказывает влияние на формирование ожиданий индивидов.

Помимо социологической существует психологическая трактовка феномена городской идентичности. В этом случае городская идентичность рассматривается как частный случай проявления более широкого явления — «идентичности со средой» и «идентичности с местом». «Самоидентификация с городом — психологический конструкт, часть персональной идентичности личности, когда город воспринимается как контекст индивидуальной биографии индивида» [Дягилева 2013]. В рамках психологического подхода городская идентичность трактуется как часть «Я-концепции» индивида. Она является частью личностной идентичности и возникает в результате жизнедеятельности человека в физическом мире, подобно тому как социальная идентичность — результат социализации человека в обществе. В рамках этого направления предполагается, что элементы физической среды интегрируются в представление индивида о самом себе [Valera, Guàrdia 2002]. Соответственно, для полноценного изучения городской идентичности индивида необходимо выявить его отношения с (городским) пространством. Эти отношения, в частности, концептуализируются в терминах привязанности, сопричастности, эмоциональной связи с городским пространством.

Если рассматривать город как социальное сообщество, городская идентичность представляет собой комплекс связей между индивидом и городской средой, которые находят свое проявление как в сознании, так и в поведении индивидов [Lalli 1988; 1992]. Сам город — обобщенный символ индивидуального биографического опыта. Городская идентичность с этой точки зрения выполняет роль источника непрерывности биографии личности, ощущения стабильности и безопасности, которые меньше зависят от часто меняющихся характеристик социального взаимодействия.

Изучению феномена городской идентичности посвящены многие отечественные исследования последних лет. Они базируются на наработках теоретической, экономической и гуманитарной географии, антропологии, психологии среды, регионалистики и урбанистики. Хотя существуют и работы, рассматривающие феномен городской идентичности с социологической точки зрения [см.: Дягилева, Журавлева 2012; Жирякова 2008; Назукина 2015], однако более распространенной трактовкой этого феномена все же является социально-психологическая [см., напр.: Ефремова 2006; Замятин 2005; Иванова 2003; Микляева, Румянцева 2011; Самошкина 2008]. Как и в случае с городскими исследованиями, которые в отечественной науке рассматриваются как частный случай региональных, изучение городской идентичности в концептуальном и методо-

логическом плане близко изучению феномена локальной и — шире — территориальной идентичности.

Городская идентичность горожан является важным ресурсом развития территории. Она способствует не только большей включенности жителей в решение местных проблем, но и объединению городских политических акторов, складыванию консенсуса по поводу городской повестки дня. Этот консенсус не возможен без относительного согласия по поводу общих для всего локального сообщества ориентаций и ценностей. В этих условиях местная элита, желая упрочить свое положение, зачастую проводит политику идентичности, которая своей целью имеет создание или поддержание представления об уникальности города, сплочение местного сообщества, выработку общих ценностей и «чувства отличия от других центров». Цель такой политики — подчеркнуть аутентичность города, его особенности, что может способствовать как повышению шансов в конкуренции с другими городами, так и формированию местного патриотизма, который может быть использован для политической мобилизации [см.: Ледяев 2006]. Проводимая с этой целью политика идентичности и мероприятия по брендингу призваны создать и поддерживать образ, черты которого будут выгодно отличать данный конкретный город от его конкурентов [см.: Визгалов 2011].

Таким образом, от городской идентичности следует отличать идентичность города, которая представляет собой конструируемый образ конкретного городского сообщества. Внутри городского пространства, в свою очередь, оформляются важные для самоидентификации его обитателей городские вернакулярные районы — те части пространства города, которые они считают «своими» и которые существуют в рамках определенных ментальных границ в виде образов места, «совокупных стереотипов» обитателей и «других» об этом месте, его неповторимых характеристиках [Пузанов 2012]. Такие московские вернакулярные районы, как Хамовники, Таганка или Марьино Роща (или краснодарская Дубинка), всегда рассматривались как важная отличительная черта их обитателей. Сегодня высокий уровень мобильности ведет к размыванию устойчивых культурных ориентиров, и самоидентификация со «своим» по рождению или проживанию районом во многом оказывается вопросом личного выбора.

В городах проявления социальной дифференциации и разнообразные идентичности пересекаются, способствуя тем самым появлению сложного рисунка социально-политических взаимодействий между горожанами. В современных городских исследованиях широко представлено направление по изучению разнообразных «идентичностей в городе», которые стоит отличать собственно от городской идентичности. В изучении города как сложного социально-политического образования на смену неомарксистским подходам, доминировавшим до 1980-х годов [например, Harvey 1973; Lefebvre 1991 и др.], пришли на смену исследования, в центре внимания которых среди прочих оказались идентичность горожан и влияние идентичности на городские социально-экономические и социально-политические процессы [см. напр.: Driver and Gilbert 2003; Roberts 1991].

Городская идентичность представляет собой сложный феномен, привлекающий внимание растущего числа исследователей. Этот вид идентичности находится на пересечении личностной и социальной идентичности, и его изучение позволяет лучше понять их взаимосвязь. Однако сам термин «городская идентичность» до сих пор не устоялся и часто используется в качестве понятия, выражающего частную сущность по отношению другим, более общим понятиям (локальной и региональной идентичности). Вместе с тем значимость описанных связей и ориентиров для человека рождает потребность в более тщательном осмыслении и структурировании понятия городской идентичности.

Литература

- Визгалов Д.В. 2011. *Брендинг города*. М.: Фонд «Институт экономики города». 160 с.
- Дягилева Н.С. 2013. Теоретические аспекты городской идентичности. — *Брендинг малых и средних городов России: опыт, проблемы, перспективы*. Екатеринбург: УрФУ. С. 54–59.
- Дягилева Н.С., Журавлева Л.А. 2012. Городская идентичность: понятие, структура, основы формирования. — *Социология города*. № 1. С. 46–61.
- Ефремова Ж.Д. 2006. *Формирование и функционирование менталитета населения малого провинциального города: автореф. дисс... канд. социол. наук*. М.: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет сервиса». 24 с.
- Жирякова С.Н. 2008. Столичность и провинциальность как показатели территориального общества. — *Регионология*. № 2. С. 317–319
- Замятин Д.Н. 2005. Локальные истории и методика моделирования гуманитарно-географического образа города — *Гуманитарная география: научный и культурно-просветительский альманах*. Вып 2. М.: Институт Наследия. С. 26–50.
- Замятин Д.Н. 2006. *Культура и пространство: моделирование географических образов*. М.: Знак. 488 с.
- Замятина Н.Ю. 2009. *Культурно-ландшафтные исследования города -Культурные ландшафты России и устойчивое развитие (ред. Т.М. Красовская)*. М.: Географический факультет МГУ. С. 45–50.
- Замятина Н.Ю. 2010. «Гений места» и развитие территории (на примере уроженца Хвалынского художника К.С. Петрова-Водкина). — *Гуманитарная география: научный и культурно-просветительский альманах*. Вып. 6. М.: Институт Наследия. С. 71–88.
- Иванова Т.В. 2003. *Городская ментальность как предмет психологического исследования*. Самара: Изд-во СамГУ РАН. 250 с.
- Коган Л.Б. 1990. *Быть горожанами*. М.: Мысль. 168 с.
- Ледяев В.Г. 2006. Теория городских политических режимов. — *Социологический журнал*. № 3–4. С. 46–68.
- Микляева А.В., Румянцева П.В. 2011. *Городская идентичность жителя современного мегаполиса: ресурс личностного благополучия или зона повышенного риска?* Санкт-Петербург: Речь. 160 с.
- Назукина М.В. 2015. Локальная идентичность как ресурс развития моногородов: постановка проблемы. — *Современный город: власть, управление, экономика*. Т. 1. С. 244–251.
- Пузанов К.А. 2012. Стереотипы внутригородских районов. — *Вестник Московского университета*. Серия 5. № 2. С. 13–18.
- Самошкина И.С. 2006. Район проживания в чувствах и переживаниях. — *Communitas*. № 1. С. 35–52.
- Самошкина И.С. 2008. Территориальная идентичность как предмет социально-психологического исследования. — *Вестник РГГУ*. № 3. С. 43–53.
- Самошкина И.С. 2008. *Территориальная идентичность как социально-психологический феномен. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук*. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. 29 с.

Согомонов А.Ю. 2010. Современный город: стратегия идентичности. — *Неприкосновенный запас*. № 2 (70). С. 244–254.

Шматко Н.А., Качанов Ю.Л. 1998. Территориальная идентичность как предмет социологического исследования. — *Социологические исследования*. № 7. С. 94–98.

Driver F., Gilbert D. 2003. *Imperial Cities: Landscape, Display and Identity*. Manchester : Manchester University Press. 304 p.

Graumann C. F., Kruse L. 1993. Place Identity and the Physical Structure of the City. — Bonnes M. (ed.). *Perception and Evaluation of Urban Environment Quality: A Pluridisciplinary Approach in the European Context*. London: Routledge. P. 48–75.

Harvey D. 1973. *Social Justice and the City*. London, Edward Arnold. 368 p.

Lalli M. 1988. Urban Identity. — *Environmental Social Psychology*. 1988. / eds.: D. Canter et al. N.Y.: Springer Science & Business Media. P. 303–311.

Lalli M. 1992. Urban-Related Identity: Theory, Measurement, and Empirical Findings. — *Journal of Environmental Psychology*. Vol. 12. No 4. P. 285–303.

Lefebvre H. 1991. *The Production of Space*. Oxford, UK: Blackwell. 464 p.

Lynch K. 1960. *The Image of the City*. Massachusetts: The MIT Press. 194 p.

Pol E. 2002. The Theoretical Background of the City-Identity-Sustainability Network. — *Environment and Behavior*. Vol. 34. No 1. P. 8–25.

Pol E., Castrechini A. 2002. City-Identity-Sustainability Research Network Final Words. — *Environment and Behavior*. Vol. 34. No 1. P. 150–160.

Pol E., Moreno E., Guàrdia J. 2002. Identity, Quality of Life, and Sustainability in an Urban Suburb of Barcelona Adjustment to the City-Identity-Sustainability Network Structural Model. — *Environment and Behavior*. Vol. 34. No 1. P. 67–80

Proshansky H.M. 1978. The City and Self-Identity. — *Environment and Behavior*. Vol. 10. No 2. P. 147–169.

Proshansky H. M., Fabian A. K., Kaminoff R. 1983. Place-Identity: Physical World Socialization of the Self. — *Journal of Environmental Psychology*. Vol. 3. No 1. P. 57–83.

Roberts M. 1991. *Living in a Man-Made World: Gender Assumptions in Modern Housing Design*. London: Routledge. 192 p.

Twigger-Ross C., Uzzell D. 1996. Place and Identity Processes. — *Journal of Environmental Psychology*. Vol. 16. No 3. P. 205–220.

Uzzell D., Pol E., Badenas D. 2002. Place Identification, Social Cohesion, and Environmental Sustainability. — *Environment and Behavior*. Vol. 34. No 1. P. 26–53.

Valera S., Guardia J. 2002. Urban Social Identity and Sustainability Barcelona's Olympic Village. — *Environment and Behavior*. Vol. 34. No 1. P. 54–66.

Приграничная идентичность

М.П. Крылов
(при участии М.В. Назукиной)

Ключевые слова: приграничная идентичность, граница, культурные границы, рубежность, приграничные территории, этноконтактные зоны, этнические границы, коренные народы, конструктивизм, политика идентичности.

Понятия «идентичность» и «граница» тесно связаны между собой; уже в логически исходной ситуации самоидентификации «свой — чужой» предполагается существование каких-то границ, пусть даже и не всегда четко выраженных на местности. Понятие «граница» относится к числу достаточно разработанных в теоретическом плане как в геополитических исследованиях и политологии, так и в географии, включая ее природоведческие разделы. Появилась «лимология» — наука о границах. Однако связь понятия «граница» с различными представлениями об идентичности и с различными ее формами не всегда очевидна. С эволюционно-исторической точки зрения важно то, что идентичность на приграничных территориях в принципе складывается постепенно, с учетом политических границ прошлого, а также различных культурных взаимопереходов и барьеров.

Современные формы приграничной идентичности стали складываться после формирования национальных государств, однако очень многие ее элементы заимствованы из более отдаленного прошлого. Нечто похожее на современную приграничную идентичность было связано с рубежами конфессиональной идентичности («наши соседи — другие, они — католики (православные, униаты, мусульмане и т.д.)). Однако в условиях существенно меньшей, чем сейчас, жесткости внутриконфессиональных границ ощущение «приграничности» («рубежности»), по-видимому, распространялось на гораздо более обширные территории, чем прилегающие к ареалам иной конфессиональной идентичности более или менее узкие полосы.

Историко-политические, историко-культурные, этнические и другие границы в совокупности с современными политическими границами образуют своеобразные сети границ, которые могут по-разному «складываться» и «накладываться» друг на друга в сознании людей. В этом смысле возможны различные формы приграничной идентичности. Кроме того, на плавное, эволюционное формирование приграничной идентичности всегда накладываются случаи резкого изменения границ, перехода целых регионов под юрисдикцию другого государства. Общая тенденция заключается в высокой степени многообразия форм влияния границ на идентичность, которое проявляется, в частности, в том, что границы вообще, и политические границы в особенности, могут разделять идентичности, могут создавать новые идентичности или же способствуют формированию различных видов смешанных идентичностей, а также некоторых комбинаций имеющихся идентичностей.

Современные политические границы достаточно часто тяготеют к территориям со значительным историческим своеобразием по отношению к более крупным соседним территориям (странам, государствам), одновременно являясь культурными барьерами между ними. Одно из проявлений этой ситуации — попеременное тяготение таких территорий к соперничающим соседним государствам; соответственно, идентичность жителей таких территорий в определенном смысле становится приграничной. В таком случае устойчивые культурные барьеры являются первичными по отношению к политическим границам.

Поэтому, например, эльзасская идентичность — это не только идентичность жителей этой исторической области, не только этнокультурный реликт (эльзасцы), но также и форма (вариант) приграничной франко-германской идентичности.

Есть попытки представить различные формы идентичности на территории приграничий, непосредственно связанные именно с формальными (политическим, административными и др.) границами, как особую идентичность (назовем ее приграничная идентичность в узком смысле). Однако неочевидно, что такие пространства уже «сами по себе» и всегда способствуют формированию некоторой особой идентичности, отличной от идентичности на соседних («неприграничных») пространствах, хотя именно так нередко ставится вопрос; во многих случаях реальное наличие такой идентичности не подтверждается при более детальных исследованиях. С другой стороны, в отдельных случаях идентичность, близкая к приграничной, локализована на территориях вне соответствующих государственных границ (вне приграничной зоны). Так, Виленский край в Литве с польско-литовской идентичностью прилегает к Беларуси, а не к Польше; Новороссия с русско-украинской идентичностью на территории Украины прилегает к Черному морю, а не к российско-украинской границе.

По-видимому, для большинства ситуаций правильнее ставить вопрос о некоторых дополнительных проявлениях идентичностей, характерных для граничащих друг с другом территорий (приграничная идентичность в широком смысле), а не только об особой приграничной идентичности (в узком смысле). Соответственно, более очевиден и плодотворен путь поиска специфических для «приграничий» форм модификации уже имеющихся на соседних пространствах идентичностей. Российскими этнографами и географами проводились исследования идентичности на приграничных территориях (П.И. Кушнер, Л.Н. Чижикова, Р.А. Григорьева, Г.И. Касперович, О.И. Вендина, В.А. Колосов, А.А. Гриценко, М.П. Крылов, А.Г. Манаков, Н.М. Межевич) [см. напр.: Кушнер 1951; Чижикова 1988; Кувенева, Манаков 2003; Белорусско-русское пограничье 2005; Российско-украинское пограничье 2011]. Особое внимание уделялось теоретико-методологическим проблемам осмысления пограничья [Антанович 2005; Бреский, Бреская 2008; Каганский 2014]. В свете этих исследований трудно говорить об обязательном существовании особой приграничной идентичности в узком смысле.

В случае соседства культурно различных и контрастных территорий приграничная идентичность образуется уже благодаря «разности культурных потенциалов» этих территорий и взаимодействию соответствующих культур. В зависимости от форм(ы) культурного перехода между культурно контрастными территориями складываются барьерно-коммуникационные полосы или же смешанные (переходные, экотонные) зоны, для которых характерно взаимопроникновение культур, а также зоны, представляющие собой особые, автономные сущности, в большей или меньшей степени родственные своим соседям или, по крайней мере, сходные с ними.

Промежуточной, экотонной зоной является, например, историческая область Слободская Украина («слободская окраина») — украинско-русская этноконтактная зона, этнокультурный субстрат современного российско-украинского приграничья. Согласно исследованиям А.А. Грищенко (для территории РФ), проведенным под руководством автора данной статьи, для этой территории и в настоящее время характерна специфическая идентичность Слободской Украины [Грищенко, Крылов 2012]. Промежуточными, экотонными зонами могут быть и страны и группы стран, например, Восточная Европа как пограничная между Западной Европой и Россией. При этом приграничной может считаться Западная Беларусь, непосредственно тяготеющая к культурной и политической границе Запада и России. В таком смысле специфическая для Западной Беларуси идентичность может считаться приграничной.

В условиях тоталитарных государств приграничья, характеризующиеся свойствами переходных (экотонных) зон, оказываются нежелательными. Так, после 1939 года и с началом войны на территории Западной Украины и в меньшей степени в Западной Белоруссии и при советской власти, и во время фашистской оккупации проводилась активная *деполонизация*. Представляет интерес тот факт, что гитлеровский оккупационный режим, несмотря на претензии на квазиэтнографическое обоснование своих действий, руководствовался достаточно часто не этническими, а формальными административными и политическими границами. Например, поляки Гродненской области продолжительное время считались белорусами, а украинцы Воронежской области — русскими.

Идентичность в условиях жестких барьерных границ следует рассматривать особо — в том смысле, что она в целом не связана со свободным осознанием населением своей приграничной ситуации, с эволюционной (плавной) адаптацией к условиям приграничья. Вероятно, что такая идентичность должна быть рассмотрена в том же ряду, что и негативная идентичность [см. Гудков 2004]. Такая ситуация характерна для тоталитарных государств, а также соседних государств с напряженными взаимоотношениями, в том числе имеющих спорные территории.

В условиях СССР проводилась депортация ряда коренных народов с приграничных территорий, а также «топонимическая агрессия» (в терминологии Б.Б. Родмана [см. Географические границы 1982]) — массивная смена географических названий на вновь присоединенных (Калининградская область и др.) и на старых приграничных территориях с тем, чтобы исключить «топонимические аргументы» в пользу необходимости изменения границ (например, советско-китайской). Одновременно на эти территории естественным образом происходило вселение русского (восточно-славянского) населения, в идентичности которого в большинстве случаев «растворялась» идентичность коренного местного населения (включая русских). Создавалась новая приграничная идентичность, лишенная «корней» (например, новая идентичность жителей Калининградской области).

Хотя положение о взаимосвязи «процессов самоидентификации, конструирования границ и порядков разделяется сегодня большинством авторов,

механизмы таких взаимосвязей остаются в пограничных исследованиях» не вполне проясненными. «Отсутствует концептуализация самого понятия приграничная идентичность, а результаты ее изучения в различных ареалах ограничиваются такими характеристиками, как «неопределенная», «неоднозначная», «изменчивая», «амбивалентная», «бинарная», «плюралистическая», включающая этнические, государственные, «супранациональные», «комбинированные», «иерархические», «смешанные», «реликтовые» идентичности...» [Беспмятных 2010: 14; 2007].

В смысловом ряду понятий, сопряженных с приграничной идентичностью, находится понятие «этнические границы». Данное понятие часто получает неверное истолкование, прежде всего в связи с якобы возможным признанием неких территорий, очерченных этническими границами, в качестве «собственности» одних народов, и соответственно, с утверждением определенного приоритета этих народов над другими. При выделении подобных национально-территориальных образований искусственно создается ситуация, когда пересечение этнических границ связано не только с изменением административного и политического статуса территории, но также и с более «целесообразной» идентичностью жителей этих территорий (такой подход служил основанием для выделения национально-территориальных образований по советскому ленинско-сталинскому образцу: например, Украинская ССР, Узбекская ССР или Татарская АССР, Башкирская АССР). В связи с этим известная дискуссия между сторонниками конструктивистских и примордиалистских подходов в этнографии (см. недавнюю критику В.А. Тишковым [Тишков 2009] классической работы П.И. Кушнера (Кнышева) [Кушнер 1951]) не всегда представляется продуктивной, в том числе потому, что оба подхода указывают на разные стороны по сути единого процесса, и в таком смысле правы и те, и другие. В то же время позиция, обосновывающая «преимущество» одного народа над другим, может быть подкреплена политической аргументацией и культурной политикой, основанной как на конструктивистских, так и на примордиалистских подходах.

Этнические границы не могут служить непосредственным основанием для проведения внутригосударственных административных границ национальных образований, а также государственных границ. В то же время фактическая идентичность населения на этих территориях должна приниматься во внимание как один из факторов в случае возможной корректировки границ, хотя под флагом учета фактора идентичности в реальности могут осуществляться различные волюнтаристские политические решения.

Тем не менее некоторый опыт такого рода уточнения политических границ есть. Прежде всего обращает на себя внимание решение, принятое как бы «против течения», — после плебисцита часть территории побежденной Германии оказалась не отторгнутой и переданной («возвращенной») Дании, как предполагалось ранее, а, напротив, закрепилась в составе Германии (южная часть Шлезвига [Шульце 2004: 142]). Имеются примеры зависимости принятия решений о проведении плебисцитов от такой активной формы самоидентификации

фикации, как восстания местных жителей. Так, плебисцит на территории Верхней Силезии (1921 г.), по результатам которого Польше была передана значительная часть угольного бассейна с городами Катовице и Хожув, был проведен лишь после трех восстаний поляков (в 1919, 1920 и в 1921 гг.; в последнем восстании участвовали прибывшие из Польши офицеры). В то же время присоединение к польскому государству так называемой Великой Польши произошло после антинемецкого восстания в Познани, без проведения плебисцита, но непосредственно решением Версальской конференции [Дыбковская, Жарын, Жарын 1995: 236–237]. Львов вошел в состав Польского государства в ходе боевых действий между польскими и украинскими войсками (ноябрь 1918 г.). Первоначально гражданское польское население подверглось нападению регулярных частей украинской армии [Дыбковская, Жарын, Жарын 1995: 233].

«Этнические границы» как категория научного анализа не соотносятся с политическими границами, но, как показывает современное политическое развитие (например, косовский конфликт), выделение таких границ может быть использовано для достижения политических целей, в частности, как обоснование политического сепаратизма и требований пересмотра существующих территориальных границ. В этом контексте возрастает значение приграничной идентичности как ресурса политической мобилизации.

Границы — это важнейший элемент региональной идентичности, которые выступают не просто рамками, обособляющими одно территориальное пространство от другого, но и приобретают статус социально значимого символа территории. Граница является символической вещью, не столько фиксацией географического и административного статуса территории, сколько способом маркирования территории, который можно конструировать и наполнять нужным смыслом в рамках политики идентичности.

Применительно к региональному уровню территориальной организации аккумулярованию и консолидации политических и символических ресурсов и возможностей границы способствует ряд факторов, начиная от объективных «стартовых возможностей» региона, заданных его географическим положением или природными ресурсами, и заканчивая грамотной политикой идентичности региональных элит, способных эти стартовые возможности не только «раскрутить», но и при отсутствии таковых их изобрести или сконструировать.

Для региональных сообществ особо значимыми оказываются несколько типов границ, которые символически легитимируют их пространственную локализованность. К примеру, геополитический статус приграничных территорий стратегически важных для выполнения роли «пограничника» — защитника границ страны — дополняется еще одной важной спецификой: заметными связями местных жителей с населением соседних государств. По отношению к таким территориям очень часто можно услышать такие слова, как «край», «ворота», что фиксирует их приграничное расположение, уязвимость перед лицом различных опасностей. Эти символы также означают

нестабильность и факт того, что приграничные территории являются объектом геополитической конкуренции. Не меньшее значение имеют природные и географические границы, в первую очередь горы, моря, реки и озера, выступающие в роли маркеров регионального пространства. Так, граница между частями света Европой и Азией, являющаяся значимым символом дискурса региональной идентичности для регионов Урала, в частности в Свердловской области. Специально проведенная уральская экспедиция 2001 года установила, что граница «Европа–Азия» пересекает Екатеринбург, результатом чего стало появление в регионе масштабного проекта «Европа–Азия» [Назукина 2007: 14–16].

Литература

- Антанович Н.А. 2005. Методологический анализ пограничья в социально-гуманитарных науках. — *После империи: исследования восточно-европейского пограничья*. Сборник статей. Под ред.: И. Бобкова, С. Наумова, П. Терешкович. Вильнюс: ENU-international, С. 6–17.
- Белорусско-русское пограничье. Этнологическое исследование (отв. ред. Р.А. Гргорьева, М.Ю. Мартынова). 2005. М.: Изд-во РУДН. 378 с.
- Беспамятных Н.Н. 2007. *Этнокультурное пограничье и белорусская идентичность: проблемы методологии анализа кросскультурных взаимодействий* (науч. ред. проф. М.А. Можейко). Минск, РИВШ. 404 с.
- Беспамятных Н.Н. 2010. «Пограничные исследования»: генезис, эволюция, перспективы. — *Народы, культуры и социальные процессы на пограничье*. Гродно: ГрГУ. С. 12–15.
- Бляхер Л.Е. 2005. Региональная самоидентификация и трансграничные практики на Дальнем Востоке. — *Пространственная экономика*. № 1. С. 117–132.
- Бреский О., Бреская О. 2008. *От транзитологии к теории пограничья. Очерки деконструкции концепта «Восточная Европа»*. Вильнюс: ЕГУ. 336 с.
- Географические границы. Сборник статей* (под ред. Б.Б. Родомана и Б.М. Эжкель). 1982. М.: Изд-во МГУ. 120 с.
- Грищенко А.А., Крылов М.П. 2012. Этнокультурный градиент: региональная идентичность и историческая память в соседних районах России и Украины. — *Культурная и гуманитарная география*. Т. 1. № 2. С. 126–140.
- Гудков Л.С. 2004. *Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 годов*. М.: Новое литературное обозрение. 816 с.
- Дыбковская А., Жарын М., Жарын Я. 1995. *История Польши с древнейших времен до наших дней* (под ред. А. Сухены-Грабовской и Э.Ц. Круля). Варшава: Научное изд-во ПВН. 381 с.
- Дьяконов И.М. 2010. *Пути истории*. М.: КомКнига. 384 с.
- Идентичность и география в постсоветской России. Сборник статей*. (науч. ред. М. Бассин, К.Э. Аксенов). 2003. СПб: Геликон плюс. 270 с.
- Каганский В.Л. 2014. Ареальная парадигма пространственной идентичности: основания, пределы, выход за пределы. — *Вестник Пермского научного центра*. № 5. С. 10–19.
- Крылов М.П. 2010. *Региональная идентичность в Европейской России*. М.: Новый хронограф. 237 с.
- Кувенева Т.Н., Манаков А.Г. 2003. Формирование пространственных идентичностей в порубежном регионе. — *Социологические исследования*. № 7. С. 77–89.
- Кушнер (Кнышев) П.И. 1951. *Этнические территории и этнические границы*. М., Изд-во АН СССР. 280 с.
- Назукина М.В. 2007. Граница в дискурсе идентичности региональных сообществ России. — *Вестник Пермского университета. Серия «Политология»*. № 1. С. 11–17.
- Народы, культуры и социальные процессы на пограничье*. 2010. Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы. 417 с.

Российско-украинское пограничье: двадцать лет разделенного единства. 2011. Под ред. В.А. Колосовой, О.И. Вендиной. М.: Новый хронограф. 352 с.

Тишков В.А. 2009. *Три карты.* Доклад на пленарном заседании IX Конгресса этнографов и антропологов России. 2–5 июля 2009. Оренбург: Изд-во ОПГУ. С. 5–11.

Чижилова Л.Н. 1988. *Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционно-бытовой культуры.* М.: Наука. 256 с.

Шульце Х. 2004. *Краткая история Германии.* М.: Весь Мир. 256 с.

Identities, Borders, Orders: Rethinking International Relations Theory. 2001. (M. Albert, D. Jacobson, Y. Lapid eds.). Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 349 p.

Sahlins P. 1989. *Boundaries: The Making of France and Spain in the Pyrenees.* Berkley, CA: University of California Press. 351 p.

Фронтирная идентичность¹

Е.В. Морозова

Ключевые слова: фронтир, граница, приграничная идентичность, американский фронтир, сибирский фронтир, кавказский фронтир, сетевой фронтир, адаптация, трангрессия, фронтирный тип личности.

Фронтирная идентичность — особый вид пространственной идентичности, характерной для зоны динамичной, подвижной границы. В процессе её формирования происходит постепенная конвергенция старых, «материнских» идентификационных признаков и новых, связанных с адаптацией к неизвестному пространству и межкультурной коммуникацией с его обитателями. Результатом эволюции фронтирной идентичности может являться формирование новой социальной общности, обладающей собственной идентичностью.

Для «фронтирного типа личности» характерны синкретическое видение реальности, нетерпимость к жесткой регламентации и организации жизни, открытость инновациям и другие черты. Основные характеристики социума фронтира — спонтанная социальная организация, становление новых социальных институтов, приверженность населения своей территории, установление местных законов, широкое участие в различных социальных объединениях и др. [Баева 2015].

Как показывает опыт изучения фронтиров (американского, канадского, австралийского и новозеландского, сибирского, кавказского и др.), фронтир-

¹ Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 15-03-00339 «Фронтир сетевого общества как пространство политического взаимодействия».

ная идентичность становится системообразующим элементом национальной (идея Aussie в Австралии) или региональной (сибирское областничество) идентичности.

Фронтирная идентичность относится к группе пространственно-территориальных идентичностей и обладает как общими с ними чертами, так и явными особенностями, выделяющими её в общем ряду. Наиболее близкое по содержанию понятие — приграничная идентичность, возникающая благодаря разности культурных потенциалов граничащих территорий и взаимодействию соответствующих культур [Крылов 2011: 149]. Первый вопрос, который нам необходимо решить, вводя термин «фронтирная идентичность», — обозначить различие понятий «граница» и «фронтир». Граница выражает статику, она фиксирована, а чаще всего и демаркирована. Фронтир динамичен, он является зоной особых социальных условий и приводит к формированию нового сообщества, это мир диффузный и проницаемый. Фронтир — пространство выбора. «Речь идет о выборе в первую очередь образа жизни: это граница, за которой привычный образ жизни невозможен, или полоса пространства, где он почти невозможен» [Замятина 2007: 176]. Важнейший структурный элемент фронта — состояние неустойчивого равновесия.

В научном контексте концепция фронта была предложена в середине XIX века американским историком Фредериком Джексоном Тёрнером². Его книга «Фронтир в американской истории» опубликована на русском языке в 2009 году [Тёрнер 2009]. В понимании автора фронтир означал границу освоения континента, которая непрерывно перемещалась в ходе территориальной экспансии. Именно эта граница и её особенности, по мнению Тёрнера, сформировали цивилизационное своеобразие страны, стали воплощением эгалитарного мифа, социокультурным архетипом американской национальной ментальности. «В ней прочно укоренилось то представление, что каждый индивидуум должен иметь и имеет возможность преодолевать жизненные “фронтиры”» [Согрин 2009: 8].

Если говорить о России, то сибирский, кавказский, нижеволжский, северный фронтиры — это исторические примеры динамичного движения в направлении еще не освоенных, не присоединенных территорий.

Интерпретации последователей Тёрнера уходят от понимания пространства как земной «тверди», равно как и сама земля перестает быть основным фактором производства по мере развития общества. При современной постановке исследовательских проблем фронтир не ограничивается значением территориального локуса, это — ландшафтный феномен, «процесс и результат социального конструирования реальности, в связи с чем его представленность имеет непосредственное отношение к ментальной сфере» [Басалаева 2012: 47].

² В 1863 году Ф.Дж. Тёрнер выступил с докладом на заседании Американской исторической ассоциации, а в последующие десятилетия развивал эту концепцию, без которой невозможно представить сегодня осмысление истории США.

Одной из основных характеристик фронта является новый тип личности, совокупность идентификационных признаков которого и может рассматриваться как фронтальная идентичность. Формирование этой идентичности проходит несколько этапов, соотносящихся с периодизацией динамики самого фронта. Исследователи, представляющие астраханскую школу изучения фронта, определили эти этапы как предфронт, собственно фронт и постфронт [Романова 2012].

На первом этапе (условно назовём его ностальгическим) происходит перенос и трансформация социализационных правил, принятых в «старом» обществе». Возникает зачастую гипертрофированное чувство «особой части целого». В произведениях Т. Вулфа (характерно название самого известного его романа — «Домой возврата нет») отражается одна из сторон культурно-исторической и социально-психологической проблемы «фронта» — тема невозможности «возврата назад», к прежней жизни [Агеев: 188]. Не все могли прижиться на новых землях, и практически на всех фронтах возникает феномен «возвращенчества»: так, например, из Аргентины в период между 1857 и 1914 годами вернулись на старую родину 43% европейских эмигрантов. Основной причиной становится депрессия, обусловленная дискомфортом и неустроенностью жизни и усугубленная завышенными ожиданиями.

На втором этапе (адаптационном) включаются мощные механизмы приспособления и трансгрессии³. Под фронтальной трансгрессией понимается заимствование многих норм, которые, не будучи нормативными для культуры объекта, воспринимаются им как более подходящие в новом социальном пространстве [Романова 2012]. О таком явлении (естественно, без употребления термина) писал и Ф. Тёрнер, фиксируя состояние западного человека, который, оказавшись один на один с дикой природой, внезапно осознает себя в новом состоянии [Тёрнер 2009: 117]. Если первые американские поселенцы действовали и мыслили как европейцы, то в результате приспособления к условиям пограничной жизни начали формироваться черты их национального своеобразия. Ф. Купер ярко показал в своих романах, как европеец, приспосабливаясь к условиям фронта, в частности, перенимая навыки индейцев, превращался в американца.

В условиях сибирского фронта «другие» (а ими были как русские из Европейской России, так и «коренные» сибирские народы) не воспринимались как «чужие», необходимо было найти разумный компромисс на этом поле разных идентичностей, не разрушая их совсем [Ремнёв 2011]. Народоволец С. Елпатьевский дал такой портрет русского, давно осевшего в Сибири: «Среди разноплеменных, разновёрных людей... он не знает, не чувствует разделительных граней — религиозных, национальных; он безграничный, внациональный, он сибиряк, он только областник. Он не по-русски — реже и менее усердно

³ *Трансгрессия* — термин М. Фуко, буквально означающий «выход за пределы», переход разумного субъекта от возможного к невозможному. Трансгрессия — это пространство перехода от одного фиксированного состояния к другому.

молится, не по-русски ругается и о пришедших из-за Урала говорит “он российский”», вкладывая в наименование скорее уничижительный, чем констатирующий смысл [Дутчак 2013: 202–203]. В обстоятельствах длительного сосуществования со старожилами выходцы из Европейской России при благоприятных условиях принимали не только модели адаптивного поведения, но и некоторые элементы мировоззренческой картины, становясь, в конечном счете, сибиряками, носителями сибирской региональной идентичности.

Характеристику первопроходцев кавказского фронта одним из первых дал М.Ю. Лермонтов в очерке «Кавказец» (1841). Первое, что отмечает Лермонтов в характеристике «кавказца», — это его «промежуточность», нахождение в состоянии «между». Будучи этническим русским, «кавказец», тем не менее культурно ориентирован на Кавказ. «Кавказец» заимствует вестиментарную (т.е. связанную с одеждой) и алиментарную (связанную с едой, питанием) культуру у «аборигенов», т.е. у кавказских этносов.

Наконец, на третьем этапе, когда фронтальная зона становится частью общего социального и политического пространства, а сам фронт уходит вперед, многие трудности самоидентификации остаются в прошлом, завершается формирование особой идентичности, которая становится ключевым элементом общей идентичности освоенной территории (американцы, сибиряки, камчадалы, целинники и т.д.). Тёрнер подчёркивает, что результатом государственного и общественного строительства явилось не примитивное копирование европейского опыта, не развитие англо-саксонских традиций, как в течение долгого времени считалось в американской исторической науке, а именно рождение собственного уникального американского продукта. «Лесные вырубки, расчищенные под жилище и пашню, стали питомниками, где воспитывался американский характер» [Тёрнер 2009: 178].

«Ведущую роль в процессах консолидации переселенцев сыграло осознание себя в качестве принципиально новой — русско-сибирской общности» [Дутчак 2013: 46–48]. О том, что она действительно сформировалась, не была мифом и имела узнаваемые черты, свидетельствовали впечатления внешних наблюдателей. Первыми психологические и культурные особенности этой общности отразили декабристы, объяснив их отсутствием помещичьего землевладения и крепостного права.

Позже возникла и получила распространение концептуально оформленная идея, сходная с тернеровской идеей о Западе как месте рождения американской демократии: сибиряки — это особый народ, не знавший крепостного права, и поэтому — самый искренний, свободолюбивый, наименее восприимчивый к политическому гнету и неподатливый к экспансии чужеродной морали и культуры [Агеев 2005: 191]. Результатом стало формирование идентификационной модели с высокой степенью устойчивости. «С одной стороны, убежденность в самодостаточности помогала выжить в экстремальных обстоятельствах XX в. С другой стороны, культивирование культурной связи с Россией объективно увеличивало глубину “коллективной памяти” недавно возникшего регионального сообщества и делало его выживание осмысленным.

Вплоть до недавнего времени это позволяло Сибири оставаться территорией стабильной, с сильными центристскими тенденциями» [Дутчак 2013].

Фронт «выращивает» новые, ранее не существовавшие идентичности. На протяжении длительного времени ценности, настроения, социальные установки и картина мира населения бывшей зоны фронта могут отличаться от тех, которые присущи большинству населения⁴.

Исследователи используют эвристический потенциал теории фронта при изучении пространств разных типов. В середине XX века, после окончания второй мировой войны, два «фронта» — фронт американского влияния и фронт влияния советского — вошли в соприкосновение и конфронтацию не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в Европейско-атлантическом. Сформировалась геополитическая идентификационная парадигма, в которой американский и российский «фронты» проявляются как атлантизм и евразийство [Агеев 2005: 20–21]. Арктический фронт формирует все более привлекательный на российском рынке труда урбанистический и динамично развивающийся макрорегион, своего рода «северное Эльдorado», каковым его часто называют в зарубежных СМИ. Высокий миграционный оборот населения в Арктике ведет к тому, что переселенцы несут с собой свои «магистральные» городские культуры, новые социальные нормы и технологии управления, в то время как традиционные северные этносы вынуждены экстренно адаптироваться к де-факто изменившимся внешним условиям своего существования [Российская Арктика... 2016]. Под сетевым фронтом понимается подвижная граница пространства контакта, взаимовлияния и взаимопроникновения социальных и культурных практик сетевого общества и предшествующих цивилизационных социальных и культурных практик [Морозова и др. 2016]. Ставший реальностью сетевой фронт стал пространством конструирования сетевой идентичности — отождествления человеком (пользователем) себя с той или иной группой, созданной в сети, виртуальной самопрезентации.

Мифологизация фронта и в современных социально-политических условиях становится мощным инструментом политической коммуникации и мобилизации. «Фронтное воображение», «предопределение судьбы» и иные, связанные с Западом констелляции формировали ценностно ориентированное поведение, которое, в отличие от поведения спонтанного, обладает мощными креативными свойствами [Агеев 2005: 305]. Недаром образ фронта стал основой успешной избирательной кампании Дж. Кеннеди. Это подтверждает правоту Ф.Дж. Тёрнера, который считал, что «Запад в конечном счете является не регионом, а формой общества... Такое применение данного термина внезапно вводит в новую окружающую среду, открывает новые

⁴ Проведение Всероссийской переписи населения 2010 года обнаружило на территории Сибири настроения, вызвавшие озабоченность властных структур и экспертов. Включение в перечень ответов о «национальной принадлежности» варианта «сибиряк» и призыв Интернет-акции «Мы — сибиряки» воспользоваться правом самоопределения показали, как много для ее жителей значит собственная номинация [Эксперт-Сибирь... 2011, с. 11–17].

возможности, разбивает оковы заскорузлых привычек, и в жизнь врываются новые виды деятельности, новые направления развития, новые институты и новые идеалы... Подлинный "Запад" уходит на новый фронт, а там, где он был перед этим, возникает новое общество... В самом себе оно несет устойчивые относительные черты, остающиеся от его опыта развития в условиях фронта» [Тёрнер 2009: 177].

Фронт является частью современного российского социально-политического дискурса. Портал «Сибирский фронт» определяет свою миссию как продвижение задачи форсированного развития экономики и социокультурной сферы в макрорегионе Сибирь как условия развития России в целом, генерацию новых идей и перспективных решений для запуска и поддержки процессов развития и восстановления образа Сибири как фронта — территории нового освоения, где разворачивается движение в будущее, где создаются новые возможности для России и мира. Бывший в 2012 году губернатором Краснодарского края А.Н. Ткачев, обосновывая необходимость введения казачьих дружин, говорил о фронте с республиками Северного Кавказа.

Миф о фронте не утратил идентифицирующей и конструирующей функции в современном политическом процессе — как на фронтных территориях современной России, так и во всех странах, где процессы постепенного освоения территории стали рубежными страницами истории. Процессы неконтролируемой миграции, с которыми столкнулось европейское сообщество в последние два года, дадут новый толчок к современным интерпретациям теории фронта как в ее социокультурном, так и в ее первоначальном, «географическом» смысле.

Литература

- Агеев А.Д. 2005. *Сибирь и американский Запад: движение фронтов*. М.: Аспект-Пресс. 334 с.
- Басалаева И.П. 2012. Критерии фронта: к постановке проблемы. — *Теория и практика общественного развития*. № 2. С. 46–49.
- Дутчак Е.Е., Кашпур В.В. 2013. «Русский сибиряк», или парадоксы региональной идентификации. — *Общественные науки и современность*. № 4. С. 116–129.
- Замятина Н.Ю. 2007. Норильск — город фронта. — *Вестник Евразии*. № 1. С. 167–192.
- Крылов М.П. 2011. Приграничная идентичность. — *Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т.* М.: РОССПЭН. Т. 1: Идентичность как категория политической науки. С. 147–154.
- Морозова Е.В., Мирошниченко И.В., Рябченко Н.А. 2016. Фронт сетевого общества. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 60. № 2. С. 83–97.
- Немировская А.В., Фoa P. 2013. Социокультурные особенности фронта России. — *Социологические исследования*. № 4. С. 80–88.
- Панарина Д.С. 2010. Фронт как один из факторов и мифов американской истории. — *Вестник Московского университета. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация*. № 4. С. 80–88.
- Ремнёв А.В. 2011. Национальность «сибиряк»: региональная идентичность и исторический конструктивизм XIX в. — *Полития*. № 3 (63). С. 109–128.
- Романова А.П. 2016. Фронтмен, охотник, воин. — *Journal of Frontier Studies*. № 1. С. 67–79.

Романова А.П., Якушенков С.Н. 2012. Фронтирная теория: новый подход к осмыслению социально-политической и экономической ситуации на Юге России. — *Инноватика и экспертиза*. № 2. С. 74–80.

Российская Арктика в поисках интегральной идентичности (отв. ред. О. Б. Подвинцев). 2016. М.: Новый хронограф. 208 с.

Согрин В.В., Троицкая Л.М. 2009. От редакторов. — Тёрнер Ф.Дж. *Фронтир в американской истории*. Москва: Весь Мир. С. 6–11.

Тёрнер Ф.Дж. 2009. *Фронтир в американской истории*. Москва: Весь Мир. 304 с.

Якушенков С.Н. 2014. Люди фронта. — *Каспийский регион*. № 1 (38). С. 306–308.

Baeva L.V. 2015. South-Russian and Siberian Frontier: Analogies and Specific Character. — *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*. Vol. 8. No 5. P. 994–1002.

Сетевая идентичность

Л.А. Фадеева

Ключевые слова: сетевые сообщества, виртуальная самопрезентация, сетевая коммуникация, социальные сети.

Сетевая идентичность — отождествление человеком (Интернет-пользователем) себя с той или иной группой, созданной в сети; виртуальная самопрезентация. С этой позиции Интернет оценивается исследователями как среда не столько информационная, сколько «самоидентификационная» [Белинская, Жичкина 2000]. Сетевая идентичность является отражением множественности самоидентификаций современного человека и усиливает такую множественность в контексте виртуальной коммуникации. В то же время сетевую идентичность можно рассматривать и как разновидность пространственной идентичности, имея в виду виртуальное пространство информационно-коммуникационных потоков как среду и одновременно как ориентир самоидентификации. Параллельно с сетевой в качестве синонимов используются понятия виртуальной, мобильной, электронной, онлайн-овой, кибер-идентичности [Мартьянов 2014: 152].

Понимание сетевой идентичности разрабатывалось первоначально с акцентом на то, что в виртуальной сети индивид получает возможность экспериментировать, создавать Я, отличающееся от реальности, осуществлять желания, недостижимые для человека в повседневной жизни: о силе, могуществе, понимании (Дж. Сулер), о разрушении (Б. Бекер), о смене пола (Рейд, Серпентелли). Некоторые исследователи связывают создание виртуальной

личности с «размыванием» реальной социальной идентичности человека, созданием особых сетевых норм и иерархий [см. Белинская, Жичкина 2011]. Формированию сетевой идентичности, отличающейся от реальной жизни, способствуют анонимность коммуникаций в сети, использование «ников», «аватарок». Новые идентичности легко сформировать, причем сразу несколько отличающихся друг от друга и даже, казалось бы, несовместимых. При этом большинство интернет-пользователей (86% по данным исследования американского Центра изучения общественного мнения Pew Research Center¹) предпринимали целенаправленные усилия для того, чтобы удалить или скрыть свои виртуальные «следы» и обеспечить собственную анонимность.

Анализ сетевой идентичности в социальных науках сосредоточен на поисках ответа на вопрос: почему человек создает идентичность, отличающуюся от реальной? В таком контексте сетевая идентичность рассматривается как отражение множественности идентичности в современном мире, способ осуществления недостижимых желаний, выражение деструктивных желаний, испытание нового опыта, инструмент манипулирования другими людьми [Cultures of internet 1996; A Network Self: 2011]. Особое внимание психологов привлекает виртуальная «смена пола» при создании сетевой идентичности. Уже сейчас «практика развития идентичностей показывает, что для многих современных индивидов принадлежность к сетевым группам является более реальной, чем принадлежность к тем группам в реальном мире, в которые их включают социологи» [Римский 2009]. В то же время необходимо учитывать, что сетевая коммуникация зарождается как «голод сообщества», «жажда общности», последовавшая вслед за дезинтеграцией традиционных сообществ по всему миру [Rheingold 2000]. Помимо единичной коммуникации между индивидами социальные сети создают возможность объединяться в группы и *сообщества*. Кроме того, вступая в группу из разных личных соображений и поддерживая постоянную виртуальную коммуникацию с участниками данной группы (со многими — одновременно), люди формируют свою и усваивают определенную идентичность [Белобородов 2004].

Стремительное появление самых разных акторов политико-коммуникативного взаимодействия во многом объясняется доступностью информационных технологий общения и упрощенной процедурой агрегирования (а впоследствии и артикуляции) разрозненных интересов. Посредством блогов, форумов, политических сайтов, социальных медиа и т.д. происходит формирование сообществ, обособленных групп интересов и разнообразных сетей, которые могут стать акторами коллективного действия, нацеленными на реализацию информационного влияния в сетевом ландшафте и за его пределами.

В отношении оценки развития Интернета и сопутствующего ему процесса создания сетевых идентичностей есть и оптимисты, и пессимисты. Первые полагают, что сетевые коммуникации помогают сформировать сетевые сооб-

¹ См.: Anonymity, Privacy and security online. PewResearch Center Report. September 5, 2013. Доступ: <http://www.pewinternet.org/2013/09/05/anonymity-privacy-and-security-online/>.

щества независимых и свободно мыслящих граждан даже в тех обществах, где существуют ограничения свободы. В таком случае сетевая идентичность укрепляет и усиливает идентичность гражданскую. Пессимисты полагают, что сетевые коммуникации и идентичности облегчают манипулирование людьми со стороны власти и различных структур недемократического толка. Во многом политическая активность тех или иных сил в Сети зависит от национально-государственного политического контекста, от характера политического режима. Но, как показывает практика, активнее сетевую идентичность формируют радикальные и экстремистские силы, ограниченные в реальном процессе нормативно-правовыми рамками [Terrorism and the Internet 2010]. Неслучайно в большинстве западных (и незападных) стран созданы специальные аналитические отделы, чьей задачей является отслеживание сетевых коммуникаций представителей террористических групп. Отсюда же и усилия государства по регламентации онлайн-практик и коммуникаций.

Дифференциация между оптимистами и пессимистами существует и в отношении других родившихся в Сети феноменов — электронного правительства, электронной демократии, делиберативных площадок [Мирошниченко 2013]. Оптимисты убеждены, что электронные коммуникации меняют контент, вторые уверены в том, что лишь изменение реальных политических институтов может способствовать демократизации. В социальных сетях создаются группы поддержки или оппозиции политической системе, соответствующие существующим в реальности, либо сугубо «виртуальные». Первые отличаются тем, что сетевая идентичность и реальная политическая идентичность их участников совпадают, они имеют определенную систему политических взглядов и ценностей. Вторые же объединяются только в сети по конкретным поводам, используя сетевые технологии; ярким примером последнего времени является размещение тэгов «Je suis Charlie» или раскрашивание аватарок в цвета французского флага в связи с террористическими актами во Франции в январе и ноябре 2015 года. Впрочем, сразу вслед за идентификацией сторонников и сочувствующих произошло сплочение в сети тех, кто стал приписывать им чуждые или ложные политические и культурные ценности.

Сетевая идентичность и ее манифестации могут носить как сугубо политический (организация протестной гражданской активности, например, борьбы со злоупотреблениями ТНК через международную сеть Avaaz), так и неполитический характер (флэш-мобы). Особый интерес в этом контексте представляет такое явление, как хактивизм. Оно сочетает использование хакерских технологий и методов деятельности (компьютерные атаки, рассылка вирусов, блокировка почтовых ящиков и т.п.) с протестной деятельностью, направленной против конкретных организаций и лиц [Морозова 2011]. Такая активность может носить сугубо коммерческий характер, но может быть организована и во имя политических целей [Новикова 2013]. Известны виртуальные сидячие забастовки как формы гражданского неповиновения. Политические цели

присутствуют в организации деятельности «анонимов» (Anonymous), сетей Wikileaks и Rusleaks, представители которых позиционируют себя как борцов с коррупцией. В российском сетевом пространстве выделяются сайты гражданских инициатив («С миру по нитке», «Непофигизм», «Svem.ru», Change.org»), проекты, инициированные общественностью с целью контроля за властью (РосПил, РосЯма, РосЖКХ и пр.), сайты делиберативной демократии и т.д.

Сетевые сообщества, нередко именуемые «электронным гражданским обществом» [Буренко, Бронников 2012], могут выступать в качестве ресурса политической борьбы и претендовать на роль акторов политического процесса, поскольку Интернет предоставляет обширный мобилизационный арсенал. Этот арсенал впервые был масштабно использован во время так называемой «арабской весны» 2011 года, затем в ходе массового протестного движения «За честные выборы» в России в 2011–2012 годах. В ответ прогосударственные структуры активизируют усилия по формированию альтернативных сетевых сообществ, используя интернет-технологии мобилизации своих сторонников: «государство пришло в освоенное сетевое пространство и распространило там свое влияние» [Морозова 2016].

В противовес хактивизму складывается слактивизм («slacktivism» [Morozov 2011]), под которым понимается имитация участия и получение удовлетворения от мнимой активности в виде «репостов» и «лайков», подписания электронных петиций, но без желания и готовности выступить в защиту гражданских инициатив. Зигмунт Бауман по этому поводу высказывается так: «Настолько легко добавить или удалить друзей в социальных сетях, что человек утрачивает реальные социальные навыки. Большинство людей использует социальные медиа не для того, чтобы объединиться или расширить горизонты, а напротив, чтобы ограничить себя комфортной зоной, где единственные звуки, которые они слышат, это эхо их собственного голоса». Вопрос идентичности, по его словам, изменился: вместо того, чтобы жить с тем, с чем ты рожден, люди стремятся для самоидентификации и утверждения своего Я создавать свои собственные сообщества [Bauman 2016]. Такое явление получило название сетевого нарциссизма.

Несмотря на указанные негативные эффекты сетевой активности, в целом она способствует «воспроизводству механизмов ризомной сетевой самоорганизации граждан» [Мирошниченко: 2013]. Конструирование сетевой идентичности усложняется по мере формирования «подвижной границы сетевого общества — сетевого фронта» [Морозова, Мирошниченко, Рябченко 2016].

Немаловажный негативный эффект сетевой идентичности создается с помощью фейков в медиaprостранстве, когда создаются поддельные виртуальные страницы для диффамации оппонентов, выкладывания порочащего их контента, создания негативного имиджа, распространения ложной информации. Это подрывает присущую оптимистам веру в открытость и достоверность распространяемой в сетевом пространстве информации.

Литература

Белинская Е.П., Жичкина А.Е. 2000. Современные исследования виртуальной коммуникации: проблемы, гипотезы, результаты. — *Образование и информационная культура: Социологические аспекты. Труды по социологии образования*. Том V. Выпуск VII. (под ред. В.С. Собкина) М.: Центр социологии образования РАО. С. 395–430.

Белинская Е.П., Жичкина А.Е. 2011. Пространство, населенное ДРУГИМИ. — *Киберпсихология. Немного о психологии создателей и жителей Интернета*. Эл. ресурс. Доступ: http://ru-cyberpsy.blogspot.ru/2011/02/blog-post_2592.html (проверено 09.03.2017).

Белобородов С.Г. 2004. Феномен виртуальных сообществ в киберлибертарианской риторике. — *Интернет и современное общество: труды VII Всероссийской объединенной конференции*. Санкт-Петербург, 10–12 ноября 2004 г. Санкт-Петербург, 10–12 ноября 2004 г. СПб, изд-во Филологического ф-та СПбГУ. С. 162–164.

Буренко В.И., Бронников И.А. Электронное гражданское общество: иллюзии или реальность (зарубежный опыт и отечественная практика. Политический аспект). — *Знание. Понимание. Умение*. № 1. С. 44–51.

Мартыанов Д.С. 2014. Сетевая идентичность: трансформация феномена и подходов к изучению. — *Политическая экспертиза. ПОЛИТЭКС*. Том 10. № 4. С. 142–160.

Мирошниченко И.В. 2013. *Сетевой ландшафт российской публичной политики*. Краснодар: Просвещение-Юг. 295 с.

Морозова Е.В., Мирошниченко И.В., Рябченко Н.В. 2016. Фронтир сетевого сообщества. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 2. С. 83–97.

Морозова Е.В. 2011. Сетевые сообщества: формы политического протеста. — *Экстраординарность, случайность и протест в политике: тематическое и методологическое поле сравнительных исследований*. Под ред. Е.В. Морозовой, Л.В. Сморгунова. Краснодар: КубГУ. С. 307–312.

Новикова С.А. 2013. Политическая идентичность сетевых акторов Интернет-пространства: методологические аспекты. — *PolitBook*. № 2. С. 68–75.

Римский В.А. 2009. Понимание идентичности. — *Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии*. № 1 (99). С. 86–96.

Anonymity, Privacy and Security Online. 2013. — *Pew Research Center Report*. September 5.

Bauman Z. 2016. Social Media are a trap. — *El Pais*. 25.01.

Cultures of internet: Virtual spaces, real histories, living bodies. 1996. L.: Sage Publications. 208 p.

Morozov E. 2011. *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom*. New York: Public Affairs. 428 p.

A Network Self. *Identity, Community and Culture on Social Network Sites*. 2011. Ed. by Z. Paparicharissi. N.Y.: Routledge. 328 p.

Rheingold H. 2000. *The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier*. Cambridge: MIT Press. 447 p.

Terrorism and the Internet. 2010. Ed. by H.-L. Diemel et al. Amsterdam, Berlin, Tokyo, Washington: IOS Press. 223 p.

Социокультурный и политический ландшафт

А.А. Гриценко

Ключевые слова: ландшафт, культурный ландшафт, политический ландшафт, территориальная идентичность, историческая память, политика памяти, политика идентичности, политическая география, граница.

Культурный ландшафт и политический ландшафт — сложносоставные понятия, которые используются для обозначения существующего многообразия культурных и политических форм организации жизнедеятельности общества. Понятия апеллируют к реальному миру объектов и явлений и одновременно к их социальной составляющей. Они отражают тесную взаимосвязь между процессом освоения и обустройства индивидами, социальными группами, сообществами («своего») жизненного пространства (процессом относительно устойчивым и долговременным), с одной стороны, и процессом наполнения его смысловым и символическим содержанием (процессом более изменчивым и ситуативным), с другой стороны. Оба процесса лежат в основе всякого культурного и политического ландшафта, в контексте которого формируется территориальная идентичность населения. Условия локализации, (гео)политические и этнокультурные процессы, индивидуальный и коллективный исторический опыт во многом определяют характер и особенности культурных и политических ландшафтов.

Следует отличать понятие «ландшафт», используемое в публицистической литературе, публицистике и повседневной коммуникации, от его академического *vis-à-vis*. Первое преимущественно корреспондирует с внешней, визуальной и пейзажной составляющей той или иной территории, нередко оцениваемой на основе субъективных эстетических (художественных), нормативно закреплённых или стереотипных представлений. Второе носит теоретико-методологический характер. В научный оборот оно было введено в качестве инструмента познания окружающей среды для репрезентации уникальных сочетаний природных (природно-антропогенных) компонентов и их иерархических (вертикальных) и территориальных (горизонтальных) взаимосвязей, которые определяют состав, структуру и облик конкретных участков земной поверхности [Нееф 1974]. При выделении ландшафтов особенно учитывается его целостность. В конце прошлого столетия с его помощью были системно изучены закономерности сопряжённого размещения, динамики и изменчивости отдельных компонентов окружающей среды.

В общественно-научном дискурсе понятие ландшафта встречается в двух основных значениях; условно обозначим их «ландшафт-метафора» и «ландшафт-реальность». Ландшафт-метафора используется в качестве внепространственной категории для фиксации структурного разнообразия определенного общественно-политического явления (например, предвыборный ландшафт). В то же время ландшафт-реальность сохраняет основные естественно-научные положения относительно его целостности и территориальности и подразумевает географически локализованный ареал с выраженной контрастностью (уникальностью) или пространственной неоднородностью (мозаичностью) протекающих в нем общественно-политических процессов (например, мировой политический ландшафт или советский культурный ландшафт).

Наиболее разработанным пока остается понятие культурного ландшафта, которое впервые ввел в научный оборот О. Шлюетер [Schluetter 192]. После работ его последователя, американского ученого К. Зауэра [Sauer 1925] понятие получило широкую известность, хотя к тому времени его уже использовали именитые ученые на европейском континенте, например, П. Видаль де ла Блаш [Vidal de la Blache 1922] во Франции. Идеи этих ученых позже продолжили развивать К. Солтер [Salter 1971], К. Фен [Fehn 1971], Б. Верлен [Werlen 2000] и другие. Понятие культурного ландшафта сегодня часто используется утилитарно, в частности, ЮНЕСКО в деле охраны всемирного природного и культурного наследия, а также в архитектуре и градостроительстве [Колбовский 1999].

В отечественной практике появление в первой половине XX века понятия культурный ландшафт обычно связывают с именами Л.С. Берга, Ю.Г. Саушкина и Р.М. Кабо. Тогда под ним понимали скорее ландшафт природный, но освоенный человеком. В 1980-е годы понятие было во многом переосмыслено, и наряду с искусственными объектами в него стали включать информационную и духовную составляющую. К сегодняшнему дню сложилось три подхода к определению и пониманию культурного ландшафта — феноменологический, этнолого-географический (этнологический) и информационно-аксиологический. Данные подходы преимущественно развиваются профессиональными географами [см.: Веденин, Кулешова 2001; Культурный ландшафт... 2004; Поляризованная биосфера 2002; Каганский 2001; Туровский 1998, 2003; Калущков 2008; Стрелецкий 2004; Лавренова 2013].

Культурные ландшафты формируются людьми в процессе их жизнедеятельности и воплощаются во множестве артефактов и символических объектов: от архитектуры (городской и сельской, традиционной и современной) и землепользования, иконографии, фольклора и говорков до топонимики, мемориальных мест, музеев и граффити. Они несут в себе отпечаток традиции и исторического развития территории, этнокультурных и политических процессов, высокой и низкой культуры сообществ. Часть компонентов культурного ландшафта обладает инерционностью и относительной устойчивостью (например, письменность), другая — напротив (например, памятники

политическим лидерам). Культурные ландшафты не являются статичными. В них происходят плавные и резкие, стихийные и целенаправленные изменения, в значительной мере соответствующие динамике общественных процессов. Изменения выражаются в конструировании, забвении или физической утрате артефактов, а также в переосмыслении (модернизации) их символического значения.

Обычно трансформация в культурном ландшафте происходит синхронно с изменением в политическом ландшафте, отражающем (гео)политические процессы и характер политической культуры. Например, в 1990-2000-е годы на всем постсоветском пространстве прошла волна по переименованию советских названий городов и улиц, сносу старых памятников и установке новых. Появились новые «места памяти», символы и знаки (флаги, гербы, гимны), музеи, экспозиции, монументы и др. Р.Ф. Туровский [Туровский 1995] особо подчеркивает визуальность политического ландшафта. Однако на практике обычно подразумеваются именно незримые свойства политического ландшафта, выражающиеся в отличии политических интересов, ориентаций и стратегий у взаимодействующих субъектов, которые манифестируются в процессе их коммуникации, что существенно ограничивает применение понятия политический ландшафт *per se*.

Политизация культурного ландшафта — одна из стратегий, которая призвана укрепить / видоизменить историческую память и территориальную идентичность населения (от цивилизационной и национально-гражданской до региональной и локальной). Последние формируются с опорой на культурный и политический ландшафт, который выступает для них фоном и ареной, «естественным» окружением человека и способом его жизнедеятельности. Можно говорить, что составляющие ландшафт артефакты и символические объекты являются продолжением культуры сообществ и одновременно направляющими их самосознания. Поскольку ландшафт, идентичность и историческая память тесно переплетаются и взаимодополняют друг друга, то векторные изменения идентификационной матрицы сообществ (например, посредством реализации политики идентичности и политики памяти) также приводят к изменениям в культурном и политическом ландшафте. Процессы национально-государственного строительства на постсоветском пространстве и их последствия (в частности, в Украине и отдельных ее регионах) хорошо иллюстрируют отношения между политикой, ландшафтом и идентичностью.

Дифференциация культурных и политических ландшафтов обусловлена определением и установлением разнообразных социальных, этнокультурных и политических границ, которые рассматриваются в качестве их неотъемлемых атрибутов [Колосов 2003; Крылов, Гриценко 2013; Межевич 2003; Туровский 2003]. Границы маркируют отличия, которые получают определенную легитимность в идентичности и социальных практиках. Однако институализированные и ментальные границы, а также идентичность, культурный и политический ландшафт довольно часто не соответствуют друг другу, как в случае с реальными и воображаемыми границами, например, «Великой Венгрии»,

а также с присутствием венгерского населения и венгерских артефактов в украинском Закарпатье, которое дает части венгерского общества основания рассматривать его в качестве «своей территории». Также, например, проблемным остается вопрос о делимитации Европы, несмотря на значительные усилия представить ее исключительно странами-членами Европейского союза [Angelis 2011].

Современные темпы структурирования (этно)культурного и политического пространства, увеличение социальных и экономических градиентов и диспропорций, динамика (гео)политических процессов, рост числа государственных границ и разграничительных линий дают основания полагать, что в перспективе будет происходить лишь усложнение палитры отношений между ландшафтами и идентичностями, между политическими субъектами и территориальными сообществами.

Литература

- Веденин Ю.А., Кулешова М.Е. 2001. Культурные ландшафты как объект природного и культурного наследия. — *Известия РАН. Серия географическая*. № 1. С. 7–14.
- Каганский В.Л. 2001. *Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство*. М.: Новое литературное обозрение. 576 с.
- Калуцков В.Н. 2008. *Ландшафт в культурной географии*. М.: Новый хронограф. 320 с.
- Колбовский Е.Ю. 1999. *Культурный ландшафт и экологическая организация территории региона (на примере Верхневолжья)*. Дисс. на соиск. ученой степени доктора географических наук. Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского. 394 с.
- Колосов В.А. 2003. Новые государственные границы и идентичности в России (на примере российско-украинской границы). — *Идентичность и география в постсоветской России. Сборник научных статей*. СПб.: Геликон Плюс. С. 53–77.
- Крылов М.П., Триценко А.А. 2013. Саморазвитие культурного ландшафта как эвристический принцип. — *Вестник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Социологические науки*. № 23 (282). С. 186–205.
- Культурный ландшафт как объект наследия*. 2004. Под ред. Ю.А. Веденина, М.Е. Кулешовой. М.: Институт наследия; СПб.: Дмитрий Буланин. 620 с.
- Лавренова О.А. 2013. Междисциплинарное поле мысли: культурный ландшафт. — *Проблемы теоретической и гуманитарной географии: Сборник научных статей, посвященных 80-летию со дня рождения Б.Б. Родомана*. М.: Институт наследия. С. 209–249.
- Межевич Н.М. 2003. Идентичность: теоретические аспекты и пространственное содержание в условиях пограничных межэтнических разломов: на примере региона Ивангород-Нарва. — *Идентичность и география в постсоветской России. Сборник научных статей*. СПб.: Геликон Плюс. С. 78–113.
- Нееф Э. 1974. *Теоретические основы ландшафтоведения*. М.: Прогресс. 219 с.
- Поляризованная биосфера: Сборник статей (под ред. Б.Б. Родомана)*. 2002. Смоленск: Ойкумена. 336 с.
- Стрелецкий В.Н. 2004. Парадигмы геопространства и методология культурной географии. — *Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах*. М.: Институт наследия. С. 95–119.
- Туровский Р.Ф. 1998. *Культурные ландшафты России*. М.: Институт наследия. 210 с.

Туровский Р.Ф. 1995. Политический ландшафт как категория политического анализа. — *Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки*. № 3. С. 33–44.

Туровский Р.Ф. 2003. Соотношение культурных ландшафтов и региональной идентичности в современной России. — *Идентичность и география в постсоветской России. Сборник научных статей*. СПб.: Геликон Плюс. С. 139–173.

Angelis E. 2011. *The political discourse of the European Parliament, enlargement, and the construction of a European identity, 1962–2004. PhD Thesis*. L.: London School of Economics. 249 p.

Fehn K. 1971. Zum wissenschaftstheoretischen Standort der Kulturlandschaftsgeschichte. — *Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Munchen*. Bd. 56. S. 95–104.

Salter C.L. 1971. *The Cultural Landscape*. Belmont, Ca.: Duxbury Press. 281 p.

Sauer K. 1925. Morphology of Landscape. — *University of California. Publications in Geography*. No. 2. P. 19–53.

Schluetter O. 1920. Die Erdkunde in ihrem Verhaeltnis zu den Natur- und Geistwissenschaften. — *Geographische Anzeiger*. Bd. 21. S. 145–152, 213–218.

Vidal de la Blache P. 1922. *Principes de geographie humaine*. Paris: Armand Colin. 328 p.

Werlen B. 2000. *Sozialgeographie*. Bern-Stuttgart-Wien: Verlag Paul Haupt. 400 s.

Глава 32

СОЦИАЛЬНО-СТАТУСНЫЕ И РОЛЕВЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ

Социальная стратификация и идентичность

В.С. Мартьянов

Ключевые слова: национальное государство, классовая борьба, сословие, корпорация, средний класс, креативный класс, рантье, безработные, прекариат, когнитариат, андеркласс.

Социальная стратификация — динамический аспект социальной структуры общества, обусловленный неравным, дифференцированным доступом индивидов и социальных групп к дефицитным ресурсам и благам. **Социальная стратификация** представляет структуру общественного неравенства, которая может быть оценена в разных ценностных перспективах двояко: и как общественное благо, стимулирующее развитие, мобильность и выявление наиболее достойных, и как негативное явление, причина классового угнетения, эксплуатации, отчуждения и обострения разнообразных конфликтов.

Критерии выделения страт могут быть как объективными (институциональными), так и субъективными. Соответственно, коллективная идентичность страт может формироваться как на основе членства в группе по объективным критериям (происхождение, уровень дохода, пол, возраст и т.д.), так и по принципу самоотнесения людей к определенному классу, выделяемому на основании общих целей, ценностей, социального опыта, образа жизни и т.д. Последнее предполагает наличие классового сознания, групповых солидарных чувств или коллективной идентичности, позволяющей индивидам идентифицировать себя с чем-то большим, чем они сами [Радаев 1996]. Субъективное выделение коллективных идентичностей часто опирается на базовые механизмы противопоставления свои-чужие и враг-друг.

История человечества демонстрирует движение от закрытых к более открытым социальным стратам — рабство, касты, сословия, классы. В условиях кастовых и сословных механизмов социальной стратификации индивиды

и группы практически не могут изменить своего положения в обществе. Соответственно социальная структура общества, индивидуальная и коллективная идентичности людей неизменны, предзаданы и передаются в поколениях. Историческое появление и расширение рыночных обменов, формирование открытых экономических страт — классов — меняют принципы социальной стратификации. Расширяется диапазон социальной мобильности и влияния людей на свою собственную судьбу, они становятся субъектами выбора своей индивидуальной и коллективной идентичности. Сами классы, разделяемые экономическими факторами неравенства, являются более подвижными и изменчивыми, чем предшествующие страты. Модернизация приводит к общей трансформации механизмов социальной стратификации, связанной с движением от статусных принципов дифференциации групп на основании механической солидарности к контрактным группам, связанным органической солидарностью и широкими возможностями своих членов для перехода в другие страты в результате горизонтальной и вертикальной социальной мобильности. Механизмы социальных различий все сильнее определяются индивидуальными качествами, позволяющими стать членом той или иной открытой группы. Представляется, что теория идентичности в социальных науках во многом проистекает из развития субъективных концепций стратификации, в которых определяющее значение имеют самооценка и взаимное признание индивидов и их групп в более широком институциональном и историко-культурном контексте [Балибар 2004, Бурдьё 1993].

Базовые социологические модели стратификации нацелены на понимание принципов реального взаимодействия индивидов и социальных групп общества. Поэтому в них предпринимаются попытки выделить социальные страты, наиболее способные к согласованным коллективным практикам, выражающим собственные интересы и осознающим себя субъектами изменения социального порядка. Эти группы могут формироваться по экономическим, религиозным, этническим, идеологическим, профессиональным и иным основаниям или по их совокупностям. Однако стратификация общества может выполняться и в специализированных исследовательских целях. Например, по статистическим признакам, когда выделяемые страты имеют довольно слабую коллективную идентичность своих членов, механически объединенных по возрасту, полу, семейному положению и т.д.

Основные методологические традиции социальной стратификации современных обществ представлены марксистской и веберовской традициями.

Марксистская традиция связана с доминированием экономических факторов стратификации. Иерархия социальных страт возникает в зависимости от ценности располагаемых ими ресурсов на рынке (капитал, собственность, труд, образование, интеллект и т.д.). Базовым для объяснения общественного неравенства становится его деление на конфликтующие экономические классы, идентичность которых связана с ролью граждан и их групп в производстве и распределении общественного продукта. В процессе формирования индустриального европейского Модерна произошел серьезный переворот

в социальной структуре общества, определяемый появлением новых политических субъектов, сначала в лице буржуазии, а затем — рабочего класса. Историческая консолидация их коллективных интересов осуществлялась через пространственную концентрацию капитала и труда в городах и на фабриках, организацию политических партий и профсоюзного движения, будучи прямо сопряжена с деконструкцией сословной социальной структуры Старого порядка в пользу классовых обществ и машин демократии [Митчелл 2013].

Первоначальный сюжет конфликтующих социальных классов концептуально обогащается в позднейшем марксизме. П. Бурдьё отмечает динамический, подвижный характер экономических классов современного общества, при выделении которых важны не только объективные экономические критерии, но и габитус относимых к нему членов. Последние не всегда разделяют ту перспективу идентичности, к которой их относят внешние наблюдатели. Более тонко дифференцировать социальную структуру общества позволила концепция разных видов капитала, когда на выделение социальных страт и положение человека в обществе возрастающее влияние оказывает расположение им не только экономическим, но и культурным, социальным и символическим видами капитала [Бурдьё 1993]. В дифференцированном на самореферентные подсистемы обществе Модерна человек может одновременно и/или последовательно принадлежать к разным социальным общностям. Его сложносоставная идентичность превращается в совокупный динамический индекс положения в разных социальных пространствах. Общество позволяет существование автономных систем стратификации, каждая из которых имеет собственные основания для выделения индивидуальных и групповых идентичностей — культурные, профессиональные, символические, пространственные и т.д. В зависимости от сферы и уровня обобщения могут меняться и доминирующие критерии идентичности. Если на макроуровне социальной системы предпочтение отдается экономическим классам, то на более низких уровнях общества определяющими могут оказаться типы стратификации, связанные, например, с реципрокными идентичностями — семейными, соседскими, дружескими, территориальными и т.д.

Оперирование разными типами капитала способствует более многомерному и релевантному описанию механизмов социальной стратификации. При этом классы задают лишь общие рамки и возможности для совместной социальной деятельности людей, обладающих общими интересами, исходя из своего социального положения.

Веберовская традиция стратификации не отрицает важной роли экономических классов, но дифференцирует социальные страты по уровню доходов и/или потребления, социальному престижу (статусу) и доступу к власти [Вебер 1994]. Эта традиция подчеркивает важность культурных, внеэкономических факторов стратификации современных обществ. У.Т. Парсонса [Парсонс 2000: 359–385], Э. Гидденса [Giddens 1973], Р. Дарендорфа [Dahrendorf 1959], описывающих принципы социальной стратификации современных обществ, классовые конфликты перестают быть доминирующим способом объяснения

общественного неравенства. В дальнейшем это часто приводит к другой крайности, связанной с неоправданным и ситуативным дроблением общества на совокупность автономных меньшинств и микрогрупп. В результате складывается специфическая ситуация познания, когда обществоведы имеют дело либо с марксистскими макросоциальными обобщениями типа формаций и экономических классов, которые не столько объясняют, сколько идеологизируют социальную реальность, во многом утратив функции релевантной структуризации для позднемодерных обществ. Либо они имеют дело с методологическим дроблением общества на социальные микромиры, связанным с анализом локальной повседневности, использованием околотитулярных методов кейс-стади, разнообразных фреймов, ситуативно агрегированных групп (протестное движение, сетевые сообщества и т.д.), локальных и событийных идентичностей, которые плохо складываются в знание социальной структуры общества как такового.

Помимо основных экономических классов современного общества выделяются вторичные, промежуточные или маргинальные страты, идентичность которых обусловлена либо сходящими с исторической арены сословиями — аристократия, духовенство, рабовладельцы, либо только намечаемым в будущем современным развитием производительных сил и производственных отношений — креативный класс, прекариат, когнитариат, салиариат, нетократия, фрилансеры, дауншифтеры, класс менеджеров и т.п. Институциональное усложнение общества Модерна, изменение характера труда, смещение приоритетов от производительной к сервисной экономике, расширение сферы услуг и роли знания приводят к формированию более дифференцированных социальных групп, обладающих либо дискурсивно наделяемых элементами коллективной идентичности. При этом объективные критерии выделения этих групп остаются предметом перманентной дискуссии, обусловленной затруднениями репрезентации социальной онтологии текущей современности [Бауман 2002] или позднего Модерна с помощью социологических понятий и представлений раннего, индустриального Модерна. В обществе возникают новые страты, не связанные с идентичностью ранее доминирующих классов, появляются значимые группы населения, объединенные внеэкономической идентичностью. Фордистское большинство рабочего класса, занятого непосредственным производством, вытесняется сложносоставным большинством в виде белых воротничков или среднего класса, задействованного преимущественно в растущей сфере услуг [Постфордизм... 2015].

Возвышение среднего класса, во многом объясняемое задачами легитимации политического порядка, стало популярной методологической попыткой уйти от экономикоцентричной марксистской стратификации и классового подхода. Концепция нормативного доминирования среднего класса является объектом многочисленных статистических верификаций и встречных опровержений, и вместе с тем эмпирические данные свидетельствуют о том, что «средний класс может выступать опорой любого режима, что он идеологически нейтрален» [Киселев 2008]. Средний класс в контексте социального госу-

дарства стал аналогом престижной социальной нормы для большинства населения, отклонение от которой чревато маргинализацией, бедностью. Поэтому парадокс состоит в том, что численность граждан, субъективно идентифицирующих себя со средним классом как социальной нормой, обычно выше, чем его численность, выделенная по объективным признакам — уровню дохода, владению собственностью, наличием автомобиля, образованием, обладанием высокой квалификацией в своей области и т.д.

Глобальные трансформации продолжают менять ключевые принципы и факторы дифференциации социальной структуры. Пролетариат численно сократился, но не был вытеснен чем-то новым, не превратился во влиятельный утопический когнитариат — новый класс, занятый интеллектуальным трудом в обществе знания [Тоффлер 2004]. Несбывшейся утопией, по-видимому, останется и постиндустриальное общество как цель для всего человечества, а не только для стран центра капиталистической миросистемы. Доля занятых в экономике постоянно сокращается, а рост безработицы становится нормой. В 1960-е годы естественный уровень безработицы определялся в 34%, в начале XXI века речь идет об официальной норме безработицы в 10–12% рабочей силы. Более того, безработные перестают рассматриваться как резервная армия труда. В условиях замедления глобального экономического роста возникает глобально расширяющаяся страта рантье, основным источником существования для которых становятся различные гарантированные государственные пособия и/или рента с капитала, наличия гражданства или социального статуса и т.д. [Пикетти, 2015]. Все более популярны прогнозы об изменении модели социальной стратификации, связанные с концепциями рентного общества и рентного капитализма [Фишман, Давыдов 2015]. На фоне глокализации как параллельных процессов экономической глобализации и культурной фрагментации современных обществ все большее значение приобретают субъекты и факторы социальной стратификации, не связанные с экономическими классами и политической формой гражданской нации. Например, городская или космополитическая, профессиональная или корпоративная идентичность, основанная на выходящей за рамки трудовых и гражданских отношений лояльности индивидов и социальных групп к региональным, национальным и транснациональным субъектам.

Проблема роста невостребованного рынком труда особого класса безработных, зависимого уже не от своих способностей и профессиональных компетенций, а от возможностей получать разные социальные пособия и ренты, является лишь частью новейших структурных противоречий современных обществ. Формируется социальная группа из отчаявшихся, смирившихся и просто лишних работников, которая уже не является механической компиляцией временных безработных из разных слоев, а превращается в реальный класс со своими особыми интересами, менталитетом и образом жизни. Такие люди ищут другие способы обеспечить себе существование, прежде всего, через право на ренту от государства, вытекающую из их статуса гражданина, в обмен на лояльность.

Те же тенденции ведут к расширению доли неустойчиво занятых, или прекариата [Стэндинг 2014]. Попытки легитимировать современную стратификацию посредством апологии среднего класса оказались неудачными. Средний класс проявил себя не столько как субъект, сколько как пространство социальных изменений, связанное с противоречивой стратификацией разных, пересекающихся в тех или иных полях капитала социальных групп и индивидов, для которых труд и положение на рынке труда перестают быть основным способом идентификации, а борьба классов способом ее выражения. При этом вновь возникающие социальные группы являются скорее продуктом распада старых классов, а потому не обладают выраженной субъектностью и способностью претендовать на будущее лидерство. Наоборот, активизация политики идентичности в данном случае носит скорее вынужденный, компенсаторный характер. Она обосновывает политические притязания социальных групп, утративших привычные способы легитимации своих интересов и своего места в социальной структуре. Формирование новой идентичности во многом становится паллиативом утраченной субъектности, а контуры нового общества начинают определяться не социальными группами, несущими идеи и представления о новом обществе, а группами, являющимися результатом разложения привычного политического порядка конкурентной демократии и капитализма.

Таким образом, приостановка географической экспансии, технологическая революция и глобальное уплотнение конкуренции внутри капитализма создают умножающийся класс отверженных или лишних людей, не востребованных рынком труда. Последние в целях выживания пытаются добиться доступа к материальным ресурсам, в том числе через активизацию политики идентичности. Наиболее успешные в лоббировании группы, как правило, разного рода меньшинства, благодаря своей идентичности начинают получать права и привилегии, обеспечивающие им жизнь мелких, пассивных рантье. Часто это происходит в обмен на отказ от активных гражданских и экономических прав, например, права на труд, на участие в выборах и т.д. Однако большинство лишних групп пополняют ряды прекариата, суммирующего членов различных социальных страт в пространстве социального исключения, даже если последнее отчасти возмещено доступом к ренте. Проблема состоит в том, что рост таких пространств может со временем достигать критических значений, когда исключения могут стать принципиальным вызовом существующей социальной структуре [Пикетти 2015].

В условиях, когда доминирующая социальная стратификация общества на экономические классы, действующие в рынке, ослабевает, возникают новые социальные группы, порождаемые как действием, так и бездействием государства. Это группы, реконфигурирующие и опирающиеся на неэкономические факторы идентичности (раса, религия, этничность, гендер, язык, культура, география и т.д.), которые на некоторое время были отодвинуты на периферию социальной стратификации развитием капитализма. В естественных государствах (Д. Норт) и неопатримониальных обществах [Фисун 2010] можно

наблюдать ренессанс неэкономической, сословной стратификации, производимой на основании доступа к власти, социального статуса или престижа [Кордонский 2008]. В ситуации ослабления конкурентной модели капитализма подобный гибридный тип стратификации, объединяющий классово-рыночные и сословно-дистрибутивные принципы, может получить более широкое распространение в будущем.

Данная тенденция в силу исторических традиций особенно сильно проявлена в современной России, поскольку ни в сословной Российской империи, ни в советском обществе доминирующая система стратификации не была связана с экономическими классами. В советском обществе главными критериями стратификации социальных групп и образования соответствующих идентичностей в условиях огосударственной экономики были должность, профессия и место работы (ведомственная принадлежность), образующие основу социального статуса индивида [Заславская, Рывкина 1991]. Факторы экономического неравенства влияли на стратификацию значительно меньше, чем социальные ранги, получаемые социальными группами (ведомственными, профессиональными, отраслевыми) в силу участия в распределении власти, а, следовательно, и проистекающих от доступа к ней ресурсов [Радаев, Шкаратан 1996]. В условиях слабого рынка закономерно усиливаются традиционные внеэкономические факторы стратификации, которые приводят к доминированию в современной России ресурсной модели стратификации [Тихонова 2014: 245–248], связанной с поиском и закреплением социальными группами разного рода рент. Здесь стратификация воспроизводится как следствие непрекращающейся исторической деятельности возвышающихся и распадающихся социальных групп, направленной на доступ, контроль или передел разнообразных активов — рент, капиталов, власти и т.п. [Social Stratification... 2014].

Литература

- Балибар Э., Валлерстайн И. 2004. *Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности*. М.: Логос. 274 с. [Wallerstein I., Balibar E. *Race, Nation, Class: Ambiguous Identities*. London: Verso. 1991. 232 p.]
- Бауман З. 2002. *Индивидуализированное общество*. М.: Логос. 390 с. [Bauman Z. *The Individualized Society*. Cambridge: Polity. 2001a. 272 p.]
- Бурдые П. 1993. Социальное пространство и генезис «классов». — *Социология политики*. Москва: Socio-Logos. С. 55–97.
- Вебер М. 1994. Основные понятия стратификации. — *Социологические исследования*. № 5. С. 147–157.
- Заславская Т.И., Рывкина Р.В. 1991. *Социология экономической жизни. Очерки теории*. Новосибирск: Наука. 448 с.
- Киселев К.В. 2008. Миф о среднем классе: основания конструирования и политические функции. — *Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН*. № 8. С. 363–36.
- Кордонский С. 2008. *Сословная структура постсоветской России*. М.: Институт Фонда «Общественное мнение». 216 с.
- Митчелл Т. 2013. Машины демократии. — *Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре*. № 2. С. 168–199.

- Парсонс Т. 2000. Аналитический подход к теории социальной стратификации. — Т. Парсонс. *Структура социального действия*. М.: Академический Проект. С. 359–385. [Parsons T. *The Structure of Social Action*. Glencoe: Free Press. 1949. 817 p.]
- Пикетти Т. 2015. *Капитал в XXI веке*. М.: Ад Маргинем. 592 с. [Piketty T. *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press. 2014. 696 p.]
- Постфордизм: концепции, институты, практики* (под ред. М.С. Ильченко, В.С. Мартыанова). 2015. М.: РОССПЭН. 280 с.
- Радаев В.В., Шкаратан О.И. 1996. *Социальная стратификация*. М.: Аспект-пресс.- 318 с.
- Стэндинг Г. 2014. *Прекариат: новый опасный класс*. Москва: Ad Marginem. [Standing G. *The Precariat. The New Dangerous Class*. London: Bloomsbury Academic. 2011. 198 p.]
- Тихонова Н.Е. 2014. *Социальная структура России: теории и реальность*. М. Новый хронограф: Ин-т социологии РАН. 408 с.
- Тоффлер Э. 2004. *Метаморфозы власти*. М.: АСТ. 672 с. [Toffler A. 1991. *Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century*. Bantam. 640 p.]
- Фисун А.А. 2010. К переосмыслению постсоветской политики: неопатримониальная интерпретация — *Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований*. № 4. С. 158–187.
- Фишман Л.Г. Давыдов Д.А. 2015. От капитализма к рентному обществу? — *Полития*. № 1. С. 39–54.
- Dahrendorf R. 1959. *Class and class conflict in industrial society*. Stanford: Stanford University Press. 336 p.
- Giddens. A. *The Class Structure of the Advanced Societies*. London: Hutchinson. 1973. 366 p.
- Social Stratification. Class, Race, and Gender in Sociological Perspective* (ed. by D. B. Grusky). 2014. Westview Press; 4th ed.

Классовая идентичность

Л.А. Фадеева

Ключевые слова: классовое сознание, политическое сознание, психология классов, рабочий класс, буржуазия, рабочая культура, корпоративная идентичность, социальная стратификация.

Классовая идентичность — одна из составляющих социальной идентичности, выделяемая на основании представления о классах как больших социальных группах — участниках политического процесса. **Классовая идентичность** в классическом понимании (теории классов) представляет собой исторически обусловленное осознание членами большой группы своей принадлежности к ней и наделение себя соответствующими групповой специфике признаками. Как категория политического анализа (*social class identity*) используется в основном в каче-

стве компонента осмысления классового сознания в контексте организации коллективных действий против социального неравенства.

В марксистской теории основным критерием выделения *классов* считаются отношения собственности на средства производства, вследствие чего во всех исторически сложившихся системах (общественных формациях) действуют два основных класса — эксплуататоров и эксплуатируемых. Маркс разделял понятия «класс в себе», члены которого еще не осознали своих общих классовых интересов, и «класс для себя», выработавший классовое самосознание. В марксистской традиции, остающейся влиятельной и сегодня, классы рассматриваются как реальные социальные общности и как социально-политические силы, способные изменить общество.

Альтернативная марксистской веберовская теория классов выделяет классы на основе различий в рыночных позициях, порождающих различия в жизненных шансах на рынке труда и рынке товаров. Классовая идентичность по Веберу представляет собой самоотождествление категории людей, разделяющих сходные «возможности жизни». В индустриальном обществе Вебер выделял, помимо собственников и рабочих, классы интеллектуалов, администраторов и менеджеров [Вебер 1976].

В социологической традиции (например, М. Манн «Теория государства модерна», 1973 г.) всякое чувство самосознания или общей идентичности, свойственное членам определенного социального класса, обозначается как классовое сознание.

В конкретно-исторических и сравнительно-политологических исследованиях классовая идентификация оценивается как базовая, первая ступень формирования классового политического сознания (Г.Г. Дилигенский и др.) [Дилигенский 1969, Кертман 1984, Социальная психология классов 1985]. Именно поэтому классовая идентичность как аналитическая категория не получила развития: исследователей в рамках марксистской традиции интересовали более высокие уровни «зрелого» классового сознания, которые могли выступать в качестве побуждения к коллективному действию против существующей системы.

История культуры, литературы, социальная история свидетельствуют о реальности общего психического облика классов. Классовая идентичность сопряжена с привычками, обычаями, традициями, образом жизни, проявляется в общности моделей поведения и картины мира, присущих членам данного класса. Как действующий фактор политического поведения классовая идентичность проявляется, как правило, на протяжении относительно длительных исторических периодов. Процесс классовой идентификации протекал в условиях промышленного переворота XVIII–XIX веков в контексте складывания основных классов индустриального общества [Зомбарт 1994].

Идентичность рабочего класса формировалась в рамках пролетарской общины (*working community*), которая и являлась носителем коллективистской системы ценностей и взглядов, так называемой рабочей культуры, стремившейся создать психологические компенсаторы социальному аутсайдерству рабочих и представить их в качестве важной для общества категории, трудящейся

на общее благо. Классовая идентичность рабочих была обусловлена трудовыми факторами (тяжелый физический высоко травматичный труд), единством производственной и внепроизводственной жизни, низкой социальной мобильностью, отсутствием социальной защищенности.

Первой фазой классовой идентификации является принятие членами класса самоназвания, затем осознание своих интересов. На этой основе могут возникать солидарность, система представлений о целях своей группы. Важным моментом было складывание представлений об основных характерных чертах противостоящего им класса предпринимателей, воспринимаемого как «другой», «эксплуататорский», «враждебный» и даже «антагонистический». Классовая идентичность становилась основой коллективных действий — профсоюзного и забастовочного движения, поддержки рабочих, социал-демократических партий на выборах, а также объясняла популярность лозунгов обобществления средств производства и национализации в XX веке. Таким образом, классовая идентичность оказывала влияние на политическую идентичность и партийную самоидентификацию, формировалась модель классового электорального поведения. Идеологи рабочего и социал-демократического движения стремились усилить классовую идентичность как ресурс политической борьбы.

После Второй мировой войны и особенно в условиях НТР классовая идентификация рабочих западных стран утрачивает самоочевидный характер вследствие изменения характера труда, усложнения социально-классовой структуры общества и возросших возможностей социальной мобильности, появления социального государства (социальная защищенность), а также роста потребительского общества.

Исследователи рабочей культуры (Ф. Цвейг, Р. Хоггарт, Б. Джексон и др.) отмечают влияние на самоидентификацию рабочих того, какой смысл они вкладывают в понятие «рабочий класс» [Zweig 1961]. Те, кто дает объективистские, спокойные, свободные от оценочных суждений характеристики («рабочие — это наемные работники», «это те, кто зарабатывает себе на жизнь», «люди, работающие на других», «те, кто создает богатство страны»), склонны относить себя к рабочему классу и рассматривать себя как носителей особой классовой идентичности. Те же, для кого рабочие — это «мусорщики», «необразованный, темный народ», «парни, которые не носят галстука», предпочитают идентифицировать себя со средним классом. Для обеих групп свойственны желание покончить со старым мифом об отверженности рабочего класса и о его принадлежности к социальным низам, потребность в уважении и общественном признании.

В современном рабочем классе понятие «мы» включает разнородные группы наемных работников. Классовая идентичность перестала быть определяющей в системе множественной идентичности. Это повлияло на модели политической идентичности и партийного голосования, которое стало в большей степени прагматичным. Тем не менее классовая идентичность сохраняется как когнитивный ориентир и социальный маркер [Bottero 2004].

Рабочий класс незападных стран в значительной мере сохранил атрибуты традиционного дихотомного сознания, для него остаются актуальными проблемы борьбы за социальную защищенность. В посткоммунистических странах процесс классовой идентификации рабочих оказался столь же болезненным, сколь и «шоковая терапия»: сказались последствия перехода к рынку, идеологические метаморфозы, включая отказ от свойственного социалистической идеологии позиционирования рабочего класса как «авангарда» общества.

Самоидентификация класса собственников затруднена присущим этой группе индивидуализмом. Даже самоназвание данной группы имеет в исторической ретроспективе национальную специфику — «буржуа» во Франции, «новое дворянство» в Англии, «бизнесмены» в США. Понятие «капиталисты» появилось в Европе уже в XVII веке в значении — богатые люди, обладатели денежных состояний, а термин «капитализм» принадлежит веку XIX. Несмотря на различия в используемых словах и на разные обстоятельства национально-государственного характера, влиявшие на становление и развитие буржуазии, было то, что объединяло ее представителей в разных странах. Политические амбиции, политические традиции, политическая культура буржуазии формировались на основе предпринимательского сознания. Традиционное буржуазное сознание складывалось, прежде всего, в сфере рыночных отношений. Важнейшими категориями классовой идентичности буржуазии были и остаются категории прибыли, выгоды. [Энгельс 1955, Фадеева 2006]. Собственное дело рассматривается как залог личной свободы. Гордость превосходством своей буржуазной морали и деловых качеств поддерживала буржуа в борьбе против «старого порядка» (абсолютных монархий, сословного общества) и за политические требования свободы и собственности. Классовая идентичность буржуазии была одной из социально-психологических основ борьбы против аристократии и ее политических институтов. После установления нового, капиталистического порядка в качестве «Другого» стал выступать рабочий класс, что проявилось в ходе революций 1848–1849 годов [Кертман 1984].

Масса класса буржуазии медленно складывалась в социально-психологическую общность в силу индивидуалистической природы и дифференциации класса на старую и новую, мелкую и крупную буржуазию. Это объясняет и то обстоятельство, что классовая идентичность как аналитическая категория применительно к предпринимателям используется достаточно редко. Например, «новые богачи» (нувориши), стремящиеся безудержными тратами и символами успеха закрепить свой «особый» социальный статус, скорее демонстрируют групповую, нежели классовую идентичность. Масса класса буржуазии первоначально высмеивает и презирает нуворишей, а затем адаптирует их к своей среде. Тем самым они обретают классовую идентичность.

Классовая самоидентификация буржуазии имеет непосредственное влияние на ее политическую идентичность: жесткий индивидуализм стимулирует консервативные и неоконсервативные позиции, «мягкий» индивидуализм подталкивает к поддержке вариантов социального государства и социальной ответственности, что свойственно для либеральных партий. «Мягкий вариант»

индивидуализма бизнесменов создает возможность для реализации стратегий социальной ответственности бизнеса и корпоративного гражданства.

В постиндустриальном обществе меняется как социальная стратификация, так и понимание классов и, соответственно, классовой идентичности. Многие исследователи (М. Хоут, К. Брук, Дж. Манза) считают, что социальные классы остаются релевантными постиндустриальным обществам. В контексте обсуждения «капитализма с прилагательными» (varieties of capitalism) содержание классовой идентичности и их значимость остаются предметом дискуссии. В современных общественных науках понятие «социального класса» используется, прежде всего, для объяснения социального неравенства наряду с «гендером» и «расой». Кроме того, большинство исследователей постклассовой (“after class”) ситуации отмечают релевантность категории культуры для характеристики классовой идентичности и для концептуализации «новых классовых идентичностей», появившихся как аналитические категории для осмысления новых реалий современности (постмодерна) [Crompton 2008].

Анализируя исследования классовой идентичности в современной науке, Серена Буфтон замечает, что отрицание значимости социального класса как источника социальных кливажей или идентичности (Гидденс, Бауман, Лэш) парадоксальным образом пришлось на 1990-е годы, когда пропасть между богатыми и бедными увеличилась, как и различия в уровне и образе жизни, образования, заботы о здоровье и пр. у разных социальных групп [Bufton: 2004]. Неолиберальная модель вновь сделала релевантным классовый анализ и как аналитический концепт, и как возможную базу социальных и политических идентичностей [Eidlin: 2015].

В 2000-е годы актуальность классового подхода возросла, что привело к формированию нового поколения исследователей, для которых ключевым является исследование интересов и идентичностей [Crompton: 2008, Bottero: 2004]. Такой анализ помещен в контекст иерархии и социальной несправедливости, а акцент делается преимущественно на индивидуальном процессе самоидентификации, связанном с ощущением неравенства и различий. Однако значимость этих процессов для определения повестки дня проявляется лишь в сфере коллективных действий и публичной политики. Дифференциация исследовательских позиций и оценок лишь подтверждает сохранение актуальности классового анализа и классовой идентичности в современном мире и в социальных науках.

Литература

- Вебер М. 1976. *Протестантская этика и дух капитализма*. М.: ИНИОН. 438 с.
- Дилигенский Г.Г. 1969. *Рабочий на капиталистическом предприятии. Исследование по социальной психологии французского рабочего класса*. М.: Наука. 410 с.
- Социальная психология классов (под ред. Г.Г. Дилигенского). 1985. М.: Наука. 293 с.
- Зомбарт В. 1994. *Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека*. М.: Наука. 443 с.

- Кертман Л.Е., Рахшмир П.Ю. 1984. *Буржуазия Западной Европы и Северной Америки на рубеже XIX–XX веков*. М.: Высшая школа. 159 с.
- Фадеева Л.А. 2006. *Сквозь призму политической культуры: нация, класс, регион*. Пермь: Издательство «Пушка». 304 с.
- Энгельс Ф. 1955 (1845). Положение рабочего класса в Англии. — К. Маркс, Ф. Энгельс. *Сочинения*. 2-е изд. Т. 2. М.: Издательство политической литературы. С. 231–517.
- Bottero W. 2004. Class Identities and the Identity of Class. — *Sociology*. December.
- Buften S. 2004. Social Class. — *Social Identities. Multidisciplinary Approaches* (ed. by G. Taylor and S. Spencer). London: Routledge: 272 p.
- Crompton R. 2008. *Renewing Class Analysis*. Cambridge, Polity Press. 192 p.
- Eidlin B. 2015. Class and Work. — *The Sage Handbook of the Sociology of Work and Employment*. London: Sage. 728 p.
- Przeworsky A. 1977. Proletariat into a Class: The Process of Class Formation from Karl Kautsky's "The Class Struggle" to Recent Controversies. — *Politics and Society*. Vol. 7. № 4. P. 343–401.
- Questioning Identity: Class, Gender, Ethnicity* (ed. by K. Woodward). 2000. London: Routledge. 192 p.
- Questioning Identity: Class, Gender, Nation* (ed. by K. Woodward). 2000. London: Routledge. 166p.
- Savage M. 2000. *Class Analysis and Social Transformation*. Open University. 185 p.
- Weeden K.A., Grusky D. Are there any big classes at all? — *The Shape of Social Inequality: Stratification and Ethnicity in Comparative Perspective* (ed. by D. Bills). Vol 22, Research in Social Stratification and Mobility. Amsterdam: Elsevier. 2005. P. 3–56.
- Wright E.O. 1997. *Class Counts*. Cambridge University Press. 576 p.
- The Working Class in Modern British History*. 1983. Cambridge: Cambridge University Press, 327 p.
- Zweig F. 1961. *The Worker in an Affluent Society*. London: Heinemann. 268 p.

Гендерная идентичность

Л.А. Фадеева

Ключевые слова: гендер, пол, сексуальность, психологический пол, социальный пол, полоролевая идентичность.

Гендерная идентичность — базовая структура социальной идентичности, в соответствии с которой человек (индивид) заявляет о себе как о носителе мужского или женского социального пола. Гендерная идентичность считается более широким понятием, чем полоролевая идентичность, в литературе оно не равнозначно и понятию «сексуальная идентичность», хотя тесно сопряжено с ним. Ряд авторов считает возможным говорить о множественной идентичности именно в плане определения самой личностью ее принадлежности к мужскому или женскому полу, либо трансгендерной идентификации. На их взгляд, множественность и флюидность паттернов сексуальной привлекательности

за последние 20 лет стали знаменательным явлением времени, а развитие теоретических подходов к их анализу — наиболее продуктивным в объяснении гендерной и сексуальной идентичности [Diamond, Butterworth 2008].

Как правило, гендер как социальный пол оценивается в качестве явления социокультурного. В гендерных исследованиях такая идентичность рассматривается как незаконченный результат, который в процессе самоидентификации индивида может быть наполнен различным содержанием как в зависимости от социальных и культурных изменений в обществе, так и от активности самой личности.

В гендеристике понятие гендерной идентичности является остро дискуссионным. В этом исследовательском поле особенно жестко сталкиваются позиции сторонников эссенциалистского и конструктивистского подходов. Сторонники последнего (Джудит Батлер и др.) отказываются от этого термина, считая, что гендерной идентичности как таковой не существует. Их аргументы сводятся к тому, что идентичность (в особенности гендерная) исторически, социально и культурно обусловлена и сугубо ситуативна не только в социуме, но и в жизни конкретного индивида, который может никогда и не воплотить до конца такую идентичность, демонстрируя в социальном поведении причудливые сочетания маскулинных и феминных черт (или того, что в культуре определяется как «феминное» и «маскулинное»). При этом большинство общества (и власть в том числе) исходит из того, что перформативен сам пол, и человеку предписана половая идентичность, определяющая его гендерную идентичность.

Дж. Батлер, авторитетный исследователь гендерных отношений, уверена, что категории пола (как биологического пола) и гендера (как социально-культурного пола) конструируются определенными структурами подавления, которые она вслед за Ж. Лаканом называет «фаллоцентризмом», а также гетеросексуальной матрицей, принудительной гетеросексуальностью, гетеросексизмом и проч. Она объясняет, что понятия мужского и женского теряют при этом свою автономность и превращаются в иллюзию. «Мужское» начало не может существовать без оппозиции ему «женского» в качестве другого / иного. А «женское» теряется в доминирующем положении «мужского», которое диктует через язык и дискурсы свое превосходство.

Само понятие пола в гендеристике нередко трактуется лишь как следствие социокультурной доминанты, закона. «Неизменяемый характер пола поставлен под вопрос, возможно, этот конструкт, названный “полом”, так же культурно построен, как и гендер, — пишет Батлер. — Иллюзия сексуальности до закона сама по себе является производением этого закона». Дж. Батлер раскрывает не просто иллюзорную, но и игровую (перформативную) природу гендера: «Гендер перформативно произведен и подчинен регулируемыми практиками гендерного совпадения. Гендер доказывает свою перформативность, то есть формирует идентичность, на которую он претендует. В этом смысле гендер — это всегда делание» [Butler 2004]. Американские исследователи ставят вопрос: до какой степени отдельный человек может контролиро-

вать то, кто он есть, и изменять самоидентификацию по собственной воле [Crawley and Broad 2008]. С этой точки зрения даже определение гендера через принадлежность к мужской или женской группе выглядит не вполне корректным, поскольку отсылает к биологическим детерминантам. В соответствии с данной позицией логичней было бы формулировать содержательные характеристики гендерной идентичности через самопозиционирование в терминах феминное / маскулинное.

Гендерная идентичность выглядит как одна из наиболее проблематичных идентичностей не только потому, что она рассматривается с разных, нередко — плохо совместимых теоретических позиций — психоанализа, теории социализации, постструктурализма и т.п., но и потому, что подвергается политизации, временами — жесткой. Дороти Смит полагает, что проблематичность гендерной идентичности обусловлена доминированием капиталистических и патриархальных сил, Джудит Батлер видит в гендерном перформансе и идентичности индикаторы социального сопротивления и потенциал социальных изменений [Green 2004].

Понятие гендерной идентичности наполняется социально-политическими смыслами и коннотациями в русле слогана сторонников гендерного подхода: «Личное есть политическое». Так, Мэрилин Фрай призывает женщин отделиться от мужчин эмоционально, финансово и сексуально. Феминистки так называемой «второй волны» (начала 1990-х) используют понятие сексуальности, чтобы призывать к социальному активизму [Fry 1983]. С их точки зрения, власть оценивается как внедрение дискурса (идей), современная социальная жизнь определяется контролирующим механизмом, предписывающим участие в гетеронормативной структуре власти; а неравенство выстраивается по признаку сексуальности. Политика идентичности в этом контексте ориентирована на то, что человек сам определяет и отстаивает свою сексуальность, в отличие от квир-политики, исходящей из того, что сексуальность конструируется в рамках властных институтов и потому не может быть подлинной.

Традиционно борьба за гендерное равенство ставила своей целью «преодоление ограничительных барьеров, устанавливаемых мужской доминантой социума» [Борисова, Горшков 2009: 95]. Суфражистское движение рубежа XIX–XX веков, женская компонента новых социальных движений 1960-х годов действовали в такой парадигме [Айвазова 1998]. В последнее десятилетие понятие гендера все активнее используется для исследования проблем и формирующихся требований тех, кто идентифицирует себя с мужским социальным полом.

И.С. Кон подчеркивает важность термина гендерной идентичности, поскольку с ней связано социальное поведение человека, и предостерегает от чрезмерной идеологизации научных понятий. Кон обращает внимание на междисциплинарные различия в использовании термина «гендер»: «Психологи и сексологи, говоря о гендерных свойствах и отношениях, как правило, обсуждают черты и особенности индивидов, тогда как социологи и антропологи говорят о гендерном порядке, гендерной стратификации общества, гендерном

разделении труда и прочих социальных функций, гендерных отношениях власти и т.д.» [Кон 2000].

В политической науке в рамках гендерных исследований гендерная идентичность рассматривается в контексте борьбы за преодоление социального неравенства, а сам концепт используется для анализа повестки дня политики идентичности в ее традиционном понимании (отстаивания прав групп) и форм политической мобилизации, психологии власти и практик политического управления. В западной науке оказывается устойчивой тенденция трактовать политику идентичности через гендерный подход [Бовуар 1997, Benhabib 1992], что представляется серьезным ограничением исследовательского инструментария, поскольку при таком подходе игнорируются другие ракурсы проблематики [Green 2004].

Призывы к плюрализму гендерной идентичности находят отражение в практической политике, в национальном законодательстве западных стран и в международном праве. В 2008 году ООН приняла Декларацию по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, в которой осуждаются нарушения прав человека по гендерным и сексуальным признакам и содержится призыв противодействовать такого рода нарушениям на разных уровнях. С 2001 года в западных странах идет процесс легализации однополых браков; к 2017 году с присоединением Финляндии они будут легализованы в 20 странах мира. В то же время во многих странах за пределами западного мира любые проявления сексуальной идентичности, могущие трактоваться как гомосексуальные или трансгендерные, караются законом, в том числе пожизненным заключением или смертной казнью. Например, в Судане даже в случае переодевания мужчины в женское платье предусмотрено наказание плетьюми. В контексте современного цивилизационного противостояния флюидность паттернов сексуальной и гендерной идентичности на Западе становится объектом острой критики в незападном мире. Споры вокруг гендерной и сексуальной идентичностей переходят в разряд острых политических баталий.

Литература

- Айвазова С. Г. 1998. *Русские женщины в лабиринте равноправия*. М.: РИО Русланова. 408 с.
- Бовуар С. де. 1997. *Второй пол*. М.: Прогресс. 832 с.
- Борисова Н., Горшков А. Политический потенциал мужских и женских сообществ в современной России. — *Сообщества как политический феномен (под ред. П. Панова, К. Сулимова, Л. Фадеевой)*. 2009. М.: РОССПЭН. С. 94–118.
- Кон И.С. *Пол и гендер. Заметки о терминах. Хрестоматия гендерных текстов / под ред. Е.Здравомысловой, А.Темкиной*. 2000. СПб.: Издательство «Дмитрий Буланин». 300 с. — Режим доступа: <http://sexology.narod.ru/publ037.html>
- Benhabib S. 1992. *Situating the Self: Gender, Community, and Post-modernism in Contemporary Ethics*. N.Y.: Routledge. 280 p.

- Butler J. 2004. *Undoing Gender*. London & New York: Routledge., 273 p.
- Butler J. 1990. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. London & New York: Routledge, 256 p.
- Crawley S.L. and Broad K.L. 2008. The Constructing of Sex and Sexualities. — *Handbook of Constructionist Research* (ed. by J. Holstein, J. Gubrium). New York: Guildford Press. P. 545–567.
- Diamond L., Butterworth M. 2008. Questioning Gender and Sexual Identity: Dynamic Links Over Time. — *Sex Roles*. Vol. 59. No 5. P. 365–376.
- Fry M. 1983. *The Politics of Reality: Essays on Feminist Theory*. Trumansburg, N.Y.: Crossing Press. 176 p.
- Green L. 2004. Gender. — *Social Identities. Multidisciplinary Approaches* (ed. by G. Taylor and S. Spencer). London & New York: Routledge. P. 272.

Поколенческая и возрастная идентичности

И.В. Самаркина

Ключевые слова: поколение, возраст, поколенческая идентичность, возрастная идентичность, жизненный путь.

Современный поколенческий дискурс в социальных науках обусловлен рядом тенденций постиндустриального общества. Одна из них связана с глобальными изменениями в возрастной структуре современного общества: ростом продолжительности жизни, который ведет к тому, что три и даже четыре поколения сосуществуют вместе. Постоянное увеличение темпов социальных изменений в современном обществе вынуждает каждого приспособляться и искать ресурсы выживания и развития. В мире возрастает понимание социального развития как протяженного процесса, где постоянно усложняется характер отношений между прошлым, настоящим и будущим. В странах Запада, а теперь уже и во многих развивающихся странах проблемы отношений между поколениями обостряются в связи с так называемым демографическим переходом (снижением уровня рождаемости и смертности и связанных с этим социальными процессами). Поэтому относительное ослабление классового противостояния в современных обществах постепенно ведет к тому, что противостояние возрастов (поколений) становится социальной и политической проблемой. Практическим ответом на эти вызовы становится рациональная социальная политика, в фокусе которой находятся интересы различных возрастных групп. Сегодня социальные группы, основой идентичности которых выступают возрастные характеристики, в разной степени проявляют групповую идентичность и готовность к активным социальным действиям на ее основе. Социально-возрастные группы (например, молодежь или пожилые) проявля-

ют активность, субъектность, можно сказать, по факту нарушения своих прав. Наиболее активна в этом отношении молодежь. Протестные выступления, связанные с дискриминацией по возрасту представителей старших социальных групп, пока не так заметны, поскольку они не институализированы. В научном сообществе понимание возрастающей роли этих процессов находит свое отражение в социальной и социально-психологической проблематике исследований возраста и поколений, возрастной и поколенческой идентичности.

Существует несколько трактовок термина «поколение». Биологическая трактовка рассматривает понятие поколения в эволюционном контексте и подразумевает формы одного организма, которые меняются на протяжении развития его жизненного цикла. Генеалогическая трактовка понятия «поколение» означает группу особей, одинаково отдаленных от общего предка. Демографическая трактовка использует понятие «поколение» для обозначения групп, родившихся на протяжении короткого временного промежутка. Термин «поколение» используется в социологии для измерения «шага» условных возрастных когорт в ходе социальных изменений [Семенова 2009: 6]. Историко-культурная трактовка понятия «поколение» обозначает определенную социальную группу, участников или современников важных исторических событий и процессов, людей с общими ценностями и ориентациями.

Социокультурная трактовка термина «поколение» связывает определенную социальную группу и общие для нее факторы и условия социализации на каждом из жизненных этапов. Именно эти условия, а также общий социокультурный контекст формируют чувство общности, общий культурно-языковой код (цитаты из книг, песен, фильмов, анекдоты и пр.) поколения. Особенность поколенческой идентичности связана, прежде всего, с «исторической локализацией» (К. Мангейм) определенной группы людей и связанными с этой локализацией условиями социализации. Для обозначения данной локализации могут использоваться разные принципы: хронологический («поколение нулевых»); исторический («поколение перестройки»); принцип персонификации («поколение Пушкина»); символический («потерянное поколение»). В любом случае, они связаны с общими ценностями и культурными кодами в жизненном мире и картине мира представителей одного поколения, компонентами субъективного пространства социума и политики.

Одновременно существуют, как минимум, два подхода к понятию возраста. Один подход связан с онтогенетическим развитием личности (возраст как объективная мера физического и психического развития), второй подход отражает понимание возраста как этапа жизненного пути личности (возраст как культурно конструируемое явление). Социологи и социальные психологи рассматривают *возраст* как один из критериев социальной стратификации, выделяя понятие «возрастная группа» [Андреева 2009], рассматривают *межвозрастные отношения* как разновидность межгрупповых / социальных отношений (Г. Тэджфел), анализируют общество как возрастно стратифицированную систему [Смелзер 1994; Кон 1988], исследуют взаимоотношения возрастных групп «по вертикали», в частности феномен эйджизма — возрастной дис-

криминации как в отношении молодых, так и пожилых людей [Краснова 2003; Микляева 2009].

Таким образом, понятия «поколение» и «возраст» и связанные с ними идентичности отражают разные аспекты процесса отождествления личностью себя с той или иной группой. Поэтому феномены поколенческой и возрастной идентичности следует рассматривать как связанные, но не тождественные.

Важным основанием поколенческой идентичности является общность жизненных миров представителей одного поколения, в особенности общность социокультурных оснований социально-политических представлений, заложенных в период первичной социализации. Именно поэтому, по словам К. Мангейма, следует «прислушиваться к различиям между голосами разных поколений, каждое из которых озвучивает всякий момент времени на собственный лад» [Мангейм 2000].

Поколенческая идентичность формируется под влиянием общего опыта социализации (и ресоциализации) на протяжении всей жизни. Осознание принадлежности к своему поколению со временем усиливается. Таким образом, формирование поколенческой идентичности, в отличие от возрастной, идет по пути содержательного накопления качественных характеристик. Она не меняется в том смысле, что человек не переходит из одного поколения в другое. Таким образом, *поколенческая идентичность* — это отождествление человеком себя с группой людей, имеющих общих /схожий социальный и политический опыт совместного переживания конкретного этапа развития страны / сообщества, исторического события или событий. В поколенческой идентичности важную роль играет общность коллективной судьбы.

Ядром поколенческой идентичности выступает важное историческое событие или процесс, переживаемый совместно всей генерацией и оставшийся в памяти данного поколения как наиболее значимый. Иными словами, ядро поколенческой идентичности составляет коллективный опыт переживания времени, а также отношения к прошлому и ожидания от будущего, в которое встроены представления о настоящем. Следовательно, в отношении поколенческой идентичности можно говорить о горизонтальных, ретроспективных механизмах формирования.

Наиболее важным этапом в формировании поколенческой идентичности является возраст от 10 до 17 (25) лет, так называемый формативный период [Мангейм 2000], когда происходят наиболее значимые переходы из состояния социальной зависимости к независимости, формируются нормы, ценности и представления, составляющие ядро социальной и политической картин мира и определяющие специфику поколенческой идентичности, а также специфику национально-государственной идентичности представителей данного поколения.

Поколенческие паттерны формирует система факторов, к которым относятся: наиболее важные события, происходившие в формативный период; система социализации; состояние средств массовой информации в этот период; социальные возможности общества в формативный период; биографические

характеристики поколения (жизненный путь, ценностные ориентации, поведенческие образцы); системные характеристики (состав поколения, поколенческая культура, поколенческие союзы). Важным фактором формирования поколенческой идентичности выступает социокультурный контекст: литературно-художественный дискурс, кино, публицистика, музыка, изобразительное искусство и другие культурные коды.

Современная классификация поколений строится, как правило, на основании социокультурного подхода (Х. Беккер). В европейской истории XX века исследователями описаны несколько поколений.

Довоенное поколение (возрастные когорты 1910–1929 годов рождения) и испытавшие экономический спад 1930-х годов и Вторую мировую войну в свои формативные годы. Представители этого поколения имели опыт участия в военных действиях, коллективный опыт массовой безработицы и испытали последствия военной травмы.

Тихое поколение (1930–1944 годов рождения) пережило в формативные годы опыт послевоенной реконструкции и экономического роста. Это поколение детей войны, от которых ожидали активных действий в начале 1960-х годов, но эти ожидания не оправдались (отсюда название — тихое поколение).

Поколение протеста или ранний бэби-бум (1945–1954 годов рождения) прошло формативный период во время молодежной революции 1968 года, многие представители этого поколения активно участвовали в этом движении. Это поколение — носители постматериалистических ценностей.

Потерянное поколение или поздний бэби-бум (1955–1969 годов рождения) имело в формативном периоде опыт преодоления экономического кризиса 1975–1985 годов по сравнению с другими поколениями, это поколение позднее вышло на рынок труда и получило финансовую самостоятельность.

Прагматическое или бездетное поколение, поколение Икс (1970–1985 годов рождения) в формативном периоде имело опыт экономического роста, который определил их прагматическую экономическую ориентацию. В демографическом смысле — это поколение бездетных.

Классификации поколений в современной России отражены в нескольких исследованиях [Урланис 1998; Грушин 2001–2006; Левада 2005 и др.]. Ю. Левада выделяет шесть основных периодов, ставших формативными для шести поколений в истории России XX века: революционный перелом (1905–1930 годов); сталинская мобилизационная система (1930–1941 годов); война и послевоенный период (1941–1953 годов); оттепель (1953–1964 годов); застой (1964–1985 годов), перестройка и реформы (1985–1999 годов).

В исследовании Е.Б. Шестопаля и ее коллег показано влияние событий формативного периода на политические ценности и политическое поведение разных поколений россиян [Политическая социализация... 2008]. Молодежь как поколение, переживающее формативный период, находится в фокусе исследований отечественных авторов [Евгеньева, Титов 2010].

Исследования поколенческой идентичности сегодня следует отнести к числу актуальных и востребованных в современном социально-гуманитарном

знании. [Андреева 2009, Политическая социализация... 2008]. Перспективными направлениями дальнейших исследований поколенческой идентичности могут быть: эмпирические исследования границ поколений; исследование роли лидеров поколения и типичных / обычных представителей поколения (масс) в формировании поколенческой идентичности; в контексте гетерогенности поколений — роль доминирующих и подчиненных групп внутри поколения в формировании поколенческой идентичности.

Понятие «возрастная идентичность» строится на трактовке возраста как культурно-исторического феномена. Возрастная идентичность — отождествление человеком себя с той или иной возрастной группой, сопровождающееся полным или частичным принятием ее норм и правил в качестве регуляторов общественного поведения. В отличие от поколенческой идентичности, ядро которой (генерация и связывающие ее историческое событие и опыт его переживания) не меняется на протяжении жизненного цикла, возрастная идентичность формируется всякий раз заново с наступлением очередного возрастного этапа. Возрастная идентичность претерпевает коренные изменения, связанные с переходом от одного жизненного этапа к другому, в процессе которых человеку приходится формировать идентификации с разными социальными группами (подростки, молодежь, взрослые, пожилые).

Таким образом, понятия возрастной и поколенческой идентичности следует различать. Они отражают разные аспекты процесса осознания принадлежности к группе людей, имеющих схожие особенности жизненного мира и одновременно переживающих процесс перехода из одной возрастной группы в другую на разных этапах своего жизненного пути.

Возрастная идентичность выражает динамическую сторону поколенческой идентичности. В возрастной идентичности отражается опыт переживания личностью очередного этапа жизненного пути, связанного с определенным возрастом. Вместе с тем общий опыт переживания тех или иных значимых общественных событий в одном и том же возрасте влияет на становление и формирование особенностей поколенческой идентичности. Таким образом, поколенческая идентичность является коллективным, а возрастная идентичность — индивидуальным измерением идентичности, связанной с осознанием себя (лично) на жизненном пути, а также с осознанием нас (как части общности) на жизненном пути страны.

Связь социального (социально-исторического) контекста, общего для представителей возрастной когорты, и индивидуального (жизненной траектории личности), поколенческой и возрастной идентичностей находит свое отражение в понятии жизненного пути (Г. Элдер). Оно отражает сложную, уникальную взаимосвязь и взаимозависимость индивидуального, социального и исторического; нормативный процесс (прохождение определенных стадий жизненного цикла) и его субъективное восприятие индивидом или группой, то есть совокупный жизненный опыт переживания событий и связанных с ними ролей, опыт поколенческого и индивидуального проживания жизни в определенных исторических условиях.

Литература

- Андреева Г.М. 2009. *Социальная психология*. 5-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс. 363 с.
- Грушин Б.А. 2001–2006. *Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах*. М.: «Прогресс-Традиция». 2001–2006. 624 с.
- Евгеньева Т.В., Титов В.В. 2010. Формирование национально-государственной идентичности российской молодежи. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 122–134.
- Кон И.С. 1988. *Ребенок и общество*. М.: Наука. 270 с.
- Краснова О.В. 2000. «Мы» и «Они»: «Эйджизм и самосознание пожилых людей». — *Психология зрелости и старения*. 2000. № 3 (11). С. 18–36.
- Левада Ю.А. 2005. Поколения XX века: возможности исследования. — *Отцы и дети: Поколенческий анализ современной России*. М.: Новое литературное обозрение. С. 39–61.
- Мангейм К. 2000. Проблема поколений. Состязательность. Экономические амбиции. — *Очерки социологии знания*. Пер. с англ. М.: ИНИОН РАН. С. 8–63.
- Микляева А.В. 2009. Методы исследования эйджизма: зарубежный опыт — *Журнал Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена*. № 100 С. 148–157.
- Политическая социализация российских граждан в период трансформации*. 2008. Под ред. Е.Б. Шестопал. М.: Некоммерческое партнерство «Новый хронограф». 552 с.
- Семенова В.В. 2009. *Социальная динамика поколений: проблема и реальность*. М.: РОССПЭН. 271 с.
- Смелзер Н. 1994. *Социология*. М.: Феникс. 688 с.
- Урланис Б.Ц. 1998. *История военных потерь: войны и народонаселение Европы*. Санкт-Петербург; Москва: Полигон : АСТ, 1998. 558 с.

Семейная идентичность

А.А. Гнедаш

Ключевые слова: семья, межпоколенческие связи, семейный ритуал, брачно-родительские отношения, семейные ценности, государственная семейная политика.

Определение «Мы-семья» — это жизненно важный коллективный процесс, включающий в себя ежедневные повседневные психологические, исторические, социально-культурные, религиозные и политико-экономические практики и действия. Каждый человек существует в заранее заданных семейных идентичностях, рамках и ролях, например, папа, мама, брат, сестра, ребенок, дедушка, бабушка, родитель-дочь (сын) и т.д. Однако, эти идентичности со временем и в связи с обстоятельствами могут трансформироваться и обретать новые смыслы и связи, при условии того, что социальная структура общества очерчи-

вает возможные пути трансформации семейной идентичности. В каждой семье хранятся уникальные наборы семейной идентичности, в том числе коллективная идентичность, гендерная идентичность, групповая идентичность (супружеская, детско-родительская и т.д.), индивидуальная идентичность.

Можно определить *семейную идентичность* как «субъективное чувство принадлежности к семье, непрерывное во времени, независимое от ситуации и индивидуальных характеристик членов семьи, это совокупность качественных характеристик и семейных атрибутов, делающих конкретную семью отличной от других семей» [Bennett 1988]. Кеннет Джерген подчеркивает, что семейную идентичность нельзя рассматривать как статичный феномен [Gergen 1996], она проявляется именно «в движении и в действии» — во взаимодействии с другими семьями, людьми, группами, обществом, государством, как практики потребления и ежедневного семейного взаимодействия как внутри самой семьи (приватном пространстве), так и вовне (публичном пространстве).

Структура семьи включает всех прошлых и настоящих членов семьи, иерархию и распределение ролей между членами семьи, например, всех родственников, которые собираются из года в год на празднование Нового года, дней рождений, свадеб, переживания печальных или радостных событий и т.д.

Ритуалы и обычаи проведения этих праздников скрепляют членов семей между собой, а их выполнение несет культурную, историческую и смысловую нагрузку формирования концепта семейной идентичности [Wallendorf 1991]. Так, в случае развода член семьи может стать бывшим, исчезнуть из ткани семейной идентичности и перестать быть важным элементом семейных праздников. Поколения внутри семьи создают качественную связь прошлого и будущего в семейной идентичности через такие ритуалы, как просмотр семейных альбомов, рассказы о молодых годах членов семьи или ключевых событиях в жизни страны. Такие нарративные практики позволяют формировать память поколений и создают ощущение семьи как неизменной константы в море времени.

Характер и особенности членов семьи позволяют посредством семейной идентичности из эклектичного набора индивидуальных качеств формировать общие «семейные» черты, например, «мы все смеемся одинаково», «родинка на лбу — черта всех женщин нашей семьи», «мы — очень патриотичная семья», «в нашей семье все любят Чайковского».

Семейная идентичность формируется и интериоризируется посредством коммуникаций, повседневных и особых интеракций, обмена ресурсами. Семейные коммуникации включают в себя взаимодействие во время семейных ритуалов, рассказы и разговоры. Повседневные практики семьи состоят из практик питания, досуга, здоровьесберегающего поведения, совместного отдыха и т.д. Обмен ресурсами может носить как материальные формы, так и осуществляться в нематериальной форме.

Ряд авторов [Baxter 2002; Volea 2000] называют повседневные и особые ритуалы центральным механизмом создания, развития, трансформации и укрепления семейной идентичности. Семейный ритуал задает рамки семьи,

показывает роли членов семьи, определяет членство семьи. Семьи также сохраняют чувство непрерывности семейной идентичности (память поколений) через ритуальные практики сохранения и бережного отношения к наследию предков, например, передающиеся из поколения в поколения столовые приборы, украшения и элементы одежды невесты (жениха) на свадьбе и т.д. [Curasi 2004; Fiese 2002; Moisiso 2004]. Некоторые исследователи отмечают, что именно сохранение и следование повседневным ритуалам и практикам позволяет снизить напряженность во втором браке [Braithwaite 1998; Whiteside 1989].

Семейная идентичность создается не только через конструктивные практики, но и через практики сопротивления, например, когда сталкиваются интересы и ценности поколений. Контекст семейной идентичности может меняться в зависимости от реакций членов семьи на попытки кого-то из членов семьи оспорить устоявшиеся традиции или границы семейной идентичности. Например, выбор прически, музыкальные вкусы, набор продуктов питания, распределение семейного бюджета, особенно, в условиях кризиса или кредита, внедрение новых технологий (от стиральных машин до брендовых гаджетов) — все это требует от членов семьи генерации новых правил и норм использования и, в результате, сохранения или трансформации семейной идентичности.

Степень нарушений семейной идентичности проявляется в переживании и приспособляемости к таким событиям, как брак или /и рождение ребенка, покупка нового жилья, развод, серьезная болезнь, потеря работы, потеря члена семьи и т.д. Все эти события внезапно или осознанно приводят к изменениям в семейном укладе, семейных ролях и повседневных семейных практиках и, как следствие, семейной идентичности. Испытания, переживаемые членами семьи, могут разрушать, трансформировать или создавать семейную идентичность. Например, серьезная болезнь члена семьи приводит к вопросу об изменении практик питания, выделении денег на оборудование помещений для больного, введении новых практик ухода и заботы, найме медицинского персонала и т.д., члены семьи в таком случае могут изменять свои ритуалы, привычки, практики потребления, практики совместного времяпрепровождения, причем эти изменения могут вводиться осознанно и добровольно, а могут через сопротивление и нажим семьи. В результате возникает дилемма: останется ли семья прежней или семейная идентичность поменяется /разрушится? Ответ может быть как коллективным, так и индивидуальным. Как отмечают некоторые авторы, во всех переломных моментах жизнедеятельности семьи оспаривается именно индивидуальная идентичность, а семейная имеет больше оснований укрепляться, особенно в периоды, связанные с материнством и рождением ребенка [Carrigan 2004; Fischer 1993; Jennings 2003].

Исследователи выделяют социальные барьеры (пол, возраст, усыновление /удочерение и т.д.) и барьеры с доступом к семейным ресурсам [Valentine 1999], влияющие на процесс формирования семейной идентичности и на процесс развития семейных ценностей. Барьеры с доступом к семейным ресурсам подразделяются на географические барьеры (разбросанность членов семьи в силу

разных причин и современные цифровые технологии помогают снизить степень негативного влияния данного барьера); временные ресурсы (дети в семьях с одним работающим родителем чаще общаются и проводят время с неработающим родителем; наличие нескольких детей в семье также приводит в меньшему времени общения родителей с каждым из детей); денежные ресурсы (в семьях с низким доходом родители вынуждены тратить основное свое время на работу; в этих же семьях чаще всего делается выбор в пользу вложения средств в образование одного ребенка / развития творческого потенциала одного из детей и ограничения образования / потенциала / возможностей остальных детей и т.д.). Ограничения временных и финансовых ресурсов влияют на отдых, питание, уровень потребления семей.

Потребность в семье — одна из основных потребностей жизнедеятельности человека, но степень этой потребности может отличаться в зависимости от множества факторов; семья, в свою очередь, может ставить в приоритет интересы семьи и нивелировать интересы отдельного члена семьи.

Большинство российских и зарубежных исследователей [Колесова 2015; Игнатъева 2015] подчеркивают роль матери в формировании семейной идентичности, например, в организации семейного досуга, распределении семейного бюджета на нужды членов семьи, планировании повседневной нагрузки и обязанностей членов семьи. Как правило, ученые сходятся во мнении, что именно материнская опека и забота над всеми членами семьи (как эмоциональная, так и физическая) формируют семью, семейные ценности и чувство семейной идентичности, при том, что чувство индивидуальной женской идентичности в погоне за благополучием семьи постепенно утрачивается и может приводить к развитию фрустрации и конфликтам, особенно после того, как дети вырастают и начинают создавать собственные семьи [Hochschild 1997; Miller 1998; Thompson 1995].

Сравнительно мало исследований посвящено изучению того, что именно отцы привносят в эмоциональную сферу семьи [Lareau 2000; Егорова 2013] и сферу взаимодействия с детьми; как семейное время супругов начинает конкурировать со временем, направленным на заботу о детях [Roxburgh 2006], и как в этом случае семейная идентичность для супругов становится неразрывной с личностной идентичностью их детей.

Общественные отношения и уровень социокультурного развития общества напрямую влияют на формы и функции семьи, приводя к появлению / трансформации таких видов, как традиционная семья, патриархальная семья, нуклеарная семья [Вагапова 2015, Игнатъева 2015]. Современное развитие института семьи характеризуется следующими тенденциями: снижение рождаемости, отложенное родительство, позднее вступление в брак, распространение однодетной модели семьи, уменьшение доли регистрируемых браков, эгалитаризация семейных ролей и т.д.

Семейная идентичность формируется также под воздействием и в процессе реализующейся в государстве семейной политики и в контексте доминирующих в обществе семейных ценностей.

Государственную семейную политику мы определяем как совокупность государственных программ, мероприятий, законов, ориентированных на семью. Поскольку семья — центральный институт этой политики, то все, что делает политическая система, оказывая влияние на семью, потенциально может относиться к сфере семейной политики [Гнедаш 2014].

Современная семейная политика как система взаимодействия семьи и государства состоит из ряда государственных политик, которые регулируют социальные и семейно-родительские права, связанные, во-первых, с брачными отношениями, которые включают организацию и функционирование брака через гражданское право, определение супругов в государственных системах социального обеспечения (например, пенсии по вдовству, предоставление супругу / супруге доступа к услугам здравоохранения) и налоговые системы (косвенный или прямой налоговый вычеты и т.д.); во-вторых, с родительскими отношениями (рождение детей и уход за ребенком / детьми), которые включают репродуктивные права (аборт, планирование семьи), политику материнства, политику родительского декретного отпуска, систему здравоохранения / образования детей, систему детских пособий и выплат, а также политику присмотра за детьми (няни, институт «бабушек»). Несомненно, что семейная политика любого государства обусловлена историческими контекстами и культурными традициями, поэтому основная ее цель для каждого конкретного государства может детерминироваться: модернизационной стратегией и стремлением к укреплению конкурентоспособности национальной экономики; противостоянием снижению рождаемости и старения населения; увеличением участия женщин в рабочей силе; снижением уровня безработицы и бедности; сокращением расходов на социальные нужды; изменением или сохранением системы гендерных отношений.

Один из ведущих французских исследователей семейной политики в Европе Анна Готье отмечала, что в первой половине XX века цель государственной политики развитых стран в отношении семьи сводилась только к финансовой поддержке малообеспеченных семей с детьми [Gauthier 1996]. В ситуации снижения рождаемости в Европе в первой половине XX века демографический кризис стал восприниматься как социальная проблема, требующая вмешательства государства — начали разрабатываться программы улучшения материального положения семей с целью стимулирования рождаемости. Данный тип семейной политики позднее был определен как подтип демографической политики, не учитывающий особенности экономических издержек, связанных с рождением и воспитанием детей, вопросами занятости и трудоустройства родителей.

С конца 1960-х годов семейная политика в развитых странах стала формироваться как комплекс мер, осуществляемых государством в отношении семьи и граждан с семейными обязанностями в контексте развития государства всеобщего благосостояния. Так, европейские власти стали рассматривать проблему рождаемости в контексте семьи, социальной поддержки граждан, занятости, обеспечения благосостояния, жизнедеятельности семьи [Чернова 2008].

В семейной политике современных развитых стран можно выделить четыре ключевых направления, которые определяют стратегии и технологии взаимодействия семьи и государства в той или иной стране: финансовая поддержка семей, согласование баланса работы и семьи в жизни граждан, идеологическая политика в отношении института семьи, законодательные и/или политические меры по защите женщин и детей [Гнедаш 2014].

Влияние государственной семейной политики на формирование семейных ценностей и семейной идентичности имеет национальные особенности. Так, в Швеции традиция протестантизма оказывает слабое влияние на семью, в течение нескольких последних десятилетий были осуществлены серьезные прогрессивные меры гендерно-нейтральной политики. В Великобритании влияние протестантизма как основной религии так же небольшое, но позиции парламентских партий в отношении гендерного равенства подвергаются колебаниям, в результате чего наблюдаются большие гендерные различия в оплате труда. В Италии сохраняется особое влияние Римской католической церкви и традиционных семейных ценностей, и как следствие — низкий удельный вес женщин в составе рабочей силы. В то же время как члены Европейского союза все эти страны обладают развитым социальным законодательством, очерчивающим рациональный выбор личного пространства и уровня жизни. Развод во всех странах является доступным, разрешены контрацепция и аборты. Фискальная система используется для поддержки неполных семей.

Италия — это сосредоточение традиционной расширенной семьи, основанной на зарегистрированном браке. Уровень одинокого родительства чрезвычайно низок по европейским стандартам, особенно среди подростков [Тындик 2010]. Культурные традиции включают заботу членов семьи друг о друге, причем заботу как по вертикали, так и по горизонтали поколений. Но правительство предлагает меньшую поддержку семьям, чем в любой другой стране, за исключением Греции, кроме того, эксперты считают, что итальянцы активно выступают против участия государства в семейной сфере [Flaquer 2000].

Семейная политика, реализуемая в Швеции, широко используется для инженерии социальных результатов. Швеция была первой страной в мире, решившей приложить усилия для создания равных отношений между мужчинами и женщинами, начиная с брака и рынка труда и заканчивая передачей полной ответственности за воспитание детей с родителей на государство [Степанова 2003]. Тем не менее реализовать удалось не все, в частности, универсальный уход за детьми и гендерно-нейтральный рынок труда.

Современное британское правительство объявило, что отказывается проводить семейную политику, направленную на стимулирование одной формы семьи за счет другой [Тындик 2010]. И это при том, что Великобритания возглавляет европейские рейтинги по количеству разводов, неполных семей и подростковой беременности.

В государствах с сильными семейными связями занятые домашним трудом члены семьи (молодежь, женщины, пожилые люди) реже выходят на рынок

труда как наемные работники и потребляют больше продукции, произведенной внутри домохозяйства, в этих же семьях наблюдается меньший интерес и участие в политической деятельности, члены домохозяйств ориентируются больше на систему внутрисемейной социальной взаимопомощи, чем на социальную помощь и поддержку некоммерческих и государственных институтов. Исследователи отмечают, что слабыми семейными связями характеризуются страны Северной Европы, страны Восточной Европы, сильными связями характеризуются страны Латинской Америки, страны юга Европы, страны Юго-Восточной Азии, промежуточное положение занимают США, Канада, Франция и Великобритания [Alesina, Giuliano 2013].

В середине 2000-х годов российское государство, во-первых, признало кризисное положение семей с детьми и провозгласило поддержку материнства и детства одним из приоритетных направлений современной семейной политики; во-вторых, российская семейная политика стала носить открыто пронаatalистский характер (стимулирование повышения репродуктивной нормы); в-третьих, вводимые меры материальной поддержки были направлены в первую очередь на то, чтобы изменить «материально зависимое положение женщины» в семье с маленькими детьми и помочь ей достигнуть повышенной репродуктивной нормы; ликвидировать «ее неуверенность в завтрашнем дне в связи со страхами о будущем благополучии ребенка» и др. [Послание Президента 2010, Послание Президента 2006]. Реализация государственных мер в РФ сопровождалась введением «новой» идеологии семейной политики через совокупность федеральных и региональных мероприятий [Гнедаш 2014, Чернова 2008].

В современных условиях вызовов и изменения практик потребления в постинформационном обществе актуальны исследования, направленные на рассмотрение того, как социально-культурные и политико-экономические реалии «забирают» семейную идентичность и делают ее индивидуальной. Например, Рид Ларсон и Мэрайз Ричардс называют этот феномен «6-часовая катастрофа»: семья после рабочего дня собирается вместе и каждый из членов семьи, находясь в общем пространственном и временном континууме, занимается личными делами, абстрагируясь от семьи и семейных ценностей в узком индивидуальном пространстве [Larson 1995]. Как сохранить семейную идентичность в клубке индивидуальных идентичностей и интересов, в условиях трансформации самой семьи и задач стабильности государственной семейной политики? Конвенциональное соглашение между семьей и государством определяется не только вызовами современной политики, но изменениями института семьи и способностью государственных институтов адаптироваться к новым потребностям семьи в условиях всевозможных рисков и напряженностей.

Литература

Вагапова А.Р., Перова С.А. 2015. Семейная идентичность супругов и их оценка степени удовлетворенности браком. — *Известия Саратовского университета. Серия Акмеология образования. Психология развития*. Т. 4. С. 72–76.

Гнедаш А.А. 2014. Модернизация государственной семейной политики в современной России: (экстра)ординарный поворот к пронатализму — *Политика семьи и детства в постсоциализме* (под ред. В.Шmidt, Е.Ярской-Смирновой, Ж.Черновой). М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ. С. 169–187.

Гнедаш А.А., Степанова Е.А., Тезадова Д.А. 2014. Стратегии и технологии взаимодействия семьи и государства в условиях формирующегося постинформационного общества (обзор зарубежного опыта). — *Женщина в российском обществе*. № 4. С. 23–32.

Игнатъева К. 2015. Роль женщины в сохранении культурной идентичности коренных малочисленных народов Восточной Сибири. — *Проблемы социально-экономического развития Сибири*. 2015. № 1. С. 101–105.

Колесова А.К., Колб А.А. 2015. Материнство и проблемы самоидентичности женщины. Историко-педагогический аспект. — *Современные проблемы науки и образования*. № 4.

Тындик А.О. 2010. Обзор современных мер семейной политики в странах с низкой рождаемостью. — *SPERO*. № 12. С. 157–176.

Чернова Ж.В. 2008. *Семейная политика в Европе и России: гендерный анализ*. СПб.: Норма.

Alesina A., Giuliano P. 2013. Family Ties. — *NBER Working Paper 18966*. Эл. ресурс. Доступ: <http://www.nber.org/papers/w18966> (accessed 09.03.2017).

Baxter L. A. and Braithwaite D. O. 2002. Performing Marriage: Marriage Renewal Rituals as Cultural Performance. — *Southern Communication Journal*. No 67 (2). P. 94–109.

Bennett L. A., Wolin S. J., and McAvity K. J. 1988. Family Identity, Ritual, and Myth: A Cultural Perspective on Life Cycle Transitions. — *Family Transitions* (ed. by C. J. Falicov). New York: Guilford. P. 221–234.

Bolea P. S. 2000. Talking about Identity: Individual, Family, and Intergenerational Issues. — *Becoming a Family: Parents' Stories and Their Implications for Practice, Policy, and Research* (ed. Rena D. Harold). Hillsdale, NJ: Erlbaum. P. 39–73.

Flaquer L. 2000. *Family Policy and Welfare State in Southern Europe*. Universitat Autònoma de Barcelona. Working Paper No 185. Эл. ресурс. Доступ: URL: http://www.icps.cat/archivos/WorkingPapers/WP_I_185.pdf (проверено: 09.03.2017).

Fiese B. H., Tomcho T. J., Douglas M., Josephs K., Poltrock S., and Baker T. 2002. A Review of 50 Years of Research on Naturally Occurring Family Routines and Rituals: Cause for Celebration? — *Journal of Family Psychology*. Vol. 16 (December). P. 381–391.

Gauthier A. 1996. *The State and The Family. A Comparative Analysis of Family Policies in Industrialized Countries*. Oxford: Clarendon Press.

Gergen K. 1996. Technology and the Self: From the Essential to the Sublime. — *Constructing the Self in a Mediated World* (ed. Debra Grodin and Thomas R.). Lindlof, Thousand Oaks, CA: Sage. P. 127–140.

Hochschild A. R. 1997. *The Time Bind: When Work Becomes Home and Home Becomes Work*. New York: Metropolitan.

Jennings R. and O'Malley L. 2003. Motherhood, Identity and Consumption. — *European Advances in Consumer Research*. Vol. 6 (ed. Darach Turley and Stephen Brown). Provo, UT: Association for Consumer Research. P. 221.

Lareau A. 2000. My Wife Can Tell Me Who I Know: Methodological and Conceptual Problems in Studying Fathers. — *Qualitative Sociology*. Vol. 23. No 4. P. 407–433.

Larson R. and Richards M.H. 1995. *Divergent Realities: The Emotional Lives of Mothers, Fathers, and Adolescents*. New York: Basic Books. 348 p.

Moisio R., Arnould E. J., and Price L. L. (2004). Between Mothers and Markets. — *Journal of Consumer Culture*. Vol. 4. No 3. P. 361–384.

Roxburgh S. 2006. I Wish We Had More Time to Spend Together. — *Journal of Family Issues*. Vol. 27. No 4. P. 529–553.

Valentine G. 1999. Eating In: Home, Consumption, and Identity. — *Sociological Review*. Vol. 47. No 3. P. 491–524.

Wallendorf M. and Arnould E. J. 1991. We Gather Together': Consumption Rituals of Thanksgiving Day. — *Journal of Consumer Research*. 18 (June). P. 13–31.

Профессиональная идентичность

Л.А. Фадеева

Ключевые слова: профессионалы, профессиональная этика, профессиональная идеология, свободные профессии, интеллигенция, интеллектуалы, средний класс, креативный класс.

Профессиональная идентичность в широком смысле слова понимается как представление человека о себе как об обладателе определенной профессии. В зарубежной науке в соответствии с англосаксонской традицией понятие «профессия» относится (в отличие от occupation — как место работы, занятость) не ко всем специальностям, а лишь к тем, которые получили название «свободных» [Professions in Theory and History...1990]. К середине XIX века в разных странах сформировалась относительно массовая категория людей, которые профессионально занимались умственным трудом. Как правило, не являясь наемными работниками и оставаясь людьми «свободных профессий» (liberal professions), они отличались по образу жизни и системе ценностей как от высших, так и от низших слоев общества.

«Профессии» (прежде всего, юристы, врачи, затем инженеры, университетская профессура и др.) стремились сформировать особую систему ценностей и норм поведения, включавшую профессионализм и компетентность, осознание значимости профессионального образования, стремление оградить свою профессию от некомпетентных людей, профессиональную этику. Они претендовали на то, чтобы обозначить эту систему как профессиональную идеологию, которая имеет существенные преимущества по сравнению с партийными доктринами, поскольку в ценностном плане противостоит эгоизму буржуазии, филистерству мещанства, невежеству рабочего класса. Профессиональная идентичность влияла на формы и методы коллективных действий: создание профессиональных ассоциаций, развитие профессиональной периодической печати, борьба за право на самоорганизацию внутри профессий (контроль

над уровнем образования, определение профессиональных стандартов). В отличие от профсоюзов с их акцентом на защите материальных прав своих членов, профессиональные ассоциации ставили своей целью заботу о поддержании высоких профессиональных стандартов и кодекса поведения, корпоративного духа, способствуя консолидации профессионального сообщества [Perkins 1989].

Англосаксонские профессии создали не только свою этику и организационную структуру, но и сформировали особые отношения с властью, добившись определенной автономии от государства, права самостоятельно решать проблемы профессионального самоуправления и демонстрируя некоторую отстраненность от партийно-идеологических дебатов и борьбы [The Formation of Professions... 1990]. Отсюда и создается впечатление о представителе профессий как высокостатусном, хорошо зарабатывающем и равнодушном к общественным проблемам специалисте [Песчанский 1975]. Возражая против таких представлений, идеологи *профессионализма* как системы ценностей утверждали, что профессиональное решение проблем в конкретных областях (здравоохранение, образование, социальное обеспечение) в итоге приносит обществу больше пользы, чем увлеченность абстрактными идеалами. За образованными профессионалами признавался высокий общественный статус (так, в Италии получивший специальное гуманитарное, юридическое, техническое или экономическое образование специалист в официальных документах добавлял к имени и фамилии соответствующую приставку, маркирующую его профессиональную идентичность — доктор (Dottore), адвокат (Avvocato), инженер (Ingegnere), бухгалтер (Ragioniere).

Социальный и материальный статус интеллектуального труда снизился во второй половине XX века в связи с массовизацией высшего образования и ростом количества специалистов, возрастанием конкуренции на рынке труда, кризисом социального государства. [Песчанский 1975, Фадеева 2009]. Изменились формы борьбы за свои права, включившие и отработанные профсоюзами методы демонстраций и забастовок, однако ключевые основания профессиональной идентификации остались неизменными.

Профессиональная идентичность в широком понимании распространяется на разные категории профессий, но из англосаксонского образца в данное понятие вошли ценности профессионализма, компетентности, образования, репутации, что определяет значимость профессиональной идентичности в структуре идентичности индивида. В широком значении она чаще всего исследуется в плане формирования профессионального выбора и становления карьеры. [Крыштановская 1989]. Однако вопрос о профессиональной идентичности в структуре социальной идентичности следует поставить шире: как правило, профессиональная идентичность как понятие относится к представителям профессий умственного труда, «интеллектуальным профессиям» [Овсянко-Куликовский 1991, Gella 1990].

Профессиональная идентичность представляет собой важный компонент идентификационной матрицы, отражая укорененность человека в данном

обществе, способствуя как его позитивной личностной самоидентификации, так и утверждению коллективной идентичности. Отсутствие профессиональной идентичности маргинализирует человека. Не случайно биографы многих маргинальных политиков, представляющих партии и группировки радикального толка, обращают внимание на то, что у них не было ни профессиональных навыков, ни профессиональной идентичности. Отрицание значимости профессионализма и профессиональной идентичности бывает характерно для антисистемных сил, которые стремятся диффамировать все, что связано с деятельностью системы, против которой они борются. Так, это было свойственно радикальной части интеллигенции дореволюционной России, в то время как основная масса врачей, юристов, учителей, инженеров ориентировалась на стандарты европейских профессий и стремилась добиться соответствующего статуса.

В общественных науках и общественном мнении широко распространено суждение, что профессионал с его узкоспециализированным мышлением и прагматизмом противопоставляется интеллигенту и интеллектуалу как категориям, для которых основной миссией являются производство креативных идей и критическое осмысление реальности. Такое противопоставление уместно как аналитический инструмент, но в реальности достаточно условно как в связи с тем, что значительная часть интеллектуалов и интеллигентов по социологическим критериям относится к категориям профессионалов, так и по причине широкого вовлечения профессий в активную социальную деятельность — просветительство, благотворительность, новые социальные движения и гражданские инициативы [Фадеева 2012]. Специфика профессиональной деятельности той или иной категории интеллектуального труда требует определенного пространства свободы — от государства, нанимателя, потребителей профессиональных услуг. Таким образом, профессиональная идентичность оказывается связана с идентичностью гражданской. Профессионалы, как правило, в большей степени дорожат свободой слова, выражения своей позиции, нежели другие категории населения. Профессиональная идентичность поддерживает и членство в профессиональных ассоциациях, которые создаются представителями конкретных профессиональных категорий как площадки для обмена идеями и опытом и для лоббирования общих интересов, в том числе интересов профессии в политической сфере.

Падение уровня и значимости профессионализма в обществе происходит в переломные периоды истории: в условиях «первоначального накопления капитала» и наступления рыночных «ценностей», в авторитарных обществах, во время отката к авторитаризму, в кризисные времена. В таких ситуациях наблюдается либо резкое «полевение» профессионалов и вовлечение их в политическую борьбу, либо уход от активной деятельности (поколение «дворников и сторожей» периода «застоя» в СССР). Депрофессионализация как тренд оценивается как один из элементов дефицита демократии, она сопровождается утратой четких ориентиров профессионализма, размыванием профессиональной этики.

В демократических обществах кризис профессиональной идентичности и профессиональной идеологии может быть связан с масштабным продвижением иного идеологического проекта. Так, исследователь и энтузиаст «профессионального класса» Гарольд Перкинс характеризует неоконсервативную волну рубежа 1970–1980-х годов как наступление на принципы профессиональной этики и профессиональные ассоциации [Perkins 1996].

Профессиональная идентичность сегодня сталкивается с новыми вызовами в связи с моделью «обучения в течение всей жизни» (lifelong education), согласно которой в современном мире человек не может получить знания и навыки «на всю оставшуюся жизнь», а должен быть готов учиться и менять профессию неоднократно на протяжении жизни. Впрочем, креативный класс, который ярко живописал Р. Флорида, очень похож на интеллигентные профессии именно креативностью и чувствительностью к пространству свободы. [Флорида 2005]. Проблематика профессиональной идентичности продолжает оставаться актуальной для разных профессиональных групп (учителей, врачей, юристов, инженеров и др.), о чем свидетельствует значительный объем исследований и публикаций. Кроме того, периодически возникают идеи нового профессионализма и нового профессионального класса.

Литература

Крыштановская О.В. 1989. *Инженеры. Становление и развитие профессиональной группы*. М.: Наука. 144 с.

Овсяннико-Куликовский Д.Н. 1991. *Психология русской интеллигенции. — Вехи. Интеллигенция в России. Сборник статей. 1909–1910*. М.: Молодая гвардия. 461 с.

Песчанский В.В. 1975. *Служащие в буржуазном обществе: на примере Англии*. М.: Наука. 379 с.

Фадеева Л.А. 2012. *Кто мы? Интеллигенция в борьбе за идентичность*. М.: Новый Хронограф. 320 с.

Фадеева Л.А. Противоречивое сообщество: интеллигенция, интеллектуалы, «образованный класс». — *Сообщества как политический феномен (под ред. П.Панова, К.Сулимова, Л.Фадеевой)*. М.: РОССПЭН. 2009. С. 23–48.

Флорида Р. 2005. *Креативный класс. Люди, которые меняют будущее*. М.: Классика XXI. 421с.

The Formation of Professions. Knowledge, State and Strategy (ed. by M. Burrage, R. Torstendahl). 1990. London: Sage. 215 p.

Gella A. 1976. *The Intelligentsia and the Intellectuals: Theory, Method and Case Study*. London: Sage Pub. 235 p.

Professions in Theory and History. Rethinking the Study of the Professions (ed. by M. Burrage, R.L. Torstendahl). London: Sage, 1990. 248 p.

Perkins Harold. 1989. *The Rise of Professional Society. England since 1880*. London and New York: Routledge. 604 p.

Perkins Harold. 1996. *The Third Revolution: Professional Elites in the Modern World*. London and New York: Routledge. 272 p.

Корпоративная идентичность

И.С. Семененко

Ключевые слова: корпорация, (нео)корпоративизм, группы интересов, корпоративная культура, организация, организационная теория, социальный капитал, корпоративная социальная ответственность, корпоративное гражданство.

К*орпоративная идентичность* определяет принадлежность человека к структуре, обладающей признаками «корпорации» — закрытой для «чужих» общности, которую ее члены наделяют **коллективной идентичностью**. Носителями корпоративной (от лат. *corpus* — тело) идентичности выступают организация (как структура с формализованным участием) или сообщество, члены которых разделяют значимые идентификационные ориентиры, ценности и смыслы, определяющие общность их интересов. Такие смыслы наделяются позитивным содержанием и обычно визуализируются с помощью знаков, символов и ритуалов, позволяющих узнавать и выделять «своих». В зависимости от целей и характера корпоративного сообщества сами эти символические формы могут быть открытыми (как, например, в случае корпорации выпускников университета или участников образовательных программ), либо недоступными «чужим» (масонские ложи, мафиозные сообщества) способами олицетворения корпоративной идентичности.

Сильную корпоративную идентичность формирует солидарность ее носителей. Корпоративная идентичность создает социальный капитал «связывающего», а не инклюзивного типа — «bonding», а не «bridging» в терминологии Р. Патнэма [Putnam 2000], т.е. такие связи, которые работают на усиление сплоченности группы вне взаимодействий с другими группами. В этом смысле корпоративная идентичность выступает как фактор социальной дифференциации и артикуляции групповых интересов за счет других, конкурирующих групп и сообществ. Она может консолидироваться в ущерб публичному (общественному) интересу. Забастовки, организуемые профсоюзами авиадиспетчеров, — типичный пример такого рода конфликта корпоративных и широких общественных интересов.

В большинстве современных демократий сложились плюралистические системы представительства групп интересов и их конкуренции. Конфликты в сфере трудовых отношений могут регулироваться в рамках институтов социального партнерства — органов, представляющих бизнес, государство и профсоюзы (а сегодня — и другие структуры гражданского общества)

[Перегудов, Лапина, Семененко 1999; Перегудов, Семененко 2008]. При этом в большинстве развитых стран согласование интересов участников трудовых отношений ведется на отраслевом (мезо-) и микроуровне — в рамках взаимодействия с компаниями, которое регулируется корпоративным законодательством.

Жесткая иерархическая система управления организованными интересами, объединенными в корпорации, — характерная черта авторитарных политических режимов XX века (итальянский фашизм, франкизм, режим Салазара в Португалии). «Когда ассоциации интересов (и в особенности вся сеть таких ассоциаций) определенным образом организованы и / или когда они определенным образом участвуют в процессе принятия решений на различных уровнях государственной власти, мы можем говорить о корпоративизме...» [Шмиттер 1997: 15]. Идеи солидаризма, которые активно развивали еще в предвоенные годы в том числе представители русской эмиграции (в частности, Г.К. Гинс), предполагали выстраивание модели согласования противостоящих интересов при участии государства, но на основе ограничения его экономических функций; теоретики солидаризма исходили из наличия в обществе «психологии солидарности» и воспитания молодых поколений в соответствующем духе. В послевоенные годы солидаризм стал идейным ориентиром христианско-демократических политических сил в Европе.

Элементы модели функциональной организации экономических интересов могут быть интегрированы в демократические политические системы для регулирования процессов согласования интересов, представленных функциональными ассоциациями. Современный некорпоративизм (или в терминологии Г. Лембруха [Lembruch 1977] либеральный корпоративизм) представляет собой «специфический социально-политический процесс, в ходе которого организации, представляющие агрегированные функциональные интересы, вступают во взаимодействие с органами государства в целях выработки и принятия политических решений и последующей их реализации» [Cawson 1986: 38]. Некорпоративистская система взаимодействия организованных групп интересов (предпринимателей и представителей профессий, объединенных в Палаты с обязательным членством) и государственных структур сложилась, в частности, в Австрии, ее элементы присутствуют в скандинавских странах и Финляндии. В странах Юго-Восточной Азии сложились конгломераты экономических и финансовых структур под общим контролем и при поддержке государства. Так, южнокорейская модель корпоративизма содействовала становлению конкурентоспособного частного бизнеса в организационной форме чэболей и развитию взаимодействия государства и бизнеса в социальной сфере [Федоровский 2008].

В такой системе корпоративная идентичность выстраивается на принадлежности ее носителей к профессиональному (профсоюз) или функциональному (ассоциация бизнеса) сообществу. Утверждаясь в ходе социально-политического взаимодействия организованных групп и государства, корпоративная идентичность выступает как важная составляющая политической идентичности

группы и во многом определяет идейно-политическую самоидентификацию ее участников.

В узком смысле понятие «корпоративной идентичности» утвердилось в экономической литературе (экономика организации, управление персоналом) применительно к деятельности хозяйствующих субъектов в статусе бизнес-корпораций. Корпоративная идентичность в этом значении определяет узнаваемое «лицо» экономической организации в системе рыночных отношений и используется как инструмент повышения ее конкурентоспособности и завоевания симпатий потребителей. В маркетинговой стратегии компании такая идентичность утверждается в процессе коммуникации с потребителями и другими участниками взаимодействия с бизнесом (стейкхолдерами). Корпоративную идентичность как «совокупный портрет» участника экономических отношений формирует общая ориентированная на успех мотивация ее членов. Она строится на чувстве принадлежности к профессиональному коллективу, на отождествлении сотрудника с принципами и философией деятельности компании, с ее корпоративной культурой и этикой.

В литературе по корпоративному управлению понятие корпоративной идентичности стало использоваться в 1960-е годы [Balmer & Greyser 2003]. Множество публикаций посвящено использованию новейших технологий формирования и визуализации корпоративной идентичности в маркетинговых стратегиях [см., напр. Olins 1995; Rowden 2000]. Так, для обеспечения коммерческого успеха корпорация должна быть «экспрессивной» [Schultz, Hatch, Larsen 2000]. В маркетинговых исследованиях корпоративная идентичность ассоциируется в первую очередь именно с ее визуальной репрезентацией; такой редуционистский подход подвергается аргументированной критике [He, Balmer 2007]. В огромном потоке литературы, в основном прикладного характера, можно выделить исследования, посвященные использованию *корпоративной идентичности* как внутреннего ресурса компании для создания узнаваемого внешнего имиджа и коммерческого успеха [Marguelis 1977].

В стратегии управления персоналом формирование *корпоративной идентичности* сталкивается с рядом проблем, связанных с отсутствием внеэкономической мотивации, разобщенностью сотрудников разных уровней профессиональной компетентности и ответственности, разницей в доходах, обезличиванием связей в больших организациях. В тех национальных сообществах, где поддержание «корпоративного духа» является частью не только деловой, но и повседневной культуры, такая идентичность может стать важным двигателем инновационного развития на этапе социально-экономической модернизации (Япония, Сингапур, Южная Корея).

В этом контексте в литературе в рамках организационной теории, которая рассматривает организацию в том числе как феномен культуры, в широком контексте не только профессиональной, но и гражданской и этнической идентичности [Hatch and Cunliffe 2013; Morgan, 2006: 115–147; Прохоренко 2014], употребляется термин «организационная идентичность» (organisational

identity)¹. Он обозначает приверженность людей определенной организации, усвоение ценностей, которые она олицетворяет, готовность работать на ее благо [Albert and Whetten 1985]. Как составляющая социальной идентичности она определяет значимость для индивида его принадлежности к организации и ситуативна по своей природе [Ashforth and Johnson 2001]. Межстрановые различия в уровнях корпоративной приверженности объясняются различиями в институциональных средах, в которых функционируют организации, при этом жесткое регулирование рынка труда и защиты рабочих мест снижает уровень организационной приверженности [Монусова 2015: 47], размывает корпоративную идентичность.

Источники корпоративной идентичности не ограничиваются сферой трудовых, производственных отношений. Ее консолидирующим основанием может выступать встроенная в стратегию управления компанией корпоративная социальная ответственность (КСО). Она формирует ценностную мотивацию персонала за пределами чисто экономической заинтересованности в результатах своей работы, вовлекая сотрудников в «общее дело на общее благо». КСО создает позитивный образ компании за счет деятельности на трех направлениях ответственности (triple bottom line: people, planet, profit): социальном (выплата справедливой зарплаты и социальная поддержка персонала, социальные проекты, развитие местных сообществ), экологическом (дружественное по отношению к природе производство и природоохранная деятельность) и экономическом (производство общественно значимых и конкурентоспособных товаров, услуг и процессов). Корпоративное волонтерство, благотворительность и другие общие дела работают на консолидацию корпоративной идентичности за счет повышения ценностной мотивации сотрудников компании. Формирующаяся в процессе такой деятельности модель корпоративного гражданства — «ответственного общественного поведения компании, нацеленного на ее включение в системное взаимодействие с другими социальными институтами для совместного участия в осуществлении стратегии развития» [Перегудов, Семененко 2008: 52] — опирается на культуру взаимодействия, диалога с государством и обществом. В этом смысле утверждение модели корпоративного гражданства должно способствовать преодолению дефицита общественного доверия к бизнесу.

В то же время сосредоточение в руках ТНК политических ресурсов и возрастание их влияния на национальную и мировую политику порождают серьезные опасения в появлении «корпораций-государств» и в наступлении «корпоративного тысячелетия» [Становление корпоративности... 2006]. «Этические установки корпораций все чаще и чаще оцениваются как источники прямых потрясений системы ценностей общества, таких же значительных, как потрясения от корпораций в физическом окружении или в социальной системе.

¹ Сравнительный анализ трактовки и использования понятий организационной и корпоративной идентичности в литературе по менеджменту выявил явные пересечения в их употреблении [He and Balmer 2007].

Корпорации все более и более рассматриваются как “производители” моральных эффектов» [Тоффлер 1999: 387]. Бизнес участвует в формировании повестки дня политики идентичности и в продвижении тех ценностей и жизненных стилей, которые легитимируют его экономическую и политическую активность.

Литература

- Монусова Г.А. Приверженность организации в межстрановой перспективе. — *Российский журнал менеджмента*. Т. 13, № 4. С. 29–50.
- Перегудов С. П., Лапина Н. Ю., Семенов И. С. 1999. *Группы интересов и российское государство*. М.: УРСС. 350 с.
- Перегудов С. П., Семенов И. С. 2008. *Корпоративное гражданство. Концепции, мировая практика и российские реалии*. М.: Прогресс-Традиция. 447 с.
- Прохоренко И.А. 2014. Организационная теория в анализе глобального управления. — *Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика*. № 3. С. 150–173.
- Становление корпоративности. Триумф корпорации? 2006. — *Неприкосновенный запас. Тематический выпуск*. № 4–5 (48–49).
- Тоффлер Э. 1999. *Третья волна*. М.: Изд-во АСТ. 784 с.
- Шмиттер Ф. 1997. Неокорпоративизм. — *Полис*. № 2. С. 14–22.
- Федоровский А.Н. 2008. *Феномен чэболэ. Государство и крупный бизнес в Республике Корея*. М.: Издательский дом «Стратегия». 320 с.
- Albert S. and Whetten D. 1985. Organizational identity. — L.L. Cummings and B.M. Staw (eds.). *Research in Organizational Behavior*. Vol. 7. Greenwich, CT: JAI Press. P. 263–295.
- Ashforth B. E. and Johnson S. A. 2001. Which hat to wear? The relative salience of multiple identities in organizational contexts. — M.A. Hogg and D.J. Terry. *Social identity processes in organizational contexts*. Philadelphia: Psychology Press. P. 31–48.
- Balmer J.M.T. & Greyser S A. eds. 2003. *Revealing the Corporation: Perspectives on identity, image, reputation, corporate branding, and corporate-level marketing. An anthology*. London and New York: Routledge. 365 p.
- Cawson A. *Corporatism and Political Theory*. Oxford: Basil Blackwell, 1986. 174 p.
- Hatch M.J., Cunliffe A.L. 2013. *Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press. 384 p.
- He H.-W. and Balmer J.M.T. 2007. Identity Studies: Multiple Perspectives and Implications for Corporate-level Marketing. — *European Journal of Marketing*. Vol. 41. No 7–8. P. 765–787.
- Lembruch G. 1977. Liberal Corporatism and Party Government. — *Comparative Political Studies*. No 10. P. 91–126.
- Margulies W. 1977. Make the most of your corporate identity. — *Harvard Business Review*. July-Aug. P. 66–72.
- Morgan G. 2006. *Images of organization*. London: Sage Publ. 520 p.
- Olins W. 1995. *The New Guide to Identity: How to Create and Sustain Change Through Managing Identity*. L.: Gower Pub. Co. 110 p.
- Putnam R. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000. 541 p.
- Rowden M. 2000. *The Art of Identity: Creating and Managing a Successful Corporate Identity*. L.: Gower Pub Co. 214 p.
- Schultz M., Hatch M.J., & Larsen M. 2000. *The expressive organization: linking identity, reputation and the corporate brand*. Oxford: Oxford University Press. 292 p.

Экономика идентичности

И.С. Семененко

Ключевые слова: бихевиористская (поведенческая) экономика, креативная экономика, солидарная экономика, стили жизни, субкультурные группы (сообщества).

Экономика идентичности (identity economics) — понятие, предложенное нобелевским лауреатом по экономике 2001 года Дж. Акерлофом и его соавтором Р. Крэнтоном для концептуализации влияния идентичности на результаты экономической деятельности путем объяснения мотивации экономического поведения людей и организаций как носителей индивидуальных и коллективных идентичностей. Основные выводы сформулированы в получившей широкую известность статье «Экономика и идентичность» (2000); спустя десять лет вышла итоговая монография «Экономика идентичности», практически сразу переведенная на русский язык.

Авторы развивают аргументацию в русле бихевиористской (поведенческой) экономики, анализируя проявления идентичности в экономической жизни и их влияние на различные сферы экономической активности. Использование идентичности как категории для объяснения экономического поведения дает новые доводы противникам абсолютизации теории рационального выбора и модели «экономического человека». Идентичность трактуется в мотивационно-поведенческом ключе: «Что люди думают о том, как они и другие должны себя вести, как общество учит их вести себя соответствующим образом и насколько люди бывают мотивированы этими убеждениями» (Акерлоф, Крэнтон 2011: 7). Речь идет об объяснении экономического поведения в русле аргументации, которую поведенческая экономика выстраивает на основе психологической мотивации субъектов экономической деятельности. Но постановка вопроса об экономике идентичности претендует на привнесение в экономический анализ «модели социального контекста», основанной на оценках «реального поведения людей в реальных ситуациях», и на включение в объяснение экономического поведения таких разноуровневых составляющих, как «человеческие пристрастия и социальные институты» (там же: 9–10).

По итогам изучения таких разных и не встроенных в контекст рассматриваемых в социальных науках проявлений идентичности, как экономика организации, экономика образования и влияние факторов пола и расы на экономическое поведение (в ранней статье выбраны иные объекты анализа),

Дж. Акерлоф и Р. Крэнтон делают вывод о том, что «экономика идентичности может дать нам общее понимание социальных и экономических проблем нации» (там же: 139).

Применимость этих подходов в макроэкономическом анализе иллюстрирует ряд сравнительных исследований, выявляющих влияние фактора идентичности на социальные и экономические институты и, в частности, на механизмы перераспределения в разных национальных экономиках. Так, израильский экономист М. Шайо обнаружил, что в странах, близких по качеству институтов и уровню экономического развития, различия в характере налогового режима напрямую соотносятся с уровнем национальной самоидентификации бедных слоев населения: в развитых демократиях прослеживается негативная корреляция между установками на поддержку перераспределительных механизмов, с одной стороны, и уровнем не только доходов, но и национальной самоидентификации — с другой. При этом бедные обнаруживают более высокий уровень такой самоидентификации» [Shayo 2009]. В свою очередь, анализ социального самочувствия (well-being index) нации ставит под вопрос прямую зависимость благополучия общества от экономического роста [Vok 2010].

Предложенные подходы претендуют на разработку нового направления экономического анализа — «экономики идентичности» (по аналогии, например, с «экономикой знаний»): идентичность значима для экономики, поскольку она выстраивает выбор и влияет на выбор. Но сама исследовательская модель, предлагаемая авторами, не выходит за рамки попыток утвердить идентичность как аналитическую категорию экономической науки. По сути, речь идет о путях сопряжения экономики и идентичности в рамках социальной экономики (social economics [см. Becker, Murphy 2003]) с использованием аналитических подходов поведенческой и институциональной экономики.

Как доказывают приверженцы модели эволюционной экономики (evolutionary economics), идентичность как объяснительная категория работает на понимание процессов адаптации индивида к меняющемуся экономическому порядку. Этот ракурс анализа усматривает источник экономических трансформаций в том числе в динамике индивидуальной идентичности. Экономическое развитие предполагает изменения самих участников экономических отношений как генераторов новых идей и знаний, которые отражает динамика идентичности, а ограничения на пути таких изменений определяются «способностью усваивать и применять новые идеи». Если на макроуровне происходят структурные трансформации, то на микроуровне, уровне хозяйствующего субъекта, экономическое развитие предполагает появление новых форм потребительских мотиваций и культурных ожиданий [Potts 2008]. Идентичность экономического субъекта определяется институциональным контекстом его деятельности [Herrmann-Pillath 2008].

На наш взгляд, как аналитическая категория *экономика идентичности* может быть концептуализирована на основаниях целеполагания хозяйствующих субъектов, которые *создают и развивают сферы экономической активности, мотивированной самоидентификацией и ценностным выбором самих субъектов*

экономической деятельности и потребителей. Экономика идентичности включает отрасли и производства, ориентированные на утверждение и поддержание коллективной идентичности группы, которые объединяются на профессиональных, этнических, конфессиональных, социокультурных основаниях.

«Экономики с прилагательными» (креативная, этническая, исламская, солидарная, «свободная» экономика), производства, обслуживающие потребности религиозных конфессий или приверженцев здорового образа жизни, организуют разработку, выпуск и потребление товаров, услуг и технологий, которые поддерживают характерные для носителей таких коллективных идентичностей стили жизни и модели поведения. Ярким примером являются обслуживающие молодежные субкультурные группы (*сообщества*) производства товаров и услуг, в том числе высокотехнологичной интеллектуальной продукции, которые работают на спрос, формирующий и поддерживающий групповую идентичность. Экономика идентичности встраивается в ряд моделей «экономик с прилагательными», которые утвердились в публичном дискурсе в условиях нарастания кризисных явлений в существующей постиндустриальной модели развития и поиска альтернатив ее исчерпанию.

Развитие ориентированных на групповые потребности производств может стимулировать альтернативные модели социально ответственного производства и потребления и формировать альтернативные жизненные стили, в частности, в рамках получившей признание в последние десятилетия в странах Латинской Америки и Европы модели солидарной экономики. Такие «точечные» инициативы «работают в противовес рыночной экономике исключительно в интересах местных сообществ» и без участия государства, создавая «новые связующие нити между социумом и экономикой» путем поддержки самоуправляющихся¹ экономических структур [Садовая, Сауткина 2015: 169]. Солидарная экономика строится на общих управленческих принципах и «ценностных установках, предполагающих приверженность принципам солидарности и взаимопомощи» [там же: 171]. Эти и другие субъекты экономики идентичности — индивиды и организации — носители коллективных идентичностей, ориентированных на консолидирующую группу общественно значимую экономическую активность. В этом смысле экономика идентичности становится механизмом реализации политики идентичности.

В информационном обществе появились сообщества, объединяющие мотивированных общими интересами и общими идентификационными ориентирами профессионалов — представителей новейших сфер занятости, носителей сетевой идентичности (специалисты в области IT-технологий и др.). Такие сферы занятости притягивают приверженцев определенных ценностей и жизненных стилей и сами становятся источником их самоидентификации. В широком смысле экономика идентичности включает пространства и конкретные сферы

¹ Принципы самоуправления общими ресурсами были в центре исследований Элинон Остром (1933–2012), получившей за эти изыскания в 2009 году Нобелевскую премию по экономике [Остром 2011].

профессиональной и досуговой активности, которые структурируются на основе общих установок их участников и становятся ресурсом формирования их идентичности. Так может формироваться, например, корпоративная идентичность; так появляются притягательные для представителей «креативного класса» [Флорида 2005] центры инновационной социальной и экономической активности.

В условиях роста значения рыночных отношений и экономического благосостояния в формировании идентификационных ориентиров российского общества в отечественной психологической науке в последние годы появилось понятие «экономической идентичности». Оно описывает отношение человека к материальным благам и институту собственности и вытекающие из такого отношения характеристики его социальной и личностной идентичности. В этом контексте экономическая идентичность «выражает осознание человеком своей принадлежности к конкретной социальной общности, определяемой экономическими признаками», и рассматривается как «психологическая категория, которая относится к результату определения человеком своего положения в системе экономических отношений и, прежде всего, отношений собственности» [Хашченко 2004]. Однако ни в институциональной экономике, ни в социальной психологии и политической науке эта категория широкого распространения не получила.

Литература

Акерлоф Дж.А. и Крэнтон Р.Е. 2011. *Экономика идентичности. Как наши идеалы и социальные нормы определяют, кем мы работаем, сколько зарабатываем и насколько несчастны*. М.: Карьера Пресс. 224 с. [Akerlof G.A., Kranton R.E. 2010. *Identity Economics. How our identities shape our work, wages, and well-being*. Princeton and Oxford, Princeton University Press].

Остром Э. 2010. *Управляя общицей. Эволюция институтов коллективной деятельности*. М.: ИРИСЭН, Мысль. 448 с. [Ostrom E. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge, Cambridge University Press. 298 p.]

Садовая Е., Сауткина В. 2015. *Трансформация принципов современного мироустройства: социальный аспект*. М.: ИМЭМО РАН. 206 с.

Флорида Р. 2005. *Креативный класс. Люди, которые меняют будущее*. М.: Издательский дом «Классика-XXI». 421 с.

Хашченко В.А. 2004. Экономическая идентичность личности: психологические детерминанты формирования. — *Психологический журнал*. 2004. Т. 25. № 5. С. 32–49.

Akerlof G.A., Kranton R.E. 2000. Economics and Identity. The Quarterly — *Journal of Economics*. Vol. CXV. Issue 3. August. P. 715–753.

Becker G.S., Murphy K.M. 2003. *Social Economics. Market Behavior in a Social Environment*. Cambridge MA: Harvard University Press. 190 p.

Bok D. 2010. *The Politics of Happiness: What Government Can Learn from the New Research on Well-Being*. Princeton: Princeton University Press. 262 p.

Herrmann-Pillath C. 2008. Identity Economics and the Creative Economy, Old and New. — *Cultural Science Journal*. Vol. 1. No 1. ЭЛ. псцупс. Доступ: <http://cultural-science.org/journal/index.php/culturalscience/article/view/5/14> (accessed: 19.03.2016).

Potts J. 2008. Economic evolution, identity dynamics and cultural science. — *Cultural Science Journal*. Vol. 1. No 2. Электронное издание. Доступ: <http://cultural-science.org/journal/index.php/culturalscience/article/view/16/54> (accessed: 19.03.2016).

Shayo M. 2009. A Model of Social Identity with an Application to Political Economy: Nation, Class and Redistribution. — *American Political Science Review*. Vol. 103 (2). May. P. 147–174.

Идентичность потребителя

Н.В. Плотичкина

Ключевые слова: идентификация, конструирование идентичности, идентичность потребителя, индивидуальная идентичность, групповые идентичности, гибридная идентичность, потребительство (консьюмеризм), просьюмеризм.

Осмысление сущности, роли потребления в социуме происходит с учетом экономических и культурных контекстуализаций потребительских практик. Смысловые дефиниции потребления варьируются от деятельности, направленной на удовлетворение потребностей, до процесса формирования идентичности с помощью знаков и символов, в качестве которых выступают материальные и нематериальные блага. Исследователи рассматривают «консьюмеризм» в двух полярных значениях: как высокий уровень потребления индивида, разрушение рынком индивидуальности человека (потребительство) и как организованную социальную практику защиты прав и интересов потребителей, расширения их полномочий по отношению к бизнесу, достижения благосостояния потребительской общественности (Ф. Котлер). Представители Франкфуртской школы критической теории (Т. Адорно, М. Хоркхаймер и др.) инициировали научные дискуссии по вопросам манипулирования потребителями посредством системы стратегий, направленной на продажу продукции и формирование субъектности потребителя, выгодной капитализму. Потребление выступало ядром «тотально административного общества», которому свойственны коммодификация культуры, конформизм и пассивность индивида [Адорно, Хоркхаймер 1997]. Критика потребления указывает на то, что циркуляция товаров и услуг задает социальные рамки для объективации и манипуляции потребителей, инструментом интеграции в современном обществе является принцип соблазнения потребителей (З. Бауман). Товар играет роль компенсатора дисциплинарных практик капитализма, редуцирует «поиск себя» в социальном мире объектов.

Консюмеризм превращает приобретение товара в базис *идентичности*. В современном обществе собственная личность рассматривается как контейнер «множественных идентичностей», строящихся в том числе на участии в процессах потребления товаров и услуг. Однако степень, с которой *конструирование идентичности* основывается на потреблении, остается в исследовательском дискурсе открытым вопросом [Gottdiener 2000: 23].

Идентичность потребителя — результат процесса потребительской идентификации, в рамках которого индивиды как агенты, действующие под влиянием логики экономической системы, знаковой структуры потребления, или как акторы, сознательно удовлетворяющие потребности и способные использовать объекты в целях самовыражения в пределах и за пределами влияния кодов, знаков, определяют и позиционируют себя посредством приобретения товаров или услуг.

В современном обществе индивид конституирует идентичность потребителя в рамках двух режимов: «кодированного» и «индивидуализированного» [Dunn 2008: 176–185] в соответствии с вертикальным и горизонтальным измерениями социальной структуры общества потребления. Действуя в «кодированном» режиме конструирования потребительской идентичности, индивид идентифицирует себя со знаками, кодами, т.е. маркерами, которым придается статус символов приверженности образам и стилям потребления, транслируя окружающим информацию о себе. Стиль потребления — «якорь» стиля жизни, обусловленный вкусовыми пристрастиями индивида. На базовом уровне конструирование идентичности в «кодированном» режиме означает устойчивую идентификацию индивидов с потреблением как деятельностью и соответствующее определение себя как коньюмера (роль потребителя), формирование потребительского габитуса. Потребление действует как устойчивая метафора и практика, придавая форму и смысл повседневной жизни (З. Бауман). Последующий уровень «кодированного режима» связан с self-коммодификацией в том смысле, что знаки, коды детерминируют пути конструирования идентичностей. Коммодификация означает трансформацию предметов и услуг в товар. Self-коммодификация включает два аспекта: самоидентификация опосредована приобретением товаров и услуг; с другой стороны, индивид осуществляет практики «персонального брендинга», конструирования собственного имиджа в целях манипулирования мнением окружающих людей ради получения экономической выгоды [Davis 2003: 41, 48].

Индивиды осуществляют различия в системе отношений «свой — чужой» через определенный набор вещей, маркируя себя в качестве специфического товара (Ж. Бодрийяр), приобретая идентичности как «потребительские проекты» в «мире-супермаркете» (М. Уэльбек). Потребители идентифицируют себя с изображениями медиа, рекламы, формируют идентичности посредством имитации, подражания, основанных на образах, демонстрируют внимание к внешним проявлениям личности, наполняющим мир идентификаций. Конструирование идентичности сводится к сообщениям знаковой системы, индивиды практикуют потребление знаков, кодов, символических значений

имиджа и транслирование идентичности потребителей. Стилистические идентификации указывают на эклектичность идентичностей потребителей, когда потребление товаров является, прежде всего, маркером индивидуальной идентичности. Потребительская культура трансформирует современный self-проект в производство персоны, пользующейся спросом. Другая специфическая форма self-коммодификации — идентификация с брендами. Брендинг продукции — средство конкретизации идентификации с товарами. Имя бренда необходимо для того, чтобы связать вкусы, предпочтения потребителей с определенными производителями и ритейлерами, при этом индивиды используют бренд как часть их самоопределения и самопрезентации. В конечном итоге бренды становятся маркерами групповых стилей жизни, подобная идентификация носит семиотический характер и располагает потребителя в системе знак / товар. Идентифицируясь с медиасообщениями, потребители принимают доминирующие коды, структуры, смыслы общества потребления. Демонстративное потребление (Т. Веблен, Ж. Бодрийяр, П. Бурдьё, Г. Зиммель) рассматривается как особый тип потребительского поведения, репрезентирующий идентификацию индивида со статусными социальными группами.

В условиях «индивидуализированного режима» потребитель дистанцируется от множества модусов потребления, в рамках которых его идентичность определялась бы посредством кодов, знаков или наблюдалась бы устойчивая идентификация с консюмеризмом как стилем жизни; потребитель демонстрирует способность к суверенитету и автономии, собственным дефинициям значений и использований товаров и услуг. Потребление становится материальным средством выражения ядра идентичности, сконструированной из идентификаций, не связанных со стилями жизни, предложенными к продаже на коммерческих рынках. В этом случае потребление играет умеренную роль в формировании идентичности и ограничивается уточнением уже существующих идентичностей [Halter 2000].

В рамках «кодированного» и «индивидуализированного» режимов конструирования идентичности потребителям свойственна оценка эстетических свойств и утилитарной значимости предметов потребления.

Матрица структурирования потребительской идентификации включает:

- инструментальный (функции предметов потребления) и экспрессивный (эстетические свойства товаров, услуг) процессы идентификации потребителя;
- индивидуализированный (товар / услуга как объект личного смысла) и кодированный (знак, код, бренд) режимы конструирования идентичности потребителя.

Различия в режимах конструирования проявляются в дифференциации стилевых практик: стили жизни принимают индивидуализированные формы или ориентированы на потребление знаков, символов, коммодификацию собственной личности, при этом «Я» приобретает статус товара. Самоидентификация консюмера через вербальные и поведенческие формы, внешние интерпретации публичного потребительского поведения индивида, его мани-

пулирование впечатлениями окружающих в ходе самопрезентаций являются взаимосвязанными аспектами формирования идентичностей потребителей.

Выделение режимов формирования потребительских идентификаций коррелирует с индивидуализацией и структуризацией потребительских идентичностей. С одной стороны, индивиды приобретают свободу самостоятельно решать, какие символы и потребительские товары использовать в строительстве и репрезентации своих индивидуальных идентичностей, в обществе происходит распад классовой идентичности, поскольку новые идентичности определяются не только классовыми характеристиками индивидов и их положением в социальной структуре (Э. Гидденс, У. Бек, З. Бауман). Сторонники социальной структуризации идентичности подчеркивают ее заданность социальным контекстом (социальными категориями, социально-экономическими позициями) (А. Уорд, Я. Вудворд, М. Сэвэдж и др.).

В отечественной социологии потребления понятие «идентичность потребителя» интерпретируется в рамках социокультурного направления (В.И. Ильин, Д.В. Иванов, А.А. Желнина, О.Ю. Гурова, С.А. Ильиных, Л.Л. Шпаковская, О.Г. Ечевская и др.). С позиции деятельностно-конструктивистского подхода В.И. Ильина, идентичность потребителя конструируется в ходе осмысленного производства текста в контексте социальной среды общества, которая снабжает индивида доступными ресурсами, культурными программами и одновременно накладывает на его действия ограничения в виде правил распределения ресурсов [Ильин 2008: 18–21]. Влияние социокультурного поля общества потребления проходит через фильтр индивидуально-личностного поля индивида [Ильин 2008: 77–86], что обуславливает дифференциацию потребительских практик, индивидуализацию конструирования идентичностей потребителей.

Производство идентичности через потребление осуществляется под влиянием множества различных социальных характеристик: класса, возраста, гендера, профессии, территориальной принадлежности. Процесс формирования идентичности связан с потребительским выбором, индивид выбирает, интерпретирует идентичности, репрезентирует себя так, как он хочет, чтобы его рассматривали другие; с другой стороны, выбор идентичностей потребителей ограничен доминирующим дискурсом субъектов капиталистической экономики и набором ресурсов индивида.

Идентичность политического потребителя конституируется вследствие отождествления политической активности с поведением на рынке и признания важности экологических, экономических и политических условий производства, распределения и потребления товаров и услуг (например, «зеленый камуфляж», культура джамминг, бойкот товаров по политическим мотивам). Культура джамминг свойственна антиконсюмеристским движениям, создающим «помехи» влиянию брендов, рекламных сообщений путем переформатирования, наделения их иными, в том числе противоположными значениями (эдбастинг). Тактика «зеленого камуфляжа» используется производителями для формирования имиджа экологически-ориентированной компании

в целях манипулирования потребителями и расширения продаж товаров и услуг, даже если выпускаемая продукция не соответствует экологическим стандартам. Формирование подобного типа обусловлено политизацией идентичности потребителя и консьюмеризацией политического поведения, связано с политической идентичностью, его носители интерпретируют сферу политики посредством экономических категорий, осуществляют потребительский выбор политических благ и услуг, реализуют политические интересы на потребительском рынке.

Появление и распространение «Web 2.0» (Т. О'Рейли), «культуры участия» (Г. Дженкинс), «маркетинга 3.0» (Ф. Котлер), «цифрового компьютеризированного капитализма» (Дж. Ритцер, Н. Юргенсон) внесли коррективы в традиционное понимание идентичности потребителя. Сеть Web 2.0 изменила логику производства в капиталистической системе, в условиях которой новые инструменты создания контента привели к релятивизации границ между потребителем и производителем, возникновению идентичности просьюмера. Просьюмеризм в классической версии (Э. Тоффлер) описывается как практики самообслуживания, участия потребителей в разработке товара / услуги; в современных трактовках (Дж. Ритцер, Н. Юргенсон, А. Брунс) просьюмерская активность характеризуется как результат усилий онлайн-сообществ или отдельных пользователей, создающих продукт — контент — в пространстве Web 2.0. Современный капитализм имеет ряд отличий от традиционной капиталистической системы: изобилие самостоятельно созданного интернет-пользователями контента в противовес дефициту, неоплачиваемый просьюмерский труд, нацеленность капиталистов на эффективность производства, сопротивление просьюмеров владельцам Web 2.0-корпораций, производство бесплатной и общедоступной информации [Jurgenson, Ritzer 2010]. Просьюмер конструирует идентичность посредством реализации таких практик, как самообслуживание, вирусный маркетинг; массовое производство согласно потребительскому шаблону; производство открытого программного обеспечения; профессиональное потребление; менеджмент знаний (Википедия); обработка контента и креативная совместная работа.

Идентичность просьюмера носит гибридный характер как результат интеракции индивидов в гибридном пространстве, сочетающем черты онлайн- и оффлайн-среды, в силу гибридного положения пользователя вследствие идентификации с социальными ролями производителя и потребителя. Цифровые формы — ключ к пониманию гибридной идентичности просьюмеризма. Динамичные онлайн-сообщества не могут существовать вне деятельности просьюмеров, которые обновляют свой личный профиль в сетях, оставляют комментарии, загружают фотографии, публикуют заметки; при этом онлайн-практики определяют их оффлайн-повседневность. Блоггинг интерпретируется в контексте «экономики внимания», вознаграждения блоггеров — это просмотры, ссылки и комментарии. Социальные сети выступают в качестве пространства для процесса конструирования гибридной просьюмерской идентичности, который включает два центральных элемента — создаваемый

и совместно используемый контент и комментарии к контенту. Создание контента в социальных сетях происходит в процессе рефлексии и работы над идентичностями. Формы политического просьюмеризма: производство медийного политического контента, участие граждан в политических кампаниях, пиратских партиях, оккупай-движениях, публичной дипломатии (просьюмеризм как результат децентрализации традиционных обязанностей государства, передачи их гражданам, выступающим в роли потребителей и производителей общественного блага), политических арт-практиках (акция, инсталляция, хэппенинг, перформанс, граффити, флешмобы и т.д.).

Потребитель — одна из социальных ролей человека массового общества, формирующая его идентичность. Самодовлеющий характер такой идентичности разрушителен для индивида, который действует исключительно как агент ориентированной на прибыль экономической системы и забывает о субъектности. Цифровой капитализм предоставляет индивиду больше свободы в конституировании идентичности просьюмера; владельцы корпораций Web 2.0 в меньшей степени эксплуатируют просьюмеров, не отчужденных от средств производства и получающих удовольствие от своей работы над собственным «Я». В подобных условиях исследователи должны взвешенно подходить к оценке роли консьюмеризма и просьюмеризма в формировании идентичности по сравнению с иными формами идентификации.

Литература

- Адорно Т., Хоркхаймер М. 1997. *Диалектика просвещения: философские фрагменты*. М., СПб.: Медиум Ювента. 312 с.
- Бодрийяр Ж. 2006. *Общество потребления. Его мифы и структуры*. М.: Республика, Культурная революция. 268 с.
- Ильин В.И. 2008. *Потребление как дискурс*. СПб: Интерсоцис. 446 с.
- Ильиных С.А. 2011. Ключевые понятия общества потребления: исследование с позиции социологии. — *Журнал социологии и социальной антропологии*. Т. XIV. № 5 (58). С. 29–40.
- Bauman Z. 2001c. Consuming life. — *Journal of Consumer Culture*. Vol. 1. № 1. P. 9–29.
- Benkler Y. 2015. Peer production and cooperation. — *Handbook on the Economics of the Internet*. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar Publishing. P. 1-35.
- Carducci V. 2006. Culture Jamming: A Sociological Perspective. — *Journal of Consumer Culture*. Vol. 6. № 1. P. 116–138.
- Davis J. 2003. The Commodification of Self. — *The Hedgehog Review*. Vol. 5. № 2. P. 41–49.
- Dunn R.G. 2008. *Identifying consumption: Subjects and objects in consumer society*. Philadelphia: Temple University Press. 235 p.
- Featherstone M. 2007 [1991]. *Consumer culture and postmodernism*. London: Sage. 232 p.
- Gottdiener M. 2000. *New Forms of consumption: consumers, culture and commodification*. Lanham: Rowman and Littlefield. 272 p.
- Halter M. 2000. *Shopping for Identity: The Marketing of Ethnicity*. New York: Schocken Books. 244 p.
- Jenkins H., Kelley W. 2015. *Reading in a participatory culture: remixing Moby-Dick in the English classroom*. New-York: Teachers College Press. 221p.

Jurgenson N., Ritzer G. 2010. Production, consumption, prosumption: The nature of capitalism in the age of the digital prosumer. — *Journal of Consumer Culture*. Vol. 10. № 1. P. 13–36.

Kotler P. 2010. The prosumer movement: A new challenge for marketers. — *Prosumer revisited. Zur Aktualität einer Debatte*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 51–60.

Leadbeater C., Miller P. 2004. *The Pro-Am revolution: How enthusiasts are changing our economy and society*. London: Demos. 74 p.

Ritzer G. 2014. Prosumption: Evolution, revolution, or eternal return of the same? — *Journal of Consumer Culture*. Vol. 14. № 1. P. 3–24.

Warde A., Martens L. 2000. *Eating out: social differentiation, consumption and pleasure*. Cambridge: Cambridge University Press. 260 p.

Woodward I. 2006. Investigating consumption anxiety thesis: aesthetic choice, narrativisation and social performance. — *The Sociological Review*. Vol. 54. № 2. P. 263–282.

Глава 33

ДИСКУРСЫ ИДЕНТИЧНОСТИ: ИДЕИ, ЦЕННОСТИ, СМЫСЛЫ

Ценностно-политические проекты формирования идентичности

Д.Б. Казаринова

Ключевые слова: ценности, ценностно-политический проект, политическая субъектность, политическая элита, имперский дискурс, политическая легитимация, универсализм, «мягкая сила», идеология, идеологема.

Ценностно-политические проекты формирования идентичности — это широкомасштабные идеологические стратегии, которые формулируются политической властью от имени больших социально-политических общностей и выстраиваются на ценностно-смысловых основаниях. Такие проекты ориентированы на формирование определенных характеристик национальной и иных макрополитических идентичностей и служат для легитимации проводимого курса и конкретных политических решений как во внутренней, так и во и внешней политике. Они могут рассматриваться в том числе как аксиологический и телеологический базис политики, который выстраивается с помощью стратегий «мягкой», «умной» или традиционной силы для обеспечения национальных интересов. В настоящее время ценностный дискурс в политике все более актуализируется, что находит отражение в крайних мнениях о начавшемся «столкновении цивилизаций», «информационных войнах», «войне ценностей» и «битве идентичностей».

Понятия ценностно-политического проекта и идеологии лежат в одном предметном поле. Идеология как система идей в широкой и нейтральной интерпретации понимается как «фактор, способствующий формированию и сохранению идентичности», обладающий символической структурой и интегративными функциями [Малинова 2003], а ценностно-политический проект получает свое рефлексивное выражение в идеологеме или наборе идеологем,

отсылающих к определенному идеологическому дискурсу. В идеологеме в символическом виде концентрируется его ценностно-смысловое, эмоциональное и образное содержание.

Целеполагание ценностно-политического проекта, выдвигаемого от имени государства, предполагает поддержание социально-политической общности и способность не только удерживать такую общность в исторической перспективе, но и расширять пространство ее влияния. Такой проект выступает как политическая стратегия, артикулируемая интеллектуальными и политическими элитами, которые продвигают их от имени всего общества и сплачивают его на различных основаниях (религиозных, идейных, цивилизационных, культурных) в рамках отвечающей «общим» устремлениям и интересам парадигмы. Культурно-символические механизмы скрепления политической общности нуждаются в конкретных инструментах сохранения, продвижения и трансляции ценностного наполнения и призваны отразить разные измерения общественного сознания: цивилизационное, географическое, историческое, духовно-религиозное, образовательное, языковое. Неожесточенность ценностных парадигм различных дискурсов идентичности (патриотизма, фундаментализма, энвайронментализма и др.), отражает многомерность политико-символического пространства современной демократической политики.

В современном политическом процессе оригинальные ценностно-политические проекты идентичности формулируют и продвигают акторы разного уровня — от государства и мегакорпораций до регионов и городов. Обладая собственной политической субъектностью как совокупностью самоосознания, самодетерминации и самопроектирования [Ракитянский 2014], они легитимируют посредством ценностно-политического проекта притязания на новый политический статус и новый уровень субъектности в мировой политике. Так происходит, например, актуализация имперских ценностно-политических дискурсов (несмотря на то, что империй в прямом смысле слова в современном мире не существует, а «либеральная империя» — это оксюморон [Кортунов 2009]). Наличие имперских амбиций у геополитических акторов требует ценностно-смысловой легитимации посредством адекватного ценностно-политического проекта (показателен в этом смысле проект турецкого неосманизма).

Западная общественная мысль в основном исходит из универсалистского характера «европейских» ценностей, которые противоречат, например, сугубо «русским» или «конфуцианским» [Инглхарт 2015]. Противоположная точка зрения исходит из того, что дискурс для обоснования легитимности ценностей, лежащих в основе претендующей на субъектность политической общности, не может быть безальтернативным. Незападным обществам, стремящимся утвердить себя в статусе глобальных игроков в многополярном мире, с необходимостью надо предлагать не только некий набор привлекательных идей и моделей развития, но и продуцировать альтернативную рациональность, лежащую вне мейнстримной парадигмы развития Запада [Дуткевич 2012].

Одна из наиболее значимых глобальных тенденций — активное использование религиозно-цивилизационного единства как основы ценностно-политиче-

ского проектирования [Почта 2009]. Духовно-религиозная сфера определяет базовый набор ценностей, из которого вырастает ценностно-политический проект формирования идентичности. Обращение к религиозной или конфессиональной традиции, задающей идентичностные параметры общества, маркирует символическое единство на глубинных основаниях, определяющих смысложизненные ориентиры его членов.

Одним из ключевых атрибутов таких проектов является их апелляция к единству исторической судьбы сообщества, существующего в границах определенного политического пространства. Общее историческое прошлое рассматривается как фундамент, из которого вырастает общее будущее. В обществах, проектирующих свое будущее, в контексте политики памяти культивируется запрос на поиски в прошлом мифа, способного скрепить новую социально-политическую реальность. Общее политическое и социокультурное пространство ценностно-политического проекта идентичности поддерживается в контексте непрерывного исторического процесса, в котором просматриваются характерные для этого проекта логика и хронология. Оно может подкрепляться связями родственного преемства или сакрализироваться, вплоть до происхождения из трансценденции («Москва — Третий Рим»).

Ценностно-политические проекты формирования идентичности существуют в различных типах социокультурных суперсистем [Сорокин 2000]. Они объединяют рациональную и иррациональную составляющие и предстают как рациональная стратегия претворения иррациональных по сути ценностных установок [Гартман 2002] в практические политические цели. Именно поэтому даже в рациональной западной культуре «мягкая сила» как канал реализации ценностно-политического проекта работает, опираясь в первую очередь на образы и чувства, а не только (и не столько) на рациональные основания экономического благополучия [Иванов 2015].

Такие проекты имеют темпоральное и пространственное измерения. С одной стороны, они выстраиваются на «глубинных факторах устойчивых традиций, свойственных истории, специфике политико-экономической деятельности, общественной мысли, идеологии, духовной жизни», на «анализе механизмов социального наследования и преемственности, обуславливающих сохранение и трансляцию общего достояния» [Мчедлова 2011]. В таком дискурсе всегда содержится отсыл к традиции как зафиксированной в культуре практике наиболее эффективного выживания и воспроизводства общества. При этом, поскольку ценностно-политический проект по определению устремлен в будущее, его успех определяет опора на традицию в адаптированном к нынешним вызовам и модернизированном виде. Такой проект ориентирован на расширение пространства бытования ценностей и на политико-институциональное оформление поверх национальных границ, на формирование в таких пространствах проективной (в терминах М. Кастельса [Кастельс 2000]) идентичности за счет использования центростремительного потенциала, заложенного в тех или иных технологиях социального строительства. Смыслом проекта может быть и «мягкий», относительно безконфликтный уход от предшествующей политической

стратегии, как это случилось в Китае с провозглашением и реализацией курса «четырех модернизаций» в 1970–1980-е годы. Знаменитая фраза Дэн Сяопина «неважно, какого цвета кошка, лишь она ловила мышей» символизировала курс на прагматические экономические реформы, реализация которых позволила Китаю стать одним из лидеров мировой экономики.

Артикуляция уникальных формул ценностно-политических проектов вокруг «ведущих или стержневых стран своих цивилизаций» отражает диверсификацию политического и социального развития современного мира, полицивилизационность современного миропорядка [Хантингтон 2003]. Для Запада приоритетным является универсальный характер либеральных прав и свобод, прав человека, гражданского общества, представительской демократии, системы разделения властей, свободного рынка и ценностей индивидуального выбора. Для исламского мира — альтернативные проекты политического ислама, часто в радикальных фундаменталистских формах. Для Латинской Америки это формула сочетания межрасовой гармонии, южноамериканское экономическое чудо при левом развороте к сильному социальному государству, для Индии — сочетание консервации архаичных социальных институтов и прорывных инновационных технологий, для Китая — стратегия гармоничного возвышения [Казаринова 2011]. Для России, претендующей на роль ключевого политического субъекта в многополярном мире и стержня для постсоветского пространства, в основании такого проекта лежат ценности межконфессионального диалога, сильного государства, цивилизационной и социально-экономической общности обширной территории, исторически населенной представителями разных народов и культур. Неоднозначность концептуальных основ ценностно-политического проекта Русского мира отражает отсутствие общественного консенсуса «относительно сущности и способов российских социально-политических трансформаций, российской цивилизации, а также дебатов об идентичности и ее воздействии на модернизацию и политическое развитие в условиях современности, новых смысловых стратегиях политических проектов и их корреляции с общественными ожиданиями» [Мчедлова 2015].

Для продвижения ценностно-политического проекта используется специфический арсенал инструментов политики идентичности. Особая роль отводится проблеме языка как семиотического основания культуры, образующего смысловое единство. Английский язык как отражение «либерального» бытия транслирует на весь мир доминирующий тип западной рациональности. Но важно отметить и рост влияния «региональных» языков — китайского, испанского, французского, русского. Их продвижение становится предметом особой заботы специально созданных организаций (Институт Сервантеса, Институт Конфуция, Гете институт), использующих инструменты «мягкой силы» для превращения культурного влияния в политическое. Русскому языку и русской литературе уделяется особое внимание и в российской политике. Поскольку приобщение к ценностям социально-экономического и политического характера происходит в результате социализации, носители политической

субъектности стремятся расширить свое образовательное пространство путем гармонизации форм и методов, а затем и содержания образовательных программ с выходом на региональный и транснациональный уровни для трансляции своих политических и социокультурных ценностей.

Ценностно-политические проекты формирования национальной идентичности носят амбивалентный характер. Успешные проекты служат сохранению внутреннего единства сообщества на основе обращения к традиции, поддержания базовых, глубинных форм и механизмов функционирования общества и одновременно выступают как образ общего будущего, как проекты, ориентированные на идею развития. Последовательное целеориентированное сочетание этих составляющих в конечном счете определяет их привлекательность и эффективность.

Литература

- Гартман Н. 2002. *Этика*. СПб.: Владимир Даль. 708 с.
- Дуткевич П. 2012. Рынок, модернизация и демократия. Размышления о межцивилизационных отношениях. — *Диалог культур в условиях глобализации*. XII Международные Лихачевские научные чтения 17–18 мая 2012 г. Т. 1. Доклады. СПб.: СПбГУП. С. 81–87.
- Инглхарт Р. Зачем социологи, психологи, экономисты и политологи изучают ценности? — *Лекция цикла «Мировой класс»*. 17.11.2015. Эл. ресурс. Доступ: <http://www.forbes.ru/sobytiya/obshchestvo/305873-lektsiya-ronalda-ingkharta>
- Казаринова Д.Б. 2011. Феномен «мягкой силы». Стратегии мягкой силы в политике государств-членов двадцатки. — *Свободная мысль*. № 3. С. 187–200.
- Кастельс М. 2000. *Информационная эпоха: экономика, общество и культура*. М.: ГУ-ВШЭ. 608 с.
- Кортунов С. 2009. Имперское и национальное. — *Становление национальной идентичности: Какая Россия нужна миру*. М.: Аспект Пресс. 376 с.
- Малинова О. 2003. Концепт идеологии в современных политических исследованиях. — *Политическая наука. Политическая идеология в современном мире*. Сб. научных трудов. М.: ИНИОН РАН. С. 8–31.
- Мчедлова М. 2011. Российская цивилизация: координаты интерпретации в новых реалиях. — *Слово.ру: Балтийский акцент*. № 3–4. С. 27–39.
- Мчедлова М. 2015. *Русский мир: как он видится гражданам России*. — *Российское общество и вызовы времени. Книга первая (под ред. Горшкова М.К., Петухова В.В.; Институт социологии РАН)*. М.: Издательство «Весь Мир». С. 215–233.
- Почта Ю.М. 2009. Политический ислам в контексте глобализации и роста фундаменталистских движений религиозного и светского характера в начале XXI века. — *Мир Ислама (Pax Islamica)*. № 2. С. 159–166.
- Ракитянский Н. 2014. Концепт и принцип субъектности в политико-психологических исследованиях. — *Российская политическая наука: истоки, традиции и перспективы. Материалы Всероссийской научной конференции (с международным участием)*. Москва, 21–22 ноября 2014 г. М.: РИЦ МГГУ имени М.А. Шолохова. С. 408–410.
- Сорокин П.А. 2000. *Социальная и культурная динамика. Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений*. СПб: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института. 1054 с.
- Хантингтон С. 2003. *Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка*. М.: Изд-во АСТ. 603 с.

Патриотизм¹

А.А. Бардин

Ключевые слова: патриотизм, нация, национализм, гражданская идентичность, национальное самосознание, Россия.

Термин «патриотизм» имеет греческие корни (*πατριώτης* — соотечественник, *πατρίς* — родина, отечество); в античности патриотом называли прежде всего гражданина полиса, города-государства. С давних пор феномен патриотизма являлся предметом размышлений плеяды философов, ученых, литераторов. О патриотизме писали Сократ, Платон, Аристотель, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель, И. Кант, А.С. Пушкин, П.Я. Чаадаев, Н.Я. Данилевский, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, Т. Адорно, Ю. Хабермас, У. Бек, Д.С. Лихачев и многие другие деятели науки и культуры, оставившие глубокий след в истории мировой общественной мысли.

С появлением государств-наций в Западной Европе понятие патриотизма приобрело широкое политическое значение, связанное с принадлежностью к определенной нации, с чувством любви к отечеству и с пониманием необходимости защиты национальных интересов. В настоящее время существует множество трактовок патриотизма, что свидетельствует о сложности и неоднозначности сущности патриотического дискурса и его политической проекции. Однако при всем многообразии подходов патриотизм предполагает самоидентификацию индивида с определенной национально-территориальной и культурной общностью — с народом, нацией, государством, отечеством. *В общественном сознании патриотизм, как правило, понимается как любовь к отечеству, преданность ему, ощущение гражданской ответственности за судьбы своей родины и народа, стремление служить их интересам своей деятельностью.*

Патриотизм предполагает любовь к родной земле, языку, культуре, традициям своего народа, которая не мешает уважать традиции и культуру других народов. Патриотизм — многогранное и исторически обусловленное понятие: в рамках индивидуального сознания он может выступать и как эмоционально переживаемое чувство общности, и как нравственный принцип, и как

¹ Статья подготовлена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-00021 «Регулирование межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов в современном мире: потенциал гражданской идентичности (сравнительный политический анализ)») в Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН).

личностная социально-психологическая установка, и как идея, укорененная в определенном социально-историческом контексте. В то же время патриотизм можно рассматривать как форму общественного сознания и способ политического поведения, как консолидирующее основание коллективной, в том числе гражданской идентичности.

Патриотизм традиционно трактуется на уровне обыденного сознания и в рамках идеологизированного политического дискурса, в результате «перенос в науку закрепленных за этим понятием бытовых и идеологических ассоциаций препятствует собственно научному анализу этого очень непростого и неоднозначного явления». Между тем острая потребность в научном осмыслении этого феномена, в том числе в контексте междисциплинарных исследований, остается неудовлетворенной [Юревич 2016: 352–353].

Сложность патриотизма как явления и понятия видна, в частности, из его сопоставления с национализмом. Хотя «эти понятия имеют несколько различные коннотации и вызывают разные ассоциации... однако они в значительной мере пересекаются. Патриотизм и национализм — не сущности, чья природа установлена раз и навсегда, они представляют собой чрезвычайно гибкий политический язык, способ выражения политических аргументов при помощи апелляции к родине (*patria*), отечеству (*fatherland*), стране, нации» [Брубейкер 2010: 120]. Дискурс патриотизма содержит «как динамические, так и статические характеристики, формирующиеся в пространстве конкретного исторического времени и находящие выражение в идеях, ценностях, установках и поведении различных поколений» [Куликов, Грибов 2016: 238]. Дискурс национализма также меняет фокус своих политических притязаний — от борьбы за национальную независимость до агрессивного подавления «чужих».

В научной литературе патриотизм, как и национализм, рассматривается главным образом как форма проявления национальной идентичности [Bar-Tal 1997; Schatz, Staub 1997]. Однако между этими двумя концептами есть принципиально важные отличия. Если национализм (в его этнической коннотации, с которой он традиционно прочно ассоциируется в политическом поведении и соответствующем дискурсе) идеализирует конкретную нацию, этническую группу и ее историю, нередко культивируя чувство национального превосходства над другими народами [Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, Sanford 1950; Kosterman, Feshbach 1989], то патриотизм не препятствует критическому отношению к своей нации, ее истории и культуре, не зависящему от доминирующих в политическом дискурсе установок (в таком контексте «можно говорить о «критическом патриотизме», проникнутом стремлением сделать свою страну лучше, а не очернить ее» [Юревич 2016: 355]). С другой стороны, имея в виду неизбежную упрощенность одномерных трактовок, в литературе принято различать этнический национализм и гражданский национализм: если первый апеллирует главным образом к этнической принадлежности, к «чувству крови» и часто принимает агрессивные по отношению к «чужим» формы, то второй исходит прежде всего из необходимости развития гражданской нации и гражданской идентичности и обращается к чувству сопричастности каждого граж-

данина к делам своего общества, своей страны [Тишков 1996; Smith 1998; Smith 2009]. В этом плане патриотизм ближе к гражданскому национализму, хотя и эти два понятия полностью не совпадают: так, в отличие от патриотизма, гражданский национализм способен подавлять этносы и культуры во имя интересов гражданской нации [Smith 1998; Найда, Косивцова 2014].

В политическом плане чувству национального превосходства и некритическому принятию повестки дня государственной власти патриотизм противопоставляет поддержку существующего политического режима до той поры, пока цели, которые отстаивает данный режим, не вступают в противоречие с интересами большинства общества, долговременными национальными интересами, гуманистическими ценностями, приоритетностью демократических принципов. Данное сопоставление касается той формы патриотизма, которую Т. Адорно называл «истинным, настоящим» патриотизмом, базирующимся на «любви к стране» и «приверженности национальным ценностям, основанным на критическом восприятии»; носитель таких установок «способен понять значение ценностей и практик других наций, свободен от конформизма и империалистических устремлений» [Adorno et al. 1950: 107]. С другой стороны, Адорно и соавторы, исследовавшие сознание и поведение авторитарной личности, выделяли «псевдопатриотизм» — слепую приверженность националистическим ценностям, некритическое принятие практик главенствующей группы, враждебное отношение к другим нациям [ibidem]. В этом смысле о «безнравственности патриотизма» размышлял Л.Н. Толстой, говоря о «завоевательном» или «удержательном» патриотизме, чувстве, которое «уже не соединяет, но разъединяет» людей в их преданности «своему» государству и противопоставлении себя «другим» [Толстой 1958]. Ряд таких определений патриотизма с негативными прилагательными можно без труда продолжить («квасной» и т.п.), но сами описываемые в этих терминах явления требуют (как и в случае национализма) прицельного и ситуативного анализа.

Ряд ученых и мыслителей предупреждали, что гражданский патриотизм может при определенных условиях «перерождаться» в агрессивный этнический национализм и даже в расизм как ощущение превосходства «избранного» народа или «избранной» расы. Такому перерождению может способствовать разделяемое значительной частью сограждан чувство глубокого национального унижения или слепая вера в мессианскую роль своей нации. По словам И.А. Ильина, «...любовь к родине живет в душах в виде неразумной, предметно неопределенной склонности, которая то совсем замирает и теряет свою силу, пока нет надлежащего раздражения (в мирные времена, в эпохи спокойного быта), то вспыхивает слепую и противоразумную страстью, пожаром проснувшегося, испуганного и ожесточившегося инстинкта, способного заглушить в душе и голос совести, и чувство меры и справедливости, и даже требования элементарного смысла» [Ильин 1993: 218]. Иными словами, существует реальная опасность манипулирования чувствами людей, настроениями общества в интересах элитных групп. Психологические основания такого перерождения — предмет изучения политической психологии.

Тем более значимой оказывается способность гражданина следовать патриотизму не слепо, но осознанно, в соответствии с конкретными целями личного и общественного развития. О таком созидательном патриотизме писал в свое время В.Г. Белинский: «Нельзя не любить отечества, какое бы оно ни было: только надобно, чтобы эта любовь была не мертвым довольством тем, что есть, но живым желанием усовершенствования» [Белинский 2013: 489]. Схожие мысли высказывал и П.Я. Чаадаев, разделявший патриотизм на инстинктивный и сознательный; сложившаяся форма патриотизма отражает уровень интеллектуального развития нации, степень ее национального осознания и самовыражения [Чаадаев 1991: 537].

Среди множества исследований патриотизма значимое место занимают работы, в которых патриотизм рассматривается в парадигме конструктивизма. К этому направлению принадлежат труды Э. Хобсбаума: по его мнению, патриотизм конструируется элитами посредством «изобретения традиций» — «совокупностей общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с помощью явно или неявно признаваемых правил». Такие традиции формируются с целью внедрения определенных ценностей и норм поведения, что сыграло ключевую роль в создании национальных государств [Хобсбаум 1998: 71-74]. В то же время, с позиций консерватизма, традиции и обычаи не столько конструируются элитами, сколько возникают спонтанно для поддержания целостности и самосохранения общества, обеспечения преемственности поколений.

Значительный вклад в теоретическое осмысление патриотизма как дискурса гражданской идентичности внесла концепция немецкого философа Ю. Хабермаса о конституционном патриотизме [Habermas 1992]. Культурная травма германского общества, оставленная нацистским прошлым, фактически исключает использование самого термина «патриотизм» в общественно-политическом дискурсе [см. напр. Kronenberg 2006: 11], однако *de jure* его конституционная форма стала важнейшим элементом послевоенного развития ФРГ и осмысления перспектив общественно-политического развития страны. Она объединила граждан страны через принятие ими демократических ценностей и прав человека, а не на основе национальных, этнических и других исключających иной опыт категорий. В этом отношении концепция конституционного патриотизма подразумевает необходимость и значимость гражданской идентичности, которая связывает индивида и государство путем закрепления правового статуса гражданина и вытекающих из такого статуса личных свобод, прав и общественных обязанностей.

В то же время в научной литературе представлена и противоположная точка зрения, согласно которой использование тематики патриотизма в государственной политике имеет негативные для личности и общества последствия. Во многом эта дискуссия стала ответом на использование патриотического дискурса как фактора негативной консолидации общества, в первую очередь, в государствах, проходящих этап национального самоопределения и нациестроительства. Одна из наиболее известных работ данного плана —

книга американского исследователя Дж. Кейтеба «Патриотизм и другие ошибки». По мнению автора, патриотизм представляет собой «двойную ошибку» — нравственного и интеллектуального характера. С одной стороны, определяя патриотизм как любовь к своей стране, главным его проявлением Дж. Кейтеб считает готовность «либо вынужденно, либо рьяно умереть или убить за свою страну», однако сама страна или родина здесь, по его мнению, является абстракцией, воображаемой конструкцией. С другой стороны, автор полагает, что патриотизм имеет деструктивный характер, так как он порождает самолюбование и нуждается во внешней угрозе, требует принесения себя в жертву некоей идее [Kateb 2006: 4–9]. Подобная позиция релевантна прежде всего в том отношении, в котором автор обращает внимание на недопустимость использования патриотизма в антигуманистических целях, для разжигания межнациональных и межэтнических конфликтов. Однако в целом концепция «двойной ошибки» относится не столько к трактовке патриотизма, сколько национализма, причем в его крайних, агрессивных формах.

В условиях глобализации, переформатирования национального государства и актуализации проблемы его суверенитета, формирования наднациональных политических образований, массовой миграции и трансформаций идентичности сторонники космополитизма критикуют патриотизм за его ограниченность, недостаточную толерантность и адаптивность и объявляют его устаревшим понятием [Нуссбаум 2006; Век 2006]; при этом, объясняя «живучесть» патриотизма, они подчеркивают, что он «полон страстей и красок», в то время как «космополитизму трудно пленять воображение» [Нуссбаум 2006: 118]. По мнению известного немецкого философа У. Бека, в современном мировом «обществе риска» адекватным является только космополитическое мировоззрение, а «методологический национализм», исходящий из приоритета национальных интересов и государства-нации, является устаревшим [Бек 2012a]. В ряде работ получила развитие идея формирования космополитической гражданской идентичности на основе исторического республиканского патриотизма [Росалес 1999: 104]. В то же время, как показывает исторический и современный опыт, без признания важной роли нации и национальных интересов неизбежно размываются культурно-ценностные основы общества, разрушаются традиции, религиозные и другие общественные скрепы, деградирует государственность. Поэтому оптимальным для современного общества является не разрушение патриотизма или замена его космополитизмом, а адаптация патриотического дискурса к меняющимся условиям при сохранении культурно-исторической преемственности между поколениями.

В этом смысле большое значение для общественной консолидации имеет патриотическое чувство «малой Родины». На этом уровне сознания рождаются те смыслы и образы, которые делают чувство патриотизма осязаемым и живым. На фоне патриотического чувства к большим общностям — к своей стране, нации, народу — на периферии исследовательского внимания зачастую остается этот важный для человека ориентир его самоидентификации.

Он проявляется в повседневных взаимодействиях и отражается в индивидуальной картине мира.

В отечественном дискурсе традиционно сильной была и остается идея патриотического воспитания, прежде всего — молодого поколения. Для современного российского общества проблема содержательного наполнения патриотизма является важной и актуальной, но одновременно чрезвычайно сложной и многозначной. После распада Советского Союза и исчезновения в индивидуальном и массовом сознании термина «советский патриотизм» встал вопрос о формировании российского патриотизма [Найда 2012]. В современной России, принимая во внимание ее историю и культуру, существует необходимость учета и соединения общегражданского патриотизма и его регионального и этнического измерений. Однако в реальности из-за недостаточного развития в России федерализма и форм самоорганизации гражданского общества этническое самосознание нередко принимает форму этнического национализма в обертке «локального патриотизма», что может приводить к возникновению этнополитических конфликтов. Кроме того, в современном российском обществе обозначилось резкое противостояние между приверженцами либеральных и традиционалистских ценностей, «либерализма» и «патриотизма». Неудивительно, что «при общественном обсуждении любого острого социального вопроса противодействующие стороны поляризуются по этим двум категориям», причем это касается не только политиков и общественных деятелей, но и деятелей культуры [Юревич 2016: 356]. В условиях углубления ценностных размежеваний в российском обществе ключевым приоритетом в формировании патриотического дискурса является продвижение к общественному согласию вокруг трактовки важнейших событий в истории страны, вокруг повестки дня политики памяти и символической политики.

Дискуссия о российской национальной идее, имеющей не партийный или классовый характер, но отражающей интересы различных слоев общества, началась вскоре после распада Советского Союза. Наиболее четкое оформление она получила в 2012 году, когда на встрече с представителями общественности по вопросам духовного состояния молодежи и ключевым аспектам нравственного и патриотического воспитания, прошедшей в Краснодаре, В.В. Путин отметил: «Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент — это патриотизм. Как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого все равно не придумать. Это движение к своей истории, к традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуры... Именно в гражданской ответственности, в патриотизме вижу консолидирующую базу нашей политики»². Тем самым патриотизм был выдвинут в качестве основы политического развития России. В феврале 2016 го-

² Встреча с представителями общественности по вопросам патриотического воспитания молодежи. 12.09.2012. — Президент России. Официальный сайт. Доступ: <http://kremlin.ru/events/president/news/16470> (проверено 27.02.2016).

да в ходе выступления президента на встрече «Клуба лидеров» было сформулировано положение о том, что патриотизм является объединяющей российское общество национальной идеей: «У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма... Это и есть национальная идея»³.

Примером критики дискурса государственной власти о патриотизме может служить серия публикаций Института современной России по итогам опроса Левада-Центра, проведенного в 2014 году. В ходе данного исследования при ответе на один из вопросов анкеты большинство респондентов (84%) согласилось с утверждением, что «патриотизм — это глубоко личное чувство, человек сам определяет, что патриотично, а что нет»; 9% опрошенных предпочли утверждение, что «определять, что патриотично, а что нет, должно государство»⁴. На этом основании авторы критических публикаций утверждали, что власть пренебрегла мнением граждан, сформулировав ключевые аспекты понятия «патриотизм»: «консолидация современного российского общества, к которой призывает российский президент, осуществляется не вокруг позитивных патриотических ценностей, а на основе негативных факторов, что выражается в росте ксенофобских настроений в стране»⁵.

При всей односторонности данного подхода в такой постановке вопроса присутствуют ракурсы, заслуживающие рассмотрения по существу. Так, первое утверждение основано на гиперболизированном противопоставлении двух парадигмальных подходов к патриотизму: с одной стороны, патриотизм как форма самореализации личности, результат ее духовного саморазвития; с другой стороны, патриотизм как утилитарный концепт, ставящий во главу угла интересы государства, использовавшийся советской властью главным образом как инструмент собственной легитимации в контексте коммунистической идеологии. В современном же понимании патриотизм призван объединять интересы личности и общества на основе гражданской солидарности. В свою очередь, второе утверждение связано с различиями в научном и обыденном понимании патриотизма; трактовки второго типа могут стимулировать экстремистские и националистические настроения как в отношении оценки внутриполитических вопросов, так и касательно позиции страны на мировой арене. Проявления такого стихийного «обиженного патриотизма», «опирающегося не на генеральную идею, а на глубокую (детскую) обиду», находят опору в молодежной среде, в поколении, родившемся на сломе советской эпохи конца 1980-х — начала 1990-х годов: их подпитывает «недовольство системой, которая игнорирует реальные потребности и нужды

³ Путин: патриотизм — «это и есть национальная идея». 03.02.2016. — ТАСС. *Официальный сайт*. Доступ: <http://tass.ru/politika/2636647> (проверено 27.02.2016).

⁴ Подмена понятий: патриотизм в России. 27.05.2014. — *Левада-Центр. Официальный сайт*. <http://www.levada.ru/old/27-05-2014/podmena-ponyatii-patriotizm-v-rossii> (проверено 27.02.2016).

⁵ Брук Б. Подмена понятий: патриотизм в России. 08.05.2014. — *Институт современной России. Официальный сайт*. <http://imrussia.org/ru/аналитика/общество/1735-has-patriotism-in-russia-been-hijacked> (проверено 27.02.2016).

молодежных групп»; стремление преодолеть комплекс национальной обиды, отстаивать право на «особость» и уважение, особенно характерный для кризисных периодов развития страха перед «чужими» [Омельченко 2010].

Противостояние дискурсов патриотизма обусловлено, помимо отличий парадигмальных подходов к самому этому понятию и подвижностью границ между настроениями и установками вовлеченных в дискуссию сторон, их различными идеологическими и социально-политическими воззрениями. Так, в либеральном дискурсе патриотизм выступает производной от той степени, в которой государство реализует права и свободы своих граждан; в рамках неоконсерватизма патриотизм включает такие составляющие, как религиозный традиционализм и т.д. Каждый из подобных дискурсов задает границы определенного символического сообщества, в рамках которого существует оппозиция «патриот — не патриот», формируются соответствующие иерархии, ин-группы и аут-группы. В этом отношении дискурсы патриотизма выступают одними из важнейших элементов общественно-политической дискуссии.

Использование патриотизма как базиса для формирования и укрепления гражданской идентичности, в том числе ее политической составляющей, стимулирует граждан на выработку решений и на деятельность, сглаживающую имеющиеся в обществе размежевания и расколы. Однако для содействия стабилизации социально-политической обстановки, в том числе для разрешения этнополитических противоречий и предотвращения конфликтов, важно утверждение в массовом сознании патриотизма как идейной установки, подразумевающей безусловное признание важности поддержания территориальной целостности России, равноправия и ценности каждого из живущих в нашей стране народов, значения межкультурного и межрелигиозного согласия, ориентацию на развитие общества и личности и поддержание социального согласия. Эмпирическое подтверждение этого тезиса приводят ученые из Института социологии РАН: согласно исследованию, проведенному в 2015 году, в массовом сознании россиян можно выделить три смысловых измерения патриотизма — охранительное (консолидация на основе защиты России против внешней экспансии, как политической, так и культурной), гражданское (объединяющее суждения конструктивного плана) и эмоциональное (базирующееся на любви к стране) [Российское общество... 2015: 228]. Классифицируя ответы респондентов по их отношению к разрешению межнациональных противоречий, авторы приходят к выводу, что именно гражданский патриотизм наиболее эффективен в этом отношении: его представители являются «безусловными сторонниками ненасильственного разрешения межнациональных и межрелигиозных споров. Наконец, они в меньшей степени признают значимость национальной категоризации как на уровне группы, так и в личностном самоопределении... демонстрируют более высокий уровень этнической толерантности» [там же: 231]. Отсюда следует вывод о необходимости продвижения в общественном сознании именно гражданского понимания патриотизма, который может и должен быть использован как инструмент для поиска новых основ консолидации общества, для социального согласия и оздоровления нравственного климата.

В целом, постулирование патриотизма в качестве скрепы национального общества представляется лишь первым шагом к консолидации такого сообщества. Объединяющая функция патриотизма в рамках такого идеологического конструкта должна быть дополнена проективной функцией концептов, определяющих стратегию поступательного развития страны — и как самобытного актора, и как члена мирового сообщества — и места человека и гражданина в таком развитии. В этом плане важную роль могут сыграть как общенациональные проекты развития, выдвигаемые руководством страны и поддержанные большинством общества, так и инициативы и проекты, реализуемые на уровне регионов, городов, местных сообществ, в первую очередь — в сфере образования и культуры, но и в более широком контексте поступательного социально-экономического развития территорий.

В конечном счете речь идет о поддержке ценностного выбора личности, основанного на созидательном социальном опыте, на идеях справедливости и социальной солидарности, и на этой основе — открытости иному опыту, находящемуся за пределами «своей» идентичности. Патриотизм в этом контексте — открытый, инклюзивный и проективный дискурс, ответственность за продвижение и конструктивное наполнение которого несут сами граждане.

Литература

- Бек У. 2012а. Живя в мировом обществе риска и считаясь с ним. Космополитический поворот. — *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 44–58.
- Белинский В.Г. 2013. *Полное собрание сочинений. Т. 4. Статьи и рецензии. 1840–1841*. М.: Directmedia. 668 с.
- Брубейкер Р. 2010. Именем нации: размышления о национализме и патриотизме. — *Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма*. М.: Новое издательство. С. 110–130.
- Ильин И.А. 1993. Путь духовного обновления. — *Путь к очевидности*. М.: Республика. 431 с.
- Куликов С.П., Грибов Д.Е. 2016. Патриотические установки в массовом сознании молодежи и старших поколений в современной России: динамические и статические характеристики. — *Гуманитарий Юга России*. № 4. С. 236–245.
- Найда О.А. 2012. — *Российский патриотизм. Прошлое и настоящее*. Волгоград: ВГАФК. 238 с.
- Найда О.А., Косивцова О.С. 2014. Основа процессов национального взаимодействия: патриотизм или национализм? — *Известия Волгоградского государственного технического университета*. Т. 17. № 13. С. 35–39.
- Нуссбаум М. 2006. Патриотизм и космополитизм. — *Логос*. № 53. С. 110–119.
- Омельченко Е. 2010. АНТИФА против ФА. О терминах и не только. — *Полит.ру* (электронный ресурс). Доступ: <http://polit.ru/article/2010/05/24/antifa/>. Дата обращения: 6.09.2016.
- Россалес Х.М. 1999. Воспитание гражданской идентичности: об отношениях между национализмом и патриотизмом. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 93–104.
- Российское общество и вызовы времени. Книга вторая (отв. ред. М.К. Горшков, В.В. Петухов)*. 2015. М.: Издательство «Весь Мир». 432 с.
- Тишков В. 1996. О нации и национализме. Полемиические заметки. — *Свободная мысль*. № 3. С. 31–37.
- Толстой Л.Н. 1958. Патриотизм или мир? — Л.Н. Толстой. *Полн. собр. соч.: в 90 т.* М.: Госхудлитиздат, 1928–1958. Т. 90. С. 45–53.

- Хобсбаум Э. 1998. *Нации и национализм после 1780 года*. СПб.: Алетейя. 320 с.
 Чаадаев П.Я. 1991. *Полное собрание сочинений*. Т. 1. М.: Наука. 801 с.
 Юревич А.В. 2016. Патриотизм как научная проблема. — *Вестник Российской академии наук*. Т. 86. № 4. С. 352–359.

Adorno T.W., Frenkel-Brunswick E., Levinson D. J., Sanford R.N. 1950. *The Authoritarian Personality*. New York: Norton. 990 p.

Bar-Tal D. 1997. The Monopolization of patriotism. — *Patriotism in the Lives of Individuals and Nations* (Bar-Tal D., Staub E. eds.). Chicago: Nelson-Hall. P. 246–270.

Beck U. 2006. *The Cosmopolitan Vision*. Cambridge, U.K./ Malden, MA: Polity Press. 201 p.

Habermas J. 1992. Staatsbürgerschaft und nationale Identität. — Habermas J. (ed.). *Faktizität und Geltung*. Frankfurt am Main: Suhrkamp. P. 632–660.

Kateb J. 2006. *Patriotism and Other Mistakes*. New Haven & London: Yale University Press. 459 p.

Kronenberg V. 2006. *Patriotismus in Deutschland: Perspektiven für eine weltoffene Nation*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 418 p.

Smith A.D. 1998. *Nationalism and Modernism. A Critical Survey of Recent Theories of Nations and Nationalism*. L. & N.Y.: Routledge. 272 p.

Smith A.D. 2009. *Ethno-symbolism and Nationalism. A Cultural Approach*. L. & N.Y.: Routledge. 184 p.

Популизм

Г.И. Вайнштейн

Ключевые слова: популизм, народ, правящие элиты, политический мейнстрим, политическое пространство, иммигранты, инокультурные меньшинства, исламский фундаментализм, мультикультурализм, универсализм, радикализм, европейская интеграция, культурные трансформации, национализм, нейтивизм, социальное государство, национально-государственный суверенитет.

Популизм, представляющий собой организационно и идеологически крайне неоднородный, весьма многоликий в своих региональных проявлениях, а потому плохо концептуализируемый феномен общественно-политической жизни современного мира, в последние полтора-два десятилетия все отчетливее накладывает специфический отпечаток на дискурс идентичности. Превратив проблематику идентичности в один из главных ресурсов своего политического арсенала и поставив ее в центр своей риторики, популизм выдвинулся в ряду ключевых дискурсов политики идентичности в мире XXI века. Особенно наглядно эта тенденция выражается в общественно-политическом развитии современной Европы, где популистские силы, последовательно используя проблематику идентичности в альтернативном по отношению

к представителям политического мейнстрима ключевые, все больше укрепляют свои позиции в политическом пространстве континента.

Усилия с целью выработки категориального определения феномена современного популизма предпринимаются политической наукой с конца 1960-х годов [Berlin, Hofstadter and MacRae 1968]. Однако замечание, сделанное почти полвека назад в классической монографии о популизме под редакцией Г. Ионеску и Э. Геллнера о том, что при всей политической значимости этого феномена ни у кого из исследователей нет четкого ответа на вопрос о том, что он собой представляет [Ionescu and Gellner 1969: 1], по-прежнему актуально. Несмотря на появление огромного множества академических работ, посвященных популизму, он и сегодня остается весьма расплывчатым по своей сущности и плохо укладывающимся в четкие рамки политологической классификации явлением. Более того, многие исследователи, уделяя значительное внимание описательным характеристикам популизма, вообще считают проблематичной возможность выработать строгий категориальный аппарат, позволяющий однозначно идентифицировать ту или иную политическую силу в качестве популистской и адекватно описывать все многообразие форм и проявлений этого феномена [Rooduijn et al. 2008; Krastev 2007; Taggart 2000; Mény and Sured 2002].

В то же время в современной политологии сложилось несколько подходов к определению феномена популизма, в соответствии с которыми он концептуализируется как своеобразное «гибридное» явление, существующее одновременно в различных ипостасях: как некая идеология, как особый стиль политики и как специфическая форма политической организации. Отличительной чертой популизма как идеологии считается манихейское видение мира, редуцирующее структуру общества к двум гомогенным антагонистическим категориям в лице, с одной стороны, идеализируемого «народа», являющегося безусловным носителем «добра», а с другой — угрожающих ему «Других» — «коррупцированной и безразличной к интересам рядового человека политической элиты», «бездушных и алчных капиталистов» или же «разрушающих социокультурную и национальную идентичность» этого народа «чужаков» — представителей иных религий и культурных миров [Mudde 2004; Canovan 2002; Albertazzi and McDonnell 2008; de la Torre 2010]. Популизм как политический стиль рассматривается в качестве инструмента политической мобилизации масс путем, с одной стороны, подчеркнуто конфронтационной риторики, целенаправленно поляризирующей общество, а с другой, — выдвижения апеллирующих к эмоциям «рядового человека» заведомо упрощенных решений сложных общественных проблем [Grabow and Hartleb 2013; Mazzoleni 2003]. Наконец, популизм как форма политической организации рассматривается как нечто среднее между относительно аморфным социальным движением протестного типа и политической партией с весьма неоднородной социальной базой, для которых одним из главных политических ресурсов служит наличие сильного харизматического лидера [Taggart 2000].

При всей многомерности феномена популизма и сложности его научной концептуализации в реальной общественной жизни принадлежность к «попу-

листскому лагерю» выглядит, как правило, достаточно очевидной. Ее свидетельством служит последовательная приверженность тех или иных политических сил популистскому стилю политики с характерными для него претензиями на выражение подлинных интересов масс, ущемляемых или игнорируемых правящим истеблишментом.

Оперирование дискурсом идентичности служит общей отличительной чертой всех современных популистских сил. Вместе с тем интенсивность этого дискурса и его наполнение конкретным содержанием имеют существенную региональную специфику. В политологической литературе широко распространена концепция, выделяющая два типа популистских дискурсов идентичности — «эксклюзивный» и «инклюзивный». Так, при всех страновых различиях европейского популизма его региональной особенностью считается эксклюзивный характер используемого им дискурса идентичности (*exclusionary populism*) — т.е. исключение из категории «Мы» представителей элитных и инокультурных групп общества и артикуляция откровенно антагонистического отношения к «Другим», будь то политическая элита институтов представительной демократии и особенно бюрократия наднациональных европейских структур или же «чужаки-иммигранты» [Betz 2001; Mudde and Kaltwasser 2013].

Принципы включения в категорию «Мы» остаются, как правило, довольно смутными или вовсе неартикулируемыми, а сама эта категория конструируется скорее посредством исключения из нее демонизируемой «антиреферентной» категории «Они», идентифицируемой по социально-классовым, конфессиональным, национальным, этническим или культурным признакам.

В случае с европейским популизмом отчетливо прослеживается не только его приверженность конструированию идентичности на эксклюзивной основе, но и выдвижение в последнее время критериев национально-этнического и культурологического порядка на первый план в идентифицировании «своих» и «чужих», что существенно расширяет поле идентификационных антагонизмов и конфликтов в европейском обществе. Неслучайно поэтому «конфликты, обуславливаемые возрастающей этнонациональной и конфессиональной неоднородностью европейского общества, становятся весьма ощутимым компонентом общественно-политического процесса, идя на смену столкновениям социально-классовым или дополняя их» [Вайнштейн 2011: 14].

Характер критериев эксклюзивности, которыми руководствуются в своем дискурсе идентичности европейские популисты, определяет водораздел между их левым и правым флангами [Kriesi 2014: 362]. Для левого популизма в Европе доминирующими остаются традиционные социально-классовые факторы идентификационной стратификации общества. Дискурс европейских левых популистов — это, в первую очередь, дискурс борьбы за социальную справедливость и перераспределение экономических благ, в защиту материальных интересов «класса угнетенных», против неолиберальной политики правящих элит. В то же время правый популизм в Европе ставит во главу угла проблемы этно-национальной и культурной идентичности. Основная характе-

ристика европейских правых популистов, полагает Х.-Г.Бетц, — свойственное им «ограничительное понимание гражданства», согласно которому «основанием подлинной демократии является некая культурно, если не этнически, однородная общность людей; только давно входящие в нее граждане считаются полноправными членами гражданского общества, а социальные блага должны предоставляться лишь тем, кто внес значительный вклад в его развитие в качестве то ли его граждан, то ли налогоплательщиков» [Betz 2003: 195].

В последние полтора десятилетия дискурс эксклюзивного популизма праворадикального толка претерпевает в Европе определенные изменения. Традиционные для правого популизма экстремистские претензии на этническое и этнокультурное превосходство коренных европейцев все в большей степени уступают место дискурсу «культурного нейтивизма» (cultural nativism), акцентирующему цели защиты их культуры, обычаев и образа жизни.

Региональной особенностью латиноамериканского популизма, отличающей его от европейского, современная политическая наука считает его преимущественно инклюзивный характер (inclusionary populism) [Collier and Collier 2002; de la Torre 2010]. По мнению Дж.Линча [Lynch 1987], инклюзивность латиноамериканского популизма в значительной мере обусловлена его антиимпериалистической риторикой, характерной для уходящей своими корнями в антиколониальную борьбу против испанской империи и направленной сегодня против политики США идеологии Americanismo, которая постулирует «братское единство» народов южноамериканского континента и их общую региональную идентичность. В то же время специфика латиноамериканского популизма во многом связана и с факторами экономического порядка. Высокий уровень социально-экономического неравенства в культурно однородных странах региона не только выдвигает социально-экономическую проблематику на первый план популистского дискурса, но и обуславливает значительно более расширительную, нежели в Европе, трактовку популистами категории «народ». Однако инклюзивность латиноамериканского популизма отнюдь не абсолютна. При всей расширительности содержания, вкладываемого им в категорию «народ», вне его рамок остаются, естественно, элитные слои общества. В последнее время элементы эксклюзивности особенно отчетливо просматриваются в политике идентичности радикально-левого популизма в Венесуэле (Уго Чавес — Николас Мадуро) и Боливии (Эво Моралес), непосредственно ущемляющей материальные интересы определенной части экономической элиты.

Между тем можно констатировать, что проблематика идентичности, хотя и играет определенную роль в современном латиноамериканском популистском дискурсе [Madrid 2008], все же не занимает в нем того места, что в Европе, и не артикулируется в нем столь же последовательно, как в дискурсе европейского популизма. Сравнение латиноамериканского и европейского популистских дискурсов дает основание для вывода о том, что глубина и болезненность социально-политических и культурных трансформаций, переживаемых сегодня странами европейского континента и существенно меняющих реалии

окружающего европейцев мира, не только предопределили особую значимость в европейских обществах проблем идентичности, но и обусловили значительную сосредоточенность этих проблем на вопросах национальной и культурной идентификации. С наибольшей очевидностью эта тенденция проявилась в дискурсе европейского праворадикального популизма. «Правые радикалы все в большей степени стали уделять внимание вопросам национальной и культурной идентичности, в результате чего их политика превратилась в политику идентичности» [Betz 2003: 195].

Выдвижение на первый план в европейском правопопулистском дискурсе вопросов культурной идентичности некоторые исследователи считают свидетельством «постматериалистской» трансформации политики в европейском обществе Модерна, в котором конфликты социокультурного характера становятся более важными детерминантами политических размежеваний, нежели социально-экономические конфликты [Mudde and Kaltwasser 2013: 167].

Одним острием правопопулистская политика идентичности направлена против инокультурных «чужаков-иммигрантов», непрерывающийся приток которых привел к существенному изменению демографической структуры европейских (в первую очередь, западноевропейских) стран. Возросшая в связи с этим озабоченность европейцев сохранением своей культурно-цивилизационной идентичности и их тревога по поводу состояния общественной безопасности все отчетливее связываются с угрозами, исходящими со стороны исламского фундаментализма. Отсюда наполнение правопопулистского дискурса в Европе антииммигрантским (в основном — антиисламским) содержанием и нейтивистской риторикой защиты интересов коренного населения. Однако идеология нейтивизма определяет характер популистского дискурса в вопросах не только культурной, но и экономической политики, реализуясь в выступлениях правых популистов (особенно в скандинавских странах) за ужесточение иммиграционного законодательства и ограничение доступа иммигрантских меньшинств к программам социального обеспечения (*welfare populism*, *welfare chauvinism*), а также в утверждениях о том, что рост иммигрантского компонента в структуре населения угрожает существованию европейской модели социального государства в целом и ее страновых вариантов — в частности [Derks 2008; van Oorschot 2008].

Другое острие популистской политики идентичности направлено против реализующих проект евроинтеграции политических элит и евробюрократов. С одной стороны, популисты выступают против усиления властных полномочий наднациональных институтов единой Европы и неподотчетной европейским гражданам «брюссельской бюрократии», ведущего, по их мнению, к утрате национально-государственных суверенитетов стран — членов ЕС. С другой стороны, в дискурсе правых популистов политика поборников евроинтеграции предстает как воплощение идей мультикультурализма, чреватых, на их взгляд, разрушением культурного многообразия континента и растворением национальных идентичностей его народов в некоем безликом космополитизированном универсализме.

Одна из важных аналитических проблем, возникающих перед политической наукой в изучении феномена современного популизма, состоит в том, чтобы понять, как популистский дискурс вообще и дискурс идентичности в частности соотносятся с состоянием массового сознания. По сути дела, речь идет о необходимости уяснить, насколько адекватны социально-психологическим реалиям современного западного (и, особенно, европейского) общества претензии популизма на выражение «подлинных мнений» населения («Мы говорим от вашего имени о том, о чем вы думаете»). В получившей признание в академической литературе трактовке голландского исследователя К. Мудда [Mudde 2004, 2010] подвергается критике отстаиваемый рядом авторов тезис о том, что правопопулистские взгляды чужды настроениям подавляющей части общества и представляют собой не более чем маргинальное «патологическое» явление, характерное для периферии любого общественного сознания (normal pathology). На самом деле, утверждает К. Мудд, сегодняшний правопопулистский дискурс отражает «дух времени» (Populist Zeitgeist), поскольку выражаемые в нем взгляды созвучны мнениям широких масс. Он является, таким образом, некоей «патологической нормой» современного общественного мировоззрения (pathological normalcy) и лишь представляет в несколько радикализованном виде идеи, разделяемые политическим мейнстримом и большинством населения [Mudde 2010: 1176–1181].

Думается, что позиция автора содержит зерно истины. «Многочисленные социологические обследования говорят о том, что взгляды, выражаемые популистскими силами, разделяются отнюдь не только их непосредственными сторонниками. Весьма широкие социальные слои европейского общества, отвергая крайности политического поведения левых и правых популистов, выражают согласие со многими пунктами их программ. Некоторые авторы приводят конкретно-социологические данные по ряду западноевропейских стран, свидетельствующие о том, что наряду с “убежденными радикалами”, представляющими собой “ядерный электорат” популистов, и их “нетвердыми” сторонниками, составляющими значительную часть популистского электората, существует еще категория “потенциальных радикалов”. Они пока еще не голосуют за популистов, но с большой долей вероятности могут поддержать их уже в ближайшем будущем» [Вайнштейн 2013: 32]. Действительно, именно специфика дискурса европейских популистов с его акцентом на проблематике идентичности во многом определяет сегодня их электоральные успехи. Очевидно, что без учета способности популистов точнее других политических сил выразить в своем дискурсе реальные настроения и озабоченности масс трудно понять причины неуклонного расширения в последнее время их электоральной базы, позволяющего популистским силам в ряде стран превратиться из политических аутсайдеров в часть политического мейнстрима.

Литература

- Вайнштейн Г.И. 2011. Идентичность инокультурных меньшинств и будущее европейской политики. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 4. С. 3–15.
- Вайнштейн Г.И. 2013. Популизм в современной Европе: новые тенденции. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 12. С. 24–33.
- Albertazzi D., McDonnell D. 2008. Introduction: The Sceptre and the Spectre. — D. Albertazzi, D. McDonnell (eds.). *Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western European Democracy*. New York: Palgrave Macmillan. P. 1–11.
- Berlin I., Hofstadter R. and MacRae D. 1968. To Define Populism. — *Government and Opposition*. Vol. 3. № 2. P. 137–180.
- Betz H.-G. 2001. Exclusionary Populism in Austria, Italy, and Switzerland. — *International Journal*. Vol. 56. No. 3. P. 393–420.
- Betz H.-G., 2003, Xenophobia, Identity Politics and Exclusionary Populism in Western Europe. — *Socialist Register*. Vol. 39. P. 193–210.
- Canovan M. 2002. Taking Politics to the People: Populism as the Ideology of Democracy. — Mény Y. and Surel Y. (eds.). *Democracies and the Populist Challenge*. New York: Palgrave Macmillan. P. 25–54.
- Collier R.B., Collier D. 2002. *Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America*. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press. 904 p.
- De la Torre C. 2010 *Populist Seduction in Latin America*. 2nd ed. Athens, OH: Ohio University Press. 248 p.
- Derks A. 2006. Populism and the Ambivalence of Egalitarianism. How Do the Underprivileged Reconcile a Right Wing Party Preference with Their Socio-Economic Attitudes? — *World Political Science Review* 2 (3): article 1. P. 175–200.
- Grabow K. and Hartleb F. 2013. *Mapping Present-day Right-wing Populists*. Grabow K. and Hartleb F. (eds.). *Exposing the Demagogues. Right-wing and Nationalist Populist Parties in Europe*. Brussels and Berlin: Centre for European Studies. P. 13–44.
- Hainsworth P. (ed.). 2000. *The Politics of the Extreme Right: From the Margins to the Mainstream*. L.: Continuum International Publishing Group. 352 p.
- Ionescu G. and Gellner E. (eds.) 1969. *Populism: Its Meanings and National Characteristics*. New York: Macmillan Co. 263 p.
- Krastev I. 2007. The populist moment. — *Critique & Humanism*. No. 23.
- Kriesi H. 2014. The Populist Challenge. — *West European Politics*. Vol. 37. No. 2. P. 361–378.
- Lynch J. 1987. The Origins of Spanish American Independence. — L. Bethell (ed.). *The Independence of Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 1–48.
- Madrid R.L. 2008. The Rise of Ethnopolitism in Latin America. — *World Politics*. Vol. 60. № 3. P. 475–508.
- Mazzoleni G. 2003. The Media and the Growth of Neo-Populism in Contemporary Democracies. — G. Mazzoleni, J. Stewart and B. Horsfield (eds.). *The Media and Neo-Populism*. London: Praeger. P. 1–20.
- Mény Y. and Surel Y. 2002. The Constitutive Ambiguity of Populism. — Y. Mény and Y. Surel (eds.). *Democracies and the Populist Challenge*. New York: Palgrave Macmillan. P. 1–17.
- Mouffe Ch. 2005b. The “End of Politics” and the Challenge of Right-wing Populism. — F. Panizza (ed.). *Populism and the Mirror of Democracy*. London, Verso. P. 50–72.
- Mudde C. 2004. The Populist Zeitgeist. — *Government and Opposition*. Vol. 39. № 4. P. 541–563.
- Mudde C. 2010. The Populist Radical Right: A Pathological Normalcy. — *West European Politics*. Vol. 33. № 6. P. 1167–1186.
- Mudde C. and Kaltwasser C.R. 2013. Exclusionary vs. Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe and Latin America. — *Government and Opposition*. Vol. 48. № 2. P. 147–174.
- Panizza F. (ed.). 2005. *Populism and the Mirror of Democracy*. L.: Verso. 368 p.

- Rooduijn, M., et al. 2014. A populist Zeitgeist? Programmatic contagion by populist parties in Western Europe. — *Party Politics*. Vol. 20. № 4. P. 563–575.
- Stanley B. 2008. The thin ideology of populism. — *Journal of Political Ideologies*. Vol. 13. № 1. P. 95–110.
- Taggart P. 2000. *Populism. Concepts in the Social Sciences*. Buckingham: Open University Press. 140 p.
- Van Oorschot W. 2008. Solidarity towards immigrants in European welfare states. — *International Journal of Social Welfare*. № 17. P. 3–14.

Фундаментализм

И.В. Кудряшова

Ключевые слова: религия, традиция, неотрадиционализм, протестантизм, ислам, фундаменталистская идентичность, фундаменталистский дискурс.

Выделение и анализ фундаменталистской идентичности не представляется возможным без прояснения самого понятия «фундаментализм». В настоящее время оно во многих случаях используется очень широко: под него, например, подпадают и боевики «Исламского государства» (организации, запрещенной в РФ), и ортодоксальные иудеи, и политический режим Ирана, и твердые сторонники свободного рынка, и американские неоконсерваторы. При этом тех, кого называют фундаменталистами, редко идентифицируют себя подобным образом: с одной стороны, это обусловлено негативными коннотациями понятия, с другой — его появлением на свет в лоне американского протестантизма как характеристики ряда христианских групп, образованных ортодоксальными представителями евангелической церкви для противостояния либеральным и светским тенденциям в церковной жизни. На одной из библейских конференций этих групп в 1895 году были выделены пять основных принципов веры, которые не подлежали интерпретации, — непогрешимость Священного Писания; божественное происхождение Христа, или непорочное зачатие; искупление Христом грехов человечества; физическое воскрешение Христа из мертвых; второе пришествие.

В 1909 году началось издание духовных брошюр под названием «Основы» («The Fundamentals»), давшего впоследствии имя этому идейно-религиозному направлению. Благодаря их массовому распространению и обсуждению был сформирован фундаменталистский дискурс и означена соответствующая идентичность [см. Филатов 2003: 109–121; Lienesch 2007: 8–16].

Фундаменталистская тенденция в американском протестантизме была неслучайной. С одной стороны, стремление «вернуться к основам», к первоначальной

чистоте веры апостольских времен полностью отвечает логике протестантского мышления, изначально заданной отцами Реформации [Филатов 2003: 110]. С другой — при отсутствии в США института государственной или национальной церкви и творческой свободе духовной жизни организованные религиозные группы с самого начала вовлекались в процесс обустройства социально-политической жизни [см. Wald 1987: 35–59].

Существует мнение, что фундаментализм — феномен исключительно американской религиозно-политической жизни. Логично, однако, предположить, что «фундаментализируются» и другие религии, по крайней мере авраамические. Этому объективно способствуют монотеизм, т.е. признание единого Бога как создателя, хранителя и господина Вселенной; наличие священного текста, трактующего историю как место встречи с Богом и подчеркивающего моральную ответственность человека; особый ковенант народа с Богом через Его посланников. Разнообразие подходов к определению событийного или содержательного фундамента для последующей борьбы за возрождение приводит к многообразию подобных течений даже в рамках одной религиозной традиции.

Более свободная организация религиозных систем (в индуизме и буддизме, не говоря уже об «обмирщенных» конфуцианстве и даосизме, отсутствуют как откровение, так и четкий набор священных канонов) позволяет соединять их с различными идейно-политическими конструкциями, например, национализмом, не вызывая противоречий между истинами веры и политическими целями. Корректнее и точнее поэтому говорить не о фундаменталистской, но о политизированной религиозной идентичности последователей таких течений.

Ряд ученых выводят фундаментализм за рамки религиозного измерения. Например, Г. Померанц интерпретирует фундаментализм как «частный случай движений, возникающих от разрушения закрытого общества и стремления масс восстановить закрытое общество, избавиться от чрезмерной открытости», форму «социальной агорафобии» [Померанц 1994], т.е. в первую очередь связывает его с неотрадиционализмом. П. Шредер отмечает, что это понятие используется для обозначения структур с произвольной закрытостью систем мышления и невосприимчивостью к критике и альтернативным вариантам, а также для обозначения «всестороннего культурного и политического антимодернизма» [Шредер б.г.]. Пример расширительной трактовки демонстрирует монография «Оспаривание фундаментализма» [Contesting fundamentalisms... 2006], авторы которой оперируют понятиями культурного и этнического фундаментализма как возврата к «традиционному коду» жизни общества; гендерного фундаментализма («гегемонической маскулинности») как нового проявления патриархата; рыночного фундаментализма как смеси религиозной ортодоксии и идеологии свободного рынка.

По мнению В. Цымбурского, фундаментализм может принимать форму светской политической религии — как русский большевизм, направленный на «подвиг преобразования и просветления Града Земного» на основе марксистско-ленинского «откровения» [Цымбурский 2002].

Однако расширение понятия фундаментализма до «произвольной закрытости систем мышления» лишает понятие его первоначального *родового* смысла, поскольку не позволяет отличить его не только от догматизма, но и от любой последовательной идеологической приверженности, которая также предполагает веру как убежденность в правильности выбранного пути. Утрата аналитического фокуса и приводит к превращению слова «фундаментализм» в публицистический штамп. Чтобы сохранить аналитический потенциал понятия, представляется необходимым ограничить его применение религиозным / религиозно-политическим контекстом.

В таком случае *ключевыми характеристиками фундаментализма как доктрины и идейного-политического течения выступают:*

- произрастание на почве традиционных культур;
- стремление вернуться к предполагаемым истокам или богословским основам веры;
- отрицание светской современности западного типа и неприятие политики секуляризации;
- дихотомическое восприятие мира (праведный / греховный);
- мессианиззм;
- осознание важности политической деятельности в борьбе за правильную организацию общества [см., напр. Кудряшова 2002: 67–68; Marty 1992: 18–23; Haynes 2008: 134–135].

В качестве синонима термина «фундаментализм» в научной литературе используются также термины «интегризм», «ревайвализм», «возрожденчество», «религиозный радикализм», «миллиенаризм» и др. Однако секуляризованные языки Запада не могут обеспечить надлежащую передачу смысловых реалий незападного мира, поэтому в арабском языке, например, для определения феномена наиболее часто употребляются выражения *аль-усулия аль-исламийя* и *ас-салафийя*. Первое происходит от словосочетания *усуль ад-дин*, которое буквально переводится как «основы веры» и подразумевает приверженность религиозным догматам, первоначальным принципам исламской политики (*уммы*) и исходным основаниям легитимности власти. Второе обозначает возвращение к нормам жизни и институтам «праведных предков» (*ас-салаф*) [Сагадеев 1987: 11]. Распространенный и «понятный» термин «исланизм» имеет западное происхождение и не всегда понятен в мусульманской среде. Обычно его связывают с практической деятельностью мусульманских политических активистов [см., напр. Малащенко 1997].

Характер мышления и политической деятельности субъектов фундаменталистской идентичности обусловлен прежде всего типом религиозной традиции и временем соприкосновения того или иного общества с современностью. Наибольшие возможности для развития фундаменталистского дискурса и соответствующей идентичности предоставляют те традиции, где присутствует вера в возможность реализации небесного в земном, высока относительная значимость доктрины и ни у одного социального института или группы

нет монополии на доступ к священному (т.е. возможна его интерпретация). Полнее всего это выражено в протестантизме и исламе.

В силу свойственной субъектам фундаменталистской идентичности убежденности в идущем свыше одобрении их действий они могут проявлять конфликтность и нетерпимость в поведении, демонстрировать моральное превосходство, претендовать на избранность и одновременно испытывать отчуждение от общества, не принимать действующую власть и уходить в самоидентификацию. Отчуждение обычно преодолевается за счет развития межличностных связей в коллективе единомышленников, где центральную роль играет духовный лидер. В самом крупном проекте по изучению религиозного фундаментализма на мировом уровне, осуществленном в 1990-х годах под руководством М. Марти и Р.С. Эпльби, вошедшие в него работы удалось объединить именно с помощью функционального определения фундаментализма, трактуемого как «набор стратегий, с помощью которых осажденные верующие пытаются сохранить свою особую идентичность как народ или группа» [Fundamentalisms and the state: 3]. Трактовка фундаментализма как крепости подчеркивает стремление верующих сохранить аутентичность в условиях стремительно меняющейся современности [см. Ван дер Веер 2010].

По мере модернизации неевропейских обществ фундаменталистская идентичность становилась все более дифференцированной, по-разному определяя пути и инструменты воссоздания «правильного» облика мира. В настоящее время в ней в разной степени могут быть выражены приверженности как традиционалистского, так и реформаторского толка, которые правильнее обозначать с приставкой «нео», учитывая происходящие изменения во взглядах и содержании политической активности фундаменталистов. Например, в Египте носители охранительного сознания (*салафиты*), которые ранее считали, что политическая вовлеченность может запятнать религиозную чистоту, и понимали партийную конкуренцию как внесение раскола в *умму*, в ходе «арабской весны» 2010–2011 годов впервые пошли на выборы и включили в созданный ими блок женщин. Имеют свои партии и участвуют в парламентской и правительственной деятельности ортодоксальные иудеи (*харедим*) в Израиле. В российской среде к неотрадиционалистскому типу идентичности можно отнести последователей митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) (1927–1995), который видел ключ к пониманию русской жизни в религиозной сфере и отстаивал принципы соборности как духовной общности народа и державности как его государственного самосознания.

Неореформаторы также обращаются к священному тексту, но гораздо решительнее просеивают традицию через сито «подлинности», стремясь использовать те ее элементы, которые отвечают их представлениям о современном государстве и обществе. Такому определению отвечает, например, современная шиитская политическая элита Ирана, преобразующая традицию в соответствии с интересами национального развития и создавшая новый тип политической системы. Легальные фундаменталистские политические орга-

низации с теми или иными оговорками признают народ источником власти, а гражданина — целью развития.

Таким образом, далеко не всегда религиозность участников политического процесса выступает маркером фундаменталистской идентичности. Многие идейно-политические течения, делающие акцент на морально-религиозных ценностях, можно охарактеризовать как почвеннические или имеющие религиозные корни. В документах турецкой Партии справедливости и развития не встречаются тезисы о приверженности религиозным принципам в общественно-политической жизни. Вместе с тем она интерпретирует провозглашаемый в качестве идейного кредо консерватизм как создание возможностей для воспроизводства и сохранения культурно-исторических ценностей духовной основе турецкой нации и не чужда религиозной риторике, которая отвечает интересам консервативной части граждан. Дискурс этой партии соответствует определению «национально-цивилизационный» [Пантин 2011: 116–119].

Роль фундаменталистской идентичности в современной политике амбивалентна и содержит как конструктивное, так и деструктивное начала. Конструктивность проявляется во внесении в публичное поле нового экзистенциального смысла, в выражении аутентичного культурного наследия, в возвращении нравственного духа политике. Во многих случаях в незападных обществах развитие фундаменталистского дискурса помогает выразить интересы и проблемы носителей традиционного / трансформирующегося сознания, соотнести его с иным хронотопом, включить в формирующуюся национальную идентичность. Деструктивность обусловлена принятием частью фундаменталистов насилия как средства достижения провозглашаемых целей и жестким противопоставлением себя греховному миру.

Литература

- Ван дер Веер П. 2010. Политическая религия в XXI веке. — *Ислам в современном мире*. 2010. № 3–4. С. 49–59.
- Кудряшова И.В. 2002. Фундаментализм в пространстве современного мира. — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 66–77.
- Кудряшова И.В. 2013. Как изучать взаимодействие религии и политики? — *Политическая наука*. № 2. С. 9–24.
- Малашенко А.В. 1997. Неприятие фундаментализма как его зеркальное отражение. — *НГ-религии*. № 12.
- Пантин В.И. 2011. *Национально-цивилизационная идентичность*. — *Политическая идентичность и политика идентичности*. Т. 1. *Словарь терминов и понятий* (отв. ред. И.С. Семенов). М.: РОССПЭН. С. 116–119.
- Померанц Г. 1994. К кому возвращается блудный сын? Клуб трех мнений. — *Знание — сила*. С. 70–75. (эл. ресурс). Режим доступа: <http://vadim-tsarev.narod.ru/arguments/Foundation.html>
- Сагадеев А.В. 1987. *Философское наследие мусульманского мира и современная идеологическая борьба*. Научно-аналитический очерк. М.: ИНИОН АН СССР. 52 с.
- Филатов С.Б. 2003. Возвращение к основам (протестантский фундаментализм). — *Фундаментализм*. Отв. ред. З.И. Левин. М.: Институт востоковедения РАН; Крафт+. С. 107–126.

Цымбурский В.А. 2002. «Городская революция» и будущее идеологий в России. Цивилизационный смысл русского большевизма. — *Русский журнал* (эл. ресурс). Режим доступа: http://www.intelros.org/books/rythm_ros_2.htm#18_top.

Шредер П. Религиозный фундаментализм. — *Азербайджанский Центр религии и демократии*. Эл. ресурс. Режим доступа: <http://reldem.net/pitru.html> (проверено 07.03.2017).

Contesting fundamentalisms. 2006. Ed. by C. Schick, J. Jaffe, A.M. Watkinson. Delhi: Aakar books. 176 p.

Fundamentalisms and the state: Remaking polities, economies, and militance. 1993. Ed. by E.M. Marty, R.S. Appleby, J.H. Garvey, T. Kuran. — *The fundamentalist project*. Vol. 3. Chicago: The University of Chicago press. 665 p.

Haynes J. 2008. *Religion*. — *Politics in the developing world*. Ed. by P. Burnell, V. Randall. N.Y.: Oxford univ. press. 2nd edition. P. 129–147.

Lienesch M. 2007. *In the beginning: Fundamentalism, the Scopes trial, and the making of the antievolution movement*. Chapel Hill NC, University of North Carolina Press. 2007. 338 p.

Marty M.E. 1992. Fundamentals of fundamentalism. — *Fundamentalism in comparative perspective*. Ed. by L. Kaplan. Amherst: University of Massachusetts Press. P. 15–23.

Wald K.D. 1987. *Religion and politics in the United States*. N.Y.: St. Martin's Press. 301 p.

Энвайронментализм и экологическая идентичность

Е.В. Саворская

Ключевые слова: экология, окружающая среда, устойчивое развитие, «зеленое» движение, энвайронментализм, антропоцентризм, политические сети, «экологическое гражданство», экологическая идентичность.

Энвайронментализм — широкое философское и идейно-политическое направление общественной мысли и социального действия, сформировавшееся в ответ на возрастающую озабоченность ухудшением экологической обстановки. Его стержневой идеей является защита окружающей среды в самых различных проявлениях — от борьбы с глобальным изменением климата и сокращением биоразнообразия до защиты прав животных и продвижения практик использования возобновляемых источников энергии. В этом контексте энвайронментализм тесно связан с такими понятиями, как экология, устойчивое развитие, экологическая этика, геоэтика, биофилия и пр.

Идейные основы энвайронментализма просматриваются в некоторых языческих религиях, для которых характерен концепт «матери-земли», — в славянской, греческой, тюркской и др. Одной из причин становления энвайрон-

ментализма на ранних этапах стала индустриальная революция XVIII–XIX веков, когда резкий скачок в развитии промышленности породил в таких странах, как Великобритания и Германия, романтические воззрения относительно сельской жизни и «возврата к природе», а также первые «зеленые движения». В современном понимании энвайронментализм оформился в 1960–1970-х годах. Значительную роль в развитии этого направления сыграли работа американского биолога Р. Карсон «Безмолвная весна» [Carson 1962], «Проект выживание» под редакцией редактора журнала «The Ecologist» Э. Голдсмита [Goldsmith 1972: 1–44] и доклад Римского клуба «Пределы роста» [Meadows, Meadows, Randers, Behrens III 1972]. Начиная с 1970-х годов энвайронментализм развивался параллельно с движением за мир и разоружение. Впоследствии в развитых странах он стал своеобразным маркером «постматериального» этапа развития общества, когда представители среднего класса со стабильными доходами и высоким уровнем образования стали обращаться к нематериальным ценностям, выступая против побочных эффектов капиталистического общества, а открытость политической системы позволяла им реализовать свои интересы в сфере политики [Milbrath 1984].

Существенная характеристика энвайронментализма, отличающая его от прочих политических и социальных движений, заключается в целенаправленном частичном или полном отказе от антропоцентристского видения отношений между человеком и природой (т.е. такого, который рассматривает природную среду в качестве источника материальных ресурсов для развития человечества). Энвайронментализм основывается на убежденности в ценности любой, а не только человеческой жизни, и усматривает причину современного экологического кризиса в антропоцентричных подходах к природопользованию и окружающей среде в целом [Roszak 1973]. Таким образом, концепт «жизни» так же важен для энвайронментализма, как «свобода» для либерализма, «справедливость» для социализма и «порядок» для консерватизма [Talshir 2002: 95].

Одной из центральных тем современного энвайронменталистского дискурса остается дискуссия относительно моделей общественного развития. Несмотря на существование множества точек зрения, перед «зеленым» движением стоит выбор между «политикой пределов», подразумевающей ограниченное энергопотребление, и «политикой возможностей», которая позволяет отказаться от нарратива трагедии, изложенного в диссертации американского эколога Г. Хардина «Трагедия общин» [Hardin 1968: 1243–1248], и обратиться к более позитивной и конструктивной деятельности, основанной на разработке и внедрении «зеленых» технологий [Nordhaus, Shellenberger, 2007: p. 13]. Представляется, что подобный «ответственный» взгляд в будущее и является характерной чертой «постэнвайронментализма» и напрямую связан с концепцией устойчивого развития.

Основой коллективной и индивидуальной идентичности энвайронменталистов выступает стремление к улучшению состояния окружающей среды и к ее защите путем изменения характера взаимоотношений человека и природы

через введение новых или изменение и отмену старых политических, экономических и социальных практик. Прочие идентичности, будь то гендерная, возрастная, территориальная, национальная, расовая, культурная или религиозная, не являются в этом контексте принципиально значимыми: принципиально важным является именно желание заботиться об окружающей среде.

Единственным исключением из этого ряда, впрочем, является политическая составляющая энвайронменталистской идентичности индивида или группы, поскольку она связана с необходимостью отказа от антропоцентризма для решения экологических проблем, что ведет к появлению множества «оттенков зеленого» [Саворская 2015], порожденных интеграцией энвайронменталистских идей в существующие политические течения. Этот сюжет удачно иллюстрирует замечание немецкого специалиста в области исследований устойчивого развития В. Сакса: «После того, как почти каждый, будь то глава государства или корпорации, сторонник технологического прогресса или экономического роста, стал энвайронменталистом, конфликты в будущем будут происходить не вокруг того, кто является или не является энвайронменталистом, а вокруг того, кто за какого рода энвайронментализм выступает» [Sachs 1993: p. xvi].

По этому признаку представителей «зеленого» движения можно условно разделить на сторонников «глубокой» и «поверхностной» экологии [Naess 1973: 96–100]. «Поверхностная» экология подразумевает внимание к экологическим проблемам, однако ставит человека выше природы и не распространяет этические нормы на окружающий мир. Она предполагает выработку экологической политики, позволяющей поддерживать окружающую среду в таком состоянии, которое обеспечит возможность и в дальнейшем удовлетворять нужды человечества. Это направление фокусируется на решении таких вопросов, как перенаселение, истощимость ресурсов и загрязнение окружающей среды. Сторонники «поверхностного», или в более мягкой формулировке — «гуманистического», течения отмечают, что идеи «глубокой» экологии, базирующиеся на «иррациональных и мистических» воззрениях, подразумевают нереалистичные подходы к решению существующих проблем экологического толка и вряд ли найдут поддержку у широких масс населения [Neuwood 2007]. К «поверхностному» направлению можно условно отнести либеральные, консервативные и некоторые феминистические, коммунистические и социалистические «оттенки зеленого».

«Глубокая» экология, в свою очередь, распространяет этические нормы на все живое, отвергает представления об уникальности человека как вида, считая его одним из звеньев природного единства. Она базируется на идее о том, что не природа была создана для удовлетворения нужд человека, а человек призван сберечь хрупкое природное равновесие. Представители этого течения отрицают классические идеологии как формы антропоцентризма, заявляя, что разработали собственную философию (поскольку с точки зрения «глубокой» экологии сам термин «идеология» является антропоцентричным), опираясь на экологические и холистские принципы. Сторонники «глубокой»

экологии критикуют «поверхностное» направление за то, что его завуалированный антропоцентризм нацелен на поддержание благополучия жителей развитых стран. В этом сегменте экологического спектра чаще всего находятся индивиды и группы или не интересующиеся политикой вовсе, или симпатизирующие более радикальным политическим взглядам, будь то анархизм или радикальный популизм.

Некоторые из повседневных «зеленых» паттернов поведения, таких как, например, обеспечение энергоэффективности домашнего хозяйства, сбережение энергии, потребление местной органической продукции и предпочтение велосипедов автомобилям, могут считаться характерными для сторонников неолиберальных энвайронменталистских практик [Thoire 2015: 147], не испытывающих потребности агрессивно «противостоять системе». Сторонники более радикальных направлений энвайронментализма, напротив, отвергают ограничения, наложенные на них государством, и считают зачастую агрессивные, нелегальные или опасные стратегии необходимым злом на пути реализации своих задач. Немаловажным является и тот факт, что моральным оправданием для подобных действий часто являются анимистичные представления радикальных энвайронменталистов, убежденных в лежащем на их плечах моральном долге защищать окружающую среду любыми допустимыми средствами [Cianchi 2015]. В то же время индивидуальные идейно-политические предпочтения имеют меньшее воздействие на формирование у отдельных лиц энвайронменталистской идентичности, в то время как господствующие в обществе предпочтения, а также высокий средний уровень образования имеют большее влияние на стремление людей причислить себя к сторонникам «зеленого движения» [Owen, Videras, Wu 2010].

Отказ от антропоцентризма вывел «зеленых» за пределы сложившегося партийно-политического спектра. Традиционные политические партии являлись воплощением всего, против чего выступали энвайронменталисты, — а именно системы, в которой главную роль играют стремящиеся к власти и экономическим выгодам элитные группы. Следовательно, создание собственной политической партии «зелеными» можно было рассматривать как их содействие легитимации системы [Talshir 2002: 9]. С 70-х гг. начинают появляться первые «зеленые» политические партии в Новой Зеландии («Партия ценностей», 1972 г.), Швейцарии («Народное движение за окружающую среду», 1972), Великобритании («Партия народа» (PEOPLEParty), 1972), а затем и по всему миру. На политическом небосклоне первый яркий след оставили немецкие «зеленые» [Talshir 2002].

Однако создание политической партии не означало для «зеленых» отказа от иных видов политической активности и способов влияния на сложившуюся политическую систему. Несмотря на значительные успехи в области формирования общественного мнения и объединений, для реального воздействия на политический процесс необходимо влияние «изнутри», что не оставило «зеленым» реальной альтернативы. При этом энвайронменталисты позиционировали себя как «анти-партии», располагающиеся в рамках классического

политического спектра «ни слева, ни справа, но впереди»: в теории, «зеленая» партия являлась, скорее, координирующим органом, формирующим повестку дня, исходя из объективных реалий и нужд своих сторонников, а не из абстрактных идеологических воззрений [Talshir 2002: 9–10].

Различные «зеленые» НПО также играют весьма видную роль в формировании энвайронменталистского дискурса [Ефременко 2006], поскольку их деятельность способствует утверждению новых и нестандартных подходов к экологической политике на самых различных уровнях, оказывая влияние не только на ценности, нормы и общественное мнение, но и на научное сообщество и лиц, занятых в процессе принятия решений. Определенную роль в процессе глобального экологического управления играют и многочисленные политические и проблемные сети. В условиях, когда традиционные международные институты и национальные правительства оказываются не вполне способными адекватно и своевременно реагировать на встающие перед ними экологические вызовы, сопряженные с множеством трудностей, с возрастающей сложностью сопутствующих задач, сетевые образования, лишенные целого ряда ограничений иерархических институтов, вполне успешно выполняют функцию «страховочной сетки», обеспечивающей стабильность системы [Саворская: 2013]. В то же время нельзя забывать об имеющейся диспропорции в участии в международных неправительственных организациях представителей развивающихся и развитых стран, когда число последних заметно преобладает. Это приводит к ситуации, когда международные институты и НПО становятся своеобразными «ретрансляторами» неолиберальных ценностей и традиций в развивающиеся страны [Ефременко: 2010], что, в свою очередь, приводит к весьма неоднозначным результатам: конечно же, многочисленные программы содействия развитию, инвестиции и экологические проекты облегчают сложную социально-экономическую обстановку в развивающихся странах и способствуют повышению осведомленности граждан относительно существующих проблем экологического характера, но, с другой стороны, аналогичные действия, тем более в том случае, если они поддерживают определенные экономические интересы, вызывают весьма острую реакцию и радикализируют энвайронменталистский дискурс.

Экологическая проблематика, как показывает практика, оказывает разнонаправленное воздействие на повестку дня политики идентичности. Хотя энвайронменталистский дискурс, распространяемый научными, государственными или корпоративными институтами, способствует вовлечению в процесс принятия решений представителей гражданского общества, их участие остается по преимуществу маргинальным либо управляемым, пусть и опосредованно, экономическими интересами. В то же время растущая озабоченность состоянием окружающей среды формирует прочную базу для создания общественных коалиций, проблемных и политических сетей поверх имеющих идейных разногласий, что, безусловно, влияет на изменение повестки дня публичной политики [Harper 2001: 101].

Экологическое самосознание становится важнейшей составляющей гражданской идентичности. Наиболее радикальное проявление этой идеи отражает

концепция «экологического гражданства», пропагандирующая отказ от взаимосвязи института гражданства с национальным государством. Экологическое гражданство подразумевает обращение к проблемам устойчивого развития и справедливости на глобальном уровне через ответственное отношение к своему индивидуальному экологическому следу (сокращение которого достигается за счет повседневного экологичного поведения индивида). При этом обязательства в рамках «экологического гражданства» индивид несет не перед страной проживания, а перед всеми, кого может затронуть его экологический след, поскольку проблемы экологического характера выходят далеко за официальные границы государств [Dobson 2004: 12–13].

В то же время вопрос о наличии экологической или энвайронменталистской идентичности вызывает среди специалистов определенные разногласия. Согласно одной из точек зрения энвайронментализм является общественным движением, направленным против культуры консьюмеризма, но при этом не обладает достаточным набором признаков, чтобы соответствовать критериям определенной идентичности [Young 1990: 83]. Существует и альтернативный взгляд, согласно которому энвайронментализм в широком смысле является культурным феноменом и несвязанной (*detached*) формой идентичности, которая проявляется в эмпатии по отношению к природе и в отторжении практик и институтов, наносящих вред окружающей среде [Light 2000]. В более узком понимании энвайронментализм можно причислить к связанным (*attached*) формам идентичности лишь в том случае, если индивид ощущает свою личную взаимосвязь с природой на духовном уровне, однако это характерно лишь для сторонников глубокой экологии и экофеминизма.

Выработка у индивида экологической идентичности сопряжена с изменением взглядов на повседневные действия (которые все больше стремятся к идеалам экологичности), а также приводит к формированию новых индивидуальных норм и ценностей, что в большинстве случаев позитивным образом сказывается на развитии общества в целом. Несмотря на то, что внедрение зеленых технологий часто связано со значительными расходами для государства или отдельных компаний, экологичное поведение индивидов сопряжено с определенной экономической выгодой, вытекающей из экономии, что способно стать одной из причин осознанного выбора подобного паттерна поведения в сознательном возрасте. В самом широком представлении экологичное поведение базируется на стремлении не навредить окружающей среде и по возможности способствовать ее процветанию. Чаще всего это подразумевает бережливое и ответственное отношение к ресурсам (энергосбережение, энергоэффективность, использование возобновляемых источников энергии, экономное отношение к воде, отказ от употребления в пищу некоторых видов продуктов и т.д.), а также к отходам (сортировка отходов, повторное или совместное использование товаров или материалов и т.д.). В то же время проявления экологической идентичности неоднородны и разнятся по конечному набору действий, приоритетов и норм.

Многие из носителей экологической идентичности поддерживают природоохранные организации и проекты, стремятся привить аналогичные ценности своим детям, знакомым или коллегам. Одну из центральных ролей в формировании экологической идентичности играет дошкольное и школьное образование. В странах, где воспитание ответственного отношения к природе заложено в образовательный процесс, намного больше носителей экологической идентичности среди взрослого населения. Наиболее очевидным примером здесь являются скандинавские страны, в которых экологичность прослеживается даже в оформлении интерьеров.

В России экологическое движение зародилось в 1960-е годы, в то же время решение проблем экологического характера по-прежнему остается среди наименее приоритетных направлений внутренней политики, а объем инвестирования в природоохранные проекты и направления деятельности остается недостаточным [Яницкий 1999; Кобелева 2015]. Для России характерно условное разделение экологического движения на два поколения: с одной стороны, у молодого поколения прослеживается обращение к классической схеме постматериального развития общества, с другой стороны — более старшее поколение обращается к его аналогу — «российскому экологическому аскетизму», выстроенному на основе детских воспоминаний об общении с нетронутой природой [Яницкий 2002: 550]. В последнее десятилетие прослеживается постепенное увеличение уровня популярности энвайронментализма и экологичного поведения среди молодежи, особенно в рамках целого ряда субкультурных направлений, забота об окружающей среде становится прочной основой для формирования идентичности у молодежи. С учетом роста озабоченности состоянием экологии на глобальном уровне можно прогнозировать сохранение этой тенденции в российском обществе в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Литература

- Ефременко Д.В. 2006. *Эколого-политические дискурсы: Возникновение и эволюция*. М.: ИНИОН РАН. 284 с.
- Ефременко Д.В. 2010. Экополитология как отрасль политической науки: В поисках теоретических оснований и дисциплинарной релевантности. — *Политическая наука*. № 2. Экология и политика. С. 33–74.
- Кобелева И.В. 2015. Инвестиции в природоохранную деятельность — *ИнВестРегион*. № 3. С. 62–66.
- Саворская Е.В. 2013. Политические сети как объект теоретического анализа проблем глобального управления. — *Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика*. № 3. С. 27–48.
- Саворская Е.В. 2015. Оттенки зеленого: энвайронментализм в контексте классических идеологических течений. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 103–115.
- Яницкий О.Н. 1998. Экологическая социология — *Социология в России*. Под редакцией В.А. Ядова. Изд. 2-е, перераб и доп. М.: Институт социологии РАН. С. 385–400.
- Яницкий О.Н. 1999. Структура региональных политических сетей. — *Экологическое движение в России*. Ред. Е. Здравомыслова, М. Тысячнюк. СПб: ЦНСИ. Вып. 6. С. 33–50.

- Dobson A. 2004-03-11. Ecological Citizenship — *Paper presented at the annual meeting of the Western Political Science Association, Marriott Hotel, Portland.* (http://www.allacademic.com/meta/p87792_index.html).
- Carson R. 1962. *Silent Spring*. Boston, MA: Houghton Mifflin. 368 p.
- Cianchi J. 2015. *Radical Environmentalism: Nature, Identity and More-than-human Agency*. Palgrave Macmillan. 181 p.
- Goldsmith E. 1972. A Blueprint for Survival. — *The Ecologist*. Vol. 2. No. 1. P. 1–44.
- Hardin G. 1968. The Tragedy of the Commons. — *Science. New Series*. Vol. 162. No. 3859. P. 1243–1248.
- Harper K.M. 2001. Introduction: The Environment as Master Narrative: Discourse and Identity in Environmental Problems. — *Anthropological Quarterly*. Vol. 74. No. 3. P. 101–103.
- Heywood A. 2007. *Political Ideologies. An Introduction (4th ed)*. Palgrave Macmillan. 432 p.
- Light A. 2000. What is an ecological identity? — *Environmental Politics*. Vol. 9 (4). P. 59–81.
- Meadows D., Meadows Donella H., Randers J., Behrens III William W. 1972. *Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind*. NY: Universe Books. 205 p.
- Milbrath L.W. 1984. *Environmentalists: Vanguard for a New Society. Albany*. NY: State University of New York Press. 202 p.
- Naess A. 1989. *Ecology, Community and Lifestyle*. Cambridge: Cambridge University Press. 223 p.
- Nordhaus T., Shellenberger M. 2007. *Break Through: From the death of environmentalism to the politics of possibility*. Boston: Houghton Mifflin. 344 p.
- Owen A., Videras J., Wu S. 2010. Identity and environmentalism: the influence of community characteristics. — *Review of Social Economy*. Vol. 68. Iss. 4. P. 465–486.
- Roszak T. 1973. *Where the wasteland ends: Politics and transcendence in postindustrial society*. NY: Doubleday & Company. 451 p.
- Sachs W. 1993. *Global Ecology: A New Arena of Political Conflict*. London: Zed Books. 320 p.
- Talshir G. 2002. *The Political Ideology of Green Parties: From the Politics of Nature to Redefining the Nature of Politics*. Palgrave Macmillan. 344 p.
- Thoyre A. 2015. Constructing environmentalist identities through green neoliberal identity work. — *Journal of Political Ecology*. Vol. 22. P. 146–163.
- Young I.M. 1990. *Justice and the Politics of Difference*. NJ: Princeton University Press. 304 p.

Коммунитаризм

К.А. Сулимов

Ключевые слова: сообщество, либерализм, индивидуализм, гражданское общество, общее благо, индивидуальные права и свободы, социальная ответственность, социальный капитал, «академический» коммунитаризм, «философский» коммунитаризм, коммунитарная идентичность.

Термин *коммунитаризм* постепенно вошел сначала в научное, а затем и в более широкое интеллектуальное и политико-идеологическое словоупотребление, начиная с 1980 годов в Соединенных Штатах, а затем и по всему миру,

и сегодня используется для обозначения относительно разнообразного спектра феноменов и явлений. Общим в этом широком словоупотреблении является *акцентуация идеи сообщества* (англ. *community* — отсюда название) как значимой для описания, понимания и даже проектирования социальной, политической и моральной жизни каждого отдельного индивида и всех людей.

Хотя сам термин коммунитаризм (*communitarianism*) был впервые использован в XIX веке, а коммунитаристские идеи, согласно некоторым их адептам, можно обнаружить в различных политических и религиозных доктринах из разных времен и частей света [Etzioni 2014, 2015], начало его современного употребления связано с творчеством ряда ученых — Аласдера Макинтайра, Майкла Сэндела, Майкла Уолцера, Чарлза Тейлора. Их ключевые работы 1980-х годов [Макинтайр 2000; Walzer 1983; Sandel 1998; Taylor 1989] весьма разнообразны с точки зрения представленных тем, используемых подходов и итоговых выводов. Но в совокупности они были интерпретированы критиками и последователями как масштабный и имеющий единый теоретический и даже ценностный вектор проект философской и политико-теоретической — коммунитаристской по существу — критики политической философии либерализма и либеральных оснований устройства современного общества [Bell 1993, 2013; Mulhall, Swift 1996].

Сами вышеназванные «отцы-основатели» коммунитаризма не рассматривали себя как единое течение, не ставили целью создание единой систематической коммунитаристской теории и даже не были склонны применять к себе и своей позиции этот термин, находя, по отдельности и по-разному, более привлекательными для самоидентификации термины социал-демократия, левый либерализм или республиканизм. Они хотя и приняли фактическое участие в развернувшемся споре между коммунитаристами и либералами, но *как бы* со стороны, разбирая его скорее как исследователи [Тэйлор 1998; MacIntyre 1991; Walzer 1990].

Тем не менее их усилиями и усилиями их последователей и критиков в течение 1980-х годов происходит оформление *коммунитаризма* как самостоятельного течения политической мысли, которое выдвигает 1) методологические требования о важности традиции и социального контекста для морального и политического мышления в противовес либеральному универсализму; 2) онтологические утверждения о социальной природе личности и её идентичности в противовес индивидуалистическому пониманию личности либерализмом; 3) нормативные требования о ценности сообщества в противовес актуальной атомизации современных либеральных обществ. Такой коммунитаризм иногда обозначают как «академический», «философский» или «высокий».

Непосредственным толчком к развертыванию коммунитаристской критики послужила теоретическая актуализация либерального проекта, произошедшая вследствие появления знаковой работы Джона Ролза [Ролз Дж. 1995]. Ее влияние на формирование научного дискурса оказалось столь заметным и ощутимым, что именно острая реакция на ролзовскую теорию справедливости в книге Майкла Сэндела [Sandel M. 1998] открыла дискуссию, в ходе которой был сформулирован комплекс коммунитаристских идей.

Ядро критики Санделом либерального понимания справедливости в целом и теории Ролза в частности заключается в том, что последняя основывается на неправдоподобном и невозможном понимании человеческой личности / самости / Я (*the self*) как существующей, в некотором смысле, независимо от любого актуального человеческого сообщества. Сандел, как и другие коммунитаристы, исходит из не нового и весьма распространенного среди представителей других философских и политико-теоретических течений представления, что либералы строят свои политические и моральные теории на идее универсального, автономного и самодостаточного индивида. Он (либеральный индивид) возникает как бы ниоткуда, ему ничто не предшествует, в нем в свернутом виде уже даны все базовые ценности, цели и смыслы человеческого существования. Это позволяет ему в логическом, моральном и до некоторой степени актуальном политическом отношении учреждать социальный, моральный и политический порядок или, по крайней мере, дает ему право санкционировать или же отвергать любой актуальный порядок. В последнем состоит суть схемы, единой для всех версий *общественного договора*. При таком понимании не возникает проблемы социальной и политической идентичности, идентичность может быть интерпретирована только в том смысле, что человек идентичен самому себе, своему универсальному Я, может и должен идентифицироваться только с ним, т.е. как «автономная идентичность» в терминологии Чарлза Тейлора [Тэйлор 1998].

Для Сандела и других коммунитаристов такое либеральное понимание человеческого Я крайне проблематично, потому что просто не соответствует реальности, так как невозможно найти конкретные примеры моральной жизни, соответствующие ему. Мы воспринимаем себя только в социальном контексте, идентифицируя себя с ним через значимые для нас цели, приверженности и убеждения. Более того, мы просто не в состоянии мыслить себя и все остальное вне этого контекста, потому что сама наша способность мыслить и быть моральными существами задана контекстом. Мы не можем разорвать связь с ним, потому что разрыв означал бы уничтожение самих себя (крах чего-то важного для нас во «внешнем» мире мы воспринимаем как крушение нас самих). Мы включаем его в себя, мы отягощены им, в том числе в том смысле, что не можем произвольно выбирать его, а также цели и приверженности, которые он задает, — в противовес неотягощенным/необремененным «либеральным» индивидам (*unencumbered selves*).

Из этого с необходимостью следует, что либеральная претензия на нейтральность того социального и политического порядка, который могут создать якобы неотягощенные социальностью индивиды, несостоятельна. Этот порядок всегда конкретен и нагружен теми представлениями о благе, с которыми индивиды идентифицируют себя. Это, в свою очередь, означает, что ролзовская теория справедливости и в целом любое универсалистское понимание общего блага не может обладать универсальной значимостью — ни применительно к разным сферам в пределах одного общества, ни тем более применительно к разным, имеющим собственные исторически сложившиеся формы

жизни, обществам и сообществам. Майкл Уолцер в «Сферах справедливости» [Walzer 1983] противопоставил универсалистскому пониманию справедливости партикулярное, доказывая, что в разных сферах человеческой жизни и тем более в разных сообществах люди в рамках своей практической жизни производят разные понимания справедливости, которые функционируют как коллективно разделяемые ценности и представления. В другой своей книге [Уолцер 1999] он доказывает, что попытка навязать конкретному обществу абстрактные, т.е. не в этом обществе произведенные представления о благе и должном, или критиковать это общество, опираясь на них, будет или бессмысленной, потому что просто не будет понятой, или даже вредной. Продуктивная социальная критика всегда должна критиковать общество за отклонение от его собственных целей и ценностей.

Поэтому в контексте индивидуальной и коллективной идентичности для коммунитаризма первичным является вопрос о том, кто я (мы) есть, а не вопрос о том, кем я (мы) хочу быть или стать. В отношении конкретного случая ролзовской теории «либеральный индивид» оказывается эгоистичным и своекорыстным субъектом, который, во-первых, использует ресурсы сообщества в сугубо инструментальном ключе, во-вторых, не принимает никаких социальных обязательств, кроме тех, которые он сам добровольно и сознательно возложил на себя, и, в-третьих, он прячется в скорлупу частной жизни, игнорируя общественную и политическую жизнь. Такая оценка коррелирует с реальной практикой жизни современных обществ, в которых очевидно можно наблюдать эрозию общественной жизни, что является предметом сугубой обеспокоенности коммунитаристов.

В этой точке проявляется проблема амбивалентности коммунитаристской критики. Она одновременно целит и в либеральную теорию, и в либеральную практику, т.е. практику социальной и политической жизни современных обществ. Но, как заметил тот же Майкл Уолцер [Walzer 1990], оба направления критики могут быть справедливыми только по отдельности. Или либерализм принципиально несостоятелен в своем понимании реальной социальной жизни людей, а значит в ней на самом деле есть общественная жизнь в разных формах и видах, на чем и настаивают коммунитаристы — но тогда, во-первых, теряется смысл ожесточенной критики либерализма, а, во-вторых, это противоречит эмпирически наблюдаемой индивидуализации и атомизации социальной жизни. Или, если индивидуализация, атомизация и связанные с ними проблемы реальны и всепроникающи, то сам коммунитаризм теряет почву под ногами, потому что оказывается только совокупностью нормативных требований, не укорененных в практике конкретного общества.

Корень проблемы в том, как понимается либерализм: в его коммунитаристской интерпретации не всегда четко проводится граница между, условно говоря, денотативной (дескриптивной) и нормативной составляющими. Либеральное теоретизирование, конечно, не является простой абстракцией, а укоренено в реальной исторической практике западных обществ, а в силу этого обладает и денотативной силой, и нормативной значимостью. И в этом свете

знаменитая ролзовская «вуаль неведения» играет роль обеспечения этой значимости. Более того, отказ от нормативной перспективы — от постановки вопроса о том, кем мы хотим стать? — лишает социальную жизнь перспективы, возможности поисков иного.

С этим связано еще одно серьезное затруднение коммунитаризма — культурный релятивизм. Если все общества и сообщества уникальны в отношении системы благ, убеждений и ценностей, то как возможно их мирное сосуществование и пресечение наиболее ужасных форм подавления людей репрессивными сообществами, которые, безусловно, существуют? Ведь нет никакой универсально значимой системы ценностей, а значит, невозможно решить, кто прав, кто виноват, и невозможно прийти к разумному согласию между разными сообществами. В коммунитаризме можно видеть два принципиальных пути решения этой проблемы. Один, слабый, состоит в указании на то, что между человеческими сообществами, несмотря на их уникальность, все равно есть, пусть минимально, но общее [см., напр.: Макинтайр 2000: 372–373]. Более сильный вариант предложил Чарлз Тейлор: мы как носители разных культурных традиций могли бы согласиться с некими одинаковыми нормами без того, чтобы соглашаться с обоснованием их правильности, которое в каждой традиции будет свое [Taylor Ch. 1999].

Примечательно, что Тейлор заимствует в этом объяснении понятие Джона Ролза — перекрывающийся консенсус (*overlapping consensus*). Это, пусть точно, но показывает, что между либерализмом и коммунитаризмом нет неустраняемого противоречия, они оба принадлежат к одной метатрадиции. Более того, они скорее не являются однопорядковыми явлениями, коммунитаризм описываемого образца разумнее рассматривать как коррекцию либерализма [Walzer 1990], а самих коммунитаристов — как «коммунитаристских либералов».

С самого начала 1990-х годов предпринимаются попытки политического внедрения коммунитаристских идей. Наибольшую известность приобрело коммунитаристское политико-идеологическое движение во главе с Амитаем Этциони. Вокруг движения появилась целая серия институций: площадка взаимодействия «Коммунитаристская сеть» (*The Communitarian Network* — см.: <http://communitariannetwork.org>), аналитический центр «Институт коммунитаристских политических исследований» (*Institute for Communitarian Policy Studies* — см.: <http://icps.gwu.edu>), с 1990 по 2004 год существовал журнал «*The Responsive Community: Rights and Responsibilities*», активно велась исследовательская работа и издавались коллективные монографии [Etzioni 1998; Etzioni, Volmert, Rothschild E. 2004]. Свою задачу движение видело в преодолении непродуктивного противостояния между левыми и правыми, в нахождении среднего пути между политикой радикального индивидуализма и чрезмерного этатизма. Сделать это, на их взгляд, можно было бы путем продвижения идеи значимости общего блага при нахождении приемлемого баланса между индивидуальными правами и социальной ответственностью, а также политики, которая направлена на защиту и поощрение сообществ

при сохранении индивидуальной свободы. Все это могло бы остановить эрозию общественной жизни в условиях растущей неоднородности современных обществ. Представители движения активно пытались через взаимодействие с представителями органов власти претворить свои идеи в политические решения, сделать их ориентиром общегосударственного (для США) политического курса [Bell 2013].

Были и другие проекты продвижения коммунитаризма в политическую сферу. Например, применительно к Великобритании был предложен [Tam 1998] целый спектр институциональных реформ, основывающихся на трех «коммунитаристских принципах»: совместное исследование/познание (co-operative inquiry), общие ценности и взаимная ответственность, и гражданское участие. Речь шла о необходимости отказа от политики, ведущей к известному институциональному противопоставлению: отчужденное государство vs общество потребителей — в пользу продвижения государства участия при ключевой роли гражданского общества, в политико-идеологическом смысле — опять-таки о поиске «третьего пути» между правыми и левыми, авторитаризмом и индивидуализмом.

Значимого, собственно политического, успеха эти проекты не имели. Вдобавок, движение Этциони фактически выродилось в движение имени его самого: он на сегодня обязательный гуру по всем вопросам, где упоминается сам термин. Но совокупные усилия «академического» и публичная активность «политического» коммунитаризмов привели к результату иного рода: коммунитаризм превратился в научную и интеллектуальную моду.

Важно отметить, что она подпитывалась не только изнутри собственно коммунитаристского дискурса, интерес к community имел множество разных источников. Например, в 1990 году вышла, пожалуй, самая известная в кругах специалистов книга Элинор Остром «Управление ресурсами общего доступа: эволюция институтов коллективного действия» [Ostrom 1990], которая, вместе с другими ее работами и, в целом, деятельностью Блумингтонской школы институциональных исследований, произвели «настоящий переворот в представлениях... о способности «простых» людей к самоорганизации и самоуправлению» [Капелюшников 2010: 39]. Было убедительно показано, в том числе на солидном эмпирическом материале, что при определенных институциональных условиях люди способны к автономным (от государства, экспертов, любой внешней воли и знания) и успешным коллективным действиям, причем не только в традиционных, но и в современных, спонтанно возникающих сообществах.

Несоизмеримо большую известность и даже общественное признание получили работы Роберта Патнэма (сначала статья 1995 года, а потом и книга), в которых он через понятие социального капитала разобрал «крах и возрождение американского сообщества» [Putnam 2000]. Вместе с единомышленниками он развернул бурную общественную деятельность, которая вылилась в издание еще одной книги [Putnam, Feldstein and Cohen 2003] и создание интернет-сайта под общим названием «Лучше вместе» [см.:

together.org], где представлены примеры успешных практик использования социального капитала как инструмента восстановления коммунитарности.

Как и любая мода, мода на коммунитарность (как интерес к community) и коммунитаризм (как комплекс идей об этом интересе, формирующий соответствующий дискурс) имеет свою логику. В 1996 году Фарид Закария, описывая эту моду, язвительно заметил: «Только пять лет назад коммунитаризм был смутным философским течением, дискутировавшимся на факультетских семинарах; сегодня его идеи выплеснулись на страницы журнала *People* и в телевизионные сети. “Сообщество” и “гражданское общество”, два мантры движения, являются частью повседневного политического дискурса» [Zakaria 1996]. Модность и общепривлекательность понятий и идей не способствовали обретению коммунитаризмом политико-идеологической и ценностной определенности. Оказалось, что коммунитаристский подход, термины «сообщество» и «гражданское общество» могут со схожим успехом и достаточной степенью непротиворечивости эксплуатировать как правые, так и левые политики, публичные интеллектуалы и просто публичные персоны: «от Хилари Клинтон и Барбары Стрейзанд до Патрика Бьюкенена» [Zakaria 1996]. На взгляд критиков коммунитаризм, столкнувшись с реальным политико-идеологическим размежеванием в американском обществе, превратился в набор бессодержательных терминов, используемых консерватизмом и либерализмом «как новые меха для старого вина», в «зонтичное» понятие, за которым не стоит сущностных явлений.

Причина популярности коммунитаристского дискурса состояла в том, что идея коммунитарности оказалась одинаково привлекательной для левых и правых как для описания и понимания актуальных проблем современного американского и не только общества, так и для обозначения возможных перспектив их решения. Значимые отличия между различными политико-идеологическими силами, конечно, имелись, и заключались они в векторе нормативности: если правые скорее были нацелены на актуализацию и возрождение значимости уже существующих и даже существовавших ранее сообществ (отчасти в логике знаменитого *Gemeinschaft*), то левые свой нормативный идеал сообщества связывали скорее с новыми сообществами или обретением существующими сообществами новых качеств, т.е. с будущим, возможно, прямо сейчас формирующимся.

К настоящему дню интеллектуальная мода на этот термин прошла, он закрепился для обозначения определенной разновидности политической мысли и, отчасти, политико-идеологических проектов, упомянутых выше. Термин «коммунитаризм» приобрел и инструментальное значение в современном научно-исследовательском словаре различных дисциплин и используется применительно к очень разным темам и сюжетам. Общим по-прежнему является наличие отсылки к понятию сообщество (*community*), с неизбежными, впрочем, отличиями в понимании его содержания и в масштабировании по шкале от локального до глобального. В качестве предмета, который фиксируется термином коммунитаризм, преимущественно выступают некие

разновидности государственных, партийных и прочих политик и политий, которые обретают понятийную значимость и определенность в контексте бинарных оппозиций, т.е. в противопоставлении глобализму, либерализму и либеральным подходам и принципам, постмодернизму, космополитизму, индивидуализму и т.п. [см., напр.: Dal 2015; Rakšnys, Guogis, Minkevičius 2015; Gibson 2015; Toom 2014].

Примерно такое же — инструментальное — значение термин приобрел в современной политической практике (преимущественно американской). Это часто выглядит как своеобразная игра с нулевой суммой: или больше индивидуальной свободы за счет коммунитарных привязанностей и обязательств, или наоборот. На такую редукцию смысла оказала влияние реакция американского общества на события 11 сентября 2001 года. Обозначение кого-либо коммунитаристом (communitarian) обычно означает подчеркивание, в первую очередь, анти-индивидуализма как сущностной черты личностной идентичности.

На пике популярности (в середине 1990-х годов) в коммунитаризме склонны были видеть (не только в англо-саксонском мире, но в самых разных странах, в том числе в России) не просто новый философско-методологический подход, но именно общественное движение, понимаемое в терминах «новой утопии», масштабного «коммунитарного эксперимента» по воплощению «новой социальности», в рамках которой будет решена проблема органичного сочетания «возрастающего стремления к индивидуальной и групповой автономии с устойчивостью социума, права автономной личности — с ее социальной ответственностью» [Новинская 1998].

С ним были связаны большие ожидания, в контексте которых формировался образ особой — коммунитарной — идентичности. По смыслу она переключается с гражданской идентичностью и, наверное, еще в большей степени с республиканской идентичностью (если проводить между ними различие, которое иногда видят в том, что гражданская идентичность неразрывно связана с идеей прав и обязанностей, выражаемой в терминах прав и свобод человека, т.е. относится к особой политико-культурной традиции, отличной от республиканизма). Речь, в общем виде, разумеется, идет об идентификации людей с тем сообществом, к которому они принадлежат. Но принципиальное значение имеет характер идентификации. Он, скорее, должен быть выражен через термин «отождествление» с сообществом в том смысле, что сообщество должно восприниматься как их (людей) собственное продолжение и выражение. Это отождествление должно распространяться и на политические институты, кладя предел контрпродуктивному, в рамках этой логики, противопоставлению людей/общества — с одной стороны, и власти/государства — с другой. Люди должны не просто «участвовать в управлении делами государства/сообщества», оставаясь при этом частными людьми с частными интересами, а в совместных действиях/предприятиях управлять сообществом и жизнью людей в нем. Граница здесь тонка, подвижна и дискуссионна, но общий вектор на преодоление разрыва между частным и общественным,

эгоизмом и альтруизмом, профанным и экспертным очевиден. Разумеется, образ этой идентичности связан с ценностью свободы, т.е. со свободными сообществами или сообществами, где есть свобода. Но это, наверное, не просто свобода участия в управлении или в публичной жизни, которая своей обратной стороной всегда имеет свободу неучастия (и замыкание в негативной свободе). Это свобода позитивная, гражданская, связанная с обязательствами и ответственностью, свобода самоограничения.

Образ этой — коммунитарной — идентичности должен быть конкретизирован применительно к конкретной культуре, социальной традиции, т.е. исторической общности, основанной на определенных ценностях (отдельный, крайне проблематичный вопрос — о соотношении идентификаций с разными сообществами). Это принципиальная теоретико-методологическая установка коммунитаристского дискурса: каждое общество должно иметь свое, разделяемое его членами, понимание добродетельной жизни. В американском случае речь шла о широкой идентификации с «американским образом жизни», который воспринимается американцами как ценность сам по себе. Представители иных политико-культурных традиций должны совершать свою идейно-ценностную работу по наполнению этого образа собственным содержанием, с которым люди и будут стремиться себя отождествлять.

Литература

- Капелюшников Р.И. 2010. Множественность институциональных миров: Нобелевская премия по экономике-2009. — *Экономический журнал ВШЭ*. Т. 14. № 1. С. 12–69.
- Макинтайр А. 2000. *После добродетели: Исследования теории морали*. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга. 384 с. [MacIntyre, A. 1981. *After Virtue: A Study in Moral Theory*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press. 286 p.].
- Новинская М.И. 1998. Поиск «новой социальности» и утопическая традиция: проблема человеческого общежития в актуальном срезе. — *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 59–78.
- Ролз Дж. 1995. *Теория справедливости*. Новосибирск, изд-во НГУ. 532 с. [Rawls J. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press. 607 p.].
- Тэйлор Ч. 1998. Пересечение целей: спор между либералами и коммунитаристами. — *Современный либерализм: Ролз, Бёрлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, Уолдрон*. М.: Дом интеллектуальной книги, Прогресс-Традиция. С. 219–248. (Taylor Ch. 1989. Cross-Purposes: The Liberal-Communitarian Debate. — *Liberalism and Moral Life*. Ed. by N. Rosenblum. Cambridge: Harvard University Press. P. 159-182.).
- Уолпер М. 1999. *Компания критиков: Социальная критика и политические пристрастия XX века*. Москва: Идея-пресс, Дом интеллектуальной книги. 354 с. (Walzer M. 1988. *The Company of Critics: Social Criticism and Political Commitment in the Twentieth Century*. Basic Books, Inc.).
- Bell D. 1993. *Communitarianism and Its Critics*. Oxford: Oxford University Press. 272 p.
- Bell D. 2013. Communitarianism. — *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2013 Edition). Edward N. Zalta (ed.). (эл. ресурс.) Доступ: <http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/communitarianism>.
- Dal E.P. 2015. A normative approach to contemporary Turkish foreign policy: The cosmopolitanism-communitarianism divide. — *International Journal*. Vol. 70. № 3. P. 421–433.

- Etzioni A. 2013. Communitarianism. — *Encyclopædia Britannica Online*. Эл. ресурс. Доступ: <https://global.britannica.com/topic/communitarianism> (accessed 09.03.2017)
- Etzioni A. 2014. Communitarianism revisited. — *Journal of Political Ideologies*. Vol. 19. No. 3 P. 241–260.
- Etzioni A. 2015. Communitarianism. — *The Encyclopedia of Political Thought (1st Edition)* (ed. by M.T. Gibbons). L.: John Wiley & Sons. Эл. ресурс. Доступ: <https://icps.gwu.edu/sites/icps.gwu.edu/files/downloads/Communitarianis.Etzioni.pdf>;
- Etzioni A., Volmert D., Rothschild E. (ed.) 2004. *The Communitarian Reader: Beyond the Essentials (Rights & Responsibilities)*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. 279 p.
- Etzioni A. 1994. *The Spirit of Community: The Reinvention of American Society*. New York: Touchstone. 323 p.
- Gibson H. 2015. Between the state and the individual: 'Big society' communitarianism and English conservative rhetoric. — *Citizenship, Social and Economics Education*. Vol. 14. № 1. P. 40–55.
- MacIntyre A. 1991. "Letter". — *The Responsive Community*. Vol. 1. № 3. Summer 1991. P. 91–92.
- Mulhall S., Swift A. 1996. *Liberals and Communitarians*. (2nd edition). Oxford: Blackwell Publishing. 363 p.
- Ostrom E. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. N.Y.: Cambridge University Press. 298 p.
- Putnam R.D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster. 541 p.
- Putnam R.D., Feldstein L.M. and Cohen D. 2003. *Better Together: Restoring the American Community*. N.Y.: Simon & Schuster. 310 p.
- Raksnys A.V., Guogis A., Minkevicius A. 2015. The problem of reconciliation of new public governance and postmodernism: The conditions of returning to communitarianism. — *Trames*. Vol. 19. No. 4. P. 333–353.
- Sandel M. 1998. *Liberalism and the Limits of Justice*. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press. 231 p. (см. выдержки в: Сэндел М. 1998. Либерализм и пределы справедливости. — *Современный либерализм: Ролз, Бёрлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, Уолдрон*. М.: Дом интеллектуальной книги, Прогресс-Традиция. С. 191–218.)
- Tam H. 1998. *Communitarianism: A New Agenda for Politics and Citizenship*. New York: New York University Press. 288 p.
- Taylor Ch. 1989. *Sources of the Self: The Making of Modern Identity*. Harvard University Press. 624 p.
- Taylor Ch. 1999. Conditions of an Unforced Consensus on Human Rights. — J. R. Bauer and D. Bell (eds.). *The East Asian Challenge for Human Rights*. N.Y.: Cambridge University Press.
- The Essential Communitarian Reader (ed. by A. Etzioni). 1998. *Lanham*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. 322 p.
- Toom V. 2014. Trumping communitarianism: Crime control and forensic DNA typing and databasing in Singapore. — *East Asian Science, Technology and Society*. Vol. 8. No. 3. P. 273–296.
- Walzer M. 1983. *Spheres of Justice: a defense of pluralism and equality*. Oxford: Blackwell. 364 p.
- Walzer M. 1990. The Communitarian Critique of Liberalism. — *Political Theory*. Vol. 18. No. 1. P. 6–23.
- Zakaria F. 1996. The ABCs of Communitarianism. — *Slate Magazine*. July 26.

Альтернативные политические дискурсы

Н.В. Работяжев, Т.А. Ровинская

Ключевые слова: политический дискурс, «третий путь», антиглобализм, альтерглобализм, «пиратское движение», «социальное христианство», теология освобождения, Мануэль Кастельс, легитимирующая идентичность, идентичность сопротивления, проективная идентичность.

В конце XX — начале XXI века в странах Запада оформились политические дискурсы, альтернативные существовавшим ранее классическим политическим идеологиям и претендующие на то, чтобы найти новые формы сочетания тенденций индивидуализации сознания с потребностью в социальной интеграции. К их числу можно отнести «третий путь», альтерглобализм / антиглобализм, «пиратское» движение. Они отличаются между собой не только по идейному наполнению и характеру формирования, но и по отношению к современному обществу и его институтам. «Третий путь», ревизовавший «старый» лейборизм в направлении отхода от его социалистических традиций и принципов и сдвинувший Лейбористскую партию в сторону политического центра [Работяжев 2014], был ориентирован на представление системной альтернативы нынешней модели развития западных обществ путем синтеза институтов либеральной рыночной экономики и социального государства в рамках политической программы. Альтерглобализм представляет собой альтернативу антисистемную, а «пираты» — внесистемную, эти движения находятся вне идейно-политического мейнстрима и не принимают доминирующие в западном обществе институты, ценности и установки.

В контекстах этих дискурсов формируются различные типы идентичности, которые можно рассматривать как своего рода модели динамики идейно-политической идентификации в современном мире. С точки зрения типологизации, предложенной широко известным исследователем реалий информационного общества Мануэлем Кастельсом [Castells 2010a: 8], идентичность, складывавшаяся в контексте дискурса «третьего пути», является версией «легитимирующей идентичности» (*legitimizing identity*), расширяющей и рационализирующей доминирование находящихся у власти сил, в то время как в рамках новых альтернативных движений — альтерглобализма и «пиратского движения» — формируется «идентичность сопротивления» (*resistant identity*). Она конструируется теми социальными акторами, которые создают механизмы сопротивления и выживания на базе принципов, отличающихся

от распространенных в данном обществе или оппозиционных по отношению к ним. Такие идентичности «являются внешними по отношению к организационным принципам сетевого общества. Вопреки преклонению перед технологией, власти потоков (капитала. — *Примеч. авт.*) и логике рынков, они противостоят их существованию, их вере и их наследию. ...Они с самого начала вводят альтернативную социальную логику, отличную от тех принципов деятельности, на которых построены доминирующие институты общества» [Castells 2010b: 387].

Своеобразным альтернативным дискурсом является «социальное христианство», прежде всего «Теология освобождения», но, в отличие от перечисленных политических направлений, христианско-социальные и христианско-социалистические доктрины имеют гораздо более длительную историю. Христианско-революционную идентичность можно в рамках предложенной М. Кастельсом типологии рассматривать как версию «проективной идентичности» (*project identity*).

Элементы проективности присутствуют, конечно, и в лейбористском политическом проекте, в его социальной программе. «*Третий путь*» (*the Third Way*) как системная альтернатива нынешней западной модели общественного развития — это название идейно-политической и социально-экономической концепции, выдвинутой лидером Лейбористской партии Великобритании в 1994–2007 годах Энтони Блэром и его единомышленниками, версия модернизации лейбористской идеологии путём приближения ее к установкам социального либерализма. Идеи «третьего пути» оказали значительное влияние на социал-демократический дискурс рубежа XX–XXI веков, стимулировали становление в Западной Европе «новой» социал-демократии и способствовали формированию новой политической идентичности европейских левоцентристов.

Возникновение «третьего пути» и в целом «новой» социал-демократии стало ответом на кризис европейского социал-демократического движения, ярко проявившийся в 1980-е — 1990-е годы. Кризис был вызван целым рядом факторов — сокращением в социальной структуре западноевропейских стран доли традиционного рабочего класса — важнейшей социальной и электоральной опоры социал-демократии; ослаблением позиций профсоюзов и размыванием левой политической культуры в условиях «новой экономики»; распространением «нового индивидуализма», который с трудом совмещался с «традиционной социал-демократическо-профсоюзной ориентацией на коллективную организацию и всеохватывающим влиянием социального государства» [Поттхофф, Миллер 2003: 394]; фрагментацией и индивидуализацией западного общества, ослаблением партийной идентификации избирателей; кризисом государства благосостояния и неокейнсианской экономической модели в условиях глобализации; дискредитацией левой идеологии в результате крушения коммунистических режимов в СССР и странах Центрально-Восточной Европы.

Реакцией на кризисные явления стала активизация правого (прорыночного) крыла в социал-демократических партиях, которая в 1990-е годы стала особенно заметной в Лейбористской партии Великобритании (ЛПВ) и Социал-

демократической партии Германии (СДПГ). В результате в западной социал-демократии утвердились два основных течения — «новая» (модернистская) и «старая» (кейнсианская) социал-демократия. Первое, связанное с именами лейбористского премьер-министра Великобритании Энтони (Тони) Блэра и социал-демократического канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, отказалось от многих традиционных социал-демократических представлений и тяготело к социальному либерализму [Блэр, Шрёдер 2000].

«Новая» социал-демократия, по словам известного британского социолога и советника Блэра профессора Энтони Гидденса, отличалась от «старой» по двум основным параметрам. Она, во-первых, признала необходимость глубокого переосмысления левой идеологии в свете происходящих в мире изменений, к числу которых относятся: глобализация, возникновение «экономики знаний», усиление индивидуалистических и постматериалистических установок, неэффективность государства благосостояния и возникновение новых рисков (прежде всего, экологических). Во-вторых, новая социал-демократия стремилась прежде всего к электоральному успеху, а не к сохранению идеологической чистоты своей доктрины, и рассчитывала завоевывать поддержку в самых разных слоях общества [Giddens 2002: 11].

Нелейбористский «третий путь» (авторство этой концепции принадлежит Гидденсу) также заметно отличался и от того третьего пути, альтернативного как неконтролируемому капитализму, так и тоталитарному коммунизму, по которому европейская социал-демократия шла после Второй мировой войны. В сущности, он пролегал между традиционным демократическим социализмом и неолиберализмом, между кейнсианским государством благосостояния и тэтчеризмом. Правительство должно было играть активную роль в регулировании экономической жизни, но избегать интервенционизма; ставилась задача налаживать новые партнерские отношения с бизнесом. При этом экономический рост и социальная справедливость рассматривались не как антагонисты, а как две стороны одной медали [Байерс 2000: 46]. Фактически «новые лейбористы» стремились сочетать неолиберализм в экономике с социал-демократической социальной политикой. В сущности, это означало полный отказ сторонников «третьего пути» от важнейшей исторической задачи социалистического и рабочего движения — преодоления отчуждения труда, превращения рабочей силы в товар.

«Третий путь» представлял собой одну из версий модернизации идеологии социал-демократии и обретения ею новой идентичности. Неудивительно, что на рубеже XX и XXI веков идеи «третьего пути» вызвали широкое и заинтересованное обсуждение в европейских социал-демократических кругах [Работяжев 2010]. Хотя идеи «новых лейбористов» встретили поддержку далеко не во всех социал-демократических партиях, они в определённой степени содействовали идеологическому обновлению европейской социал-демократии, ее отказу от этатистских подходов и признанию важности рыночной экономики и частнопредпринимательской инициативы для обеспечения социального и экономического прогресса.

Альтерглобализм/антиглобализм как антисистемный альтернативный дискурс представляет собой транснациональное движение протеста против неолиберальной глобализации. В фокусе критики альтерглобалистов находятся негативные аспекты нынешней модели глобализации, навязываемой миру транснациональными корпорациями и международными торговыми и финансовыми институтами. Современная версия глобализации, с точки зрения антиглобалистов, — это завуалированная форма западного империализма, и наибольшие выгоды от неё получают именно развитые страны Запада («золотой миллиард»). Интересам этих стран, прежде всего — США, служат глобальные финансовые и торговые организации — МВФ, Всемирный банк, ВТО и др., которые устанавливают выгодные для западных элит и мегакорпораций правила игры в глобальной экономике, поддерживающие эксплуатацию развивающихся стран транснациональными компаниями и глобальной капиталистической олигархией. Более того, нынешняя версия глобализации, с точки зрения альтерглобалистов, означает американизацию мира, уничтожение национальной самобытности стран и народов, замену многообразия культур «культурой наживы», деградацию окружающей среды.

Антиглобалисты подчеркивают, что они протестуют не против глобализации вообще, а против ее неолиберальной модели («корпоративной глобализации»). «Мы — за глобализацию в интересах всего мира; они (“власть”. — *Примеч. авт.*) — за особую форму глобализации в интересах предпринимателей», — заявляет, например, известный американский публицист, «гуру» антиглобалистов Ноам Хомски [Альтерглобализм 2006: 106]. Поэтому сами антиглобалисты именуют себя сегодня, как правило, альтерглобалистами (нами оба эти термина используются как синонимы). Они ратуют за *иную* глобализацию — регулируемую, демократическую, справедливую, учитывающую интересы всех стран и народов и не нарушающую экологическое равновесие. Альтерглобалисты выступают за придание процессу глобализации социального измерения, контроль над ТНК и международными торговыми и финансовыми организациями, списание долгов бедных стран, социальную справедливость, развитие демократии участия. Они протестуют против унификации национальных и локальных культур, отставивая самобытность культурных идентичностей, которым угрожает американизация («макдональдизация») [Работяжев 2011]. В антиглобалистском движении также участвуют и левые радикалы (анархисты, троцкисты, некоммунисты), целью которых является не реформирование глобального капитализма, а его полное преобразование.

Альтерглобализм — это «движение движений», объединяющее самые разные по идейной ориентации и по направлению деятельности организации, группы и движения (экологические, феминистские, студенческие, религиозные, пацифистские, леворадикальные, НПО, защитников прав потребителей и т.д.). Характерной его особенностью является то, что оно основывается на сетевых организационных принципах (неиерархичность, децентрализация, преимущественно горизонтальная кооперация участников и др.). Существование подобной структуры стало возможным только благодаря Интернету.

Для альтерглобалистов Интернет — это и источник информации, и средство связи, и модель организации [Денчев 2005: 118]. Мировоззренческой основой большинства участвующих в нем группировок «служит философия постмодернизма с характерной для нее эклектичностью» [Сирота, Хомелева 2012: 179]. В настоящее время движение переживает спад и находится в состоянии идеологического кризиса, что объясняется в том числе и его широкой идейной эклектикой, препятствующей разработке общей конструктивной программы.

Альтерглобализм — новый социально-политический феномен, заметно отличающийся — как организационно, так и идеологически — от партий и движений XX века. В отличие от традиционных левых сил, альтерглобалисты ставят своей целью не завоевание власти, а привлечение внимания общественности к существующим проблемам общественного развития. Альтерглобалисты «сознательно стремятся объединить различные взгляды и вписать их в более свободную структуру, не свойственную традиционному стилю идеологической политики» [Шварцмантель 2009: 256]. Это продукт европейского гражданского общества, притом что его участники отрицают западную парадигму социального развития и выступают против ее универсализации.

Так называемое «*пиратское движение*» является альтернативным политическим движением информационной эпохи иного рода. «Пираты» выражают идеи «нового либертарианства» (или «киберлибертарианства»), зародившегося в середине 1990-х годов в условиях активного перехода стран западной демократии от индустриальной общественной модели к «информационному обществу». Благодаря широкому внедрению компьютерных и коммуникационных технологий возникла особая среда взаимодействия киберпространства (виртуальная среда), где утрачивают свое значение устойчивые координаты миропорядка индустриальной эпохи, такие, как национальный и территориальный суверенитет, географические границы, общественно-политическая иерархичность и статусность, культурные, конфессиональные, гендерные, возрастные различия. На первый план выдвигаются «незримые границы» индивидуальной и экономической свободы, свободы распространения информации и культуры, значительное расширение которых должно стать нормой в информационном обществе. Для полноценного использования всех потенциальных возможностей киберпространства на практике должны выполняться некоторые обязательные условия: соблюдение индивидуальной свободы активной личности, добровольное сотрудничество как основной принцип организации сообществ всех уровней, поощрение творческой активности каждого члена такого сообщества, доступность самого киберпространства для максимально широкого круга желающих [Кутовенко 2003].

Первый общественный дискурс на тему свободы информационного пространства (главным образом, интернет-пространства) был инициирован в 1996 году известным американским поэтом, прозаиком и политическим активистом Джоном Барлоу, написавшим «Декларацию независимости киберпространства» (A Declaration of the Independence of Cyberspace), в ответ на подписание президентом США Биллом Клинтонем принятого Конгрессом США

Закона о благопристойности коммуникаций (The Communications Decency Act of 1996, CDA), который вводил цензуру в Сети [Barlow 1996]. Главный постулат киберлибертарианства — признание принципиальной неприкосновенности «незримых», но жизненно важных границ свободы в информационном обществе, где общественно-политическое развитие рассматривается уже не столько в национальных, сколько в глобальных категориях.

Политическими адептами «нового либертарианства» стали «пиратские партии» (ПП), появившиеся десятилетие спустя после Декларации Барлоу (2006 год — появление первой ПП в Швеции). Они выступают за соблюдение гражданских прав и свобод в информационном обществе (свобода слова, неприкосновенность частной жизни и персональных данных, недопустимость электронной слежки и цензуры), за свободное распространение знаний и культуры, свободный некоммерческий обмен информацией и недопустимость его преследования (за реформу законодательства в области интеллектуальной собственности, патентов и копирайта) и, наконец, за транспарентность государственной власти и политики в целом. Название «пиратские» подчеркивает принципиальное несогласие с искусственными ограничениями *некоммерческого* обмена информацией (при этом, однако, осуждается коммерческое «пиратство»). Свободный обмен информацией, не преследующий коммерческих целей — прежде всего в Интернете, — признается естественным и необходимым, поскольку информация, создаваемая, сохраняемая и распространяемая в Сети, в силу своей «нематериальной» специфики не может рассматриваться как частная собственность или обычный коммерческий товар, она является частью культуры и достоянием всего общества. На политическом уровне речь идет уже не столько об этическом, культурном и экономическом аспектах информационного обмена, сколько о прозрачности политического процесса в информационном обществе. Согласно официальной политической доктрине «пиратов», новейшие технические возможности следует использовать для формирования «прозрачного» государства, которое служит интересам гражданского общества. Вместе с тем они не должны способствовать созданию «прозрачного» человека, ущемлению прав на неприкосновенность частной жизни и персональных данных. «Пиратские партии» продвигают концепцию «текучей демократии» (liquid democracy) — варианта «интернет-демократии», гибко сочетающего элементы прямой и представительной форм. Она соотносится с концептом «текучей современности» (liquid modernity), разработанной ранее польским социологом З. Бауманом [Bauman 2000].

В индивидуальном плане типичный «пират» — это человек, чей возраст, пол, уровень образования и вероисповедание не имеют значения, если он разделяет и готов реализовывать принципы «нового либертарианства». Иными словами, принципиальны лишь идейный выбор и вытекающая из него гражданская позиция (что требует определенных личностных качеств, — прежде всего, свободомыслия, широкого кругозора, активности, «пассионарности», стремления к справедливости). В реальности «пиратами» оказываются в ос-

новном молодые и энергичные, образованные и амбициозные люди с активной жизненной позицией. Членство в «пиратских партиях» является открытым, то есть членом партии может стать любой гражданин, разделяющий данную философию¹. Коллективная идентичность представителей «пиратского» движения строится на аналогичных «универсалистских» принципах. Государство происхождения становится для такой партии не конечным субъектом, а лишь ближайшим «полигоном» для реализации ее политических принципов. «Пиратские партии» позиционируют себя как члены международного объединения («Пиратского интернационала»).

Бросая вызов традиционным идеологиям, «альтернативщики» формируют в обществе «протестный дискурс» — то есть «дискурс сопротивления» всему тому, что, с их точки зрения, уже не отвечает требованиям времени и интересам свободной личности, но продолжает доминировать в культуре, общественной жизни, политике и экономике. Изначально «пиратские» партии представляли собой протестные группы узкой направленности, оспаривавшие национальные системы копирайта (в тех странах, где они были созданы). В настоящее время, когда в Западной Европе оформилась идеологическая платформа Пиратского движения, оно вышло на политический уровень и предлагает реальные альтернативы изжившим себя политическим механизмам [Ровинская 2012, Ровинская 2015]. На парламентских выборах в Исландии в октябре 2016 года исландская Пиратская партия, самая успешная в мире на сегодняшний день, получила 14,5% голосов и 7 мест в национальном парламенте.

Альтернативным политическим дискурсом является и «*социальное*», в том числе «революционное», *христианство («Теология освобождения»)*, отличительная особенность которого состоит в том, что оно возникло за пределами традиционной политики и формирует религиозную идентичность. Социальное направление присутствует в христианских религиозных дискурсах современности наряду с собственно теологическим. В их центре трактовка роли и места церкви непосредственно в жизни общества и государства.

Христианские социальные доктрины в их современном понимании начали разрабатываться в конце XIX века в то же время, когда оформлялись политическая философия и идеология социализма. Начало формирования социальной концепции Римско-Католической Церкви связывают с публикацией энциклики папы Льва XIII «*Rerum novarum*» («Новых вещей (касаюсь я)», 1891 г.), предложившей «чадам церкви — священникам и мирянам — план и средства

¹ Представители движения, члены «пиратских партий» называют себя просто «пиратами». Однако проблемы с этим вызывающим названием все же существуют. Например, Пиратской партии России Министерство юстиции РФ отказало в официальной регистрации со ссылкой на ст. 227 Уголовного кодекса РФ, устанавливающую уголовное наказание за пиратство как преступное деяние (в связи с чем партия не была допущена к участию в парламентских выборах 2011 года). В Западной Европе противники «пиратов» (главным образом — игроки информационного рынка, заинтересованные в получении коммерческой прибыли от продажи информации как товара) также пытаются проводить прямую аналогию с морским пиратством.

плодотворной социальной реконструкции». Под руководством понтификов-реформаторов — Иоанна XXIII и Павла VI — II Ватиканский собор (1962–1965) сформулировал новую социальную доктрину католицизма, которая базировалась не только на учениях христианских мыслителей прошлых веков (блаженного Августина и Фомы Аквинского), но и на идеях современных религиозных философов (Ж. Маритена, П. Тейяра де Шардена и др.). Провозглашенная Иоанном XXIII «евангелизация» была направлена на практическое подтверждение способности Церкви активно влиять на решение разнообразных проблем общества [Богомазов 2012]. Принцип социальной справедливости мирового масштаба был поддержан энцикликой папы Павла VI «*Populorum progressio*» («Человеческое развитие», 1967 г.). Социальное учение католической церкви указывает на необходимость солидарности всех людей, которая признается одной из важнейших добродетелей, долгом человека по отношению к сообществу, как на основной способ решения этих проблем [Костылева 2006]. Энциклика папы Бенедикта XVI «*Caritas in veritate*» («Милосердие в истине», 2009 г.) была целиком посвящена социальной проблематике и стала важной вехой в развитии социального учения Римско-Католической Церкви. При этом единого документа, представляющего социальную доктрину католицизма, до сих пор не существует.

Вслед за официальными социально ориентированными посланиями Римской Католической Церкви появились другие социальные концепции. В частности, большую популярность приобрело «*богословие революции*» («*Теология освобождения*»), начало формирования которого было положено именно решениями II Ватиканского собора (однако последние 40 лет в католической среде и за ее пределами не утихают споры о том, что представляет собой это направление — пересмотр решений Собора или их творческое развитие) [Богомазов 2012]. «Теология освобождения» стала наиболее радикальным «социальным» направлением католической теологии. Оно возникло в Латинской Америке в 1960-е годы и превратилось в широкое альтернативное социально-политическое движение к 1970–1980 годам.

В теологическом плане в основе этой концепции, известной также как «социальное христианство» или «христианский социализм», лежит представление об освобождении в широком смысле слова. Исходя из этого, его приверженцы («теологи-либерационисты») пытаются переосмыслить все содержание христианства. Под освобождением понимается избавление не только от первородного греха, но и от нищеты (которая объявляется общественным грехом), и от всех форм угнетения. «Теологи освобождения» рассматривают страдания людей от бедности как противоречие воле Божией и как нравственный императив христианской совести. Так, один из «отцов» течения Г. Гутиеррес отмечает: «Мы на стороне бедных не потому, что они хороши, а потому, что они бедны» [Выжанов 2011]. Христианской миссии придается особая роль защиты справедливости для бедных и угнетенных, особенно через политическую деятельность. По мнению теологов-либерационистов, история едина, ее нельзя разорвать на священную историю спасения и секу-

лярную историю; Царство Божие вполне «от мира сего», и оно уже наступило, так как социально-политические освободительные движения являются рационализацией спасения (внутри истории), и в них предвосхищаются признаки полного, священного спасения, которое уже близко [Новая... 2001: 38].

«Теологи-либерационисты», признавая влияние различных богословских течений (как католического, так и протестантского), изначально заняли очень критическую позицию по отношению к ним [Выжанов 2011], тем самым обозначив себя как теологическую альтернативу. В частности, это объяснялось тем, что католицизм и протестантизм зародились в богатых странах. По мнению Х.Л. Сегундо, есть принципиальная разница между контекстом богословских размышлений в мире доминируемом и мире доминирующем. В последнем есть склонность к идеализации [De Goes 1979]. Неудивительно, что многие видные представители католицизма (в особенности папы Иоанн Павел II и Бенедикт XVI) жестко критиковали «богословие революции», не умаляя при этом важности задачи борьбы с бедностью. Иоанн Павел II на открытии конференции латиноамериканских епископов в Пуэбле (Мексика, 1979 г.) заявил: «Ошибочными являются утверждения, что политическое, экономическое или социальное освобождение равносильны спасению, принесенному Христом... восприятие Христа в качестве политической фигуры, революционера не является совместимым с учением Церкви» [цит. по: Богомазов 2012: 16]. В то же время немало известных католиков (например, погибший как мученик архиепископ Сан-Сальвадора Оскар Арнульфо Ромеро, мать Тереза) высказывались в поддержку этих идей. Несмотря на разногласия, «теологи-либерационисты» тесно сотрудничали и с католиками, и с протестантами, провозглашая необходимость и полезность как религиозного плюрализма, так и межконфессионального синкретизма [Boff, Regidor, Boff 1996: 43].

Социально-экономической основой зарождения «Теологии освобождения» именно в Латинской Америке стало бедственное, угнетенное положение большинства населения континента, где при этом чрезвычайно сильны позиции Католической церкви. По этой причине религиозно-философская концепция с самого начала стала «теорией действия» и носит ярко выраженный социально-политический характер. «Теологи-либерационисты» имеют собственную программу общественных преобразований, не принимают ни неолиберального (капиталистического) пути экономического развития, ни «третьего пути», концентрируя внимание и усилия на разработке альтернативы. По сути, «теология освобождения» взяла на вооружение многие постулаты и установки марксизма. Ее сторонники представляют два течения — реформистское и радикальное. Первое выступает за мирный путь достижения поставленных целей, второе не исключает силовую борьбу против угнетения. К началу второго десятилетия XXI века существенно возросло число сторонников ненасильственного пути [Богомазов 2012].

Отдельной разновидностью «богословия революции» стала «Черная теология», зародившаяся среди богословов и религиозных афроамериканских лидеров США и окрепшая в 1960-е годы в ходе борьбы афроамериканцев

за гражданские права (движение Мартина Лютера Кинга). Она была воспринята чернокожим населением Карибского бассейна и Африки (так, южноафриканская теология возникла как ответ на колониальное и расовое угнетение и сегрегацию в ЮАР). В Азии эти идеи наиболее популярны в Индии, Шри-Ланке, Республике Корея, на Филиппинах и Тайване — в странах, где существуют массовая бедность, нарушение демократических прав, нерешаемые экологические проблемы. Таким образом, учение превратилось в «богословие развивающихся стран», «теологическое движение третьего мира» [Богомазов 2012].

Основой как индивидуальной, так и коллективной самоидентификации «теологов освобождения» является религиозная принадлежность к христианскому вероисповеданию в широком смысле. Однако она тесно увязана с социально-классовой и сословной идентичностью, а именно — с принадлежностью к бедным. Причем, бедные разделяются на два вида: «социально-экономические» и «евангельские». «Социально-экономические бедняки» — это миллионы и миллиарды людей, испытывающих подлинные социальные бедствия. Евангельские бедные — это те, которые оказываются солидарными с «социально-экономическими бедняками» и даже отождествляют себя с ними, «как это сделал исторический Иисус» [Выжанов 2011]. Политическая самоидентификация «теологов освобождения» — революционная. Так называемые базовые (народные, из низов. — *Примеч. авт.*) церковные общины в политическом отношении являются, по их мнению, «буревестниками революции» [Выжанов 2011].

С точки зрения многих исследователей, революционно-христианская концепция демонстрирует высокую жизнеспособность, несмотря на негативное отношение к ней Святого Престола. В начале второго десятилетия XXI века она стала важной составляющей частью политической идеологии ряда государств Латинской Америки, идейным вдохновителем возрождающегося и набирающего силу в регионе левого движения как реакции на неолиберальную модель развития [Богомазов 2012]. Пробуждение «революционного духа» в теологии в качестве альтернативы традиционному вероучению всех христианских конфессий обусловлено динамикой социального и экономического неравенства в современном мире.

Таким образом, в начале XXI века сложился целый ряд альтернативных политических направлений и дискурсов, отличающихся друг от друга как степенью системности, так и характером сформировавшихся в их рамках идентичностей. Все они в той или иной степени предлагают альтернативы доминирующей в современном западном обществе системе ценностей, причем чем более антисистемным является дискурс, тем более радикальное отвержение господствующих ценностей для него характерно. Судьба этих течений складывается по-разному. Британские лейбористы вскоре после ухода Блэра с поста лидера партии начали отходить от установок «третьего пути», идеологический кризис переживает и альтерглобализм. В то же время «пиратское движение» и «социальное христианство» сохраняют свое влияние. Но само

возникновение альтернативных политических дискурсов, в той или иной мере противостоящих «классическим», говорит о продолжающемся поиске новых путей социальной интеграции и противодействия атомизации общества, в ходе которых формируются новые идентичности.

Литература

- Альтерглобализм и антиглобалистские движения в современном мире* (отв. ред. И.Г. Животовская). 2006. М.: ИНИОН РАН. 152 с.
- Байерс С. 2000. Третий путь. — *Международная жизнь*. № 12. С. 42–46.
- Блэр Т., Шрёдер Г. 2000. Европа: Третий путь — Новая середина. — *Социал-демократия перед лицом глобальных проблем*. М.: ИНИОН РАН. С. 88–105.
- Богомазов В.Н. 2012. *Политическое и социальное развитие Латинской Америки в условиях глобализации и роль церкви (на основе концепции «Теологии освобождения»)*. Автореф. дис. канд. полит. наук. М.: Дипломатическая академия МИД России. 27 с.
- Выжанов И. 2011. «Теология освобождения» в Римско-Католической Церкви: история движения. — *Образовательный портал «Слово»*. 25.10.2011. Доступ: http://www.portal-slovo.ru/theology/44804.php#_ftnref6 (проверено 30.01.2016).
- Денчев К. 2005. *Феномен антиглобализма*. М.: Изд. ГУ ВШЭ. 219 с.
- Костылева Т.А. 2006. *Социальное служение религиозных организаций*. Дис. канд. филос. наук: 09.00.13. Омск. 167 с.
- Кутюренко А. 2003. Новые либертарианцы. — *Компьютерная газета А-Z* (эл. ресурс). Доступ: <http://www.nestor.minsk.by/kg/2003/07/kg30709.html> (дата обращения: 27.08.2015).
- Теология освобождения. 2001. — *Новая философская энциклопедия (пред. научно-ред. совета В.С. Степин)*. М.: Мысль. Т. IV. С. 37–38. Интернет-версия: <http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about>
- Папа Иоанн Павел II. 1995. — *Энциклика «Ut unum sint»*. Доступ: <http://www.ioannpavel.ru/wp-content/uploads/2010/05/Ut-unum-sint.pdf> (проверено 29.01.2016).
- Поттхофф Х., Миллер С. 2003. *Краткая история СДПГ. 1848–2002*. М.: Памятники исторической мысли. 560 с.
- Работяжев Н.В. 2010. Западноевропейская социал-демократия в начале XXI века. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 3. С. 39–55.
- Работяжев Н.В. 2011. Альтерглобализм как социальный и политический феномен: опыт анализа. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 12. С. 98–109.
- Работяжев Н.В. 2014. Лейбористская партия Великобритании на пути адаптации к современному миру. — *Полития*. № 2. С. 118–140.
- Ровинская Т. 2012. Пиратские партии: политический продукт информационного общества. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 12. С. 93–104.
- Ровинская Т. 2015. Политические амбиции европейских «пиратов». — *Мировая экономика и международные отношения*. № 7. С. 72–84.
- Сирота Н.М., Хомелева Р.А. 2012. Альтерглобализм: идейно-политический дискурс. — *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*. Тамбов: Грамота. № 7. Ч. 3. С. 179–183.
- Шварцмантель Д. 2009. *Идеология и политика*. Харьков: Изд. Гуманитарный Центр. 312 с.
- Barlow J.P. 1996. *A Declaration of the Independence of Cyberspace*. February 9. Electronic Frontier Foundation. Эл. ресурс. Доступ: <https://homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html> (дата обращения: 26.08.2015).
- Bauman Z. 2000. *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press. 240 p.

Boff L., Regidor J.R., Boff C. 1996. *A Teologia da Libertação. Balanço e Perspectivas*. Editora Ática, São Paulo.

Castells M. 2010a. *The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture*. Vol. II, 2nd Ed. with a New Preface. Malden (Ma), Oxford (UK), Chichester (UK): Wiley-Blackwell. 584 p.

Castells M. 2010b. *End of Millenium: The Information Age: Economy, Society, and Culture*. Vol. III, 2nd Ed. with a New Preface. Malden (Ma), Oxford (UK), Chichester (UK): Wiley-Blackwell. 488 p.

De Goes P. 1979. Hermeneutica Política e Praxis Libertadora. — *Simposio*. No. 20. ASTE: São Paulo. P. 197–198.

Giddens A. 2002. *Where Now for New Labour?* Cambridge: Polity Press. 96 p.

Глава 34

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Политика идентичности

И.С. Семенов

Ключевые слова: политическая идентичность, гражданская идентичность, политическое сообщество, государство, группы интересов, публичная политика, протестные (социальные) движения, культурное разнообразие, мультикультурализм, дискурс идентичности, символическая политика.

Как аналитическая категория концепт политики идентичности занял прочное место в российском научном дискурсе в последнее десятилетие: он широко используется в контексте анализа процессов социально-политических изменений, эволюции национального государства, нациестроительства и регулирования социальной конфликтности в современном мире [Миненков 2005, 2009; Идентичность как предмет... 2010; Политическая идентичность и политика идентичности 2011, 2012; Семенов 2011с, 2016; Борьба за идентичность... 2012; Цумарова 2012; Ачкасов 2013; Прохоренко 2016]. Политика идентичности рассматривается в соотнесении с символической политикой [см. Малинова 2013; 2016], для концептуализации таких направлений публичной политики, как политика в сфере образования и в молодежной среде [Евгеньева, Титов 2010], или протестной общественной активности [Здравомыслова 2009]. Приоритетное направление российских исследований — акторы, ресурсы и механизмы политики идентичности в политическом процессе на уровне территорий — регионов и городов [Назукина 2009, 2014; Цумарова 2014; Бедерсон 2016; Российская Арктика... 2016].

В современной политической науке утверждается широкое толкование политики идентичности, опирающееся на анализ субъектов и практик, которые формируют идентичности политических сообществ. Оно связывается с деятельностью государства и его институтов по поддержанию общих ценностных оснований принадлежности к политическому сообществу и общих ориентиров

его развития, общих представлений о «нас» как нации, стране, государстве, регионе, территории. Под *политикой идентичности* в этом контексте понимается деятельность по формированию и поддержанию национальной (национально-государственной), гражданской и иных форм макрополитической идентичности. Такая идентичность оказывается объектом целенаправленного воздействия и взаимодействия государства и групп интересов на путях формирования общих ценностей и ориентиров развития политического (национального, территориального) сообщества и групповых солидарностей внутри этого сообщества, поддержания чувства личной принадлежности к нему. Государство — ключевой актор политики идентичности в этом поле: оно использует институты социализации (систему образования, воинскую службу) и инструменты публичной политики для легитимации властных институтов и для организации взаимодействия социальных субъектов вокруг определенной повестки дня, для вовлечения граждан в такие взаимодействия.

В зарубежном научном и политическом дискурсе политика идентичности традиционно ассоциируется с борьбой за признание социально ущемленных групп интересов, отстаивающих «право на идентичность». Сам термин «политика идентичности» (identity politics) утвердился в англоязычной научной литературе в рамках конструктивистской парадигмы анализа социально-политических изменений (П. Бурдье) на волне подъема движений за права дискриминируемых социальных групп¹. Собственно, его и вызвал к жизни послевоенный подъем различных протестных движений: общественные науки наконец «повернулись лицом» к осмыслению значения идентичности для понимания сущностных характеристик социальных изменений и политической борьбы [Calhoun 1994: 4].

Понятие «*политики идентичности*» в этом контексте стало широко использоваться в англоязычной литературе для описания *борьбы ущемленных в социальном статусе меньшинств и групп (расовых, этнических, конфессиональных, гендерных и др.) за право на общественное признание и легитимность именно в качестве носителей определенной идентичности, значимой для их консолидации как участников политического процесса*. Субъектами политики идентичности в этом понимании выступают группы интересов, объединяющиеся на аскриптивных или/и идейных, мировоззренческих основаниях. Их члены отстаивают свою «особую» идентичность перед лицом общества и государства и в процессе самоорганизации консолидируются в протестные сообщества на основе утверждения культурных различий с «большинством».

¹ В подробном обзоре исследований политики идентичности, сделанном американским социологом М. Бернстайн, работа Р. Анспач в сфере девиантной социологии [Anspach 1979] выделена как пионерная в использовании этого термина в научной литературе [Bernstein 2005: 47]. Стоит отметить, что в данном случае изучение феномена заметно опередило его «именование»: работы о механизмах мобилизации протестных социальных движений в русле нового тогда направления «социологии действия» появились одновременно с подъемом самих этих движений в 1960-е годы [см. Touraine 1965].

Политика идентичности стала механизмом самоорганизации новых субъектов политики в рамках их борьбы за признание права на инаковость, за новые альтернативы развития в разных сферах социальной жизни. И именно политикой, поскольку, как отмечает Г.Я. Миненков, «стремления, охватываемые “политикой идентичности”, являются коллективными и публичными, а не только индивидуальными и приватными. Это — борьба, борьба теоретическая и социально-политическая, а не просто объединение в группы по интересам, борьба, связанная с разрушением прежних легитимаций и поиском признания и легитимности, а иногда и власти, а не только возможностей для самовыражения и автономии. Политика идентичности является политикой и потому, что она включает отрицание или замену тех идентичностей, которую другие, часто в форме различного рода ярлыков, хотели бы навязать от имени «всеобщего» борющимся за признание индивидам». В теоретическом плане речь идет о «новом измерении проблемного поля социальной теории, о возможности формирования жизнеспособных социологических концепций деятельности, которые не прибегали бы к внешнему принуждению для объяснения действия, “отклоняющегося” от “универсальных” предпосылок и концептов, сформировавших традиционные теоретические дискурсы» [Миненков 2005; см. также Calhoun 1994]. На практике речь идет о формировании защитных коллективных идентичностей. Так, в случае объединения на основе «черной идентичности» — о мобилизации против расистских оснований организации общества, когда людям другого цвета кожи «отказывали в возможности идентификации с большинством нации, и они искали другие опоры для самостояния» [Hall 1991: 52].

Смысловой парой «идентичности» в этом контексте оказывается «разнообразие» (*identity / diversity*). В демократическом обществе разнообразие признается безусловной культурной ценностью и утверждается в дискурсивных практиках, которые трансформируются в политическое действие [Calhoun 1994; Laclau 1994; Melucci 1996]. Политика идентичности нацелена не только на общественное признание «особости» той или иной группы в контексте культурного (в широком смысле) разнообразия, но и на ее закрепление средствами государственной политики, в том числе путем законодательного регулирования.

Ответом государства на подъем протестных движений и борьбу за легитимацию статуса носителей групповых идентичностей стало распространение в западных обществах практик позитивной дискриминации. Это узаконенные механизмы социальной поддержки представителей групп с отличной от большинства граждан идентичностью, в том числе и таких, которые использовали этот механизм сугубо как средство политической самоорганизации (радикальный феминизм, «черный национализм»). Так, доктрина мультикультурализма, принятая в качестве ориентира государственной политики в Канаде, в Австралии (и затем Швеции) в начале 1970-х годов, появилась в развитие повестки дня политики идентичности, утверждавшей права автохтонных этнических меньшинств (иннуитов, австралийских аборигенов и других коренных

народов) и этнокультурных групп, проживавших на территории страны, в том числе права инокультурных граждан — иммигрантов и их потомков, на сохранение своей культурной и языковой идентичности и поддержку со стороны государства в реализации этих прав. Критика практик «позитивной дискриминации» и политики мультикультурализма выявила риски и ограничения в развитии институтов современной демократии: в результате стали закрепляться границы между группами и сообществами, которые демократические институты должны были бы преодолевать.

Настоятельный и порой агрессивный упор на «инаковость» чреват трансформацией политики идентичности в практики социальной маргинализации. С другой стороны, требования признать и легитимировать иные идентичности «поколебали нейтральность либерального государства» [Benhabib 2002]. Они породили новые моральные дилеммы и новые ограничения свободы личности [Kenny 2004], в том числе личной безопасности². В частности, мобилизация вокруг одной групповой идентичности принижает значимость других, важных для индивида ориентиров и навязывает обязывающую групповую солидарность [Heyes 2002]. В результате одни проблемы вытесняются на периферию общественного сознания и целенаправленно гипертрофируется повестка дня, продвигаемая агрессивными проводниками такой политики. Продвижение «особых» интересов и упор на «различия» может противоречить самой идее общественного блага и социальной солидарности; неслучайно групповая политика идентичности стала объектом серьезной критики и с неолиберальных, и с «левых» позиций [см. напр. Alcoff and Mohanty 2006: 2–3].

Современный коммунитаризм видит путь преодоления такого рода противоречий в утверждении социальной солидарности поверх индивидуальных и групповых идентичностей. Модели демократии участия, совещательной (делиберативной) демократии (Дж. Ролз, Ю. Хабермас, Д. Хелд и др.), мониторинговой демократии (Дж. Кин) указывают на необходимость гражданского участия и контроля, вовлечения гражданского общества в продвижение конкурентных дискурсов и политик идентичности. В условиях глобализации (и утверждения соответствующего дискурса в публичной политике) политика идентичности активно используется сегодня представителями новейших социальных движений, которые выступают с позиций продвижения ценностной альтернативы современному глобализму и альтернативных жизненных стилей («альтернативного капитализма» или «альтернативы капитализму»). Она становится консолидирующим основанием таких инициатив, ставит в повестку дня вопрос о перспективах формирования космополитической идентичности и глобального гражданства [Beck 2006; Parekh 2008].

² Все более широкое хождение в условиях снижения порога угроз личной безопасности получает понятие «политики идентификации» (identity policy; букв. — политики идентичности): оно используется в сугубо технократическом смысле для обозначения системы мер, регулирующих сбор, хранение и защиту конфиденциальности персональных данных. Неслучайно буквальный перевод названия удостоверения личности гражданина с ряда европейских языков — «карта идентичности» (фр. *carte d'identité*).

Политика идентичности, проводимая от имени государства, рассредоточивается на разных уровнях власти и управления — наднациональном (макро-региональном), региональном, локальном — и реализуется через разнообразные социальные практики. Так, с помощью политики территориальной идентичности [Роккан, Урвин 2003] поддерживаются образы общего политического пространства и конструируются имиджи, работающие на продвижение групповых политических интересов — местных элит и контрэлит — региональных сепаратистских движений.

Действенным механизмом политики идентичности в этом контексте может быть брендинг территорий. Конструирование таких брендов — узнаваемых символов города или региона — призвано создавать и поддерживать привлекательный образ территории, но далеко не всегда бренды-«новоделы» работают на формирование общего политического пространства. Что касается политического бренда (например, конкретного политика или движения), то его положительное восприятие опирается сугубо на узнаваемые образы. Таким брендом в принципе «может стать любое политическое явление, институт, субъект и даже деятельность, имеющая ценностную значимость для индивида на уровне самоидентификации» [Русакова, Максимов 2007: 85], но его закрепление в этом ценностном поле требует тонкой настройки политики идентичности.

Государство активно использует в проведении политики идентичности символическую политику, политику языка и политику памяти [Gillis 1994; Малинова 2016]. В этом арсенале важное место принадлежит школьному учебнику истории, художественным произведениям, создающим образы национальных героев и память о героических событиях в истории страны и на их основе — общее историческое сознание политической нации. Неотъемлемая часть дискурса идентичности — политика в сфере культуры, поддержание общего культурного пространства с помощью национальных культурных нарративов (в таком контексте пропагандируется, например, творчество А.С. Пушкина в России, В. Шекспира в Великобритании, М. Сервантеса в Испании) и персонифицированных культурных символов, на основе которых выстраивается региональная (территориальная) идентичность [Бедерсон 2016].

В современной политике политика идентичности в определенном объеме выполняет функции политической идеологии в ее «мягком» варианте, предусматривающем для граждан возможности альтернативного выбора политических предпочтений. При этом именно утверждение гражданской идентичности «позволяет процессуально снимать противоречия между политикой идентичности и политикой различий: не отрицая различий, она ищет пути их согласования на основе принципа приверженности равенству и свободе» [Миненков 2005].

Таким образом, в политике идентичности упор может делаться на поддержание различий или же, напротив, на укрепление надгрупповых солидарностей. В определенном смысле можно говорить о политике идентичности

одновременно и как о политической борьбе (за признание статуса групп, меньшинств, сообществ, т.е. politics), и как о конкретных политических практиках, политическом курсе (т.е. policies) [Шумарова 2012]. Но всегда в центре такой политики — целеориентированная деятельность по формированию идентичности (своего сообщества или того, кто является объектом соответствующей политики) и продвижению отражающих разные идентичности ценностей, интересов и приоритетов в политическую повестку дня.

Отличительная черта политики идентичности в современном демократическом обществе — ее многосубъектность. В поле такой политики на национальном уровне вовлечены представители политической элиты («политического класса») и «публичные интеллектуалы», формирующие дискурс национальной идентичности. Их ряды пополняет университетская профессура, занятая социогуманитарными исследованиями, представители экспертных структур, авторитетные журналисты и известные в личном качестве в национальном масштабе и в мире авторы научных и околонучных трудов, посвященных проблемам общественного развития. В число последних входят сегодня З. Бауман, У. Бек (1944–2015), П. Бурдьё (1930–2002), М. Кастельс, Ф. Фукуяма, Ю. Хабермас, С. Хантингтон (1927–2008), Э. Хобсбаум (1917–2012). Площадкой политики идентичности становятся сетевое информационное пространство и социальные сети.

Свой вклад в повестку дня политики идентичности вносят религиозные организации (как социально ориентированные, так и фундаменталистского толка), работающие на поле формирования мировоззрения и идентичности, и их светские «контрагенты» — группы гражданского общества, конструирующие альтернативные модели самоидентификации и политического поведения (не только прогрессистской ориентации, но и праворадикального толка). В информационном обществе политика идентичности выходит за национальные границы, формируя в медийном пространстве транснациональные идентичности и новые групповые солидарности. К такой политике подключаются и представители бизнес-сообщества, выступающие от лица «национальных чемпионов» (таких, как ИКЕА в Швеции, Лего в Дании или ФИАТ в Италии) на поле продвижения положительного образа страны и национальных брендов.

Политика идентичности используется политическими элитами в качестве инструмента нациестроительства. Важнейшая проблема развития трансформирующихся национально-государственных сообществ — перевод острой социальной конфликтности и антагонизма интересов в русло состязательности и создание соответствующих этой задаче институтов [Семененко, Лапкин, Пантин 2016]. В странах, решающих задачи консолидации политической нации, политика идентичности может стать средством реализации государственной стратегии развития и социальной мобилизации в рамках авторитарной модернизации (примером является Сингапур периода президентства «отца сингапурского чуда» Ли Куан Ю). Но, как показал советский опыт, на путях жесткого конструирования политической идентичности государство рано или поздно попадает в «ловушку неразвития». Закоснение политических институ-

тов ведет к кризису идентичности, вырастающему из насильственного навязывания индивиду жестких идентификационных моделей и безальтернативных идеологических установок. Конструктивный «противовес» таким рискам — вовлечение в реализацию политики идентичности конкурентных элитных и неэлитных групп интересов, формирование «проективных» идентичностей [см. Кастельс 2000] путем создания в обществе мотивации к развитию и обеспечения институциональных возможностей свободного личного выбора.

Утверждение концепта «политики идентичности», происходившее на протяжении последних трех десятилетий, в арсенале политического анализа ведет к синергии двух его толкований: группы интересов и меньшинства сегодня рассматриваются как одни из, но отнюдь не доминирующие субъекты такой политики. Ожесточенная «борьба за идентичность подняла волну критики политики идентичности в ее групповой ипостаси: в зарубежной литературе ей «вменяется» реификация (гипостазирование) групповых идентичностей (постструктуралистский взгляд), продвижение одной повестки дня за счет других — интересов и притязаний меньшинств за счет большинства (критика «справа»), «права на идентичность» в ущерб экономическим и социальным правам (критика «слева») [Gurbuz 2008: 468]. Несмотря на критику, понятие широко используется в научном дискурсе, в англоязычной литературе — в основном по-прежнему применительно к продвижению групповых интересов. Российские исследователи соотносят политику идентичности с деятельностью широкого круга акторов [см. об этом Семенов 2011d; 2016; Фадеева 2015], что, на наш взгляд, отражает ее сущностные характеристики.

Оценка возможностей и ограничений политики идентичности, проводимой от имени государства или конкретных групп, становится заметным направлением деятельности экспертного сообщества по выявлению адекватных потребностям социального развития возобновляемых ресурсов: неслучаен бурный рост интереса к разнообразным культурным практикам, к политике памяти, символической и языковой политике в социогуманитарных исследованиях. Идентичность, скрепляющая социальные солидарности, оценивается как ключевой, жизненно важный ресурс общественного развития.

Литература

Ачкасов В.А. 2012. *Политика идентичности мультиэтничных государств в контексте решения проблемы безопасности*. СПб.: Изд-во СПбГУ. 232 с.

Бедерсон В.Д. 2016. Политика идентичности регионов современной России: сравнительные характеристики персоналистских идентификаторов. — *Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения РАН*. Т. 16. Вып. 1. С. 33–91.

Борьба за идентичность и новые институты коммуникации. 2012. Под ред. П.В. Панова, К.А. Сулимова, Л.А. Фадеевой. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 263 с.

Евгеньева Т.В., Титов В.В. 2010. Формирование национально-государственной идентичности российской молодежи. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 122–134.

Здравомыслова Е. 2009. Политика идентичности правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». — *Общественные движения в России: точки роста, камни преткновения*. Под ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ. С. 120–136.

Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции. 2011. (Редколлегия сборника: И.С. Семененко (отв. ред.), Л.А. Фадеева (отв. ред.), В.В. Лапкин, П.В. Панов). М.: ИМЭМО РАН. 299 с.

Кастельс М. 2000. *Информационная эпоха: экономика, общество и культура*. М.: ГУ-ВШЭ. 608 с.

Малинова О.Ю. 2013. *Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России*. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 421 с.

Малинова О.Ю. 2016. Официальный исторический нарратив как элемент политики идентичности в России: от 1990-х к 2010-м годам. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 139–158.

Миненков Г.Я. 2005. Политика идентичности: взгляд современной социальной теории. — *Политическая наука*. № 6. С. 21–38.

Миненков Г.Я. 2009. Политика идентичности для постсоветского пространства: введение в проблематику. — *Перекрестки. Журнал исследований восточноевропейского пограничья*. № 1–2. С. 5–20.

Назукина М.В. 2009. *Региональная идентичность в современной России: типологический анализ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук*. Пермь, Пермский ГУ. 25 с.

Назукина М.В. 2014. Новые тенденции в политике идентичности на региональном уровне в России: акторы, специфика, тренды. — *Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук*. Т. 14. Вып. 3. С. 137–149.

Прохоренко И.А. 2016. Этнополитическая конфликтность и политика идентичности в странах Латинской Америки. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 29–40.

Роккан С., Урвин Д. 2003. Политика территориальной идентичности. Исследования по европейскому регионализму. — *Логос*. № 6 (40). С. 117–132.

Российская Арктика в поисках интегральной идентичности (отв. ред. О.Б. Подвицнев). М.: Новый хронограф. 208 с.

Русакова О.Ф., Максимов Д.А. 2007. Дискурс политического бренда. — *Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки. Выпуск 9»*. № 24 (96). С. 85–87.

Семененко И.С. 2011d. Политическая идентичность в контексте политики идентичности. — *Политическая экспертиза: ПОЛИТЭК*. Т. 7. № 2. С. 5–24.

Семененко И.С. 2016. Политика идентичности и идентичность в политике: этнонациональные ракурсы, европейский контекст. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 8–28.

Фадеева Л.А. 2015. Идентичность как категория политической науки: когнитивный потенциал и исследовательское поле. — *Структурные трансформации и развитие отечественных школ политологии: Научное издание (под ред. О.В. Гаман-Голутвиной)*. М.: Издательство «Аспект Пресс». С. 78–92.

Цумарова Е.Ю. 2012. Политика идентичности: politics или policy? — *Вестник Пермского университета. Серия «Политология»*. № 2. С. 5–16.

Цумарова Е.Ю. 2014. *Политика идентичности в регионах России: теоретический и практический аспекты (на примере Республики Карелия). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук*. Санкт-Петербург: СПбГУ. 22 с.

Alcoff L.M. and Mohanty S.P. 2006. Identity Politics Reconsidered. An Introduction. — *Identity Politics Reconsidered*. (L.M. Alcoff, M. Hames-Garcia, S.P. Mohanty, P.M.L. Moya eds.) London: Palgrave Macmillan. P. 1–9.

Anspach R. R. 1979. From stigma to identity politics: Political activism among the physically disabled and former mental patients. — *Social Science and Medicine. Medical Psychology and Medical Sociology*. Vol. 13(C). P. 765–773.

Beck U. 2006. *The Cosmopolitan Vision*. Cambridge (UK), Malden (Ma): Polity Press. 201 p.

Benhabib S. 2002. *The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era*. Princeton NJ: Princeton University Press. 216 p.

Bernstein M. 2005. Identity Politics. — *Annual Review of Sociology*. Vol. 31. P. 47–74.

- Calhoun C. (ed.). 1994. *Social Theory and the Politics of Identity*. Oxford, UK and Cambridge, USA: Blackwell. 350 p.
- Castells M. 1997. *The Power of Identity*. Oxford and Malden, MA: Blackwell Pub. 461 p.
- Gurbuz M.E. 2008. Identity Politics. — *Encyclopedia of Social Problems*. Vol. 1. (ed. by V.N. Parillo). LA, London, New Delhi, Singapore: Sage. P. 467–469.
- Hall S. 1991. Old and new identities, old and new ethnicities. — A.D. King (ed.). *Culture, Globalization and the World System*. London: Macmillan. P. 41–68.
- Heyes C. 2002. Identity politics. — *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2016 Edition, E. Zalta ed.) Эл. ресурс. Доступ: <http://plato.stanford.edu/entries/identity-politics/> (accessed: 18.03.2016).
- Gillis J. (ed.) 1994. *Commemorations. The Politics of National Identity*. Princeton: Princeton UP. 304 p.
- Kenny M. 2004. *The Politics of Identity: Liberal Political Theory and the Dilemmas of Difference*. Cambridge: Polity Press. 212 p.
- Melucci A. 1996. *Challenging Codes: Collective Action in the Information Age*. Cambridge, UK, Cambridge University Press. 441 p.
- Parekh B. 2008. *A New Politics of Identity: Political Principles for an Interdependent World*. New York: Palgrave MacMillan. 320 p.
- The Making of Political Identities* (ed. by E. Laclau). 1994. London–New York, Verso Books. 308 p.
- Touraine A. 1965. *Sociologie de l'action*. Paris: Éditions du Seuil. 506 p.

Символическая политика

О.Ю. Малинова

Ключевые слова: символическая политика, идеологическая борьба, политика идентичности, политика памяти, публичная сфера, легитимация власти.

Понятие *символической политики* выступает в качестве зонтичной категории, позволяющей исследовать под разными углами широкий спектр явлений и процессов, связанных с производством и обращением смыслов.

Отцом-основателем изучения символических аспектов политики считается американский политолог Мюррей Эдельман. В книгах «Символическое использование политики» (1964) и «Политика как символическое действие» (1971) он попытался объяснить существенный разрыв между теоретическими предположениями относительно функционирования политических институтов и тем, как они работают в действительности, выявленный к тому времени эмпирическими исследованиями его коллег, анализируя смыслы, которые привычно вкладываются в те или иные политические действия, роли и институты. Эдельман доказывал, что оптика доминирующей парадигмы рационального выбора искажает реальные политические связи, ибо на практике действия правительства не столько удовлетворяют или не удовлетворяют

запросы граждан, сколько влияют на их восприятие реальности, меняя их потребности и ожидания [Edelman 1971: 7–8]. По мысли Эдельмана, политическая наука должна исследовать не только «то, как люди получают от правительства то, чего они хотят» (отсылка к заглавию известной работы Г. Ласуэлла «Политика: Кто получает что, когда и как»), но и «механизмы, посредством которых политика влияет на то, чего они хотят, чего боятся, что считают возможным и даже кто они есть» [Edelman 1972 [1964]: 20].

Подход, предложенный Эдельманом, не породил научной школы. Тем не менее к настоящему времени существует солидное количество исследований, посвященных изучению символической составляющей политики, понятийный аппарат и методологический арсенал которых отличается заметным разнообразием. Прилагательное «символический» широко применяется для описания политических явлений: исследователи рассуждают о «символическом использовании политики» и «политике как символическом действии» [Edelman 1971; Edelman 1972 [1964]; Alexander, Mast 2006], «символической власти» и «символическом капитале» [Бурдые 2007], «символической политике» [Brysk 1995; Поцелуев 1999; Поцелуев 2012; Малинова 2010; Малинова 2012], «символической деятельности как основе авторитета» [Smith 2002], «символическом оспаривании» [Gamson, Stuart 1992], «символических конфликтах» [Harrison 1995], а также о «символизме политики» [Gill 2013] и «символах в политике» [Мисюров 2004; Gill 2011; Fornäs 2012]. В большинстве этих словосочетаний прилагательное «символический» используется именно в такой расширительной трактовке: оно связывается с социально разделяемыми смыслами, опосредующими восприятие и поведение участников политических (в разных значениях этого понятия) отношений. Лишь немногие авторы предпочитают говорить о «символах» в более строгом смысле; при этом «символ» порой понимается совсем узко (например, дело сводится к изучению государственной символики).

Концепт символической политики (в значении как *symbolic politics*, так и *symbolic policy*) используется в качестве инструмента эмпирического описания и анализа в конфликтологии, исследованиях публичной политики, политических коммуникаций, а также в работах, посвященных изучению коллективных действий. С ним давно работают и некоторые российские авторы [Поцелуев 1999; Мисюров 2004; Киселев 2006; Малинова 2012; обзор см: Ефремова 2015]. При этом предлагаются различные определения ключевого термина. Наиболее существенным теоретическим водоразделом в понимании содержания данной категории является различие между подходами, противопоставляющими символическую политику «реальной» — и подходами, которые рассматривают первую как специфический, но неотъемлемый аспект второй.

Противопоставление «символических» и «материальных» эффектов политики, как правило, имеет место в контексте обсуждения проблем, связанных с «медиатизацией» современного политического процесса, которая объективно способствует усилению автономии деятельности, связанной с его публич-

ной репрезентацией, и ведет к «отступлениям» от нормативной логики демократической легитимации власти. С учетом данного обстоятельства, символическая политика нередко рассматривается как своеобразный суррогат «реальной» политики. Именно в такой интерпретации это понятие было впервые введено в российский научный оборот С.П. Поцелуевым. Согласно его определению, символическая политика — это «особый род политической коммуникации, нацеленной не на рациональное осмысление, а на внушение устойчивых смыслов посредством инсценирования визуальных эффектов». Символическая политика предполагает «сознательное использование эстетически-символических ресурсов власти для ее легитимации и упрочения посредством создания символических «эрзацев» (суррогатов) политических действий и решений [Поцелуев 1999: 62]. Таким образом, данный подход сфокусирован на целенаправленной репрезентации деятельности политических акторов в публичном пространстве (и прежде всего — в СМИ), которая может не совпадать с непубличной (но от этого не менее реальной) стороной политики. В качестве «символического элемента» политики рассматривается то, что целенаправленно «конструируется» политическими элитами в расчете на манипуляцию сознанием масс. Поскольку явления такого рода действительно широко распространены, узкое понимание символической политики может быть полезным для их анализа. Однако в данном случае требуется уточнять его содержание по отношению к конкурирующим понятиям — таким, как «пропаганда», «манипуляция», «мистификация» и др.

Вместе с тем очевидно, что символическая функция политики не сводится к производству идеологических конструкций.

Во-первых, элиты, «конструирующие» смыслы, сами действуют в рамках социально разделяемых систем смыслов и, участвуя в их производстве и воспроизводстве, «подчиняются» их логике. Символическая составляющая политики не рефлексивируется ее акторами в полной мере, а эффекты того, что П. Бурдьё называл «символической властью» [Бурдьё 2007: 95], не всегда достигаются за счет прямой пропаганды. Символическая политика не ограничивается социально-инженерным «изобретением» смыслов. Она связана с социальным конструированием реальности, как его описывали П. Бергер и Т. Лукман [Бергер, Лукман 1995]. Стремящиеся манипулировать сознанием масс элиты не только «осуществляют» символическую политику, но и сами действуют, ориентируясь на символические сигналы, поступающие со стороны правительства и других политических акторов.

Во-вторых, в поле символической политики действуют специфические механизмы, изучение которых позволяет лучше понимать, почему одни способы интерпретации социальной реальности оказываются более влиятельными, чем другие, чем определяется успех и какие ресурсы работают более эффективно. Как справедливо заметил Бурдьё, «идеологии всегда детерминированы дважды»: не только выражаемыми ими интересами групп, но и «специфической логикой поля производства» [Бурдьё 2007: 93]. Задача исследователей символической политики — постижение этой логики.

В-третьих, более широкий взгляд на символическую политику не ограничивает круг ее участников представителями властвующей элиты — он ориентирует и на изучение деятельности акторов, использующих борьбу за смыслы для изменений снизу. Разумеется, государство занимает особое положение на поле символической политики, поскольку оно обладает возможностью навязывать поддерживаемые им способы интерпретации социальной реальности с помощью властного распределения ресурсов, правовой категоризации, придания символам особого статуса, возможности выступать от имени макрополитического сообщества на международной арене и т.п. Однако, несмотря на эти эксклюзивные ресурсы и возможности, доминирование поддерживаемых государством интерпретаций социальной реальности отнюдь не предопределено: даже если «нужная» нормативно-ценностная система навязывается насильственными методами, у индивидов остается возможность «лукавого приспособления» и «двоемыслия». В конечном счете, оспаривание существующего социального порядка — не менее важная часть символической политики, чем его легитимация.

Это дает основание рассматривать *символическую политику* более широко — как *публичную деятельность, связанную с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование в публичном пространстве*. Понятая таким образом символическая политика является не противоположностью, а скорее специфическим аспектом «реальной» политики.

В данном случае содержание понятия нуждается в уточнении по отношению к смежным понятиям «идеологическая борьба» и «политика идентичности». Понятие «символическая политика» шире понятия «идеологическая борьба»: во-первых, оно не связывает борьбу за смыслы исключительно с вербальными способами означивания, во-вторых, не предполагает той степени логической связности, которая традиционно приписывается идеологиям. Таким образом, идеологическая борьба может рассматриваться как специфическая форма символической политики. Понятия «символическая политика» и «политика идентичности» имеют широкую область пересечения, однако ни одно из них не может быть сведено к другому. Политика идентичности, понимаемая как целенаправленное воздействие и взаимодействие государства и групп интересов, направленное на формирование и поддержание конкретной идентичности, включает существенную символическую составляющую, однако не сводится к ней. В свою очередь, конструирование идентичностей является важной, но не единственной целью символической политики, которая может преследовать и иные цели — легитимацию власти, определение интересов, стимулирование солидарности, мобилизацию поддержки и др.

Символическая политика осуществляется в публичной сфере, т.е. в виртуальном пространстве, где в более или менее открытом режиме обсуждаются социально значимые проблемы, формируется общественное мнение, конструируются и переопределяются коллективные идентичности, иными словами — имеет место конкуренция разных способов интерпретации социальной

реальности. Публичная сфера может быть локализована в различных институтах и сочетать разные форматы общения: как «живые», так и опосредованные письменными текстами. Она конституируется множеством частично пересекающихся «публик», границы которых меняются во времени, пространстве, а также в зависимости от характера обсуждаемых тем. Институциональные параметры публичной сферы оказывают значимое влияние на символические стратегии и возможности акторов. Поэтому исследование символической политики сопряжено с изучением среды, в которой производятся, распространяются и конкурируют разные способы интерпретации социальной реальности, а также особенностей стратегий акторов, участвующих в данных процессах.

Концепт символической политики может служить теоретической рамкой для анализа широкого спектра политических явлений и процессов, однако в наибольшей степени он уместен для изучения легитимации и делегитимации власти, протестных социальных движений, политики памяти (то есть публичной деятельности, направленной на формирование и поддержание разделяемых представлений о прошлом) и др.

В качестве инструментов символической политики выступают не только вербально оформленные «идеи» (принципы, концепции, доктрины, программы и т.п.), но и невербальные способы означивания (образы, жесты, графические изображения и др.). По мере развития современных технических средств коммуникации, основанных на аудиовизуальных формах представления информации, их роль стремительно возрастает. Поэтому изучение современной символической политики невозможно без применения методов анализа визуальных форм, которые пока не получили широкого распространения в исследовательской практике политологов.

Символическая политика выражается не только в «словах», но и в «делах», поэтому для ее изучения требуется сочетать приемы анализа дискурсов, политических стратегий и технологий. Предлагаемый подход ориентирует не только на изучение совокупности действий коллективных акторов — государства, политических партий, церкви и т.п. (т.е. на анализ *symbolic policy*). Он также побуждает фокусировать внимание на процессе взаимодействия (конкуренции, поддержки, сопряжения и др.) между разными способами интерпретации социальной реальности, который в логике различения, имеющего место в английском языке, можно обозначить как *symbolic politics*. Наконец, данный подход нацелен на изучение специфических механизмов, обуславливающих наблюдаемые результаты такого взаимодействия — доминирование одних способов интерпретации социальной реальности и маргинализацию других, трансформацию дискурсов под влиянием конкуренции и т.п.

Исследование символической составляющей политики может опираться на эмпирические данные, требующие разных методов анализа. Весьма популярным является изучение политической риторики, основанное на всевозможных методах исследования текстов (контент-анализ, дискурс-анализ, интент-анализ и т.п.) и анализ репрезентаций политических объектов в СМИ (в том числе и

с применением визуальных методов). Некоторые работы нацелены на реконструкцию символических «импульсов» политических институтов; при этом используются различные теоретические парадигмы, от структурного функционализма и рационального выбора до социального конструктивизма и неoinституционализма (разумеется, здесь возможны различные комбинации). Наконец, важной составляющей политико-символического анализа является изучение социально-разделяемых представлений, связанное с интерпретацией данных опросов, глубинных интервью, фокус-групп, контента социальных сетей и т.п. Таким образом, исследования символической политики — поле, на котором необходимо сотрудничество специалистов по политической лингвистике, дискурс-анализу, визуальным методам, исследованиям политических институтов и коммуникаций, а также социологов, изучающих общественное мнение.

Литература

- Бергер П., Лукман Т. *Социальное конструирование реальности*. М.: Academia, Медиум, 1995. 323 с.
- Бурдые П. *Социология социального пространства*. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. 288 с.
- Ефремова В.Н. О некоторых теоретических особенностях исследования символической политики. — *Символическая политика*. Вып. 3: Политические функции мифов. М.: ИНИОН РАН. 2015. С. 50–65.
- Киселев К.В. *Символическая политика: власть vs. общество*. Екатеринбург: Дискурс-Пи, 2006.
- Поцелуев С.П. Символическая политика как инсценирование и эстетизация. — *Полис. Политические исследования*. 1999. № 5. С. 62–76.
- Поцелуев С.П. «Символическая политика»: К истории концепта. — *Символическая политика*. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. М.: ИНИОН РАН. 2012. С. 17–53.
- Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России. — *Полис. Политические исследования*. 2010. № 2. С. 90–105.
- Малинова О.Ю. Символическая политика: контуры проблемного поля. — *Символическая политика*. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. М.: ИНИОН РАН. 2012. С. 5–16.
- Малинова О.Ю. Темпоральность и другие свойства символического в политике. — *Символическая политика*. Вып. 2: Споры о прошлом как проектирование будущего. М.: ИНИОН РАН, 2014. С. 5–17.
- Малинова О.Ю. Миф как категория символической политики. — *Символическая политика*. Вып. 3: Политические функции мифов. М.: ИНИОН РАН. 2015. С. 5–24.
- Alexander J.C., Mast J.L. Introduction: Symbolic Action in Theory and Practice. — *The Cultural Pragmatics of Symbolic Action*. Cambridge, etc.: Cambridge University Press. 2006. P. 1–28.
- Brysk A. "Hearts and Minds": Bringing Symbolic Politics Back in. — *Polity*. 1995. Vol. 27. № 4. P. 559–585.
- Edelman M. *Politics as Symbolic Action. Mass Arousal and Quiescence*. Chicago: Markham Publishing Company. 1971. IX, 188 p.
- Edelman M. *The Symbolic Uses of Politics*. 5th ed. Urbana: University of Illinois Press. 1972 [1964]. 201 p.

- Fornäs J. *Signifying Europe*. Chicago: University of Chicago Press. 2012. 339 p.
- Gamson W.A., Stuart D. Media Discourse as a Symbolic Contest: the Bomb in Political Cartoons. — *Sociological forum*. 1992. Vol. 7. No. 1. P. 55–86.
- Gill G. *Symbols and Legitimacy in Soviet Politics*. Cambridge: Cambridge University Press. 2011. VI, 356 p.
- Gill G. *Symbolism and Regime Change in Russia*. Cambridge: Cambridge University Press. 2013. VIII, 246 p.
- Harrison S. Four Types of Symbolic Conflict. — *The Journal of Royal Anthropological Institute*. 1995. Vol. 1. No. 2. P. 255–272.
- Smith K.E. *Mythmaking in the New Russia: Politics and Memory during the Yeltsin Era*. Ithaca etc.: Cornell University Press. 2002. XI, 223 p.

Дискурсивное использование «Другого»

О.Ю. Малинова

Ключевые слова: Другой, Я, дискурс, различия, границы, конструирование идентичности, символическая политика.

Феномен *Другого* — внешней по отношению к Я группы, в диалогическом сопоставлении с которой осуществляется идентификация Я, — как правило рассматривается в контексте конструирования коллективных идентичностей, прежде всего — национальных / макрополитических и этнических. Это одно из классических понятий теоретической социологии и философии¹. Со времен Ж.-Ж. Руссо и Г.В.Ф. Гегеля считается общепринятым, что Я невозможно без Другого, поскольку таковой не только задает границы, необходимые для самоопределения Я, но и формирует пространство диалога, в котором происходят взаимосвязанные процессы идентификации и самоидентификации. Интерес к проблематике идентичности, наблюдающийся в последние десятилетия, способствовал более широкому использованию концепта Другого в различных социально-научных и гуманитарных дисциплинах: сегодня он распространен не только в философии и культуральных исследованиях (cultural studies), но и в психологии, антропологии, географии, социологии, политической науке и международных отношениях, а также в междисциплинарных областях изучения национализма и этничности, постколониальных и миграционных исследованиях.

¹ Анализ современных философско-культурологических подходов см. [Романова и др. 2013].

Несмотря на кажущуюся «самоочевидность» фигуры Другого, остается немало неразрешенных теоретических проблем, связанных с ее концептуализацией [подробнее см. Малинова 2015].

Во-первых, следует признать, что, претендуя на универсальность, данное понятие не отличается строгостью. Его семантика связана с инаковостью, наличием различий, которые воспринимаются как значимые, способные задавать границы. Очевидно, что инаковость может иметь разные социальные последствия, спектр которых варьируется от признания несходства Я и Другого до антагонизма и враждебности. Кроме того, поскольку категория Другого описывает конструирование границ, она связывается с исключением², которое однако может быть как полным, так и частичным. Вместе с тем «друговость» достаточно часто — особенно в политическом контексте — ассоциируется именно с антагонизмом и крайними формами исключения. Однако в социальной практике использование различий для конструирования границ не всегда сопряжено с «эффективным отрицанием» — напротив, в современном мире имеет место умножение гибридных идентичностей, основанных на частичном включении / исключении, — и вопрос о механизмах политической мобилизации таких идентичностей — эмпирический, а не теоретический. Не случайно многие исследователи, описывая это отношение, отказываются «предполагать априори, что различия непременно ведут к противопоставлению на уровне поведения», и предпочитают говорить о «разных способах отношения к различиям на эпистемологическом и поведенческом уровнях, которые требуется устанавливать эмпирически» [Bukh 2009: 320; ср. Petersoo 2007: 119; Tekin, 2010: 13–14; McDonagh 2014: 629]. Кроме того, многие разделяют представление, согласно которому противопоставление Другому может быть не только «негативным», но и «позитивным» [Rumelili, 2004; Berenskoetter, 2007]. Таким образом, хотя противопоставление Я и Другого является непременным условием конструирования идентичности, оно не обязательно должно принимать форму антагонизма. На практике имеет место широкий спектр вариаций, которые нуждаются в эмпирическом исследовании.

Во-вторых, несмотря на то, что на роль Другого для территориально-политических сообществ различного уровня почти автоматически «назначаются» их «аналоги», вопрос о том, в какой мере функция Другого имманентна именно территориальным сообществам, является предметом споров. Некоторые авторы высказывают сомнения в том, что конструирование политических идентичностей в глобализирующемся мире непременно требует наличия внешних Других, ассоциируемых с территориально-политическими единицами [Abizadeh 2005]. Вместе с тем случай Европейского союза дает основания для дискуссии относительно универсальности пространственного принципа воображения «друговости». В 1996 году Оле Вевер поставил вопрос о возможности его темпоральной

² Именно это качество является определяющим в некоторых дефинициях. См., напр., у Ц. Тодорова: Другой — это «специфическая социальная группа, к которой мы не принадлежим» [Todorov 1992: 3].

альтернативы — воображения Нас по контрасту с Нашим собственным прошлым [Waever 1996]. У этой идеи нашлось немало противников [см. напр. Diez 2004; Prozorov 2011; Johnston, Coleman 2012 и др.]. Однако это не означает, что временной принцип противопоставления не имеет значения для конструирования идентичностей. Дискуссия, инициированная Вевером, привлекла внимание к диалектике геополитики и политики памяти как способов воображения Другого³, которая нуждается в дальнейшем исследовании.

В-третьих, несмотря на всеобщее убеждение в том, что «идентичности формируются через противопоставление идентичностям Значимых Других» [Smith 1992: 75], в теоретической литературе нет единства в понимании того, в каких случаях Другой может считаться *значимым* и что делает его таковым. Географы Кори Джонстон и Аманда Коулман предлагают использовать данный термин для «идентичности, которая осмысливается в качестве наиболее противоположной [Я. — О.М.], наиболее актуальной (*pressing*) или своевременной (*timely*) и выдвигается на первый план в проблематике идентичности» [Johnson, Coleman 2012: 865]. Это определение не связывает значимость с конкретными характеристиками рассматриваемого отношения — лишь с тем, насколько существенно (со)отнесение с Другим в контексте обсуждения проблем, связанных с идентичностью Я. Иной подход предложен исследователем национализма Анной Триандафиллидоу. Она закрепляет роль Значимого Другого за «другими нациями и/или государствами, от которых данное сообщество пыталось освободиться и / или стремится себя отличить» [Triandafyllidou 1998: 595]. Увязывая значимость Другого с отношениями, возникающими между конкурирующими группами в контексте нациестроительства, Триандафиллидоу приходит к выводу, что «в каждый отдельно взятый момент времени у нации есть лишь один значимый другой, влияющий на формирование или трансформацию ее идентичности» [ibid.: 600]. Однако большинство исследователей не разделяют идею эксклюзивности Другого — напротив, многие авторы полагают, что «идентичности конституируются через отношения со множественными Другими, которые по-разному воздействуют на идентичность Я, а не относительно единственного архетипического Другого, представляющего анти-Я» [Morozov, Rumelili, 2012: 32; see: Petersoo 2007: 119; Bukh 2009: 320].

Большинство современных исследователей феномена «Другого», разделяя конструктивистскую парадигму, склонны рассматривать его как динамическое отношение (а не статическую характеристику). Не случайно в английском языке появился термин *othering*, описывающий конструирование / артикуляцию / использование «Другого» как процесс, в котором «Я» выступает в роли агента. Одной из первых работ, предложивших такую постановку вопроса, было исследование конструирования границ между этническими группами норвежского антрополога Фредерика Барта и его коллег [Ethnic groups... 1969]. Оно

³ Интересные наблюдения на этот счет можно обнаружить в книге Хопфа о социальных структурах советской и российской идентичности [Hopf 2002].

не только стало серьезным аргументом в пользу конструктивистского подхода к исследованию идентичности, но и заложило традицию изучения культурных границ, которая существенно расширила наши представления о роли «Других» для формирования человеческих коллективов.

Полезная попытка классификации практик конструирования Другого была предпринята авторами книги «Грамматики идентичности / друговости» [2004]. По мысли ее научных редакторов, антропологов Герда Бауманна и Андре Гингрича, определение идентичности / инаковости в рутинной практике индивидов основывается на социально разделяемых классифицирующих схемах или структурах — Бауманн и Гингрич называют их «грамматиками». Опираясь на труды классиков культурной антропологии, Бауманн и Гингрич выделили три грамматики различения Я и Другого (*selfing and othering*), которые их коллеги в дальнейшем подвергли проверке на разном этнографическом материале. Грамматика ориентализма (описанная в одноименной книге Эдварда Саида) диктует логику иерархически устроенной бинарной оппозиции, которая представляет «Я» и «Другого» в зеркальном отражении — прямом или перевернутом («что хорошо в нас, отсутствует у них» или «что мы утратили, они (еще) сохранили»). Грамматика сегментации работает на основе контекстуально зависимых шкал; она предполагает логику раскола или вражды на нижнем уровне сегментации (например, вражду между соседними племенами или фанатами соперничающих футбольных команд), преодолеваемую логикой сплавления или нейтрализации конфликта на верхнем уровне сегментации (например, консолидацию для сопротивления колонизаторам или объединение футбольных фанатов вокруг победителей на следующем уровне чемпионата). Идентичность / друговость в этой грамматике определяется контекстом, который ранжируется по уровням классификации. Логика этой грамматики наиболее последовательно проявляется в условиях отсутствия институализированной территориальной власти (в качестве идеально-типического случая авторы рассматривали описание племени нуэров Э.Э. Эвансом-Причардом), но ее наиболее близким аналогом можно считать федеральную политическую систему, где противники и союзники могут меняться местами в зависимости от уровня выборов. *Грамматика охватывания* (*encompassment*) сочетает иерархическое признание различий на нижнем уровне с декларативной кооптацией «нижестоящей» категории в «вышестоящую» (получается, что различие — всего лишь фикция, обусловленная ракурсом обзора: то, что «снизу» кажется «Другим», «сверху» охватывается общей идентичностью, назначаемой теми, кто осуществляет операцию «охватывания»). Материалом для этой модели послужила индийская кастовая система, как ее описал Луи Дюмон в «*Nomo hierarchicus*»; но ее аналоги можно обнаружить и в современных практиках отнесения саморазличающихся групп к общим категориям «черных», «кавказцев», «мигрантов» и т.п.

Рассуждения о Значимых Других играют заметную роль в коммуникации по поводу оправдания и критики текущего политического курса. По-видимому, это неслучайно. Макрополитические сообщества, «стоящие за» другими госу-

дарствами, значимы не только в качестве потенциальных противников / врагов или партнеров / друзей на международной арене, но и носителей социального или политического опыта, обусловившего их успехи и неудачи и способного служить для Нас ориентиром.

Будучи важным элементом механизма конструирования макрополитической идентичности, разделяемые представления о внешних Других в то же время являются одним из инструментов символической политики как публичной деятельности, связанной с производством и продвижением различных способов видения социальной реальности. В частности, они систематически используются для легитимации и делегитимации властных решений. При этом акторы, апеллирующие к образам Другого, опираются на представления, стереотипы, мифы, символы и проч. когнитивные структуры, существующие в массовом сознании. Оперируя этим репертуаром, они, с одной стороны, участвуют в его пополнении и трансформации, а с другой — ограничены его наличной конфигурацией. Последняя как раз и является существенным элементом той суммы представлений, которая составляет ядро Нашей «идентичности». Таким образом, изучение способов репрезентации Значимых Других в контексте оправдания и оспаривания политического курса не только пополняет наши знания о конструировании коллективных идентичностей, но и позволяет выявить механизмы функционирования последних в политическом контексте [подробнее см. Малинова 2016].

Литература

- Крестинина Е.С. 2011. Образ «другого» в структуре современной идентичности российского общества. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 117–124.
- Малинова О.Ю. 2015. Концепт «другого» в исследованиях идентичности: Анализ современных дискуссий. — *Политическая наука*. № 4. С. 154–169.
- Малинова О.Ю. 2016. Риторика политического лидера как индикатор значимости Другого. США и КНР в выступлениях президентов РФ (2000–2015). — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 21–37.
- Нойманн И. 2004. *Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей*. М.: Новое издательство. 336 с.
- Романова А.П., Хлышева Е.В., Якушенков С.Н., Топчиев М.С. 2013. *Чужой и культурная безопасность*. М.: РОССПЭН. 216 с.
- Abizadeh A. 2005. Does collective identity presuppose an other? On the alleged incoherence of global solidarity. — *American political science review*. Vol. 99. No. 1. P. 45–60.
- Berenskoetter F. 2007. Friends, there are no friends? An intimate reframing of the international. — *Millennium: Journal of international studies*. Vol. 35. No. 3. P. 647–676.
- Bukh A. 2009. Identity, foreign policy and the “other”: Japan’s “Russia”. — *European Journal of international relations*. Vol. 15. No. 2. P. 319–345.
- Campbell D. 1992. *Writing security. United States foreign policy and the politics of identity*. Manchester: Manchester univ. press. IX. 269 p.
- Ethnic groups and boundaries. The social organization of cultural differences* (ed. by F. Barth). 1969. London: Allen&Unwin. 153 p.

- Grammars of identity/alterity: A structural approach* (ed. by G. Baumann, A. Gingrich). 2004. New York: Berghahn books. 219 p.
- Hopf T. 2002. *Social construction of international politics: Identities and foreign policies, Moscow, 1955 and 1999*. Ithaca: Cornell University Press. 299 p.
- Johnson C., Coleman A. 2012. The internal other: exploring the dialectical relationship between regional exclusion and the construction of national identity. — *Annals of the association of American geographers*. Vol. 102. No. 4. P. 863–880.
- Kuus M. 2004. Europe's eastern expansion and the reinscription of otherness in East-Central Europe. — *Progress in Human Geography*. Vol. 28. No. 4. P. 472–489.
- McDonagh K. 2015. "Talking the talk or walking the walk": Understanding the EU's security identity. — *Journal of common market studies*. Vol. 53. No. 3. P. 627–641.
- Morozov V., Rumelili B. 2012. The external constitution of European identity: Russia and Turkey as Europe-makers. — *Cooperation and conflict*. Vol. 47. No. 1. P. 28–48.
- Neumann I.B. 1999. *Uses of the other. "The East" in European identity formation*. Manchester: Manchester University Press. 281 p.
- Petersoo P. 2007. Reconsidering otherness: constructing Estonian identity. — *Nations and nationalism*. Vol. 13. No. 1. P. 117–133.
- Prozorov S. 2011. The other as past and present: beyond the logic of «temporal othering» in IR theory. — *Review of international studies*. Vol. 37. No. 3. P. 1273–1293.
- Rumelili B. 2004. Constructing identity and relating to difference: Understanding the EU's mode of differentiation. — *Review of international studies*. Vol. 30. No. 1. P. 27–47.
- Said E.W. *Orientalism*. New York: Vintage books. 1979. 394 p.
- Smith A. 1992. National identity and the idea of European unity. — *International affairs*. Vol. 68. No. 1. P. 56–76.
- Tekin B.C. 2010. *Representations and othering in discourse: the construction of Turkey in the EU context*. Amsterdam: John Benjamin's Publ. Company. 270 p.
- Todorov T. 1992. *The conquest of America. The question of the Other*. New York: Harper Perennial. 274 p.
- Triandafyllidou A. 1998. National identity and the "other". — *Ethnic and racial studies*. 1998. Vol. 21. No. 4. P. 593–612.
- Waever O. 1996. European security identities. — *Journal of common market studies*. Vol. 34. No. 1. P. 103–132.

Политика памяти и исторический нарратив

И.В. Самаркина

Ключевые слова: исторический нарратив, инструменты политики памяти, модели политики памяти, акторы политики памяти, национальная идентичность, символическая политика, политика идентичности.

Политика памяти — направление государственной и негосударственной политики, которое выстраивается на интерпретации и использовании элементов исторической памяти, присущей данной нации, этносу или социальной группе,

и имеет целью формировать и поддерживать ориентиры коллективной идентичности на основе общих представлений членов сообщества о своем прошлом. Политика исторической памяти в государстве формирует основания национально-государственной идентичности и является инструментом консолидации общества на всех его поколенческих и социальных этажах. Политику памяти также определяют как совокупность публичных стратегий в отношении прошлого, включая концептуализацию прошлого, а также практики коммеморации и преподавания истории [Миллер 2014]. Как любая политика, политика памяти формулируется и реализуется политическими субъектами, направлена на определенный объект, имеет институциональную инфраструктуру и использует определенные технологии. Политика памяти является частью политики идентичности, взаимодействует и пересекается с символической и исторической политикой [Миллер 2016]. Механизмы формирования представлений о прошлом, современных форм культурной памяти стали предметом острых политических дискуссий [см. Ассман 2014; 2016]. Исследования политики памяти направлены в том числе на решение актуальных научных задач в познании субъективного пространства политики.

Объектом политики памяти выступает концепция прошлого, исторический нарратив, соединяющий ключевые события прошлого и связывающий их с настоящим [Rusen 2007; Bell 2003]. Ключевым моментом в политике памяти выступает так называемый «миф основания», то есть исторические события, которые знаменуют начало становления нации, государства или моменты проявления ее наиболее ярких, выдающихся качеств. Основной вопрос, на который отвечает политика памяти: Кто мы? и Откуда мы пришли? [Малинова 2015a]. В этой связи — главная функция, которую выполняет политика памяти — формирование исторической компоненты политической картины мира как основания национально-государственной идентичности. *Исторический нарратив*, который используется субъектами политики памяти для достижения этих целей, имеет когнитивную и эмоциональную составляющие, он не только призван ответить на вопрос «кто мы?», но и формировать чувство гордости, желание побеждать и преодолевать трудности.

Политика памяти реализуется во взаимодействии субъектов, активность и целенаправленность действий которых зависят от политической и социально-экономической ситуации в стране: государством, политическими партиями, институтами гражданского общества, конфессиями, представителями политической, интеллектуальной, творческой элиты (профессиональными политиками, интеллектуалами и их сообществами), средствами массовой информации.

Среди субъектов политики памяти особую роль играет государство. Оно обладает особыми ресурсами, которые позволяют влиять на содержание исторического образования в школе (путем формирования стандартов, программ и учебников отечественной истории), определять или изменять календарь государственных праздников и памятных дат, менять названия городов, улиц, устанавливать памятники, обустраивать мемориальные места и проч.

Политика памяти реализуется в деятельности профессиональных политиков. Ключевым актором в этом поле является глава государства, задающий направление и тематику общественного, а иногда и научного дискурса относительно истории. Активность политиков как субъектов политики памяти наиболее востребована обществом в периоды, когда происходят масштабные социально-экономические и политические трансформации, затрагивающие вопросы выбора пути развития (и соответственно, отношение к тому, что уже пройдено) или, например, в эпоху изменения границ государства, его геополитического статуса и т.п.

Не менее важную роль в политике памяти играют профессиональные сообщества, прежде всего, профессиональное сообщество историков. На основе исследований они формируют и / или корректируют сложившийся нарратив. Список профессиональных сообществ, имеющих возможность влиять на политику памяти, можно продолжить — это журналисты, писатели, кинематографисты, художники, работники музеев, педагоги, экспертные сообщества. Определяющую роль в реализации политики памяти играет система образования, работающая с двумя важными инструментами — учебниками и их интерпретаторами (учителями истории и других гуманитарных предметов).

В публичном пространстве на политику памяти могут оказывать заметное влияние институты гражданского общества. Публичный характер политики памяти, участие многих акторов в ее выработке и реализации, позволяет сформировать исторический нарратив как богатую палитру взглядов и оценок прошлого, принимаемую всеми членами сообщества. Действительно, «существует своего рода матрица истории каждой страны: это историческая доминанта, запечатленная в коллективной памяти общества. И очень важно знать суть этой матрицы» [Ферро 1992: 10].

Содержание политики памяти определяют стратегические приоритеты внутренней и внешней политики, актуальные задачи развития общества. Выделяют *две основные содержательные модели политики памяти: модель проработки трудного прошлого и модель конструирования нового исторического нарратива*. В каждой модели субъекты политики памяти решают различные содержательные и инструментальные задачи, поэтому, по мнению исследователей, на практике эти модели эффективнее реализовывать отдельно, не накладывая одну на другую [Малинова 2015a]. Подобной логике следовала Испания, когда в стране был объявлен мораторий на обсуждение и оценки событий франкистского периода. В современной российской политике памяти происходит наложение двух моделей ее реализации во времени: модели конструирования нового исторического нарратива и не отработанной до конца модели «проработки трудного прошлого».

Опыт исследования реализации модели проработки травматического прошлого в других странах [см., напр., *The Politics of Memory* 2003] показывает, что работа поколения современников травмы с таким прошлым редко приносит ожидаемые результаты. Как правило, вопрос о проработке трудного прошлого решается поколением или детей, или внуков, для которых это прошлое

перестало быть столь болезненным. Важный фактор в преодолении травматического прошлого — создание коалиции политических и общественных сил, которые работают в одном направлении [Малинова 2015a]. Так происходило в послевоенные десятилетия в Германии: немецкое общество оказалось лицом к лицу с фашистским прошлым и изживало его при жизни активно вовлеченного в исторический опыт фашизма поколения. Более проблематичным стало достижение консенсуса в оценках разных страниц исторического прошлого во Франции, особенно колониального периода ее истории, алжирской войны. Для многих сформировавшихся на волне иммиграции обществ — от Австралии и Новой Зеландии до Канады и США — «примирение» с автохтонными народами происходило в ходе радикального пересмотра исторических нарративов, начавшегося в 1970-е годы на волне мультикультурализма и сменившего патерналистскую модель в отношениях с «первыми» народами. Такие новые нарративы занимают все большее место в национальных контекстах символической политики, в сфере образования и деятельности институтов культуры.

Определяющую роль в содержании политики памяти играет ключевое политическое событие и его интерпретации. Например, в современной российской политике памяти таким событием выступает Великая Отечественная война. В публичном дискурсе конструируется исторический нарратив, в центре которого находится ключевое историческое событие; содержание нарратива транслируется разным социальным группам (школьникам, молодежи, старшему поколению и т.п.) посредством различных инструментов. Основные контуры нарратива исторической памяти в постсоветской России задаются в речах первых лиц, Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию, памятных или мемориальных речах, других официальных выступлениях [Малинова 2015b и др.]. Заданный нарратив поддерживается в практиках, связанных с установлением новых праздничных, памятных дат (например, Дня единства и согласия, заменившего Годовщину Октябрьской социалистической революции), коммеморации и даже ритуализации событий прошлого, которые играют особую роль в структуре коллективной памяти, закреплении новых праздничных дат и ритуалов в законодательстве.

Важным инструментом политики памяти являются практики формирования публичных пространств в соответствии с историческими нарративами: установка памятников, памятных знаков, создание мемориалов. Эти практики дополняются механизмами топографирования пространства, например, массовыми переименованиями городов, улиц, станций метро и пр., которые мы наблюдали в России в 1990-е годы; аналогичные процессы происходили во всех новых государствах на постсоветском пространстве и в странах Центрально-Восточной Европы.

В реализации политики памяти используются также различные инструменты, относящиеся к сфере культуры: выставки, музеи, художественные и документальные фильмы, публикации в средствах массовой информации, — все, что побуждает людей помнить, а подрастающее поколение — узнавать

об истории страны. Отдельно стоит упомянуть интернет-ресурсы: официальные ресурсы органов власти и сайты и порталы, создаваемые по инициативе гражданских организаций (из российской практики, например, Полит.ру, портал «Уроки истории», интернет-журнал «Гефтер», сайт «Историческая память: XX век»).

В зависимости от хронологической и географической локализации объекта политики памяти последняя реализуется на нескольких уровнях: международном (межгосударственном); национально-государственном, региональном, локальном. На межгосударственном уровне задачей политики памяти является трансляция исторического нарратива, подкрепляющего внешнеполитический образ страны, а также реакция на политику других стран, что иногда выливается в так называемые «войны памяти». На национально-государственном уровне политика памяти решает задачу формирования единого исторического нарратива для макрополитического сообщества. Региональный уровень политики памяти призван согласовывать национальные / региональные исторические нарративы с национально-государственным, а локальный уровень фактически формирует представления об истории малой родины. Рассогласование исторических представлений членов сообщества создает потенциальную угрозу стабильности общества [Конфликтогенный потенциал... 2015]; «бои за историю» становятся неотъемлемой частью процессов национального строительства [Шнирельман и др. 2010].

Ключевой задачей политики памяти современной России является создание целостного нарратива истории нашей страны. Советский и постсоветский исторический нарратив (каждый в своей части) существенно препарировал коллективную память о прошлом. Задача формирования российской гражданской идентичности не может быть решена до тех пор, пока в историческом нарративе не будет собрана воедино вся тысячелетняя история России и не произойдет согласование исторического нарратива на общенациональном, региональном и локальном уровнях.

Литература

Ассман А. 2014. *Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая память*. М.: Новое литературное обозрение. 328 с.

Ассман А. 2016. *Новое недовольство мемориальной культурой*. М.: Новое литературное обозрение. 232 с.

Конфликтогенный потенциал национальных историй (сборник научных статей). 2015. Материалы Международного научно-методологического семинара, г. Казань, 26 марта 2015. Отв. ред. и сост. А.В. Овчинников. Казань. 229 с.

Малинова О.Ю. 2015а. «Систематическая работа с прошлым»: государственный посыл или интеллектуальная задача. — *Гефтер*. 2.12.2015. Режим доступа: <http://gefter.ru/archive/16810> (дата обращения 1.02.2016).

Малинова О.Ю. 2015б. *Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности*. М.: Политическая энциклопедия. 207 с.

Миллер А. 2016. Политика памяти в посткоммунистической Европе и ее воздействие на европейскую культуру памяти. — *Гефтер*. 29.04.2016 Режим доступа: <http://gefter.ru/archive/18391> (дата обращения 14.04.2016).

Миллер А. 2014. Роль экспертных сообществ в политике памяти в России. — *Гефтер*. 20.01.2014. Режим доступа: <http://gefter.ru/archive/11115> (дата обращения 14.04.2016).

Ферро М. 1992. *Как преподают историю детям в разных странах мира*. М.: Высшая школа. 351 с.
Шнирельман В. А., Абылхожин Ж. Б., Абашин С. Н., Золян М., Закарян Т., Чиковани Н., Какителашвили К. *Многоликая Клио: бои за историю на постсоветском пространстве*. Брауншвейг: Ин-т им. Георга Эджерта, 2010. 142 с.

Rusen J. 2007. How to make sense of the past — salient issues of Metahistory. — *The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa*. Vol. 3. № 1. P. 169–221.

Bell D. 2003. Mythscapes: memory, mythology, and national identity. — *British Journal of Sociology*. 2003. Vol. 54. No. 1. P. 63–81.

The Politics of Memory: Transitional Justice in Democratizing Societies. 2003. Ed. by Alexandra Barahona De Brito, Carmen Gonzalez Enriquez, and Paloma Aguilar. Oxford: Oxford University Press, 2001. 440 p.

Политика исторической памяти: вызовы для России¹

В.И. Пантин

Ключевые слова: историческая память, политика идентичности, национальная идентичность, этнический национализм, Россия, символическая политика, войны памяти.

В современном мире политика исторической памяти тесно связана с формированием и трансформациями национально-государственной и групповых идентичностей. Для политики исторической памяти важное значение имеет интерпретация исторических событий, их оценка и разработка стратегии формирования представлений об исторической роли данного народа, нации или социальной группы. В то же время политика памяти не связана только с формулированием оценок исторического прошлого и конструированием образов

¹ Статья подготовлена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-00021 «Регулирование межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов в современном мире: потенциал гражданской идентичности (сравнительный политический анализ)») в Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН).

и мифов, она опирается на реальные исторические события и на память, передаваемую из поколения в поколение. В прошлом народа «раскрывается смысл его исторического существования, воплощается система ценностей», значимая для национального сообщества [Репина 2016: 12] и во многом определяющая приоритеты и перспективы его развития. Как справедливо полагают российские исследователи, споры о прошлом нельзя не рассматривать как «проектирование будущего» [Символическая политика 2014].

Как явление общественного сознания историческая память может быть позитивной или негативной, развиваться естественным путем или/и направляться и регулироваться правящими элитами, политическими партиями, различными группами интересов, культурными организациями. Соответственно, политика исторической памяти включает практики формирования и поддержания памяти народа, нации или этноса, целенаправленное воздействие на нее со стороны различных политических институтов и акторов. Такая политика осуществляется средствами культурной и информационной политики, путем создания институтов национальной памяти и сходных по функциям структур. Особое внимание уделяется созданию специальных музеев (таких, например, как Музей истории ГУЛАГа в Москве и другие музеи политических репрессий в России, или Музей варшавского восстания, Дом террора в Будапеште, Музей оккупации в Риге, или лондонский Музей иммиграции и разнообразия, первый в своем роде в Европе), которые могут отражать позицию власти по оценке прошлого или точку зрения негосударственных структур, не совпадающую с официальной. Политика памяти проводится путем целенаправленной пропаганды в средствах массовой информации тех или иных взглядов на историю своей страны и соседних стран, через преподавание истории в системе среднего и высшего образования, путем организации праздников и других мероприятий, посвященных историческим событиям, юбилейным датам и т.п. В этом последнем контексте *политика памяти* тесно связана с *символической политикой* [Символическая политика 2012; Малинова 2015]. Представление образов прошлого в публичном пространстве направлено на формирование скреп национальной идентичности.

Сложность понимания и оценки *политики исторической памяти* состоит в том, что она нередко переплетается с *исторической политикой* — совокупностью практик, приемов и методов, с помощью которых политические элиты стремятся утвердить в общественном сознании определенные трактовки исторических событий и процессов, сделать их доминирующими и использовать в своих целях. Теоретические подходы к осмыслению исторической политики разработал немецкий историк Э. Нольте [Nolte 1963; Нольте 2001]. Как правило, такая политика ставит своей целью не столько объективное изучение и представление исторических событий в публичном пространстве, сколько их интерпретацию в интересах тех или иных правящих групп. Политика исторической памяти, подобно исторической политике, зачастую базируется на более или менее односторонних представлениях, мифах и концепциях, трактующих историю данной нации, народа или социальной группы в определен-

ном, выгодном для решения текущих и долгосрочных политических задач свете [Историческая... 2012]. В то же время, в отличие от *исторической политики*, которая носит преимущественно инструментальный характер, *политика исторической памяти* апеллирует к глубинным структурам и кластерам исторической памяти народа, нации или этнической группы, к образам, которые признаются «своими» и передаются из поколения в поколение. В свою очередь, субъективные элементы исторической памяти играют важную роль в политических процессах и становятся существенным фактором политического развития того или иного национального сообщества и государства [Дюков 2010].

Растущее внимание к разработке и реализации политики исторической памяти в современном мире связано с ответом национальных, этнических и других сообществ на вызовы глобализации и регионализации, с процессами нациестроительства и переформатирования национального государства как политической общности и трансформации национальной идентичности. При этом в ряду ее целей и задач важнейшими являются формирование национальной или этнической идентичности, соответствующей новой политической повестке дня. Вместе с тем формирование новой идентичности может принимать конфронтационные по отношению к другим нациям и государствам или этническим группам формы, приобретать черты негативной идентичности в противостоянии Другим. Так, в ряде постсоциалистических государств Центральной и Восточной Европы, особенно в Польше и Украине, проводимая политическими элитами в угоду политической конъюнктуре политика исторической памяти в значительной мере призвана заново переписать историю своего народа и историю других народов. В Литве, Латвии, Эстонии, Грузии правящие круги также проводят активную политику исторической памяти, направленную на становление и укрепление основ национальной идентичности, но часто на путях противопоставления своего исторического опыта «Другому» или «Врагу», в роли которого, как правило, выступает Россия. При этом альтернативные позиции и взгляды, несовместимые с таким подходом, целенаправленно замалчиваются и маргинализируются в публичном дискурсе. Конфронтационный подход в отношении значимого Другого, на котором выстраиваются основания новой государственности, ведет к обострению межгосударственных отношений, к «войнам памяти» [Шнирельман 2003; Бордюгов 2011].

В этом плане весьма активно действуют Институт национальной памяти в Варшаве и Украинский институт национальной памяти в Киеве, многие разработки и исследования которых направлены на фактическое «переписывание» истории своих стран и на формирование новых политически мотивированных исторических мифов. Институт национальной памяти в Варшаве оказывает заметное влияние на проводимую польскими властями историческую политику и на российско-польские отношения. Так, по настоянию или при участии Института на территории Польши были уничтожены или перенесены в безлюдные места многие памятники советским солдатам, погибшим

во время Второй мировой войны при освобождении Польши². На территории Украины после переворота в феврале 2014 года лозунги «декоммунизации» и ликвидации пережитков советского прошлого используются для проведения политики памяти, направленной на вытеснение российского культурного влияния и на формирование «образа врага» в лице России³.

Перечисленные выше процессы и явления создают серьезные политические и культурные вызовы для России и требуют особого внимания к формированию собственной политики исторической памяти, которая способствовала бы консолидации российского общества, укреплению государства, развитию российской государственно-гражданской идентичности и создавала бы как внутри страны, так и за рубежом такой образ России, который более соответствовал бы потребностям ее развития. Однако выработка и реализация такой политики, основанной на уважительном отношении и к собственной истории, и к другим народам, в условиях развязанной против России информационной и пропагандистской войны сопряжена с немалыми трудностями.

С отсутствием внятной социальной стратегии развития и культурной политики связан тот факт, что после распада Советского Союза политика исторической памяти в России в 1990-е и в начале 2000-х годов либо вообще не проводилась, либо принимала противоречивые и фрагментарные формы. В частности, в этот период не удалось создать концепцию преемственности российской истории, перекинуть мост от постсоветского к советскому и от советского к дореволюционному периоду, достичь согласия в обществе в оценках переломных событий XX века. Не удовлетворенной осталась и потребность в продуманной медийной структуре для проведения политики исторической памяти, которая учитывала бы возросшую роль Интернета и визуальных форм передачи информации [Миллер 2009]. В ряду обозначившихся в 2010-е годы ключевых вызовов можно выделить необходимость противодействия попыткам пересмотра исторического опыта нашей страны, в первую очередь — итогов Второй мировой войны, общий упадок исторического образования, потребность в профессионализации исторического знания и политики памяти.

Историческая память современного российского общества — не только важнейшая исследовательская проблема, но и приоритет практической политики. Вызовы для России, связанные с проведением политики исторической памяти, по-прежнему остаются актуальными, а некоторые из этих вызовов усиливаются. В частности, в сознании многих российских граждан сохраняется разрыв между дореволюционной, советской и постсоветской эпохами

² См.: *Институт национальной памяти (Instytut Pamięci Narodowej)*. Официальный сайт Комиссии по расследованию преступлений против польского народа (польск.). URL: <http://www.ipn.gov.pl/kszpnr> (доступ: 15.02.2017); *Радио Польша*. 2015. 21.09. Институт национальной памяти призвал сносить советские памятники. URL: <http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/221909> (доступ: 15.02.2017).

³ См.: Украинский институт национальной памяти (Український інститут національної пам'яті). Официальный сайт. URL: <http://www.memory.gov.ua> (доступ: 15.02.2017).

в истории России, противопоставление одной эпохи другой, что препятствует консолидации российского общества и формированию общегражданской идентичности. Наиболее сложным и противоречивым, с точки зрения политики исторической памяти, остается отношение к советскому периоду российской истории. Согласно данным социологических исследований, большинство российского общества в целом относится к советскому периоду терпимо и взвешенно, не закрывая глаза ни на достижения советского народа, ни на преступления большевиков и сталинского режима [Дубин 1996; Российская... 2005]. В то же время многие радикально-либеральные и монархически настроенные историки, публицисты и журналисты упорно стремятся изображать советский период исключительно черными красками, т.е. по сути вычеркнуть его из памяти и сознания российских граждан. Такое негативистское отношение к истории России, независимо от желаний и побуждений тех, кто его исповедует и разделяет, неизбежно ведет к разрыву в восприятии прошлого, к тому, что значительная его часть предстает своего рода «черной дырой». Особенно опасно такое отношение к истории для молодых поколений, которые рискуют «потерять» свою историю, преемственность развития своей страны и историческую память и утратить ориентиры российской идентичности.

Серьезной проблемой является современное состояние российской системы среднего и высшего образования, прежде всего преподавания истории, других общественных наук и гуманитарных дисциплин. Уменьшение количества часов, отведенных для преподавания гуманитарных предметов в средней школе, общее снижение уровня этого преподавания, введение ЕГЭ, отсутствие внятной концепции российской и всемирной истории, большое количество ненаучных, искажающих историю России или трактующих ее односторонне публикаций в СМИ и в Интернете, привели к усилению исторической безграмотности, дезориентации и фрагментарному восприятию российской истории и культуры у значительной части выпускников средней школы. Очевидно, что проблема формирования и сохранения исторической памяти у молодого поколения россиян сложна и многогранна, на ее решение влияют многие факторы. Помимо трудных социальных и экономических условий, в которых живут многие молодые российские граждане, негативную роль играет социокультурный разрыв между поколениями, процессы распада семьи, нравственный релятивизм и неопределенность жизненных перспектив, которые подменяются ценностями общества потребления.

В 2010-е годы в осуществлении политики исторической памяти в России произошли некоторые заметные сдвиги. В 2008 году была создана некоммерческая общественная организация «Фонд «Историческая память»», в 2012 году — Российское историческое общество, которое было объявлено преемником Императорского Русского исторического общества, основанного в 1866 году. В проведение политики памяти были активно вовлечены сообщества профессиональных историков и учителей. Были предприняты попытки разработать общую концепцию российской истории и представить ее в учебниках

по истории России для средней школы; вокруг проблемы единого учебника и концепции преподавания истории разгорелась острая публичная дискуссия.

В преподавании истории растущее внимание стало уделяться истории повседневности, осмыслению исторической преемственности через историю жизни поколений семьи, воссозданию памяти «малой родины», т.е. через «живую историю». Большой отклик получила общественная акция «Бессмертный полк», впервые инициированная в г. Тюмени в 2007 году и получившая нынешнее название в 2012 году; эта акция проводится в День Победы во многих городах России и в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной (Второй мировой) войне.

Активно развивается такое важное для осмысления культурных оснований исторического развития России начинание, как интеллектуальная история, изучающая воздействие творческой деятельности, политической и религиозной мысли, гуманитарного знания на формирование социальной среды [Репина 2011]; с начала 2000-х годов эти исследования координируются в рамках Российского общества интеллектуальной истории. Изучение различных аспектов исторической памяти (*memory studies*), инструментов и механизмов политики памяти становится ключевым приоритетом не только современной российской исторической науки, но и политических исследований [см. Символическая политика 2012].

Особую опасность представляет также рост этнического национализма, спекулирующего на реальных и мнимых обидах. Противодействие радикальному этническому (в том числе русскому) национализму и экстремизму в разных его проявлениях по-прежнему остается серьезной задачей, требующей постоянного внимания со стороны российского общества и государства. Поддержание объединяющих исторических нарративов — актуальная для российского общества политическая и научная задача. В его основе заложена идея преемственности отечественной истории и культуры диалога. В современных условиях на первый план выходит проблема разработки объединяющих оснований и ориентиров политики памяти на всей территории России, так как в ряде национальных республик под влиянием этнического национализма усилиями части интеллектуальной элиты выстраивается собственная политика исторической памяти, в значительной мере противоречащая задаче формирования *общероссийской государственно-гражданской идентичности*. Преодолеть это противоречие можно путем разработки и применения концепции единой политики исторической памяти на всей территории России, которая в то же время учитывала бы особенности истории и культуры различных этносов, проживающих в Российской Федерации. Но очевидно, что консолидирующим основанием такой политики является поступательное социальное развитие, приоритетное внимание преодолению дисбалансов в развитии территорий и растущих разрывов в уровне и качестве жизни граждан.

Литература

- Бордюгов Г.А. 2011. «Войны памяти» на постсоветском пространстве. М.: АИРО-XXI. 256 с.
- Дубин Б. 1996. Прошлое в сегодняшних оценках россиян. — *Мониторинг общественного мнения*. № 5. С. 28–34.
- Дюков А.Р. 2010. Историческая политика или политическая память. — *Международная жизнь*. № 1. С. 133–148.
- Историческая политика в XXI веке (под ред. А. Миллера, М. Липман)*. 2012. М.: Новое литературное обозрение. 548 с.
- Малинова О.Ю. 2015а. *Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности*. М.: Политическая энциклопедия. 207 с.
- Миллер А.И. 2009. Россия: власть и история. — *Pro et Contra*. Т. 13. № 3-4. С. 6–23.
- Нольте Э. 2001. *Фашизм в его эпохе. Аксьон Франсэз. Итальянский фашизм. Национал-социализм*. Новосибирск: Сибирский хронограф. 568 с.
- Репина Л.П. 2011. *Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и исследовательская практика*. М.: Кругъ. 560 с.
- Репина Л.П. 2016. Историческая память и национальная идентичность. Подходы и методы исследования. — *Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории*. Вып. 54. «Национальная идентичность и феномен исторической памяти». С. 9–16.
- Российская идентичность в условиях трансформации: опыт социологического анализа (под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой)*. 2005. М.: Наука. 396 с.
- Символическая политика. Сборник научных трудов (гл. ред. О.Ю. Малинова)*. Вып. 1. *Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс*. 2012. М.: ИНИОН РАН. 334 с.
- Символическая политика. Сборник научных трудов (гл. ред. О.Ю. Малинова)*. Вып. 2. *Споры о прошлом как проектирование будущего*. 2014. М.: ИНИОН РАН. 382 с.
- Шнирельман В.А. 2003. *Войны памяти, мифы, идентичность и политика в Закавказье*. М.: ИЦК «Академкнига». 592 с.
- Nolte E. 1963. *Der Faschismus in seiner Epoche — Action Française — Italienischer Faschismus — Nationalsozialismus*. München: Piper. 633 s.

Политика языка и языковая политика

Н.М. Мухарямов

Ключевые слова: язык, политика языка, языковая политика, публичная политика, культурно-языковое (этно-языковое) многообразие.

Идентичность и язык, будучи взаимосвязанными в своих фундаментальных основаниях, демонстрируют также корреляцию с точки зрения политического воздействия на то и другое. Изменения, происходящие в результате волевых

установок и властно-управленческих импульсов (или непреднамеренные последствия, эффекты) в одной из названных областей, неизменно проецируются на другую область.

По отношению к процессам идентификации на микро-, мезо- и макроуровнях социального мира язык имеет определяющее значение при формировании соответствующих структур восприятия и объяснения тождества и различий. Трехсторонняя взаимообусловленность идентичности, языка и политики представляет картину полифункциональных взаимодействий, что получает отражение в исследовательских приемах «триангуляции» — сочетании исторических, социокультурных и лингвистических перспектив анализа [de Cillia, Reisigl, Wodak 1999].

Языковые феномены присутствуют в предметном пространстве идентификации в совокупности различных качественных и структурных проявлений. Во-первых, языковые характеристики индивидуального и группового поведения играют роль одного из эмпирических маркеров по линиям, разделяющим «мы» и «они» [Edwards 2009]. Помимо собственно «национальных» (идио-этнических) языков это может воплощаться в таких элементах варьирования, как диалект, социолект, идиолект, жаргон, лексика, стиль и манера речи, владение соответствующими регистрами, акцент и, в принципе, любые другие социолингвистические параметры. Речевые особенности как признаки принадлежности к группам самого различного порядка часто реализуются спонтанно, но становятся также средством демонстрации политически значимых позиций и предпочтений.

Во-вторых, применительно к идентичности язык используется как средство выражения в процессе реализации таких функций, как референция (соотнесение языкового знака с феноменами, связанными с идентификацией), дескрипция, репрезентация. Идентичность в каких-то случаях становится предметом сообщения, информирования (моментов интерактивного характера), в других — отражается в когнитивных аспектах языкового употребления (высказывание о чем-то наличествующем или желаемом), в-третьих — экспрессивной функции языка (выражение переживаний) [Демьянков 2003]. В семиотической перспективе рассматриваемые предметы выступают объектом языковой номинации (семантика идентичности), предикации — отношения между знаками (синтактика идентичности), самовыражение говорящего при помощи языковых знаков (прагматика идентичности). Язык далее выполняет в рассматриваемой области дискурсивную функцию, связанную с тематической аранжировкой предмета, а также с дискурсивным конструированием идентичности [de Cillia, Reisigl, Wodak 1999]. Язык здесь задает также смысловые рамки, устанавливая фреймы и коды идентичности, способы ее интерпретации, приемы именованности [Брубейкер 2012]. Наконец, важнейшее в данном контексте значение приобретает соотношение коммуникативных функций языка, с одной стороны, и символических функций — с другой. Возможности для обеспечения передачи информации на каком-то языке могут по тем или иным причинам сужаться, но при этом ценность языка как символа идентичности — сохраняться.

В-третьих, языковые сообщества выступают в роли оснований и объектов формирования особой — (этно)лингвистической — разновидности идентичности. Природа последней, ее роль в возникновении и трансформациях государственности находятся в самом центре концептуального противоборства в различных идейных и академических контекстах: в философии и социологии языка, теориях национализма и этнополитики, в подходах к концептуализации культурного многообразия и правах меньшинств.

Полемика о взаимоотношениях языка, политики и идентичности уходит корнями в историю философии — в противостояние просветительского рационализма с его идеалом высокого стандартизированного языка (Бэкон, Локк), с одной стороны, и романтизма, воспринимающего язык как выражение народного духа и непреходящей ценности фольклорных традиций (Гердер, Фихте) [Blommaert 2006]. Эти линии лежат в основе языковых идеологий, формулирующих предписания и рекомендации для политического регулирования процессов языкового функционирования, языковой политики и языкового планирования. Целевые ориентиры в деле такого управления связаны с двойственными мотивациями — с коммуникативными аспектами языковой жизни и с ее символическими смыслами.

Далее, феномен (этно)языковой идентичности изначально вписан в контекст «большого» спора между сторонниками социологического эссенциализма, толкования предмета как онтологической данности (примордиализма) и приверженцами конструктивистской парадигмы, понимания в реляционном духе (не вещи, но отношения). При этом не менее острые дискуссии ведутся также внутри этих лагерей при решении проблем приоритетности языка или политики в формировании и трансформации идентичности. Автор широко известного тезиса о «воображаемых сообществах» — этой радикальной версии конструктивизма — Б. Андерсон отдает первенство языковым факторам («печатному капитализму») как решающему началу в национальной консолидации [Андерсон 2001]. С противоположных позиций выдвигаются предложения относительно решающей роли политических и экономических детерминантов формирования идентичности, оставляющих за языком роль зеркала, которое лишь отражает онтологические сущности. К языку, согласно этой точке зрения, следует относиться в таком же конструктивистском (но не эссенциалистском) духе, как и к этничности [Джозеф 2005]. Режим языка в рамках такой интерпретации представляет собой определенный социально-политический порядок, содержащий потенциал политико-экономических конфликтов, тогда как образ «мы» — это всего лишь «ритуально-символический троп» [Сильверстейн 2005].

Наконец, все большую популярность в западных публикациях приобретает положение о целесообразности отхода от концептов «национальных» языков как онтологически монолитных феноменов, от «языковых сообществ» и «этноязыковых идентичностей» в направлении к «речевым сообществам» как совокупности репертуаров идентичностей, отражающих плюрализм [Blommaert 2005, 2006].

Эти, как может показаться, отвлеченные подходы к концептуализации имеют большое значение для исторической реконструкции и моделирования политико-управленческого регулирования в треугольнике «язык — нация — государство» [Марусенко 2014]. Сказанное напрямую затрагивает проблематику и более практического порядка — определение приоритетов политического воздействия на языковую жизнь. Следует ли уделять первоочередное внимание потребностям коммуникации или главенствующее значение придавать потребностям идентичности [Алпатов 2013]? Будет ли означать переход индивидов и групп на язык более широкой коммуникации или отказ от миноритарных языков в пользу мажоритарных языков одновременно означать утрату идентичности [Тишков 2013]?

Исследование многопланового взаимодействия языка и политики включает несколько принципиальных аналитических перспектив, которые могут быть сгруппированы по двум ключевым основаниям:

— язык в политике (политическая коммуникация, политические языки и социолекты, политический дискурс, политическая семантика, политическая метафора и проч.);

— политика в языке (языковая политика и языковое планирование, языковые режимы, языковые идеологии, языковой менеджмент и языковое культивирование).

Анализ политических факторов языкового функционирования в контексте различных академических традиций, направлений и национальных школ осуществляется посредством разнообразных понятийных средств. Часть артикулируемого в этой области словаря поучила распространение в мировой научной литературе в виде общепризнанных и разделяемых всем сообществом лингвистов, социологов языка, в последнее время все чаще — и политологов. Это — семантический круг с «ядром» в лице языкового планирования и языковой политики и «окрестностей» в виде сопутствующих терминологических образований: «языковой менеджмент», «языковой инжиниринг», «языковое культивирование», «языковые интервенции», «языковые идеологии», «экономика (политэкономика) языка». Некоторые компоненты этого мультидисциплинарного категориального аппарата используются в разработках отечественных специалистов, некоторые пока в русскоязычный оборот не вовлекаются.

Другая часть рассматриваемого словаря при трансграничных концептуальных заимствованиях сталкивается с препятствиями различной природы и определенными когнитивными барьерами и не используется в публикациях на русском языке. Это можно констатировать, прежде всего, применительно к термину «политика языка», который сегодня практически не присутствует в отечественных словарях, индексациях, рубриках и номенклатурах. Он используется значительно реже таких аналогов, как «политика памяти», «политика идентичности», «политика признания» и т.п.

Общность понятий «языковая политика» и «политика языка», которые, на первый взгляд, могут производить впечатление синонимичности, коренит-

ся в их принадлежности к единому тематическому полю, многостороннему соприсутствию обоих означенных фундаментальных установлений общественной реальности — языка и политики, проникновению одного в другое. Необходимость же в смысловом уточнении объясняется тем, что они относятся к качественно различающимся контекстам и реализуются под воздействием разнородных факторов, что приводит к несовпадающим последствиям и эффектам.

Семантические особенности обеих понятийных перспектив изначально связаны с нюансировкой «policy» и «politics», характерной для англоязычного политического анализа. Поскольку в русском языке такая детализация чаще всего не артикулируется, разграничение двух рассматриваемых понятий на неподготовленный слух может восприниматься как беспредметная казуистика. Вместе с тем имеются видимые резоны для выявления некоторых важных коннотаций того и другого [Мухарьямов, Мухарьямова 2008].

Лежащее на поверхности объяснение состоит в том, что языковая политика (language policy) предполагает проведение определенного курса, опирающегося на процедуры принятия решений, тогда как политика языка (language politics или politics of language) — это, скорее, некоторая область деятельности или отношений между разнородными акторами.

Универсальных и общепризнанных определений категории «языковая политика», в силу понятных причин, не существует. Имеющиеся в научной литературе по социальной и политической лингвистике дефиниции фиксируют те или иные сущностные моменты — идеологические принципы и меры «по решению языковых проблем», «сознательное вмешательство в строительство литературного языка», политические меры, нацеленные на конкретный язык или взаимоотношения языков применительно к их статусам и социальным функциям [Дешериев 1990; Шайкевич 1995; Wodak, de Cillia 2006].

Языковая политика представляет собой не просто определенную стратегию или курс целенаправленной, рационально проектируемой регуляции языковых ситуаций (языкового функционирования). Она включает также некоторые сущностные признаки — эксплицитно выраженные принципы, программируемые меры и их ресурсное обеспечение, целевые ориентиры. Смысловые грани понятия «языковая политика» связаны с формальными процедурами принятия решений и их нормативным оснащением и регламентацией. Семантика «языковой политики» коренится в явно выраженной императивности, лежащей в основе движения к официально декларируемым целям — к формальным статусным параметрам языковой ситуации (государственные языки, официальные, рабочие, региональные, миноритарные и т.д.) и их кодификации.

В новейших публикациях языковая политика начинает определяться в значительно более широких контекстах и предметных рамках, когда на смену традиционному социолингвистическому пониманию приходят иные концептуальные образы. Предлагаемые определения отходят от политического и идеологического воздействия на функциональные и структурные параметры

языка, перенося акцент на деятельность, «направленную на оптимизацию языкового обеспечения коммуникации в социуме» [Нешименко 2010].

Действия в рассматриваемом контексте осуществляются многообразными агентами, которые обладают закрепленными полномочиями. Состав акторов, действующих в рамках этих полномочий, обширен: начиная с legislatures разного уровня (международного, национального, субнационального, регионального, местного) и исполнительных инстанций, судебных властей и закончившая профессиональным и экспертным сообществами. В подготовке и проведении в жизнь принятых решений участвуют образовательные, культурные, масс-медийные институты. Словом, в этот перечень можно включать любые действующие лица, которые обладают авторитетными позициями, способностью формулировать компетентные оценки и определять политико-языковую повестку.

Языковая политика, согласно сложившейся социолингвистической традиции, ассоциируется с властно-управленческим регулированием языковых ситуаций различного уровня — общенационального и локального, прежде всего, но также и международно-регионального. Такого рода регулирование охватывает параметры официального статуса языков, того, что называют корпусом — лексику, синтаксис, графическую основу (алфавит), терминологические системы, и организацию изучения языков — в качестве родных, неродных, иностранных. Например, политика в этой области может исходить из принципов официального одно-, дву- или многоязычия. Властные институты реализуют те или иные принципы языковой организации образовательной системы, определяя то, какие языки выступают в качестве предметов изучения или средств преподавания нефилологических дисциплин. В условиях усиления этноязыкового многообразия современных обществ под воздействием, в частности, миграционных и демографических сдвигов, с одной стороны, и усиления роли глобальной информационной среды — с другой, политико-языковая проблематика будет постоянно присутствовать в центре «рынков идентичности». Соответственно, легко предвидеть перспективу обострения языковых отношений по линии «большинство — меньшинства». События вокруг Юго-Востока Украины доказывают, что языковая политика может выступать и в роли *casus'a belli*.

По сравнению с этим «политика языка» характеризуется по-особенному представляющим соотношением формальных и неформальных моментов, официальностью и неофициальностью, эксплицитных и имплицитных сторон.

Во-первых, смысловая детализация обоих понятий вытекает из того, что *«языковая политика»* представляет собой централизованно осуществляемый стратегический курс, тогда как *«политика языка»* — это область обоюдно релевантных отношений, обмена деятельностью и волевыми установками по поводу языка и политики. Здесь подразумевается участие широкого состава акторов, в том числе и не относящихся к разряду правящих субъектов, не обладающих формально зафиксированными полномочиями и не обязательно действующих в санкционированных рамках и режимах.

Во-вторых, практика языковой политики характеризуется дискретностью принимаемых актов и проводимых мер в рамках сформулированных стратегий — принятием решений, рекомендаций, созданием органов [Pour la Glottopolitique 2003]. В ее основе лежат как принципы и ориентиры разрешения возникающих проблем и противоречий, так и конкурентное использование языковых ресурсов борьбы за власть и влияние. Язык в этом последнем случае рассматривается не столько как общее благо, сколько как повод для мобилизации (коммуникативно и символически) сторонников конкурирующих сил.

Прототипическим случаем языковой политики являются реформы Ата-тюрка по переводу турецкого языка на латинскую графическую основу [Бенхабиб 2003; Андерсон 2001]. Политика же языка проводится непрерывно, и это происходит в силу множества причин. Эта область по своей природе имеет вербально опосредованный характер. Культурно-языковое многообразие всегда воспроизводится в определенной политической среде, испытывая влияние происходящих изменений. Так же, как политика не может функционировать без использования коммуникативных ресурсов, распределение этих ресурсов между различными общественными группами не может происходить вне политических факторов и контекстов.

В-третьих, рассматриваемые грани тематического комплекса по-разному соотносятся с когнитивными образами политики. Языковая политика тяготеет к категории «публичная политика» со всеми ее атрибутами. В этой ипостаси смыслообразующими началами выступают критерии значимости в масштабах общества в целом. Принимаемые в рамках надлежащих процедур решения в данном случае эксплицитно предполагают интеграцию социального пространства, сотрудничества властей различных уровней, общественно-политических сил и экспертно-профессиональных сообществ. Иными словами, эффективная языковая политика предполагает согласование общественных интересов и ориентируется на «нейтрализацию значимости языка как фактора раскола общества» [Борисова 2016].

Политика языка практикуется не столько применительно к законодательно (шире нормативно) закрепляемым решениям, сколько к явлениям и процессам, имеющим природу *de facto*. Если традиционно понимаемая языковая политика осуществляется через дискретные акты, то политика языка никогда не приостанавливается. Любые действия, направленные на то, чтобы повлиять на ооношения по поводу языка и политики, могут быть отнесены к этой области общественной практики.

Политика языка осуществляется не только в выборе интерлингвальных моделей устройства — одноязычной или многоязычной, охватывающей общество в целом или отдельные области применения языков (масс-медиа, образование, судопроизводство, предоставление государственных и муниципальных услуг), положение языковых меньшинств, распространение глобальных языков-посредников. Не менее (а, возможно, и более) существенное значение принадлежит здесь интралингвальным материям — выбору коммуни-

кативных приемов и стратегий, способов артикуляции притязаний всего спектра политически значимых акторов. Проводить такую политику — значит предлагать (часто навязывать другим) способы языкового устройства политического в широком смысле. Те, кто претендуют на субъектность в этой сфере, берут на себя определяющую роль в выборе не столько кодов как таковых (языков в их привычном понимании), сколько вариантов языковых подсистем, стилей, дискурсов, словарей, социолектов.

В силу отмеченных обстоятельств политика языка как прием концептуализации дает возможность выхода на новые уровни междисциплинарного синтеза в изучении динамики идентичности и ее отражения в социально-политических изменениях, в котором могли бы продуктивно участвовать и специалисты в области языкознания, и социологи, и политологи.

Литература

- Алпатов В.М. 2013. Языковая политика в современном мире: «одноязычная» и «двухязычная» практики и проблема языковой ассимиляции. — *Сравнительная политика*. No 2 (12). С. 11–22.
- Андерсон Б. 2001. *Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма*. М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле». [Anderson B. *Imagined Communities. Reflections on the origin and spread of nationalism*. London, New York. 1991].
- Биллиг М. 2005. Нации и языки. — *Логос*. № 4. С. 60–86 [Billig M. *Banal Nationalism*. London: Sage Publications. 1995. P. 13–36].
- Борисова Н. 2016. Политизация языка и языковая политика в этнических территориальных автономиях. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 60. № 9. С. 67–75.
- Брубейкер Р. 2012. Этничность без групп. М.: Издательский дом Высшей школы экономики. 408 с. [Brubaker R. *Ethnicity without Groups*. Harvard University Press, 2004].
- Дешериев Ю.Д. 1990. Языковая политика. — *Лингвистический энциклопедический словарь*. М.: Сов. энциклопедия. С. 616.
- Джозеф Дж. 2005. Язык и национальная идентичность. — *Логос*. № 4. С. 20–48 [Joseph J. *Language and Identity: National, Ethnic, Religious*. Basingstoke, Hampshire & New York: Palgrave Macmillan. 2004. P. 92–125].
- Малахов В. 2014. *Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций*. М.: Новое литературное обозрение; Институт философии РАН. 232 с.
- Марусенко М.А. 2014. *Языковая политика Европейского союза: институциональный, образовательный и экономический аспекты*. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та. 288 с.
- Мухарямов Н.М., Мухарямова Л.М. 2008. Язык как politics. — *Политическая теория, язык и идеология* (Редкол.: Н.А. Романович (отв. ред.) и др.). М.: РОССПЭН. С. 454–472.
- Мухарямов Н.М., Мухарямова Л.М. 2008. Политическая лингвистика как академический проект. — *Управление государством: Проблемы и тенденции развития. Политическая наука: Ежегодник 2007*. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). С. 429–447.
- Нещименко Г.П. 2010. Социоллингвистика как интердисциплинарная наука. — *Решение национально-языковых вопросов в современном мире. Страны СНГ и Балтии*. Под ред. Е.П. Чельшева. М.: Азбуковник. С. 47–57.
- Сильверстейн М. 2005. Уорфианство и лингвистическое воображение наций. — *Логос*. № 4. С. 87–132. [Silverstein M. *Worfianism and the Linguistic Imagination of Nationality*. — *Regimes of Language: Ideologies, Politics, and Identities*. Santa Fe: School of American Research Press. 2000. P. 85–138].

Тишков В. 2013. Полиэтническое общество и государство: понимание и управление культурным многообразием. — *Кризис мультикультурализма и проблемы национальной политики*. Под ред. М.Б. Погребинского и А.К. Толпыго. М.: Весь Мир. С. 144–194.

Шайкевич А.Я. 1995. *Введение в лингвистику*. М.: Издательский центр А.М. Бруни. 400 с.

Blommaert J. 2005. *Discourse. A Critical Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press. 299 p.

Blommaert J. 2006. *Language Policy and National Identity. An Introduction to Language Policy. Theory and Method*. Ed. by Th. Ricento. Oxford: Blackwell Publishing. P. 238–254.

Byram M. 2006. *Languages and Identities*. Strasbourg: Language Policy Division, 16–18 October.

De Cilia R., Reisigl M., Wodak R. 1999. The discursive construction of national identity. — *Discourse & Society*. Vol. 10 (2). P. 149–173.

Edwards J. 2009. *Language and Identity. An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press. 315 p.

Garsia O. 2012. Ethnic identity and language policy. — *The Cambridge Handbook of Language Policy*. Ed. by B. Spolsky. Cambridge: Cambridge University Press. P. 79–99.

Latin D. 1998. *Identity in Formation. The Russian-Speaking Population in the Near Abroad*. Ithaca and London: Cornell University Press. 417 p.

Pour la glottopolitique. 2003. — *Glottopol*. Janvier. No. 1. P. 7–31. URL: <http://www.univ-roen.fr/dyalang/glottopol>

Safran W. 1999. Nationalism. — *Handbook of Language & Ethnic Identity*. Ed. by J. Fishman. New York; Oxford: Oxford University Press. P. 77–93.

Wodak R., de Cillia R. 2006. Politics and Language: Overview. — *Encyclopedia of Language & Linguistics*. 2nd Ed. Vol. 9. Oxford: Elsevier. P. 707–719.

Сетевые механизмы формирования идентичностей¹

И.В. Мирошниченко

Ключевые слова: новая социальная реальность, социальная идентичность, политическая идентичность, сетевые механизмы формирования идентичности, сетевая коммуникация, сетевые сообщества, рефлексивная включенность индивидов в публичное пространство, сетевая публичная политика, сетевое топоструктурирование, публичный краудсорсинг.

Современная динамика идентичностей неразрывно связана с глубокими общественными трансформациями, изменяющими институциональные и социокультурные основания современного мира. В научном дискурсе сложилось четкое представление о том, что современная реальность представляет новый качественный этап общественного развития, в котором человек в условиях

¹ Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 15-03-00339 «Фронтير сетевого общества как пространство политического взаимодействия».

возрастающей сложности своего существования становится ключевым субъектом социальных и политических изменений [см.: Политические изменения в глобальном мире... 2014]. Рефлексия о стремительно меняющейся социальной реальности, которая отражается во множестве метафорических определений («индивидуализированное общество» З. Баумана, «общество риска» У. Бека, «сетевое общество» М. Кастельса, «infomodernity» И. Семененко и В. Лапкина) [см.: Бауман 2005; Бек 2000; Кастельс 2000; Показатели Индекса цитирования... 2016; Лапкин, Семененко 2013], фиксирует тектонические сдвиги в сознании и поведении, в потребностях и мотивациях современного человека, механизмах его самоидентификации, которые происходят под влиянием продолжающейся технологической революции [Политические изменения в глобальном мире... 2014: 179].

Новые сетевые механизмы формирования идентичностей возникают в «пространстве социального взаимодействия, в границах которого интеграция индивидов достигается на основе качественно измененных и усложненных требований к характеру их участия в социальной коммуникации. Условием становления такого пространства оказывается персональная и потенциально интерактивная подключенность к глобальной “информационной среде”, посредством которой социальный индивид приобщается к новым универсальным нормам и стандартам поведения, к новым условиям жизни и новым ограничениям доступа к ресурсам» [Лапкин, Семененко 2013].

Сетевые механизмы, основанные на сетевой коммуникации и сетевых структурах, в контексте новой социальной реальности инициируют сетевую логику изменений [Christakis and Fowler 2011] сущностных характеристик и свойств идентичности личности. «Именно сети, — пишет М. Кастельс, — составляют новую социальную морфологию наших сообществ, а распространение сетевой логики в значительной мере сказывается на ходе и результате процессов, связанных с производством, повседневной жизнью, культурой и властью [Кастельс 1999: 494]. В данных условиях сетевая коммуникация и сетевые структуры, возникающие в различных сферах общественной жизни и захватывающие доминирующие позиции, становятся одновременно и движущей силой цивилизационного развития и одновременно его результатами.

В современном социально-гуманитарном знании проблема появления и распространения сетевых механизмов формирования идентичностей не имеет своего четкого концептуального обоснования, но осмысливается в рамках исследований идентичности в условиях формирования новой социальной реальности [см.: Уханов 2009]. Первая группа исследований, рассматривая условия, процессы и результаты формирования идентичности в постсовременности, акцентирует внимание на виртуализации социальной реальности как механизме, трансформирующем жизненное пространство индивида и сферы его деятельности [см.: Луман 2006]. В системе виртуальной реальности, основанной на мультимедийных и цифровых технологиях, смыслы формируют пространство культурных кодов, символов и идеологий, становясь

продолжением существующего публичного пространства обитания человека. Виртуализация, создающая «гиперреальность» [см.: Уэльбек 2004] или симуляционный дизайн реальности [см.: Бодрийяр 1983], формирует метастабильные, реконструируемые, эклектичные, ситуативные и мозаичные идентичности знаково-символической природы, ассимилированные в сетевом взаимодействии, и создает «вымышленную личность» [см.: Горный 2009]. Вторая группа исследований отдает приоритет механизмам, основанным на технологических возможностях интерфейсов социальных онлайн-сетей, способствующих формированию сетевой идентичности — конструированию проекта личности в онлайн-пространстве, направленному на удовлетворение разнообразных потребностей индивида [Фленина 2014].

Сетевые механизмы формирования идентичностей представляют собой комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных практик, способствующих индивидуальной и коллективной идентификации, интериоризации и рефлексии в глобальном информационно-коммуникативном пространстве. Комплекс включает механизм сетевой коммуникации, механизм рефлексивной включенности личности в публичное пространство, механизм сетевого топос-структурирования и механизм публичного краудсорсинга.

Механизм сетевой коммуникации, основанный на технологических возможностях web 2.0 и web 3.0., представляет собой способ производства индивидуальных и коллективных форм аккумуляции информации, создания/распространения нового контента/новых знаний. Функциональность механизма сетевой коммуникации для воспроизводства/позиционирования традиционных и конструирования новых идентичностей обеспечивается его цифровой природой (готовностью и открытостью к изменениям) и сетевым этосом (ориентацией на интеграцию в сообщество разнообразных по ценностным предпочтениям и статусам акторов, обеспечение сотрудничества между ними на основе выработки единого ценностно-нормативного комплекса).

Механизм сетевой коммуникации позволяет конструировать и управлять своими идентичностями в публичном онлайн-пространстве, что характерно для представителей «цифрового поколения». «Цифровым поколением» в современном социальном знании стали называть популяцию людей, рожденных в 1980-х годах и взрослевших одновременно с экспонентным развитием Интернета [Годик 2011]. Социологический портрет «цифрового поколения» основывается на таких характеристиках его представителей, как «тотальная» креативность, инновационность, информормированность (благодаря постоянной включенности в поисковую деятельность) и многозадачность (т.е. способность решать несколько когнитивных задач одновременно) [Palfrey and Gasser 2008: 4]. Придавая огромное значение своему публичному онлайн-образу, молодые люди старательно выстраивают его, создавая посредством визуализированных и вербальных образов свою виртуальную личность и продвигая ее в сетевых структурах. Речь идет о так называемой проектно-брендовой идентификации личности [Тульчинский 2011: 253], с помощью

которой личность в социальных сетях представляется как проект или как серия проектов. При этом данный образ не может быть устойчивым и стабильным: под давлением информации сетевых коммуникаций личность, а вместе с ней и ее виртуальный образ вынуждены приспосабливаться/изменяться к новым условиям: новому месту учебы, новому направлению карьеры, новым гендерным ролям и т.д. То есть гибкая структура сетевых взаимодействий порождает такого же гибкого децентрализованного субъекта, обладающего разовыми «перманентно обретаемыми» идентичностями. Человек, экспериментируя с различными реальными идентичностями, формирует особый тип идентичности как самопрезентации своего «фасадного Я» [Белинская, Жичкина 2004]. Данная идентичность не требует от человека отказа от реальных идентичностей, а формируется общепринятыми в интернет-среде правилами и техническими возможностями, которые дают сетевые платформы самопрезентации.

Механизмы сетевой коммуникации дают возможность личности через осмысление ценностных ориентиров индивидуальной деятельности формировать себя как активного субъекта, способного развивать собственную систему социальной идентичности, встраиваясь на основе приоритетных идентификаций в солидарные сообщества социального пространства конкретного общества. Механизм сетевой коммуникации дает возможность личности осуществить собственную презентацию своей реальной жизни и солидаризироваться во мнениях, действиях с другими гражданами в сетевом формате. У личности появляется возможность не только заявить, но и, благодаря сетевой коммуникации, «закрепить» статус своих идентичностей. Позиционируя свой профессиональный статус, человек получает возможность интегрироваться в профессиональное сообщество, выходящее за рамки его профессионально-должностной роли и пространственной локализации. Заявляя о своей потребности выучить иностранный язык, он интегрируется в сообщество пользователей, активно использующих широкий набор интерактивных обучающих технологий и ресурсов, позволяющих качественно улучшить процесс достижения результата. Высказывая свои политические предпочтения или гражданскую позицию, индивид включается в процесс производства и потребления контента, принимает участие в формировании дискурса в отношении актуальных общественно-политических проблем. В результате формируются принципиально новые «персонализируемые сообщества» — сети межличностных связей и взаимодействий, основанные на общей идентичности и обеспечивающие информацию и поддержку [Wellman 2001: 227]. Они реализуют личностные потребности в обществе, опираясь на новые коммуникационные возможности, что, в свою очередь, способствует их встраиванию в глобальное цифровое пространство социальности, созданное Интернетом.

Механизм сетевой коммуникации дает возможность качественно развивать систему идентичностей личности в сетевой логике, что определяется двумя факторами. С одной стороны, функционирование современных сетевых платформ стало основываться на жестком условии наполнения персональных

аккаунтов достоверной идентифицирующей информацией, давая при этом технологические возможности для реализации сетевого общения, обмена информацией и одновременно ведения персональных страницы и блога. Такое построение «работы» социальных онлайн-сетей обусловило «перенос» повседневных или эпизодических коммуникаций пользователей из реального мира в онлайн-пространство и их дальнейшее развитие в рамках позиционирования и функционирования сетевых сообществ. С другой стороны, успех индивидуальных и коллективных стратегий развития в современном обществе определен бинарным принципом: быть или не быть представленным в коммуникационной мультимедиа-системе. То есть выживают и достигают успеха только те, кто принимает сетевую логику, так как мультимодальность и диверсифицированность сетевой коммуникационной системы способствует интеграции всех существующих и появляющихся когнитивных схем и практик.

Важно, что универсальный по своим характеристикам механизм сетевой коммуникации начинает «работать» на формирование конкретных идентичностей, исходя из целевых установок их носителей (в зависимости от того, на удовлетворение каких потребностей личности они ориентированы, осуществляя сетевую коммуникацию) и их возможностей использовать другие сетевые механизмы. При этом механизм рефлексивной включенности индивидов в публичное пространство, механизм сетевого топос-структурирования, механизм публичного краудсорсинга имеют политическое содержание и в комплексе с другими механизмами обуславливают воспроизводство нового типа публичной политики — сетевой публичной политики. *Сетевая публичная политика представляет собой незавершенный проект нелинейного развития, в котором институциональные, процессуальные, технологические и социокультурные компоненты политики приобретают сетевые, синергетические характеристики, «прорастая» поверх рутинных практик традиционной публичной политики.* В институциональной среде возникают новые организационные формы и практики разнообразных сетевых структур, а традиционные политические институты под воздействием процессов сетевизации становятся гибридными. Процессуальные свойства публичной политики приобретают отчетливые синергетические черты: нелинейность, стихийность, самоорганизацию, бифуркацию. Технологические компоненты сетевой публичной политики, выстраиваясь на принципах сетевой коммуникации, нацелены на поиск инноваций в сфере политики (инновационного контента, инновационных форм взаимодействия, инновационных ресурсов и решений). Социокультурные компоненты сетевой публичной политики развиваются на основе социального конструирования реальности, где происходит формирование нового типа личности — «человека постмодерна», представителя «общества знаний» и носителя «гибридной идентичности», способного реализовывать свою политическую субъектность в многослойном формате публичной политики [см.: Мирошниченко 2013].

Механизм рефлексивной включенности индивидов в публичное пространство характеризуется как концептуализация индивидуальными и коллективными

актерами автономных социальных миров, требующих создания собственных виртуализированных публичных пространств, но находящихся в тесной связи с общим социальным пространством. Концептуализация индивидом собственного социального мира с проекцией в политическую сферу рассматривается в контексте его рефлексивной включенности в публичное пространство, или, в терминах М. Фуко, «управленческой ментальности» [Foucault 1991] как активности, нацеливающей быть критическим и рефлексивным [Walters and Naahr 2005]. Дуальность результатов рефлексивной включенности индивида проявляется в возникновении «сетевых феодалов и крепостных» [Беляева 2011] в пространстве публичной политики. Так называемые «сетевые феодалы» — индивиды или политические акторы на основе легитимных практических схем и эксплицитных (явных, открыто выраженных) понятий самостоятельно и оригинально осмысливают политические события, конструируя вокруг себя, своего места или проблемы автономные публичные пространства с проективным набором решений. Индивиды или политические акторы, которые не участвуют в конструировании публичных пространств, а прибегают к осмыслению общественно-политических событий на основе идентификации с созданными «сетевыми феодалами» когнитивных схем и практических решений, становятся «информационными крепостными» в конструируемых публичных пространствах. У. Эко в своей работе 1998 года, оценивая происходящие в результате информационно-коммуникационной революции цивилизационные изменения, пришел к выводу, что в ближайшем будущем общество разделится на две группы: те, кто потребляет медийные продукты в виде «готовых» образов и суждений о мире без критического осмысления получаемой информации, и тех, кто способен конструировать реальность посредством информационно-коммуникационных технологий [см.: Эко 1998].

Смыслы, когнитивные схемы и нарративы, распространяемые и потребляемые публикой в границах публичного пространства «сетевых феодалов», становятся источниками новой коммуникативной власти. У. Бек говорит о принципиально новом явлении для публичной сферы — «распаде политики» [Бек 2000]. На смену властного доминирования национальных государств и централизованных правительств приходит коммуникативная власть многообразных сообществ, сетей и индивидов, обладающих значимыми рефлексивными способностями. Так, в глобальном интернет-пространстве наблюдается рост виртуальных государств, географически привязанных к существующим государствам и регионам, и формирующихся в них на основе новых конструируемых идентичностей «цифровых наций». К ним можно отнести: Aeterna Lucina в Южном Уэльсе, Bumbunga в Австралии, Conch Republic в США, Kingdom of Elleore в Дании, Filetino в Италии, Ladonia в Швеции и т.д. [Акопов 2013: 45]. Рефлексивная включенность индивида нарушает монополию государства на установление границ идентичности, в расширенной Интернетом публичной сфере с множеством пространственных координат граждане «самостоятельно выбирают, с каким пространством себя ассоциировать (в каких сетях участвовать, а какие формировать самостоятельно) и экспериментируют со своими

идентичностями» [Баринова 2010], изменяя природу властных отношений. Конструирование такого рода сообществ предполагает актуализацию в дискурсивных практиках отдельных идентификационных признаков, формирующих когнитивные схемы и модели поведения, отличные от традиционных социальных идентичностей.

Однако в расширяющихся возможностях рефлексивной включенности индивида в публичное пространство и автономной «маршрутизации» публичных коммуникаций существует угроза усиления власти маргинальных групп, которые могут носить и экстремистский характер. Вместе с тем формирование публичных пространств также может происходить на основе использования механизмов манипулирования, социального и политического инжиниринга, где феодалами публичных пространств становятся политические лидеры субполитики — мэры городов, директора крупных бизнес-структур, представители региональных медиаструктур и PR-агентств, цифровые лидеры, гражданские журналисты и др.

Коммуникативная сетевая структура онлайн-пространства представляет различным социальным и политическим акторам возможность проектировать и позиционировать новые идентичности, носители которых ориентированы на активные социальные действия в публичной сфере. Формирование такого рода идентичностей происходит благодаря механизмам сетевого топос-структурирования и публичного краудсорсинга. Под топосом понимается «открытое множество практик и практических схем, связанное с некой социальной проблемой» [Шматко 2001: 110] или «местом коммуникации акторов». Сетевое топос-структурирование представляет собой механизм формирования публичного пространства, в котором практические схемы, практики, ресурсы акторов публичной политики и структур публичного управления интегрируются в едином согласованном проекте решения конкретной локализованной проблемы. В топосе как интересубъективной реальности идеи задают границы принимаемых решений. Зачастую топос обуславливает возникновение сетей социальной солидарности, демонстрирующих автономные от публичной власти гражданские действия, направленные на разрешение публичной проблемы. Примером сетевого топос-структурирования является движение «Блогер против мусора». Сформированное в блогерской среде сетевое сообщество актуализировало общественно значимую проблему уборки мусора и активизировало различные группы общественности на практическое решение проблемы в российских регионах. Только в 2013 году в проекте приняло участие 80 субъектов РФ с общим числом участников более 50 тыс. человек. К решению данной проблемы присоединились губернаторы, представители местных властей, СМИ и крупные коммерческие компании [Морозова, Мирошниченко, Рябченко 2015: 15].

Проектирование идентичностей всегда является двухступенчатым процессом, который включает в себя «заявку идентичности», конструируемой индивидом/сообществом/ институтом, и «принятие конструируемой идентичности» окружающими целевыми группами [Лепехин, Дубко 2001: 145].

При совпадении «заявки» и «принятия» происходит становление устойчивой формы социальной идентичности, на основе которой формируются определенные гражданские действия в публичной сфере. Помимо механизма сетевого топос-структурирования проектирование и позиционирование такого рода идентичностей осуществляется в мировой практике с помощью публичного краудсорсинга.

Краудсорсинг представляет собой целенаправленную деятельность акторов (социальных, экономических, политических) по использованию ресурсов граждан, организованных в общественные сети в онлайн-пространстве для коллективного создания (идеи, проекта) и/или закрепления (решения, практики) инноваций в различных сферах общественной жизни (в бизнесе, социальной или политических сферах). Источником инноваций становится коллективный разум индивидуальных акторов, осуществляющих краудсорсинговую деятельность в организованных общественных сетях [Мирошниченко 2013: 232]. Как сетевой механизм формирования идентичности краудсорсинг представляет собой способ организации сетевых сообществ в виде общественных сетей, позволяющих актуализировать разнообразные потребности граждан для разработки и реализации коллективных идей или проектов, нацеленных на решение публичной проблемы.

В краудсорсинговых проектах на основе ситуативной-проблемной идентификации с другими гражданами, заинтересованными в решении общественной проблемы в данный временной период, в онлайн-пространстве формируются общественные сети для решения краудсорсинговых задач [Morozova and Miroshnichenko 2015]. В период летних пожаров, охвативших большинство регионов России в 2010 году, функцию антикризисного менеджмента взяли на себя социальные сети и блоггеры: они не только предложили общественности свидетельства очевидцев, фотографии и видеоролики трагических событий и т.д., но и на их основе создали онлайн-проекты, позволяющие координировать организацию гражданских инициатив в оказании помощи пострадавшим. После обсуждения блоггерами возможности оперативно оказывать помощь пострадавшим в августе 2010 года была сформирована команда программистов, которые в кратчайшие сроки запустили сайт «Карта помощи» (<http://russian-fires.ru>). Данный краудсорсинговый ресурс позволяет информационно сопровождать и координировать деятельность волонтерских структур, некоммерческих организаций и всех заинтересованных сторон в ликвидации пожаров и оказании помощи пострадавшим [см: Мирошниченко 2011].

Субъектами создания краудсорсинговых проектов и, соответственно, проектирования ситуативно-проблемных идентичностей могут выступать как отдельные граждане и их сообщества, так и институционализированные акторы (органы власти, некоммерческие организации, бизнес-структуры). Бывшим сторонником Обамы Дж. Гильямом в 2009 году был основан краудсорсинговый ресурс «WhiteHouse2.org» (<http://techpresident.com/whitehouse2org>). Здесь граждане могут выразить поддержку политическим требованиям,

выдвинутым другими гражданами или политиками, отвергнуть их, дать им оценку, прокомментировать. Темы предложений самые разные — от налоговых льгот и реформ в здравоохранении до инвестиций в возобновляемые источники энергии. Чем больше электронных подписей соберет то или иное требование, тем выше оно оказывается в рейтинге на сайте организации.

Несмотря на то, что механизмы сетевого топос-структурирования и публичного краудсорсинга в большей степени формируют ситуативно-проблемные идентичности, они имеют высокий мобилизационный потенциал для актуализации деятельности сетевых сообществ в виде гражданских инициатив и масштабных гражданских движений, где формируются новые устойчивые политические идентичности, которые могут приобретать и протестный характер.

Таким образом, комплекс сетевых механизмов формирует динамичную матрицу идентичности современного человека, позволяющую реализовать возможности для его развития в новой социальной реальности. В то же время комплекс сетевых механизмов не является стабильным, его содержательное наполнение будет зависеть от тех институциональных практик, которые определяют условия, процессы и результаты формирования идентичностей, требующих концептуального осмысления и эмпирических исследований.

Литература

- Акопов С.В. Сетевая философия и трансформация идентичности личности. — *Управленческое консультирование*. 2013. № 12. С. 45.
- Барнинова Д.С. 2010. Методологические аспекты исследования виртуального пространства Интернета. — *МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин*. М.В. Ильин (гл. ред.). М.: Центр персп. методологий социально-гуманит. исслед. С. 109–122.
- Бауман З. *Индивидуализированное общество*. М.: Логос. 2005. 390 с. [Bauman Z. *The Individualized Society*. Cambridge: Polity Press, 2001. 259 p.]
- Бек У. *Общество риска. На пути к другому модерну*. М.: Прогресс-Традиция. 2000. 383 с. [Beck U. *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986. 396 s.]
- Белинская Е.П., Жичкина А.Е. 2004. Стратегии самопрезентации в Интернет и их связь с реальной идентичностью. — *Флогистон: Психология из первых рук. Публикации*. Эл. ресурс. Доступ: <http://flogiston.ru/articles/netpsy/strategy> Проверено: 1.03.2016.
- Беляева Н.Ю. Развитие концепта публичной политики: внимание «движущим силам» и управляющим субъектам. — *Полис. Политические исследования*. 2011. № 3. С. 73–74.
- Бодрийяр Ж. *Экстаз коммуникации*. Доступ: <http://ivanem.chat.ru/extaz.htm> Проверено: 1.03.16. [Baudrillard J. *Ecstasy of Communication*. In H. Foster (ed.) *The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture*. Port Townsend: Bay Press. 1983. P. 126-133.]
- Годик Ю.О. «Цифровое поколение» и новые масс-медиа. — *Медиаскоп. Электронный научный журнал факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова*. 2011. № 2. Доступ: <http://www.mediасcope.ru/node/838> Проверено: 1.03.2016.
- Горный Е. 2009. Виртуальная личность как жанр творчества (на материале русского Интернета). — *Сетевая словесность*. Эл. ресурс. Доступ: <http://www.netslova.ru/gornyy/vl.html> (проверено 10.03.2017).
- Кастельс М. Становление общества сетевых структур. — *Новая постиндустриальная волна на Западе: антология*. В.Л. Иноземцев (ред.). М.: Academia. 1999. С. 494–505.

Кастельс М. *Информационная эпоха: Экономика, общество, культура*. М.: ГУ ВШЭ. 2000 (1996–1998). 458 с. [Castells M. *The power of identity: The information age. (Economy, society, and culture)*. 2nd ed. Malden MA, Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 2010 (1st ed. 1997). 584 p.]

Лапкин В.В., Семенов И.С. «Человек политический» перед вызовами «infomodernity». — *Полит. Политические исследования*. 2013. № 6. С. 65–66.

Лепехин Н.Н., Дубко А.В. Доверие в виртуальной идентичности в Интернет-среде. — *Вестник СПбГУ*. Сер. 12. 2001. № 4. С. 145–151.

Луман, Н. *Реальность массмедиа*. М.: Праксис, 2005. 256 с. [Luhmann N. *Die Realitat der Massenmedien*. Sozialwissenschaften I GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden. 2004. 222 s.]

Мирошниченко И.В. Модернизационный потенциал краудсорсинга в современной публичной политике: российский опыт и зарубежные практики. — *Проблемный анализ и государственное управленческое проектирование*. 2011. № 6. С. 33–39.

Мирошниченко И.В. *Сетевой ландшафт российской публичной политики*. Краснодар: Просвещение-Юг, 2013. 289 с.

Морозова Е.В., Мирошниченко И.В., Рябченко Н.А. Гибридные политические институты: к проблеме типологизации. — *Человек. Сообщество. Управление*. 2015. № 4. С. 6–26.

Показатели Индекса цитирования по социальным наукам. Доступ: http://www.manuelcastells.info/en/SSCIsocialranking_eng.pdf Проверено: 2.03.2016.

Политические изменения в глобальном мире: теоретико-методологические проблемы анализа и прогнозирования. И.С. Семенов (отв. ред.), В.В. Лапкин, В.И. Пантин (ред.). М.: ИМЭМО РАН. 2014. 218 с.

Тульчинский Г.Л. Личность как проект и бренд. — *Наука телевидения. Научный альманах*. Г. Гамалей, Е. Дуков (ред.). М.: Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина. 2011. С. 250–265.

Уханов Е.В. Идентичность в сетевых коммуникациях. — *Философские науки*. 2009, № 10. С. 59–71.

Уэльбек М. *Мир как супермаркет*. М.: Ad Marginem, 2004. 160 с. [Houellebecq M. *Le monde supermarche*. Paris: Flammarion. 1998.]

Фленина Т.А. Семантическое пространство понятия «сетевая идентичность». — *Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена*. 2014. № 171. С. 313–314.

Шматко Н.А. Феномен публичной политики. — *Социологические исследования*. 2001. № 7. С. 106–112.

Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст: Отрывки из публичной лекции в МГУ. — *Новое литературное обозрение*. 1998. № 32. С. 5–14.

Christakis N., Fowler J. *Connected. The Amazing Power of Social Networks and How They Shape Our Lives*. London: Harper Press. 2011. 352 p.

Foucault M. Governmentality. — *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. G. Burchell, C. Gordon & P. Miller (eds.). Chicago. 1991. P. 87–105.

Morozova E.V., Miroshnichenko I.V. Crowdsourcing in Public Policy: Technologies, Subjects and its Socio-Political Role. — *Asian social sciences*. 2015. Vol. 11. No. 7. P. 11–121.

Palfrey J., Gasser U. *Born Digital. Understanding the first generation of digital natives*. New York. 2008. 375 p.

Walters W., Haahr J. Governmentality and Political Studies. — *European Political Science*. 2005. Vol. 4. No. 3. P. 288–300.

Wellman B. 2001. Physical Place and Cyberspace: The Rise of Networked Individualism. — *International Journal of Urban and Regional Research*. Vol. 25. No 2. P. 227–252.

Идентичность и социальное действие

О.В. Попова

Ключевые слова: социальное действие, субъект, социальная группа, новые социальные движения, протестные сообщества, новая социальная реальность, сетевые механизмы формирования идентичности, сетевая коммуникация, рефлексивная включенность, сетевое топос-структурирование, публичный краудсорсинг.

Социальная идентичность как система символических установок, фиксирующих принадлежность индивида к определенной социальной группе и предполагающих не только знание об этой общности, ее нормах, правилах, символических ритуалах, но и определенные эмоциональные состояния от осознания факта принадлежности к ней, актуализируется в ситуации социального действия. При этом индивид взаимодействует в разных социокультурных пространствах как обладатель определенного пола, этничности, расы, религии, гражданства, профессии, т.е. как носитель разных идентичностей.

Социальное действие — активность субъекта, характеризующаяся наличием целеполагания, мотивации, средств реализации, рациональной оценкой соотношения затрачиваемых средств, времени и результатов (непосредственных и отложенных, прямых и косвенных последствий), а также обязательностью учета индивидом ответного поведения окружающих. Участниками социального действия выступают индивидуальные или коллективные субъекты, обладающие целеполаганием и волей, но различающиеся интересами, жизненными ресурсами, уровнем притязаний и ценностными ориентациями, а также объектами, на которые направлено действие. Социальное действие включено в сферу функционирования социальных институтов, а потому регламентируется определенными нормами. В теории идентичности категория «социальное действие» связана с понятием «социальное взаимодействие», которое акцентирует систематичность направленных друг на друга действий социальных субъектов и оценивается как условие и результат развития общества.

Понятие «социальное действие» было введено в научный оборот Максом Вебером. Согласно его взглядам, социальное действие предполагает наличие субъективного смысла, осознание индивидом возможной реакции на его поступки других участников взаимодействия и учет им этой возможной реакции. Если действие не может быть охарактеризовано как осознанное

и ориентированное на мнение других людей, то его нельзя считать социальным. М. Вебер предложил *типологию социального действия*, основанную на трех критериях: рациональность действия, степень осознанности его смысла для других, оценка наиболее вероятных последствий. Он выделил четыре типа различающихся степенью социальности идеальных действий, в реальной жизни встречающихся не в «чистом виде», а в определенных сочетаниях: а) целерациональное действие, характеризующееся предельной ясностью и точностью осознания действующим субъектом цели своего поступка, ее соотносением с имеющимися средствами достижения; б) ценностно рациональное действие, ориентированное на некие абсолютизируемые ценности, оцениваемое субъектом как безусловно не требующее соотносения с возможными различными средствами его реализации, что привносит в действия определенный элемент иррациональности; в) традиционное действие, характеризующееся привычной последовательностью и автоматическим характером, почти не требующим осмысленного полагания и интеллектуальной рефлексии; г) аффективное действие, формирующееся под воздействием эмоционального состояния субъекта, а потому минимально осмысленное. При этом третий и четвертый варианты оценивались как пограничные случаи, легко утрачивающие признаки социальности [Вебер 1990: 497–508].

Хотя никто из исследователей не ставит под сомнение то обстоятельство, что социальное действие связано именно с социальной идентичностью, встречается несколько точек зрения на проблему соотношения идентичности и социального действия. Социальное действие рассматривается как результирующая формирования идентичности [Соболь 2013], или идентичность — как следствие совместных социальных действий [Мид, 1994с: 218]. Иная точка зрения акцентирует зависимость социальных действий и взаимодействий от социальной структуры и социальной системы в целом [Giddens 1991; Орлова 2010].

Наиболее ясно *связь идентичности и социального действия* зафиксирована в методологии интеракционизма и бихевиорализма. Так, основатель интеракционизма Джордж Герберт Мид, признавая существование телесного «Я», акцентировал внимание на том, что образ «Я» содержит социальные компоненты, формирующиеся вследствие взаимодействия индивида с другими людьми. Выступая в различных социальных ролях, человек вынужден действовать в соответствии со своей статусной позицией в обществе, «врастая» в близкую себе группу; вследствие этих социальных действий и формируется его социальная идентичность, предполагающая не только правильное усвоение социальных ролей, но и осознание их смысла для индивида и социума. Социальное действие становится значимым, только если индивид выделяет его в потоке других поступков. В теории социального интеракционизма предполагается обязательность интерпретации индивидом своих поступков и действий других людей. Поступая определенным образом, индивид уже предвидит реакцию на свой поступок со стороны других и вследствие этого оказывается способным выразить свою *социальную идентичность*; таким образом,

в социальном действии предыдущие поступки определяются их будущим завершением, а индивид оказывается способным контролировать свое поведение [Мид 1994b: 224–237].

Дж. Г. Мид полагал, что символы используются людьми именно в социальной деятельности, поскольку помогают им интерпретировать свои поступки и действия других. Формирование собственной социальной идентичности предполагает способность индивида относиться к себе не только как к субъекту, но и как к объекту, поскольку «индивид участвует в том же процессе, который осуществляет другой, и контролирует свое действие с учетом этого участия» [Мид 1994c: 220].

Действуя по отношению к себе так же, как окружающие действуют по отношению к нему, осознавая свои действия с позиции другого (обобщенного другого, т.е. значимой социальной группы), человек формирует свою идентичность, осознает и принимает нормы и ценности социума, в котором живет. Но и в социуме складываются определенные ожидания относительно социальных действий индивида с его социальной идентичностью, статусными ролями и принадлежностью к определенным социальным группам. Интериоризируя, присваивая социальные роли, которые возможны для индивида в конкретном обществе, человек одновременно осваивает и социальные стандарты поведения, формирует идентичность, обретает способность к самоконтролю и оценке себя со стороны.

Еще одним из вариантов взаимосвязи идентичности и социального действия в современных теориях является концепт трансформации личности под влиянием действий группы, т.е. социальных действий. Согласно этому подходу, действия группы могут влиять на идентичность индивида тремя способами. Во-первых, идентификация индивида со «своей» группой обеспечивается совместными эффективными, успешными действиями членов этого сообщества по достижению каких-либо целей. Во-вторых, дискриминирующие или изолирующие действия больших внешних групп в отношении меньшинств обеспечивают все более усиливающееся чувство сплоченности членов этих групп-аутсайдеров и резко повышают чувство их идентификации со «своей» группой. В данном случае группа может прибегнуть для обеспечения большей лояльности своих членов к стратегии самоизоляции, что дополнительно создает сложности для ее существования. В-третьих, с целью ощущения себя полноправным членом группы индивид принимает активное участие в совместных действиях/акциях группы, тем самым обеспечивая укрепление групповой идентичности и идентификации со «своей» группой. Включаясь в деятельность группы, человек, сохраняя индивидуальные особенности, усваивает свойственные ей цели, ценности, принципы и формы отношений, а также нормы поведения, сознательно или бессознательно структурируя свои социальные отношения. Формирующаяся в результате идентичность способствует консолидации сообществ, члены которых вне зависимости от направленности действий склонны к проявлению сотрудничества и взаимопомощи.

Изменение «Я-образа» индивида происходит в результате социального взаимодействия людей в группе и «своей» группы с внешними сообществами. Усиление идентификации со «своей» группой может стать результатом осознания ее дискриминации (реальной или мнимой) со стороны других групп, что способствует формированию моделей негативной идентичности у членов этой группы. Особенно актуально это для низкостатусных групп, поскольку принадлежность к высокостатусным группам в иерархически организованном обществе автоматически осознается индивидами как образец, эталон, к которому должны стремиться все остальные.

Теория идентичности как основы социального действия предполагает, что индивиды, относящиеся к одной социальной группе, вследствие этого имеют общие сходные черты / характеристики, являющиеся определенными детерминантами их индивидуальных и коллективных социальных действий. В рамках этого подхода понятие «интерес» как основа, стимул действия деактуализируется, в центре внимания оказывается идентичность как предпосылка и движущая сила организованной активности, направленность и интенсивность которой в данном случае не объясняется сугубо прагматическими соображениями или инструментальными факторами.

Предложенная в конце 1970-х годов диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности основана на представлении о роли в коллективных политических действиях идентификации индивида с ближайшим окружением или идентификации на уровне обобщенных установок, системы ценностей, идеалов, смысла жизни. Первый тип идентификации влияет на поведение человека в рамках ситуативно взаимодействующих малых групп, а второй предполагает формирование определенной стратегии корпоративно-солидарного поведения, включающей участие в массовых социальных и политических движениях в ситуации раскола общества по принципиальным вопросам существования народа, нации, государства. Таким образом, социальное поведение индивида объясняется характером активизированных в его сознании идентичностей, осмыслением и переживанием его принадлежности к конкретным общностям в ситуации, которая требует политического выбора.

В современном мире с его все возрастающей унификацией в экономической, политической, социальной и культурной сферах и вызовами массовой инокультурной миграции в кризисных ситуациях значительно возрастает значимость политической деятельности традиционных социальных групп, например, обладающих показателями высокой сплоченности и идентичности этнических групп. Кроме того, в условиях глобализации в политических процессах значительно возрастает роль тех акторов — носителей социального действия, которые традиционно относятся в науке к неполитическим, таких, как наднациональные и региональные субъекты глобального гражданского общества — экологические движения, движения за социальную справедливость, движение альтерглобалистов. В результате складывается разнородное социальное пространство взаимодействия ценностей, смыслов, образов жизни,

институтов и идентичностей [Keane 2001: 23–24], в котором формируются альтернативные подходы к пониманию целей и преспектив общественного развития.

Такие так называемые новые социальные движения, некоторые из которых начали формироваться еще в 1960-е годы, ознаменовали собой появление нового типа организованного коллективного / совместного действия, не ориентированного на политическую институционализацию. Особенности новых социальных движений являются также значительное разнообразие повестки дня, опора на достаточно узкую группу целей, ощущение единства участников, сетевой горизонтальный принцип коммуникации и организации совместных акций. Считается, что одной из причин и, одновременно, условий их развития стало расширение возможностей осуществления прямой демократии в современном обществе.

Еще в самом начале появления новых социальных движений А. Турен высказывал предположение, что «современный тип общества более, чем какой-либо другой, должен рассматриваться как система отношений и социальных движений, культурного созидания и политической борьбы» [цит. по: Осипова, Афанасьев 2010: 331]. Он считал их особенностью столкновение противоположных интересов по поводу контроля над ресурсами развития общества, но никак не оппозицией по отношению к установленному порядку или совокупностью действий, мобилизованных на основе демонстративно выраженных ценностей.

Попытки исследователей объяснить участие значительных групп в новых социальных движениях теорией относительной депривации, концепцией мобилизации ресурсов, кризисом традиционных форм коллективной идентичности или неомарксистским предположением о борьбе против отчуждения, вероятно, не могут исчерпывающим образом охарактеризовать мотивацию этих людей, поскольку они не затрагивают системных характеристик состояния общества и государства в условиях глобализации и перехода от модерна к пост-модерну, роста влияния транснационального капитала и новых форм СМИ, а также контроля государства за своими гражданами [Морозова 2011: 168–169].

Начало XXI века ознаменовалось появлением новых социальных движений в различных странах [Snow, della Porta, Klandermans, McAdam 2013]. К уже существующим многочисленным женским, пацифистским, студенческим группам, движениям за альтернативный образ жизни добавились новые, использующие современные технологии. Заявившие о себе громкими массовыми акциями «Occupy Wall Street» («Захвати Уолл Стрит»), «Movimento 5 Stelle» (M5S, «5 звезд»), «Podemos» (Мы можем), «Nuit debout» («Ночь на ногах») стали заметными участниками политического процесса¹. Не все эти

¹ *Movimento 5 Stelle*. URL: <http://www.movimento5stelle.it/> (дата обращения 1.06.2016); *Nuit debout*. URL: <https://nuitdebout.fr/> (дата обращения 1.06.2016); *Occupy Wall Street*. URL: <http://occupywallst.org/about/> (дата обращения 1.06.2016); *Podemos*. URL: <http://podemos.info/> (дата обращения 1.06.2016).

новые формы социального действия могут описываться в привычных терминах «движений»: зачастую речь идет о «протестных сообществах» (protest publics), ситуативно объединяющих выступающих против «бюрократической политики» людей. По мнению исследователей, в основе этих новых феноменов социального действия лежит «активное гражданство» — формирование модели гражданской идентичности, противодействующей существующей в современном обществе системе «власть-гражданин».

Формы социального действия участников таких протестов сочетают online- и offline-«горизонтальную» коммуникацию [Della Porta, Mattoni 2014]. Так происходила самоорганизация «Podemos» — политического крыла «Движения 15 марта», или «Индигнадос» («Возмущенные») — испанского аналога «Occupy Wall Street». Лидерство подчас носит ситуативный характер и подчинено решению конкретных тактических задач. Массовые протестные акции — основная форма их самоорганизации — получают поддержку преимущественно от других общественных организаций, при этом отношение к политическим партиям и профсоюзам может отличаться радикально. Например, американский «Occupy Wall Street» опирается на поддержку профсоюзов, а французский «Nuit debout» демонстративно отказывается сотрудничать с ними под девизом «Никакого флага, никакого лидера».

Собственно политические взгляды или конфессиональная принадлежность участников этих новых форм социальных действий считается их личным делом и никоим образом не является барьером или фильтром для участия в их деятельности. Так, «Всемирный социальный форум» с 2001 года собирает людей разных взглядов и убеждений, объединенных критическим отношением к модели неolibеральной глобализации. Несовпадение политических взглядов участников, предельный популизм их лозунгов, с одной стороны, является весьма привлекательным для многих социальных групп, но в то же время выступает «подводным камнем», существенно снижающим шансы протестных сообществ на длительное существование и поддерживающим их деструктивный потенциал.

Формы социальных действий строятся на принципах прямой демократии, они изоморфны и в то же время разнообразны в конкретных проявлениях [Della Porta, Mattoni 2011]. Если в некоторых случаях ставка делается фактически на полулегальные и даже нелегальные действия («Occupy Wall Street» использовало в течении нескольких месяцев демонстративное пребывание в разбитом в центре города палаточном городке и периодическое блокирование крупных магистралей; «Nuit debout» — французское движение с оригинальной формой действия — проводило ночные манифестации на улицах столицы и других крупных городов с организацией стихийных лагерей на центральных городских площадях), то в других случаях протестные сообщества институционализируются и могут встраиваться в существующую политическую систему. Они участвуют в выборах на локальном, региональном, общенациональном и даже надгосударственном (как в случае испанского «Podemos») уровнях, сохраняя своеобразие своих социальных действий глав-

ным образом за счет контроля над занявшими выборные должности своими членами и корректируя их действия: так, итальянское «Движение пяти звёзд» исключило из своих рядов избранных на местных выборах политиков, заподозренных в злоупотреблении служебным положением и связях с каморрой. Важной формой социального действия этих движений принято считать практики финансовых пожертвований через веб-сайты.

Аналитики расходятся в оценках политических перспектив новых форм социальных действий. Некоторые из них уже встали на пути трансформации в новые политические партии, другие будут использоваться действующими политиками в своих целях, третьи обречены на исчезновение после реализации декларируемых задач или эмоционального выплеска протеста. Но все они — заметные ростки новых форм массовой политики — модернизирующей «политики граждан» или архаизирующей «политики массы» [Массовая политика 2016], в которых формируются новые политические идентичности. В любом случае новые социальные движения в первых десятилетиях XXI века демонстрируют модели идентичности, в которых отрицание, связанное с неприятием существующих форм социальных и политических отношений современного общества, достаточно гармонично сочетается со взаимодействием людей разных убеждений и взглядов, выходом за рамки «своих» сообществ и совместными активными политическими действиями.

Литература

- Вебер М. 1990. *Избранные произведения* (под ред. Ю. Давыдова). М.: Прогресс. 880 с.
- Массовая политика: институциональные основания* (под ред. С.В. Патрушева). 2016. М.: Политическая энциклопедия. 287 с.
- Мид Дж. 1994а. Аз и Я. — *Американская социологическая мысль: Тексты* (под ред. В.И. Добренкова). М.: Изд-во МГУ. С. 227–237.
- Мид Дж. 1994б. Интернализированные другие и самость. — *Американская социологическая мысль: Тексты* (под ред. В.И. Добренкова). М.: Изд-во МГУ. С. 224–227.
- Мид Дж. 1994с. От жеста к символу. — *Американская социологическая мысль: Тексты* (под ред. В.И. Добренкова). М.: Изд-во МГУ. С. 215–224.
- Морозова Е.В. 2011. Новые социальные движения. — *Идентичность как категория политической науки. Словарь терминов и понятий. Т. 1.* (отв. ред. И.С. Семенов). М.: РОССПЭН. С. 168–172.
- Орлова Э.А. 2010. Концепции идентичности/идентификации в социально-научном знании. — *Вопросы социальной теории. Т. IV.* С. 87–111.
- Осипова Н.Г., Афанасьев В.В. 2010. *Динамическая социология Алена Турена.* — *Европейская социология.* Гл. 14. М.: «Канон+». РООИ «Реабилитация». 368 с.
- Соболь Т.В. 2013. Проблема формирования социальной идентичности в условиях глобальных общественных изменений. — *Философия и космология-2012. Научно-теоретический ежегодник.* Киев. С. 211–230.
- Keane J. 2001. Global Civil Society? — *Global Civil Society Yearbook 2001.* H. Anheier, Helmut, M. Glasius, M. Kaldor (eds.). Oxford: Oxford University Press. P. 23–47.
- Giddens A. 1991. *Modernity and self-identity.* Stanford: Stanford university press. 256 p.

Della Porta D., Mattoni A. (eds.). 2014. *Spreading Protest: Social Movements in Times of Crisis*. Colchester UK: ECPR Press. 324 p.

Della Porta D., Mattoni A. 2014. *The Transnational Dimension of Protest: From the Arab Spring to Occupy*. URL: <http://ecpr.eu/Filestore/WorkshopOutline/20.pdf> (дата обращения 1.06.2016).

Snow D., della Porta D., Klandermans B., McAdam D. 2013. *The Wiley-Blackwell Encyclopedia on Social and Political Movements*. Malden, MA: Wiley. 1544 p.

Раздел пятый

Идентичность и идентичности: кто есть кто в формировании исследовательского поля

Глава 35

КРАТКИЙ БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Бенедикт АНДЕРСОН

Бенедикт Андерсон (Benedict Anderson, 1936, Куньмин, Китай — 2015, Бату, Восточная Ява, Индонезия) — историк, социолог, политолог и исследователь ирландского происхождения, специалист по странам Юго-Восточной Азии. В 1957 году окончил Кэмбридж по направлению «Античная история». В дальнейшем стал заниматься политическими исследованиями, вплоть до 2002 года работал в университете Корнелла. В 1994 году стал членом «Американской академии наук и искусств». Наиболее известен как автор концепции «воображаемых сообществ», заложившей фундамент для нового витка развития теории нации и национализма, а также понимания истоков возникновения национальной идентичности.

Посвятив значительную часть своих исследований Юго-Восточной Азии и, в частности, малоизученной на тот момент Индонезии, Андерсон одним из первых обратил внимание на национальный сентимент, активно эксплуатировавшийся в этих странах, в том числе в течение череды конфликтов — как во время войны США во Вьетнаме, так и в ходе столкновений между Камбоджой, Вьетнамом и Китаем в 1970-х годах. В своей работе «Ява революционного периода; Оккупация и сопротивление. 1944–1946» Андерсон уже достаточно подробно говорит о национализме как о феномене, мобилизующем и объединяющем массы путем представления законченной картины мира, выходящей далеко за рамки сугубо политических требований. Впоследствии эти идеи

получили развитие в ставшей классической работе «Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национализма», увидевшей свет в 1983.

С течением лет книга была переведена на 29 языков, она несколько раз переиздавалась и до сих пор является одной из наиболее цитируемых научных работ по тематике наций и нациестроительства. Ценность этого труда заключается не столько в академической проработанности концепции автора, сколько в дискуссии, которую она вызвала. Несмотря на активную критику «Воображаемых сообществ», трактовка Андерсоном национализма в антропологической, а не в исключительно идеологической проекции оказалась достаточно гибкой, чтобы отвечать запросам времени.

Оригинальность подхода Андерсона заключалась в том, что он рассматривал национализм как целостную аналитическую категорию. В понимании Андерсона национализм — это особым образом измененная форма сознания, существующая исключительно за счет вымышленных представлений людей об их сообществе. Вымышленными они являются постольку, поскольку индивид, как правило, имеет четкое представление о своей принадлежности к определенному сообществу, хотя личное знакомство с его членами зачастую не выходит за рамки ближнего соседства. Вместе с тем подобная принадлежность зиждется на понимании нации как сообщества внутри определенных границ, отделяющих ее от других наций, на суверенитете, свободном от монархического ритуала, и на горизонтальных социальных связях, превосходящих по значимости классовую принадлежность. Национальное сознание тем самым становится свободным от многих (в том числе географических) оков, что позволяет объяснить общее происхождение национализма при разных изначальных предпосылках развития конкретного общества. Самоидентификация индивида в данном случае становится во главу угла при анализе различных аспектов общественного устройства.

Несмотря на то, что Андерсон изначально придерживался марксистских взглядов, он говорил о доминанте горизонтальных связей как основе национализма, что для марксистской традиции было нехарактерным. Более того, классический марксизм не давал объяснения проблеме возникновения национализма, которую Андерсон как раз и попытался осмыслить. Впрочем, сложность интерпретаций термина заключается в том, что национализм в глазах приверженцев соответствующей идентичности приобретает трансцендентальный характер, давая объяснение необходимости страданий, жертвы и смерти во имя будущего нации. Тем самым, национализм встает в один ряд с религией, а не с идеологией. Поэтому «воображаемая» национальная идентичность получает и ценностное наполнение.

Будучи продуктами эпохи модернити, национализм и национальная идентичность по Андерсону обретают свою значимость, когда «старые» идентичности ее теряют. В частности, ключи к истине, содержащиеся в древних языках, таких, как латынь, были утеряны под влиянием повсеместного распространения печати, а, следовательно, и общедоступного и общепринятого языкового

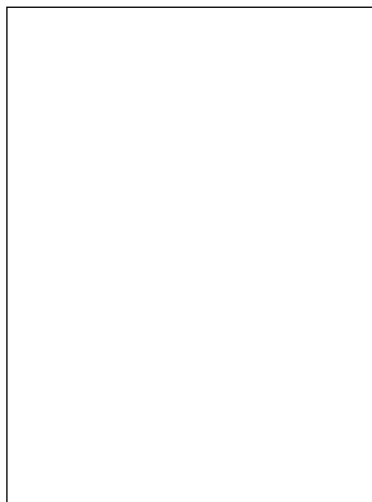
кода. Более того, владение «священным» языком перестало быть необходимым условием получения знания. Более того, по Андерсону национализм занимал тем большее место в общественном сознании, чем меньшее значение оставалось за религией.

Национализм в Европе XVIII–XIX веков по Андерсону в значительной степени основывался на языке. Определение нации, как правило, ассоциировалось с собственным языком и литературной традицией, что повлекло за собой создание оформленной грамматики и словарей для языков, ранее ими не обладавших: чешского, венгерского, украинского, сербского, польского, норвежского и т.д. Через распространение печати они позволяли отстаивать свою самость

по отношению к языкам крупных династических империй. Национальная идентичность тем самым становилась фактически способом мышления, выступая основой самоопределения и патриотизма. Как результат, такой источник самоидентификации народа стал причиной революционного противостояния по отношению к архаичным формам правления, власти аристократии и империй. Поэтому попытки использовать язык как искусственный способ объединения разрозненной империи в единую нацию далеко не всегда приводили к успеху.

Идеи «воображаемых сообществ» развивались и самим автором. В 1991 году вышла расширенная редакция книги, в которую был добавлен раздел, посвященный революционным нациям «креолов» Нового Света. Последний пример с точки зрения Андерсона демонстрирует триумф национализма в Америке прежде, чем он произошел в Европе. Предпосылки возникновения национального сознания здесь были иными, нежели чем в Старом Свете, и основывались на особенностях местной структуры власти и управления и быстрым развитием «печатного капитализма». Сообщества первых поселенцев разделяли с метрополией и язык, и религиозные убеждения, и жизненный уклад, при этом все же находясь от нее в изоляции. Неприятие креолов во властной вертикали метрополии и создание путем газет автономного информационного пространства на местах стали базисом для возникновения национальной идентичности, не основанной на языке. Что примечательно, именно сплав культур потомков переселенцев и туземных народов стал одним из источников новой национальной идентичности, не опиравшихся на примордиальные связи.

В исследованиях Андерсона отмечают наличие структуралистских подходов, и его видение подвергалось критике со стороны конструктивистов, отмечавших, к примеру, рудиментарную роль государства в его теории.



Но постановка вопроса о «воображаемом» характере жизни общества постмодернити получила признание и широкий отклик, продемонстрировав свой когнитивный потенциал. Технологический прогресс и массовые миграции привели к появлению причудливых комбинаций идентичностей, а вместе с ними и новых форм национального самосознания. Примером выступает такой атрибут национальной принадлежности, как время. Индивид воспринимает себя частью временного континуума, выходящего далеко за рамки продолжительности собственной жизни и прочно ассоциируемого с конкретной нацией. Источником таких убеждений может быть конструируемый миф, однако этот факт не лишает его силы. Неизменным остаётся наличие «воображаемого сообщества» как опоры для формирования индивидуальной идентичности.

Вплоть до своей смерти Андерсон продолжал работу по изучению стран Юго-Восточной Азии: Индонезии, Таиланда, Филиппин. Одним из направлений изысканий стала попытка отследить истоки появления антиколониального национализма, в том числе — влияния идей европейских анархистов на антиколониальный национализм на Филиппинах и Кубе. Исследования Бенедикта Андерсона внесли значительный вклад в понимание культуры и социальных процессов стран данного региона. Однако его работа позволила не только углубить познание азиатских культур, но и увидеть то общее, что есть в странах условных Востока и Запада.

Акцентируя внимание на причинах возникновения национализма, а не только на его конфликтном потенциале, Андерсон продемонстрировал, что вне зависимости от того, о какой части света идет речь, людьми движут весьма схожие представления о должном и значимом. В конце концов, каков бы ни был исторический путь конкретной общности, в центре событий всегда стоит человек.

Литература

- Андерсон Б. 2001. *Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма*. М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001. 288 с.
- Anderson B. 1972. *Java in Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944–1946*. Ithaca and London: Cornell University Press. 494 p.
- Anderson B. 1985. *In the Mirror. Literature and Politics in Siam in the American Era*. — Southeast Asia Program Publications, Ithaca, United States. 303 p.
- Anderson B. 1990. *Language and Power. Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press. 305 p.
- Anderson B. 1998. *The spectre of comparisons: nationalism, Southeast Asia and the world*. Verso, London. 386 p.
- Anderson B. 2001. Western nationalism and eastern nationalism. Is there a difference that matters? — *New left review*. May-June. P. 31–42.
- Anderson B. 2005. *Under Three Flags: Anarchism and the Anti-Colonial Imagination*. London: Verso. 255 p.

Anderson B. 2006. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Revised Edition*. London: Verso. 265 p.

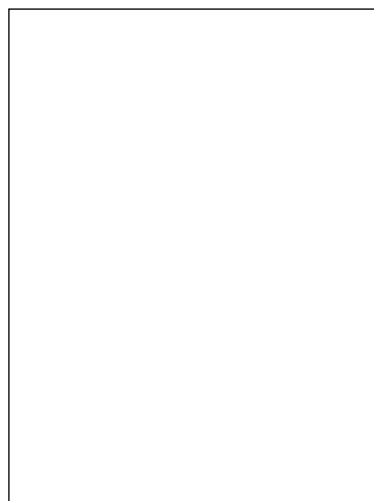
Anderson B. 2012. *The Fate of Rural Hell: Asceticism and Desire in Buddhist Thailand*. London, New York and Calcutta: Seagull Books. 99 p.

П.А. Вовкодав

Фредрик БАРТ

Фредрик Барт (*Fredrik Barth*, 1928, Лейпциг — 2016, Осло) — норвежский антрополог и социолог. Выпускник Чикагского университета (1949). С 1961 по 2008 год вел научные исследования в университетах Великобритании (Лондонская школа экономики, Кембридж), Норвегии (Берген, Осло) и США (Эмори, Гарвард, Бостон). Участник многочисленных этнографических и антропологических экспедиций на Ближний Восток, в Азию, Африку и Океанию. Член Норвежской академии наук и литературы.

Барт, наряду с Клодом Леви-Строссом, принадлежит к когорте ученых-антропологов, которые сочетали полевые исследования с теоретическими разработками в духе конструктивизма. Имя молодому исследователю сделала уже его первая крупная работа «Политическое лидерство у пуштунов Свата» (1959). В центре исследований Барта находился вопрос об *этнических границах*. Такие границы, как доказывал ученый, возникали в результате протяженного во времени экономического взаимодействия отдельных социальных акторов, которые имели общую цель в виде максимизации своих интересов. Как первоначально считал Барт, именно таким образом возникали структурированные системы норм и ценностей, которые опять же определялись конкретными экономическими интересами индивидов. В этом смысле исследователь подчёркивал, что саму социальную структуру следовало понимать скорее как неожиданно возникающее, нежели чем прочно фиксированное явление. Паттерны поведения в рамках социума, по Барту, вырабатываются, поддерживаются и меняются в результате экономического выбора отдельных лиц, каждое из которых учится правилами «социальной игры». Именно индивиды в представлении Барта были «двигателями» институциональной преемственности и социальных изменений [Erickson, Murphy 2008: 166–168].



Таким образом, изначально Барт полагал, что этническая группа является, прежде всего, особой формой социально-экономической организации. Однако со временем исследователь внес в свою теорию определенные коррективы. Они отразились в программной работе Барта «Этнические группы и способы взаимодействия между ними» (1969). В рамках нового исследования автор предложил концепцию этнической группы как институциональной формы, которая конституирует и поддерживает культурные признаки. Как отмечал Барт, культурное единство этнической группы не является изначально присущей ей характеристикой, а, напротив, достигается в ходе самого существования группы. При этом он подчеркивал, что постоянство этнических групп зависит одновременно от сохранения границы между ними и межгрупповых взаимодействий. Последний тезис, по мысли Барта, означал, что этнические группы могут существовать только при взаимодействии друг с другом и, соответственно, артикуляции культурных и статусных различий, тогда как изолированные группы не могут рассматриваться как этнические. В определенном смысле этнос, по Барту, становится способом социальной организации культурных различий [Barth 1996: 294–323].

Важное место Барт отводит социальной категоризации в рамках этнической группы. Она, в свою очередь, базируется на процессах «исключения» и «включения», то есть разграничения «своих» и «других», которое помогает сохранить дифференциальные признаки группы [Этнические группы и социальные границы 2006: 161]. В роли маркеров данного разграничения Барт видит различные особенности, которые варьируются от группы к группе. Это могут быть социальные, культурные, политические, статусные, физические различия. Исходя из них индивид может быть отнесен к той или иной категории. Данный процесс, по мнению Барта, лежит в основе феномена этничности. Иллюстрируя его на своем излюбленном пуштунском материале, Барт отмечает, что представители иных статусных групп могут интегрироваться в пуштунское общество в результате многообразных практик интеракции, включая матримонические союзы, охоту и спортивные состязания, в ходе которых происходит отказ от «старых» культурных маркеров и восприятие «новых», пуштунских. Новые паттерны идентичности, как показали исследования Барта, могут не быть этнически обусловленными, а, напротив, корениться в религиозном контексте или в отношении к материальным объектам [Этнические группы и социальные границы 2006: 156, 161]. Таким образом происходит установление социокультурных границ общности, которые являются неизменными даже в случае этнических изменений в группе.

Литература

Этнические группы и социальные границы: социальная организация культурных различий. Сборник статей (под ред Ф. Барта). 2006. М.: Новое изд-во. 200 с.

Barth F. 1996. Ethnic Groups and Boundaries. — *Theories of ethnicity: A classical reader* (ed. by W. Sollars). New York: New York University Press. P. 294–323.

Barth F. 1966. *Models of Social Organization*. London: Royal Anthropological Institute. 32 p.

Barth F. 1981. *Process and form in social life*. London: Routledge. 243 p.

Barth F. 1987. *Cosmologies in the making: a generative approach to cultural variation in inner New Guinea*. Cambridge: Cambridge University Press. 99 p.

Erickson P.A., Murphy L.D. (ed). 2008. *A History of Anthropological Theory*. Toronto: University of Toronto Press. 273 p.

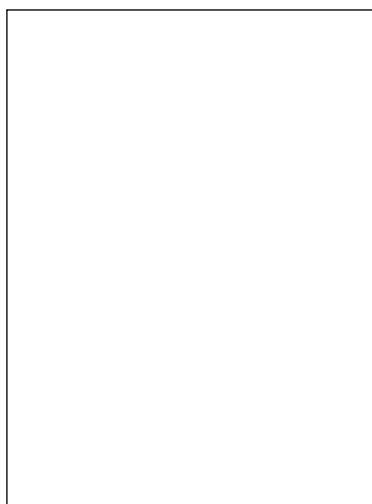
Eriksen T.H. 2015. *Fredrik Barth: an intellectual biography*. London: Pluto. 249 p.

И.И. Баринов

Зигмунт БАУМАН

Зигмунт Бауман (*Zygmunt Bauman*, 1925, Познань, Польша — 2017, Лидс, Великобритания) — социолог и политический философ, выдающийся мыслитель современности, один из самых цитируемых сегодня ученых-обществоведов. Долгое время жил в СССР, куда семья переехала из оккупированной нацистами Польши, воевал в составе Первой армии Войска Польского. Учился в Варшавском университете, проходил научную стажировку в Великобритании (Лондонская школа экономики); в 1959 году опубликовал первую работу по истории социалистического движения в Великобритании. С начала 1970-х годов на волне антисемитской кампании в Польше отказался от польского гражданства и переехал в Израиль, с 1971 года вел научную и педагогическую деятельность в Университете Лидса (Великобритания).

В фокусе внимания ученого находились проблемы социального отчуждения, качественные характеристики современных обществ, глобализации и изменений в сознании и идентичности. Автор более 50 книг и многочисленных статей; среди наиболее известных его работ — «Свобода» (1988), «Актуальность Холокоста» (1989), «Глобализация. Последствия для человека и общества» (1998), «Текущая современность» (2000), «Индивидуализированное общество» (2001). Предложенные в этих трудах образные характеристики современности (в частности, давшие названия двум последним упомянутым книгам) заняли прочное место в научном дискурсе.



По мнению ученого, главный вектор развития современного общества — стремительно протекающий процесс *индивидуализации*. Такое общество уникально тем, что более не признает потребности в диалоге между общественным и частным: «на современной стадии... мы вступили на территорию, которая никогда прежде не была населена людьми, — на территорию, которую культура в прошлом считала непригодной для жизни» [Бауман 2002: 316]. Отрицая прежние формы социальности, избегая ответственности и всего долгосрочного, человек провоцирует нарастание в обществе антигуманизма, становится все более дезориентированным [там же: xiv]. Это ставит под угрозу коллективные формы идентичности и ведет к эрозии таких форм социальной организации, как семья, этнос, нация: «вещи — и прежде всего наиболее важные — “выходят из-под контроля”, что, в свою очередь, ведет к параличу политической воли; к утрате веры в то, что коллективным образом можно достичь чего-либо существенного, а солидарные действия способны внести решительные перемены в состояние человеческих дел» [там же: 67].

Возрастает роль индивида во всех общественных процессах: он становится одним из ключевых субъектов современной политики: происходит «сдвиг функций, ранее принадлежавших исключительно политическим институтам, как по горизонтали (например, передача их рынкам), так и по вертикали (от уровня общественной на уровень индивидуальной жизненной политики)... Привычные политические авторитеты исчезают или отходят на второй план, и возникающую пустоту начинает заполнять индивидуальное “я”» [Бауман 2011: 254, 256].

Процесс формирования идентичности в условиях подобного быстро меняющегося общества «текущей современности», по мнению З. Баумана, затруднен нехваткой «паттернов, кодексов и правил, которым можно подчиняться, которые можно выбрать в качестве устойчивых ориентиров и которыми впоследствии можно руководствоваться» [Бауман 2008: 13]; ориентацию на референтные группы сменяет процесс «универсального сравнения» — на протяжении жизни человека его цели, как и идентичность, могут неоднократно меняться. Феномен индивидуализации выступает ключевой характеристикой этого процесса: человек освобождается от предписанной, унаследованной и врожденной предопределенности его социальной роли, утрачивая классовую и т.п. принадлежности. Главной ценностью для современного человека здесь выступает свобода выбирать из широкого набора идентичностей; однако определение собственной идентичности, подчеркивает ученый, становится уже не столько вопросом свободного выбора, сколько обязанностью: идентичность превратилась из «данности» в «задачу», которую необходимо постоянно решать и которая состоит в установлении автономии индивида *de jure* [Бауман 2005: 181].

В условиях глобализации теряют свою силу все «жесткие» и иерархические идентичности, в том числе идентичность как принадлежность к государству-нации. Современность — это эпоха «свободных» идентичностей [Bauman 2004: 29]. Одной из основных реакций на данную «экзистенциальную неуве-

ренность», отмечает Бауман, становится укрепление этнической идентичности как predetermined, не являющейся продуктом деятельности человека, а также формирование «постулированных идентичностей» по аналогии с этнической: сообщества «энергично придумывают собственные корни, традиции, общую историю... но прежде всего свою отдельную и уникальную культуру» [Бауман 2008: 114].

С одной стороны, вынужденный постоянно задавать себе вопрос о собственной идентичности, современный человек находится в процессе бесконечного движения, который, как констатирует социолог, не только не обещает «покоя или удовлетворения от прибытия» [Бауман 2008: 41], но и сопровождается постоянным страхом перед потерей вновь обретенной идентичности. Перед свободной личностью сегодня стоит задача формирования такой индивидуальности, «которая должна быть достаточно тверда, чтобы быть признанной как таковая, и все же достаточно гибкой, чтобы не препятствовать свободе будущих движений в постоянно меняющихся обстоятельствах» [там же: 58]. Бауман полагает, что в решении этой задачи молодежи могло бы помочь внедрение в обучающие программы школ и университетов «дорожных карт», показывающих возможные пути решения проблем по поиску и отстаиванию идентичности вплоть до ее общественного признания [Bauman 2015: 96].

С другой стороны, в ряде пространств современного мира идентичность претерпевает принципиальные изменения. Так, анализируя современное европейское общество, Бауман приходит к выводу о том, что идентичность сегодня «перестает быть “передовой”, на которой принуждение и свобода, насаждение и выбор, включенность и отстранение сталкиваются в борьбе на выживание; она, скорее, превращается в игру искушений и избегания ошибок... в своего рода развлечение, рекреационной игры, излюбленное хобби *homo ludens*, но не *homo politicus*... Кроме того, идентичность во многом приватизирована (причем процесс ее коммерциализации продолжается), изгнана из пространства Политики в волатильную и слабоструктурированную сферу “*life politics*”, где нет места актерам, принимающим политические решения. Игра под названием “поиск идентичности” становится спектаклем, который ставит то один, то другой продюсер, и который принимает форму театральных жанров — от эпической драмы до фарса и гротеска» [Bauman, Donskis 2013: 33–34]. При этом конфликтное противостояние

Зигмунт Бауман внес огромный вклад в исследования идентичности, показав траектории ее эволюции в обществе постмодерна. Он четко обозначил вызовы и риски, с которыми оказывается лицом к лицу человек в условиях неопределенной «текущей современности». Заданные в его трудах ракурсы анализа социальных изменений легли в основу множества научных работ. Ученый завоевал непререкаемый авторитет «великого социолога современности», «настоящего» публичного интеллектуала, готового объяснять и отстаивать свои идеи для того, чтобы люди лучше понимали мир, в котором живут сегодня и в котором будут жить завтра.

Литература

- Бауман З. 2002. *Индивидуализированное общество*. М.: Логос. 390 с.
- Бауман З. 2008. *Текучая современность*. СПб.: Питер. 240 с.
- Бауман З. 2011. Прощание с миром своих и чужих. — *Вокруг света*. № 12. С. 248–252, 254–260.
- Bauman Z. 1973. *Culture as Praxis*. L.: Routledge & Kegan Paul. 198 p.
- Bauman Z. 1989. *Modernity and the Holocaust*. Cambridge: Polity Press. 244 p.
- Bauman Z. 1990. *Thinking Sociologically*. Oxford: Basil Blackwell. 241 p.
- Bauman Z. 1993. *Postmodern Ethics*. Cambridge MA: Basil Blackwell. 293 p.
- Bauman Z. 1998. *Globalization: The Human Consequences*. N.Y.: Columbia University Press. 136 p.
- Bauman Z. 2004. *Identity. Conversations with Benedetto Vecchi*. Polity. 57 p.
- Bauman Z. 2006. *Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty*. Cambridge: Polity Press. 128 p.
- Bauman Z. 2011. *Culture in a Liquid Modern World*. Cambridge: Polity Press. 144 p.
- Bauman Z., Donskis L. 2013. *Moral Blindness: the Loss of Sensitivity in Liquid Modernity*. Polity Press. 218 p.
- Bauman Z., Raud R. 2015. *Practices of Selfhood*. Polity Press. 180 p.
- Bauman Z. 2017. *Retrotopia*. Cambridge: Polity Press. 180 p.
- Bauman's Challenge. — *Sociological Issues for the 21st Century* (ed. by M. and K. Tester). 2010. L.: Palgrave. 213 p.
- Davis M. 2008. *Freedom and Consumerism: A Critique of Zygmunt Bauman's Sociology*. L.: Routledge. 198 p.
- The Bauman Institute. School of Sociology and Social Policy, University of Leeds. Доступ: <http://baumaninstitute.leeds.ac.uk/> (проверено: 04.01.2017).

А.А. Бардин

Михаил БАХТИН

Михаил Михайлович Бахтин (1895, Орел — 1975, Москва) — известный философ, литературовед, лингвист, культуролог. В 1929 году за участие в кружке «Воскресение» был сослан из Ленинграда в Казахстан. С 1937 года по 1945 год жил на станции Савёлово в Калининской области, где работал учителем в школе, затем до выхода на пенсию работал в Мордовском пединституте (г. Саранск), в 1969 году переехал в Москву. Основные публикации работ: «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965, 1990), «Эстетика словесного творчества» (1979, 1986), «Работы 1920-х годов» (1994), «Проблемы творчества и поэтики Достоевского» (1994) и Собрание сочинений в 7-ми томах [Бахтин 1996–2012]. В полной мере теоретическое значение его творчества было оценено лишь в последние годы его жизни и после смерти [Аверинцев 1992; Emerson 1997]. Бахтин, по выражению В.С. Библера, «характерен для мышления XX века. И — одновременно — М.М. Бахтин исключителен, единственен. Неповторим» [Библер 1991: 9].

Проблемы, связанные с тематикой идентичности, постоянно поднимались в работах М.М. Бахтина, но в разные периоды они рассматривались под разными углами зрения. Заметное влияние на формирование его взглядов оказали учения Канта, Кьёркегора, марбургской школы неокантианства, феноменологии. Среди его работ, относящихся к раннему периоду творчества, стоит отметить исследования «Автор и герой в эстетической деятельности» и «К философии поступка» (эти тексты были опубликованы посмертно, и названия им дали публикаторы). Бахтин отмечал, что всякий человек является «автором» по отношению к другим людям, а те, в свою очередь, являются по отношению к нему «героями». Ключевым положением здесь было восприятие другого человека как говорящего и как выглядящего, имеющего наружность. Бахтина интересовала грань между внутренним и внешним в человеке, между его «словом» и «телом». При этом он подчеркивал персональную ответственность каждого человека (даже считающего себя частью целого) за его поступки: «Я причастен событию персонально, и также всякий предмет и лицо, с которым я имею дело в моей единственной жизни, персонально причастны. Я могу совершать политический акт и религиозный обряд как представитель, но это уже специальное действие, которое предполагает факт действительного уполномочения меня, но и здесь я не отрекаюсь окончательно от своей персональной ответственности, но само мое представительство и уполномоченность ее учитывают. Молчаливой предпосылкой ритуализма жизни является вовсе не смирение, а гордость. Нужно смириться до персональной участности и ответственности. Пытаясь понимать всю свою жизнь как скрытое представительство и каждый свой акт как ритуальный, мы становимся самозванцами. (...) Всякое представительство не отменяет, а лишь специализует мою персональную ответственность. Действительное признание-утверждение целого, которому я буду представлять, есть мой персонально ответственный акт» [Бахтин 1986].

Защищенная в 1946 году в Москве (в ИМЛИ) кандидатская диссертация «Рабле в истории реализма» позднее легла в основу знаменитой книги «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965). Здесь Бахтин выступает как тонкий знаток карнавальной народной культуры западноевропейского средневековья, в которой «телесный верх» и «телесный низ» человеческой природы постоянно переплетались, переходили друг в друга. Соответственно, и социальные статусы в пространстве карнавальной культуры также «перевертывались» под одобрительный общий смех: высокое становилось низким, а низкое высоким. Автор развил здесь концепцию

«гротескного коллективного тела», которое мыслилось и как незавершенность в пространстве (праздничное состояние, дающее человеку ощущение совместности и причастности всемирной жизни), и как незавершенность во времени (продолжение человеческого рода). Вслед за А.А. Ухтомским Бахтин говорил о хронотопе как о «существенной взаимосвязи временных и пространственных отношений» [Бахтин 1975]. Хронотоп, или «времяместо» (от др.-греч. χρόνος «время» и τόπος «место») — та конкретная среда, в которой происходит человеческое общение и сопереживание, то присоединение к общему, которое помогало человеку не впадать в отчаяние даже в самых тяжелых жизненных ситуациях.

Особое внимание Бахтина привлекало творчество Ф.М. Достоевского: работа, выпущенная еще в 1929 году, впоследствии была издана им в 1963 году в переработанном и дополненном виде. Бахтин говорил о «принципиальном новаторстве Достоевского», создавшего диалогический и «полифонический» роман (в отличие от традиционного монологического романа): «Только в общении, во взаимодействии человека с человеком раскрывается и “человек в человеке”, как для других, так и для себя самого». Понятие «полифония» (от др.-греч. πολυφωνία, «многозвучие», по аналогии с музыкальной полифонией — «многоголосьем») уже использовалось до этого в работах Вяч. Иванова, однако у Бахтина термин приобретает новый смысл, закрепившийся в современной транскультурной этике диалога [Nielsen 1995: 803]. В полифоническом романе Достоевского, по наблюдению Бахтина, представлено «множество самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония полноценных голосов», причем голос героя всегда пронизывает для чужих голосов. Другие голоса (голоса других), таким образом, полнее раскрывают образ героя: «Человек никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя применить форму тождества $A=A$... Подлинная жизнь личности совершается в точке этого несовпадения человека с самим собой» [Бахтин 1979(a): 100].

В творчестве Бахтина постоянно встречается эта высказанная еще в его ранних произведениях мысль, что любому человеку принципиально необходим «Другой» для завершения собственного образа, ибо только «Другой» видит со стороны то, что «Я» не смогу увидеть даже в отражении в зеркале [Авдеенков 2011; Козырев 2011; Махлин 1997]. Вот как он сам формулировал это наблюдение по теме «Я и Другой»: «Избыток моего видения по отношению к другому человеку обуславливает собой некоторую сферу моей исключительной активности, то есть совокупности таких внутренних и внешних действий, которые только я могу совершить по отношению к другому, ему же самому со своего места вне меня совершенно недоступных, действий, восполняющих другого именно в тех моментах, где сам он себя восполнить не может. (...) Избыток видения — почка, где дремлет форма и откуда она и развертывается, как цветок. Но чтобы эта почка действительно развернулась цветком завершающей формы, необходимо, чтобы избыток моего видения восполнял кругозор созерцаемого другого человека, не теряя его своеобразия. Я должен

вчувствоваться в этого другого человека, ценностно увидеть изнутри его мир так, как он его видит, стать на его место и затем, снова вернувшись на свое, восполнить его кругозор тем избытком видения, который открывается с этого моего места вне его, обраться к нему, создать ему завершающее окружение из этого избытка моего видения, моего знания, моего желания и чувства» [Бахтин 1979(6): 24–25]

Представляет интерес и то, как применял Бахтин концепцию «Другого» в отношении процесса познания историком событий и персонажей далекого прошлого. Обязательным условием приближения к объективности бытия прошлого является стремление своим избытком видения пополнить кругозор «Другого», не теряя его своеобразия. Для этого первым шагом исследователя должна стать попытка «вчувствоваться» в этого «Другого», «ценностно увидеть изнутри его мир так, как он его видит, стать на его место». Этот первый момент созерцательной деятельности Бахтин называл «вживанием». В связи с этим Бахтин обращал внимание на различие между временем автора и временем прошлого («Другого»). Время «Другого» отличается завершенностью, ритмичностью, пограничностью, тогда как авторское время характеризуется не-исполненностью, будущностью, безграничностью, хаотичностью. Современные историки нередко пытаются наложить на прошлое какие-то готовые абстрактные схемы. Однако полное подчинение «Другого» (т.е. исторических персонажей) теоретическим построениям и методологическим предпочтениям автора ведет к полной же потере прошлой, «другой» идентичности: «...мы познаем отвлеченный смысл, но теряем единственный факт действительного исторического свершения» [Булыгина 2008]. Поэтому без «вживания», без попытки увидеть изнутри мир «Другого» не может быть и адекватного понимания его идентичности.

Творческое наследие Бахтина еще нуждается в более глубоком исследовании и осмыслении, причем со стороны не только филологов и философов, но и всех тех, кто так или иначе касается изучения тематики идентичности (историки, политологи, психологи, социологи и другие представители гуманитарных наук).

Литература

- Бахтин М.М. *Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике*. — Бахтин М. М. *Вопросы литературы и эстетики*. М.: Художественная литература, 1975. С. 234–407.
- Бахтин М.М. (а) *Проблемы поэтики Достоевского*. М.: Советская Россия, 1979. 320 с.
- Бахтин М.М. (б) *Эстетика словесного творчества*. Сост. С.Г. Бочаров, примеч. С.С. Аверинцев и С.Г. Бочаров. М.: Искусство, 1979. 423 с.
- Бахтин М.М. К философии поступка. — *Философия и социология науки и техники*. Ежегодник 1984–1985. М., 1986. С. 80–138.
- Бахтин М.М. *Собрание сочинений*: В 7 т. / Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН. М.: Русские словари; Языки славянских культур, 1996–2012 (Т. 1. Философская эстетика 1920-х годов. 2003. 957 с. Т. 2. Проблемы творчества Достоевского. Статьи о Толстом. Записи курса

лекций по истории русской литературы. 2000. 799 с. Т. 3. Теория романа (1930–1961 гг.). 2012. 880 с. Т. 4 (1). Франсуа Рабле в истории реализма (1940). Материалы к книге о Рабле (1930–1950-е гг.). Комментарии и приложения. 2008. 1120 с. Т. 4 (2). Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая культура). 2010. 752 с. Т. 5. Работы 1940-х — начала 1960-х годов. 1997. 732 с. Т. 6. Проблемы поэтики Достоевского. Работы 1960–1970 гг. 2002. 800 с.).

Авдеенков А.Н. Ценность для другого в философии М. Бахтина и ценность другого в философии Ж.-П. Сартра. — *Система ценностей современного общества*. 2011. Выпуск № 17-1. С. 8–12.

Аверинцев С.С., Давыдов Ю.Н., Турбин В.Н. и др. *М.М. Бахтин как философ*. М.: Наука, 1992. 256 с.

Библер В.С. *Михаил Михайлович Бахтин, или поэтика культуры. (На путях к гуманитарному разуму)*. М.: Гнозис, 1991. 169 с.

Булыгина Т.А. Пространственно-временные формы взаимодействия историка и прошлого (размышления над книгами М.М. Бахтина). — *Новая локальная история*, 2008 (эл. ресурс). Режим доступа: <http://www.newlocalhistory.com/node/815>.

Козырев А.П. Эстетическое целое Другого. Отношение Я и Другого как исток философии диалога М.М. Бахтина. — *Семинар «Русская философия (традиция и современность)»*: 2004–2009. Сост., общ. ред. А.Н. Паршина. Вып. 12. М., 2011. С. 307–328.

Махлин В.Л. *Я и Другой: К истории диалогического принципа в философии XX в.* М.: Лабиринт, 1997. 252 с.

Emerson C. *The First Hundred Years of Mikhail Bakhtin*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1997. 350 p.

Nielsen G. Bakhtin and Habermas: Toward a Transcultural Ethics. — *Theory and Society*. 1995. Vol. 24. No 6. P. 803–835.

Ю.Г. Чернышов

Ульрих БЕК

Ульрих Бек (Ulrich Beck, 1944, Штольп — 2015, Мюнхен) — выдающийся немецкий социолог и философ, оказавший заметное влияние на современную дискуссию о глобализации, национализме, мировом порядке XXI века. Выдвинул новые методологические ориентиры для общественных наук. Один из самых высоко цитируемых (при жизни) ученых-обществоведов.

С 1992 года был профессором социологии и директором социологического института в Мюнхенском университете Людвиг-Максимилиана. С 1999 по 2009 год руководил междисциплинарным научно-исследовательским проектом «Рефлексивная модернизация», финансируемым Немецким научно-исследовательским обществом. С 1997 года был приглашенным профессором Лондонской школы экономики и политических наук, с 2011 года — профессором Фонда «Дом наук о человеке» в Париже. Лауреат немецких и международных наград за значительный вклад в социологию, исследования будущего.

У. Бек является автором концепта «общества риска». Разрабатывал теорию рефлексивной модернизации, индивидуализации, активно занимался иссле-

дованиями глобализации, экологических проблем с позиций критики «методологического национализма».

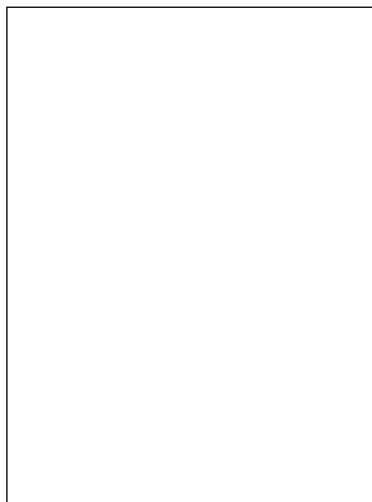
Обществу риска в бековском понимании свойственны следующие черты: особая логика производства, распространения и осознания модернизационных рисков, индивидуализация как новый модус обобществления, результат детрадиционализации жизненных форм индустриального общества, возникновение «политики повседневной жизни», изменение границ приватного и публичного пространств, наличие неопределенностей и возможностей, ограничений и свобод, рефлексивность [Beck 1992].

Индивидуализация жизненных ситуаций, стилей жизни включает три измерения: освобождение индивида от традиционных норм, связей, классовых категорий индустриального общества; «расколдовывание» как утрата индивидом традиционной стабильности в условиях общества риска; контроль и реинтеграцию в новые контексты как появление новых видов социальных связей, классово не обусловленных, при этом необходима самостоятельность участия индивида в интеграции [Beck 1983, 1992: 128].

В концепте индивидуализации Бека идентичность становится центральной категорией, поскольку разрушение стабильных устойчивых социальных ролей и статусных позиций в условиях позднего модерна вынуждает индивидов активно участвовать в процессах самоопределения. Исходя из тезиса об индивидуализации социального неравенства в «обществе риска», Бек констатировал распад классовых идентичностей и связей [Beck 1992: 91].

Социолог сфокусировал исследовательский интерес на творческих усилиях индивидов по созданию личностной идентичности в условиях, ставящих их перед необходимостью делать выбор (например, между карьерой и семьей, занятостью и специальным образованием). По мнению Бека, биографии, истории жизни человека играют существенную роль в процессах конструирования, сохранения, выражения личной идентичности: индикатор степени индивидуализации — это «наличие элементов индивидуальной и активной формы нарратива в собственных биографиях индивидов» [Beck, Beck-Gernsheim 2002: 25]. «Индивидуализация есть социальная структура второго модерна» [Beck, Willms 2004: 63]. Индивидуализация жизненных ситуаций предполагает «авторефлексивность» биографий, трансформацию социально заданной биографии в самостоятельно создаваемый биографический конструкт [Beck 1992: 135].

Институционализованный индивидуализм означает, что свобода выбора индивида институционально детерминирована, социальные структуры



вливают на индивидов и требуют от них большей степени рефлексии и активности в принятии решений. В терминологии Бека «вторичные институты», замещающие традиционные связи и социальные формы (класс и нуклеарная семья), определяют возможности и пределы индивидуализации, институционализации биографических образцов [Beck 1992: 131]. Они, однако, не «поставляют» понятные готовые идентичности, «опции по умолчанию», которые можно выбрать и избежать неуверенности в самоопределении, но предоставляют помощь в конструировании идентичности и дифференцировании от «других». Институты позднего модерна заставляют индивидов брать ответственность за собственную жизнь: находясь в поиске окончательных биографических решений проблем, противоречий, люди экспериментируют, конструируют и испытывают биографические прототипы в целях обретения комфорта в мире неопределенности [Beck, Beck-Gernsheim 2002]. Государство всеобщего благосостояния содействует биографическому экспериментированию, освобождению индивида от давления семьи, гендера, класса; вместе с тем для успешных биографических экспериментов по конструированию собственной идентичности необходима система гарантированных основных доходов граждан [Beck, Willms 2004: 83].

При этом «экспериментальные биографии» в трактовке У. Бека содержат определенную степень противоречий и не представляют линейную модель личностной идентичности. Бек пессимистичен относительно возможности обретения и сохранения целостной личностной идентичности в условиях позднего модерна: индивиды пытаются сложить «пазлы» своей персональной идентичности, но чем ближе они к завершению, тем отчетливее осознают отсутствие необходимых фрагментов [Beck, Willms 2004]. Фрагментация и сегментация жизни в условиях позднего модерна означает, что формирование личностной идентичности всегда предполагает определенную степень изобретательности, реализацию принципа DIY (do it yourself — сделай сам) наряду с неизбежным страхом и неуверенностью в отношении результатов подобных усилий [Beck, Beck-Gernsheim 2002: 24].

Концепт космополитизации, обоснование необходимости «космополитического поворота» и в самой политической реальности, и в ее анализе логично дополнили исследования У. Бека в сфере общества риска, рефлексивной модернизации и глобализации.

В интерпретации Бека, «территориальная теория идентичности», предполагающая «пространство, защищенное [ментальными] барьерами», условием для конструирования идентичности [Beck 2006: 5–6], есть следствие распространенности в научных теоретизированиях «методологического национализма», суть которого в том, что общество и политика могут быть организованы исключительно в национально-государственной форме. В противоположность территориальной теории идентичности Бек предложил космополитическое мировидение, на смену национальному подходу — методологический космополитизм [Бек 2012b]. Под влиянием космополитизации процесс конструирования идентичности происходит вне контекста

определенных территорий, на основе логики «включающей дифференциации», с использованием которой реальность осмысливается по принципу «и то, и другое» (а не «или, или»). В соответствии с концептом Бека, ошибочно определять идентичность, исходя из привязки к ограниченному социальному пространству, территории отдельных национальных государств, отгораживающих индивидов от остальных стран. Абсолютизация национального / территориального факторов в конструировании идентичности приводит к возникновению «тюремной ошибки» идентичности, когда индивид формирует свою национальную идентичность в одной родной стране, которую он не может выбрать — он там рожден, и это соответствует доминирующей логике «или/или» существующих национальных конструкций и связанных с ними стереотипов [Beck 2006: 25]. Бек метафористично определяет пространственные, национальные рамки в форме «тюремных заслонов, барьеров» на пути формирования космополитической идентичности. Распространение космополитизма, который *изнутри* трансформирует пространства национально-государственного опыта в условиях открытости мира, происходит непреднамеренно, латентно, неосознанно (например, в ходе потребления товаров и услуг) и вынужденно. В качестве примеров космополитизации, осуществляемой «снизу», У. Бек приводил мигрантов и движения в рамках глобального гражданского общества [Beck 2006: 103–107]. При этом только сознательная космополитизация ведет к формированию космополитического мировоззрения, космополитической идентичности и глобальной космополитической общественности.

Ульрих Бек считал, что «космополитизация предлагает множественность идентичностей и лояльность множеству национальных государств» [Beck 2006: 76]. В космополитическом проекте индивиды не воспринимают воинствующий национализм как справедливую форму идентичности. Их индивидуальность оформляется в частичных совпадениях и столкновениях с иными идентичностями, что отнюдь не свидетельствует о провале социальной интеграции в условиях подобного общества. Космополитический проект возникает в той мере, в какой национальные общества «разъединяются», возникающие в них конфликты амортизируются космополитическим мировоззрением; индивиды выбирают и сочетают различные сложно скроенные образы в вариантах, не допустимых при наличии жестких границ между странами.

Реальность национально-государственной парадигмы построена на демаркации и исключении «других» и «чужих». В основе космополитического проекта — «представление об интернализированном “другом”» [Beck 2006: 79], что открывает простор для диалогичной изобретательности, расширяет пространство коммуникаций, стимулирует межкультурный диалог. Обыденный космополитизм, пронизывающий повседневные потребительские практики, исходит из снижения контрастности разграничительных линий между «нами» и «ними». Космополитические представления предполагают усвоение различий между разнообразными жизненно-стилевыми стратегиями, необходимостью

становятся понимание, осознание и критика различий, позволяющие утвердить и признать себя и других в качестве разных и тем самым в равной степени значимых. Прежняя принципиальная оппозиция «иностранец-коренной» не отражает новую реальность, которая транснациональна и предполагает множественные привязанности, выходящие за границы национальной принадлежности [Beck 2006: 26]. Методологический национализм как практика отождествления общества с национальным государством исходит из того, что транснациональные идентичности «разрывают» национальные узы; однако, как отмечал ученый, подобные идентичности позволяют снять остроту транснациональных конфликтов, развить всемирную кооперацию и интеграцию в эпоху глобальных рисков и кризисов [Beck 2006: 85; Бек 2012a].

Космополитическая социология признает различия, выходящие за пределы территориальности государства и общества; в фокусе исследовательской оптики методологического космополитизма находится влияние пространственного фактора на формирование идентичности в глобальном обществе риска. Ульрих Бек внес значительный вклад в понимание взаимосвязи между трансформацией общественных институтов и идентичностей, в научную дискуссию о влиянии индивидуального и структурного факторов на формирование идентичности в условиях позднего модерна.

Литература

- Бек У. 2012a. Живя в мировом обществе риска и считаясь с ним. Космополитический поворот. — *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 44–58.
- Beck U. 1983. *Jenseits von Stand und Klasse? Soziale Ungleichheit, gesellschaftliche Individualisierungsprozesse und die Entstehung neuer sozialer Formationen und Identitäten.* — *Soziale Ungleichheiten. Soziale Welt*. Sonderband 2. Göttingen: O. Schwarz & Company. S. 35–74.
- Beck U. 1992. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage Publications. 260 p. [Рус. пер.: Бек У. 2000. *Общество риска. На пути к другому модерну*. М.: Прогресс-Традиция. 381 с.]
- Beck U. 1999. *What Is Globalization?* Cambridge. Polity Press. [Рус. пер: Бек У. 2001. *Что такое глобализация?* М.: Прогресс-Традиция. 304 с.]
- Beck U., Beck-Gernsheim E. 2002. *Individualization: institutionalized individualism and its social and political consequences*. London: Sage Publications. 221p.
- Beck U. 2006. *The Cosmopolitan Vision*. Cambridge (UK), Malden (Ma): Polity Press. 201 p. [Рус. пер.: Бек У. 2008. *Космополитическое мировоззрение*. М.: Центр исследований постиндустриального общества. 336 с.]
- Beck U. Willms J. 2004. *Conversations with Ulrich Beck*. Oxford: Polity Press. 232 p.
- Contested individualization: debates about contemporary personhood*. 2007. London: Palgrave Macmillan. 241 p.
- Ulrich Beck's cosmopolitan project. On the way to another sociology*. 2004. Ed. by A. Poferl & N. Sznajder. Nomos: Baden-Baden.

Н.В. Плотицкина

Роджерс БРУБЕЙКЕР

Роджерс Брубейкер (Rogers Brubaker, род. 1956, Эванстон, штат Иллинойс, США) окончил Гарвардский университет (бакалавриат, 1979) и университет Сассекса, Великобритания (магистратура, 1980). Степень доктора философии (PhD) получил в Колумбийском университете (1990). Профессор Калифорнийского университета (Лос Анжелес). В 2009 году избран членом Американской академии искусств и наук.

Американский социолог, специалист в области социальной теории, исследований иммиграции, гражданства, этничности, национализма и идентичности. Изучает национализм в европейских странах в сравнительной исторической перспективе. Его интересуют риски развития национализма в потенциально моноэтнических новых восточно-европейских государствах, образовавшихся после распада многонациональных государств в конце XX века. В последнее время занимается исследованием связи религии и проблем национализма.

Р. Брубейкер считает, что проблему этнических конфликтов необходимо рассматривать вне отдельных групп. Этнизация, расизация и национализация должны пониматься как практические категории, ситуативные действия, культурные идиомы, когнитивные схемы, дискурсивные фреймы, институциональные формы, политические проекты и случайные события.

Феномен идентичности интересует Брубейкера применительно к этническим группам. Однако он обращает внимание на то, что эта категория в рамках методологии конструктивизма оказывается отягощенной противоречивыми коннотациями. Акцентирование ее сконструированности, текучести, множественности форм лишает исследователя надежного аналитического инструмента, а сам термин утрачивает познавательную ценность, поскольку «слово “идентичность” неоднозначно, оно слишком раздваивается между “строгим” и “мягким” смыслами, эссенциалистскими коннотациями и конструктивистскими модификациями и поэтому не может полностью удовлетворять требованиям социального анализа» [Брубейкер 2012: 64]. Он считает, что понятия «идентичность» и «кризис идентичности» стали абсолютным клише из-за злоупотребления ими, что привело к девальвации смысла этих терминов.

«Идентичность» является одновременно категорией социальной реальности и категорией анализа, однако особое положение идентичности как категории практики, по мнению Брубейкера, не означает необходимости ее использования как категории анализа. Идентичность понимается как: а) базис социального или политического действия; б) основополагающее и значимое тождество членов одной группы (чаще всего речь идет о гендерных, этнических, расовых группах или о социальных движениях), проявляющееся в групповой солидарности, общих установках, сплоченности действий; в) ключевой аспект (индивидуальной или коллективной) «самости», нечто основополагающее, что следует ценить, культивировать, поддерживать, признавать и со-



хранять для сохранения целостности личности; г) процесс формирования коллективного самосознания и солидарности, прежде всего, в новых социальных движениях; д) нестабильное, множественное, фрагментированное состояние «Я» у современных людей (такое понимание обнаруживается в постструктуралистских и постмодернистских работах).

Исследователь выделяет «сильные» и «слабые» теории идентичности. «Сильные» концепции идентичности строятся на аксиоматичности следующих тезисов: любой индивид или группа обладают идентичностью или стремятся к ее приобретению; идентичность людей и групп может быть как осознанной, так и неосознанной; коллективная

идентичность подразумевает прочную связь между членами группы и ее однородность. В «сильных» концепциях идентичности акцентируется тождество, сохраняющееся в сообществе с течением времени, в «слабых» — множественность, нестабильность, текучесть, случайность, фрагментарность, сконструированность понимания своего «Я».

Р. Брубейкер считает, что понятие «идентичность» плохо работает для анализа как родовых обществ и современных конфликтов в Африке, так и для широко используемых в прикладном анализе примеров вооруженных столкновений на националистической почве в Восточной Европе и политики идентичности в Соединенных Штатах. Политика этнической идентичности в СССР, когда существовала практика фиксации в паспорте национальности гражданина, а административно-территориальное деление страны включало национальные союзные, автономные республики и автономные области, т.е. действовала формальная институционализация и кодификация этнических и национальных идентичностей, повлияла на распад государства в 1991 году. Но сами по себе подобные примеры не доказывают, что идентичность играет «серьезную роль в фреймировании восприятия, направлении действия или в формировании самопонимания в повседневной жизни» [Брубейкер 2012: 111], как этого требует конструктивистская трактовка.

Сведение сложной и динамичной разнородности современных обществ и их истории к трафаретной множественности имеющих идентичность групп радикальным образом «препятствует работе по пониманию прошлого и достижению социальной справедливости в настоящем» [Брубейкер 2012: 122]. Политика идентичности выделения групп меньшинств имеет целью убедить их членов и общество в целом, что внутренние различия людей в этих образованиях не имеют никакого значения. Р. Брубейкер называет «концептуально убогой идентитарной социологией» завоевавшие сильные позиции

в 1990-х годах исследования различного рода меньшинств, выделенных конструктивистами на основе «пересечения» расы, класса, гендера, сексуальной ориентации, инвалидности. Исследователь делает вывод о том, что «группистская риторика имеет перформативное, конститутивное измерение, способствуя в случае ее успешности созданию групп, за которые она ратует» [Брубейкер 2012: 120].

Р. Брубейкер предлагает «выйти за рамки “идентичности” — не во имя вообразенного универсализма, а ради концептуальной ясности, которая необходима и для социального анализа, и для понимания политического» [Брубейкер 2012: 126]. Для фиксации процесса отнесения индивидом к какому-либо месту, времени, группе он считает возможным использовать вместо термина «идентичность» менее идеологически нагруженные категории («идентификация», «категоризация», «самопонимание», «социальная локализация»), а для фиксации состояния — «общность», «связанность», «группность». Эта полемика получила и продолжает получать отклик в многочисленных публикациях, подогревая исследовательский интерес к «проблемам с идентичностью» и к прояснению содержательных характеристик критикуемого им концепта.

Литература

- Брубейкер Р., Купер Ф. 2002. За пределами «идентичности». — *Ab Imperio*. 2002. № 3. С. 61–94.
- Брубейкер Р. 2012. *Этничность без групп*. М.: Изд. дом «Высшая школа экономики», 408 с.
- Brubaker R. *The limits of rationality: an essay on the social and moral thought of Max Weber*. Routledge: Taylor & Francis, 1984. 120 p.
- Brubaker R. *Citizenship and Nationhood in France and Germany*. Cambridge: Harvard University Press, 1992. 270 p.
- Brubaker R. *Ethnicity without groups*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2004. 283 p.
- Brubaker R. *Grounds for difference*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2015. 219 p.
- Brubaker R. *Nationalism reframed: nationhood and the national question in the New Europe*. New York: Cambridge University Press, 1996. 202 p.
- Brubaker R., Feischmidt M., Fox J. & Grancea L. 2006. *Nationalist politics and everyday ethnicity in a Transylvanian town*. Princeton: Princeton University Press. 504 p.
- Brubaker R. 2015. *Grounds for Difference*. Harvard MA: Harvard University Press. 240 p.
- Гранин Ю.Д. Брубейкер. Этничность без групп. — *Вопросы философии*. 2013. № 9. С. 185–189.
- Житенев Д.С. Брубейкер. Этничность без групп. — *Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература*. Серия 5: История. 2013. № 3. С. 219–223.

О.В. Попова

Пьер БУРДЬЁ

Пьер Бурдьё (Pierre Bourdieu, 1930, Данген, Франция — 2002, Париж) — французский социолог, философ, этнолог, политический публицист.

Признанный во всем мире французский интеллектуал родился в крестьянской семье в небольшой деревне Дангене в области Беарн (департамент Атлантические Пиренеи) на юго-западе Франции. Его отец был издольщиком, арендовавшим землю за часть урожая, потом работал почтальоном.

Родители понимали важность получения образования для своего единственного сына, который рос одаренным ребенком. В 1941 году они отправили его в лицей Луи-Барту в городок По, столицу Беарна. Отличника Пьера заметил один из учителей, выпускник Высшей педагогической школы (École normale supérieure) в Париже, и посоветовал ему записаться на подготовительные курсы в это престижнейшее высшее учебное заведение Франции. В итоге Бурдьё окончил Высшую педагогическую школу, получив право преподавания философии, и начал работу над диссертацией. Во время учебы особое влияние на Бурдьё оказали труды феноменологического экзистенциалиста Жана-Поля Сартра, основателя феноменологии Эдмунда Гуссерля, представителя феноменологии и сторонника экзистенциализма Мориса Мерло-Понти, работы молодого Карла Маркса.

Служба рядовым во французской армии во время войны в Алжире (1955–1957) обернулась для будущего ученого возможностью начать полевые этнологические и статистические исследования по проблемам колониализма и его трансформаций, этнического национализма и влияния колониализма на распад традиционного уклада жизни. В основу новых для себя научных изысканий Бурдьё положил идеи и принципы структурной антропологии Клода Леви-Стросса [Bourdieu 1958; Bourdieu et Abdelmalek 1964].

Алжирский период (1958–1960) стал определяющим в его карьере социолога. Именно в ходе этнологических экспедиций в регионы Кабилия и Колло, которые считались оплотом местного национализма, по итогам интервью и сбора данных семейных генеалогий, антропологического анализа традиционного алжирского общества Бурдьё впервые сформулировал свою теорию действия и подошел к осмыслению своей будущей концепции габитуса в стремлении понять индивидуальную и коллективную идентичность как фактор социального поведения [Bourdieu 1972, 1980].

Возвратившись на родину, Бурдьё принимает приглашение известного социолога и теоретика-международника Раймона Арона стать главным секретарем основанного Ароном Центра европейской социологии и его ассистентом в Парижском университете. Он также преподает в Университете в Лилле, становится директором-исследователем Практической школы высших исследований (позже получила название Высшей школы социальных наук).

На фоне майских событий 1968 года во Франции Бурдьё разрывает отношения с Ароном, который придерживался либеральных позиций и не одобрял левых социальных движений, и создает собственный Центр социологии образования и культуры. После смерти Арона Бурдьё возглавил Центр европейской социологии, а затем организовал слияние двух исследовательских центров в один (после смерти Бурдьё им руководят его ученики).

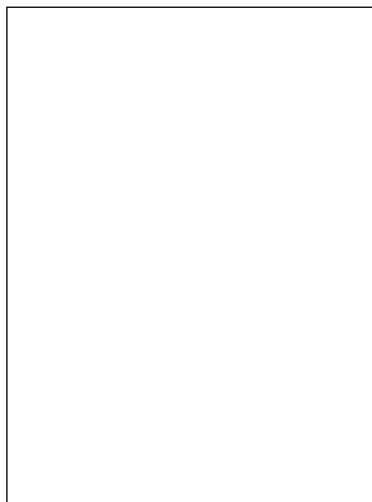
В 1975 году Бурдьё основал журнал «Ученые труды в социальных науках» (*Actes de la recherche en sciences sociales*), который является одним из ведущих социологических журналов Франции, а в 1995 году — издательство «*Raisons s'agir*» (Поводы действовать).

Признанием несомненных научных заслуг Пьера Бурдьё стало его избрание в 1981 году действительным членом Французской академии наук и получение им поста почетного заведующего кафедрой социологии в Коллеж де Франс.

Увлечение трудами Клода Леви-Стросса в алжирский период сменилось сомнениями в верности его теории, некоторые положения которой были опровергнуты полученными в Алжире в ходе полевых исследований Бурдьё статистическими данными. Он продолжил изучение работ классиков марксизма, стремясь преодолеть трудности объяснения ряда социальных практик с помощью моделей структурализма. Бурдьё предложил «социальное пространство» в качестве базовой абстрактной категории, некоего мыслительного образа, чтобы иметь возможность выстраивать модели для описания и анализа отношений участников социального взаимодействия (агентов — в терминологии Бурдьё), создающих и структурирующих это пространство [Бурдьё 1993, 2005, 2007].

Бурдьё описал социальное пространство как многомерное и выстроил его по принципам дифференциации и распределения. Агенты и группы агентов в нем определяются по их относительным позициям в этом пространстве — как совокупность положений, которые имеют пространственную проекцию. Бурдьё постулировал отличие виртуального (воображаемого) социального пространства от пространства физического, хотя и признавал, что представить их «в чистом виде» (как только социальное или только физическое) весьма затруднительно в силу особенностей мышления.

Занимая известное место в социальном пространстве, утверждал Бурдьё, индивид обладает собственным габитусом — совокупностью устойчивых схем восприятия и оценки этого пространства и своего места в нем. Габитус играет важную роль в поддержании стабильности существующих социальных структур и социального порядка. Формируется он, в первую очередь, в процессах



воспитания и образования в семье и школе, в ходе усвоения известных навыков, вначале — определенного культурного капитала, а затем — капитала социального.

От чего зависит габитус и насколько он постоянен во времени? «Преграда, которую ставит габитус между стимулом и реакцией, действует в течение какого-то времени, поскольку, будучи продуктом истории, габитус относительно устойчив и постоянен, а значит — *относительно* свободен от истории. Продукт прошлого опыта, накопленного коллективно или индивидуально, габитус может быть правильно объяснен только средствами генетического анализа, в равной мере применимого и к коллективной истории, и к индивидуальной истории» [Бурдьё 2005: 160–161].

В основе объединения индивидов в группы лежит сходство в их положении в социальном пространстве. Вероятность объединить агентов в некую совокупность тем больше, чем ближе они в социальном пространстве (или их позиции гомологичны). Однако более тесное их сближение никогда не бывает необходимо или неизбежно. Происходит это вследствие непосредственной конкуренции индивидуальных и коллективных агентов, служащей определенным барьером. При этом в реальной жизни сближение наиболее удаленных агентов не всегда бывает невозможным, а пространственное соседство не подразумевает близость в социальном пространстве [Бурдьё 2007: 18–19, 36–37].

Бурдьё обосновал конструирование социального пространства на основе множества сравнительно автономных подпространств или полей (поле экономики, науки, литературы, интеллектуальное поле и т.д.). Поля эти складываются в результате человеческой деятельности, подчиняются собственным правилам, имеют особую логику, специфические нормы, правила иглы и закономерности, а значит, и свои динамические границы. Каждый вид капитала — экономический, культурный, символический, научный, правовой и т.д. — в конкретном социальном поле (подпространстве) — экономическом, культурном, символическом, научном, правовом и т.д. — определяет влияние, власть и шансы на успех социальных агентов. Разные виды капитала не сводимы друг к другу, но налицо их взаимосвязь и взаимодействие (символического и социального капитала, например).

В определенных обстоятельствах один вид капитала можно преобразовать в другой, но это превращение не является автоматическим и тождественным. В то же время в конкретно-исторических условиях разные виды капитала могут оказаться разделенными и даже противопоставленными друг другу (это наиболее заметно в отношении экономического и культурного капитала, и пример постсоветской России 1990-х годов в данном случае один из наиболее ярких).

Вместе с тем надо понимать, что разные виды капитала и соответствующие им разные поля именно автономны и достаточно замкнуты, но не абсолютно изолированы друг от друга, границы их подвижны. Более того, подобное сферное деление социального пространства во многом условно и относительно. В рамках широкого социального пространства можно выявить и особое

политическое поле («поле политики»), складывающееся в процессе политического взаимодействия индивидуальных и групповых акторов.

Влияние Пьера Бурдьё на мировое гуманитарное знание огромно, в социологии сложилась особая «школа Бурдьё». В этом влиянии можно проследить волновую динамику — не только в связи с появлением новых работ автора (наследие ученого насчитывает 35 книг и около 400 статей), но и с постепенным переводом его фундаментальных трудов на иностранные языки и взлетом интереса к творчеству ученого в конкретных национальных научных сообществах. Подобное явление можно было наблюдать в 1990-е — 2000-е годы в России, когда социолог Наталья Анатольевна Шматко (Институт социологии РАН) перевела на русский язык многие работы Пьера Бурдьё, тем самым придав импульс осмыслению общественных процессов в постсоветской России.

Литература

Бурдьё П. 1993. *Социология политики*. (Составление, общая редакция и предисловие Н.А. Шматко.) М.: Socio-Logos. 336 с.

Бурдьё П. 2005. *Социальное пространство: поля и практики*. (Составление, общая редакция перевода и послесловие Н.А. Шматко.) М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя. 576 с.

Бурдьё П. 2007. *Социология социального пространства*. СПб.: Алетейя. 288 с.

Bourdieu P. 1958. *Sociologie de l'Algérie*. Paris: Presses universitaires de France, 1958. 128 p.

Bourdieu P. et Abdelmalek S. 1964. *Le Déracinement, la crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie*. Paris: Minuit. 227 p.

Bourdieu P. 1972. *Esquisse d'une théorie de la pratique: précédé de trois études d'ethnologie kabyle*. Genève: Droz. 269 p.

Bourdieu P. 1980. *Le Sens pratique*. Paris: Minuit. 475 p. (Le Sens commun.)

И.П. Прохоренко

Маргарет ВЕЗЕРЕЛЛ

Маргарет Везерелл (Margaret Wetherell), род. 1954, Новая Зеландия) — доктор философии, британский социальный психолог, совместно с Джонатаном Поттером основоположник теории и методологии дискурс-анализа (так называемая дискурсивная психология) в социальных науках, в контексте дискурс-анализа занимается изучением идентичности (этническая и национальная идентичность, гражданская идентичность, социальная психология маскулинности). До 2011 года являлась профессором социальной психологии Открытого университета Великобритании, в настоящее время профессор факультета



психологии Университета Окленда (Новая Зеландия). В 1999–2004 годах была главным редактором «Британского журнала социальной психологии». Руководила масштабной исследовательской программой Совета экономических и социальных исследований Великобритании по изучению идентичности и социальных действий (UK Economic and Social Research Council Identities and Social Action Research Programme, 2004–2008), результатом реализации которой стала серия эмпирических исследований различных форм социальных действий и самоорганизации на уровне местных сообществ.

Работа «Дискурс и социальная психология» (совм. с Дж. Поттером) посвящена исследованию теоретических корней дискурс-

анализа в лингвистической философии, семиотике, этнологии. Субъектность «Я» обладает неким набором характеристик, каждой из которых может быть присуща определенная идентичность (возможно, даже противоречащие друг другу). Согласно М. Везерелл дискурс-анализ смещает вектор исследования с конструкта «Я-субъект» на исследования способов конструирования идентичностей субъектности Я (с учетом параметров контекста). В ходе социальных взаимодействий идентичность также может трансформироваться и заново выстраиваться через психо-дискурсивные практики. Таким образом, Везерелл отвергает тезис неизменности идентичности. В течение одного и того же дискурсивного события (например, обсуждая вопросы дискриминации, расизма и т.д.) человек может транслировать и артикулировать противоположные идентичности.

Мargarет Везерелл вводит в научный оборот понятие психо-дискурсивные практики — это узнаваемые, повседневные, коллективные и индивидуальные процедуры, через которые формируются аспекты идентичности, характер, личность, намерения и убеждения человека. Нарративный анализ, социолингвистические методы, антропологический, культурологический и дискурс-анализ позволяют выявить и исследовать эти практики. Основные способы производства и воспроизводства психо-дискурсивных практик — разговор и письмо. Благодаря разговору и письму идентичность также становится неким реальным конструктом.

Основываясь на концепте перформативности Дж. Батлер, социальной теории личности, реляционном психоанализе и теории габитуса Бурдьё, Везерелл исследует процессы производства и воспроизводства идентичности (the doing and the making of identity). Она рассматривает способы и дискурсы позиционирования человека как мужчины и человека как женщины; исследует воспроизводство маскулинной идентичности в современном мире; описы-

вает психо-дискурсивные практики, с помощью которых мужчины усваивают и транслируют концепт господствующей маскулинной идентичности; выявляет политические последствия этих процессов.

Основное научное достижение М. Везерелл — это обоснование академической области дискурсивной психологии в современной науке. По ее собственным словам, в центре ее научных интересов — «идентичность и истории, которые мы рассказываем самим себе о том, кто мы и какова наша принадлежность. Я считаю, что вклад, который мне удалось внести в науку, связан с изучением социальных оснований действий человека и того, как наш психический склад конструируется через социальные отношения» (цит. по: <http://compendium.open.ac.uk/>).

Литература

- Wetherell M. and Potter J. 1987. *Discourse and social psychology: beyond attitudes and behaviour*. London: Sage. 256 p.
- Wetherell M. and Potter J. 1992. *Mapping the Language of Racism. Discourse and the Legitimation of Exploitation*. London & New York: Harvester Wheatsheaf and Columbia University Press. 246 p.
- Wetherell M. 2012. *Affect and Emotion: A New Social Science Understanding*. London: Sage. 192 p.
- Discourse theory and practice. A Reader*. M. Wetherall, S. Taylor, S.J. Yates eds. London: Sage. 406 p.
- Identities, groups and social issues*. Ed. by M. Wetherell. London: Sage, 1996. 376 p.
- Identity, Ethnic Diversity and Community Cohesion (M. Wetherell, M. Lafleche and R. Berkeley eds.)*. 2007. London: Sage. 176 p.
- Theorizing identities and social action*. Ed. by M. Wetherell. 2009. London: Palgrave Macmillan, 269 p.
- Identity in the 21st Century: New Trends in Changing Times*. Ed. by M. Wetherell. 2009. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 261 p.
- The Sage Handbook of Identities (M. Wetherell and C. Talpade Mohanty eds.)*. 2010. London: Sage. 560 p.
- Wood L. A., Kroger R. O. *Doing discourse analysis: methods for studying action in talk and text*. Thousand Oaks: Sage. 2000. 240 p.

А.А. Гнедаш

Лев ВЫГОТСКИЙ

Лев Семенович Выготский (1896, Орша — 1934, Москва) — советский психолог, основатель школы культурно-исторической психологии, известной под его именем («школа Выготского»). Старший научный сотрудник Института психологии (аналог кандидата психологических наук) (1925), член Русского психоаналитического общества (1925–1930).

Обучался на медицинском, затем юридическом факультете Московского государственного университета (1913–1917), бросив Московский университет, заканчивал образование на историко-философском факультете Московского городского народного университета им. А. Л. Шанявского (1917). Работал учи-



телем в различных школах и техникумах, занимался журналистской и редакционной деятельностью в г. Гомеле (1919–1923), далее — научный сотрудник в Московском Государственном институте экспериментальной психологии (1924–1929), научный руководитель Экспериментального дефектологического института (1929–1934).

Исследования Выготского были сосредоточены в основном вокруг проблем развития и распада высших когнитивных функций и проблемы речевого мышления. Исследования велись преимущественно на материале детской психологии, дефектологии и психиатрии. Его работы стали одними из наиболее влиятельных в отечественной психологии, в русле его идей работали такие выдающиеся

отечественные психологи, как А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, П.И. Зинченко. Культурно-исторический подход Выготского берется за основу основателями теории деятельности (деятельностного подхода) А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном. В 1960–1970-х годах работы Выготского начинают переводиться на иностранные языки и приобретают мировую известность. Они оказали заметное влияние на становление неклассической психологии, в частности, на такое направление, как социальный конструкционизм.

Основной сферой исследовательских интересов Выготского были проблемы сознания. Выготский разделяет низшие (элементарные) и высшие психические функции. Низшие психические функции являются природными, они возникают в ходе биологической эволюции человека и не поддаются регуляции со стороны субъекта. Высшие психические функции, в свою очередь, являются результатом культурно-исторического развития общества, отражающегося на индивидуальном развитии каждого человека, ими субъект способен сознательно управлять. Формирование высших психических функций происходит опосредованно — с помощью знаков, в первую очередь — речевых знаков, поскольку речь является главной знаковой системой, возникшей в ходе исторического развития человечества.

Важнейшим понятием в концепции Выготского является понятие интериоризации. Именно с помощью этого процесса внешняя социальная и предметная деятельности человека становится внутренним содержанием его психики. Изначально деятельность осуществляется между людьми, в том числе с помощью знаков (например, речевая коммуникация). Такая деятельность является интерпсихическим процессом, протекающим вовне психики отдельного индивида, однако благодаря интериоризации, «сворачиванию» вовнутрь эта деятельность становится интрапсихическим процессом, протекающим уже

внутри сознания человека. После этого возможен обратный процесс — экстернизация, т.е. переход от умственной деятельности к деятельности внешней, например, к операциям с объектами материального мира или к социальным взаимодействиям с другими субъектами.

Работы Выготского являются фундаментальными для изучения проблемы взаимосвязи личности и общества, поскольку делают акцент на том, как социальная деятельность, в которую включается индивид, становится содержанием его сознания и психики. Эти идеи напрямую связаны с проблемой личностной идентичности, формируемой на основе различных социальных связей.

Выготский оказал существенное влияние на развитие психологии личности как в отечественной науке, так и в мире в целом. Как определил один из последователей Выготского, Д.Б. Эльконин, Выготский создал такую психологию, которая представляла из себя науку о том, «как из объективного мира искусства, из мира орудий производства, из мира всей промышленности рождается и возникает субъективный мир отдельного человека» [Эльконин 1989: 478].

Литература

- Выготский Л.С. 1934. *Мышление и речь*. М.; Л.: Соцэкгиз, 1934. 323 с.
- Выготский Л.С. 1984. Орудие и знак. — Выготский Л.С. *Собр. соч.*: В 6 т. М.: Педагогика, 1984. Т. 6. С. 5-90.
- Выготский Л.С. 1928. Проблема культурного развития ребенка. — *Педология*. № 1. С. 58–77.
- Выготский Л.С. 1960. Проблема развития и распада высших психических функций. — Выготский Л.С. *Развитие высших психических функций*. М.: Издательство АПН РСФСР. С. 364–383.
- Выготский Л.С. 2005. *Психология развития человека*. М.: Смысл. 1136 с.
- Выготская Г.Л., Лифанова Т.М. 1996. *Лев Семенович Выготский. Штрихи к портрету*. М.: Смысл. 424 с.
- Эльконин Д.Б. 1989. *Избранные психологические труды*. М.: Педагогика. 560 с.
- Veer R. Van der, Valsiner J. 1993. *Understanding Vygotsky: A Quest for synthesis*. Oxford, Cambridge: Blackwell. 464 p.

Е.О. Труфанова

Эрнест ГЕЛЛНЕР

Эрнест Геллнер (Ernest Gellner, 1925, Париж — 1995, Прага) — выдающийся британский ученый чешского происхождения, чей вклад в развитие знания был отмечен в целом ряде дисциплин, от социальной антропологии до философии науки. Окончив с отличием Оксфорд в 1947 году, Геллнер читает лекции в университете Эдинбурга, после чего в 1949 году переезжает в Лондон, где в течение 35 лет в Лондонской школе экономики занимает должность профес-



сора философии, логики и научного метода. С 1984 по 1993 год — профессор социальной антропологии в Кембридже. В 1993 году после выхода на пенсию переезжает в Будапешт, где до самой смерти возглавляет созданный им Центр по исследованию национализма при Центрально-Европейском университете.

В 1959 году выходит первая крупная научная работа Геллнера «Слова и вещи», которая, по сути, являлась критикой популярной в то время Оксфордской школы лингвистической философии. Фактически, работа была выстроена с позиции неприятия интеллектуального наследия позднего Л. Витгенштейна и его идей лингвистического релятивизма. Аргументация Геллнера по большей части основывалась на его знании социологии

и антропологии, поскольку он считал недопустимым полную изоляцию философии от эмпирических дисциплин. Во многом именно увлечение Геллнера кросс-дисциплинарными изысканиями отразилось на всей его последующей работе.

Геллнер критиковал все закрытые системы мысли, которые не могли пройти проверки независимой критикой, а потому требовали своего рода бездоказательной веры в эффективность представляемого аналитического материала. Такой критицизм проходил красной нитью через все работы автора, тематика которых была весьма широкой. Его интересовали общие вопросы науки и истории (Thought and Change, 1964), философия науки и философские проблемы релятивизма (Relativism and the Social Sciences, 1985), критика постмодернизма (Postmodernism, Reason and Religion, 1992), этнографические исследования в Марокко (Saints of the Atlas, 1969), социология ислама (Исламское общество, 1981), советская антропология и социальная мысль (Soviet and Western Anthropology, 1980; Plough, Sword and Book: The Structure of Human History, 1988; State and Society in Soviet Thought, 1988), социология национализма (Nations and Nationalism, 1983; Nationalism, 1997), роль гражданского общества и политика в современном обществе (Conditions of Liberty, 1994).

В 1983 году свет увидел самый известный и широко цитируемый труд Э. Геллнера — «Нации и национализм». С точки зрения Геллнера национализм — это, в первую очередь, политический принцип, требующий совпадения политической и этнической единиц внутри общества. Фактически национализм рассматривается с позиций исторического материализма как спонтанная реакция общества на потребность в квалифицированной рабочей силе — основы для индустриальной экономики нового типа. В свою очередь, из этого вырастает требование наличия общедоступной системы

образования и унифицированного языка, которые становятся основой формирования нации.

В отличие от Ф.А. Хайека, К. Поппера и других либеральных мыслителей-современников, Геллнер не считал, что националистическое сознание — это своего рода атавизм. В его понимании национализм — это, в первую очередь, продукт модернити, которую он, подобно М. Веберу, рассматривал как пример рациональности, основанной на научности познания и технологиях. Представляя человеческую историю как череду сменяющих друг друга стадий развития, Геллнер, говоря о возникновении национализма, обращается к идее «перехода» (transition) от общества аграрного, скованного путями традиции и привязкой человека к земле, к обществу индустриальному, подвижному и динамичному. Часто, эксплуатируя националистический сентимент, идеологи национализма, рассматривая подобный переход, говорят о «национальном пробуждении». Однако по Геллнеру традиционная культура представляла собой слишком сложную и переплетенную структуру связей для того, чтобы сформировать нацию. Национализм — продукт определенной стадии развития — индустриального общества, идеология, которая связывает человека и национальное государство (независимо от воли и желания самого человека) через институт гражданства. Национализм служит скрепой формирования общей национальной идентичности на определенном этапе общественного развития.

Оставался открытым вопрос неравномерности индустриализации, которая не только неодинаково охватывает территорию, но и неодинаково распространена внутри охваченной ей территории. Не отрицая конфликтного потенциала подобного социального размежевания, Геллнер говорил о культурной доминанте в вопросе возникновения национализма даже на почве дискриминации. Так, опасность ассимиляции и потери уникальных религиозных, лингвистических или этнических особенностей общности становится критерием возникновения националистического чувства как способа противопоставить себя другим нациям.

Критики Геллнера обвиняли последнего в излишней тяге к редукционизму, в стремлении отбросить смысловую многозначность, в абсолютизации экономического и функционального подхода к национализму вне политического и более широкого геополитического контекста, в котором приходится действовать национальным государствам. В своих работах он пытался разобрать поведение конкретной группы людей во всем многообразии возможных частных случаев, выявляя и обобщая ее структурные особенности таким образом, чтобы стала очевидна логика современного развития. Вместе с тем критики его аргументации указывают на то, что Геллнер не принимал во внимание динамичную природу национализма, в том числе его связь с процессами демократизации. Однако именно вклад Геллнера в теорию национализма стимулировал дискуссию о его потенциале для современного развития [O'Leary 1998: 80] Его работы стали вехой, обязательной для фундированной научной дискуссии «точкой отсчета» в дальнейшем понимании природы современных наций и механизмов формирования национальной идентичности.

Литература

- Gellner E. 1959. *Words and Things, A Critical Account of Linguistic Philosophy and a Study in Ideology*. London: Gollancz; Boston: Beacon. 270 p.
- Gellner E. 1964. *Thought and Change*. Chicago: University of Chicago Press. 224 p.
- Gellner E. 1974. *Legitimation of Belief*. London: Cambridge University Press. 210 p.
- Gellner E., ed. 1980. *Soviet & Western anthropology*. New York: Columbia University Press, 1980. 285 p.
- Gellner E. 1983. *Nations and Nationalism*. Ithaca: Cornell University Press. 150 p.
- Gellner E. 1985. *Relativism and the Social Sciences*. Cambridge: University Press. 200 p.
- Gellner E. 1987. *Culture, Identity and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press. 200 p.
- Gellner E. 1988. *Plough, Sword and Book: The Structure of Human History*. Chicago: University of Chicago Press. 288 p.
- Gellner E. 1988. *State and Society in Soviet Thought. Explorations in Social Structures*. Oxford: Blackwell Pub. 193 p.
- Gellner E. 1992. *Postmodernism, Reason and Religion*. London: Routledge. 256 p.
- Gellner E. 1994. *Conditions of Liberty: Civil Society and its Rivals*. London: Penguin Books, 1994. 215 p.
- Gellner E. 1995. *Anthropology and Politics*. London: Blackwell. 260 p.
- Gellner E. 1997. *Nationalism*. London: Weidenfeld & Nicolson. 209 p.

O'Leary B. 1998. Ernest Gellner's diagnoses of nationalism: a critical overview, or what is living and what is dead in Ernest Gellner's philosophy of nationalism? — *The State of the nation. Ernest Gellner and the Theory of Nationalism*. Ed. by J.A. Hall. Cambridge: Cambridge University Press. P. 40–88.

П.А. Вовкодав

Энтони ГИДДЕНС

Энтони Гидденс (Anthony Giddens), род в 1938 году, Лондон) — британский социолог, один из самых цитируемых сегодня ученых в сфере социальных наук. Получил диплом бакалавра социологии и психологии в Университете Халла (1959), затем степень магистра в Лондонской школе экономики, степень доктора философии (PhD) в Королевском колледже Кембриджа (1974). С 1969 года Э. Гидденс работал в Кембриджском университете, где при его активной поддержке на базе экономического факультета был создан Комитет социальных и политических наук, позднее преобразованный в социологический факультет. Руководил Лондонской школой экономики (1997–2003). Один из соучредителей научного издательства «Polity Press Ltd» (1985). Участвовал в политических дебатах, представляя интересы левоцентристского крыла лейбористской партии. Принимал участие в деятельности фабрики мысли «Policy Network». Лауреат премии принца Астурийского (2002, социальные науки). В 2004 году получил пожизненное личное пэрство и звание барона. С 2005 года — член палаты лордов парламента Великобритании; представляет интересы лейбористской партии. Имеет 15 почетных степеней

ведущих университетов мира. Автор изданных на 30 языках более 35 монографий и 200 научных статей.

За годы своей активной научной деятельности Э. Гидденс внес огромный вклад в социологическую науку. Он не только предложил авторскую версию критики функционализма, структурализма, марксизма и позитивизма, но и собственное видение сущности и задач современной социологии, создал теорию структуризации, теорию действия и действующего агента, концепт абстрактных систем, сравнил эпоху модерна и постмодерна, выявил изменение роли традиционных институтов (семьи) и гендерных групп в современных условиях, проанализировал характер влияния глобализации на современное общество, предложил авторскую теорию идентичности и т.д.



Выделяются 3 этапа научной деятельности Гидденса: а) разработка принципиально нового видения сущности и роли современной социологии (до второй половины 1970-х годов); б) создание теории структуризации на анализа устройства социума и потенциала действия без определения первичного из них; в это время работы Э. Гидденса получают международное признание (конец 1970-х — конец 1980-х гг.); в) поиск адекватных средств понимания развития общества модерна, глобализации, политических взаимодействий; анализ различий идентичности, политических институтов, межличностных отношений в эпохи модерна и постмодерна, критика эпохи постмодерна (с 1990-х гг.).

Стремясь преодолеть ограниченность внеисторизма функционализма, под влиянием идей Н. Элиаса разработал авторскую концепцию структуризации, которая позволяет совмещать на микро- и макроуровнях анализ социальных явлений очень разного порядка; этот подход применим, например, как к процессам глобализации, так и к внутрисемейным отношениям. Предложил концепцию «дуальности структуры» как средства и одновременно результата осуществления деятельности. Гидденс считает, что социальные структуры не абстрактны и не оторваны от индивидуальных действий, субъект действует в конкретном времени и пространстве. Произошедшие в результате в обществе изменения постепенно институционализируются. Ученый ввел в теоретическую схему понятие «рутинизация». Рутинизация, по мнению Э. Гидденса, обеспечивает целостность личности акторов в их повседневной деятельности, а также непрерывное воспроизводство институтов общества. Феномен рутинизации позволяет объяснить формы взаимоотношений между типовыми, постоянно воспроизводимыми в социуме процессами и эпизодическими явлениями. Отвергая социологический позитивизм Э. Дюркгейма,

предложил метод «двойной герменевтики» — интерпретации социологами общественных процессов, уже подвергнутых интерпретации создающими социальный мир акторами.

По мнению Гидденса, центральные вопросы самоидентификации современного человека в эпоху позднего модерна — Что делать? Как действовать? Кем быть? — заставляют его отвечать на них либо дискурсивно посредством постоянно творимыми индивидом смыслами событий его жизни, либо повседневным, рутинным социальным поведением. Если в традиционных обществах их членам предлагались готовые модели идентичности, то в посттрадиционных обществах индивиды вынуждены создавать свою идентичность сами с помощью регулярной корректировки набора биографических нарративов, социальных ролей и стилей жизни, постоянно создавая историю о том, кто они и как пришли к тому, чтобы быть здесь и сейчас. В современном обществе «Я» индивида непрочно, хрупко, фрагментировано, подвержено внутренним расколам.

При увеличении спектра возможностей самоидентификации вследствие плюрализации сообществ, ценностей и знания в посттрадиционном обществе развивается кризис идентичности. Все более явным становится влияние на идентичность человека событий, которые значительно отнесены от него в пространстве и времени. Потоки новой информации об окружающем мире, который постоянно конструируется и реконструируется, заставляют индивида ставить под вопрос видение им своей сущности и сущности окружающего мира. Индивид вынужден постоянно конструировать свою идентичность.

Гидденс отмечает рефлексивность идентичности людей в эпоху постмодерна. Идентичность, безусловно, отражается в поведении индивида и в реакциях на него окружающих, но гораздо важнее то, что человек постоянно рефлексивен по поводу своей собственной личности и биографии, связывая происходящие во внешнем мире события со своей собственной личной историей и рефлексивен по поводу причин и последствий своих действий и действий других индивидов. Гидденс считает, что, хотя финансовое благосостояние позволяет человеку более свободно осуществлять выбор модели своей жизни, общество постмодерна в целом раздвигает горизонты действий и выбора того, кем они хотят быть и что хотят делать, представителям любых социальных слоев. Однако эта свобода увеличивает не только возможности самореализации индивида, но и стрессовые состояния, требует больше времени на анализ доступных вариантов действий и минимизации известных индивиду рисков. Индивид может свободно формировать свой желательный образ для окружающих, однако определенные ограничения в этом процессе задают ценности, которые уже сформированы в обществе. Ослабление социальной структуры современного общества, разрушение социальных связей и обязательств перед другими людьми во многом являются производной от рефлексивно организованного стремления индивида к определенному, социально безупречному с его точки зрения образу «Я».

Гидденс был советником премьер-министра Великобритании Т. Блэра. Его идеи, в частности, разработанный им в конце 1990-х годов концепт «третьего пути», оказали решающее влияние на формирование политического курса находившейся у власти в Великобритании лейбористской партии и других политических сил левоцентристской ориентации в странах Запада.

Многие работы Энтони Гидденса переведены на русский язык. Он неоднократно выступал в России с публичными лекциями в академических и студенческих аудиториях.

Литература

Гидденс Э. 1999. *Социология* (науч. ред. В.А. Ядов; общ. ред. Л.С. Гурьевой, Л.Н. Посилевича). М.: Эдиториал УРСС. 703 с.

Гидденс Э. 2003. *Устроение общества: Очерк теории структуризации*. М.: Академический проект. 525 с.

Гидденс Э. 1993. Девять тезисов о будущем социологии. — *THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем*. № 1. С. 57–82.

Гидденс Э. 2015. *Неспокойный и могущественный континент. Что ждет Европу в будущем?* М.: Дело. 237 с.

Гидденс Э. 1992. Пол, патриархат и развитие капитализма. — *Социологические исследования*. № 7. С. 135–140.

Гидденс Э. 2011. *Последствия современности*. М.: Праксис. 352 с.

Гидденс Э. 1994. Судьба, риск и безопасность. — *THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем*. № 5. С. 107–134.

Гидденс Э. 2004. *Ускользящий мир: как глобализация меняет нашу жизнь*. М.: Весь Мир. 116 с.

Гидденс Э. 2005. *Устроение общества: Очерк теории структуризации*. 2-е изд. М.: Академический проект. 528 с.

Гидденс Э. 2011. *Последствия современности*. М.: Праксис. 352 с.

Giddens A. 1998. *The Third Way. The Renewal of Social Democracy*. Cambridge: Polity Press.

Giddens A. 2000. *The Third Way and Its Critics*. Cambridge: Polity Press.

Giddens A. 2006. *Europe In The Global Age*. Cambridge: Polity Press.

Giddens A. 2009. *The Politics of Climate Change*. Cambridge: Polity Press.

Beck U., Giddens A. & Lash S. 1994. *Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*. Cambridge: Polity Press. 228 p.

Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас (сост., пер. и вступ. ст. А. В. Леденевой). 1995. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та. 119 с.

Якушина О.И. 2014. Идентичность в социологической теории Э. Гидденса. — *Современные проблемы науки и образования*. № 2. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=12685> (дата обращения: 04.01.2016).

О.В. Попова

Ирвинг ГОФМАН



Ирвинг Гофман (Эрвинг Гоффман, **Erving Goffman**, 1922, Мэнвилл, Альберта, Канада — 1982, Филадельфия, США)

Американский социолог канадского происхождения, один из крупнейших представителей второй волны Чикагской школы, 73-й президент Американской ассоциации социологов. Преподавал с 1952 по 1982 год в Чикагском университете, Национальном институте психического здоровья (Бетесда, штат Мэриленд), Калифорнийском университете (Беркли), университетах Пенсильвании и Филадельфии, университете Бенджамина Франклина.

Испытал значительное влияние теории символического интеракционизма Дж.Г. Мида и Г. Блумера, феноменологического подхода

А. Шюца, этнометодологии Г. Гарфинкеля. Оставил значительный след в социологии как представитель микросоциологии, разработавший теории фреймов (наиболее подробно изложена в вышедшей в 1974 году монографии «Теория фреймов. Эссе об организации повседневного опыта»), повседневности, социальной стигматизации, символического взаимодействия как формы игры («драматургический подход» впервые в наиболее полном виде был изложен им в 1959 году в монографии «Представление себя другим в повседневной жизни»). Особое внимание Гофман уделил изучению «закрытых» обществ и ситуаций. Из-под его пера вышло более десятка монографий, в том числе: «Поведение в общественных местах: заметки о социальной организации собраний» (1963), «Стигма: заметки об управлении испорченной идентичностью» (1963), «Ритуал взаимодействия: очерки поведения лицом к лицу» (1967), «Стратегическое взаимодействие» (1969), «Отношения в публичной сфере: микроисследования общественного порядка» (1971), «Формы общения» (1981).

Индивидуальная идентичность анализировалась им в аспекте изучения самобытности личности, множественности идентичностей индивида и «угрозы» идентичности. Для И. Гоффмана проблема идентичности есть проблема самобытности личности и возможности ее существования. Человек, постоянно являясь участником множества взаимодействий, усваивает опыт поведения представителей различных групп. Постепенно социальные роли, маски «прирастают» к нему, становятся частью его личности не в меньшей степени, чем представления человека о том, кем он хотел бы быть в действительности. Как следствие, индивид обладает множественной идентичностью, а не одной.

Помимо индивидуальной, личной идентичности И. Гофман выделял приписываемую, вменяемую человеку социальным окружением виртуальную социальную идентичность (*virtual social identity*) и истинную социальную идентичность (*actual social identity*) — те черты, которыми он обладает в реальности.

И. Гофман обратил внимание исследователей на феномен «угрозы идентичности», когда при обретении идентичности индивид вынужден решать самый сложный вопрос о том, как можно балансировать между двумя иллюзиями — между нормальностью (обычностью) и уникальностью собственной личности. Люди стремятся не привлекать к себе слишком сильное внимание, но в то же время боятся затеряться среди публики и предпринимают усилия для создания дистанции, отделяющей их от массы. Никто не желает быть совершенно незаметным и одновременно полностью отличаться от других.

В работах И. Гофмана проблема идентичности соотносится также с темой социальной стигматизации — традиции приписывать человеку множество несовершенств на основе какого-то одного базового физического или психологического несовершенства. Стигматизация отражает особый тип отношений между качествами индивида и социальным стереотипом. И. Гофман выделял три типа стигмы: а) разного рода физические отклонения, телесное уродство; б) неодобряемые в обществе недостатки/пороки индивида («слабая воля, неконтролируемые или неестественные страсти, подлые или косные убеждения, бесчестность; о них становится известно, например, из факта умственного расстройства, заключения в тюрьму, отсутствия постоянной занятости, попыток самоубийства, радикальных политических пристрастий, склонности к наркотикам, алкоголю, гомосексуализму»); в) «родовая стигма расы, национальности и религии, которая может передаваться по наследству и охватывать всех членов семьи». Стигматизированный индивид может подвергаться различным видам дискриминации, что значительно уменьшает его шансы на благополучную жизнь в социуме. В социуме конструируется теория стигмы, призванная обосновать неполноценность и объяснить опасность, исходящую от стигматизированного человека, и оправдать возникающую по отношению к нему враждебность. Такой индивид может использовать различные стратегии отношения с социумом; он может попытаться избавиться от своего недостатка прямым или косвенным образом или использовать свою стигму для получения «вторичных выгод» (*secondary gains*) при объяснении своих не связанных со стигмой жизненных неудач.

Литература

Гофман И. 2003. *Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта*. М.: Ин-т социологии РАН; Ин-т Фонда «Общественное мнение». 750 с.

Гофман И. 2007. Лекция. — *Социологическое обозрение*. Том 6. № 2. С. 4–26.

Гофман И. 2014. Порядок взаимодействия. — *Социология власти*. № 1. С. 163–199.

Гофман И. 2000. *Представление себя другим в повседневной жизни*. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 302 с.

Гофман И. 2009. *Ритуал взаимодействия: очерки поведения лицом к лицу*. М.: Смысл, 319 с.

Goffman E. A Reply to Denzin and Keller. *Contemporary Sociology*. 1981. Vol. 10. No 1. P. 60–68.

Goffman E. *Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior*. New York: Double day Anchor Books, 1967. 288 p.

Goffman E. Role distance. — E. Goffman *Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction*. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1961. P. 82–152.

Erving Goffman: Exploring the interaction order. Ed. by P. Drew, A. Wooton. Cambridge: Polity, 1988. 298 p.

Goffman and social organisation: Studies in a sociological legacy. Ed. by G. Smith. New York: Routledge, 1999. 232 p.

The contemporary Goffman. Ed. by M.H. Jacobsen. New York: Routledge, 2010. 396 p.

The Goffman reader (ed. by C. Lemert, A. Brananman). New York: Wiley Blackwell, 1997. 368 p.

О.В. Попова

Фредрик ДЖЕЙМИСОН



Фредрик Джеймисон (Fredric Jameson, род. 1934 г., Кливленд, Огайо) — американский марксистский теоретик, культуролог и литературный критик. Выпускник департамента французской литературы Йельского университета. В 1959 году получил докторскую степень, защитив диссертацию на тему «Истоки стиля Сартра». Преподавал в Гарвардском, Йельском и Калифорнийском университетах. С 1985 года по настоящее время работает в Университете Дьюка (Дарем, Северная Каролина, США). Профессор, директор Института критической теории Университета Дьюка.

Джеймисон — автор оригинальной концепции постмодернизма, изложенной им в работе «Постмодернизм, или культурная логика позднего капитализма», в рамках которой этот социокультурный феномен впервые был последовательно осмыслен с марксистских позиций. Суть этой концепции состоит в рассмотрении постмодернизма как культурной логики, или культурной формы, новой фазы капитализма, которую Джеймисон называет «поздней» или «мультинациональной». Эту стадию теоретик считает продолжением описанной Марксом, а затем Лениным линии развития капитализма и таким образом достраивает начатую ими цепочку: классический (или

рыночный) капитализм (Маркс) — империализм (или монополистический капитализм) (Ленин) — поздний (или мультинациональный) капитализм (Джеймисон). Главный признак перехода капитализма как экономической системы на новую стадию развития теоретик видит в возникновении транснациональных экономических структур. Среди других характерных черт позднего капитализма он называет «новое международное разделение труда, совершенно новую динамику банковской сферы и фондовой биржи, новые формы средств коммуникации, компьютеризацию и автоматизацию, перенос производства в развитые страны третьего мира» [Jameson 1991: xix]. Однако в своем исследовании Джеймисон не углубляется в тонкости экономической организации позднего капитализма, лишь обозначая ее контуры, а сосредотачивается на его культурном измерении — постмодернизме. Теоретик логически завершает свою концепцию и устанавливает связь не только между поздним капитализмом и постмодернизмом, но и возвращается к его более ранним стадиям, сопоставляя экономическую систему рыночного и монополистического капитализма с культурой реализма и модернизма соответственно.

Первое принципиальное отличие культуры постмодернизма от других ранее доминировавших типов культур, в понимании Джеймисона, состоит в окончательном стирании границы между экономикой и культурой, в том, что при позднем капитализме «эти два измерения дедифференцировались и опрокинулись друг на друга: культура здесь становится товаром, а экономика превращается в процесс либидинального и символического инвестирования...» [Jameson 2009: 277]. Следствием этого процесса для постмодернизма становится его превращение в культуру чистого потребления, где все подчинено товарной логике и облечено в товарную форму, даже сознание человека. Второе отличие культуры постмодернизма заключается в вытеснении ею последних островков природы, подмене природы культурой, которая, по мнению теоретика, таким образом превращается во «вторую природу». «Постмодернизм, — говорит Джеймисон, — это то, что у вас остается, когда процесс модернизации завершен и природа ушла навсегда» [Jameson 1990b: ix]. Используя терминологию Ж. Лакана, он называет этот переход к постмодернизму невиданной ранее по своей интенсивности и глубине «аккультурацией Реального» [Jameson 1991: x], которая на уровне индивида обостряет проблему идентичности, еще сильнее отдаляя его от своего Реального Я.

Проблема идентичности предстает у Джеймисона как апория, как неразрешимый конфликт индивида со своим Я и внешним миром. Истоки этой апории лежат в его понимании структуры психики, которое он заимствовал у Лакана. Согласно Лакану, психика человека представлена тремя порядками, или регистрами, — Реальным, Воображаемым и Символическим, — которые коррелируют со стадиями ее развития. Реальное является той инстанцией, с которой ребенок соприкасается на самом раннем этапе своего развития, — это первая стадия формирования его психики. Здесь его сознание сливается с окружающим миром, здесь еще нет Я и того, что противостоит ему. Однако с вступлением ребенка в языковую реальность это единство

сознания и мира распадается. Первым шагом к этому разрыву становится то, что Лакан называет «стадией зеркала», которая маркирует переход сознания от регистра Реального к регистру Воображаемого. Момент узнавания ребенком себя в зеркале запускает механизм формирования его Эго, однако, как отмечает Джеймисон, он же «обозначает коренной разрыв между субъектом и его собственным Я, или образом, который никогда не будет преодолен» [Jameson 2008a: 87]. В свою очередь, Символический порядок, который сменяет порядок Воображаемого и связан с приобщением к языку, «является дальнейшим отчуждением субъекта» [Jameson 2008a: 91].

Таким образом, первопричину конфликта идентичности теоретик находит в самой структуре человеческой психики. Однако, помещая индивида в исторический контекст позднего капитализма, он обнаруживает, что архаические, «природные» структуры его сознания, ранее прорывавшиеся сквозь порядок Символического, теперь окончательно подавлены. Какие же трансформации, с точки зрения Джеймисона, происходят с субъектом в условиях новой фазы капитализма? В этом вопросе он солидарен с Ж. Делезом и Ф. Гваттари и их идеей «идеальной шизофрении», к которой он активно апеллирует. Называя шизофреника «идеальным типом постмодернистского субъекта», американский теоретик не наделяет это понятие медицинскими смыслами. Для него это, прежде всего, субъект, сознание которого утрачивает способность воспринимать время и таким образом редуцируется к пространству «вечного настоящего» [Jameson 2008b: 649]. Примечательно замечание Джеймисона о том, что в условиях постмодернизма эта абсолютизация настоящего воспринимается позитивно — как «новый вид свободы» и «освобождение от оков прошлого», равно как и от «оков будущего» [Jameson 2008b: 649]. Более того, сам шизофренический субъект рассматривается как противоположность субъекту параноидальному и также оценивается положительно. Джеймисон пишет: «Шизофреник здесь противопоставляется крепости эго параноика, источнику всех фашизмов и авторитаризмов, и таким образом становится политическим, равно как и этическим идеалом» [Jameson 2008b: 649]. Постмодернистский субъект для Джеймисона — это субъект с фрагментированным сознанием, утративший способность связывать свой личный опыт в единое целое, индифферентный и к истории, и к будущему. Еще одной характерной особенностью постмодернистского субъекта является замещение у него желаний аффектами, которые являются всего лишь симулякрами подлинных желаний. Этот феномен он называет «денатурализацией желания», которая является закономерным следствием самой логики развития капитализма [Jameson 1990].

Шизофренический тип субъекта рассматривается мыслителем как настоящая угроза попыткам найти выход из капиталистической системы, поскольку такой субъект не способен вообразить будущее. «Ослабление чувства истории и исторического воображения, ставшее характерной чертой постмодерна, — пишет он, — парадоксальным образом переплетается с утратой того места за пределами истории (или после ее конца), которое мы называем утопией... сегодня достаточно сложно представить какую бы то ни было радикальную

политическую программу без концепции другой системы, иного общества, которую, похоже, только идея утопии, — причем весьма слабо, — еще поддерживает в живых». Политика, таким образом, оказывается запертой в бесконечном капиталистическом настоящем и утрачивает свой смысл. Поэтому, считает Джеймсон, любая антикапиталистическая политическая стратегия должна начинаться с восстановления целостного субъекта и его способности ориентироваться в прошлом и настоящем и воображать будущее — с операции, которую теоретик называет «когнитивным картографированием» [Jameson 1990].

Литература

- Jameson F. 1977. Imaginary and Symbolic in Lacan. Marxism, psychoanalytic criticism and the problem of subject. — *Yale French Studies*. No 55/56. P. 338–395.
- Jameson F. 1981. *The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. 305 p.
- Jameson F. 1988. Cognitive Mapping. — *Marxism and the Interpretation of Culture* (ed. by C. Nelson, L. Grossberg). Champaign, IL: University of Illinois Press. P. 347–360.
- Jameson F. 1991. *Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism*. Durham, Duke Univ. Press. 438 p.
- Jameson F. 1992. *The Geopolitical Aesthetic: Cinema and Space in the World System*. Bloomington: Indiana University Press. 215 p.
- Jameson F.A. 2002. *Singular Modernity: Essay on the Ontology of the Present*. London & New York.: Verso. 250 p.
- Jameson F. 2004. The Politics of Utopia. — *New Left Review*. Vol. 25, January-February. P. 35–54.
- Jameson F. 2008. The End of Temporality. — F. Jameson. *The Ideologies of Theory*. L.: Verso. P. 636–658.
- The Jameson Reader* (ed. by M. Hardt and K. Weeks). 2000. Oxford: Blackwell. 420 p.

Е.А. Вахрушева

Герман ДИЛИГЕНСКИЙ

Герман Германович Дилигенский (1930, Москва — 2002, там же) — социопсихолог, политолог, историк — один из наиболее талантливых российских ученых-гуманитариев XX века. В 1952–1964 годах работал в Институте всеобщей истории АН СССР, в 1964–1982 годах — в ИМЭМО, в 1982–1987 годах — в Институте международного рабочего движения, с 1987 года — снова в ИМЭМО.

Г.Г. Дилигенский — основатель нового направления в российской общественной науке — *социально-политической психологии*, объединившей те направления социальной психологии, которые выходят на социальный уровень, с проблематикой политической психологии, используя при этом и достижения макросоциологии и политологии.



Задачей социально-политической психологии, по Дилигенскому, является изучение не только механизмов взаимодействия индивидов, но и конкретно-исторического содержания психологических феноменов и определяемого ими поведения. Переходя на макроуровень, многие такого рода явления приобретают важные новые черты, а то и меняют свой характер. Это преобразование является естественным результатом взаимодействия психической сферы человека с конкретным обществом в его развитии. Дилигенский отвергал подход, сводящий психические процессы к познанию реального мира. Он обратил внимание на важность мотивационной стороны макропсихологических процессов, в том числе их аффективного аспекта.

Мотивационная сторона макропсихологических процессов определяется, утверждал он, прежде всего потребностями. Ценности, часто играющие роль решающего элемента политического сознания, суть осознанное выражение потребностей. Вместе с тем выбор политических ориентаций — многофакторный процесс. Большинство делает политический выбор, считал Дилигенский, не на ценностных, а на прагматических основаниях. В этом случае ценности приобретают инструментальный характер. Прагматический выбор достаточно противоречив, так как противоречив личный и групповой политический опыт, на который этот выбор опирается.

Потребности выявляются не только через сферу сознания. Нельзя недооценивать, полагал Дилигенский, и роль подсознания в их проявлении и в возникновении психологических феноменов. Он подчеркивал важнейшую роль социальной идентификации, отождествления индивида с социальной группой как мощного фактора его политического выбора. Превращение индивидуальных и групповых потребностей в потребности социально-политические происходит только тогда, когда их удовлетворение зависит от общественной сферы. При этом осознание политических интересов в той или иной мере основано на их ассоциации с личностями лидеров или политической организацией.

Г.Г. Дилигенский определял социально-политические потребности как экстраполяцию индивидуальных и групповых потребностей в макросоциальную и политическую сферы. Процесс переноса не сводится к простому суммированию индивидуальных потребностей. Включаются разного рода психологические закономерности, вызывающие замещение, вытеснение отдельных элементов, образующие в итоге качественно новый феномен — социально-политический интерес, который и образует основу прагматического выбора.

Предложенная Дилигенским типология потребностей учитывала специфику этого нового феномена. Выделено несколько укрупненных групп:

потребности физического существования, социального существования, потребность в позитивных межличностных отношениях, потребность в активном отношении к окружающей среде. При этом потребности физического существования касаются не только материальной его стороны, но и включают заинтересованность в обеспечении собственной безопасности. Потребности социального существования связаны со статусными требованиями, а позитивные межличностные отношения имеют в виду морально-этический, познавательный, деятельностный аспекты.

В разных обществах соотношение между данными группами потребностей, указывал Дилигенский, не может не быть различным. Если в феодальном и раннекапиталистическом обществах на первом месте оказывалась потребность обеспечения безопасного личного существования, защиты от всяческих угроз, полноценного включения в существующее общество, то в современном демократическом мире на первый план выходит потребность в интенсивном развитии, социальном и индивидуальном.

Не отрицая рационального зерна концепций А. Маслоу и Р. Инглхарта о движении человечества от элементарных потребностей к потребностям высшего порядка, Дилигенский показал, что последние отнюдь не замещают и не вытесняют первичные, но чаще всего сочетаются с ними.

Введенное Дилигенским понятие «базовой напряженности» означало конфликт, возникающий то в латентном, то в более явном виде, между базовыми потребностями социального бытия людей: потребностью в объединении с другими и потребностью в автономии, выделении из общественной среды, т.е. столкновение общественной природы человека с подавлением его индивидуальности со стороны социума. Такой конфликт и возникающая на его основе базовая напряженность организуют собой всю систему потребностей социального бытия человека, которая является мотивационным ядром психологического комплекса.

Раньше многих других российских исследователей Дилигенский понял утверждение в западных странах индивидуализма нового типа, основанного на потребности в автономии личности, но предполагающего и новый тип социальности, основанный на самоидентификации не с одной большой группой, но с несколькими большими и малыми группами.

Многое сделано им и для понимания специфики российской идентичности. Глубокое понимание не только сложности и противоречивости социально-политической психологии, но и особенностей исторического развития страны, дали ему возможность прийти к многостороннему и взвешенному пониманию сущности и потенциальных путей постсоветской эволюции России. Он отвергал упрощенные подходы в духе транзитологии или всеобъясняющего цивилизационного подхода, но утверждал, что гибридность и переходность постсоветского российского общества может закрепиться надолго.

Отмечая авторитарный характер установившегося в России режима, он задавался тем не менее вопросом о том, каковы пути и возможности демократизации нашего общества. Мыслимы, отмечал он, два основных фактора

такого преобразования: возможности, заложенные в институциональных структурах, и потенциал социальных акторов. В российских институтах присутствуют, считал он, конструктивные элементы: частная собственность, более или менее рыночные механизмы распределения, гласность, плюрализм, выборы, относительная стабильность власти, широкие полномочия высшего руководства. Но он ясно видел несовершенство, противоречивость российских институциональных структур, понимал, что использовать их модернизационный потенциал крайне сложно. Последующее развитие с избытком это подтвердило.

С точки зрения социально-политической психологии, подчеркивал Г.Г. Дилигенский, неприемлем узкий взгляд на институты как сущности, ограничивающиеся одним структурным компонентом. Не менее важную роль играет «мягкий компонент» — нормы, писанные и неписанные, и образцы поведения, принятые в обществе. Именно эта сторона институциональной характеристики российского общества создает значительные трудности для макрореформ, серьезных социально-политических трансформаций. Российское общество находится в состоянии «деинституционализации», т.е. в нем отсутствует единая и определенная идейно-ценностная и нормативная система.

Дилигенский отрицал представление о россиянах как природных коллективистах. Традиционный коллективизм общинного типа, указывал он, интенсивно использовался большевиками и в результате ушел в прошлое, оставив лишь следы: сохранившуюся в памяти нации, теперь уже чисто вербальную ценность, проявляющуюся в присущей национальному характеру потребности в компанейском общении. Уже в позднесоветское время вербальный коллективизм не мешал людям быть законченными индивидуалистами. Индивидуализм «адаптационного» типа вынуждался объективными социально-политическими обстоятельствами

В позднесоветское время индивидуализм противоречил официально провозглашаемым нормам, а в постсоветские годы, констатировал Дилигенский, он сам становится нормой — не для всех, но для значительного большинства. При этом постсоветский «нормативный» индивидуализм, как правило, отличается от индивидуализма, типичного для стран Запада, поскольку он лишен понимания отношений взаимной зависимости и ответственности, связывающей индивида с другими людьми и обязывающей его считаться с их правами и интересами. Его сознание ограничено пределами своего «я» и не приобрело того качества, которое З. Фрейд именовал «сверх-Я».

Активные социальные связи, отмечал Дилигенский, в постсоветском обществе существуют обычно лишь между родственниками, друзьями, близкими знакомыми, то есть хорошо знающими друг друга людьми. Способность к объединению, к солидарным действиям — качество, практически отсутствующее у индивидуалистов российского типа, и это порождает у них комплекс слабости. Этому способствует и присущий постсоветскому обществу когнитивный вакуум, отсутствие такой информации, объясняющей суть происходящих событий и явлений, которая была бы доступна и понятна обывателю. Тем самым

для массовых слоев и групп образом социальной действительности становится хаос, и рациональный выбор поведения чрезвычайно затруднен. Наиболее осознаваемой общественной потребностью становится «восстановление порядка». Лишь меньшинство оказывается способно к активной адаптации и тем более к выработке ориентации на максимальный экономический и социальный успех. Наиболее массовой реакцией оказывается пассивное терпение.

Естественно поэтому возникновение стремления найти покровителя -авторитарное государство, которое обеспечит реализацию ценности неидеологического или даже доидеологического характера — «порядка». Так возникает негативный политический консенсус — отказ от активного участия в делах государства, отказ от демократизации, возлагание всех надежд на власть. Для большинства россиян демократия является условным общественным идеалом, мало связанным с отношениями и структурой власти. Его содержание — либо свобода по-русски («воля»), либо социальная защита. Характерный для россиян «диффузный национализм» выражается в недовольстве падением международного веса страны. Соглашаясь с мнением, что эти слабости — наследие традиционной политической культуры, Дилигенский искал возможности ее изменения, сосредоточив внимание на проблеме субъекта модернизации.

Находящаяся у власти элита, указывал он, мало способна к выполнению позитивной роли ведущей силы общества. В силу своего происхождения из советской номенклатуры она не в состоянии содействовать формированию социальных норм современного типа, предъявлять обществу образцы поведения.

Постсоветский средний класс мало похож на западный и глубоко дифференцирован по своему идейно-психологическому облику. Для его большинства характерно лишь объективное и субъективное сходство (типологический уровень общности), но не осознание группового единства. Меньшинство осознает эту общность (идентификационный уровень), но группа в целом никогда не поднимается до солидаристского уровня — способности к объединению и совместному действию.

Отметив неблагоприятную ситуацию на макроуровне, Дилигенский сосредоточил поиски на уровне индивида, в повседневной общественной практике. Субъектом изменений, доказывал он, может стать креативное меньшинство зарождающегося среднего класса. Об этом свидетельствует определенный комплекс представлений о социальной реальности и своем месте в ней, который характерен для ее идентичности.

Дилигенский показал, что это креативное меньшинство в своей профессиональной сфере проявляет качества социально ответственных граждан, инициаторов новых социальных практик, от благотворительности до распространения разного рода инноваций. Исследователь возлагал надежды на этих людей как потенциальных социальных акторов, деятельность которых со временем может выйти на социетальный уровень и повлиять на позицию верхов.

Герман Германович Дилигенский принадлежал к числу ученых, научное влияние которых распространялось далеко за пределы возглавляемого им

в ИМЭМО РАН научного коллектива. Он был всегда открыт для новых идей и щедро делился своими, остро чувствовал новое, широко мыслил, соединяя конкретные эмпирические исследования с высоким уровнем теоретического обобщения, умел в доступной широкому читателю и слушателю форме ярко и доступно излагать самые сложные теоретические вопросы. Как руководитель он чутко и бережно подходил к первым опытам своих подчиненных, поддерживал самое ценное в их начинаниях. Он заложил основания научной школы, дал импульс развитию в России исследований социально-политических процессов и роли человека в политике.

В целом исследования Г.Г. Дилигенского серьезно продвинули вперед не только изучение особенностей российской идентичности, но и теоретическую основу понимания макропсихологических аспектов социально-политического развития современного общества.

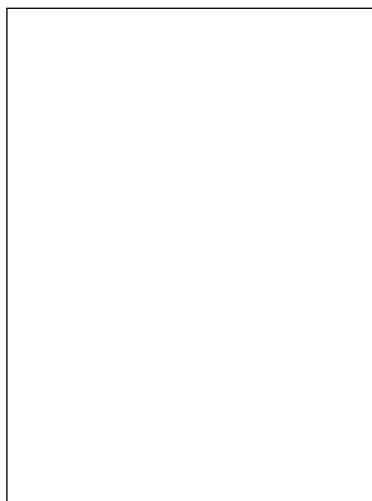
Литература

- Дилигенский Г.Г. 1969. *Рабочий на капиталистическом предприятии: Исследование по социальной психологии французского рабочего класса*. М.: Наука. 410 с.
- Дилигенский Г.Г. 1976. Проблемы теории человеческих потребностей. — *Вопросы философии*. № 9. С. 30–43.
- Дилигенский Г.Г. 1977. Проблемы теории человеческих потребностей. Статья вторая. — *Вопросы философии*. № 2. С. 111–123.
- Дилигенский Г.Г. 1986. *В поисках смысла и цели*. М.: Издательство политической литературы, 255 с.
- Дилигенский Г.Г. 1991. Конеч истории» или смена цивилизаций. — *Вопросы философии*. № 3. С. 29–42.
- Дилигенский Г.Г. 1994. *Социально-политическая психология*. М.: Наука. 304 с.
- Дилигенский Г.Г. 1998. *Российский горожанин конца девяностых: генезис постсоветского сознания (социально-психологическое исследование)*. М.: ИМЭМО РАН. 134 с.
- Дилигенский Г.Г. 2002. *Люди среднего класса*. М.: Институт Фонда «Общественное мнение». 235 с.
- Дилигенский Г.Г. 1997. Российские архетипы и современность. — *Куда идет Россия? Общее и особенное в современном развитии*. М.: Интерцентр. С. 273–279.
- Дилигенский Г.Г. 1997. Политическая институционализация в России: социально-культурные и психологические аспекты. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 8. С. 5–16.
- Дилигенский Г.Г. 1999. Индивидуализм старый и новый. (Личность в постсоветском социуме). — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 5–15.
- Дилигенский Г.Г. 2002. Глобализация в человеческом измерении. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 7. С. 5–15.
- Интервью Г.Г. Дилигенского (июль 2000 года). 2016. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 60. № 9. С. 98–103.
- Холодковский К.Г. 2002. In *memoriam*. Герман Германович Дилигенский. — *Социологическое обозрение*. Т. 2, № 2. С. 100–105.
- Холодковский К.Г. 2003. Мыслить социально-политически. — *Отечественные записки*. 2003. № 1. Эл. ресурс. Доступ: http://magazines.russ.ru/oz/2003/1/2003_01_41.html (ппроверено 07.03.2017).

К.Г. Холодковский

Славой ЖИЖЕК

Славой Жижек (Slavoj Žižek), род. в 1949 году, Любляна (Словения). Учился на философском факультете Люблянского университета, работал в Центральном Комитете Лиги словенских коммунистов, затем научным сотрудником Института социологии и философии (1979–1989). В 1981 году завершил работу над диссертацией по немецкой классической философии. Изучал психоанализ Ж. Лакана в Париже, в начале 1980-х годов создал и возглавил Общество теоретического психоанализа («Люблянская школа»). Культуролог, доктор философии. Участвовал в президентских выборах 1990 года от Словенской Либерально-демократической партии. Президент Института социальных исследований.



Удивительным образом сочетает в своих работах принципы неопрейдизма и неомарксистской методологии. Идеолог протестного движения левых с европоцентричными взглядами, испытал существенное влияние на свои исследовательские и политические позиции взглядов Г. Гегеля, И. Канта, Ф. Шеллинга, К. Маркса, З. Фрейда, В.И. Ленина, Т. Адорно, Л. Альтюссера, Мао дзе Дуна, Ж. Лакана.

Автор нескольких десятков статей и монографических работ (автор и редактор около 40 монографий на английском языке, около 30 — на словенском), в том числе: «Все, что вы хотели знать о Лакане, но боялись спросить у Хичкока» (1988), «Возвышенный объект идеологии» (1989), «Возлюби свой симптом» (1992), «Сосуществование с негативом» (1993), «Зияющая свобода» (1997), «13 опытов о Ленине» (2002) и т.д. Один из авторитетнейших восточно-европейских исследователей взаимоотношения человека и социума, жесткий критик идей постмодернизма и постструктурализма, последователь и интерпретатор работ Ж. Лакана, в неожиданном ракурсе применительно к современным условиям трактующий идеи К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина, Жижек последнее десятилетие значительное внимание уделяет анализу внутригосударственных и международных политических процессов.

Исследовал феномен системного насилия в институтах современного либерального общества, обосновал необходимость заново осмысленной идеи коммунизма и новой коммунистической культуры как средства избежать капиталистические утопии. Изучал природу современных идеологий, в частности, тоталитарной. По его мнению, идеология структурирует социум.

Считает мультикультурализм формой сформировавшейся в условиях глобализации культурной экспансии, поскольку интеграция групп мигрантов в новое сообщество, направленная на формирование терпимости к чужим взглядам, может таить в себе требование ассимиляции, т.е. приспособления к господствующим в конкретном обществе формам идентичности.

Жижек опирается на идею Лакана, согласно которой субъект не может существовать полностью автономно, он проявляет себя только в интерсубъективном диалоге с другим. Исходя из этой идеи, он обращается к проблеме соотношения означающего и означаемого, имени и объекта. Имя, принадлежащее объекту, «отчасти приобретает свое значение только потому, что это его имя, потому что другие так называют этот объект». Соответственно, единственно возможным определением идентичности того или иного объекта является ситуация, когда «именно этот объект, который всегда обозначается данным означающим, связан с одним и тем же означаемым. Именно означающее и конструирует идентичность» [Жижек 1999: 99, 104].

Жижек полемизирует со многими авторами, для которых категория «идентификация» предполагает наличие образцов для подражания, идеалов, неких искусственных моделей, создаваемых имиджмейкерами. Многие люди отождествляют себя с образом «героя», но для других идентификация вовсе не обязательно должна быть чем-то из ряда вон выходящим: идентифицироваться можно и со слабостью, неудачей, виной перед другими. Жижек ставит вопрос о том, чей взгляд учитывает субъект, отождествляя себя с тем или иным образом, и приходит к парадоксальному выводу, что этот образ подчас выражает интересы отнюдь не субъекта идентификации. Например, идеализированный образ пролетариата «возникает под взглядом правящей бюрократии, он необходим для легитимации ее власти» [Жижек 1999: 113].

Жижек выделяет символическую и воображаемую идентификации. При воображаемой идентификации мы подражаем «Другому» на уровне подобию, мы связываем себя с его образом, поскольку «похожи на него», точнее, хотели бы быть похожи. А при символической идентификации человек связывает свое «Я» с «Другим» как раз в том, в чем он уникален, в чем ему подражать невозможно. При символической идентификации мы стремимся занять такое место, откуда смотрим на себя и при самооценке кажемся привлекательными и достойными людьми.

Представляет интерес трактовка Жижекком идеологического пространства как совокупности не сопряженных между собой, не связанных элементов («плавающих означающих»), которые выстраиваются («пристегиваются») в логические цепочки с другими элементами. Одни и те же категории («point de caption», «узловые точки», «Нечто») не только иначе понимаются в различных идеологиях, но и по-разному включаются в логические цепочки рассуждений. Например, «свобода» и «государство» различным образом трактуются в контекстах консерватизма, либерализма, анархизма и коммунизма. Именно с помощью «point de caption» задается идентичность поля политики, позволяющая индивидам позиционировать себя и оценивать свои политические взгляды.

Публичные выступления Жижека отличает эпатажный полемический запал, его называют «философом-хиппи». Его взгляды нередко критикуют за неаргументированность, противоречивость и поверхностность. Тем не менее он остается одним из популярных референтных авторов в поле современной политической и социальной философии. В последние годы вышел ряд посвященных его работам исследований.

Литература

- Жижек С. 1999. *Возвышенный объект идеологии*. М.: Художественный журнал: 235 с.
- Жижек С. 2001. *Заметки о сталинской модернизации*. Художественный журнал. № 36. С. 16–23.
- Жижек С. 2002. *Добро пожаловать в пустыню Реального*. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры». 160 с.
- Жижек С. 2010. *О насилии*. М.: Издательство «Европа». 184 с.
- Жижек С. 2011. *Размышления в красном цвете*. М.: Европа. 476 с.
- Жижек С. 2012. *Год невозможного. Искусство мечтать опасно*. М.: Европа, 272 с.
- Жижек С. 2014а. *Накануне Господина: Сотрясая рамки*. М.: Европа. 280 с.
- Жижек С. 2014б. *Шекотливый субъект: отсутствующий центр политической онтологии*. М.: Изд. Дом «Дело». 528 с.
- Кагарлицкий Б. 2003. От Лакана к Ленину. Славой Жижек как зеркало левого движения. — *Критическая масса*. № 2.
- Уэст Д. 2015. Славой Жижек — беспокойный субъект идеологии (Радикальные отступления). — *Континентальная философия. Введение*. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС. 448 с.
- Myers T. 2003. *Slavoj Žižek*. (Routledge Critical Thinkers). London & New York: Routledge. 160 p.

О.В. Попова

Мануэль КАСТЕЛЬС

Мануэль Кастельс (Manuel Castells, р. 1942) — американский социолог и экономист испанского происхождения. В 1964 году окончил Сорбоннский университет (факультет экономики и права). В 1967 году защитил в Парижском университете докторскую диссертацию. С 1979 года — профессор Калифорнийского университета. В 1988–1993 годах — профессор и директор Института социологии и новых технологий Мадридского университета. В 1994–1998 годах — председатель Центра западноевропейских исследований Калифорнийского университета. В 2000–2001 годах — член Совета ООН по информационным и коммуникационным технологиям и глобальному развитию.

Свою научную деятельность Кастельс начинал в рамках социологии города. В дальнейшем его внимание было сосредоточено на роли современных технологий в трансформации общества, коммуникации, изучении феноменов информационного общества, глобализации. Этим проблемам посвящена трилогия «Информационное общество: экономика, общество и культура» (том 1 —



«Подъем сетевого общества», 1996; том 2 — «Власть идентичности», 1997; том 3 — «Конец тысячелетия», 1998).

В центре внимания Кастельса находятся преобразования общества в новое, «сетевое» общество. Он полагает, что оно возникло в конце XX века в результате совпадения трех важнейших преобразований: информационной (технологической) революции, кризиса капитализма и коммунизма и появления новых социальных движений (таких, как феминизм и энвайронментализм). По мнению Кастельса, «сети формируют новую социальную морфологию общества» [Castells 1996: 469]. Они создают новый тип экономики, в которой власть больше не концентрируется в институтах, корпорациях или у государ-

ства. Вместо этого она распределяется между разными социальными субъектами и предстает в виде информационного кода и образов, бытующих в сознании людей. Отношения власти в обществе изменились. Обладание власти теперь предполагает контроль над коммуникационными сетями, которые действуют в разных сферах: финансах, политике, культуре, бизнесе, производстве [Castells 2012: 5–7]. Самая важная форма власти сегодня — это способность оказывать влияние на формирование образа мыслей людей [Castells 2012: 5]. Создание и поддержание социальных, политических и экономических институтов, норм и ценностей целиком зависят от того, какое представление о них складывается у людей; а поскольку люди получают это представление в ходе взаимодействия с социальными сетями, посредством общения с другими людьми, коммуникационные технологии приобретают ключевую роль в современных властных отношениях.

Вопрос о трансформации идентичности Кастельс ставит в контексте оценки влияния на социальную структуру общества и на поведение субъектов новых, сетевых форм организации и новых, прежде всего, коммуникационных технологий. Сегодня очевидно, что нарастает разрыв между «абстрактным универсальным инструментализмом», свойственным сетевому обществу, и «старыми» идентичностями, сформированными с опорой на привычные для индустриального общества социальные институты. Ответной реакцией на эти вызовы стало появление новых идентичностей и новых социальных движений (религиозный фундаментализм, национализм, локализм, энвайронментализм, феминизм). Анализируя эти разные по природе формы социального действия, Кастельс выходит на проблему идентичности в сетевом обществе. Рассмотрению этой проблемы посвящен второй том трилогии «Власть идентичности», в котором идентичность помещается в контекст социальных и экономических трансформаций, происходящих в глобальном мире под влия-

нием информационных технологий. В центре внимания находятся противоречия между свойственными индустриальной эпохе социальными институтами и новыми идентичностями, появляющимися в сетевом обществе.

Кастельс определяет идентичность как «процесс конструирования индивидуального значения (meaning) на основе какого-либо культурного признака или связанного набора культурных признаков, которым отдается предпочтение над другими источниками индивидуального значения» [Castells 1997: 6]. По Кастельсу, культурные факторы превалируют над другими факторами формирования идентичности в современном сетевом обществе. Более того, важную роль в этом процессе играют сами социальные субъекты. Кастельс выдвигает идею, что «символическое содержание идентичности и ее значение для тех, кто себя с ней связывает или противопоставляет себя, зависит от того, кто именно формирует коллективную идентичность и для каких целей» [Castells 1997: 7].

Кастельс выделяет три типа коллективной идентичности: легитимирующие (legitimising) идентичности, конструируемые доминирующими социальными институтами с целью расширения и упрочения своего влияния; идентичности сопротивления (resistance), конструируемые социальными акторами, находящимися в оппозиции по отношению к доминирующему в обществе мышлению; и проективные (project) идентичности, конструируемые на основе какого-либо культурного материала с целью изменения всей социальной структуры [Castells 1997: 11]. В качестве примера новой проблемной зоны, появившейся вследствие «сетевизации» общества, Кастельс приводит кризис патриархального уклада, и, в частности, традиционного типа семьи, который наблюдается по всему миру. По Кастельсу, этот процесс «невольно индуцируется информационным капитализмом и намеренно осуществляется социальными движениями» [Castells 1997: 242], которые выстраивают свои проективные идентичности в рамках целенаправленной политики идентичности.

В условиях изменения властных отношений, появления новых идентичностей, нарастающей «сетевизации» общества национальное государство переживает кризис. Если ранее оно поддерживало внутреннюю целостность за счет эффективного функционирования на локальном и региональном уровнях государства социального благосостояния, то сегодня оно теряет эту способность. В условиях глобализации традиционные институты демократии и гражданского общества оказались в ловушке. Они должны справляться одновременно с растущим разнообразием идентичностей внутри общества и при этом оставаться эффективным и активным игроком на международной арене. В результате национальные государства теряют свою идентичность. В этой связи для Кастельса выглядит вполне закономерным разрыв связи между «нацией» и «государством». При этом развитием новых форм идентичности и демократии смогут, по его мнению, заниматься новые социальные движения, которые лучше приспособлены к функционированию в условиях сетевого общества [см.: Castells 2012].

Литература

- Кастельс М. 2000. *Информационная эпоха: экономика, общество и культура*. М.: Издательство ГУ ВШЭ. 608 с.
- Кастельс М., Киселева Э. 2000. Россия и сетевое общество. — *Мир России*. Т. 9. № 1. С. 23–51.
- Кастельс М. 2016. *Власть коммуникации*. М.: Изд-во ВШЭ (государственный университет). 568 с.
- Castells M. 1996. *The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society and Culture*. Vol. I. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell, 656 p.
- Castells M. 1997. *The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society and Culture*. Vol. II. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell, 584 p.
- Castells M. 1998. *The End of the Millennium: The Information Age: Economy, Society and Culture*. Vol. III. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell, 488 p.
- Castells M. 2012. *Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age. The Network Society: A Cross-Cultural Perspective* (ed. by M. Castells). 2004. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar. 464 p.
- Susser I. 2002. *The Castells Reader on Cities and Social Theory*. Oxford, Blackwell, 448 p.
- Stalder F. 2006. *Manuel Castells and the Theory of the Network Society*. Oxford, Polity Press, 240 p.

Е.Г. Довбыш

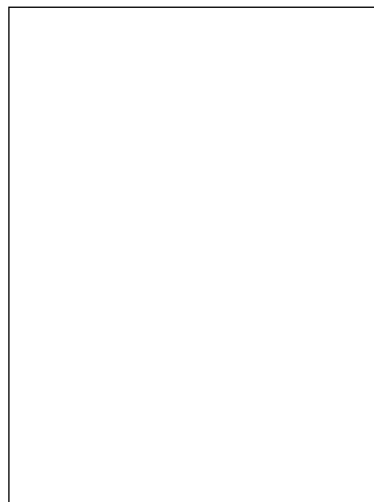
Уилл КИМЛИКА

Уилл Кимлика (Will Kymlicka), род. в 1962 году, Лондон, Онтарио, Канада) — канадский политический мыслитель, автор концепции либерального мультикультурализма, выпускник Королевского университета (Канада). Докторскую степень получил в Оксфорде в 1987 году. Работал в Королевском университете, Принстоне, университете Торонто. Возглавляет кафедру политической философии Королевского университета (Queen's University) в Кингстоне, Онтарио (Канада). С 1998 года сотрудничает с Центрально-европейским университетом в Будапеште (программа исследований национализма). Сопредседатель (вместе с К. Бэнтингом) проекта по разработке Индекса оценки мультикультурной политики (Multiculturalism Policy Index project — см. <http://www.queensu.ca/mcip/>).

Научные интересы Кимлики сосредоточены на политических аспектах проблематики прав меньшинств. Он приобрел мировую известность в академической среде как теоретик мультикультурализма.

В самой известной из своих работ по этой тематике, монографии «Мультикультурное гражданство: либеральная теория прав меньшинств» (Multicultural Citizenship, 1995) он обозначил конкретную задачу своей исследовательской деятельности — «разработать в полной мере либеральный подход к проблеме прав меньшинств» [Kymlicka 1995: 75].

Кимлика полагает, что строго классическая либеральная традиция не в состоянии предложить теоретического основания для эффективного политического решения проблемы меньшинств. «Дело в том, что классический либерализм предполагает, что государство должно защищать индивидуальные права граждан и процветание только одной исторической и культурной общности — национального государства. (...) Классический либерализм не «видит» не только проблемы меньшинств, но и фактически самих меньшинств» [Kymlicka 1995: 56]. По факту же «ни одно государство не может сегодня быть абсолютно нейтральным в отношении культуры: нужно определить, на каком языке будут выходить официальные документы,



какие праздники сделать нерабочими днями»... [Kymlicka, 2001: 50]. В итоге в гетерогенном обществе часто имеет место ситуация, при которой есть те, чьи культурные запросы удовлетворяются (они получают поддержку от государства в соблюдении своего образа жизни, «признание» своей культурной «правоты»), и те, чей образ жизни оказывается маргинальным. Это неминуемо приводит к фактическому разделению людей на первый и второй сорт. Последнее явно противоречит либеральному принципу универсальности прав человека, чего, по мнению Кимлики, убежденного последователя Дж. Ролза, нельзя допускать.

Именно из желания найти способ соблюдать основные либеральные принципы в новых условиях культурной гетерогенности и рождается концепция мультикультурализма Кимлики. Его мультикультурализм — это либерализм, «оказавшийся» в гетерогенной общественной среде и «вынужденный» там «добиваться» соблюдения своих основных принципов.

Идентичность в дискурсе Кимлики — это простая принадлежность (к группе, культуре и т.п.). В своих работах он не вдаётся в детали относительно того, насколько осознанной она должна быть, какую роль в ее формировании играет признание или о какого рода группе может идти речь. Кимлика не «теоретизирует» идентичность. Он часто использует это понятие, но как интуитивно понятное слово, не требующее уточняющего определения. Как политико-философская категория идентичность не находится в центре его анализа, гораздо более его интересуют права. Однако все, что он пишет, очевидно находится в русле той же проблематики.

Так, Кимлика известен предложенной им «иерархией групповых прав»: он разделил типы меньшинств с различной идентичностью на категории, обладающие различным набором прав. Положение в иерархии определяется двумя параметрами: наличием (и концентрацией) так наз. «социетальной

культуры» и моральной оправданностью притязаний на право поддерживать свой (культурно опосредованный) образ жизни. Наибольшими правами на защиту своего культурного наследия и ведение специфического образа жизни, с его точки зрения, должны пользоваться так называемые «национальные меньшинства» (компактно проживающая на территории государства иной культуры группа, включенная в состав государства иной культуры, институционально хорошо организованная, имеющая собственный язык и культуру и, в целом, представляющая собой выделяющуюся культурную «единицу» с сильной групповой идентичностью). В числе примеров таких групп Кимлика называет индейцев, пуэрториканцев и коренных гавайцев в США, квебекцев-франкофонов и сообщества аборигенов в Канаде, маори в Новой Зеландии.

На нижней ступени иерархии у Кимлика помещены добровольные иммигранты: их культура не является социетальной (этнические иммигрантские сообщества не проживают компактно на территории, институционально организованы слабо, культурно отрезаны от своих корней). Это значит, что их культура не может воспроизводиться в новых условиях. К тому же, с точки зрения моральной оправданности притязаний на право поддерживать свой (культурно опосредованный) образ жизни, их позиция, с точки зрения Кимлика, слаба.

Между национальными меньшинствами и добровольными иммигрантами располагаются остальные категории этнокультурных меньшинств. Чем более «социетальная» у них культура и чем менее добровольно их пребывание (чаще не их самих, а их предков) в границах инокультурного для них государства, тем на большие культурные права (большую автономию) они могут рассчитывать, согласно подходу Кимлика.

Концепция иерархии прав часто вызывает вопросы: она указывает, как отмечают многие критики мультикультурализма, на ограничения либеральной теории и либеральной политической практики. Нетрудно догадаться, что иерархия прав означает иерархию идентичностей, а ведь именно с попытки избежать иерархии идентичностей (разделения на первый и второй сорт), Кимлика и начал свой теоретический поиск. В целом, несмотря на некоторую противоречивость выводов, работы У. Кимлика, безусловно, ценный источник идей и теоретических наработок для исследователя проблематики идентичности.

В последнее время У. Кимлика занялся исследованием правового статуса групп особого типа. Его последние работы (в соавторстве с супругой Сью Доналдсон) посвящены разработке политической теории прав животных.

Литература

- Kymlicka W. 1989. *Liberalism, Community, and Culture*. Oxford: Clarendon Press. 280 p.
Kymlicka W. 2002. *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*: 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. 512 p.

Kymlicka W. 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press. 296 p.

Kymlicka W. 1998. *Finding Our Way: Rethinking Ethnocultural Relations in Canada*. Oxford: Oxford University Press. 232 p.

Kymlicka W. 2001. *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, Citizenship*. Oxford: Oxford University Press. 392 p.

Kymlicka W. 2007. *Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity*. Oxford: Oxford University Press. 384 p.

Donaldson S., Kymlicka W. 2011. *Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights*. Oxford: Oxford University Press. 352 p.

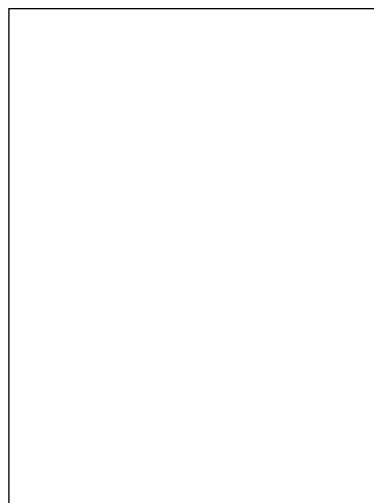
А.В. Веретевская

Игорь КОН

Игорь Семенович Кон (1928, Ленинград — 2011, Москва) — советский и российский социолог, психолог, философ, антрополог, основатель сексологии в России. Кандидат исторических наук (1950), кандидат (1950) и доктор философских наук (1960), профессор (1963), действительный член Российской академии образования (1989).

В 1947 году окончил исторический факультет Ленинградского пединститута имени А.И. Герцена, затем — две аспирантуры — по философии и новой истории. Работал в Вологодском пединституте (1950–1952), Ленинградском химико-фармацевтическом институте (1953–1956), Ленинградском государственном университете (1956–1967), Институте философии АН СССР (1967–1968), Институте конкретных социальных исследований АН СССР (1968–1972), Институте научной информации по общественным наукам РАН (1972–1974). С 1975 года — главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. В 1980–1990-х годах работал приглашенным исследователем в ряде университетов Европы и США. Автор нескольких десятков монографий и сотен статей по вопросам сексологии, психологии, социологии личности, философии и психологии самосознания. Множество его работ было переведено на иностранные языки.

Сделал весомый вклад в ряд областей, связанных с исследованием проблемы идентичности. Одна из центральных тем работ Кона — разработка теории личности [«Социология личности» (1967), «Открытие Я» (1978) и «В поисках



себя: Личность и ее самосознание» (1984)]. Также важную роль в его работах занимали социально-возрастные процессы (в особенности — анализ детства и юношества), проблемы пола и сексуальности, роль культурно-исторических условий в формировании идентичности. Кон занимался гендерными исследованиями, внес существенный вклад в формирование в отечественной науке понятия гендерной и половой идентичности.

Кон в первую очередь исследует понятие личностной идентичности в контексте психологии становящейся личности. Он рассматривает идентичность как «условный конструкт личности, не являющийся статичным и постоянно содержащий динамические мотивационные тенденции, уравнивающие внутренние и внешние импульсы» [Кон 1984: 56].

Кон выделяет в понятии идентичности три основных модальности: психофизиологическая, социальная и личная идентичность. Первая полагает единство и преемственность физиологических и психических процессов и свойств организма, благодаря которым последний отличает свои клетки от чужих. Вторая связана с идентификацией индивида с различными социальными группами, этот процесс социальной идентификации, по мнению Кона, превращает человека в личность. Третья модальность — личная идентичность или самоидентичность — полагает единство и преемственность жизнедеятельности, целей, мотивов, установок личности, она может быть отражена в способности индивида поддерживать и продолжать натратив — историю собственного Я, сохраняющего свою целостность, несмотря на различные изменения [Кон 2015].

Основной вклад сделан Коном в развитие понятия гендерной и половой идентичности. Кон определяет половую идентичность как осознанную половую принадлежность индивида, с которой соотносятся прочие свойства его самосознания. С его точки зрения, половая принадлежность является самой первой категорией, в которой ребенок осмысливает собственное Я. Эта первичная половая идентичность, т.е. знание своей половой принадлежности, как утверждает Кон, складывается в возрасте от полутора до трех лет. Внешние половые признаки ребенка предопределяют то, в рамках какой половой роли — мужской или женской — он будет воспитываться. В процессе воспитания ребенок усваивает традиционные социокультурные нормы, ассоциации и стереотипы, связанные с полом, и в дальнейшем его эмоционально-когнитивное осознание себя как человека определенного пола исходит уже из усвоенных норм. [Кон 1981]. На ранних этапах развития ребенка в половую идентичность входит правильное отнесение себя к определенному полу и различение по полу других людей. С возрастом объем и содержание половой идентичности меняются, усиливается половая дифференциация активности детей: мальчики и девочки выбирают разные игры и разных партнеров, формируются однополюе компании. Уже в дошкольном возрасте дети активно усваивают половые роли и осознают необратимость пола, принимают нормы полоролевого поведения. Это ложится в основу истинной половой идентификации как результата сложного биосоциального процесса, соединяющего онтогенез, половую социализацию и развитие самосознания. Осознание

своего пола, с точки зрения Кона, является наиболее устойчивым, стержневым элементом самосознания ребенка [Кон 1999]. В то же время современным идентичностям человека, отмечает Кон, свойственна размытость, условность, и даже такие, казалось бы, непоколебимые идентичности, как пол и гендер, поддаются этому условному, «перформативному» характеру идентификации. В итоге человек, с детства убежденный в том, что мужские и женские свойства принципиально различны и изначально предопределены раз и навсегда, испытывает трудности, сталкиваясь с возникающими противоречиями в рамках собственной гендерной идентичности.

Исследования И.С. Кона в рамках проблематики пола и гендера получили широкое признание еще в советское время; он активно занимался просветительской деятельностью.

Литература

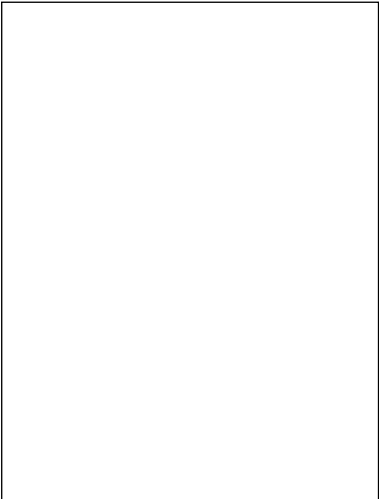
- Кон И.С. 1967. *Социология личности*. М.: Политиздат. 383 с.
Кон И.С. 1978. *Открытие Я*. М.: Политиздат. 367 с.
Кон И.С. 1981. Психология половых различий. — *Вопросы психологии*. № 2. С. 47–57.
Кон И.С. 1983. Этнография и проблемы пола. — *Советская этнография*. № 3. С. 25–34.
Кон И.С. 1984. *В поисках себя: Личность и ее самосознание*. М.: Политиздат. 335 с.
Кон И.С. 1988. *Ребенок и общество: (Историко-этнографическая перспектива)*. М.: Наука. 270 с.
Кон И.С. 1989. *Психология ранней юности. Книга для учителя*. М.: Просвещение. 255 с.
Кон И.С. 1999. *Введение в сексологию: Учебное пособие для высших учебных заведений*. М.: Олимп — Инфра-М. 285 с.
Кон И.С. *Идентичность* // Энциклопедия Кругосвет. Доступ: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/sociologiya/IDENTICHNOST.html (доступ: 19.08.2015).

Е.О. Труфанова

Михаил КРЫЛОВ

Михаил Петрович Крылов (1952, пос. Быково, Московская область — 2015, Москва) — российский ученый-географ, доктор географических наук, автор получивших широкое признание трудов по проблемам приграничной идентичности. Выпускник кафедры Экономической географии СССР Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1974). Работал ведущим научным сотрудником Лаборатории геополитических исследований Института географии РАН. Автор более 150 научных работ. Являлся действительным членом Русского географического общества с 1974 года.

Сфера научных интересов ученого включала исследование региональной идентичности и исторической памяти, этнополитических и этнокультурных



процессов на постсоветском пространстве. Он вел исследования в междисциплинарной сфере на стыке этногеографии, исторической географии, социальной географии и социальной антропологии.

М.П. Крылов — автор концепции региональной идентичности, апробированной в условиях России и ближнего зарубежья, известный специалист по проблеме приграничной идентичности.

Специфика авторского подхода фиксируется в предложенной им концептуальной схеме анализа региональной идентичности, выраженной в дефиниции феномена. Региональная идентичность в понимании М.П. Крылова раскрывается через понятие местного самосознания и представляет собой «системную сово-

купность культурных отношений, связанных с понятием «малая родина» [Крылов 2010: 13]. К этому определению автор добавляет, что региональная идентичность — это «воля к жизни и развитию на данной территории» («а не стратегия Обломова»), «способность к социокультурной, гражданской и экономической активности» [Крылов 2010: 20]. Иными словами, региональная идентичность — не просто территориальное отождествление себя с населением региона, это определенный культурно-исторический феномен, объективно существующая глубинная черта «ментальности, мировосприятия и мировоззрения» [Крылов 2010: 18]. Это не конструкт или проект элитных стратегий, это местная специфика, существующая в сознании жителей, в их исторической памяти и мотивирующая их социальную деятельность. Местное самосознание существует объективно как следствие самоорганизации общества и особенностей пространства, исторического прошлого той или иной территориальной общности.

Рассматривая региональную идентичность как многослойный феномен, автор выделяет два ключевых составляющих (или структурных элемента) — «местный патриотизм» и «пространственную самоидентификацию» [Крылов 2010: 71]. Получается, что в ней сочетаются как аспекты собственно пространства (идентичность, какая?, например, «рязанская», «тамбовская» — здесь внешне доминирует топонимика) так и аспекты внутренней энергетики, «силы» идентичности, относящейся к местному патриотизму. Среди проявлений развитого регионального самосознания автор называет нежелание менять место жительства; чувство ностальгии более к территории, чем к людям; социокультурную активность как реализацию некой региональной программы, развитое чувство протеста или же потенции к созданию некоторых ценностей местного и в таком смысле уникального значения [Крылов 2010: 79–80].

Не менее значимым для понимания природы и особенностей региональной идентичности является моделирование ее типов, позволяющее проводить

сравнительные исследования. М.П. Крылов выделяет три ракурса региональной идентичности: надтрадиционную, транстрадиционную и традиционалистскую. Он считает, что идентичность является фактором устойчивости и изменчивости социальных систем [Крылов 2010: 48–56]. Региональная идентичность содержит в себе внутреннюю мощь, она рассматривается автором во взаимодействии понятий традиции и модернизации, «как пространственно выраженный фокус этого взаимодействия, проявляющегося в условиях адаптации к местным культурным, социальным, экономическим и историческим условиям» [Крылов 2010: 49].

Работы М.П. Крылова вносят большой вклад в осмыслении территориальных идентичностей, показывают, что региональная идентичность тесно сопряжена с российской идентичностью, а местный патриотизм не подрывает «русский» и не тождествен сепаратизму. Сам ученый был очень увлеченным своим делом человеком, своим научным горением, исследовательским энтузиазмом он зажигал учеников и коллег.

Литература

Крылов М.П. 2010. *Региональная идентичность в Европейской России*. М.: Новый хронограф. 240 с.
Крылов М.П. 2005. Региональная идентичность в историческом ядре Европейской России. — *Социологические исследования*. № 3. С. 13–23.

Гриценко А.А., Крылов М.П. 2011. Влияние историко-политических и ландшафтных границ на идентичность российского населения в российско-украинском приграничье. — *Российско-украинское приграничье. Двадцать лет разделенного единства*. Под ред. В.А. Колосова, О.И. Вендиной. Москва, Новый хронограф. С. 180–191.

Крылов М.П., Гриценко А.А. 2012. Региональная и этнокультурная идентичность в российско-украинском и российско-украинско-белорусском порубежье: историческая память и культурные трансформации. — *Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований*. № 2. С. 28–42. Доступ: <http://journal-labirint.com> (проверено: 06.10.2015).

Крылов М.П. 2012. Категория «идентичность» в контексте проблемы приграничий. — *Мир психологии*. № 1. С. 137–151.

Крылов М.П. 2012. Приграничная идентичность. — *Политическая идентичность и политика идентичности. Том 1. Идентичность как категория политической науки. Словарь терминов и понятий*. М., РОССПЭН (Российская политическая энциклопедия). С. 147–153.

Левинтов А.Е. 2011. Лицом к лицу. Рецензия на книгу М.П. Крылова «Региональная идентичность в Европейской России». (М.: Новый Хронограф, 2010. — 240 с.) — *Вестник Московского городского педагогического университета, серия «Естественные науки»*. № 1 (7). С.129–130.

Назукина М.В. Рецензия на книгу: Крылов М.П. Региональная идентичность в Европейской России. М.: Новый хронограф, 2010. — *Вестник Пермского университета. Серия «Политология»*. 2011. Вып. 1 (13). С. 127–131.

Гриценко А.А. 2014. Региональные идентичности у западных границ России: история, политика, позиционные факторы. — *Вестник Пермского научного центра*. № 5. С. 20–33.

М.В. Назукина

Чарльз КУЛИ



Чарльз Хортон Кули (Charles Horton Cooley, 1864, Энн Арбор, Мичиган, США — 1929, там же) — представитель первого поколения американской социальной психологии, один из предшественников методологии символического интеракционизма и основоположников теории малых социальных групп. Выпускник Мичиганского университета, в котором в 1894 году защитил докторскую диссертацию, после чего стал профессором этого университета.

Находился под влиянием работ Г. Спенсера, О. Конта, Ж.Г. Тарда, однако в целом его методологические установки можно обозначить как органицизм, или холизм. Сторонник эволюционного подхода к вопросам развития человека, общества и познания. Пер-

вым ввел в научный оборот категории «первичная группа» (относил к ним семью, сверстников, соседей, местные общины, религиозные сообщества) и «вторичная группа» (общественные институты). Автор теорий малых социальных групп и «зеркального Я» (looking-glass self). Основные работы — «Человеческая природа и социальный порядок» (1902), «Социальная организация» (1909), «Социальный процесс» (1918).

Суть человека не может быть сведена к его биологической основе, инстинктам, неосознанным импульсам и т.д. Человек социален и не может жить без общества; его общественная сущность формируется на основе межличностного взаимодействия в малых социальных группах. Первичные группы, в рамках которых идет процесс социализации и развития индивида, усвоение социальных ценностей, этических норм, образцов и форм деятельности, одновременно формируют и социальные отношения, в которых человек опирается на непосредственные, личностные, неформальные связи и доверительное межличностное общение. Важнейшей способностью человека и основным фактором межличностного общения Кули считал воображение, которое позволяет видеть другого человека не только как физическое тело, но как совокупность выступающих в качестве символов и подлежащих личностной интерпретации сложной совокупности поведенческих, вербальных, невербальных и т.д. характеристик.

Концепция «зеркального Я» опирается на три взаимосвязанные идеи: в процессе взаимодействия друг с другом люди способны представить, как они воспринимаются обобщенным другим; люди могут осознавать характер ответ-

ных реакций на себя и свои действия обобщенных других; у людей формируется основанное на позитивных или негативных эмоциях (например, чувствах гордости, самоуважения, самоуничижения, подавленности и т.д.) представление о себе в зависимости от того, как они представляют отношение к ним обобщенных «других».

Процесс идентификации, с точки зрения Кули, это — осознание себя через призму «другого». Признавал особую роль механизма подражания в процессе становления идентичности. Категория «Я» (Self, самость) наиболее подробно рассмотрена в работе «Человеческая природа и социальный порядок». По мнению ученого, физическое тело индивида — только один из элементов «Я», поскольку свои ценности, идеи, достижения, имущество люди подчас оценивают как более значимые.

Ощущение «Я» возникает у ребенка отчасти в процессе соревновательного присвоения игрушек, отчасти в процессе представления своего образа глазами других. Характер отношения родителей к ребенку «присваивается» им; он видит себя глазами своих близких и начинает воспринимать себя так, как к нему относятся окружающие в малой социальной группе. Кули был убежден в существенном различии значимости мнения окружающих о себе у гендерных групп (девочки более восприимчивы к мнению окружающих о себе, чем мальчики; мальчики более агрессивны и самостоятельны).

Формирование «Я» сопровождается у индивида переживанием различных чувств: самоуважения, самопреобразования, смирения, отчуждения, тщеславия, гордости. Взрослый человек самостоятельно выбирает референтную группу, стремясь подобрать круг общения людей, поддерживающих его самоидентификацию.

Литература

Кули Ч.Х. 1996. *Социальная самость. Американская социологическая мысль (под ред. В.И. Добренькова)*. М.: Международный университет бизнеса и управления С. 314–328.

Кули Ч.Х. 2000. *Человеческая природа и социальный порядок*. М.: Дом интеллектуальной книги. 309 с.

Cooley Ch.H. *Social organization: a study of the larger mind*. Charles Scribner's Sons, 1909. 426 p.

Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века. Сборник переводов. 2010. Перевод и составит. В.Г. Николаев; ред. Д.В. Ефременко. М.: РАН ИНИОН. 325 с.

Чеснокова В.Ф. Чарльз Кули. Первичная группа. — В.Ф. Чеснокова. *Теория общественного мнения. Язык социологии. Курс лекций*. Гл. 6. М.: Объединенное гуманитарное издательство, 2010. 544 с.

О.В. Попова

Жак ЛАКАН



Жак Лакан (Jacques-Marie-Emile Lacan, 1901, Париж — 1981, там же) родился в Париже в обеспеченной семье торговца, воспитывался в жесткой буржуазно-религиозной атмосфере. Считается, что его теория отцовского закона — теория «Имени Отца» (1953) — во многом явилась плодом размышлений Лакана о собственном детстве. Получил классическое образование в престижном иезуитском коллеже Станисласа, обучался медицине и психиатрии, отличался разносторонними интересами — от философии до авангардной литературы. Диплом судебного психиатра получил в 1931 году, через год защитил диссертацию на тему «О паранойальном психозе в его отношении к личности». В 1960-х годах преподавал

в Эколь Нормаль, откуда был уволен в связи с волнениями студентов в Париже 1968 года, когда руководство этого университета сочло одной из причин их протестных действий лекции Лакана.

Профессиональную карьеру начинал как практикующий врач, стремящийся объединить гуманитарное и медицинское знание, в итоге основным направлением его исследований стал психоанализ (явления психического автоматизма, агрессии, нарциссической любви). Знаменитый французский психиатр, философ, успешный коллекционер предметов искусства и книг, среди друзей которого были выдающиеся сюрреалисты, член различных психоаналитических обществ, в течение жизни обращавшийся к различным научным методологиям — фрейдизму, структурализму, постструктурализму.

Лакан — автор знаменитой *теории «стадии зеркала»* (1930-е годы). В 1949 году сделал привлекавший к его теории идентификации на конгрессе Международной психоаналитической ассоциации доклад, посвященный роли зеркальной стадии в формировании личности. Теорию идентификации Лакан обсуждал также на проведенных им по своей инициативе вне институциональных рамок семинарах 1961–1962 гг. Все его труды опубликованы в формате выступлений на семинарах 1951–1980 гг., которыми он руководил: сам он почти не писал законченных научных работ, и публикации материалов семинаров стали появляться только к концу его жизни¹.

¹ Во Франции, начиная с 1999 года, были изданы 28 сборников материалов семинаров Лакана, которые он проводил с 1951 по 1980 год сначала по собственной инициативе на квартире своей

Категория «стадия зеркала» заимствуется Лаканом у А. Валлона. Он использует идеи З. Фрейда о происхождении «я», а также теорию роли образов и их «запечатлевания» в развитии живых организмов из области зоологии. Лакан исходит из того, что серия идентификаций со своим собственным образом — основной механизм формирования «Я» личности в детстве. «Стадия зеркала» — время, когда ребенок в возрасте 6–18 месяцев начинает узнавать себя в зеркале, но не обладает еще властью над собственным телом в реальности. Ребенок ощущает взаимосвязь между видимым миром и той реальностью, которая воспроизводится зеркалом. Зеркальная поверхность выступает границей между параллельными, не соприкасающимися мирами.

Акт идентификации — сознательное восприятие или отвержение субъектом своего отражения, образа. Видя себя со стороны, субъект начинает цепь согласований, коррекций, уступок и отказов между своим видимым образом и его умозрительным двойником, отражением себя и своим воображением, обликом и сущностью. Глядя в зеркало, «человеческое существо видит свою форму материализованной, целостной, видит свой собственный мираж, себя вне своих собственных пределов» [Lacan 1991: 140] постижения своего отражения и своей сущности. На стадии зеркала у ребенка формируется синтезирующий единство собственного тела и его отражения нарциссический образ. Это — первый шаг к признанию собственного «я».

В основе теории идентификации Лакана лежит идея З. Фрейда о том, что образ «я» формируется на основании присвоения, интериоризации черт других людей. Идентификация — это отождествление себя с отражаемым объектом и представление о себе как о едином целом, признание себя. Лакан различал первичные воображаемые идентификации (отождествление ребенка с собственным отражением в зеркале, которое порождает идеальный образ «я» и является основанием для идеализации другого человека) и вторичные символические идентификации (понимание их как отождествления с отцом в заключительной фазе Эдипова комплекса у Лакана постепенно трансформировалась в отождествление с означающим), связанные со словом и вхождением ребенка в символический порядок языка и культуры.

Тема «другого» появляется у Лакана в 1930-е годы сначала как рассуждение просто как о «другом человеке», но на инициативных семинарских занятиях 1955 года он проводит различие между «Другим» с большой буквы и «другим» с маленькой буквы. Маленький «другой» появляется на стадии зеркала как проекция «я», отражение себя. Большой «Другой» предполагает радикальное отличие, инаковость. Предпозицию «Другого» для ребенка сначала занимает Мать (ребенок от нее зависит, она удовлетворяет его витальные

будущей жены, затем в клинике Св. Анны, с 1964 по 1968 год — в престижнейшей Ecole Normale, с 1968 по 1979 год — на юридическом факультете Университета Париж-7 «Дени Дидро», в 1980 году — на международной конференции в столице Венесуэлы Каракасе. Из материалов этих семинаров Лакан лично записал только «Письмена» (1966) и «Другие письма» (2001), остальные сборники созданы на основе записей участников этого семинара, пользовавшегося колоссальной популярностью у парижских интеллектуалов.

потребности), однако постепенно подлинная позиция «Другого» устанавливается как пространство культуры, в котором свершается все, что связано с индивидуальными желаниями. И тогда подлинным «Другим» оказывается Отец, имя которого для ребенка связывается с законом и порядком (Лакан для обозначения этого феномена использовал выражение «Закон и Порядок Имени Отца»).

Научный язык и теория идентичности Лакана достаточно сложны для восприятия. Они опираются на авторский психоаналитический концепт становления личности индивида в раннем детстве. Тем не менее, его взгляды воспринимаются как значимые современными последователями психоаналитической теории. В настоящее время наиболее активным популяризатором концепции идентичности Лакана является С. Жижек, который применяет его идеи к анализу социокультурных и политических процессов в современном мире постмодерна.

Литература

- Лакан Ж. 1998. *Семинары. Книга 1: Работы Фрейда по технике психоанализа (1953/54)*. М.: Гнозис; Логос. 425 с.
- Лакан Ж. 1999. *Семинары. Книга 2: «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/55)*. М.: Гнозис; Логос. 516 с.
- Лакан Ж. 2004. *Семинары. Книга 11: Четыре основные понятия психоанализа (1964)*. М.: Гнозис; Логос. 299 с.
- Лакан Ж. 2006. *Семинары. Книга 7: Этика психоанализа (1959/60)*. М.: Гнозис; Логос. 414 с.
- Лакан Ж. 2008. *Семинары. Книга 17: Изнанка психоанализа (1969/1970)*. М.: Гнозис; Логос. 266 с.
- Лакан Ж. 1997. *Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда*. М.: Русское феноменологическое о-во. 183 с.
- Лакан Ж. *Телевидение*. М.: Гнозис. 2000. 80 с.
- Лакан Ж. 1995. *Функция и поле речи и языка в психоанализе: Доклад на Римском конгрессе, читанный в Институте психологии Римского университета 26 и 27 сент. 1953 г.* М.: Гнозис. 100 с.
- Бенвенуто С. *Мечта Лакана*. СПб.: Алетейя. 2006. 168 с.
- Дьяков А.В. *Жак Лакан: фигура философа*. М: Территория будущего. 2010. 558 с.
- Жижек С. *Возвышенный объект идеологии*. М.: Художественный журнал. 1999. 253 с.
- Мазин В.А. *Введение в Лакана*. М.: Прагматика культуры. 2004. 196 с.
- То, что вы всегда хотели знать о Лакане (но боялись спросить у Хичкока) (под ред. С. Жижека)*. 2003. М.: Логос. 335 с.
- Fink B. 2004. *Lacan to the letter: reading Écrits closely*. Minneapolis, MN; London: Univ. of Minnesota press cop. 192 p.

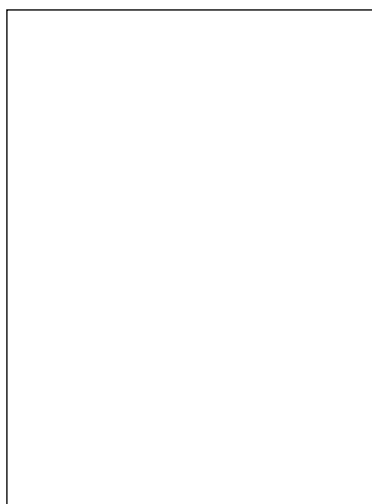
О.В. Попова

Жак ЛЕ ГОФФ

Жак Ле Гофф (Jacques Le Goff, 1924, Тулон — 2014, Париж) — французский историк и культуролог, специалист по европейскому Средневековью. Выпускник парижской Высшей нормальной школы (1950). Работал в университете Лилля, Национальном центре научных исследований и Практической школе высших исследований (Париж), профессор. С 1975 по 1977 год директор парижской Высшей школы социальных наук, в 1978–1992 годах руководитель исследовательской Группы исторической антропологии средневекового Запада.

Будучи ярким представителем второго поколения Школы Анналов, Ле Гофф в значительной степени развил её концепции и представления. Как известно, Школа придерживалась идеи о создании «тотальной истории», которая объединила бы все аспекты деятельности какого-то человеческого общества. В этом ключе Ле Гофф продолжил развивать теорию, согласно которой все явления в рамках европейского Средневековья следует рассматривать как отдельную цивилизацию. С одной стороны, автор рассматривал средневековую ментальность в контексте существовавших социальных структур и связей [Le Goff 1992: 21]. Наряду с этим Ле Гофф предлагал «расшифровывать» явления и отдельные предметы повседневности, особенности коммуникации, язык. По мнению историка, для создания полноценной картины прошлого социокультурные особенности конкретного времени следует изучать неразрывно с уровнем технического прогресса и экономическими условиями [Constructing the Past: Essays in Historical Methodology 1985: 148–156].

Исследуя мир европейского Средневековья, Ле Гофф задумывался над реконструкцией воображения людей прошлого и попытках интерпретации ими окружающей действительности. В итоге автор пришёл к выводу о том, что в Средние века основанием европейской средневековой цивилизации было христианство. Именно оно, по словам Ле Гоффа, формировало не только нравственные ориентиры, но и новое видение мира, в том числе духовные и телесные практики, неизвестные ранее виды физической коммуникации, общественной и межличностной интеракции [Constructing the Past: Essays in Historical Methodology 1985: 166–181]. Неотъемлемой частью этого «нового видения» было и новое «воображаемое», которое совмещало собственные представления людей о реальности с тем, какая она была «на самом деле».



В физическом плане это выразилось, к примеру, в развитии ментальной географии: древние римские границы (лимесы) соотносились с окончанием обжитого пространства, формируя, по Ле Гоффу, систему «тревожных горизонтов» и проистекающие из этого представления об окружающей среде [Ле Гофф 2005: 124–126].

Наиболее значимыми для Ле Гоффа представлялись исследования, связанные с коллективной психологией людей Средневековья. По мнению автора, выработка новых смыслов реальности происходила в результате рефлексии окружающих явлений, предметов и процессов. Как считал Ле Гофф, попытки осмысления таких элементов средневекового пространства, как земля, время и человеческое тело в рамках ментальных установок и социально-политических структур, способствовали выработке личностной и коллективной идентичности.

В духовном отношении во времена Высокого Средневековья произошла метаморфоза, которую Ле Гофф обозначил как «перестройку ценностных ориентаций». По словам исследователя, тогда человек в условиях шаткости традиционной системы ценностей раннего Средневековья обратился к профанной составляющей реальности, одновременно не отказываясь от принципов христианской доктрины и стремясь совместить светское и религиозное в своем жизненном опыте [Ле Гофф 1991: 25–44]. В результате средневековый человек начал по-новому интерпретировать себя и взаимоотношения с окружающими через призму этого процесса. По мнению Ле Гоффа, именно эти особенности европейского Средневековья во многом заложили основу современной европейской идентичности.

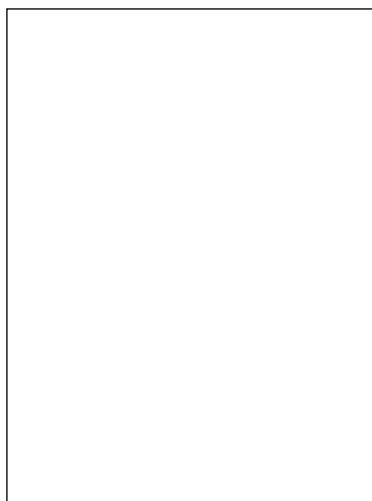
Литература

- Ле Гофф Ж. 2013. *История и память*. М.: РОССПЭН. 302 с.
- Ле Гофф Ж. 2014. *Рождение Европы*. СПб.: Александрия. 391 с.
- Ле Гофф Ж. 1991. С небес на землю (Перемены в системе ценностных ориентаций на христианском Западе XII–XIII вв.). — *Одиссей. Человек в истории*. М.: Наука. С. 25–44.
- Ле Гофф Ж. 2005. *Цивилизация средневекового Запада*. Екатеринбург: У-Фактория. 560 с.
- Le Goff J. (ed.). 1985. *Constructing the Past: Essays in Historical Methodology*. Cambridge: Cambridge University Press. 224 p.
- Le Goff J. 1992. *The medieval imagination*. Chicago: University of Chicago Press. 293 p.
- Le Goff J. 1980. *Time, work & culture in the Middle Ages*. Chicago: University of Chicago Press. 384 p.
- Воскобойников О.С. 2004. Интервью с Жаком Ле Гоффом. — *Рыцарство: реальность и воображаемое*. М.: Наука. С. 496–502.

И.И. Баринов

Юрий ЛЕВАДА

Юрий Александрович Левада (1930, Винница, УССР — 2006, Москва) — выдающийся российский социолог и социальный психолог, руководитель авторитетного центра исследования общественного мнения. В 1956–1988 годах работал в ряде институтов Академии Наук СССР. В своей преподавательской работе восстановил во многом утраченные при советской власти традиции российской социологической науки. Его лекции по социологии знакомили общественность с работами Т. Парсонса, Э. Дюркгейма и других корифеев западной науки, что вызвало недовольство представителей власти и привело к преследованиям — лишению Левады звания профессора за «идеологические ошибки», запрету преподавать и печататься, продолжавшемуся 18 лет.



В 1988 году в атмосфере «перестройки» Левада смог войти в коллектив созданного незадолго до этого Всероссийского Центра Общественного Мнения (ВЦИОМ), который в 1992 году он возглавил. После «приватизации» и «акционирования» ВЦИОМ, направленных на установление государственного контроля над ним, все его сотрудники перешли во вновь созданный Левада-центр.

Ю.А. Левада внес значительный вклад не только в изучение российского общественного мнения, но и в восстановление высокого теоретического уровня российской социологической и социально-психологической науки. Социологию он определял как эмпирическую социальную дисциплину, изучающую общественные системы в их функционировании и развитии. В то же время он подчеркивал, что, работая в области социологии, необходимо добиваться сотрудничества с ней разных областей знания — психологии, политологии, культурологии.

Он полагал, что при изучении общественного мнения наибольшие трудности, но и наибольший интерес вызывает именно интерпретация полученных в ходе опросов данных. В своих трудах Ю.А. Левада неоднократно указывал на неполноту и недопустимость чисто эмпирических исследований, в частности, на недостаточность прямолинейного использования данных социологических опросов общественного мнения, без аналитической интерпретации, без научного сопоставления с результатами других форм исследования массовой психологии.

Общественное мнение, полагал Левада, выступает в XX веке как фактор сплочения человеческих множеств, формирования иллюзий, увлечений, кумиров, даже оправдания массовых преступлений. Вместе с тем он утверждал, что социальное значение каждого поколения не может измеряться настроениями большинства, выявляемых опросами. Политические образцы и перспективы перемен, считал он, формируются значимыми группами, которые могут быть как массовыми, так и элитарными. Противостояние значимой группы доминирующей традиции или системе производит ценностный раскол, «разрыв поколений», подготавливает общественные перемены.

Социологическому исследованию общественного мнения, предупреждал Левада, недоступна динамика «малогрупповых» влияний на властные механизмы и на «массовое» сознание. Самое богатое и сложное образование в современном социально-психологическом сообществе — индивид. Варианты социальных действий и процессов более ограничены, чем варианты действий индивида. Но действий, основанных на выборе, немного. Отношение человека к обществу всегда ценностное, нормативное. В структуре личности отражаются все уровни культуры. При этом разные «слои» личности осознаются ею по-разному, хуже всего — то, что находится в ее глубине.

Общество, полагал Ю.А. Левада, нуждается в индивидуальном человеке. В то же время современная тенденция, отмечал исследователь, ведет к массификации общественных групп, усреднению доминирующих образцов. В условиях массового общества проблема индивидуальности чрезвычайно сложна. Широкое применение здесь находит массовая политика — особая система социальных ролей, установок, способов политического участия, рассчитанных на формирование и использование определенных массовых интересов, оценок, страстей, на воздействие через собственные структуры наличного сознания. Различие позиций не формируется само собой, а предъявляется лидерами мнений, партиями, движениями через средства массовой коммуникации и другие (межличностные, межгрупповые) каналы.

Достигнутые человечеством высоты научно-технической цивилизации, напоминал Левада, не исключают сохранения самых отсталых слоев культуры. Модернизация традиционных обществ носит конвульсивный характер. Представления людей о себе зачастую не соответствуют их реальному положению.

Общественное мнение оперирует не явлениями, а представляющими их знаками и символами. Среди этих символов немалую роль играют социальные и социально-политические мифы, унаследованные от прежних эпох (о равенстве и неравенстве, «избранных» народах, героях и т.п.), которые в модернизированном виде прослеживаются во многих идеологиях. Древние образцы воспроизводятся на современном материале, превращаясь в предмет веры.

Значение подобного рода мифов чрезвычайно велико, по мнению Левады, в эволюции российской социальной психологии. Исследователь подчеркивал значимость исторических координат для национальной самоидентификации россиян. В связи с этим он утверждал, что авторитарные модели изменений наиболее просты и привычны для россиян. Он отмечал также важность арха-

ических, но не утративших влияния на значительную часть населения символов державного величия, национальных интересов, военной мощи, порядка, противостояния козням внешних врагов и т.п.

«Средний», «простой» постсоветский человек, утверждал Ю.А. Левада, основываясь на исследованиях своего Центра, сохраняет многие черты человека позднесоветского и так же желает «быть как все». Его патернализм, воспитанный десятилетиями бедствий, скрывает под собой весьма невысокие притязания (приспособление «понижающего типа» к новым условиям). Свободный человек в постсоветском понимании — человек, достигший жизненного успеха, но это понятие не связывается с политическими, гражданскими, интеллектуальными свободами. Это человек атомизированный, который ищет защиты у власти, но при этом не хочет ей служить. Постсоветское общество, считал он, не сформировало собственных механизмов национально-государственной идентификации и использует имперское сознание, мобилизацию против реальных, потенциальных и воображаемых врагов. В этом обществе еще не возникла современного типа расстановка политических сил, в связи с чем применимость к нему категорий «правые — левые» сомнительна, а политика низводится к административному управлению.

В ряде работ Левада обращал внимание на тенденциозность представлений об исторически predetermined «особости» России, лишь служащих прикрытию неспособности найти выход из трудного положения, на ложность тенденций к изоляции страны («изолирующий патриотизм» он называл эрзац-идеологией). Идеи «оборонительного изоляционизма», считал он, шансов на то, чтобы стать стимулом развития, не имеют и могут лишь привести к загниванию страны под прикрытием лозунгов «самобытности». России никуда не уйти от трудного и длительного, на десятилетия и поколения, пути развития современной экономики, современного государства и современной демократии.

Литература

- Левада Ю.А. 1969. *Лекции по социологии*. М.: ИКСИ АН СССР. В 2-х вып. 117 с., 181 с.
- Левада Ю.А. 1993. *Советский простой человек*. М.: Мировой океан (в соавторстве). 299 с.
- Левада Ю.А. 2000. *От мнений к пониманию: социологические очерки 1993–2000*. М.: Московская школа политических исследований. 576с.
- Левада Ю.А. 2006. *Ищем человека: социологические очерки 1993–2005*. М.: Новое издательство. 384 с.
- Советский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 90-х (отв. ред. Ю.А. Левада)*. 1993. М.: Изд-во «Мировой океан». 300 с.
- Памяти Юрия Александровича Левады (составитель Т.В. Левада)*. 2011. М.: Издатель Карпов Е.В. 475 с.

К.Г. Холодковский

Джон ЛОКК



Джон Локк (John Locke, 1632, Рингтон, гр. Сомерсет, Англия — 1704, Хай Лавер, гр. Ессекс, там же) — английский философ и политический мыслитель, представитель традиции классического эмпиризма и сенсуализма, один из предтеч философии Просвещения. Обучался в Вестминстерской школе (1647–1652), затем — в колледже Крайст-Черч Оксфордского университета (1652–1658). Бакалавр (1656) и магистр искусств (1658), бакалавр медицины (1674). Член Лондонского королевского общества (с 1668 г.). 1660–1667 годы — преподаватель греческого языка, риторики и моральной философии в колледже Крайст-Черч. С 1667 по 1683 год — компаньон, секретарь и домашний врач в семье лорда Эшли Купера (лорда Шефт-

сбери). 1683–1689 годы — в ссылке в Голландии. 1696–1700 годы — член Торговой палаты Великобритании.

В теории познания Локк разработал целостную систему эмпирической философии, обосновывая идею, что все человеческое знание происходит из чувственного опыта, из ощущений (сенсуализм). Споря с концепцией «врожденных идей» в традиции рационализма, он утверждает, что человек при рождении есть «*tabula rasa*» — «чистая доска», которая только с помощью ощущений заполняется знаниями. В политической науке он развивал теорию происхождения собственности из труда, а государственной власти — из общественного договора. Также обсуждал вопросы религии, предложил свою теорию воспитания, занимался медициной и естествознанием под руководством Роберта Бойля. Основные сочинения: «Опыт о человеческом разумении» (1690, рус. пер. 1898), «Послание о веротерпимости» (1689, рус. пер. 1988), «Два трактата о правлении» (1690, рус. пер. 1988), «Мысли о воспитании» (1693, рус. пер. 1759, 1939) и др.

Локк одним из первых мыслителей ставит вопрос об идентичности личности¹ в работе «Опыт о человеческом разумении». Локк разделяет «тождество человека» и «тождество личности». Тождество человека у него — это «участие в одной и той же постоянной жизни непрерывно сменяющихся частиц материи, которые одна за другой органически соединяются с одним и тем же организмом» [Локк 1985: 384]. Тождество человека, подчеркивает он, не может

¹ Для прояснения локковской концепции более удобно использовать перевод термина «*personal identity*» как «тождество личности», а не как «личностная идентичность».

сводиться только к тождеству души, иначе разные люди с различными характеристиками и жившие в разные эпохи могли бы являться одним и тем же человеком, если бы душа и материя никак не были бы связаны. Далее Локк определяет личность как «разумное мыслящее существо, которое имеет разум и рефлексию и может рассматривать себя как себя, как то же самое мыслящее существо, в разное время и в различных местах только благодаря тому сознанию, которое неотделимо от мышления...» [Локк 1985: 387]. Сознание, пишет Локк, является залогом тождества личности, поскольку, будучи направлено назад к предыдущим действиям и мыслям человека, оно показывает, что речь идет об одном и том же Я. Таким образом, основным критерием тождества личности у Локка является память о прошлых мыслях и действиях. Однако память обо всех событиях нашей жизни сразу никогда не сопровождает наше сознание, мы можем вспоминать только один или некоторые аспекты своей жизни в отдельно взятый момент времени или же вовсе быть погружены лишь в мысли о настоящем. Так что в каждый момент времени мы можем иметь дело с иной субстанцией, однако по Локку это не имеет отношения к тождеству личности, которое, как уже было сказано выше, обеспечивается тем, что его сознание остается единым и способно распространяться как на прошлые события, так и планировать будущее.

При материальных изменениях (допустим, человек потерял руку) изменения в тождестве личности не происходят. Также с точки зрения Локка не приводят к нарушению тождества личности и изменения нематериальной субстанции: неважно, какую духовную субстанцию представляет мое самосознание в каждый момент времени, главное, что все действия, которые когда-либо были приписаны самосознанием себе, уже останутся принадлежащими ему. Тождество личности состоит не в тождестве субстанции, а в тождестве сознания. «Одну и ту же личность образует не одна и та же субстанция, а одно и то же непрерывное сознание, с которым могут соединяться и снова расставаться различные субстанции, составлявшие часть этой самой личности все время, пока они оставались в жизненном единении с тем, в чем тогда обитало это сознание» [Локк 1985: 389].

Локковские рассуждения об тождестве личности (личностной идентичности) повлияли на дальнейшее развитие этого вопроса и легли в основу продолжительной дискуссии о критериях личностной (индивидуальной) идентичности в аналитической философии в середине XX века.

Литература

Локк Д. 1985. Опыт о человеческом разумении. — Локк Д. *Сочинения*: в 3-х т. Т. 1. М.: Мысль. С. 78–582.

Локк Д. 1985–1988. *Сочинения*: в 3-х т. (Философское наследие). М.: Мысль. — 622 с.; 560 с.; 668 с.

Заиченко Г.А. 1988. *Джон Локк*. М.: Мысль, 1988. 207 с.

Aaron R.I. 1973. *John Locke*. 3d Ed. Oxford: Clarendon Press, 1973. 383 p.

Е.О. Труфанова

Джордж Герберт МИД



Джордж Герберт Мид (George Herbert Mead, 1863, Южный Хадли, Массачусетс, США — 1931, Чикаго, Иллинойс, там же) — американский философ, социальный психолог, социолог, представитель Чикагской школы. Выпускник Гарвардского университета; изучал психологию и философию в Германии в Лейпциге и Берлине. Испытал сильное влияние идей В. Вундта и Г. Зиммеля. С 1891 по 1894 год преподавал в университете штата Мичиган (город Энн Арбор). С 1894 года до конца жизни, не имея научной степени, был профессором Чикагского университета, читал лекции по социальной психологии. Автор свыше 100 научных статей. Он не написал ни одной монографии или учебника. Широко известная монография «Разум, са-

мость и общество» составлена на основании конспектов его лекций, записанных студентами.

Основоположник методологии символического интеракционизма, Мид изучал механизмы социализации, символическое значение взаимодействия людей в группах, поведение людей в рамках предписываемых им группами различных социальных ролей, механизмы трансформации внешнего социального контроля в самоконтроль индивида. Считал социальное в развитии личности приоритетным по отношению к индивидуальному. Основное понятие теории Мида — взаимодействие (интеракция), предполагающее обмен индивидов символами. Эффективное взаимодействие предполагает способность индивида принять социальную роль другого. Второе важное понятие его теории — самость (self) — способность индивида воспринимать себя не только как субъекта, но и объекта, т.е. осознавать, каким видят его со стороны другие люди.

Мид считал, что процесс формирования идентичности проходит две значимые стадии. На первой стадии идентичность существует в виде отдельных установок по отношению к индивиду других людей («значимых других») как следствие специфических социальных действий, в которых он участвует вместе с ними. Вторая стадия предполагает принятие установок «обобщенного другого» как некоего целого.

Зрелая личность включает рефлексивное «Я» (*Me* — общественный аспект идентичности) и импульсивное «Я» (*I* — уникальное в личности), находящиеся в гармоничном равновесии друг с другом. Только при осуществлении син-

теза рефлексивного и импульсивного «Я», при постоянном и устойчивом их взаимодействии возникает идентичность (self). Однако в целом характер взаимодействия *I* и *Me* нельзя характеризовать как гармоничное взаимодействие, скорее, наблюдается постоянная внутренняя борьба между этими элементами, поскольку человек постоянно балансирует между стремлением к ощущению коллективной безопасности и потребностью в приобретении нового социального опыта, расширения степени социальной свободы. Таким образом, идентичность определяется как делящийся, постоянный процесс общения человека самого с собой.

Мид утверждал, что в идентичности проявляются точка зрения и позиция другого человека о нас, поскольку мы применяем чужие точки зрения и позиции по отношению к самим себе (окольный путь «через других» позволяет стать для себя самого значимым объектом). Идентичность и интеракция постоянно переходят друг в друга. Идентификация включает подражание референтной группе, которое сопровождается «присвоением», принятием на себя (role-taking) индивидом одновременно множества социальных ролей. Организованное сообщество, социальная группа предоставляют личности целостную идентичность «обобщенного другого» (the generalized other). Конечная ступень идентификации достигнута, когда индивид может «войти» в политическую жизнь общества, не только рефлексировать по поводу своей реакции на конкретные события или политические институты, но и учитывать при этом нужды, потребности, требования социальной группы, законов, организации, государства и даже всего мирового сообщества. В качестве «обобщенного иного» могут выступать как абстрактные общности («абстрактные социальные классы»), так и конкретные институты, в рамках которых индивиды непосредственно соотносятся друг с другом. Например, в политической жизни индивид может отождествлять себя с партией, принимать ее позицию по отношению к различным проблемам. Как следствие, он «реагирует или откликается в терминах организованных установок партии как некоего целого» [Мид 1994: 231].

Предпосылкой формирования идентичности, по Миду, является несоответствие индивида требованиям общества, а наиболее важным средством интериоризации «обобщенного другого» выступает язык, речь. «Язык в своем значимом смысле есть такой голосовой жест, который имеет тенденцию пробуждать в (говорящем) индивиде ту установку, которую он пробуждает в других; именно это совершенствование самости таким жестом, опосредующим социальные действия, и дает начало процессу принятия роли другого» [Мид 1994: 234]. Благодаря языку индивид усваивает различные социальные роли в процессе общения, а затем обретает установку членов соответствующего сообщества. Однако, по мнению Мида, личность не может обрести идентичность, если она не обладает совокупностью установок, контролирующих установки других.

Концепция идентичности Дж.Г. Мида восторженно приветствовалась многими учеными, но и подвергалась суровой критике. Многие социологи указывали

на отсутствие в его схеме влияния исторических, социальных и экономических условий на процесс становления идентичности личности в различных условиях. Однако нельзя недооценивать влияния его идей на развитие теории социализации и на понимание природы социальных коммуникаций.

Литература

- Мид Дж. Аз и Я. — *Американская социологическая мысль*. Под ред. В.И. Добренкова. М., 1994. С. 122–127.
- Мид Дж. Интернализированные другие и самость. — *Американская социологическая мысль*. Под ред. В.И. Добренкова. М.: Международный университет бизнеса и управления, 1996. С. 222–225.
- Мид Дж.Г. *Избранное: Сб. переводов*. Сост. и переводчик В.Г. Николаев. Отв. ред. Д.В. Ефременко. М.: ИНИОН РАН, 2009. 290 с.
- Мид Дж.Г. *Философия настоящего*. М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2014. 271 с.
- Кравченко Е.И. *Джордж Герберт Мид: философ, психолог, социолог*. М.: Московский гос. лингвистический университет, 2006. 286 с.

О.В. Попова

Маргарет Мид

Маргарет Мид (Margaret Mead, 1901, Филадельфия, США — 1978, Нью-Йорк) — американский антрополог, этнограф, известна своими многолетними научными исследованиями традиционных обществ тихоокеанских островов (папуасы, самоа, манус и др.) и работами по изучению детского мира и детской культуры, вопросов социализации детей в примитивных и современных культурах, соотношений ролей мужчин и женщин в приватном и публичном пространствах.

Степень бакалавра (1923) и степень магистра (1924) получила в Колумбийском университете, там же в 1929 году получила степень доктора философии. В 1926–1978 годах работала помощником куратора (1926–1942), куратором (1942–1969), заслуженным куратором (1969–1978) отдела этнологии в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. С 1954 по 1978 год была профессором антропологии и возглавляла кафедру социальных наук в кампусе Центра Линкольна при Университете Фордхэм (Нью-Йорк, США). В 1979 году была награждена Президентской медалью свободы (США). Была трижды замужем, в 1939 году у нее родилась дочь.

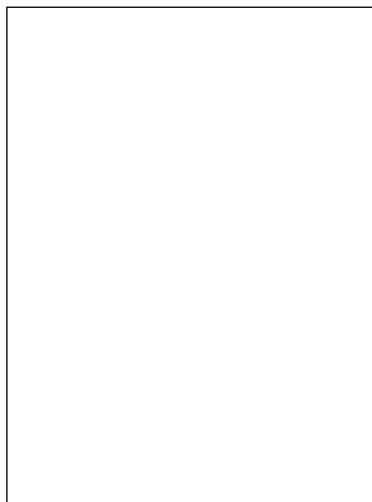
Маргарет Мид часто выступала на телевидении с критикой расовой несправедливости, с позиций борьбы за права меньшинств. Будучи очень религиозной, тем не менее поддерживала феминистское движение и борьбу за права женщин. Она исследовала примитивные культуры и путешествовала

в одиночку в то время, когда молодым американским женщинам было сложно даже выходить на улицу без сопровождения.

На примере самоанского сообщества Мид доказала, что трудности взросления, проблемы между поколениями отцов и детей, межпоколенные расхождения в культурных ценностях, так часто описываемые и исследуемые в западных сообществах (особенно в результате молодежных беспорядков и сопротивлений в 1920–1930-х годах в США и в Европе), определяются не природой человека, а культурой, свойственной и транслируемой в определенном обществе: чем выше уровень развития общества, тем больше культурных и социализационных барьеров и рамок можно наблюдать.

Изданная в 1928 году книга Мид «Взросление на Самоа» имела не просто оглушительный успех и выдержала множество переизданий. Она пробудила интерес к антропологии у обычных обывателей — людей весьма далеких от науки, так как отличалась простым и ясным языком и осветила такие проблемы, как обычаи и нравы традиционных обществ (особенно в сфере взаимоотношений между полами), вопросы сексуальных отношений между юношами и девушками (отношения родителей к добрачному сексу своих детей), отсутствие сексуального насилия в отношении женщин этой культуры, а также особенности отношения к собственности (уважение к собственности других людей, в том числе и родителей). В 1983 году Д. Фримен опубликовал критические замечания на исследования Мид, в которых выразил сомнения в достоверности результатов, полученных ей во время пребывания на Самоа. Однако мнение оппонентов не смогло нивелировать вклад М. Мид в изучение вопросов культуры детства и взаимоотношений поколений; она выявила значимость и влияние добрачных сексуальных контактов на семейную идентичность и распределение семейных ролей между мужчинами и женщинами в традиционных и современных обществах.

Маргарет Мид выделила три основных типа культурного обмена знаниями между поколениями (постфигуративный, кофигуративный, префигуративный). Постфигуративная культура свойственна для прошлых обществ и/или обществ, переживших социальные потрясения, войны, конфликты, в этих условиях старшее поколение является единственным ключом для передачи культуры новым, более молодым поколениям, что сопровождается стремлением и обоснованием желания стабильности и устойчивости. Непрерывное изменение бытия самого человека, когда опыт более молодого поколения становится приемлемым и жизненным для старшего поколения (и поколения детей, на данный момент не участвующих в воспроизводстве



культуры), а опыт последнего поколения может частично или полностью потерять свою актуальность — М. Мид характеризовала как кофигуративную культуру. Современное общество, с условиями новой, не имеющей аналогов в прошлом, актуальной культуры, она описывала как префигуративную культуру, культуру молодого поколения, которая должна быстро усваиваться более взрослыми поколениями для «выживания» в современном мире.

Особое значение имеют труды М. Мид в определении того, как культура играет решающую роль в формировании социальных установок и поведения мужчин и женщин, что отражено в работе «Мужское и женское. Исследование полового вопроса в меняющемся мире», в которой были поставлены под сомнение биологические основания гендерных ролей.

Помимо весомых научных достижений в области антропологии, этнографии и психологии, Маргарет Мид можно назвать одной из первых успешных женщин-ученых и известных женщин-профессоров в американском обществе середины XX века. Основной научный тезис, который она доказывала, опираясь на собственный жизненный опыт, — человек взрослеет в рамках культурного контекста, который включает идеологическую систему общества, ожидания окружающих людей, определенные методы социализации и установки, свойственные этому обществу, и все это в совокупности формирует не только внешний облик человека, но и его внутреннюю психическую структуру. Личностные характеристики человека культурно обусловлены и не подвержены наследственным факторам.

Маргарет Мид выявила влияние культуры детства на формирование индивидуальной идентичности взрослого человека; выделенные ею типы культуры определяют характер взаимодействий и конфликт (или его отсутствие) между идентичностями взрослых и детей.

Литература

- Мид М. 1988. *Культура и мир детства*. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы. 429 с.
- Мид М. 2004. *Мужское и женское. Исследование полового вопроса в меняющемся мире*. М.: РОССПЭН. 416 с.
- Mead M. 1928. *Coming of Age in Samoa. A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilisation*. New York: William Morrow and Company. 297 p.
- Mead M. 1949. *Male and Female: A Study of the Sexes in a Changing World*. New York: William Morrow and Company. 477 p.
- Mead M. 1951. *Soviet Attitudes Toward Authority: An Interdisciplinary Approach to Problems of Soviet Character*. New York: McGraw-Hill. 168 p.
- Mead M. 2004. *Studying Contemporary Western Society: Method and Theory*. New York: Bergham Books. 304 p.
- Lutkehaus N.C. 2008. *Margaret Mead: The Making of an American Icon*. Princeton: Princeton University Press. 392 p.

А.А. Гнедаш

Ивер Б. НОЙМАНН

Ивер Бринильд Нойманн (Iver Brynild Neumann, род. 1959, Осло, Норвегия) — норвежский политолог и социальный антрополог, известный специалист в области международных отношений. Обучался в университете Осло. В 1987 году — кандидат политических наук (Университет Осло); 1992-м — доктор философии (специализация «политика», Оксфорд); 2001-м — кандидат политических наук (специализация «Социальная антропология», Университет Осло); 2009-м — доктор философии (специализация «Социальная антропология», Университет Осло). Профессор кафедры литературы, страноведения и европейских языков, Университет Осло. С 2012 года — профессор Лондонской школы экономики и политических наук. Член Норвежской академии наук и искусств (2016). Специализируется на социальной теории, истории международных отношений, изучении российской и норвежской внешней политики и дипломатии и механизмов формирования идентичности.

Нойманн рассматривает проблематику идентичности с точки зрения международных отношений. Ключевое направление его исследований связано с анализом социальных механизмов формирования идентичности, невозможностью ее обретения без образа «Другого».

В книге «Использование “Другого”»: Образы Востока в формировании европейской идентичности», являющейся изданием его докторской диссертации по политическим наукам, Нойманн рассматривает общие вопросы истории, взгляда на географического или цивилизационного соседа и соперника, анализирует образы «другого» на примере Европы в целом, Северной и Центральной Европы, России, а также на примере отдельного российского региона Республики Башкортостан.

Нойманн считает, что коллективные идентичности воображаются, они существуют как «стилизованные социальные явления». Кроме того, он утверждает, что коллективная идентичность формируется не только объединением «своих», но и противопоставлением чужим, другой общности, т.е. строится на самопротивопоставлении одному и тому же «Другому». Этот «Другой» является чаще воображаемым «Другим», которого определяют и конструируют политические и культурные контексты эпохи. «Коллективные идентичности имеют внешние составляющие: эти идентичности определяются целыми

напластованиями «Других». Отсюда следует, что не существует такой вещи, как неэсклюзивная коллективная идентичность. Коллективные идентичности существуют благодаря тому, что отделяют одних людей от других при помощи определенных маркеров (показателей)» [Нойманн 2004: 14–15].

Для Европы, как показывает автор, таким «Другим» сначала был «турок», но с уходом в тень Османской империи он эту роль потерял: «Восток» лишается определенной географической точки отсчета и становится обобщенным социальным маркером в формировании европейской идентичности. «Восток» является «Другим» Европы... отсутствие восточности» является определяющей чертой «европейских» идентичностей» [Нойманн 2004: 267]. Вторым европейским «Другим» является Россия. Нойманн пишет о политическом и культурном отождествлении и противопоставлении России и Европы. Россия рассматривалась и рассматривается европейцами или в качестве «варвара» добродетельного, т.е. подлежащего «обучению», или злонамеренного (от которого надо защищаться), как страна, все время испытывающая трудности очередного «переходного периода». Доминирующей метафорой России как «Другого» Европы Нойманн считает метафору «ученика»: «то хороший (доминирующая версия Просвещения), то наученный всего дурному (альтернативная версия Просвещения); то двоечник, который должен учиться, но не хочет (версия XIX века); то лентяй (версия XX века) или способный, но упрямый ученик (современная версия)» [Нойманн 2004: 154].

В контексте исследования международных отношений Нойманн рассматривает процессы регионализации. Например, анализ репрезентаций Северной Европы после окончания холодной войны показывает, как она включила в себя изменение оценок геополитического и культурного положения Эстонии, Латвии и Литвы. Ранее входившие в СССР и потому как бы «восточные», страны Прибалтики теперь переосмыслены как «северные» [Нойманн 2004: 157–191]. Анализу региональных процессов внутри России посвящено исследование Башкортостана, где в качестве восточного «Другого» для Башкортостана выступает Татарстан.

Долгое время работая в министерстве иностранных дел Норвегии и занимаясь практической политикой, Нойманн принимал активное участие в обсуждении проблем формирования европейской национальной идентичности. Он считает, что в формировании европейской идентичности категоризация «Я» как «западного» и «Другого» как «восточного» является одним из способов организации современной европейской политики [Нойманн 2004: 270].

Литература

Нойманн И. 2004. *Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей*. М.: Новое издательство. 336 с.

Neumann I. 1996. *Russia and the Idea of Europe: A Study in Identity and International Relations*. London: Routledge. 253 p.

Neumann I. 1999. *Uses of the Other. The «East» in European Identity Formation*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, Borderline Series.

Neumann I. 2010. *Governing the Global Polity: Practice, Mentality, Rationality*. Ann Arbor, University of Michigan Press (co-authored with Ole Jacob Sending). 281 p.

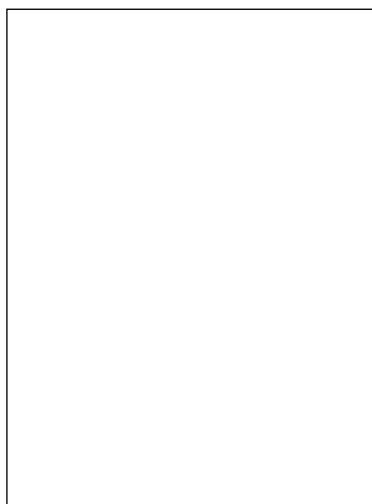
Dunn Kevin C., Neumann Iver B. 2016. *Undertaking discourse analysis for social research*. University of Michigan Press, Ann Arbor, USA. 152 p.

Морозов В. 2006. Понятие государственной идентичности в современном теоретическом дискурсе. — *Международные процессы*. № 1. С. 82–94.

М.В. Назукина

Бхикху ПАРЕКХ

Бхикху Парекх (Bhikhu Parekh, род. 1935, Амалсад, штат Гуджарат, Индия) — британский политический философ и политический деятель, теоретик мультикультурализма. В 1954 году окончил университет Бомбея (Индия), затем аспирантуру Лондонской школы экономики, где получил в 1966 году докторскую степень и начал преподавать. Работал также в университете Глазго, университете Халла, преподавал политическую философию в Вестминстерском университете, совмещая это с работой в Центре изучения глобального управления Лондонской школы экономики. С 2000 года — член палаты лордов британского парламента, фракции лейбористской партии. Член Британской академии.



Активный общественный деятель в сфере защиты прав этнокультурных меньшинств. Член ряда общественных институтов и комиссий, занимающихся вопросами расового равенства. С 1998 по 2000 год возглавлял Комиссию будущего мультиэтнической Британии, представившую одноименный доклад, который получил широкий общественный резонанс.

Б. Парекх начал свою исследовательскую карьеру с изучения наследия влиятельных политических философов прошлого. Его первые работы посвящены анализу произведений И. Бентама и идеологии марксизма. Парекх также является автором нескольких работ по анализу политики и взглядов Ганди. Наибольшей известностью, однако, пользуются его отличающиеся глубокой теоретической проработанностью исследования проблематики межкультурного равенства и идентичности. Особенно можно выделить монографию

«Переосмысляя мультикультурализм. Культурное разнообразие и политическая теория» (2006) и более позднюю работу «Новая политика идентичности: политические принципы для взаимозависимого мира» (2008).

Первая из этих книг посвящена исследованию природы и ограничений межкультурного равенства и справедливости в современных культурно гетерогенных обществах, проблеме национальной идентичности и гражданства. Парекх ставит задачу создать теорию, способную объяснять проблемы современных обществ и предложить действенные способы их решения. Старые теории несостоятельны, потому что основаны либо на идее универсальности человеческой природы (и игнорируют тот факт, что человек всегда культурно укоренен), либо на идее абсолютной уникальности культуры (наоборот, отказывая представителям разных культур в возможности найти общие основания для взаимодействия).

Представителей первой группы теорий, среди которых ряд античных и христианских философов, Дж.Ст. Милль и Г.В.Ф. Гегель, а также Гоббс, Локк и Бентам, он называет «универсалистами» или «моральными монистами». Результатом теоретических изысканий монистов обыкновенно становилось «единственное правдивое/разумное представление о человеке» и о том, что для него благо. Все они исходили из того, что человеческая природа неизменна, влияние на нее культуры и общества по существу ничтожно и что именно в человеческой природе ключ к разгадке того, что будет благом для любого человека.

Концепции ученых — «культуралистов» или «плюралистов» (Дж. Вико, Ш. Монтескье, И. Гердера и др.) возникли как реакция на монизм. Общим в них является идея примата культуры. Плюралисты, по Парекху, фактически «натурализировали» культуру, сделав ее неизменяемой и придав ей такое колоссальное значение в жизни людей, что представители разных культур практически оказались у них так далеки друг от друга, как разные биологические виды.

Ни «натуралистический», ни «культуралистический» подход не позволяют нам адекватно теоретически осмыслить культурно гетерогенные общества, полагает Парекх. «Здесь нужен подход, который предполагает понимание того, что универсальность человеческой природы и культурная укорененность человека существуют бок о бок, что люди в одно и то же время похожи и не похожи, и похожи по-разному. Если мы хотим создать адекватную теорию человека, нам нужно преодолеть эту традиционную полярность между человеческой природой и культурой» [Parekh 2006: 11]. В качестве такой теории Парекх предлагает свой взгляд на мультикультурализм.

Мультикультурализм Парекха включает в себя культурно «чувствительную» концепцию человека (вместо монистической концепции человеческой природы), концепцию культуры (ее природу, структуру и значение для взаимодействия), теоретические аспекты межкультурной коммуникации (морально-этические и политические), а также возможные модели работающей политической организации и функционирования гетерогенных обществ.

В центре теории Парекха — идея диалога. Диалог для Парекха — это одновременно и способ размышления, и метод теоретической работы, и политический механизм. Он говорит о необходимости «диалогических отношений» между культурой и этическими нормами, о постоянном диалоге, в котором должны находиться политическая структура и политические принципы. Диалог же должен стать и главным механизмом коммуникации между людьми, принадлежащими к разным культурным традициям, но живущими в одном государстве.

В работе «Новая политика идентичности: политические принципы для взаимозависимого мира» Парекх осмысливает человеческую природу и культуру сквозь призму идентичности. Идентичность предстает сложной категорией, подразумевающей несколько «измерений» или уровней: личный, социальный и общечеловеческий. Каждый человек всегда является носителем многих дополняющих друг друга идентичностей, каждая из которых важна. Наступающая глобализация колеблет устоявшиеся общественные стереотипы, «сталкивает» людей с противоположными установками в едином социальном и политическом пространстве, следствием чего становится новый накал борьбы за признание. Столкновения вокруг половых, расовых и религиозных идентичностей в XXI веке стали очень распространенным явлением во всем мире. Парекх видит выход в обращении к общечеловеческому уровню идентичности. Общечеловеческая идентичность, формирующаяся в общем пространстве взаимодействий, — это то искомое «единство в многообразии», тот баланс между универсальным и партикулярным, который не смог определить ни монисты, ни плюралисты предыдущих поколений.

Литература

- Parekh B. 1973. *Bentham's Political Thought*. London: Croom Helm. 336 p.
- Parekh B. 1989. *Colonialism, Tradition and Reform: An Analysis of Gandhi's Political Discourse*. New Delhi: Sage Publications. 288 p.
- Parekh B. 2000. *The Future of Multi-Ethnic Britain: Report of the Commission on the Future of Multi-Ethnic Britain*. London: Profile Books. 444 p.
- Parekh B. 2006. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge: Harvard University Press. 400 p.
- Parekh B. 2007. *Europe and the Muslim Question: Does Intercultural Dialogue Make Sense?* (ISIM Papers). Amsterdam: Amsterdam University Press. 40 p.
- Parekh B. 2008. *A New Politics of Identity: Political Principles for an Interdependent World*. London: Palgrave Macmillan. 320 p.

А.В. Веретевская

Поль РИКЁР



Поль Рикёр (Paul Ricœur, 1913, Валанс, Франция — 2005, Шатне-Малабри, там же), один из влиятельных философов XX века, представитель французской ветви герменевтики. Профессор Сорбонны, Страсбургского и Чикагского университетов, почетный доктор более чем 30 университетов мира. В 1956 году был назначен главой кафедры общей философии в Сорбонне, в 1967 году перешел на факультет философии Университета Париж X — Нантер, где работал до официального выхода на пенсию в 1980 году. С 1954 года Рикёр регулярно читал лекции в учебных заведениях в США: в Хаверфорде, Колумбийском и Йельском университетах. В 1967–1992 годах занимал должность профессора философии в Чикагском университете.

В центре внимания Рикёра как философа находится проблема человека. Свою концепцию человека он разрабатывал в продолжение персоналистской концепции личности Э. Мунье. В своих работах он решает задачу формирования «более богатой идеи личности, опираясь на современные исследования в сфере языка, деятельности, повествования» [Ricœur 2013: 208]. Всю герменевтическую философию Рикёра (герменевтика — философское учение об онтологии понимания и эпистемологии интерпретации) пронизывает принцип деятельностного подхода, в ее центре — человек как субъект культурно-исторического творчества, в котором и благодаря которому осуществляется связь времен («*homme capable*», то есть человек, обладающий способностями).

Проблема человека, его идентичности, рассматриваемая сквозь призму герменевтики, поднимается в таких знаковых работах философа, как: «Волевое и неволевое» (1950); «История и истина» (1955); «Об интерпретации» (1965); «Конфликт интерпретаций» (1969); «Время и рассказ» (3 тома, 1983–1985); «Я-сам как другой» (1990); «Путь признания» (2004).

Идентичность для Рикёра — противоречивое понятие. Согласно латинским словам *idem* и *ipse* идентичность представляет собой наложение двух различных значений. Именно через диалектику этих двух значений происходит раскрытие содержания «Я». Так, идентичность с одной стороны понимается как тождественность, одинаковость (*idem*), с другой стороны — как самость, отличность от других (*ipse*). Первое подразумевает наличие некоей формы неизменности во времени, «перманентность неизменной субстанции». Второе, в свою очередь, заключает в себе лишь определение непрерывности, устойчи-

ности во времени. Рикёр в этой связи ставит перед собой задачу установления связей между постоянством, свойственным *idem*, и изменчивостью, свойственной *ipse*. Решение этой задачи осуществляется с помощью введения в анализ понятий жизненной истории и повествовательной идентичности.

Под повествовательной идентичностью он понимает такую форму идентичности, к которой человек способен прийти посредством повествовательной деятельности [Рикёр 1995: 19]. Проблема идентичности человека рассматривается в книге «Я-сам как другой» с точки зрения того, что одной из способностей человека является способность рассказывать о своей жизни и, следовательно, формировать собственную идентичность посредством повествования, основываясь на своих воспоминаниях. Рассказ индивида о себе создает связь индивида с самим собой. Сложная для мышления задача соединения в одном понятии идентичности признаков устойчивости и признаков изменения решается с помощью повествования. Повествовательный дискурс, реализуемый индивидом в виде рассказа о себе самом и своей жизни, служит основой для формирования того, что Дильтей называл «жизненной связью». В понятии жизненной связи проявляется «Я» индивида, его индивидуальность как самостоятельного субъекта, способного говорить, действовать, рассказывать о себе и в итоге рассматривать себя в качестве автора собственных поступков.

Жизненная история, рассказанная индивидом, — это, в понимании Рикёра, есть артикуляция личностной идентичности в темпоральном измерении человеческого существования. Рассказывая историю своей жизни, индивид организует разрозненные факты своей биографии в виде цельного повествования, обладающего внутренней логикой. Рассказанная история говорит о «кто?» деятельности, и идентичность этого «кто?» есть повествовательная идентичность [Вдовина 2008: 7].

Повествовательная идентичность находится в постоянном движении между двумя полюсами. Она колеблется между смешением *idem* и *ipse*, которое необходимо для сохранения непрерывности времени и целостности жизненной истории, и вторым состоянием, в котором *ipse* ставит вопрос о своей идентичности без опоры на *idem* [Рикёр 2008: 200 и далее]. Повествовательная идентичность не является ни неизменной структурой, ни кантовской субстанцией. До тех пор, пока история (жизнь) не окончена, идентичность персонажей (личностей) может измениться.

Другой важной чертой повествовательной идентичности индивида является ее связанность с идентичностями других людей. Пересечение идентичностей нескольких индивидом служит основанием для появления жизненных историй второго уровня — историй семей, социальных групп, обществ. Жизненная история, рассказываемая индивидом, показывает в этом случае его связанность с другими людьми. Нарративная идентичность индивида не может обходиться без упоминания других людей.

Одной из характеристик повествовательной идентичности наряду с ее непостоянством является ее этическое измерение. Повествовательная идентичность всегда носит оценочный, нормативный характер, а любой рассказ

не является этически нейтральным. Следовательно, самость, которая проявляется через повествовательную идентичность, тоже обладает этическим измерением. По Рикёру, этическое свойство самости проявляется в ее взаимодействии с другими. Самость обнаруживает себя перед другим и для другого, поскольку самость — это свойство субъекта, «способного обозначить себя как автора своих слов и действий — не субстанционально застывшего, а ответственного за свои слова и дела» [Ricoeur 1995: 77].

Для Рикёра одним из ключевых понятий, связанных с этическим измерением самости, является «сдержанное слово». Стремление сдерживать обещание представляет собой маркер стремления индивида быть признанным другими, которое есть универсально для всех. Самость индивида живет в надежде на то, что ее признательность в отношении других приведет к появлению взаимного признания, которое, в свою очередь, приведет к состоянию мира и «жизни вместе».

Литература

- Рикёр П. 1989. Человек как предмет философии. — *Вопросы философии*. № 2. С. 41–50.
- Рикёр П. 1995. *Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике*. М.: Канон-Пресс-Ц: Кучково поле. 695 с.
- Рикёр П. 1995. *Герменевтика. Этика. Политика. (Московские лекции и интервью)*. М.: АCADEMIA. 160 с.
- Рикёр П. 1998. *Время и рассказ. Том 1. Интрига и исторический рассказ*. М.; СПб.: Университетская книга. 313 с.
- Рикёр П. 2000. *Время и рассказ. Том 2. Конфигурации в вымышленном рассказе*. М.: Университетская книга. 224 с.
- Рикёр П. 2008. *Я-сам как другой*. М.: Издательство гуманитарной литературы. 416 с.
- Рикёр П. 2010. *Путь признания. Три очерка*. М.: РОССПЭН. 268 с.
- Ricoeur P. 2013. *Lectures: La contrée des philosophes*. Paris: Seuil. 495 p.
- Вдовина И.С. 2008. Книга П. Рикёра «Я-сам как другой». К первой публикации на русском языке. — П. Рикёр. *Я-сам как другой*. М.: Издательство гуманитарной литературы. 416 с.
- Reading Ricoeur (ed. by D.M. Kaplan)*. 2008. Albany, SUNY Press. 166 p.
- Reagan C.E. 1996. *Paul Ricoeur: His Life and Work*. Chicago: University of Chicago Press. 512 p.

Е.Г. Довбыш

Чарльз ТЕЙЛОР

Чарльз Тейлор (Charles Taylor, род. 1931, Монреаль) — канадский философ и политический деятель, один из влиятельнейших современных теоретиков идентичности. Широко известен разработкой теории мультикультурализма

и критикой либерализма с позиций коммунизма и защиты социальной справедливости.

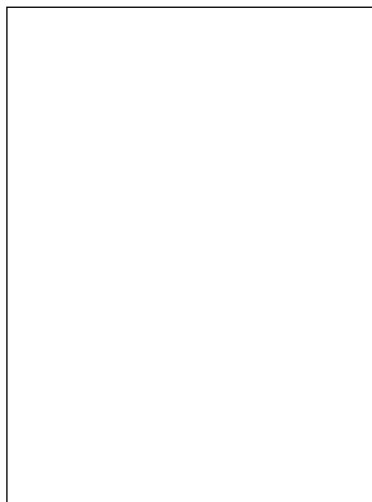
В 1952 году окончил университет Макгилла (Канада) по специальности «История». Диссертацию на степень доктора философии писал в Оксфорде под руководством Исайи Берлина. После защиты в 1961 году начал академическую карьеру в качестве преподавателя философии и политологии в университете Макгилла. В 1976 году был приглашен на должность профессора социальной и политической теории в Оксфорд. Спустя шесть лет вернулся на кафедру политологии в Макгилл.

Активно занимался политической деятельностью на федеральном и местном уровнях в Канаде.

В центре внимания Тейлора — философа — попытка объяснить современного человека в его социальной ипостаси, увидеть смысл и проинтерпретировать образ его жизни. Первая, написанная на основе диссертации, капитальная работа «Объяснение поведения» посвящена критике бихевиоризма как подхода, в реальности неспособного объяснять человеческие поступки. Дальнейшие попытки разобраться в феномене современного человека привели Тейлора к отрицанию основных посылок идущей от Декарта традиции «естественнонаучного» объяснения человеческой деятельности. Опираясь на идеи Гегеля о природе человеческого мышления, он выдвигает предположение, что любое объяснение поступков человека должно начинаться с интерпретации его намерений. Так в центре его внимания оказалась «самоинтерпретация» или «идентичность». В работе «Источники самости: рождение современной идентичности» (1989) он описал, как исторически менялось представление об идентичности и каков был социальный контекст этих изменений. Еще одна тема, интерес к которой прослеживается в этой работе и к которой Тейлор часто возвращается, — понимание свободы. В «Этике аутентичности» (1992) и, особенно, в широко цитируемой работе «Мультикультурализм и политика признания» (1994) категория идентичности рассматривается в тесной связи с проблематикой различных пониманий свободы.

Его исследования в области политической теории посвящены поиску справедливой и гармоничной политической организации современного культурно разнообразного общества. Ч. Тейлор — один из основоположников теории мультикультурализма.

Рассказывая о причинах возникновения мультикультурализма в современном демократическом обществе (и либеральном государстве), Тейлор обращается к проблеме равенства. Его, как и других мультикультуралистов,



не удовлетворяет свойственное многим либералам видение равенства, при котором человек рассматривается как выделенный из социокультурного контекста «нейтральный» индивид. Он задается вопросом, что такое равенство (и справедливость) для людей (у Тейлора — граждан) с различной культурной идентичностью.

Культурная идентичность — недоучтенная в проникнутом либеральными ценностями западном обществе величина. Притом, что ущемление идентичности там — основное «яблоко раздора». Адекватное принятие идентичности — это не одолжение (дополнительная вежливость), но жизненно важная человеческая потребность. «Наша идентичность, — пишет Тейлор, — частично формируется через признание другими (или его отсутствие), поэтому человеку или группе людей может быть нанесен значительный вред, если окружающие (общество) будут иметь о них неадекватное (унижающее достоинство) представление. Неадекватное признание может быть формой подавления. Оно словно “заточает” человека в неверном, извращенном, измененном образе» [Taylor 1992: 25].

Тейлор известен своим «республиканским тезисом», основное значение которого — в открытии нежизнеспособности нейтрального или «процедурного» либерализма из-за исключения им социально поддерживаемой концепции блага и в признании колоссального значения политической идентичности.

Смысл тезиса в следующем. Свободное (т.е. недеспотическое) общество и государство не может быть единым, если его граждане не видят в основе его того, что Шарль Монтескье называл добродетелью. Без ощущения причастности к этой добродетели государство не вызывало бы патриотических чувств, которые представляют собой единственное основание для «скрепления» свободного общества в государство: «Ограничения, налагаемые при деспотизме извне под угрозой страха, в его отсутствие должны налагаться самим субъектом, и мотив для этого может дать только патриотическая идентификация» [Тейлор 1998: 234].

Тейлор не противопоставляет свою теорию либеральному подходу как таковому, но расставляет свои онтологические акценты внутри него, называя себя «холистом-индивидуалистом».

Среди целей, которые он ставит перед собой в теоретической работе, — помочь идеям Гумбольдта и его последователей (поскольку сам себя причисляет к таковым) занять надлежащее место в современных дискуссиях. «Реакция «либерального» общего мнения (используя один из упомянутых искусственных терминов) свелась к тому, что включение вопросов об идентичности личности и о сообществе в дебаты о справедливости не имеет большого значения. Мое же убеждение прямо противоположно: эти вопросы в высшей степени важны, и отказ от их обсуждения объясняется только наличием неявного и некритичного ответа на них» [Тэйлор 1998: 225].

Литература

- Тэйлор Ч. 1998. Пересечение целей: спор между либералами и коммунитаристами. — *Современный либерализм*. М.: С. 219–248.
- Taylor Ch. 1964. *The Explanation of Behaviour*. London: Routledge & Kegan Paul, 278 p.
- Taylor Ch. 1975. *Hegel*. Cambridge: Cambridge University Press. 594 p.
- Taylor Ch. 1989. *Sources of the Self: The Making of Modern Identity*. Cambridge: Harvard University Press 624 p.
- Taylor Ch. 1989. Cross-Purposes. The Liberal — *Communitarian Debate*, — *Liberalism and Moral Life*. Ed. by N. Rosenblum. Cambridge: Harvard University Press, P. 159–182.
- Taylor Ch. 1992. *The Ethics of Authenticity*. Cambridge: Harvard University Press. 142 p.
- Taylor C. 1992. *Multiculturalism and the Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press, 175 p.
- Taylor Ch. 2004. *Modern Social Imaginaries*. Durham: Duke University Press. 232 pp.
- Taylor Ch. 2007. *A Secular Age*. Cambridge: Harvard University Press. 896 p.
- Taylor Ch. 2011. *Dilemmas and Connections: Selected Essays*. Cambridge: Harvard University Press. 424 p.
- Abbey R. 2001. *Charles Taylor*. Princeton: Princeton University Press. 256 p.

А.В. Веретевская

Чарльз ТИЛЛИ

Чарльз Тилли (Charles Tilly, 1929, Ломбард, Иллинойс — 2008, Нью Йорк) — американский историк и социолог, специалист в области политической истории и исторической социологии. Выпускник Гарварда (1950), там же защитил докторскую диссертацию (1958). В 1969–1984 годах — профессор истории и социологии в Мичиганском университете. Преподавал также в других американских и канадских высших учебных заведениях (Гарвард, Дэлавер, Торонто), был именован профессором Колумбийского университета. Член Национальной академии наук, Американской академии наук и искусств, Американского философского общества, почетный доктор ряда европейских университетских центров.

Спектр научных интересов Тилли был весьма широк, однако в центре его исследований находилось несколько главных тем, а именно роль принуждения и протестных движений как элементов политической модернизации, механизмы коллективных действий в области формирования групповых идентичностей и построения национального государства.

Изучая развитие общественных отношений в ходе экспансии капитализма, Тилли вывел несколько базовых понятий для определения отношений государства и общества. Не отрицая валлерстайновскую «мир-систему», Тилли считал, что мир как целое разделен на отдельные общества, которые определяются



такими явлениями, как «сети доверия», «категориальное неравенство» (разновидность внутренней дифференциации), «обязательство» и «принуждение» [Тилли 2010: 11]. Согласно Тилли, политический режим можно определить как «комбинацию принуждения, капитала, обязательств и определяющего вектора их трансформации». Последнее явление Тилли трактует как способ коллективных действий, которые представители того или иного сообщества предпринимают для реализации своих интересов [Тилли 2010: 73]. Залогом конструктивных отношений между властью и обществом, равно как и формирования гражданской нации, по определению Тилли является сложение трех принципов: интеграции сетей доверия в публичную политику,

редуцирования «категориального неравенства» и уменьшения независимости крупных центров насилия от публичной политики.

Рассматривая вопросы, связанные с изучением идентичности, Тилли синтезировал теории Хантингтона, Валлерстайна, Гроха, Геллнера и Фуко. Важное место в его работах занимает рассмотрение паттерна «мобилизация — институционализация» применительно к становлению нации [Епархина 2011: 99–100]. Исследуя изменение систем зависимости и лояльности в деле появления новых идентичностей, Тилли связывает их не только с урбанизацией и последующей индустриализацией, но и с развитием новых форм общественного протеста, с протестной политикой (*contentious politics*). По мнению ученого, устойчивость социального порядка зависит от равновесия между внутренней дифференциацией общества и его интеграцией [Tilly, Tarrow 2007: 130].

В этом контексте в центре внимания Тилли было изучение феномена «общественной мобилизации» в качестве базиса для становления коллективной идентичности. Мобилизация, по определению ученого, представляет собой «процесс продвижения группы от пассивного собрания индивидов к активному участию в публичной жизни». Тилли указывает на существование трех видов мобилизации — оборонительной, когда сплочение происходит за счет внешней угрозы, наступательной, когда коллектив стремится установить свои интересы, и подготовительной (в этом случае ресурсы концентрируются группой в рамках ответа на вероятные вызовы) [Епархина 2011: 100].

Труды Чарльза Тилли стали вехой в изучении социальных изменений и в разработке методологии их анализа. Он выступал за объединение качественных и количественных методов в историко-политическом исследовании. Его подходы к трактовке социального протеста, его мотиваций, субъектов и форм, анализ влияния конфликтности на политические изменения стали классикой современных социальных наук.

Литература

- Тилли Ч. 2009. *Принуждение, капитал и европейские государства, 990–1992 гг.* М.: Территория будущего. 328 с. [Tilly Ch. 1992. *Coercion, Capital and European States AD 990–1992*. London: Wiley-Blackwell. 288 p.]
- Тилли Ч. 2010. *Борьба и демократия в Европе, 1650–2000 гг.* М.: издательство. ГУ-ВШЭ. [Tilly Ch. 2003. *Contention and Democracy in Europe. 1650–2000*. Cambridge: Cambridge University Press. 320 p.]
- Tilly Ch. 1999. *Durable Inequality*. Berkley: University of California Press. 310 p.
- Tilly Ch. 2006. *Identities, Boundaries and Social Ties*. London: Routledge. 284 p.
- Tilly Ch. 2004. *Social Movements. 1768–2004*. London: Routledge. 262 p.
- Tilly Ch. 2002. *Stories, Identities and Political Change*. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers. 288 p.
- Tilly Ch. 2003. *The Politics of Collective Violence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 290 p.
- Tilly Ch. 2005. *Trust and Rule*. Cambridge: Cambridge University Press. 214 p.
- Tilly Ch. and Tarrow S. 2006. *Contentious Politics*. Boulder Co.: Paradigm Pub. 260 p.
- Tilly Ch. 2007. *Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press. 247 p.
- Tilly Ch. 2008. *Explaining Social Processes*. London: Routledge. 224 p.
- Епархина О.В. 2011. Коллективные действия и революции в исторической социологии Ч. Тилли. — *Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология*. № 4. С. 94–111.
- Regarding Tilly: Conflict, Power and Collective Action*. 2016. (ed. by M.J. Funes). Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK: University Press of America. 312 p.

И.И. Баринов

Генри ТЭДЖФЕЛ

Генри Тэдждфел (Henri Tajfel, 1919, Влоцлавек — 1982, Оксфорд) — британский психолог и социолог, автор теории социальной идентичности. Изучал химию в Сорбонне и психологию в Биркбек-колледже (Лондон). В 1954–1967 годах преподавал в университетах Дарема и Оксфорда. С 1967 года — заведующий кафедрой социальной психологии в университете Бристоля.

Основой для исследований Тэдждфела стала разработанная им совместно с Джоном Тёрнером теория социальной идентичности. По мнению ученых, каждый индивид демонстрирует три когнитивных процесса, которые определяют его «включение» себя или же «включенность» его в определенную группу. [Social identity & intergroup relations 1982: 256–266]. Изначальный процесс «социальной категоризации», когда индивид решает для себя, к какой группе принадлежит он сам, а к какой — «иные» индивиды, сменяется процессом «социальной идентификации». Здесь индивид, уже находясь в рамках группы, соотносит собственное мироощущение с аналогичными нормами и паттернами членов «своей» группы. Завершающим становится т.н. явление «социального соотнесения», в ходе которого собственный концепт «других», имеющийся у индивида, сливается с фактом его членства в группе. В результате



индивид сплавляет собственные представления с теми паттернами поведения и перцепциями «другого», которые бытуют в его группе [Social identity & intergroup relations 1982: 285].

Как считал Тэджфел, индивиду было свойственно стремление к так называемой «Я-концепции». На пути к ней, по мнению ученого, человеку необходимо было пройти через самокатегоризацию, то есть, как уже говорилось, соотнести себя с определенными категориями/группами. Таким образом, индивид должен был обрести социальную идентичность как важную составляющую Я-концепции. Социальная ориентация индивида как следствие его самокатегоризации, по Тэджфелу, определялась «режимами ве-

роятного регулирования». Они, в свою очередь, подразумевали установление взаимоотношений индивида и социальных изменений, а также соотнесение различий внутри группы с динамикой действительности с целью поддержания собственной «психологической специфичности». По мнению Тэджфела, «режимы регулирования» включали в себя широкий спектр практик, вплоть до изменения окружающей среды.

В рамках своей теории Тэджфел дал собственную, ступенчатую трактовку термину «стереотип», оказывающему, по его мнению, решающее влияние на восприятие и оценку «другого». В программной статье «Когнитивные аспекты предрассудков» (1969) исследователь относил образование стереотипов к процессу социальной категоризации в результате когнитивной деятельности индивида. В данном случае в качестве критерия данной категоризации могла выступать, к примеру, этничность. Категоризация имеет «понятия приемлемости», т.е. те условия, следуя которым человек будет отделять «своих» от «чужих». В основе же «понятий приемлемости» Тэджфел видел эмоциональные корни, связанные с субъективным восприятием «другого». В данном ключе его рассуждения соотносятся с выводами другого британского специалиста по теории идентичности и национализма — Эли Кидури.

Разрабатывая теорию социальной идентичности, Тэджфел понимал идентичность как средство социальной ориентации и самокатегоризации, при которых индивид выделял сообщество «своих» и определял в нем собственное «я». «Своими», по Тэджфелу, являлась та совокупность индивидов, с которой человек соотносил себя в плане одинаковых «мотивационных обобщений» и их эмоциональной рефлексии. Значительную роль в данном случае Тэджфел отводил оценочной дифференциации. Как указывает исследователь, ее функция заключалась в придании социального смысла как собственным действиям внутри сообщества, так и межгрупповой интеракции [Ставропольский 2011: 70–72].

Литература

Tajfel H. 1981. *Human Groups and Social Categories. Studies in Social Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press. 384 p.

Tajfel H. 1979. Individuals and groups in social psychology. — *British Journal of Social and Clinical Psychology*. Vol. 18. P. 183–190.

Tajfel H. (ed.). 1982. *Social identity & intergroup relations*. Cambridge: Cambridge University Press. 546 p.

Turner J.C. and Tajfel H. 1986. The social identity theory of intergroup behavior. — *Psychology of intergroup relations* (S. Worchel, W.G Augustin eds.). Chicago: Nelson Hall. P. 7–24.

Ставропольский Ю.В. 2011. «Минимальная групповая парадигма» в теории социальной идентичности Генри Тэджфела. — *Общество: социология, психология, педагогика*. № 3–4. С. 69–73.

Social Identity at Work: Developing Theory for Organizational Practice (A. Haslam, M.J. Platow, N. Ellemers eds.). 2003. New York: Psychology Press. 390 p.

Social Identity: International Perspectives. 1998 (ed. by S. Worchel, J. Francisco Morales, D. Paez, J.-C. Deschamps). London: Sage. 288 p.

И.И. Баринов

Эрих ФРОММ

Эрих Фромм (Erich Fromm, 1900, Франкфурт-на-Майне, Германия — 1980, Муральто, Тичино, Швейцария) — автор известных и остающихся популярными книг «Бегство от свободы» (1941), «Искусство любви» (1964), «Здоровое общество» (1965), «Человек для себя» (1967), «Кризис психоанализа» (1973), «Иметь или быть?» (1976). Труды Фромма непросто четко позиционировать в той или иной области социальных наук. Его называют философом, психологом, социологом. Значительно чаще в словарях применительно к Фромму используется понятие «общественный мыслитель». Где-то его именуют немецким ученым, где-то — американским исследователем. Он прожил в Германии 34 года, а после прихода Гитлера к власти эмигрировал в США и последующие 46 лет своей жизни делил между Америкой и Мексикой. Фромм был знаком и временами был дружен со многими выдающимися учеными своей эпохи, но не оставил научной школы. Чаще всего о нем говорят как о мыслителе, который попытался соединить идеи Маркса и Фрейда, предварительно существенно переработав их.

Как правило, профессиональная идентичность Фромма определяется через его принадлежность психоаналитике, однако Фромм не имел медицинского образования и соответствующей лицензии, а его трактовка психоаналитических идей и принципов существенно отличалась от тех, которых придерживались Фрейд и его последователи. В 1934 году Фромм был изгнан из Германской психоаналитической ситуации по причине еврейского происхождения.



Но и с другими профессиональными ассоциациями у него были проблемы: с 1941 года в США Фромм был почетным членом с правом проведения клинических семинаров в организованной Карен Хорни Ассоциации по продвижению психоанализа. Это право затем было оспорено по стандартам Американской психоаналитической ассоциации, в результате чего в 1943 году был предложен компромисс, дающий Фромму право проводить теоретические, но не клинические семинары. Фромм компромисс отверг. В результате комиссия лишила его всех привилегий, и он вышел из состава ассоциации вместе с рядом своих сторонников. В 1946 году он стал главой факультета в WAWI — институте психиатрии, психоанализа и психологии

в Нью-Йорке. А в 1953 году он обнаружил, что его имя было вычеркнуто из списка членов Международной психоаналитической ассоциации. Он переживал нападки коллег, петиции студентов, обвинения в несоответствии профессиональным критериям на протяжении всех 1950-х годов. Райнер Фанк связывает это с фроммовской «социальной трактовкой природы человека и стремлением “преодолеть социальную амнезию психоанализа”, сделать его более открытым и заинтересованным в экономических, культурных и социальных факторах формирования психических структур» [Funk 2014: 76–77]. Э. Фромм прожил в Мексике более 25 лет, занимаясь там в 1950–1960-е годы развитием психоанализа и работая как социопсихолог, в то время как в США он выступал как социальный критик и социальный политик. Имел некоторый опыт работы в социалистической партии США и активно участвовал в движении за мир. С опубликованием в 1955 году книги «Здоровое общество» Э. Фромм вступил на политическую арену американского общества с идеями коммунитарного социализма.

В 1960-е годы Фромм выступил в качестве организатора Международной федерации психоаналитических сообществ, считая важным преодолеть изолированность психоаналитических профессиональных ассоциаций и дать возможность включиться в их деятельность специалистам из Мексики и других развивающихся стран.

Объясняя свои поиски адекватной теории, Фромм писал: «Меня глубоко волновали вопросы индивидуальных и социальных феноменов, и я стремился найти ответы на эти вопросы. Я нашел ответы в системах и Маркса, и Фрейда. Но я также был увлечен анализом различий между этими двумя системами и желанием разрешить эти противоречия... я хотел добиться синтеза, который должен был стать следствием понимания и критики обоих мыслителей» [Фромм 2010]. Он стремился включить человека в социальный контекст.

«По мнению Фромма, самые прекрасные, как и самые уродливые склонности человека не вытекают из фиксированной, биологически обусловленной человеческой природы, а возникают в результате социального процесса формирования личности. Иными словами, общество осуществляет не только функцию подавления, но и функцию созидания личности, — поясняет позицию Фромма П.С. Гуревич. — Человеческая натура — страсти человека и тревоги его — это продукт культуры. По сути дела, человек сам — это самое важное достижение непрерывных человеческих усилий, запись которых мы называем историей» [Гуревич 1990: 253–254].

Было бы неточно отнести Фромма к исследователям идентичности, но еще более некорректно было бы исключить его из пула исследователей, разрабатывавших проблематику идентичности. В какой-то мере он занимался преимущественно идентичностью: кто есть человек; какими мотивами он движим? как происходит процесс идентификации? какие факторы влияют на это процесс?

Фромм актуализирует поиск человеком как самого себя, так и образцов для подражания, постоянно соотносит себя с другими людьми. «Что же такое идентичность в человеческом смысле? Среди многих подходов к этому вопросу я хочу выделить только один — истолкование идентичности как такого переживания, которое позволяет человеку с полным основанием сказать: я — это Я, то есть, активный центр, организующий структуру всех видов моей реальной и потенциальной деятельности, — поясняет Фромм. — Подобное переживание Я существует только в состоянии спонтанной активности: его нет в состоянии внутренней пассивности и полудремы, когда люди пребывают в достаточно бодрствующем состоянии, чтобы заниматься бизнесом, но еще недостаточно пробудились, чтобы ощутить Я как активный центр в нас самих» [Фромм 2010a]. На его взгляд, главные движущие силы в развитии человека — потребность в укоренении и потребность в индивидуализации. «Если потребность в укоренении заставляет человека стремиться к обществу, соотносить себя с другими его членами, стремиться к общей с ними системе ориентиров, идеалов и убеждений, то потребность в индивидуализации, напротив, толкает к изоляции от других, к свободе от давления и требований общества. Эти две потребности являются причиной внутренних противоречий, конфликта мотивов у человека, который всегда тщетно стремится каким-то образом соединить эти противоположные тенденции в своей жизни» [Егорова: 2002: 128].

В «Анатомии человеческой деструктивности» Фромм подчеркивает, что он обращается к реальным условиям существования живого действительного человека. Неслучайно его называют одним из самых социально ориентированных психоаналитиков. Для Фромма реальные условия включают как непосредственное окружение человека, так и социальную среду в широком смысле слова, общественное и политическое устройство. Фромм внес существенный вклад в идентификацию авторитарной личности, для которой свойственно стремление убежать от свободы, избежать внутриличностного конфликта, получить

психологическое удовлетворение от принадлежности к мощной группе, подчинению сильному лидеру.

С позиций сегодняшнего дня основными достижениями Фромма считаются успешное преодоление искусственного раскола между психологией и социологией с помощью концепта социального характера; объяснение Self психической потребностью в чувстве идентичности, свойственном всем человеческим существам [Funk 2014: 77].

«Понятие целостности вбирает в себя понятие идентичности. Его можно коснуться вскользь, потому что целостность означает просто готовность не нарушать свою идентичность ни одним из возможных способов. Сегодня главное искушение нарушить идентичность связано с возможностями достичь успеха в индустриальном обществе. Поскольку жизнь в обществе склоняет человека к тому, чтобы ощущать себя вещью, чувство идентичности — редкое явление. Но проблема усложняется тем, что наряду с идентичностью как описанным выше осознанным феноменом есть своего рода бессознательная идентичность, — разъяснял Фромм. — Под этим я подразумеваю то, что хотя некоторые люди осознанно превратились в вещи, бессознательно они несут в себе чувство самотождественности именно потому, что социальным процессам не удалось полностью превратить их в вещи. Возможно, эти люди, поддавшиеся искушению нарушить свою целостность, испытывают бессознательное чувство вины, в свою очередь порождающее чувство скованности, хотя причин его они не осознают. ...до тех пор, пока человек не полностью мертв в психологическом смысле, он чувствует себя виноватым за то, что живет, не будучи целостностью» [Фромм 2010a].

Лоуренс Уальд обращает внимание на важный потенциал разработанной Фроммом теории, в которой социальная психология соединена с гуманистической этикой и идеями демократии и социализма. На его взгляд, этот потенциал недостаточно оценен, как и его вклад в анализ новых социальных движений, которые он одним из первых охарактеризовал в плане их перспектив. Фромм справедливо критиковал предыдущие варианты социалистической теории за то, что они не могли визуализировать лучший мир. На его взгляд, в основе этого мира должен быть человек, личность, не испытывающая отчуждения, ориентированная на то, чтобы «быть, а не иметь» [Wilde 2000: 55].

Существенное внимание уделяется в наследии Фромма его концепту социального характера, который «позволил понять, почему людям нравится быть покорными и самоотверженными в авторитарных политических системах; почему в рыночной экономике глубочайшее желание быть успешным даже ценой продажи собственной личности». Резюмируя значимость такого анализа, Фанк заявляет: «В некотором смысле Фромм уложил на кушетку психоаналитика общество» [Funk 1982: 322].

Многие исследователи творчества Фромма акцентируют внимание на его гуманистическом потенциале, его способности сделать долгосрочный прогноз. В ситуации массового общества антиконсюмеристские интенции Фромма вызвали удивление и даже насмешку, но в современном обществе про-

блема отчуждения, утраты человеком смысла, дилеммы между «иметь и быть» более чем актуальна. В этом контексте можно утверждать, что идеи Фромма были направлены на то, чтобы способствовать формированию «гуманистической глобальной идентичности» [Brennen 2006: 16].

Литература

- Фромм Э. 2006. *Здоровое общество*. М.: Аст, Хранитель. 544 с.
- Фромм Э. 2007. *Анатомия человеческой деструктивности*. М.: Аст, Хранитель, Мидгард. 624 с.
- Фромм Э. 2010а. *Избавление от иллюзий. Сопоставление взглядов Маркса и Фрейда*. — Psychol-ok. Психологическая помощь. Электронный ресурс. Доступ: http://www.psychol-ok.ru/lib/fromm/loi/loi_01.html (проверено 9.03.2017).
- Фромм Э. 2010б. *Душа человека, ее способность к добру и злу*. М.: Аст, Астрель. 256 с.
- Фромм Э. 2010с. *Иметь или быть*. М.: Аст, Астрель. 320 с.
- Фромм Э. 2011. *Бегство от свободы*. М.: Аст. 288 с.
- Гуревич П.С. 2010. Проблема идентичности человека в философской антропологии. — *Вопросы социальной теории*. Том IV.
- Гуревич П.С. 1990. Послесловие. — Фромм Э. *Бегство от свободы*. М.: Прогресс. С. 248–267.
- Гуревич П.С. 1992. Видный мыслитель XX столетия. — Фромм Э. *Душа человека*. Сост. П.С. Гуревич. М.: Республика. С. 5–12.
- Гуревич П.С. 1993. Человек в авантюре саморазвития. — Фромм Э. *Психоанализ и этика*. М.: Республика. С. 5–16.
- Гуревич П.С. 1990. Философская антропология Э. Фромма. — *Философские науки*. № 8. С. 85–87.
- Егорова И.В. 2002. *Философская антропология Эриха Фромма*. М.: Институт философии РАН. 164 с.
- Старовойтов В.В. 2007. Жизнь и творчество Эриха Фромма. — *Журнал практической психологии и психоанализа*. № 1. Эл. ресурс. Доступ: <https://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2773> (проверено: 02.02.2017).
- Brennen B. 2006. Searching for “The Sane Society”. *Javnost — The Public Journal of the European Institute for Communication and Culture*. Vol. 13. No. 3. P. 7–16
- Funk R. 2014. The IFPS’s sense of identity and Erich Fromm’s Legacy. — *International Forum of Psychoanalysis*. Vol. 23. No. 2. P. 74–79.
- Funk R. 1982. *Erich Fromm: The courage to be human*. New York: Continuum. 424 p.
- Wilde L. 2000. In search of solidarity: the Ethical politics of Erich Fromm (1900–1980). — *Contemporary Politics*. Vol. 6. No. 1. P. 38–57.
- Wilde L. 2004. *Erich Fromm: The quest for solidarity*. New York: Palgrave Macmillan. 190 p.

Л.А. Фадеева

Мишель Фуко

Мишель Фуко (Michel Foucault, 1926, Пуатье (Франция) — 1984, Париж). Учился в католической школе (колледж Святого Станислава), лицее Анри IV (Париж), Педагогическом институте, где получил звание лицензиата кафедр философии и психологии, а также диплом кафедры психотерапии. В 1960 году за монографию «Сумасшествие и цивилизация» Фуко была присвоена докторская степень. География преподавательской деятельности Фуко исключительно широкая: университеты в Упсале (Швеция), Варшаве (Польша), Гамбурге (ФРГ), Тунисе, а также в Клермон-Ферраре, Винсене, Париже (Франция), в Калифорнийском университете Беркли (США). После студенческих волнений 1968 года активно участвовал в различных публичных протестных политических акциях, в создании «Группы информации о положении в тюрьмах» (GIP).

Известность в научном мире получил как политический философ, социолог и культуролог. Использовал методологии постструктурализма и постмодернизма. В научном наследии Фуко выделяют различные периоды: в начале научного пути мыслителя особо интересовал способ познания и этапы истории развития человечества, с конца 1960-х годов исследования ориентированы в большей степени на систему требований и контроля за индивидом извне, а затем — на природу личности человека.

Занимался проблемами философии власти, дискурса, знания, изучал клиническую медицину, бессознательное, безумие и маргинальные практики, а также вопросы этики, морали, свободы и идентичности. В развитии теории идентичности М. Фуко использовал категории власти, ложного сознания, нормализации, субъекта, дискурса, «техники себя», заботы о себе.

Согласно представлениям Фуко, власть в современном обществе не обязательно концентрируется в государственных структурах. Дисциплинарная власть определяет поведение людей, формирует их сознание и конституирует тела с помощью установленных систем наказания и описания удовольствий. Она может быть скрытой, распыленной. Власть связана со знанием и организацией пространства, когда каждый индивид потенциально или реально оказывается наблюдаемым со стороны, а потому вынужден постоянно контролировать себя. Для обозначения специфических мест, которые вносят разрывы в очевидную непрерывность и нормальность повседневности, Фуко использовал термин «гетеротопия». При этом он отмечал, что для различных социальных групп одно и то же пространство «прочитывается», воспринимается, используется по-разному.

Государству для насильственной «нормализации» индивидов удобно использовать не только требующие соблюдать дисциплину институты (цеха, школы, больницы, клиники или тюрьмы как огороженное и контролируемое пространство), но и обладающие рационально-дидактическими средствами

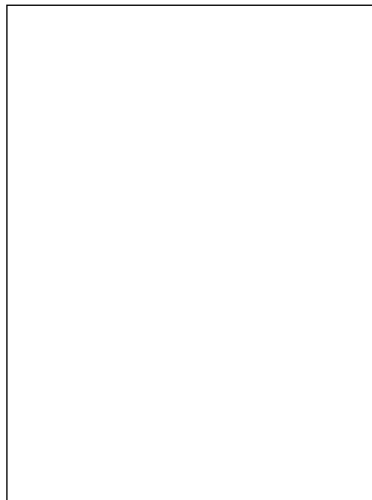
социальные науки и административную систему в целом. Власть стремится контролировать все аспекты поведения индивида — физическое и ментальное здоровье, поведение в публичной и частной сферах, эмоциональные реакции, трудовую деятельность — и даже смерть.

Важной темой для Фуко была тема «техники себя». Это — действия, которые предлагаются или предписываются индивидам с целью зафиксировать, сохранять или трансформировать их идентичность с определенными целями. Забота о себе включает отношение индивида к себе и другим, самонаблюдение за мыслями, направленный на изменение и преобразование себя определенный образ действий, а также свод законов, определяющих условия существования субъекта, отношение к окружающему миру и способ рефлексии. Мысль конституирует человеческое бытие в качестве субъекта познания, устанавливая отношение индивида с самим собой и другими людьми и способствуя его самореализации.

В разные эпохи (Фуко выделяет сократо-платоновскую, эллинистическую, христианскую, новоевропейскую) субъект формирует себя по-разному. Принцип заботы о себе является основой рационального поведения. Первоначально забота о себе (*epimeleia*) — это и забота о других, обществе, истине; затем культивируется уникальность, индивидуальность субъекта. Позднее главными для человека становятся практики религиозной жизни, а в современном обществе субъект полностью утрачивает контроль над практиками заботы о себе, передавая ответственность различным институтам — системам медицины, образования, государству в целом.

Продукт современных регулирующих коллективных институций — дисциплинарная власть — использует средства, которые индивидуализируют субъекта. Организованная система документирования — важный фактор роста власти, однако парадокс заключается в том, что при росте коллективности и организованности институтов и ужесточении надзора над субъектом усиливаются его изоляция и индивидуализация. Поскольку системы нормирования в современном мире постепенно исчерпываются, появляется шанс вернуться к проявляющимся в конкретных поступках субъекта «искусствам существования» и к возможности свободы индивида. Фуко ввел в научный оборот категорию «стратегия идентичности». Задача современного субъекта — избежать микровоздействия власти-знания и возродить практику заботы о себе, свободного «изобретения» себя.

Субъект постоянно пытается восстановить этику своего «Я», правильно сформулировать правила отношения своего «Я» к самому себе. Фуко называет



«пародией идентичности» попытки найти правильный и неизменный ответ на вопрос «что такое “Я”?», ставит под сомнение возможность законсервировать и спрятать под маской одну-единственную идентичность, в то время как личность субъекта базируется на множестве возможностей и историй, формируя сложную систему переплетающихся элементов и идентичностей.

Литература

- Фуко М. 1977. *Слова и вещи: Археология гуманитарных наук*. М.: Прогресс. 488 с.
- Фуко М. 2002, 2005, 2006. *Интеллектуалы и власть*. Ч. 1; Ч. 2; Ч. 3. М.: Праксис. 381 с.; 318 с.; 311 с.
- Фуко М. 2005. *Нужно защищать общество: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году*. СПб.: Наука. 311 с.
- Фуко М. 2007б. *Герменевтика субъекта: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981–1982 учебном году*. СПб.: Наука. 676 с.
- Фуко М. 2010. *Рождение биополитики: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году*. СПб.: Наука. 446 с.
- Фуко М. 2011а. *Безопасность, территория, население: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 учебном году*. СПб.: Наука. 543 с.
- Фуко М. 2011б. *Управление собой и другими: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1982–1983 учебном году*. СПб.: Наука. 431 с.
- Фуко М. 2012. *Археология знания*. СПб.: Гуманитарная академия. 415 с.
- Фуко М. 2014. *Воля к знанию*. СПб.: Мир. 285 с.
- Бодрийяр Ж. 2000. *Забывать Фуко*. СПб.: Владимир Даль. 89 с.
- Вен П. Фуко. 2013. *Его мысль и личность*. СПб.: Владимир Даль. 193 с.
- Миллер Дж. 2002. Будьте жестокими! Интеллектуальная биография Мишеля Фуко. — *Логос*. № 5–6. С. 331–381.
- Мишель Фуко и Россия: 2001. Сб. статей*. Под ред. О. Хархордина. М.; СПб.: Летний сад. 349 с.

О.В. Попова

Юрген ХАБЕРМАС

Юрген Хабермас (Jürgen Habermas, род. 1929, Дюссельдорф, Германия) — немецкий социолог и философ, работающий в традициях критической теории и прагматизма. Представительные опросы общественного мнения последних лет говорят о том, что Юрген Хабермас получил признание как один из самых влиятельных публичных интеллектуалов современности. Широко известен благодаря своим теоретическим работам по теории коммуникации и изучению теоретических аспектов общественно-политической сферы жизни современного общества. Хабермас — автор работ по теории познания, анализу механизмов функционирования развитых капиталистических обществ и демократии, в том числе современного политического процесса (в Германии и ЕС),

создатель теории коммуникативного действия.

Хабермас является представителем второго поколения Франкфуртской школы — группы интеллектуалов, объединившихся вокруг Института социальных исследований во Франкфурте в 1930–1970-е годы. Для этой школы характерно переплетение двух линий: «философии жизни» и традиции диалектического философствования. В контексте такого совмещения взаимоисключающих традиций и резко критического отношения к капитализму представители франкфуртской школы (Т. Адорно, Г. Хоркхаймер, В. Бен-Ямин, Г. Маркузе и др.) рассматривали общие проблемы культуры и их связь с политической практикой. Их интересовали проблемы человеческой личности, существующей в условиях новой квазиреальности — технологической рациональности. Поиск теоретических моделей, релевантных для объяснения процессов, происходящих в современных первом поколению «франкфуртцев» капиталистических и социалистических обществах, привел их к постановке вопросов о разработке новых моделей рациональности («миметическое», художественное мышление — Т. Адорно; «чувственная рациональность» — Г. Маркузе).

В продолжение этих идей Хабермас разрабатывает теорию «коммуникативной рациональности», которая разворачивает вектор рациональности с отношения индивидов к природе на отношения между индивидами. Современное общество состоит из «системы» и «жизненного мира», в котором реализуется коммуникация. Индивидам доступен выбор между двумя типами поведения: коммуникативным и стратегическим. Стратегическая модель поведения ведет к росту отчуждения, разрушению коллективной идентичности и появлению разных форм психопатологии. Коммуникативное поведение ориентируется на выстраивание понимания и доверия между индивидами, приводит к формированию стабильных нормативных структур. Личностные интересы, установки, ценности, влечения и поведение корректируются в коммуникативном дискурсе, который служит основой для формирования и поддержания целостного «жизненного мира» индивидов и подлинной социальной интеграции.

В контексте проблематики идентичности Хабермаса интересует ответ на вопрос о том, «как сложные общества формируют рациональную идентичность». По его мнению, процесс формирования идентичности общества и идентичности индивидов происходит в процессе коммуникации и посредством дискурса. Идентичность индивида прочно связана с групповой идентичностью. Индивидуальная идентичность может быть признана состоявшейся

в случае, если, во-первых, субъекты обладают способностью при самых глобальных изменениях оставаться тождественными самим себе, и, если, во-вторых, другие признают определенные признаки их самоидентификации [Хабермас 1999: 10]. Способность и возможность соотносить себя с другими, с некоей определенной группой является одним из важнейших условий формирования идентичности индивида, а идентичность группы есть среда для реализации идентичностей отдельных индивидов. Хабермас говорит о парадоксе идентичности «Я»: оно одновременно равно всем и абсолютно отлично от других. Для осмысления идентичности, следовательно, важно помнить об абсолютной всеобщности и абсолютной индивидуализации, которые необходимо воспринимать одновременно.

Хабермас различает истинную и ложную идентичность. Смысл истинной идентичности состоит в создании условий, которые бы благоприятствовали пересечению индивидуальной рефлексии и ее intersубъективного признания. Истинная идентичность способствует созданию и поддержанию целостности общества. В случае же распада общества, при котором наблюдается дефицит взаимного intersубъективного признания, возможно появление множества ложных идентичностей, не основанных на доброй воле. В таких условиях восстановление единства общества возможно осуществить лишь с помощью силы [Хабермас 1999: 8]. Эти идеи лежат в русле критики тоталитаризма и авторитарной личности, которую развивали философы франкфуртской школы.

Ю. Хабермас прослеживает эволюцию соотношения групповой и индивидуальной идентичности. Так, для архаического общества характерно выстраивание отношений вокруг мифологии. Здесь проблема идентичности еще не существует. В таком обществе индивидуальное еще остается невыделенным из группового, идентичность отдельного человека и племени, рода суть одно и то же. Идентичность человека на этом этапе остается естественной, поскольку существующее единство индивида, рода и мира носит недуховный характер.

В эпоху ранних цивилизаций появляются групповая идентичность общины и организационные формы, которые стремятся упорядочить ее общественную (греческий полис) и религиозную (ритуалы, жертвы) жизнь. При этом отсутствует рефлексия индивида, необходимая для осознания ценности субъекта, что делает возможным существование рабства. Индивид пытается выстраивать свои отношения с антропоморфными богами с помощью ритуалов, которые имеют большое значение и для общественной жизни.

На следующем этапе развития общества появление монотеистических религий позволяет сформироваться индивидуальной идентичности. Идея бессмертия души придает каждому индивиду бесконечную ценность. Благодаря тому, что между индивидом и Богом складываются отношения диалога, происходит формирование высокоиндивидуализированной идентичности. Отношения между духовной и светской властью в западных обществах поддерживаются с помощью представлений о двух мирах — божественном и мирском. Религиозная идентичность на этом этапе вступает в противоречие с более

узкой, государственной идентичностью. Это структурное противостояние завершается сакрализацией статуса верховного правителя в период складывания абсолютных монархий.

В Новое время происходит распад монотеистических религий на разные, часто противостоящие друг другу доктрины. Разделение христианской церкви на несколько конфессий привело к исчезновению исключительной значимости членства в общине верующих: рождается множество общин, претендующих на истинность своего вероучения. На этом этапе появляется необходимость решения вопросов веротерпимости и толерантности к инакомыслию. Некогда универсальная и единая религиозная идентичность распадается на множество идентичностей. Как результат, в обществах Запада на смену религиозному мировоззрению и мышлению приходит рационально мотивируемая научная картина мира в сочетании со светской моралью, происходит секуляризация общественной жизни. Однако сокращение части функций и тенденция к индивидуализации необязательно приводят к утрате влияния религии на политическую жизнь, на культуру или на образ жизни человека. Поэтому нынешнее общественное сознание в Европе может быть описано в категориях «постсекулярного общества» в той мере, в какой оно «приемлет факт дальнейшего существования религиозных общин в постоянно секуляризирующейся среде и адаптируется к нему» [Хабермас 2008].

На современном этапе происходит предельное обострение противоречия между коллективной (национальной, государственной) идентичностью и идентичностью индивида, основанной на духовных и нравственных императивах (мораль, вера). В этом контексте Ю. Хабермас говорит о возможности новой идентичности. Он полагает, что государственно-гражданскую (национальную) идентичность необходимо расширить до всемирно-гражданской (универсальной) [Хабермас 1999: 15]. Однако всемирно-гражданская идентичность не предполагает наличия интерсубъективного признания: национальное государство является системой наивысшего из возможных порядков, поэтому создание идентичности мирового общества возможно на уровне системной, а не социальной интеграции; в силу своей абстрактности «человечество» и «мировое общество» не могут претендовать на роль всеобщих источников групповой идентичности, на основе которых может быть выстроена идентичность отдельных людей.

В логике немецкого философа, новая идентичность представляет собой многоуровневое образование, закладывающее основания для формирования «всемирного гражданства». Для упорядочивания сложных, диалектических отношений между уровнями идентичности граждан (национальный и наднациональный) необходимо создание международных институтов и политико-правовых режимов регулирования. Наибольшего прогресса в этом отношении достиг ЕС.

Формирование новой идентичности происходит посредством различных форм коммуникации. Они создают и поддерживают уже имеющиеся нормы и ценности общества путем оказания влияния на нормативный дискурс поли-

тической системы. Новая идентичность — непрерывный процесс научения. Ю. Хабермас говорит о том, что на современном этапе возможно отказаться от устаревших форм идентичности: государственной, национальной, партийной и других. Новая идентичность предполагает осознание индивидами возможности активного участия в формировании своей собственной идентичности. Современные интерпретации, объясняющие место человека в мире (синтез философии, религии и науки), гарантируют сохранение своей новой идентичности, поскольку допускают пересмотр собственного статуса [Хабермас 1999: 52].

Рассмотрение Ю. Хабермасом идентичности как явления, конструируемого в процессе коммуникации, явилось продолжением поисков, начатых во Франкфуртской школе, и стало одним из вариантов выхода из постструктуралистского тупика. Работы Хабермаса оказали значительное влияние на концептуализацию идентичности. Начатое им переосмысление отношений между национальной идентичностью, с одной стороны, и гражданством, демократическими свободами — с другой, постановка вопроса о «конституционном патриотизме» оказали влияние не только на академическую мысль, но и на ход общественно-политической дискуссии в Европе. На волне критических оценок и острой полемики немецкий мыслитель обосновал насущную необходимость пересмотра существующих политико-правовых установок и парадигм научной мысли.

Литература

- Хабермас Ю. 1995. Гражданство и национальная идентичность. — Ю. Хабермас. *Демократия. Разум. Нравственность*. М.: Academia. С. 208–245.
- Хабермас Ю. 1999. *В поисках национальной идентичности*. Донецк: Издательство «Донбасс». 415 с.
- Хабермас Ю. 2002. *Будущее человеческой природы*. М.: Издательство «Весь Мир». 144 с.
- Хабермас Ю. 2003. *Философский дискурс о модерне*. М.: Издательство «Весь Мир». 416 с.
- Хабермас Ю. 2008a. *Расколтый Запад*. М.: Издательство «Весь Мир». 192 с.
- Хабермас Ю. 2008b. Против «воинствующего атеизма». «Постсекулярное» общество — что это такое? — *Русский журнал*. Эл. ресурс. Доступ: <http://www.russ.ru/pole/Protiv-voinstvuyuschego-ateizma> (проверено 07.03.2017).
- Хабермас Ю. 2011. *Между натурализмом и религией. Философские статьи*. М.: Издательство «Весь Мир». 336 с.
- Хабермас Ю. 2016. *Структурное изменение публичной сферы: Исследования относительно категории буржуазного общества*. М.: Издательство «Весь Мир». 344 с.
- Habermas J. 1974. On social identity. — *Telos*. No. 19. Spring. P. 91–103.
- Habermas J. 1976. *On the pragmatics of social interaction. Preliminary Studies in the Theory of Communicative Action*. Cambridge MA: The MIT Press. 216 p.
- Habermas J. 1984. *The Theory of Communicative Action. Vol. 1. Reason and the rationalization of society*. Boston: Beacon Press. 562 p.
- Habermas J. 1987. *The Theory of Communicative Action. Vol. 2. Lifeworld and system: A critique of functionalist reason*. Boston: Beacon Press. 463 p.
- Habermas J. 1990. *Moral Consciousness and Communicative Action*. Cambridge MA: The MIT Press. 244 p.

- Habermas J. 2012. *The Crisis of the European Union*.
Habermas, J. 2015. *The postnational constellation: Political essays*. London: John Wiley & Sons. 216 p.
- Adams N. 2006. *Habermas & Theology*. Cambridge, Cambridge University Press. 216 p.
Braaten J. 1991. *Habermas's Critical Theory of Society*. State University of New York Press. 310 p.
Jürgen Habermas: Key Concepts. 2011. Ed. by B. Fultner. Durham: Acumen pub. 264 p.
Ingram D. 2010. *Habermas: Introduction and Analysis*. Ithaca and London: Cornell University Press. 360 p.

Е.Г. Довбыш

Сэмюэл ХАНТИНГТОН

Сэмюэл Филлипс Хантингтон (Samuel Huntington, 1927, Нью-Йорк — 2008, Марта-Виньярд) — всемирно известный американский политолог. С отличием окончил Йельский университет, получил степень магистра в Университете Чикаго, а затем — степень доктора философии в Гарвардском университете, где и остался работать в качестве преподавателя. Большая часть карьеры С. Хантингтона была связана именно с Гарвардом, где он в общей сложности преподавал 58 лет, до своего ухода на пенсию в 2007 году. Также работал в Колумбийском университете, сотрудничал в качестве консультанта с Государственным департаментом США и выполнял обязанности координатора отдела планирования в Совете национальной безопасности США при администрации президента Дж. Картера. Хантингтон был основателем и главным редактором авторитетного журнала *Foreign Policy*, в 1986–1987 годах занимал пост президента Американской ассоциации политических наук.

Многие книги и статьи С. Хантингтона получили известность далеко за пределами Соединенных Штатов. Большое внимание привлекли работы ученого, посвященные политическому порядку в изменяющихся сообществах, а также его теория о волнах демократизации [см. Хантингтон 2003]. Огромное влияние на исследователей, политических и общественных деятелей оказала статья о «столкновении цивилизаций», опубликованная в 1993 году в журнале *Foreign Affairs* [Хантингтон 1993]. В дальнейшем он развил эту свою концепцию в книге «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка», впервые опубликованной в 1996 году [Хантингтон 2007]. Ученый

опирается на идеи, выдвинутые его предшественниками, прежде всего — известным историком и философом Арнольдом Тойнби, который в своем труде «Постижение истории» рассматривает стадии развития и упадка цивилизаций и говорит о взаимодействии и борьбе между ними. Однако именно термин «столкновение цивилизаций», предложенный Хантингтоном, приобрел наибольшую известность, а книга была переведена на 39 языков мира.

По мнению Хантингтона, после окончания холодной войны возникает новый мировой порядок, основанный не на идеологическом противостоянии, а на взаимодействии цивилизаций. Он понимает цивилизацию как культурную общность наивысшего ранга, как самые широкие рамки культурной идентичности людей. При этом цивилизация определяется как общими объективными элементами, такими, как язык, история, религия, обычаи, социальные институты, так и субъективной самоидентификацией людей. В современном мире культура и различные виды культурной идентификации (которые определяют идентичность цивилизации) задают модели сплоченности, дезинтеграции и конфликта [Хантингтон 2007: 20]. Важное место в концепции Хантингтона занимают религии: в предложенной им модели мироустройства существуют исламская, православно-славянская, конфуцианская и индуистская цивилизации. Всего же облик будущего будут, по мнению ученого, определять семь или восемь крупных цивилизаций: помимо упомянутых выше, это западная, латиноамериканская, японская и, возможно, африканская. При этом баланс сил между ними меняется: хотя западная цивилизация пока еще является доминирующей, ее влияние в мире неизбежно будет ослабевать. Однако, в отличие от периода холодной войны, когда страны могли не вступать ни в один из блоков или переходить из одного союза в другой, в новых условиях каждое государство должно будет сделать безальтернативный выбор. Культурная идентичность становится центральным фактором, определяющим симпатии и антипатии страны и ее место в мировой политике.

Хантингтон считал неизбежным возникновение конфликтов между цивилизациями. На локальном уровне происходят конфликты по линиям разлома, когда сталкиваются принадлежащие к различным цивилизациям соседние страны или группы населения внутри одной страны. На глобальном, или макроуровне, возможны конфликты между «стержневыми» государствами — основными государствами, принадлежащими к различным цивилизациям. Кроме того, существуют «расколотые» страны, территориальная целостность которых находится под угрозой из-за проходящих по ним линий разлома; а также «разорванные» страны — объединенные одной культурой государства, лидеры которых делают выбор в пользу разных цивилизаций. В неизбежных войнах по линиям разлома возрастает роль идентичности, а цивилизационное самосознание укрепляется по отношению к другим идентичностям. Хантингтон считает, что для того, чтобы избежать крупных межцивилизационных войн в будущем, «стержневым» странам следует научиться договариваться между собой с целью предотвращения или урегулирования конфликтов, а также воздерживаться от вмешательства в конфликты в других цивилизациях.

В 2004 году Хантингтон опубликовал книгу, посвященную американской национальной идентичности [Хантингтон 2008], где исследует историю американской нации и предлагает свой взгляд на ее настоящее и будущее. Он уверенно утверждал, что американская идентичность переживает кризис, связанный с массовой иммиграцией и процессами глобализации. Ученый считал, что для преодоления негативных тенденций американцам необходимо вновь подтвердить приверженность ценностям англо-протестантской культуры, которая определяла развитие страны в прошлом.

Работы Сэмюэля Хантингтона оказали огромное влияние на ученых и политиков по всему миру. Хотя, по его собственным словам, предложенная им модель «столкновения цивилизаций» является упрощенной, она позволяет посмотреть на происходящие на глобальном уровне процессы под особым, новым углом зрения, имея в виду ключевое значение цивилизационной идентичности. Хантингтон не только излагает свой вариант описания ситуации в мире; он пытается спрогнозировать разные варианты развития событий и предлагает стратегию, которая, по его мнению, позволит США и западной цивилизации справиться с новыми вызовами и проблемами.

Литература

Хантингтон С. 2003. *Третья волна. Демократизация в конце XX века*. М.: РОССПЭН. 368 с. [Huntington S. 1993. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press. 366 p.]

Хантингтон С. *Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности*. М.: АСТ, 2008. 635 с. [Huntington S. 2004. *Who are We?: The Challenges to America's National Identity*. New York: Simon and Schuster. 428 p.]

Culture Matters: How Values Shape Human Progress. 2000. L. Harrison, S. Huntington, eds. NY: Basic Books. 384 p.

Huntington S. 1993. The Clash of Civilizations? — *Foreign Affairs*. V. 72. No 3. P. 22–49.

Huntington S. 2007. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon and Schuster. 368 p.

Huntington S. 1957. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-military Relations*. Cambridge: Harvard University Press. 534 p.

Huntington S. 1969. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press. 488 p.

Fukuyama F. Samuel Huntington's Legacy. — *Foreign Policy*. 5 Jan., 2011.

Е.М. Харитонова

Эрик ХОБСБАУМ

Эрик Джон Эрнест Хобсбаум (Eric John Ernest Hobsbawm, 1917, Александрия — 2012, Лондон), британский историк-марксист и политический мыслитель. Родился в еврейской семье выходцев из Польши и Австрии, детство и школьные годы провел в Австрии и Германии. Оставшись сиротой после смерти родителей, эмигрировал с семьей родственников в Великобританию после прихода нацистов к власти в Германии. Подростком вступил в Коммунистическую партию. Выиграв стипендию на изучение истории, окончил Королевский колледж Университета в Кембридже и получил докторскую степень. В годы Второй мировой войны был на фронте. После войны преподавал историю в Колледже Биркбек Лондонского университета. Получил звание профессора, в 1982 году — почетного профессора, в 2002 году избран президентом Колледжа. За свою долгую жизнь стал свидетелем масштабных и драматических исторических событий, что оказало большое влияние на избранную им тематику исследований и научные взгляды.

Среди наиболее известных работ Хобсбаума — трилогия о «долгом XIX веке», охватывающая период истории от Великой французской революции до 1914 года, а также другие его книги и статьи, посвященные событиям «короткого XX века», рабочему движению, революциям и империализму. Несмотря на то, что ученый до конца своей жизни придерживался марксистских взглядов, его вклад в историческую науку и теорию национализма признается в том числе и его идеологическими противниками. Он был удостоен британского Ордена Кавалеров Почета, получил целый ряд других наград, а также звание почетного гражданина города Вены.

В 1990 году вышла книга Э. Хобсбаума «Нации и национализм после 1780 года», которая принадлежит к числу наиболее значимых исследований феномена национализма. Книга множество раз переиздавалась и переведена более чем на 20 языков мира. Важнейшей особенностью современной нации, по убеждению ученого, является ее историческая молодость: сам термин «нация» в его сегодняшнем понимании появляется лишь к концу XIX века.

Хобсбаум признает правоту Эрнеста Геллнера, определившего национализм как «принцип, согласно которому политические и национальные образования должны совпадать», но настаивает на том, что изучение национализма неизбежно предшествует анализу нации. Нация не является чем-то первичным или изначальным, а всегда привязана к конкретному историческому периоду. Не существует дефиниции, полностью соответствующей понятию «нация»: всегда можно найти случаи, выходящие за рамки любого из определений, будь они основаны на лингвистических или этнических отличиях, политических условиях или других признаках. Ученому близка идея Бенедикта Андерсона о «воображаемых сообществах»: предметом изучения Хобсбаума является «достаточно крупное человеческое сообщество, члены которого вос-

принимают себя как “нацию”». Но если «воображаемое сообщество» Андерсона представляется нейтральным термином, у Хобсбаума оно имеет скорее негативный смысл: ученый говорит о манипулировании идеями о нациях в политических целях и о неуправляемости сил, которые выпускают на волю политики и активисты, обращаясь к темам нации и национализма. Историк подчеркивает различие между непримиримым национализмом государств или правых националистических движений, призванным вытеснить все прочие способы политической и социальной идентификации, и более сложным национальным/гражданским и общественным самосознанием, образующим в современных государствах ту почву, на которой прорастают все иные политические убеждения и чувства [Хобсбаум 1998: 229].

Хобсбаум подчеркивает конструктивистскую природу национализма и рукотворность многих процессов, призванных объединить сообщество в единое целое. В книге «Изобретение традиций», которая вышла под его редакцией в 1983 году, он со своими соавторами обращается к примерам из истории Шотландии, Уэльса, колониальной Африки и других регионов мира. Говоря о нациях и национализме, он уделяет внимание сознательному воздействию государства на граждан для объединения их вокруг «страны и флага» с помощью образовательных программ и «изобретения традиций». По его словам, некоторые ритуалы, связанные с национальной идентичностью, могут быть созданы одним человеком или организацией, в то время как другие формируются постепенно, но также с элементом «изобретения», как, например, геральдика.

Хобсбаум рассматривал национализм как один из важнейших механизмов исторического процесса XIX и XX веков, считая формирование наций, соединивших в себе национальное государство и национальную экономику, ключевым событием в становлении «развитого мира» в XIX веке, но полагал, что в XXI веке значение национализма как движущей силы истории снизится. С точки зрения истории национализм стал частью процесса создания современных государств и пришел на смену теряющим свое значение основаниям легитимности теократических и династических держав. Период с 1918 по 1950 год исследователь называет «пиком национализма» [Хобсбаум 1998: 208], однако, по его мнению, к концу XX века национализм, хотя и продолжал существовать и занимать видное место в мире, уже не нес исторической миссии: его значение для дальнейшего глобального развития перестало быть определяющим. Именно поэтому историю XXI века невозможно будет описать в жестких рамках «наций» или «наций-государств», она будет в значительной

степени наднациональной и транснациональной. В одном из своих последних интервью Хобсбаум отмечал, что он, хотя и предвидел современные процессы эрозии национальных государств, тем не менее не мог ожидать настолько быстрого их ускорения [Хобсбаум 2010].

Эрик Хобсбаум стал одной из наиболее ярких личностей британского и европейского академического сообщества и оказал огромное влияние на исследования национализма, национальной и гражданской идентичности. Будучи полиглотом, он великолепно владел историческим материалом и в своих работах опирался на опыт различных стран и обществ, приводя многочисленные примеры для иллюстрации описываемых им явлений. Его обширное наследие востребовано историками, политологами, социологами и другими специалистами, стремящимися осмыслить проблемы национализма и идентичности и общественно-политические процессы прошлого и настоящего.

Литература

Хобсбаум Э. 1998. *Нации и национализм после 1780 г.* СПб.: Алетейя. 306 с. [Hobsbawm E. 1991. *Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality.* Cambridge: Cambridge University Press. 211 p.]

Хобсбаум Э. 2000. Изобретение традиций. — *Вестник Евразии.* № 1. С. 47–62.

Hobsbawm E. 1975. *The Age of Capital.* London: Weidenfeld & Nicolson. 354 p.

Hobsbawm E., Ranger T. (eds.). 1983. *The Invention of Tradition.* Cambridge: Cambridge University Press. 354 p.

Hobsbawm E. 1987. *The Age of Empire. 1875–1914.* London: Weidenfeld & Nicolson. 404 p.

Hobsbawm E. 1994. *The Age of Extremes: The Short XX Century.* London.: Vintage Books. 640 p.

Hobsbawm E. 2010. World Distempers. — *New Left Review.* No 61. P. 133–150.

The invention of tradition. 1983. E. Hobsbawm, T. Ranger (eds.). Cambridge: Cambridge University Press. 320 p.

Ferguson N., Priestland D., Merridale C. Foster R. 2012. Eric Hobsbawm — a historian's historian. — *The Guardian.* 1 October

Е.М. Харитонова

Стюарт ХОЛЛ

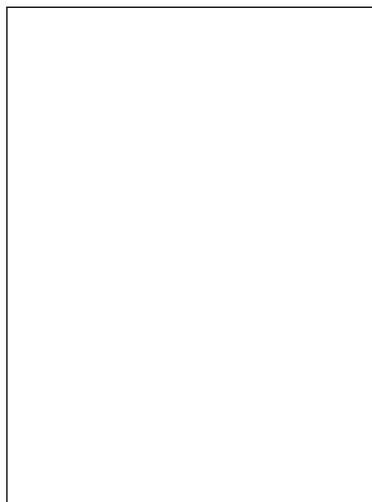
Стюарт Холл (Stuart McPhail Hall, 1932, Кингстон, Ямайка — 2014, Лондон) — британский ученый, публичный интеллектуал и политический активист, один из основателей британской школы культуральных исследований (British School of Cultural Studies), сложившейся в Центре современных культуральных исследований (Centre for Contemporary Cultural Studies, 1964–2002) Бирмингемского университета. Исследователь природы и траекторий культур-

ной идентичности, теоретик проблем расизма, этничности и социального действия, создатель теоретической модели кодирования / декодирования (encoding / decoding) в СМИ как контекста трансформации идентичности. Первый редактор (1960–1961) «Нью лефт ревью» (New Left Review) — влиятельного рупора британских интеллектуалов неомарксистского и других левых направлений.

Наследие Холла объединяет самые разные источники: он автор многочисленных журнальных статей и глав в коллективных монографиях, развивавших стратегию культуральных исследований, множества интервью ведущим британским и зарубежным СМИ и курсов лекций. Он был блестящим лектором и воспитал поколение учеников (в их числе П. Гилрой, А. МакРобби и др.). Заложенные им подходы в исследованиях культуры и общества стали точкой отсчета для изучения политических и социокультурных сдвигов в современной Великобритании. Еще у истоков «консервативного поворота» Холл сформулировал характеристику тэтчеризма как «авторитарного популизма» и ввел это понятие в публичный дискурс, описал механизмы массовой поддержки правоконсервативного поворота в британской политике [Hall 1979: 15]. В контексте анализа политики мультикультурализма, этничности и расовых отношений, английской идентичности (Englishness) как фактора современной британской политики и проблем преодоления имперского наследия в массовом сознании он ставил вопрос о путях формирования инклюзивной британской (гражданской) идентичности и роли разных форм «власти культуры» (cultural power) в поддержании общего пространства идентичности современной нации, которая по определению является «культурным гибридом».

Лежащее в основе культуральных исследований «понимание культуры как общественного производства, связанного с языком и символизацией, было разработано Стюартом Холлом как раз с тем, чтобы показать, что индивиды, вступая в символическую интеграцию со своей эпохой, изобретают свои собственные идентичности» [Азизов 2012]. В этом контексте Холл рассматривал вопрос о влиянии на индивидуальность расы и цвета кожи, сверяя свои теоретические изыскания с собственным происхождением из «смешанной» семьи и жизненным опытом выходца с Ямайки, получившего классическое образование в постимперской Великобритании. Здесь он влился в ряды левых интеллектуалов, искавших пути осмысления политики сквозь призму культуры.

«Интеллектуальный гигант», «вдохновитель новых идей», обладатель «великолепного теоретического ума», «эпохальная фигура в истории левой



политической мысли», выдающийся теоретик «Черной Британии», которому принадлежит приоритет в осмыслении ее проблем (но отнюдь не только их) — такими эпитетами наградили ученого и мыслителя коллеги, ученики и интеллектуальные соперники Холла еще при жизни. Сам он видел свою роль прежде всего в том, чтобы быть своего рода интеллектуальным «проводником» в понимании изменений, ознаменовавших «наступление современности», тех «новых форм индивидуализма», которые основаны на новом представлении об индивидуальном субъекте и его идентичности» [Холл 2010].

Холл рассматривал культуру как системообразующее основание человеческой жизни и деятельности. Он видел смысл культуральных исследований в том, чтобы прояснять природу политического и социального действия, выявить взаимосвязи культуры, институтов власти как форм политической организации культурных практик и идентичности как проекции культуры в сознание людей в разных ее проявлениях [см. Hall 1994]. Культуральные исследования — это не отдельное направление академических изысканий, а открытое интеллектуальное пространство поисков объяснений природы общественных изменений в их взаимосвязи с практиками социальных действий. В центре интеллектуальных поисков ученого был вопрос о том, как культура организует властные отношения и повседневную жизнь.

Вопросы «кто мы?», «как мы становимся такими?», «как формируется идентичность и что она значит для человека?» занимали его всю сознательную жизнь. И неслучайно он не устал подчеркивать, что идентичность всегда остается незавершенной, постоянно находится «в процессе изменений», формирования и реформирования: в условиях современности субъект Просвещения превратился «в постмодернистский субъект с разомкнутыми, противоречивыми, фрагментированными, незавершенными идентичностями» [Холл 2010]. Черный, белый или иной «цвет» культурных практик он считал результатами политического и культурного (социокультурного) конструирования, а гибридность, как и историческую обусловленность, — неотъемлемыми характеристиками динамики современной культурной идентичности [цит. по Jaggi 2000]. В доказательство он приводил примеры формирования новых гибридных идентичностей в послевоенной Великобритании и креолизации карибской культуры, которую он сам так хорошо знал.

В результате включения разных идентичностей в контекст британской культуры происходит пересмотр самого понимания того, что значит «быть британцем» сегодня и что представляет собой британская культура нового поколения. Она уже не описывается как «взаимодействие разных этнических культур», но питается из множества источников, которые формируют общее пространство британской культуры. Не отрицая значимости различий и рисков растущего культурного разнообразия, Холл считал политическим приоритетом поддержание общего пространства коммуникаций, наведение мостов, поддержание диалога культурных идентичностей. Такое видение сродни

идеям полифонии и диалогической философии М.А. Бахтина, чье творчество получило широкую известность в Великобритании (с 1994 года в Шеффилдском университете работает Центр Бахтина, изучающий наследие русского мыслителя). Большое влияние на образ мысли Холла и в целом на развитие культуральных исследований оказали осмысление философского наследия Антонио Грамши, его идеи культурной гегемонии. В Бирмингемском Центре пытались в русле этих идей вести практическую работу по возвращению «органических интеллектуалов», носителей политической идентичности, укорененной в практическом опыте, но, как признавался сам Стюарт Холл, без видимых успехов. Разрывы между теорией и практикой, в частности, разрушительное давление одной из таких практик — радикального феминизма, побудили его перейти на преподавательскую работу. На этой стезе он завоевал огромный авторитет, во многом благодаря своей интеллектуальной щедрости и стремлению пролагать пути к новому пониманию проблем современного развития для других. Сам он видел задачу интеллектуального труда в том, чтобы давать людям возможности понимать мир, в котором они живут, и свое уникальное место в этом мире, чувствовать и осознавать, «кто я».

Осмысление идентичности в современных социальных науках как динамической категории, понимание процессуальности, изменчивости, гибридности, вариативности как ее неотъемлемых характеристик во многом стимулировали труды Стюарта Холла. Его идеи легли в основу трактовки природы расовых отношений и проблем этничности и заметно повлияли на политическую повестку дня в Великобритании. При этом абсолютизация идеи значимости «множественных идентичностей» в ущерб равенству и социальной справедливости выявила серьезную опасность потребительского, сугубо утилитарного отношения к различиям в угоду политическим интересам [Alexander: 2001], с которым он сам всегда боролся, будучи убежденным сторонником социальной природы различий и понимания расы как сугубо дискурсивной категории. По его собственным словам, «черная идентичность» — это «и нарратив, и рассказ, и история. Это нечто сконструированное, рассказанное, а не просто обретенное... черная идентичность должна быть усвоена, и это может происходить только в определенный исторический момент»; как политическая категория она всегда определяет себя относительно других и утверждается в процессе преодоления маргинальности через политику идентичности [Hall: 1996: 116; 1991: 57, 52].

После ухода Стюарта Холла из жизни в 2014 году социальную и просветительскую работу продолжает Фонд его имени. В рамках проектов Фонда сотрудничают ученые и деятели художественной культуры — писатели, режиссеры, художники: ученый большое внимание уделял визуальной культуре и ее влиянию на сознание современного человека. Наследие британского ученого и мыслителя не ограничивается перечнем тем и проблем современной политической жизни, которыми он занимался. Класс, раса, этничность, различия, культурное разнообразие — это категории осмысления социальной

реальности, которые осваиваются в жизненном опыте конкретного человека и формируют множественную идентичность.

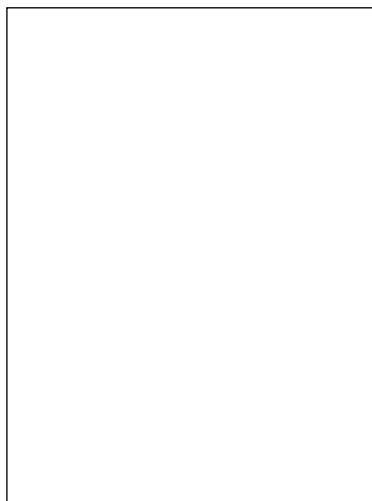
Литература

- Холл С. 2010. Вопрос культурной идентичности. — *Художественный журнал*. № 77/78. Эл. ресурс. Доступ: <http://xz.gif.ru/numbers/77-78/hall/> (проверено 10.03.2017).
- Hall S., Critcher C., Jefferson T., Clarke J. and Roberts B. 1978. *Policing the Crisis: "Mugging", the State, and Law and Order*. London: Macmillan.
- Hall S. 1979. The Great Moving Right Show. — *Marxism Today*. January. P. 14–0.
- Hall S. 1984. The rise of the representative/interventionist state. — *State and Society in Contemporary Britain* (G. McLennan, D. Held, and S. Hall eds.). New York: Polity Press, 7–49.
- Hall S. 1990. Cultural identity and diaspora. — *Identity: Community, Culture, Difference* (ed. by J. Rutherford). London: Lawrence & Wishart. P. 222–237.
- Hall S. 1991. The local and the global: globalization and ethnicity. — *Culture, Globalization and the World System* (ed. by A.D. King). London: Macmillan. P. 19–39.
- Hall S. 1991. Old and new identities, old and new ethnicities. — *Culture, Globalization and the World System* (ed. by A.D. King). London: Macmillan. P. 41–68.
- Hall S. 1992. The question of cultural identity. — *Modernity and Its Future* (S. Hall, D. Held, T. McGrew eds.). Cambridge: Polity Press. P. 274–316.
- Hall S. 1993. Culture, community, nation. — *Cultural Studies*. 7(3). P. 349–363.
- Hall S. 1994. Cultural studies: two paradigms. — *Culture, Power, Harmony: A Reader in Contemporary Social Theory* (N. Dirks, E. Eley and S. Ortner eds.). Princeton: Princeton University Press. P. 520–538.
- Questions of Cultural Identity (ed. by S. Hall and P. Du Gay). 1996. London: Sage. 208 p.
- Hall S. 1996. Minimal selves. — *Black British Cultural Studies: A Reader* (H.A. Barker, M. Diawara & R.H. Lindborg eds.). Chicago, IL: University of Chicago Press. 348 p.
- Hall S. 1999. Encoding, decoding. — *The Cultural Studies Reader* (ed. by S. During). London & New York: Routledge. P. 90–103.
- Hall S. 2016. *Cultural Studies: A Theoretical History* (ed. by J.D. Slack & L. Grossberg). Duke University Press: Durham. 232 p.
- Hall S. 2017. *Selected Political Writings: The Great Moving Right Show and Other Essays* (ed. by S. Davidson, D. Featherstone, M. Rustin, B. Schwarz). Duke University Press: Durham. 2017. 376 p.
- Hall S. 2017. *Familiar Stranger: A Life between Two Islands* (ed. by B. Schwarz). Duke University Press: Durham. 320 p.
- Азизов З. Стюарт Холл и локализация культуры. — *Художественный журнал*. № 77/78. Эл. ресурс. Доступ: http://xz.gif.ru/numbers/77-78/azizov-hall/view_print/.
- Куренной В. 2012. Исследовательская и политическая программа культурных исследований. — *Логос*. № 1 (85). С. 14–79.
- Jaggi M. Prophet at the Margins. — *The Guardian*. 8.07.2000.
- Culture, Politics, Race and Diaspora: The Thought of Stuart Hall* (ed. by B. Meeks). 2007. Kingston: Ian Randle Pub. 316 p.
- Stuart Hall and "Race"* (ed. by C. Alexander). 2011. London: Routledge. 256 p.
- The Stuart Hall Foundation*. Доступ: <http://stuarthallfoundation.org/> Дата обращения: 29.12.2016.
- Without Guarantees. In Honour of Stuart Hall* (ed. by P. Gilroy, L. Grossberg and A. McRobbie). 2000. L.: Verso. 416 p.

И.С. Семененко

Петр ШТОМПКА

Петр Штомпка (**Piotr Sztompka**, род. 1944, Варшава) — выдающийся польский социолог, выпускник, а в настоящее время профессор Ягеллонского университета в Кракове, руководитель секции теоретической социологии. В разные годы Штомпка читал лекции и работал в качестве приглашенного исследователя в ведущих университетах США и Европы, в том числе в Калифорнийском, Гарвардском, Колумбийском, университетах Вены, Берлина, Упсалы. Среди наиболее известных работ автора — «Структура и функция» (1974), «Социологическая дилемма» (1979), «Роберт Мертон: интеллектуальный профиль» (1986), «Европейская социология» (1993), «Общество в действии» (1991), «Деятели и структуры» (1994).



П. Штомпка — сторонник теории социального становления, согласно которой зависимость человека от неподвластных ему сил (природных, экономических, социальных) не является универсальной и вечной, а претерпевает изменения и постепенно становится взаимозависимостью [Sztompka 1996: 6–7]. Современная динамика социальных изменений, полагает социолог, требует обращения к гибким исследовательским конструктам и «мягким переменным» [Sztompka 2012: 27], что характеризует парадигмальный переход к социологии действия.

В работах Штомпки идентичность является одной из центральных категорий анализа социальных общностей и значимым фактором их стабильности. Формирование групповых идентичностей, отмечает социолог, происходит по мере того, как эмоции складываются в стереотипы о «чужих группах», и сознание такого рода, направленное как внутрь, так и на внешнее окружение, обретает последовательное развитие и всеобщее распространение среди членов группы; на этом этапе образуются субъективные социальные связи [Штомпка 2005: 193–194]. Ученый выделяет особую их разновидность — моральные социальные связи, характеризующие особое отношение к другим, входящим в категорию «мы». Данный тип связей формирует моральное сообщество. Идентичность Штомпка определяет как «индивидуальное выражение моральной связи, или самоопределение собственного места в моральном пространстве и границ этого морального пространства, в котором один человек ощущает себя обязанным к выражению доверия, лояльности и солидарности» [там же: 196].

Моральная связь варьируется по своей интенсивности и радиусу действия: возможно как повышение ее инклюзивности в результате неких мобилизующих событий, так и обратный процесс, логическим пределом которого выступает полная атрофия социальной связи. Эрозия моральной связи и, как следствие, идентичности негативно сказывается на социальной стабильности. С одной стороны, она ведет к распространению в обществе культуры цинизма (подозрительности, недоверчивости), культуры манипуляций (использование доверия других в мошеннических целях) и культуры безразличия (рост эгоизма и индифферентности по отношению к другим); как следствие, увеличивается число антисоциальных действий и поступков, растет уровень преступности [там же: 197]. С другой стороны, ослабление моральной связи в объемном выражении ведет к «полной эгоистической индивидуализации и разрушению какой бы то ни было моральной общности» [там же: 198].

Одним из важнейших концептов в работах П. Штомпки выступает доверие: по мнению социолога, именно доверие есть ключевой элемент социальных отношений и важнейшая составляющая идентичности. Если доверие сплачивает коллективную идентичность, то, в свою очередь, идентичность индивида служит фактором доверия: «идентификация центральной роли [партнера] представляет собой наиважнейшую подсказку для оказания доверия... когда роль имеет такой характер, мы можем быть почти уверены, что партнер будет реализовывать требования именно этой роли по отношению к другим обязательствам. Если такие требования соответствуют нашим ожиданиям, мы можем оказать партнеру доверие при небольшом риске» [Sztompka 2012: 178–179]. Наконец, доверие «становится необходимым ресурсом, позволяющим справиться с присутствием чужих» в условиях современного общества риска [ibid: 59]. Недоверчивость, напротив, «приводит к обособленности и лишению человека корней, а, следовательно, к поиску альтернативных, часто нелегальных форм идентичности (через участие в бандах, мафии, преступных группах и т.д.)» [ibid: 334].

Говоря о культуре доверия, П. Штомпка отмечает, что Россию и другие посткоммунистические страны можно отнести к «обществам низкого доверия» [ibid: 295]. Кризис доверия — один из симптомов «посткоммунистической травмы», раскола культурного порядка, в результате которого была нарушена коллективная идентичность. Рассуждая о допущенных в ходе демократического транзита ошибках, социолог, среди прочего, подчеркивает, что «нужно остерегаться атмосферы... “проб и ошибок”... политика должна проводиться “всерьез”, а реформы — “на самом деле”... действия властей должны носить наиболее открытый характер» [ibid: 321]. «Ключевым фактором является придание окружающему миру климата привычности и близости, а это в большой степени зависит от поведения тех, кто в контактах с гражданами представляет институции» [ibid: 322].

«Посткоммунистическая травма» в работах Штомпки выступает частным случаем культурной травмы. Это коллективный феномен, состояние напряжения, возникающее в связи с появлением «формы дезорганизации, смеще-

ния, несогласованности в социальной структуре или культуре... когда контекст человеческой жизни и социальных действий теряет гомогенность, согласованность и стабильность, делаясь другим, даже противоположным культурным комплексом» [Штомпка 2001: 8]. Культурная травма обладает значительной инерцией, длительное время сохраняясь в коллективной памяти или в коллективном подсознании. Штомпка выделяет следующие типы культурной травмы: во-первых, интерпретация значимого события как противоречащего ключевым ценностям, основам идентичности, коллективной гордости, либо память о коллективных грехах, совершенных общностью, к которой принадлежит индивид, широкое распространение чувства стыда и вины; во-вторых, конфликт социализированной культуры с культурой местной среды (как следствие территориальной мобильности), в том числе вследствие распространения глобализации, а также столкновения местной и иностранной культур, интерпретированного как культурно пагубное явление (например, в мультикультурном обществе). Третий тип культурной травмы возникает при столкновении нового образа жизни со старой культурой под влиянием изменений технологий экономики, политических условий (и в рамках неизменной или медленно меняющейся культуры). Четвертый тип культурной травмы может возникнуть в области культуры, будь то в результате «культурного отставания» определенных ее сегментов, или из-за внутрикультурного открытия, представляющего подход, несоответствующий старой культуре, или вследствие раскрытия фактов, новых доказательств, выставяющих события или личности в совершенно ином свете и требующих иной интерпретации прежних суждений, или в результате переосмысления прошлого [там же: 13]. Ученый резюмирует, что реакцией на культурную травму может стать либо культивирование воспоминаний и, как следствие, консервация устаревшей культуры, либо «благоприятное параметрическое изменение, облегчающее травматические ситуации в сочетании с эффективным совладением с ней и отмиранием прежнего культурного наследия в результате смены поколений» [там же: 16].

Авторский подход Петра Штомпки к анализу социальных изменений значительно обогатил исследования идентичности за счет рассмотренных выше концептов и их взаимосвязей. Прежде всего — с точки зрения оценки роли доверия в социальных отношениях и влияния культурной травмы на массовое сознание, что позволяет осмыслить траектории динамики национальной идентичности и прогнозировать возможности выхода национально-государственных сообществ на новые приоритеты развития.

Литература

- Штомпка П. 1996. *Социология социальных изменений*. М.: Аспект Пресс. 416 с.
Штомпка П. 2001. Социальное изменение как травма. — *Социологические исследования*. № 1. С. 6–16.

- Штомпка П. 2005. *Социология. Анализ современного общества*. М.: Логос. 664 с.
- Штомпка П. 2012. *Доверие — основа общества*. М.: Логос. 440 с.
- Sztompka P. 1974. *System and Function: Towards a Theory of Society*. London: Academic Press Inc. 213 p.
- Rethinking Progress: Movements, Forces and Ideas at the End of the 20th Century* (ed. by P. Sztompka, J.C. Alexander). 1990. Boston: Unwin Hyman. 284 p.
- Sociology in Europe: In search of Identity*. (ed. by B. Nedelmann, P. Sztompka). 1994. Berlin: W. de Gruyter. 234 p.
- Alexander J.C., Eyerman R., Giesen B., Smelser N., Sztompka P. 2004. *Cultural Trauma and Collective Identity*. Berkley: University of California Press. 304 p.
- Sztompka P. 2004. From East-Europeans to Europeans: Shifting Collective Identities and Symbolic Boundaries in the New Europe. — *European Review*. Vol. 12. No. 4. P. 481–496.
- Sztompka P. 2000. *Trust: A Sociological Theory*. Cambridge University Press. 228 p.

А.Л. Бардин

Шмуэль ЭЙЗЕНШТАДТ

Шмуэль Эйзенштадт (Айзенштадт) (Shmuel Noah Eisenstadt, 1923, Варшава — 2010, Тель-Авив) — выдающийся израильский социолог и социальный теоретик, основоположник израильской социологии. Работал в Еврейском университете в Иерусалиме (Hebrew University of Jerusalem) с 1946 по 1983 год. С 1949 по 1969 год был заведующим кафедрой социологии, деканом факультета социальных наук (1966–1969), приглашенным профессором в Гарвардском, Стэнфордском, Чикагском, Венском университетах, Массачусетском технологическом институте, университете Цюриха и др. Почетный доктор ряда университетов, среди которых Гарвардский, Дюкский, Центрально-Европейский и др. Лауреат израильских и международных наград за значительный вклад в социологию и социальные науки.

Профессор Эйзенштадт был продолжателем макросоциологической исторической традиции М. Вебера, а также структурного функционализма Э. Дюркгейма и Т. Парсонса. Следуя за К. Ясперсом, он разработал концепцию «осевых цивилизаций» (*axial civilizations*), занимался сравнительным изучением цивилизаций эпохи модерна, в результате чего отошел от принятого видения модернизации как универсального перехода традиционного общества в современное, не зависящего от исторических и культурных особенностей модернизирующихся обществ, и на этой основе сформулировал концепцию множественных современностей.

По мнению Эйзенштадта, «конструирование коллективной идентичности формируется... четкими кодами, укорененными в онтологических и космологических предпосылках и концепциях социального порядка, которые существуют во всех обществах» [Eisenstadt 2003: 79]. Исключительно важным для него в методологическом отношении является введенное американским социоло-

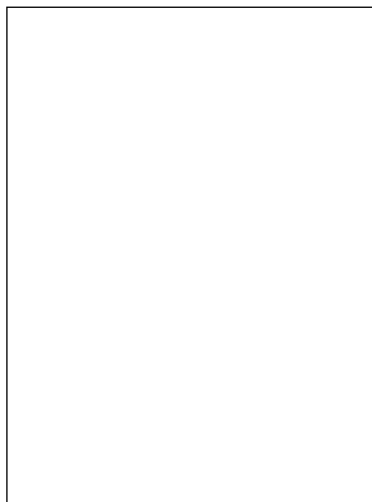
логом Э. Шилзом понятие типов связей между людьми. Эйзенштадт переинтерпретировал их как коды коллективной идентичности. Э. Шилз выделил четыре таких кода — примордиальный, персональный, гражданский и сакральный [Shils, 1957: 130–145]. Связывая людей между собой, эти коды становятся механизмами, способными удержать людей вместе, поддержать солидарность в стремительно индивидуализирующемся обществе при его переходе из традиционного состояния в современное.

Эйзенштадт, следуя своей задаче изучения коллективной идентичности, отбросил код персональности и исследовал три других кода [Eisenstadt, Giesen 1995: 72–102; Eisenstadt 2003: 75–134; Eisenstadt 2005: 635–653].

Конструирование коллективной идентичности с помощью этих трех кодов включает в себя определение отличий от других коллективов («свои-чужие»), определение критериев членства в данной общности («кто мы»?) и атрибуты сходства членов этого коллектива («что общего у нас?»). Таким образом формируется особый способ поведения, свойственный членам каких-либо групп (например, «английский джентльмен» или «цивилизованный человек»), в отличие от других «чужих» групп.

Каждый из кодов определяет границы коллективности и типы поведения, распределение экономических ресурсов и регулирование властных отношений. Все коды, полагает Ш. Эйзенштадт, являются идеально-типическими конструктами, т.е. не встречаются в чистом виде в действительности, а выступают как абстрактные аналитические модели, имеющие важное методологическое значение. Так, примордиальный код включает родство, территорию, язык, расу, гендер, поколение. Они используются для конструирования и легитимизации границ между внутренним и внешним, своим и чужим. Несмотря на то, что эти границы воспринимаются как исходно данные, они, по мнению Эйзенштадта, являются результатом социального конструирования. Он показывает, что если это так для примордиальных качеств, то тем более это верно для остальных. Коллективная идентичность не является исходно объективно данной, а социально конструируется, что значит, что при определенных условиях границы можно пересекать [Eisenstadt, Giesen 1995: 72–102].

Гражданский код или код гражданского сознания конструируется на основе знания и воспроизводства имплицитных и эксплицитных правил поведения, традиций и социальных практик, институциональных и конституционных установлений, которые определяют и ограничивают пределы той или иной коллективности. Эти правила считаются основополагающими для коллективной идентичности. Единственный шанс пересечь границу



сообщества — это участие «чужих», чтобы стать «своими», в локальных практиках и институциональных установлениях, принять местные обычаи и рутинные действия, наряду со способами рефлексивной критики. Гражданские коды подразумевают существование иерархии между носителями традиций и новыми членами, откуда вытекает тенденция к неравному распределению прав [Eisenstadt, Giesen 1995: 72–102].

Эйзенштадт и Гизен в упомянутой совместной статье, предлагающей концептуальную схему анализа коллективной идентичности, назвали третий код «культурным», обосновав, что примордиальный и гражданский коды тоже относятся к культуре, но в широком смысле слова. Однако в специфическом смысле слова третьим является именно культурный код, который обладает особой динамикой универсализма. Впоследствии в других произведениях для подчеркивания этого Эйзенштадт стал называть культурный код сакральным или трансцендентным, ибо он «преодолеывает проблему хрупкости и гибкости социальных границ, связывая коллективность с неизменной и вечной областью сакрального и возвышенного, определяемого как бог, как разум, как прогресс или как рациональность» [Eisenstadt, Giesen 1995: 82]. В случае культурного кода границы сообщества могут быть пронизаны коммуникацией, образованием, и у тех, кто не является членом сообщества, есть возможность пересечь границы, которые отделяют их от него. Вследствие этого культурный код становится универсалистским. Если универсализм выражается в явной форме, он приобретает «миссионерскую» направленность по отношению к членам других сообществ. Различие между теми, кто имеет отношение к сакральному, и теми, кто нет, является иерархическим, но каждый имеет возможность преодолеть это неравенство, перейдя в «правильную веру, приняв высшую культуру, и пересекая границу» [Eisenstadt, Giesen 1995: 83]. Миссионерский настрой культурно сконструированного сообщества не только открывает границы и вовлекает чужаков, но также оказывает на них давление для преодоления различий с принимающим сообществом. Вместе с тем открытость границ компенсируется стратифицированным доступом к центру культуры и сложными ритуалами инициации [Eisenstadt, Giesen 1995: 72–102].

Конструирование коллективной идентичности, осуществляемое в обществе, по мнению Эйзенштадта, приводит не только к некоторой комбинации этих кодов, но и к постоянному напряжению между ними, ведущему к их реструктурированию на протяжении эпох. Содержание этих кодов не оставалось неизменным в истории, хотя все они сохранились в качестве типа связи между людьми и продолжают действовать в этом качестве. Даже казавшиеся вечными примордиальные компоненты не оказывались данными раз и навсегда, а определяются и переопределяются заново в разные исторические периоды и зависят от разных социокультурных факторов. Как показал Эйзенштадт, частью процесса конструирования коллективной идентичности выступает постоянное реконструирование примордиальности. Особенностью примордиального кода является его постоянное возобновление в формах этничности и национализма.

Иллюстрацией работы концептуальной схемы анализа идентичности, разработанной Эйзенштадтом и Гизеном, служит проведенный ими сравнительный анализ формирования национальной идентичности Германии и Японии. Эйзенштадт в соавторстве с немецким коллегой показал, что особая комбинация примордиального, гражданского и культурного кодов сформировала разные модели национальной идентичности. Немецкая национальная идентичность изначально строилась как культурный (трансцендентальный) проект, к которому впоследствии к концу XIX века добавился значительный упор на примордиальный компонент, что привело к «примордиализации» немецкой культуры. Гражданский код не играл значительной роли в становлении национальной идентичности Германии. Японская же национальная идентичность исходно имела сильный примордиальный компонент, комбинирующийся с гражданственностью, понимаемой как лояльность, что вытекало из конфуцианской традиции. В свою очередь, трансцендентальный код не получил здесь значительного развития [Eisenstadt, Giesen 1995: 72–102].

Эйзенштадт проиллюстрировал в сравнительной перспективе коллективную идентичность европейских стран, США, Японии и стран Латинской Америки (все эти регионы он называет цивилизациями). Он показал различия в конструировании коллективных идентичностей как производные от различающихся связей государства и общества. Европейская коллективная идентичность с эпохи модерна объединяла примордиальные, гражданские и культурные коды, работающие на формирование национального государства. Основой данного процесса было внимание к территориальному компоненту коллективной идентичности. Формирование «американских цивилизаций» в некоторой мере заимствовало европейскую модель, которая была сильно и по-разному преобразована [Eisenstadt 1998: 138–158].

Эйзенштадт рассматривал израильскую идентичность, выделяя такие ее характеристики, как сильный местный патриотизм и ощущение корней. Он подчеркивал значительную культурную гетерогенность еврейской коллективной идентичности и сложность ее взаимодействия с израильской идентичностью, поскольку не все евреи живут в Израиле и в Израиле живут не только евреи [Eisenstadt, 2004: 205–215, 268–280].

Вклад Ш. Эйзенштадта в изучение коллективной идентичности огромен, так как он предложил методологию изучения регионов, некоторые из которых он называет осевыми цивилизациями.

Литература

Эйзенштадт Ш. 1999. *Революция и преобразование обществ: Сравнительное изучение цивилизаций*. М.: Аспект-Пресс. 416 с. [Eisenstadt S.N. *Revolution and the Transformation of Societies: A Comparative Study of Civilizations*. N.Y.: Free Press. 348 p.]

Eisenstadt S.N., Giesen B. 1995. The construction of collective identity. — *European Journal of Sociology*. Vol. 36. No 1. P. 72–102.

Eisenstadt S.N. 1998. Modernity and the Construction of Collective Identities. — *International Journal of Comparative Sociology*. Vol. 39. No 1. P. 138–158.

Eisenstadt S.N. 2003. The Construction of Collective Identities and the Continual Reconstruction of Primordality and Sacrality: Some Analytical and Comparative Indications. — *Comparative Civilizations and Multiple Modernities*. Vol. 1. A Collection of Essays by S.N. Eisenstadt. Leiden: Brill. P. 75–134.

Eisenstadt S.N. 2004. Patterns of Contemporary Jewish Identity. — S.N. Eisenstadt. *Explorations in Jewish Historical Experience: The Civilizational Dimension*. Leiden: Brill. P. 268–280.

Eisenstadt S.N. 2004. Israeli Identity: Problems in the Development of the Collective Identity of an Ideological Society. — *Explorations in Jewish Historical Experience: The Civilizational Dimension*. Leiden: Brill. P. 205–215.

Eisenstadt S.N. 2005. Collective Identity and the Constructive and Destructive Forces of Modernity. — E. Ben-Rafael, Y. Sternberg (eds). *Comparing Modernities: Pluralism Versus Homogeneity: Essays in Homage to Shmuel N. Eisenstadt*. Leiden: Brill. P. 635–653.

Eisenstadt S.N. 2006. *The Great Revolutions and the Civilizations of Modernity*. Leiden: Brill. 228 p.

Шубрт И. 2014. Историческая социология Ш. Эйзенштадта — завершённый труд, открытый для вдохновения. — *Социологические исследования*. № 6. С. 13–20.

Shils E. 1957. Primordial, Personal, Sacred and Civil Ties: Some Particular Observations on the Relationships of Sociological Research and Theory. — *The British Journal of Sociology*. Vol. 8. N 2. P. 130–145.

Comparative social dynamics: essays in honor of S.N. Eisenstadt (E. Cohen, M. Lissak, U. Almagor eds.). 1985. Boulder Co: Westview Press. 409 p.

Н.Н. Федотова

Норберт ЭЛИАС

Норберт Элиас (Norbert Elias, 1897, Бреслау, Пруссия — 1990, Амстердам) — немецкий социолог, создатель теории «цивилизационного процесса» (нем. *Prozess der Zivilisation*; англ. *The civilizing process*). После окончания классической гимназии служил связистом и санитаром на фронтах Первой мировой войны. Поступил в университет на медицинский и философский факультеты, но из-за нехватки времени на обучение был вынужден оставить первый из них. Также изучал философию в Гейдельбергском и Фрайбургском университетах. В 1924 году защитил докторскую диссертацию по истории философии «Идея и человек». В 1930–1933 годах был ассистентом К. Манхейма в университете во Франкфурте-на-Майне; после прихода к власти Гитлера, спасаясь от нацистских преследований, эмигрировал в Великобританию. Преподавательская карьера складывалась тяжело, годы уходили на поиски постоянного места в университетах Великобритании, Ганы, Германии, Нидерландов. Научные труды Н. Элиаса получили признание в профессиональном сообществе социологов только в 1970-е годы, когда они, наконец, стали выходить на немецком и в английских переводах. В 1977 году социолог стал первым лауреатом престижной премии им. Т. Адорно, в 1987 году был награжден премией Амальфи по социологии и общественным наукам.

Развивал темы исследований выдающихся немецких социологов В. Зомбарта, М. Вебера, М. Шелера. Оказал значительное влияние на исследования истории повседневности и истории различных телесных практик. Теоретические изыскания Н. Элиаса имеют точки пересечения с французской школой «Анналов». Автор свыше 200 научных работ, изданных преимущественно на немецком языке. Основные монографии — «О процессе цивилизации» (1939), «Истеблишмент и аутсайдеры» (1965 год, в соавторстве с Дж.Л. Скотсоном), «Одиночество умирающего» (1982), «Вовлеченность и дистанцирование» (1983), «Общество индивидов» (1983), «Что такое социология?» (1970), «Теория символа» (1989), «О времени» (1990). Книга «Придворное общество», вышедшая в 1969 году, была написанной еще в 1930-е годы, но так и не защищенной из-за закрытия нацистами Социологического института Карла Маннгейма, у которого Элиас тогда работал ассистентом, докторской диссертацией.

Одна из ключевых категорий его теории — «фигурация» — постоянно меняющийся и усложняющийся в ходе развития цивилизации процесс социального взаимодействия индивидов, изменчивые сети взаимоотношений с постоянным удлинением «цепочек зависимости» и повышением «порога стыдливости». Прослеживал взаимосвязь социальных отношений на макроуровне и поведения индивида, когда внешнее принуждение (запреты на импульсивные проявления человеческой природы) вследствие самоконтроля индивидов с целью избежать опасностей и рисков постепенно трансформируется в самопринуждение. Считал, что на Западе толчком к развитию цивилизованности населения (Элиас использовал термин «рывки») была не протестантская этика буржуазии, а придворный аристократизм. Трансформация социального строя сопровождается, по его мнению, изменением ментальности людей и характеризуется несколькими стартами и остановками развития цивилизованности; «рывки» могут быть связаны как с движением вперед, так и назад.

С развитием цивилизации формируется стабильное «сверх-Я», одновременно увеличивается дистанция между «Я» индивида и внешним миром, между представителями различных поколений. Общество не только унифицирует личность человека, но и способствует росту его индивидуальности, увеличивая дистанцию по отношению к другим персонам и усиливая контроль над различными влечениями. Сильное «сверх-Я» ведет к рационализации поведения и мышления человека. Борьба за жизненные шансы и борьба за власть определяют, по мнению Элиаса, развитие социума, которое

проявляется также в контроле индивидов над природой, другими людьми и самими собой. Власть не рассматривается как атрибут какого-либо конкретного индивида.

Элиас ввел в социологию использованное позднее П. Бурдьё понятие габитуса (*habitus*), отражающее наличие у группы людей некоторых общих черт вследствие влияния на них социальных институтов. Существенным компонентом социального габитуса выступает идентичность, фиксирующая отношение «Я — Мы» и дающая ответ на вопрос о том, кем является индивид как существо социальное и индивидуальное. Человек не может быть «*homo clausus*» — человеком отдельным от всех остальных индивидов, полностью независимым от других и замкнутым в самом себе. Границы «Я-идентичности» и «Мы-идентичности» подвижны, они меняются с взрослением человека, включением в новые социальные связи. В обычной ситуации, по мнению Элиаса, человек воспринимает себя, помимо «Я» и «Мы», как «Ты», «Он», «Она», даже «Оно». Утрата образа «мы» возможна вследствие различных причин, например, из-за страха сближения с другими людьми и неспособности индивида установить контакты с ними. В радикальных случаях деперсонализации может произойти утрата собственного «Я» человека.

С развитием социума и цивилизованности меняются формы «Мы-идентичности». Если раньше это был уровень клана или племени, то в современном обществе эту роль играет государство, которое постепенно утрачивает эту роль. Групповая идентичность («Идеал-Мы») входит в личностную. «Самость», «Я» понимается Норбертом Элиасом как внутренний мир человека, его относительная отделенность от внешнего мира, которая на самом деле формируется контактирующими с индивидом сообществами и связана с определенными видами взаимоотношений между людьми.

Литература

- Элиас Н. 2001. *Общество индивидов*. М.: Праксис. 336 с.
- Элиас Н. 2001. *О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования*. Т. 1. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. Т. 2. Изменения в обществе. М.; СПб.: Университетская книга. 336 с.; 382 с.
- Элиас Н. 2002. *Придворное общество: Исследования по социологии короля и придворной аристократии*. М.: Языки славянской культуры. 366 с.
- Elias N. 2009. *Essays I: On the Sociology of Knowledge and the Sciences*. Ed. by Richard Kilminster and Stephen Mennell. Dublin: UCD Press. 316 p.
- Elias N. 2008. *Essays II: On Civilising Processes, State Formation and National Identity*. Ed. by Richard Kilminster and Stephen Mennell. Dublin: UCD Press 289 p.
- Elias N. 2009. *Essays III: On Sociology and the Humanities*. Ed. by Richard Kilminster and Stephen Mennell. Dublin: UCD Press. 312 p.
- Гергилов Р.Е. 2007. Теория цивилизации Н. Элиаса: критика и перспективы. — *Вопросы культурологии*. № 5. С. 16–19.

Dunning E. and Hughes J. 2013. *Norbert Elias and Modern Sociology*. Knowledge, Interdependence, Power, Process. London & New York: Bloomsbury Academic Pub. 224 p.
Norbert Elias Foundation. Доступ: <http://www.norberteliasfoundation.nl/index.php>.

О.В. Попова

Эрик ЭРИКСОН

Эрик Хомбургер (Гомбургер) Эриксон (Erik Homburger Erikson, 1902, Франкфурт-на-Майне, Германия — 1994, Харвич, Массачусетс, США) — психолог, автор классических трудов по психосоциальному развитию человека. В 1933 году эмигрировал в США, в довоенное время принимал участие в антропологическом исследовании индейского племени сиу в резервации в штате Южная Дакота. Работал как практикующий психолог, руководил научно-исследовательскими работами в Йельском университете и Калифорнийском университете Беркли. В 1960–1975 годах — профессор Гарвардского университета.

Блестящий психолог-практик и теоретик мирового уровня, начинавший научную карьеру как активный сторонник психоаналитической теории, Эриксон сформировал авторскую концепцию личности, в которой значительное место занимают теории жизненного цикла и идентичности. Он ввел в научный оборот понятие «кризис идентичности». Наиболее значимые работы — «Детство и общество (1950)» и «Идентичность: юность и кризис» (1968). За биографию Ганди, увидевшую свет в 1969 году [см. Erikson 1969], получил Пулитцеровскую литературную премию в номинации нехудожественной литературы (1970).

В трудах 1950-х годов Эриксон обосновал необходимость различать два типа идентичности: индивидуальную (психологическую) идентичность — субъективное ощущение тождества и целостности своей личности, возникающее спонтанно, неожиданно, как узнавание своей сущности, проявляющуюся как субъективный опыт, — и социальную идентичность, коррелирующую с объективно существующими социальными позициями человека, понимаемую как результат переживания и осознания своей принадлежности к определенной социальной группе посредством противопоставления существованию иных групп. Термин «идентичность» использовался Эриксоном для обозначения осознанного чувства уникальности индивида (самобытности), бессознательного стремления к непрерывности жизненного опыта, солидаризации с идеалами «своей» группы. Идентичность проявляется как ощущение «непрерывности и тождества, которое постепенно сведет в единое целое внутренний и внешний мир» [Эриксон 2000: 92]. Процесс идентификации сопровождает индивида по жизни, «пока в нем не гаснет способность узнавать другого» [Эриксон 2000: 32].



Эриксон связывал идентификацию с тремя из восьми этапов жизненного цикла человека:

1) с юностью (12/13–19/20 лет), когда формируется эго-идентичность как производная всего приобретенного на предшествующих жизненных этапах опыта, которая должна утвердить индивида в его способности сохранять внутреннюю уверенность и целостность личности. Психологический мораторий как граница между юностью и взрослым состоянием предполагает создание новых координат видения окружающего мира и своего места в нем и может растягиваться на несколько лет, формируя так называемую спутанную идентичность;

2) с поздней юностью и ранней зрелостью (21–25 лет), когда перед индивидом стоит сложная задача — формирование способности к интимности, которая понимается как способность человека к «слиянию» своей идентичности с идентичностью другого человека без страха потерять что-то важное в своей самобытности. Интимность взаимоотношений невозможна без стабильной идентичности;

3) с поздней зрелостью (25–50/60 лет), когда формируется индивидуальность, неповторимость человека.

Идеи Эриксона задали вектор изучения различных аспектов возрастной идентичности. Для описания различных состояний личности Эриксон использовал понятия «эго-идентичность»; «спутанная идентичность» (от «мягкой» до «отягченной» или «пагубной») как отсутствие ясного представления о жизненной стратегии, своем месте в социальной группе и обществе в целом, неспособность пересмотреть прошлые представления о себе и об окружающем мире; «растущая идентичность» как поддержка индивидуальной идентичности предлагаемыми обществом моделями идентификации; «неполная идентичность» как доминирование персонифицированных образов в качестве образцов, когда «молодые люди часто достаточно патетически демонстрируют, что спасение для них возможно только в результате слияния с лидером» [Эриксон 2000: 178].

Введенное им понятие «кризис идентичности» Эриксон рассматривал как требующую немедленного разрешения психосоциальную и социальную проблему утраты ощущения тождественности самому себе, целостности личности и веры в свою социальную роль. Стало общим местом указывать на сложности личной биографии самого ученого как на катализатор осмысления кризиса идентичности: Эриксон был внебрачным сыном, не знал своего родного отца и тяжело переживал поиски себя. Позднее он осмыслил этот концепт через биографии Мартина Лютера и Ганди, представлявших, согласно

его видению, значимый материал для исследований перипетий становления личности и для обобщений такого опыта.

«Негативная идентичность» по Эриксону — стремление человека утвердить свою идентичность через «тотальную идентификацию с тем, кем он меньше всего должен стать» [Эриксон 2000: 185]. Проявления негативной идентичности различны — отсутствие в сознании индивида конструктивных образцов для подражания, бунтарство юности, ощущение себя неким безликим существом (неизвестным, невидимым, беззвучным). Особо опасно состояние «негативной конверсии», при котором «элементы прежде негативной идентичности становятся абсолютно господствующими, в то время как позитивные совершенно устраняются» [Эриксон 2000: 326]. Кризис идентичности может возникать у взрослого человека в ситуации, когда резкая смена социальной и политической обстановки сделала его политические взгляды неуместными или резко снизила социальный статус. «Бессчетное количество людей глубоко пережили угрозу болезненной потери “эго-идентичности” в результате радикальных исторических перемен» [Эриксон 2000: 78].

Научные взгляды Эриксона на идентичность претерпели определенную эволюцию от психоаналитического подхода к социальным теориям возрастной психологии. В настоящее время сохраняется колоссальное влияние теории идентификации Эриксона на современные концепции идентичности в социологии, психологии и политической науке. Неслучайно одна из посвященных ученому научных биографий озаглавлена «Архитектор идентичности» [Friedman 1999].

Сформулированные Эриком Эриксоном идеи негативной идентичности и кризиса идентичности, обсуждение этих феноменов не только как проявлений различных этапов возрастного развития индивидов, но как явлений социальных, связанных с рисками последствий общественных трансформаций, легли в основу понимания смены моделей политической идентичности в постсоветской России и постсоциалистических государствах Восточной Европы.

Литература

- Эриксон Э.Г. 1991. Проблема эго-идентичности. — *Реферативный журнал. Серия «Социология»*. № 1. С. 173–200.
- Эриксон Э. 1996. *Идентичность: юность и кризис (общ. ред. и предисл. А.В. Толстых)*. М.: Прогресс. 340 с.
- Эриксон Э. 2000. *Детство и общество*. СПб.: Летний сад. 415 с.
- Эриксон Э.Г. 2008. *Трагедия личности*. М.: Эксмо; Алгоритм. 253 с.
- Erikson E.H. 1958. *Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History*. New York: W. W. Norton & Company. 288 p.
- Erikson E.H. 1969. *Gandhi's Truth: On the origins of Militant Non-Violence*. New York: W. W. Norton & Company. 476 p.
- Erikson E.H. 1998. *The Life Cycle Completed. Extended version*. New York: W. W. Norton & Company. 144 p.

Элкинд Д. 1996. *Эрик Эриксон и восемь стадий человеческой жизни*. М.: Институт психологии РАН; Когито-центр. 16 с.

Friedman L.J. 1999. *Identity's Architect. A Biography of Erik H. Erikson*. New York: Scribner. 592 p.

The Future of Identity. Centennial Reflections on the Legacy of Erik Erikson. 2004. Ed. by K. Hoover. New York: Lexington Books. 180 p.

О.В. Попова

Раздел шестой

Сообщество политологов: ракурсы профессиональной идентичности

Глава 36

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПОЛИТОЛОГОВ: КОЛЛЕКТИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

В.И. Пантин

Ключевые слова: профессиональная идентичность, коллективная идентичность, политическая профессионализация, политический класс, Российская ассоциация политической науки, преподавание политологии, образовательные стандарты.

Профессиональная идентичность политологов: подходы к артикуляции

На формирование идентичности любого профессионального сообщества оказывают влияние параметры профессиональной деятельности (преимущественно индивидуальная или требующая коллективных усилий; преимущественно интеллектуальный / физический; преимущественно творческий / рутинный труд и т.п.) и характеристики профессионального сообщества. В свою очередь, значимыми факторами формирования профессионального сообщества выступают его масштаб, структура, включая конфигурацию территориального размещения, степень консолидации/разобщенности и история формирования. Для ряда профессий несомненно значимыми являются специфические характеристики специализированной деятельности, требующей особых качеств и навыков (например, сопряжение с высокой степенью риска;

постоянный контакт с асоциальными группами; работа в территориально отдаленных районах и др.).

На наш взгляд, наряду с отмеченными общезначимыми для всех профессиональных сообществ факторами в случае политологического сообщества специфическими факторами являются:

— принадлежность политологического сообщества к более обширной и качественно неоднородной по характеру деятельности профессиональной категории политического класса (о нем будет сказано ниже);

— особенности генезиса политической науки; относительная молодость данной сферы деятельности в России и специфическая конфигурация отношений процесса становления науки и институционализации профессионального сообщества;

— высокая степень пересечения предметных областей смежных отраслей социогуманитарного знания (политология, политическая социология, международные отношения, регионоведение, политическая история, политическая журналистика и др.). Соответственно, для формирования профессиональной идентичности исследователей и преподавателей политологии значимым является также необходимость разграничения своего предмета со смежными областями;

— определенный отпечаток на формирование идентичности оказывает также политико-идеологическая ориентация профессионала.

При исследовании профессиональной идентичности политологов следует принимать во внимание ряд обстоятельств. Прежде всего, многосоставный характер данного профессионального сообщества: по существу, *политологи — это сообщество лиц, профессионально работающих в сфере политики, то есть представляющих политический класс как сообщество людей, живущих «для политики» и «за счет» политики* [Вебер 1990: 653], что существенно отличает их от политиков «по случаю» (политическое участие которых носит эпизодический характер) и от политиков «по совместительству» (занимающиеся политикой в случае необходимости, что, однако, не превращает политику в их основную сферу деятельности) [Вебер 1990: 656]. Несмотря на значимость и многочисленность политического класса в современном обществе, его изучению посвящена пока единственная в отечественной литературе работа [Гаман-Голутвина 2012].

Как большинство иных сфер деятельности, политика предполагает внутреннюю функциональную специализацию и определенную иерархию. Родившись как сфера стихийной конкуренции относительно доступа к жизненно важным ресурсам и привилегированным статусам, по мере развития социально-политических институтов и функциональной дифференциации она трансформировалась в сложносоставную и сложноорганизованную область.

Для определения профессиональной идентичности сообщества политологов следует принять во внимание современные подходы к пониманию политической профессионализации. Политическая профессионализация — многоаспектный феномен, непросто поддающийся интерпретации в силу много-

составного характера политического класса, включающего функционально отличные категории лиц, которые должны соответствовать различным профессиональным стандартам [подробнее см.: Гаман-Голутвина 2012].

Методологическим основанием подхода к анализу политической профессионализации может быть понятие профессионализации: «Профессионализация характеризует динамический организационный процесс, который способствует объединению индивидуумов в группы в соответствии с определенными качествами и свойствами... профессионализация определяет правила, права и алгоритмы доступа, способствует сплочению индивидов в группу индивидов и выделению группы из большого общества» [Beaver and Rosen 1978: 66–67]. Конкретизируя это определение применительно к политической сфере, известный немецкий политический социолог Х. Бест полагает, что склонность к некоторой социальной закрытости, формирование или возникновение различий между инсайдерами и аутсайдерами, определенная локализация в социальном контексте, меры по защите карьеры и аккумуляция привилегий определяют существо феномена политической профессионализации [Best 2003: 18].

Попыткой идентифицировать профессионализацию политического класса была также предложенная Й. Мизелем С-формула «*consciousness, coherence, conspiracy*» («сознание, сплоченность, кооперация») [Meisel 1958]. Представляется, однако, что эта концепция переоценивает степень сплоченности политического класса: последний настолько разнороден, что говорить о его сплоченности трудно.

Полагаем, что структура политического класса представляет собой концентрические круги, окружающие ядро, в качестве которого выступает политическая элита. Последняя являет собой многосоставное образование, включая высший эшелон исполнительной, законодательной и судебной властей; участвующих в политике влиятельных предпринимателей; немногочисленных в современном обществе представителей аристократии; экспертов высокого уровня; немногочисленных влиятельных представителей медиа-сферы. В качестве «спутников», располагающихся на окружающих ядро орбитах, выступают различные *категории политического класса*:

- политико-управленческая бюрократия среднего уровня — центральная, региональная и местная;
- политические аналитики-эксперты;
- политические консультанты и политические технологи;
- профессиональные лоббисты (высший эшелон групп давления);
- партийные функционеры;
- политические журналисты;
- исследователи политики и преподаватели политологии в высшей школе.

Доминирование той или иной категории определяется политической конфигурацией государства (формой правления, политической системой, политическим режимом), историческими традициями политического развития.

Знание состава политического класса информативно: оно многое может дать для понимания сущности политического режима. При этом границы самого политического класса размыты, а грани между его отдельными категориями предельно подвижны. Общность политического класса и политической элиты определяется их локализацией в сфере политики; в качестве критерия их различения выступают их функции в процессе принятия решений: политическая элита является непосредственным субъектом принятия решений, тогда как в задачу политического класса входит сопровождение этого процесса. Существенная внутренняя функциональная и социальная дифференциация политического класса определяет специфику профессионализации входящих в его состав категорий.

Адекватное предмету изучение профессиональной идентичности сообщества исследователей политики и преподавателей политологии необходимо включает два измерения — *коллективную* и *индивидуальную* идентичности. Для изучения первого измерения целесообразно ориентироваться на такие индикаторы и показатели, как степень институционализации сообщества (в том числе в сопоставлении с деятельностью аналогичных профессиональных объединений), степень успешности профильных профессиональных ассоциаций в продвижении важнейших интересов сообщества, степень продвижения в реализации существенных потребностей сообщества и решении существенных профильных задач, влияние за пределами профессионального сообщества, общественное признание и оценка профессии и эффективность сложившихся норм профессиональной этики. При исследовании индивидуальной идентичности ключевыми ракурсами предстают такие сопряженные с подходами психологии, этики, социологии параметры, как профессиональное самовосприятие, гендерные, возрастные, региональные и другие особенности.

Коллективная профессиональная идентичность сообщества политологов: отечественный опыт

На наш взгляд, на исследование профессиональных сообществ и их идентичности распространяется общее правило изучения социальных групп, согласно которому необходимо различать характеристики социальной группы и индивидов, входящих в ее состав. «Конкретные представители той или иной группы могут и не обладать всеми существенными чертами субъектов данной общности, но ядро любой группы состоит из индивидов, наиболее полно сочетающих присущие данной группе характер деятельности, структуру потребностей, ценности, нормы, установки и мотивации. Поэтому ядро является концентрированным выразителем всех социальных свойств группы (общности), определяющих ее качественное отличие от всех иных. Нет такого ядра — нет и самой группы (общности)» [Радаев, Шкаратан 1995: 18–19].

При изучении профессиональной идентичности в центре внимания оказывается в первую очередь оценка политического влияния профессии и ее

общественного признания, которые невозможны без развитого самосознания профессионального сообщества. Такое самосознание, как правило, проявляется в создании профильных специализированных организаций, нацеленных на реализацию существенных интересов и целей профессиональной деятельности и развитие общественного влияния и социального признания профессии. В этом отношении релевантным предмету рассмотрения изучение профессиональной идентичности политологов выступает как нацеленное на анализ процессов институционализации сообщества, изучение влияния профессиональной организации политологов и степень общественного признания профессиональной ассоциации в обществе.

В российском контексте естественным образом предметом изучения выступает отечественная ассоциация политической науки, процессы организационного оформления которой (1955–1960) опередили официальную институционализацию профессии политолога в нашей стране, состоявшуюся в 1989 году. Более того, следует со всей определенностью признать, что само конституирование в нашей стране политической науки как автономной сферы научных исследований и учебной дисциплины произошло благодаря настойчивым усилиям в этом направлении ряда отечественных ученых и политиков, прежде всего, Г.Х. Шахназарова (президента САПН/РАПН в г.), известного ученого, публициста и общественного деятеля вице-президента САПН Ф.М. Бурлацкого, членов Исполкома САПН разных лет Е.М. Примакова, В.В. Журкина, А.А. Галкина, Ю.А. Красина, Ю.А. Замошкина, А.П. Бутенко и других энтузиастов данной отрасли науки (А.М. Салмина, Г.Г. Дилигенского и др.). Именно в результате целенаправленных и концептуально выстроенных усилий по продвижению развития политологии в качестве самостоятельного направления было достигнуто ее общественное признание как профессии, что означало важнейший шаг на пути развития профессиональной идентичности политологов и одновременно стало мощным импульсом подъема профессионального самосознания.

В 1955 году советские обществоведы впервые приняли участие в конгрессе Международной ассоциации политической науки (МАПН) и были официально приняты в ряды международной профессиональной организации, что дало импульс конституированию сообщества исследователей политики в нашей стране. Именно этот год обоснованно считается точкой отсчета институционального оформления профессионального сообщества политологов в нашей стране. Прошедшие с тех пор шесть десятилетий отмечены непрерывным развитием организованного политологического сообщества исследователей и преподавателей. Вехами на этом пути стали: 1960 год — официальное оформление Советской ассоциации политических (государствоведческих) наук (САПН); 1979 год — XI Всемирный конгресс Международной ассоциации политической науки в Москве; 1989 год — официальное признание в нашей стране политической науки как самостоятельной профессии в формате академического направления и учебной дисциплины; 1991 год — трансформация Советской ассоциации политических (государствоведческих) наук

в Российскую ассоциацию политической науки; 1998 год — Первый Всероссийский конгресс политологов; 2005 год — 50-летие участия в МАПН; 2013 год — РАПН наделяется функциями «Центра ответственности по формированию бюджетного приема по политологическим специальностям» при Министерстве образования и науки России; 2015 год — президент РАПН становится председателем Федерального учебно-методического объединения «Политические науки и регионоведение».

1955 год как организационную веху можно считать знаковой, однако принципиально важно отметить, что это событие конституировало де-факто существовавшие исследования политики и государствоведение, хотя осуществление этих исследований имело существенную специфику, обусловленную особенностями советской политической системы. Действительно, несмотря на то, что официально в существовавшем в тот период реестре специальностей политология не значилась, тем не менее в стране существовали традиции и формировались школы изучения политической сферы. Имеются в виду исследования государства и государственности, партий и других политических институтов, закономерностей развития мировой политики, мировой экономики, внешней политики и международных отношений, политических идеологий и культур, рассмотрение истории политических и государствоведческих учений, страноведческие изыскания в институтах Академии наук СССР и преподавание этих дисциплин в ряде ведущих университетов страны. Кроме того, к этому времени был создан (в 1944 г.) Московский государственный институт международных отношений, превратившийся со временем в ведущий центр развития исследований и преподавания истории и теории международных отношений, на базе которого впоследствии (в 1998 г.) возник первый в Российской Федерации факультет политологии.

В свою очередь, формирование исследовательской традиции по изучению политики в советский период опиралось на обширное и богатое идеями наследие отечественной общественно-политической мысли. Важным шагом на пути осмысления концептуального наследия отечественной социально-политической мысли стала публикация коллективом ведущих российских ученых под эгидой Российской ассоциации политической науки в 2008 году 5-томника «*Российская политическая наука*», в котором была представлена сквозная (в рамках условной периодизации с XVIII века вплоть до первого десятилетия 2000-х годов) история формирования и развития отечественной политологии [Российская политическая наука 2008]. Беспрецедентным изданием стала публикация в 2010 году 117-томной «*Библиотеки отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века*» [Библиотека отечественной общественной мысли 2010]. Это издание не имеет аналогов в мировой науке и представляет масштабную панораму интеллектуальных достижений отечественных мыслителей за тысячелетний период развития России. Оно отражает сложную и богатую масштабными достижениями эволюцию общественной мысли, представляющую отечественную интеллектуальную традицию как выдающееся явление мировой духовной культуры. Значимым

шагом на пути развития отечественной политической наукой стала публикация в 2012 году Российской ассоциацией политической науки «Библиотеки РАПН» — серии из 10 монографий, посвященной анализу истории и современного состояния ключевых направлений политической науки.

Знаковым этапом в процессе самоопределения сообщества и вехой на пути развития отечественной политической науки, осмысления ее истоков и современного состояния и одновременно — широкоформатной картиной школ отечественной политологии стали исследования и публикации, подготовленные к 60-летию юбилею РАПН в рамках 5-томной серии «Российская политическая наука: истоки и перспективы» [Российская политическая наука 2015–2016]. В статье, посвященной 60-летию Ассоциации, в качестве главной функции политической науки было определено противостояние необратимому рассеянию общественной энергии, а также вытекающую из этой функции проблему: политическая наука оперирует закономерностями вероятностного свойства, большинство из которых имеет относительно короткий период существования. Именно это определяет миссию Российской ассоциации политической науки и диктует необходимость постоянной саморефлексии тех, кто профессионально занимается политическими исследованиями [Гаман-Голутвина 2016: 8]. Данное издание представляет собой фундаментальное исследование истории и современного состояния отечественной политической науки. Авторы показали широкую панораму истоков политической науки посредством анализа тех работ, которые не утратили своей актуальности по сегодняшний день; представили научные школы отечественной политологии и деятельности региональных центров политической науки; репрезентировали инновационные подходы и методы современной науки; реконцептуализировали предметное поле современной политологии как включающей мирополитические исследования. Предметом особого исследования стала история и современная деятельность самой Ассоциации [История 2015]. Принципиально важно отметить, что подобного фундаментального анализа истории и современного состояния дисциплины не было осуществлено ни в одной политологической ассоциации мира, включая Американскую ассоциацию политической науки (основана в 1903 г.). Данное издание представляет собой не только знаковое и глубокое научное исследование, но и является системным проявлением самосознания профессионального сообщества, а значит — выражением профессиональной идентичности.

На наш взгляд, выражением зрелости и эффективности коллективной идентичности отечественного политологического сообщества в целом с полным основанием может считаться успешная деятельность старейшей профильной профессиональной организации — Российской ассоциации политической науки, которая за шестьдесят с лишним лет своего существования выросла из малоизвестного и немногочисленного объединения в мощную влиятельную организацию, осуществляющую эффективную реализацию насущных профессиональных интересов сообщества.

Сегодня РАПН — это более 1000 человек, без малого 70 региональных отделений, эксклюзивное право представительства отечественных политологов

в международных организациях (поскольку последние построены по принципу одна страна — одна организация) и обширная международная профессиональная коммуникация с коллегами из десятков стран мира. РАПН продолжает развиваться и прирастает в том числе за счет региональных центров политологии. Крайне важно, что наряду с Москвой и Санкт-Петербургом сформировались исследовательские центры в Перми, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Барнауле, Краснодаре, Кемерово, Крыму и др. [подробнее см. Структурные трансформации... 2015].

РАПН — это десятки тысяч реализованных проектов, изданий, несколько учрежденных журналов (включая «Полис. Политические исследования» и издаваемую в МГИМО МИД России «Сравнительную политику»), обширная экспертная деятельность. А еще это Центр ответственности при Минобрнауки РФ, Федеральное учебно-методическое объединение по политическим наукам и регионоведению (ФУМО), Координационный Совет по общественным наукам, Ассоциация работодателей, Совет по грантам президента РФ для научных школ и молодых ученых, Совет по грантам президента РФ для талантливых студентов и многое другое.

Предметом особых усилий РАПН в последние годы было противодействие общефедеральной по масштабу, но тревожной для науки тенденции сокращения преподавания обществоведческих дисциплин. Именно на противостояние данной тенденции направлена деятельность РАПН как Центра ответственности при Минобрнауки. Центры ответственности обладают правом рекомендательного голоса при формировании Министерством образования и науки РФ объема бюджетного приема в вузы, который является основой определения объема бюджетного финансирования вуза, что в условиях непростой экономической ситуации жизненно важно для любого образовательного учреждения. Создание Центров ответственности стало возможным в результате принятия в 2012 году Федерального закона «Об образовании», который предполагает существенное возрастание роли профессиональных ассоциаций в осуществлении образовательного процесса.

В 2013 году одной из первых РАПН получила данный статус. Это означает, что с данного момента Ассоциация участвует с правом рекомендательного голоса в процедуре определения количества бюджетных мест и распределения их между субъектами Российской Федерации применительно к бакалавриату и магистратуре по направлениям подготовки «Политология», «Международные отношения», «Зарубежное регионоведение», «Регионоведение России», «Востоковедение и африканистика», представляя интересы политологического научного и образовательного сообщества во взаимоотношениях с государством.

В настоящее время существует 21 Центр ответственности, среди которых преобладают госструктуры; только 3 общественные организации обладают этим статусом — кроме РАПН, это Ассоциация юристов России и Ассоциация ведущих вузов в области экономики и менеджмента. Наделение РАПН статусом и полномочиями Центра ответственности свидетельствует о высокой репутации профессиональной организации российских политологов.

Ассоциации политологов удалось добиться на этом направлении значительных и исключительно важных результатов. Было увеличено общее количество бюджетных мест по политологическим специальностям; количество бюджетных мест на магистерские программы по направлению подготовки «Политология» возросло почти в 2 раза. По направлению подготовки «Политология» в целом рост составил порядка 40%; по направлению подготовки «Международные отношения» — 20%, что разительно отличается от динамики других направлений подготовки (включая экономику и юриспруденцию), бюджетный прием по которым сократился. Другим важным достижением РАПН стало непосредственное участие в разработке Федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных программ по соответствующим специальностям.

Отметим участие РАПН в решении других крайне актуальных и чувствительных для политологического сообщества вопросов, среди которых — оценка эффективности исследовательской деятельности обществоведов, критерии формирования Диссертационных и Экспертных советов ВАК. Механический перенос на сферу социогуманитарных наук критериев оценки, традиционно применяющихся в технических и естественных науках, привел к тому, что в качестве критерия качества в гуманитарных науках стали рассматриваться патенты на изобретения (!), а статья в журнале (несомненно, важный индикатор) стала *априори* значить существенно больше индивидуальной монографии. В технических и естественных науках такой подход уместен, однако для гуманитарного знания, выражаемого текстуально, такой подход не всегда адекватен.

Возникшее в связи с механическим переносом заимствованных из сферы технического знания критериев на социальные науки напряжение в академической среде было столь значимым, что руководство Министерства образования и науки РФ сочло необходимым создать специальный орган для разработки предложений по уточнению подходов с учетом наиболее авторитетных представителей академического сообщества, включая представителя РАПН.

В результате работы группы были уточнены параметры оценки научной результативности для общественных и гуманитарных наук; разработаны параметры оценки научной результативности членов Экспертных советов ВАК по общественным наукам, сформулированы требования к организациям, претендующим на открытие диссертационного совета. Был сформирован перечень наиболее цитируемых научных журналов по профильным специальностям, урегулирован вопрос о рационализации критериев оценки. Главное, было признано, что при оценке эффективности исследовательской деятельности и публикационной активности необходимо учитывать общепризнанную специфику гуманитарных, социально-экономических и общественных наук.

В 2014 году по инициативе РАПН была создана «Профессиональная ассоциация в области социально-политических наук и управления», действующая в качестве Ассоциации работодателей. Участие организаций работодателей

предусмотрено Федеральным законом «Об образовании» в качестве необходимого звена во взаимодействии государства и гражданского общества.

Таким образом, можно констатировать, что в условиях глубинных трансформаций последнего полувека отечественная ассоциация политической науки смогла не только сохраниться, но и обрести новое качество как профессиональная организация политологов. В системе отечественных институтов гражданского общества непросто найти организацию со столь длительной и реально богатой историей. Можно констатировать, что профессиональная идентичность академического и преподавательского сообщества политологов опирается на профессиональное и последовательное агрегирование интересов в рамках ведущей профессиональной структуры — Российской ассоциации политической науки. Профессиональная ассоциация политологов добилась широкого общественного признания и признания со стороны государства, о чем свидетельствует участие представителей профессионального сообщества в таких органах, как Совет по правам человека при Президенте РФ, Совет по грантам Президента РФ для ведущих научных школ, молодых ученых и талантливых студентов. Сегодня РАПН — безусловно, совместно с Минобрнауки РФ — имеет возможность влияния на качественные и количественные параметры государственной системы преподавания политологии и смежных дисциплин в целом в Российской Федерации. Это историческое достижение, не имеющее аналогов в прошлом, может служить неопровержимым свидетельством авторитета и влияния профессиональной ассоциации политологов в стране, и значимости процессов институционализации профессиональной идентичности политологов для развития политических исследований.

Литература

Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века. В 117 томах. М.: РОССПЭН, 2010.

Вебер М. 1990. Политика как призвание и профессия. — Вебер М. *Избранные произведения*. М.: Прогресс. С. 644–706.

Гаман-Голутвина О.В. 2012. Политический класс: сущностные и структурные характеристики. — *Политический класс в современном обществе* (под ред. О.В. Гаман-Голутвиной). М.: Росспэн. С. 54–84.

Радаев В., Шкаратан О. 1995. *Социальная стратификация*. М.: Наука, 1995. 240 с.

Российская политическая наука. В 5 т. (под общей редакцией А.И. Соловьева). 2008. М.: РОССПЭН.

Российская политическая наука: истоки и перспективы. В 5 т. (под общей ред. О.В. Гаман-Голутвиной). 2015–2016. М.: Аспект-Пресс.

Структурные трансформации и развитие отечественных школ политологии (под ред. О.В. Гаман-Голутвиной). 2015. — *Российская политическая наука: истоки и перспективы* (под общей ред. О.В. Гаман-Голутвиной). В 5 т. М.: Аспект-Пресс. 464 с.

Beaver D., Rosen R. 1978. Studies in Scientific Collaboration. Part I: The Professional Origins of Scientific Co-Authorship. — *Scientometrics*. Vol. 1. No 1. P. 65–84.

Best H. 2003. Elite Continuity and Elite Circulation after System Disruption: The East German Case in Comparative Perspective. — Best H., Edinger M. *Representative Elites in Post-Communist Settings*. Jena. No 8.

Borchert J. 2003. Professional Politicians: Towards a Comparative Perspective. — *The Political class in advanced democracies* (J. Borchert, J. Zeiss eds.). Oxford University Press. P. 1–25.

Gaman-Golutvina O. 2009. Contradictions between Freedom and Development: Historical and Contemporary Dimensions. — Dyczok M. and Gaman-Golutvina O. (eds.) *Media, Democracy and Freedom: The Post-Communist Experience*. Bern: Peter Lang. P. 43–76.

Meisel J. 1958. *The Myth of the Ruling Class: Gaetano Mosca and the Elite*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. 432 p.

Глава 37

ИДЕНТИЧНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА ПОЛИТОЛОГОВ В ФОКУСЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

*И.С. Семененко,
И.В. Самаркина,
Е.В. Морозова*

Ключевые слова: профессия, профессиональная идентичность, профессионализм, профессиональное сообщество, саморефлексия, политическая наука, социальные науки, политические исследования, политолог

Концептуализации профессиональной идентичности посвящено не так много научных трудов, как можно было бы ожидать, учитывая важность этого вопроса для поддержания творческой среды развития личности. С успешным выстраиванием траекторий профессиональной идентичности связываются и успехи человека в профессии. Истории успеха, в свою очередь, способствуют поддержанию социального престижа профессии, определяют характер влияния ее представителей на повестку дня публичной политики [см. Handbook of Career Theory 1989]. В фокусе внимания посвященных профессиональной идентичности работ — становление конкретных сфер интеллектуального труда: здесь приоритетное внимание уделяется изучению тех профессий, где особое значение имеют этические принципы профессиональной деятельности (от медицины до государственной службы).

Когда идентичность занятых интеллектуальным, творческим трудом профессионалов (а именно к таким сообществам, как отмечено в специально посвященной профессиональной идентичности статье в данном издании, относится само это понятие¹) становится предметом специального исследования, в центре внимания оказывается, в первую очередь, оценка политического влияния профессии и ее общественного признания. Такого рода исследования посвящены, например, архитектуре, творчеству представителей этого профессионального сообщества и их отношениям с властью [Резвин 2013].

¹ См.: Фадеева Л.А. *Профессиональная идентичность*. С. ????

Архитектурное творчество отражает запрос власти на организацию публичных пространств, и сообщество профессионалов выстраивает свою идентичность с оглядкой на политизированный социальный статус профессии.

Профессиональная идентичность политологов: исследовательские приоритеты

Профессиональные сообщества, особенно представляющие профессии публичные, стали сегодня участниками борьбы за идентичность в самых разных ее ракурсах: глобальном, национальном, социокультурном и даже микро-социальном, в малых группах, артикулирующих общие интересы. Представители ряда профессий, в том числе и ученые-исследователи, и эксперты, занимающиеся анализом текущих общественных процессов, в силу самого характера своей деятельности вовлечены в процессы формирования социальных идентичностей и гражданской политической культуры. Вместе с тем новые профессии (а в российском обществе профессия политолога получила институциональное оформление относительно недавно, около четверти века назад) утверждают собственную идентичность, общую для людей одного профессионального круга, разделяющих понимание общественной значимости своих занятий.

Дискуссия о публичных творческих профессиях вписывается и в более широкий контекст осмысления феномена интеллигенции, статуса интеллектуалов и интеллектуального труда в современном обществе [см. Фадеева 2012]. Она позволяет оценить место и перспективы отечественной общественной мысли в поле современного социогуманитарного знания. При этом характерная особенность производства научного знания о политике в том, что «независимо от желания или реальных способностей ученых тематическое разнообразие и характер развития политической науки напрямую зависят и от позиции властей (усматривающих в политологии не столько экспертный потенциал, сколько инструмент легитимации), и от контактов с мировым профессиональным сообществом, и от качества той части образованного класса, которая практикует эту разновидность научной рефлексии» [Соловьев 2015: 11].

Значительный профессиональный интерес представляют для политологов процессы, происходящие в среде государственной службы. Как известно, она определена законом как профессиональная деятельность специально подготовленных и специально отобранных специалистов на постоянной, профессиональной и возмездной из средств государственного бюджета основе. Профессия политолога, профессия политика и профессия чиновника — вещи, хотя и тесно связанные между собой, но все-таки разные: «государственные служащие политически непосредственно не властвуют и собственно публичной политикой не занимаются» [Охотский 2013: 59]. Различные аспекты их профессиональной идентичности рассматриваются в работах, посвященных профес-

сиональной ответственности госслужащих, соотношению политики и государственного администрирования, деполитизации госслужбы, политической компетентности чиновников, этическим аспектам госслужбы [Оболонский 2015; Охотский 2013; Понеделков 2011]. Богатый эмпирический материал, характеризующий содержание и направленность развития российской государственной службы, содержится в аналитических материалах, подготовленных РАНХиГС и ее филиалами [см., напр: Государственная служба России 1998].

Между корпусом государственной службы и политологическим сообществом постоянно происходит процесс ротации кадров, который получил название «эффект вращающихся дверей» [Гаман-Голутвина 2000]. Термин был введен Т.Р. Даем и Л.Х. Зиглером [Дай 1984] и представляет собой яркий пример объясняющей метафоры в социальных науках. Изменения в характере проницаемости каналов рекрутирования происходят и в современной российской действительности: можно привести немало примеров вхождения представителей науки в структуры государственной власти. В то же время ушедшие в отставку высшие чиновники нередко продолжают академическую карьеру². В более широком плане можно говорить и о трансфере идей, стереотипов и социальных установок.

Сегодня мы наблюдаем тенденцию смены поколений «классических» профессионалов с их эксклюзивным, надежным и привилегированным знанием, неким иным «профессионализмом», другими, более прагматическими представлениями о профессиях и их социальной роли. Эта тенденция особенно заметна в отношении публичных профессий и оказывает ощутимое влияние на исследователей политической реальности, чью деятельность нельзя отнести к «классическим» профессиональным занятиям. Неслучайно для тех, кто только приходит в профессию или близко соприкасается с ней, политология нередко ассоциируется с самой политикой, участием в политическом процессе; в результате профессиональная коммуникация подменяется идейными спорами и противостояниями.

В современном мире профессий под воздействием информационно-коммуникационных технологий происходит своеобразная десакрализация экспертного знания, в том числе знания политического. Доступность разных по качеству публикаций в Интернете создает у обывателя иллюзию способности к самостоятельному и компетентному анализу. И неважно, идет ли речь о самолечении или об обсуждении политических проблем. Сама потребность в политическом образовании, в работе по воспитанию гражданских ценностей ставится под вопрос. Весьма противоречивую роль играют в отношении сообщества политических исследователей средства массовой информации [Gaman-Golutvina 2009]. Являясь инструментом создания иерархии «престижей» в медийном дискурсе, они формируют и тиражируют неоднозначно

² Один из примеров последнего времени: главой реформированного экспертно-аналитического управления Госдумы РФ стал член правления РАПН, доцент МГИМО, директор международного аналитического центра «Rethinking Russia» Я.И. Ваславский.

воспринимаемый в обществе (и профессиональном сообществе) образ «политолога». При этом в СМИ политологов нередко ассоциируют с журналистами или с блогерами, пишущими на политические темы.

Серьезным вызовом профессиональным сообществам (в том числе сообществу политических исследователей) является общая и постоянно набирающая силу тенденция к менеджеризму [Антропология профессий 2012: 12], которая отражается в нарастающей регламентации профессиональной деятельности, в стремлении измерять и оценивать ее качество в соответствии с критериями эффективности, установленными извне, сугубо бюрократическим путем.

Все перечисленные тенденции имеют не сугубо страновой, а общий характер (пусть и с разными акцентами и приоритетами для разных национальных контекстов). Об этом свидетельствует интерес к изучению профессиональных сообществ политических исследователей, механизмов их влияния и проблем развития политической науки в рамках самих политических исследований.

Исследования профессиональных сообществ политологов за рубежом

Те, кто изучают современные политические процессы, не могут не задумываться о политическом влиянии идей и знаний, носителями которых они являются, и о возможностях воздействия этих идей и знаний на повестку дня публичной политики и на социальный климат в обществе. Наиболее многочисленное и структурированное политологическое сообщество США в силу исторического пути становления профессии остро ставило эти вопросы еще на рубеже 1960-х — 1970-х годов, когда политология стала достаточно массовой и по числу занятых, и по охвату университетским образованием сферой социальных наук. Тогда был сделан вывод о том, что политическая наука более эффективна в легитимизации уже разработанных вне сфер ее влияния решений, чем в формировании реальной политической повестки дня [Melanson 1972: 498]. В то же время «ответственный профессионализм» исследовательского сообщества предполагал, как с определенной тревогой отмечалось уже тогда, «профессиональный плюрализм», а отнюдь не ориентацию на поддержание псевдонаучного консенсуса на общих теоретико-методологических основаниях с целью создания видимости консолидированных позиций в отношениях с предметом своих научных изысканий [Connolly 1967: 146–147].

Отголоски споров о профессионализме и общественной значимости профессии слышны и более сорока лет спустя в американском политологическом сообществе: после закрытия осенью 2007 года программы подготовки по политической теории на факультете политических наук одного из крупнейших американских университетов — Университета штата Пенсильвания (Pennsylvania State University) — разгорелась бурная полемика вокруг права на существование политической теории как отдельной субдисциплины в лоне политической

науки. Сторонники этого волевого решения, принятого университетским руководством, ратовали за «гибридизацию» академической политической науки, указывая на невысокую практическую значимость и несамостоятельную роль политической теории в приращении научного знания [Kaufman-Osborn 2010: 669]. Выступившие в полемике с позиций защиты субдисциплины отстаивали необходимость возрождения связи теории с политической практикой и ее значимость для самих представителей профессии, призывали «выйти на просторы повседневной жизни» [Brown 2012: 684], т.е. изучать реальные явления без теоретической предвзятости и не ограничиваясь высоким уровнем абстракции.

Сам предмет политической науки и общественный статус социальных наук продолжает вызывать, как показала эта полемика, ожесточенные споры; наиболее интересные и продуктивные исследования политики сегодня появляются в результате «перекрестного опыления» с другими сферами социального и гуманитарного знания, и задача членов исследовательского сообщества заключается в том числе, как считают некоторые работающие в этом поле ученые, в «демаркации границ политической науки» [Rehfeld 2010: 478]. Во Франции, где использованию французского языка в профессиональном взаимодействии в самых разных областях уделяется особое внимание, профессию политического исследователя французские коллеги обозначают термином «*politiste*» [от фр. *politique* — политика; англ. аналог *political scientist*; букв.: ученый, изучающий сферу политики]. Продвижению в разработке предметного поля политической науки способствует и деятельность профессиональных национальных, региональных и международных ассоциаций.

Профессиональная идентичность исследователей современной политики выстраивается в ходе таких дискуссий. Они ведутся в национальных сообществах политических исследователей с тех пор, как изучение политики стало неотъемлемой частью системы высшего образования. Хотя научная репутация ученого выстраивается преимущественно на письменных работах, вовлеченность подавляющего большинства авторитетных ученых-политологов в преподавательскую деятельность стимулирует формирование более ясного языка изложения и более последовательной аргументации идей, открытых для критического переосмысления теми, кто получает профессиональное образование в этой сфере [Keohane 2009: 359].

Особенно активно обсуждение проблем профессии ведется в последнее десятилетие, когда в условиях финансового кризиса на Западе четко обозначилась тенденция к сокращению государственного финансирования социальных наук. Сказывается и падение интереса к традиционным для политических исследований сферам — электоральному процессу, партийным системам и пр., в том числе ввиду отсутствия прорывных результатов в осмыслении политических трансформаций. Не вдаваясь в подробное рассмотрение причин (эта тема выходит за рамки нашего анализа), отметим, что изучение субъективного пространства политики и новых форм массового политического участия подводит к необходимости разработки новых методологических подходов и адекватного языка изложения, отражающего сдвиги в сознании

и в восприятии информации. Пока эти проблемы решаются по преимуществу с помощью использования в научных текстах метафор и переложения на национальные языки не всегда понятных англоязычных терминов, взятых из иного национального контекста.

Такое состояние исследовательского поля ведет к росту взаимного отчуждения сфер фундаментальных исследований и политической экспертизы, к углублению разрывов между результатами теоретических обобщений и интерпретациями происходящего в рамках событийных комментариев, потребность в которых с расширением информационного пространства становится все более острой.

Проблема востребованности политической науки — ключевая для профессионального самоопределения политологов. В других сферах социальных наук — социологии, политической философии и др. — эти баталии ведутся уже давно, то затихая, то вспыхивая с новой силой и обнаруживая удивительное (правда, только на первый взгляд) сходство с повесткой дня нынешних дискуссий в политологическом сообществе [см. напр. Бронзино 2016]. В то же время политическая наука — относительно молодая для многих национальных «школ» социальных наук — в силу предмета не может не испытывать давления, прямого или опосредованного саморефлексией ученых, и со стороны власти, и со стороны гражданского общества.

Развитие политической науки как дисциплины — предмет специального изучения (еще с 1980-х гг.) профильного исследовательского комитета в составе Международной ассоциации политической науки (МАПН — International Political Science Association, IPSA). Разные исследовательские ракурсы объединяет сегодня общий проект «Глобального исследования развития политической науки», инициированный в 2015 году³. Специальная рубрика о профессии есть в таком влиятельном политологическом журнале, как «*European Political Science*» — издании Европейского консорциума политических исследований (*European Consortium for Political Research*).

В этом смысле интересен опыт итальянских коллег: не только потому, что в ряде их публикаций последних лет ставятся общие для понимания профессионализации политической науки проблемы, но и потому, что итальянская политическая система претерпела на глазах нынешнего поколения исследователей глубинные сдвиги, и перед ней остро стоит вопрос об адекватном происходящим политическим трансформациям научном осмыслении этих процессов. Это побуждает исследователей оценивать собственные силы и свою роль в политических изменениях.

Расцвет политической науки наблюдался здесь в период «блокированной демократии», или «несовершенной двухпартийности», когда находившейся

³ См. Global Study on the Development of Political Science. IPSA Research Committee 33 (on the «Study of Political Science as a Discipline»). Эл. ресурс. Доступ: <http://www.rc33ipsa-global-political.science/> Проверено: 18.02.2017. Ранее была издана серия публикаций, которые представляют состояние современной политической науки и «лицо» того сообщества, которое ее создает [The World of Political Science 2012].

бессменно у власти Христианско-демократической партии противостояли левые силы в лице Итальянской коммунистической партии (т.е. в 1970–1980-е гг.). В это время утвердился и оптимистический взгляд на саму профессию: один из авторитетнейших итальянских политологов еще в девяностые говорил о наличии «академически консолидированной дисциплины» и ее несомненной общественной значимости [Pasquino 1997: 33; цит. по Capano and Verzichelli 2016: 226; см. также Pasquino 2009]. Размывание двух противостоявших друг другу субкультур [см. о них Холодковский 1989] и ориентация на политический нейтралитет научных исследований снизили, как стало ясно позднее, уровень интеллектуальных поисков новых политических идей. Сократилось и число масштабных, фундаментальных исследований, их вытеснили публикации, написанные на злобу дня в эссеистской стилистике политическими журналистами. В общественном мнении именно они в основном и представляют сегодня лицо профессии.

Вопрос о том, как и на каких направлениях исследований генерируются инновационные для общественного развития политические идеи, остается сегодня скорее риторическим (и, конечно, не только в итальянском контексте). Сообщество испытывает давление извне, в первую очередь, со стороны сложившихся в США исследовательских традиций: «передовыми» считаются стандартизированные количественные методы работы с большими базами данных и соответствующая этим методам тематика. Налицо попытки к «сокращению теоретического и методологического разнообразия» [Capano and Verzichelli 2016: 214]. Успешная адаптация апробированных за рубежом теоретических моделей воспринимается как показатель конкурентоспособности профессии. Новые «правила игры» во многом продиктованы характером финансирования: сегодня масштабные гранты поступают по каналам программ Европейского союза («Горизонты 2020» и др.) и поддерживают в основном прикладные исследования.

Главной проблемой для политической науки сегодня остается, как считают итальянские коллеги, ее невысокая общественная значимость и острая необходимость отстаивать свое место в публичном пространстве [там же: 216]. В качестве перспективных направлений исследований на первом месте опрошенные специалисты называют публичную политику и государственное управление (почти четверть опрошенных считают эту тематику приоритетной), сравнительные исследования политических институтов и политические реалии Евросоюза, что в целом отражает приоритеты публичной дискуссии [там же: 223]. Хотя есть определенный сдвиг в сторону изучения международных и европейских процессов, но в основном итальянские политологи по-прежнему занимаются анализом итальянских политических реалий, публикуют работы в зарубежных журналах преимущественно по национальной тематике [Capano and Verzichelli 2010: 112]. Соответственно, признание в международном сообществе они имеют в основном в качестве специалистов по стране. Есть, конечно, и значимые исключения, ученые с мировым именем (Дж. Сартори, Дж. Паскуино, Л. Морлино и др.). Обнадеживающей тенденцией

последних лет стал заметный рост публикационной активности молодых исследователей в рамках новых программ подготовки аспирантов, летних школ, международных конференций [Verzichelli 2014: 42].

В зависимости от характера профессиональных траекторий можно выделить «чистых» исследователей, представители молодого поколения которых редко участвуют в политической или экспертной деятельности; университетскую профессию, более ориентированную на проведение прикладных, проектных исследований; и «публичных интеллектуалов», которые помимо работы в СМИ занимаются политическим консультированием и иной экспертной деятельностью [Carano and Verzichelli 2016: 224]. Итальянские исследователи отмечают в целом позитивную (несмотря на существенное сокращение финансирования) динамику процессов институционализации политической науки, консолидацию научных коллективов в средних по масштабам университетах (Сиена, римский LUISS, Тренто), помимо тех, где политическая наука традиционно имеет сильные позиции (Болонья, Флоренция, Милан, Турин). Но при всем том они считают, что у представителей профессии не сложилось общего исследовательского поля и, тем более, общей идентичности.

По итогам скрупулезного анализа количественных и качественных показателей развития политической науки (университетских программ, публикационной активности ученых, членства в ассоциациях и участия в международных конференциях, присутствия в СМИ и др.) итальянские коллеги делают вывод о том, что в самом сообществе существуют системные ограничения, связанные с дробным и слабо структурированным характером проблемного поля исследований, с разрывом между «политическим временем» и «научным временем», с доминирующим значением «внутренней» репутации в сообществе, формирующей исследовательские приоритеты в ущерб политическим реалиям [там же: 215; 227]. Сами политические исследования долгое время развивались в контексте идеологического противостояния, и долговременное (с 1990-х гг.) поддержание «политического нейтралитета» стало в нынешних условиях, как считают итальянские исследователи, «контрпродуктивным для легитимизации политической науки», для отстаивания ею своей общественной роли и своего «места под солнцем». Поэтому давний призыв авторитетного американского политолога Г. Лассуэла создавать науку в поддержку демократии («*a science for democracy*») [см. об этом Farr, Hacker, Kazee 2006] более чем актуален, особенно в условиях нарастания волны популистской риторики и «антиполитики» [там же: 228].

При некоторых отличиях результатов «обследования» итальянского политологического поля аналогии с российскими профессиональными реалиями тоже очевидны: можно проследить параллели и в трактовке проблем развития политической науки, и в осмыслении вопросов консолидации сообщества и становления его профессиональной идентичности.

Исследования профессионального сообщества политологов в России

Важной частью профессиональной идентичности является осознание собственной истории, этапов становления сообщества, социокультурных связей и взаимодействий с политическими институтами, которые являются объектом профессионального интереса. Появление и развитие отечественной политологии намного опередило процессы институционализации сообщества. Г.Г. Дилигенский, ведущий отечественный ученый, стоявший у истоков становления научной школы социально-политических и социально-психологических исследований в ИМЭМО РАН, в интервью С.В. Патрушеву в 2000 году отмечал, что «реально политология появилась после реформ 1860-х годов, когда начала развиваться дифференцированная общественная мысль, когда русская мысль перешла от общеполитического, общемировоззренческого порядка к дифференциации, стала в каком-то смысле догонять европейскую мысль». Эти процессы были связаны с потребностью в осмыслении политических институтов модерна. Г.Г. Дилигенский выделяет несколько основных этапов развития российской политической науки: дореволюционный, советский (имеющий собственную внутреннюю периодизацию), перестроечный и постперестроечный, а появление самостоятельного научного направления датирует шестидесятыми годами прошлого века [Дилигенский 2015: 317–318]. Исследования современных процессов общественного развития развивались тогда в основном комплексно, без выделения чисто политических реалий. В таком подходе была и позитивная (в смысле понимания общих проблем развития западных обществ), и негативная сторона (в смысле осмысления политической теории и перспектив интеграции в мировое научное поле); с позиций сегодняшнего дня можно говорить об определенной преемственности в ориентации на междисциплинарные исследования, которые развиваются в первую очередь в академической научной среде.

Институционально профессиональное сообщество политологов начало формироваться в советское время. В 1955 году была создана отечественная ассоциация политической науки (САПН — Советская ассоциация политической науки, с декабря 1991 года — Российская ассоциация политической науки, РАПН). Сегодня Российская ассоциация во многом формирует общую повестку дня исследований российской и мировой политики. РАПН стала рупором интересов профессионального сообщества в публичном пространстве и главной площадкой его самоорганизации и профессиональной социализации⁴.

Стоит отметить, что в условиях трансформаций современного миропорядка и политической системы России, происходящих на памяти и при участии нынешнего поколения исследователей этих процессов, проблема понимания

⁴ Подробно процессы институционализации профессионального сообщества политологов рассмотрены в предыдущей главе настоящего издания. См. также [История 2015].

места и роли сферы их профессиональной деятельности оказалась как нельзя более актуальной. Вопрос о том, как кризис знания о развитии соотносится с кризисом развития (в данном случае — в политической сфере), стал не только предметом теоретико-методологических дискуссий, но и фактором политического прогнозирования [см. напр. «Альтернативный капитализм»... 2012].

Здесь можно выделить два проблемных блока: взаимоотношения политической науки и политической практики и внутренние вопросы развития самой научной дисциплины [Гаман-Голутвина 2016: 9]. В контексте становления дисциплины большое внимание было уделено содержательному анализу направлений исследований и их закреплению в практиках защиты диссертаций по специальности начиная с 1990–1991 годов, когда состоялись первые защиты докторских и кандидатских диссертаций. Я.А. Пляйс связал актуальные проблемы российской политологии с политическими процессами переходной эпохи в России, обобщив значительный эмпирический материал, характеризующий кадры, институции и инфраструктуру отечественной политической науки [см. Пляйс 2009].

Процессы институционализации сообщества с самого начала сопровождались осмыслением проблем развития отечественной политической науки и интеграции российских ученых в мировое исследовательское поле [Шестопап 1999а; Ильин 1999]. В предисловии к русскому изданию этапной для становления российского политологического дискурса антологии современной зарубежной научной мысли [см. Политическая наука: новые направления 1999] Е.Б. Шестопап уже тогда, на рубеже 2000-х гг., отмечала, что в России «проблема соотношения универсальности и национальной специфики науки» стоит особенно остро ввиду системной «трансформации самого объекта нашей науки — российской политики». Автор приглашала сообщество к саморефлексии и говорила об актуальности «поиска баланса между стремлением к научной объективности и личными политическими пристрастиями», о насущной потребности в обмене идеями, дискуссиях, строгих стандартах научного труда — т.е. о формировании общих ориентиров и опор профессиональной идентичности [Шестопап 1999b: 9–10, 15–16]. В вышедшем спустя десятилетие капитальном издании, отразившем поле политических исследований в России в исторической ретроспективе и основные направления современных исследований, осмыслению социальных функций политологического знания и проблемам институционализации профессионального сообщества было уделено особое внимание. Подчеркивалось, что российская политическая наука как «своеобразный продукт всей культурной истории страны» — это «не просто рационально-теоретическая форма отображения происходящего, но и специфический способ чувствования россиянами мира политики (в его актуальном, ретроспективном и перспективном измерениях)» и его отображения в научном дискурсе [Соловьев 2008: 8].

Но и сегодня, когда развитие политической науки стало «предметом систематической рефлексии», «гораздо меньше известно о формировании профес-

сиональной идентичности политологов и ее восприятию во внешней среде — обществом и властью» [Малинова 2015: 225]. В целом с этой оценкой нельзя не согласиться, отметив, однако, важную веху на пути изучения сообщества, созданную трудами С.В. Патрушева и самой О.Ю. Малиновой около десяти лет назад [Малинова 2006; Политическая наука в России 2008]. Авторы масштабного эмпирического исследования, проведенного в рамках РАПН, пришли тогда к выводу о том, что «профессионально-идентификационное дистанцирование политологов от представителей других наук уже произошло», притом, что в целом российская политическая наука сохраняет свою междисциплинарность. При этом сообщество развивается «в открытом режиме», его члены вовлечены в политические практики, «нередко в качестве экспертов и консультантов, иногда — членов политических формирований, часто — рядовых участников публичной политики», хотя это в основном «одностороннее движение» [Малинова, Патрушев 2008: 453]. Тогда было высказано аргументированное предположение о том, что «отечественная наука уже обрела достаточные ресурсы для развития на собственной основе» и сделан принципиально важный для самоидентификации сообщества вывод: «Только расширение и углубление научных исследований, разнообразие тематики и масштаба, повышение профессионального уровня, утверждение профессиональных норм, принципиальная ориентация на получение нового знания есть и будут реальной основой для развития политологического сообщества России» [там же]. Российские СМИ закрепили за политологами имидж комментаторов политических новостей, хотя большинство «медиаполитологов» не имеет научных трудов, включенных в Российский индекс научного цитирования, и системно с научным сообществом не взаимодействует [Малинова 2015: 229].

Изучение проблем институционализации профессионального сообщества было предметом особого внимания коллектива ученых в ИНИОН РАН с конца 1990-х годов [Отечественная политология 2001; Воробьев 2004а; 2004б]. Глубинный анализ наукометрических показателей и институционального измерения представленной в институтах РАН отечественной политической науки, подготовленный исследовательским коллективом под руководством В.С. Авдонина (ИНИОН РАН) почти десятилетие спустя, выявил тенденцию усиления в сообществе «вузовской политологии» [Авдонин 2015: 45], в то время как при создании РАПН роль представителей академической науки была определяющей. В этом направлении переформатировалась деятельность уже существующих (РАПН, Российской ассоциации международных исследований, Академии политической науки, Национальной коллегии политологов-преподавателей) и недавно созданных (Российское общество политологов — РОП) организаций. Решающее воздействие на этот процесс оказывают внешние факторы, в частности, государственная политика в области науки, важными компонентами которой в последние годы стали институциональные реформы вузовской («усиление науки в университетах») и академической («оптимизация РАН») науки [«Круглый стол» 2015].

В фокусе внимания исследователей эволюции отечественной политической науки не первый год находятся и процессы становления региональных научных школ [Политология в российских регионах 2001]. Системная характеристика ряда политологических школ, сложившихся в российских регионах, была представлена в тематическом номере журнала «Политическая наука» десять лет назад [см. Политическая наука... 2007], но интерес к этой теме не иссякает. Он «подпитывается» публикациями, приуроченными к 20- и 25-летию основания первых кафедр политологии в различных университетах. Их анализ позволяет судить о заметном продвижении в реализации потенциала развития, о появлении новых направлений исследований и новых лидеров научных направлений и утверждении профессиональной идентичности сообщества политических исследователей. Нередко в крупных вузовских городах возникало несколько «точек роста» политологии, и модели отношений между ними складывались разные — от сотрудничества до борьбы «всех против всех» [Шкель 2016: 19].

Модели, условия и функции взаимодействия экспертных сообществ и власти в подготовке, принятии и реализации политико-управленческих решений изучает А.Ю. Сунгуров. В контексте нашего исследования важно отметить выявленные им четыре функции, которые осуществляют экспертные сообщества: символическую (научообразное обоснование уже принятых решений); научное консультирование лиц, принимающих решения (сужение поля принимаемых решений и прогнозирование последствий); инновационную функцию (генерация и продвижение инноваций в поле политики); функцию гражданского активизма (непосредственное участие в социально-политических движениях или акциях) [Сунгуров 2015а: 59–60; 2015b; см. также: Роль экспертно-аналитических сообществ... 2017]. Автор доказывает, что к концу 1990-х годов в России стала устанавливаться «линейно-автономная» модель взаимодействия экспертного сообщества и власти. Затем, уже в новом столетии, фабрики мысли и близкие к ним структуры, лишенные независимых от государства финансовых ресурсов, стали исчезать прежде всего на региональном уровне, а затем этот процесс затронул и столицы. А.Ю. Сунгуров полагает, что корпоративные этические стандарты экспертного и академического сообщества — это императивное условие противостояния модели «оплаченного результата» [Сунгуров 2015а: 63].

Об огромном потенциале отечественной политической науки, которую делают «ее носители — ученые, теоретики, подвижники и популяризаторы знания», и о ее «детских болезнях» пишет А.И. Соловьев. Он видит в политической науке «форму национальной саморефлексии и инструмент объяснения социальных, властно значимых процессов» [Соловьев 2015: 12]. Размышляя об особенностях «национального видения политики», он оценивает неоднозначные последствия связи научных изысканий с «внутренней установкой на воспроизводство особого типа политической рефлексии», мотивированной стремлением «привести власть в государстве к “должной моральной норме”», исправить политическую систему и «утвердить специфический путь

исторического развития России». В результате существенным признаком профессии оказывается «пафос противостояния врагам и противникам», источник которого — «травматический характер профессиональной идентичности политологов» [там же: 13–14], несущей глубокий отпечаток исторической традиции противостояния и борьбы с идейными врагами.

Волнующие профессиональное сообщество проблемы развития политических исследований были подняты в ходе дискуссии о профессионализме в политической науке, начатой по инициативе М.В. Ильина в начале 2013 года предложением оценить «состояние отечественной политической науки на фоне мировых стандартов» и обсудить «наши собственные корпоративные критерии профессионализма» [см. Ильин 2013]. В открытой дискуссии приняли участие ведущие российские ученые, занимающиеся политическими исследованиями [см. Дискуссия 2012–2016]. В опубликованных на сайте РАПН статьях и репликах были подняты вопросы общественной роли и влияния сообщества на принятие политических решений, его реальной «продуктивности» и общественной значимости профессии, перспектив профессиональной ассоциации и развития профессионального политологического образования. В центре обсуждения оказались проблемы профессиональной этики и самого понимания профессионализма. Как отметила выступившая в дискуссии Е.Б. Шестопап, сегодня «есть немало проблем самой профессии, которые должны побудить нас к саморефлексии. И главный из этих вопросов: “Кто такой политолог?”, тем более актуальный, что в политологии представлена не одна, а множество профессиональных ролей» [Шестопап 2013].

Анализ и оценки современного состояния профессионального сообщества представлены в публикации петербургских ученых (одной из последних по теме на момент подготовки нашего издания), которые на основе обобщения собранных в ходе анкетирования и интервьюирования членов РАПН эмпирических данных приходят к выводу о том, что «политологическое сообщество в России становится более структурированным и дифференцированным, отражая позиционирование себя по отношению как к мировой политической науке, так и по отношению к власти», от которой политическая наука «не может абстрагироваться» [Карягин, Сунгуров 2016: 15]. Авторы считают, что практическое использование результатов политических исследований в условиях моноцентричного политического режима «зависит прежде всего от... властных структур», и это определяет особую значимость экспертной функции политологов [там же].

Полемизируя с такой постановкой вопроса о применении научного и экспертного знания, С.В. Патрушев указывает на то, что «адресатом знания о политике, как научного, так и экспертного, могут быть граждане, гражданское общество» и что «ключевым условием повышения роли политической науки и политологического сообщества является расширение компетентного и эффективного участия граждан в разных формах регулирования общественных отношений, в процессах российской трансформации» [Патрушев 2016: 156]. Выполнение этой задачи возможно на путях развития политического образо-

вания, в котором профессиональное сообщество может играть определяющую роль.

Таким образом, в последние годы не только артикулирована потребность сообщества политологов в саморефлексии, но и предприняты серьезные усилия по оценке приоритетов, проблем и ограничений его развития. Анализ профессиональной идентичности сообщества предполагает поиски ответов на продолжающие волновать тех, кто работает в этом поле, вопросы «кто мы?», «каковы перспективы профессии?». И, главное, как нарастить ее общественную значимость и позитивное влияние на динамику политических институтов, на их демократизацию и поддержку социальных инноваций, на формирование гражданской идентичности. Важно отметить, что основой сложных процессов формирования идентичности сообщества выступают социальный капитал профессии и человеческий капитал ее представителей, которые создаются многолетним самоотверженным трудом.

Литература

- Авдонин В.С. 2015. Политическая наука в институтах РАН: институциональное измерение и наукометрические показатели. — *Политическая наука*. № 3. *Социальные и политические функции академических и экспертных сообществ (ред.-сост. номера В.С. Авдонин, О.Ю. Малинова)*. С. 27–52.
- Альтернативный капитализм или альтернатива капитализму? (Проблемы концептуализации современного развития). 2012. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 7. С. 92–106.
- Антропология профессий: границы занятости в эпоху нестабильности*. 2012. Под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ. 236 с.
- Бронзино Л.Ю. 2016. Предварительные итоги 12-й конференции Европейской социологической ассоциации, или о пользе и вреде научных конференций. — *Социологический журнал*. Т. 22. № 1. С. 168–186.
- Воробьев Д.М. 2004а. Политология в СССР: формирование и развитие научного сообщества. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 169–178.
- Воробьев Д.М. 2004б. Развитие политологического сообщества в постсоветской России. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 151–161.
- Гаман-Голутвина О.В. 2000. Определение основных понятий элитологии. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 97–103.
- Гаман-Голутвина О.В. 2016. Политическая наука перед вызовами современной политики. К 60-летию САПН / РАПН. — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 8–28.
- Государственная служба России: диалог с обществом (иссл. коллектив: Атаманчук Г., Комаровский В., Тимофеева Л. и др.)* 1998. М.: РАГС.
- Дай Т.Р., Зиглер А.Х. 1984. *Демократия для элиты. Введение в американскую политику*. М.: Юридическая литература. 318 с.
- Дилигенский Г.Г. Интервью С.В. Патрушеву. 2015. — *История Российской ассоциации политической науки*. Под ред. С.В. Патрушева, Л.Е. Филипповой. М.: Издательство «Аспект-Пресс». С. 317–327.
- Дискуссия о профессионализме в политике и в политической науке*. 2013–2016. М.В. Ильин, С.В. Патрушев, А.И. Соловьев, А.П. Кочетков, Е.Б. Шестопал, А.Ю. Мельвиль, Ю.Г. Коргунюк и др. Доступ: <http://www.garph.ru/in.php?part=1&gr=1623> (проверено 01.02.2017).
- Ильин М.В. 1999. Десять лет академической политологии — новые масштабы научного знания. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 135–143.

Ильин М.В. 2013. Письмо о профессионализме. — *Дискуссия о профессионализме в политике и политической науке*. Эл. ресурс. Доступ: <http://www.rapn.ru/in.php?part=1&gr=1623&n=35&p=1&to=> (проверено 02.02.2017).

История Российской ассоциации политической науки (под ред. С.В. Патрушева, Л.Е. Филипповой). 2015. — *Российская политическая наука: истоки и перспективы (под общей ред. О.В. Гаман-Голутвиной)*. В 5 т. М.: Аспект-Пресс. М.: Аспект-Пресс. 360 с.

История российской политической науки. (под ред. Ю.С. Пивоварова, А.И. Соловьева). 2015. М.: Издательство «Аспект-Пресс». 470 с.

Карягин М.Е., Сунгуров А.Ю. 2016. Современное российское политологическое сообщество — первые шаги к анализу. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 8–20.

«Круглый стол» «Политическая наука в институтах РАН: история, современное состояние, перспективы». Социальные и политические функции академических и экспертных сообществ. — *Политическая наука*. № 3. Социальные и политические функции академических и экспертных сообществ. Ред.-сост. номера Авдонин В.С., Малинова О.Ю. С. С. 237–251.

Малинова О.Ю. 2006. Об опыте взаимодействия профессионального сообщества политологов с властью и гражданскими организациями. — *Публичная политика — 2006: Сборник статей / Под ред. А.Ю. Сунгурова*. СПб.: Норма, 2006. С. 42–54.

Малинова О.Ю., Патрушев С.В. 2008. Российские политологи как профессиональное сообщество (по материалам исследований Российской ассоциации политической науки, 2005–2007 гг.). — *Политическая наука в России: проблемы, направления, школы (1990–2007)*. 2008. М.: РАПН, РОССПЭН.

Малинова О.Ю. 2015. Кто формирует лицо профессии: Сравнительный анализ репрезентаций «политологов», «экономистов» и «историков» в российских печатных СМИ. — *Социальные и политические функции академических и экспертных сообществ. Политическая наука*. № 3. С. 225–237.

Морозова Е.В. 2013. Эффект «вращающихся дверей». — *Элитология: Энциклопедический словарь*. М.: Изд-во «Экон-Информ». С. 600–601.

Оболонский А.В. 2015. Этика и ответственность в публичной службе. — *Вопросы государственного и муниципального управления*. №1. С. 7–32.

Отечественная политология: Итоги XX века. 2001. Сборник научных трудов. Отв. ред. М.В. Ильин М.: ИНИОН РАН. 175 с.

Охотский Е.В. 2013. Политическая нейтральность и профессиональная ответственность государственного служащего. — *Публичное и частное право*. № III. С. 57–66.

Патрушев С.В. 2016. К вопросу об адресате знаний о политике. — *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 152–159.

Пляйс Я.А. 2009. *Политология в контексте переходной эпохи в России*. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 448 с.

Политическая наука в российских регионах: Формирование и развитие «точек роста». 2007. Сборник научных трудов. Ред. и сост. О.Ю. Малинова, Я.А. Пляйс, В.В. Смирнов М.: ИНИОН РАН. 197 с.

Политическая наука в России: проблемы, направления, школы (1990–2007). 2008. Редколлегия: О.Ю. Малинова (отв. ред.), С.В. Патрушев, Я.А. Пляйс, В.В. Смирнов. М.: РАПН, РОССПЭН. 463 с.

Политическая наука: новые направления. 1999. Под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна. Научный ред. русского издания Е.Б. Шестопаля. М.: Вече. 816 с.

Политическая наука перед вызовами глобального и регионального развития (под ред. О.В. Гаман-Голутвиной). 2016. — *Российская политическая наука: истоки и перспективы (под общ. ред. О.В. Гаман-Голутвиной)*. В 5 т. М.: Аспект-Пресс. М.: Аспект-Пресс. 672 с.

Политология в российских регионах. 1991–2000. 2001. Сборник материалов. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 238 с.

Понеделков А.В. 2011. Политическая компетентность в системе государственного управления: критерии, уровни, технологии реализации. — *Государственная служба. Вестник Координационного Совета по кадровым вопросам, государственным наградам и государственной службе при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе*. № 2. С. 22–32.

Резвин В.А. 2013. *Архитекторы и власть*. М.: Искусство — XXI век. 312 с.

Роль экспертно-аналитических сообществ в формировании общественной повестки дня в современной России. 2017. Сборник научных трудов. Под ред. О.Ю. Малиновой. М.: ИНИОН РАН.

Российская политическая наука: Идеи, концепции, методы. Под ред. Л.В. Сморгунова. 2015. — *Российская политическая наука: истоки и перспективы (под общей ред. О.В. Гаман-Голутвиной)*. В 5 т. М.: Аспект-Пресс. М.: Аспект-Пресс. 375 с.

Соловьев А.И. 2008. Исторические судьбы и перспективы российской политической науки. — *Российская политическая наука в 5 т. (под общей ред. А.И. Соловьева)*. Т 1. XIX — начало XX века. М.: РОССПЭН. С. 5–28.

Соловьев А.И. 2015. Российская политология в современном контексте: субъективные заметки. — *Вестник Поволжского института управления*. № 6 (51). С. 10–16.

Структурные трансформации и развитие отечественных школ политологии (под ред. О.В. Гаман-Голутвиной). 2015. — *Российская политическая наука: истоки и перспективы (под общей ред. О.В. Гаман-Голутвиной)*. В 5 т. М.: Аспект-Пресс. 464 с.

Сунгуров А.Ю. 2015а. Экспертные сообщества и власть: модели взаимодействия, основные функции и условия их реализации. — *Политическая наука*. № 3. С. 53–70.

Сунгуров А.Ю. 2015б. Как возникают политические инновации: «фабрики мысли» и другие институты-медиаторы. М.: Политическая энциклопедия. 384 с.

Фадеева Л.А. 2012. Кто мы? Интеллигенция в борьбе за идентичность. М.: Новый хронограф. 320 с.

Шестопа Е.Б. 1999а. Трансформация политологического сообщества в постсоветской России. — *Вестник Московского государственного университета. Серия 18. Социология и политология*. № 1. С. 23–39.

Шестопа Е.Б. 1999б. Мировая политология в российском контексте. — *Политическая наука: Новые направления*. Под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна. Науч. ред. русского издания Е.Б. Шестопа. М.: Вече. С. 9–18.

Шестопа Е.Б. 2013. К вопросу о профессиональной идентичности российского политолога. — *Дискуссия о профессионализме в политике и политической науке*. Электронный ресурс. Доступ: <http://www.gapn.ru/in.php?part=1&gr=1623&d=4171&n=35&p=0&to=> (проверено 02.02.2017).

Шкель С.Н. 2016. Российская политология сегодня: универсальные тенденции и региональная специфика. — *Экономика и управление: научно-практический журнал*. № 4 (132). С.16–23.

Brown W. 2010. Political Theory Is Not a Luxury: A Response to Timothy Kaufman-Osborn's "Political Theory as a Profession". — *Political Research Quarterly*. Vol. 63. No 3. P. 680–685.

Capano G. and Verzichelli L. 2010. Good but Not Enough: Recent Developments of Political Science in Italy. — *European Political Science*. Vol. 9. No 1. P. 102–117.

Capano G. and Verzichelli L. 2016. Looking for Eclecticism? Structural and Contextual Factors Underlying Political Science's Relevance Gap: Evidence from the Italian Case. — *European Political Science*. Vol. 15. No 2. P. 211–232.

Connolly W.E. 1967. *Political Science and Ideology*. New York: Atherton Press. 179 p.

Gaman-Golutvina O. 2009. Contradictions between Freedom and Development: Historical and Contemporary Dimensions. — Dyczok M. and Gaman-Golutvina O. (eds.) *Media, Democracy and Freedom: The Post-Communist Experience*. Bern: Peter Lang. P. 43–76.

Farr J., Hacker J. S., Kazee N. 2006. The Policy Scientist of Democracy: The Discipline of Harold D. Lasswell. — *American Political Science Review*. Vol. 100. No 4. P. 579–587.

Handbook of Career Studies. 2007. Ed. by H. Guntz and M. Peiperl. Los Angeles, CA: Sage. 648 p.

Handbook of Career Theory. 1989. Ed. by M.B. Arthur, D.T. Hall and B.S. Lawrence. New York: Cambridge University Press. 549 p.

Kaufman-Osborn T.V. 2010. Political Theory as Profession and as Subfield. — *Political Research Quarterly*. Vol. 63. No 3. P. 655–673.

Keohane R.O. 2009. Political Science as a Vocation. — *Political Science and Politics*. Vol. 42. No 2. P. 359–363.

Melanson Ph. H. 1972. The Political Science Profession, Political Knowledge and Public Policy. — *Politics & Society*. Vol. 2 No 4. Summer. P. 489–501.

- Pasquino G. 1997. *Corso di scienza politica*. Bologna: Il Mulino. 276 p.
- Pasquino G. 2009. *Nuovo corso di scienza politica*. Bologna: Il Mulino. 384 p.
- Rehfeld A. 2010. Offensive Political Theory. — *Perspectives on Politics*. Vol. 8. No 2. P. 465–486.
- The World of Political Science. A Critical Overview of Political Studies around the Globe: 1990–2012*. 2012. Ed. by J. Trent, M. Stein. Leverkusen: Barbara Budrich Pub. 188 p.
- Verzichelli L. 2014. Signs of Competitiveness? The presence of Italian research in international political science journals. — *Italian Political Science*. Vol. 9. No 2. P. 37–43.

Глава 38

КТО МЫ? ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКИХ ПОЛИТОЛОГОВ

*И.С. Семененко,
И.В. Самаркина,
Е.В. Морозова*

Ключевые слова: профессиональная идентичность, политология, политолог, образ профессии, маркеры идентичности, траектории вхождения в сообщество, профессиональная социализация, университет, институты РАН, Российская ассоциация политической науки

В завершение многомерного исследования теоретических и методологических оснований концептуализации идентичности и тенденций динамики социальных идентичностей в современном мире авторы представляют результаты эмпирического анализа жизненных траекторий и индивидуальной идентичности членов сообщества, к которому они сами принадлежат. Вопросы о критериях профессиональной принадлежности рассматриваются нами как с точки зрения значимости профессии для ее носителей, так и в целях оценки ее влияния на траектории общественного развития. Обобщение и представление новых знаний о сообществе — это и попытка сделать шаг вперед в изучении процессов формирования его профессиональной идентичности, показать на материалах конкретного исследования, как концепт идентичности «работает» в социальных науках, и, в частности, в политических исследованиях.

В условиях постоянно меняющейся социальной реальности ответом на внутренние и внешние вызовы для российской политической науки оказывается постоянная саморефлексия, выявление приоритетов и поиски адекватных механизмов развития и структурирования растущего сообщества исследователей политики. Авторы не претендуют на полноту охвата всего спектра исследовательских групп, центров и лиц, работающих в настоящее время в сфере политического анализа. В фокусе внимания — часть сообщества, связанная с исследовательскими подразделениями академической и университетской науки, центрами профильного образования в обеих столицах

и в ряде регионов, где наиболее активно проводятся политические исследования и ведется подготовка кадров по направлению «политология».

Теоретические подходы, методология и методы представляемого исследования

Первая фрагментарная попытка наметить проблемы изучения профессиональной идентичности сообщества была предпринята участниками данного исследования еще в 2010 году в ходе конференции «Идентичность как предмет политического анализа», собравшей исследователей политической идентичности и других близких к этой проблематике специалистов в ИМЭМО РАН [см. Фадеева, Семененко 2011: 286–287]. Тогда был поставлен вопрос о приоритетных сферах самоидентификации небольшой группы исследователей идентичности. Анкетирование выявило вовлеченность ученых в разные формы гражданской активности, в деятельность профессионального сообщества (РАПН) и дискуссионных клубов, а также в работу экспертных структур. По итогам обсуждений приоритетов профессиональной деятельности в этой сфере была создана Экспертная сеть по исследованию идентичности¹. Ответом на потребность в самоорганизации этого участка исследовательского поля политической науки стало создание Исследовательского комитета РАПН по политической идентичности, а также подготовка тематического двухтомника, посвященного исследованиям политической идентичности [Политическая идентичность и политика идентичности 2011; 2012]. Однако проблемы профессиональной идентичности исследовательского сообщества в нем затронуты не были.

Изучение идентичности профессиональных сообществ — это всегда работа в междисциплинарном поле психологии, социологии и предметном поле профессии, которая является объектом анализа (в нашем случае — в поле политической науки). Не ставя задачу детального обзора подходов к изучению профессиональной идентичности, отметим наиболее важные теоретические сюжеты. Исследование профессиональной идентичности политологического сообщества имеет теоретические основания в феноменологии А. Шюца; социологии профессий (М. Вебер, Э. Дюркгейм, П. Бурдьё, П. Бергер, Т. Лукман, Э.Ч. Хьюз); психологических теориях личности и социальной идентичности (З. Фрейд, Э. Эриксон, Дж. Марсия и др.). Анализ идентичности профессионального сообщества тесно связан с изучением профессий и профессионализма, критериями которого являются знания и умения в профессиональной сфере, наличие общественной потребности, которую удовлетворяет профессия, ее общественное признание и оценка, сложившиеся этические нормы.

По сути, исследования профессиональной идентичности — это антропологические опыты познания картины мира людей одного круга занятий,

¹ См. Экспертная сеть по исследованию идентичности. Доступ: identityworld.ru.

попытка описать ее в общих аналитических категориях, образах и моделях поведения. Именно в сообществе (внутреннем мире профессии), зачастую закрытом от посторонних глаз, производятся и воспроизводятся коллективные идентичности. Представителей творческих профессий отличает потребность в саморефлексии, закладывающей ориентиры общей идентичности.

На процесс формирования и состояние идентичности профессионального сообщества влияет ряд факторов. С одной стороны, субъектные (внутренние) факторы, связанные с представлениями носителей соответствующей идентичности о себе, например, позитивный образ Я в профессии. С другой стороны, социальные (внешние) факторы, имеющие отношение к социальному и политическому контексту, в котором живет и развивается профессия. Это и демографические процессы, и социальная дифференциация общества, и состояние экономики, во многом определяющее статус профессии, отражающийся в заработной плате, мнении окружающих, характере самоощущения, и отношении ближайшего окружения (родителей, друзей, референтной группы).

Профессиональная идентичность человека фиксируется в когнитивно-эмоционально-поведенческих самоописаниях Я. Таким образом, ее основными составляемыми выступают представления о функциональных возможностях в профессии (Я и Дело); имеющиеся, налаженные процессы профессиональной коммуникации с представителями профессии (Я и Другие); представления относительно собственных возможностей (интеллектуальных, психологических, физиологических) в профессии. Эти представления фиксируются целым рядом маркеров профессиональной идентичности.

Исследование профессиональной идентичности сообщества политологов как области пересечения коллективной и индивидуальных идентичностей — пример соприкосновения макро- и микроуровней анализа. Преимущества такого подхода к анализу профессионального сообщества в том, что он позволяет объединить два среза анализа и посмотреть на «идентичность политолога» (какое место занимает профессиональная идентичность в структуре личностной идентичности) и одновременно — на «идентичность политологов», увидеть место и роль сообщества в российском социуме так, как это видится самим носителям идентичности. Идентичность профессионального сообщества политологов проявляется в общности осознаваемых проблем (социума и сообщества) и в поисках общих путей решения этих проблем. Такие поиски вписываются носителями идентичности в индивидуальные жизненные стратегии.

Наш собственный опыт изучения профессионального сообщества политологов «изнутри» имеет серьезные преимущества — мы сами носители этой идентичности и включены в сообщество, знаем его проблемы и можем реагировать на самые острые вопросы. И в то же время налицо и понятные ограничения: ситуация включенности исследователей в изучаемый дискурс может усиливать субъективизм в интерпретации данных. Поэтому максимально возможное место в представляемом ниже материале отведено «живым голо-

сам» самих профессионалов — политических исследователей. Как справедливо отмечают авторитетные российские исследователи в обзоре развития российской политической науки по состоянию на конец 2000-х годов, «все достижения и неудачи академического знания выражаются сегодня в конкретных результатах российских ученых, в их научных судьбах... то, что через очертания конкретных научных биографий можно проследить и увидеть особенности современной стадии научного развития — в равной степени оправданно и справедливо» [Мельвиль, Соловьев 2008: 16]. В нашем исследовании мы исходили именно из такой посылки, ни в коей мере не утратившей актуальности.

Для сбора эмпирической информации были использованы полуструктурированные интервью. Всего было проведено 25 интервью продолжительностью от одного до полутора часов. Информанты подбирались с учетом представленности в качественной целеориентированной выборке возрастных групп, гендерной принадлежности, столиц и регионов (тех, где есть заметные направления политических исследований), а также разных направлений исследований (субдисциплин) и институциональной принадлежности к университетской либо академической науке. Участники исследования представляли 4 столичных (Москвы и Санкт-Петербурга) и 13 региональных университетов, 3 института РАН. Специфика качественной целеориентированной выборки, применяемой в нашем исследовании, состоит в представленности информантов с ключевыми для наших выводов социально-статусными, ролевыми и институциональными характеристиками, чем достигается содержательная (не путать с количественной) репрезентативность данных.

Интервью проводились в период с ноября 2015 по май 2016 года в Москве (на конференциях) и других городах методом face-to-face². Вопросник интервью включал тест Куна-Маркпартленда³; разделы, позволяющие описать траектории, мотивы и механизмы вхождения в профессиональное сообщество и формирования профессиональной идентичности; ее маркеры; социальные функции; критерии дифференциации и основные проблемы. Для обобщения эмпирической информации использовалась качественная стратегия анализа данных.

² Авторы статьи выражают искреннюю благодарность коллегам — анонимным информантам и интервьюерам — участникам нашего проекта (Мирошниченко Инне Валерьевне, Гнедаш Анне Александровне, Плотичкиной Наталье Викторовне, Харитоновой Елене Марковне, Бардину Андрею Леонидовичу, Довбышу Евгению Геннадьевичу), а также студентам Кубанского государственного университета, участвовавшим в расшифровке данных.

³ Тест Куна-Маркпартленда используется для изучения содержательных характеристик идентичности личности и предполагает ответы опрашиваемого на вопрос о себе: «Кто Я?» по ряду позиций.

Профессиональная идентичность сообщества глазами его представителей

В системе личностных идентичностей представителей нашего профессионального сообщества позиция «политолог», «исследователь политики», «преподаватель политологии» и их производные находится преимущественно в первой половине десяти позиций теста Маркпартленда наряду с гендерной и семейной идентичностями.

Образ профессии

Идентичность представителей политологического сообщества, предъявляемая для внутреннего пользования (в профессиональном сообществе или шире — в академической или университетской среде) — и для внешнего позиционирования (классический пример — ответ на вопрос: *Чем вы занимаетесь?* попутчику), как правило, отличаются. Мы начали исследование с поиска объяснений того, почему это происходит и о чем это говорит в плане развития сообщества. *«Я просто боюсь говорить о своей профессии человеку, далекому от нашей научной или образовательной сферы... боюсь, что кто-то прицепится с битвой: что такое политика, насколько хороши Путин и насколько плох Обама... А если я общаюсь с людьми, в чьей компетенции я уверена, я скажу с гордостью: “Я — политолог”»* (женщина, 61 год, представитель регионального университета).

Многие участники нашего исследования отмечали, что предпочитают не называть свою профессию, представляясь в незнакомой компании. *«Давно перестал это делать в таких компаниях, где меня практически не знают. Вот, например, в купе поезда, если признаться, что ты политолог, на тебя “повесят” все: политику Путина, деятельность исламистов или еще что-нибудь, в зависимости от политических взглядов человека»* (мужчина, 46 лет, представитель регионального университета). *«Я не очень люблю это делать, все сразу начинают интересоваться, как я оцениваю что-то происходящее в современном мире. Честно говоря, на эти сюжеты говорить не всегда хочется»* (женщина, 47 лет, москвичка, представитель института РАН).

Этот показательный сюжет отражает очень важную проблему становления профессионального сообщества — проблему рассогласованности внутреннего и внешнего образа профессии. *«Не скрываю, конечно, что я — политолог. Однако очень чувствуется, что некоторое недоумение у людей по поводу нашей профессии существует»* (мужчина, 41 год, представитель регионального университета).

Еще один показательный сюжет, иллюстрирующий проблемы восприятия профессии в российском обществе, — это отношение представителей сообщества к выбору профессии детьми. Некоторые участники исследования категорически против того, чтобы их дети избрали эту профессию. *«Политолог — это тот человек, который годами нарабатывает собственные ресурсы и авторитет,*

и его профессиональный капитал требует очень много вложений, чтобы на выходе получить себя в профессиональном плане, во всех отношениях компетентного и сложившегося. Для этого надо очень много ресурсов: материальных, организационных, мобилизационных, интеллектуальных. Я бы не хотела, чтобы мои дети жили в таком темпе» (женщина, 38 лет, представитель регионального университета). Некоторые отмечали «неосвязаемость» результатов работы политологов: *«Я бы хотел, чтобы мои дети приносили практическую пользу: строили мосты или были архитекторами»* (мужчина, 33 года, петербуржец, представитель университета). Меньшая часть участников придерживается, однако, противоположного мнения: *«Если они (дети) захотят, я, конечно, поддержу. Я считаю, что лучшей профессии нет. Это не профессия, а образ жизни, который имеет свои сложности, но который полностью меня устраивает. Зато не надо к 8 часам на работу идти (смеется). Знаете, это и такая свобода, и несвобода»* (мужчина, представитель регионального университета).

Маркеры профессиональной идентичности

Обсуждение ответа на вопрос «Кто такой политолог?» позволило нам выделить значимые характеристики образа профессионала — политолога:

— классическое фундаментальное образование: *«Это человек с высоким уровнем образования, полученного не в педагогическом вузе, а в классическом университете»* (мужчина, 46 лет, представитель регионального университета); *«Это человек, который очень много читает и постоянно работает с широким кругом источников: статьи, книги, материалы Интернета»* (женщина, 47 лет, москвичка, представитель института РАН);

— владение знанием в сферах смежных социально-гуманитарных наук: *«Нельзя замыкаться в рамках своей специальности и даже нашей науки; важна междисциплинарность»* (женщина, 61 год, представитель регионального университета). *«Настоящий политолог имеет широкую фундаментальную гуманитарную подготовку, если он только в русле политологии развивается, я думаю, что он сам себя обкрадывает»* (женщина, 57 лет, представитель регионального университета);

— комплекс системных профессиональных знаний, умений, которые сложились в особые компетенции: *«Политолог должен осознавать и понимать, что без теории, без методологии, без понимания того, что такое эмпирическое исследование, ему будет очень трудно в академическом мире»* (мужчина, 46 лет, представитель регионального университета). *«Настоящий политолог — это ученый в классическом смысле слова — именно ученый, исследователь, а не комментатор событий»* (мужчина, 41 год, представитель регионального университета). *«Профессиональные знания — методология, терминология, предмет исследований, всем этим нужно владеть. Причем специалистом не будет тот, кто знает только русскоязычную традицию, надо знать зарубежные традиции»* (мужчина, 30 лет, москвич, представитель университета); *«Настоящий политолог может работать на всех трех уровнях: теоретико-фундаментальном, инструментально-*

эмпирическом и прикладном; если он может выполнять эти три группы задач, значит, он — профессионал» (женщина, 38 лет, представитель регионального университета).

— профессиональная оптика во взгляде на мир: политолог *«может придумать новые идеи; это человек, который может мыслить разными масштабами»* (женщина, 47 лет, москвичка, представитель института РАН). *«Увидеть взаимосвязи там, где другие их не видят — очень важный талант для политического исследователя»* (женщина, 43 года, представитель регионального центра РАН).

— практические знания о том, как реально функционирует система власти и управления: *«Наука не может существовать без экспериментов. Естественно, в социальных науках проводить эксперименты сложно, почти невозможно. Поэтому политологи должны быть рядом с акторами, непосредственно участвующими в этой политике, чтобы наблюдать, что происходит в реальном времени»* (мужчина, представитель регионального университета);

— социальная ответственность: *«Я с годами все больше ощущаю ответственность за поколение, которое мы учим, которое мы готовим. Думаю о том, как они себя поведут? Попытаются ли изменить что-то в лучшую сторону?»* (женщина, 61 год, представитель регионального университета). *«Для меня очень важно работать с молодежью, иметь учеников, с которыми ты можешь делиться не только умениями вести научное исследование, но и представлениями о научной этике, о роли объективного научного знания в современной жизни, об ответственности человека за свое дело»* (женщина, 58 лет, москвичка, представитель института РАН);

— этические принципы: *«Если человек бесчестен, если он не придерживается твердых моральных принципов, то истина ему не открывается. Политической наукой надо заниматься чистыми руками и чистым сердцем»* (мужчина, 58 лет, представитель регионального университета);

— ценностный выбор и равнодушное отношение к профессии: *«Политолог в профессиональном плане — космополит, но это не мешает ему быть патриотом своей страны. Это тоже, безусловно, важное качество, потому что нельзя без чувств относиться к предмету своих изысканий»* (женщина, 57 лет, представитель регионального университета).

Участникам исследования было предложено дать определение профессиональной идентичности и назвать значимые маркеры профессиональной идентичности сообщества. Мы сгруппировали упомянутые маркеры в четыре основные группы: социально-статусные, личностно-психологические, профессионально-компетентностные, а также внутренние и внешние социальные маркеры.

К статусным маркерам участники исследования отнесли образование и образованность. Хотя необходимость и/или достаточность базового политологического образования в сообществе вызывает дискуссии, участники исследования говорили о желательности базового образования и обязательности широкой гуманитарной подготовки как маркеров профессиональной идентичности.

В качестве важных личностно-психологических характеристик профессиональной идентичности политологов были названы две: интерес к политике, который определяет фокус зрения на окружающую действительность не только «на работе», но и «в жизни»: *«Тебе именно на профессиональном уровне интересны политические процессы»* (женщина, 47 лет, москвичка, представитель института РАН), а также внутренняя удовлетворенность работой и результатами своей деятельности: *«Для меня профессиональная идентичность — собственная удовлетворенность, это удовлетворенность, которая приносит тебе доход, позволяющий существовать тебе и твоей семье; а если приносит доход — значит, ты кому-то нужен»* (мужчина, 46 лет, представитель регионального университета).

Значимые профессионально-компетентностные маркеры участники исследования отмечали с разной степенью конкретизации. Одни говорили о том, что компетенции прописаны в профессиональных стандартах. Другие отмечали, что маркером является *«преподавание общественных дисциплин или изучение общественной сферы»* (мужчина, 35 лет, представитель регионального университета), *«реальная профессиональная деятельность, связанная с политикой»* (мужчина, 64 года, представитель регионального университета). Однако в качестве наиболее важного профессионально-компетентностного маркера называлась способность создавать новое знание, готовить учеников, оставлять после себя «профессиональные следы»: *«Важным маркером идентичности... является желание оставить что-то после себя: ...содержательный след должен быть: кто-то может оставить публикации, кто-то — методики, кто-то — выращенных студентов, но главное, чтобы мы задумывались о будущем нашей профессии»* (мужчина, 35 лет, представитель регионального университета).

Социальные маркеры профессиональной идентичности политологов мы разделили на две группы — внутренние и внешние. Важнейшим внутренним социальным маркером, несомненно, является включенность в профессиональное сообщество. Об этом говорили практически все участники исследования, отмечая важность сообщества в процессе формирования профессиональной идентичности: *«Мне кажется, профессиональная идентичность вне сообщества не может формироваться. Человек, получивший образование политолога или степень кандидата политических наук, не почувствует себя политологом, пока не поймет, что он в сообществе. Он станет отдавать сообществу и разделять ресурсы сообщества»* (женщина, 38 лет, представитель регионального университета).

Чтобы быть значимой для профессионала, включенность в сообщество как внутренний социальный маркер не может быть формальной (например, формальное членство в профессиональной ассоциации), она должна происходить на уровне ценностей, миссии, понимаемых и разделяемых задач, чувства принадлежности к кругу тех, кто ищет ответы на определенный круг вопросов и имеет общую сферу профессиональных интересов: *«Профессиональная идентичность — это понимание миссии своей и профессионального сообщества, которому ты принадлежишь, понимание целей и задач того, чем ты*

занимаешься, принадлежность к определенному профессиональному сообществу и встроенность в систему институциональных отношений, которые определяют твой профессиональный статус и твоё позиционирование в среде» (женщина, 38 лет, представитель регионального университета).

Конкретным внутренним маркером профессиональной идентичности была названа узнаваемость в профессиональном кругу: *«Когда твои коллеги (не на кафедре, не в узком профессиональном кругу) начинают идентифицировать тебя по имени и отчеству. Это показатель того, что ты вошел в “сеть”»* (женщина, 57 лет, представитель регионального университета).

Внешние маркеры профессиональной идентичности политологов участники исследования связывают с выполнением членами сообщества значимых социальных функций-связей: между наукой и практикой, между наукой и властью, между наукой и молодым поколением (студентами).

Участники исследования отмечали, что важным признаком принадлежности к сообществу является соединение профессионального знания и умения применять это знание на практике. Причем, по мнению абсолютно всех опрошенных, эти два слагаемых находятся в неразрывном единстве. В отсутствие одного из них (знаний или практического опыта) человек вряд ли может считать себя политологом: *«Важный маркер идентичности — практическое применение и переосмысление теории. И неважно, как ты это делаешь: в качестве исследователя или как советник при губернаторе»* (мужчина, 35 лет, представитель регионального университета).

С этой характеристикой связан еще один признак профессиональной идентичности — публичность: *«Истинный политолог должен быть человеком публичным в части изложения своих экспертных оценок, в части высказывания своих мнений и суждений, а, может быть, даже и прогнозов»* (мужчина, 64 года, представитель регионального университета).

Умение донести знание до аудитории и быть правильно понятым также отнесено к важным внешним маркерам профессии: *«Для политолога важный признак — создавать новое и способность доносить эти мысли до аудитории: общества, профессионального сообщества, студентов»* (женщина, 38 лет, представитель регионального университета); профессионалы *«должны быть ориентированы на то, чтобы с высот академических эту (общественно-политическую) проблематику выводить на уровень массового сознания и говорить с носителями массового сознания»* (женщина, 38 лет, представитель регионального университета).

Траектории и механизмы вхождения в сообщество

Современное состояние сообщества объективно таково, что в нем есть представители разных «поколений» политологов: имеющие и не имеющие, как принято говорить сейчас, «базовое» образование. Базовое политологическое образование в различных университетах страны получило менее трети участников исследования, все они считают это своим преимуществом в конкурентной ситуации в профессиональном сообществе. *«Такие политологи... как политологи*

изначально, они чуть более узко специализированные специалисты... про политику знают, наверное, чуть больше, чем политологи-историки или политологи-философы» (мужчина, 31 год, представитель регионального университета).

Большинство опрошенных получили высшее образование разной гуманитарной направленности (история, международные отношения, философия, социология, филология, культурология, журналистика), но с юношеских лет испытывали особый интерес к политической жизни, который проявлялся позже в самых разных формах. Одни выбирали темы дипломов на стыке истории и политического анализа, журналистики и политологии, другим было тесно в методологических рамках тех наук, которые они изучали. *«Чего мне недоставало у историков с первого курса... так это теоретических обобщений. Шел поток фактов: древний мир, средние века, новое время. А у меня все время возникали вопросы: "А почему это? А как это? Как это для сегодняшнего дня?"»* (женщина, 61 год, представитель регионального университета). *«У меня была базовая культурологическая подготовка, а затем захотелось посмотреть, насколько культурологические концепты совмещаются в применимых политиках»* (мужчина, 64 года, представитель регионального университета). *«Первое мое образование — романо-германская филология. Можно сказать, что она повлияла на выбор дальнейшего профиля, потому что меня все время привлекает изучение опыта других стран. Первое образование дало мне конкурентное преимущество в виде двух языков, которые можно использовать в профессиональной сфере»* (женщина, 57 лет, представитель регионального университета).

Кроме того, в сообществе есть люди, которые пришли в политическую науку через практику эмпирических исследований из негуманитарных сфер: естественных, технических наук, военного дела. *«Я физик-математик. В процессе учебы заинтересовался тем, как воздействует информация на человека. Каким образом создаются и ведутся информационные войны?»* (мужчина, представитель регионального университета).

Профессиональные траектории, отражающие «вход» в профессиональное сообщество, различны: часть из них — линейна, другие вариативны и нелинейны. Факторы, которые способствовали входу в профессию, можно разделить на две группы: системные (социальные, личностные, отражающие особенности сообщества) и случайные.

Важную роль в формировании интереса к политике как сфере профессиональной деятельности сыграло состояние общества на рубеже веков и открывшиеся возможности личного участия в этих процессах: *«В 1990-х годах уже бушевала перестройка, уже не было таких жестких идеологических канонов, которые надо было непременно соблюдать»* (женщина, 61 год, представитель регионального университета). *«Казалось тогда, что будем строить молодую Россию, демократию»* (женщина, 43 года, представитель регионального центра РАН). *«Начиналась перестройка, это подхлестнуло интерес, я очень много читал, многие заново открывали для себя историю, заново открывали политику, и это очень подщрялось в школе»* (мужчина, 44 года, представитель регионального университета). *«Было ощущение сопричастности и желания это новое ис-*

следовать, рассмотреть, чем оно отличается от таких же процессов, которые происходят в других странах» (женщина, 57 лет, представитель регионального университета).

Многие участники исследования отмечали влияние близкого круга на ранних этапах социализации. Это, прежде всего, интерес к политике, привитый родителями или школьными учителями: *«На меня очень сильное влияние оказал отец, хотя он был против того, чтобы я занимался политической наукой...» (мужчина, представитель регионального университета).* *«Родители были из связанной с внешней политикой профессиональной среды, и она с детства казалась естественной средой обитания» (женщина, 58 лет, москвичка, представитель института РАН).* *«Дома очень активно интересовались политикой. Папа выписывал “Известия”. Еще шутили, что в “Правде” нет известий, в “Известиях” нет правды» (мужчина, 44 года, представитель регионального университета).* А также отмечалось влияние ученого-наставника в университете на этапе профессиональной социализации (с благодарностью были названы многие имена).

В целом открытость профессионального сообщества оказалась для многих важным фактором, определившим пути в профессию: *«Мне помогли открыть дверь в научное сообщество многие люди, которых я назвал. Их расположенность, открытость и стремление помочь новичку, интересующемуся политикой, облегчило мне вхождение в наше сообщество» (мужчина, 64 года, представитель регионального университета).*

Некоторые профессиональные траектории сложились не без случайного стечения обстоятельств: наличие места в бюджетной аспирантуре или ставки на кафедре, то есть при других обстоятельствах люди могли бы стать историками или философами. *«Это не была любовь с первого взгляда, это сложно назвать призванием...» (женщина, 43 года, представитель регионального центра РАН).*

Дальнейшие траектории профессионального развития не слишком отличаются: аспирантура/ докторантура, преподавательская работа, часто экспертно-консультационная деятельность. Шесть участников исследования имеют солидный опыт работы в избирательных компаниях, четверо осуществляли социологические или маркетинговые проекты, четверо сотрудничают со СМИ как аналитики или политические обозреватели, у двух за плечами опыт государственной гражданской службы, ряд коллег вошли в состав региональных общественных палат, многие работают в различных экспертных советах при органах власти, в конкурсных комиссиях. *«Большим таким кусочком моей деятельности в последнее время является общение с средствами массовой информации, я даю интервью, экспертные оценки, и это составляет значительную часть моей деятельности. Иногда я выдыхаюсь после этих интервью гораздо больше, чем после лекций» (мужчина, 46 лет, представитель регионального университета).*

Социальные функции сообщества

Важным фактором консолидации сообщества являются представления о роли профессии в обществе и социальных функциях сообщества. Относительно этих позиций в сообществе политических исследователей сложился консенсус вокруг понимания той роли, которую играет сообщество в социуме.

Участники исследования отметили ряд наиболее важных функций:

— научно-образовательную, продвижение в понимании общества, в котором мы живем, производство и распространение новых знаний и смыслов: «Основная созидательная наша функция заключается в том, что мы развиваем и продвигаем знания об общественных процессах» (женщина, 47 лет, москвичка, представитель института РАН);

— воспитательную функцию, влияние на формирование личностной позиции молодежи и помощь в ориентации в пространстве общественных процессов: «Я вижу свою работу в социализации студентов, в воспитании в них критического разума; различать манипуляции, не становиться жертвами политических игр и делать осознанный выбор. Я вижу свою миссию именно так» (женщина, 57 лет, представитель регионального университета);

— прогностическую: «Исследования должны вычленять инновационные точки роста, чтобы впоследствии это было отражено в стратегических документах» (женщина, 38 лет, представитель регионального университета). «Мы как ученые, мы как интеллектуалы, которые существуют, в том числе и на деньги налогоплательщиков, имеем возможность предвидеть, артикулировать проблемы, которые [на уровне обыденного сознания] пока не видны» (мужчина, 46 лет, представитель регионального университета);

— экспертную: «Политологи — это люди, которые выполняют функцию ре-визии тех реалий, которые существуют и намечают, соответственно, варианты коррекции ситуации» (женщина, 43 года, представитель регионального центра РАН). «Мы работаем на стабильную систему, поэтому мы должны видеть то, что плохо и видеть то, что можно и нужно исправлять. Мы должны поставить зеркало рефлексии, в котором система увидела бы себя в своем безобразии и своей прекрасности» (женщина, 43 года, представитель регионального центра РАН).

— коммуникативно-инструментальную, которая находит отражение в развитии самого сообщества: «Если сравним уровень политологического научного знания, который мы имели в начале 1990-х годов, и тот уровень, который имеем сейчас, увидим существенное продвижение вперед. Мне кажется, это основное достижение» (женщина, 47 лет, москвичка, представитель института РАН);

В целом полезность самой профессии в нынешнем российском обществе никто из участников под сомнение не поставил, но тревожные нотки за ее судьбу звучали во многих интервью: «Полезность — она есть. Но сегодня тенденции очень разные. Вот Узбекистан, например, объявил, что с первого сентября политология отменяется. Я не удивлюсь, если еще кто-нибудь из наших соседей

пойдет по этому пути. Надеюсь, что Российская Федерация никогда к таким мерам прибегать не будет» (мужчина, 46 лет, представитель регионального университета).

Оценки состояния профессионального сообщества

Важной составляющей профессиональной идентичности выступают представления членов сообщества о состоянии сообщества, своего рода консолидированный ответ на вопросы: «Где МЫ находимся сейчас?», «Куда МЫ идем?»

Дифференциация профессионального сообщества — это неоспоримый факт, так считает большинство участников исследования. Наиболее часто упоминается дифференциация центр — регионы: «Во многом состояние исследований в Москве и Санкт-Петербурге являются неким таким ориентиром и, отчасти, оно определяет лицо политической науки России в целом. В региональных центрах тоже есть достойные ресурсы и мозги» (женщина, 47 лет, москвичка, представитель института РАН). «Столица дает больше информации, больше профессионального общения, особенно для тех, кто знает английский. Они часто выезжают за границу, слышат там иностранных коллег, вносят свое, обогащаются и ощущают себя значимее остальных» (женщина, 61 год, представитель регионального университета). Один из респондентов рассказал о реплике приехавшего в регион представителя столичных академических кругов: «“Ну что вы все тут рассуждаете о мировых проблемах, пишете о том, что у вас под ногами”, в том смысле, что в регионах должны заниматься только региональными исследованиями. Я ему так довольно резко возразила: “А с чего это вы решили, что это ваша привилегия?”» (женщина, 61 год, представитель регионального университета). «У регионалов есть интеллектуальные ресурсы, связанные с мобилизацией собственного регионального сообщества. Но их статус в научном сообществе зависит от расположения к ним москвичей, по большому счету» (женщина, 38 лет, представитель регионального университета).

Отношение к региональным политологическим школам было высказано разное. Для определения школ необходимо, по мнению участников исследования, учитывать не только количественный критерий, но и другие факторы: «Школа — это уже сложившееся сообщество, показавшее в регионе результаты, которое может длительный период времени сохраняться и развиваться. Это очень сложно сделать, потому что людей в регионе мало» (мужчина, 35 лет, представитель регионального университета). Среди региональных школ наиболее часто упоминались пермская, екатеринбургская, краснодарская, воронежская, казанская, ростовская, алтайская. Подчеркивалось, что социальная функция региональных политологических школ состоит в том, что они играют «существенную роль и в развитии политической науки в целом в России, и в формировании интеллектуального облика сообщества, не только политологического, но и общества регионального в широком смысле» (женщина, 47 лет, москвичка, представитель института РАН).

Второй по значимости коллеги видят дифференциацию по тематике политологических исследований и исследовательским подходам: *«Политическая наука — это сложная составная область деятельности, где существует масса дискуссий и разногласий. Порой ученым сложно прийти к компромиссу, найти общий язык, потому что есть вещи, связанные с разным взглядом на природу и специфику научных исследований»* (женщина, 47 лет, москвичка, представитель института РАН). При этом подчеркивалось, что общение ученых, занимающихся близкой проблематикой, более плотное, и такие малые сообщества зачастую институционализированы в форме исследовательских комитетов, проблемных групп или временных коллективов, готовящих общие публикации.

«Разделение труда» и разница в инструментарии исследований ощущаются между теми, кто занимается изучением непосредственно внутривнутриполитических процессов и международными исследованиями, мировой политикой, и эти разделения лишь отчасти преодолеваются общим членством ученых обоих этих направлений в одной профессиональной ассоциации.

Третья по значимости дифференциация, отмеченная участниками, связана с возрастом, ее отмечали как люди старших поколений, так и научная молодежь. Как считают молодые, старшее поколение имеет иной теоретический фундамент: *«Что касается “молодые — старшие”, безусловно, есть такое разделение. Многие политологи старшего поколения — выпускники кафедр научного коммунизма, теперь они называют себя политологами»* (мужчина, 46 лет, представитель регионального университета). Исследователи старшего и среднего поколений отмечают разный жизненный опыт и разные условия профессиональной социализации: *«Существует поколенческая разница между теми, кто социализировался в Советском Союзе, пережил этот слом, и теми, кто социализируется в профессии сейчас. Я думаю, это абсолютно разные слои, абсолютно разные страты, потому что они обладают совершенно разным жизненным опытом»* (женщина, 43 года, представитель регионального центра РАН). Поколенческие отличия связываются не столько с тематикой исследований, сколько с поведенческими моделями: бывает, что *«люди молодые ведут себя более бесстрашно, а пожившие при советском режиме начинают включать внутреннего цензора»* (женщина, 57 лет, представитель регионального университета). И в то же время в молодежной среде особенно заметна и тенденция к прагматическому отношению к профессии, в то время как старшие чаще рефлексируют об этических проблемах, о судьбах научного знания и будущем профессии и сообщества.

Старшее поколение часто и определяет поле своих научных изысканий шире, чем политология, скорее, как социальные науки (social studies), а себя — как исследователей социальных или социально-политических процессов: *«Я не ощущаю себя чистым политологом, например, институционалистом — мне все время хочется захватить что-то из психологии, социологии, из филологии. Поэтому я бы все-таки определила себя как “исследователя, который работает в более широком поле, чем политическая наука”. Или, по крайней мере — на меже»* (женщина, 57 лет, представитель регионального университета). *«Политические*

процессы нельзя понять вне изучения социального и культурного контекста, мотиваций тех, кто в него вовлечен. Мы работаем в сфере социальных наук, берем инструменты из разных дисциплин и апробируем их в анализе политических реалий. Даже наш сегодняшний разговор — это ведь социологический и антропологический анализ (смеется)» (женщина, 58 лет, москвичка, представитель института РАН).

Большинство участников исследования считают, что в профессиональном сообществе существует гендерное равенство. Хотя некоторые отмечали, что *«политологическое сообщество — это преимущественно мужская тусовка»* (мужчина, 46 лет, представитель регионального университета) или *«есть у нас мужчины в руководстве или из числа первой десятки, которые, конечно, знают себе цену и напоминают об этом окружающим»* (женщина, 61 год, представитель регионального университета).

Дифференциация внутри сообщества по степени близости к власти признается отдельными участниками исследования. *«Вы знаете, близость к власти не дает преимущества политологам, близость к власти дает возможность чаще появляться на телеэкранах... я категорически не согласен, что близость к власти дает какое-то преимущество с точки зрения науки»* (мужчина, 46 лет, представитель регионального университета).

Большинство респондентов говорили об определенной дискредитации профессии так называемыми квазиэкспертами, комментаторами политики в СМИ: *«На экране резвятся скорморохи, которые вместо объяснений, серьезного разговора, устраивают балаган под названием шоу»* (женщина, 61 год, представитель регионального университета). *«То, что один и тот же политолог за неделю одновременно может быть снят в десяти программах, говорит не о его универсальности, а о подвижности его позиции в том или ином направлении»* (женщина, 38 лет, представитель регионального университета).

Как правило, обслуживающие власть «политологи» профессиональным сообществом не воспринимаются как «свои», их деятельность рассматривают вне общего пространства коммуникаций сообщества: *«Если политолог выбирает сервильную роль и начинает обслуживать интересы элиты или какого-то политического клана, он десоциализируется как профессионал, потому что картина мира искажается, и кормушка затмевает объективность»* (женщина, 57 лет, представитель регионального университета). В значительной мере это можно объяснить живучестью комплексов травматического сознания, которые, как считает наш респондент, транслируются через формы профессиональной коммуникации.

Необходимость формулировать и продвигать экспертные оценки по повестке дня и механизмам принятия решений рассматривается в сообществе как очень важная часть профессии. Отмечается, что *«любые люди, которые работают на политологическое сообщество, не могут с властью [в тех или иных формах] не взаимодействовать»* (мужчина, 46 лет, представитель регионального университета).

При обсуждении проблемы дифференциации профессионального сообщества обсуждался вопрос существования разных организационных структур

профессионального сообщества. В самом существовании такого плюрализма участники исследования видят немало положительных моментов: *«Если предлагается хорошая площадка, где можно встретиться с интересными людьми, какая разница, как она называется и кто ее организует?»* (мужчина, представитель регионального университета). *«Чем больше будет ассоциаций, тем более, если они будут демонстрировать различия школ или направлений, тем лучше. В любом случае конкуренция — это основа для сотрудничества»* (мужчина, 46 лет, представитель регионального университета). Конкуренция между структурами РАПН и РОП служит, как считает большинство респондентов, поводом для поиска ответов на новые вызовы и для обновления устоявшихся форм профессиональной коммуникации.

А в целом, как отметил один из участников исследования, *«российская традиция развития общественной науки состоит в том, что работают не институты, а люди... Очень многое основывается на энтузиастах своего дела, которые умеют создавать коллектив, взаимодействовать с властью, обладают профессионализмом и умеют находить деньги»* (мужчина, 33 года, петербуржец, представитель университета). *«В профессиональной коммуникации большое значение имеют лидеры, готовые вложить свою энергию и свое время в выстраивание научных контактов, в подготовку конференций, семинаров, просто в профессиональное общение»* (женщина, 58 лет, москвичка, представитель института РАН).

**Куда идти дальше?
Перспективы профессии
в российском и мировом контекстах**

Большинство участников исследования отмечали, что дальнейшее развитие профессии связано с усилением ее прикладной направленности: *«Политология должна приумножаться именно прикладными вещами, очень важны такие отрасли, как политический менеджмент, политическое прогнозирование, политический анализ»* (мужчина, 46 лет, представитель регионального университета). *«Профессиональному сообществу, чтобы выжить, надо развиваться в политико-управленческом сегменте. Понятно, что должна оставаться академическая часть сообщества, но это на самом деле единицы. Все остальные, чтобы быть востребованными и как-то перевернуть отношение и к науке, и к результатам деятельности, должны работать на инструментально-эмпирическом и прикладном уровне с реальной связью с публичным сектором, с выявлением проблем и решением конкретных задач»* (женщина, 38 лет, представитель регионального университета).

Однако в тесной связи с практикой и экспертизой выявляются многие проблемы, которые осознаются и артикулируются представителями нашей профессии. С одной стороны, есть потребность общества в понимании происходящих общественных изменений, и от политологов люди ждут разъяснений: *«...я знаю, как люди нуждаются в честном слове, в правильных оценках того, что происходит, потому что иначе они верят «головам» по телевизору, им больше*

никто ничего не объясняет. Нам в редакцию иногда приходят письма: “Мы так хотим, чтобы нам объяснили...”» (женщина, 61 год, представитель регионального университета). С другой стороны, очевидна потребность власти в специалистах, разъясняющих ситуацию и принятые решения, и зачастую эти две роли воспринимаются самими профессионалами как конфликтующие между собой: «Сейчас я к сфере политического консалтинга испытываю внутреннюю неприязнь и отторжение. У меня какой-то внутренний барьер сформировался в этом отношении, потому что реально то, что я могу дать, никому не нужно. А работать “принеси-подай” тоже не очень хочется» (женщина, 38 лет, представитель регионального университета).

В этом контексте достаточно часто звучала в интервью тема смещения интересов политологов в сторону международных проблем: «...не хочется комментировать какие-то вещи, связанные с внутренней политикой. Я могу на своем примере сказать: когда мне задают сто пятый вопрос: “Кто победит на выборах?”, этот вопрос не стоит того, чтобы на него отвечать, и так понятно» (мужчина, 46 лет, представитель регионального университета). «Люди, которые раньше писали о Российской Федерации и ее регионах, переходят на описание и анализ постсоветского пространства, международных отношений... [в изучении России] сфер приложения становится меньше» (мужчина, 41 год, представитель регионального университета). Участники исследования отмечали, что сами публикации по проблемам российской политики становятся более эссеистскими или публицистическими по стилю, а потребность в капитальных исследованиях, сочетающих теорию и эмпирику, остается неудовлетворенной.

Неоднозначен для представителей профессионального сообщества ответ на вопрос: «Кто МЫ как сообщество в мировой науке?» Мы предложили подумать о том, как соотносятся отечественный и мировой мейнстрим и в каких областях отечественной политологии можно ожидать прорывов. Мнения представителей сообщества разделились. Одни считают, что отечественная политическая наука развивается в русле мировых тенденций: «Знаете, все совпадает с мировыми тенденциями, если направление развивается в профессиональном русле» (мужчина, 46 лет, представитель регионального университета). Другие, наоборот, отмечают отстраненность отечественной политической науки от мировых исследований: «Тот мейнстрим, который существует в западной политической науке в плане развития методологии, оказывает влияние на ограниченный круг ученых-политологов. Большая часть сообщества не испытывает этого влияния» (мужчина, 41 год, представитель регионального университета).

Есть мнение о том, что зарубежным коллегам наше сообщество интересно как поставщик эмпирических данных для исследования и понимания политических процессов в России, но не более того: «Западной науке интересно смотреть, что происходит в России, с точки зрения политического анализа. Те, кто пишет на английском и принимает их правила, востребованы в качестве поставщиков эмпирики. Мне кажется, на методологическом и на теоретическом уровне мы им не интересны» (мужчина, 44 года, представитель регионального университета).

Мнения о преобладающих в отечественных исследованиях тенденциях существенно разделились. Многие выделили в качестве центральных тем проблемы государственоведения и государственного управления: «Мне представляется, что мейнстримом являются разработки принципов национальной политологической школы, государствоцентричное видение организации микрополитических процессов» (мужчина, 46 лет, представитель регионального университета). «Уже давно растет интерес к тематике государства, эффективности государственного управления» (женщина, 47 лет, москвичка, представитель института РАН). На других приоритетных направлениях выявить согласие в понимании мейнстрима оказалось затруднительно: «Для меня мейнстрим в принципе — междисциплинарность. Я не вижу мейнстрима в политологии, без, например, психологии» (мужчина, представитель регионального университета). «Региональные исследования — у нас такой мейнстрим. Он, кажется, даже заметен на международном уровне». «Мне кажется, на Западе усиливается междисциплинарное направление, а у нас идет развитие секторов внутри политической науки» (мужчина, 33 года, петербуржец, представитель университета). «Мы — единственные, кто может освоить постсоветский опыт... а это очень актуально для целого ряда стран, бывших советских республик. Здесь мы действительно конкурентоспособны, потому что кто, кроме нас, это сделает?» (мужчина, 30 лет, москвич, представитель университета). «Сейчас на первое место выходят проблемы институционализации власти, примыкающая сюда проблематика политических конфликтов, их санации и выявления конфликтногенных зон» (мужчина, 64 года, представитель регионального университета).

Многие, однако, отметили, что «отечественная политическая наука в тематическом отношении несколько фрагментарна, и это не есть плохо, это хорошо, потому что это свидетельствует о том, что тематический охват становится все шире и шире» (женщина, 47 лет, москвичка, представитель института РАН).

Участники исследования даже отмечали, что «...недостаточная встроенность в мировую политическую науку несет не только вызовы, но и позитивный заряд. На нас не давит груз встроенности в мейнстрим, и появляется возможность взглянуть на что-то новыми глазами. Поэтому у российской политической науки есть такой ресурс» (женщина, 47 лет, москвичка, представитель института РАН). Но довольно остро ощущается необходимость в том, чтобы преодолеть существенный барьер — овладеть языком, на котором говорит и пишет мировое профессиональное сообщество: «Развитию нашей науки сильно мешает то, что российские политологи пока не умеют представлять результаты своих исследований на иностранных языках. Я не хочу, чтобы с политологией произошло то же, что с философией. Великолепные философские школы, существовавшие в России и СССР, увяли по той причине, что не смогли выйти на мировой уровень» (мужчина, 46 лет, представитель регионального университета).

Профессиональное сообщество формулирует несколько направлений, на которых сосредоточены интеллектуальные ресурсы, дающие возможность отечественной науке совершать значимые прорывы и перспективы дальнейшего развития.

Во-первых, это изучение новых траекторий развития политических и социальных институтов за пределами западного опыта и вне «привычных для политических исследований систем координат... Надо думать над новой исследовательской парадигмой, разрабатывать методологию комплексных междисциплинарных исследований» (женщина, 58 лет, москвичка, представитель института РАН).

Во-вторых, это исследования человека и субъективного пространства политики: «Мало изучены процессы влияния политической информации на сознание человека. Направлением прорыва может стать политическая психология плюс политическая физиология. Это, действительно, мало изучено в мире, по крайней мере, в открытых источниках» (мужчина, представитель регионального университета).

В-третьих, это исследования смешанных, гибридных форм политической жизни: «Прорывы могут быть в концептуализации смешанных форм политической жизни, прежде всего потому, что мы в них живем» (женщина, 57 лет, представитель регионального университета).

В-четвертых, поиски новых способов исследования различных аспектов меняющейся политической реальности, «научных инструментов, адекватных тем изменениям, которые стремительно происходят в мире, потому что они не могут быть описаны с помощью инструментария традиционной политологии...» (женщина, 57 лет, представитель регионального университета).

Немаловажным, как считают респонденты, является и развитие гибких форм профессиональной коммуникации. Мировой опыт показывает, какой огромный прирост знаний дает развитие сетевых структур научного взаимодействия. Современный информационно-коммуникационные технологии позволяют реализовывать новые форматы совместного научного творчества, преодолевать не только территориальные границы, но и институциональные преграды.

Что показало наше исследование

Сложилась ли идентичность профессионального сообщества политологов? По мнению участников исследования, мы являемся свидетелями и участниками процессов становления сообщества и его профессиональной идентичности, эти процессы только набирают силу: «Профессиональная идентичность у нас еще не сложилась, сейчас этот процесс идет» (мужчина, 41 год, представитель регионального университета). «Являемся ли мы корпорацией? Пока мы, наверное, корпорацией не являемся. Может быть, подбираемся к осознанию того, что сообщество может дать людям, которые его составляют, нечто большее, чем они могут добиться индивидуально» (женщина, 43 года, представитель регионального центра РАН). Многие респонденты отмечали ключевую роль профессиональной ассоциации — РАПН — как формы самоорганизации сообщества.

Наше исследование позволяет сделать ряд обобщений, важных для понимания перспектив развития профессионального сообщества и его общественной

роли. Во-первых, актуальным остается запрос на саморефлексию о профессии, об этом свидетельствует и регулярно вспыхивающие в социальных медиа острые дискуссии и даже столкновения представителей групп внутри профессии по поводу стандартов и этики профессионального поведения и приоритетов профессии. По сути, и здесь мы наблюдаем «борьбу за идентичность». Выявлена значимость профессиональной идентичности в системе самоидентификации тех, кто в профессии работает. Во-вторых, результаты исследования указывают на рассогласованность между внутренней (для сообщества и близкого круга) и внешней (для «чужих») идентичностью. Такая рассогласованность связана с тем очевидным сегодня фактом, что общественный статус профессии во многом формируется за пределами академического и преподавательского сообщества и ассоциируется в общественном мнении с публичными фигурами телеэкрана и блогосферы, а не с авторитетными для самого сообщества профессионалами. В зарубежном контексте проблемы публичного статуса профессии, которая уже прошла период институционализации, актуальны скорее с точки зрения ее общественного влияния и востребованности. Эта сторона дела тоже тревожит российских коллег, сегодня общая повестка дня формируется вокруг проблем профильного образования.

О том, как сделать результаты профессиональных изысканий более доступными, как формировать общественную потребность в объективном политическом анализе и политическом знании, задумываются многие. Основное продвижение на этом направлении видится сегодня в профессиональной преподавательской работе, однако она, как и сугубо экспертная деятельность, лишь отчасти решает проблемы общественной востребованности политического знания. Актуальной остается задача развития политического образования сограждан, здесь приоритетом сегодня является формирование общественного запроса и в том числе запроса со стороны государства. Проблемы взаимодействия с властью не исчерпываются недостаточной востребованностью или угрозой политической ангажированности экспертных оценок: профессионализм в политической науке и профессионализм в политике существуют в основном в параллельных измерениях. Есть потребность и в «хороших и разных» специализированных журналах, и в качественных СМИ, и в большем взаимодействии с гражданскими инициативами. Складывающийся внутри сообщества организационный плюрализм по большей части воспринимается как «норма», связанная в том числе со становлением профессиональной идентичности.

Достаточно жесткая внутренняя дифференциация в зависимости от характера занятий (исследования, преподавание, экспертиза и политический консалтинг) и возраста и заметные различия между столицами и регионами — это характерная черта российского сообщества, которая объясняется тем, как шел и идет сегодня процесс его институционализации. Очевидна потребность во внятной многоуровневой стратегии профессиональной социализации, которая учитывала бы интересы не только тех, кто только готовится стать политологами, но и «новобранцев», делающих первые шаги на профессио-

нальном поприще, и «старослужащих», которым бывает нужна ресоциализация. Многие наши респонденты отмечали принципиальное значение для становления сообщества профессиональных норм и этических принципов, которые являются неотъемлемой частью общей идентичности.

Объективная профессиональная потребность в расширении исследовательского поля расширяет и рамки профессии: занимаясь социальными исследованиями на стыке разных областей социогуманитарного знания, некоторые коллеги не готовы считать себя сугубо «политологами» по причине более широких исследовательских интересов, на замыкающихся на анализе текущих политических процессов. Междисциплинарность рассматривается как генератор новых знаний об обществе, в котором мы живем, как своего рода мотор, способный обеспечить кумулятивный эффект в производстве нового научного знания, особенно важный в эпоху неясных еще контуров организации современного миропорядка. Приоритетом для профессиональной самоидентификации является получение нового научного знания, отмеченное нашими респондентами как ключевая социальная функция сообщества. В этом контексте настойчиво отмечаются важность прогностической функции политической науки и ее значимость в утверждении общественных позиций профессии.

Сравнение позиций, вокруг которых идет дискуссия в российском профессиональном сообществе и за его пределами, в других национальных контекстах, выявило схожесть проблем и подходов к их решению, идет ли речь о статусе профессии, ее общественной значимости или социальной миссии сообщества. В этом смысле профессиональная идентичность российских политологов вписывается в международный мейнстрим. Но есть существенные особенности в профессиональной социализации, связанные с характером политической культуры российского общества, с эволюцией политического режима и механизмами рекрутирования политических элит, с молодостью профессии. Ощущаются разрывы с международным контекстом политических исследований, которые оцениваются и в позитивном (возможности), и в негативном (ограничения) ракурсах. В то же время есть и заметное продвижение во взаимодействии на уровне профессиональных ассоциаций и в рамках субдисциплин и международных проектов, например, в изучении политических процессов в современной Европе и в России в сравнительном ключе.

Выделенные нашими респондентами перспективные направления, на которых российская политическая наука имеет пока нереализованный «задел», — это постсоветские исследования и региональная тематика, разработка новых инструментов изучения меняющейся социальной реальности и ее гибридных форм, выходящих за рамки сугубо политического, осмысление субъективного пространства политики и возможностей его интеграции в мейнстрим политических исследований.

В этот последний контекст вписывается и анализ профессиональной идентичности тех, кто изучает современную социальную реальность, размышляет о «нас в мире и мире в нас». В этом смысле мы видим дополнительные аргу-

менты в пользу поиска путей интеграции макро- и микроуровней анализа социально-политических изменений для получения нового знания об обществе, в котором мы живем и в котором будут жить новые поколения. Ключевым приоритетом здесь, на наш взгляд, является осмысление этического, нравственного и экзистенциального измерения опыта современного человека, профессионала в своей сфере деятельности, через призму его социальной идентичности.

Литература

Мельвиль А.Ю., Соловьев А.И. 2008. Современный этап развития российской политической науки. — *Российская политическая наука*. Т. 5. М.: РОССПЭН. С. 5–20.

Политическая идентичность и политика идентичности. Т. 1. Словарь терминов и понятий. 2011. Отв. ред. И.С. Семенов. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 208 с.

Политическая идентичность и политика идентичности. Т. 2. Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке. 2012. Отв. ред. И.С. Семенов. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 471 с.

Фадеева Л.А., Семенов И.С. 2011. Профессиональное сообщество: опыт самоанализа и перспективы исследования идентичности. — *Идентичность как предмет политического анализа*. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции (ИМЭМО РАН, 21–22 октября 2010 г.). Редколлегия сборника: И.С. Семенов (отв. ред.), Л.А. Фадеева (отв. ред.), В.В. Лапкин, П.В. Панов. М.: ИМЭМО РАН. С. 286–287.

Раздел седьмой
Идентичность: когнитивная карта
дискурсивного поля

Библиография¹

Августин Блаженный. 1994. *О граде Божиим*. В 22-х книгах, в 4-х томах. Т. 4. М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. 406 с.

Авдеенков А.Н. Ценность для другого в философии М. Бахтина и ценность другого в философии Ж.-П. Сартра. — *Система ценностей современного общества*. 2011. Выпуск № 17-1. С. 8–12.

Авдонин В.С. 2015. Политическая наука в институтах РАН: институциональное измерение и наукометрические показатели. — *Политическая наука*. № 3. *Социальные и политические функции академических и экспертных сообществ*. Ред.-сост. номера Авдонин В.С., Малинова О.Ю. С. 27–52.

Аверинцев С.С., Давыдов Ю.Н., Турбин В.Н. и др. *М.М. Бахтин как философ*. М.: Наука, 1992. 256 с.

Авксентьев В.А. 2001. *Этническая конфликтология: в поисках научной парадигмы*. Ставрополь: Издательство СГУ. 269 с.

Агеев А.Д. 2005. *Сибирь и американский Запад: движение фронтиров*. М.: Аспект-Пресс. 334 с.

Адорно Т., Хоркхаймер М. 1997. *Диалектика просвещения: философские фрагменты*. М., СПб.: Медиум Ювента. 312 с.

Азизов З. Стюарт Холл и локализация культуры. — *Художественный журнал*. № 77/78. Эл. ресурс. Доступ: http://xz.gif.ru/numbers/77-78/azizov-hall/view_print/ (проверено 02.02.2017)

Айвазова С. Г. 1998. *Русские женщины в лабиринте равноправия*. М.: РИО Русланова. 408 с.

Айзенштадт Ш.Н. 1992. «Осевая эпоха»: возникновение трансцендентных видений и подъем духовных сословий. — *Ориентация — поиск. Восток в тео-*

¹ В сводную библиографию включена литература из постатейных списков и избранные произведения авторов, представленных в биобиблиографическом словаре (пятом разделе книги), в первую очередь — цитируемые, а также наиболее близкие к тематике данного издания труды (дополнительно см. списки литературы в конце биографических статей). В случае наличия ссылок на оригиналы на иностранных языках и их русские переводы в соответствующих разделах библиографии приводятся оба издания; при наличии ссылок на разные издания дается соответствующее описание с указанием количества страниц. Списки трудов авторов настоящего издания см. в приложении «Об авторах». Использованные источники см. в конце статей.

риях и гипотезах. М.: Наука–ВЛ. С. 42–62.

Акерлоф Дж.А., Крэнтон Р.Е. 2011. *Экономика идентичности. Как наши идеалы и социальные нормы определяют, кем мы работаем, сколько зарабатываем и насколько несчастны*. М.: Карьера Пресс. 224 с.

Аклаев А.Р. 2008. *Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент. Учеб. пособие*. М.: Издательство «Дело» АНХ. 480 с.

Акопов С.В. 2012. Конструирование российской идентичности: принципы транскультурности и критической универсальности. — *Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук*. Вып. 12. С. 341–355.

Акопов С.В. Сетевая философия и трансформация идентичности личности. — *Управленческое консультирование*. 2013. № 12. С. 45.

Акопов С.В. 2013. *Развитие идеи транснационализма в российской политической философии XX века*. СПб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС. 262 с.

Акопов С.В. 2015. *Человек многомерный: транснациональная модель идентификации с макрополитическими сообществами (метатеоретический анализ)*. СПб.: Алетейя. 296 с.

Алмонд Г.А., Верба С. 2010. Гражданская культура. — *Полития*. № 2. С. 122–144.

Алмонд Г., Верба С. 2014. *Гражданская культура. Политические установки и демократия в пяти странах*. М.: Мысль. 500 с.

Алпатов В.М. 2013. Языковая политика в современном мире: «одноязычная» и «двуязычная» практики и проблема языковой ассимиляции. — *Сравнительная политика*. No 2 (12). С. 11–22.

Альтерглобализм и антиглобалистские движения в современном мире (отв. ред. И.Г. Животовская). 2006. М.: ИНИОН РАН. 152 с.

Альтерматт У. 2000. *Этнонационализм в Европе*. М.: РГГУ. 367 с.

Андерсон Б. 2001. *Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма*. М.: Канон-пресс — Ц; Кучково поле. 288 с.

Альтернативный капитализм или альтернатива капитализму? (Проблемы концептуализации современного развития). 2012. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 7. С. 92–106.

Андреев А.П., Панасюк Е.В. 1993. Казачье движение. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 57–61.

Андреева Г.М. 1994. *Социальная психология*. М.: Наука. 325 с.

Андреева Г.М. 2009. *Социальная психология*. 5-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс. 363 с.

Андреева Л.А. 2013. Христианство в начале XXI века в Африке южнее Сахары: количественные и качественные характеристики. — *Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность*. № 3. С. 35–43.

Анисимов О.С. 2012. Идентичность: типы и условия их осуществления на базе цивилизационной идентичности. — *Мир психологии*. № 1. С. 12–18.

Антанович Н.А. 2005. Методологический анализ пограничья в социально-гуманитарных науках. — Бобков И., Наумова С., Терешкович П. (ред.). 2005.

После империи: исследования восточно-европейского пограничья. Сборник статей. Вильнюс: ENU-international. С. 6-17.

Антонова Н.В., Белоусова В.В. 2011. Самоопределение как механизм развития идентичности. — *Педагогика и психология образования.* № 2. С. 79–92.

Антропология профессий: границы занятости в эпоху нестабильности. 2012. Под редакцией П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ. 236 с.

Арендт Х. 1992. Традиции и современная эпоха. — *Вестник МГУ. Серия 7 (Философия).* № 1. С. 80–95.

Аристотель. 1983. *Сочинения:* В 4 т. Т. 4. М.: Мысль. 830 с.

Асмолов А.Г., Леонтьев Д.А. Личность. — *Новая философская энциклопедия:* в 4-х т. (Институт философии РАН; Национальный общественно-научный фонд; 2-е изд., испр. и допол). М.: Мысль, 2010. Доступ: <http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about> (проверено 15.02.2017).

Ассман А. 2014. *Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая память.* М.: Новое литературное обозрение. 328 с.

Ассман А. 2016. *Новое недовольство мемориальной культурой.* М.: Новое литературное обозрение. 232 с.

Афанасьев Ю.А. 1981. Эволюция теоретических основ Школы «Анналов». — *Вопросы истории.* № 9. С. 77–92.

Ахиезер А.С. 1998. *Россия: критика исторического опыта: в 2 т. Т. 2. Теория и методология. Словарь.* Новосибирск: Сибирский хронограф. 596 с.

Ахиезер А.С. 2001. Архаизация в российском обществе как методологическая проблема. — *Общественные науки и современность.* № 2. С. 89–100.

Ачкасов В.А. 2012. *Политика идентичности мультиэтничных государств в контексте решения проблемы безопасности.* СПб.: Издательство СПбГУ. 232 с.

Ашкерев А.Ю. 2001. Политическое пространство и политическое время Античности. — *Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки.* № 2. С. 27–42.

Баграмов Э.А. 1973. *К вопросу о научном содержании понятия «национальный характер».* М.: Мысль. 213 с.

Байерс С. 2000. Третий путь. — *Международная жизнь.* № 12. С. 42–46.

Балибар Э., Валлерстайн И. 2003. *Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности.* М.: Логос-Альтера, Ессе Номо. 272 с.

Бараш Р.Э. 2012. Ирредентизм как категория дискурса и политической практики. — *Вестник российской нации.* № 2–3. С. 151–171.

Баринова Д.С. 2010. Методологические аспекты исследования виртуального пространства Интернета. — *МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин.* М.В. Ильин (гл. ред.). М.: Центр персп. методологий социально-гуманит. исслед. С. 109–122.

Барулин В.С. 2000. *Российский человек в XX веке: Потери и обретения себя.* СПб.: Алетейя. 431 с.

Басалаева И.П. 2012. Критерии фронта: к постановке проблемы. — *Теория и практика общественного развития.* № 2. С. 46–49.

- Баталов Э.Я. 1990. *Политическая культура современного американского общества*. М.: Наука. 254 с.
- Бауман З. 1996. *Мыслить социологически*. М.: Аспект-Пресс. 255 с.
- Бауман З. 2002. *Индивидуализированное общество*. М.: Логос. 390 с.
- Бауман З. 2008. *Текущая современность*. СПб.: Питер. 240 с.
- Бауман З. 2011. Прощание с миром своих и чужих. — *Вокруг света*. № 12. С. 248–252, 254–260.
- Бахтин М.М. (а) *Проблемы поэтики Достоевского*. М.: Советская Россия, 1979. 320 с.
- Бахтин М.М. (б) *Эстетика словесного творчества*. Сост. С.Г. Бочаров, примеч. С.С. Аверинцев и С.Г. Бочаров. М.: Искусство, 1979. 423 с.
- Бахтин М.М. 1986. К философии поступка. — *Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984–1985*. М.: Наука. С. 80–138.
- Башкиров М.Б. 2013. Значение луизианских каджунов во всемирных академических конгрессах в начале XXI века. — *Россия и Америка в XXI веке. Электронный научный журнал*. № 3. Доступ: <http://www.rusus.ru/?act=read&id=386> (проверено 14.01.2016).
- Бедерсон В.Д. 2016. Политика идентичности регионов современной России: сравнительные характеристики персоналистских идентификаторов. — *Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения РАН*. Т. 16. Вып. 1. С. 33–91.
- Бек У. 2000. *Общество риска. На пути к другому модерну*. М.: Прогресс-Традиция. 384 с.
- Бек У. 2001. *Что такое глобализация?* М.: Прогресс-Традиция. 304 с.
- Бек У. 2003. Космополитическое общество и его враги. — *Журнал антропологии*. Т. VI. № 1. С. 24–50.
- Бек У. 2007. *Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия*. М.: Прогресс-Традиция, Издательский дом «Территория будущего». 464 с.
- Бек У. 2012а. Живя в мировом обществе риска и считаясь с ним. Космополитический поворот. — *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 44–58.
- Бек У. 2012б. Поворот к космополитизму. Жизнь и выживание в обществе всемирного риска. — *Россия в глобальной политике*. Т. 10. № 4. С. 8–19.
- Белинская Е. П., Жичкина А. Е. 2000. Современные исследования виртуальной коммуникации: проблемы, гипотезы, результаты. — *Образование и информационная культура: Социологические аспекты. Труды по социологии образования Том V. Выпуск VII (под ред. В.С. Собкина)*. М.: Центр социологии образования РАО. С. 395–430.
- Белинская Е.П., Жичкина А.Е. 2004. Стратегии самопрезентации в Интернет и их связь с реальной идентичностью. — *Флогистон: Психология из первых рук. Публикации*. Эл. ресурс. Доступ: <http://flogiston.ru/articles/netpsy/strategy> (проверено: 1.03.2016).
- Белинская Е.П., Жичкина А.Е. 2011. Пространство, населенное ДРУГИМИ. — *Киберпсихология. Немного о психологии создателей и жителей Интернета*. Эл.

ресурс. Доступ: http://ru-cyberpsy.blogspot.ru/2011/02/blog-post_2592.html (проверено 09.03.2017).

Белинский В.Г. 2013. *Стихотворения М. Лермонтова*. Полное собрание сочинений. Т. 4. Статьи и рецензии. 1840–1841. М.: Directmedia. 668 с.

Белл Д. 2004. *Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования*. М.: Academia. 788 с.

Белобородов С.Г. 2004. Феномен виртуальных сообществ в киберлибертарианской риторике. — *Интернет и современное общество: труды VII Всероссийской объединенной конференции*. Санкт-Петербург, 10-12 ноября 2004 г. Санкт-Петербург, 10-12 ноября 2004 г. СПб: издательство Филологического факультета СПбГУ. С. 162–164.

Белорусско-русское пограничье. *Этнологическое исследование* (отв. ред. Р.А. Григорьева, М.Ю. Мартынова). 2005. М.: Издательство РУДН. 378 с.

Беляев И.А. 2002. Культура, субкультура, контркультура. — *Духовность и государственность*. Вып. 3. Оренбург: УрАГС. С. 5–18.

Беляева Н.Ю. Развитие концепта публичной политики: внимание «движущим силам» и управляющим субъектам. — *Полис. Политические исследования*. 2011. № 3. С. 73–74.

Бенвенуто С. *Мечта Лакана*. СПб.: Алетейя. 2006. 168 с.

Бенхабиб С. 2003. *Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру*. М.: Логос. 289 с.

Бергер П., Лукман Т. 1995. *Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания*. М.: Медиум. 323 с.

Беспамятных Н.Н. 2007. *Этнокультурная пограничье и белорусская идентичность: проблемы методологии анализа кросскультурных взаимодействий* (науч. ред. проф. М.А. Можейко). Минск, РИВШ. 404 с.

Беспамятных Н.Н. 2010. «Пограничные исследования»: генезис, эволюция, перспективы. — *Народы, культуры и социальные процессы на пограничье*. Гродно: ГрГУ. С. 12–15.

Библер В.С. *Михаил Михайлович Бахтин, или поэтика культуры*. (На путях к гуманитарному разуму.) М.: Гнозис, 1991. 169 с.

Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века. В 117 томах. М.: РОССПЭН, 2010.

Биллиг М. 2005. Нации и языки. — *Логос*. № 4. С. 60–86 [Billig M. *Banal Nationalism*. London: Sage Publications. 1995. P. 13–36].

Блок М. 1986. *Апология истории, или Ремесло историка*. М.: Наука. 254 с.

Блэр Т., Шрёдер Г. 2000. Европа: Третий путь — Новая середина. — *Социал-демократия перед лицом глобальных проблем*. М.: ИНИОН РАН. С. 88–105.

Бляхер Л.Е. 2005. Региональная самоидентификация и трансграничные практики на Дальнем Востоке. — *Пространственная экономика*. № 1. С. 117–132.

Бовуар С. де. 1997. *Второй пол*. М.: Прогресс. 832 с.

Богомазов В.Н. 2012. *Политическое и социальное развитие Латинской Америки в условиях глобализации и роль церкви* (на основе концепции «Теологии освобождения»).

дения»). Автореф. дис. канд. полит. наук. М.: Дипломатическая академия МИД России. 27 с.

Бодрийяр Ж. 2000. *В тени молчаливого большинства, или Конец социального*. Екатеринбург: Издательство Уральского университета. 96 с.

Бодрийяр Ж. 2006. *Общество потребления. Его мифы и структуры*. М.: Республика, Культурная революция. 268 с.

Бодрийяр Ж. *Забывать Фуко*. СПб.: Владимир Даль, 2000. 89 с.

Бодрийяр Ж. *Экстаз коммуникации*. Электронный ресурс. Доступ: <http://ivanem.chat.ru/extaz.htm> (проверено: 1.03.2016).

Большаков А.Г. 2011. Формирование региональной идентичности Южного Кавказа в условиях диверсификации постсоветского пространства. — *Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции (под ред. И.С. Семенов, Л.А. Фадеевой, В.В. Лапкина, П.В. Панова)*. 2011. М.: ИМЭМО РАН. С. 115–118.

Бордюгов Г.А. 2011. «Войны памяти» на постсоветском пространстве. М.: АИРО-XXI. 256 с.

Борисова Н. 2016. Политизация языка и языковая политика в этнических территориальных автономиях. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 60. № 9. С. 67–75.

Борисова Н., Горшков А. Политический потенциал мужских и женских сообществ в современной России. — *Сообщества как политический феномен (под ред. П. Панова, К. Сулимова, Л. Фадеевой)*. 2009. М.: РОССПЭН. С. 94–118.

Борьба за идентичность и новые институты коммуникации (отв. ред. П.В. Панов, К.С. Сулимов, Л.А. Фадеева). 2012. М.: РОССПЭН. 263 с.

Бреский О., Бреская О. 2008. *От транзитологии к теории пограничья. Очерки деконструкции концепта «Восточная Европа»*. Вильнюс: ЕГУ. 336 с.

Бродель Ф. 1994. *Что такое Франция? Книга 1. Пространство и история*. М.: Издательство имени Сабашниковых. 405 с.

Бродель Ф. 1998. *Цивилизация как длительная временная протяженность. — Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия*. М.: Аспект-Пресс. 566 с.

Бромлей Ю.В. 1983. *Очерки теории этноса*. М.: Наука. 412 с.

Бромлей Ю.В. 1989. «Этнический парадокс» современности в историческом контексте. — *Новая и новейшая история*. № 5. С. 62–69.

Бронзино Л.Ю. 2016. Предварительные итоги 12-й конференции Европейской социологической ассоциации, или о пользе и вреде научных конференций. — *Социологический журнал*. Т. 22. № 1. С. 168–186.

Брубейкер Р. 2000. Диаспоры катаклизма в Центральной и Восточной Европе и их отношения с родинами (на примере Веймарской Германии и постсоветской России). — *Диаспоры*. № 3–4. С. 6–32.

Брубейкер Р. 2010. Именем нации: размышления о национализме и патриотизме. — *Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма*. М.: Новое издательство. С. 110–130.

Брубейкер Р. 2012. *Этничность без групп*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики. 408 с.

- Брубейкер, Р., Купер Ф. 2002. За пределами «идентичности». — *Ab Imperio*. № 3. С. 61–115.
- Брушлинский А.В. 2003. *Психология субъекта*. СПб.: Алетейя. 272 с.
- Буданова В.П. 2000. *Варварский мир эпохи Великого переселения народов*. М.: Наука. 544 с.
- Бульгина Т.А. 2008. Пространственно-временные формы взаимодействия историка и прошлого (размышления над книгами М.М. Бахтина). — *Новая локальная история*. Эл. ресурс. Режим доступа: <http://www.newlocalhistory.com/node/815>.
- Бурдые П. 1993. *Социология политики (составление, общая редакция и предисловие Н.А. Шматко)*. М.: Socio-Logos. 336 с.
- Бурдые П. 2005. Идентичность и репрезентация: элементы критической рефлексии идеи «региона». — *Ab imperio*. № 3. С. 45–60.
- Бурдые П. 2005. *Социология социального пространства*. (Составление, общая редакция перевода и послесловие Н.А. Шматко). СПб.: Алетейя. 288 с.
- Бурдые П. 2014. *Социальное пространство: поля и практики*. СПб.: Алетейя. 576 с.
- Бурдые П. Социальное пространство и генезис «классов». — *Социология политики*. М.: Socio-Logos. 1993. С. 55–97.
- Буренко В.И., Бронников И.А. Электронное гражданское общество: иллюзии или реальность (зарубежный опыт и отечественная практика. Политический аспект). — *Знание. Понимание. Умение*. № 1. С. 44–51.
- Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. 1985. *Современный Левиафан*. М.: Мысль. 384 с.
- Бурстин Д. 1993. *Американцы: национальный опыт*. М.: Прогресс. 619 с.
- Бусыгина И.М. 2006. *Политическая регионалистика*. М.: РОССПЭН. 280 с.
- Бутенко А.П., Колесниченко Ю.В. 1996. Менталитет россиян и евразийство. Их сущность и общественно-политический смысл. — *Социологические исследования*. № 5. С. 92–102.
- Вагапова А.Р., Перова С.А. Семейная идентичность супругов и их оценка степени удовлетворенности браком. — *Известия Саратовского университета. Сер. Акмеология образования. Психология развития*. 2015. Т. 4. С. 72–76.
- Вагнер П. 2009. Политическая форма новой Европы, Европа как политическая форма. — *Журнал социологии и социальной антропологии*. № 2. С. 21–57.
- Вайль П. 2006. *Гений места*. М.: Колибри. 488 с.
- Вайнштейн Г.И. 2011. Идентичность инокультурных меньшинств и будущее европейской политики. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 4. С. 3–15.
- Вайнштейн Г.И. 2013. Популизм в современной Европе: новые тенденции. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 12. С. 24–33.
- Валлерстайн И. 2003. *После либерализма*. М.: Едиториал УРСС. 256 с.
- Валлерстайн И. 2006. *Миросистемный анализ: Введение*. М.: Территория будущего. 248 с.
- Валлерстайн И. 2008. Поминая Андре Гундера Франка с мыслями о буду-

шем. — *Прогнозис*. № 3. С. 92–102.

Ван дер Веер П. 2010. Политическая религия в XXI веке. — *Ислам в современном мире*. 2010. № 3–4. С. 49–59.

Вахштайн В. 2013. К концептуализации сообщества: еще раз о резидентности или работа над ошибками. — *Социология власти*. № 3. С. 8–26.

Вдовина И.С. 2008. Книга П. Рикёра «Я-сам как другой». К первой публикации на русском языке. — П. Рикёр. *Я-сам как другой*. М.: Издательство гуманитарной литературы. 416 с.

Вебер М. 1976. *Протестантская этика и дух капитализма*. М.: РАН ИНИОН. 438 с.

Вебер М. 1990. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания. — Вебер М. *Избранные произведения*. М.: Прогресс. С. 345–415.

Вебер М. 1990. Политика как призвание и профессия. — Вебер М. *Избранные произведения*. М.: Прогресс. С. 644–706.

Вебер М. 1990. *Избранные произведения (сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайденко)*. М.: Прогресс. 880 с.

Вебер М. 1994. Основные понятия стратификации. — *Социологические исследования*. № 5. С. 147–157.

Вебер М. 2002. Основные социологические понятия. — *Теоретическая социология: Антология: В 2 ч. (сост. и общ. ред. С.П. Баньковской)*. М.: Книжный дом «Университет». 2002. Ч. 1. С. 70–146.

Веденин Ю.А., Кулешова М.Е. 2001. Культурные ландшафты как объект природного и культурного наследия. — *Известия РАН. Серия географическая*. № 1. С. 7–14.

Вен П. Фуко. 2013. *Его мысль и личность*. СПб.: Владимир Даль. 193 с.

Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания (отв. ред. М.П. Мчедлов). 2009. М.: Культурная революция. 368 с.

Вергилий. 1971. *Буколики. Георгики. Энеида*. М.: Художественная литература. 418 с.

Веселова Е.К. 2011а. Гуманистическая концепция человека с православной точки зрения. — *Христианская психология и антропология*. Эл. ресурс. Доступ: <http://www.xpa-spb.ru/libr/Veselova/gumanisticheskaya-koncepciya.html> (проверено 15.02.2017).

Веселова Е.К. 2011б. Гуманистическая концепция человека с православной точки зрения. — *Христианская психология и антропология*. Эл. ресурс. Доступ: <http://www.xpa-spb.ru/libr/Veselova/ontologicheskaya.html> (проверено 15.02.2017).

Видоевич З. 2005. Глобализация, хаотизация и конфликты в современном мире. — *Социологические исследования*. 2005. № 4. С. 25–32.

Визгалов Д.В. 2011. *Брендинг города*. М.: Фонд «Институт экономики города». 160 с.

Виноградов А.В. 2008. *Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности*. М.: НОФМО. 363 с.

Виноградов А.В. 2009. Преемственность и инновации. (О роли китайской цивилизации). — *Альманах. «Форум-2009». Цивилизационные и национальные проблемы*. М.: ИЕ РАН; ИНИОН РАН. С. 36–63.

Виноградов А.В. 2012. Политическая модернизация: проблемы институализации в Китае и России. — *Вестник Санкт-Петербургского Государственного Университета. Серия 6. Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения*. № 2. С. 66–77.

Володин А.Г. 2008. *Политическая экономия демократии*. М.: Гуманитарий. 288 с.

Володин А.Г. 2015. Место и роль среднего класса в незападных обществах. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 2. С. 95–105.

Волыничук А.Б. 2009. Трансграничный регион: теоретические основы геополитического исследования. — *Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке*. № 4. С. 49–55.

Вольтер О.В. 2016. Сепаратизм в контексте национально-территориального передела мира. — *Современная Россия и мир: альтернативы развития (сепаратизм и его роль в мировом политическом процессе)*. *Дневник Алтайской школы политических исследований № 32*. (под. ред. Ю.Г. Чернышова). Барнаул: Издательство Алтайского ГУ. С. 34–38.

Воробьев Д.М. 2004а. Политология в СССР: формирование и развитие научного сообщества. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 169–178.

Воробьев Д.М. 2004б. Развитие политологического сообщества в постсоветской России. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 151–161.

Воскобойников О.С. 2004. Интервью с Жаком Ле Гоффом. — *Рыцарство: реальность и воображаемое*. М.: Наука. С. 496–502.

Выгодская Г.Л., Лифанова Т.М. 1996. *Лев Семенович Выготский*. М.: Смысл. 424 с.

Выготский Л.С. 1928. Проблема культурного развития ребенка. — *Педология*. № 1. С. 58–77.

Выготский Л.С. 1934. Мышление и речь. М.; Л.: Соцэкгиз, 1934. 323 с.

Выготский Л.С. 1984. Орудие и знак. — *Выготский Л.С. Собр. соч.: в 6 т.* М.: Педагогика, 1984. Т. 6. С. 5–90.

Выготский Л.С. 2005. *Психология развития человека*. М.: Издательство Смысл; Эксмо. 1136 с.

Выжанов И. 2011. «Теология освобождения» в Римско-Католической Церкви: история движения. — *Образовательный портал «Слово»*. 25.10.2011. Доступ: http://www.portal-slovo.ru/theology/44804.php#_ftnref6 (проверено 30.01.2016).

Гаман-Голутвина О.Г. 2006. *Политические элиты России: веги исторической эволюции*. М.: РОССПЭН. 446 с.

Гаман-Голутвина О.В. 2012. Политический класс: сущностные и структурные характеристики. — *Политический класс в современном обществе*. Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.: РОССПЭН. С. 54–84.

Гаман-Голутвина О.В. 2016. Политическая наука перед вызовами современ-

ной политики. к 60-летию САПН / РАПН. — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 8–29.

Гартман Н. 2002. *Этика*. СПб.: Владимир Даль. 708 с.

Гачев Г. 2003. *Ментальности народов мира*. М.: Алгоритм, Эксмо. 544 с.

Гачев Г. 2007. *Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос*. М.: Академический проект. 512 с.

Гегель Г.В.Ф. 1993. *Лекции по философии истории*. СПб.: Наука. 479 с.

Геллнер Э. 1991. *Нации и национализм*. М.: Прогресс. 320 с.

Гельман В.Я., Попова Е.В. 2003. Региональные политические элиты и стратегии региональной идентичности в современной России. — *Центр и региональные идентичности в России (под ред. В.Я. Гельмана и Т.А. Хопфа)*. СПб.: Изд-во Европейского ун-та; М.: Летний сад. С.187–254.

Географические границы. Сборник статей (под ред. Б.Б. Родмана и Б.М. Эккель). 1982. М.: Издательство МГУ. 120 с.

Герасименко Т.И. 2005. *Проблемы этнокультурного развития трансграничных регионов*. СПб.: РГП ЛГУ. 235 с.

Герберштейн С. 1988. *Записки о Московии (под ред. В.Л. Янина)*. М.: Издательство МГУ. 430 с.

Гергилов Р.Е. 2007. Теория цивилизации Н. Элиаса: критика и перспективы. — *Вопросы культурологии*. № 5. С. 16–19.

Гидденс Э. 1992. Пол, патриархат и развитие капитализма. — *Социологические исследования*. № 7. С. 135–140.

Гидденс Э. 1993. Девять тезисов о будущем социологии. — *THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем*. № 1. С. 57–82.

Гидденс Э. 1994. Судьба, риск и безопасность. — *THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем*. № 5. С. 107–134.

Гидденс Э. 1999. *Социология (науч. ред. В.А. Ядов; общ. ред. А.С. Гурьевой, Л.Н. Посилевича)*. М.: Эдиториал УРСС. 703 с.

Гидденс Э. 1999. Культурная идентичность и этноцентризм. — Гидденс Э. *Социология*. М.: Эдиториал УРСС. С. 40–41.

Гидденс Э. 2003. *Устройство общества: Очерк теории структуризации*. М.: Академический проект. 525 с.

Гидденс Э. 2004. *Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь*. М.: Весь Мир. 116 с.

Гидденс Э. 2011. *Последствия современности*. М.: Праксис. 352 с.

Гидденс Э. 2015. *Неспокойный и могущественный континент. Что ждет Европе в будущем?* М.: Дело. 237 с.

Глобальная перестройка (отв. ред. А.А. Дынкин, Н.И. Иванова). М.: Издательство «Весь Мир». 2014. 528 с.

Глухова А.В., Тимофеева Л.Н. 2016. Российская политическая конфликтология: состояние проблемы. — *Политическая наука*. № 2. С. 13–38.

Гнедаш А.А. 2014. Модернизация государственной семейной политики в современной России: (экстра)ординарный поворот к пронатализму. — *Политика семьи и детства в постсоциализме (под ред. В.Шмидт, Е.Ярской-Смирновой)*,

Ж.Черновой). М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ. С. 169–187.

Гнедаш А.А., Степанова Е.А., Тезадова Д.А. 2014. Стратегии и технологии взаимодействия семьи и государства в условиях формирующегося постинформационного общества (обзор зарубежного опыта). — *Женщина в российском обществе*. № 4. С. 23–32.

Годик Ю.О. 2011. «Цифровое поколение» и новые масс-медиа. — *Медиаскоп. Электронный научный журнал факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова*. № 2. Доступ: <http://www.mediascope.ru/node/838> Проверено: 1.03.2016.

Головкина О.В. 2004. Канадский мультикультурализм как основа национальной идентичности Канады. — *Вестник ВолГУ. Сер. 4. Вып. 9*. С. 44–53.

Голубович И.В. 2012. Биография: методология анализа в гуманитарном знании. — *Эпистемология и философия науки*. Т. 33. № 3. С. 84–97.

Горный Е. 2009. Виртуальная личность как жанр творчества (на материале русского Интернета). — *Сетевая словесность*. Эл. ресурс. Доступ: <http://www.netslova.ru/gorny/v1.html> (проверено 10.03.2017).

Горовиц Д. 1993. Ирредентизм, сепаратизм и самоопределение. — *Национальная политика в Российской Федерации*. М.: Наука. С. 145–165.

Горовиц Д. 2007. Структура и стратегия этнического конфликта. — *Власть*. № 2. С. 30–37; № 4. С. 49–54; № 6. С. 35–41.

Горшков М.К. 2008. Российский менталитет в социологическом измерении. — *Социологические исследования*. № 6. С. 110–114.

Горшков М.К. 2013а. Модернизационный потенциал идентичности (Вместо предисловия) — *Россия реформирующаяся (отв. ред. М.К. Горшков)*. Вып. 12. М.: Новый хронограф. С. 3–20.

Горшков М.К. 2013б. Роль государства в сохранении и развитии национальной и гражданской идентичности и укреплении доверия в контексте глобальных процессов. — *Гуманитарий Юга России*. № 3. С. 11–25.

Горшков М.К. 2013в. Российская идентичность в контексте западноевропейской культуры. — *Власть*. № 1. С. 9–14.

Государственная служба России: диалог с обществом (иссл. коллектив: Атаманчук Г., Комаровский В., Тимофеева Л. и др.). 1998. М.: РАГС.

Государство в истории общества (к проблеме критериев государственности) (отв. ред. Д.Н. Лелюхин, Ю.В. Любимов). 2001. М.: Институт востоковедения. 343 с.

Гофман А.Б. 1977. Элитизм и расизм (критика философско-исторических воззрений А. де Гобино). — *Расы и народы*. Вып. 7. М.: Наука. С. 128–142.

Гофман И. 2003. *Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта*. М.: Ин-т социологии РАН; Ин-т Фонда «Общественное мнение». 750 с.

Гофман И. 2007. Лекция. — *Социологическое обозрение*. Том 6. № 2. С. 4–26.

Гофман И. 2014. Порядок взаимодействия. — *Социология власти*. № 1. С. 163–199.

Гофман И. 2000. *Представление себя другим в повседневной жизни*. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 302 с.

Гофман И. 2009. *Ритуал взаимодействия: очерки поведения лицом к лицу*. М.: Смысл. 319 с.

Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра (руководитель проекта и отв. ред. Л. М. Дробижева). 2013. М.: РОССПЭН. 485 с.

Гранин Ю.Д. Брубейкер. Этничность без групп. — *Вопросы философии*. 2013. № 9. С. 185–189.

Гринфельд Л. 2008. *Национализм: Пять путей к современности*. М.: ПЕР СЭ. 528 с.

Грищенко А.А. 2014. Региональные идентичности у западных границ России: история, политика, позиционные факторы. — *Вестник Пермского научного центра*. № 5. С. 20–33

Грищенко А.А., Крылов М.П. 2011. Влияние историко-политических и ландшафтных границ на идентичность российского населения в российско-украинском приграничье. — *Российско-украинское приграничье. Двадцать лет разделенного единства*. Под ред. В.А. Колосова, О.И. Вендиной. М.: Новый хронограф, 2011, С. 180–191.

Гришина Н.В. 2015. Экзистенциальная психология в поисках своего вектора развития. — *Психологические исследования*. Т. 8. № 42. Эл. ресурс. Доступ: <http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n42/1167-grishina42.html> (проверено: 06.03.2017).

Грушин Б.А. 1987. *Массовое сознание*. М.: Политиздат. 369 с.

Грушин Б.А. 2001–2006. *Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина*. В 4-х книгах. М.: Прогресс-Традиция. 624 с

Губанов Н.Н. 2014. *Менталитет: сущность, закономерности формирования, развития и функционирования в обществе*. Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 372 с.

Гудков Л.Д. 2004. *Негативная идентичность. Статьи 1997–2002*. М.: Новое литературное обозрение — «ВЦИОМ-А». 816 с.

Гуревич А.Я. 1989. Проблема ментальности в современной историографии. — *Всеобщая история: Дискуссии, новые подходы*. Вып. 1. М.: Наука. С. 75–89.

Гуревич П.С. 1990. Послесловие. — Фромм Э. *Бегство от свободы*. М.: Прогресс. С. 248–267.

Гуревич П.С. 1990. Философская антропология Э. Фромма. — *Философские науки*. № 8. С. 85–87.

Гуревич П.С. 1993. Человек в авантюре саморазвития. — Фромм Э. *Психологический анализ и этика* (сост. П.С. Гуревич, С.Я. Левит). М.: Республика. С. 5–16.

Гуревич А.Я. 1993. *Исторический синтез и Школа «Анналов»*. М.: Индрик. 328 с.

Гуревич П.С. 1992. Видный мыслитель XX столетия. — Фромм Э. *Душа человека* (сост. П.С. Гуревич). М.: Республика. С. 5–12.

Гуревич П.С. 2010. Проблема идентичности человека в философской антропологии. — *Вопросы социальной теории*. Том IV. С. 63–87.

- Гуревич П.С., Спирова Э.М. 2015. *Идентичность как социальный и антропологический феномен*. М.: Канон+; РООИ «Реабилитация». 368 с.
- Гуреев С.В. 2007. Анализ рисунков в социологических исследованиях. — *Социологические исследования*. № 10. С. 132–139.
- Гуссерль Э. 2005. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. — Гуссерль Э. *Избранные труды*. М.: Издательский дом «Территория будущего». С. 443–459.
- Гуторов В.А. 1989. *Античная социальная утопия: Вопросы истории и теории*. Ленинград: Издательство Ленинградского университета. 288 с.
- Давыдов А.П. 2010. Инверсия как культурное основание цикличности в развитии. — *Философские науки*. № 1. С. 25–29.
- Дай Т.Р., Зиглер Л. Х. 1984. *Демократия для элиты. Введение в американскую политику*. М.: Юридическая литература. 318 с.
- Данилевский Н.Я. 1991. *Россия и Европа*. М.: Книга. 574 с.
- Данилов С.Ю., Черкасов А.И. 1987. *12 лиц Канады*. М.: Мысль. 304 с.
- Данилова Е.Н., Ядов В.А. 2004. Нестабильная социальная идентичность как норма современных обществ. — *Социологические исследования*. № 10. С. 27–30.
- Дарендорф Р. 2002. *Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы*. М.: РОССПЭН. 289 с.
- Дарендорф Р. 1994. Элементы теории социального конфликта. — *Социологические исследования*. № 5. С. 142–147.
- Де Фреде Э. 2012. Культура, цивилизация и идентичность. — *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 17–23.
- Денчев К. 2005. *Феномен антиглобализма*. М.: Изд. ГУ ВШЭ. 219 с.
- Дешериев Ю.Д. 1990. Языковая политика. — *Лингвистический энциклопедический словарь*. М.: Сов. энциклопедия. С. 616.
- Джерджен К.Дж. 2003. *Социальный конструкционизм: знание и практика: Сборник статей*. Минск: БГУ, 232 с.
- Джозеф Дж. 2005. Язык и национальная идентичность. — *Логос*. № 4. С. 4–32.
- Дзякович Е.В. 2010. *Трансформации локальных идентичностей в социокультурном пространстве современных российских регионов*. М.: Лабиринт. 204 с.
- Дилигенский Г.Г. 1969. *Рабочий на капиталистическом предприятии. Исследование по социальной психологии французского рабочего класса*. М.: Наука. 410 с.
- Дилигенский Г.Г. 1976. Проблемы теории человеческих потребностей. Статья первая. — *Вопросы философии*. № 9. С. 30–43. Статья вторая. № 2. С. 111–123.
- Дилигенский Г.Г. 1983. Марксизм и проблемы массового сознания. — *Вопросы философии*. С. 3–15.
- Дилигенский Г.Г. 1986. *В поисках смысла и цели. Проблемы массового сознания современного капиталистического общества*. М.: Политиздат. 256 с.
- Дилигенский Г.Г. 1994. *Социально-политическая психология. Учебное пособие для вузов*. М.: Институт «Открытое общество» — Наука. 304 с.
- Дилигенский Г.Г. 1997. Российские архетипы и современность. — *Куда идет*

Россия? Общее и особенное в современном развитии (под общ. ред. Т.И. Заславской). М.: МВШСЭН, Интерцентр, С. 273–279.

Дилигенский Г.Г. 1998. *Российский горожанин конца девяностых: генезис постсоветского сознания (социально-психологическое исследование).* М.: ИМЭМО РАН. 134 с.

Дилигенский Г.Г. 1999. Дифференциация или фрагментация? (О политическом сознании и в России). — *Мировая экономика и международные отношения.* № 10. С. 65–70.

Дилигенский Г.Г. 1999. Индивидуализм старый и новый. (Личность в постсоветском социуме.) — *Полис. Политические исследования.* № 3. С. 5–15.

Дилигенский Г.Г. 2002. *Люди среднего класса.* М.: Институт Фонда «Общественное мнение». 285 с.

Дилигенский Г.Г. Интервью С.В. Патрушеву. 2015 (1999). — *История Российской ассоциации политической науки.* Под ред. С.В. Патрушева, Л.Е. Филишпой. М.: Издательство «Аспект-Пресс». С. 317–327.

Дискуссия о профессионализме в политике и в политической науке. 2013–2016. М.В. Ильин, С.В. Патрушев, А.И. Соловьев, А.П. Кочетков, Е.Б. Шестоपाल, А.Ю. Мельвиль, Ю.Г. Коргунюк и др. Доступ: <http://www.rapn.ru/in.php?part=1&gr=1623> (проверено 01.02.2017).

Дмитриев Р.В. 2014. *Опорный каркас расселения и хозяйства современной Индии.* М.: МАКС Пресс. 156 с.

Доклад о человеческом развитии 2013. *Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире.* М.: Издательство «Весь Мир». 204 с.

Дробижева Л.М. 1993. Этнополитические конфликты: Причины и типология (конец 80-х — начало 90-х годов). — *Россия сегодня: трудные поиски свободы.* Отв. ред. Л.Ф. Шевцова. М.: ИЭРАН.

Дробижева Л.М. 2003а. Проблемы межэтнических отношений. — *Психология межэтнической толерантности (отв. ред. Л.М. Дробижева).* М.: Издательство Института социологии РАН. 2003. С. 31–52.

Дробижева Л.М. 2003б. *Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России.* М.: Центр общечеловеческих ценностей. 376 с.

Дробижева Л.М. 2008. Национально-гражданская и этническая идентичность: проблемы позитивной совместимости. — *Россия реформирующаяся. Ежегодник (отв. ред. М.К. Горшков).* М.: Институт социологии РАН. С. 214–228.

Дробижева Л.М. 2011. Этническая идентичность. — *Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 1. Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий (отв. ред. И.С. Семенов).* М.: РОССПЭН. С. 130–136.

Дробижева Л.М., Аклаев А.Р., Коротева В.В., Солдатова Г.У. 1996. *Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов.* М.: Мысль. 382 с.

Дробишева Е.П. 2010. Культуры, нации и идентичности в ситуации «политического антагонизма и неравенства». — *Идеи и идеалы.* Новосибирск. № 1 (3). Т. 2. С. 110–116.

Дубин Б. 1996. Прошлое в сегодняшних оценках россиян. — *Мониторинг общественно мнения*. № 5. С. 28–34.

Дуткевич П. 2012. Рынок, модернизация и демократия. Размышления о межцивилизационных отношениях. — *Диалог культур в условиях глобализации*. XII Международные Лихачевские научные чтения 17–18 мая 2012 г. Т. 1. Доклады. СПб.: СПбГУП. С. 81–87.

Дутчак Е.Е., Кашпур В.В. 2013. «Русский сибиряк», или парадоксы региональной идентификации. — *Общественные науки и современность*. № 4. С. 116–129.

Дыбковская А., Жарын М., Жарын Я. 1995. *История Польши с древнейших времен до наших дней* (под ред. А. Сухены-Грабовской и Э.Ц. Круля). Варшава: Научное издательство ПВН. 381 с.

Дьяков А.В. *Жак Лакан: фигура философа*. М: Территория будущего. 2010. 558 с.

Дьяконов И.М. 2010. *Пути истории*. М.: КомКнига. 384 с.

Дюков А.Р. 2010. Историческая политика или политическая память. — *Международная жизнь*. № 1. С. 133–148.

Дягилева Н.С., Журавлева Л.А. 2012. Городская идентичность: понятие, структура, основы формирования — *Социология города*. № 1. С. 46–61.

Дягилева Н.С. 2013. Теоретические аспекты городской идентичности. — *Брендинг малых и средних городов России: опыт, проблемы, перспективы*. Екатеринбург: УрФУ. С. 54–59.

Евгеньева Т.В., Титов В.В. 2010. Формирование национально-государственной идентичности российской молодежи. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 122–134.

Еврипид. 1980. *Трагедии*. Т. 2. М.: Искусство. 654 с.

Егорова И.В. 2002. *Философская антропология Эриха Фромма*. М.: Институт философии РАН 164 с.

Епархина О.В. 2011. Коллективные действия и революции в исторической социологии Ч. Тилли. — *Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология*. № 4. С. 94–111.

Ерасов Б.С. 1972. *Тропическая Африка: идеология и проблемы культуры*. М.: Наука. 270 с.

Ерасов Б.С. 2002. *Цивилизации: Универсалии и самобытность*. М.: Наука. 524 с.

Ефременко Д.В. 2006. *Эколого-политические дискурсы: Возникновение и эволюция*. М.: ИНИОН РАН. 284 с.

Ефременко Д.В. 2010. Экополитология как отрасль политической науки: В поисках теоретических оснований и дисциплинарной релевантности. — *Политическая наука*. № 2. Экология и политика. С. 33–74.

Ефремова В.Н. 2013. Государственные праздники как идеологическая конструкция. — *Политическая наука*. № 4. С. 227–236.

Ефремова В.Н. О некоторых теоретических особенностях исследования символической политики. — *Символическая политика*. Вып. 3: Политические

функции мифов. М.: ИНИОН РАН. 2015. С. 50–65.

Ефремова Ж.Д. 2006. *Формирование и функционирование менталитета населения малого провинциального города: автореф. дисс... канд. социол. наук.* М.: Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Московский государственный университет сервиса». 24 с.

Жаде З.А. 2006. Геополитическая идентичность. — *Многоуровневая идентичность (науч. ред. А.Ю. Шадже)*. М.: Российское философское общество — Майкоп: ООО «Качество». 245 с.

Жаде З.А. 2014. Этническая идентичность курдов Адыгеи. — *Научно-издательский центр «Социосфера»*. Доступ: http://sociosfera.com/publication/conference/2014/266/etnicheskaya_identichnost_kurdov_adygei/ (проверено 14.01.2016).

Жидков В.С., Соколов К.Б. 2001. *Десять веков российской ментальности: картина мира и власть*. СПб.: Алетейя. 640 с.

Жижек С. 1999. *Возвышенный объект идеологии*. М.: Художественный журнал. 235 с.

Жижек С. 2002. *Добро пожаловать в пустыню Реального*. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры». 160 с.

Жижек С. 2005. *Интерпассивность. Желание: влечение. Мультикультурализм*. СПб.: Алетейя. 160 с.

Жижек С. 2011. *Размышления в красном цвете*. М.: Европа. 476 с.

Жижек С. 2014а. *Шекотливый субъект: отсутствующий центр политической онтологии*. М.: Издательский Дом «Дело». 528 с.

Жизнь и власть в работах Мишеля Фуко: Реферативный сборник. Сост., авт. реф. и науч. ред. З.А. Сокулер. М.: ИНИОН, 1997. 134 с.

Жирякова С.Н. 2008. Столичность и провинциальность как показатели территориального сообщества. — *Регионоведение*. № 2. С. 317–319

Житенев Д.С. Брубейкер. Этничность без групп. — *Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: История*. 2013. № 3. С. 219–223.

Заборов М.А. 1977. *История крестовых походов в документах и материалах*. М.: Высшая школа. 272 с.

Зазнаев О.И. 2012. Канадская национальная идентичность: проблемы формирования. — *Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки*. Т. 154, кн. 1. С. 226–233.

Заиченко Г.А. 1988. *Джон Локк*. М.: Мысль, 1988. 207 с.

Замятин Д.Н. 2003. *Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов*. СПб.: Алетейя. 331 с.

Замятин Д.Н. 2005. Локальные истории и методика моделирования гуманитарно-географического образа города. — *Гуманитарная география: научный и культурно-просветительский альманах*. Вып. 2. М.: Институт Наследия. С. 26–50

Замятин Д.Н. 2006. *Культура и пространство: моделирование географических образов*. М.: Знак. 488 с.

Замятин Д.Н. 2011 Идентичность и территория: гуманитарно-географические подходы и дискурсы. — **Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции (под ред. И.С. Семененко, Л.А. Фадеевой, В.В. Лапкина, П.В. Панова).** 2011. М.: ИМЭМО РАН. С. 186–203.

Замятин Д.Н., Замятина Н.Ю., Митин И.И. 2008. *Моделирование образов историко-культурной территории: Методологические и теоретические подходы.* М.: Институт наследия. 760 с.

Замятина Н.Ю. 2007. Норильск — город фронта. — *Вестник Евразии.* № 1. С. 167–192.

Замятина Н.Ю. 2009. Культурно-ландшафтные исследования города — *Культурные ландшафты России и устойчивое развитие (ред. Т.М. Красовская).* М.: Географический факультет МГУ. С. 45–50.

Замятина Н.Ю. 2010. «Гений места» и развитие территории (на примере уроженца Хвалынска художника К.С. Петрова-Водкина). — *Гуманитарная география: научный и культурно-просветительский альманах.* Вып. 6. М.: Институт Наследия. С. 71–88.

Замятина Н.Ю., Пилясов А.Н. 2013. *Россия, которую мы обрели: исследуя пространство на микроуровне.* М.: Новый хронограф. 548 с.

Заславская Т.И. 1997. *Российское общество на социальном изломе: взгляд изнутри.* М.: Дело. 299 с.

Заславская Т.И. 2002. *Социетальная трансформация российского общества: Деятельностно-структурная концепция.* М.: Дело. 568 с.

Заславская Т.И. 2004. *Современное российское общество. Социальный механизм трансформации.* М.: Дело. 400 с.

Заславская Т.И., Рывкина Р.В. 1991. *Социология экономической жизни. Очерки теории.* Новосибирск: Наука. 448 с.

Здравомыслова Е. 2009. Политика идентичности правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». — *Общественные движения в России: точки роста, камни преткновения (под ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой).* М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ. С. 120–136.

Зиммель Г. 1996. *Философия культуры.* М.: Юрист. 671 с.

Зиммель Г. 1909. *Религия. Социально-психологический этюд.* М.: Сабашниковы. 82 с.

Зинченко В.П. 2003. *Личность.* — *Большой психологический словарь (под ред. В.Г. Мецеракова, В.П. Зинченко).* М.; СПб.: АСТ; АСТ-Москва; Прайм-Еврознак.

Зомбарт В. 1994. *Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека.* М., Наука. 443 с.

Зыкова А.Б., Бургете Р. 1988. *Из истории философии Латинской Америки XX века.* М.: Наука. 287 с.

Иванова Т.В. 2003. *Городская ментальность как предмет психологического исследования.* Самара: Изд-во СамЦ РАН. 250 с.

Игнатьева К. 2015. Роль женщины в сохранении культурной идентичности коренных малочисленных народов Восточной Сибири. — *Проблемы социаль-*

но-экономического развития Сибири. № 1. С. 101–105.

Идейно-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы (под ред. О.Ю. Малиновой). 2011. М.: РОССПЭН. 285 с.

Идентичность и география в постсоветской России (науч. ред. М. Бассин., К.Э. Аксенов). 2003. Сборник статей. СПб.: Геликон плюс. 270 с.

Идентичность и толерантность (под ред. Н.М. Лебедевой). 2002. М.: Институт этнологии и антропологии РАН. 416 с.

Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции (редколлегия сборника: И.С. Семенов (отв. ред.), Л.А. Фадеева (отв. ред.), В.В. Лапкин, П.В. Панов). 2011. М.: ИМЭМО РАН. 299 с.

Избранные произведения прогрессивных китайских мыслителей нового времени (1840–1898). 1961. М.: Издательство АН СССР. 299 с.

Ильин В.И. 2008. *Потребление как дискурс*. СПб.: Интерсоцис. 446с.

Ильин И.А. 1993. *Путь духовного обновления. — Путь к очевидности*. М.: Республика. 431 с.

Ильин М.В. 1994. *Политический дискурс: слова и смыслы. — Полис. Политические исследования*. № 1. С. 127–140.

Ильин М.В. 1997. *Слова и смыслы: Опыт описания ключевых политических понятий*. М.: РОССПЭН. 432 с.

Ильин М.В. 1999. *Десять лет академической политологии — новые масштабы научного знания. — Полис. Политические исследования*. № 6. С. 135–143.

Ильиных С.А. 2011. *Ключевые понятия общества потребления: исследование с позиции социологии. — Журнал социологии и социальной антропологии*. Т. XIV. № 5 (58). С. 29–40.

Инглхарт Р. *Зачем социологи, психологи, экономисты и политологи изучают ценности? Лекция цикла «Мировой класс»*. 17.11.2015. Эл. ресурс. Доступ: <http://www.forbes.ru/sobytiya/obshchestvo/305873-lektsiya-ronalda-inglkharta>.

Инглхарт Р., Вельцель К. 2011. *Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития*. М.: Новое издательство. 464 с.

Индия: страна и ее регионы (под ред. Е.Ю. Ваниной). 2000. М.: Эдиториал УРСС. 360 с.

Иноземцев В. 1998. *За пределами экономического общества: постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире*. М.: Academia — Наука. 1998. 376 с.

Иноземцев В.А. 2003. *Глобализация и неравенство: что — причина, что — следствие. — Россия в глобальной политике*. 19.02. Эл. ресурс. Доступ: http://www.globalaffairs.ru/number/n_448 (проверено 09.03.2017)

Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века. Сборник переводов. (Перевод. и составит. В.Г. Николаев; ред. Д.В. Ефременко.) 2010. М.: РАН ИНИОН. 325 с.

- Ионин Л.Г. 2000. *Социология культуры: путь в новое тысячелетие*. М.: Логос. 431 с.
- Ионов И.Н. 2007. *Цивилизационное сознание и историческое знание*. М.: Наука. 499 с.
- Ионов И.Н., Хачатурян В.М. 2002. *Теория цивилизаций от античности до конца XIX века*. СПб.: Алетейя. 384 с.
- Исаев И. 1988. Рецидив теократической утопии: церковь и феодальная государственность в расколе. — *Историко-правовые вопросы взаимоотношений государства и церкви в истории России*. М.: Издательство ВЮЗИ. 344 с.
- Искусство и цивилизационная идентичность (отв. ред. Н.А. Хренов)*. 2007. М.: Наука. 603 с.
- Исократ. 1985. Панегирик. — *Ораторы Греции*. М.: Художественная литература. С. 39–64.
- Историческая политика в XXI веке (под ред. А. Миллера, М. Липман)*. 2012. М.: Новое литературное обозрение. 548 с.
- История Китая с древнейших времен до начала XXI века*. В 10 т. Т. 6. Династия Цин (1644–1911) (отв. ред. О.Е. Непомнин). 2015. М.: Восточная литература. 887 с.
- История Российской ассоциации политической науки (под ред. С.В. Патрушева, Л.Е. Филипповой)*. 2015. Российская политическая наука: истоки и перспективы (под общей ред. О.В. Гаман-Голутвиной). В 5 т. М.: Аспект-Пресс. 360 с.
- История российской политической науки*. 2015. Под ред. Ю.С. Пивоварова, А.И. Соловьева. М.: Издательство «Аспект-Пресс». 470 с.
- Йоргенсен М.В., Филлипс Л.Дж. 2008. *Дискурс-анализ. Теория и метод*. Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр». 352 с.
- Каганский В.Л. 2001. *Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство*. М.: Новое литературное обозрение. 576 с.
- Каганский В.Л. 2014. Ареальная парадигма пространственной идентичности: основания, пределы, выход за пределы. — *Вестник Пермского научного центра*. № 5. С. 10–19.
- Кагарлицкий Б. 2003. От Лакана к Ленину. Славой Жижек как зеркало левого движения. — *Критическая масса*. № 2.
- Казаринова Д.Б. 2011. Феномен «мягкой силы». Стратегии мягкой силы в политике государств-членов двадцатки. — *Свободная мысль*. № 3. С. 187–200.
- Казула Ф.П. 2009. Теория дискурса и дискурс-анализ: Как идеи и символы формируют политику. — *Политическая наука*. М.: РАН. ИНИОН. № 4. С. 59–78.
- Калуцков В.Н. 2008. *Ландшафт в культурной географии*. М.: Новый хронограф. 320 с.
- Калхун К. 2006. *Национализм*. М.: Территория будущего. 288 с.
- Капелюшников Р.И. 2010. Множественность институциональных миров: Нобелевская премия по экономике-2009. — *Экономический журнал ВШЭ*. Т. 14. № 1. С. 12–69.
- Капицын В.М. 2014. Идентичности: сущность, состав, динамика (дискурс и

опыт визуализации). — *Politbook*. № 1. С. 8–32.

Капицын В.М. Космополитизм и цивилизационная идентичность России. — *Информационные войны*. 2010. № 3. С. 24–31.

Капустин Б.Г. 1998. *Современность как предмет политической теории*. М.: РОССПЭН. 308 с.

Капустин Б.Г. 2010. Политические смыслы «цивилизации». — *Критика политической философии: Избранные эссе*. М.: Издательский дом «Территория будущего». С. 23–48.

Карягин М.Е., Сунгуров А.Ю. 2016. Современное российское политологическое сообщество — первые шаги к анализу. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 8–20.

Каспэ С.И. 2001. *Империя и модернизация: Общая модель и российская специфика*. М.: РОССПЭН. 256 с.

Кастельс М. Становление общества сетевых структур. — *Новая постиндустриальная волна на Западе: антология*. В.Л. Иноземцев (ред.). М.: Academia. 1999. С. 494–505.

Кастельс М. 2000. *Информационная эпоха: экономика, общество и культура*. М.: Издательство ГУ ВШЭ. 608 с.

Качанов Ю.Л. 1994. *Опыты о поле политики: Интерференция*. М.: Институт экспериментальной социологии. 159 с.

Качанов Ю.Л. 2000. *Начало социологии*. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя. 255 с.

Квале С. 2003. *Исследовательское интервью*. М.: Смысл. 301 с.

Кертман Л.Е., Рахшмир П.Ю. 1984. *Буржуазия Западной Европы и Северной Америки на рубеже XIX–XX веков*. М.: Высшая школа. 159 с.

Кёхлер Г. 2013. Новые социальные медиа: шанс или препятствие для диалога? — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 75–87.

Кимберг А.Н., Демонова Я.О. 2015. Коммитмент и пред-коммитмент как составляющие процесса самоопределения. — *Категория «социального» в современной педагогике и психологии: материалы 3-й научно-практической конференции (заочной) с международным участием: 19–20 марта 2015 г. (отв. ред. А.Ю. Нагорнова)*. Ульяновск: SIMJET. 2013. С. 186–190.

Кимлика У. 2000. Федерализм и сепессия: Восток и Запад. — *Ab imperio*. № 3–4. С. 245–317.

Киселев Г.С. 1989. Присвоение человека: о специфике социальной связи на традиционном Востоке. — *Народы Азии и Африки*. М. 1989. № 6. С. 66–74.

Киселев И.Ю., Смирнова А.Г. 1986. *Динамика образа государства в международных отношениях*. Изд. 2-е, переработ. и доп. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета. 375 с.

Киселев К.В. 2008. Миф о среднем классе: основания конструирования и политические функции. — *Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН*. № 8. С. 355–365.

Киселев К.В. 2006. *Символическая политика: власть vs. общество*. Екатеринбург: Дискурс-Пи. 131 с.

Киссель М.А. 1990. Вико Джамбаттиста. — *Современная западная социология (словарь)*. М.: Издательство политической литературы. С. 54–55.

Китайская цивилизация в глобализирующемся мире. В 2 т. Т. 1 (отв. ред. В.Г. Хорос). 2014. М.: ИМЭМО. 203 с.

Китинг М. 2003. Новый регионализм в Западной Европе. — *Логос*. № 6. С. 67–116.

Клеман К., Мирясова О., Демидов А. 2010. *От обывателей к активистам. За-рождающиеся социальные движения в современной России*. М.: Три квадрата. 688 с.

Ключевский В.О. 1987. *Соч. в 9 т. Т. 1. Курс русской истории. Ч. 1*. М.: Мысль. 430 с.

Кобелева И.В. 2015. Инвестиции в природоохранную деятельность. — *Ин-ВестРегион*. № 3. С. 62–66.

Ковалев В.А. 2015. *Опыты российской политики: перспективы и тупики постсоветского периода: Политологические очерки*. Сыктывкар: Издательство СГУ им. Питирима Сорокина. 224 с.

Коган Л.Б. 1990. *Быть горожанами*. М.: Мысль. 168 с.

Козер Л.А. 2000. *Функции социального конфликта*. М.: Дом интеллектуальной книги-Идея-Пресс. 295 с.

Козлова Н.Н. 1999. Повесть о жизни с Алешей Паустовским. — *Социологи-ческие исследования*. № 5. С. 20–33.

Козлова Н.Н. 2005. *Советские люди. Сцены из истории*. М.: Издательство «Европа». 544 с.

Козырев А.П. Эстетическое целое Другого. Отношение Я и Другого как исто-ток философии диалога М.М. Бахтина. — *Семинар «Русская философия (тради-ция и современность)»: 2004–2009*. Сост., общ. ред. А.Н. Паршина. Вып. 12. М., 2011. С. 307–328.

Колбовский Е.Ю. 1999. *Культурный ландшафт и экологическая организация территории регионов (на примере Верхневолжья)*. Дисс. на соиск. ученой степени доктора географических наук. Ярославль: Ярославский государственный педа-гогический университет им. К.Д. Ушинского. 394 с.

Колесова А.К., Колб А.Л. 2015. Материнство и проблемы самоидентичнос-ти женщины. Историко-педагогический аспект. — *Современные проблемы на-уки и образования*. № 4. Эл. ресурс. Доступ: <http://cyberleninka.ru/article/n/materinstvo-i-problemy-samoidentichnosti-zhenschiny-istoriko-pedagogicheskiy-aspekt>. Проверено: 08.03.2017.

Колосов В.А., Вендина О.И. 2014. Геополитическое видение мира, идентич-ность и образы друг друга в представлениях молодых жителей Калинингра-да, Гданьска и Клайпеды. — *Балтийский регион*. № 4. С. 7–30.

Колосов В.А. 2003. Новые государственные границы и идентичности в Рос-сии (на примере российско-украинской границы). — *Идентичность и геогра-фия в постсоветской России. Сборник научных статей*. СПб.: Геликон Плюс. С. 53–77.

Колосов В.А., Бородулина Н.А., Галкина Т.А., Вендина О.И., Заяц Д.В., Юр Е.С. 2003. Геополитическая картина мира в средствах массовой информации.

— *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 33–49.

Колосов В.А., Мироненко Н.С. 2001. *Геополитика и политическая география: учебник для вузов*. М.: Аспект Пресс. 479 с.

Кон И.С. 1964. Личность. — *Философская энциклопедия*. В 5 т. Т. 3. *Коммунизм. Наука* / Ред. колл.: Ф.В. Константинов (гл. ред.) [и др.]. М.: Советская энциклопедия.

Кон И.С. 1967. *Социология личности*. М.: Политиздат. 383 с.

Кон И.С. 1971. К проблеме национального характера. — *История и психология* (под ред. Б.Ф. Поршнева, Л.И. Анцыферовой). М.: Наука. С. 122–158.

Кон И.С. 1978. *Открытие Я*. М.: Политиздат. 367 с.

Кон И.С. 1983. Личность. — *Философский энциклопедический словарь*. Гл. редакция: Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. М.: Советская энциклопедия.

Кон И.С. 1983. Этнография и проблемы пола. — *Советская этнография*. №3. С. 25–34.

Кон И.С. 1984. *В поисках себя: Личность и ее самосознание*. М.: Политиздат. 335 с.

Кон И.С. 1989. *Психология ранней юности. Книга для учителя*. М.: Просвещение. 255 с.

Кон И.С. Идентичность. — *Энциклопедия Кругосвет*. Доступ: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/sociologiya/IDENTICHNOST.html (проверено: 19.08.2015).

Кон Х. 2010. Идея национализма. — *Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма*. М.: Новое издательство. С. 27–61.

Кондаков И.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А. 2011. *Цивилизационная идентичность в переходную эпоху: культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты*. М.: Прогресс-Традиция. 1024 с.

Конфликтотенный потенциал национальных историй (сборник научных статей). 2015. Материалы Международного научно-методологического семинара, г. Казань, 26 марта 2015. (отв. ред. и сост. А.В. Овчинников). Казань. 229 с.

Коргунюк Ю.Г. 2007. *Становление партийной системы современной России*. М.: Фонд ИНДЕМ. 543 с.

Кордонский С. 2008. *Сословная структура постсоветской России*. М.: Институт Фонда «Общественное мнение». 216 с.

Коркюф Ф. 2002. *Новые социологии*. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя. 179 с.

Корсун В.А. 2008. Идентичность с китайской спецификой. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 68–79.

Кортунов С.В. 2009а. *Национальная идентичность. Постижение смысла*. М.: Аспект Пресс. 589 с.

Кортунов С. 2009б. Имперское и национальное. — *Становление национальной идентичности: Какая Россия нужна миру*. М.: Аспект Пресс. 376 с.

Косач Г.Г. 2007. Арабский национализм или арабские национализмы: доктрина, этноним, варианты дискурса. — *Национализм в мировой истории* (под

ред. В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана). М.: Наука. С. 259–332.

Косач Г.Г. 2016. Саудовская Аравия: Национальное единство без плюрализации. — *Политическая наука*. № 1. С. 60–79.

Косов А.В. 2007. Ментальность как мировоззренческая система и компонента мифосознания. — *Методология и история психологии*. Т. 2. Вып. 3. С. 75–90.

Косолапов Н.А. 2011. Международный регион и его политическое наполнение. — *Транснациональные политические пространства: явление и практика* (отв. ред М.В. Стрежнева). М.: Весь Мир. С. 34–50.

Косолапов Н.А. 2011. От территории к пространствам: политико-исторический экскурс. — *Транснациональные политические пространства: явление и практика* (отв. ред М.В. Стрежнева). М.: Весь Мир. С. 15–33.

Костылева Т.А. 2006. Социальное служение религиозных организаций. Дис. канд. филос. наук: 09.00.13 Омск. 167 с.

Костюнина Г.М. 2015. Североамериканская интеграция: 20 лет спустя. — *Вестник МГИМО-университета*. № 2. С. 152–162.

Котовский Г.Г. 1965. Введение. Некоторые аспекты проблем каст. — *Касты в Индии* (отв. ред. Г.Г. Котовский). М.: Наука. С. 3–40.

Кравченко Е.И. 2006. Джордж Герберт Мид: философ, психолог, социолог. М.: Московский государственный лингвистический университет. 286 с.

Краснова О.В. 2000. «Мы» и «Они»: «Эйджизм и самосознание пожилых людей. — *Психология зрелости и старения*. № 3 (11). С. 18–36.

Крёбер А., Элиас Н., Кассирер Э. и др. 2001. — *Культурология. Дайджест*. М.: ИНИОН РАН. № 1 (16). 216 с.

Крестинина Е.С. 2011. Образ «другого» в структуре современной идентичности российского общества. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 117–124.

«Круглый стол» «Политическая наука в институтах РАН: история, современное состояние, перспективы». Социальные и политические функции академических и экспертных сообществ. — *Политическая наука*. № 3. Социальные и политические функции академических и экспертных сообществ. Ред.-сост. номера Авдонин В.С., Малинова О.Ю. С. 237–251.

Крылов М.П. 2005. Региональная идентичность в историческом ядре Европейской России. — *Социологические исследования*. № 3. С. 13–23.

Крылов М.П. 2010. Региональная идентичность в Европейской России. М.: Новый хронограф. 240 с.

Крылов М.П. 2012. Категория «идентичность» в контексте проблемы приграничий. — *Мир психологии*. № 1. С. 137–151.

Крылов М.П., Гриценко А.А. 2012. Региональная и этнокультурная идентичность в российско-украинском и российско-украинско-белорусском порубежье: историческая память и культурные трансформации. — *Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований*. № 2. С. 28–42. Эл. ресурс. Доступ: <http://journal-labirint.com> (проверено: 06.10.2015)

Крылов М.П., Гриценко А.А. 2013. Саморазвитие культурного ландшафта

как эвристический принцип. — *Вестник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Социологические науки*. № 23 (282). С. 186–205.

Крыштановская О.В. 1989. *Инженеры. Становление и развитие профессиональной группы*. М.: Наука. 144 с.

Кувенева Т.Н., Манаков А.Г. 2003. Формирование пространственных идентичностей в порубежном регионе. — *Социологические исследования*. № 7. С. 77–89.

Кудрявцев М.К. 1992. *Кастовая система в Индии*. М.: Наука. 264 с.

Кудряшова И.В. 2002. Фундаментализм в пространстве современного мира. — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 66–77.

Кудряшова И.В. 2003. Исламская цивилизационная доминанта и современное развитие мусульманских политий. — *Политическая наука*. М.: РАН. ИНИОН. № 2. С. 87–117.

Кудряшова И.В. 2008. Суверенитет: Европейский конструкт в контексте ближневосточных реалий. — *Суверенитет. Трансформация понятий и практик* (под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой). М.: МГИМО-Университет. С. 194–226.

Кудряшова И.В. 2010. Пан-нации и нации-государства в мусульманском мире: Конкуренция воображаемых сообществ. — *МЕТОД: Московский ежегодник трудов из общественных дисциплин: Сб. науч. тр. (гл. ред. М.В. Ильин). Вып. 1: Альтернативные модели формирования наций*. М.: РАН. ИНИОН. С. 30–53.

Кудряшова И.В. 2012. Политические изменения и трансформация идентичности в странах мусульманского Востока. — *Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 2. Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке* (отв. ред. И.С. Семененко). 2012. М.: РОССПЭН. С. 155–184.

Кудряшова И.В. 2013. Как изучать взаимодействие религии и политики? — *Политическая наука*. № 2. С. 9–24.

Кузнецов В. 2015. ИГ — альтернативная государственность? — *Россия в глобальной политике*. № 5. С. 8–17.

Куква Е.С. 2010. Этнокультурная идентичность казачества России. — *Вопросы казачьей истории и культуры*. № 5. С. 28–33.

Кули Ч.Х. 1996. Социальная самость. — *Американская социологическая мысль* (под ред. В.И. Добренькова). М.: Международный университет бизнеса и управления. С. 314–328.

Кули Ч.Х. 2000. *Человеческая природа и социальный порядок*. М.: Дом интеллектуальной книги. 309 с.

Куликов С.П., Грибов Д.Е. 2016. Патриотические установки в массовом сознании молодежи и старших поколений в современной России: динамические и статические характеристики. — *Гуманитарий Юга России*. № 4. С. 236–245.

Кульпин Э.С. 1990. *Человек и природа в Китае*. М.: Наука. 248 с.

Кульпин Э.С. 1995. *Путь России*. М.: Московский лицей. 200 с.

Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу (под ред. Л. Харрисона, С. Хантингтона). 2002. М.: Московская школа политических исследований. 320 с.

Культурная сложность современных наций (отв. ред. В.А. Тишков, Е.И. Филип-

пова). 2016. Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. М.: Политическая энциклопедия. 384 с.

Культурный ландшафт как объект наследия (под ред. Ю. А. Веденина, М. Е. Кулешовой). 2004. М.: Институт Наследия; СПб.: Дмитрий Буланин. 620 с.

Куренной В. 2012. Исследовательская и политическая программа культурных исследований. — *Логос*. № 1 (85). С. 14–79.

Курныкин О.Ю. 2016. Эволюция понятия «сепаратизм». — *Современная Россия и мир: альтернативы развития. Сепаратизм и его роль в мировом политическом процессе. Дневник Алтайской школы политических исследований № 32* (под. ред. Ю.Г. Чернышова). Барнаул: Издательство Алтайского ГУ. С. 52–58.

Кутовенко А. 2003. Новые либертарианцы. — *Компьютерная газета А-Z*. Эл. ресурс. Доступ: <http://www.nestor.minsk.by/kg/2003/07/kg30709.html> (дата обращения: 27.08.2015).

Кутырев В.А. 2001. *Культура и технология: борьба миров*. М.: Прогресс-Традиция. С. 98.

Куценков А.А. 1983. *Эволюция индийской касты*. М.: Наука. 326 с.

Кушнер (Кнышев) П.И. 1951. *Этнические территории и этнические границы*. М., Изд-во АН СССР. 280 с.

Лавренова О.А. 2013. Междисциплинарное поле мысли: культурный ландшафт. — *Проблемы теоретической и гуманитарной географии: Сборник научных статей, посвященных 80-летию со дня рождения Б.Б. Родомана*. М.: Институт наследия. С. 209–249.

Лакан Ж. 1997. *Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после Фрейда*. М.: Русское феноменологическое об-во. 183 с.

Лакан Ж. 2000. *Телевидение*. М.: Гнозис. 80 с.

Лакан Ж. 1995. *Функция и поле речи и языка в психоанализе: Доклад на Римском конгрессе, читанный в Институте психологии Римского университета 26 и 27 сентября 1953 года*. М.: Гнозис. 100 с.

Ламажаа Ч.К. 2014. *Архаизация общества. Тувинский феномен*. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 272 с.

Лапкин В.В. 2011. *Метаморфозы идентичности в условиях глобализации*. — *Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС*. Т. 7. № 2. С. 25–41.

Лапкин В.В. 2012. *Политическая модернизация России в контексте глобальных изменений*. М.: ИМЭМО РАН. 140 с.

Лапкин В.В., Семенов И.С. 2013. «Человек политический» перед вызовами «infomodernity». — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 64–81.

Лапкин В.В., Пантин В.И. 2016. Политическая динамика: методология прогнозирования в рамках парадигмы эволюционных циклов. — *Политическая наука перед вызовами глобального и регионального развития* (под ред. О.В. Гаман-Голтувиной). М.: Издательство «Аспект Пресс». С. 126–147.

Латур Б. 2011. Можем ли мы вернуться на землю? — *Вокруг света*. № 12. Доступ: <http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7547/> (проверено 15.02.2017).

Ле Бон Г. 2011. *Психология народов и масс*. М.: Академический проект. 238 с.

Ле Гофф Ж. 1991. *С небес на землю* (Перемены в системе ценностных ори-

ентаций на христианском Западе XII–XIII вв.). — *Одиссей. Человек в истории*. М.: Наука. С. 25–44.

Ле Гофф Ж. 2001. *Средневековый мир воображаемого*. М.: Издательская группа «Прогресс». 440 с.

Ле Гофф Ж. 2005. *Цивилизация средневекового Запада*. Екатеринбург: У-Фактория. 560 с.

Ле Гофф Ж. 2013. *История и память*. М.: Росспэн. 302 с.

Ле Гофф Ж. 2014. *Рождение Европы*. СПб.: Александрия. 391 с.

Левада Ю.А. 2005. Поколения XX века: возможности исследования. — *Отцы и дети: Поколенческий анализ современной России*. М.: Новое литературное обозрение. С. 39–61.

Левада Ю.А. 2006. *Ищем человека: социологические очерки 1993–2005*. М.: Новое издательство. 384 с.

Левада Ю.А. 1969. *Лекции по социологии*. М.: ИКСИ АН СССР. В 2-х вып. 117с., 181с.

Левада Ю.А. 2000. *От мнений к пониманию: социологические очерки 1993–2000*. М.: Московская школа политических исследований. 576 с.

Левин З.И. 1988. *Ислам и национализм в странах зарубежного Востока. Идеальный аспект*. М.: Наука; Главная редакция восточной литературы. 221 с.

Левин И.Б. 2009. В урнах — пепел демократии? — *Полития*. № 2. С. 102–140.

Ледяев В. 2006. Теория городских политических режимов. — *Социологический журнал*. № 3–4. С. 46–68.

Леконцева К.В. 2013. Интерпретация понятия «трансграничный регион» через призму современной социологической методологии. — *Вестник Забайкальского государственного университета*. № 8. С. 60–70.

Лелюхин Д.Н. 2009. Коллективные органы управления и их роль в структуре индийского государства. — *История и современность*. № 1. С. 56–72.

Ленин В.И. 1969. О праве наций на самоопределение — Ленин В.И. *Полн. собр. соч.* Изд. 5. Т. 25. М.: Издательство политической литературы. С. 255–320.

Леонтьев А. 1975. *Деятельность. Сознание. Личность*. М.: Политиздат. 304 с.

Леонтьев А.Н. 1983. Образ мира. — Леонтьев А.Н. *Избранные психологические произведения*: В 2 т. Т. II. М.: Педагогика. С. 250–261.

Лепетухин Н.В. 2013. *Теории расизма в общественно-политической жизни Западной Европы во второй половине XIX — начале XX веков*: Ж.-А. Гобино, Г. Лебон, Х.-С. Чемберлен. Иваново: ПресСто. 148 с.

Лепехин Н.Н., Дубко А.В. 2001. Доверие в виртуальной идентичности в Интернет-среде. — *Вестник СПбГУ. Сер. 12*. № 4. С. 145–151.

Лернер М. 1992. *Развитие цивилизации в Америке. Образ жизни и мыслей в Соединенных Штатах сегодня*. В 2 т. Т. 1. М.: Радуга. 671 с.

Лиотар Ж.-Ф. 1998. *Состояние постмодерна*. М.: Институт экспериментальной социологии. СПб.: Алетейя. 160 с.

Липсет С. 1994. Роль политической культуры. — *Пределы власти*. № 2–3. С. 35–40.

- Локк Д. 1985. Опыт о человеческом разумении. — Локк Д. *Соч.* В 3 т. Т. 1. М.: Мысль. С. 78–582.
- Локк Д. 1985–1988. *Сочинения*. В 3 т. (Философское наследие). М.: Мысль. 622 с.; 560 с.; 668 с.
- Ломанов А. 2015. Общий знаменатель нации. Китайские ценности будут соперничать с западными. — *Россия в глобальной политике*. № 5. С. 138–152.
- Лосев А.Ф. 2008. *Диалектика мифа*. М.: Академический проект. 304 с.
- Луман Н. 2007. *Социальные системы. Очерк общей теории*. СПб.: Наука. 641 с.
- Луман Н. *Реальность массмедиа*. М.: Праксис, 2005. 256 с.
- Лэндри Ч. 2005. *Креативный город*. М.: Издательский дом «Классика-XXI». 399 с.
- Лютер М. 1996. *95 тезисов. Диспут о прояснении действительности индульгенций*. СПб.: Издательство Герменевт. 64 с.
- Мазин В.А. 2004. *Введение в Лакана*. М.: Прагматика культуры. 196 с.
- Майерс Д. 1997. *Социальная психология*. СПб.: Питер. 688 с.
- Макинтайр А. 2000. *После добродетели: Исследования теории морали*. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга. 384 с.
- Маколи М. 2011. Историческая память и сообщество граждан. — *Pro et Contra*. № 1–2. С. 134–149.
- Малахов В.С. 1998. Неудобства с идентичностью. — *Вопросы философии*. № 2. С. 43–53.
- Малахов В.С. 2000. Скромное обаяние расизма. — *Знамя*. № 6. С. 175–189.
- Малахов В.С. 2001. *Скромное обаяние расизма и другие статьи*. М.: Дом интеллектуальной книги и Модест Колеров. 171 с.
- Малахов В.С. 2002. Зачем России мультикультурализм? — *Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ*. Под ред. В.С. Малахова и В.А. Тишкова. М.: Институт этнологии и антропологии РАН. С. 48–60.
- Малахов В.С. 2005. *Национализм как политическая идеология*. М.: КДУ. 320 с.
- Малахов В.С. 2014. *Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций*. М.: Новое литературное обозрение; Институт философии РАН. 232 с.
- Малашенко А.В. 1997. Неприятие фундаментализма как его зеркальное отражение. — *НГ-религии*. № 12.
- Малашенко И.Е. 1988. *США: в поисках «консенсуса». Внешнеполитические ориентации в американском массовом сознании*. М.: Наука. 240 с.
- Малинова О.Ю. 2003. Концепт идеологии в современных политических исследованиях. — *Политическая наука. Политическая идеология в современном мире. Сб. научных трудов*. М.: РАН. ИНИОН. С. 8–31.
- Малинова О.Ю. 2003. Либерализм и концепт нации. — *Полис. Политические исследования*. № 2. 96–111.
- Малинова О.Ю. 2006. Об опыте взаимодействия профессионального сообщества политологов с властью и гражданскими организациями. — *Публичная политика — 2006: Сборник статей* / Под ред. А.Ю. Сунгурова. СПб.: Норма,

С. 42–54.

Малинова О.Ю. 2010. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 90–105.

Малинова О.Ю. 2011. Тема прошлого в риторике президентов России. — *Pro et Contra*. № 3–4. С. 106–122.

Малинова О.Ю. 2012. Символическая политика: контуры проблемного поля. — *Символическая политика. Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс* (отв. ред. О.Ю. Малинова). М.: РАН. ИНИОН. С. 5–16.

Малинова О.Ю. 2012. Между идеями нации и цивилизации: дилеммы макрополитической идентичности в XXI веке. — *Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 2. Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке* (отв. ред. И.С. Семененко). 2012. М.: РОССПЭН. С. 332–354.

Малинова О.Ю. 2013. *Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России*. М.: ИНИОН РАН. 421 с.

Малинова О.Ю. 2014. Темпоральность и другие свойства символического в политике. — *Символическая политика. Вып. 2: Споры о прошлом как проектирование будущего* (Редкол.: О.Ю. Малинова (гл. ред.) и др). М.: РАН. ИНИОН. С. 5–17.

Малинова О.Ю. 2015а. *Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности*. М.: Политическая энциклопедия. 207 с.

Малинова О.Ю. 2015б. «Систематическая работа с прошлым»: государственный посыл или интеллектуальная задача. — *Гефтер*. 2.12.2015. Эл. ресурс. Доступ: <http://gefter.ru/archive/16810> (проверено: 01.02.2016)

Малинова О.Ю. 2015. Концепт «другого» в исследованиях идентичности: Анализ современных дискуссий. — *Политическая наука*. № 4. С. 154–169.

Малинова О.Ю. 2015. Миф как категория символической политики. — *Символическая политика. Вып. 3: Политические функции мифов*. (Редкол.: О.Ю. Малинова (гл. ред.) и др). М.: РАН. ИНИОН. С. 5–24.

Малинова О.Ю. 2015. Кто формирует лицо профессии: Сравнительный анализ репрезентаций «политологов», «экономистов» и «историков» в российских печатных СМИ. — *Социальные и политические функции академических и экспертных сообществ*. *Политическая наука*. № 3. С. 225–237.

Малинова О.Ю. 2016. Риторика политического лидера как индикатор значимости Другого. США и КНР в выступлениях президентов РФ (2000–2015). — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 21–37.

Малинова О.Ю. 2016. Официальный исторический нарратив как элемент политики идентичности в России: от 1990-х к 2010-м годам. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 139–158.

Малинова О.Ю., Патрушев С.В. 2008. Российские политологи как профессиональное сообщество (по материалам исследований Российской ассоциации политической науки, 2005–2007 гг.). — *Политическая наука в России: проблемы, направления, школы (1990–2007)*. 2008. М.: РАПН, РОССПЭН.

- Малчиоди К. 1998. *Постижение детского рисунка*. СПб.: Институт общегуманитарных исследований. 307 с.
- Мангейм К. 2000. Проблема поколений. Состязательность. Экономические амбиции. — *Очерки социологии знания*. М.: РАН. ИНИОН. С. 8–63.
- Маркузе Г. 2003. *Одномерный человек*. М.: АСТ. 333 с.
- Мартьянов В.С. 2010а. Один Модерн или «множество»? — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 41–53.
- Мартьянов В.С. 2010б. Политический проект Модерна. От мирозкономики к мирополитике. М.: РОССПЭН. 360 с.
- Мартьянов В.С., Фишман Л.Г. 2010. *Россия в поисках утопий. От морального коллапса к моральной революции*. М.: Весь Мир. 256 с.
- Мартьянов Д.С. 2014. Сетевая идентичность: трансформация феномена и подходов к изучению. — *Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС*. Том 10. № 4. С. 142–160.
- Мартьянов Д.С. 2015. Сложная идентичность в глобальном обществе. — *Научный альманах*. № 8. С. 1440–1443.
- Марусенко М.А. 2014. *Языковая политика Европейского союза: институциональный, образовательный и экономический аспекты*. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та. 288 с.
- Массовая политика: институциональные основания (под ред. С.В. Патрушева)*. 2016. М.: Политическая энциклопедия. 287 с.
- Махлин В.Л. 1997. *Я и Другой: К истории диалогического принципа в философии XX в.* М.: Лабиринт 252 с.
- Межевич Н.М. 2003. Идентичность: теоретические аспекты и пространственное содержание в условиях пограничных межэтнических разломов: на примере региона Ивангород-Нарва. — *Идентичность и география в постсоветской России. Сборник научных статей*. 2003. СПб.: Геликон Плюс. С. 78–113.
- Мелешкина Е.Ю. 2001. *Политический процесс: основные аспекты и способы анализа*. М.: Весь Мир. 304 с.
- Меликсетов А.В. 1977. *Социально-экономическая политика Гоминьдана. 1927–1949*. М.: Наука. 316 с.
- Мельникова О.Т. 2005. Методика психологического рисунка в качественном исследовании социальных установок. — *Социология*: 4М. № 1. С. 108–126.
- Мерло-Понти М. 1999. *Феноменология восприятия*. СПб.: Ювента; Наука. 605 с.
- Миглиаро Л.Р. 2014. Что такое экономика солидарности. — *Политком*. 16.07.2014. Эл. ресурс. Доступ: <http://politcom.org.ua/?p=7417> (проверено 03.03.2017).
- Мид Дж. 1994а. Аз и Я. — *Американская социологическая мысль: Тексты (под ред. В.И. Добренкова)*. М.: Изд-во МГУ. С. 227–237.
- Мид Дж. 1994б. *Интернализированные другие и самость*. — *Американская социологическая мысль: Тексты (под ред. В.И. Добренкова)*. М.: Издательство МГУ. С. 224–227.
- Мид Дж. 1994с. От жеста к символу. — *Американская социологическая мысль*:

Тексты (под ред. В.И. Добренъкова). М.: Изд-во МГУ. С. 215–224.

Мид Дж.Г. 2014. *Философия настоящего*. М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ. 271 с.

Мид М. 1988. *Культура и мир детства*. М.: Наука; Главная редакция восточной литературы. 429 с.

Мид М. 2004. *Мужское и женское. Исследование полового вопроса в меняющемся мире*. М.: РОССПЭН. 416 с.

Микляева А.В. 2009. Методы исследования эйджизма: зарубежный опыт — *Журнал Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена*. № 100. С. 148–157.

Микляева А.В., Румянцева П.В. 2011. *Городская идентичность жителя современного мегаполиса: ресурс личностного благополучия или зона повышенного риска?* СПб.: Речь. 160 с.

Миллер Дж. Будьте жестокими! Интеллектуальная биография Мишеля Фуко. — *Логос*. 2002. № 5–6. С. 331–381.

Миллер А.И. 2007. Нация как рамка политической жизни. — *Pro et Contra*. № 3. С. 6–20.

Миллер А.И. 2008. Прошлое и историческая память как факторы формирования дуализма идентичностей в современной Украине. — *Политическая наука*. № 1. С. 83–100.

Миллер А.И. 2009. Россия: власть и история. — *Pro et Contra*. Т. 13. № 3–4. С. 6–23.

Миллер А. 2014. Роль экспертных сообществ в политике памяти в России. — *Гептер*. 20.01.2014. Эл. ресурс. Доступ: <http://gefter.ru/archive/11115> (проверено: 14.04.2016).

Миллер А. 2016. Политика памяти в посткоммунистической Европе и ее воздействие на европейскую культуру памяти. — *Гептер*. 29.04.2016 Режим доступа: <http://gefter.ru/archive/18391> (дата обращения 14.04.2016).

Миненков Г.Я. 2005а. Концепт идентичности: перспективы определения (Часть II). — *Belintellectuals. Интеллектуальное сообщество Беларуси*. Доступ: <http://www.belintellectuals.eu/publications/169/> (проверено 15.02.2017).

Миненков Г.Я. 2005b. Политика идентичности: взгляд современной социальной теории. — *Политическая наука*. № 6. С. 21–38.

Миненков Г.И. 2007. Космополитизм и космополитическая идентичность. Тезисы доклада «Космополитизм и космополитическая идентичность: практики интерпретации», Минск, 11 марта 2007. — *Новая Эуропа*. 13.04. URL: <http://n-europe.eu/content/?p=1439> (accessed: 15.02.2017).

Миненков Г.Я. 2009. Политика идентичности для постсоветского пространства: введение в проблематику. — *Перекрестки. Журнал исследований восточно-европейского пограничья*. № 1–2. С. 5–20.

Миненков Г.Я. 2011. Идентичность как предмет политического анализа. — *Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 1. Идентичность как категория политической науки. Словарь терминов и понятий (отв. ред. И.С. Семенов)*. М.: РОССПЭН. С. 18–25.

Мир глазами россиян: общественное мнение и внешняя политика (под ред. В.А.

- Колосова). 2003. М.: ФОМ. 304 с.
- Мир 2035. *Глобальный прогноз. 2017* (под ред. А.А. Дынкина; ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН). М.: Магистр. 352 с.
- Мирошниченко И.В. 2013. *Сетевой ландшафт российской публичной политики*. Краснодар: Просвещение-Юг. 295 с.
- Мирошниченко И.В. Модернизационный потенциал краудсорсинга в современной публичной политике: российский опыт и зарубежные практики. — *Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование*. 2011. № 6. С. 33–39.
- Мирошниченко И.В., Рябченко Н.А. 2015. Сетевые ресурсы развития локальной политики. — *Среднерусский вестник общественных наук*. Т. 10. № 5. С. 38–49.
- Мирский Г.И. 2015. Европа не погибнет, но она в замещательстве. — *Москва — Ерушалаим*. Декабрь. № 21. С. 10–15.
- Митчелл Т. 2013. Машины демократии — *Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре*. № 2. С. 168–199.
- Мишель Фуко и Россия: Сб. статей (под ред. О. Хархордина). 2001. М.; СПб.: Летний сад, 349 с.
- Можаровский В.В. 2002. *Критика догматического мышления и анализ религиозно-ментальных оснований политики*. СПб.: ОВИЗО. 271 с.
- Монусова Г.А. Приверженность организации в межстрановой перспективе. — *Российский журнал менеджмента*. Т. 13. № 4. С. 29–50.
- Морозов В. 2006. Понятие государственной идентичности в современном теоретическом дискурсе. — *Международные процессы*. № 1. С. 82–94.
- Морозова Е.В. 1998. *Региональная политическая культура*. Краснодар: Издательство КубГУ. 378 с.
- Морозова Е.В. 2011. Сетевые сообщества: формы политического протеста. — *Экстраординарность, случайность и протест в политике: тематическое и методологическое поле сравнительных исследований*. Под ред. Е.В. Морозовой, Л.В. Сморгунова. Краснодар: КубГУ. С. 307–312.
- Морозова Е.В. 2011. Инновационная личность как субъект политических изменений. — *Модернизация и политика: традиции и перспективы России. Политическая наука: Ежегодник 2011*. М.: РОССПЭН.
- Морозова Е.В. 2011. Новые социальные движения. — *Идентичность как категория политической науки. Словарь терминов и понятий. Т. 1* (отв. ред. И.С. Семенов). М.: РОССПЭН. С. 168–172.
- Морозова Е.В. 2013. Эффект «вращающихся дверей». — *Элитология: Энциклопедический словарь*. М.: Издательство «Экон-Информ». С. 600–601.
- Морозова Е.В. 2014. Гибридные субъекты публичной политики: Антиистеблишментские партии. — *Вестник ВГУ. Серия: История. Политология. Социология*. № 4. С. 90–93.
- Морозова Е.В., Мирошниченко И.В. 2009. «Инвесторы политического капитала»: социальные сети в политическом пространстве региона. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 60–76.

Морозова Е.В., Мирошниченко И.В., Рябченко Н.А. 2015. Гибридные политические институты: к проблеме типологизации. — *Человек. Сообщество. Управление*. № 4. С. 6–26.

Морозова Е.В., Мирошниченко И.В., Рябченко Н.А. 2016. Фронтير сетевого общества. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 60. № 2. С. 83–97.

Морозова Е.В., Улько Е.В. 2008. Локальная идентичность: формы актуализации и типы. — *Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС*. № 4. С. 139–151.

Московичи С. 1992. От коллективных представлений к социальным. — *Вопросы социологии*. Т. 1. № 2. С. 83–95.

Мотыль А. 2004. *Пути империй: Упадок, крах и возрождение имперских государств*. М.: Московская школа политических исследований. 248 с.

Мугрузин А.С. 1994. *Аграрно-крестьянская проблема в Китае в первой половине XX в.* М.: Наука. 283 с.

Мухарямов Н.М., Мухарямова Л.М. 2008. Политическая лингвистика как академический проект. — *Управление государством: Проблемы и тенденции развития. Политическая наука: Ежегодник 2007*. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). С. 429–447.

Мухарямов Н.М., Мухарямова Л.М. 2008. Язык как politics. — *Политическая теория, язык и идеология (Редкол.: Н.А. Романович (отв. ред.) и др.)*. М.: РОССПЭН. 2008. С. 454–472.

Мчедлова М. 2011. Российская цивилизация: координаты интерпретации в новых реалиях. — **Слово.ру: Балтийский акцент**. № 3–4. С. 27–39.

Мчедлова М.М. 2011. *Религия и политические императивы: социокультурные реалии современности*. М.: РУДН. 230 с.

Мчедлова М.М. 2014. Традиция и современность: религиозные координаты. — *Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина*. Т. 2. № 3. С. 133–143.

Мчедлова М. 2015. Русский мир: как он видится гражданам России. — *Российское общество и вызовы времени. Книга первая*. Под ред. М.К. Горшкова., В.В. Петухова. М.: Весь Мир. С. 215–233.

Мчедлова М.М. 2016. Социокультурные смыслы политики: новая логика интерпретации и религиозные референции. — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 157–174.

Назукина М.В. 2007. Граница в дискурсе идентичности региональных сообществ России. — *Вестник Пермского университета. Серия «Политология»*. № 1. С. 11–17.

Назукина М.В. 2007. Региональная идентичность в условиях рецентрализации политического пространства России. — *Федерализм и централизация (отв. ред. К.В. Киселев)*. Екатеринбург: УрО РАН. С. 275–298.

Назукина М.В. 2009. *Региональная идентичность в современной России: типологический анализ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук*. Пермь, Пермский ГУ. 25 с.

Назукина М.В. 2014. Новые тенденции в политике идентичности на региональном уровне в России: акторы, специфика, тренды. — *Научный ежегодник*

Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. Т. 14. Вып. 3. С. 137–149.

Назукина М.В. 2015. Локальная идентичность как ресурс развития моногородов: постановка проблемы. — *Современный город: власть, управление, экономика*. Т. 1. С. 244–251.

Назукина М.В. Подвинцев О.Б. 2012. Региональная идентичность в Российской Федерации: преодолевая имперское наследие. — *Политическая идентичность и политика идентичности*. Т. 2. *Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке (отв. ред. И.С. Семенов)*. М.: РОССПЭН. С. 258–283.

Назукина М.В. Рецензия на книгу: Крылов М.П. Региональная идентичность в Европейской России. М.: Новый хронограф, 2010. — *Вестник Пермского университета. Серия «Политология»*. 2011. Вып. 1 (13). С. 127–131

Назукина М.В., Панов П.В., Сулимов К.А. 2009. Феномен политического сообщества на локальном (местном) уровне: возможность и действительность. — *Сообщества как политический феномен (под ред. П.В. Панова, К.А. Сулимова, Л.А. Фадеевой)*. М.: РОССПЭН. С. 153–171.

Найда О.А. 2012. *Российский патриотизм. Прошлое и настоящее*. Волгоград: ВГАФК. 238 с.

Найда О.А., Косивцова О.С. 2014. Основа процессов национального взаимодействия: патриотизм или национализм? — *Известия Волгоградского государственного технического университета*. Т. 17. № 13. С. 35–39.

Народы, культуры и социальные процессы на пограничье. 2010. Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы. 417 с.

Нартова-Бочавер С.К. 2008. *Человек суверенный. Психологическое исследование субъекта в его бытии*. СПб.: Питер. 400 с.

Наследие империй и будущее России (под ред. А.И. Миллера). 2008. М.: Новое литературное обозрение. 528 с.

Наср С.Х. 1998. О столкновении принципов западной и исламской цивилизаций. — *Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия*. М.: Аспект Пресс. С. 481–483.

Национальные истории в советском и постсоветских государствах (под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова). 2003. М.: Фонд Фридриха Науманна, АИРО-XX. 432 с.

Нация и национализм. Тематический выпуск журнала «Логос». 2006. № 2 (53).

Нееф Э. 1974. *Теоретические основы ландшафтоведения*. М.: Прогресс. 219 с.

Неменский О.Б. 2008. Русская идентичность в Речи Посполитой в конце XVI — первой половине XVII в. (по материалам полемической литературы). — *Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. Средние века — Новое время*. М.: Индрик. С. 194–195.

Немировская А.В., Фoa P. 2013. Социокультурные особенности фронта России. — *Социологические исследования*. № 4. С. 80–88.

Нещименко Г.П. 2010. Социоллингвистика как интердисциплинарная наука. — *Решение национально-языковых вопросов в современном мире. Страны СНГ и Балтии*. Под ред. Е.П. Чельшева. М.: Азбуковник. С. 47–57.

Низамова Л.Р. 2009. Сложносоставная концепция современной этничности: пределы и возможности теоретического синтеза. — *Журнал социологии и социальной антропологии*. Т. XII. № 1. С. 141–159.

Теология освобождения. 2001. — *Новая философская энциклопедия (пред. научно-ред. совета В.С. Степин)*. М.: Мысль. Т. IV. С. 37–38. Интернет-версия: <http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about>

Новикова С.А. 2013. Политическая идентичность сетевых акторов Интернет-пространства: методологические аспекты. — *PolitBook*. № 2. С. 68–75.

Новинская М.И. 1998. Поиск «новой социальности» и утопическая традиция: проблема человеческого общежития в актуальном срезе. — *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 59–78.

Нойманн И. 2004. *Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей*. М.: Новое издательство. 336 с.

Нольте Э. 2001. *Фашизм в его эпохе. Аксьон Франсез. Итальянский фашизм. Национал-социализм*. Новосибирск: Сибирский хронограф. 568 с.

Нос Н.М. 2004. Фиксация социальной идентичности в гипотетическом сценарии. — *Социальная идентичность: способы концептуализации и измерения. Материалы Всероссийского научно-методического семинара (под ред. О.А. Оберемко, Л.Н. Ожиговой)*. Краснодар: Кубанский госуниверситет. С. 95–103.

Нуссбаум М. 2006. Патриотизм и космополитизм. — *Логос*. № 53. С. 110–119.

Оболонский А.В. 2015. Этика и ответственность в публичной службе. — *Вопросы государственного и муниципального управления*. № 1. С. 7–32.

Образ России в мире: становление, восприятие, трансформация (отв. ред. И.С. Семенов). 2008. М.: ИМЭМО РАН. 152 с.

Образы российской власти: от Ельцина до Путина (под ред. Е.Б. Шестопал). 2008. М.: РОССПЭН. 416 с.

Овсяннико-Куликовский Д.Н. 1991. *Психология русской интеллигенции*. — *Вехи. Интеллигенция в России. Сборник статей. 1909–1910*. М.: Молодая гвардия. 461 с.

Ольшанский Д.В. 2002. *Психология масс*. СПб.: Питер. 368 с.

Омельченко Е. 2000. *Молодежные субкультуры*. М.: ИС РАН. 264 с.

Омельченко Е. 2010. АНТИФА против ФА. О терминах и не только. — *Полит.ру* (электронный ресурс). Доступ: <http://polit.ru/article/2010/05/24/antifa/>. Дата обращения: 6.09.2016.

Орлова Э.А. 2010. Концепции идентичности/идентификации в социально-научном знании. — *Вопросы социальной теории*. Т. IV. С. 87–111.

Ортега-и-Гассет Х. 2000. Восстание масс. — Ортега-и-Гассет Х. *Избранные труды*. М.: Весь Мир. С. 43–232.

Оруэлл Дж. 1989. *«1984» и эссе разных лет*. М.: Прогресс. 384 с.

Осипов А. 2012. *Этничность и равенство в России: особенности восприятия*. М.: Центр «Сова». 200 с.

Осипова Н.Г., Афанасьев В.В. 2010. Динамическая социология Алена Турена. — *Европейская социология*. М.: «Канон+». РООИ «Реабилитация». 368 с.

Остром Э. 2010. *Управляя общим. Эволюция институтов коллективной деятельности*. М.: ИРИСЭН, Мысль. 447 с.

Отечественная политология: Итоги XX века. Сборник научных трудов (отв. ред. М.В. Ильин). 2001. М.: ИНИОН РАН. 175 с.

Охотский Е.В. 2013. Политическая нейтральность и профессиональная ответственность государственного служащего. — *Публичное и частное право*. № III. С. 57–66.

Очерки по истории теоретической социологии XX столетия: от М. Вебера к Ю. Хабермасу, от Зиммеля к постмодернизму (отв. ред. Ю.Н. Давыдов). 1994. М.: Наука. 379 с.

Павлюк С.Г. 2007. Топонимика графств США: Геокриптография идентичности. — *Известия РАН. Серия географическая*. № 1. С. 53–65.

Паин Э. 2003. *Между империей и нацией. Модернистский проект и его традиционалистская альтернатива в национальной политике России*. М.: Фонд «Либеральная миссия». 164 с.

Паин Э.А. 2012. Этнические конфликты в постсоветской России. — *Вестник Института Кеннана в России*. № 22. С. 35–47.

Памяти Юрия Александровича Левады (составитель Т.В. Левада). 2011. М.: Издатель Карпов Е.В. 475 с.

Панарина Д.С. 2010. Фронтир как один из факторов и мифов американской истории. — *Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация*. № 4. С. 80–88.

Панкевич Н.В. 2012. Логика коллективных политических действий в условиях глобализации. — *Вестник НГУ. Серия: Философия*. № 3. С. 114–119.

Панов П.В. 2008. Конструирование образа России в официальном политическом дискурсе 1990–2000-х гг. (по материалам ежегодных Посланий президента РФ). — *Образ России в мире: становление, восприятие, трансформация (отв. ред. И.С. Семенов)*. М.: ИМЭМО РАН. С. 107–118.

Панов П.В. 2008. Локальная политика в разных измерениях. — *Политическая наука*. № 3. С. 9–31.

Панов П.В. 2011. *Институты, идентичности, практики: теоретическая модель политического порядка*. М.: РОССПЭН. 230 с.

Панов П.В. 2016. Мир этнических региональных автономий: представление базы данных. — *Вестник Пермского университета. Серия «Политология»*. № 4. С. 69–97.

Пантин В.И., Семенов И.С. 2004. Проблемы идентичности и российская модернизация. — *Поиск национально-цивилизационной идентичности и концепт «особого пути» в российском массовом сознании» в контексте модернизации (отв. ред. В.В. Лапкин, В.И. Пантин)*. М.: ИМЭМО РАН. С. 6–14.

Пантин В.И. 2008. Политическая и цивилизационная самоидентификация современного российского общества в условиях глобализации. — *Политические исследования*. № 3. С. 29–39.

Пантин В.И. 2011. Национально-цивилизационная идентичность. — *Политическая идентичность и политика идентичности. Т. 1. Словарь терминов и по-*

нятий (отв. ред. И.С. Семенов). М.: РОССПЭН. С. 116–119.

Пантин В.И. 2011. Национально-цивилизационная идентичность: специфика России. — *Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС*. Т. 7. № 2. С. 42–51.

Парсонс Т. 1993. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения. — *THESIS. Теория и история экономических и социальных институтов и систем*. М.: Начала-Пресс. Т. 1. № 2. С. 94–122.

Парсонс Т. 2000. *О структуре социального действия*. М.: Академический проект. 880 с.

Парсонс Т. 2000. *Система современных обществ*. М.: Академический проект. 462 с.

Парсонс Т. 2002. *О социальных системах*. М.: Академический проект. 832 с.

Парсонс Т. 2000. Аналитический подход к теории социальной стратификации. — Парсонс Т. *Структура социального действия*. М.: Академический Проект. С. 359–385.

Патрушев С.В. 2016. К вопросу об адресате знаний о политике. — *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 152–159.

Перегудов С.П. 2013. «Русский вопрос» в контексте этнонациональных отношений в РФ. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 74–86.

Перегудов С. П., Лапина Н. Ю., Семенов И. С. 1999. *Группы интересов и российское государство*. М.: УРСС. 350 с.

Перегудов С. П., Семенов И. С. 2008. *Корпоративное гражданство. Концепции, мировая практика и российские реалии*. М.: Прогресс-Традиция. 447 с.

Перегудов С.П., Семенов И.С. 2015. Референдум о независимости Шотландии и проблемы британской государственности. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 3. С. 64–75.

Переломов Л.С. 2007. *Конфуцианство и современный стратегический курс КНР*. М.: Издательство ЛКИ. 256 с.

Песчанский В.В. 1975. *Служащие в буржуазном обществе: на примере Англии*. М., Наука. 379 с.

Петрушевский И. 1966. *Ислам в Иране в VII–XV веках. Курс лекций*. Л.: Издательство Ленинградского университета. 400 с.

Печчеи А. 1980. *Человеческие качества*. М.: Прогресс. 302 с.

Пикетти Т. 2015. *Капитал в XXI веке*. М.: Ад Маргинем. 592 с.

Плешаков К.В. 1994. *Геоидеологическая парадигма. Взаимодействие геополитики и идеологии на примере отношений между СССР, США и КНР в континентальной Восточной Азии. 1949–1991 гг.* / Научные доклады. № 21. М.: Российский научный фонд. 108 с.

Пляйс Я.А. 2009. *Политология в контексте переходной эпохи в России*. М.: РОССПЭН. 448 с.

Пожарская С.П. 1984. Особенности формирования национально-государственного комплекса на Пиренейском полуострове (на примере Испании). — *Проблемы испанской истории*. М.: Наука. С. 5–18.

Поздняков Э.А. 1986. *Внешнеполитическая деятельность и межгосударственные отношения*. М.: Наук. 188 с.

Поиск национально-цивилизационной идентичности и концепт «особого пути» в российском массовом сознании в контексте модернизации (отв. ред. В.В. Лапкин, В.И. Пантин). 2004. М.: ИМЭМО РАН. 171 с.

Покасова Е.В. 2014. Современная специфика национально-культурной идентичности. — *Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия*. Т. 12. Вып. 3. С. 92–97.

Полањи К. 2002. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя. 320 с.

Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 1. Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий (отв. ред. И.С. Семенов). 2011. М.: РОССПЭН. 208 с.

Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 2. Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке (отв. ред. И.С. Семенов). 2012. М.: РОССПЭН. 471 с.

Политическая культура: теория и национальные модели (отв. ред. К.С. Гаджиев). 1994. М.: Интерпракс. 352 с.

Политическая наука в российских регионах: Формирование и развитие «точек роста». Сборник научных трудов (ред. и сост. О.Ю. Малинова, Я.А. Пляйс, В.В. Смирнов). 2007. М.: ИНИОН РАН. 197 с.

Политическая наука в России: проблемы, направления, школы (1990–2007). (Редколлегия: О.Ю. Малинова (отв. ред.), С.В. Патрушев, Я.А. Пляйс, В.В. Смирнов). 2008. М.: РАПН, РОССПЭН. 463 с.

Политическая наука: новые направления (под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна; научный ред. русского издания Е.Б. Шестопал). 1999.: Вече. 816 с.

Политическая наука перед вызовами глобального и регионального развития (под ред. О.В. Гаман-Голутвиной). 2016. — *Российская политическая наука: истоки и перспективы* (под общей ред. О.В. Гаман-Голутвиной). В 5 т. М.: Аспект-Пресс. М.: 672 с.

Политическая социализация российских граждан в период трансформации (под ред. Е.Б. Шестопал). 2008. М.: Новый хронограф. 551 с.

Политические изменения в глобальном мире: теоретико-методологические проблемы анализа и прогнозирования (редколлегия: И.С. Семенов (отв. ред.), В.В. Лапкин, В.И. Пантин). 2014. М.: ИМЭМО РАН. 218 с.

Политология в российских регионах. 1991–2000. 2001. Сборник материалов. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 238 с.

Полонская Л.Р. 1985. Современные мусульманские идейные течения. — *Ислам: Проблемы идеологии, права, политики и экономики. Сб. статей* (отв. ред. А.И. ИONOва). М.: Наука; Главная редакция восточной литературы. С. 6–26.

Полосин А.В. 2010. Политический регион. Опыт операционализации и концептуализации понятия. М.: Изд-во МГУ. 200 с.

Поляризованная биосфера: Сборник статей (под ред. Б.Б. Родомана). Смоленск: Ойкумена. 336 с.

Померанц Г. 1994. К кому возвращается блудный сын? Клуб трех мнений. — *Знание — сила*. С. 70–75. (эл. ресурс). Доступ: <http://vadim->

tsarev.narod.ru/arguments/Foundation.html (проверено 10.03.2017).

Понеделков А.В. 2011. Политическая компетентность в системе государственного управления: критерии, уровни, технологии реализации. — *Государственная служба. Вестник Координационного Совета по кадровым вопросам, государственным наградам и государственной службе при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе*. № 2. С. 22–32.

Попова О.В. 2002. *Политическая идентификация в условиях трансформации общества*. СПб.: Издательство СПбГУ. 258 с.

Попова О.В. 2011. Развитие теории политической идентичности в зарубежной и отечественной политической науке. — *Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции (под ред. И.С. Семенов, Л.А. Фадеевой, В.В. Лапкина, П.В. Панова)*. 2011. М.: ИМЭМО РАН. С. 13–29.

Поппер К. 1992. *Открытое общество и его враги*. В 2 т. М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива». Т. 2. 487 с.

Портрет солидаризма. Идеи и люди. 2007. М.: Посев. 320 с.

Поршнева Б.Ф. 1966. *Социальная психология и история*. М.: Наука. 160 с.

Посконина О.И. 2005. *История Латинской Америки (до XX века)*. М.: Весь Мир. 248 с.

Постсоветская идентичность в политическом измерении: реалии, проблемы, перспективы. Материалы Всероссийской научно-практической Интернет-конференции (под ред. М.В. Назукиной, О.Б. Подвищева, Н.А. Коровниковой). 2014. Пермь: ООО «Печатный салон «Гармония». 128 с.

Постфордизм: концепции, институты, практики (под ред. М.С. Ильченко, В.С. Мартыанова). 2015. М.: РОССПЭН. 280 с.

Поттхофф Х., Миллер С. 2003. *Краткая история СДПГ. 1848–2002*. М.: Памятники исторической мысли. 560 с.

Поцелуев С.П. «Символическая политика»: К истории концепта. — *Символическая политика. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс (отв. ред. О.Ю. Малинова)*. М.: ИНИОН РАН. 2012. С. 17–53.

Поцелуев С.П. 2001. Символические средства политической идентичности. К анализу постсоветских случаев. — *Трансформация идентификационных структур в современной России (под ред. Т.Г. Стефаненко)*. М.: Московский общественный научный фонд. С. 106–159.

Поцелуев С.П. Символическая политика как инспенирование и эстетизация. — *Полис. Политические исследования*. 1999. № 5. С. 62–76.

Почта Ю.М. 2009. Политический ислам в контексте глобализации и роста фундаменталистских движений религиозного и светского характера в начале XXI века. — *Мир Ислама (Pax Islamica)*. № 2. С. 159–166.

Прист С. 2000. *Теории сознания*. М.: Идея-Прогресс. 287 с.

Проезжая по Московии (Россия XVI–XVII веков глазами дипломатов) (сост. Н. Рогожин). М.: Международные отношения. 368 с.

Прохоренко И.Л. 1993. Национальная безопасность и баланс сил. — *Баланс*

сил в мировой политике: теория и практика (под ред. Э.А. Позднякова). М.: ИМЭМО РАН. С. 66–90.

Прохоренко И.Л. 1994. Испанское национальное государство и феномен национализма. — *Национализм: теория и практика* (под ред. Э.А. Позднякова). М.: ИМЭМО РАН. С. 86–133.

Прохоренко И.Л. 1995. *Национальный интерес во внешней политике государства: опыт современной Испании*. М.: Паспорт-Графика. 128 с.

Прохоренко И.Л. *Территориальные сообщества в политическом пространстве современной Испании*. М.: ИМЭМО РАН, 2010. 100 с.

Прохоренко И.Л. 2012. Латинская Америка: опыт структурирования транснациональных политических пространств. — *Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика*. № 1. С. 124–154.

Прохоренко И.Л. 2012. О методологических проблемах современных политических пространств. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 68–80.

Прохоренко И.Л. 2014. Организационная теория в анализе глобального управления. — *Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика*. № 3. С. 150–173.

Прохоренко И.Л. 2015. *Пространственный подход в исследовании международных отношений*. М.: ИМЭМО РАН. 111 с.

Прохоренко И.Л. 2016. *Испания в Европейском союзе: взаимовлияние национального и транснационального политических пространств*. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук. М.: ИМЭМО РАН. 50 с.

Прохоренко И.Л. 2016. Этнополитическая конфликтность и политика идентичности в странах Латинской Америки. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 29–40.

Психология политического восприятия в современной России (под ред. Е.Б. Шестопал). М.: РОССПЭН. 423 с.

Пузырев К. 2014. *Региональный сепаратизм в странах Западной Европы: понятие, истоки и предпосылки*. М.: ТЕИС. 94 с.

Пути Евразии. *Русская интеллигенция и судьбы России*. 1992. М.: Русская книга. 432 с.

Пушкарева Г.В. 2012. Политическое пространство: проблемы концептуализации. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 166–176.

Пушкарева Г.В. 2015. Когнитивные механизмы конструирования политической реальности. — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 55–70.

Работяжев Н.В. 2010. Западноевропейская социал-демократия в начале XXI века. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 3. С. 39–55.

Работяжев Н.В. 2011. Альтерглобализм как социальный и политический феномен: опыт анализа. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 12. С. 98–109.

Работяжев Н.В. 2014. Лейбористская партия Великобритании на пути адаптации к современному миру. — *Полития*. № 2. С. 118–140.

Радаев В.В., Шкаратан О.И. 1996. *Социальная стратификация*. М.: Аспект-пресс. 318 с.

Ракитянский Н.М. Категории сознания и менталитета в контексте феномена политической полиментальности. — *Информационные войны*. 2012. № 3 (23). С. 29–40.

Ракитянский Н.М. 2011. Понятия сознания и менталитета в контексте политической психологии. — *Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки*. № 6. С. 89–103.

Ракитянский Н.М. 2012. Категории сознания и менталитета в контексте феномена политической полиментальности. — *Информационные войны*. № 3. С. 29–40.

Ракитянский Н.М. 2013. Сверхсознание как фактор формирования политического менталитета. — *Круглый стол. «Политическое поведение: бессознательные механизмы и их рационализация»*. Полис. Политические исследования. № 6. С. 49–50.

Ракитянский Н.М. 2015. Русские исламисты как политико-психологическая реальность. — *Вестник Санкт-Петербургского университета*. Сер. 16. № 3. С. 70–82.

Рашковский Е.Б. 2005. *Осознанная свобода: Материалы к истории мысли и культуры XVIII–XX столетий*. М.: Новый хронограф. 253 с.

Рашковский Е.Б. 2008. *Смыслы в истории: Исследования по истории веры, познания, культуры*. М.: Прогресс-Традиция. 376 с.

Рашковский Е.Б. 2011. Многозначный феномен идентичности: архаика, модерн, постмодерн. — *Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции (редколлегия сборника: И.С. Семенов (отв. ред.), Л.А. Фадеева (отв. ред.), В.В. Лапкин, П.В. Панов)*. М.: ИМЭМО РАН. С. 30–37.

Ревич И.М. 2002. *Экзистенциально-креативное содержание феномена человечности. Дисс. ... докт. филос. наук*. Хабаровск: Хабаровский ГПУ. 309 с.

Редлих Р.Н. 2007. Национализм и солидаризм. — *Портрет солидаризма. Идеи и люди*. М.: Посев. 320 с.

Редфилд Р. 2008. 2009. Народное общество. — *Личность. Культура. Общество*. №5/6. С. 99–112. № 1. С. 52–58.

Резвин В.А. 2013. *Архитекторы и власть*. М.: Искусство — XXI век. 312 с.

Религия в самосознании народа (религиозный фактор в идентификационных процессах) (отв. ред. М.П. Мчедлов). 2008. М.: Институт социологии РАН. 415 с.

Ремнёв А.В. 2011. Национальность «сибиряк»: региональная идентичность и исторический конструктивизм XIX в. — *Полития*. № 3 (63). С. 109–128.

Репина Л.П. 2011. *Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и исследовательская практика*. М.: Кругъ. 560 с.

Репина Л.П. 2016. Историческая память и национальная идентичность. Подходы и методы исследования. — *Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории*. Вып. 54. «Национальная идентичность и феномен исторической памяти». С. 9–16.

- Рикёр П. 1989. Человек как предмет философии. — *Вопросы философии*. № 2. С. 41–50.
- Рикёр П. 1995. *Герменевтика. Этика. Политика. (Московские лекции и интервью)*. М.: АCADEMIA. 160 с.
- Рикёр П. 1998. *Время и рассказ. Т. 1. Интрига и исторический рассказ*. М.; СПб.: Университетская книга. 313 с. Т. 2. *Конфигурации в вымышленном рассказе*. М.: Университетская книга. 224 с.
- Рикёр П. 2002. *История и истина*. СПб: Алетейя. 397 с.
- Рикёр П. 2008. *Я-сам как другой*. М.: Издательство гуманитарной литературы. 416 с.
- Рикёр П. 2010. *Путь признания. Три очерка*. М.: РОССПЭН. 268 с.
- Риккерт Г. 1998. *Науки и природе и науки о культуре*. М.: Республика. 413 с.
- Римский В. Л. 2009. Понимание идентичности. — *Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии*. № 1 (99). С. 86–96.
- Ровинская Т. 2012. Пиратские партии: политический продукт информационного общества. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 12. С. 93–104.
- Ровинская Т. 2015. Политические амбиции европейских «пиратов». — *Мировая экономика и международные отношения*. № 7. С. 72–84.
- Рогозин Д.М. 2015. Биографический метод: обзор литературы. — *Социологические исследования*. № 10. С. 120–129.
- Родоман Б.Б. 1999. *Территориальные ареалы и сети. Очерки теоретической географии*. Смоленск: Ойкумена. 256 с.
- Рождественская Е.Ю. 2012. *Биографический метод в социологии*. М.: НИУ ВШЭ. 381 с.
- Роккан С., Урвин Д. 2003. Политика территориальной идентичности. Исследования по европейскому регионализму. — *Логос*. № 6 (40). С. 117–132.
- Ролз Дж. 1995. *Теория справедливости*. Новосибирск, изд-во НГУ. 532 с.
- Роль экспертно-аналитических сообществ в формировании общественной повестки дня в современной России*. 2017. Сборник научных трудов. Под ред. О.Ю. Малиновой. М.: ИНИОН РАН.
- Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. 2004. В границах памяти: провинциальная идентичность в устных историях. — *Социальная идентичность: способы концептуализации и измерения. Материалы Всероссийского научно-методического семинара (под ред. О.А. Оберемко, Л.Н. Ожиговой)*. Краснодар: Кубанский госуниверситет. С. 15–28.
- Романова А.П. 2016. Фронтирмен, охотник, воин. — *Журнал фронтирных исследований*. № 1. С. 67–79.
- Романова А.П., Хлыщева Е.В., Якушенков С.Н., Топчиев М.С. 2013. *Чужой и культурная безопасность*. М.: РОССПЭН. 216 с.
- Романова А.П., Якушенков С.Н. 2012. Фронтирная теория: новый подход к осмыслению социально-политической и экономической ситуации на Юге России. — *Инноватика и экспертиза*. № 2. С. 74–80.
- Россалес Х.М. 1999. Воспитание гражданской идентичности: об отношении

ях между национализмом и патриотизмом. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 93–104.

Российская Арктика в поисках интегральной идентичности (отв. ред. О.Б. Подвинцев). 2016. М.: Новый хронограф. 208 с.

Российская идентичность в Москве и регионах (отв. ред. Л.М. Дробижева). 2009. М.: ИС РАН; МАКС Пресс. 268 с.

Российская идентичность в социологическом измерении. Аналитический доклад. 2008. — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 67–90. № 2. С. 81–104. № 3. С. 9–28.

Российская идентичность в социологическом измерении. Аналитический доклад. 2008. М.: ИС РАН. 140 с. Доступ: http://www.isras.ru/analytical_report_Ident.html (проверено: 12.01.2017)

Российская идентичность в условиях трансформации: опыт социологического анализа (под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой). 2005. М.: Наука. 396 с.

Российская политическая наука: Идеи, концепции, методы. 2015. Под. ред. Л.В. Сморгунова. М.: Издательство «Аспект-Пресс». 375 с.

Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты. Энциклопедический словарь (ред. М.П. Мчедлов, М.К. Горшков, В.В. Горбунов). 2001. М.: Республика. 544 с.

Российское общество и вызовы времени. Книга первая (под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова). 2015а. М.: Институт социологии РАН; Весь Мир. 336 с.

Российское общество и вызовы времени. Книга вторая (под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова). 2015б. М.: Институт социологии РАН; Весь Мир. 432 с.

Российская политическая наука. В 5 т. (под общ. ред. А.И. Соловьева). 2008. М.: РОССПЭН.

Российско-украинское пограничье: двадцать лет разделенного единства (под ред. В.А. Колосова, О.И. Вединой). 2011. М.: Новый хронограф. 352 с.

Россияне и поляки на рубеже веков. Опыт сравнительного исследования социальных идентификаций (1998–2002 гг.) (сост. Е.Н. Данилова, О.А. Оберемко, В.А. Ядов). 2006. СПб: Издательство РХГА. 352 с.

Рубинштейн С.Л. 1973. *Проблемы общей психологии*. М.: Педагогика. 424 с.

Русакова О.Ф., Максимов Д.А. 2007. Дискурс политического бренда. — *Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки»*. Вып. 9. № 24 (96). С. 85–87.

Рыжова С.В. 2011. *Этническая идентичность в контексте толерантности*. М.: Альфа-М. 280 с.

Саватеев А.Д. 2015. Политический ислам в концепциях российских исследователей. — *Ислам в современном мире: внутригосударственный и международно-политический аспекты*. Т. 11. № 2. С. 109–118.

Саворская Е.В. 2015. Оттенки зеленого: энвайронментализм в контексте классических идеологических течений. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 103–115.

Саворская Е.В. 2013. Политические сети как объект теоретического анализа проблем глобального управления. — *Вестник Московского университета. Се-*

рия 25: *Международные отношения и мировая политика*. № 3. С. 27–48.

Сагадеев А.В. 1987. *Философское наследие мусульманского мира и современная идеологическая борьба. Научно-аналитический очерк*. М.: ИНИОН АН СССР. 52 с.

Садовая Е.С., Сауткина В.А. 2015. *Трансформация принципов современного мироустройства: социальный аспект*. М.: ИМЭМО РАН. 206 с.

Садовская В.Ю. 2013. Повседневная жизнь восточных немцев (1991–2010). — *Вестник Ивановского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки»*. № 4 (13). С. 90–93.

Самаркина И.В. 2011а. Первое десятилетие XXI: константы и новации в политической картине мира российских детей. — *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. № 3. С. 5–21.

Самаркина И.В. 2011б. *Политическая картина мира*. Краснодар: Кубанский государственный университет. 250 с.

Самаркина И.В. 2013. *Политическая картина мира как компонент субъективного пространства политики: теоретико-методологические аспекты*. Краснодар: Кубанский государственный университет. 278 с.

Самаркина И.В. 2015. Геополитические образы политической картины мира в формировании национально-государственной идентичности. — *IV Столыпинские чтения. Историческая память и геополитические вызовы современной эпохи: материалы научно-практической конференции с международным участием (отв. ред. В.М. Юрченко)*. Краснодар: Кубанский государственный университет. С. 526–532.

Самошкина И.С. 2006. Район проживания в чувствах и переживаниях. — *Communitas*. № 1. С. 35–52.

Самошкина И.С. 2008. Территориальная идентичность как предмет социально-психологического исследования. — *Вестник РГГУ*. № 3. С. 43–53.

Самошкина И.С. 2008. *Территориальная идентичность как социально-психологический феномен. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук*. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. 29 с.

Санданов А. 2012. Нужная вещь. Что взял у вестерна постапокалипсис — и зачем? — *Искусство кино*. № 2. С. 142–151.

Сассен С. 2015. Две остановки в новой современной глобальной географии: формирование новой рабочей силы и режимов занятости. — *Постфордизм: концепции, институты, практики (под ред. М.С. Ильченко, В.С. Мартьянова)*. М.: Политическая энциклопедия. С. 79–136.

Семененко И.С. 2006. Интеграция инокультурных сообществ в развитых странах. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 10. С. 58–68; № 11. С. 57–71.

Семененко И.С. 2008а. Метаморфозы европейской идентичности. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 80–96.

Семененко И.С. 2008б. Образы и имиджи в дискурсе национальной идентичности. — *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 7–18.

Семененко И.С. 2009. Дилеммы национальной идентичности: политические риски и социальные приобретения. — *Полис. Политические исследования*.

№ 6. С. 8–23.

Семенов И.С. 2010. Дилеммы утверждения национальной идентичности в глобальном мире. — *Дестабилизация мирового порядка и политические риски развития России* (отв. ред. В.И. Пантин, В.В. Лапкин). М.: ИМЭМО РАН. С. 37–50.

Семенов И.С. 2011а. Идентичность в предметном поле политической науки. — *Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции* (под ред. И.С. Семенова, Л.А. Фадеевой, В.В. Лапкина, П.В. Панова). 2011. М.: ИМЭМО РАН. С. 8–12.

Семенов И.С. 2011б. Идентичность как категория политической науки: опыт концептуализации. — *Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 1. Идентичность как категория политической науки. Словарь терминов и понятий* (отв. ред. И.С. Семенов). М.: РОССПЭН. С. 7–17.

Семенов И.С. 2011с. Политика идентичности. — *Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 1. Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий* (отв. ред. И.С. Семенов). М.: РОССПЭН. С. 162–168.

Семенов И.С. 2011d. Политическая идентичность в контексте политики идентичности. — *Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. Т. 7. № 2. С. 5–24.*

Семенов И.С. 2012. «Человек политический» перед альтернативами общественных трансформаций: опыт переосмысления индивидуального измерения политики. — *Полис. Политические исследования. № 6. С. 9–26.*

Семенов И.С. 2015. Нация, национализм, национальная идентичность: новые ракурсы научного дискурса. — *Мировая экономика и международные отношения. № 11. С. 91–102.*

Семенов И.С. 2016. Политика идентичности и идентичность в политике: этнонациональные ракурсы, европейский контекст. — *Полис. Политические исследования. № 4. С. 8–28.*

Семенов И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. 2010. Идентичность в системе координат мирового развития. — *Полис. Политические исследования. № 3. С. 40–59.*

Семенов И., Лапкин В., Пантин В. 2013. Тренды и альтернативы развития современного мира. — *Мировая экономика и международные отношения. № 10. С. 19–32.*

Семенов И.С. Цапенко И.П. 2014. Транскультурная миграция и будущее мультикультурализма. — *Глобальная перестройка* (отв. ред. А.А. Дынкин, Н.И. Иванова). М.: Институт мировой экономики и международных отношений РАН; Издательство «Весь Мир». С. 227–250.

Семенов И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. 2016. Типология этнополитической конфликтности: методологические вызовы «большой теории». — *Полис. Политические исследования. № 6. С. 69–94.*

Семенов В.Е. 1997. Типология российских менталитетов и имманентная идеология России. — *Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. № 4. С. 59–67.*

- Семенова В.В. 2009. *Социальная динамика поколений: проблема и реальность*. М.: РОССПЭН. 271 с.
- Семигин Г. Ю. 2001. Пространство политическое. — *Новая философская энциклопедия*. М.: Мысль. Т. 3. С. 374.
- Сенгор Л. 2000. Негритюд: психология африканского негра. — *Культурология: хрестоматия (сост. П.С. Гуревич)*. М.: Гардарики. С. 528–539.
- Серигов А.В., Барков Ф.А., Волков Ю.Г., Черноус В.В., Водолацкий В.П. 2013. Особенности идентичности и культуры донского казачества современной России. — *Исследования Южнороссийского филиала Института социологии Российской академии наук*. № 3. С. 113–119.
- Сильверстейн М. 2005. Уорфианство и лингвистическое воображение наций. — *Логос*. № 4. С. 87–132.
- Символическая политика. Сборник научных трудов (отв. ред. О.Ю. Малинова)*. Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. 2012. М.: ИНИОН РАН. 334 с.
- Символическая политика. Сборник научных трудов (ред. кол. О.Ю. Малинова (гл. ред.) и др.)*. Вып. 2. Споры о прошлом как проектирование будущего. 2014. М.: ИНИОН РАН. 382 с.
- Симонова О.А. 2008. К формированию социологии идентичности. — *Социологический журнал*. № 3. С. 45–61.
- Сирота Н.М., Хомелева Р.А. 2012. Альтерглобализм: идейно-политический дискурс. — *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*. Тамбов: Грамота. № 7. Ч. 3. С. 179–183.
- Смелзер Н. 1994. *Социология*. М.: Феникс. 688 с.
- Смирнягин Л.В. 1989. *Районы США: Портрет современной Америки*. М.: Мысль. 384 с.
- Смирнягин Л.В. 2007. Районы США. — *Журнал ЖЖ*. 04.05. Доступ: <http://amergeo.livejournal.com/18655.html> (проверено 14.01.2016).
- Смит Д. 2007. *Причины и тенденции вооруженных конфликтов. Этнополитический конфликт: пути трансформации: настольная книга Бергхофского центра (под ред. В. Тишкова)*. М. Устиновой. М.: Наука. 487 с.
- Смит Э. 2004. *Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма*. М.: Праксис. 466 с.
- Сморгунов Л.В. 2009. Соотношение политки и политологии в период российских политических трансформаций. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 163–166.
- Соболь Т.В. 2013. Проблема формирования социальной идентичности в условиях глобальных общественных изменений. — *Философия и космология-2012. Научно-теоретический ежегодник*. Киев. С. 211–230.
- Советский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 90-х (отв. ред. Ю.А. Левада)*. 1993. М.: Издательство «Мировой океан». 300 с.
- Современная мысль Латинской Америки: идентичность и глобализация*. 2006. Екатеринбург: Издательский Дом «Дискурс-Пи». 120 с.

Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас (сост., пер. и вступ. ст. А. В. Леденевой). 1995. Новосибирск: Издательство Новосибирского университета. 119 с.

Современные тенденции развития символического пространства политики и концепт идеологии (материалы дискуссии). 2004. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 28–52.

Согомонов А.Ю. 2010. Современный город: стратегия идентичности. — *Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре*. № 2 (70). С. 244–254.

Согрин В.В., Троицкая Л.М. 2009. От редакторов. — Тёрнер Ф.Дж. *Фронтир в американской истории*. М.: Весь Мир. С. 6–8.

Соколов В.И. 2002. Коренное население Канады: этносоциальный профиль — США–Канада: экономика, политика, культура. № 5. С. 47–59.

Солдатова Г.У. 1997. *Психология межэтнической напряженности*. М.: Смысл. 398 с.

Соловьев А.И. 2002. *Политология. Политическая теория. Политические технологии*. М.: Аспект Пресс. 559 с.

Соловьев А.И. 2004. Выступление в дискуссии «Современные тенденции развития символического пространства политики и концепт идеологии». — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 28–36.

Соловьев А.И. 2008. Исторические судьбы и перспективы российской политической науки. — *Российская политическая наука. В 5 т. (под общей ред. А.И. Соловьева)*. Т. 1. XIX — начало XX века. М.: РОССПЭН. С. 5–28.

Соловьев А.И. 2010. Либерализм: логика истории и проблемы современного дискурса. — *Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование*. № 5. С. 66–83.

Соловьев А.И. 2015. Российская политология в современном контексте: субъективные заметки. — *Вестник Поволжского института управления*. № 6 (51). С. 10–16.

Соловьев А.И. 2016. Идеологический универсализм в поле российской ментальности. — *Вестник Поволжского института управления*. № 6 (57). С. 6–15.

Соловьев В.С. 1996. *Оправдание добра*. М.: Республика, 1996. 479 с.

Сообщества как политический феномен (под ред. П.В. Панова, К.А. Сулимова, Л.А. Фадеевой). 2009. М.: РОССПЭН. 247 с.

Сорокин П.А. 2000. *Социальная и культурная динамика. Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений*. СПб: Издательство Русского Христианского гуманитарного института. 1054 с.

Сорокин П.А. 2006. *Социальная и культурная динамика*. М.: Астрель. 1176 с.

Сорос Дж. 1999. *Кризис мирового капитализма: Открытое общество в опасности*. М.: ИНФРА-М. 262 с.

Социальная идентификация личности (под ред. В. Ядова). 1993. М.: ИС РАН. 168 с.

Социальная психология (под редакцией С. Московичи). 7-е изд. 2007. СПб.: Пи-

тер. 592 с.

Социальная психология классов (под ред. Г.Г. Дилигенского). 1985. М.: Наука. 293 с.

Социальная траектория реформируемой России: Исследования Новосибирской экономико-социологической школы (отв. ред. Т.И. Заславская, З.И. Калугина). 1999. Новосибирск: Наука. 736 с.

Спиркин А.Г. 1972. *Сознание и самосознание*. М.: Политиздат. 303 с.

Ставропольский Ю.В. 2011. «Минимальная групповая парадигма» в теории социальной идентичности Генри Тэджфела. — *Общество: социология, психология, педагогика*. № 3–4. С. 69–73.

Становление корпоративности. Триумф корпорации? 2006. — *Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. Тематический выпуск*. № 4–5 (48–49).

Старовойтов В.В. 2007. Жизнь и творчество Эриха Фромма. — *Журнал практической психологии и психоанализа*. № 1. Эл. ресурс. Доступ: <https://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2773> (проверено: 02.02.2017)

Стась А. 2009. *Новая геральдика. Как страны, регионы и города создают и развивают свои бренды*. М.: ООО «Группа ИДТ». 208 с.

Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. 1994. *Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации*. М.: ИФ РАН. 274 с.

Стрежнева М.В. 2009. Структурирование политического пространства в Европейском союзе. (Многоуровневое управление). — *Мировая экономика и международные отношения*. № 12. С. 38–49.

Стрелецкий В.Н. 2004. Парадигмы геопространства и методология культурной географии. — *Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах*. М.: Институт наследия. С. 95–119.

Структурные трансформации и развитие отечественных школ политологии (под ред. О.В. Гаман-Голутвиной). 2015. Российская политическая наука: истоки и перспективы (под общей ред. О.В. Гаман-Голутвиной). В 5 т. М.: Аспект-Пресс. М: 464 с.

Стэндинг Г. 2014. *Прекариат — новый опасный класс*. М.: Ad Marginem. 328 с.
Судьбы людей: Россия XX век. Биография семей как объект социологического анализа. 1996. М.: Институт социологии РАН. 426 с.

Суздаева Е.А. 2004. *Философия Эриха Фромма: социокультурный анализ. Автореферат дис...к.филос.н.* Ростов-на-Дону.

Сунгуров А.Ю. 2015а. Экспертные сообщества и власть: модели взаимодействия, основные функции и условия их реализации. — *Политическая наука*. № 3. С. 53–70.

Сунгуров А.Ю. 2015б. *Как возникают политические инновации: «фабрики мысли» и другие институты-медиаторы*. М.: Политическая энциклопедия. 384 с.

Сэндел М. 1998. *Либерализм и пределы справедливости. — Современный либерализм: Ролз, Бёрлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, Уолдрон*. М.: Дом интеллектуальной книги, Прогресс-Традиция. С. 191–218.

- Сюкияйнен Л.Р. 1997. *Шариат и мусульманско-правовая культура*. М.: Институт государства и права РАН. 48 с.
- Тантлевский И.Р. 1994. *История и идеология Кумранской общины*. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение». 384 с.
- Тард Г. 1902 (1999). *Общественное мнение и толпа*. М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова; Институт психологии РАН, Издательство «КСП+». 414 с.
- Тексты Кумрана. Выпуск второй*. 1996. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение». 440 с.
- Тённис Ф. 2002. *Общность и общество*. СПб.: Фонд «Университет»; Владимир Даль. 456 с.
- Тёрнер Ф.Дж. 2009. *Фронтир в американской истории*. М.: Весь Мир. 304 с.
- Тилли Ч. 2009. *Принуждение, капитал и европейские государства, 990–1992 гг.* М.: Территория будущего. 328 с.
- Тилли Ч. 2010. *Борьба и демократия в Европе, 1650–2000 гг.* М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ. 388 с.
- Тимофеева Л.Н. 2015. Конфликтный потенциал справедливости. — *Конфликтология*. № 2. С. 144–154.
- Типология культуры. Взаимное воздействие культур (отв. ред. Ю.М. Лотман). 1982. — *Ученые записки Тартусского государственного университета. Труды по знаковым системам*. Вып. 576. *Труды по знаковым системам. Семиотика культуры*. 15. Тарту: ТГУ. 160 с.
- Тихонова Н.Е. *Социальная структура России: теории и реальность*. М.: Новый хронограф: Институт социологии РАН. 2014. 408 с.
- Тишков В.А. 1977. *Страна кленового листа: начало истории*. М.: Наука. 136 с.
- Тишков В. 1996. О нации и национализме. Полемиические заметки. — *Свободная мысль*. № 3. С. 31–37.
- Тишков В.А. 1997. *Очерки теории и политики этничности в России*. М.: Русский мир. 532 с.
- Тишков В.А. 2000. Исторический феномен диаспоры. — *Этнографическое обозрение*. № 2. С. 43–63.
- Тишков В.А. 2001а. *Этнология и политика. Научная публицистика*. М.: Наука. 240 с.
- Тишков В.А. 2001б. Этнос или этничность? — Тишков В.А. *Этнология и политика. Научная публицистика*. М.: Наука. С. 229–233.
- Тишков В.А. 2003. *Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии*. М.: Наука. 544 с.
- Тишков В.А. 2009. *Три карты. Доклад на пленарном заседании IX Конгресса этнографов и антропологов России*. 2–5 июля 2009. Оренбург, Издательство ОПГУ. С. 5–11.
- Тишков В.А. 2010. Раса. — *Новая философская энциклопедия*. В 4 т. 2-е изд., испр. и допол. Интернет-версия / Институт философии РАН; Национальный общественно-научный фонд. М.: Мысль. URL: <http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH>

0108944d2c9fc345ed553108.

Тишков В.А. 2013. Стройка наций. Российская политэтничность в мировом контексте. — *Россия в глобальной политике*. № 5. С. 160–174.

Тишков В. 2013. Полиэтническое общество и государство: понимание и управление культурным многообразием. — *Кризис мультикультурализма и проблемы национальной политики* (под ред. М.Б. Погребинского и А.К. Толпыго). М.: Весь Мир. С. 144–194.

Тишков В. 2014. Историческая культура и идентичность. — *Гефтер*. Интернет-журнал. 08.10. Эл. ресурс. Доступ: <http://gefeter.ru/archive/13251> (проверено: 01.03.2016).

Тишков В.А. 2016. Усложняющееся разнообразие: как его понимать и упорядочить. — *Культурная сложность современных наций* (отв. ред. В.А. Тишков, Е.И. Филиппова). М.: Политическая энциклопедия. С. 7–18.

Тишков В.А., Шабает Ю.П. 2011. *Этнополитология: политические функции этничности: Учебник для вузов*. М.: Издательство Московского университета. 376 с.

Тлеуж А.Х. 2010. *Конструирование российской коллективной идентичности*. М.: Социально-гуманитарные знания; Майкоп: ООО «Качество».

То, что вы всегда хотели знать о Лакане (но боялись спросить у Хичкока) (под ред. С. Жижека). М.: Логос. 2003. 335 с.

Тоганова Н.В. 2013. *Адаптация Восточной Германии к рынку (1990–2010)*. М.: Крафт+. 192 с.

Тойнби А.Дж. 1991. *Постижение истории*. М.: Прогресс. 736 с.

Тойнби А.Дж. 2002. *Постижение истории: Сборник*. М.: Айрис-пресс. 640 с.

Токвиль А. 1992. *Демократия в Америке*. М.: Прогресс. 296 с.

Толстой Л.Н. 1956. *Религия и нравственность*. Полн. собр. соч. Т. 39. М.: ГИХЛ. С. 3–26.

Толстой Л.Н. 1958. Патриотизм или мир? — Толстой Л.Н. *Полн. собр. соч.* В 90 т. М.: Госхудлитиздат, 1928–1958. Т. 90. С. 45–53.

Тоффлер Э. 2010. *Третья волна*. М.: АСТ. 784 с.

Тоффлер Э. 2004. *Метаморфозы власти*. М.: АСТ. 672 с.

Транснациональные политические пространства: явление и практика (отв. ред. М.В. Стрежнева). 2011. М.: Весь Мир. 376 с.

Трубина Е.Г. 1995. *Рассказанное Я: проблема персональной идентичности в философии современности*. Екатеринбург: Уро РАН. 150 с.

Труфанова Е.О. 2008. Идентичность и Я. — *Вопросы философии*. № 6. С. 95–105.

Труфанова Е.О. 2010а. Человек в лабиринте идентичностей. — *Вопросы философии*. № 2. С. 13–22.

Труфанова Е.О. 2010б. *Единство и множественность Я*. М.: Канон-Плюс. 256 с.

Труфанова Е.О. 2014. Личностная идентичность в междисциплинарной перспективе. — *Проблема сознания в междисциплинарной перспективе*. М.: Канон-Плюс, С. 174–182.

Тулъчинский Г.Л. 2011. Личность как проект и бренд. — *Наука телевидения. Научный альманах* (под ред Г. Гамалей, Е. Дукова). М.: Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина. С. 250–265.

Турен А. 1998. *Возвращение человека действующего. Очерк социологии*. М.: Научный мир. 204 с.

Туркин С. 2006. «Воспоминание истории» в период перестройки: как процесс и не только. — *Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре*. № 3. С. 67–76.

Туровский Р.Ф. 1995. Политический ландшафт как категория политического анализа. — *Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки*. № 3. С. 33–44.

Туровский Р.Ф. 1998. *Культурные ландшафты России*. М.: Институт наследия. 210 с.

Туровский Р.Ф. 2003. Соотношение культурных ландшафтов и региональной идентичности в современной России. — *Идентичность и география в постсоветской России. Сборник научных статей* (науч. ред. М. Бассин, К.Э. Аксенов). СПб.: Геликон Плюс. С. 139–173.

Тхагапсоев Х.Г. 2015. Интерпретация социального пространства и времени в контексте цивилизационных процессов. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 173–180.

Тхагапсоев Х.Г. 2015. Социальное пространство-время: проблема трансформации. — *Вопросы философии*. № 10. С. 202–211.

Тындик А.О. Обзор современных мер семейной политики в странах с низкой рождаемостью. — *SPERO*. 2010. № 12. С. 157–176

Тэджфел Г. 2002. *Социальная идентичность и межгрупповые отношения*. М.: Символ-Плюс. 224 с.

Тэйлор Ч. 1998. Пересечение целей: спор между либералами и коммунитаристами. — *Современный либерализм*. М.: Дом интеллектуальной книги, Прогресс-Традиция С. 219–248.

Уилбер К. 2002. *Око духа: Интегральное видение для слегка свихнувшегося мира*. М: ООО «Издательство АСТ». 585 с.

Улановский А.М. 2012. *Феноменологическая психология: качественные исследования и работа с переживанием*. М.: Смысл. 255 с.

Уледов А.К. 1968. *Структура общественного сознания*. М.: Политиздат. 330 с.

Уолпер М. 1999. *Компания критиков: Социальная критика и политические пристрастия XX века*. М.: Идея-пресс, Дом интеллектуальной книги. 354 с. Уральского отделения Российской академии наук. 2012. Вып. 12.

Урланис Б.Ц. 1998. *История военных потерь: войны и народонаселение Европы*. СПб.; М.: Полигон : АСТ. 558 с.

Уханов Е.В. 2009. Идентичность в сетевых коммуникациях. — *Философские науки*. № 10. С. 59–71.

Уэльбек М. 2004. *Мир как супермаркет*. М.: Ad Marginem. 160 с.

Уэст Д. Славой Жижек — беспокойный субъект идеологии (Радикальные отступления). — *Континентальная философия. Введение*. М.: Издательский дом

- «Дело» РАНХиГС, 2015. 448 с.
- Фадеева Л.А. 2000. *Политическая культура: Курс лекций*. Пермь: Пермский университет. 160 с.
- Фадеева Л.А. 2006. *Сквозь призму политической культуры: нация, класс, регион*. Пермь. Издательство «Пушка». 304 с.
- Фадеева Л.А. 2009. Противоречивое сообщество: интеллигенция, интеллектуалы, «образованный класс». — *Сообщества как политический феномен (под ред. П. Панова, К. Сулимова, Л. Фадеевой)*. М.: РОССПЭН. С. 23–48.
- Фадеева Л.А. 2011. Проблема идентичности в сравнительной политологии. — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 134–139.
- Фадеева Л.А. 2012а. Политика идентичности: акторы, стратегии, дискурсы. — *Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 2. Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке (отв. ред. И.С. Семененко)*. 2012. М.: РОССПЭН. С. 72–98.
- Фадеева Л.А. 2012б. *Кто мы? Интеллигенция в борьбе за идентичность*. М.: Новый хронограф. 320 с.
- Фадеева Л.А., Семененко И.С. 2011. Профессиональное сообщество: опыт самоанализа и перспективы исследования идентичности. — *Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции (ИМЭМО РАН, 21–22 октября 2010 г.)*. Редакция сборника: И.С. Семененко (отв. ред.), Л.А. Фадеева (отв. ред.), В.В. Лапкин, П.В. Панов. М.: ИМЭМО РАН. С. 286–287.
- Февр Л. 1991. *Бои за историю*. М.: Наука. 629 с.
- Федоровский А.Н. 2008. *Феномен чэболь. Государство и крупный бизнес в Республике Корея*. М.: Издательский дом «Стратегия». 320 с.
- Федотова В.Г. 2001. Модернизация и глобализация. — *Мегатренды мирового развития*. М.: ЗАО «Издательство «Экономика». С. 83–93.
- Федотова В.Г. 2005. *Хорошее общество*. М.: Прогресс-Традиция. 544 с.
- Федотова В.Г. 2016. *Модернизация и культура*. М.: Прогресс-Традиция. 336 с.
- Федотова В.Г., Колпаков В.А., Федотова Н.Н. 2008. *Глобальный капитализм: Три великие трансформации. Социально-философский анализ взаимоотношений экономики и общества*. М.: Культурная революция. 608 с.
- Федотова Н.Н. 2012а. *Изучение идентичности и контексты ее формирования*. М.: Культурная революция. 200 с.
- Федотова Н.Н. 2012б. Формируется ли глобальная идентичность: методологические размышления. — *Знание. Понимание. Умение*. № 4. С. 8–14.
- Федотова Н.Н. 2013. Концепции идентичности в условиях нелинейной социокультурной динамики. — *Знание. Понимание. Умение*. № 2. С. 52–62.
- Федотова Н.Н. 2014. На пути к процессуальной теории идентичности. — *Философские науки*. № 11. С. 70–81.
- Федорова О.А. 2009. Германия в 90-е годы XX столетия: трудности постобъединительных процессов. — *Ученые записки Орловского государственного университета. Серия Гуманитарные и социальные науки*. № 1. С. 27–31.
- Феномен культуры в российской общественной географии: экспертные мнения,*

аналитика, концепты (под ред. А.Г. Дружинина и В.Н. Стрелецкого). 2014. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ. 536 с.

Ферро М. 1992. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М.: Высшая школа. 351 с.

Филатов С.Б. 2003. Возвращение к основам (протестантский фундаментализм). — *Фундаментализм (отв. ред. З.И. Левин)*. М.: Институт востоковедения РАН; Крафт+. С. 107–126.

Филиппова Е.И. 2010. *Территории идентичности в современной Франции*. М.: ФГНУ «Росинформагротех». 300 с.

Филиппова Е.И. 2016. Нации, государства, культуры. — *Культурная сложность современных наций (отв. ред. В.А. Тишков, Е.И. Филиппова)*. М.: Политическая энциклопедия. С. 19–35.

Филоненко В.И., Штомпель Л.А., Штомпель О.М., Понеделкоав А.В. Культурные аспекты исторической памяти российских студентов. — *Власть*. № 9. С. 155–163.

Фисун А.А. 2010. К переосмыслению постсоветской политики: неопатриотическая интерпретация — *Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований*. № 4. С. 158–187.

Фишман Л.Г. Давыдов Д.А. От капитализма к рентному обществу? — *Полития*. 2015. № 1. С.39–54.

Фленина Т.А. Семантическое пространство понятия «сетевая идентичность». — *Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена*. 2014. № 171. С. 313–314.

Флорида Р. 2005. *Креативный класс. Люди, которые меняют будущее*. М.: Издательский дом «Классика-XXI». 421 с.

Франк Л. 2000. Проективные методы изучения личности — *Проективная психология*. М.: Апрель Пресс. С. 68–83.

Франция — Память (под ред. П. Нора). 1999. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета. 328 с.

Фрейхоф В. 2003. Космополитизм. — *Мир Просвещения. Исторический словарь*. М.: Памятники исторической мысли. С. 31–41.

Фролов Э.Д. 1983. Панэллинизм в политике IV в. до н.э. — *Античная Греция*. Т. 2. М.: Наука. С. 157–207.

Фромм Э. 2006. *Здоровое общество*. М.: Аст, Хранитель. 544 с.

Фромм Э. 2010а. Избавление от иллюзий. Сопоставление взглядов Маркса и Фрейда. — *Psychol-ok. Психологический помощник*. Электронный ресурс. Доступ: http://www.psychol-ok.ru/lib/fromm/ioi/ioi_01.html (проверено 9.03.2017).

Фромм Э. 2010б. *Душа человека, её способность к добру и злу*. М.: Аст, Астрель. 256 с.

Фромм Э. 2010с. *Иметь или быть*. М.: Аст, Астрель. 320 с.

Фромм Э. 2011. *Бегство от свободы*. М.: Аст. 288 с.

Фронт как эвристическая модель историко-культурного познания. Материалы круглого стола. 2014. — *Каспийский регион: политика, экономика, куль-*

тура. № 4. С. 304–314.

Фуко М. 1977. *Слова и вещи: Археология гуманитарных наук*. М.: Прогресс. 488 с.

Фуко М. 1994. *О трансгрессии. Танатография Эроса*. СПб.: «Мифрил». С. 111–131.

Фуко М. 2002, 2005, 2006. *Интеллектуалы и власть*. Ч. 1; Ч. 2; Ч. 3. М.: Праксис. 381 с.; 318 с.; 311 с.

Фуко М. 2012. *Археология знания*. СПб.: Гуманитарная академия. 415 с.

Фуко М. 2014. *Воля к знанию*. СПб.: Мир. 285 с.

Фукуяма Ф. 2007. *Конец истории и последний человек*. М.: АСТ. 588 с.

Фукуяма Ф. 2007b. *Сильное государство: управление и мировой порядок в XXI веке*. М.: АСТ: АСТ Москва: Хранитель. С. 187.

Фурман Д.Е. 1996. О будущем «постсоветского пространства». — *Свободная мысль*. № 6. С. 36–50.

Хабермас Ю. 1992. Модерн — незавершенный проект. — *Вопросы философии*. № 4. С. 40–51.

Хабермас Ю. 1995. Гражданство и национальная идентичность. — Хабермас Ю. *Демократия. Разум. Нравственность*. М.: Academia, С. 208–245.

Хабермас Ю. 1999. *В поисках национальной идентичности*. Донецк: Издательство «Донбасс». 415 с.

Хабермас Ю. 2002. *Будущее человеческой природы*. М.: Весь Мир. 144 с.

Хабермас Ю. 2003. *Философский дискурс о модерне*. М.: Весь Мир. 416 с.

Хабермас Ю. 2005. Границы неоисторизма. Беседа с Жаном-Марком Ферри. — Ю. Хабермас. *Политические работы*. М.: Праксис. С. 30–32.

Хабермас Ю. 2008a. *Расколотый Запад*. М.: Весь Мир. 192 с.

Хабермас Ю. 2008b. Против «воинствующего атеизма». «Постсекулярное» общество — что это такое? — *Русский журнал*. Эл. ресурс. Доступ: <http://www.russ.ru/pole/Protiv-voinstvuyuschego-ateizma> (проверено 07.03.2017).

Хабермас Ю. 2011. *Между натурализмом и религией. Философские статьи*. М.: Весь Мир. 336 с.

Хабермас Ю. 2016. *Структурное изменение публичной сферы: Исследования относительно категории буржуазного общества*. М.: Весь Мир. 344 с.

Хайдеггер М. 1993. *Время картины мира*. — Хайдеггер М. *Время и бытие: Статьи и выступления*. М.: Республика. С. 41–62.

Хантингтон С. 1994. Столкновение цивилизаций? — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 33–49.

Хантингтон С. 1994. Столкновение цивилизаций? — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 33–49.

Хантингтон С. 2003. *Столкновение цивилизаций*. М.: АСТ. 603 с.

Хантингтон С. 2003. *Третья волна. Демократизация в конце XX века*. М.: РОССПЭН. 368 с.

Хантингтон С. 2004. *Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности*. М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Транзиткнига». 635 с.

- Хардт М., Негри А. 2004. *Империя*. М.: Праксис. 440 с.
- Харин А.Н. «Государства архаики» и проблемы сепаратизма в современном мире. — *Современная Россия и мир: альтернативы развития. Сепаратизм и его роль в мировом политическом процессе. Дневник Алтайской школы политических исследований*. № 32 (под ред. Ю.Г. Чернышова). Барнаул: Издательство Алтайского ГУ. С. 68–72.
- Харитоновна Е.М. 2015. Эффективность «мягкой силы»: проблема оценки. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 6. С. 48–58.
- Хашченко В. А. 2004. Экономическая идентичность личности: психологические детерминанты формирования. — *Психологический журнал*. 2004. Т. 25. № 5. С. 32–49.
- Хенкин С.М., Кудряшова И.В. 2015. Интеграция мусульман в Европе: политический аспект. — *Полит. Политические исследования*. № 2. С. 137–155.
- Хёсле В. 1994. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности. — *Вопросы философии*. № 10. С. 112–123.
- Хобсбаум Э. 1998. *Нации и национализм после 1780 г.: Программа, миф, реальность*. СПб.: Алетейя. 307 с.
- Хобсбаум Э. 2000. Изобретение традиций. — *Вестник Евразии*. № 1. С. 47–62.
- Хобсбаум Э. 2005. Все ли языки равны? Язык, культура и национальная идентичность. — *Логос*. № 4. С. 49–59.
- Холл С. 2010. Вопрос культурной идентичности. — *Художественный журнал*. № 77/78. Эл. ресурс. Доступ: <http://xz.gif.ru/numbers/77-78/hall/> (проверено 10.03.2017)
- Холодковский К.Г. 2013. Проблемы и противоречия российской идентичности. — Холодковский К.Г. *Самоопределение России*. М.: РОССПЭН. С. 268–298.
- Холодковский К.Г. 2013. Существует ли в российском обществе идейно-политическая дифференциация? — К.Г. Холодковский *Самоопределение России*. М.: РОССПЭН. С. 244–268.
- Холодковский К.Г. 2013. *Самоопределение России*. М.: РОССПЭН. 326 с.
- Холодковский К.Г. 2002. In memoriam. Герман Германович Дилигенский. — *Социологическое обозрение*. Т. 2. № 2. С. 100–105.
- Холодковский К.Г. 2003. Мыслить социально-политически. — *Отечественные записки*. № 1. Эл. ресурс. Доступ: http://magazines.russ.ru/oz/2003/1/2003_01_41.html (проверено 07.03.2017).
- Холл К.С., Линдсей Г. 1997. *Теории личности*. М.: «КСП+». 720 с.
- Цапенко И.П. 2009. *Управление миграцией: опыт развитых стран*. М.: Academia. 384 с.
- Цветаева Н.Н. 1999. Биографический дискурс советской эпохи. — *Социологический журнал*. № 1/2. С. 118–132.
- Цветущая сложность: разнообразие картин мира и художественных предпочтений субкультур и этносов* (под ред. К.Б. Соколова). 2004. СПб.: Алетейя. 544 с.
- Цумарова Е.Ю. 2012. Политика идентичности: politics или policy? — *Вест-*

ник Пермского университета. Серия «Политология». № 2. С. 5–16.

Цумарова Е.Ю. 2014. *Политика идентичности в регионах России: теоретический и практический аспекты (на примере Республики Карелия)*. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. СПб.: СПбГУ. 22 с.

Цымбурский В.Л. 2002. «Городская революция» и будущее идеологий в России. Цивилизационный смысл русского большевизма. — *Русский журнал*. Эл. ресурс. Доступ: http://www.intelros.org/books/rythm_ros_2.htm#18_top (проверено 07.03.2016)

Цымбурский В.Л. 2002. Национальная идентичность — это принятие исторического опыта нации. Интервью «Русскому архипелагу». — *Русский архипелаг. Сетевой проект «Русского мира»*. Эл. ресурс. Доступ: <http://www.archipelag.ru/geoculture/langsnpeoples/Vavilon/experience/> (проверено: 20.04.2016).

Чаадаев П.Я. 1991. *Полное собрание сочинений*. Т. 1. М.: Наука. 801 с.

Чемберлен Х.С. 2012. *Основания девятнадцатого столетия*. В 2 т. СПб.: Русский миръ. Т. I. 688 с. Т. II. 479 с.

Черенков Л.Н. 2009. Цыгане — диаспора? — *Диаспоры*. № 1. С. 239–256.

Чернова Ж.В. 2008. *Семейная политика в Европе и России: гендерный анализ*. СПб.: Норма.

Чернышов Ю.Г. 1992. Была ли у римлян утопия? — *Вестник древней истории*. № 1. С. 53–72.

Чернышов Ю. 2013а. *Древний Рим: мечта о золотом веке*. М.: Ломоносовъ. 240 с.

Чернышов Ю.Г. 2013б. Эволюция стереотипов восприятия «модернизированной» Европы в России. — *Власть, бизнес, гражданское общество в условиях модернизации России: институты, стратегии и практики политического сотрудничества*. М.: РИЦ МГУ им. М.А. Шолохова. С. 257–258.

Чеснокова В.Ф. Чарльз Кули. Первичная группа. — Чеснокова В.Ф. *Теория общественного мнения. Язык социологии. Курс лекций*. М.: Объединенное гуманитарное издательство, 2010. 544 с.

Чешко С.В. 2000. *Распад Советского Союза: этнополитический анализ*. М.: ИЭА РАН. 395 с.

Чижикова Л.Н. 1988. *Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционно-бытовой культуры*. М.: Наука. 256 с.

Чиколини Л.С. 1980. *Социальная утопия в Италии, XVI — начало XVII вв.* М.: Наука. 392 с.

Чугров С.В. 2007. Понятие внешнеполитического менталитета и методология его изучения. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 46–65.

Шайкевич А.Я. 1995. *Введение в лингвистику*. М.: Издательский центр А.М. Бруни. 400 с.

Шварцмантель Д. 2009. *Идеология и политика*. Харьков: Изд. Гуманитарный Центр. 312 с.

Шемякин Я.Г. 1987. *Латинская Америка: традиции и современность*. М.: Наука. 192 с.

Шестопад Е.Б. 1999а. Трансформация политологического сообщества в постсоветской России. — *Вестник Московского государственного университета. Серия 18. Социология и политология*. № 1. С. 23–39.

Шестопад Е.Б. 1999b. Мировая политология в российском контексте. — *Политическая наука: Новые направления (под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна. Науч. ред. русского издания Е.Б. Шестопад)*. М.: Вече. С. 9–18.

Шестопад Е.Б. 2000. *Психологический профиль российской политики*. М.: РОССПЭН. 430 с.

Шестопад Е.Б. 2010. *Политическая психология*. М.: РОССПЭН, 2010. 415 с.

Ширманов Е.В. 2016. *Общероссийская и региональная идентичности в современной России: политический анализ (на примере Республики Мордовия)*. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. Саранск: ФГБОВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва». 179 с.

Широкова Н.С. 1979. *Идеализация варваров в античной литературной традиции. Античный полис*. Ленинград: Издательство ЛГУ. С. 124–138.

Шкель С.Н. 2016. Российская политология сегодня: универсальные тенденции и региональная специфика. — *Экономика и управление: научно-практический журнал*. № 4 (132). С. 16–23.

Шлыков В.И. 2009. Поиск политического равновесия. Эволюция партийной системы Турции в период Третьей Республики (1983–2009). — *Перспективы. Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы*. Эл. ресурс. Доступ: http://www.perspektivy.info/oikumena/vostok/poisk_politicheskogo_ravnovesija_evolyucija_partijnoj_sistemy_turcii_v_period_tretjej_respubliki_1983-2009_2009-07-03.htm (проверено: 15.02.2017).

Шматко Н.А. 1998. Территориальная идентичность как предмет социологического исследования. — *Социологические исследования*. № 4. С. 94–98.

Шматко Н.А. 2001. Феномен публичной политики. — *Социологические исследования*. № 7. С. 106–112.

Шматко Н.А., Качанов Ю.А. 1998. Территориальная идентичность как предмет социологического исследования. — *Социологические исследования*. № 7. С. 94–98.

Шмеман А., протоиерей. 2005. *Дневник 1973–1983*. М.: Русский путь. 270 с.

Шмиттер Ф. 1997. Неокорпоративизм. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 14–22.

Шнирельман В.А. 2003. *Войны памяти, мифы, идентичность и политика в Закавказье*. М.: ИЦК «Академкнига». 592 с.

Шнирельман В.А., Абылхожин Ж.Б., Абашин С.Н., Золян М., Закарян Т., Чиковани Н., Какителашвили К. *Многоликая Клио: бои за историю на постсоветском пространстве*. Брауншвейг: Институт им. Георга Эккерта, 2010. 142 с.

Шоню П. *История Латинской Америки*. М.: Астрель: АСТ. 2008. 160 с.

Шпенглер О. 1993. *Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории*. Т. 1. М.: Мысль. 667 с.

Шпенглер О. 1998. *Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории*. Т. 2.

М.: Мысль. 606 с.

Шредер П. Религиозный фундаментализм. — *Азербайджанский центр религии и демократии*. Эл. ресурс. Режим доступа: <http://reldem.net/pitru.html> (проверено 07.03.2017)

Штомпка П. 1996. *Социология социальных изменений*. М.: Аспект Пресс. 416 с.

Штомпка П. 2001а. Социальное изменение как травма. — *Социологические исследования*. № 1. С. 6–16.

Штомпка П. 2001б. Культурная травма в посткоммунистическом обществе. — *Социологические исследования*. № 2. С. 3–12.

Штомпка П. 2005. *Социология. Анализ современного общества*. М.: Логос. 664 с.

Штомпка П. 2012. *Доверие — основа общества*. М.: Логос. 440 с.

Шу Т.А. 2011. *Стратегия личностной идентификации в сетевом пространстве компьютерной симуляции: культурологический аспект*. Автореф. дисс. ... кандидата культурологии. М.: РГГУ. 24 с.

Шубрт И. 2014. Историческая социология Ш. Эйзенштадта — завершённый труд, открытый для вдохновения. — *Социологические исследования*. № 6. С. 13–20.

Шульце Х. 2004. *Краткая история Германии*. М.: Весь Мир. 256 с.

Шютц А. 2003. *Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии*. М.: Институт Фонда «Общественное мнение». 336 с.

Щербинин А.И. 2005. *Политическое образование. Учебное пособие*. М.: Весь Мир. 288 с.

Щербинина Н.Г. 2012. Визуальный феномен в политической репрезентации. — *Вестник Томского государственного университета*. № 2. С. 5–13.

Эйзенштадт Ш. 1999. *Революция и преобразование обществ: Сравнительное изучение цивилизаций*. М.: Аспект-Пресс. 416 с [Eisenstadt S.N. *Revolution and the Transformation of Societies: A Comparative Study of Civilizations*. New York: Free Press. 348 p.]

Эйзенштадт Ш. 2003. Модерн как цивилизация особого типа. — *Реферативный Журнал*. Серия 11. № 1.

Эко У. 1998. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст: Отрывки из публичной лекции в МГУ. — *Новое литературное обозрение*. № 32. С. 5–14.

Элиас Н. 2001. *Общество индивидов*. М.: Праксис. 336 с.

Элиас Н. 2001. *О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования*. Т. 1. *Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада*. Т. 2. *Изменения в обществе*. М.; СПб.: Университетская книга. 336 с.; 382 с.

Элиас Н. 2002. *Придворное общество: Исследования по социологии короля и придворной аристократии*. М.: Языки славянской культуры. 366 с.

Эльконин Д.Б. 1989. *Избранные психологические труды*. М.: Педагогика. 560 с.

Энгельс Ф. 1955 (1845). Положение рабочего класса в Англии. — К. Маркс, Ф. Энгельс. *Сочинения*. 2-е изд. Т. 2. М.: Издательство политической литературы.

ры. С. 231–517.

Эпштейн М.Н. 2001а. *Философия возможного. Модальности в мышлении и культуре*. СПб.: Алетейя. 334 с.

Эпштейн М.Н. 2001б. Амероссия. Двукультурие и свобода. — *Звезда*. № 7. URL: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/7/epsh.html> (проверено: 15.02.2017)

Эпштейн М.Н. 2007. Транскультура и трансценденция. — *Только уникальное глобально: Личность и Управление. Культура и Образование*. СПб.: СПбГУКИ, С. 90–102.

Эриксен Т.Х. 2014. *Что такое антропология?* М.: Издательский дом НИУ ВШЭ. 238 с.

Эриксон Э.Г. Проблема эго-идентичности. — *Реферативный журнал. Серия «Социология»*. 1991. № 1. С. 173–200.

Эриксон Э. 1996. *Идентичность: юность и кризис*. М.: Издательская группа «Прогресс». 344 с.

Эриксон Э. 2000. *Детство и общество*. СПб.: Летний сад. 415 с.

Эриксон Э.Г. 2008. *Трагедия личности*. М.: Эксмо; Алгоритм. 253 с.

Этнические группы и социальные границы: Социальная организация культурных различий (под ред. Ф. Барта). 2006. М.: Новое издательство. 198 с.

Этносоциокультурный конфликт: новая реальность современного мира. 2014. Под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина, И.С. Семененко. М.: ООО «Русское слово — учебник». 280 с.

Юнг К.Г. 1994. *Аналитическая психология. Тавистокские лекции*. СПб: МЦНК и Т «Кентавр». 137 с.

Юнг К.Г. 1996. Современность и будущее. — Одайник В. *Психология политики. Политические и социальные идеи Карла Густава Юнга*. СПб.: Ювента. С. 205–265.

Юревич А.В. 2009. Нравственное состояние современного российского общества. — *Социологические исследования*. № 10. С. 70–79.

Юревич А.В. 2016. Патриотизм как научная проблема. — *Вестник Российской академии наук*. Т. 86. № 4. С. 352–359.

Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. 2010. *История Индии. XX век*. М.: Институт востоковедения РАН. 920 с.

Юрьев А.И. 2013. О книге профессора М.М. Решетникова «Психологические факторы развития и стагнации демократических реформ». — *Информационные войны*. № 3. С. 92–101.

Ядов В.А. 2008. Социальные трансформации в России в эпоху глобальных изменений. — *Социологический журнал*. № 4. С. 8–22.

Ядов В.А. 2014. Трансформация постсоветских обществ: что более значимо — исторически традиционное или недавнее прошлое. — *Социологические исследования*. № 7. С. 47–50.

Язбек А. 2010. *Борьба с неравенством в здравоохранении. Синтез опыта и инструментов*. М.: Весь Мир. 340 с.

Яковлев П.П. 2009. *Ибероамериканское сообщество наций: генезис, эволю-*

ция, перспективы. — *Латинская Америка в мировой политике (отв. ред. В.М. Давыдов)*. М.: Наука. С. 297–322.

Якушенков С.Н. 2014. Люди фронта. — *Каспийский регион*. № 4 (38). С. 306–308.

Якушина О.И. 2014. Идентичность в социологической теории Э. Гидденса. — *Современные проблемы науки и образования*. № 2. С. 87–95.

Яницкий О.Н. 1998. Экологическая социология. — *Социология в России (под ред. В.А. Ядова)*. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Институт социологии РАН. С. 385–400.

Яницкий О.Н. 1999. Структура региональных политических сетей. — *Экологическое движение в России (под ред. Е. Здравомысловой, М. Тысячнюк)*. СПб: ЦНСИ. Вып. 6. С. 33–50.

Ярская-Смирнова Е.Р. 1997. Нарративный анализ в социологии. — *Социологический журнал*. № 3. С. 38–62.

Ясперс К. 1978. *Истоки истории и ее цель*. М.: ИНИОН АН СССР. Вып. 1. 210 с.; Вып. 2. 211 с.

Erickson P.A., Murphy L.D. (ed). 2008. *A History of Anthropological Theory*. Toronto: University of Toronto Press. 273 p.

Networked Self: Identity, Community and Culture on Social Network Sites (ed. by Z. Paparachariss). 2011. New York: Routledge. 328 p.

Aaron R.I. 1973. *John Locke*. 3rd Ed. Oxford: Clarendon Press. 383 p.

Abbey R. 2001. *Charles Taylor*. Princeton: Princeton University Press. 256 p.

Abdelal R., Herrera Y.M., Johnston A.I., McDermott R. 2006. Identity as a Variable. — *Perspectives on Politics*. Vol. 4. No. 4. P. 695–711.

Abélès M. 2008. *Anthropologie de la globalisation*. Paris: Payot. 277 p.

Abizadeh A. 2005. Does collective identity presuppose an other? On the alleged incoherence of global solidarity. — *American political science review*. Vol. 99. No. 1. P. 45–60.

Adams N. 2006. *Habermas & Theology*. Cambridge: Cambridge University Press. 216 p.

Adorno T.W., Frenkel-Brunswik E., Levinson D. J., Sanford R.N. 1950. *The Authoritarian Personality*. New York: Norton Pub. 990 p.

Akerlof G.A., Kranton R. E. 2000. Economics and Identity. — *The Quarterly Journal of Economics*. Vol. CXV. Issue 3. August. P. 715–753.

Akerlof G.A., Kranton R.E. 2010. *Identity Economics. How our identities shape our work, wages, and well-being*. Princeton: Princeton University Press. 192 p.

Akgün B. 2007. *Türkiye'de Seçmen Davranışı, Partiler Sistemi Ve Siyasal Güven*. Ankara: Nobel. 154 p.

Albert S. and Whetten D. 1985. Organizational identity. — *Research in Organizational Behavior*. L.L. Cummings and B.M. Staw (eds.). Vol. 7. Greenwich, CT: JAI Press. Pp. 263–295.

Albertazzi D., McDonnell D. 2008. Introduction: The Sceptre and the Spectre. — D. Albertazzi, D. McDonnell (eds.). *Twenty-First Century Populism: The Spectre of*

Western European Democracy. New York: Palgrave Macmillan. P. 1–11.

Alcoff L.M. 2006. *Visible Identities: Race, Gender, and the Self*. New York: Oxford UP. 326 p.

Alcoff L.M. and Mohanty S.P. 2006. Identity Politics Reconsidered. An Introduction. — *Identity Politics Reconsidered*. L.M. Alcoff, M. Hames-Garcia, S.P. Mohanty, P.M.L. Moya (eds.). London: Palgrave Macmillan. P. 1–9.

Alesina A., Giuliano P. 2013. Family Ties. — *NBER Working Paper 18966*. Эл. печ. Доступ: <http://www.nber.org/papers/w18966> (accessed 09.03.2017).

Alexander J.C., Mast J.L. 2006. Introduction: Symbolic Action in Theory and Practice. — *The Cultural Pragmatics of Symbolic Action*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 1–28.

Alexander J.C., Eyerman R., Giesen B., Smelser N., Sztompka P. 2004. *Cultural Trauma and Collective Identity*. Berkley: University of California Press. 304 p.

Ali S. 2014. The Politics of Islamic Identities. — *Routledge Handbook of Identity Studies* (ed. by A. Elliot). London, New York: Routledge. P. 325–336.

Almond G.A., Verba S. 1963. *The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press. 574 p.

Almond G.A., Verba S. 1980. *The Civic Culture Revisited*. Boston: Little Brown. 421 p.

Altoraifi A. 2012. *Understanding the Role of State Identity in Foreign Policy Decision-Making: The Rise and Demise of Saudi–Iranian Rapprochement (1997–2009)*. Ph.D. diss., London School of Economics and Political Science. 349 p.

Amselle J.-L. 1990. *Logiques métisses. Anthropologie de l'identité en Afrique et ailleurs*. Paris: Payot. 257 p.

Anderson B. 1972. *Java in Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944–1946*. Ithaca and London: Cornell University Press. 494 p.

—. 1983. *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*. London: Verso. 224 p.

—. 1985. *In the Mirror. Literature and Politics in Siam in the American Era*. — Southeast Asia Program Publications, Ithaca, United States. 303 p.

—. 1990. *Language and Power. Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press. 305 p.

—. 1991. *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*. London, New York: Verso. 224 p.

—. 1998. *The Spectre of Comparison: Nationalism, Southeast Asia, and the World*. London and New York: Verso. 386 p.

—. 2001. Western nationalism and eastern nationalism. Is there a difference that matters? — *New left review*. May–June. P. 31–42.

—. 2005. *Under Three Flags: Anarchism and the Anti-Colonial Imagination*. London: Verso. 255 p.

—. 2006. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Revised Edition*. London: Verso. 265 p.

Angelis E. 2011. *The political discourse of the European Parliament, enlargement, and the construction of a European identity, 1962–2004*. Ph.D. diss. London School of

Economics. 249 p.

Angell N. 2012. *The Great Illusion: A Study of the Relation of Military Power in Nations to their Economic and Social Advantage*. New York: Cosimo (reprint; 1st publ. London: Heinemann 1912). 224 p.

Anholt S. 2007. *Competitive Identity, the New Brand Management for Nations, Cities, and Regions*. New York: Palgrave Macmillan. 134 p.

—. 2010. *Places. Identity, Images and Reputation*. London: Palgrave Macmillan. 162 p.

Anspach R. R. 1979. From stigma to identity politics: Political activism among the physically disabled and former mental patients. — *Social Science and Medicine. Medical Psychology and Medical Sociology*. Vol. 13 (C). P. 765–773.

Anthias F. 1998. Evaluating “Diaspora”: Beyond Ethnicity. — *Sociology*. Vol. 32. No 3. P. 557–580.

Antis K. 2014. Hope, Will, Purpose, Competence, and Fidelity: Ego Strengths as Predictors of Career Identity. — *Identity: An International Journal of Theory and Research*. Vol. 14. P. 153–162.

Appadurai A. 1996. *Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press. 248 p.

Appiah K.A. 1998. “Cosmopolitan Patriots”. — *Cosmopolitics: Thinking and Feeling Beyond the Nation* (ed. by Cheah P., Robbins B.). Minneapolis: University of Minnesota Press. P. 91–116.

—. = 2006. *Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers*. New York: W.W. Norton & Company. 196 p.

Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist Perspective (ed. by D. della Porta, M. Keating). 2008. Cambridge, Cambridge University Press. 365 p.

Ashforth B. E. and Johnson S. A. 2001. Which hat to wear? The relative salience of multiple identities in organizational contexts. — *Social identity processes in organizational contexts* (ed. by M.A. Hogg and D.J. Terry). Philadelphia: Psychology Press. Pp. 31–48.

Aspinall P.J., Song M. 2013. *Mixed Race Identities*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 218 p.

Avtar B. 1996. *Cartographies of Diaspora: Contesting Identities (Gender, Race, Ethnicity)*. London: Routledge. 292 p.

Ayubi N.N. 2008. *Over-stating the Arab state: Politics and Society in the Middle East*. London, New York: I.B. Tauris. 514 p.

Baeva L.V. 2015. South-Russian and Siberian Frontier: Analogies and Specific Character. — *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*. Vol. 8. No 5. P. 994–1002.

Balibar E., Wallerstein I. 1991. *Race, Nation, Class: Ambiguous Identities*. London, New York: Verso. 1991. 232 p.

Barlow J.P. 1996. A Declaration of the Independence of Cyberspace. February 9. — *Electronic Frontier Foundation*. Эл. ресурс. Доступ: <https://homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html> (accessed: 26.08.2015).

Barry B. 2001. *Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism*.

Cambridge, MA: Harvard University Press. 399 p.

Bar-Tal D. 1997. The Monopolization of patriotism. — *Patriotism in the Lives of Individuals and Nations* (Bar-Tal D., Staub E. eds.). Chicago: Nelson-Hall. P. 246–270.

Bartelson J. 2000. Three Concepts of Globalization. — *International Sociology*. Vol. 15. No. 2. P. 180–196.

Barth F. 1969. Introduction. — *Ethnic Groups and Boundaries: the Social Organizations of Culture Difference* (ed. by F. Barth). Oslo: Universitetsforlaget, Reprint. 1982.

Barth F. 1996. Ethnic Groups and Boundaries. — *Theories of ethnicity: A classical reader* (ed. by W. Sollars). New York: New York University Press. P. 294–323.

Barth F. 1966. *Models of Social Organization*. London: Royal Anthropological Institute. 32 p.

Barth F. 1981. *Process and form in social life*. London: Routledge. 243 p.

Barth F. 1987. *Cosmologies in the making: a generative approach to cultural variation in inner New Guinea*. Cambridge: Cambridge University Press. 99 p.

Barth F. 1996. Ethnic Groups and Boundaries. — *Theories of ethnicity: A classical reader* (ed. by W. Sollars). New York: New York University Press. P. 294–323.

Bartolini S. 2005. *Restructuring Europe: centre formation, system building and political structuring between the nation-state and the European Union*. Oxford: Oxford University Press. 415 p.

Baudrillard J. Ecstasy of Communication. — *The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture* (ed. by H. Foster). Port Townsend: Bay Press. 1983. P. 126–133.

Bauman Z. 1973. *Culture as Praxis*. London: Routledge & Kegan Paul. 198 p.

Bauman Z. 1989. *Modernity and the Holocaust*. Cambridge: Polity Press. 244 p.

Bauman Z. 1990. *Thinking Sociologically*. Oxford: Basil Blackwell. 241 p.

Bauman Z. 1993. *Postmodern Ethics*. Cambridge MA: Basil Blackwell. 293 p.

Bauman Z. 1998. *Globalization: The Human Consequences*. New York: Columbia University Press. 136 p.

Bauman Z. 2000. *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press. 240 p.

Bauman Z. 2001a. *The Individualized Society*. Cambridge: Polity Press. 272 p.

Bauman Z. 2001b. *Community. Seeking Safety in an Insecure World*. Cambridge: Polity Press. 159 p.

Bauman Z. 2001c. Consuming life. — *Journal of Consumer Culture*. Vol. 1. No 1. P. 9–29.

Bauman Z. 2004. *Identity. Conversation with Benedetto Vecchi*. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press. 104 p.

Bauman Z. 2006. *Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty*. Cambridge: Polity Press. 128 p.

Bauman Z. 2010. *44 Letters from the Liquid Modern World*. Cambridge, UK: Polity Press. 208 p.

Bauman Z. 2011. *Culture in a Liquid Modern World*. London, Malden, Cambridge, UK: Polity Press in Association with the National Audiovisual Institute. 144 p.

Bauman Z. 2016. Social Media are a trap. — *El Pais*. 25.01.

- Bauman Z., Donskis L. 2013. *Moral Blindness: the Loss of Sensitivity in Liquid Modernity*. Polity Press. 218 p.
- Bauman Z., Raud R. 2015. *Practices of Selfhood*. Polity Press. 180 p.
- Bauman Z. 2017. *Retrotopia*. Cambridge: Polity Press. 180 p.
- Bauman's Challenge. — *Sociological Issues for the 21st Century* (ed. by M. and K. Tester). 2010. London: Palgrave. 213 p.
- Baxter L.A. and Braithwaite D.O. 2002. Performing Marriage: Marriage Renewal Rituals as Cultural Performance. — *Southern Communication Journal*. Vol. 67. No 2. P. 94–109.
- Beaver D., Rosen R. 1978. Studies in Scientific Collaboration. Part I: The Professional Origins of Scientific Co-Authorship. — *Scientometrics*. Vol. 1. No 1. P. 65–84.
- Beck U. 1983. Jenseits von Stand und Klasse? Soziale Ungleichheit, gesellschaftliche Individualisierungsprozesse und die Entstehung neuer sozialer Formationen und Identitäten. — *Soziale Ungleichheiten*. Soziale Welt. Sondeband 2. Göttingen: O. Schwarz & Company. S. 35–74.
- Beck U. 1986. *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 396 s.
- Beck U. 1992. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage Publications Ltd. 272 p.
- Beck U. 2000. The Cosmopolitan Perspective: Sociology of the Second Age of Modernity. — *British Journal of Sociology*. Vol. 51. No 1. P. 79–105.
- Beck U. 2006. *The Cosmopolitan Vision*. Cambridge, UK; Malden, Ma: Polity Press. 216 p.
- Beck U. Willms J. 2004. *Conversations with Ulrich Beck*. Oxford: Polity. 232 p.
- Beck U., Beck-Gernsheim E. 2002. *Individualization: institutionalized individualism and its social and political consequences*. London: Sage Publications. 221 p.
- Beck U., Giddens A. and Lash S. 1994. *Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*. Stanford CA, Stanford University Press. 228 p.
- Becker G.S., Murphy K.M. 2003. *Social Economics. Market Behavior in a Social Environment*. Cambridge MA: Harvard University Press. 190 p.
- Bell D. 1993. *Communitarianism and Its Critics*. Oxford: Oxford University Press. 272 p.
- Bell D. 2003. Mythscapes: memory, mythology, and national identity. — *British Journal of Sociology*. 2003. Vol. 54. No 1. P. 63–81.
- Bell D. 2013. Communitarianism. — *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2013 Edition). Edward N. Zalta (ed.). Эл. ресурс. Доступ: <http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/communitarianism> (accessed: 03.03.2017)
- Bellucci P., Sanders D., Serricchio F. 2012. Explaining European Identity. — *The Europeanization of national Politics? Citizenship and Support in a Post-Enlargement Union* (ed. by D. Sanders, P. Bellucci, G. Toka, M. Torcal). Oxford: Oxford University Press. P. 61–90.

- Belton B.A. 2005. *Questioning Gypsy Identity: Ethnic Narratives in Britain and America*. Oxford (UK): The Rowman & Littlefield Publishers. 212 p.
- Benet-Martínez V., Hong Y. 2014. *Oxford Handbook of Multicultural Identity: Basic and Applied Psychological Perspectives*. Oxford, Oxford University Press. 560 p.
- Benet-Martínez V. 2012. Multiculturalism: Cultural, Social, and Personality Processes. — *Oxford handbook of personality and social psychology* (eds. by K. Deaux, M. Snyder). Oxford: Oxford University Press. P. 623–648.
- Benhabib S. 1992. *Situating the Self: Gender, Community, and Post-modernism in Contemporary Ethics*. New York: Routledge. 280 p.
- Benhabib S. 2002. *The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era*. Princeton NJ: Princeton University Press. 216 p.
- Benhabib S. 2004. *The Rights of Others. Aliens, residents and citizens*. Cambridge: Cambridge University Press. 251 p.
- Benkler Y. 2015. Peer production and cooperation. — *Handbook on the Economics of the Internet*. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar Publishing. P. 1–35.
- Bennett M.J. 1986. A developmental approach to training intercultural sensitivity. — *Special Issue on Intercultural Training. International Journal of Intercultural Relations*. Vol. 10. No 2. P. 179–186.
- Bennett L.A., Wolin S.J. and McAvity K.J. 1988. Family Identity, Ritual, and Myth: A Cultural Perspective on Life Cycle Transitions. — *Family Transitions* (ed. by C. J. Falicov). New York: Guilford. P. 221–234.
- Berenskoetter F. 2007. Friends, there are no friends? An intimate reframing of the international. — *Millennium: Journal of international studies*. Vol. 35. No 3. P. 647–676.
- Berg E. and Oras S. Writing post-Soviet Estonia on to the world map. — *Political Geography*. 2000. Vol. 19 (5). P. 601–625.
- Berger P.L., Luckmann Th. 1966. *The Social Construction of Reality: A treatise in the sociology of knowledge*. New York: Anchor Books. 240 p.
- Berlin I., Hofstadter R. and MacRae D. 1968. To Define Populism. — *Government and Opposition*. Vol. 3. No 2. P. 137–180.
- Bernal González M. del C. 2010. *La teoría pedagógica de José Vasconcelos*. México: Trillas. 99 p.
- Bernstein M. 2005. Identity Politics. — *Annual Review of Sociology*. Vol. 31. P. 47–74.
- Berry E., Epstein M. 2005. *Transcultural Experiments: Russian and American Models of Creative Communication*. New York: St. Martin's Press. 352 p.
- Berry J. 2003. Conceptual approaches to acculturation. — *Acculturation: Advances in theory, measurement, and applied research* (eds. by K.M. Chun, P.B. Organista, G. Marin). Washington, DC: American Psychological Association. P. 17–37.
- Berzonsky M.D. 2008. Identity formation: The role of identity processing style and cognitive processes. — *Personality and Individual Differences*. Vol. 44. No 3. P. 645–653.
- Berzonsky M.D. 2011. A Social-Cognitive Perspective on Identity Construction.

— *Handbook of Identity. Theory and Research* (ed. by S.J. Schwartz, K. Luyckx, V.L. Vignoles). Springer Science+Business Media, LLC. P. 55–76.

Berzonsky M.D., Adams G.R. 1999. Re-evaluating the identity status paradigm: Still useful after 35 years. Commentary. — *Developmental Review*. Vol. 19. P. 557–590.

Best H. 2003. Elite Continuity and Elite Circulation after System Disruption: The East German Case in Comparative Perspective. — *Representative Elites in Post-Communist Settings*. (H. Best, M. Edinger eds.). Jena. No 8.

Best H., Lengyel G. and Verzichelli L. (eds.) 2012. *The Europe of Elites. A Study into the Europeanness of Europe's Political and Economic Elites*. Oxford: Oxford University Press. 314 p.

Betz H.-G. 2001. Exclusionary Populism in Austria, Italy, and Switzerland. — *International Journal*. Vol. 56. No 3. P. 393–420.

Betz H.-G., 2003, Xenophobia, Identity Politics and Exclusionary Populism in Western Europe. — *Socialist Register*. Vol. 39. P. 193–210.

Bhabha H.K. 1990. DissemiNation: Time, narrative, and the margins of the modern nation. — *Nation and narration* (ed. by H.K. Bhabha). Abingdon, New York: Routledge. P. 291–322.

Bhabha H.K. 1994. *The location of culture*. Abingdon, New York: Routledge. 285 p.

Bilewicz M., Bilewicz A. 2012. Who defines humanity? Psychological and cultural obstacles to omniculturalism. — *Culture Psychology*. Vol. 18. No 3. P. 331–344.

Billig M. 1995. *Banal Nationalism*. London: Sage. 208 p.

Blackshaw T. 2010. *Key Concepts in Community Studies*. London: Sage. 220 p.

Blagojevic B. 2009. Causes of Ethnic Conflict: a conceptual framework. — *Journal of Global Change and Governance*. Vol. 3. P. 3–18.

Bloch M. 1949. *Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien*. Paris: Armand Colin. 110 p.

Blommaert J. 2005. *Discourse. A Critical Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press. 299 p.

Blommaert J. 2006. *Language Policy and National Identity. An Introduction to Language Policy. Theory and Method*. Ed. by Th. Ricento. Oxford: Blackwell Publishing. P. 238–254.

Bloom W. 1996. *Personal Identity, National Identity and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press. 203 p.

Borchert J. 2003. Professional Politicians: Towards a Comparative Perspective. — *The Political class in advanced democracies* (J. Borchert, J. Zeiss eds.). Oxford University Press. P. 1–25.

Boff L., Regidor J.R., Boff C. 1996. *A Teologia da Libertação. Balanço e Perspectivas*. Editora Ática, São Paulo.

Bok D. 2010. *The Politics of Happiness: What Government Can Learn from the New Research on Well-Being*. Princeton: Princeton University Press. 262 p.

Bolea, Patricia Stow (2000). Talking about Identity: Individual, Family, and Intergenerational Issues. — *Becoming a Family: Parents' Stories and Their Implications*

- for *Practice, Policy, and Research* (ed. Rena D. Harold). Hillsdale, NJ: Erlbaum. P. 9-73.
- Bonilla-Silva E. 2009. *Racism without Racists: Color-Blind Racism and the Persistence of Racial Inequality in America*. 3rd ed. Lanham (ML, USA): Rowman & Littlefield Publishers. 318 p.
- Bonnet A. 2004. *The Idea of the West: Politics, Culture and History*. London: Palgrave Macmillan. 224 p.
- Border Identities. 1998. *Nation and State at International Frontiers* (ed. by Th. Wilson, H. Donnan). Cambridge: Cambridge University Press. 316 p.
- Borgen Ch.J. 2010. From Kosovo to Catalonia: Separatism and Integration in Europe. — *Goettingen Journal of International Law*. Vol. 2. No 3. P. 997–1033.
- Bottero W. 2004. Class Identities and the Identity of Class. — *Sociology*. December.
- Bourdieu P. 1980. *Le Sens pratique*. Paris: Minuit. 475 p. (Le Sens commun).
- Bourdieu P. 2000. *Pascalian Meditations*. Stanford: Stanford University Press. 264 p.
- Bourne R. 1916. Trans-National America. — *Atlantic Monthly*. July. No. 118. P. 86–97.
- Braaten J. 1991 *Habermas's Critical Theory of Society*. State University of New York Press. 310 p.
- Brass R. 1985. *Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison*. Newbury Park CA: Sage Publications. 360 p.
- Theorizing Diaspora: A Reader*. (J.E. Braziel., A. Mannur eds.). 2008. Malden (MA, USA): Wiley-Blackwell. 360 p.
- Breen K., O'Neill S. 2010. *After the Nation? Critical Reflections on Nationalism and Postnationalism*. London: Palgrave Macmillan. 296 p.
- Breman J. 1985. *Of Peasants, Migrants and Paupers: Rural Labour Circulation and Capitalist production in West India*. Oxford: Oxford University Press. 472 p.
- Brennen B. Searching for "The Sane Society". *Javnost — The Public Journal of the European Institute for Communication and Culture*. Vol. 13. No 3. P. 7–16
- Brown W. 2010. Political Theory Is Not a Luxury: A Response to Timothy Kaufman-Osborn's "Political Theory as a Profession". — *Political Research Quarterly*. Vol. 63. No 3. P. 680–685.
- Brubaker R. 2004a. In the Name of the Nation: Reflections on Nationalism and Patriotism. — *Citizenship Studies*. Vol. 8. No 2. P. 115–127.
- Brubaker R. 2004b. *Ethnicity without Groups*. Cambridge: Harvard University Press. 284 p.
- Brubaker R. 1992. *Citizenship and nationhood in France and Germany*. Cambridge: Harvard University Press. 270 p.
- Brubaker R. 2015. *Grounds for difference*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 219 p.
- Brubaker R. *Nationalism reframed: nationhood and the national question in the New Europe*. New York: Cambridge University Press, 1996. 202 p.
- Brubaker R. 1984. *The limits of rationality: an essay on the social and moral thought of Max Weber*. Routledge: Taylor & Francis, 120 p.

Brubaker R., Cooper F. 2000. Beyond "identity". — *Theory and Society*. Vol. 29. No 1. P. 1–47.

Brubaker R., Feischmidt M., Fox J., Grancea L. 2008. *Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town*. Princeton: Princeton University Press. 504 p.

Brubaker R., Laitin D. 1998. Ethnic and Nationalist Violence. — *Annual Review of Sociology*. Vol. 24. P. 423–452.

Brysk A. 1995. "Hearts and Minds": Bringing Symbolic Politics Back in. — *Polity*. Vol. 27. No 4. P. 559–585.

Breully J. 1993. *Nationalism and the State*. Chicago: University of Chicago Press. 348 p.

Buften S. 2004. Social Class. — *Social Identities. Multidisciplinary Approaches* (ed. by Gary Taylor, Steve Spencer). London, New York: Routledge. 272 p.

Bukh A. 2009. Identity, foreign policy and the "other": Japan's "Russia". — *European Journal of international relations*. Vol. 15. No 2. P. 319–345.

Burton J. 1990. *Conflict: Resolution and Provention*. London: Macmillan, New York: St. Martin's Press. 249 p.

Butler J. 1990. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. London & New York: Routledge, 256 p.

Butler J. 2004. *Undoing Gender*. London & New York: Routledge. 273 p.

Byram M. 2006. *Languages and Identities*. Strasbourg: Language Policy Division, 16–18 October.

Caffi A. 1966. Individuo e società. — Caffi A. *Critica della violenza* (Con pref. di N. Chiromonte). Milano: Bompiani. P. 27–60.

Calhoun C. 1997. *Nationalism*. Milton Keynes: Open University Press and Minneapolis: University of Minnesota Press. 164 p.

Campbell A., Converse Ph., Miller W., Stokes D. 1967. *The American Voter*. Ann Arbor: University of Michigan Press. 578 p.

Campbell D. 1992. *Writing security. United States foreign policy and the politics of identity*. Manchester: Manchester univ. press. 269 p.

Canovan M. 2002. Taking Politics to the People: Populism as the Ideology of Democracy Mény Y. and Surel Y. (eds.), *Democracies and the Populist Challenge*. New York: Palgrave Macmillan. P. 25–54.

Capano G. and Verzichelli L. 2010. Good but Not Enough: Recent Developments of Political Science in Italy. — *European Political Science*. Vol. 9. No 1. P. 102–117.

Capano G. and Verzichelli L. 2016. Looking for Eclecticism? Structural and Contextual Factors Underlying Political Science's Relevance Gap: Evidence from the Italian Case. — *European Political Science*. Vol. 15. No 2. P. 211–232.

Carducci V. 2006. Culture Jamming: A Sociological Perspective. — *Journal of Consumer Culture*. Vol. 6. No 1. P. 116–138.

Carson R. 1962. *Silent Spring*. Boston, MA: Houghton Mifflin. 368 p.

Carter M.J. 2014. Gender Socialization and Identity Theory. — *Social sciences*. No 3. P. 242–263.

Castells M. 1996. *The Rise of Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture*. Vol. I. Oxford, UK; Malden, MA.: Blackwell Publishers, Inc. 556 p.

Castells M. 1997. *The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture*. Vol. II. Oxford, UK; Malden, MA.: Blackwell Publishers, Inc. 461 p.

Castells M. 1998. *The End of the Millennium: The Information Age: Economy, Society and Culture*. Vol. III. Oxford, UK; Malden, MA.: Blackwell Publishers, Inc. 418 p.

Castells M. 2006. Globalisation and Identity. A Comparative Perspective. — *Transfer*. No 1. P. 56–65.

Castells M. 2009. *The Power of Identity*. Malden (Ma), Oxford (UK), Chichester (UK): Wiley-Blackwell. 584 p.

Castells M. 2010. *The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture*. Vol. II, 2nd Ed. with a New Preface. Malden (MA), Oxford (UK), Chichester (UK): Wiley-Blackwell. 584 p.

Castells M. 2010b. *End of Millenium: The Information Age: Economy, Society, and Culture*. Vol. III, 2nd Ed. with a New Preface. Malden (MA), Oxford (UK), Chichester (UK): Wiley-Blackwell. 488 p.

Castells M. 2012. *Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age*.

Castiglione D. 2009. *Political Identity in a Community of Strangers*. — *European Identity* (ed. by J.T. Checkel, P.J. Katzenstein). Cambridge: Cambridge University Press. P. 29–51.

Cavazza N., Corbetta P. 2015. The political meaning of dining out: testing the link between lifestyle and political choice in Italy. — *Italian Political Science Review / Rivista Italiana di Scienza Politica*. Vol. 46. No 1. P. 23–45.

Cawson A. 1986. *Corporatism and Political Theory*. Oxford: Basil Blackwell. 174 p.

CEPAL. 2013. *Naciones Unidas. Los Pueblos Indígenas en América Latina. Avances en el Último Decenio y Retos Pendientes para la Garantía de sus derechos. Síntesis*. P. 103. URL: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37050/S1420783_es.pdf?sequence=4 (accessed 10.05.2016).

Cerulo K.A. 1997. Identity Construction: New Issues, New Directions. — *Annual Review of Sociology*. Vol. 23. P. 385–409.

Chabod F. 1967. *Storia dell'idea di Europa*. Bari: Laterza. 204 p.

Chauvier S. 2004. La question philosophique de l'identité personnelle. — Halpern C. et Ruano-Borbalan J.-C. (dir.). *Identité(s). L'individu, le groupe, la société*. Auxerre: Sciences Humaines Editions. P. 25–32.

Checkel J.T., Katzenstein P.J. 2009. The politicization of European identities. — *European Identity* (ed. by J.T. Checkel, P.J. Katzenstein). 2009. Cambridge: Cambridge University Press. P. 1–25.

Cheneval F., Lavenex S., Schimmelfennig F. 2015. Demoi-cracy in the European Union: principles, institutions, policies. — *Journal of European Public Policy*. Vol. 22. No 1. P. 1–18.

China's Quest for National Identity. 1993. Ed. by L. Dittmer and S. Kim. Ithaca &

London: Cornell University Press. 305 p.

Christakis N., Fowler J. 2011. *Connected. The Amazing Power of Social Networks and How They Shape Our Lives*. London: Harper Press. 352 p.

Cianchi J. 2015. *Radical Environmentalism: Nature, Identity and More-than-human Agency*. Palgrave Macmillan. 181 p.

Civilizational Identity: The Production and Reproduction of "Civilizations" in International Relations (ed. by M. Hall, P. Jackson). 2007. Palgrave Macmillan US. 243 p.

Clavin P. Defining Transnationalism. — *Contemporary European History*. 2005. Vol. 14. No 4. P. 421–439.

Cohen A. 1985. *The Symbolic Construction of Community*. London: Tavistock. 128 p.

Cohen R. 2008. *Global Diasporas: An Introduction*. 2nd ed. (1st ed. 1997). New York: Routledge. 219 p.

Collier R.B., Collier D. 2002. *Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press. 904 p.

Commemorations. The Politics of National Identity (ed. by J.R. Gillis). 1996. Princeton: Princeton University Press. 304 p.

Comparative social dynamics: essays in honor of S.N. Eisenstadt (E. Cohen, M. Lissak, U. Almagor eds.). 1985. Boulder Co: Westview Press. 409 p.

Connolly W.E. 1967. *Political Science and Ideology*. New York: Atherton Press. 179 p.

Contested individualization: debates about contemporary personhood. 2007. New York: Palgrave Macmillan. 241 p.

Contesting fundamentalisms (ed. by C. Schick, J. Jaffe, A.M. Watkinson). 2006. Delhi: Aakar books. 176 p.

Cooley Ch. H. 1909. *Social organization: a study of the larger mind*. Charles Scribner's Sons. 426 p.

Cooper R.N. 1968. *The Economics of Interdependence: Economic Policy in the Atlantic Community*. New York: McGraw Hill. 302 p.

Coser L. 1956. *The Functions of Social Conflict*. Glencoe Ill.: The Free Press. 188 p.

Cosmopolitan Citizenship. — *London Journal of Canadian Studies*. Vol. 17. P. 1–11.

Cotta M., Isernia P. 2009. Citizenship in the European polity: questions and explorations. — *Institutional Challenges in Post-Constitutional Europe. Governing Change* (ed. by C. Moury, L. de Sousa). London: Routledge. P. 71–94.

Cotta M., Russo F. 2012. Europe a la carte. European citizenship and its dimensions from the perspective point of national elites. — *The Europe of Elites. A Study into the Europeaness of Europe's Political and Economic Elites* (ed. by H. Best, G. Lengyel, L. Verzichelli). Oxford: Oxford University Press. P. 14–42.

Crawley S.L. and Broad K. L. The Constructing of Sex and Sexualities. 2008. — *Handbook of Constructionist Research* (ed. by J. Holstein, J. Gubrium). New York: Guildford Press. P. 545–567.

Crocetti E. 2008. Capturing the dynamics of identity formation in various ethnic groups: Development and validation of a three-dimensional model. — *Journal of Adolescence*. Vol. 31. No 2. P. 207–222.

Crocetti E., Rubini M., Meeus W. 2008. Capturing the dynamics of identity formation in various ethnic groups: Development and validation of a three-dimensional model. — *Journal of Adolescence*. Vol. 31. No 2. P. 207–222.

Crompton R. 2008. *Renewing Class Analysis*. Cambridge, Polity. 192 p.

Cuccioletta D. 2001 / 2002. Multiculturalism or Transculturalism: Towards a Cosmopolitan Citizenship. — *London Journal of Canadian Studies*. Vol. 17. P. 1–11.

Cultural hallmark. Stuart Hall (Interviewed by Tim Adams). 2007. — *The Observer*. 23.09.

Cultural identity and archaeology: The construction of European communities (ed. by P. Graves-Brown, S. Jones, C. Gamble). 1996. London, New York: Routledge. P. 101–102.

Culture, Globalization and the World-System: Contemporary Conditions for the Representation of Identity (ed. by A.D. King). 1997. Minneapolis: University of Minnesota Press. 200 p.

Culture Matters: How Values Shape Human Progress (ed. by L.E. Harrison, S.P. Huntington). 2000. New York: Basic Books. 348 p.

Culture, Politics, Race and Diaspora: The Thought of Stuart Hall (ed. by B. Meeks). 2007. Kingston: Ian Randle Pub. 316 p.

Cultures of internet: Virtual spaces, real histories, living bodies. 1996. London: Sage Publications. 208 p.

Dahrendorf R. 1959. *Class and class conflict in industrial society*. Stanford: Stanford University Press. 336 p.

Dahrendorf R. 1967. *Society and Democracy in Germany*. Garden City, New York: Doubleday. 482 p.

Dahrendorf R. 1995. Preserving Prosperity. — *New Statesmen and Society*. No 13/29 (December). P. 36–40.

Dal E.P. 2015. A normative approach to contemporary Turkish foreign policy: The cosmopolitanism-communitarianism divide. — *International Journal*. Vol. 70. No 3. P. 421–433.

Dalton R. 1984. Cognitive Mobilization and Partisan Dealignment in Advanced Industrial Democracies. — *Journal of Politics*. No. 46. P. 264–284.

Davis J. 2003. The Commodification of Self. — *The Hedgehog Review*. Vol. 5. No 2. P. 41–49.

Davis M. 2008. *Freedom and Consumerism: A Critique of Zygmunt Bauman's Sociology*. London: Routledge. 198 p.

D'Crux C. 2008. *Identity Politics in Deconstruction. Calculation with the Incalculable*. Farnham: Ashgate. 140 p.

De Cilia R., Reisigl M., Wodak R. 1999. The discursive construction of national identity. — *Discourse & Society*. Vol. 10 (2). P. 149–173.

De Goes P. 1979. Hermeneutica Política e Praxis Libertadora. — *Simposio*. No 20. ASTE: São Paulo. P. 197–198.

- De la Torre C. 2010. *Populist Seduction in Latin America*. 2nd ed. Athens, OH: Ohio University Press. 248 p.
- DeFilippis J., Saegert S. 2013. *The community development reader*. Routledge. 416 p.
- Delanty G. 1995. *Inventing Europe: Idea, Identity, Reality*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London: Macmillan Press. 187 p.
- Delanty G. 2002. Models of European identity: Reconciling universalism and particularism. — *Perspectives on European Politics and Society*. Vol. 3. No 3. P. 345–359.
- Delanty G. 2003. *Community*. London, New York: Routledge. 176 p.
- Derks A. 2006. Populism and the Ambivalence of Egalitarianism. How Do the Underprivileged Reconcile a Right Wing Party Preference with Their Socio-Economic Attitudes? — *World Political Science Review*. 2 (3): article 1. P. 175–200.
- Dervin F., Korpela M. 2013. *Cocoon Communities: Togetherness in the 21st Century*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 160 p.
- Di Méo G. 1998. *Géographie sociale et territoire*. Paris: Nathan. 320 p.
- Diamond L., Butterworth M. 2008. Questioning Gender and Sexual Identity: Dynamic Links Over Time. — *Sex Roles*. Vol. 59. No 5. P. 365–376.
- Differentiation Between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations* (ed. by H. Tajfel). 1978. London: Academic Press. 474 p.
- Dijkink G.-J. 1996. *National Identity and Geopolitical Visions: Maps of Pride and Pain*. London: Routledge.
- Dinnie K. 2015. *Nation Branding: Concepts, Issues, Practice*. New York: Routledge. 306 p.
- Dinzelbacher P. 2008. *Europäische Mentalitätsgeschichte*. Leinen, Kröner. 814 S.
- Discourse theory and practice*. A Reader. M. Wetherall, S. Taylor, S.J. Yates eds. London: Sage. 406 p.
- Dobesch G. 1968. *Der panhellenische Gedanke im 4. Jahrhundert v. Chr. und der «Philippos» des Isokrates*. Wien. 260 s.
- Dobson A. 2004-03-11. Ecological Citizenship — Paper presented at the annual meeting of the Western Political Science Association, Marriott Hotel, Portland. — *Allacademic*. Эл. ресурс. Доступ: http://www.allacademic.com/meta/p87792_index.html (accessed 09.03.2017).
- Donaldson S., Kymlicka W. 2011. *Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights*. Oxford: Oxford University Press. 352 p.
- Driver F., Gilbert D. 2003. *Imperial cities: landscape, display and identity*. Manchester : Manchester University Press. 304 p.
- Du Bois W.E.D. 2001. *An encyclopedia* (ed. by G. Horne and M. Young; foreword by D.L. Lewis). Westport (CT, USA): Greenwood Press. 280 p.
- Dubar C. 2003. *La crise des identités*. Paris: PUF. 239 p.
- Dunn K. C., Neumann I. B. 2016. *Undertaking discourse analysis for social research*. University of Michigan Press, Ann Arbor, USA. 152 p.
- Dunn R.G. 2008. *Identifying consumption: Subjects and objects in consumer society*. Philadelphia: Temple University Press. 235 p.

Dunning E. and Hughes J. 2013. *Norbert Elias and Modern Sociology. Knowledge, Interdependence, Power, Process*. London & New York: Bloomsbury Academic Pub. 224 p

Durkheim E. 1967. *De la division du travail social*. Paris: Les Presses universitaires de France. 416 p.

Della Porta D., Mattoni A. 2014. *The Transnational Dimension of Protest: From the Arab Spring to Occupy*. URL: <http://ecpr.eu/Filestore/WorkshopOutline/20.pdf> (дата обращения 1.06.2016).

Edelman M. 1971. *Politics as Symbolic Action. Mass Arousal and Quiescence*. Chicago: Markham Publishing Company. IX. 188 p.

Edelman M. 1972 [1964]. *The Symbolic Uses of Politics*. 5th ed. Urbana: University of Illinois Press. 201 p.

Edensor T. 2002. *National Identity, Popular Culture and Everyday Life*. Oxford, New York: Berg. 216 p.

Eder K. 2009. A theory of collective identity: Making sense of the debate on a "European identity". — *European Journal of Social Theory*. Vol. 12. No 4. P. 427–447.

Edley N, Wetherell M. 1997. Jockeying for position: The construction of masculine identities. — *Discourse & society*. 8 (2). 203–217

Edwards J. 2009. *Language and Identity. An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press. 315 p.

Eidlin Barry. 2015. Class and Work. — *The Sage Handbook of the Sociology of Work and Employment*. London: Sage. 728 p.

Eisenstadt S.N. 1963. *The political systems of empires*. Glencoe: Free Press. 524 p.

Eisenstadt S.N. 1998. Modernity and the Construction of Collective Identities. — *International Journal of Comparative Sociology*. Vol. 39. No 1. P. 138–158.

Eisenstadt S.N. 1999. *Paradoxes of Democracy. Fragility, Continuity and Change*. Washington DC: Woodrow Wilson Centre Press. 120 p.

Eisenstadt S.N. 2000. The civilizational dimension of Modernity. — *International sociology*. Vol. 16. No 3.

Eisenstadt S.N. 2000. Multiple Modernities. — *Daedalus*. Vol. 129. No 1. P. 1–29.

Eisenstadt S.N. 2001. The Civilizational Dimension of Modernity. Modernity as a Distinct Civilization. — *International Sociology*. Vol. 16. No. 3. P. 320–340.

Eisenstadt S.N. 2003. The Construction of Collective Identities and the Continual Reconstruction of Primordiality and Sacrality: Some Analytical and Comparative Indications. — *Comparative Civilizations and Multiple Modernities*. Vol. 1. A Collection of Essays by S.N. Eisenstadt. Leiden: Brill. P. 75–134.

Eisenstadt S.N. 2004. Israeli Identity: Problems in the Development of the Collective Identity of an Ideological Society. — *Explorations in Jewish Historical Experience: The Civilizational Dimension*. Leiden: Brill. P. 205–215.

Eisenstadt S.N. 2005. Collective Identity and the Constructive and Destructive Forces of Modernity. — E. Ben-Rafael, Y. Sternberg (eds). *Comparing Modernities: Pluralism Versus Homogeneity: Essays in Homage to Shmuel N. Eisenstadt*. Leiden: Brill. P. 635–653.

Eisenstadt S.N. 2006. *The Great Revolutions and the Civilizations of Modernity*.

Leiden: Brill. 228 p.

Eisenstadt S.N., Giesen B. 1995. The construction of collective identity. — *European Journal of Sociology*. Vol. 36. No 1. P. 72–102.

Elementos de análisis para la integración de un espacio iberoamericano: economía, política y derecho (by coord. D.C. Barrado, R.M.G. Morett). 2007. Universidad Juan Carlos I, Centro de Estudios de Iberoamerica; Universidad de Guadalajara (Mexico). Madrid, Mexico: Plaza y Valdés. 316 p.

Elias N. 1991. *The symbol theory*. London: Sage Publications. 47 p.

Elias N. 2009. *Essays I: On the Sociology of Knowledge and the Sciences*. Ed. by Richard Kilminster and Stephen Mennell. Dublin: UCD Press. 316 p.

Elias N. 2008. *Essays II: On Civilising Processes, State Formation and National Identity*. Ed. by Richard Kilminster and Stephen Mennell. Dublin: UCD Press 289 p.

Elias N. 2009. *Essays III: On Sociology and the Humanities*. Ed. by Richard Kilminster and Stephen Mennell. Dublin: UCD Press. 312 p.

Ellingson T.J. 2001. *The Myth of the Noble Savage*. Berkley CA: University of California Press. 504 p.

Elliot A., Lemert C. 2009. *The New Individualism: The Emotional Costs of Globalization*. New York: Routledge. 252 p.

Elliott A. 2011. Introduction. — *Routledge Handbook of Identity Studies* (ed. by A. Elliott). 2011. Abingdon, Oxon, New York: Routledge. P. XXII–XXIV.

Emerson C. 1997. *The First Hundred Years of Mikhail Bakhtin*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 350 p.

Encyclopedia of Identity (ed. by R.L.II Jackson, M.A. Hogg). 2010. Thousand Oaks CA: Sage Publications. 953 p.

Eriksen T.H. 2007. Creolization in Anthropological Theory and in Mauritius. — *Creolization: history, ethnography, theory*. Walnut Creek. P. 153–177.

Eriksen T.H. 2015. *Fredrik Barth: an intellectual biography*. London: Pluto. 249 p.

Erikson E.H. 1958. *Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History*. New York: W.W. Norton & Company. 288 p.

Erikson E.H. 1969. *Gandi's Truth: On the origins of Militant Non-Violence*. New York: W.W. Norton & Company. 476 p.

Erikson E.H. 1963. *Childhood and Society*. New York: W.W. Norton & Co. 448 p.

Erikson E.H. 1968. *Identity: Youth and Crisis*. New York: W.W. Norton & Co. 336 p.

Erikson E.H. 1972. *Adolescence en crise. La quête de l'identité*. Paris: Flammarion. 348 p.

Erikson E.H. 1980. *Identity and the Life Cycle*. New York, London: W.W. Norton & Co. 192 p.

Erikson E.H. 1995. Psychosocial Identity. — *A Way of Looking at Things. Selected Papers from 1930 to 1980* (ed. by S. Schlein). New York: Norton & Co. 782 p.

Erikson E.H. 1998. *The Life Cycle Completed. Extended version*. New York: W.W. Norton & Company. 144 p.

Ersson S., Lane J.-E. 2002. *Culture and Politics: A comparative Approach*.

- Aldershot: Ashgate Publishing. 353 p.
- Erving Goffman: Exploring the interaction order* (ed. by P. Drew, A. Wooton). 1988. Cambridge: Polity, 298 p.
- Erving Goffman: Vol. 1–4. Sage Masters of Modern Social Thought* (ed. by G.A. Fine, G. Smith). London: Sage Publications, 2000. 1688 p.
- Esping-Andersen G. 1990. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton, NJ: Princeton University Press. 264 p.
- Esposito J.L. 1998. *Islam: The Straight Path. Third edition*. New York, Oxford: Oxford University Press. 286 p.
- Esteban J., Mayoral L., Ray D. 2012. Ethnicity and Conflict: Theory and Facts. — *Science*. Vol. 336. No 6083. P. 858–865.
- Ethnic groups and boundaries. The social organization of cultural differences* (ed. by F. Barth). 1969. London: Allen&Unwin. 153 p.
- Ethnic Identity and Inequalities in Britain. The Dynamics of Diversity* (ed. by S. Jivraj, L. Simpson). 2015. Bristol: Policy Press; University of Bristol. 238 p.
- Etzioni A. 1994. *The Spirit of Community: The Reinvention of American Society*. New York: Touchstone. 323 p.
- Etzioni A. 1997. *The New Golden Rule. Community and morality in a democratic society*. London: Profile Books. 314 p.
- The Essential Communitarian Reader* (ed. by A. Etzioni). 1998. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. 322 p.
- Etzioni A. 2013. Communitarianism. — *Encyclopædia Britannica Online*. Эл. ресурс. Доступ: <https://global.britannica.com/topic/communitarianism> (accessed 09.03.2017).
- Etzioni A. 2014. Communitarianism revisited. — *Journal of Political Ideologies*. Vol. 19. No 3 P. 241–260.
- Etzioni A. 2015. Communitarianism. — *The Encyclopedia of Political Thought*. 1st ed. Edited by M.T. Gibbons. London: John Wiley & Sons. Эл. ресурс. Доступ: <https://icps.gwu.edu/sites/icps.gwu.edu/files/downloads/Communitarianis.Etzioni.pdf> (accessed 09.03.2017).
- European Identity* (ed. by J.T. Checkel, P.J. Katzenstein). 2009. Cambridge: Cambridge University Press. 208 p.
- European Identity in the Context of National Identity. Questions of Identity in Sixteen European Countries in the Wake of the Financial Crisis of 2007 and 2009* (ed. by B. Westle, P. Segatti). 2016. Oxford: Oxford University Press. 384 p.
- Evans N. 1988. Identity in Question. — *Quarterly Journal of Speech*. Vol. 84. No 1. P. 94–109.
- Flaquer L. 2000. Family Policy and Welfare State in Southern Europe. — *Universitat Autònoma de Barcelona. Working Paper No 185*. Эл. ресурс. Доступ: URL: http://www.icps.cat/archivos/WorkingPapers/WP_I_185.pdf (accessed: 09.03.2017).
- Farr J., Hacker J. S., Kazee N. 2006. The Policy Scientist of Democracy: The Discipline of Harold D. Lasswell. — *American Political Science Review*. Vol. 100. No 4. P. 579–587.

- Fay B. 1996. *Contemporary philosophy of social science: A multicultural approach*. Oxford; Cambridge, MA: Blackwell Publishers. 266 p.
- Featherstone M. 2007 [1991]. *Consumer culture and postmodernism*. London: Sage. 232 p.
- Fehn K. 1971. Zum wissenschaftstheoretischen Standort der Kulturlandschaftsgeschichte. — *Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in München*. Bd. 56. S. 95–104.
- Ferguson J. 1975. *Utopias of the Classical World*. London: Thames and Hudson. 228 p.
- Ferguson N. 2003. Power. — *Foreign Policy*. No 134. P. 18–22.
- Ferguson N., Priestland D., Merridale C. Foster R. 2012. Eric Hobsbawm — a historian's historian. — *The Guardian*. 1 October.
- Fevre L. 1953. *Combats pour l'histoire*. Paris: Armand Colin. 456 p.
- Fiese B.H., Tomcho T.J., Douglas M., Josephs K., Poltrock S., and Baker T. 2002. A Review of 50 Years of Research on Naturally Occurring Family Routines and Rituals: Cause for Celebration? — *Journal of Family Psychology*. Vol. 16 (December). P. 381–391.
- Finer H. 1956. *Governments of Greater European Powers*. New York, Harvard: H. Holl and Company. XII, 931 p.
- Fink B. 2004. *Lacan to the letter: reading Écrits closely*. Minneapolis, MN; London: Univ. of Minnesota press cop. 192 p.
- Fligstein N. 2008. *Euro-clash. The EU, European Identity and the Future of Europe*. Oxford: Oxford University Press. 279 p.
- Flint C., Mamadouh V. 2015. The Multi-Disciplinary Reclamation of Geopolitics: New Opportunities and Challenges. — *Geopolitics*. Vol. 20 (1). P. 1–3.
- Fornäs J. 2012. *Signifying Europe*. Chicago: University of Chicago Press. 339 p.
- Foucault M. Governmentality. — *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. G. Burchell, C. Gordon & P. Miller (eds.). Chicago. 1991. P. 87–105.
- Frank A.G. 1998. *ReOrient: Global Economy in the Asian Age*. Berkeley: University of California Press. 352 p.
- Fromm E. 1994. *Escape from Freedom*. New York: H.Holt and Company. 301 p.
- Fry M. 1983. *The Politics of Reality: Essays on Feminist Theory*. Trumansburg, N.Y.: Crossing Press. 176 p.
- Fukuyama F. 1999. *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*. New York: The Free Press. 354 p.
- Fukuyama F. Samuel Huntington's Legacy. — *Foreign Policy* 5 Jan., 2011.
- Fundamentalisms and the state: Remaking polities, economies, and militance. 1993. Ed. by E.M. Marty, R.S. Appleby, J.H. Garvey, T. Kuran. — *The fundamentalist project*. Vol. 3. Chicago: The University of Chicago press. 665 p.
- Funk R. 2014. The IFPS's sense of identity and Erich Fromm's Legacy. — *International Forum of Psychoanalysis*. Vol. 23. No 2. P. 74–79
- Funk R. 1982. *Erich Fromm: The courage to be human*. New York: Continuum. 424 p.
- Gaman-Golutvina O. 2009. Contradictions between Freedom and

Development: Historical and Contemporary Dimensions. — *Media, Democracy and Freedom: The Post-Communist Experience* (M. Dyczok and O. Gaman-Golutvina eds.) Bern: Peter Lang. P. 43–76.

Gamson W.A., Stuart D. Media Discourse as a Symbolic Contest: the Bomb in Political Cartoons. — *Sociological forum*. 1992. Vol. 7. No 1. P. 55–86.

Garsia O. 2012. Ethnic identity and language policy. — *The Cambridge Handbook of Language Policy*. Ed. by B. Spolsky. Cambridge: Cambridge University Press. P. 79–99.

Gatz B. 1967. *Weltalter, goldene Zeit und sinnverwandte Vorstellungen* (Spudasmata, 16). Hildesheim: G. Olms. 238 s.

Gauthier A. 1996. *The State and The Family. A Comparative Analysis of Family Policies in Industrialized Countries*. Oxford: Clarendon Press.

Gella A. 1976. *The Intelligentsia and the Intellectuals: Theory, Method and Case Study*. London: Sage Publications. 235 p.

Gellner E. 1974. *Legitimation of Belief*. London: Cambridge University Press. 210 p.

Gellner E. 1981. *Muslim Society*. Cambridge: Cambridge University Press. 264 p.

Gellner E. 1983. *Nations and Nationalism*. Ithaca: Cornell University Press. 150 p.

Gellner E. 1985. *Relativism and the Social Sciences*. Cambridge. University Press. 200 p.

Gellner E. 1987. *Culture, Identity and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press. 200 p.

Gellner E. 1988. *State and Society in Soviet Thought. Explorations in Social Structures*. Oxford: Blackwell Pub. 193 p.

Gellner E. 1994. *Conditions of Liberty: Civil Society and its Rivals*. London: Penguin Books. 215 p.

Gellner E. 1995. *Anthropology and Politics*. London: Blackwell. 260 p.

Gellner E. 1997. *Nationalism*. London: Weidenfeld & Nicolson. 209 p.

Gelman V. 2015. Political Science in Russia: Scholarship without Research? — *European Political Science*. Vol. 14. No 1. P. 28–36.

Gergen K.G. 2000. *The Saturated Self: Dilemmas of Identity In Contemporary Life*. New York: Basic Books. 320 p.

Gergen, Kenneth. 1996. Technology and the Self: From the Essential to the Sublime. — *Constructing the Self in a Mediated World* (eds. D. Grodin and T.R. Lindlof). Thousand Oaks, CA: Sage. 127–140.

Gibbins J. 2012. *British Discourses on Europe: Self/Other and National Identities*. A thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of doctor of philosophy. URL: <http://etheses.bham.ac.uk/3830/1/Gibbins12PhD.pdf> (accessed: 01.06.2016)

Gibson H. 2015. Between the state and the individual: 'Big society' communitarianism and English conservative rhetoric. — *Citizenship, Social and Economics Education*. Vol. 14. No 1. P. 40–55.

Giddens A. *The Class Structure of the Advanced Societies*. London: Hutchinson.

1973. 366 p.
- Giddens A. 1985. *The Nation-State and Violence*. Cambridge: Polity Press. 399 p.
- Giddens A. 1990. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press. 188 p.
- Giddens A. 1991. *Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press. 264 p.
- Giddens A. 2002. *Where Now for New Labour?* Cambridge: Polity Press. 96 p.
- Gilchrist A. 2009. *The well-connected community: a networking approach to community development*. Bristol: Policy Press. 234 p.
- Gill G. *Symbolism and Regime Change in Russia*. Cambridge: Cambridge University Press. 2013. 246 p.
- Gill G. *Symbols and Legitimacy in Soviet Politics*. Cambridge: Cambridge University Press. 2011. 356 p.
- Gilroy P. 1993. *The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness*. Cambridge: Harvard University Press; London and New York: Verso. 280 p.
- Gitlin T. 1996. *The Twilight of Common Dreams: Why America Is Wracked by Culture Wars*. New York: Holt. 294 p.
- Glissant E. 1990. *Poétique de la Relation*. Paris: Gallimard. 248 p.
- Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity* (ed. by M. Featherstone). 1990. London: Sage. 411 p.
- Global Christianity. A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population. 2011. — *Pew Research Center. The Pew Forum on Religion & Public Life*. 130 p. URL: http://livebettermagazine.com/eng/reports_studies/pdf/Christianity-fullreport-web.pdf (accessed: 15.02.2017).
- Globalization and the Muslim world: Culture, religion and modernity* (ed. by B. Schaebler, L. Stenberg). 2004. New York: Syracuse Univ. Press. 266 p.
- Goffman and social organisation: Studies in a sociological legacy* (ed. by G. Smith). 1999. New York: Routledge. 232 p.
- Goffman E. 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York, Garden City: Doubleday. 255 p.
- Goffman E. 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New York: Prentice-Hall. 147 p.
- Goffman E. 1967. *Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior*. New York: Garden City, New York: Doubleday. 288 p.
- Goffman E. 1969. *Strategic Interaction*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 160 p.
- Goffman E. 1961. Role distance. — Goffman E. *Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction*. Indianapolis: Bobbs-Merrill. P. 82–152.
- Goldsmith E. 1972. A Blueprint for Survival. — *The Ecologist*. Vol. 2. No 1. P. 1–44.
- Gottdiener M. 2000. *New Forms of consumption: consumers, culture and commodification*. Lanham: Rowman and Littlefield. 272p.
- Grabow K. and Hartleb F. 2013. Mapping Present-day Right-wing Populists. — *Exposing the Demagogues. Right-wing and Nationalist Populist Parties in Europe*

(Grabow K. and Hartleb F. eds.). Brussels and Berlin: Centre for European Studies. P. 13–44.

Grammars of identity/alterity: A structural approach (ed. by G. Baumann, A. Gingrich). 2004. New York: Berghahn books. 219 p.

Granovetter M. 1973. The strength of weak ties. — *American Journal of Psychology*. Vol. 78. No. 6. P. 1360–1380.

Graumann C.F., Kruse L. 1993. Place identity and the physical structure of the city. — *Perception and Evaluation of Urban Environment Quality: A Pluridisciplinary Approach in the European Context* (ed. by M. Bonnes). London, Routledge. P. 48–75.

Gray C. 1986. *Nuclear Strategy and National Style*. Lanham (MD, USA): University Press of America. 364 p.

Green A. 1977. Atome de parenté et relations œdipiennes. — *Identité. Séminaire dirigé par Claude Lévi-Strauss*. Paris: PUF. P. 81–108.

Green L. 2004. Gender. — *Social Identities. Multidisciplinary Approaches* (ed. by G. Taylor and S. Spencer). London & New York: Routledge. 272 p.

Greene S. 2004. Understanding Party Identification: A Social Identity Approach. — *Political Psychology*. Vol. 20. No 2. P. 393–403.

Greenfeld L. 1992. *Nationalism: five roads to modernity*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 581 p.

Greenfeld L., Eastwood J. 2007. National Identity. — *The Oxford Handbook of Comparative Politics* (eds. by C. Boix, S. Stokes). Oxford; New York: Oxford University Press. P. 256–274.

Grice H.P. 1941. Personal Identity. — *Mind*. No 50. P. 330–350.

Guelke A. 2012. *Politics in Deeply Divided Societies*. Cambridge: Polity Press. 178 p.

Guibernau M. 2007. *The Identity of Nations*. Cambridge: Polity Press. 248 p.

Gurr T.R. 1993. *Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts*. Washington: USIP Press. 448 p.

Gutmann A. 2003. *Identity in Democracy*. Princeton: Princeton University Press. 256 p.

Habermas J. 1974. On social identity. — *Telos*. No 19. Spring. P. 91–103.

Habermas J. 1992a. Citizenship and National Identity: Some Reflections on the Future of Europe. — *Praxis International*. No 12. P. 1–19.

Habermas J. 1992b. Staatsbürgerschaft und nationale Identität. — *Faktizität und Geltung*. (J. Habermas ed.). Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 632–660.

Habermas J. 1994. Citizenship and national identity: some reflections on the future of Europe. — B. Turner & P. Hamilton (eds.). *Citizenship. Critical Concepts*. London: RKP P. 341–358.

Habermas J. 2001. The Post-National Constellation and the Future of Democracy. — Habermas J. *The Post-National Constellation: Political Essays* (ed. by M. Pensky). Cambridge MA: MIT Press. P. 58–112.

Habermas J. 2003. Towards a cosmopolitan Europe. — *Journal of Democracy*. Vol. 14. No 4. P. 86–100.

Habermas J. 2015. *The postnational constellation: Political essays*. London: John

Wiley & Sons. 216 p.

Hagen E.E. 1962. *On the Theory of Social Change. How Economic Growth Begins*. Homewood, Ill.: The Dorsey Press, Inc. 557 p.

Halbwachs M. 1938. *La morphologie sociale*. Paris: A. Colin. 208 p.

Hall E.T. 1976. *Beyond Culture*. New York: Anchor Books, Doubleday. 320 p.

Hall S. 1990. Cultural Diversity and Diaspora. — Rutherford J. (ed.). *Identity: Community, Culture, Difference*. London: Lawrence and Wishart. P. 222–237.

Hall E.T., Trager D. 1954. *Culture as Communication*. Greenwich. CT: Fawcett, 206 p.

Hall S. 1984. The rise of the representative/interventionist state. — *State and Society in Contemporary Britain* (G. McLennan, D. Held, and S. Hall eds.). New York: Polity Press. P. 7–49.

Hall S. 1990. Cultural identity and diaspora. — *Identity: Community, Culture, Difference* (ed. by J. Rutherford). London: Lawrence & Wishart. P. 222–237.

Hall S. 1991. The local and the global: globalization and ethnicity. — *Culture, Globalization and the World System* (ed. by A.D. King). London: Macmillan. P. 19–39.

Hall S. 1991. Old and new identities, old and new ethnicities. — *Culture, Globalization and the World System* (ed. by A.D. King). London: Macmillan. P. 41–68.

Hall S. 1992. The question of cultural identity. — *Modernity and Its Future* (S. Hall, D. Held, T. McGrew eds.). Cambridge: Polity Press. P. 274–316.

Hall S. 1993. Culture, community, nation. — *Cultural Studies* 7(3). P. 349–63.

Hall S. 1994. Cultural studies: two paradigms. — *Culture, Power, Harmony: A Reader in Contemporary Social Theory* (N. Dirks, E. Eley and S. Ortner eds.). Princeton: Princeton University Press. P. 520–38.

Hall S. 1996. Minimal selves. — *Black British Cultural Studies: A Reader* (H.A. Barker, M. Diawara & R.H. Lindborg eds.). Chicago, Il.: University of Chicago Press. 348 p.

Hall S. 1999. Encoding, decoding. — *The Cultural Studies Reader* (ed. by S. During). London & New York: Routledge. P. 90–103.

Hall S. 2016. *Cultural Studies: A Theoretical History* (ed. by J.D. Slack & L. Grossberg). Duke University Press: Durham. 232 p.

Hall S. 2017. *Selected Political Writings: The Great Moving Right Show and Other Essays* (ed. by S. Davidson, D. Featherstone, M. Rustin, B. Schwarz). Duke University Press: Durham. 2017. 376 p.

Hall S. 2017. *Familiar Stranger: A Life between Two Islands* (ed. by B. Schwarz). Duke University Press: Durham. 320 p.

Haller M. 2008. *European Integration as an Elite Process: The Failure of a Dream?* London: Routledge. 431 p.

Halter M. 2000. *Shopping for Identity: The Marketing of Ethnicity*. New York: Schocken Books. 244 p.

Handbook of Career Studies. 2007. Ed. by H. Guntz and M. Peiperl. Los Angeles, CA: Sage. 648 p.

Handbook of Career Theory. 1989. Ed. by M.B. Arthur, D.T. Hall and B.S. Lawrence. New York: Cambridge University Press. 549 p.

Handbook of Identity Theory and Research (ed. by S. Schwartz, K. Luyckx, V. Vignoles). 2011. New York: Springer. 998 p.

Handbook of Self and Identity (ed. by M. Leary, T.J. Price). 2012. New York: The Guilford Press. 754 p.

Hansen D. 2008. Curriculum and the Idea of a Cosmopolitan Inheritance. — *Journal of Curriculum Studies*. 40:3. P. 289–312.

Hansen D. 2009. Walking with Diogenes: Cosmopolitan accents in philosophy and education. — D. Kerdeman (ed). *Philosophy of Education Society Yearbook*. Urbana, IL, Philosophy of Education Society).

Hardin G. 1968. The Tragedy of the Commons. — *Science. New Series*. Vol. 162. No 3859. P. 1243–1248.

Hardy C., Harley B., Phillips N. 2004. Discourse Analysis ana Content Analysis: Two Solitudes? — *Qualitative Methods*. Spring. P. 19–22.

Harper K.M. 2001. Introduction: The Environment as Master Narrative: Discourse and Identity in Environmental Problems. — *Anthropological Quarterly*. Vol. 74. No 3. P. 101–103.

Harrison S. 1995. Four Types of Symbolic Conflict. — *The Journal of Royal Anthropological Institute*. Vol. 1. No 2. P. 255–272.

Hardt M., Negri A. 2000. *Empire*. Cambridge, Mass.; London, UK: Harvard University Press. 496 p.

Hart D., Richardson C., Wilkenfeld B. 2011. Civic Identity. — *Handbook of Identity Theory and Research* (ed. by S. Schwartz, K. Luyckx, V. Vignoles). New York: Springer. P. 771–787.

Harvey D. 1973. *Social Justice and the City*. London, Edward Arnold. 368 p.

Haslam A. (Ed.). 2003. *Social Identity at Work: Developing Theory for Organizational Practice*. New York: Psychology Press.

Hatch M.J., Cunliffe A.L. 2013. *Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press. 384 p.

Hay D. 1982. Exploring Inner Space. Scientific and Religious Experience. — *Harmondsworth: Penguin Books*. 256 p.

Haynes J. 2008. Religion. — *Politics in the developing world*. Ed. by P. Burnell, V. Randall. New York: Oxford univ. press. 2nd edition. P. 129–147.

He H.-W. and Balmer J.M.T. 2007. Identity Studies: Multiple Perspectives and Implications for Corporate-level Marketing. — *European Journal of Marketing*. Vol. 41. No 7–8. P. 765–787.

Hebel K., Lenz T. 2016. The identity/policy nexus in European foreign policy. — *Journal of European Public Policy*. Vol. 23. No 4. P. 473–491.

Held D. 2003. Violence, law and justice in a global age. — *Debating cosmopolitanics* (ed. by D.L. Archibugi). London: Verso. 310 p.

Hernandez P., Minor D. 2015. *Political Identity and Trust*. Working Paper 16-012.

U R L :
http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/minor/Papers/Working%20Paper%2016-012_Political%20Identity%20and%20Trust.pdf (accessed: 01.06.2016)

Herrmann-Pillath C. 2008. Identity Economics and the Creative Economy, Old

and New. — *Cultural Science Journal*. Vol. 1. No 1. Эл. ресурс. Доступ: <http://cultural-science.org/journal/index.php/culturalscience/article/view/5/14> (accessed 19.03.2016).

Heyes C. 2002. *Identity politics*. *Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2016 Edition, E. Zalta ed.)* (электронный ресурс). Доступ: <http://plato.stanford.edu/entries/identity-politics/> (accessed: 18.03.2016)

Heywood A. 2007. *Political Ideologies. An Introduction* (4th ed). Palgrave Macmillan. 432 p.

Hobsbawm E. 1975. *The Age of Capital*. London: Weidenfeld & Nicolson. 354 p.

Hobsbawm E. 1987. *The Age of Empire. 1875–1914*. London: Weidenfeld & Nicolson. 404 p.

Hobsbawm E. 1991. *Nations and Nationalism: Programme, Myth, Reality*. 2nd ed. (1st — 1990). Cambridge, USA: Cambridge University Press. 211 p.

Hobsbawm E. 1992. *Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality*. Cambridge: Cambridge University Press. 206 p.

Hobsbawm E. 1994. *The Age of Extremes: The Short XX Century*. London.: Vintage Books. 640 p.

Hobsbawm E. 1997. Are All Tongues Equal? Language, culture, and national identity. — *Living as Equals*. Ed. by P. Barker. Oxford: Oxford University Press. P. 85–98.

Hobsbawm E. 2010. World Distempers. — *New Left Review*. No 61. P. 133–150.

Hochschild, Arlie Russell. 1997. *The Time Bind: When Work Becomes Home and Home Becomes Work*. New York: Metropolitan.

Hodgson G. 2004. Politics, democracy and social affairs. Review. — *International Affairs*. Vol. 80. No 5. P. 999–1000.

Hong Y., Wan C., No S., Chiu C. 2007. Multicultural identities. — *Handbook of cultural psychology* (eds. by S. Kitayama, D. Cohen). New York: Guilford. P. 323–345.

Hopf T. 2002. *Social construction of international politics: Identities and foreign policies, Moscow, 1955 and 1999*. Ithaca: Cornell University Press. XVI. 299 p.

Horowitz D. 1985. *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley, Los Angeles, Cal.; London, UK: University of California Press. 697 p.

Horowitz D. 2008. Conciliatory Institutions and Constitutional Process in Post-Conflict States. — *William and Mary Law Review*. Vol. 49. P. 1215–1216.

Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World.

Huntington S. 1957. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-military Relations*. Cambridge: Harvard University Press. 534 p.

Huntington S. 1969. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press. 488 p.

Huntington S. 1993. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press. 366 p.

Huntington S.P. 1993. The Clash of Civilizations? — *Foreign Affairs*. Vol. 72. No 3. P. 22–49.

Huntington S.P. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*.

New York: Simon & Schuster. 368 p. .

Huntington S.P. 2004. *Who Are We: The Challenges to America's National Identity*. New York, London, Toronto, Sydney: Simon & Schuster. 428 p.

Identité. Séminaire interdisciplinaire dirigé par Claude Lévi-Strauss, Professeur au Collège de France, 1974–1975. 1977. Paris: Grasset. 348 p.

Identities, Borders, Orders: Rethinking International Relations Theory (M. Albert, D. Jacobson, Y. Lapid eds.). 2001. Minneapolis: University of Minnesota Press. 349 p.

Identities, groups and social issues. Ed. by Margaret Wetherell. 1996. London: Sage, 376 p.

Identity in the 21st Century: New Trends in Changing Times. Ed. by M. Wetherell. 2009. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 261 p.

Identity, Ethnic Diversity and Community Cohesion (M. Wetherell, M. Lafleche and R. Berkeley eds.). 2007. London: Sage. 176 p.

Identity Politics at Work: Resisting Gender, Gendering Resistance (ed. by R. Thomas, A. Mills, J.H. Mills). 2004. London: Routledge. 179 p.

Identity, Culture and Globalization (ed. by E. Ben-Rafael, Y. Stenberg). 2001. Leiden: Brill. 697 p.

Imperiology. From Empirical Knowledge to Discussing the Russian Empire (ed. by Kimitaka Matsuzato). 2007. Slavic research center Hokkaido University. Sapporo. 276 p. .

Inglehart R. 1990. *Culture Shift in Advanced Industrial Society*. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 484 p.

Inglehart R. 2015. *Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics*. Princeton, NJ: Princeton University Press. 496 p.

Inglehart R., Welzel C. 2005. *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*. New York: Cambridge University Press. 344 p.

Isaacs R. and Polese A. 2015. Between “imagined” and “real” nation-building: identities and nationhood in post-Soviet Central Asia. — *Nationalities Papers*. Vol. 43. No 3. P. 371–382.

Israel J. and Tajfel H. (eds.). 1972. *The context of social psychology. A critical assessment*. London: Academic Press. 438 p.

Jackson J.P. and Weidman N.M. 2005. *Race, racism and science*. New Brunswick: Rutgers University press. 424 p.

Jaggi M. Prophet at the Margins. — *The Guardian*. 8.07.2000.

Jameson F. 1981. *The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act*. Ithaca, New York: Cornell University Press. 305 p.

Jameson F. 1988. Cognitive Mapping. — *Marxism and the Interpretation of Culture* (ed. by C. Nelson, L. Grossberg). Champaign, IL: University of Illinois Press. P. 347–360.

Jameson F. 1991. *Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism*. Durham: Duke Univ. Press. 438 p.

Jameson F.A. 2002. *Singular Modernity: Essay on the Ontology of the Present*. London & New York.: Verso. 250 p.

Jameson F. 2004. The Politics of Utopia. — *New Left Review*. Vol. 25, January-

February. P. 35–54.

Jameson F. 2008. *The Ideologies of Theory*. London & New York: Verso. 679 p.

Jaspers K. 1919. *Psychologie der Weltanschauung*. Berlin: J. Springer. 454 s.

Jenkins H., Kelley W. 2015. *Reading in a participatory culture: remixing Moby-Dick in the English classroom*. New York: Teachers College Press. 221p.

Jennings, Rob and Lisa O'Malley. 2003. Motherhood, Identity and Consumption. — *European Advances in Consumer Research*. Vol. 6. Ed. Darach Turley and Stephen Brown, Provo, UT: Association for Consumer Research, 221.

Jenkins R. 2008. *Social Identity*. London, New York: Routledge. 256 p.

Jenkins R. 2010. Society and social identity. — *Encyclopedia of Identity* (ed. by R.L.II Jackson, M.A. Hogg). Thousand Oaks CA: Sage Publications. Vol. 2. P. 766–773.

Jha P.S. 2010. *India and China. The Battle between Soft and Hard Power*. New Delhi: Penguin-Viking. 398 p.

Johnson C., Coleman A. The internal other: exploring the dialectical relationship between regional exclusion and the construction of national identity. — *Annals of the association of Amer. geographers*. New York. 2012. Vol. 102. No 4. P. 863–880.

Jones L. and Sage D. New directions in critical geopolitics: an introduction. — *GeoJournal*. 2009. Vol. 75 (4). P. 315–325.

Joppke C. 2004. The retreat of multiculturalism in the liberal state: theory and policy. — *The British Journal of Sociology*. Vol. 55. No 2. P. 237–257.

Joseph J. 2004. *Language and Identity: National, Ethnic, Religious*. Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan. P. 92–125.

Joseph M., Fink J.N. 1999. Introduction. — *Performing hybridity* (ed. by M. Joseph, J.N. Fink). Minneapolis: Univ. of Minnesota Press. 258 p.

Journal of the European Institute for Communication and Culture. 2006. Vol. 13. No 3. P. 7–16

Jurgenson N., Ritzer G. 2010. Production, consumption, prosumption: The nature of capitalism in the age of the digital prosumer. — *Journal of Consumer Culture*. Vol. 10. No 1. P. 13–36.

Kateb J. 2006. *Patriotism and Other Mistakes*. New Haven & London: Yale University Press. 459 p.

Katz R., Mair P. 1995. Changing Models of Party Organization and Party Democracy. The Emergence of the Cartel Party. — *Party Politics*. No 1. P. 5–28.

Kaufmann J.-C. 2004. *L'invention de soi. Une théorie de l'identité*. Paris: Armand Colin. 347 p.

Kaufman-Osborn T. V. 2010. Political Theory as Profession and as Subfield. — *Political Research Quarterly*. Vol. 63. No 3. P. 655–673.

Keane J. 2001. Global Civil Society? — *Global Civil Society Yearbook 2001*. H. Anheier, Helmut, M. Glasius, M. Kaldor (eds.). Oxford: Oxford University Press. P. 23–47.

Kearns G. 2013. The Butler affair and the geopolitics of identity. — *Environment and Planning D: Society and Space*. Vol. 31. P. 191–207.

- Keating M. 1988. *State and Regional Nationalism: Territorial Politics and the European State*. Brighton, UK: Wheatsheaf. 236 p.
- Keating M. 1998. Is there a regional level of government in Europe? — Le Gales P. and Lequesne C. (eds.). *Regions in Europe*. London, New York: Routledge. P. 11-29.
- Keating M. 1998. *The New Regionalism in Western Europe: Territorial Restructuring and Political Change*. Cheltenham, UK: Edward Elgar. 256 p.
- Keating M. 2001. *Plurinational democracy. Stateless nations in a post-sovereignty era*. Oxford: Oxford University Press. 197 p.
- Kedourie E. 1974. Introduction. — *Nationalism in Asia and Africa* (ed. by E. Kedourie). London: Frank Cass. P. 1–152.
- Keillor B.D., Hult G.T.N. 1999. A five-country study of national identity. Implications for international marketing research and practice. — *International Marketing Review*. Vol. 16. No 1. P. 65–82.
- Kelley R. 1999. Polycultural Me. — *Utne Reader*. URL: <http://www.utne.com/politics/the-people-in-me.aspx?PageId=2> (accessed: 19.11.2015)
- Kenny M. 2004. *The Politics of Identity: Liberal Political Theory and the Dilemmas of Difference*. Cambridge: Polity Press. 212 p.
- Khashan K. 2000. *Arabs at the crossroads: Political identity and nationalism*. Gainesville: Univ. Press of Florida. 168 p.
- Killinger Ch.L. 2002. *The History of Italy*. London: Greenwood. 192 p.
- Kim-Jo T., Benet-Martínez V., Ozer D. 2010. Culture and conflict resolution styles: The role of acculturation. — *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 41. No 2. P. 264–269.
- Klingemann H., Wattenberg M. 1992. Decaying versus Developing Party Systems. — *British Journal of Political Science*. No 2. P. 131–149.
- Kochler H. 2011. *The New Social Media and the Reshaping of Communication in the 21st Century (Lecture)*. 9 th Doha Conference on Interfaith Dialogue: “Social Media and Inter-religious Dialogue: A New Relationship” URL: http://i-p-o.org/Koechler-New_Social_Media-Doha_Dialogue-Oct2011-V4.pdf (accessed 15.02.2017).
- Kohn H. 1944. *The Idea of Nationalism: A Study In Its Origins And Background*. New York: The Macmillan Company.
- Kolb R. 1991. *Confessing the Faith: Reformers Define the Church, 1530–1580*. St. Louis: Concordia Publishing. 182 p.
- Kornprobst M. 2008. *Irredentism in European politics*. Cambridge: Cambridge University Press. 301 p.
- Kotler P. 2010. The prosumer movement: A new challenge for marketers. — *Prosumer revisited. Zur Aktualität einer Debatte*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 51–60.
- Kotler P., Haider D.H., and Rein I. 1993. *Marketing Places*. New York: Free Press. 400 p.
- Krastev I. 2007. The populist moment. — *Critique & Humanism*. No 23.

- Kratochwil F. 2008. Constructivism: what it is (not) and how it matters. — *Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist Perspective* (ed. by D. della Porta, M. Keating). 2008. Cambridge, Cambridge University Press. P. 80–88.
- Kriesi H. 2014. The Populist Challenge. — *West European Politics*. Vol. 37. No 2. P. 361–378.
- Kroeber A.L., Kluckhohn C. 1952. *Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions*. New York: Vintage Books. 448 p.
- Kroger J., Marcia J.E. 2011. The Identity Statuses: Origins, Meanings, and Interpretations. — *Handbook of Identity. Theory and Research* (ed. by S.J. Schwartz, K. Luyckx, V.L. Vignoles). Springer Science+Business Media, LLC. P. 31–54.
- Kronenberg V. 2006. *Patriotismus in Deutschland: Perspektiven für eine weltoffene Nation*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 418 s.
- Kuus M. 2004. Europe's eastern expansion and the reinscription of otherness in East-Central Europe. — *Progress in Human Geography*. Vol. 28. No 4. P. 472–489.
- Kymlicka W. 1989. *Liberalism, Community, and Culture*. Oxford: Clarendon Press. 280 p.
- Kymlicka W. 1995. *Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Clarendon Press. 296 p.
- Kymlicka W. 1998. *Finding Our Way: Rethinking Ethnocultural Relations in Canada*. Oxford: Oxford University Press. 232 p.
- Kymlicka W. 2001. *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, Citizenship*. Oxford: Oxford University Press. 392 p.
- Kymlicka W. 2002. *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. 512 p.
- Kymlicka W. 2007. *Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity*. Oxford: Oxford University Press. 384 p.
- Laffan B. 2004. The European Union and its Institutions as «Identity Builders». — *Transnational Identities: Becoming European in the EU* (ed. by R.K. Hermann, T. Risse, M.B. Brewer). Lanham, MD: Rowman & Littlefield. P. 75–96.
- Laine J. 2013. *New Civic Neighborhood: Cross-border Cooperation and Civil Society Engagement at the Finnish-Russian Border*. Joensuu: University of Eastern Finland.
- Laing A.F. 2015. *Territory, resistance and struggles for the plurinational state: the spatial politics of the TIPNIS Conflict*. PhD thesis. 344 p. URL: <http://theses.gla.ac.uk/5974/> (accessed: 01.06.2016)
- Lalli M. 1988. Urban identity. — *Environmental social psychology* (Canter D. et al. eds.). New York: Springer Science & Business Media. P. 303–311.
- Lalli M. 1992. Urban-related identity: Theory, measurement, and empirical findings. — *Journal of environmental psychology*. Vol. 12. No 4. P. 285–303.
- Laplantine F., Nouss A. 2008. *Le métissage*. Paris: Thériaède. 116 p.
- Lareau A. 2000. My Wife Can Tell Me Who I Know: Methodological and Conceptual Problems in Studying Fathers. — *Qualitative Sociology*. Vol. 23. No 4. P. 407–433.
- Larson R. and Richards M.H. 1995. *Divergent Realities: The Emotional Lives of Mothers, Fathers, and Adolescents*. New York: Basic Books. 348 p.

- Lash S., Urry J. 1987. *The End of Organized Capitalism*. Madison, Oxford, Cambridge: The University of Wisconsin Press; Polity Press. 383 p.
- Latin D. 1998. *Identity in Formation. The Russian-Speaking Population in the Near Abroad*. Ithaca and London: Cornell University Press. 417 p.
- Latin American Identity and Construction of Difference* (ed. by A. Chanady). 1994. London, Minneapolis: University of Minnesota Press. 304 p.
- Le Bon G. 1905. *La Psychologie des Foules*. Paris: Edition Felix Alcan. 192 p.
- Le Goff J. 1980. *Time, work & culture in the Middle Ages*. Chicago: University of Chicago Press. 384 p.
- Le Goff J. (Ed.). 1985. *Constructing the Past: Essays in Historical Methodology*. Cambridge: Cambridge University Press. 224 p.
- Le Goff J. 1992. *The medieval imagination*. Chicago: University of Chicago Press. 293 p.
- Leadbeater C., Miller P. 2004. *The Pro-Am revolution: How enthusiasts are changing our economy and society*. London: Demos. 74 p.
- Leary M. 2002. The Self as a Source of Relational Difficulties. — *Self and Identity*. Vol. 1. No 2. P. 137–142.
- Leary M. 2004. What Is the Self? A Plea for Clarity Editorial. — *Self and Identity*. Vol. 3. No 1–3. P. 1.
- Lefebvre H. 1991. *The production of space*. Oxford: Blackwell. 464 p.
- Leiserson A. 1958. *Parties and Politics. An Institutional and Behavioral Approach*. New York: A. Knopf. 379 p.
- Lembruch G. 1977. Liberal Corporatism and Party Government. — *Comparative Political Studies*. No 10. P. 91–126.
- Les Lieux de memoire* (Sous la direction de P. Nora). Tome 3. *De l'Archive à l'Emblème. Iconographie importante*. 1997. Paris: Gallimard. 1736 p.
- Levinson M.P. and Sparkes A.C. 2004. Gypsy Identity and Orientations to Space. — *Journal of Contemporary Ethnography*. Vol. 33. No 6. P. 704–734.
- Lewis B. 1988. *The Political Language of Islam*. Chicago, London: The University of Chicago Press. 168 p.
- Lienesch M. 2007. *In the beginning: Fundamentalism, the Scopes trial, and the making of the antievolution movement*. Chapel Hill NC, University of North Carolina Press. 338 p.
- Lieven D. 2000. *Empire. The Russian Empire and Its Rivals*. New York, London: Yale University Press. 486 p.
- Lifton R.J. 1993. *The Protean Self. Human Resilience in an Age of Fragmentation*. New York: Basic Books. 272 p.
- Light A. 2000. What is an ecological identity? — *Environmental Politics*. Vol. 9 (4). P. 59–81.
- Linz J.J. 1973. Early state building and late peripheral nationalism against the state: the case of Spain. — *Building states and nations* (ed. by S.N. Eisenstadt and S. Rokkan). Beverly Hills, London: Sage. P. 32–116.
- Lipiansky E., Taboada-Leonetti I., Vasquez A. 1990. Introduction à la problématique de l'identité. — *Camilleri C. et al. Stratégies identitaires*. Paris: PUF. P. 7–26.

- Lipovetsky G., Charles S. 2005. *Hypermodern times. Themes for the 21st century*. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity. 150 p.
- Lipset S.M. 1960. *Political Man: The Social Basis of Politics*. Garden City, NY: Doubleday & Company. 442 p.
- Lipset S.M. 1990. *Continental Divide: The Values and Institutions of the United States and Canada*. New York: Routledge. 352 p.
- Lipset S.M., Rokkan S. 1967. Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments. — *Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives* (ed. by S.M. Lipset, S. Rokkan). 1967. New York: Free Press; London: Macmillan. P. 1–64.
- Longley P.A. 2009. Digital biography: capturing lives online. — *a|b: Auto|Biography Studies*. Vol. 24. No 1. P. 74–92.
- Lovejoy A.O., Boas G. 1935. *Primitivism and Related Ideas in Antiquity*. Baltimore: John Hopkins Press. 482 p.
- Lucarelli S., Cerutti F., Schmidt V.A. 2010. *Debating Political Identity and Legitimacy in the European Union*. London: Routledge. 214 p.
- Luciuk L., Hryniuk S. (eds.). 1991. *Canada's Ukrainians: Negotiating an Identity*. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies. 510 p.
- Luhmann N. 1984. *Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 674 s.
- Luhmann N. 2004. *Die Realität der Massenmedien*. Sozialwissenschaften. Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH. 222 s.
- Lutkehaus N. C. 2008. *Margaret Mead: The Making of an American Icon*. Princeton: Princeton University Press. 392 p.
- Luyckx K., Goossens L., Soenens B., Beyers W. 2006. Unpacking commitment and exploration: Preliminary investigation of an integrative model of late adolescent identity formation. — *Journal of Adolescence*. Vol. 29. No 3. P. 361–378.
- Lynch J. 1987. The Origins of Spanish American Independence. — *The Independence of Latin America* (ed. by L. Bethell). Cambridge: Cambridge University Press. P. 1–48.
- Lynch K. 1960. *The Image of the City*. Massachusetts: The MIT Press. 194 p.
- Lynette G.M. 2007. *Panhellenism and the Barbarian in Archaic and Classical Greece*. Swansea: The Classical Press of Wales. 262 p.
- Lyotard J.-F. 1979. *La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir*. Paris: Éditions de Minuit. 128 p.
- MacIntyre A. 1991. "Letter". — *The Responsive Community*. Vol. 1. No 3. Summer 1991. P. 91–92.
- MacIntyre A. 1981. *After Virtue: A Study in Moral Theory*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press. 286 p.
- Mackenzie W.J.M. 1978. *Political Identity*. Manchester: Manchester University Press. 185 p.
- Madrid R.L. 2008. The Rise of Ethnopolitism in Latin America. — *World Politics*. Vol. 60. No 3. P. 475–508.
- Mahler S.J. 1998. Theoretical and empirical contribution toward a research agenda for transnationalism. — *Transnationalism from below* (ed. by L.E. Guarnizo

- and M.P. Smith). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. P. 64–100.
- Mapping the Nation* (ed. by G. Balakrishnan). 1996.). London: Verso. 457 p.
- Margulies W. 1977. Make the most of your corporate identity. — *Harvard Business Review*. July-Aug. P. 66–72.
- Marcia J.E. 1966. Development and validation of ego identity status. — *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 3. P. 551–558.
- Marías J. 1985. *España ininteligible: Razón histórica de las Españas*. Madrid. P. 58–60.
- Marié M. 1982. *Un territoire sans nom, pour une approche des sociétés locales*. Paris: Librairie des Méridiens. 176 p.
- Marks G. 1999. Territorial Identities in the European Union. — Anderson J. (ed.). *Regional Integration and Democracy*. New York: Rowman & Littlefield/ P. 69–91.
- Marks G. 1999. Territorial Identities in the European Union. — Anderson J. *Regional Integration and Democracy*. New York: Rowman & Littlefield. P. 69–91
- Marsh D., Smith M.J. 2000. Understanding Policy Networks: towards a Dialectical Approach. — *Political Studies*. Vol. 48. No 1. P. 4–21.
- Marty M.E. 1992. Fundamentals of fundamentalism. — *Fundamentalism in comparative perspective* (ed. by L. Kaplan). Amherst: University of Massachusetts Press. P. 15–23.
- Mason A. 2000. *Community, Solidarity, and Belonging: Levels of Community and their Normative Significance*. Cambridge: Cambridge University Press. 246 p.
- Mazzoleni G. 2003. The Media and the Growth of Neo-Populism in Contemporary Democracies. — G. Mazzoleni, J. Stewart and B. Horsfield (eds.). *The Media and Neo-Populism*. London: Praeger. P. 1–20.
- McDonagh K. 2015. “Talking the talk or walking the walk”: Understanding the EU's security identity. — *Journal of common market studies*. Vol. 53. No 3. P. 627–641.
- McLeod J. 2000. *Beginning postcolonialism*. Manchester: Manchester Univ. Press. 264 p.
- McVeigh R. 1999. Theorizing sedentarism: the roots of anti-nomadism. — *Romani Culture and Gypsy Identity*. (T. Acton and G. Mundy eds.). Hatfield: University of Hertfordshire Press. P. 7–25.
- Mead G.H. 1934. *Mind, Self and Society*. Chicago: University of Chicago Press. 439 p.
- Mead M. 1928. *Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilisation*. New York: William Morrow & Company. 297 p.
- Mead M. 1949. *Male and Female: A Study of the Sexes in a Changing World*. New York: William Morrow and Company. 477 p.
- Mead M. 1951. *Soviet Attitudes Toward Authority: An Interdisciplinary Approach to Problems of Soviet Character*. New York: McGraw-Hill. 168 p.
- Mead M. 2004. *Studying Contemporary Western Society: Method and Theory*. New York: Berghahn Books. 304 p.
- Meadows D., Meadows Donella H., Randers J., Behrens III William W. 1972. *Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind*. New York: Universe Books. 205 p.

- Measuring Identity. Guide for Social Scientists* (ed. by R. Ardelal, Y.M. Herrera, A.I. Johnston, R. McDermott). 2009. Cambridge: Cambridge University Press. 428 p.
- Meer N. 2014. *Key concepts on Race and Ethnicity*. London: Sage. 176 p.
- Mehmet O. 1990. *Islamic Identity and Development: Studies of the Islamic Periphery*. New York: Routledge. 272 p.
- Meisel J. 1958. *The Myth of the Ruling Class: Gaetano Mosca and the Elite*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. 432 p.
- Melanson Ph. H. 1972. The Political Science Profession, Political Knowledge and Public Policy. — *Politics & Society*. Vol. 2 No 4. Summer. P. 489–501.
- Melucci A. 1989. *Nomads of the Present: Social Movement and Individual Needs in Contemporary Society*. Philadelphia: Temple University Press. 288 p.
- Melucci A. 1995. The Process of Collective Identity. — *Social Movements and Culture* (ed. by H. Johnston B. Klandermans). Minneapolis: University of Minnesota Press. P. 41–63.
- Melucci A. 1996. *Challenging Codes: Collective Action in the Information Age*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 441 p.
- Mény Y. and Surel Y. 2002. The Constitutive Ambiguity of Populism. — *Democracies and the Populist Challenge* (Y. Mény and Y. Surel eds.). New York: Palgrave Macmillan. P. 1–17.
- Milbrath L.W. 1984. *Environmentalists: Vanguard for a New Society*. Albany, NY: State University of New York Press. 202 p.
- Mill J.S. 1972. *On Liberty, Utilitarianism, and Considerations on Representative Government*. London: J.M. Dent & Sons. 113 p.
- Miller D. 1995. *On Nationality*. Oxford, UK: Oxford University Press. 224 p.
- Miller D. 2000. *Citizenship and National Identity*. Cambridge, UK: Polity Press. 224 p.
- Mishal S., Goldberg O. 2014. *Understanding Shiite Leadership: The Art of the Middle Ground in Iran and Lebanon*. New York: Cambridge University Press. 155 p.
- Modood T. 2007. *Multiculturalism: A Civic Idea*. Cambridge: Polity Press. 193 p.
- Moghaddam F.M. 2012. The Omnicultural Imperative. — *Culture & Psychology*. Vol. 18. No 3. P. 304–330.
- Moisio R., Arnould E.J., and Price L.L. 2004. Between Mothers and Markets. — *Journal of Consumer Culture*. Vol. 4. No 3. P. 361–384.
- Moloney K. 2006. *Rethinking Public Relations: PR Propaganda and Democracy*. Routledge. 248 p.
- Morgan G. 2006. *Images of organization*. London: Sage. 520 p.
- Morin E. 1991. *Les idées (La Méthode, t. 4)*. Paris: Seuil. 261 p.
- Morozov E. 2011. *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom*. New York: Public Affairs. 428 p.
- Morozov V., Rumelili B. 2012. The external constitution of European identity: Russia and Turkey as Europe-makers. — *Cooperation and conflict*. Vol. 47. No 1. P. 28–48.
- Morozova E.V., Miroshnichenko I.V. 2015. Crowdsourcing in Public Policy: Technologies, Subjects and its Socio-Political Role. — *Asian social sciences*. Vol. 11.

No 7. P. 11–121.

Morris S.D. 1999. Reforming the nation: Mexican nationalism in the context. — *Latin American studies*. Cambridge. Vol. 31. P. 363–397.

Mostov J. 2007. Soft borders and transnational citizens. — Benhabib S., Shapiro I. and Petranovich D. (eds.). *Identities, Affiliations and Allegiances*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 136–158.

Mouffe Ch. 2000. Politics and Passions: the Stakes of Democracy (Centre for the Study of Democracy, University of Westminster, London). — *Ethical Perspectives*. Vol. 7. No 2–3. P. 146–150. URL: <http://www.ethical-perspectives.be/viewpic.php?TABLE=EP&ID=139> (accessed: 15.02.2017)

Mouffe Ch. 2005a. *On the Political. Thinking in Action*. London: Routledge. 144 p.

Mouffe Ch. 2005b. The “End of Politics” and the Challenge of Right-wing Populism. — *Populism and the Mirror of Democracy* (ed. by F. Panizza). London, Verso. P. 50–72.

Mucchielli A. 1986. *L'identité*. Paris: PUF. 127 p.

Mudde C. 2004. The Populist Zeitgeist. — *Government and Opposition*. Vol. 39. No 4. P. 541–563.

Mudde C. and Kaltwasser C.R. 2013. Exclusionary vs. Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe and Latin America. — *Government and Opposition*. Vol. 48. No 2. P. 147–174.

Mudde C. 2010. The Populist Radical Right: A Pathological Normalcy. — *West European Politics*. Vol. 33. No 6. P. 1167–1186.

Mulhall S., Swift A. 1996. *Liberals and Communitarians*. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing. 363 p.

Multilevel Citizenship (ed. by M. Willem). 2013. Philadelphia PA, University of Pennsylvania Press. 288 p.

Myers T. 2003. *Slavoj Žižek*. (Routledge Critical Thinkers.) London & New York: Routledge. 160 p.

Myrdal G. 1944. *An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy*. New York: Harper & Bros. 1483 p.

Naess A. 1989. *Ecology, Community and Lifestyle*. Cambridge: Cambridge University Press. 223 p.

Neumann I. 1996. *Russia and the Idea of Europe: A Study in Identity and International Relations*. London: Routledge. 253 p.

Neumann I. 1999. *Uses of the Other. The “East” in European Identity Formation*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, Borderline Series.

Neumann I. (co-authored with O.J. Sending). 2010. *Governing the Global Polity: Practice, Mentality, Rationality*. Ann Arbor, University of Michigan Press. 281 p.

Neumann I.B. 1999. *Uses of the other. “The East” in European identity formation*. Manchester: Manchester University Press. xv. 281 p.

Nicolaïdis K. 2003. Our European Demoi-crazy: Is this Constitution a Third Way for Europe? — *Whose Europe? National Models and the Constitution of the European Union. European Studies at Oxford Series* (ed. by K. Nikolaidis, S. Weatherill).

- Oxford: Oxford University Press. 154 p.
- Nielsen G. 1995. Bakhtin and Habermas: Toward a Transcultural Ethics. — *Theory and Society*. Vol. 24. No 6. P. 803–835.
- Nolte E. 1963. *Der Faschismus in seiner Epoche — Action Française — Italienischer Faschismus — Nationalsozialismus*. München: Piper. 633 s.
- Nordhaus T., Shellenberger M. 2007. *Break Through: From the death of environmentalism to the politics of possibility*. Boston: Houghton Mifflin. 344 p.
- Norman W. 2006. *Negotiating nationalism: nation-building, federalism, and secession in the multinational state*. Oxford: Oxford University Press. 250 p.
- Norris P., Inglehart R. 2004. *Sacred and Secular. Religion and Politics worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press. 304 p.
- Norton A. 1988. *Reflections on Political Identity*. Baltimore: John Hopkins University 209 p.
- Nye J. 1990. Soft Power. — *Foreign Policy*. No 80. P. 153–171.
- Nye J. 2006. Think again: soft power. — *Foreign policy*. Available at: <http://foreignpolicy.com/2006/02/23/think-again-soft-power>.
- Nye J. 2009. Get Smart. — *Foreign Affairs*. July/August. P. 160–163.
- Ó Tuathail G. Theorizing practical geopolitical reasoning: the case of U.S. Bosnia policy in 1992. — *Political Geography*. 2002. Vol. 21 (5). P. 601–628.
- O’Leary B. 1998. Ernest Gellner's diagnoses of nationalism: a critical overview, or what is living and what is dead in Ernest Gellner’s philosophy of nationalism? — *The State of the nation. Ernest Gellner and the Theory of Nationalism* (ed. by J.A. Hall). Cambridge: Cambridge University Press. P. 40–88.
- O’Loughlin J. 2001. Geopolitical visions of Central Europe. — *Europe between Political Geography and Geopolitics* (M.-P. Pagnini, V. Kolossov and M. Antonsich eds.). Roma: Società Geografica Italiana. P. 607–625.
- Okely J. 1983. *The Traveller-Gypsies*. Cambridge: Cambridge University Press. 260 p.
- Okely J. 2003. Deterritorialized and Spatially Unbounded Cultures within Other Regimes. — *Anthropological Quarterly*. Vol. 76. No 1. P. 151–164.
- Olins W. 1995. *The New Guide to Identity: How to Create and Sustain Change Through Managing Identity*. London: Gower Pub. Co. 110 p.
- O’Loughlin J., Ó Tuathail G., and Kolossov V. 2006. The Geopolitical Orientations of Ordinary Russians: A Public Opinion Analysis. — *Eurasian Geography and Economics*. Vol. 47 (2). P. 129–152.
- Orrige A.W. 1982. Separatist and Autonomist Nationalisms: The Structure of Regional Loyalties in the Modern State — *National Separatism* (ed. by C. Williams). Cardiff: University of Wales Press. P. 43–74.
- Ortega y Gasset H. 1998. *La rebelion de las masas*. Madrid: Editorial Castalia. 375 p.
- Ortiz F. 1995. *Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar*. Durham, London: Duke University Press, Trans. Harriet de Onís. 312 p.
- Ostrom E. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. New York: Cambridge University Press. 298 p.

Otto R. 1991. *Das Heilige: Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen*. München: Beck. VIII. 229 s.

Owen A., Videras J., Wu S. 2010. Identity and environmentalism: the influence of community characteristics. — *Review of Social Economy*. Vol. 68. No 4. P. 465–486.

Oxford Handbook of Identity Development (ed. by K. McLean, M. Syed). 2014. Oxford: Oxford University Press. 624 p.

Paasi A. 2003. Region and place: regional identity in question. — *Progress in Human Geography*. Vol. 27. No 4. P. 475–485

Palfrey J., Gasser U. 2008. *Born Digital. Understanding the first generation of digital natives*. New York. 375 p.

Parekh B. 1989. *Colonialism, Tradition and Reform: An Analysis of Gandhi's Political Discourse*. New Delhi: Sage Publications. 288 pp.

Parekh B. 2000. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Houndmills, London: Macmillan Press. 379 p.

Parekh B. 2000. *The Future of Multi-Ethnic Britain: Report of the Commission on the Future of Multi-Ethnic Britain*. London: Profile Books. 444 p.

Parekh B. 2007. *Europe and the Muslim Question: Does Intercultural Dialogue Make Sense?* (ISIM Papers). Amsterdam: Amsterdam University Press. 40 pp.

Parekh B. 2008. *A New Politics of Identity: Political Principles for an Interdependent World*. New York; London: Palgrave MacMillan. 320 p.

Parfit D. 1984. *Reasons and Persons*. Oxford: Clarendon Press. 543 p.

Parry M. 2003. Transcultured Selves under Scrutiny: W(h)ither languages? — *Language and Intercultural Communication*. Vol 3. No 2. P. 101–107.

Parsons T. 1949. *The Structure of Social Action*. Glencoe: The Free Press. 817 p.

Parsons T. 1965. *Social Structure and Personality*. New York: The Free Press. 380 p.

Parsons T. 2005. *The Social System*. London: Routledge. 404 p.

Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives (ed. by S.M. Lipset, S. Rokkan). 1967. New York: Free Press; London: Macmillan. 554 p.

Pasquino G. 1997. *Corso di scienza politica*. Bologna: Il Mulino. 276 p.

Pasquino G. 2009. *Nuovo corso di scienza politica*. Bologna: Il Mulino. 384 p.

Pawlusz E. & Seliverstova O. 2016. Everyday Nation-Building in the Post-Soviet Space. Methodological Reflections. — *Studies of Transition States and Societies*. Vol. 8. No 1. P. 69–86.

Performing the Past. Memory, History and Identity in Modern Europe (ed. by K. Tilmans, F. Van Vree, and J.M. Miller). 2010. Amsterdam: Amsterdam University Press. 368 p.

Perkins H. 1989. *The Rise of Professional Society. England since 1880*. London and New York: Routledge. 604 p.

Perkins H. 1996. *The Third Revolution: Professional Elites in the Modern World*. London & New York: Routledge. 272 p.

Perry J. 1978. *A Dialogue on Personal Identity and Immortality*. Indianapolis: Hackett Publishing. 56 p.

Petersoo P. 2007. Reconsidering otherness: constructing Estonian identity. — *Nations and nationalism*. Vol. 13. No 1. P. 117–133.

Pieterse J.N. 1997. Deconstructing/reconstructing ethnicity. — *Nations and Nationalism*. Vol 3. No 3. P. 365–395.

Pieterse J.N. 2009. *Globalization and culture: Global mélange*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 183 p.

Piketty T. *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard Ma.: Harvard University Press. 2014. 696 p.

Pingle V., Varshney A. 2006. India's Identity Politics: Then and Now. — *Managing Globalization: Lessons from China and India* (eds. by D.A. Kelly, R.S. Rajan, G.H.L. Goh). Singapore: World Scientific Book Corporation on behalf of the Lee Kuan Yew School of Public Policy. P. 353–385.

Place and the Politics of Identity (ed. by M. Keith and S. Pile). 1993. New York: Routledge Press. 235 p.

Pol E. 2002. The theoretical background of the city-identity-sustainability network. — *Environment and Behavior*. Vol. 34. No 1. P. 8–25.

Pol E., Castrechini A. 2002. City-Identity-Sustainability Research Network Final Words. — *Environment and behavior*. Vol. 34. No 1. P. 150–160.

Pol E., Moreno E., Guàrdia J. 2002. Identity, Quality of Life, and Sustainability in an Urban Suburb of Barcelona Adjustment to the City-Identity-Sustainability Network Structural Model. — *Environment and behavior*. Vol. 34. No 1. P. 67–80

Polanyi K. 1944. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press. 317 p.

Political Culture and Democracy in Developing Countries. (ed. by L. Diamond). 1993. Boulder Co: Lynne Reiner Pub. 263 p.

Political Parties: Development and Decay (ed. by L. Maisel, J. Cooper). 1978. London: SAGE Publications. 344 p.

Pollock D., Van Reken R. 2009. *Third culture kids: The experience of growing up among worlds*. Boston: Nicholas Brealey. 306 p.

Pomian K. 2010. Patrimoine et identité nationale. — *Le Débat*. No 159. P. 45–46.

Populism and the Mirror of Democracy (ed. by F. Panizza). 2005. London: Verso. 368 p.

Populism: Its Meanings and National Characteristic (ed. by G. Ionescu G. and E. Gellner E.). 1969. New York: Macmillan Co. 263 p.

Potts J. 2008. Economic evolution, identity dynamics and cultural science. — *Cultural Science Journal*. Vol. 1. No 2. Эл. издание. Доступ: <http://cultural-science.org/journal/index.php/culturalscience/article/view/16/54> (accessed 19.03.2016).

Prashad V. 2003. Bruce Lee and the anti-imperialism of Kung Fu: A polycultural adventure. — *Positions: East Asia Cultures Critique*. Vol. 11. No 1. P. 51–89.

Priest S. 1991. *Theories of the Mind*. London: Penguin Books. 256 p.

Professions in Theory and History. Rethinking the Study of the Professions (ed. by M. Burrage, R. L. Torstendahl). 1990. London: Sage. 248 p.

Proshansky H. M., Fabian A. K., Kaminoff R. 1983. Place-identity: Physical world socialization of the self. — *Journal of environmental psychology*. Vol. 3. No 1. P. 57–83.

- Proshansky H.M. 1978. The city and self-identity. — *Environment and behavior*. Vol. 10. No 2. P. 147–169
- Prozorov S. 2011. The other as past and present: beyond the logic of “temporal othering” in IR theory. — *Review of international studies*. Vol. 37. No 3. P. 1273–1293.
- Przeworsky A. 1977. Proletariat into a Class: The Process of Class Formation from Karl Kautsky’s “The Class Struggle” to Recent Controversies. — *Politics and Society*. Vol. 7. N° 4. P. 343–401.
- Pu Muzhou. 2005. *Enemies of Civilization: Attitudes toward Foreigners in Ancient Mesopotamia, Egypt, and China*. Albany: SUNY Press. 211 p.
- Putnam R. 2000. *Bowling Alone. The collapse and revival of American community*. New York: Simon and Schuster. 541 p.
- Putnam R.D., Feldstein L.M. and Cohen D. 2003. *Better Together: Restoring the American Community*. New York: Simon & Schuster. 310 p.
- Pye L. 1962. *Politics, Personality, and Nation Building. Burma’s search for identity*. New Haven, Conn.: Yale University Press. 307 p.
- Questioning Identity: Class, Gender, Ethnicity* (ed. by K. Woodward). London: Routledge, The Open University. 2000. 192 p.
- Questioning Identity: Class, Gender, Nation* (ed. by K. Woodward). London: Routledge, The Open University. 2000. 166 p.
- Questions of Cultural Identity* (ed. by S. Hall, P. Du Gay). 1996. London: Sage Publications. 208 p.
- Quijano A. 2003. Colonialidad del poder eurocentrismo y América Latina. — Lander E. (comp.). *La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO. P. 201–242.
- Quinton A. 1962. The Soul. — *The Journal of Philosophy*. Vol. 59. No 15. P. 393–409.
- Raagmaa G. 2002. Regional Identity in Regional Development and Planning. — *European Planning Studies*. Vol. 10, No 1. P. 55–76
- Racial and Ethnic Relations in America (ed. by S.D. McLemore, H.D. Romo). 1998. Boston: Allyn & Bacon. 511 p.
- Racial identity theory: applications to individual, group, and organizational interventions* (Ch.E. Thompson and R.T. Carter eds.). 1997. Mahwah (NJ, USA): Lawrence Erlbaum Associates. 280 p.
- Rae H. 2002. *State Identities and the Homogenization of People*. Cambridge: Cambridge University Press. 351 p.
- Rakšnys A.V., Guogis A., Minkevičius A. 2015. The problem of reconciliation of new public governance and postmodernism: The conditions of returning to communitarianism. — *Trames*. Vol. 19. No 4. P. 333–353.
- Rapp F. 2007. *Svatá říše římská národa německého*. Praha-Litomyšl: Paseka. 316 s.
- Rawls J. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press. 607 p.
- Reading Ricoeur* (ed. by D.M. Kaplan). 2008. Albany, SUNY Press. 166 p.
- Reagan C. E. 1996 *Paul Ricœur: His Life and Work*. Chicago: University of Chicago Press. 512 p.

Rediscovering Social Identity: Core Sources (T. Postmes and N.R. Brandscombe eds.). New York: Psychology Press, 2010. 424 p.

Regarding Tilly: Conflict, Power and Collective Action. 2016 (ed. by M.J. Funes). Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK: University Press of America. 312 p

Regional Distribution of Christians. A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population. 2011. — *Pew Research Center. Religion & Public Life*. 19.11. URL: <http://www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-regions/#africa> (accessed 15.02.2017).

Rehfeld A. 2010. Offensive Political Theory. — *Perspectives on Politics*. Vol. 8. No 2. P. 465–486.

Renan E. 1991. Qu'est qu'une nation? (Conférence prononcée le 11 mars 1882 à la Sorbonne). — *Qu'est-ce qu'une nation? Texte intégral de Ernest Renan (sous la direction de Ph. Forest)*. Paris: Pierre Bordas et fils. P. 44–52.

Resources on Islam and Christianity in Sub-Saharan Africa. 2011. — *Pew Research Center. Religion & Public Life*. 17.02. URL: <http://www.pewforum.org/Resources-on-Islam-and-Christianity-in-Sub-Saharan-Africa.aspx> (accessed 15.02.2017).

Rethinking Progress: Movements, Forces and Ideas at the End of the 20th Century (ed. by P. Sztompka, J. C. Alexander). 1990. Boston: Unwin Hyman. 284 p.

Revealing the Corporation: Perspectives on identity, image, reputation, corporate branding, and corporate-level marketing. An anthology. (J.M.T. Balmer & S A. Greyser eds). 2003 London and New York: Routledge. 365 p.

Rheingold H. 2000. *The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier*. Cambridge: MIT Press. 447 p.

Ricœur P. 2013. *Lectures: La contrée des philosophes*. Paris: Seuil. 495 p.

Ricœur P. 1990. *Soi-même comme un autre*. Paris: Éditions du Seuil. 425 p.

Riesman D. (with N. Glazer and R. Denney). 1950. *The Lonely Crowd: A Study of the Changing American Character*. New Haven: Yale University Press. 386 p.

Riesman D., Lipset S.M., Lowenthal L., Mead M. 1961. *Culture and Social Character*. New York: Free Press of Glencoe. 466 p.

Risse T. 2010. *A Community of Europeans? Transnational Identities and Public Spheres*. Ithaca: Cornell University Press. 304 p.

Ritzer G. 2010. *Globalization. The Essentials. The Atrium Southern Gate*. Chichester, West Sussex, Wiley-Blackwell. 356 p.

Ritzer G. 2014. Prosumption: Evolution, revolution, or eternal return of the same? — *Journal of Consumer Culture*. Vol. 14. No 1. P. 3–24.

Roberts M. 1991. *Living in a man-made world: gender assumptions in modern housing design*. London: Routledge. 192 p.

Robertson R. 1995. Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity. — *Global Modernities* (ed. by M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson). London: Sage. P. 25–44.

Robertson R., Chirico J. Humanity, 1985. Globalization, and Worldwide Religious Resurgence: a Theoretical Exploration. — *Sociological Analysis*. Vol. 46.

No 3. P. 219–242.

Rokkan S., Urwin D. 1983. *The Politics of Territorial Identity: studies in European regionalism*. London: Sage. 438 p.

Rokkan S., Urwin D.W. 1983. *Economy, Territory, Identity: Politics of West European Peripheries*. London: Sage Publications. 217 p.

Rooduijn M., et al. 2014. A populist Zeitgeist? Programmatic contagion by populist parties in Western Europe. — *Party Politics*. Vol. 20. No 4. P. 563–575.

Rose N. 1998. *Inventing Our Selves. Psychology, Power, and Personhood*. Cambridge: Cambridge University Press. 222 p.

Rosenthal E. 1962. *Political Thought in Medieval Islam*. Cambridge: Cambridge University Press. 222 p.

Roszak T. 1973. *Where the wasteland ends: Politics and transcendence in postindustrial society*. New York: Doubleday & Company. 451 p.

Rothman J. 1997. *Resolving Identity-Based Conflict: In Nations, Organizations, and Communities*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 316 p.

Rothman J., Alberstein M. 2013. Individuals, Groups and Intergroups: Theorizing About the Role of Identity in Conflict and its Creative Engagement. — *Ohio State Journal on Dispute Resolution*. Vol. 28. No 3. P. 631–657.

Routledge Handbook of Identity Studies (ed. by A. Elliott). 2011. Abingdon, Oxon, New York: Routledge. 408 p.

Rowden M. 2000. *The Art of Identity: Creating and Managing a Successful Corporate Identity*. London: Gower Pub Co. 214 p.

Roxburgh S. 2006. I Wish We Had More Time to Spend Together. — *Journal of Family Issues*. No 27 (4). 529–53.

Roy O. 2012. The Transformation of the Arab World. — *Journal of Democracy*. Vol. 23. No 3. P. 5–18.

Rudling P.A. 2011. Multiculturalism, memory, and ritualization: Ukrainian nationalist monuments in Edmonton, Alberta. — *Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity*. Vol. 39. No 5. P. 733–768.

Rumelili B. 2004. Constructing identity and relating to difference: Understanding the EU's mode of differentiation. — *Review of international studies*. Vol. 30. No 1. P. 27–47.

Rusen J. 2007. How to make sense of the past — salient issues of Metahistory. — *The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa*. Vol. 3. No 1. P. 169–221.

Sachs W. 1993. *Global Ecology: A New Arena of Political Conflict*. London: Zed Books. 320 p.

Safran W. 1991. Diaspora in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. — *Diaspora*. Vol. 1. No 1. P. 83–99.

Safran W. 1999. Nationalism. — *Handbook of Language & Ethnic Identity* (ed. by J. Fishman). New York; Oxford: Oxford University Press. P. 77–93.

Sahlins P. 1989. *Boundaries: The Making of France and Spain in the Pyrenees*. Berkeley: University of California Press. 351 p.

Said E.W. 1979. *Orientalism*. New York: Vintage books. xi. 394 p.

- Salter C.L. 1971. *The Cultural Landscape*. Belmont, Ca.: Duxbury Press. 281 p.
- Samarkina I.V. 2013. Political world view in the context of political socialization theory: cross-temporal and cross-regional comparisons. — *Citizens and Leaders in a Comparative Perspective: What can political psychology tell us about recent trends and events?* (ed. by E. Shestopal). Moscow: Moscow University Press. P. 44–55.
- Sandel M. 1998. *Liberalism and the Limits of Justice*. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press. 231 p.
- Sanders D., Toka G. 2013. Is anyone listening? Mass and elite opinion cueing in the EU. — *Electoral Studies*. Vol. 32. No 1. P. 13–25.
- Sanders D., Bellucci P., Toka G., Torcal M. 2012. Conceptualizing and Measuring European Citizenship and Engagement. — *The Europeanization of National Politics? Citizenship and Support in a Post-Enlargement Union* (ed. by D. Sanders, P. Bellucci, G. Toka, M. Torcal). Oxford: Oxford University Press. P. 17–38
- Sartori G. 1997. *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives, and Outcomes*. Basingstoke: Macmillan. 217 p.
- Sartori G. 2000. *Pluralismo, multiculturalismo e estranei. Saggio sulla società multi-etnica*. Milano: Rizzoli. 126 p.
- Sartre J.-P. 1976 [1943]. *L'Être et le néant*. Paris: Gallimard. 722 p.
- Sassen S. 2008. Two Stops in Today's New Global Geographies Shaping Novel Labor Supplies and Employment Regimes. — *American Behavioral Scientist*. Vol. 52. No 3. P. 457–496.
- Sauer K. 1925. Morphology of Landscape. University of California. — *Publications in Geography*. No 2. P. 19–53.
- Savage M. 2000. *Class Analysis and Social Transformation*. Open University. 185 p.
- Scharpf F.W. 1991. *Crisis and Choice in European Social Democracy*. Ithaca, NY: Cornell University Press. 320 p.
- Scheler M. 1960. *Wissensformen und die Gesellschaft*. 2 Aufl. Bern-München: Francke. 536 S.
- Schimmelfennig F., Sedelmeier U. 2004. Governance by Conditionality: EU Rule Transfer to the Candidate Countries of Central and Eastern Europe. — *Journal of European Public Policy*. Vol. 11. No 4. P. 669–687.
- Schlesinger A. 1998. *The Disuniting of America. Reflections on a Multicultural Society*. New York, London: W.W. Norton & Co. 208 p.
- Schluetter O. 1920. Die Erdkunde in ihrem Verhaeltnis zu den Natur- und Geisteswissenschaften. — *Geographische Anzeiger*. Bd. 21. S. 145–152, 213–218.
- Schultz M., Hatch M.J., & Larsen M. 2000. *The expressive organization: linking identity, reputation and the corporate brand*. Oxford: Oxford University Press. 292 p.
- Schwartz S., Vignoles V., Brown R., Zagefka H. 2014. The Identity Dynamics of Acculturation and Multiculturalism: Situating Acculturation in Context. — *Handbook of multi-cultural identity: Basic and applied psychological perspectives* (V. Benet-Martínez, Y-Y. Hong eds.). Oxford: Oxford University Press. P. 57–96.
- Scruton R. 2007. *A Dictionary of Political Thought*. London: Macmillan. 744 p.
- Secession as an International Phenomenon* (ed. by Don H. Doyle). 2010. Athens:

University of Georgia Press. 392 p.

Sen A. 1992. *Inequality Reexamined*. Cambridge, Ma.: Harvard University Press. 207 p.

Sennett R. 2003 [1977]. *The Fall of Public Man*. London, New York: Penguin Books. 390 p.

Shani G. 2014. Identity politics in the Global Age. — *Routledge Handbook of Identity Studies* (ed. by A. Elliott). 2011. Abingdon, Oxon, New York: Routledge. P. 380–395.

Shayo M. 2009. A Model of Social Identity with an Application to Political Economy: Nation, Class and Redistribution. — *American Political Science Review*. Vol. 103 (2), May. P. 147–174.

Shils E. 1957. Primordial, Personal, Sacred and Civil Ties: Some Particular Observations on the Relationships of Sociological Research and Theory. — *The British Journal of Sociology*. Vol. 8. N 2 P. 130–145.

Shoemaker S. 1963. *Self-Knowledge and Self-Identity*. London: Oxford University Press. 276 p.

Sibley D. 1982. *Outsiders in Urban Societies*. Oxford: Blackwell. 224 p.

Sibley D. 1995. *Geographies of Exclusion*. London: Routledge. 224 p.

Skrbis Z. 1999. *Long-distance Nationalism: Diasporas, Homelands and Identities*. Brookfield (VT, USA): Ashgate Publishing Company. 201 p.

Smith A. 1986. *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford, UK: Basil Blackwell. 312 p.

Smith A.D. 1990. Towards a global culture. — *Theory, Culture and Society*. Vol. 7. P. 171–191.

Smith A.D. 1991. *National identity. Ethnonationalism in comparative perspective*. Reno: University of Nevada Press. 226 p.

Smith A. 1992. National identity and the idea of European unity. — *International affairs*. Vol. 68. No 1. P. 56–76.

Smith A. 1998. *Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nations and Nationalism*. London, New York: Routledge. 270 p.

Smith A.D. 2000. The “Sacred” Dimension of Nationalism. — *Millenium: Journal of International Studies*. Vol. 29. No 3. P. 791–814.

Smith A.D. 2009. *Ethno-symbolism and Nationalism. A Cultural Approach*. London & New York: Routledge. 184 p.

Smith A.D. 2011. National identity and vernacular mobilization in Europe. — *Nations and Nationalism*. Vol. 17. No 2. P. 223–256.

Smith K.E. 2002. *Mythmaking in the New Russia: Politics and Memory during the Yeltsin Era*. Ithaca etc.: Cornell University Press. 223 p.

Snow D., della Porta D., Klandermans B., McAdam D. 2013. *The Wiley-Blackwell Encyclopedia on Social and Political Movements*. Malden, MA: Wiley. 1544 p.

Social Identity: International Perspectives. 1998. Ed. by S. Worchel al. London: SAGE.

Social Stratification. Class, Race, and Gender in Sociological Perspective (D.B. Grusky ed.). 2014. Westview Press; Fourth Edition. 1200 p.

Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India. A

- Report. 2006. New Delhi: Prime Minister's High Level Committee. 424 p.
- Social Identity and Intergroup Relations* (ed. by H. Tajfel). 1982. Cambridge: Cambridge University Press. 532 p.
- Social Identity at Work: Developing Theory for Organizational Practice* (A. Haslam, M.J. Platow, N. Ellemers eds.). 2003. New York: Psychology Press. 390 p.
- Social Identity: International Perspectives*. 1998 (ed. by S. Worchel, J. Francisco Morales, D. Paez, J.-C. Deschamps). London: Sage. 288 p.
- Social Theory and the Politics of Identity* (ed. by C. Calhoun). 1994. Cambridge MA: Wiley-Blackwell. 364 p.
- Sociology in Europe: In search of Identity*. (ed. by B. Nedelmann, P. Sztompka). 1994. Berlin: W. de Gruyter. 234 p.
- Somerville P. 2014. *Understanding community: politics, policy and practice*. Bristol: Policy Press. 304 p.
- Spreading Protest: Social Movements in Times of Crisis*. (D. Della Porta, A. Mattoni eds.). 2014. Colchester UK: ECPR Press. 324 p.
- Spruyt H. 1994. *The Sovereign State and Its Competitors: An Analysis of Systems Change*. Princeton, NJ: Princeton University Press. 304 p.
- Stalder F. 2006 *Manuel Castells and the Theory of the Network Society*. Oxford, Polity Press, 240 p.
- Standing G. *The Precariat. The New Dangerous Class*. London: Bloomsbury Academic. 2011. 198 p.
- Stanley B. 2008. The thin ideology of populism. — *Journal of Political Ideologies*. Vol. 13. No 1. P. 95–110.
- Stone Hanley M. and Noblit G.W. 2009. *Cultural responsiveness, racial identity and academic success: a review of literature. A paper prepared for The Heinz Endowments*. URL: http://www.heinz.org/userfiles/library/culture-report_final.pdf
- Stuart Hall and «Race»* (ed. by C. Alexander). 2011. London: Routledge. 256 p.
- Straub J. 2002. Personal and Collective Identity: A Conceptual Analysis. — *Identities: Time, Difference and Boundary* (ed. by H. Friese). New York: Berghahn Books. P. 56–76.
- Susser I. 2002 *The Castells Reader on Cities and Social Theory*. Oxford, Blackwell. 448 p.
- Sztompka P. 2000. *Trust: A Sociological Theory*. Cambridge University Press. 228 p.
- Sztompka P. 2004. From East-Europeans to Europeans: Shifting Collective Identities and Symbolic Boundaries in the New Europe. — *European Review*. Vol. 12. No 4. P. 481–496.
- Taggart P. 2000. *Populism. Concepts in the Social Sciences*. Buckingham: Open University Press. 140 p.
- Tajfel H. 1979. Individuals and groups in social psychology. — *British Journal of Social and Clinic Psychology*. Vol. 18. P. 183–190.
- Tajfel H. 1981. *Human Groups and Social Categories. Studies in Social Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press. 384 p.
- Tajfel H. 1979. Individuals and groups in social psychology. — *British Journal of*

Social and Clinic Psychology. Vol. 18. P. 183–190.

Tajfel H. 1982. *Social identity & intergroup relations*. Cambridge, Paris: Cambridge University Press. 532 p.

Talshir G. 2002. *The Political Ideology of Green Parties: From the Politics of Nature to Redefining the Nature of Politics*. Palgrave Macmillan. 344 p.

Tam H. 1998. *Communitarianism: A New Agenda for Politics and Citizenship*. New York: New York University Press. 288 p.

Tamir Y. 1995. *Liberal Nationalism*. Princeton NJ: Princeton University Press. 206 p.

Taylor Ch. 1989. Cross-Purposes. The Liberal — Communitarian Debate. — *Liberalism and Moral Life* (ed. by N. Rosenblum). Cambridge: Harvard University Press, P. 159–182.

Taylor Ch. 1989. *Sources of the Self: The Making of Modern Identity*. Harvard University Press. 624 p.

Taylor C. 1992. *Multiculturalism and the Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press. 175 p.

Taylor Ch. 1994. *Multiculturalism and the Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press. 192 p.

Taylor Ch. 1999. Conditions of an Unforced Consensus on Human Rights. — *The East Asian Challenge for Human Rights* (J.R. Bauer and D. Bell eds.). New York : Cambridge University Press.

Taylor Ch. 2004. *Modern Social Imaginaries*. Durham: Duke University Press. 232 p.

Taylor Ch. 2007. *A Secular Age*. Cambridge: Harvard University Press. 896 pp.

Taylor Ch. 2011. *Dilemmas and Connections: Selected Essays*. Cambridge: Harvard University Press. 424 pp.

Taylor M. 2011. *Public policy in the community*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 320 p.

Teddlie C., Yu F. 2007. Mixed Methods Sampling: A Typology with Examples. — *Journal of Mixed Methods Research*. Vol. 1. No 1. P. 77-100.

Tekin B.C. *Representations and othering in discourse: the construction of Turkey in the EU context*. Amsterdam: John Benjamin's Publ. Company. 2010. xi. 270 p.

Terrorism and the Internet (ed. by H.-L. Dienel et al.). 2010. Amsterdam, Berlin, Tokyo, Washington: IOS Press. 223 p.

The Communitarian Reader: Beyond the Essentials (Rights & Responsibilities). (A. Etzioni, D. Volmert, E. Rothschild eds.). 2004. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. 279 p.

The Age of Transition: Trajectory of the World System, 1945–2025 (ed. by T.K. Hopkins, I. Wallerstein). 1996. New York: Zed Books. 288 p.

The contemporary Goffman (ed. by M.H. Jacobsen). New York: Routledge, 2010. 396 p.

The Essential Communitarian Reader (ed. by A. Etzioni). 1998. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. 322 p.

The Europe of Elites. A Study into the Europeanness of Europe's Political and

Economic Elites (ed. by H. Best, G. Lengyel, L. Verzhichelli). 2012. Oxford: Oxford University Press. 314 p.

The Europeanization of National Politics? Citizenship and Support in a Post-Enlargement Union (ed. by D. Sanders, P. Bellucci, G. Toka, M. Torcal). 2012. Oxford: Oxford University Press. Oxford: Oxford University Press. 308 p.

The Europeanization of national foreign policies towards Latin America (ed. by L. Ruano). 2013. London, Abingdon (UK), New York: Routledge. 264 p.

The Future of Identity. Centennial Reflections on the Legacy of Erik Erikson (ed. by K. Hoover). 2004. New York: Lexington Books. 180 p.

The Formation of Professions. Knowledge, State and Strategy (ed. by M. Burrage, R. Torstendahl). London, Sage, 1990. 215 p.

The Geography of Identity (ed. by P. Yaeger). 1996. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press. 481 p.

The Geopolitics Reader (Ó Tuathail, G., S. Dalby, and P. Routledge eds.). 2006. London: Routledge.

The Goffman reader (ed. by C. Lemert, A. Brananman). 1997. New York: Wiley Blackwell. 368 p.

The Invention of Tradition (ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger). 1983. Cambridge: Cambridge University Press. 320 p.

The Jameson Reader (ed. by M. Hardt and K. Weeks). 2000. Oxford: Blackwell. 420 p.

The Making of Political Identities (ed. by E. Laclau). 1994. London–New York, Verso Books. 308 p.

The Network Society: A Cross-Cultural Perspective (ed. by M. Castells). 2004. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar. 464 p.

The Oxford Handbook of the Responsibility to Protect (ed. by T. Bellamy and T. Dunne). 2016. Oxford: Oxford University Press. 1168 p.

The Politics of Memory: Transitional Justice in Democratizing Societies (ed. by A. Barahona De Brito, C. Gonzalez Enriquez, and P. Aguilar). 2003. Oxford: Oxford University Press, 2001. 440 p.

The Politics of the Extreme Right: From the Margins to the Mainstream (ed. by P. Hainsworth). 2000. London: Continuum International Publishing Group. 352 p.

The Sage Handbook of Identities (M. Wetherell and C. Talpade Mohanty eds.). 2010. London: Sage. 560 p.

The Search for a European Identity: Values, policies and legitimacy of the EU (ed. by F. Cerutti, S. Lucarelli). 2008. London, New York: Routledge. 256 p.

The Working Class in Modern British History. Cambridge University Press, 1983. 327 p.

The World of Political Science. A Critical Overview of Political Studies around the Globe: 1990–2012. 2012. Ed. by J. Trent, M. Stein. Leverkusen: Barbara Budrich Pub. 188 p.

Theorizing identities and social action (ed. by M. Wetherell). London: Palgrave Macmillan, 2009.

Theorizing Diaspora: A Reader. (J.E Braziel., A. Mannur eds.). 2008. Malden (MA,

USA): Wiley-Blackwell. 360 p.

Thoyre A. 2015. Constructing environmentalist identities through green neoliberal identity work. — *Journal of Political Ecology*. Vol. 22. P. 146–163.

Tilly Ch. 1975. *The Formation of National States in Western Europe*. Princeton, NJ: Princeton University Press. 711 p. .

Tilly Ch. 1990. *Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992*. Oxford, UK: Blackwell. 288 p.

Tilly Ch. 1999. *Durable Inequality*. Berkley: University of California Press. 310 p.

Tilly Ch. 2002. *Stories, Identities, and Political Change*. Lanhan: Rowman & Littlefield publishers. 257 p.

Tilly Ch. 2003. *The Politics of Collective Violence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 290 p.

Tilly Ch. 2003. Political Identities in Changing Polities. — *Social Research*. Vol. 70. No 2. P. 605–620.

Tilly Ch. 2003. *Contention and Democracy in Europe. 1650–2000*. Cambridge: Cambridge University Press. 320 p

Tilly Ch. 2004. *Social Movements. 1768–2004*. London: Routledge, 2004. 262 p.

Tilly Ch. 2005. *Trust and Rule*. Cambridge: Cambridge University Pres. 214 p.

Tilly Ch. 2006. *Identities, Boundaries and Social Ties*. Boulder, Colo.: Paradigm Publishers. 284 p.

Tilly Ch. 2007. *Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press. 247 p

Tilly Ch. 2008. *Explaining Social Processes*. London: Routledge. 224 p.

Tilly Ch. and Tarrow S. 2006. *Contentious Politics*. Boulder CA: Paradigm Publishers. 224 p.

Todorov T. 1992. *The conquest of America. The question of the Other*. New York: Harper Perennial. 274 p.

Toepfer B. 1963. Die Entwicklung chiliastischer Zukunftserwartungen im Mittelalter. — *Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt — Universitaet zu Berlin*. Jg. 12. H. 3. S. 253–262.

Toffler A. 1970. *Future shock*. New York: Random House. 286 p.

Toffler A. 1980. *The Third Wave*. New York: Morrow. 544 p.

Toffler A. 1991. *Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century*. New York: Bantam Books. 640 p.

Tomlinson J. 1999. *Globalization and Culture*. Cambridge: Polity Press. 248 p.

Toom V. 2014. Trumping communitarianism: Crime control and forensic DNA typing and databasing in Singapore. — *East Asian Science, Technology and Society*. Vol. 8. No 3. P. 273–296.

Topolski J. 1999. The Role of Logic and Aesthetic in Constructing Narrative Wholes in Historiography. — *History and Theory*. Vol. 38. No 2. P. 198–210.

Touraine A. 1965. *Sociologie de l'action*. Paris: Éditions du Seuil. 506 p.

Touraine A. 1984. *Le Retour de l'acteur. Essai de sociologie*. Paris: Librairie Arthème Fayard. 350 p.

Toynbee A.J. 1934. *A Study of History*. Vol. I. New York: Oxford University Press. 484 p.

- Toynbee A.J. 1948. *Civilization on Trial*. New York: Oxford University Press. 263 p.
- Toynbee A.J. 1987. *A Study of History*. Abridgement of vols. I–VI by D.C. Somervell. Oxford: Oxford University Press. 640 p. Abridgement of vols. VII–X. 432 p.
- Transnational Identities: Becoming European in the EU* (ed. by R.K. Hermann, T. Risse, M.B. Brewer). 2004. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. 320 p.
- Transnational Relations and World Politics* (R.O. Keohane and J.S. Nye, Jr. eds.). 1971. Cambridge, MA (USA): Harvard University Press. 428 p.
- Triandafyllidou A. 1998. National identity and the “other”. — *Ethnic and racial studies*. Vol. 21. No 4. P. 593–612.
- Triandis H.C. 1995. *Individualism and Collectivism*. Westview Press. 280 p.
- Troncoso García J. 2001. *Enfatemática del antiespañolismo en los textos de historia en países europeos y americanos Ámbitos* [en línea]. (Enero-junio): Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16800610> (Fecha de consulta: 18 de julio de 2016).
- Tsygankov A.P. 2003. Mastering Space in Eurasia. Russia’s Geopolitical Thinking after the Soviet Break-Up. — *Communist and Post-Communist Studies*. Vol. 35 (1). P. 101–127.
- Tsygankov A.P. 2002. Rediscovering National Interests after the “End of History”: Fukuyama, Russian Intellectuals, and a Post-Cold War Order. — *International Politics*. Vol. 39 (4). P. 153–173.
- Turner J. 1987. *Rediscovering the Social Group: A Self-Categorization Theory*. Oxford: Basil Blackwell. 216 p.
- Turner J.C. and Tajfel H. 1986. The social identity theory of intergroup behavior. — *Psychology of intergroup relations* (S. Worchel, W.G Augustin eds.). Chicago: Nelson Hall. P. 7–24.
- Twigger-Ross C., Uzzell D. 1996. Place and identity processes. — *Journal of environmental psychology*. Vol. 16. No 3. P. 205–220.
- Uzzell D., Pol E., Badenas D. 2002. Place identification, social cohesion, and environmental sustainability. — *Environment and Behavior*. Vol. 34. No 1. P. 26–53.
- Vaca de Osma J.A. 2004. *El Imperio y la Leyenda Negra*. Madrid: Rialp. 248 p.
- Valentine G. 1999. Eating In: Home, Consumption, and Identity. — *Sociological Review*. Vol. 47. No 3. P. 491–524.
- Valera S., Guardia J. 2002. Urban social identity and sustainability Barcelona's Olympic Village. — *Environment and behavior*. Vol. 34. No 1. P. 54–66.
- Van der Berghe P.L. 1981. *The Ethnic Phenomenon*. New York: Elsevier North-Holland. 301 p.
- Van Oorschot W. 2008. Solidarity towards immigrants in European welfare states. — *International Journal of Social Welfare*. No 17. P. 3–14.
- Van Reekum R., van den Berg M. 2015. Performing Dialogical Dutchness: Negotiating a National Imaginary in Parenting Guidance. — *Nations and Nationalism*. Vol. 21. No 4. P. 741–760.
- Vasconcelos J. 1958a. La raza cósmica: misión de la raza iberoamericana. Notas

de viaje a la América del sur. — *Obras completas*. Tomo II. México: Libreros Mexicanos Unidos. P. 903–1067.

Vasconcelos J. 1958b. Indología: una interpretación de la cultura iberoamericana. — *Obras completas*. Tomo II. México: Libreros Mexicanos Unidos. P. 1069–1303.

Vauclair C.-M., Klecha J., Milagre C., Duque B. 2014. Transcultural identity. The future self in a globalized world. — *Revista Transcultural*. Vol. VI. No 1. P. 11–24.

Veer R. Van der, Valsiner J. 1993. *Understanding Vygotsky: A Quest for synthesis*. Oxford, Cambridge: Blackwell. 464 p.

Vélez I. 2014. *Sobre la Leyenda Negra*. Madrid: Ediciones Encuentro. 328 p.

Verdery K. 1996. Whither “Nation” and “Nationalism”? — *Mapping the Nation* (ed. by G. Balakrishnan). London: Verso. P. 226–234.

Verzichelli L. 2014. Signs of Competitiveness? The presence of Italian research in international political science journals. — *Italian Political Science*. Vol. 9. No 2. P. 37–43.

Vidal de la Blache P. 1922. *Principes de géographie humaine*. Paris: Armand Colin. 328 p.

Wade P. 2004. Images of Latin America mestizaje and the politics of comparison. — *Bulletin of Latin American Research*. Vol. 23. No 3. P. 355–366.

Waever O. 1996. European security identities. — *Journal of common market studies*. Vol. 34. No 1. P. 103–132.

Wagner P. 1994. *A Sociology of Modernity. Liberty and Discipline*. London, New York: Routledge. 267 p.

Wagner P. 2001. Modernity, Capitalism and Critique. — *Thesis Eleven*. Vol. 66. No 1. P. 1–31.

Wagner P. 2001. *Theorizing Modernity: Inescapability and Attainability in Social Theory*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage. 160 p.

Wagner P. 2012. *Modernity. Understanding the Present*. Cambridge, UK: Polity Press. 160 p.

Wald K.D. 1987. *Religion and politics in the United States*. New York: St. Martin's Press. 301 p.

Wallendorf M. and Arnould E. J. 1991. We Gather Together': Consumption Rituals of Thanksgiving Day. — *Journal of Consumer Research*. No 18 (June). P. 13–31.

Wallerstein I. 1991. *Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth-Century Paradigms*. Cambridge MA: Basil Blackwell. 286 p.

Wallerstein I. 2004. *World-Systems Analysis: An Introduction*. Durham: Duke University Press. 128 p.

Walters W., Haahr J. Governmentality and Political Studies. — *European Political Science*. 2005. Vol. 4. No 3. P. 288–300.

Walzer M. 1983. *Spheres of Justice: a defense of pluralism and equality*. Oxford: Blackwell. 364 p.

Walzer M. 1988. *The Company of Critics: Social Criticism and Political Commitment in the Twentieth Century*. New York: Basic Books. 260 p.

Walzer M. 1990. The Communitarian Critique of Liberalism. — *Political Theory*.

Vol. 18. No 1. P. 6–23.

Warde A., Martens L. 2000. *Eating out: social differentiation, consumption and pleasure*. Cambridge: Cambridge University Press. 260 p.

Waterman A.S. 2011. Eudaimonic Identity Theory: Identity as Self-Discovery. — *Handbook of Identity. Theory and Research* (ed. by S.J. Schwartz, K. Luyckx, V.L. Vignoles). Springer Science+Business Media, LLC. P. 357–380.

Weber E. 1976. *Peasants into Frenchmen*. Stanford: Stanford University Press. 615 p.

Weeden K.A., Grusky D. 2005. Are there any big classes at all? — *The Shape of Social Inequality: Stratification and Ethnicity in Comparative Perspective* (ed. by D. Bills). Vol 22. Research in Social Stratification and Mobility. Amsterdam: Elsevier. P. 3–56.

Wellman B. 2001. Physical Place and Cyberspace: The Rise of Networked Individualism. — *International Journal of Urban and Regional Research*. Vol. 25. No 2. P. 227–252.

Werlen B. 2000. *Sozialgeographie*. Bern-Stuttgart-Wien: Verlag Paul Haupt. 400 s.

Westin C. 2010. Identity and Inter-ethnic Relations. — *Identity Processes and Dynamics in Multi-Ethnic Europe. IMISCOE Research* (ed. by C. Westin, J. Bastos, J. Dahinden, P. Gois). Amsterdam: Amsterdam University Press. P. 9–52.

Westle B., Segatti P. 2016. Conclusions. — *European Identity in the Context of National Identity. Questions of Identity in Sixteen European Countries in the Wake of the Financial Crisis of 2007 and 2009* (ed. by B. Westle, P. Segatti). Oxford: Oxford University Press. P. 291–298.

Wetherell M. 2001. Themes in discourse research: The case of Diana. — *Discourse theory and practice. A Reader*. M. Wetherall, S. Taylor, S.J. Yates eds. London: Sage. P. 14–28.

Wetherell M. 2012. *Affect and Emotion: A New Social Science Understanding*. London: Sage. 192 p.

Wetherell M. and Potter J. 1987. *Discourse and social psychology: beyond attitudes and behaviour*. London: Sage.

Wetherell M. and Potter J. 1992. *Mapping the Language of Racism. Discourse and the Legitimation of Exploitation*. London & New York: Harvester Wheatsheaf and Columbia University Press. 246 p.

Wiarda H.J. 2014. *Political Culture, Political Science and Identity Politics: an Uneasy Alliance*. Farnham: Ashgate. 147 p.

Wilde L. 2000. In search of solidarity: the Ethical politics of Erich Fromm (1900–1980). — *Contemporary Politics*. Vol. 6 No 1. P. 38–57

Wilde L. 2004. *Erich Fromm: The quest for solidarity*. London: Palgrave MacMillan. 190 p.

Wilder G. 2005. *The French imperial nation-state: Negritude and colonial humanism between the two world wars*. Chicago, London: University of Chicago press. 404 p.

Williams B. 1957. Personal Identity and Individuation. — *Proceedings of the Aristotelian Society*. No 67. P. 229–252.

Wilson I. 2011. What Should We Expect of “Erasmus Generations”? — *Journal*

of *Common Market Studies*. Vol. 49. No 5. P. 1113–1140.

Wilson Th. and Donnan H.A. 2012. *Companion to Border Studies*. Oxford: Wiley-Blackwell. 636 p.

Without Guarantees. In *Honour of Stuart Hall* (ed. by P. Gilroy, L. Grossberg and A. McRobbie). 2000. London: Verso. 416 p.

Wittfogel K.A. 1957. *Oriental Despotism; a Comparative Study of Total Power*. New Haven: Yale University Press. 571 p.

Wodak R., de Cillia R. 2006. Politics and Language: Overview. — *Encyclopedia of Language & Linguistics*. 2nd ed. Vol. 9. Oxford: Elsevier. P. 707–719.

Wodak R., De Cillia R., Reisigl M., Liebhart K. 2009. *The Discursive Construction of National Identity (Critical Discourse Analysis)*. Edinburgh: Edinburgh University Press. 28 p.

Wolff L. 1994. *Inventing Eastern Europe*. Stanford: Stanford University Press. 419 p.

Wood L.A., Kroger R.O. 2000. *Doing discourse analysis: methods for studying action in talk and text*. Thousand Oaks: Sage. 240 p.

Woodward I. 2006. Investigating consumption anxiety thesis: aesthetic choice, narrativisation and social performance. — *The Sociological Review*. Vol. 54. No 2. P. 263–282.

Wright E.O. 1997. *Class Counts*. Cambridge: Cambridge University Press. 576 p.

Young I.M. 1990. *Justice and the Politics of Difference*. NJ: Princeton University Press. 190 p.

Zakaria F. 1996. The ABCs of Communitarianism. — *Slate Magazine*. July 26.

Zapata-Barrero R. 2015. Interculturalism: main hypothesis, theories and strands. — *Interculturalism in Cities. Concept, Policy and Implementation* (ed. by R. Zapata-Barrero). Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Publishing. P. 3–19.

Zweig F. 1961. *The Worker in an Affluent Society*. London: Heinemann. 268 p.

Предметный указатель

Об авторах¹

Андреева Лариса Анатольевна, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института Африки РАН. *Сфера научных интересов*: процессы секуляризации культуры и общественного сознания, религиозный традиционализм, модернизм и фундаментализм в новых условиях мирового развития, цивилизационные трансформации и кризисы, динамика религиозных конфликтов в Африке, религиозный опыт и религиозная идентичность народов Африки. *В числе публикаций*: Религиозный опыт народов Тропической Африки: психологический и социокультурный аспекты. Отв. ред. Л.А. Андреева, А.Д. Саватеев. М.: Институт Африки РАН. 2012. 268 с.; Секулярный или постсекулярный мир? Верификация концепций. Социологические исследования. 2015. № 3. С. 82–88 (в соавт. с Л.К. Андреевой); Христианство в Тропической Африке (по данным социологических исследований). Азия и Африка сегодня. 2013. № 3 (668). С. 38–40; Христианство в начале XXI века в Африке южнее Сахары: количественные и качественные характеристики. — Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2013. № 3. С. 35–43.

Бардин Андрей Леонидович, кандидат политических наук, младший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН. *Сфера научных интересов*: политика идентичности; гражданское общество; социальные инновации; проблемы миграции и интеграции инокультурных мигрантов. *В числе публикаций*: Тенденции и проблемы развития гражданского

¹ В списке работ приводятся избранные публикации авторов, в первую очередь монографии, а также статьи, в которых нашла отражение тематика идентичности, массового сознания, социально-политических трансформаций. В авторские списки не включен капитальный труд «Политическая идентичность и политика идентичности. В 2 т. Отв. ред. И.С. Семенов. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011–2012» и сборник «Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по материалам Всероссийской научно-теоретической конференции. Москва, 21–22 октября 2010 г. Редакция: И.С. Семенов (отв. ред.), Л.А. Фадеева (отв. ред.), В.В. Лапкин, П.В. Панов. М.: ИМЭМО РАН, 2011»; в подготовке этих публикаций участвовало около половины нынешнего состава авторского коллектива. Главы в коллективных монографиях, за отдельными исключениями, и публикации на иностранных языках не вносились в списки ввиду ограничений объема справочной информации; коллективные монографии значатся в основном в ряду публикаций ответственных редакторов / авторов соответствующих изданий.

общества ФРГ. — Прогнозирование социально-политических процессов и конфликтов в странах Запада и в России. Редкол.: В.И. Пантин (отв. ред.), И.С. Семенов (отв. ред.), В.В. Лапкин, К.Г. Холодковский. М.: ИМЭМО РАН. 2016. С. 68–74; Миграционная проблема в германском научном дискурсе. — Полис. Политические исследования. 2016. № 6. С. 183–188; Образование как инструмент поддержания межэтнического согласия. — Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т. 60. № 12. С. 70–76.

Баринов Игорь Игоревич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН. *Сфера научных интересов*: постсоциалистический транзит, этнополитические процессы и нацистроительство в странах Восточной Европы. *В числе публикаций*: Траектории нацистроительства в странах Восточной Европы. — Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 12. С. 90–98; Межэтнические конфликты в Восточной Европе и новая реальность Европейского союза. — Современные евразийские исследования. 2015. Т. 2. С. 81–85.

Вайнштейн Григорий Ильич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН. *Сфера научных интересов*: сравнительный анализ политических процессов в западных странах, вопросы эволюции современной демократии, проблемы политических трансформаций в России и поставторитарных странах, социально-экономические, культурологические и политические аспекты демографических изменений в мире, социально-политические аспекты развития информационного общества. *В числе публикаций*: Евроскептицизм: новый фактор европейской политики. — Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 8. С. 40–48; Ислам в городском пространстве и в общественном сознании Европы. — Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 6. С. 29–37; Популизм в современной Европе: новые тенденции. — Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 12. С. 24–33; Идентичность инокультурных меньшинств и будущее европейской политики. — Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 4. С. 3–15; Европейская идентичность. Желаемое и реальное. — Полис. Политические исследования. 2009. № 4. С. 123–134.

Вахрушева Евгения Александровна, ученый секретарь Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН. *Сфера научных интересов*: современная критическая теория, политическая философия марксизма, теории модерности, политические процессы в странах Ближнего Востока и Северной Африки. *В числе публикаций*: Постмодернистский неомарксизм Фредрика Джеймисона. — Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2015. Том. 15. Вып. 2. С. 86–98. Иванова (Вахрушева) Е.А. Современность как политическая проблема: преодолевая границы модернизационной парадигмы. — Научный ежегодник Института философии

фии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2010. Вып. 10. С. 160–172.

Веретевская Анна Вячеславовна, кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры сравнительной политологии МГИМО (У) МИД России. *Сфера научных интересов*: исследование политической интеграции обществ разного типа и эффективность интеграционных моделей; динамическое измерение политики. *В числе публикаций*: Политика интеграции мусульман в современных Нидерландах: эволюция парадигмы. — Политическая наука. № 2. 2013. С. 216–231; Мусульмане во Франции: особенности интеграционной модели. — Вестник МГИМО. № 5. 2012. С. 98–102; Канадский мультикультурализм: исторический аспект. Вестник РГГУ. № 19. 2012. С. 147–159. Проблемы европейского мультикультурализма. — Сравнительная политика. М., 2011. № 3. С. 114–122. Два мультикультурализма. Особенности социальной политики в Канаде и США. — Наука. Культура. Общество. Институт социально-политических исследований РАН. М. 2010. № 4. С. 47–62.

Виноградов Андрей Владимирович, доктор политических наук, руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока РАН. *Сфера научных интересов*: проблемы модернизации, социокультурные трансформации модернизирующихся обществ, цивилизации и межцивилизационные отношения, общественная мысль, современный политический процесс и политическая система КНР и России. *В числе публикаций*: Притяжение Азии. Китайский опыт для России. Тетради по консерватизму. 2015. № 5. С. 240–248; Власть, бизнес и коррупция в Китае. — Проблемы Дальнего Востока. 2014. № 4. С. 174–179; Виноградов А.В. 2012. Политическая модернизация: проблемы институализации в Китае и России. — Вестник Санкт-Петербургского Государственного Университета. Серия 6. Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. СПб., 2012, № 2. С. 66–77; Китайская модернизация в сравнительной перспективе. Сравнительная политика. 2010. № 1. С. 104–120; Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. М.: НОФМО, 2008. 363 с.

Вовкодав Павел Александрович, в 2012–2015 гг. — аспирант Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. *Сфера научных интересов*: иммиграционная политика и политика интеграции иммигрантов в Великобритании. *В числе публикаций*: Великобритания: кризисные явления в развитии института гражданства. — Человек. Сообщество. Управление. 2016. Т. 17. № 1. С. 96–113; Взгляд на иммиграционную политику как фактор привлечения электората в британской избирательной кампании. — Вестник Пермского университета. Серия Политология. 2015. № 4. С. 52–65.

Володин Андрей Геннадиевич, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН. *Сфера научных интересов*: проблемы модернизации, политическая система Индии, внешняя политика Индии. *В числе публикаций*: Глобализация: начала, тенденции, перспективы (монография, в соавт. с Г.К. Широковым). М.: Институт

востоковедения РАН, 2002. 260 с.; Роль и место среднего класса в незападных обществах. — *Мировая экономика и международные отношения*. 2015. № 9. С. 95–105; Эволюция внешнеполитической стратегии Индии. — *Мировая экономика и международные отношения*. 2014. № 2. С. 93–102; «Рост плюс развитие», или индийский опыт экономических реформ. — *Мировая экономика и международные отношения*. 2010. № 10. С. 91–98.

Гаман-Голутвина Оксана Викторовна, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД России, профессор НИУ ВШЭ. Руководитель Центра ответственности при Минобрнауки РФ по вопросам формирования контрольных цифр приема в вузы по политическим наукам; председатель ФУМО «Политические науки и регионоведение»; председатель Экспертного совета РФФИ по политологии, философии, социологии, правоведению, науковедению; член Совета по грантам президента РФ для ведущих научных школ и молодых ученых. Президент Российской Ассоциации политической науки. *Сфера научных интересов*: сравнительная политология; политические элиты, политическое лидерство, политическая культура; политико-административная бюрократия; административные реформы. *В числе публикаций*: Гаман-Голутвина О.В., отв. ред. Российская политическая наука: истоки и перспективы. В 5-ти томах. М.: Аспект Пресс, 2015–2016; Политическая наука перед вызовами современной политики. К 60-летию САПН / РАПН. — Полис. 2016. № 1; Политические элиты как объект исследований в отечественной политической науке. — *Политическая наука*. 2016. № 2; Сравнительная политология (автор и отв. ред.). М.: Аспект Пресс, 2015; Обществознание. Учебник. (в соавторстве с Е.Г. Пономаревой и О.А. Удашовой). — М.: МГИМО-Университет, 2016; Метафизические измерения трансформаций российских элит. — Полис. 2012. № 4; Политология как метадисциплинарная матрица». — «Международные процессы», 2016. № 1; Гаман-Голутвина О.В. (автор и отв. редактор) Политический класс в современном обществе. М.: Росспэн, 2012; Гаман-Голутвина О.В. (автор и отв. ред.). Политические элиты в старых и новых демократиях. М., 2012; Гаман-Голутвина О.В. (автор и отв. редактор) Элиты и общество в сравнительном измерении. М.: Росспэн, 2011; Политические элиты России: вехи исторической эволюции. М.: РОССПЭН. 2006.

Гнедаш Анна Александровна, кандидат политических наук, доцент кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета. *Сфера научных интересов*: актуальные вопросы гендерной политологии, равенство в современном мире, сети в публичной политике, семейная политика. *В числе публикаций*: Семейная политика в регионах современной России: институциональные и программные аспекты. — *Женщина в российском обществе*. 2014. № 3–4. С. 56–64; «В поисках утраченного субъекта»: фемининные и маскулинные детерминанты субъектности в современной России. — Полис. Политические исследования. 2010. № 5. С. 79–88.

Гриценко Антон Алексеевич, кандидат географических наук, научный сотрудник лаборатории геополитических исследований Института географии РАН. *Сфера научных интересов*: политическая и социально-экономическая гео-

графия, этнология и социальная антропология, приграничные идентичности и трансграничные взаимодействия регионов России и сопредельных государств. В числе публикаций: Идентичности на Украине: вызовы современности — эхо прошлого? — Мир перемен. 2015. № 2. С. 142–156 (в соавт. с М.П. Крыловым); Региональная идентичность в пограничье Украины и России: этнополитические контексты и местные факторы. — Феномен культуры в российской общественной географии: экспертные мнения, аналитика, концепты. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2014. С. 452–470; Этнокультурный градиент: региональная идентичность и историческая память в соседних районах России и Украины. — Культурная и гуманитарная география. 2012. Т. 1. № 2. С. 126–140 (в соавт. с М.П. Крыловым); Этнокультурный градиент и региональная идентичность в российско-украинско-белорусском порубежье. — Известия РАН. Серия географическая. 2011. № 1. С. 31–44.

Довбыш Евгений Геннадьевич, кандидат политических наук, в 2012–2016 годах — аспирант, младший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН. *Сфера научных интересов*: города как субъекты политического процесса, участие городов в процессах европейской интеграции. В числе публикаций: Участие городов в интеграционных процессах ЕС. — Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т. 60. № 1. С. 93–102; Роль глобальных сетей городов в мировой политике. — Человек. Сообщество. Управление. 2014. № 1. С. 18–31; Довбыш Е.Г. Сетевые технологии формирования городской идентичности. — Человек. Сообщество. Управление. 2012. № 4. С. 111–118.

Дробижева Леокадия Михайловна, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник, руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН. *Сфера научных интересов*: этническая социология, этнополитология, этническая идентичность, межэтнические отношения, национализм. В числе публикаций: Позитивные межнациональные отношения и предупреждение нетерпимости: опыт Татарстана в общероссийском контексте. Под ред. Л.М. Дробижевой, С.В. Рыжовой. М., СПб: Нестор-История, 2016. 152 с.; Межнациональное согласие как ресурс консолидации российского общества. Отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: ИС РАН, 2016. 400 с.; Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. Опыт 20 лет. М.: Новый хронограф. 2013. 336 с.; Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра. Рук. проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 485 с.; Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России. М.: ИС РАН, 2003; Социальная и культурная дистанция: опыт многонациональной России. Авт. проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: ИС РАН. 1998. 385 с.; Этносоциология: учебник. (в соавт. с Ю.В. Арутюняном, А.А. Сусоколовым). М.: Аспект Пресс, 1998. 272 с.; Гражданская и этническая идентичность и образ желаемого государства в России. — Полис. Политические исследования. 2015. № 5. С. 9–24 (в соавт.

с С.В. Рыжовой); Потенциал межнационального согласия: осмысление понятия и социальная практика в Москве. Социологические исследования. 2015. № 11. С. 80–90; Идентичность и этнические установки русских в своей и иноэтничной среде. — Социологические исследования. 2010. № 12. С. 49–58; Возможен ли конструктивный национализм? — Россия в глобальной политике. 2008. Т. 6. № 6. С. 176–189.

Казаринова Дарья Борисовна, кандидат политических наук, доцент кафедры сравнительной политологии Российского государственного университета дружбы народов. *Сфера научных интересов*: Политические и социокультурные проблемы европейской интеграции, евразийская интеграция, мягкая сила в мировой политике, ценностные основания политики. *В числе публикаций*: Ценностно-политические проекты и геополитическая субъектность в современном мире. — Поиск. Альтернативы. Выбор. 2016. № 2. С. 182–189; Наднациональная идентичность и ценностный дискурс в процессе регионального интеграционного строительства. — Вестник российской нации. 2016. № 1. С. 124–138; Проблема репутационного капитала и мягкой силы ЕС в условиях европейского миграционного кризиса. — Вестник РУДН. Серия Политология. 2015. № 4. С. 7–17; Европейское гражданство и культурное разнообразие в Европе: проблемы соотношения. — Человек. Сообщество. Управление 2014. № 3. С. 41–50; Европейский союз: ценности для будущего. — Вестник РУДН, серия Политология. 2014. № 3. С. 123–127.

Кимберг Александр Николаевич, кандидат психологических наук, профессор кафедры социальной психологии и социологии управления Кубанского государственного университета. *Сфера научных интересов*: идентичность, индивидуальный и коллективный субъекты, конструктивистский подход в образовании. *В числе публикаций*: Кимберг А.Н. Идентичность как проблема. — Личностная идентичность: вызовы современности. *Материалы Всероссийской психологической научно-практической конференции (с иностранным участием)*. Майкоп, 3–4 октября. Редколлегия: В.В. Знаков (отв. ред.) и др. Майкоп: Адыгейский ГУ, 2014. С. 16–21; Кимберг А.Н., Улько Е.В. Феномен ситуации в пространствах человеческого бытия: проблемы теории и методологии исследования. — *Человек. Сообщество. Управление*. 2011. № 2. С. 34–47; Прохоров А.О., Кимберг А.Н. Психология состояний и психология идентичности. — *Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки*. 2010. Т. 152. № 5. С. 172–182.

Колосов Владимир Александрович, доктор географических наук, профессор, заместитель директора Института географии РАН, заведующий кафедрой географии мирового хозяйства МГУ им. М.В. Ломоносова, Президент Международного географического союза (2012–2016), вице-президент Русского географического общества. *Сфера научных интересов*: политическая география, геоконфликтология, исследования границ, геополитика, территориальные идентичности, геоурбанистика. *В числе публикаций*: Политическая география и геополитика (в соавт. с Н.С. Мироненко). М.: Аспект-пресс, 2001, 2005. 479 с.; Мир глазами россиян: общественное мнение и внешняя политика (под ред. В.А. Колосова). М.: ФОМ, 2003. 304 с.; Российско-украинское пограничье: двад-

пять лет разделенного единства (под ред. В.А. Колосова и О.И. Вендиной). М.: Новый хронограф, 2011. 352 с. Избранные статьи: Колосов В.А., О'Локлин Дж. Социально-территориальная динамика и этнические отношения на Северном Кавказе. Полис. Политические исследования. 2008. № 4. С. 27–47; Колосов В.А. Критическая геополитика: основы концепции и опыт ее применения в России. Политическая наука. 2011. № 4. С. 31–52.

Котта Маурицио (Cotta Maurizio), профессор университета Сиены (Италия), директор Центра исследований политических изменений, руководитель программы аспирантской подготовки по политическим наукам университета Сиены. Научный координатор исследовательского проекта EUENGAGE «Преодолевая разрывы между общественным мнением и европейскими лидерами: диалог о будущем Европы (Bridging the gap between public opinion and European leadership: Engaging a dialogue on the future path of Europe, 2015–2018). *Сфера научных интересов*: сравнительные исследования политических элит и политических институтов; политические процессы в современной Италии. *В числе публикаций* (на англ. яз.): Perspectives of National Elites on European Citizenship. A South European View. — N. Conti, M. Cotta, P. Tavares de Almeida eds. L.: Routledge, 2011. 160 p.; Democracia, Partidos e Elites Politicas. Lisboa: Livros Horizonte, 2008. 245 p.; Democratic Representation in Europe. Diversity, Change and Convergence. — M. Cotta, H. Best eds. Oxford, Oxford University Press 2007. 498 p.; Political Institutions of Italy. Oxford: Oxford University Press, 2007 (with L. Verzichelli). 304 p.; Parliamentary Representatives in Europe. H. Best, M. Cotta eds. Oxford: Oxford University Press 2000. 564 p.; The Nature of Party Government: A Comparative European Perspective. — Ed. by J. Blondel, M. Cotta. L.: Palgrave Macmillan, 2000. 240 p.; Parliaments and Democratic Consolidation in Southern Europe. L.: Pinter 1990.

Крылов Михаил Петрович (1952–2015), доктор географических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории геополитических исследований Института географии РАН. *Сфера научных интересов*: социальная, культурная, историческая и политическая география, этнография, методология науки, региональная и приграничная идентичность, взаимоотношения России, Украины и Беларуси (историко-культурные и этнокультурные аспекты). *В числе публикаций*: Региональная идентичность в Европейской России. М.: Новый хронограф, 2010. 277 с.; Категория «идентичность» в контексте проблемы приграничий. — Мир психологии. 2012. № 1. С. 137–151; Этнокультурный градиент: региональная идентичность и историческая память в соседних районах России и Украины (в соавт. с А.А. Гриценко) — Культурная и гуманитарная география. 2012. Т. 1. № 2. С. 126–140; Региональная идентичность в историческом ядре Европейской России. Социологические исследования 2005. № 3. С. 13–23; Социально-экологический подход к феномену российской урбанизации. — Урбанизация в формировании социокультурного пространства. Отв. ред. Э.В. Сайко. М.: Наука. 1999.

Кудряшова Ирина Владимировна, кандидат политических наук, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО (У) МИД России. *Сфера науч-*

ных интересов: сравнительная мировая политика, методология сравнительных политических исследований, социокультурные и политические аспекты модернизации и глобализации, исламские исследования. *В числе публикаций*: Суверенитет. Трансформация понятий и практик (под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой); М.: МГИМО — Университет, 2008. 228 с.; Асимметрия мировой системы суверенитета: зоны проблемной государственности. (под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой). М.: МГИМО-Университет, 2011. 248 с.; Как обустроить разделенные общества. — Политическая наука. 2016. № 1. С. 15–33; Интеграция мусульман в Европе: политический аспект (в соавт. с С.М. Хенкиным). — Полис. Политические исследования. 2015. № 2. С. 137–155; Как изучать взаимодействие религии и политики? — Политическая наука. 2013. № 4. С. 92–105; Пан-нации и нации-государства в мусульманском мире: конкуренция воображаемых сообществ. — МЕТОД: Московский ежегодник трудов из общественных дисциплин: Сб. науч. трудов. Вып. 1: Альтернативные модели формирования наций. М.: ИНИОН РАН, 2010. С. 30–53.

Лапкин Владимир Валентинович, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, первый заместитель главного редактора журнала «Полис. Политические исследования». *Сфера научных интересов*: проблемы концептуализации политических изменений, исследования глобальной политической динамики и динамики идентичности в условиях глобализации, сравнительное изучение постсоветских политических трансформаций, моделирование российской политической истории. *В числе публикаций*: Историческое прогнозирование в XXI веке: циклы Кондратьева, эволюционные циклы и перспективы мирового развития (в соавт. с В.И. Пантинным). Дубна: «Феникс+». 2014. 456 с.; Политическая модернизация России в контексте глобальных изменений. М.: ИМЭМО РАН, 2012. 140 с.; Философия исторического прогнозирования: Ритмы истории и перспективы мирового развития в первой половине XXI века (в соавт. с В.И. Пантинным). Дубна: «Феникс+». 2006. 448 с.; Геоэкономическая политика и глобальная политическая история (в соавт. с В.И. Пантинным). М.: Олита. 2004. 280 с.; Политическая динамика: методология прогнозирования в рамках парадигмы эволюционных циклов (в соавт. с В.И. Пантинным). — Политическая наука перед вызовами глобального и регионального развития (под ред. О.В. Гаман-Голутвиной). М.: Издательство «Аспект Пресс». 2016. С. 126–147.; Проблемы национального строительства в полиэтнических постсоветских обществах: украинский казус в сравнительной перспективе. — Полис. Политические исследования. 2016. № 4. С. 54–64; Эпоха великих потрясений: основные тенденции и альтернативы (в соавт. с В.В. Лапкиным). — История и современность. № 1. 2016. С. 64–86.; Тренды и альтернативы развития современного мира (в соавт. с И.С. Семененко, В.И. Пантинным). — Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 10. С. 19–32; Метаморфозы идентичности в условиях глобализации. — *Политическая экспертиза*: ПОЛИТЭКС. 2011. Т. 7. № 2; Идентичность в системе координат мирового развития (в соавт. с И.С. Семененко,

В.И. Пантиним). — Полис. Политические исследования. 2010. № 3. С. 40–59; Модернизация, глобализация, идентичность. Общие проблемы и российские особенности. — Полис. Политические исследования. 2008. № 3. С. 50–58.

Малинова Ольга Юрьевна, доктор философских наук, профессор Департамента политической науки Факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. *Сфера научных интересов*: политического дискурса и политических идеологий, институтов и практик публичной сферы России, либерализма, национализма и национальной идентичности. *В числе публикаций*: Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2015. 207 с.; Конструирование смыслов: исследование символической политики в современной России. М.: ИНИОН РАН. 2013. 411 с.; Идеино-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы. Под ред. О.Ю. Малиновой. М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); РОССПЭН. 2011. 285 с.; Россия и «Запад» в XX веке: трансформация дискурса о коллективной идентичности. М.: РОССПЭН. 2009. 190 с.; Либеральный национализм (середина XIX — начало XX века). М.: РИК Русанова, 2000. 254 с.; Миф как категория символической политики: анализ теоретических развилки. — Полис. Политические исследования. 2015. № 4. С. 12–21; Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России. — Полис. Политические исследования. 2010. № 3. С. 90–99.

Мартьянов Виктор Сергеевич, кандидат политических наук, доцент, заместитель директора по научным вопросам Института философии и права УрО РАН. *Сфера научных интересов*: политическая философия, политический нарратив Модерна, идеологии и утопии, мирополитика, ценности в политике, прогнозирование политических изменений, рентная модель политического порядка, город в политическом измерении. *В числе публикаций*: Постфордизм: концепции, институты, практики (под ред. М.С. Ильченко, В.С. Мартьянова). М.: РОССПЭН. 2015. 280 с.; Политический проект Модерна: от мирозкономики к мирополитике. М.: РОССПЭН. 2010. 360 с.; Россия в поисках утопий: от морального коллапса к моральной революции. М.: Весь Мир, 2010. 256 с. (в соавт. с Л.Г. Фишманом); Метаязык политической науки. Екатеринбург: Издательство УрО РАН. 2003. 236 с.; Российский политический порядок в рентно-сословной перспективе. — Полис. Политические исследования. 2016. № 4. С. 81–99; Глобальный модерн: от мирозкономики к мирополитике. — Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 6. С. 80–89; Один модерн или множество? — Полис. Политические исследования. 2010. № 6. С. 41–53.

Мирошниченко Инна Валерьевна, доктор политических наук, доцент, заведующая кафедрой государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета. *Сфера научных интересов*:

сетевая методология политических исследований; социокультурный подход в политических исследованиях; публичная политика и управление; прикладной политический анализ и политический менеджмент. *В числе публикаций*: Сетевая публичная политика и управление. М.: АРГАМАК-МЕДИА. 2016. 296 с.; Сетевой ландшафт российской публичной политики. Краснодар: Просвещение-Юг. 2013. 295 с.; Мирошниченко И.В. Сетевой подход в политических исследованиях: содержание и направления развития. — Человек. Сообщество. Управление. 2013. № 3. С. 68–86; Сетевые сообщества в условиях чрезвычайных ситуаций: новые возможности для граждан и власти (в соавт. с Морозовой Е.В.) — Полис. Политические исследования. 2011. № 1. С. 140–152.

Морозова Елена Васильевна, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета. *Сфера научных интересов*: сравнительная политология, политическая культура, публичная политика и управление, политика идентичности. *В числе публикаций*: Фронтир сетевого общества (в соавт с Мирошниченко И.В., Рябченко Н.А.). — Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т. 60. № 2. С. 83–97.; Гибридные политические институты в современных политиях (в соавт. с И.В. Мирошинченко). — Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство и общество). 2015. № 3. С. 34–46.; Дегуманизация как технология формирования образа другого / чужого в политике. — Среднерусский вестник общественных наук. 2015. Т. 10. № 6. С. 121–128.; «Инвесторы политического капитала»: социальные сети в политическом пространстве региона (в соавт. с Мирошниченко И.В.). — Полис. Политические исследования. 2009. № 2. С. 60–76; Современная политическая культура Юга России. — Полис. Политические исследования. 1998. № 6. С. 113–131; Региональная политическая культура. Краснодар: Кубанский университет. 1998. 378 с.

Мухарьямов Наиль Мидхатович, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и права Казанского государственного энергетического университета. *Сфера научных интересов*: политическая лингвистика, теоретическая прикладная этнополитика, политическая регионалистика. *В числе публикаций*: О концептуальных подходах к взаимодействию языка и политики в контексте глобализации (в соавт. с Г.З. Шакуровой). — Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2014. № 3. С. 74–91; Мухарьямов Н.М. Дискурсивный стиль политики: фактор глобализации. — Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2014. № 2 (39). С. 85–97; К семантике этнополитического. Политическая наука. М.: ИНИОН РАН. 2011. № 1. С. 11–28.

Мчедлова Мария Мирановна, доктор политических наук, зав. кафедрой сравнительной политологии Российского университета дружбы народов, ведущий научный сотрудник Центра «Религия в современном обществе» Института социологии РАН. *Сфера научных интересов*: политическая онтология и гносеология, теория цивилизации, идентичность, религия и политика. *В числе публикаций*: Социокультурные смыслы политики: новая логика интерпрета-

ции и религиозные референции. — Полис. Политические исследования. 2016. № 1. С. 157–174; Социальная консолидация российского общества: роль религиозного фактора. — Вестник российской нации. 2015. Т. 3. № 41–3 (41). С. 65–80; Религиозные смыслы современной политики: потребность в новой эпистемологии. — Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2013. № 1. С. 83–90; Религия и политические императивы: социокультурные основания современности. М.: РУДН. 2011; Роль религии в современном обществе. — Социологические исследования. 2009. № 12. С. 77–84.

Назукина Мария Викторовна, кандидат политических наук, научный сотрудник Пермского научного центра УрО РАН, доцент кафедры политических наук Пермского государственного национального исследовательского университета. Координатор экспертной Сети по исследованию идентичности (<http://identityworld.ru/>). *Сфера научных интересов*: политическая идентичность; региональная идентичность; региональные политические процессы. *В числе публикаций*: Уральский макрорегион в системе территориальных идентичностей современной России. — Известия РАН. Сер. Географическая. 2015. № 6. С. 37–47.; Локальный уровень в матрице территориальной идентичности жителей Пермского края. — Вестник Пермского университета. Серия «Политология». 2015. № 4. С. 127–142.; Новые тенденции в политике идентичности на региональном уровне в России: акторы, специфика, тренды. — Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2014. № 3. С. 137–150.; Структурные уровни региональной идентичности в современной России. Регионология. 2011. № 4. С. 12–18; Особенности позиционирования регионов Урала на современном этапе (в соавт. с О.Б. Подвинцевым). — Политическая регионалистика и исследования в регионах России. Политическая наука: Ежегодник 2010. М.: РОССПЭН. 2011. С. 216–237.

Панов Петр Вячеславович, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Пермского научного центра УрО РАН, профессор кафедры политических наук Пермского государственного национального исследовательского университета. *Сфера научных интересов*: политический порядок, институционализация и легитимация, сравнительные исследования политических институтов. *В числе публикаций*: Борьба за идентичность и новые институты коммуникаций. Под ред. П.В. Панова, К.А. Сулимова, Л.А. Фадеевой. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2013. 264 с.; Институты, идентичности, практики: теоретическая модель политического порядка. М.: РОССПЭН. 2011.; Сообщества как политический феномен. Под ред. П.В. Панова, К.А. Сулимова, Л.А. Фадеевой. М.: РОССПЭН, 2009. 248 с.; Институционализм(ы): объяснительные модели и причинность. — Полис. Политические исследования. 2015. Практики распределения властных позиций в российских «национальных республиках»: проблема межэтнического баланса. — Вестник Пермского университета. Серия: Политология. 2015. № 3. С. 39–55; Институциональная устойчивость фрагментированных политий. — Политическая наука. 2012. № 3. С. 31–49.

Пантин Владимир Игоревич, доктор философских наук, зав. Отделом внутривластных процессов Центра сравнительных социально-экономических и социально-политических исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН. *Сфера научных интересов*: исследование циклов и волн политической модернизации, анализ российской национально-цивилизационной идентичности, прогнозирование политической динамики и социально-политических кризисов. *В числе публикаций*: Историческое прогнозирование в XXI веке: циклы Кондратьева, эволюционные циклы и перспективы мирового развития (в соавт. с В.В. Лапкиным). Дубна: «Феникс+». 2014. 456 с.; Мировые циклы и перспективы России в первой половине XXI века: основные вызовы и возможные ответы. Дубна: «Феникс+». 2009; Философия исторического прогнозирования: Ритмы истории и перспективы мирового развития в первой половине XXI века (в соавт. с В.В. Лапкиным). Дубна: «Феникс+». 2006. 448 с.; Геоэкономическая политика и глобальная политическая история (в соавт. с В.В. Лапкиным). М.: Олита. 2004. 280 с.; Эпоха великих потрясений: основные тенденции и альтернативы (в соавт. с В.В. Лапкиным). — Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т. 60. № 1. С. 64–86.; Тренды и альтернативы развития современного мира (в соавт. с И.С. Семеновым, В.В. Лапкиным). — Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 10. С. 19–32.; Циклы реформ — контрреформ в России и их связь с циклами мирового развития. — Полис. Политические исследования. 2011. № 6. С. 22–31.

Перегудов Сергей Петрович, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН. *Сфера научных интересов*: политические системы стран Запада и России, политические партии Великобритании, крупная корпорация как субъект публичной политики, социальная ответственность бизнеса, корпоративное гражданство, национально-этнические отношения в России и в Европе, проблемы становления российской гражданской и политической нации. *В числе публикаций*: Политическая система России в мировом контексте. Институты и механизмы взаимодействия. М.: РОССПЭН. 2011. 431 с.; Корпоративное гражданство: концепции, мировая практика и российские реалии (в соавт. с И.С. Семеновым). М.: Прогресс — Традиция, 2008. 226 с.; Крупная корпорация как субъект публичной политики. М.: НИУ — ВШЭ, 2006; Корпорации, общество, государство: эволюция отношений М.: Наука. 2003. 352 с.; Тэтчер и тэтчеризм. М.: Наука. 2000. 301 с.; Группы интересов и российское государство (в соавт. с Н.Ю. Лапиной, И.С. Семеновым). М.: УРСС. 1999. 352 с.; Современный капитализм: политические отношения и институты власти (отв. редактор, автор). М.: Наука, 1984. 336 с.; Лейбористская партия в социально-политической системе Великобритании. М.: Наука, 1975. 412 с.; Либерализм XXI века: кризис или обновление? — Полис. Политические исследования. 2015. № 4. С. 64–74; «Русский вопрос» в контексте этнонациональных отношений в РФ. — Полис.

Политические исследования. 2015. № 3. С. 74–86; Национально-государственная идентичность и проблемы консолидации российского государства. — Полис. Политические исследования. 2011. № 3. С. 141–163; Этноконфессиональные отношения в России как фактор политического риска. — Полития. 2011. № 3. С. 19–34.

Плотичкина Наталья Викторовна, кандидат политических наук, доцент кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета. *Сфера научных интересов*: социология повседневности, социология потребления, политическая социология. *В числе публикаций*: Просьюмеризм как политическая практика. — Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2013. № 3. С. 66–79. Социальное действие в сфере политики и теория выбора фрейма. — Вестник Пермского университета. Серия: Политология. 2012. № 1. С. 35–47. Политическая социология повседневности: концепт практик versus концепт фреймов. — *Политическая экспертиза*: ПОЛИТЭКС. 2010. Т. 6. № 2. С. 227–240.

Подвинцев Олег Борисович, доктор политических наук, заведующий Отделом по исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра УрО РАН, профессор кафедры политических наук Пермского национального государственного исследовательского университета. *Сфера научных интересов*: проблемы постимперской адаптации, политическая регионалистика, электоральные процессы. *В числе публикаций*: Российская Арктика: в поисках интегральной идентичности (отв. редактор, автор). М.: Новый хронограф, 2016. 208 с.; Особенности позиционирования регионов Урала на современном этапе (в соавт. с М.В. Назукиной). — Политическая регионалистика и исследования в регионах России. Политическая наука: Ежегодник 2010. Отв. ред. А.И. Соловьев. М.: РОССПЭН, 2011. С. 216–237; Русский Север: второе историческое ядро России. — Вестник Пермского университета. Серия «Политология». Специальный выпуск. 2010. С. 9–40; Шагающие не в ногу. Из истории политической борьбы в стане британских консерваторов во второй-третьей четверти XX столетия. Пермь: Издательство Пермского университета. 1999.

Попов Максим Евгеньевич, доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии и этнологии Северо-Кавказского федерального университета. *Сфера научных интересов*: социальная философия, философия политики, этнофилософия, культурная антропология, социология культуры, этносоциология, конфликтология. *В числе публикаций*: Конфликты идентичностей в посттрадиционной России: общероссийский и региональный аспекты. Ставрополь: Изд-во Ставропольского университета, 2011. 312 с.; Социокультурная интеграция как способ конструктивного разрешения региональных конфликтов идентичностей. — Конфликтология. 2016. Т. 2. С. 105–115; Социокультурная интеграция, гражданская идентичность и проблемы этнических конфликтов на Северном Кавказе. — Информационные войны. 2016. № 3 (39). С. 90–99; Современные теории конфликта этнических идентичностей. — Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2015. С. 143–150; Конфликты

идентичностей и общественная безопасность. — Конфликтология. 2010. № 1. С. 29-40.

Попова Ольга Валентиновна, доктор политических наук, кандидат социологических наук, профессор, заведующая кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, заместитель главного редактора научного журнала «Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС». *Сфера научных интересов*: методы политических исследований, политическая социология, политическое сознание и поведение, политическая идентичность. *В числе публикаций*: Политический анализ и прогнозирование. М.: Аспект-Пресс, 2011. 464 с.; Политическая идентификация в условиях трансформации общества. СПб.: Изд-во СПбГУ. 2002. 258 с.; Гендерные партии в современной России: проблемы и перспективы. — Политическая наука. 2015. № 1. С. 186–199; Исследование проблем политической идентичности в России. — Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2013. Т. 9. № 2. С. 205–219; Зарубежная политическая социология (1995–2011). — Политическая наука. 2011. № 3. С. 8–33; Особенности политической идентичности в России и странах Европы. — Полис. Политические исследования. 2009. № 1. С. 143–157; «Измерительный инструмент» в сравнительной политологии: к вопросу о нерешенных проблемах. — Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2009. Т. 5. № 1. С. 271–291.

Прохоренко Ирина Львовна, доктор политических наук, заведующая сектором международных организаций и глобального политического регулирования Отдела международно-политических проблем Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН. *Сфера научных интересов*: политические пространства и глобальное управление, тенденции развития европейской интеграции и многоуровневого управления ЕС, политическая история и экономика Испании, теоретические проблемы международных отношений. *В числе публикаций*: Пространственный подход в исследовании международных отношений. М.: ИМЭМО РАН. 2015. 111 с.; Управление экономикой в Европейском союзе: институциональные и политические аспекты (в соавт. с М.В. Стрежневой). М.: ИМЭМО РАН, 2013. 155 с.; Территориальные сообщества в политическом пространстве современной Испании. М.: ИМЭМО РАН. 2010. 100 с.; Изменение взаимоотношений между национальным центром и периферией (на примере Испании). — Транснациональные политические пространства: явление и практика. Отв. ред. М.В. Стрежнева. М.: Весь Мир, 2011.; Возможности пространственного подхода в изучении этнополитической конфликтности. — Полис. Политические исследования. 2016. № 6. С. 127–138; Этнополитическая конфликтность и политика идентичности в странах Латинской Америки. — Полис. Политические исследования. 2016. № 4. С. 29–40; Испанский опыт регулирования межнациональных отношений и инокультурной иммиграции. — Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 12. Т. 59. С. 80–89. О методологических проблемах анализа современных политических пространств. — Полис. Политические исследования. 2012. № 6. С. 68–80.

Работяжев Николай Владимирович, кандидат политических наук, заведующий сектором «Россия и новые государства Евразии» Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН. *Сфера научных интересов*: тоталитаризм, посткоммунизм, политические идеологии, социал-демократия, российский консерватизм, отношения России со странами СНГ. *В числе публикаций*: Лейбористская партия Великобритании: вперёд, в прошлое? — *Полития*. 2016. № 4. С. 108–127; Индивид, рынок и государство: эволюция мировоззрения европейской социал-демократии. — *Свободная мысль*. 2014. № 4. С. 129–144; Лейбористская партия Великобритании на пути адаптации к современному миру. — *Полития*. 2014. № 2. С. 118–140; Российская национальная идентичность в зеркале современного отечественного консерватизма. — *Полития*. 2013. № 3. С. 62–84; Европейская социал-демократия в поисках адаптации к меняющемуся миру. — *Полития*. 2012. № 3. С. 146–167; Альтерглобализм как социальный и политический феномен: опыт анализа. — *Мировая экономика и международные отношения*. 2011. № 12. С. 98–109; Западноевропейская социал-демократия в начале XXI века. — *Мировая экономика и международные отношения*. 2010. № 3. С. 39–55.

Ракитянский Николай Митрофанович, доктор психологических наук, профессор кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. *Сфера научных интересов*: политическая психология, политическая философия, история, богословие. *В числе публикаций*: Личность политика: теория и методология психологического портретирования. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Моск. ун-та, 2011. 264 с.; Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации (в соавторстве с С.Н. Бухариным). М.: Институт Русской цивилизации. 2011. 944 с.; Семнадцать мгновений демократии. Лидеры России глазами политического психолога. М.: Стольный град. 2001. 177 с.; Потенциал русской философско-психологической школы и методология портретирования личности политика. — *Вестник Моск. ун-та. Сер. 12. 2014. № 6. С. 7–30.* (в соавторстве с Ю.В. Колесниченко); Иудейский менталитет. Политико-психологическое эссе. — *Вестник Моск. ун-та. Сер. 12. 2013. № 4. С. 55–81*; Понятия сознания и менталитета в контексте политической психологии. — *Вестник Моск. ун-та. Серия 12. Политические науки. 2011. № 6. С. 89–103.*

Рашковский Евгений Борисович, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, директор Научно-исследовательского центра религиозной литературы и изданий русского зарубежья ВГБИЛ им. М.И. Рудомино. *Сфера научных интересов*: историография, философия, религиоведение, науковедение, политология. *В числе публикаций*: Смыслы в истории. Исследования по истории веры, познания, культуры. М.: Прогресс-Традиция. 2008. 376 с.; Православные праздники. М.: Эксмо, 2008; Осознанная свобода: материалы к истории мысли и культуры XVIII–XX столетий. М.: Новый хронограф. 2005. 253 с.; Профессия — историко-

граф. Материалы к истории российской мысли и культуры XX столетия. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. 248 с.; Индуизм: от племенных верований к мировой религии. — *Мировая экономика и международные отношения*. 2015. № 5. С. 104–112; *Философия, наука, науковедение и мир культуры*. — *Вопросы философии*. 2014. № 7. С. 68–80; Мир религий в глобальной динамике: традиционное и нетрадиционное. — *Мировая экономика и международные отношения*. 2014. № 8. С. 110–119; Многозначный феномен идентичности: архаика, модерн, постмодерн. — *Вопросы философии*. 2011. № 6. С. 33–39.

Ровинская Татьяна Леонидовна, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, научный редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения». *Сфера научных интересов*: современные средства массовой информации, информационная глобализация, экологическая политика и «зеленое движение», альтернативные политические движения. *В числе публикаций*: Американские «пираты» против крупных корпораций и государственных ведомств — *Мировая экономика и международные отношения*. 2016. № 10. С. 73–82. Становление «Пиратского движения» в США — *Мировая экономика и международные отношения*. 2016. № 8. С. 91–100. «Зеленые» в Европе: поступательный рост. — *Мировая экономика и международные отношения*. 2015. Т. 59. № 12. С. 58–71; Политические амбиции европейских «пиратов». — *Мировая экономика и международные отношения*. 2015. № 7. С. 72–84; Подвижная демократия: за и против — *Мировая экономика и международные отношения*. 2014. № 12. С. 60–69. Механизмы участия средств массовой информации в экологической политике — *Политическая наука*. 2010. № 2 («Экология и политика»). С. 177–202. Общественные функции СМИ и коммуникационные модели в демократическом обществе — *Политическая наука*. 2008. № 2 («Демократия в условиях информационного общества»). С. 132–151.

Саворская Екатерина Владимировна, кандидат политических наук, доцент кафедры международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН. *Сфера научных интересов*: глобальное управление, энвайронментализм и экологическая политика, политические сети и сетевая теория, политический процесс и представительство групповых интересов в ЕС. *В числе публикаций*: Оттенки зеленого: энвайронментализм в контексте классических идеологических течений. — *Полис. Политические исследования*. 2015. № 6. С. 103–115; Европейский союз как участник международного климатического режима: организационный анализ. — *Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика*. 2015. № 2. С. 96–125; Политические сети как объект теоретического анализа проблем глобального управления. — *Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика*. 2013. № 3. С. 27–48.

Садовая Елена Сергеевна, кандидат экономических наук, заведующая Отделом комплексных социально-экономических исследований Центра сравнительных социально-экономических и политических исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН. *Сфера научных интересов*: теория и методология исследований социально-трудовой сферы и рынка труда, социальная политика и управление социальным развитием, процессы трансформации социального государства и социальной структуры общества, социальные последствия технологического развития. *В числе публикаций*: Трансформация принципов современного мироустройства: социальный аспект М.: ИМЭМО РАН. 2014. 206 с. (в соавт. с В.А. Сауткиной); Международные стандарты в сфере труда: институты и механизмы реализации (опыт развитых стран и России). М.: ИМЭМО РАН. 2013. 205 с.; Качество жизни населения мира: тенденции, измерение, институты (в соавт. с В.А. Сауткиной). М.: ИМЭМО РАН. 2012. 208 с.; Инновационная экономика: занятость, трудовая мотивация, эффективность труда (в соавт. с Л.С. Чижовой, В.В. Кузьминым и др.). Под ред. Л.С. Чижовой. М.: Экономика. 2011. 435 с.; Социально-экономические факторы этнополитической конфликтности. — Полис. Политические исследования. 2016. № 4. С. 41–53; Новые тенденции в социально-трудовой сфере: институциональный аспект. — Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 11. С. 29–43.

Самаркина Ирина Владимировна, доктор политических наук, доцент, профессор кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета. *Сфера научных интересов*: субъективное пространство политики, политическая картина мира, национально-государственная идентичность молодежи, исследования образов власти, страны, молодежная политика. *В числе публикаций*: Политическая картина мира как компонент субъективного пространства политики: теоретико-методологические аспекты. Краснодар: Кубанский гос. ун-т. 2013. 278 с.; Самаркина И.В. Стратегии и технологии государства в формировании исторической компоненты политической картины мира. — Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2012. № 1. С. 173–189; Первое десятилетие XXI века: константы и новации в политической картине мира российских детей. — Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2011. № 3 (15). С. 5–21; Дети и родители: отношение к власти и траектории изменения политической картины мира. — Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2008. Т. 4. № 4. С. 170–185.

Сауткина Вера Алексеевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики имени Е.М. Примакова РАН. *Сфера научных интересов*: проблемы эффективности социальной политики и защиты интересов представителей различных общественных групп и слоев в условиях формирования новой социальной реальности. *В числе публикаций*: Трансформация принципов современного мироустройства: социальный аспект (в соавт. с Е.С. Садовой).

М.: ИМЭМО РАН, 2014. 206 с.; Качество жизни населения мира: тенденции, измерение, институты (в соавт. с Е.С. Садовой). М.: ИМЭМО РАН. 2012. 208 с.; Проблемы эффективного управления результатами научной деятельности. М.: ИМЭМО РАН, 2010. 135 с.; Возрождение солидарной экономики: попытка реализации утопии или реальная мотивация к развитию? Мировая экономика и международные отношения. 2017. № 1. С. 63–71.; Критерии оценки эффективности социальной политики государств. Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 7. С. 87–98.; Социальные проблемы незанятости: зарубежный опыт преодоления. Человек и труд. 2012. № 9. С. 13–18.

Семененко Ирина Станиславовна, член-корреспондент РАН, доктор политических наук, заместитель директора по научной работе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, руководитель Центра сравнительных социально-экономических и политических исследований. Научный руководитель экспертной Сети по исследованию идентичности (<http://identityworld.ru/>). *Сфера научных интересов*: теория и методология анализа современных политических и социокультурных изменений; концептуализация идентичности как ресурса общественного развития; тенденции политического и социокультурного развития стран Западной Европы и России в XX — начале XXI в.; проблемы формирования гражданской нации в современном мире; группы интересов в политическом процессе. *В числе публикаций*: Политические изменения в глобальном мире: теоретико-методологические проблемы анализа и прогнозирования. Редколлегия: И.С. Семененко (отв. ред.), В.В. Лапкин, В.И. Пантин. М.: ИМЭМО РАН, 2014. 218 с.; Глобальный мир: к новым моделям национального и регионального развития. В 2-х т. Редколлегия: И.С. Семененко (отв. ред.), Н.В. Загладин, В.В. Лапкин, В.И. Пантин. Т. 1. 280 с. Т. 2. 312 с. М.: ИМЭМО РАН, 2014; Россия XX — начало XXI века. Культура и общество. М.: Просвещение, 2011. 528 с.; Корпоративное гражданство. Концепции, мировая практика и российские реалии (в соавт. с С.П. Перегудовым). М.: Прогресс — Традиция, 2008. 448 с.; Образ России в Мире: становление, восприятие, трансформация. Отв. ред. И.С. Семененко. М.: ИМЭМО РАН, 2008. 152 с.; Группы интересов на Западе и в России. Концепции и практика. М.: ИМЭМО РАН. 2001. 154 с.; Группы интересов и российское государство (в соавт. с С.П. Перегудовым, Н.Ю. Лапиной). М.: УРСС. 1999. 350 с.; Политика идентичности и идентичность в политике: этнонациональные ракурсы, европейский контекст. — Полис. Политические исследования. 2016. № 4. С. 8–28; Типология этнополитической конфликтности: методологические вызовы «большой теории» (в соавт. с В.В. Лапкиным, В.И. Пантинным). — Полис. Политические исследования. 2016. № 6. С. 69–94; Тренды и альтернативы развития современного мира (в соавт. с В.В. Лапкиным, В.И. Пантинным). — Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 10. С. 19–32; «Человек политический» перед альтернативами общественных трансформаций: опыт осмысления индивидуального измерения политики. — Полис. Политические исследования. 2012. № 6. С. 9–26; Идентичность в системе координат мирового развития (в соавт. с В.В. Лапкиным, В.И. Пантинным). —

Полис. Политические исследования. 2010. № 3. С. 40–59; Образы и имиджи в дискурсе национальной идентичности. — Полис. Политические исследования. 2008. № 5. С. 7–18.

Сулимов Константин Андреевич, кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук историко-политологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета. *Сфера научных интересов*: политическая философия и политическая теория, политическая идеология, местное самоуправление, государственное управление. *В числе публикаций*: Университетское сообщество между глобальностью и локальностью: вызовы и ответы (в соавт. с Н.В. Борисовой). — Политическая наука, ИНИОН РАН. 2015. № 3. С. 138–149.; «Преимник» versus «преимничество»: в контексте разнообразия вариантов смены политических лидеров. — Власть и элиты. Гл. ред. А.В. Дука. Т. 1. СПб.: Интер соис. 2014; Смена лидера и пределы персоналистского президентализма: перспективы варианта «преимник» в странах Закавказья и Центральной Азии. — Политическая наука. 2014. № 1. С. 134–158; Борьба за идентичность и новые институты коммуникаций. Под ред. П.В. Панова, К.А. Сулимова, Л.А. Фадеевой. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2013. 264 с.; Идеологии, институты, коммуникации: политическая теория для политической жизни. Пермь: Издательский дом «Типография купца Тарасова», 2012. 176 с.

Труфанова Елена Олеговна, кандидат философских наук, старший научный сотрудник сектора теории познания Института философии РАН. *Сфера научных интересов*: теория познания (эпистемология), философия сознания, проблема Я, личностная идентичность, философия психологии, социальная философия. *В числе публикаций*: Единство и множественность Я. М.: Канон-Плюс, 2010; Социальный конструкционизм и исчезновение «Я»: критический анализ. — Философские науки. 2016. № 8. С. 114–123; Социальные роли ученого: от эскаписта до менеджера (в соавт. с А.Ф. Яковлевой). — Вопросы философии. 2015. № 3. С. 72–82; Интерсубъективность в науке и философии. — Вопросы философии. 2014. № 9. С. 182–185; Человек в лабиринте идентичностей. — Вопросы философии. 2010. № 2. С. 13–22; Идентичность и Я. — Вопросы философии. 2008. № 6. С. 95–105.

Тхагапсоев Хажисмель Гисович, доктор философских наук, профессор кафедры философии Кабардино-Балкарского государственного университета. *Сфера научных интересов*: социальная философия, социальное пространство и время, идентичность как категория социальной философии. *Монографии*: Идентичность как навигатор сознания (в соавт. с П.М. Мосоловой, И.В. Леоновым, В.Л. Соловьевой). СПб: Центр научно-инф. технологий «Астерион», 2016. 170 с.; Кавказская культура: особенности генезиса и тенденции развития. СПб: Астерион, 2008. 224 с. *В числе публикаций*: Идентичность как навигатор сознания (в соавт. с Л.М. Мосоловой, И.В. Леоновым, В.Л. Соловьевой). СПб.: ЦНИТ «Астерион», 2016. 170 с.; Интерпретация социального пространства и времени в контексте цивилизационных процессов. — Полис. Политические исследования. 2015. № 2. С. 173–180; Социальное-пространство-время:

проблема трансформации. — Вопросы философии. 2015. № 10. С. 202–211; В поисках новой парадигмы политической науки. Принцип идентичности. — Полис. Политические исследования; Идентичность как философская категория и мера социального бытия. — Философские науки, 2011. № 1. С. 61–77.

Фадеева Любовь Александровна, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой политических наук Пермского государственного национального исследовательского университета. *Сфера научных интересов*: политическая идентичность, политические сообщества, политическая культура, интеллигенция. *В числе публикаций*: Борьба за идентичность и новые институты коммуникаций. Под ред. П.В. Панова, К.А. Сулимова, Л.А. Фадеевой. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2013. 264 с.; Кто мы? Интеллигенция в борьбе за идентичность. — М.: Новый Хронограф, 2012. 320 с.; Сообщества как политический феномен. Под ред. П.В. Панова, К.А. Сулимова, Л.А. Фадеевой. М.: РОССПЭН, 2009. 248 с.; Сквозь призму политической культуры: нация, класс, регион. Пермь: Пушка. 2006. 298 с.; Проблема идентичности в сравнительной политологии. — Полис. Политические исследования. 2011. № 1. С. 134–139; Борьба за конструирование региональной идентичности: пермский случай. — Вестник Пермского университета. Серия: «Политология». Вып. 2 (14). 2011; Дискуссии об интеллигенции как способ ее самоидентификации. — Полис. Политические исследования. 2008. № 3. С. 40–49.

Федотова Надежда Николаевна, доктор социологических наук, доцент кафедры социологии, Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России. *Сфера научных интересов*: современные социокультурные процессы и их теоретическое осмысление, теории и методология изучения идентичности, теории глобализации и модернизации, мультикультурализм и политика мультикультурализма, политика идентичности, капитализм и культура. *В числе публикаций*: Изучение идентичности и контексты ее формирования. М.: Культурная революция, 2012. 200 с.; Глобальный капитализм: Три великие трансформации. Социально-философский анализ соотношения экономики и общества (в соавторстве с В.Г. Федотовой и В.А. Колпаковым). М.: Культурная революция, 2008. 608 с.; Концептуальные средства анализа российской культуры. — Знание. Понимание. Умение. 2015. № 4. С. 36–53; Капитализм, социальное государство и идентичность: пути формирования коллективного «мы». — Вестник ВГУ. Серия: Философия. 2015. № 4. С. 92–106; На пути к процессуальной теории идентичности. — Философские науки. 2014. № 11. С. 70–81; Концепции идентичности в условиях нелинейной социокультурной динамики. — Знание. Понимание. Умение. 2013. № 2. С. 52–62.

Филиппова Елена Ивановна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, заместитель главного редактора журнала «Этнографическое обозрение». *Сфера научных интересов*: проблемы идентичности, нации и национализм, способы организации культурного многообразия, этнические и расовые категоризации населения, понятия и категории социальной антропологии. *В числе публикаций*: Культурная сложность современных наций. Отв. ред. В.А. Тишков, Е.И. Филиппова. М. Полити-

ческая энциклопедия. 2016. 384 с.; Территории идентичности в современной Франции. М.: ИЭА РАН 2011. 300 с. Диалоги об идентичности и мультикультурализме Отв. ред. Е.И. Филиппова, Р. Ле Коадик. М.: ИЭА РАН. 2004. 327 с.; «Креольская идентичность» французских Антиль: язык, культура и политика. — Этнографическое обозрение. 2016. № 3. С. 31-45; Раса: история концепта во французских социальных науках. В сборнике: Расизм, ксенофобия, дискриминация: какими мы их увидели. Отв. ред. Е. Деминцева. М.: 2013. С. 76–96; Что такое Франция? Кто такие французы? — Нации и национализм в мировой истории. Отв. ред. В.А. Тишков, В.А. Шнирельман. М.: Наука. 2007. С. 172–227.

Харитоновна Елена Марковна, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН. *Сфера научных интересов*: «мягкая сила» во внешней политике государства, образ государства, внешнеполитическая идентичность, содействие международному развитию, международные организации. *В числе публикаций*: Эффективность «мягкой силы»: проблема оценки. — Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 6. С. 48-58; Политика Великобритании по регулированию и предотвращению межэтнических конфликтов в третьих странах: инструменты и механизмы. Человек. Сообщество. Управление. 2015. Т. 16. № 2. С. 56–69; «Мягкая сила» Великобритании: сравнительный анализ механизмов, инструментов и практик. Сравнительная политика. 2017. № 8 (1). С. 5–20.

Холодковский Кирилл Георгиевич, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН. *Сфера научных интересов*: политические системы и гражданское общество России и стран Запада, социально-психологические процессы в современной России. *В числе публикаций*: Самоопределение России. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. 326 с.; Политические институты на рубеже тысячелетий. XX–XXI вв. Отв. ред. К.Г. Холодковский. Дубна: «Феникс+». 2001. 478 с.; Италия: массы и политика. М.: Наука, 1989. 256 с.; Перестройка западноевропейской партийной системы. — Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т. 60. № 7. С. 16–24; Двойственность российской идентичности. — Политика. 2011. № 1. С. 85–97; К вопросу о политической системе современной России. — Полис. Политические исследования. 2009. № 2. С. 7–22; Социальные корни идейно-политической дифференциации российского общества. — Российская политическая наука. Т. 4. 1985-1995. Отв. ред., сост. О.Ю. Бойцова, Е.Б. Шестопа. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2008.

Цапенко Ирина Павловна, доктор экономических наук, заведующая сектором социально-экономического развития и миграционных процессов Центра социально-экономических и политических исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН. *Сфера научных интересов*: международная миграция населения и ее влияние на отдающие и принимающие общества, миграционная политика, концепции и практики интеграции мигрантов.

В числе публикаций: Социальный контекст экономического развития в XXI веке. Отв. ред. И.П. Цапенко. М.: ИМЭМО РАН. 2016. 238 с.; Наука в современном российском обществе (в соавт. с А.В. Юревичем). М.: Изд-во Институт психологии РАН, 2010. 335 с.; Управление миграцией: опыт развитых стран. М.: Academia, 2009. 384 с.; Нужны ли России ученые? (в соавт. с А.В. Юревичем). М.: УРСС. 2001. 200 с.; Экономические ресурсы этнокультурного разнообразия. — *Мировая экономика и международные отношения*. 2016. № 11. С. 58–69; Субъективное благополучие населения и иммиграция. — *Мировая экономика и международные отношения*. 2015. № 4. С. 23–36; Транскультурная миграция и будущее мультикультурализма (в соавт. с И.С. Семененко). — *Глобальная перестройка*. Отв. ред.: А.А. Дынкин, Н.И. Иванова; Институт мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. М.: Весь Мир, 2014. С. 227-250.; Глобальный экономический кризис и рынок труда мигрантов — *Мировая экономика и международные отношения*. 2012. № 4. С. 51–63; Экономический цикл и международная миграция населения. — *Мировая экономика и международные отношения*. 2011. № 8. С. 31–42.

Чернышов Юрий Георгиевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений Алтайского государственного университета, директор Алтайской школы политических исследований. *Сфера научных интересов:* актуальные проблемы мирового политического процесса; этнические стереотипы, идеологии и идентичности; имидж страны и региона; история социальных утопий. *В числе публикаций:* Древний Рим: мечта о золотом веке. М.: Ломоносовъ. 2013. 240 с.; Имидж региона и региональная идентичность (на примере Алтайского края). — *Вестник Пермского университета. Серия «Политология»*. Специальный выпуск. Пермь, 2011. С. 105–112; Проблемы национальной и региональной идентичности: Алтайская школа политических исследований. — *PolitBook*. 2014. № 1. С. 172–195 (в соавт. с В.Н. Козулиным).